



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

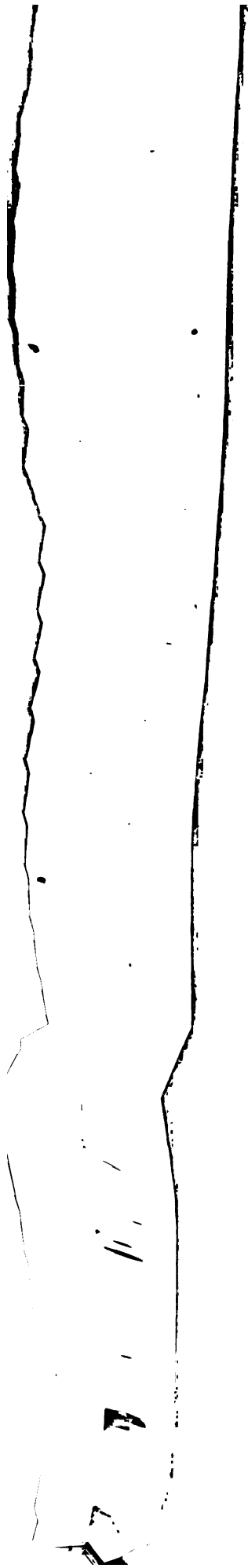
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Slav 4347.4.3 (2)

HARVARD COLLEGE
LIBRARY



BOUGHT FROM THE
AMEY RICHMOND SHELDON
FUND



СОЧИНЕНІЯ

Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО

ТОМЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ: 1) Преступленіе и наказаніе. 2) Герои и толпа. 3) Научныя письма. 4) Патологическая магія. 5) Еще о герояхъ. 6) Еще о толпѣ. 7) На вѣнской всемірной выставкѣ. 8) Изъ литературныхъ и журнальныхъ замѣтокъ 1874 г. 9) Изъ дневника и переписки Ивана Непомнящаго.

Изданіе редакціи журнала „Русское Богатство“.

ЦѢНА 2 РУБЛЯ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Б. М. Вольфа, Разъѣзжая ул., 15.
1896.

✓ Slav 4347.4-3 (2),



ОГЛАВЛЕНИЕ ВТОРОГО ТОМА.

	Стр.	Стр.
Преступленіе и наказаніе (1869 г.) . . .	1	600
Герои и толпа (1882 г.)	96	
Научныя письма (къ вопросу о герояхъ и толпѣ (1884 г.)	191	
Патологическая магія (1887 г.) . . .	238	
Еще о герояхъ (1891 г.)	366	
Еще о толпѣ (1893 г.)	404	
Навѣнской всемірной выставкѣ (1873) г.	466	640
Изъ литературныхъ и журнальных за- мѣтокъ 1874 г.		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>I—</p> <p>„Гражданинъ“, № 51.—„Замѣчательныя бо- гатства частныхъ лицъ въ Россіи“, эконо- мическо - историческое изслѣдованіе Е. П. Карновича.—„Основанія полити- ческой экономіи съ нѣкоторыми изъ ихъ примѣненій къ общественной философіи“ Дж. Ст. Милля, изд. 2.—„Автобіографія“ Дж. Ст. Милля.—Г. Головачевъ и нрав- ственные кастраты.</p> <p>II—</p> <p>Полемика гг. Мамонова и Аксакова. Пу- анты г-жи Ваземъ, икры г-жи Андреани и „С.-Петербургскія Вѣдомости“.—„Путе- выя впечатлѣнія“ г. Скальковскаго.—Лю- ди двойной репутаціи.—„Отставные сол- даты“ г. Энского.</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>III—</p> <p>Полное собраніе сочиненій Щербини.— Исторія развитія Щербини.—„Московскія Вѣдомости“ объ оперѣ Мусоргскаго „Бо- рисъ Годуновъ“.—„Наше общество въ ге- рояхъ и героиняхъ литературы“ М. В. Авдѣева.—Рудинъ и люди шестидесятихъ годовъ.—Что случилось? — Разночинецъ пришелъ.—Изъ біографіи О. М. Рѣшетни- кова.</p> <p>IV—</p> <p>„Героини“ г. Авдѣева.—Разночинцы и ка- ющіеся дворяне.—Женскій вопросъ.— „Народныя юридическія воззрѣнія на бракъ“ г-жи А. Ефименко.—„Вопросъ“ г. Майкова.—Новые рассказы г. Тургене- ва.—„Складчина“.</p> <p>Изъ дневника и переписки Ивана Непом- нящаго.</p> <p>I. Письмо къ Ивану Камердине- рову (1874 г.)</p> <p>II. Дневникъ (1874 г.)</p> <p>III. Совѣты начинающимъ забы- вать (1874).</p> <p>IV. Дневникъ (1874 г.)</p> <p>V. Дневникъ (1874 г.)</p> <p>VI. Дневникъ (1875 г.)</p> <p>VII. Дневникъ (1875 г.)</p> <p>VIII. Письма къ Иванушкѣ-Дурачку (1877 г.)</p> </div> </div>		

О П Е Ч А Т К И.

Страница:	Строчка:	Напечатано:	Надо:
41	1 снизу	Прощеніе	прошеніе
50	28 >	вмени	времени
93—94	заглавіе	Преступленія и наказанія	Преступленіе и наказаніе
123	28 >	Mensch iszt	Mensch ist
111	18 сверху	Brigade	Briegge
193—224	заглавіе	Научныя бесѣды	Научныя письма
270	1 снизу	Les maladie sépidé- miques.	Les maladies épidémiques
410	18 >	Волконской	Болконской
471	16 >	Zeitung	Zeitung
484	10 >	russischer	russisches
485	25 >	”	”
521—522	заглавіе	Вѣнкой	Вѣнской
607—608	>	Мхайловскаго	Михайловскаго
610	27 снизу	Вондомская	Вандомская
817	23 сверху	задачи	задачи

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ *).

«Русские уголовные процессы». Изд. Александра Любавского. Томы I—V. Спб. 1866—1868.

I.

Старикъ Платонъ въ своей «Республикѣ» часто проводитъ остроумныя параллели между медициной и юриспруденціей. И ту, и другую онъ изгоняетъ изъ своего идеальнаго государства. Онъ съ величайшимъ презрѣніемъ относится къ «заемной» справедливости и къ заемному здоровью и требуетъ правды и здоровья неподдѣльныхъ. Въ его идеальной «Республикѣ» врачи и юристы существуютъ; но это врачи и юристы въ совершенномъ, особенномъ смыслѣ, такъ какъ преступлений и болѣзней въ «Республикѣ» нѣтъ: неисправимые воспитаніемъ уроды, какъ физическіе, такъ и нравственные, избиваются. Платоновскіе врачи душъ и тѣлесъ только укрѣпляютъ здоровое и не должны оскверняться соприкосновеніемъ съ болѣзнію нравственной или физической. До пониманія этихъ болѣзней они должны дойти не столько опытомъ и наблюденіемъ, сколько размышленіемъ, должны вывести понятіе болѣзни изъ понятія здоровья.

Старый мудрецъ твердо вѣрилъ, что его идеальное государство когда-нибудь и гдѣ-нибудь существовало, существуетъ или будетъ существовать въ дѣйствительности. Иначе, говорить онъ устами Сократа или Сократъ его устами, иначе мы были бы смѣшны съ своими толками о желательномъ, но невозможномъ. Платонъ не смѣшонъ, конечно, хотя его республикѣ и не суждено было осуществиться и хотя желательное теперь имѣетъ вообще мало сходства съ желательнымъ Платона. Но какимъ горькимъ смѣхомъ расхохотался бы онъ самъ, если бы ему удалось какимъ-нибудь чудомъ собрать свои развѣянные по всему міру частицы и подняться изъ могилы теперь, черезъ двѣ сличкомъ тысячи лѣтъ, тѣмъ же мудрымъ Пла-

тономъ и съ тѣмъ же идеаломъ въ головѣ. Онъ увидѣлъ бы, что теперешніе врачи душъ, точно по его предписанію, знать не хотятъ нравственной болѣзни, преступления, и боятся осквернить себя изученіемъ его. — Значить, мой идеалъ реализировался? спросилъ бы онъ; значить, у васъ нѣтъ преступлений, нѣтъ заемной правды? А это что же? — И старикъ показалъ бы на громадныя тюрьмы, изъ-за рѣшетчатыхъ оконъ которыхъ выглядываютъ то тупыя, то озлобленныя блѣдныя лица; на висѣлицы съ висящимъ на перекладинѣ, судорожно бьющимся человѣческимъ полутрупомъ; на зданія судовъ, изъ которыхъ несутся бойкія, звонкія рѣчи прокуроровъ и адвокатовъ; на безчисленное количество томовъ кодексовъ, сводовъ, уложений, трактатовъ права, учебниковъ и специальныхъ юридическихъ сочиненій. — Это что? спросилъ бы онъ, и не скоро бы понялъ наше объясненіе. Намъ пришлось бы рассказывать ему, что заемная правда у насъ все еще не вывелась, какъ и заемное здоровье; что проценты, уплачиваемые нами на нее, возрасли, со временъ Платона, до поразительно круглой цифры; что мы дѣйствительно мало занимаемся преступленіемъ, но не потому, чтобы у насъ его не было, какъ въ его идеальномъ государствѣ, а потому, что мы очень усердно занимаемся изученіемъ наказанія; что это странное явленіе есть результатъ маленькихъ недоразумѣній. Старый мудрецъ еще разъ осмотрѣлся бы, оглядѣлъ бы результаты маленькихъ недоразумѣній и, махнувъ рукой, опять разсыпался бы прахомъ въ своей тысячелѣтней могилѣ.

Онъ не покусился бы даже провести свою любимую параллель между медициной и юриспруденціей. И въ самомъ дѣлѣ, такая параллель теперь рѣшительно невозможна. Врачъ, изучающій только свойства лѣкарствъ, оставляя совершенно въ сторонѣ свойства и причины болѣзней, былъ бы смѣшонъ и уже,

*) 1869.

разумѣтся, не могъ бы похвастаться обширной практикой. Тогда какъ ни для кого не смѣшна и не удивительна наука уголовного права, предписывающая, подобно медицинѣ, кровопусканіе, ампутаціи, діету и проч. и вмѣстѣ съ тѣмъ вовсе не изучающая соотвѣтственныхъ болѣзней. И не смѣшна она намъ не только потому, что самая сущность предмета невеселаго характера, а гораздо болѣе потому, что мы совершенно сжились съ такимъ порядкомъ вещей. Возьмите любое изложеніе уголовного права, и вы увидите, что вся книжка занята теоріей наказанія, и нѣсколько общихъ мѣстъ о преступленіи занимаютъ какой-нибудь десятокъ страницъ. Перечтите всю нашу криминалистическую литературу, — и переводную, и оригинальную, — откладывая все, что касается анализа преступленій, направо, а все, что излагаетъ и объясняетъ теорію и практику репрессіи — налево; налево отъ васъ окажется нѣчто въ родѣ башни вавилонской, а направо — нѣсколько тощихъ книгъ. То же самое встрѣтите вы и въ иностранной литературѣ, т.-е. пропорція будетъ та-же. Хотя тамъ найдется нѣсколько сочиненій, замѣчательныхъ по разработкѣ причинъ, мотивовъ и свойствъ нѣкоторыхъ преступленій, но они рѣшительно тонутъ въ массѣ сочиненій, занимающихся теоріями наказанія и комментаріями на положительныя законодательства. Только одна отрасль мотивовъ преступленія, правда, очень обширная — душевныя болѣзни — разработана хоть сколько-нибудь, а между тѣмъ, и она разработана слишкомъ мало. И изучаются душевныя болѣзни не криминалистами, а медиками. Криминалисты же даже очень рѣдко принимаютъ въ соображеніе медицинскія изслѣдованія этого рода, а нѣкоторые даже прямо заявляютъ свою независимость отъ нихъ. Такъ, англійскій криминалистъ Джемсъ Стифенъ утверждаетъ, что сумасшествіе, съ точки зрѣнія уголовного права, совсѣмъ не то, что съ точки зрѣнія медицины, и что умопомѣшательство не можетъ служить поводомъ къ отклоненію вѣнченія. «Представьте себѣ — говоритъ онъ — что каждый изъ сумасшедшихъ узнаетъ, что онъ можетъ убивать, казнить, грабить всякаго встрѣчнаго безнаказанно» (Уголовное право Англіи въ краткомъ изложеніи). Здѣсь субъективная сторона преступленія совершенно поглощается голымъ фактомъ, якобы вопіющимъ о возмездіи, какъ поглощаются библейскія тучныя коровы коровами тощими. Такое отвращеніе отъ изученія преступленія было бы даже смѣшно, если бы не было такъ грустно. Оно ведетъ, разумѣтся, ко многимъ очень печальнымъ послѣдствіямъ. Прежде всего, уголовная политика представляетъ, вслѣдствіе этого, любопытный въ наше время примѣръ искусства

(уже само собою разумѣтся не изящнаго), не имѣющаго соотвѣтствующей науки, изъ которой практика могла бы черпать правила для своего поведенія. Вообще говоря, искусство, т.-е. рядъ практическихъ правилъ, старше науки, т.-е. ряда строго выясненныхъ законовъ, управляющихъ фактами. Люди, побуждаемые своими насущными потребностями, но, не имѣя достаточнаго количества знаній, сначала просто практикуютъ. Затѣмъ, уже по мѣрѣ накопленія знаній, получается ясное понятіе законосообразности извѣстнаго рода явленій, ихъ причинной связи; является наука и, вызванная искусствомъ, уже сама ведетъ за собой практику. Искусство, техника представляетъ первые шаги человѣческой мысли, шаги почти безсознательные, въ потемкахъ, ощупью. Здѣсь все дѣло въ случайностяхъ, догадкахъ, въ самомъ ограниченномъ опытѣ и наблюденіи. Въ этомъ-то и заключается, между прочимъ, секретъ всѣхъ затерянныхъ секретовъ. Если бы, примѣръ, знаменитый греческій огонь былъ продуктомъ научной химіи, то способъ его приготовления никогда не могъ бы затеряться. Такъ какъ всѣ части науки тѣсно связаны между собой, то, если и предположить случайное исчезновеніе нѣкоторыхъ звеньевъ этой цѣпи, — остальные звенья неизбежно наведутъ на пополненіе пробѣла. Дѣло другое — искусство, не пытающееся открыть и изучить связь между явленіями и довольствующееся чисто эмпирическими свѣдѣніями. До-научный періодъ техники продолжается до тѣхъ поръ, пока выяснятся законы причинной связи явленій. И понятно, что чѣмъ явленія сложнѣе, тѣмъ труднѣе уловить управляющіе ими законы и тѣмъ, слѣдовательно, продолжительнѣе до-научный періодъ. Искусство счета и количественной мѣры имѣетъ дѣло съ самыми простыми явленіями, и мы видимъ, что это искусство сравнительно очень быстро сформировалось въ науку, въ которой уже въ очень ранній періодъ цивилизаціи представляется могучій двигатель для породившей ее практики. Наоборотъ, явленія общественной жизни, какъ наиболѣе сложныя, только недавно стали давать матеріалъ для науки. А по нѣкоторымъ ихъ отраслямъ чисто техническій, до-научный періодъ тянется до сихъ поръ. Таково именно положеніе уголовного права. Оно не изучаетъ мыслящаго, чувствующаго и желающаго человека въ его отношеніяхъ къ другимъ мыслящимъ, чувствующимъ и желающимъ людямъ, а предписываетъ ему нѣчто; слѣдовательно, его, наравнѣ съ политикой и этикой, слѣдуетъ отнести къ социальнымъ искусствамъ, не имѣющимъ соотвѣтственныхъ наукъ или науки. Такую науку уголовное право можетъ получить, только изучая преступленія, отъ

чего оно упорно отказывается. Не имѣя никакого разумнаго основанія, обстоятельство это допускаетъ только историческое объясненіе.

Наказаніе родилось изъ личной мести (у древнихъ римлянъ слово *vindicta* означало и мщеніе, и наказаніе; по-нѣмецки *Rache*—мечь, *Gerechtigkeit*—справедливость). Нѣсколько случайныхъ опытовъ показали, что въ томъ или другомъ случаѣ, то или другое наказаніе, удовлетворяя чувству мести, вмѣстѣ съ тѣмъ производитъ и извѣстное дѣйствіе на наказаннаго. Человѣкъ похитилъ чужую вещь, обладатель похищеннаго поймалъ его на мѣстѣ преступленія, прибилъ, и похититель не повторилъ своего покушенія. А убилъ жену В, а тотъ убилъ въ отмщеніе его жену и послѣ этого А не покушался болѣе вредить членамъ семейства В. Но эти первые шаги уголовного права, результата весьма естественнаго въ дикарѣ чувства личной мести, были необходимо нетверды, и возмездіе сплошь и рядомъ не давало ожидаемыхъ послѣдствій. Воръ, побуждаемый холодомъ и голодомъ, шелъ опять воровать, хотя бы подѣ угрозой новыхъ побоевъ. Семейства А и В, движимыя болѣе сильнымъ психическимъ факторомъ, чѣмъ страхъ быть убитымъ, продолжали истреблять другъ друга. Но, наконецъ, рядъ опытовъ, удачныхъ и неудачныхъ, могъ привести къ какимъ-нибудь эмпирическимъ выводамъ, т.-е. показать, что при такихъ-то условіяхъ такое-то возмездіе производитъ такое-то дѣйствіе. Затѣмъ отъ этихъ эмпирическихъ результатовъ былъ бы уже одинъ шагъ до изученія свойствъ и причинъ преступленія. Этого не случилось и не могло случиться по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, чувство мести представляетъ въ первобытномъ человѣкѣ элементъ, до такой степени сильный, что никакой опытъ не можетъ убѣдить его въ бесполезности или даже вредѣ ея въ томъ или другомъ случаѣ. Первобытный человѣкъ мститъ непосредственно, не думая въ ту минуту о возможныхъ результатахъ. Далѣе, отсутствіе понятія причинной связи явленій не позволяетъ ему ориентироваться въ массѣ фактовъ, изъ которыхъ нѣкоторые особенно способны сбить его съ толку. Общій духъ времени таковъ, что человѣкъ видитъ въ себѣ центръ вселенной, а всѣ силы природы представляются ему не болѣе, какъ радіусами, соединяющими этотъ центръ съ окружностью нѣкотораго магическаго круга, въ родѣ Олимпа или другого сборища боговъ: для человѣка и розы, и шипы, для него и пѣсня соловьиная, и громъ небесный, для него и буря, и затишье, и день, и ночь. Это антропоцентрическое міросозерцаніе и нѣсколько случайныхъ совпаденій ведутъ къ тому, что человѣкъ сплетаетъ

свою личную мечь съ карою разгнѣваннаго божества. Поэтому съ дальнѣйшимъ развитіемъ общества право наказанія переходитъ въ руки власти, какъ представительницы божества на землѣ. Идея наказанія тѣсно сплетается съ вѣрованіями, а исполненіе его—съ религіозными обрядами. Тутъ не можетъ быть и рѣчи объ изученіи преступленія, и посланные счастливымъ случаемъ наказанія прилагаются къ дѣлу по преданію. Единственный критерій состоитъ въ правилѣ: мѣра за мѣру, око за око, зубъ за зубъ, за жизнь—жизнь, за рану—рана (мы дѣлаемъ самый бѣглый очеркъ и не входимъ въ подробности въ родѣ возможности откупаться отъ наказанія жертвою или денежною пенею).

Антропоцентрическое міросозерцаніе смѣнилось эксцентрическимъ. Съ одной стороны мысль человѣческая, доселѣ принимавшая безъ всякаго анализа все добро и зло, которое ей посылали антропоморфизированныя силы природы, бросается, по закону реакціи, въ другую крайность и стремится уразумѣть самую сокровенную сущность вещей: отбрасываетъ въ явленіяхъ все относительное и ищетъ только абсолютнаго. Съ другой стороны, по тому же закону реакціи, духъ заявляетъ о своей безусловной свободѣ. Идея мстящаго божества и кровной мести, продолжая дѣйствовать, даютъ рядомъ съ собой мѣсто, повидимому, новой идеѣ абсолютной справедливости. Въ этотъ періодъ уголовное право тоже не могло спускаться съ заоблачной высоты абсолютнаго до изученія относительныхъ грѣховъ человѣка. Съ этой выси поднебесной былъ едва замѣтенъ комъ грязи, который называется землею и на которомъ стонутъ, падаютъ и умираютъ люди. Здѣсь преступленіе разсматривалось только съ метафизической, трансцендентальной точки зрѣнія, какъ нарушеніе всеобщей воли волею индивидуальной, какъ одно изъ проявленій саморазвивающейся идеи, и проч. Изученія же преступленія, какъ явленія конкретнаго, адѣсь нечего искать и слѣдовать. Кантъ, на примѣръ, училъ, что возмездіе, воздаяніе зломъ за зло есть идея, присущая человѣку, категорическій императивъ. Здѣсь, очевидно, антропоцентрическое представленіе мстящаго божества только замѣнено метафизическимъ принципомъ абсолютной справедливости, что, по отношенію къ преступленію, не измѣняетъ дѣла. И дѣйствительно, на примѣръ, какъ по законамъ Ману, имѣющимъ антропоцентрическое происхожденіе, соблазнившій замужнюю женщину наказывается кастраціей, такъ и по метафизической теоріи Канта изнасилованіе наказывается оскотченіемъ. Какъ по закону Моисееву око за око, зубъ за зубъ, какъ по закону Солона тому, кто выкололъ глазъ у кривого, выкалываются оба

глаза, такъ и по учению Канта, личные оскорбленія искупаются соотвѣтственнымъ униженіемъ оскорбителя передъ оскорбленнымъ. И тамъ, и тутъ берется только голый фактъ преступленія въ его объективности; субъективная же сторона,—мотивы преступленія, состояніе преступника и проч.,—не принимается и не можетъ приниматься въ соображеніе. Възвѣшивать ее значило бы нарушить основаніе системы—мѣра за мѣру, усомниться или въ божественной правдѣ, или въ прочности безусловной справедливости. Точно также и у другого свѣтила нѣмецкой философіи, Гегеля, для котораго право, отрицаніе права—преступленіе, и отрицаніе преступленія и примиреніе съ правомъ—наказаніе представляютъ только звенья трихотоміи, трехчленнаго діалектическаго развитія идеи.

Этими метафизическими построеніями уголовного права кровавая месть, реальный психическій фактъ, возведена въ общественный принципъ, посредствомъ концентраціи ея въ рукахъ власти, что совершенно извращаетъ ея смыслъ и лишаетъ ее всякаго реального основанія. Мстить и желать мстить можетъ только личность, будетъ-ли это личность реальная или воображаемая, въ родѣ антропоморфизированной силы природы, но не общество. Но и въ личности чувство мести сглаживается по мѣрѣ развитія личности. Нѣкоторые мыслители совершенно не метафизическаго покроя (Бентамъ *) считаютъ месть побужденіемъ неизгладимымъ. Но несправедливость этого положенія очевидна. Человѣкъ мститъ только тогда, когда не можетъ понять мотивовъ возмущающаго его дѣйствія. Какъ только мотивы эти поняты, какъ только человѣкъ пережилъ мыслью весь процессъ, которымъ произошелъ непріятный для него фактъ,—чувство мщенія не существуетъ. Человѣкъ мысленно всталъ на мѣсто преступника, увидѣлъ, что, при данныхъ условіяхъ, преступленіе непременно должно было явиться, и для него желаніе отмстить замѣняется простымъ желаніемъ не допустить новаго повторенія непріятнаго факта, устранить породившія его условія. Мѣрило развитія человѣка есть именно эта способность переживать мыслью чужую жизнь. Понять—значитъ простить, какъ говоритъ Сталь. Поэтому чувство мести, столь сильное у животныхъ и даже у дикаря, теряетъ значительнѣйшую долю своей интенсивности въ человѣкѣ цивилизованномъ. Вслѣдствіе этого, въ то время, какъ уголовныя теоріи возводили фактъ личной мести въ общественный принципъ, на практикѣ дѣло шло обратнымъ путемъ по естественному ходу цивилизаціи:

правомѣрность осложнялась цѣлесообразностью и даже вытѣснялась ею. Сложная сѣть историческихъ событій, задавая правительству практическія задачи, ввела, помимо возмездія, утилитарныя цѣли въ отправленіе уголовного правосудія. Но, оставляя въ сторонѣ свойства этихъ цѣлей, не трудно уже и ргіогі видѣть, что, за незнаніемъ свойствъ и причинъ преступленій, вѣруя по преданію въ силу наказаній, завѣщанныхъ еще антропоцентрическимъ періодомъ, практика должна была во всякомъ случаѣ на каждомъ шагѣ ошибаться. А здѣсь ошибка, кромѣ недостиженія данной цѣли, равняется напрасно пролитой крови, напрасно загубленной въ тюрьмѣ и на каторгѣ жизни, напрасно задавленнымъ мыслямъ и чувствамъ.

Идеалистическія системы великихъ нѣмецкихъ философовъ обнимали собой все сущее, весь міръ, со включеніемъ человѣка и человѣческихъ отношеній. Поэтому и идея абсолютной справедливости прилагалась ими не только къ области правонарушеній, а и къ области самого права. Но, по мѣрѣ того, какъ рушилось величественное зданіе идеалистической философіи со всѣми его пристройками, подпорками и украшеніями, наиболѣе сильныя умы, которые были бы въ состояніи создать новую всеобъемлющую систему, искали себѣ другихъ поприщъ. Соединенныя волны науки и жизни, подмывшія основанія идеалистическихъ системъ, выставили новыя данныя и иныя задачи, за разработку которыхъ и взялись лучшіе умы. Среди обломковъ рухнувшаго зданія остались люди помельче, которые не могли охватить мыслью все, что охватывала мысль Кантовъ, и потому удовлетворялись тѣми или другими обломками: одинъ ухватился за идею прекраснаго, другой за справедливость, третій за нравственность, не будучи въ состояніи связать эти обломки съ тѣмъ, что лежало за предѣлами ихъ спеціальнаго міросозерцанія. Специализированныя и изолированныя другъ отъ друга идеи прекраснаго, справедливаго, добраго, полезнаго, истиннаго породили множество узенькихъ теорій, ничѣмъ между собою не связанныхъ и подчасъ даже враждебныхъ другъ другу. Если стройныя, цѣльныя, всеобъемлющія идеалистическія системы, не смотря на ложность основанія, отличались, именно благодаря своей цѣльности, особенною устойчивостью, то обособившіеся, разрозненные обломки ихъ ни въ какомъ случаѣ не могли выдержать напора точныхъ знаній и практической жизни. Явились, между прочимъ, и метафизики—юристы, и даже еще уже—метафизики—криминалисты, которые, считая себя представителями идеи справедливости, прилагали ее, однако, только къ спеціальной сферѣ человѣческихъ отно-

*) Теперь надо прибавить Дюринга.

шеній. Считаая достойнымъ возмездія всякое нарушение существующаго въ данный историческій моментъ общественнаго порядка, они не думали приложить тотъ же масштабъ справедливости къ самому этому порядку со стороны, напимѣрь, отношеній экономическихъ. Результатомъ такой специализаціи идеи справедливости было, очевидно, внутреннее противорѣчіе, и не только объ абсолютной, но и о какой бы то ни было справедливости тутъ собственно и рѣчи быть не могло. Справедливость есть здѣсь только декорумъ, полученная по наслѣдству красивая, но безполезная кукла, къ которой привыкли, хотя и утратили ея смыслъ. И вотъ, обезсиленные внутреннимъ противорѣчіемъ, уголовныя теоріи дѣлають уступку жизни: осложняются утилитарными принципами. Являются теоріи субъективныя, имѣющія въ виду, помимо удовлетворенія абстрактной справедливости, земныя цѣли, — устрашеніе, самозащиту общества, исправленіе, и проч. Къ тому же результату, какъ мы видѣли, еще раньше, пришли и положительныя законодательства, понуждаемыя практическими требованіями. Какъ только общество подросло, сформировалось, санкціонировало извѣстный порядокъ, оно уже не удовлетворяется въ дѣлѣ наказанія отвлеченною справедливостію, а видитъ въ немъ гарантію существующаго порядка, причѣмъ справедливость играетъ ту же второстепенную роль, какъ и въ субъективныхъ уголовныхъ теоріяхъ. Такимъ образомъ, и въ теоріи, и на практикѣ понятіе справедливости сузилось, специализировалось и въ то же время осложнилось утилитарными началами. Отбросивъ декорумъ, мы видимъ, что, съ этой точки зрѣнія, наказаніе есть условіе, насильственно подставленное въ жизнь члена или членовъ общества, съ цѣлью подѣйствовать на нихъ извѣстнымъ образомъ въ интересахъ существующаго порядка, отклонить ихъ отъ извѣстнаго, порицаемаго закономъ образа дѣйствія. Такъ именно смотрятъ или, по крайней мѣрѣ, должны смотрѣть на наказаніе современныя уголовныя теоріи и практика. Это опредѣленіе наказанія не имѣетъ ничего общаго съ понятіями антропоцентрическаго и метафизическаго періодовъ. И какъ тогда ни теорія, ни практика не нуждались въ изученіи преступленія, такъ, наоборотъ, теперь изученіе это неизбежно и необходимо. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя вліять на тотъ или другой образъ дѣйствія человека, не зная его причинъ и свойствъ. Разъ допущена какая бы то ни была утилитарная цѣль, наказаніе перестаетъ быть цѣлью и становится средствомъ для полученія извѣстныхъ результатовъ. А для того, чтобы толкнуть человека наказаніемъ направо, а не налево, мы должны, очевидно,

свести наказаніе и преступленіе на одну ставку взвѣсить возможно точно и то, и другое, и затѣмъ смотрѣть, можетъ-ли получиться отъ столкновенія этихъ элементовъ ожидаемый результатъ. Требуется построить такой параллелограммъ социальныхъ силъ, составляющія котораго представили бы одна — силу наказанія, другая — силу причинъ соотвѣтственнаго преступленія; равнодѣйствующая этого параллелограмма и представитъ направленіе, которое приметъ воля преступника. Казалось бы, что теперь, по крайней мѣрѣ, наступило время изученія преступленія. Но криминалисты продолжаютъ прятаться за окопы справедливости и свободы воли. А между тѣмъ принципъ справедливости давнымъ-давно ими самими умаленъ до того, что его трудно рассмотреть невооруженнымъ глазомъ, и толкують они о немъ единственно по недоразумѣнію. Что же касается до свободы воли, то на этомъ пунктѣ криминалисты опять-таки представляютъ собою жертву другого недоразумѣнія. Уголовная политика имѣетъ цѣлью произвести извѣстный практический результатъ рядомъ извѣстныхъ дѣйствій. Слѣдовательно, она, какъ и всѣ первобытныя искусства, хоть смутно, но должна предполагать нѣкоторую неизвѣстную ей причинную связь между своими операціями и ихъ практическими результатами. Если криминалистъ и признаетъ на словахъ волю человека совершенно свободною, то на дѣлѣ самымъ существованіемъ своимъ утверждаетъ, что воля эта можетъ быть извѣстнымъ образомъ направлена. Либо человекъ свободенъ, и тогда на него не дѣйствуетъ и наказаніе; либо онъ не свободенъ, и тогда, кромѣ наказанія, на него дѣйствуютъ и другіе факторы, которые могутъ оказаться сильнѣе наказанія. Простой здравый смыслъ требуетъ, чтобы эти факторы были изучаемы, по крайней мѣрѣ, наравнѣ съ наказаніемъ. И только этимъ путемъ уголовное право и можетъ выбиться изъ опутывающихъ его противорѣчій и оправдать носимый имъ титулъ науки. Наука есть рядъ законовъ, выведенныхъ изъ возможно большаго количества фактовъ одного и того же порядка, съ цѣлью предвидѣть имѣющіе случиться факты, на основаніи фактовъ прошедшаго и настоящаго. Прошедшее и настоящее даютъ матеріалъ, наука перерабатываетъ этотъ матеріалъ помощью извѣстныхъ процессовъ, и отсюда заключаетъ о будущемъ. Стало быть, гдѣ нѣтъ законовъ, тамъ не можетъ быть науки. И если духовная сторона человека и общественныя отношенія не подлежатъ какой бы то ни было правильности и законосообразности, то немислимы и науки нравственныя и политическія вообще, и наука уголовного права въ особенности. Въ суще-

ствѣ вещей уголовное право и признаетъ человѣческія дѣйствія подлежащими нѣкоторой законосообразности, такъ какъ оно признаетъ, что, напримѣръ, страхъ наказанія долженъ извѣстнымъ образомъ погнугъ волю человѣка. Все дѣло, значитъ, только въ открытомъ и сознательномъ признаніи того, что уже признается скрытно и безсознательно, чѣмъ исключается возможность систематическаго развитія признанной мысли. Криминалисты, отстаивая идею свободы воли, ежеминутно ими самими подтачиваемую, и раздѣляя, такимъ образомъ, весь міръ на двѣ, рѣзко разграниченныя, половины, изъ которыхъ въ одной все правильно и законосообразно, а въ другой царитъ вѣчный хаосъ,—криминалисты, очевидно, смущаются только сложностью социальныхъ явленій и неизбѣжнымъ здѣсь вмѣшательствомъ субъективныхъ элементовъ. Отъ факта естественнаго мы не требуемъ, напримѣръ, справедливости, которая, однако, вертится на языкъ даже у всякаго негодая, когда рѣчь идетъ о фактѣ социальномъ. Мы не возмущаемся тѣмъ, что какое-нибудь растеніе безпощадно глушитъ своихъ слабыхъ сосѣдей. Каждая индивидуализированная единица въ природѣ дѣйствуетъ какъ слѣпая сила, уступая только болѣе сильнѣ; мы видимъ это, и говоримъ: таковъ законъ природы. И даже отъявленному поборнику искусства для искусства не можетъ придти въ голову мысль написать романъ, картину, элегію, драму на тему—борьба за существованіе въ природѣ, безотносительно къ человѣку. Никто не рѣшится говорить о нравственномъ кодексѣ двукопытныхъ или о принципахъ справедливости у многокопытныхъ. Едва-ли даже какой-нибудь завзятый моралистъ отважится упрекать цвѣтокъ въ наглости и безстыдствѣ за то, что онъ выставилъ на-показъ свои убранные лепестками половые органы. Между тѣмъ съ человѣческой (гуманной) точки зрѣнія природа, дѣйствительно, представляетъ рядъ рабовъ и эксплуататоровъ, безконечную цѣпь насилій и разврата. Мудрено, однако, стать на гуманную точку зрѣнія, говоря о природѣ. Даже пресловутыя общества покровительства животнымъ существуютъ собственно въ интересахъ человѣка, а не собакъ и кошекъ. Даже пиеагорейцы, не ѣвшіе мяса, все-таки кушали растенія, и ни ихъ, ни индусовъ не спасло отъ этого варварства вѣрованіе въ переселеніе душъ. Съ другой стороны, если мыслящіе люди признали фактическую вѣрность теоріи Дарвина, то тѣ же, именно тѣ же мыслящіе люди съ негодованіемъ отвертываются отъ слѣпой силы, какъ общественнаго принципа. Такимъ образомъ, когда объектомъ нашего мышленія является природа, мы относимся къ ней, какъ и всѣ естест-

венные дѣятели, мы просто становимся въ ряды этихъ дѣятелей, не связывая себя относительно ихъ никакими обязательствами. Наоборотъ, когда человѣкъ, какъ мыслящій субъектъ, дѣлается, вмѣстѣ съ тѣмъ, и мыслимымъ объектомъ, мы становимся на гуманную точку зрѣнія. Последнее не только не противорѣчитъ первому, но самымъ тѣснымъ образомъ съ нимъ связывается. Въ самомъ дѣлѣ, если, по естественному, неизбѣжному закону, всякая индивидуализированная единица въ природѣ прямо или косвенно живетъ насчетъ единицъ болѣе слабыхъ, то не изъять изъ этого закона и человѣкъ, какъ недѣлимое и какъ членъ общества. Онъ борется съ природой, давить ее, какъ и она съ нимъ борется и давить его. Но въ той мѣрѣ, въ какой людскіе интересы совпадаютъ въ виду этой борьбы, людямъ нуженъ миръ, а не борьба. Вслѣдствіе этого между членами группы съ совпадающими интересами устанавливаются особые правила, называемыя правилами нравственности, справедливости и не прилагаемыя ими къ единицамъ, не входящимъ въ составъ группы. Кругъ людей, съ интересами которыхъ совпадаютъ интересы данной личности, можетъ быть болѣе или менѣе обширенъ, смотря по степени развитія личности, т.-е. опять-таки по степени легкости, съ которою личность переживаетъ мысль чужую жизнь. Это можетъ быть одна личность, семья, родъ, община, народъ и, наконецъ, человѣчество.

Итакъ, различіе фактовъ естественныхъ и социальныхъ, какъ предметовъ человѣческаго вѣдѣнія, состоитъ только въ томъ, что къ первымъ мы относимся совершенно объективно, тогда какъ къ послѣднимъ, наоборотъ, не можемъ не относиться субъективно. Это различіе только по тому отношенію, въ какое всегда становился, становится и будетъ становиться человѣкъ къ фактамъ естественнымъ и социальнымъ, это-то субъективное различіе либръ-арбитристы принимаютъ за различіе объективное, заключающееся въ самихъ фактахъ. Субъективное различіе не исключаетъ понятія законосообразности человѣческихъ дѣйствій. Самому закону борьбы за существованіе, очевидно, подлежатъ и факты социальные, какъ и естественные. Но, во имя сложныхъ интересовъ человѣчества, мы, сознательно или безсознательно повинувшись законамъ природы, можемъ ихъ до извѣстной степени регулировать; подчиняясь имъ, можемъ въ предѣлахъ этого подчиненія подчинять ихъ себѣ. И законы, управляющіе наиболѣе сложными и, слѣдовательно, наиболѣе измѣнчивыми явленіями, каковы явленія общественной жизни, допускаютъ это подчиненіе въ гораздо болѣе высокой степени, нежели законы явленій простѣйшихъ и менѣе

измѣнчивыхъ. Разумъ познаетъ законы явленій и регулируетъ ихъ въ виду извѣстныхъ цѣлей. Такимъ образомъ, разумъ человѣческій кладетъ къ подножію человѣчества весь міръ, и человѣкъ опять становится центромъ вселенной. Но это не тотъ объективно-антропоцентрический періодъ, когда міромъ, въ пользу или во вредъ человѣка, заправляли внѣшнія силы. Это и не эксцентрический періодъ индивидуальнаго произвола, когда человѣкъ и его интересы забывались для отвлеченныхъ идей прекраснаго, нравственнаго, истиннаго или справедливаго. Это періодъ субъективно-антропоцентрический, періодъ, когда на мѣсто Олимпа становится разумъ человѣческій. Олимпъ, какъ чуждый человѣку, могъ посылать ему съ одинаковымъ величіемъ и безучастностью и добро, и зло, и вѣдро и ненастье, и гнѣвъ, и милость. Разумъ человѣческій не гнѣвается и не караетъ, потому что онъ есть способность понимать явленія; онъ работаетъ только на счастье человѣчества, потому что это его собственное счастье. Здѣсь человѣкъ побѣдилъ природу, потому что понялъ свою зависимость отъ нея.

И если цѣль наказанія уничтожить преступленія, т.-е. побѣдить тѣ враждебныя человѣку силы, подъ вліяніемъ которыхъ онъ убиваетъ, воруетъ, грабитъ, насилуетъ и проч., то такая цѣль можетъ быть достигнута не иначе, какъ изученіемъ этихъ силъ и этого вліянія, т.-е. изученіемъ преступленій. Только такое изученіе можетъ дать уголовной политикѣ научную опору и способствовать восстановленію той справедливости, относительно которой криминалисты находятся въ такомъ двусмысленномъ положеніи.

II.

Разъ признана законосообразность и причинная связь человѣческихъ дѣйствій (а она признается въ лицѣ криминалистовъ даже сторонниками идеи свободной воли), изученіе преступленій дѣлается не только возможнымъ, но и необходимымъ, и на очередь становится вопросъ о методѣ. Мы не считаемъ нужнымъ говорить о непригодности метафизическаго метода, рѣшающаго задачи слишкомъ широко для того, чтобы эти рѣшенія могли имѣть какое-нибудь значеніе. Далѣе, сложность явленій общественной жизни и другія свойственныя имъ условія не допускаютъ приложенія къ нимъ опыта. Такимъ образомъ, орудіемъ для изученія преступленій является одно наблюденіе, причемъ пригодными для этого метода представляются методы отвлеченный и конкретный. Для уясненія ихъ относительнаго значенія возьмемъ какой-нибудь примѣръ. Представительница отвлеченнаго метода, уголовная статистика, конста-

тируетъ, напримѣръ, такой фактъ. Наклонность къ супругоубійству развита у женщинъ сильнѣе, нежели у мужчинъ, не смотря на то, что: 1) склонность къ убійству вообще у женщинъ слабѣе и что 2) убійство родственниковъ наказывается строже простого убійства. Этотъ выводъ изъ голыхъ рядовъ цифръ убѣждаетъ насъ, что пока обстоятельства не перемѣнятся, женщины будутъ оказываться убійцами вообще рѣже, нежели мужчины, а супругоубійцами чаще, и что для устранения этого, съ перваго взгляда, парадоксальнаго факта существующая система наказанія безсильна. Если мы затѣмъ примемъ въ соображеніе, съ одной стороны, относительную физическую слабость женщины, а съ другой—ея положеніе въ семьѣ, то, соединивъ нашу индукцію съ выводомъ изъ этихъ данныхъ, мы получимъ полное объясненіе факта. Но при этомъ объясненіи мы имѣли въ виду только три фактора: почти чисто космическій—физическую слабость женщины, и факторы социальныя—извѣстное наказаніе и положеніе женщины въ семьѣ. Тогда какъ на самомъ дѣлѣ въ основаніи взятыхъ нами рядовъ цифръ лежатъ не только эти элементы, и процессъ статистическаго обобщенія только отвлекъ для насъ три вышеозначенные, наиболѣе вліятельные, фактора. Конкретный методъ ставить, наоборотъ, передъ нами явленіе во всей его цѣлости. Представимъ себѣ, что тѣ же ряды цифръ облеклись въ плоть и кровь, что передъ нами лежитъ обстоятельная исторія каждой единицы изъ этихъ рядовъ. Въ этомъ случаѣ сдѣлать вышеприведенный выводъ будетъ для насъ гораздо труднѣе, потому что при каждомъ единичномъ наблюденіи вниманіе наше будетъ разбиваться факторами, не столь сильными въ цѣломъ, въ примѣненіи ко всему циклу явленій, но весьма значительными для отдѣльных фактовъ. Напримѣръ, въ данномъ случаѣ женщина могла убить мужа по причинамъ, или вовсе не обусловливающимся складомъ семейной жизни, или имѣющимъ къ нему только косвенное и отдаленное отношеніе; мотивами преступленія могли быть религіозный фанатизмъ, психическая болѣзнь, желаніе захватить имущество и т. д. Всѣ эти второстепенныя условія въ цѣломъ нейтрализуются, и ярко вырѣзывается струна, звучащая наиболѣе сильно. Да если мы даже представимъ себѣ рядъ случаевъ, наиболѣе близко подходящихъ къ среднему, выраженному статистическимъ обобщеніемъ, то-есть рядъ исторій супругоубійствъ, вызванныхъ единственно безобразіемъ строя семейной жизни, то общій выводъ все-таки затруднится самою цѣлостью представленія. Только болѣе или менѣе высоко развитая личность сумѣетъ встать послѣдовательно на мѣсто преступницъ и убѣдиться,

что фактъ долженъ былъ совершиться. Для наблюдателя, стоящаго на низкомъ уровнѣ развитія, такое проникновеніе чужою жизнью немислимо, а потому для него неуловимы и законосообразность, и причинная связь на блюдаемыхъ имъ фактовъ. Отвлеченный же методъ, стирая частности и замыкая явленіе въ математическую формулу, кладетъ на него очевидную для всѣхъ и каждого печать законности. Поэтому отвлеченный методъ не требуетъ особенной работы мысли. Статистика, какъ выразился, помнится, Лапласъ, есть рѣзко выраженный здравый смыслъ, выводъ самъ, такъ сказать, выглядываетъ изъ-за цифръ и представляется сознанію готовымъ тутъ же на мѣстѣ. Конкретный методъ представляетъ мысли несравненно больше затрудненій. Въ этомъ случаѣ ей приходится ориентироваться въ массѣ разнородныхъ явленій, найти путеводную нить среди запутанной комбинаціи сложныхъ вліяній. Но зато отвлеченный методъ, имѣющій дѣло главнымъ образомъ съ категоріей количества, съ мертвыми цифрами, не въ состояніи передать оттѣнковъ явленія; качественныя различія статистика можетъ намѣтить только болѣе или менѣе грубо, равнымъ образомъ и процессъ, который совершился фактъ, можетъ быть найденъ только конкретнымъ методомъ. Если послѣдній и затрудняетъ (но не исключаетъ) возможность общихъ выводовъ, то взамѣнъ того онъ предотвращаетъ ихъ односторонность и отмѣчаетъ тѣ элементы, которые не даются анализу отвлеченнаго метода. Такимъ образомъ, оба метода взаимно пополняютъ другъ друга, и для успѣха великаго дѣла изученія преступленій они должны идти рука объ руку и служить другъ другу повѣркой. Матеріалы для отвлеченнаго метода суть данныя уголовной статистики, а для метода конкретнаго—уголовные процессы. И тѣ, и другіе представляются одинаково важными.

Уголовной статистики у насъ пока еще вовсе нѣтъ, и хотъ на такое «нѣтъ» судъ и есть, но теперь намъ объ этомъ говорить не приходится. Взамѣнъ статистики со времени судебной реформы у насъ появилось множество сборниковъ уголовныхъ процессовъ. Мы, было, порадовались этому наплыву, но сборники эти всѣ составлены до такой степени безтолково, до такой степени безъ всякаго пониманія ихъ значенія, что разочарованіе наступало немедленно. Особенно обрадовались мы предпріятію, задуманному г. Любавскимъ. Онъ издалъ, кромѣ весьма плохого «Сборника замѣчательныхъ уголовныхъ процессовъ» иностранныхъ, пять томовъ «Русскихъ уголовныхъ процессовъ», изъ которыхъ въ четырехъ первыхъ помѣщены дѣла, рѣшенныя еще въ старыхъ судебныхъ

учрежденіяхъ. Эти пять томовъ заключаютъ въ себѣ до 170 печатныхъ листовъ довольно убогистаго шрифта, и собрано г. Любавскимъ около трехсотъ дѣлъ,—цифры довольно почетныя. При видѣ этой библіотеки мы только руки потирали, особенно имѣя въ виду то обстоятельство, что г. Любавскій не хочетъ на этомъ остановиться и издать, можетъ быть, еще пять, а можетъ быть и пятьдесятъ томовъ. Понятное дѣло, что сборникъ русскихъ уголовныхъ дѣлъ имѣетъ для насъ, русскихъ, особенное значеніе. Наконецъ-то, думали мы, наконецъ-то вырѣжутся передъ нами наши темныя силы и встанутъ во весь ростъ, ясно, со всѣми подробностями. Наконецъ-то мы увидимъ, чего намъ нужно и чего не нужно, чего намъ недостаетъ и что для насъ лишнее, чѣмъ мы недовольны, что насъ гнететъ, потому что картина преступленій, совершающихся въ данномъ обществѣ, есть картина его нуждъ и немощей. Наконецъ-то прочтемъ мы на кровавыхъ страницахъ нашей домашней, невидной исторіи, насколько правы наши отечественные вѣчные Панглоссы народныхъ началъ и органическаго развитія, Панглоссы временныя, такъ сказать, дофевральскіе, Панглоссы современные и всякіе другіе. Можетъ быть, думали мы, тутъ же, въ этихъ пяти объемистыхъ томахъ, найдемъ мы и рецепты или по крайней мѣрѣ полновѣсныя указанія на тѣ стороны нашего общественнаго и экономическаго быта, въ которыхъ беретъ начало родникъ нашихъ преступленій. Но по мѣрѣ того, какъ мы перечитывали сборникъ г. Любавскаго, надежды наши блѣднѣли, вяли и окончательно превратились въ «цвѣтокъ засохшій, безуханный» задолго до послѣдняго тома. Надобно обладать особеннымъ искусствомъ, чтобы такъ безтолково напичкать 170 листовъ, какъ это сдѣлалъ г. Любавскій. Слѣдуетъ еще замѣтить, что г. Любавскій не имѣлъ ни предшественниковъ, ни конкурентовъ и потому могъ полною рукою черпать изъ кладеза нашихъ грѣховъ. Разбросанныя кое-гдѣ по спеціальнымъ изданіямъ дѣла, именно по своей разбросанности, имѣютъ ничтожное значеніе; притомъ же г. Любавскій перепечаткою не стѣсняется,—и совершенно резонно.

Мы напрасно бились, стараясь угадать, какими планами и соображеніями руководствовался г. Любавскій въ своемъ изданіи. Беспорядочность изданія доказывается даже наименѣе беспорядочнымъ (по однородности матеріала) третьимъ томомъ, который весь наполненъ процессами психическихъ больныхъ. Это безспорно предметъ въ высшей степени важный, но изъ четырехъ томовъ дѣлъ, рѣшенныхъ при старомъ судопроизводствѣ, очень неосновательно занимать цѣ-

дый томъ подобными процессами. Психическія болѣзни представляютъ явленіе, общее всѣмъ вѣкамъ и народамъ, и русскихъ психическихъ болѣзней нѣтъ, тогда какъ существуютъ чисто русскія общественныя отношенія. Поэтому г. Любавскому слѣдовало или издать нѣсколько томовъ процессовъ психическихъ больныхъ, не ограничиваясь рамками Россіи, а просто выбирая случаи, наиболѣе важные, какъ изъ нашей, такъ и изъ западной уголовной практики; или же онъ долженъ былъ касаться этихъ процессовъ, по крайней мѣрѣ, не въ ущербъ дѣйствительно русскимъ уголовнымъ дѣламъ. Прежде всего, казалось-бы, ему слѣдовало собрать побольше процессовъ, наиболѣе характеристическихъ для Россіи, т.-е. по преступленіямъ, у насъ болѣе частымъ, но онъ, кажется, и не подумалъ о томъ, что собственно значить заглавіе «Русскіе уголовныя процессы». Наиболѣе распространено у насъ нарушеніе уставовъ о казенныхъ лѣсахъ (изъ отчета министра юстиціи за 1864 г. видно, что по преступленіямъ этого рода приговоренныхъ было 31,078 человекъ) и воровство—кража (22,591), а между тѣмъ—дѣла перваго рода мы у г. Любавскаго вовсе не нашли, а втораго сравнительно очень немного. Наоборотъ, смертоубійство, занимающее у насъ въ ряду преступленій одно изъ послѣднихъ мѣстъ (по отчету за 1864 г., приговоренныхъ 1,912), имѣетъ въ сборникахъ весьма многочисленныхъ представителей. Изъ этого можно бы было заключить, что г. Любавскій выбираетъ преимущественно «интересные», эффектные процессы. Можетъ быть, и такъ, но въ сборникахъ можно найти множество дѣлъ неинтересныхъ ни въ какомъ смыслѣ, даже въ смыслѣ эффекта. Таковы, напримѣръ, въ четвертомъ томѣ дѣла № 11 и особенно № 10. Въ 1864 г. на Амурѣ погибъ вельботъ, причѣмъ утонуло четыре матроса. Командиръ портовъ Восточнаго океана, равно какъ и морской генералъ-аудиторіатъ нашли, что въ этомъ дѣлѣ виноватыхъ нѣтъ, потому что вельботъ «встрѣтилъ бурунь и сильную толчею, отчего онъ мгновенно наполнился водой по банки». Нѣтъ, значитъ, ни преступленія, ни наказанія, а г. Любавскій и это дѣло заноситъ въ свои сборники. Съ другой стороны, изъ дѣлъ, напримѣръ, по возмущеніямъ крестьянъ массами помѣщено всего одно, да и то, неизвѣстно для чего, сокращено до послѣдней возможности; а кажется, этого рода дѣла имѣютъ нѣкоторое право занять болѣе обширное мѣсто въ «Сборникѣ русскихъ уголовныхъ процессовъ».

Издавая свой первый сборникъ (иностранныхъ процессовъ), г. Любавскій утверждаетъ, что онъ желаетъ, во-первыхъ, «нѣкоторымъ образомъ подготовить общество къ слушанію

доклада дѣлъ въ новыхъ судебныхъ мѣстахъ» и, во-вторыхъ, удовлетворить любопытству читателей съ точки зрѣнія психологическаго интереса. Во введеніи къ первому тому русскихъ процессовъ говорится: «Сомнѣваться въ пользѣ и своевременности подобнаго изданія едва-ли возможно; съ одной стороны, съ нынѣшняго года начинается отправленіе нашего уголовного правосудія на основаніяхъ совершенно отличныхъ отъ прежняго, а потому представляется не лишнимъ подвести «итоги» предшествовавшей дѣятельности нашихъ судебныхъ мѣстъ; съ другой же стороны, уголовныя дѣла, разрѣшенныя при прежнихъ формахъ судопроизводства, не утратили своего значенія и нынѣ, не смотря на осуществленіе судебной реформы, такъ какъ сущность преступленій, совокупность ихъ признаковъ, опредѣляемыхъ закономъ, и ихъ общечеловѣческое значеніе съ точки зрѣнія соціальной и психологической,—остались безъ измѣненія». Введеніе ко второму тому гласитъ, между прочимъ, такъ: «Въ настоящее время тѣмъ болѣе является необходимымъ ознакомиться съ уголовными дѣлами нашего отечества, что почти каждое полноправное лицо можетъ быть призвано въ качествѣ присяжнаго засѣдателя къ постановленію приговора о судьбѣ своего ближняго; чтеніемъ же уголовныхъ процессовъ, представляющихъ юридическій интересъ, пріобрѣтается *навыкъ*: въ разрѣшеніи вопросовъ о вѣроятности, въ распознаваніи уловокъ, употребляемыхъ подсудимыми для своего оправданія или для оговора невиннаго, въ изслѣдованіи мотивовъ, иногда тщательно скрываемыхъ, побудившихъ къ преступленію, въ обсужденіи доказательственности уликъ» и т. д. Во введеніи къ пятому тому (первый томъ «Новыхъ русскихъ уголовныхъ процессовъ») г. Любавскій говоритъ о недоверіи, съ которымъ, какъ ему кажется, была встрѣчена нашимъ обществомъ судебная реформа, и прибавляетъ: «Лучшимъ отвѣтомъ на всѣ эти сомнѣнія и отзывы можетъ служить ознакомленіе съ современною практикою новыхъ судебныхъ учреждений и въ частности съ уголовными процессами, напечатанными въ настоящемъ томѣ. Изъ этого ознакомленія каждый безпристрастный читатель вынесетъ убѣжденіе, что новыя судебныя учреждения, существующія еще столь недавно, оказались вполне пригодными къ условіямъ нашего быта, что дѣла въ нихъ рѣшаются устно, публично и быстро, безъ медленности и проволочекъ, столь свойственныхъ прежнему порядку, наконецъ, что для приведенія въ дѣйствіе судебныхъ учреждений нашлись даровитые судьи, прокуроры и присяжные повѣренные, во многомъ не уступающіе судебнымъ дѣятелямъ Западной

Европы». Далѣе, напримѣръ, дѣло предводителей дворянства Подольской губерніи, подносившихъ въ 1862 г. извѣстное всеподданнѣйшее прошеніе, дѣло это помѣщено г. Любавскимъ потому, что оно «служить для русской читающей публики любопытнымъ свидѣтельствомъ: той aberrации мышленія и политической безтактности, которыми столь часто отличаются польскіе дѣятели во всемъ, что касается отношеній западныхъ и польскихъ губерній къ Россіи». Помѣщая дѣла о генералѣ Бюрно (1848 г.) и генералѣ Кухановичѣ (1855 г.), г. Любавскій такъ объясняетъ ихъ значеніе: «Дѣла эти будутъ интересны не для однихъ военныхъ, но и для всѣхъ русскихъ, которымъ дорога честь русскаго оружія. Ознакомленіе съ этими дѣлами наглядно убѣдитъ читающую публику, что малодушіе и робость, составляющія столь рѣдкое явленіе въ нашихъ войскахъ, навлекаютъ на виновныхъ не только нареканіе общественнаго мнѣнія, но и преслѣдованіе по всей строгости законовъ уголовныхъ. Русскіе же военачальники, ознаменовавшие себя покореніемъ Кавказа и геройскою защитой Севастополя, не могутъ потерять въ глазахъ общества только потому, что въ средѣ ихъ оказались отдѣльныя личности, лишенныя распорядительности и энергіи». Дѣло о бѣгломъ солдатѣ Докулевскомъ для г. Любавскаго «весьма назидательно, какъ изображающее картину бѣдствій, ожидающихъ въ Западной Европѣ тѣхъ изъ польскихъ уроженцевъ, которые предпочитаютъ службѣ законному правительству—исполненное лишеній, униженій и лживыхъ изворотовъ скитальчество въ странахъ чуждыхъ». И т. д., и т. д.

Такимъ образомъ, цѣли, имѣвшіяся г. Любавскимъ въ виду при изданіи сборниковъ, разнообразны до послѣдней степени. То онъ желаетъ подготовить (?) читателей къ слушанію доклада дѣлъ въ новыхъ судебныхъ мѣстахъ; то полагаетъ, что чтеніе процессовъ можетъ замѣнить чтеніе романовъ (?), и потому выбираетъ процессы, отличающіеся *психическимъ* интересомъ; то думаетъ доставить присяжнымъ засѣдателямъ случай приобрести навыкъ въ обсужденіи уловокъ преступника, доказательственности улики и проч., для чего выбираетъ процессы, имѣющие чисто *юридическій* интересъ; то ему хочется доказать, что дѣла въ нашихъ новыхъ судебныхъ мѣстахъ рѣшаются «устно, публично, быстро» и что у насъ есть даровитые судьи, прокуроры и адвокаты, «во многомъ не уступающіе судебнымъ дѣятелямъ Западной Европы»; то становятся для него на первомъ мѣстѣ цѣли патріотическія и онъ печатаетъ процессъ, характеризующій, по его мнѣнію, «abberацию мышленія» поляковъ; то, на-ко-

нецъ, цѣли педагогическія, въ виду которыхъ онъ стремится показать выгоды служенія законному правительству и т. д. Положимъ, что все это цѣли весьма почтенныя; но, свидѣтельствуя въ пользу благонамѣренности издателя, ихъ разнъ и количество свидѣлствуютъ въ то же время о нѣкоторой его безалаберности. У семи нянекъ дитя безъ глаза, у книги со многими смыслами ихъ собственно нѣтъ ни одного. Мы полагаемъ, что наткнемся на общій смыслъ сборниковъ въ оглавленіи, думая, что г. Любавскій представитъ здѣсь посильную классификацію преступленій. Принятыя имъ въ основаніе классификаціи свойства преступленій и опредѣлили бы планъ изданія. Но порядокъ, въ которомъ расположены процессы, просто поразителенъ. Такъ, первый томъ имѣетъ слѣдующія рубрики: *А) По обвиненію супруговъ въ убійствѣ или покушеніи на убійство. Б) Разные случаи убійства. В) Разные процессы.* Какой смыслъ имѣетъ эта классификація? Рубрика *В*, очевидно, обнимаетъ собою объ предъидущія, точно также какъ въ рубрикѣ *В* заключается и рубрика *А*. И, дѣйствительно, напримѣръ, дѣла подъ №№ XIX и XX, отнесенныя къ «разнымъ случаямъ убійства», оказываются дѣлами по обвиненію супруговъ въ убійствѣ или покушеніи на убійство, и, слѣдовательно, должны быть отнесены къ рубрикѣ *А*. Точно также бессмысленно и безцѣльно раздѣленіе рубрики *В* на три отдѣленія. Это все равно, какъ если бы мы вздумали описывать, ну, хоть самовары, что ли, и для удобства раздѣлили бы ихъ на *А)* самовары изъ желтой мѣди, *В)* самовары мѣдные и *С)* самовары металлическихъ. Эти рубрики ничѣмъ не хуже рубрикъ г. Любавскаго. И это онъ называетъ «расположеніемъ, по возможности, въ систематическомъ порядкѣ» (введеніе къ первому тому). Столь же безобразно сгруппированы процессы и въ остальныхъ томахъ. Напримѣръ, въ четвертомъ томѣ напечатано, безъ всякихъ уже попытокъ классификаціи, 58 дѣлъ, которыя почти всѣ разрѣшены военнымъ генералъ-аудиторіатомъ. Затѣмъ, кромѣ этого, чисто формальнаго признака, дѣла эти не имѣютъ между собою ничего общаго. Здѣсь свалены въ кучу дѣла по упущеніямъ по службѣ, по дуэлямъ, по жестокому обращенію съ подчиненными, по расхищенію казеннаго имущества, по кражамъ, грабежамъ, по самозванству, изнасилованію, контрабандѣ, убійству, кровосмѣшенію, двоеженству, святотатству и т. д.

Изъ такого отсутствія плана слѣдуетъ заключить, что его у г. Любавскаго и не было; онъ помѣщалъ въ сборники все, что подвертывалось подъ руку. Есть, говорятъ, повара такіе, что валяютъ въ кушанье все, что по-

падется, — лукъ, перецъ, капусту, кардамонъ, — лишь бы горячо вышло. Г. Любавскій, по всей вѣроятности, придерживался того же правила, а что горячо выйдетъ, въ этомъ ему и сомнѣваться нечего было: за это ручались и постоянные вкусы публики къ пикантнымъ рассказамъ, и вкусы временные, въ виду судебной реформы. Нажить лишнюю копейку, пользуясь настроеніемъ общества, — желаніе очень естественное. Но издателямъ надо же и честь знать. Если публика набрасывается, вслѣдствіе какихъ бы то ни было побужденій, на уголовные процессы, — прекрасно, давайте ей процессы и наживайте копейку; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы процессы эти надо было издавать безъ всякаго смысла. Мы осмѣливаемся преподать г. Любавскому на будущее время нѣсколько практическихъ совѣтовъ, потому что считаемъ затѣянное имъ дѣло въ принципѣ въ высшей степени важнымъ и полезнымъ. Самое лучшее было бы, разумѣется, если бы г. Любавскій поручилъ составленіе сборниковъ кому-нибудь потолковѣе, но этого онъ, по всей вѣроятности, не захочетъ сдѣлать. Хорошо бы было также, если бы г. Любавскій самъ выработалъ себѣ какую-нибудь опредѣленную руководящую нить, но этого онъ, по всей вѣроятности, не можетъ сдѣлать. Поэтому мы совѣтовали бы г. Любавскому дѣйствовать на чистоту, не мудрствуя лукаво, и отбросить всякія тенденціи. Можетъ быть, тогда лучше будетъ. Это вѣдь иногда бываетъ. Говорятъ, что Людовикъ XVI имѣлъ всегда въ виду исторію Карла I и, дабы избѣжать его участи, норовилъ всегда выбрать путь, противный тому, по которому шелъ король англійскій. Тѣмъ не менѣе Людовикъ XVI погибъ на эшафотѣ, а между тѣмъ, — кто знаетъ, — можетъ быть и уцѣлѣлъ бы, если бы не задавался никакимъ планомъ. Съ Іаковомъ II было, говорятъ, нѣчто въ этомъ же родѣ. Обращая вниманіе г. Любавскаго на эти поучительные примѣры, мы повторяемъ ему нашъ совѣтъ: *faute de mieux* бросить всякіе планы и тенденціи. Если онъ желаетъ заявить свой патріотизмъ, отдать должную дань храбрости русскихъ войскъ и даровитости русскихъ прокуроровъ и адвокатовъ, предостеречь эмигрантовъ или чти-нибудь въ этомъ родѣ, — Боже мой! — есть столько прекрасныхъ и вполне современныхъ періодическихъ изданій, гдѣ онъ все это можетъ изложить гораздо обстоятельнѣе и краснорѣчивѣе. А то, напримѣръ, дѣло подольскихъ предводителей дворянства, помѣщенное г. Любавскимъ ради цѣлей весьма одобрительныхъ и благонамѣренныхъ, но нѣсколько побочныхъ, не имѣетъ никакого интереса. Фактъ всѣмъ извѣстенъ, показанія подсудимыхъ всѣ одинаковы, а они занима-

ютъ больше печатнаго листа, притомъ же и самое дѣло было уже напечатано и перепечатано г. Любавскимъ безъ всякихъ дополненій. Или, напримѣръ, дѣла, напечатанныя въ пятомъ томѣ (процессы гг. Пыпина и Жуковскаго, Суворина, Гаевского и Яковлева, Протопопова). Г. Любавскимъ они перепечатаны, какъ онъ объясняетъ, для того, чтобы разсѣять недовѣріе къ новому суду. Но вѣдь дѣла эти извѣстны, они были уже напечатаны много разъ, и если они могутъ опарировать предполагаемый г. Любавскимъ пессимизмъ, то ужъ отпарировали; а если не могутъ, такъ зачѣмъ же ихъ печатать? Г. Любавскому и вообще слѣдуетъ нѣсколько поукротить себя. Человѣкъ онъ, должно быть, пылкій, порока и неправды не терпитъ, поэтому нѣтъ-нѣтъ, да и вставить вдругъ, что называется, ни къ селу, ни къ городу свое примѣчаніе; и примѣчаніе, вслѣдствіе, надо полагать, пылкости и необдуманности, болѣе или менѣе негѣлое. Читаете вы, напримѣръ, слѣдующее: «Во время нахождения въ плѣну Кохановичъ обращался съ просьбою къ французскому правительству о вознагражденіи его за вещи, оставленныя въ Клинбурнѣ и потомъ утраченныя». Послѣ этихъ словъ вы видите звѣзду, т. е. знакъ примѣчанія (*) и, руководимые этою звѣздой, гѣзете въ нижній этажъ страницы для прочтенія такой выноски издателя: «*Не можемъ не замѣтить*, насколько подобная просьба, обращенная къ враждебному правительству, несовмѣстна съ званіемъ русскаго генерала». Вы пожмаете плечами и идете дальше. Читаете дѣло оскорбленія въ церкви чиновникомъ Матвѣевымъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Писарева. Опять звѣзда указываетъ на примѣчаніе издателя: «*Не можемъ не замѣтить*, что со стороны дѣйств. стат. совѣт. Писарева, какъ губернатора, было весьма неблагоприятно снизойти въ церкви до личныхъ объясненій съ чиновникомъ Матвѣевымъ, который былъ извѣстенъ въ губерніи своими буйными поступками. Но это, конечно, нисколько не уменьшаетъ вины Матвѣева». Вы опять пожмаете плечами и принимаетесь за процессъ объ убійствѣ подпоручицы Варвары Петровой; опять натываетъ на звѣзду, и опять неугомонный г. Любавскій жужжитъ въ примѣчаніи: «*Не можемъ не указать* ея эту смѣлость преступницы, явившейся къ квартальному надзирателю по совершеніи убійства». Приводя рѣчь прокурора судебной палаты, г. Тизенгаузена, по дѣлу гг. Пыпина и Жуковскаго, г. Любавскій опять говоритъ въ выноску: «*Не можемъ не признать* рѣчи г. прокурора — образцомъ ораторскаго краснорѣчія». По дѣлу г. Протопопова г. Любавскій тоже «*не можетъ не выразить* сожалѣнія, что въ судъ не былъ вызванъ въ

качества эксперта профессоръ Балинскій». Точно также, по поводу рѣчи защитника г. Протопопова, г. Любавскій «не можетъ не заметить, сколь мало эти доводы съ юридической точки зрѣнія выдерживаютъ критику и какъ легко они могли быть обращены противъ подсудимаго». По поводу одного убійства, совершеннаго въ припадкѣ бѣшенства, г. Любавскій торопится доложить: «Не можемъ не указать, какъ часто врачи гадательныя предположенія и слухи, безъ надлежащей провѣрки, выдаютъ за факты». Излагая исторію одной дуэли, издатель опять-таки «не можетъ не заклеймить низкій поступокъ Адамовича презрѣніемъ». Вы, наконецъ, теряете терпѣніе. Ахъ, почтеннѣйшій, говорите вы, неужто ужъ вы утерпѣть не можете?—Не могу, отвѣчаетъ г. Любавскій, характеръ ужъ такой, не могу не указать.—И начинаетъ указывать и на то, что статья г. Жуковскаго «Вопросъ молодого поколѣнія» написана «со всѣми признаками полемическаго памфлета, съ желчнымъ увлеченіемъ, и любопытна лишь какъ образецъ: рѣзкой, безцеремонной печатной брани»; и на то, что г. Жуковскій «принадлежитъ къ тѣмъ прямодушнымъ писателямъ, которые съ полною откровенностью и безъ прикрасы высказываютъ свое мнѣніе»; и на то, что «нѣтъ сомнѣнія, что какое-то предопредѣленіе соединяетъ убійцу съ жертвою преступленія и способствуетъ открытію злодѣяній» (т. I, стр. 401), и еще на разныя, разныя разности. Иногда г. Любавскій буквально ни съ того, ни съ сего вдругъ заявить, что, вопреки мнѣнію медицинскаго совѣта, онъ убѣжденъ, что такой-то поступокъ подлежитъ вмѣненію, и никакихъ дальнѣйшихъ поясненій не даетъ; а то такъ столь же неожиданно и кратко поддержать своимъ авторитетомъ рѣшеніе сената, что—дескать—это рѣшеніе мы не можемъ не признать правильнымъ, а иной разъ такъ и не признаетъ правильнымъ или уличить какую-нибудь губернскую врачебную управу въ безграмотности. Это, г. Любавскій, все бросить надо, потому что это баловство одно. Давайте только факты, одни факты, и скажутъ вамъ читатели за это большое спасибо и деньги дадутъ, само собою разумѣется. А зачѣмъ же мѣшать собственные порывы благородныхъ чувствъ съ повѣстью чужихъ грязныхъ и кровавыхъ дѣлъ.

Еще одинъ примѣръ того, до какой степени г. Любавскій отвлекается соображеніями, совершенно посторонними. Имена нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ процессовъ обозначены сокращенно, напримѣръ, К*, Ла—въ, князь Че—кій. Мы понимаемъ такую осторожность относительно лицъ, по суду оправданныхъ, но вотъ, напримѣръ, князь Борисъ Че—кій за разныя, въ высшей степени не-

благовидныя, поступки лишенъ правъ состоянія и отданъ въ солдаты. Почему же г. Любавскій удостоилъ скрыть его имя, а тутъ же рядомъ прописываетъ полныя имена другихъ преступниковъ, виновныхъ въ дѣлахъ, гораздо менѣе позорныхъ? Имена тутъ, разумѣется, ничего не значатъ, и не бѣда, если бы ихъ и вовсе не было; но почему г. Любавскій дѣлаетъ исключеніе для князя Че—каго? Въ нѣкоторыхъ случаяхъ г. Любавскій идетъ въ своей скромности еще дальше. Напримѣръ, тайный совѣтникъ Анастасій Жадовскій обвинялся, между прочимъ, въ покушеніи на мужеложство. Г. Любавскій набрасываетъ покровъ таинственности на это преступленіе и выражаетъ его такимъ образомъ: «муж—ство». Можетъ быть, г. Любавскій скажетъ, что онъ имѣлъ въ виду общественное приличіе, щадить скромность читателя. Но мы не думаемъ, чтобы эти соображенія имѣли какой-нибудь смыслъ въ подобномъ изданіи. А главное, г. Любавскій и самъ не всегда ихъ придерживается и, говоря, напримѣръ, о преступленіяхъ крестьянина Якова Максимова, очень развязно прописываетъ даже все слово «скотоложество», которое, если ужъ на то пошло, еще болѣе способно оскорбить общественное приличіе и еще менѣе щадить скромность читателей. Спрашивается, почему же тайный совѣтникъ Анастасій Жадовскій можетъ обвиняться не иначе, какъ въ «муж—ствѣ», въ то самое время, какъ крестьянинъ Яковъ Максимовъ обвиняется въ «скотоложествѣ»? Очевидно, тутъ есть какія-то отдаленныя, одному г. Любавскому извѣстныя и доступныя соображенія.

Мы старались показать всю первостепенную важность и значеніе изученія преступленій. Г. Любавскій не понимаетъ этой важности, и, не смотря на то, что за неимѣніемъ предшественниковъ и конкурентовъ, находился относительно русскихъ уголовныхъ процессовъ въ исключительно выгодныхъ условіяхъ, увлекаемый всевозможными, неидущими къ дѣлу указаніями и соображеніями, издалъ пять безобразныхъ томовъ. Тѣмъ не менѣе матеріалъ самъ по себѣ такъ богатъ, что, помимо воли издателя, въ сборники вошли многіе чрезвычайно характеристическіе процессы. Краткимъ изложеніемъ ихъ мы и займемся. Не наша вина, если изложеніе это будетъ скудно и фактами, и выводами.

Мы начнемъ съ дѣлъ, характеризующихъ отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ при крѣпостномъ правѣ. На это у насъ есть многія причины. Во-первыхъ, крѣпостное право представляетъ въ нашемъ недавнемъ прошломъ наиболѣе выдающуюся черту, и вліяніе его сказывается въ такихъ сферахъ, которыя, повидимому, стоятъ внѣ всякой связи съ отношеніями помѣщиковъ къ крестьянамъ и

крестьянъ къ помѣщикамъ. Далѣе, мы живемъ въ такое время, когда особенно полезно оглянуться назадъ. Лѣтъ десять тому назадъ статьи по всѣмъ вопросамъ, начиная съ государственнаго управленія и кончая скотоводствомъ, начинались словами: «въ настоящее время, когда» и проч. Періодъ этотъ прошелъ, но и нынѣ, если статьи и не начинаются этими утѣшительными словами, то каждый повторяетъ ихъ довольно часто, по крайней мѣрѣ мысленно. То было «настоящее время, когда прогрессъ, желѣзныя дороги, гласность, акціонерныя компаніи, пароходство и проч.», а теперь — «настоящее время, когда мировые суды, земство, гласное судопроизводство, этнографическія выставки и проч.» Въ такіе любопытные періоды исторіи человѣкъ ходитъ гоголемъ, подбоченъ, рассматриваетъ въ зеркалѣ свою фізіономію и посыпаетъ душистой пудрой неблагоприятныя прыщи. Гордо поднявъ голову, спрашиваетъ онъ: кто на ны? мы-ли не мы и сапоги-ли у насъ не со скрипомъ. — Человѣкъ весь живетъ настоящимъ временемъ, прошедшее онъ забылъ, а потому не думаетъ и о будущемъ. А между тѣмъ прошедшее не сквозь землю провалилось и плѣнительное настоящее имъ въ значительной степени опредѣляется. Поэтому, если у насъ за плечами, въ нашемъ прошедшемъ есть какой-нибудь крупный общественный фактъ, опредѣлявшій въ свое время строй общества, то нѣтъ возможности предположить, чтобы съ прекращеніемъ факта исчезли и всѣ составлявшіе его элементы. Они иначе сгруппировались, получили новый видъ, но они существуютъ, и уничтожить ихъ не можетъ никакое законодательство. Въ періоды «настоящаго времени, когда» и проч., это забывается. Поэтому тѣ десятка полтора уголовныхъ дѣлъ, возникшихъ изъ крѣпостныхъ отношеній, которые мы находимъ въ сборникахъ г. Любавскаго, являются очень естаты.

III.

Въ 1851 г., 7-го декабря, въ имѣніи помѣщицы Карцовой (Херсонской губ., Бобринецкаго уѣзда) зарѣзался одиннадцатилѣтній мальчикъ, крестьянинъ Бѣликъ. Какъ водится, наряжено было слѣдствіе, по которому оказалось, что Бѣликъ зарѣзался изъ страха наказанія за сдѣланное имъ воровство. Дѣло было такъ. 5-го декабря мужъ помѣщицы, поручикъ Иванъ Карцовъ, зашелъ на конюшню и услышалъ при этомъ бряканіе въ карманѣ кучера Тимоѣея Шраменки, крѣпостного человѣка г-жи Карцовой. Карцовъ пожелалъ узнать, что звенитъ въ карманѣ у кучера, и велѣлъ его обыскать; найдено было два полуимперіала и двугривенный. На вопросъ, откуда у него столько денегъ, Шра-

менко объяснилъ, что получилъ ихъ отъ бывшихъ недавно у Карцова гостей. Карцовъ не повѣрилъ и 7-го декабря сталъ опять разспрашивать Шраменку о происхожденіи денегъ. Шраменко отвѣчалъ, что скажетъ объ этомъ наединѣ съ нимъ, помѣщикомъ. При этомъ находился и одиннадцатилѣтній Бѣликъ, бывшій всегда при Карцовѣ для прислуги. Когда Карцовъ повелъ Шраменку къ себѣ, то Бѣликъ шелъ за ними, но, не войдя въ комнаты, остался въ сѣняхъ. Шраменко объяснилъ Карцову, что деньги онъ получилъ отъ Бѣлика 5-го декабря, завернутыми въ тряпку, причемъ Бѣликъ, говоря, что въ тряпкѣ *три двугривенныя*, просилъ его, Шраменку, купить въ ближнемъ селеніи *20 бубликовъ и 10 кремней*. Тогда Карцовъ сталъ звать Бѣлика, но того въ сѣняхъ уже не было. Бѣлика стали искать и нашли въ канавѣ, недалеко отъ дома, зарѣзавшимся. При немъ найдена бритва, которая, равно какъ и деньги, найденныя у Шраменки, по показанію Карцова, украдены у него.

Потому-ли, что личность Карцова освѣщалась этимъ событіемъ нѣсколько подозрительнымъ свѣтомъ, или по чему другому, но Бобринецкій земскій судъ опредѣлилъ произвести повѣрку слѣдствія на мѣстѣ своему временному отдѣленію. На передопросѣ 21 марта Тимоѣей Шраменко сдѣлать доносъ на поручика Карцова по множеству уголовныхъ дѣлъ. Карцовъ преданъ въ іюлѣ 1852 уголовному суду, а 1-го мая 1853 государь императоръ повелѣлъ судить его военнымъ судомъ. Тутъ открылся цѣлый рядъ страшныхъ преступленій и многолѣтняго беззавѣтнаго, жестокаго произвола. Надо замѣтить, что Карцовъ управлялъ имѣніемъ жены двадцать лѣтъ.

Относительно себя Тимоѣей Шраменко показавъ слѣдующее. Года три тому назадъ онъ былъ въ бѣгахъ отъ жестокаго съ нимъ обращенія Карцова, который, въ бытность его въ Одессѣ, «билъ его обнаженною саблею среди улицы за то, что показатель не привелъ ему на ночь дѣвки. По поимкѣ-же изъ бѣговъ, онъ снова претерпѣвалъ безвинно частыя наказанія». Кромѣ того, Шраменко указавъ на многія другія, почти невѣроятныя жестокости, и одиѣ изъ первыхъ уликъ были предъявлены родными Карцова. Корнетъ Грамашевскій, женатый на дочери подсудимаго, въ отзывѣ своемъ объяснилъ, что, «проживая нѣкоторое время въ домѣ его (Карцова), онъ былъ частью свидѣтелемъ, частью узналъ ужасныя происшествія, вслѣдствіе которыхъ, онъ вынужденъ просить защиты. Карцовъ, дойдя до высшей степени жестокости, нѣсколько разъ съ столетомъ кидался на жену свою, требуя отъ нея, чтобы она отписала на него половину

«своего имѣнія, и угрожая убить ее за невыполненіе этого требованія. Кромѣ того, Карцовъ, продавая всю движимость, приводилъ имѣніе жены въ разореніе и до того жестокъ съ крестьянами, что въ то время, какъ онъ, Грамашевскій, жилъ въ домѣ его, едва ли хотя одинъ изъ дворовыхъ людей оставался въ продолженіе дня ненаказаннымъ». Жена Карцова показала, что, кромѣ безпрестанныхъ жестокихъ побоевъ, мужъ «обваривалъ ее кипящею водою и жегъ свѣчой, а когда она не соглашалась отдать ему половину своего имѣнія, то Карцовъ угрожалъ убить ее изъ пистолета» при свидѣтеляхъ. «Обыкновенная его угроза состояла въ словахъ: «убью тебя и твою дочь и надѣлаю человѣческаго мяса». Вслѣдствіе такого обращенія и жестокостей мужа своего она не смѣла распорядиться ни хозяйствомъ, ни крестьянами, съ которыми Карцовъ обращался весьма жестоко; онъ водилъ крестьянъ въ цѣпяхъ и рогаткахъ».

По слѣдствію оказалось, что крестьяне и особенно дворовые Карцовой очень часто брались на цѣпь, заковывались въ кандалы, причемъ надѣвались имъ на шею рогатки. Люди съ рогатками на шеѣ ходили даже на барщину. Одинъ сосѣдъ помѣщикъ видѣлъ, какъ крестьянинъ въ цѣпяхъ покрывалъ крышу дома соломой. Одного крестьянина Карцовъ наказалъ розгами до 200 ударовъ за то, что отъ плуга ночью ушли двѣ пары воловъ въ деревню. За это же преступленіе потерпѣлъ такое же наказаніе еще одинъ крестьянинъ, и Карцовъ собственноручно поливалъ потомъ разсѣченные мѣста перцовкой, приговаривая: «не кричите, вотъ я васъ полью перчикой». Мать донесшаго на Карцова Шраменки, не выдержавъ каторжной жизни, бѣжала вмѣстѣ съ другими, но послѣ трехлѣтняго бродяжничества была возвращена на мѣсто жительства. Карцовъ высѣкъ ее, посадилъ на цѣпь и надѣлъ на шею желѣзную рогатку, въ которой она пробыла сряду до пяти недѣль, исполняя постоянно и господскую службу. Потомъ рогатка была съ нея снята, но съ цѣпи ее спускали только на день, на работы, и это тянулось ни больше, ни меньше, какъ пять лѣтъ. Цѣпью она приковывалась за ногу. Улучивъ минуту, Шраменкова, съ рогаткой на шеѣ, бросилась разъ въ воду, но ее вытащили. Карцовъ прибилъ ее и опять посадилъ на цѣпь, отъ которой она освободилась только за три года до самоубійства Бѣлика. Крестьянинъ Яковлевъ содержался четыре года на господской кухнѣ заключеннымъ въ кандалахъ и закованнымъ цѣпью за шею, умеръ въ такомъ положеніи, и кандалы, и цѣпь сняли съ него уже съ мертвого. Утонченная жестокость Карцова, придумавшаго поливаніе

сѣченнаго тѣла водкой (да еще не простой, а настоенной на перцѣ), внушила ему остроумную мысль не допустить жену Яковлева до трупа мужа. Такъ она его и не видала, потому что страдалецъ не былъ даже погребенъ, а зарытъ, какъ собака. Зато жена Яковлева имѣла по крайней мѣрѣ печальное счастье присутствовать при смерти сына, который, какъ и отецъ (и вмѣстѣ съ нимъ, на одной кухнѣ), содержался на цѣпи тоже четыре года. Послѣ смерти мужа, она вымолила у Карцова къ себѣ больного сына. Снять съ него цѣпь ни она, ни другіе, безъ приказа барина, не рѣшались. «Видя, что черезъ цѣпь нельзя было снять штаны съ сына, больного и опухшаго, показательница разорвала штаны и посадила его въ ванну съ цѣпью. На другой день пошла къ Карцову и выпросила у него со слезами освобожденіе отъ цѣпи». Скоро Карцовъ потребовалъ Яковлева опять къ себѣ во дворъ и однажды такъ избилъ его цѣпомъ, что онъ вскорѣ послѣ того и умеръ. Кромѣ Шраменковыхъ и Яковлевыхъ, многіе другіе сидѣли на цѣпи и въ рогаткахъ по нѣскольку лѣтъ. Независимо отъ сего, Карцовъ не пускалъ крестьянъ исповѣдываться и причащаться и заставлялъ ихъ исповѣдываться или другъ у друга или у сосѣдняго еврея, что и исполнялось при немъ, Карцовѣ. Передерживалъ онъ кромѣ того бродягъ, совершалъ незаконные (по возрасту брачующихся) браки, бралъ съ собой крестьянокъ въ баню, словомъ—не стѣснялся ничѣмъ. За всѣ эти двадцатилѣтніе подвиги Карцовъ сосланъ въ каторжную работу на десять лѣтъ.

Вотъ первый экземпляръ русскихъ преступниковъ. Правъ г. Любавскій, утверждая, что русская уголовная практика интересна не менѣе, если не болѣе, практики иностранной. Еще бы! «Если бы существовалъ такой человѣкъ, какъ старикъ Ченчи въ драмѣ Шелли, говорить Гризингеръ («Душевные болѣзни», стр. 52), то у него, конечно, можно было бы всякій разъ предсказать рѣшеніе въ пользу зла, какъ неизбежное; но такихъ людей нѣтъ». А это что же, вотъ этотъ самый поручикъ Иванъ Карцовъ, сужденный отъ Р. Х. въ 1853 году? Это вѣдь уже почти «настоящее время, когда» и проч. захватывается. А что же раньше было? Волосъ дыбомъ становится при одной мысли о томъ, какіе стоны и проклятія замерли тамъ, въ нашемъ прошлѣ, какіе чудовищные образы стоятъ за нами... Карцовъ созданъ самымъ общественнымъ положеніемъ его. Спрашивается, какое возмездіе можетъ искупить эти двадцать лѣтъ мучительства, сколько лѣтъ и какъ долженъ стонать Карцовъ, чтобы, по принципу абсолютной справедливости, заглушить стоны замученныхъ имъ? Едва-ли кто-нибудь возъ-

мется слѣдять этотъ расчетъ. Далѣе, какой психическій переворотъ долженъ пережить Карцовъ, чтобы характеръ его, въ продолженіе двадцати лѣтъ складывавшійся въ одномъ направленіи, получилъ толчокъ въ противоположную сторону? Ясно, что ничто, кромѣ кореннаго измѣненія самыхъ основъ ихъ социального положенія, не въ силахъ было вывести Карцовыхъ. Мы говоримъ *Карцовыхъ*, потому что поручикъ Иванъ Карцовъ, разумѣется, не единственный экземпляръ въ своемъ родѣ. И въ тѣхъ же сборникахъ г. Любавскаго мы можемъ прочесть дѣянія его братьевъ по духу. Въ концѣ сороковыхъ годовъ судился помѣщикъ Дмитрій Трубицынъ за такіа дѣла. Одного крестьянина обокрали, и Трубицынъ подозрѣвалъ въ этомъ крестьянъ же Никитина и Ѳедорова. Чтобы добиться отъ нихъ признанія, Трубицынъ «приказалъ приказчику своему, бывшему въ годовомъ отпуску рядовому лейбъ-гвардіи семеновскаго полка Петру Дмитріеву, вѣшать каждого изъ нихъ порознь на перекладинѣ каретнаго сарая за палецъ до тѣхъ поръ, пока не сознаются въ кражѣ. Посему Дмитріевъ, приведя Никитина въ каретный сарай, привязалъ тамъ къ указательному его пальцу правой руки пропущенную черезъ перекладину ремennую свору и съ помощью дворового человѣка Николая Игнатьева подтягивалъ его кверху болѣе двухъ часовъ времени. Дмитріевъ, вымогая признаніе, билъ Никитина по лицу. Горбатовы (сосѣдніе помѣщики) смотрѣли на истязаніе изъ окна квартиры Трубицына, а самъ Трубицынъ для наблюденія выходилъ на крыльцо. Затѣмъ, когда съ пальца соскочилъ ремень вмѣстѣ съ тѣломъ и Никитинъ отъ боли упалъ на землю, то Дмитріевъ, привязавъ свору вторично за кисть лѣвой руки, тянулъ ее кверху черезъ перекладину не менѣе получаса и, вынудивъ такимъ образомъ признаніе, отвелъ его въ квартиру Трубицына, гдѣ ему дѣвкою Анною Филиповою поврежденный палецъ былъ обмытъ виномъ и обвязанъ тряпкою». Точно также было вынуждено признаніе и у Ѳедорова, съ тою только разницею, что его вѣшали на гитарной струнѣ, которая, отъ удара Ѳедорова Дмитріевымъ по лицу, оборвалась. Прекрасный, слабый полъ, въ лицѣ супруги Трубицына, не оказалъ въ этомъ дѣлѣ особенной мягкости: г-жа Трубицына посылала свою служанку въ сарай смотрѣть на истязаніе, говоря, что она будетъ съ подвластными ей женщинами поступать точно такъ же.

Любопытно слѣдить за тѣнью, которая ложится въ этихъ дѣлахъ отъ помѣщиковъ на крестьянъ. Крѣпостные Карцова и Трубицына обращаются въ совершенныхъ звѣрей, и позорная въ глазахъ народа роль палача исполняется ими безпрекословно. Они пря-

чутъ отъ слѣдователей тѣ самыя цѣпи и рогатки, которыя носили на своихъ шеяхъ. Какъ говорить старикъ Гомеръ:

„Жребій печальный тяжелаго рабства из
бравъ человѣку,
Лучшую доблестей въ немъ половину Зе-
весь истребляетъ“.

Трубицынъ и Карцовъ даже во время производства слѣдствія страдали тѣхъ изъ своихъ дворовыхъ, которые были орудіями пытки, тѣмъ, что за сознаніе соплотъ ихъ въ Сибирь или засѣкутъ. Мудрено ли, что при такихъ условіяхъ крестьяне Карцова двадцать лѣтъ терпѣли и страдали молча, и терпѣли бы еще больше, если бы сравнительно неважный случай—самоубійство Бѣлика—не вызвалъ слѣдствія.

Замѣчательно, что почти во всѣхъ найденныхъ нами у г. Любавскаго процессахъ по жестокому обращенію помѣщиковъ съ крестьянами выдается одна общая черта. Крестьяне терпятъ, терпятъ и, наконецъ, какое-нибудь пустое дѣло, начатое по инициативѣ администраціи, вызываетъ цѣлые вороха жалобъ и раскрывается рядъ гнуснѣйшихъ злоупотребленій. Напримѣръ, дѣло о жестокостяхъ тайнаго совѣтника Жадовскаго началось такъ. Полицейскій десятскій деревни Чишмы, Оренбургской губерніи, донесъ бирскому земскому исправнику, что Жадовскій на почтовой станціи въ означенной деревнѣ производитъ буйство, бьетъ писаря и ямщиковъ, стрѣляетъ изъ ружья въ народъ и выбилъ изъ одиннадцати рамъ стекла. Это было въ 1855 году. Какъ только началось это дѣло изъ-за разбитыхъ стеколъ, молчавшіе до тѣхъ поръ, забитые крестьяне стали одинъ за другимъ жаловаться на жестокое обращеніе съ ними Жадовскаго. Скоро этихъ жалобъ накопилось столько, что 17-го апрѣля того же года оренбургскій губернаторъ призналъ нужнымъ произвести по нимъ слѣдствіе. Жалобы были такого рода: «Крестьянскія жены Пелагея Михайлова, Прасковья Григорьева, Аграфена Филипова, Авдотья Ильина и Александра Власова за священническимъ увѣщаніемъ показали, что онѣ, бывъ дѣвками, растлѣны въ комнатахъ Жадовскаго, первыя двѣ по его приказанію кучеромъ Портновымъ, третья Яковомъ Еруслановымъ, *при наблюдении барина*, а послѣднія двѣ самимъ Жадовскимъ. Затѣмъ многія женщины показали, что Жадовскій и на нихъ имѣлъ подобныя виды, но не успѣлъ». «Мужья растлѣнныхъ подтвердили, что жены ихъ не имѣли дѣвства и что нѣкоторымъ изъ показателей позволялъ баринъ жениться съ условіемъ въ первую ночь привести къ нему жену». «Ѳома Исаевъ показалъ, что лѣтъ 8 тому назадъ Жадовскій предлагалъ ему склонить на муж—ство бывшаго при немъ мальчика Егора Молчанова,

на что онъ, Исаевъ, не рѣшился. Вотчимъ и мать того мальчика показали, что они отъ Егора объ этомъ получили письмо, за что послѣдній былъ впоследствии отправленъ въ депо и отданъ въ солдаты. Яковъ Еруслановъ объяснилъ, что на спросъ его, за что баринъ отправляетъ его, Егорова, въ депо, послѣдній отвѣчалъ, что за отказъ въ муж—ствѣ. Мальчикъ Егоръ Борисовъ показалъ, что, домогаясь сего, Жадовскій сначала отправилъ его въ костромское имѣніе, потомъ держалъ подъ арестомъ въ пожарной командѣ годъ и три мѣсяца, гдѣ наказалъ розгами три раза и, наконецъ, отдалъ въ солдаты». «Крестьяне села Анастасьева показали, что весной 1855 г. Жадовскій бесплатно отягощалъ ихъ вывозомъ и разсадкою деревьевъ, тогда какъ сосѣдніе крестьяне занимались пашнею и посѣвомъ. Это подтвердили управляющій имѣніемъ и вотчинная контора». Тогда же Жадовскій «уничтожилъ ворота и часть изгородей около озимыхъ крестьянскихъ полей, чрезъ что далъ свободный доступъ скоту и воспретилъ сгонять его». Это подтверждено управляющимъ и бирскимъ предводителемъ дворянства. Крестьяне «Петровъ и Горошковъ за священническимъ увѣщаніемъ показали, что распоряженіе о запечатаніи ихъ домовъ послѣдовало по неудачному преслѣдованію Жадовскимъ у перваго несовершеннолѣтней дочери, а у втораго молодой снохи. Что касается до запечатанія домовъ у Филипова и Савельева, по причины, по объясненію женъ ихъ, имъ неизвѣстны. Обстоятельство это подтвердили односельцы и предводитель дворянства въ рапортѣ начальнику губерніи». Три крестьянина показали, что, по приказанію Жадовскаго, у нихъ заколото у одного два теленка, у другаго двѣ свиньи, а у третьяго коза и свинья, при выходѣ ихъ на площадь. Кромѣ того, крестьяне показали, что изъ запаснаго магазина Жадовскимъ былъ взятъ ихъ хлѣбъ на винокурение, въ количествѣ 1,915 пудовъ. «Крестьянинъ Иванъ Ламакинъ объявилъ, что неизвѣстно почему чрезъ управляющаго отобраны у него: 5 лошадей съ упряжью, одна корова, 10 овецъ, 10 куръ и 200 аршинъ холста, а впоследствии возвращены ему только одна лошадь, корова и двѣ овцы; у Никиты Парфенова—двѣ лошади, три коровы, теленокъ и двое саней; у Ѳедора Максимова—лошадь, съ дачею за нее 17 р. асс. и 10 пуд. муки, тогда какъ за лошадь давали ему 120 рублей; у Павла Евстигнѣева—изба, и сверхъ сего у многихъ другихъ крестьянъ было взято 36 лошадей для поѣздки въ Москву на 13 недѣль безъ всякой платы, а крестьянину Куленкову не дано вознагражденія за лошадь, павшую въ дорогѣ. Отъ изнуренія многія другія лошади по воз-

ращеніи пали. Это подтвердила и вотчинная контора». Весною изъ села Анастасина бѣжало 39 человѣкъ крестьянъ, напуганныхъ проектомъ ихъ рассассированія. А рассассированы они были въ именномъ списокѣ, написанномъ рукою Жадовскаго, такъ: въ рекруты 34 человѣка, въ ополченіе 21, въ Сибирь 6, въ костромское имѣніе 5 и, кромѣ того, Жадовскій уполномочилъ довѣренностью своего приказчика отдать 93 крестьянъ въ солдаты. Изъ числа подвергшихся этому распоряженію, подъ увѣщаніемъ священника, показали: одинъ, что онъ назначенъ въ солдаты «за непредставленіе послѣ брака *невиною* (творительный падежъ) жены своей къ барину»; другой—«за отказъ послѣ первой ночи въ совокупленіи съ женой, а прочіе за разные маловажные поступки, нѣкоторые же неизвѣстно за что». Жадовскій билъ крестьянъ палкой и розгами, нѣкоторымъ обрилъ половину головы и бороды за ничтожные проступки. Дворовый Илья Соколовъ показалъ, что, «женившись на дѣвкѣ Евстигнѣевой, за недачу ея Жадовскому для любодѣянія, онъ былъ битъ Жадовскимъ на каждой станціи, когда проѣзжалъ изъ Москвы въ Малоярославецъ, и жестоко избитымъ оставленъ былъ въ такомъ положеніи, на что показатель жаловался городничему. Малоярославецкій городничій ссылку Соколова подтвердилъ». По освидѣтельствованіи Соколова оказалось, что «носъ у него въ ненормальномъ положеніи, на переносы опухоль, выше правой брови красноватая опухоль съ гноевиднымъ струпомъ, на головѣ съ правой стороны три струпа, за правымъ ухомъ опухоль въ полъ-орѣха». Крестьяне показали, что помѣщикъ обременяетъ ихъ работами и запрещаетъ имъ заниматься сторонними работками, отчего они впали въ крайнюю нищету, тѣмъ болѣе, что контора платила имъ прежде отъ 50 к. до 5 р. въ годъ, а нынѣ и того не платитъ. Отъ оброка Жадовскій не освобождалъ даже «больныхъ и немощныхъ».

Вотъ что всплыло на верхъ послѣ дѣла о разбитыхъ на почтовой станціи стеклахъ. Замѣчательно, что Жадовскій, совершенно такъ же, какъ и Карцовъ, приводилъ въ свое оправданіе то обстоятельство, что крестьяне двадцать лѣтъ (даже цифра одна и та же) на него не жаловались. До чего доходила заботистость крѣпостныхъ и страхъ передъ помѣщикомъ, можно видѣть изъ дѣла о помѣщикѣ Викторѣ Страшинскомъ, сужденномъ за злоупотребленіе помѣщичьей власти, сопровождаемое развратнымъ поведеніемъ.

Страшинскій представляетъ собою типъ, болѣе близкій къ Жадовскому, чѣмъ къ Карцову. Въ то время, какъ Карцовъ и

Трубицныя изощряются въ пыткахъ, поливаютъ съеченныя мѣста перцовкой, водятъ людей на цѣпяхъ, въ кандалахъ и рогаткахъ, подвѣшиваютъ ихъ за пальцы на струнахъ,—Жадовскій и Страшинскій направляютъ свое творчество, главнымъ образомъ, въ сферы клубнички. О подвигахъ Страшинскаго было произведено три слѣдствія. Первое слѣдствіе было начато въ 1845 г., по распоряженію земскаго исправника, на основаніи словеснаго извѣщенія священника села Мшанецъ, о производимыхъ Страшинскимъ изнасилованіяхъ и растлѣніяхъ крестьянскихъ дѣвушекъ. При слѣдствіи сельскій сотникъ показалъ, что Страшинскій или требуетъ крестьянокъ къ себѣ въ село Тхоровку, или пріѣзжаетъ самъ въ Мшанецъ и насилуетъ ихъ. Указанный сотникомъ 16 крестьянокъ показали, что онѣ, дѣйствительно, растлѣны баринкомъ, и что онѣ жаловались на это своимъ роднымъ; указали онѣ и на тѣхъ, кто ихъ приводилъ къ помѣщику. Но тѣ не подтвердили этой ссылки. Отцы и матери (кромя одной) также отозвались, что они ни о чемъ въ этомъ родѣ не слыхали. Наконецъ, и сами крестьянскія дѣвушки отказались отъ своего оговора, равно какъ и священникъ села Мшанецъ. Повальнымъ обыскомъ поведеніе Страшинскаго одобрено, самъ онъ отъ всего отрекся, ссылаясь на свою старость (65 лѣтъ) и на то, что село Мшанецъ принадлежитъ на ему, а его дочери, и потому крестьянамъ, какъ ему не принадлежащимъ, покрывать его не для чего. Тѣмъ дѣло и кончилось. Смѣло можно предположить, что родители изнасилованныхъ женщинъ отперлись отъ фактовъ и сами женщины отказались отъ своего перваго показанія изъ страха барскаго гнѣва, на помощь къ которому явились еще, можетъ быть, услуги слѣдователя. Такое предположеніе оправдывается возникновеніемъ новыхъ дѣлъ того же рода. Въ томъ же году старшій засѣдатель махновскаго земскаго суда донесъ мѣстному исправнику, что Страшинскій обременяетъ крестьянъ села Кумановки барщиной, и что онъ изнасиловалъ дочерей двухъ тамошнихъ крестьянъ. Исправникъ потребовалъ изнасилованныхъ и ихъ родителей въ земскій судъ, но Страшинскій ихъ не выдалъ. Тогда исправникъ поручилъ становойму разузнать о дѣлѣ на мѣстѣ. Становой донесъ, что Страшинскій не оставилъ невиною ни одной дѣвушки въ Кумановкѣ. По распоряженію губернатора назначено было слѣдствіе, которое опять-таки кончилось ничѣмъ, потому что изнасилованныя женщины заявили почти всѣ, что онѣ Страшинскаго и въ глаза не видали. Кумановскіе жители показали также, что крестьяне Страшинскаго обременяемы барщиной не были. Разсмотрѣвъ это слѣдствіе, кіевскій губернаторъ нашелъ, что

оно «произведено было безъ всякаго вниманія и съ видимымъ намѣреніемъ оправдать Страшинскаго». Поэтому губернаторъ приказалъ переслѣдовать дѣло, а Страшинскій былъ задержанъ въ Бердичевѣ и отданъ подъ надзоръ тамошней полиціи. Новые слѣдователи повели, вѣроятно, дѣло совсѣмъ иначе, потому что изнасилованныя женщины показали теперь, что онѣ, дѣйствительно, были изнасилованы Страшинскимъ. Родители и мужья ихъ также отреклись отъ своихъ прежнихъ показаній, оправдывающихъ помѣщика. Равнымъ образомъ и повальный обыскъ оказался на этотъ разъ не столь благоприятнымъ для Страшинскаго. Но онъ ни въ чемъ не сознавался, ссылаясь попрежнему на свою старость и на то обстоятельство, что крестьяне, до сихъ поръ, на него не жаловались. Тѣмъ временемъ отъ ободренныхъ крестьянъ, по обыкновенію, посыпались жалобы, и въ 1847 году начато было новое слѣдствіе о противозаконныхъ дѣйствіяхъ Страшинскаго въ селѣ Тхоровкѣ. Тхоровцы единогласно показали, что Страшинскій «угнетаетъ ихъ повинностями, жестоко обращался съ ними, жилъ блудно съ женами ихъ, липалъ невинности дѣвокъ, изъ которыхъ двѣ умерли отъ изнасилованія, и что онъ растлилъ, между прочимъ, двухъ дѣвочекъ, прижитыхъ имъ самимъ съ женщиной Присяжниковой Жены и дочери показателей, въ числѣ 86 человекъ, объяснили, что онѣ дѣйствительно были растлѣны Страшинскимъ насильно, однѣ на 14-лѣтнемъ возрастѣ, а другія по достиженіи только 13 и даже 12 лѣтъ. Изъ нихъ 47 человекъ рассказываютъ событія, происходившія далѣе, нежели за десять лѣтъ; 30 крестьянокъ показали, что онѣ изнасилованы Страшинскимъ менѣе, чѣмъ за десять лѣтъ, шесть—за два и за три года, а семь—за годъ до начатія дѣла. Многія изъяснили, что Страшинскій продолжалъ съ ними связи и послѣ ихъ выхода замужъ, а нѣкоторые показали, что заставлялъ ихъ присутствовать при совокупленіи съ другими».

Такимъ образомъ, въ одной Тхоровкѣ, по показанію крестьянъ, изнасиловано Страшинскимъ, въ продолженіи десяти лѣтъ, восемнадцать шесть женщинъ, и крестьяне молчали. Любопытно, что, несмотря на увѣщанія слѣдователей, крестьяне отказались подписать эти свои показанія, ссылаясь на поданныя ими въ томъ же году просьбы въ сквирское духовное правленіе и кіевскому митрополиту, въ которыхъ они жаловались и на жестокое обращеніе, и на изнасилованіе женщинъ. «Затѣмъ слѣдователи просили о присылкѣ военной команды для усмиренія крестьянъ(?)»*).

Надо еще замѣтить, что, кромѣ этихъ слѣд-

* Этотъ вопросительный знакъ, надо отдать справедливость г. Любавскому, поставленъ имъ.

ствій, Страшинскій находился подъ судомъ еще въ 1832 г. за изнасилованіе крестьянокъ села Мшанць, но былъ оправданъ.

Что касается до возраста Страшинскаго, приводившагося имъ какъ аргументъ въ его пользу, то уголовная статистика свидѣтельствуесть, что возрастъ 60—80 лѣтъ есть одинъ изъ первыхъ по степени наклонности къ растлѣнію. Насильственное удовлетвореніе полового чувства вообще обусловливается физическою силой, поэтому, изнасилованіе рѣдко встрѣчается въ старческомъ возрастѣ. Но если половая дѣятельность получаетъ извращенное направленіе и если притомъ человекъ сохранилъ ее до старости, то, за отлетомъ красныхъ дней молодости, приходится пускаться въ ходъ насилие. Поэтому растлѣніе, т. е. изнасилованіе малолѣтнихъ, требующее гораздо меньшей затраты силы и иногда даже вовсе ее не требующее, есть у стариковъ преступленіе очень обыкновенное. Видоизмѣненіе этого закона крѣпостными отношеніями понятно. Омуть барства и рабства, съ которыми мы раздѣлялись только въ 1861 году, такъ сказать, настѣжь отворялъ ворота этому вліянію возраста. Вслѣдствіе отсутствія умственныхъ интересовъ, у Страшинскихъ половое раздраженіе замирало очень поздно, гораздо позже общаго физическаго расслабленія. Далѣе, для изнасилованій они и не нуждались въ физической силѣ, суррогатомъ которой являлось ихъ социальное положеніе. Одна изъ крестьянокъ Страшинскаго показала, что при сопротивленіи ея баринъ привязалъ ее къ кровати, а когда она вырвалась, то призвалъ другую женщину и велѣлъ держать. Спрашивается, къ чему Страшинскимъ физическая сила? Для нихъ не существовало собственно различіе между изнасилованіемъ и растлѣніемъ, да не существовало и самое изнасилованіе, въ смыслѣ злоупотребленія собственною физическою силою. Если не хватаетъ всемогущаго барскаго слова, Страшинскій зоветъ дворню въ свою спальню и въ присутствіи ея находитъ даже какое-то особенное удовольствіе. Жадовскій заставлялъ своихъ дворовыхъ при себѣ насиловать крестьянокъ. Страшинскій заставлялъ ихъ присутствовать при своихъ собственныхъ подвигахъ. И во всякомъ случаѣ у нихъ подъ руками всегда была толпа холоповъ, руками которыхъ они могли сдѣлать все, на что не хватало ихъ собственныхъ старческихъ, дрожащихъ рукъ. Эти прятки за изсѣченныя спины крѣпостныхъ доходили иногда даже до комизма. Такъ, прапорщикъ Соболевъ (1843 г.), идя на грабежъ табачнаго магазина въ Москвѣ, причемъ убилъ двухъ человекъ и ранилъ третьяго, взялъ съ собой своего крѣпостнаго человека для того, чтобы, по возвращеніи изъ магазина

въ позднее время, не могъ кто-либо обидѣть его, Соболева.

Омутъ крѣпостничества съ безпощадною силою затягивалъ въ себя стариковъ и дѣтей, мужчинъ и женщинъ. Мы уже видѣли, какъ супруга господина Трубицына посылала своихъ служанокъ, примѣра ради, смотрѣть на истязанія крестьянъ. Эта дама ограничилась въ этомъ случаѣ пассивною ролью. Но вотъ, на примѣръ, госпожа Свѣчинская, жена майора, проживавшая въ Петербургѣ въ 1858 году, значить, въ «настоящее время, когда» и проч., бывающая въ Павловскѣ, словомъ, дама совершенно бонтоная. Тѣмъ не менѣе, дворовая женщина Свѣчинской, Шилова, обратилась къ петербургскому военному генералъ-губернатору съ жалобой на жестокое обращеніе помѣщицы съ ней и съ другими крѣпостными. Петербургскій уѣздный предводитель дворянства, на распоряженіе котораго препровождена была эта жалоба, уведомилъ генералъ-губернатора, что Свѣчинская, «огорченная неисполненіемъ Шиловой ея приказанія, нанесла ей собственноручно побои, выпинавъ при этомъ у нея пукъ волосъ, и затѣмъ отравила ее въ полицію, а оттуда въ рабочій домъ, и что имъ, предводителемъ дворянства, сдѣлано было г-жѣ Свѣчинской внушеніе, чтобы она не позволяла себѣ наказывать своихъ крѣпостныхъ людей дома, а въ случаѣ проступка, отсылала ихъ для наказанія въ мѣстную полицію». Послѣ того Шилова опять подала просьбу, въ которой говорилось, что Свѣчинская, узнавъ о ея первой жалобѣ, вновь избила ее до того, что она находится для излѣченія въ больницѣ чернорабочихъ. Тогда военный генералъ-губернаторъ приказалъ произвести формальное слѣдствіе. На слѣдствіи Шилова показала слѣдующее. Въ 1851 г. она была отпущена Свѣчинскою на оброкъ. Въ началѣ 1857 г., когда она была нянькою у нѣкихъ Скаловскихъ, Свѣчинская потребовала ее къ себѣ. Но Скаловскіе не отпустили ее до пріисканія другой няньки, такъ что Шилова явилась къ своей барынѣ только 30-го апрѣля. Свѣчинская, «не принимая отъ нея никакихъ объясненій, зазвала ее къ себѣ въ спальню и, притворивъ двери, стала жестоко бить ее, вырвала пукъ волосъ и, бросивъ ее на землю, топтала ногами, а потомъ окровавленную вытолкнула ее въ кухню». «8-го августа Свѣчинская, возвратившись изъ Павловска, бранила показательницу за принесеніе жалобы, а на третій день послѣ того била, щипала и толкала въ грудь и спину за замѣченныя будто въ домѣ неисправности; наканунѣ же била ее въ кухнѣ». Другая дѣвушка показала, что Свѣчинская и съ ней обращается жестоко, «ежедневно почти безвинно бьетъ и прежде била палкой, которую въ бояхъ обь

нее изломала». Крѣпостной мальчикъ, бывшій въ услуженіи у Свѣчинской, показалъ, что она «бить его почти ежедневно за всякую малую вину, а часто и совсѣмъ безвинно, руками и камышевою, которою выколачиваются пыль». Слѣдователь, донося объ этомъ петербургскому военному генералъ-губернатору, прибавилъ, что «жестокое обращеніе Свѣчинской съ живущими при ней дворовыми людьми вполне подтверждается истощеннымъ и болѣзненнымъ видомъ послѣднихъ, а въ особенности, мальчика Павла, у котораго отъ побоевъ опухли лицо и голова». Тѣмъ не менѣе, тверское собраніе предводителей и депутатовъ дворянства, на разсмотрѣніе котораго было передано это слѣдствіе, «принявъ во вниманіе, что жалобъ на помѣщицу Свѣчинскую отъ крестьянъ ея не было и что поступки ея слѣдствіемъ совершенно не доказаны, но имѣть съ тѣмъ изъ дѣла видно, что она имѣетъ весьма строптивый характеръ», положило: не учреждая надъ имѣніемъ Свѣчинской опеки, обязать ее не имѣть при себѣ въ услуженіи крѣпостныхъ людей, а въ случаѣ ея упорства въ дачѣ подписки, выдать людямъ ея паспорта. Но Свѣчинская этимъ рѣшеніемъ осталась недовольна. И это очень понятно: если жалобъ на нее не было и если побои ея не доказаны, то какимъ образомъ изъ дѣла можетъ быть видно, что она «имѣетъ весьма строптивый характеръ»? Свѣчинская подала жалобу въ сенатъ. Но тутъ подошло 19 февраля 1861 г.

Госпожа Свѣчинская была дама, очевидно, образованная. Развлекаясь столичными удовольствіями, она не могла сосредоточиться на изобрѣтеніи наказаній и дѣйствовала средствами болѣе или менѣе вульгарными: щипалась, дралась и т. п. Внутри Россіи дамы были не столь просты.

17-го декабря 1857 г. летичевскій становой приставъ получилъ донесеніе, что «крестьянка Агафья Евичева, по приказанію арендной владѣльцы села Горбасова, Кобельской, поставлена была 10-го декабря на колѣна и, вслѣдствіе того, 15-го числа выкинула четырехмѣсячный зародышъ». Дѣло было такъ. Евичева послала Кобельской, черезъ свою воспитанницу, четыре мотка напряденныхъ за барщину нитокъ. Одинъ мотокъ оказался тоньше другихъ, и Кобельская послала его перемѣнить. Но Евичева, не имѣя болѣе пеньки, мотка не перемѣнила и пошла съ нимъ сама къ Кобельской, надѣясь ее уговорить. Евичева говорила по этому поводу такъ громко, что Кобельская обидѣлась и велѣла ее отодрать на конюшнѣ. Евичеву повели, но, встрѣтивъ на дорогѣ управляющаго, она объяснила ему, что она беременна. Снисходя къ такому положенію, Кобельская, какъ дама сердобольная, отиѣнила

порку и велѣла вмѣсто того поставить Евичеву въ конюшню на колѣна. Поставили. Госпожа Кобельская наблюдаетъ изъ окна и вдругъ видитъ, что Евичева поднимается съ колѣнъ. Она немедленно отдаетъ приказаніе посыпать ей подъ колѣна гороху и приставляетъ сторожа. Такъ показали и Евичева, и Кобельская. Только первая говорила, что она простояла на горохѣ два часа, а Кобельская утверждала, что только полчаса. Послѣ наказанія Евичева отправилась въ Летичевъ для принесенія жалобы земскому исправнику, котораго не застала. Затѣмъ, черезъ нѣсколько дней, она почувствовала боли, и наконецъ, выкинула. По мнѣнію летичевского городского врача, «выкинутіе Евичевою плода было случайное; умеръ же плодъ отъ болѣзненного состоянія маточнаго рукава, которое, вѣроятно, произошло отъ простуды и моральнаго потрясенія, начавшихся еще съ постановленія Евичевой на колѣна, и отъ новой простуды и напряженія во время слѣдованія ея въ Летичевъ, а болѣе всего вслѣдствіе непринятія ею никакихъ мѣръ, при ощущеніи боли, въ теченіе послѣднихъ трехъ дней, изъ чего заключить слѣдуетъ, что постановленіе Евичевой на колѣна не должно считать причиною выкинутія ею плода». При слуханіи дѣла во 2-мъ отдѣленіи 5-го департамента и во второмъ общемъ собраніи сената, мнѣнія сенаторовъ раздѣлились. То, по которому дѣло получило окончательное рѣшеніе, было мотивировано слѣдующимъ образомъ: «Подсудимая Кобельская, по собственному сознанію ея, виновна въ самоуправствѣ. Принимая во вниманіе, съ одной стороны, что мѣра взысканія и самый способъ онаго представляются по беременному состоянію Евичевой неосторожными и даже нѣсколько жестокими, а съ другой, что взысканіе это, по заключенію врача, не было причиною выкинутія плода, слѣдуетъ Кобельскую за самоуправство подвергнуть взысканію двадцати-пяти руб. сер., а по обвиненію въ причиненіи Евичевой выкинутія плода, на осн. 304 ст. XV т. кн. 2, оставить свободною».

Надо замѣтить, что Кобельской, какъ владѣвшей селомъ Горбасовымъ только на правѣ аренды, и совсѣмъ не полагалось наказывать крестьянъ, ей не принадлежащихъ. Но понятія по этой части были у насъ до того спутаны, что трудно рѣшить, при комъ хуже жилось крестьянамъ: при помѣщикахъ ли, или при разныхъ арендаторахъ, управляющихъ, приказчикахъ и т. п. Дворянинъ Бортновскій, въ бытность экономомъ въ трехъ деревняхъ помѣщицы Шеміотъ, какъ выражено въ рѣшеніи генералъ-аудиторіата, «обращался съ нѣкоторыми крестьянами довольно сурово и при взысканіяхъ съ нихъ

за проступки наносилъ имъ побои руками по лицу и головѣ и палкою по разнымъ частямъ тѣла, отчего двое крестьянъ были больны».

Точно также «довольно сурово» распоряжался крестьянскими спинами управляющій имѣніемъ отставного ротмистра Евреинова (Новгородской губерніи, Боровичскаго уѣзда), Мирецкій, который не имѣлъ даже отъ помѣщика никакихъ формальныхъ довѣренностей. Но Мирецкій заплатилъ за это жизнью: крестьяне избили его до того, что онъ черезъ нѣсколько часовъ послѣ того умеръ. Зачинщикомъ этого дѣла былъ староста, который подговаривалъ крестьянъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Топно намъ жить отъ этого управляющаго, больно сѣчетъ, никому нѣтъ спуска, поучимъ его для пользы общества, побьемъ и мы его, но не такъ, чтобы до смерти, а чтобы помнить и берегся». Крестьяне подстерегли Мирецкаго ночью и били его комлями еловыхъ вѣхъ. Когда одинъ изъ бывшихъ напелъ, что пора и перестать, потому что управляющій того и гляди умретъ, тотъ же староста говорилъ: «небось здоровъ, вынесетъ». Въ преступленіи своемъ крестьяне чистосердечно сознались, заявляя, однако, что они и не думали убивать управляющаго, а хотѣли только поучить его. По дѣлу Бортновскаго довѣрительницѣ его, помѣщицѣ Шеміотъ, сдѣлано было внушеніе, чтобы она наблюдала за дѣйствіями управляющихъ имѣніемъ. Евреиновъ жилъ въ томъ же имѣніи, гдѣ подвизался Мирецкій, и тѣмъ не менѣе, ничего не видалъ или не хотѣлъ видѣть, пока Мирецкій не былъ убитъ. То же самое видимъ мы и въ дѣлѣ объ убійствѣ управляющаго Матковскаго, на дѣйствіе котораго крестьяне жаловались помѣщику Рутковскому, но Рутковскій на жалобы эти не обращалъ никакого вниманія. Во время производства слѣдствія крестьяне показали, что убитый Матковскій «былъ строгъ и неумолимъ, бралъ къ себѣ дѣвочекъ и отпускалъ ихъ беременными». Не выдержавъ, наконецъ, крестьянинъ Неумывака, находившійся у Матковскаго въ должности сторожа. Неумывака показалъ, что онъ «часто претерпѣвалъ отъ управляющаго жестокіе побои; наканунѣ преступленія Матковскій побилъ его за то, что много дохло поросятъ; побои, нанесенные ему, были не жестокіе, но совершенно незаслуженные, и потому онъ рѣшился своему управителю за это отомстить». Уже изъ одного этого признанія убійцы въ томъ, что претерпѣнные имъ въ послѣдній разъ побои не были жестоки, видно, что они составляли звено очень длинной цѣпи жестокостей. Терпѣлъ, терпѣлъ человекъ, да и сорвалъ, наконецъ, сердце изъ-за пустяковъ. Здѣсь такъ и сквозитъ распущенность и без-

характерность забитаго двороваго. Тотъ же психическій процессъ можно наблюдать и въ убійствѣ генераль-маіора Осоргина (1853 г.). Крестьянинъ Ивановъ показалъ, что «лишилъ жизни своего помѣщика (выстрѣломъ изъ ружья) за то, что онъ, въ теченіе двухлѣтняго пребыванія показателя при господскомъ дворѣ, преслѣдовалъ его взысканіями, учитывалъ въ матеріалахъ, запрещалъ работать для себя, а наконецъ, въ одинъ праздничный день не позволилъ быть въ церкви и занялъ работою въ кузницѣ. Этотъ послѣдній случай рѣшительно ожесточилъ его противъ Осоргина». Слѣдствіемъ открыто очень немного фактовъ относительно образа жизни Осоргина и его управления крестьянами и имѣніемъ. Большая часть спрошенныхъ по этому пункту отозвались объ Осоргинѣ хорошо. Но казенные крестьяне сосѣднаго села, въ числѣ 46 человекъ, объяснили, что «крестьяне и дворовые люди Осоргина при разговорахъ выражали неудовольствіе на него, будто онъ имѣлъ страсть къ прелюбодѣйной связи съ ихъ женами и дѣвками». Три крестьянки, и одна проживавшая въ господскомъ домѣ мѣщанка показали, что онъ, дѣйствительно, были въ связи съ убитымъ, но по собственному согласію. Легко можетъ быть, что центръ тяжести мотивовъ убійства лежалъ въ учрежденіи этого гарема, тѣмъ болѣе, что прикосновенными къ дѣлу убійства оказались еще двое дворовыхъ людей *). Вообще слѣдствіе по этому дѣлу не отличается особенною обстоятельностью. Какъ производились въ доброе старое время слѣдствія, — это всѣмъ извѣстно. Но до какихъ предѣловъ доходили безобразія прежняго суда и слѣдствія и какую опору находило въ нихъ крѣпостное право, лучше всего видно изъ возмутительнаго дѣла о крестьянинѣ Винцѣ Ивановѣ (по прозванію Войткинѣ), сужденномъ за возмущеніе противъ помѣщика. Войткинъ не посягалъ на убійство помѣщика, не пытался поучить его, какъ «поучили» Мирецкаго крестьяне Евреинова. Онъ обратился съ жалобой къ властямъ предержавшимъ; но, бывъ уличенъ въ лжесвидѣтельство и возмущеніи крестьянъ противъ помѣщика, лишенъ всѣхъ правъ состоянія, получилъ сорокъ ударовъ плетью, клеймень и сосланъ въ каторжную работу на шесть лѣтъ, съ тѣмъ, чтобы быть потомъ поселеннымъ въ Сибири навсегда. Отбывъ шесть лѣтъ каторги и будучи затѣмъ поселенъ въ Тобольской губерніи, Войткинъ въ 1856 г. во-

*) Любопытна, между прочимъ, въ этомъ дѣлѣ слѣдующая подробность. Пунктъ 2-й рѣшенія генераль-аудиторіата гласитъ: «Отобранное отъ подсудимаго Иванова ружье, которымъ онъ совершилъ убійство, согласно мнѣнію генераль-адъютанта Перовскаго, уничтожить».

шелъ въ правительствующій сенатъ съ прошеніемъ о пересмотрѣ его дѣла, указывая при этомъ на нѣкоторыя подробности незаконно произведеннаго надъ нимъ слѣдствія. По пересмотрѣ дѣла Войткинъ оказался невиннымъ!.. А между тѣмъ, первоначальный приговоръ былъ, какъ слѣдуетъ, подписанъ членами витебской уголовной палаты, утвержденъ начальникомъ губерніи и пропущенъ губернскимъ прокуроромъ безъ протеста.

Это безобразное дѣло началось прошеніемъ рѣжичкаго помѣщика Боуфала, поданнымъ имъ въ 1846 г. въ земскій судъ. Въ прошеніи этомъ Боуфаль излагалъ, что крестьянинъ Войткинъ изъ имѣнія Подоля, состоящаго въ общемъ владѣніи просителя съ братьями, съ нѣкотораго времени сталъ нерадивъ и дерзокъ; что лѣтомъ 1846 г. Войткинъ, вѣроятно, изъ мести за смѣну его съ должности сельского войта, сталъ возмущать крестьянъ, собравъ съ нихъ деньги, на которые нанялъ какого-то писаря для написанія прошенія, въ которомъ оклеветалъ своихъ помѣщиковъ; что затѣмъ Войткинъ, въ сообществѣ съ другимъ крестьяниномъ, скрылся изъ имѣнія и подалъ прошеніе генералъ-губернатору; что генералъ-губернаторъ приказалъ сдѣлать по этому поводу подробное дознаніе, которымъ не открыто никакого злоупотребленія помѣщичьей власти. Затѣмъ онъ, Боуфаль, узналъ, что оба возмутителя находятся въ сосѣдней корчмѣ, куда и отправилъ людей для арестованія ихъ. При этомъ Войткинъ оказывалъ сопротивленіе и говорилъ возмутительныя вещи. На другой день проситель, Боуфаль, отправилъ какъ Войткина, такъ и его сообщника, въ земскій судъ, но по дорогѣ они были отбиты толпою крестьянъ, подъ предводительствомъ брата Войткина. Извѣщая объ этомъ земскій судъ, Боуфаль просилъ сдѣлать распоряженіе объ отысканіи Войткина и его сообщника и поступить съ ними, въ примѣръ прочимъ, по всей строгости законовъ. Недѣлю черезъ полторы Боуфаль самъ представилъ въ рѣжичкій земскій судъ пойманныхъ Войткина и сообщника его, Казимірова. На допросѣ, отобранномъ въ тотъ же день, Войткинъ показалъ, что онъ, «находя помѣщичье управленіе отяготительнымъ по причинѣ строгаго съ крестьянами обращенія, жестокихъ наказаній, излишнихъ и чрезмѣрныхъ работъ, недостаточнаго продовольствія крестьянъ и настойчиваго взысканія съ нихъ съ непомѣрными интересами (процентами) ссудъ хлѣбныхъ и денежныхъ, рѣшился искать защиты у правительства». По согласію съ остальными крестьянами, онъ принялъ на себя ходатайство; общество собрало для него около 40 р. на расходы. Вмѣстѣ съ Казиміровымъ они ушли изъ Подоля и просили какого-то солдата написать имъ прощеніе. Въ ожиданіи результатовъ онъ,

Войткинъ, скрывался въ окрестностяхъ Подоля и былъ задержанъ, въ сосѣдней корчмѣ, а на другой день освобожденъ своимъ братомъ. Этотъ допросъ помѣченъ 10-мъ сентября. Въ допросномъ листѣ отъ 30-го числа значится уже совершенно другое. Войткинъ отрекается отъ своего перваго показанія и объясняетъ слѣдующее: «Будучи по выбору Боуфала сдѣланъ сельскимъ войтомъ, онъ, пользуясь добротой и благосклонностью къ нему помѣщика, пристрастился къ вину и изъ корысти сталъ злоупотреблять довѣріемъ помѣщика; такимъ образомъ сдалъ въ Ригѣ господскій ленъ не тому купцу, которому вѣдѣно было помѣщикомъ, а другому, по собственному произволу, чѣмъ причинилъ помѣщику убытку до 50 р. с... (дальше Войткинъ взводитъ на себя еще проступокъ, о которомъ его никто не спрашивалъ и который къ настоящему дѣлу не относится). Когда за эти проступки и другіе, менѣе важныя, заключающіеся въ обмѣрахъ, обвѣсахъ и дерзкихъ отвѣтахъ, помѣщикъ, наконецъ, удалилъ его отъ должности войта, показавъ хотя и чувствовалъ, что заслуживаетъ этого, но, однако же, изъ ненависти, рѣшился отомстить помѣщику; съ этою цѣлью, рѣшившись взвести на него клевету, сталъ вооружать крестьянъ противъ помѣщичьей власти, представляя имъ свободу въ самыхъ живѣйшихъ краскахъ», и т. д. О прошеніи, поданномъ имъ генералъ-губернатору, Войткинъ выражается такъ: «Все написанное въ той просьбѣ было ложъ и несправедливость, ибо помѣщикъ всегда былъ съ крестьянами ласковъ, снисходителенъ, справедливъ и истинно отечески заботился о благѣ крестьянъ; при поимкѣ его, Войткина, какъ въ первый, такъ и во второй разъ, онъ точно сопротивлялся и въ азартѣ готовъ былъ сказать всякому для него непріязненному, что отмстить поджогомъ или убійствомъ, *въ исполненіи чего при случай не остановился бы, по злости и неудавшемуся замыслу*». Наконецъ, уже совершенно ни къ селу, ни къ городу, Войткинъ объявляетъ о сдѣланной имъ будто бы у одного крестьянина кражѣ. Это любопытное показаніе, представляющее образецъ самаго страннаго самобичеванія, подтверждено многочисленными свидѣтелями. Свидѣтели показывали, между прочимъ, что они «постигли злостный нравъ» подсудимаго, и что онъ «пристрастенъ къ пьянству, воровству, ссорамъ и дракамъ, характера злобнаго, гордъ, своенравенъ, никому не хочетъ покориться, — однимъ словомъ, человекъ негодный». Эти показанія изложены такимъ образомъ, что прописано показаніе только одного крестьянина, а объ остальныхъ сказано, что они показали то

же самое. За неграмотностью показателей, руку приложил дворянинъ съ очень неразборчивой фамиліей. Изъ дѣла видно, что Войткинъ далъ подписку въ томъ, что пристрастныхъ допросовъ ему не дѣлали, но въ подлинномъ дѣлѣ такой подписки нѣтъ. О томъ, куда дѣвались сообщникъ Войткина, Казиміровъ, и его братъ—въ дѣлѣ, какъ оно напечатано г. Любавскимъ, тоже не говорится.

На основаніи всего этого, витебская уголовная палата и постановила вышеприведенное рѣшеніе. Правительствующій сенатъ, по пересмотрѣ дѣла, вслѣдствіе прошенія Войткина, указавъ на поразительныя упущенія, допущенныя по этому дѣлу, напелъ, что здѣсь не только вполне нарушена форма, но что и сущность обстоятельствъ, изложенныхъ въ допросахъ, какъ подсудимаго, такъ и свидѣтелей, не имѣетъ никакой достовѣрности; что, наконецъ, если бы даже и можно было признать эти показанія правильными относительно формы и несомнѣнными по содержанію, то и въ такомъ случаѣ Войткинъ подлежалъ бы только 40 ударамъ розогъ, а не 40 ударамъ плетей, клейменію и ссылкѣ въ каторжную работу на 6 лѣтъ. Прошеніе Войткина признано заслуживающимъ полного вниманія. Но, вслѣдствіе несостоявшагося законнаго большинства голосовъ, дѣло это перешло изъ второго общаго собранія въ государственный совѣтъ, который рѣшилъ: «1) Ссылочно-поселенцу Войткину возстановить гражданскія права и, не вмѣняя понесеннаго наказанія въ безчестіе, водворить его съ семействомъ на жительство въ Сибири (во вниманіе къ неудобству и даже вреду возвращенія его на родину съ неизгладимыми клеймами) на счетъ членовъ витебской уголовной палаты, по назначеніи для того удобнаго мѣста главнымъ начальствомъ края и согласно съ его собственнымъ выборомъ. 2) Сверхъ издержекъ на водвореніе Войткина въ новомъ мѣстѣ его жительства, взыскать съ членовъ витебской уголовной палаты шестьсотъ рублей въ вознагражденіе Войткина за понесенное наказаніе, и 3) начальника и членовъ уголовной палаты отъ слѣдующаго имъ по закону выговора освободить, за силою всемилостивѣйшаго манифеста 26-го августа 1856 г.; рассмотрѣніе же дѣйствій губернскаго прокурора предоставить министру юстиціи».

Таковъ оплотъ, который крѣпостное право, можно сказать, наканунѣ своей смерти, находило въ администраціи. По поводу дѣла Войткина г. Любавскій замѣчаетъ, что «втореніе подобнаго колебанія правосудія едва-ли возможно въ настоящее время въ западныхъ губерніяхъ, гдѣ судебныя мѣста

наполнены уже не польскимъ шляхетствомъ, а благонадежными русскими дѣятелями». Что теперешніе русскіе дѣятели въ западныхъ губерніяхъ благонадежны,—это г. Любавскій опять-таки могъ бы доказывать гдѣ-нибудь въ иномъ мѣстѣ. Но что достаточно было совершенно неблагонадежныхъ русскихъ дѣятелей и въ коренной Россіи,—въ этомъ сомнѣваться трудно. Курьезное замѣчаніе г. Любавскаго наводитъ насъ на такой вопросъ: почему большинство лицъ, дурно окрашенныхъ въ перечисленныхъ нами процессахъ — польскаго происхожденія (Страшинскій, Бортновскій, Боуфалы, Кобельская, Матковскій, Мирепцкій)? Положимъ, что количество поляковъ и русскихъ, злоупотреблявшихъ помѣщичьею властью, пропорціонально общему числу тѣхъ и другихъ. Почему же у г. Любавскаго варвары помѣщичьи и управляющіе точно на подборъ почти всѣ поляки? Благо ему, если это дѣло случая, и г. Любавскій валилъ въ свои сборники рѣшительно все, что ему только попадалось подъ руки. Но если здѣсь сказывается тенденціозность издателя, то на что же это похоже? Эти дѣла имѣютъ громадный интересъ уже просто, какъ историческіе матеріалы, а роль историческаго закройщика, кромсающаго исторію по послѣдней модѣ,—это роль скверная. Вообще, нельзя не пожалѣть, что изданіемъ русскихъ уголовныхъ процессовъ не занялся кто-нибудь другой. Впрочемъ, время еще есть, и г. Любавскій конкурентъ не особенно сильный. Онъ такъ торопился доказать даровитость нашихъ прокуроровъ и адвокатовъ, что издалъ по старымъ дѣламъ всего четыре тома, изъ которыхъ половина не имѣетъ никакого значенія ни въ юридическомъ, ни въ социальномъ, ни въ психологическомъ, ни въ историческомъ и ни въ какомъ другомъ отношеніи. Безъ всякаго сомнѣнія, одними дѣлами, возникшими изъ крѣпостныхъ отношеній, можно было наполнить цѣлые томы; и тогда затхлая атмосфера нашего прошедшаго встала бы передъ нами, какъ живая. Мы увидѣли бы всѣ тѣ дѣвичьи, доморощенные гаремы, бонюшны, всѣ тѣ углы и закоулки барскихъ домовъ и людскихъ, гдѣ складывались уродливые типы нашихъ отцовъ и дѣдовъ; мы увидѣли бы ихъ живьемъ, а не въ поэтическихъ образахъ, гдѣ явленіе можетъ быть угадано, а можетъ быть и нѣтъ. Мы вложили бы персты свои въ раны гвоздинныя, а теперь, если есть что-нибудь несомнѣнное и для всѣхъ очевидное въ сборникахъ г. Любавскаго, такъ это безтолковость издателя.

Во второй половинѣ апрѣля и первой половинѣ мая 1858 года между крѣпостными крестьянами Витебской губерніи и особенно Себежскаго уѣзда распространился слухъ,

что тѣ изъ нихъ, которые будутъ въ продолженіе трехъ лѣтъ работать на желѣзной дорогѣ, освободятся изъ крѣпостной зависимости и затѣмъ будутъ поселены въ Тобольской губерніи. Какъ и откуда пошелъ этотъ слухъ—неизвѣстно. Было высказано предположеніе, что слухъ этотъ былъ первоначально распушенъ приказчиками, прискивавшими людей для работы на желѣзныхъ дорогахъ, но слѣдствіемъ ничего не открыто. Какъ бы то ни было, но крестьяне распродали имущество, скоть и цѣлыми партіями направились на Петербургъ. При этомъ нѣкоторые изъ нихъ думали принести жалобу Государю Императору на притѣсненія своихъ помѣщиковъ, особенно тягостныя въ виду повсемѣстнаго недостатка продовольствія и неурожаевъ. Земская полиція не могла остановить этого движенія, и потому на помощь ей были призваны инвалидныя команды и рота гарнизоннаго батальона. Но и это не помогло, потому что крестьяне шли партіями отъ 500 до 2000 человекъ, и были вооружены ружьями, топорами, косами, дубинами. Наконецъ, для водворенія порядка командированы были два полка подъ непосредственнымъ начальствомъ флигель-адъютанта полковника Опочинина. Произошло нѣсколько кровавыхъ стычекъ, такъ, 9 мая 400 человекъ крестьянъ наткнулись въ Невельскомъ уѣздѣ на команду витебскаго гарнизоннаго батальона и понятыхъ казенныхъ крестьянъ; при этомъ убитъ одинъ унтеръ-офицеръ, а со стороны крестьянъ убиты двое и четверо ранены. 9-го же мая чиновникъ дризенскаго земскаго суда Шульцъ, помѣщикъ Храповицкій и семь человекъ нижнихъ чиновъ настигли въ лѣсахъ Дризенскаго уѣзда одиннадцать семействъ крестьянъ, причемъ убита одна крестьянка, дравшаяся въ мужскомъ платьѣ. 17-го числа въ Невельскомъ уѣздѣ 30 человекъ карабинернаго герцога Мекленбургскаго полка напали на партію крестьянъ, изъ которыхъ одинъ былъ убитъ на мѣстѣ, а другой раненъ. Такихъ стычекъ было много. Но, наконецъ, крестьяне были, подъ воинскимъ конвоемъ, возвращены на мѣсто жительства, а зачинщики и предводители разосланы по острогамъ. Затѣмъ были приняты мѣры (неизвѣстно какія) по устройству хозяйства крестьянъ. По донесенію полковника Опочинина, водвореніе крестьянъ было кончено вездѣ успѣшно. «Крестьяне просили у помѣщиковъ прощенія и общали примѣрнымъ поведеніемъ загладить свою вину, приписывая прошедшее заблужденіе примѣру сосѣдей и совѣтамъ злыхъ людей. Впрочемъ, можно было замѣтить, что они болѣе сожалѣютъ о разстройствѣ своего хозяйства, чѣмъ раскаяваются въ непокорности помѣщикамъ и мѣстнымъ властямъ. Во-

обще, не только въ волновавшихся уѣздахъ, но и въ сосѣдственныхъ — Городецкомъ и Витебскомъ, умы въ броженіи, и мысли о свободѣ отъ крѣпостной зависимости посѣяны вездѣ въ самомъ превратномъ видѣ, такъ что народная молва перетолковываетъ въ этомъ смыслѣ каждую правительственную мѣру и даже каждое дѣйствіе частныхъ лицъ».

Вотъ и все, что мы находимъ у г. Любавскаго объ этомъ, въ высшей степени интересномъ дѣлѣ (подлинное дѣло имѣетъ «изложено, по возможности, кратко, чтобы не затруднять читателя излишними подробностями, затемняющими только существо дѣла»), и затѣмъ другихъ дѣлъ этого рода въ сборникахъ не имѣется, такъ что, если мы расскажемъ еще процессъ помѣщика Чуфарскаго, то исчерпаемъ сборники г. Любавскаго до дна со стороны преступленій, обусловливавшихся крѣпостными отношеніями. А Чуфарскій обвинялся въ насильственномъ обвѣнчаніи своей крестьянки, причемъ самъ держалъ надъ нею вѣнецъ, схвативъ ее одною рукою за косу.

Итакъ, вотъ первая группа русскихъ преступниковъ,—помѣщики и крестьяне въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ,—на сколько она освѣщается сборниками г. Любавскаго. Едва ли нужно что-нибудь прибавлять къ этимъ фактамъ, кромѣ другихъ фактовъ. Мы охотно пополнили бы пробѣлы сборниковъ, но такіа пополненія для журнальной статьи будутъ, во всякомъ случаѣ, либо слишкомъ ничтожны, либо слишкомъ велики. Далѣе мы увидимъ, не выходя опять-таки за предѣлы изданія г. Любавскаго, верхній и нижній элементы крѣпостного права въ другихъ сферахъ преступленія. Мы увидимъ, какъ житье на счетъ чужого пота и крови порождало утонченныя до безобразія понятія о чести, утонченный развратъ, утонченные способы казнокрадства, утонченное воровство — наверху, а положеніе вьючнаго вола — тупую жестокость, суевѣріе, невѣжество — внизу. Совмѣстное существованіе этихъ контрастовъ нашего недавняго прошлаго весьма поучительно. Намъ приходится на память попавшія имъ какъ-то на глаза слова передовой статьи одной нашей газеты: «рухнулъ старый порядокъ, которымъ всѣ были довольны и на который никто не жаловался». Если намъ не измѣняетъ память, то почтенная газета выразилась буквально такъ, а смыслъ то фразы несомнѣненъ. А что же, вѣдь и въ самомъ дѣлѣ не жаловались, по двадцати лѣтъ не жаловались. И замѣчательно, что Страшинскіе, Жадовскіе, Трубицныи и проч. тоже вѣдь говорили, что не жаловались...

IV.

Постѣ сказаннаго нами о г. Любавскомъ, читателю не покажется страннымъ, что тѣ соображенія, въ которыя онъ иногда пускается относительно причинъ того или другого факта, поражаютъ своею... ну, своею неожиданностью.

Рядовой бѣлицкой конно-этапной команды Ѳедоровъ самовольно отлучился съ мѣста своей службы (1843 г.), но на другой же день самъ явился въ канцелярію гродненскаго гарнизоннаго батальона и былъ арестованъ. При обыскѣ Ѳедорова, за обшлагомъ его шинели нашли его руки записку, написанную кровью и гласившую такъ: «Рукописаніе сіе дано въ томъ, что я отрекся уже отъ матери, отца и родственниковъ всѣхъ своихъ, отъ блага свѣта и всего, что есть на ономъ, и матушки сырой земли, отъ Бога и лица Его, теперь проклиная Его; а я предался нечистымъ духамъ, то-есть діаволамъ, за деньги и ихъ услуги, срокомъ на тридцать лѣтъ, въ чемъ и подписуюсь своею кровью мизинца лѣвой своей руки, апрѣля 22-го дня 1843 г. Иванъ Ѳедоровъ руку приложилъ, не Богу, а чорту». По слѣдствію оказалось, что Ѳедоровъ имѣлъ несчастье не понравиться своему непосредственному начальнику, поручику Данилову (командиръ бѣлицкой конно-этапной команды), который прежде всего отягощалъ его службою; а такъ какъ Ѳедоровъ не успѣвалъ, какъ слѣдуетъ, заниматься перепискою въ канцеляріи и въ то же время бывать въ караулахъ и препровождать арестантовъ, то за разныя неизбѣжныя упущенія Даниловъ сбѣлъ Ѳедорова розгами и билъ по лицу. Кромѣ того, у Ѳедорова не было мундира, въ чемъ былъ виновать только самъ Даниловъ; это не мѣшало, однако, Данилову совершенно противозаконно требовать, чтобы Ѳедоровъ обзавелся мундиромъ на свой собственный счетъ. Даниловъ, наконецъ, даже прямо говорилъ Ѳедорову: «бѣги, или утопись въ Нѣманъ». Ѳедоровъ поступилъ въ бѣлицкую конно-этапную команду 22-го октября 1842 г. и полгода терпѣлъ всякія невзгоды и тычки. Стало, наконецъ, не вмоготу, и онъ рѣшился продать душу чорту, но и это не помогло; Даниловъ былъ по прежнему неумолимъ. Ѳедоровъ рѣшилъ жаловаться на своего начальника, для чего и отлучился изъ команды. Кажется, дѣло ясное, что загубило Ѳедорова; но г. Любавскій ухищряется свалить въ этомъ дѣлѣ отвѣтственность на грамотность. Онъ говоритъ: «Не знай Ѳедоровъ грамоты: а) Даниловъ не могъ бы возложить на него, сверхъ общихъ служебныхъ занятій, переписки по канцеляріи и имѣлъ бы менѣе поводовъ преслѣдовать его; б) Ѳедоровъ не

могъ бы написать своею кровью записку, которая судомъ признана была содержащею въ себѣ богохуленіе». Этотъ перлъ остроумія изображенъ на стр. 149 второго тома. Слѣшимъ, впрочемъ, замѣтить, что г. Любавскій, какъ видно изъ другихъ его замѣчаній и примѣчаній, отнюдь не противникъ грамотности, да и неблагоприятность поведения Данилова имъ сознается, такъ что смыслъ и значеніе приведеннаго вывода, какъ выражается въ другомъ мѣстѣ самъ г. Любавскій, остается тайною между нимъ и Богомъ. Остается такою тайною даже и то, почему онъ не поднялся въ своей проницательности одной ступенькой выше и не ищетъ причины поведения Ѳедорова въ существованіи у него рукъ или ногъ. Дѣйствительно, не будь у Ѳедорова рукъ—а) Даниловъ не могъ бы отягощать его службой, и б) Ѳедоровъ не могъ бы написать своей росписки чорту.

Въ сторону, однако, шутокъ и шутиха-издателя. Дѣло Ѳедорова наводитъ на очень грустные соображенія. Крестьянинъ какого нибудь Трубицына или Карцова, вынесши всякія рогадки и цѣпи, сдается въ солдаты и попадаетъ такимъ образомъ изъ Спильы въ Харибду, и трудно рѣшить, которая изъ нихъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, ужаснѣе. Въ нашемъ недавнемъ прошломъ солдаты были тѣ же крѣпостные, но надъ ними висѣлъ еще Дамокловъ мечъ неумолимой военной дисциплины. Военные начальники были тѣ же помѣщики, съ тою разницею, что они не были связаны никакими общими матеріальными интересами съ своими подчиненными. Поэтому въ солдатѣ образъ человѣческій, если это только возможно, признавался еще менѣе, чѣмъ въ мужикѣ. Г. Любавскій находитъ, что такой порядокъ вещей долженъ существовать и нынѣ. По поводу дѣла о барабанщикѣ Пейсихѣ Шкабло, которое мы приводимъ ниже, онъ говоритъ: «дѣло это доказываетъ самымъ нагляднымъ образомъ, что по дѣламъ о преступленіяхъ, совершаемыхъ военными, не можетъ быть допущено постановленіе рѣшеній по внутреннему убѣжденію, такъ какъ нѣтъ сомнѣнія, что присяжные оправдали бы Шкабло, что, очевидно, послужило бы къ поколебанію воинской дисциплины». Вопросъ о предѣлахъ дисциплины и о томъ, насколько можетъ она колебаться оправданіемъ невиннаго, вопросъ этотъ завелъ бы насъ слишкомъ далеко. Мы ограничимся однимъ замѣчаніемъ. Шкабло—преступникъ; Ефремовъ, офицеръ, вызвавшій его своими незаконными дѣйствіями на незаконную реакцію—тоже преступникъ. Оба они потерпѣли наказаніе. Если оправданіе Шкабло можетъ поколебать воинскую дисциплину, подавая примѣръ безнаказанности другимъ Шкабламъ, то безу-

словная неизбежность вѣнченія за нарушение правил дисциплины, какова бы ни была субъективная подкладка этого нарушения, не расширяет ли поприще для преступныхъ дѣйствій Ефремовыхъ? А оно и безъ того, по крайней мѣрѣ, было достаточно широко, какъ видно изъ слѣдующихъ случаевъ.

8-го мая 1846 года оказалось, что изъ кладовой симбирскаго уѣзднаго казначейства украдены деньги, принадлежавшія симбирскому приказу общественного призрѣнія, въ количествѣ болѣе 30,000 р. с. и билетовъ кредитныхъ учрежденій на 166,000 р. с. Деньги были украдены черезъ проломанное дно сундука, въ которомъ хранились. По распоряженію симбирскаго губернатора, Булгакова, была учреждена слѣдственная коммиссія; для содѣйствія ей были посланы изъ Петербурга чиновники отъ корпуса жандармовъ, отъ министерства внутреннихъ дѣлъ и отъ военнаго министерства. Кромѣ того, личное участіе въ этомъ дѣлѣ приняли нарочно пріѣхавшіе въ Симбирскъ командовавшій въ то время корпусомъ внутренней стражи, генералъ-лейтенантъ Тришатный и окружной генералъ 4-го округа внутренней стражи, генералъ-лейтенантъ Мандрыка, хотя они къ составу слѣдственной коммисіи не принадлежали. Подозрѣніе въ кражѣ пало на солдатъ, стоявшихъ на часахъ у дверей кладовой съ 4-го по 8-е мая, потому что 4-го мая казначей видѣлъ сундукъ съ деньгами въ цѣлости. Начались допросы. Подозрѣніе пало прежде всего на рядового Васильева, стоявшаго на часахъ у кладовой ночью на 6-е мая. Подозрителенъ онъ показался потому, что выразилъ нѣкоторое замѣшательство и изувѣчился въ лицѣ. Его арестовали и «кормили соленою рыбой, не давая пить». Какъ тутъ было не сознаться, и Васильевъ объявилъ, что онъ, дѣйствительно, укралъ деньги; но когда его стали допрашивать, куда онъ дѣвалъ деньги или кому ихъ передалъ, Васильевъ сталъ путаться въ показаніяхъ. Наконецъ, онъ былъ допрошенъ въ присутствіи генерала Мандрыки, «подъ тѣлеснымъ наказаніемъ», и показалъ, какъ на своихъ сообщниковъ, на рядовыхъ Дикова, Рѣзцова и Казанжу. Генералъ Мандрыка принялся пытатель оговоренныхъ и такъ энергически повелъ дѣло, что оговоренные, дѣйствительно, признали свое участіе въ кражѣ. Изъ нихъ особенно досталось, кажется, Рѣзцову. Рѣзцовъ, измученный пытками, два раза покушался на самоубійство, вслѣдствіе чего на него и на другаго его товарища были надѣты кожаные рукава, какіе надѣваются на сумасшедшихъ. Наконецъ, Рѣзцовъ былъ доведенъ до того, что призналъ найденный у него его собственный сундукъ за тотъ, изъ котораго были украдены деньги. Лица, видѣв-

шія казенный сундукъ въ кладовой, тоже показали, что найденный у Рѣзцова есть именно тотъ самый. Кажется, всѣ улики были налицо: собственное сознаніе, находка сундука у одного изъ подсудимыхъ. Что же касается до того, что подсудимые никакъ не могли или не хотѣли не только отдать деньги, но даже показать, куда онѣ дѣвались, то это обстоятельство генералы Тришатный и Мандрыка приписывали единственно упорству солдатъ и «загрубѣлости ихъ чувствъ». Изъ дѣла, какъ оно напечатано у г. Любавскаго, не видно, какъ долго тянулася эта азіатская расправа. Слѣдствіе началось въ 1846 году, а въ 1853 году всѣ вышеозначенные рядовые, «по открытіи ихъ невинности, отъ суда освобождены», и найденъ былъ и настоящий казенный сундукъ. Мы имѣли уже случай привести, по поводу дѣла крестьянина Винцы Иванова, мнѣніе г. Любавскаго о невозможности «колебанія правосудія» тамъ, гдѣ есть «благонадежные русскіе дѣятели». Смѣемъ думать, что генералы Мандрыка и Тришатный не иностранцы. Тѣмъ не менѣе, слѣдователи были преданы военному суду. Но къ этому времени главныхъ вожakovъ этого безобразнаго дѣла, губернатора Булгакова и генераловъ Тришатнаго и Мандрыки, уже не было въ живыхъ. Когда умерли эти усердные, хотя и непривзванные представители правосудія—неизвѣстно, а послѣ нихъ несчастнымъ солдатамъ было, кажется, легче, но въ какой мѣрѣ легче и сколько этого, относительно легкаго. вмени надовычестъ изъ 6—7 лѣтъ дѣла о кражѣ, — опредѣлить, по матеріаламъ г. Любавскаго, нельзя. О томъ, какое значеніе имѣла въ этомъ дѣлѣ дисциплина, можна заключить изъ слѣдующаго: а) «Статскій советникъ Денисовъ докладывалъ губернатору о незаконныхъ дѣйствіяхъ Тришатнаго и Мандрыки; но губернаторъ запретилъ вѣшпиваться въ распоряженія ихъ и самъ вынуждалъ нижнихъ чиновъ къ сознанію стѣснительнымъ содержаніемъ и угрозами, требуя, чтобы они возвратили деньги. б) Коллежскій ассессоръ Горскій, замѣтивъ, что Рѣзцовъ покушался на самоубійство отъ наказанія, объявилъ объ этомъ прокурору; но, вслѣдъ затѣмъ, оговоренъ былъ Рѣзцовымъ въ участіи въ кражѣ и, по приказанію губернатора, былъ взятъ безъ всякихъ оправданій и отданъ подъ строжайшій караулъ, какъ дѣйствительный преступникъ. в) Губернскій прокуроръ, сообщивъ губернатору о подобныхъ жестокостяхъ послѣ покушенія Рѣзцова на самоубійство, настаивалъ объ освѣдѣтельствovanіи его; но губернаторъ никакого распоряженія съ своей стороны по этому предмету не сдѣлалъ, а передалъ протестъ прокурора генералу Мандрыкѣ, который въ формальномъ отзывѣ гу-

бернатору призналъ это представленіе прокурора негнѣшимъ, сообщивъ при этомъ губернатору, что какъ нижніе чины, сознавшіеся въ кражѣ денегъ, не хотятъ отдать ихъ по заурядности чувствъ, то онъ, по порученію корпуснаго командира, прибылъ въ Симбирскъ единственно для того, чтобы содѣйствовать слѣдственной комисіи къ открытію похищенныхъ денегъ; но, къ крайнему сожалѣнію, узнавъ, что прокуроръ, подвидомъ строгаго соблюденія законовъ, вооружается противъ дѣйствій къ приведенію преступниковъ въ полное сознаніе и тѣмъ замедляетъ ходъ дѣла. г) Черезъ мѣсяцъ послѣ покушенія Рѣзцова на самоубійство, генераль Мандрыка, въ присутствіи статскаго совѣтника Коренева, батальоннаго командира Врочинскаго, помощника его Громкау и другихъ чиновниковъ, освидѣтельствовалъ Рѣзцова; но въ составленномъ объ этомъ актѣ скрыты бывшіе на Рѣзцовѣ знаки наказанія, называя ихъ «слѣдами подсохшей чесотки», противъ чего и медицинскіе чиновники не смѣли протестовать. Заключение генераль-аудиторіата по этому дѣлу было сформулировано такимъ образомъ: «Подсудимыхъ статскихъ совѣтниковъ Денисова и Коренева и штабсъ-капитана Рутковскаго, за то, что они, производя въ 1846 году слѣдствіе о кражѣ... допустили внимательство въ это дѣло лицъ, не принадлежащихъ къ слѣдственной комисіи и не остановили употребленныхъ ими лицами недозволенныхъ мѣръ къ вынужденію..., а бывшихъ командира симбирскаго гарнизоннаго батальона Врочинскаго и помощника его полковника Громкау за приведеніе въ исполненіе распоряженій означенныхъ лицъ о тѣлесномъ наказаніи нижнихъ чиновъ... на основаніи 374 ст. улож. о наказ. уголовн. и испр., слѣдовало бы наказать, но... какъ всё вообще незаконныя мѣры при производствѣ слѣдствія произошли отъ злоупотребленія главныхъ ихъ начальниковъ (Булгакова, Трипатнаго и Мандрыки), внимательство которыхъ въ розысканіе слѣдователей едва-ли отклонить могли, особенно Врочинскій, Громкау и Рутковскій, состоявшіе подъ непосредственнымъ начальствомъ Трипатнаго и Мандрыки, то... опредѣленное имъ взысканіе не считать препятствіемъ къ правамъ и преимуществамъ, прежнюю службу приобрѣтеннымъ», и т. д. Намъ предстоитъ рассказать читателю еще много поучительныхъ страницъ изъ русской уголовной лѣтописи. Поэтому предоставляемъ ему самому сопоставить подчеркнутыя нами мѣста изъ рѣшенія генераль-аудиторіата и вдуматься въ тотъ cercle vicieux, въ который попали слѣдователи. Переходимъ къ другимъ дѣламъ.

Въ мартѣ 1848 г., въ селѣ Курковичѣ (Черниговской губерніи, Стародубскаго уѣз-

да) стояла рота Софійскаго морского полка. Рядовой этой роты, Кабаненко, бѣжалъ, но черезъ два дня пойманъ. Ротный командиръ, штабсъ-капитанъ Матвѣевъ, сталъ его немедленно допрашивать у себя на квартирѣ о причинѣ побѣга. Допросъ производился слѣдующимъ оригинальнымъ способомъ: Матвѣевъ нанесъ Кабаненку «нѣсколько ударовъ кулакомъ по лицу и головѣ. Когда же Кабаненко сказалъ, что бѣжалъ отъ страха наказанія за потерю зимнихъ панталонъ, то Матвѣевъ, схвативъ его и грозя убить, билъ головою о печь, такъ что проломилъ ему голову, и изъ раны полилась кровь. Не смотря на это, Матвѣевъ отправилъ Кабаненку для наказанія въ манежъ и велѣлъ собрать туда для этого всѣхъ нижнихъ чиновъ, находившихся въ ротномъ штабѣ, болѣе 70 человекъ. Въ манежѣ Матвѣевъ снова допрашивалъ Кабаненку о причинѣ побѣга, и когда тотъ повторилъ, что бѣжалъ отъ страха наказанія за потерю панталонъ, то Матвѣевъ приказалъ сперва фельдфебелю, а потомъ унтеръ-офицерамъ и рядовымъ наказывать его. Наказаніе произведено розгами и палками безъ счета. При этомъ самъ Матвѣевъ, взявъ съ ружья штыкъ, билъ имъ Кабаненку по спинѣ такъ сильно, что сломилъ конецъ штыка, а потомъ, передавъ штыкъ одному изъ нижнихъ чиновъ, приказалъ ему бить Кабаненку тѣмъ же штыкомъ. Послѣ этого Матвѣевъ, приказавъ Кабаненку встать, опять допрашивалъ его о причинѣ побѣга, а когда тотъ отвѣчалъ тоже, что бѣжалъ по случаю потери панталонъ, то Матвѣевъ приказалъ возобновить наказаніе, и нижніе чины наказывали его по-прежнему безъ счета. Затѣмъ Матвѣевъ приказалъ отвести Кабаненку на квартиру и бить его дорогой. Не перенесъ такихъ побоевъ, Кабаненко упалъ, а Матвѣевъ, сочтя это за притворство, возвратилъ его въ манежъ и, нанеся ему собственноручно по лицу побои, приказалъ снова наказывать розгами и палками. Наконецъ, Кабаненко, бывъ выведенъ изъ манежа, не могъ идти, а Матвѣевъ, сочтя это за притворство, возвратилъ его въ манежъ, опять нанеся ему побои по лицу и еще наказавъ его розгами и палками. Послѣ этого Кабаненко не могъ уже встать и перенесенъ нижними чинами на ротный дворъ, гдѣ черезъ нѣсколько часовъ умеръ». Во время слѣдствія по этому дѣлу обнаружилось, что это уже не первый подвигъ Матвѣева въ этомъ родѣ. Одному фельдфебелю, по его приказанію, дано было 500 розогъ за то, что «во фронтѣ у одного рядового высунулась портанка изъ сапога». Одного унтеръ-офицера Матвѣевъ такъ наказалъ розгами, неизвѣстно за что, что онъ лежалъ въ лазаретѣ. Одного рядового, только по подозрѣнію въ кражѣ, Мат-

вѣвъ билъ по лицу и замахнулся на него топоромъ. Солдаты успѣли отскочить и жаловался батальонному командиру, но тотъ не обратилъ на жалобу вниманія, а Матвѣевъ, узнавъ о ней, жестоко отодралъ солдата...

6-го марта 1843 г. происходило ученье 4-го кадреннаго батальона пѣхотнаго, принца Карла Прусскаго, полка. Присутствовавшій на ученьи генераль-маіоръ Леманъ былъ недоволенъ горнистами Петровымъ и Тимошеевымъ, которые не могли надуть свои рожки и такъ неудачно передавали сигналы, что ученье изъ-за этого остановилось. Горнисты ссылались на холодъ. Генераль Леманъ приказалъ подать палокъ. Палокъ не оказалось. Тогда Леманъ, какъ онъ говоритъ, «не могши оставаться равнодушнымъ», или какъ выражено въ рѣшеніи генераль-аудиторіата, «въ порывѣ негодованія», приказалъ наказывать обоихъ горнистовъ *шомполами*, каковое наказаніе строго запрещено. Показанія относительно числа ударовъ разнорѣчивы. Самъ Леманъ показывалъ, что Тимошееву дано около пятнадцати ударовъ, а Петрову 45—50. Последний послѣ наказанія упалъ и былъ отправленъ, за неимѣніемъ госпиталя, въ лазаретный околотокъ, откуда, впрочемъ, черезъ нѣсколько дней (относительно этого пункта показанія тоже разнорѣчаютъ, что нѣсколько странно, такъ какъ во всякой больницѣ, а тѣмъ паче въ казенной, дни пріема и выпуска больныхъ записываются) былъ выпущенъ уже совершенно здоровымъ. Въ объясненіяхъ своихъ по этому дѣлу Леманъ излагалъ, между прочимъ, что, «бывъ во многихъ сраженіяхъ, командуя съ похвалой почти 10 лѣтъ одною бригадою и въ послѣднее время дивизіею; прослуживъ слишкомъ 30 лѣтъ, онъ сроднился съ воинскою субординаціею, знаетъ, сколь опасны и вредны слѣдствія малѣйшаго послабленія по службѣ; онъ свидѣтельствуется всею 32-лѣтнею службою своею, что наказаніе горнистовъ шомполами сдѣлано было не по какой-либо злобѣ или жестокости: возложенная на него строгая отвѣтственность за исправность ввѣренныхъ ему частей того требовала. Если онъ увлекся желаніемъ видѣть части въ томъ блестящемъ состояніи, въ которомъ имѣлъ счастье представлять ихъ на смотрахъ, и за что удостоился даже личныхъ благоволеній Государя Императора, и если, погорячившись, вмѣсто палокъ, которыхъ въ то время не случилось, велѣлъ дать нѣсколько шомполовъ единственно для того, чтобы не уронить порядка службы и заставить каждого исполнять свои обязанности,—то въ сей неосторожности, вынужденной крайностію обстоятельства, въ коихъ неотлагательною строгостью должно было показаться примѣръ, онъ, генераль-маіоръ Леманъ, признаетъ себя виновнымъ, и въ такомъ невольномъ поступкѣ,

сдѣланномъ въ порывѣ усердія къ службѣ, полагается на безпредѣльное милосердіе Его Императорскаго Величества» и т. д.

Легко можетъ быть, что генераль Леманъ былъ по натурѣ человѣкъ въ высшей степени мягкій, но, тѣмъ не менѣе, весьма сомнительно, чтобы за нимъ не водилось и другихъ грѣховъ вродѣ описаннаго, хотя и онъ и другіе утверждали, что это первый случай. Грѣхи несомнѣнно были, но какіе же это собственно грѣхи? Леманъ—генераль смотровъ и парадовъ, генераль шагистики, одинъ изъ тѣхъ генераловъ, въ которыхъ замирало сердце при видѣ стройныхъ шеренгъ, маршировавшихъ въ три пріема (Леманъ упоминалъ, между прочимъ, о многихъ сраженіяхъ, въ которыхъ онъ участвовалъ, но корпусный командиръ далъ о немъ довольно двусмысленный отзывъ въ этомъ отношеніи, говоря о его тридцатилѣтней службѣ «не безъ военныхъ заслугъ»). Эта исчезнувшая порода чрезвычайно любопытна въ психологическомъ отношеніи. Нужна была совершенно оригинальная комбинація условий для произведенія людей, которые бы всю душу свою уложили въ «три пріема», которые бы только и жили, и дышали, что на ученьи. Мы знавали подобныхъ экземпляровъ вида *homo sapiens*. Между ними были люди, дѣйствительно, очень мягкіе, но они становились совершенными звѣрями передъ фронтомъ. Несчастные горнисты, безъ всякаго сомнѣнія, изъ всѣхъ силъ надували свои горны, когда раздавался грозный голосъ Лемана и, тѣмъ не менѣе, онъ объясняетъ, что избилъ шомполами для того, «чтобы не уронить порядка службы и заставить каждого исполнять свои обязанности». И онъ, по всей вѣроятности, вѣрилъ въ то, что говорилъ. Сторонники безусловной идеи «трехъ пріемовъ», Леманы, какъ и всякіе сторонники всякихъ безусловныхъ идей, усѣвшись на своего конька, были безпощадно послѣдовательны; на немъ они могли заскакать, заткнувъ уши и зажмуря глаза, за тридевять земель въ тридесятое царство, а что тамъ дѣлалось по сторонамъ—до этого имъ не было никакого дѣла. Для Лемана былъ немыслимъ вопросъ—почему не трубили горнисты? они не трубили и конецъ. Фактъ совершился и доискиваться причинъ его значить нѣкоторымъ образомъ унижать безусловную идею трехъ пріемовъ. Девизъ Лемановъ—«хоть тресни, да полѣзай». Для подобныхъ поклонниковъ формы нѣтъ и грѣховъ. Леманъ признавалъ себя виновнымъ только въ томъ, что онъ «въ порывѣ негодованія» пустилъ въ ходъ, вмѣсто законныхъ палокъ, незаконные шомпола, т. е. нарушилъ форму. А избей онъ тѣхъ же горнистовъ до полусмерти (до смерти то же незаконно) палками, его совѣсть была

бы чиста и онъ спокойно прочиталъ бы молитву на сонъ грядущій. Поэтому-то и становится вѣроятнымъ, что въ предѣлахъ установленной формы Леманъ и прежде не отличался особенною гуманностью въ дѣлахъ службы, хотя могъ быть прекраснымъ семьяниномъ и проч. Тотъ же Леманъ судился еще по другому дѣлу. Въ отсутствіе его, въ его квартирѣ застрѣлился бывший у него ординарцемъ унтеръ-офицеръ. До свѣдѣнія шефа жандармовъ дошло, что ординарецъ у Лемана былъ безсмѣнный и что застрѣлился онъ изъ страха наказанія за пропажу съ квартиры Лемана топора и простыни. По произведенному слѣдствію не оказалось обстоятельствъ, которыя подтвердили бы это предположеніе о причинѣ самоубійства ординарца, и причина эта такъ и не была открыта. Но Леманъ все-таки судился за держаніе безсмѣннаго ординарца. Можно навѣрное сказать, что Лемана тяготило главнымъ образомъ обвиненіе въ держаніи безсмѣннаго ординарца, то-есть опять-таки въ нарушеніи формы. Фактъ самоубійства, хотя бы въ немъ и играло какую-нибудь роль поведеніе Лемана, мучить его, вѣроятно, не столько, если мучить. Недаромъ же въ его формулярномъ спискѣ значилось, что полки его бригады «находимы были при смотрѣхъ въ отличномъ во всѣхъ частяхъ устройствѣ», и не даромъ онъ самъ говорилъ, что «въ службѣ единственно поставлялъ всю цѣль своего существованія». И цѣль его существованія была дѣйствительно служба, а не что-либо другое, не служеніе, напримѣръ, отечеству на полѣ брани. Эта послѣдняя цѣль у Лемановъ отошла на самый задній планъ, и цѣлью ихъ сдѣлалось средство. При такой перетасовкѣ цѣлей и средствъ человѣкъ необходимо становится уже жестче.

Но Леманъ все-таки относительно крупная личность. И благо, если наверху сидѣлъ такой чистокровный идеалистъ, поклонникъ формы, убившій въ себѣ всякіе, похвальные и непохвальные, человѣческіе помыслы и стремленія. Леманъ, съ высоты своего абсолютна трехъ приѣмовъ, не видалъ личности: сегодня онъ человѣка расцѣлуетъ за мастерское исполненіе своего дѣла, а завтра запоретъ шомполами. На службѣ онъ никого ни любить, ни ненавидитъ. Но куда дѣваться при систематическомъ преслѣдованіи, какое испытывать, напримѣръ, отъ Данилова Оедоровъ, которому даже самъ чортъ не поможетъ? Побѣгъ? Но Кабаненко былъ пойманъ, и Матвѣевъ забилъ его до смерти. Жалоба? Но сослуживецъ Кабаненки жаловался, на жалобу не обратили вниманія, а Матвѣевъ выпоролъ доносчика. Самоубійство? Но пожарный Линскій (1848 г.) былъ снятъ съ петли, приведенъ въ чувство и присужденъ: «за отлучку отъ команды, пьянство и покушеніе на само-

убійство, по лишеніи имѣемой имъ нашивки за безпорочную службу, наказать розгами, давъ сто лозановъ, а за *посягательство на свою жизнь* предать церковному покаянію по усмотрѣнію духовнаго начальства». Понятное дѣло, что при такихъ условіяхъ были нерѣдко случаи противозаконныхъ протестовъ, не только пассивныхъ, но и активныхъ. Не всѣ и не всегда, разумѣется, умѣли покорно подставлять свою шею или искать выхода въ самоубійствѣ. Кромѣ забытыхъ, находились и разбитые, которые, махнувъ на все рукою и выполнѣ сознавая, что ихъ ждетъ каторга и нѣсколько тысячъ шпицрутенговъ, рѣшались противопоставить кулакъ кулаку.

Иногда реакція эта получала совершенно неожиданно громадныя размѣры. Въ 1860 г. въ Балтійскомъ морѣ взорвало на воздухъ клиперъ «Пластунъ», состоявшій подъ командой лейтенанта барона Дюстерло. При этомъ погибло 75 человѣкъ. Назначенная по этому дѣлу слѣдственная коммисія выразила, между прочимъ, предположеніе, и въ пользу этого предположенія существуетъ достаточно данныхъ, что взрывъ былъ произведенъ умышленно однимъ изъ служившихъ на клиперѣ, съ которымъ командиръ обращался варварски жестоко. «Командовавшій клиперомъ и старшій офицеръ считали побои, наносимые собственными руками, дѣломъ обыкновеннымъ». «Строгость командира и старшаго офицера нерѣдко доходила до того, что, кромѣ тѣлесныхъ наказаній, Савельева (подозрѣваемое лицо) ставили на ванты, привязывали къ бушприту и били по лицу такъ что рѣдкій день могъ ему пройти безъ обидъ». «Понятно, заключаетъ слѣдственная коммисія, что такая жизнь, въ продолженіе многихъ лѣтъ, могла довести человѣка до отчаянія». Передъ самымъ взрывомъ старшій офицеръ приказалъ Савельеву идти на бакъ для наказанія. Ближайшій начальникъ командира барона Дюстерло далъ о немъ такой отзывъ: «Дюстерло былъ изъ числа такихъ капитановъ, у которыхъ на суднѣ безъ приказанія ихъ ничего не дѣлается, а понятія его о морскомъ уставѣ были таковы, что не только смыслъ, но и его букву онъ требовалъ безъ всякаго послабленія. Въ рѣшительную минуту я никогда не желалъ бы имѣть лучшаго товарища». Что касается до фактическихъ доказательствъ того, какъ баронъ Дюстерло понималъ смыслъ и букву морского устава, то вотъ одинъ примѣръ: одному матросу онъ далъ сто линьковъ за то, что тотъ плюнулъ на палубу. Мы полагаемъ, что тотъ, кто такъ часто прибѣгалъ къ такимъ рѣшительнымъ мѣрамъ, оказался бы въ рѣшительную минуту очень плохъ.

Фельдфебель лейбъ-гвардіи егерскаго полка, Максимъ Тищенко, завѣдывавъ школою

кантонистовъ, которыхъ обучалъ фронтальной службѣ. Начальникомъ школы былъ полковой казначей капитанъ Горбуновъ. Горбуновъ часто билъ Тищенко и въ школѣ и у себя на квартирѣ, и Тищенко все терпѣлъ. Наконецъ, приходитъ Горбуновъ 19-го сентября 1843 г. въ школу и видитъ, что на столѣ испорченъ лакъ — Тищенко бить; пинели на кантонистахъ неисправны — Тищенко бить; гимнастическіе аппараты не на мѣстѣ — Тищенко бить; постель у одного кантониста нечиста — Тищенко въ четвертый разъ бить; фехтовальныя снаряды не въ порядкѣ — Тищенко въ пятый разъ бить; чехолъ на кровати разорванъ — Тищенко въ шестой разъ бить... Не выдержавъ, наконецъ, Тищенко и отвѣсилъ Горбунову публично два удара по лицу. При этомъ онъ сказалъ: «Теперь дѣлайте, что хотите. Вы у меня въ головѣ не оставили косточки неразбитой; погубили вы мое семейство; я пропалъ, и вамъ нехорошо». Кто умѣетъ читать не на манеръ гоголевскаго Петрушки, тотъ пойметъ, сколько въ этихъ простыхъ словахъ силы; какъ великъ долженъ былъ быть психическій нарывъ у Тищенко и сколько времени онъ нарывалъ, пока, наконецъ, не прорвался 19-го сентября 1843 года.

Но опять-таки Горбуновъ по дѣламъ службъ свирѣпствовалъ. Онъ не хуже Лемана могъ приводить въ свое оправданіе порывъ усердія къ службѣ и негодованія, желаніе видѣть вѣренную ему часть въ блистательномъ порядкѣ и проч. Дѣло барабанщика Шкабло будетъ еще почище. Барабанщикъ Шкабло, еврей, находясь постоянно въ командѣ мастеровыхъ, состоялъ подъ непосредственнымъ начальствомъ завѣдывавшаго командой подпоручика Ефремова. Зданіе, гдѣ въ обыкновенное время помѣщались мастерскія, было отведено подъ молельню для солдатъ изъ евреевъ. 29-го сентября 1845 году въ этой молельнѣ происходило еврейское богослуженіе. Вдругъ врывается Ефремовъ и «съ ругательствомъ и непристойными словами» начинаетъ гнать всѣхъ вонъ, а мастеровыхъ велитъ приниматься за работу. Евреи продолжаютъ молиться и не трогаются съ мѣста. Тогда Ефремовъ созвалъ людей и выгналъ евреевъ силой. При этомъ самъ Ефремовъ «гасилъ и ломалъ свѣчи, рвалъ съ молившихся одежды, сбилъ съ ногъ служившаго за жреца и столкнулъ съ мѣста кивотъ съ заповѣдями»; наконецъ, всталъ у дверей и билъ всѣхъ проходившихъ мимо него. Въ этотъ день у евреевъ былъ праздникъ, и они отъ служебныхъ обязанностей были освобождены, но Ефремовъ усадилъ ихъ за работу. 12-го октября былъ опять праздникъ, но Ефремовъ опять заставилъ евреевъ работать. Кромѣ того, онъ строго

наказывалъ ихъ за самыя ничтожныя проступки, объясняя при этомъ, что онъ «истребитель жидовъ» и «уничтожить ихъ праздники и законъ». 13-го октября Ефремовъ намѣревался наказать трехъ мастеровыхъ изъ евреевъ, въ томъ числѣ барабанщика Пейсиха Шкабло, за то, что они накануне не явились на вечернюю переключку, въ чемъ, какъ оказалось, всѣ трое, и въ особенности Шкабло, виноваты не были, потому что были заняты другимъ дѣломъ. Начинается порка. Ефремовъ обращается къ Шкаблу и говоритъ ему, что его онъ такъ отдеретъ, что его на простынь въ лазаретъ снесутъ. Ни въ чемъ невинный Шкабло проситъ прощенія. Но Ефремовъ вмѣсто прощенія начинаетъ его бить кулакомъ по лицу. Тогда Шкабло бросился на Ефремова, сорвалъ у него съ плечъ эполетъ и убижалъ съ нимъ прямо на гауптвахту. Тамъ онъ объявилъ о своемъ поступкѣ, но эполетъ не хотѣлъ отдавать ни дежурному по полку, ни караульному офицеру, ни самому полковому командиру. «Пускай отнимутъ насильно», говоритъ Шкабло. Спрашивается, почему ему этого хотѣлось, тогда какъ онъ самъ на себя донесъ? Почему онъ далѣе не давалъ отвѣтовъ въ военно-судной комиссіи, учрежденной при полку, и прямо объявлялъ, что не хочетъ при полку судиться? Это объяснилось только тогда, когда началось слѣдствіе о дѣяніяхъ самого Ефремова при московскомъ ордонансъ-гаузѣ, куда былъ вытребованъ и Шкабло. Тамъ онъ на первомъ же допросѣ, признаваясь во всемъ, показалъ, что онъ для того не отдавалъ эполета и не отвѣчалъ на полковомъ судѣ, «чтобы поступокъ его не былъ скрытъ передъ начальствомъ, и Ефремовъ не могъ бы попрежнему продолжать свои незаконныя дѣйствія». Это показаніе освѣщаетъ закулисныя стороны дѣла. Съ перваго раза можетъ показаться, что Ефремовъ бѣшенный маниакъ, пунктъ помѣшательства котораго составляетъ «истребленіе жидовъ», — до такой степени дико его поведение, и что его поступки представляютъ, слѣдовательно, просто единичное уродливое явленіе, къ которому никто, кромѣ его, не причастенъ. Станнымъ можетъ показаться только то обстоятельство, что съ 29-го сентября по 13-е октября его буйство не было остановлено никѣмъ изъ начальства, такъ какъ невѣроятно, чтобы такого сора кто-нибудь изъ солдатъ не вынесъ изъ избы. Изъ показанія Шкабла слѣдуетъ заключить, что соръ дѣйствительно былъ вынесенъ, но что начальство соблаговолило смести его въ задній уголъ забвенія и такимъ образомъ погладило Ефремова по головѣ. Такимъ образомъ Ефремовъ встрѣчалъ, значить, даже косвенное одобреніе и подъ эгидою его пошелъ уже, какъ говорится, зво-

идти во вся. Силень былъ, видно, гнеть обстоятельство, если Шкабло рѣшился идти на такое дѣло, какъ оскорбленіе начальника, только подъ однимъ условіемъ, — чтобы поступокъ его сдѣлался извѣстнымъ. Значить, иначе и нельзя было вывести на свѣтъ божій дѣла Ефремова, какъ цѣною своей свободы и крови. И Шкабло — эта жертва очищенія — получилъ тысячу шпицрутенъ и былъ отданъ навсегда въ арестантскія роты, а ему наказаніе было еще смягчено въ виду возмутительнаго поведенія Ефремова. По поводу этого-то дѣла г. Любавскій и выразилъ свое глубокомысленное соображеніе о необходимости безусловнаго вмѣненія преступленій, совершаемыхъ лицами военнаго званія...

V.

Передъ нами прошелъ еще рядъ русскихъ преступниковъ, очень небольшой, потому что больше ничего характеристическаго мы у г. Любавскаго не нашли. Но и этого немногаго достаточно для уясненія нѣкоторыхъ общихъ причинъ преступленій этого рода. Здѣсь сказался, во-первыхъ, уже отмѣченный нами элементъ. Людямъ даютъ по 500 розогъ за то, что во фронтѣ у солдата высовывается портянка изъ сапога; разорванные чахлы и неисправныя шинели ведутъ людей на ка-торгу... Наши поздніе скептическіе потомки не повѣрятъ нашимъ рассказамъ, а между тѣмъ этотъ періодъ очень четко записанъ на спинкахъ солдатъ. И только такой страшный ударъ, какъ крымская кампанія, могъ заставить насъ нѣсколько очнуться и приблизиться къ пониманію той простой истины, что машина всегда и во всемъ машина. Систематически, съ дѣтства, въ военно-учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ сортовъ, гнули и жали молодую душу, подсовывая ей все одну и ту же нищу. И черствѣла, и черствѣла молодая душа, грубѣла и грубѣла шкура до тѣхъ поръ, пока ея уже не могъ пробить никакой стонъ, пока ей не становились недоступными никакая человѣческая мысль и никакое человѣческое чувство. Казалось бы, что человѣкъ, вынесшій самъ горе и побой, не пойдетъ ихъ раздавать другимъ. Такъ оно обыкновенно и бываетъ съ людьми, но не такъ бываетъ съ машинами. Молотъ бьетъ наковальню, — перекуйте молотъ въ наковальню, а наковальню въ молотъ, — и работа не остановится. Замѣчено, что солдаты, дослужившіеся до офицерскаго чина и получившіе возможность расправы, отличаются особенною жестокостью. И у кого повернется языкъ обвинить ихъ за это.

Далѣе, крѣпостное право, эта основная мелодія нашей государственной и общественной жизни, повторяющаяся въ ней безчисленное

множество разъ среди другихъ аккордовъ — эта мелодія звучитъ и здѣсь. Солдатъ былъ мужикомъ, слѣдовательно, вещь, предметомъ купли, продажи и мѣны, который можно было и съ кашей ѣсть и во щи лить. Этотъ взглядъ на мужика естественно переносился и на солдата, да и самъ солдатъ, какъ и мужикъ, снѣздала задавленный и забытый, не могъ высоко цѣнить свою личность. Если же солдату удавалось пробиться наверхъ, то онъ чувствовалъ себя не въ своей тарелкѣ и совершенно запутывался въ тѣхъ противорѣчіяхъ, въ которыя его поставила судьба. У г. Любавскаго помѣщенъ одинъ очень любопытный въ этомъ отношеніи процессъ.

Во время стоянки русскаго фрегата «Полканъ» въ Испаніи между офицерами фрегата, подпоручикомъ Грицко и прапорщикомъ Шелухинымъ, произошла дуэль, на которой Шелухинъ былъ убитъ. Во время слѣдствія Грицко объяснилъ, что въ Смирѣ на фрегатъ былъ принятъ очень дурной уголь, такъ что когда фрегатъ шелъ подъ парами, то уголь выходилъ очень скоро. Грицко высказалъ мысль, что если подуеетъ противный вѣтеръ, то угля, пожалуй, и не хватитъ. Шелухинъ сталъ надъ нимъ смѣяться. На другой день Шелухинъ опять завелъ этотъ разговоръ объ углѣ и, обратясь къ одному изъ офицеровъ, сказалъ: «а вѣдь это скандалъ, дѣйствительно, если у насъ не хватитъ угля». Далѣе бесѣда получила видъ такого діалога:

Грицко Шелухину: «Такъ васъ сильно беспокоитъ, что у насъ не хватитъ угля? Если у насъ не хватитъ угля, то мы пойдемъ подъ парусами, вотъ и все; что же уголь-то мучитъ васъ такъ сильно?» — Однако, не слишкомъ-то пріятно лавировать подъ парусами, всякій старается придти скорѣе. «Хорошо, но все же до угля вамъ дѣла нѣтъ». — Да что вы кричите-то; вы думаете, что вы сильнѣе меня и думаете испугать меня и взять кулакомъ, что ли? «Послушайте, если меня задѣнутъ кулакомъ, я буду отвѣчать кулакомъ; если меня ударятъ ножомъ, то я отвѣчу имъ же: что же дѣлать — характеръ такой». — Да, вы храбры, а вотъ если бы вамъ пришлось стать на дистанцію. «Если мнѣ придется стать на дистанцію, то я стану». — Да вы неисправимы. «Не хотите-ли вы меня исправить?» Да, и я васъ исправлю. «Послушайте, вотъ уже третій разъ какъ вы ко мнѣ пристааете; къ чему это? Ступайте лучше учить французовъ говорить рѣчи». — Ну, послѣ этого вы свинья. «А послѣ всего этого вы, Шелухинъ, — *мужикъ*».

Вслѣдствіе этого Шелухинъ вызвалъ Грицко на поединокъ и былъ убитъ. Комизмъ приведеннаго нами діалога до такой степени великъ, что подъ нимъ необходимо должна скрываться какая-нибудь трагическая нитка, соединяющая комическое начало съ печальнымъ

концомъ. Эта нитка скрывается въ бранномъ словѣ *мужикъ*, которое Шелухинъ такъ близко принялъ къ сердцу. Шелухинъ происходилъ изъ купеческаго званія и службу свою началъ на купеческихъ судахъ въ качествѣ простаго матроса. А впоследствии, какъ объяснялъ одинъ изъ свидѣтелей, «по производствѣ въ офицеры, сдѣлался членомъ общества людей, воспитанныхъ въ кадетскихъ корпусахъ, привыкшихъ къ жизни между товарищами, съ которой онъ, Шелухинъ, вовсе не былъ знакомъ. Посему часто ему казалось, что хотятъ напоминать ему объ его происхожденіи, и онъ дѣлалъ безъ всякой видимой причины дерзости людямъ, которые нисколько не желали оскорбить его». Согласно съ этимъ, и остальные офицеры фрегата показали, что Шелухинъ былъ дерзокъ и «безпокойнаго характера». Не трудно видѣть, что за человѣкъ былъ Шелухинъ и какую роль игралъ онъ въ обществѣ господъ офицеровъ. Жизненная лямка до ранъ и синяковъ натерла ему мозгъ и совершенно изуродовала его. Ему не давала покою виднѣвшаяся въ его прошедшемъ матросская куртка, и онъ думалъ, что и всѣ чужіе взоры устремлены на нее. Поэтому онъ поддѣлывалъ и записывалъ у себя въ памяти малѣйшее подобіе намеку на его прошлое. Что же касается до офицерскаго общества, то оно, какъ видно изъ показаній, держало себя отъ него вдали, чтò, разумѣется, усугубляло подозрительность и мнительность Шелухина. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, офицеры побаивались его запальчивости и спускали ему многое, чего не спустили бы, можетъ быть, другому. Такъ, напримѣръ, когда офицеры играли разъ въ кафе на бильярдѣ, въ комнату вошелъ подвыпившій Шелухинъ и безъ всякой видимой причины смѣшалъ шары, а когда ему была замѣчена неблаговидность такого поступка, то его едва удержали отъ драки. Вслѣдствіе этой отчужденности, съ одной стороны, и очевиднаго для него страха передъ нимъ, съ другой, Шелухинъ, съ своей идеей фикс въ головѣ, не зналъ, какъ ему вести себя, и весь ушелъ въ болѣе или менѣе странныя бравады. Что же касается до послѣдней его выходки, то въ приведенномъ выше поучительномъ діалогѣ есть темныя для насъ мѣста (напр. «ступайте учить французовъ говорить рѣчи»), которыя были, однако, по всей вѣроятности, совершенно ясны и оскорбительны для Шелухина. Доканало же его слово *мужикъ*, въ которомъ онъ увидалъ намекъ на свое прошлое, и, какъ совершенно вѣрно замѣчаетъ издатель, дуэлью онъ хотѣлъ доказать, что онъ не мужикъ...

Дуэль не имѣетъ у насъ той исторической почвы, на которой она выросла на Западѣ. У насъ не было рыцарства съ его поэтической обстановкой, съ его поклоненіемъ женщицѣ, съ его своеобразными понятіями о

чести и храбрости. Наши древніе поединки не имѣютъ ничего общаго съ дуэлью, какъ она развилась на Западѣ и какъ она существуетъ теперь во всей Европѣ. Тѣмъ не менѣе, дуэль привилась у насъ вполне и представляетъ одно изъ немногихъ преступленій, къ мотивамъ котораго, если не законодательство (а отчасти и оно), то судебная власть относится съ особеннымъ уваженіемъ. Такъ, по дѣлу Грицки и Шелухина морской генераль-аудиторіатъ рѣшилъ, что, на основаніи 403 и 404 ст. кн. Св. улож. пост., Грицко, какъ принявшій вызовъ Шелухина, долженъ бы быть лишенъ чина, дворянства и орденовъ и отданъ въ солдаты, а секунданты—подвергнутыя шестимѣсячному аресту. Но далѣе въ рѣшеніи морского генераль-аудиторіата сказано: «подчиняясь условнымъ понятіямъ о чести, чтобы не уронить себя въ общественномъ мнѣніи, Грицко считалъ себя обязаннымъ принять вызовъ. Подобное убѣжденіе, не оправдывая преступности подсудимаго, не можетъ, однако, не быть принято во вниманіе; подъ влияніемъ тѣхъ же понятій о чести, секунданты не рѣшились донести начальству». Вслѣдствіе этого Грицко былъ присужденъ къ аресту въ крѣпости на гауптвахтѣ на шесть мѣсяцевъ, а секунданты на одинъ.

Первая дуэль Лермонтова (съ барономъ де-Барантомъ) имѣла ближайшимъ поводомъ ссору на балу, во время которой де-Барантъ сказалъ, что «если бы онъ находился въ своемъ отечествѣ, то зналъ бы, какъ кончить это дѣло». На это Лермонтовъ возразилъ, что «въ Россіи слѣдуютъ правиламъ чести столь же строго, какъ и вездѣ, и что русскіе меньше другихъ позволяютъ оскорблять себя безнаказанно». И смягчающимъ (весьма значительно) для Лермонтова обстоятельствомъ послужило его «желаніе поддержать честь русскаго офицера». Черезъ годъ Лермонтовъ былъ убитъ на второй дуэли. А за три года передъ тѣмъ воспылѣла смерть Пушкина:

Погибъ поэтъ, невольникъ чести...

Въ дѣлѣ о дуэли между Римскимъ-Корсаковымъ и Козловымъ (1857 г.) любопытно то обстоятельство, что отецъ Козлова не только не препятствовалъ дуэли, но самъ передалъ вызовъ Римскому-Корсакову на томъ основаніи, что «нашелъ поединкомъ единственнымъ способомъ возстановить честь сына». Генераль-аудиторіатъ, на точномъ основаніи закона, полагалъ разжаловать дуэлистовъ въ рядовые съ лишеніемъ дворянства, чиновъ и орденовъ. Но затѣмъ были приняты въ соображеніе смягчающія обстоятельства: «хотя Козловъ первый подаль поводъ къ прошедшему поединку, но притомъ нельзя не принять во вниманіе какъ юношескій воз-

расть его, такъ и то, что онъ, считая поединкомъ единственнымъ средствомъ оправдать себя во мнѣніи общества и сослуживцевъ, послѣ распространившихся о немъ невыгодныхъ слуховъ, былъ поддерживаемъ въ этомъ убѣжденіи совѣтами отца. Не менѣе того заслуживаетъ снисхожденія и поручикъ Римскій-Корсаковъ, который по ложному, но болѣе или менѣе принятому, понятію о чести былъ поставленъ въ затруднительное положеніе—отказаться отъ поединка». Въ концѣ концовъ, Козловъ и Корсаковъ были опредѣлены тѣмъ же чиномъ въ армію.

По поводу дуэли Станишевскаго и Пожидаева (1860 г.) генераль-аудиторіатъ также замѣтилъ, что поединкомъ произошелъ «единственно подъ вліяніемъ хотя ложныхъ, но укоренившихся въ нравы наши убѣжденій о необходимости омыwać кровью частныя оскорбленія, не подлежащія по существу своему преслѣдованію закона».

Поручикъ Канужевъ, вызывая поручика Медвѣдева на дуэль (1862 г.), по мнѣнію генераль-аудиторіата, «дѣйствовалъ подъ вліяніемъ укоренившагося въ нравахъ нашихъ убѣжденія, что тяжкія личныя оскорбленія должны быть омываемы кровью», вслѣдствіе чего Канужевъ былъ освобожденъ отъ слѣдовавшаго ему по закону уголовного наказанія.

Дѣло о поединкѣ Беклемишева и Неклюдова, надѣлавшее въ свое время столько шума, чрезвычайно любопытно во многихъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, это была первая дуэль въ Сибири, такъ что многіе коренные сибиряки даже не понимали, въ чемъ дѣло, какъ удостовѣряетъ рапортъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ главнаго управленія Восточной Сибири къ главному начальнику III отдѣленія собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи. Во-вторыхъ, въ обществѣ ходили толки, будто Неклюдовъ убить измѣннически, вслѣдствіе чего судебная власть разработала это дѣло до мельчайшихъ подробностей. А потому и наша терпимость по отношенію къ поединкамъ особенно ярко очерчивается этимъ дѣломъ.

По мнѣнію правительствующаго сената, обида дѣйствіемъ, нанесенная Беклемишеву Неклюдовымъ, такова, что «законъ не отвергаетъ въ подвергшемся ей права вызова на поединокъ (ст. 2050 1-й кн. XV т.), тѣсно связанный съ понятіемъ о чести и почти общій предразсудокъ ставить то же лицо почти въ необходимость смыть наложенное на него пятно тѣмъ способомъ, который, по общему понятію, признается единственнымъ возможнымъ къ искупленію чести». Затѣмъ дѣло идетъ объ опредѣленіи мѣры наказанія, слѣдующаго Беклемишеву, причѣмъ дѣлаются очень остроумныя соображе-

нія относительно неприложимости къ дуэли увеличивающихъ вину обстоятельствъ, перечисленныхъ въ ст. 141-й 1-й книги XV т.

1) Умыселъ и обдуманность въ дѣйствіяхъ преступника не могутъ быть принимаемы въ соображеніе, потому что это необходимыя элементы дуэли. 2) Точно также и на томъ же основаніи не могутъ въ этомъ случаѣ служить увеличивающими вину обстоятельствами и званіе преступника, и степень его образованія, «ибо преступленіе это столь связано съ понятіемъ, свойственнымъ исключительно людямъ образованнымъ, что выведенныя выше обстоятельства представляются въ семь случаевъ скорѣе причиною объясняющею, а слѣдовательно, уменьшающею преступность. 3) Настойчивость на предложенныхъ болѣе или менѣе тяжелыхъ условіяхъ дуэли также въ нѣкоторой степени неизбѣжна при поединкахъ... Къ тому же самыя условія поединка, по существу дѣла, должны были соответствовать вполне обидѣ и быть тѣмъ тяжелѣе, тѣмъ больше самая обида; притомъ же, если бы и было доказано, что Беклемишевъ настойчиво стремился къ своей цѣли, то подобная настойчивость могла бы быть поставлена ему въ вину и отнесена къ его жестокости тогда только, когда бы онъ не имѣлъ никакого повода къ поединку и если-бы онъ, вызывая своего противника на поединокъ, тѣмъ самымъ не удовлетворялъ, такъ сказать, необходимости слѣдовать побужденіямъ чести и общему обычаю».

Трудно отнестись снисходительнѣе къ преступленію и болѣе проникнуться положеніемъ преступника. Надо еще замѣтить, что если ни умыселъ, ни высшая степень образованности, ни употребленіе особенныхъ усилій для преодоленія препятствій къ совершенію преступнаго дѣйствія, — если всѣ эти, по нашему закону, вообще, отягчающія вину обстоятельства, по отношенію къ дуэли въ каждомъ частномъ случаѣ таковыми признаны быть не могутъ, потому что составляютъ необходимыя ея элементы, то eo ipso, по общему духу законодательства, — а поскольку въ немъ выразился народный юридическій смыслъ, и по этому смыслу, — дуэль должна бы была быть поставлена въ число преступленій наиболѣе тяжкихъ. Дѣйствительно, она неизбѣжно заключаетъ въ себѣ всѣ тѣ элементы, которые въ другихъ преступленіяхъ могутъ быть и не быть и, въ случаѣ своего присутствія, вызываютъ болѣе тяжкую кару. И тѣмъ не менѣе, мы имѣемъ цѣлый рядъ приговоровъ по дѣламъ о дуэляхъ съ самыми гуманными указаніями на смягчающія обстоятельства. Понятное дѣло, что такое отношеніе судебной власти къ дуэлямъ, при отсутствіи парализующихъ элемен-

товъ, могло только способствовать натурализаци у насъ этого совершенно чуждаго нашимъ нравамъ преступленія. Мы отнюдь ничего не имѣемъ собственно противъ смягченія репрессивныхъ мѣръ противъ поединковъ, и не особенно тоскуемъ о петровскомъ законодательствѣ, которымъ предписывалось дуэлистовъ «безъ милости повѣсити живаго и мертваго за ноги». Мы желали бы, напротивъ, чтобы гуманное и добросовѣстное изслѣдованіе «объясняющихъ и, слѣдовательно, уменьшающихъ вину» обстоятельствъ получило самое широкое приложеніе ко всякаго рода уголовнымъ дѣламъ, чего при старомъ судопроизводствѣ и при старыхъ порядкахъ, вообще, и быть не могло. За нами, на рукахъ нашей исторіи осталась безобразная куча социальныхъ контрастовъ. Общество было разбито въ общихъ чертахъ на двѣ группы, изъ которыхъ каждая жила своею отдѣльною нравственною, умственною и экономическою жизнью и не понимала жизни другой группы. Для отдѣльныхъ дробей русской интеллигенціи взаимное пониманіе было возможно, потому что дробы эти ежеминутно сливались и сталкивались въ учебныхъ заведеніяхъ, на службѣ и т. д. Но вся интеллигенція въ цѣломъ не хотѣла и не могла знать, чѣмъ живутъ тѣ, которые, по выраженію одной, недавно попавшейся намъ подъ руку, русской книженки, «какъ пчелы собираютъ для насъ медъ». Точно также и для «пчелъ» было недоступно пониманіе жизни «интеллигенціи». Правда, на ихъ пониманіе и запроса не было. Пусть крестьянинъ, рабочій, мѣщанинъ, купецъ средней руки изумляется и возмущается поведеніемъ Лемана, — а если бы онъ смѣлъ свое сужденіе имѣть, онъ непремѣнно изумился и возмущился бы, потому что мотивы этого поведенія для него совершенно чужды и непонятны, — интеллигенція, изъ среды которой вышелъ Леманъ и для которой были ясны его порывы усердія и негодованія, нашла «объясняющія и, слѣдовательно, уменьшающія вину» обстоятельства, и онъ, собственно говоря, наказанія не потерпѣлъ. Пусть сибиряки съ изумленіемъ останавливаются передъ дуэлью, не понимая, за что и для чего люди убиваютъ другъ друга, — интеллигенція, знающая цѣну условій чести, разберетъ дѣло. Каждому изъ членовъ ея самому случалось или могло случиться быть въ положеніи оскорбленнаго въ виду общественнаго мнѣнія, жадно слѣдящаго за подобными скандалами и съ презрѣніемъ отворачивающагося отъ человѣка, несмысловаго оскорбленія своею или чужою кровью. Поэтому интеллигенціи понятны всѣ движенія души дуэлиста, — это плоть отъ плоти и кость отъ кости ея, а понять — значитъ, простить. Совсѣмъ въ другомъ свѣтѣ представляется отношеніе стараго суда къ пре-

ступленіямъ низшихъ слоевъ общества. Это были для него явленія большею частью непонятныя, и ясно обрисовывалась только объективная сторона дѣла: человѣкъ зарѣзалъ, человѣкъ нанесъ смертельныя раны, человѣкъ поджегъ, укралъ и т. д. Поэтому «объясняющія и, слѣдовательно, уменьшающія вину» обстоятельства необходимо рѣдко выступали здѣсь на сцену. Вѣковыя перегородки, заслонявшія другъ отъ друга интеллигенцію и «пчелъ», не дозволяли интеллигенціи проникнуться жизнью народа и собственной, такъ сказать, шкурой прочувствовать тотъ гнетъ условій, который велъ къ преступленію не менѣе неумолимо, чѣмъ страхъ общественнаго презрѣнія и нареканія велъ къ дуэли дуэлиста. Интеллигенція наталкивалась въ преступленіяхъ нижнихъ этажей общественнаго зданія только на голые факты; причины фактовъ были для нея заслонены туманомъ ея собственныхъ воззрѣній и понятій. Она не видѣла и не могла видѣть почвы, на которой выросли эти факты, они висѣли для нея на воздухѣ, и, при видѣ тупого звѣрства, безпробуднаго пьянства и страшнаго невѣжества въ средѣ «пчелъ», ничего, кромѣ словъ кары и угрозы, не приходило ей на языкъ. Чтобы видѣть тѣ пружины, подъ влияніемъ которыхъ явился возбудившій ея ужасъ и негодованіе фактъ, интеллигенція должна бы была мысленно стать на мѣсто преступника и шагъ за шагомъ пройти его невеселую темную жизнь. А возможно-ли это было для нея, выросшей въ совершенно иныхъ условіяхъ, съ молокомъ матери всосавшей условныя понятія о чести и презрѣніе къ тому, что тамъ внизу копошится, обливаясь потомъ, и постепенно вязнетъ въ нравственномъ болотѣ, подъ бременемъ непомѣрнаго труда и невѣжества? Во всякомъ случаѣ, это было возможно для немногихъ избранныхъ. Большинство же, даже предположивъ полную добросовѣстность, по самой силѣ вещей, не могло стать на совершенно чуждую ему точку зрѣнія.

Въ 1855 году въ Новогрудскомъ уѣздѣ свирѣпствовала холера. Крестьяне деревни Окоповичъ «прибѣгали къ частому употребленію водки, какъ единственному средству, способному если не предохранить ихъ отъ холеры, то, по крайней мѣрѣ, заставить менѣе чувствовать свое безвыходное бѣдственное положеніе». Разъ двое крестьянъ везли хоронить своихъ только-что умершихъ дѣтей. По дорогѣ къ печальной процессіи присоединилось еще нѣсколько человѣкъ, и между прочими крестьянинъ Казакевичъ, сотскій и крестьянка Манькова, старуха. Манькову уговорили идти на похороны сотскій и Казакевичъ. Они имѣли въ виду вмѣстѣ съ дѣтскими трупами похоронить и ее, такъ какъ они слышали, что самое вѣрное средство прогнать холеру состоитъ въ томъ, чтобы закопать въ землю живую старуху,

и что дѣло это уже испытанное. И Манькову дѣйствительно похоронили съ дѣтьми... Но холера не прекратилась и вслѣдъ за Маньковой свела въ могилу всѣхъ главныхъ дѣателей ужасныхъ похоронъ. Остался въ живыхъ одинъ Казакевичъ, на котораго и обрушилось наказаніе. Приговоръ по этому дѣлу Минской уголовной палаты гласитъ такъ: «...Казакевича, виновнаго (въ сообществѣ съ другими лицами) въ убійствѣ съ обдуманнѣмъ заранѣе намѣреніемъ крестьянки Маньковой, зарытіемъ ее живою въ землю—по предразсудку, что чрезъ это прекратится смертность отъ холеры, на основаніи ст. улож. 21-й степени 3,125-й и 1,925-й, лишивъ всѣхъ правъ состоянія, наказавъ публично въ городѣ Новогрудкѣ чрезъ палача плетью семьюдесятью ударами съ наложеніемъ клеймъ и потомъ сослать въ каторжную работу въ рудникахъ на двѣнадцать лѣтъ; но, не приводя заключенія сего въ исполненіе, по необычайности совершеннаго Казакевичемъ преступленія, представить это дѣло, на основаніи 158-й статьи улож., на благоусмотрѣніе правительствующаго сената». Сенатъ утвердилъ рѣшеніе палаты.

Преступленіе дѣйствительно «необычайное», страшное преступленіе. Но нѣтъ-ли какихъ-нибудь «объясняющихъ и, слѣдовательно, уменьшающихъ вину» обстоятельствъ въ страшномъ положеніи крестьянъ, дрожащихъ ежеминутно за свою жизнь, за жизнь своихъ женъ и дѣтей, въ той паникѣ, которую они испытали отъ холеры, и, наконецъ, въ предразсудкѣ дикомъ, варварскомъ, нелѣпомъ; но вѣдь въ другихъ случаяхъ дикіе, варварскіе, нелѣпыя предразсудки принимаются же въ соображеніе при оцѣнкѣ факта? Почему-же въ одномъ случаѣ предразсудокъ, ведущій къ убійству, объясняетъ и, слѣдовательно, уменьшаетъ вину преступника, а въ другомъ—ничего не объясняетъ?

Въ нѣкоторыхъ нашихъ губерніяхъ народъ имѣетъ совершенно своеобразный взглядъ на лѣсную собственность: онъ твердо увѣренъ, что лѣсъ — божій, и что поэтому имъ можетъ пользоваться всякій, кто только въ немъ нуждается. Незаконная порубка лѣса весьма часто коренится въ этомъ убѣжденіи и въ такомъ случаѣ представляетъ фактъ, аналогичный съ дуэлью по убѣжденію, съ тою разницей, что дуэль у насъ есть явленіе наносное, а приведенный взглядъ на лѣсную собственность коренной русскій. И, тѣмъ не менѣе, извѣстное дворянское убѣжденіе, лежащее въ основѣ дуэли, служить къ оправданію дуэлиста, хотя оно еще болѣе дико, чѣмъ крестьянское убѣжденіе, изъ котораго вырастаетъ лѣсная порубка; а послѣднее никогда и нигдѣ не было принимаемо въ соображеніе при опредѣленіи мѣры наказанія. И это очень понятно, потому что то хоть дико, да свое, а это чужое.

Такимъ образомъ, вся тяжесть взаимнаго непониманія обрушивалась, по отношенію къ занимающимъ насъ вопросамъ, на нижніе слои общества. Нынѣ въ принципѣ какъ контрасты эти, такъ и это непониманіе готовы исчезнуть. Мы говоримъ—въ принципѣ, потому что въ нѣсколько лѣтъ не можетъ расшататься то, что росло и крѣпло вѣками. И не одинъ годъ энергической борьбы предстоитъ еще подроставшей Россіи, и Богъ знаетъ, какъ она поведетъ эту борьбу... Можно однако съ нѣкоторою вѣроятностью предсказать нѣкоторыя ближайшія фазы нашего общественнаго развитія. Отмѣна крѣпостного права уничтожила наиболѣе грубые и рѣзкіе контрасты, выставивъ новый общественный принципъ свободнаго труда, съ одной стороны, и призвавъ, съ другой, къ труду тѣхъ, кто прежде не имѣлъ о немъ понятія. Остальныя реформы имѣютъ тотъ же смыслъ, и весьма видная въ этомъ отношеніи роль предстоитъ суду присяжныхъ. Каково бы ни было юридическое значеніе этого института, его громадное политическое значеніе несомнѣнно. Имъ дается голосъ доселѣ безмолвнымъ общественнымъ элементамъ, элементамъ, доселѣ только судимымъ и никогда не судившимъ, вмѣстѣ съ тѣмъ расширяется область «объясняющихъ и, слѣдовательно, уменьшающихъ вину» обстоятельствъ. То, что было непонятно и необъяснимо для однообразнаго состава стараго суда и, слѣдовательно, безусловно подлежало репрессіи, можетъ оказаться совершенно понятнымъ и объяснимымъ для суда присяжныхъ. Возможенъ, разумѣется, и обратный случай. Такъ, именно по дѣламъ о дуэляхъ трудно ожидать отъ суда присяжныхъ (смотря, впрочемъ, по составу его въ каждомъ частномъ случаѣ) снисхожденія, какимъ отличался старый судъ. Сибиряки, не понимавшіе, изъ-за чего и для чего дерутся Беклемишевы съ Неклюдовымъ, едва-ли вразумились бы доводами адвоката и, по всей вѣроятности, видѣли бы тутъ простое убійство; а на вопросъ о смягчающихъ обстоятельствахъ отвѣчали бы отрицательно. Но уровень взаимнаго пониманія вообще долженъ необходимо повыситься. Мы, впрочемъ, полагаемъ, что система, принятая нашимъ старымъ судомъ относительно дуэлей (это, дѣйствительно, была система, хотя совершенно безсознательная, непосредственная, обуславливающаяся единственно тождествомъ понятій суда и подсудимыхъ), имѣла крайне неблагоприятные результаты. Каждый приговоръ формулировался такимъ образомъ, что имъ еще пуще разжигались укоренившіеся взгляды на необходимость въ извѣстныхъ случаяхъ дуэли, и понятное дѣло, что, въ виду цѣлаго ряда такихъ приговоровъ, не принять вызова становилось еще труднѣе. Общество видѣло, что сама су-

дебная власть смотреть на дуэль, какъ на необходимую дань извѣстному предрасудку, который, вслѣдствіе этого, получалъ въ его глазахъ высокую санкцію. А между тѣмъ, судъ поступалъ несомнѣнно гуманно и справедливо. Совершенно точно также гуманно и справедливо поступаютъ французскіе присяжные, находя въ стыдѣ, нищетѣ и проч. мотивы для смягченія наказанія и даже оправданія огромнаго процента матерей-дѣтоубійцъ. Но, тѣмъ не менѣе, число дѣтоубійствъ растетъ во Франціи необычайно быстро. Ясно, что здѣсь, кромѣ удовлетворенія чувствъ справедливости и гуманности, требуется еще прямое воздѣйствіе на самый корень явленія, что выходитъ изъ области суда, но составляетъ существенную задачу уголовной политики. А для этого опять-таки нужно изученіе причинъ преступленія и затѣмъ пріисканіе средствъ для парализированія этихъ причинъ. Поэтому рядомъ съ оправдательными приговорами по дѣламъ о дуэляхъ должны были бы идти мѣропріятія, цѣль которыхъ есть установленіе правильныхъ понятій о чести и безчестіи. Если принять въ соображеніе, что дуэль есть у насъ явленіе наносное и что мы въ этомъ отношеніи находимся въ положеніи гораздо болѣе выгодномъ, чѣмъ Западная Европа, то не трудно видѣть, что она у насъ не можетъ отличаться особенною живучестью, хотя дѣйствовать на нее непосредственно весьма трудно. Какъ атрибутъ «благородства» и одинъ изъ символовъ отличія отъ «подлыхъ» классовъ, она въ значительной степени колеблется уже реформами послѣдняго десятилѣтія.

Дуэль у насъ принимаетъ иногда формы необыкновенно комическія. Такова, напримеръ, не состоявшаяся дуэль майора Щедра и поручика Артемовскаго-Гулака (1860), исторію которой мы, впрочемъ, передавать не будемъ. А расскажемъ лучше о томъ, какъ подпоручикъ Правиковъ зарѣзалъ генерал-майора Казачковскаго (1846 г.). Въ апрѣлѣ 1845 г. Правиковъ по какому-то случаю «за неприличіе» выслалъ изъ офицерскаго общества унтеръ-офицера изъ вольноопредѣляющихся, Петрова. За Петрова вступились два офицера и требовали, чтобы Правиковъ стрѣлялся съ Петровымъ. Но какъ въ этотъ разъ, такъ и при слѣдующихъ настояніяхъ товарищей Правиковъ отказался «отъ столь неравной по званію противниковъ дуэли», за что, наконецъ, Петровъ далъ ему пощечину. Правиковъ жаловался полковому командиру Казачковскому, который назначилъ слѣдствіе. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Казачковскій старался убѣдить его покончить дѣло домашнимъ образомъ и для удовлетворенія его обѣщалъ унтеръ-офицера Петрова высѣчь. Правиковъ согласился и подалъ рапортъ о прекращеніи

своего иска. Но обѣщанія своего, высѣчь Петрова, Казачковскій не исполнилъ, такъ что Правиковъ подвергся общимъ насмѣшкамъ. Въ августѣ того же года Правиковъ жаловался на такой образъ дѣйствія Казачковскаго. Но дѣло кончилось тѣмъ, что Правиковъ былъ отправленъ на службу въ другой батальонъ. По прибытіи туда, онъ опять два раза жаловался, и на этотъ разъ Петровъ понесъ незначительное наказаніе, а Правиковъ за принесеніе жалобъ мимо ближайшаго начальства былъ арестованъ на двѣ недѣли и прикомандированъ къ другому полку. Послѣ этого онъ опять жаловался, но удовлетворенія все-таки не получилъ, а только еще разъ былъ прикомандированъ уже къ третьему полку. Тогда Правиковъ, послѣ самовольной стучки съ мѣста службы, скрывательства и другихъ рискованныхъ дѣлъ, добрался до Казачковскаго и зарѣзалъ его кинжаломъ, за что и былъ сосланъ въ каторжную работу въ рудники на вѣки. Слѣдовавшей ему по закону смертной казни Правиковъ избѣжалъ, кажется, благодаря запутанности дѣла.

Правиковъ есть жертва нашихъ условныхъ понятій о чести, и жертва, главнымъ образомъ, въ виду не длиннаго ряда годовъ непроглядной жизни на каторгѣ, а въ виду одного того несчастнаго года, который прошелъ со времени полученной имъ пощечины до убійства Казачковскаго.

Его ударилъ солдатъ, и его заставляютъ съ нимъ драться, — и то, и другое мучитъ его, какъ «благороднаго» человѣка, потому что ставить въ безвыходное для него противорѣчіе: съ одной стороны, какъ «благородный» человѣкъ, онъ долженъ смыть пощечину кровью, — съ другой, опять-таки какъ «благородный» человѣкъ, — онъ этого сдѣлать не можетъ. Далѣе (мы забыли объ этомъ разсказать), одинъ изъ офицеровъ-заступниковъ ударившаго его унтеръ-офицера предлагаетъ ему драться съ нимъ, заступникомъ. Правиковъ соглашается, но заступникъ не является на назначенное мѣсто — новое оскорбленіе. Затѣмъ Правиковъ жаждетъ, чтобы Петрова выдрали, ему обѣщаютъ это, но Петрова не дерутъ, а надъ нимъ смѣются. Онъ жалуется разъ, другой, третій, но изъ этого ничего не выходитъ. Измученный этой нравственной пыткой, онъ рѣшается на самоубійство, какъ видно изъ найденной въ его бумагахъ записной книжки; но откладываетъ свое намѣреніе, и центромъ тяжести его помысловъ и стремленій дѣлается мщеніе насмѣявшемуся надъ нимъ Казачковскому. Сначала онъ хотѣлъ прибить Казачковскаго, когда встрѣтилъ его разъ вечеромъ одного, что и записано имъ самимъ въ той же памятной книжкѣ. Казачковскаго онъ, однако,

не прибить, потому что «нападеніе на дорогѣ безъ свидѣтелей счелъ я съ своей стороны неблагороднымъ». Затѣмъ, онъ отправляетъ докладную записку на имя военнаго министра и всеподданнѣйшую жалобу, но, не дождавшись результата этихъ послѣднихъ законныхъ путей къ своему уловленію, убиваетъ Казачковскаго. Одна уже сосредоточенность относительно цѣли при разброшенности въ выборѣ средствъ показываетъ, чего натерпѣлся въ этотъ годъ Правиковъ. Его преслѣдуетъ, какъ тѣнь Банко, полученная имъ отъ солдата пощечина, онъ больше ни о чемъ не думаетъ, и цѣлью его жизни становится выходъ изъ мучительнаго положенія. Онъ бросается во всѣ двери, безпорядочно, безтолково, лишь бы найти этотъ желанный выходъ, и, наконецъ, черезъ трупъ Казачковскаго выходитъ прямо на каторгу... Это для него, во всякомъ случаѣ, выходъ, и, если онъ думалъ, въ моментъ приговора, о только что прожитомъ годѣ психическихъ мукъ и предстоящихъ годахъ каторги,—будущее окрашивалось въ его глазахъ, безъ сомнѣнія, болѣе привлекательнымъ свѣтомъ, чѣмъ прошедшее. Онъ не захотѣлъ бы вернуться назадъ...

VI.

Откуда же это презрѣніе «благороднаго» человѣка къ человѣку «подлаго званія», беззавѣтное и совершенно искреннее презрѣніе, заводящее благороднаго человѣка и въ тундры сибирскія, и въ непроходимыя нравственные дебри? Да все отсюда же. Благородный человѣкъ не знаетъ подлага и не можетъ знать, потому что они рождаются, растутъ, живутъ и умираютъ въ условіяхъ, диаметрально противоположныхъ. Поэтому благородный человѣкъ видитъ только внѣшнюю сторону поведенія подлаго человѣка; тогда какъ въ поведеніи человѣка своего круга онъ можетъ прослѣдить всѣ тончайшіе изгибы субъективной подкладки факта; мало того, онъ часто, даже противъ своего желанія, не можетъ не видѣть этихъ изгибовъ, потому что самъ бѣгаетъ, бѣгалъ или готовится бѣжать по той же дорожкѣ. Поэтому для него затруднительно критическое отношеніе къ поведенію такого же, какъ онъ самъ, благороднаго человѣка. Индивидуальныя различія вносятъ, разумѣется, сюда извѣстную, вообще весьма значительную долю разлада. Но, тѣмъ не менѣе, есть достаточно пунктовъ, на которыхъ въ данный историческій моментъ сходятся большинство благородныхъ людей. И такъ какъ пункты эти обязаны своимъ происхожденіемъ тѣмъ исторически-сложившимся условіямъ, среди которыхъ растутъ благородные люди, то по-

нятно, что такихъ пунктовъ тѣмъ больше, чѣмъ больше сходства въ общественномъ положеніи благородныхъ людей, и чѣмъ меньше сходства въ положеніи благородныхъ людей, съ одной стороны, и людей подлыхъ—съ другой. Эти-то пункты и получаютъ первенствующее значеніе въ глазахъ благородныхъ людей, и естественно, что они, при извѣстномъ уровнѣ развитія, относятся съ презрѣніемъ ко всему, что къ этимъ пунктамъ непричастно. Напримѣръ, благородный человѣкъ выработалъ себѣ чистоплотность, которою подлый человѣкъ, за недостаткомъ мыла и свободнаго времени, обзавестись не успѣлъ. Благородный человѣкъ такъ сроднился съ идеей чистоплотности, такъ привыкъ видѣть на своемъ умывальномъ столикѣ кусокъ мыла и удѣлять часть своихъ досуговъ на мытье, что ему и въ голову не приходитъ возможности отсутствія этого мыла и этихъ досуговъ. Онъ видитъ немытаго человѣка и презираетъ его, потому что привыкъ уважать чистоплотность, а не привыкъ вдумываться въ положеніе человѣка безъ мыла и досуга. Извѣстенъ совѣтъ, если не ошибаемся, какой-то французской королевы жителямъ города Парижа питаться, по случаю голода, кондитерскими пирожками. Если бы жители добраго города Парижа произвели какой-нибудь кавардакъ (кажется, такъ и было) по случаю голода, то означенная королева, безъ сомнѣнія, отнеслась бы съ презрѣніемъ къ людямъ, которые, не желая довольствоваться пирожками, производятъ кавардакъ. Это примѣръ, можетъ быть, слишкомъ рѣзкій. Но, тѣмъ не менѣе, большинство благородныхъ людей, сжившись съ извѣстнымъ порядкомъ, всосавъ его въ плоть и кровь, совершенно невольно переносятъ требованія, законныя относительно ихъ, въ такія сферы, гдѣ они дѣлаются совершенно незаконными. И, однако, незаконности этой благородные люди не замѣчаютъ и награждаютъ чуждыя имъ сферы презрѣніемъ. Чѣмъ, далѣе, пункты въ родѣ чистоплотности исключительнѣе для нѣкоторой группы, тѣмъ они, такъ сказать, обязательнѣе для каждого отдѣльнаго ея члена, тѣмъ легче онъ съ ними сживается, и тѣмъ понятнѣе становится для него все, что совершается въ средѣ, въ которой царятъ усвоенные имъ пункты и къ которой онъ самъ принадлежитъ. Поэтому, если въ этой средѣ и совершается какой-нибудь фактъ, неблагоприятный, даже съ его точки зрѣнія, онъ имъ не слишкомъ возмущается. Онъ знаетъ причины этого факта, онъ ихъ ощущалъ и обнюхалъ съ пеленокъ, сроднился съ ними, самъ испытываетъ на себѣ ихъ вліяніе, и возмущаться противъ такого факта значило бы нѣкоторымъ образомъ возмущаться противъ самого себя. Но

пропорционально этому отождествлению исключительных интересов, понятий и взглядов группы с своими собственными, благородный человек теряет способность понимать явления, происходяща за пределами его святилища. Так что, если он там встречает неблагоприятный факт, то для него только то и ясно, что это факт неблагоприятный, достойный презрѣнія. Здѣсь онъ, совершенно невольно, ставитъ каждое лыко въ строку. Встрѣчаетъ благородный человекъ пьянаго. Если этотъ пьяный тоже благородный человекъ, то первый благородный человекъ, вообще говоря, не посмотритъ на него съ отрицательнымъ чувствомъ. Онъ знаетъ, что благородный человекъ можетъ напиться съ горя, и знаетъ, съ какого именно горя, знаетъ, что его можетъ одолѣвать уточенная болѣзнь, въ родѣ *taedium vitae*, что онъ можетъ напиться по случаю чего-нибудь приѣзда или отъѣзда, по случаю именинъ, крестинъ, родинъ и т. д. Все это причины для благороднаго человека ясны, знакомы, дѣйствіе которыхъ онъ самъ не разъ испытывалъ. Но вотъ идетъ пьяный мужикъ. Этотъ съ чего напился? Есть у него, разумѣется, свои радости и горести, но благородный человекъ ихъ не знаетъ, оцѣнить не можетъ, а между тѣмъ твердо помнить, что пьянство порокъ. Слѣдовательно, если тотъ пьяный благородный человекъ достоинъ сожалѣнія или сочувствія, то этотъ пьяный мужикъ можетъ возбудить только презрѣніе. Какъ знаніе причинъ явленія стираетъ значеніе самого явленія, такъ незнаніе ихъ дѣлаетъ фактъ болѣе выдающимся, болѣе рѣзко бросающимся въ глаза. Солнечное затмѣніе есть для первобытнаго человека предметъ ужаса, можетъ быть, негодованія на божества, оставившія его ни съ того, ни съ сего въ потемкахъ; фактъ его поражаетъ. Но разъ онъ узналъ причины затмѣнія, оно становится для него, такъ сказать, на ноги и онъ не ужасается и не негодуетъ. Въ томъ именно и состоитъ великое объединяющее значеніе науки и знанія вообще, что оно вырываетъ почву изъ-подъ ненависти, презрѣнія, ужаса, негодованія. И тѣмъ именно христіанская мораль въ своемъ чистомъ видѣ и высока, и прочна, что ея задача та же самая. Это гениальная, по-истинѣ божественная программа обновленія міра, потому что лежащая въ основаніи ея любовь требуетъ именно обновленія человека, какъ недѣлимаго и какъ члена общества. Любовь пропорциональна взаимному пониманію, а взаимное пониманіе обратно пропорционально количеству и рѣзкости контрастовъ. Поэтому христіанская мораль воспринимаетъ положительные стороны всѣхъ половинчатыхъ, кастовыхъ нравственныхъ ученій,—морали бра-

миновъ, кшатріевъ и паріевъ, но не принимаетъ ихъ отрицательныхъ сторонъ. Высоко и цѣлостно развитая личность, не дворянинъ, не мужикъ, не мѣщанинъ, не сапожникъ, не офицеръ, а просто человекъ все проститъ, потому что все пойметъ. Но онъ не удовольствуется голымъ прощеніемъ, потому что видитъ причины зла. Такихъ людей нѣтъ, читатель, но они будутъ. Это даже Тургеневскій Уваръ Ивановичъ знаетъ.

Князь Че—кій купилъ за 10,000 руб. у музыканта московскихъ театровъ Аршинина его несовершеннолѣтнюю дочь и лишилъ ее невинности, отчего она помѣшалась и вслѣдъ за тѣмъ умерла. Помѣшательство и смерть Аршининой произошли, какъ показало медицинское свидѣтельство, отъ насильственнаго, чрезмѣрнаго совокупленія. Въ дѣлѣ есть данныя, обрисовывающія Че—каго самымъ отвратительнымъ свѣтомъ. Уличенъ и судимъ онъ былъ только за любодѣяніе съ Аршининой, лишеніе ея дѣвства съ ея согласія, укрывательство означеннаго насильственнаго чрезмѣрнаго совокупленія, ложныя показанія, клеветы на покойницу и склоненіе своихъ крѣпостныхъ къ утайкѣ истины. Но есть и другія, недоказанныя подробности. Князь Че—кій уличался въ то, что далъ Аршининой какое-то остро-возбуждающее средство въ видѣ питья, что, лишивъ ее невинности, онъ, въ своемъ присутствіи, допустилъ своихъ гостей удовлетворить на ней свою животную страсть. Увертывался, лгалъ и клеветалъ князь Че—кій на судъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ. И тѣмъ не менѣе, поведение князя Че—каго навѣрное не покажется «благороднымъ» людямъ столь постыднымъ и позорнымъ, какъ поступокъ отца Аршининой. Въ пользу Че—каго будутъ говорить его молодость, кипучая кровь и т. д. Мы боимся сказать банальную истину, если прибавимъ, что найдутся люди, которые назовутъ Че—каго даже молодцомъ, хватомъ, а у многихъ старцевъ, при чтеніи его процесса, потекутъ слюнки. Но не найдется извиненія отцу, соблазнившемуся на 10,000. Это будетъ, конечно, въ значительной степени лицемеріе, потому что многіе изъ тѣхъ, кто броситъ камнемъ въ голыша Аршинина, сами продавали дочерей, хотъ для законнаго сожительства. Теперь спросите же «подлаго» человека,—на чьей сторонѣ будетъ его сочувствіе: на сторонѣ ли развращеннаго до мозга костей мальчишки, князя Че—каго, пропитавшагося духомъ барскихъ оргій, имя котораго г. Любавскій такъ любезно скрываетъ, или на сторонѣ жалкаго музыканта, кормившаго семью на какіе-нибудь полтора десятка рублей въ мѣсяцъ и вздумавшаго вдругъ разбогатѣть или даже обогатить свою дочь (судя по фактамъ, это вѣрнѣе) цѣною ея чести? Въ

то время, какъ благородный человѣкъ съ необычайною легкостью переживаетъ мысленно жизнь Че—каго, и, поставивъ, такимъ образомъ, себя на его мѣсто, не найдетъ слова кары и негодованія, въ это время передъ подлымъ человѣкомъ пройдетъ вся жизнь Аршинина, голодные и холодные дни и годы, семья, ежеминутное шествіе «сквозь строй жизненныхъ обстоятельствъ», затѣмъ щемлящая внутренняя борьба, наконецъ, страшное, всегипнотизирующее отчаяніе, — и подлый человѣкъ проститъ Аршинину, но не проститъ князю Борису Че—кому... А у васъ, читатель, вотъ еще два подсудимыхъ, кромѣ Че—каго и Аршинина: подлый человѣкъ и благородный человѣкъ...

Итакъ, презрѣніе благороднаго человѣка къ человѣку подлаго званія сводится къ простому непониманію, растущему параллельно и пропорціонально узкому пониманію своихъ собственныхъ интересовъ и отождествленію себя съ группою исключительныхъ понятій. Но если это презрѣніе и имѣетъ свои причины, то затѣмъ остается еще вопросъ объ его основательности, т.-е. о томъ, на сколько въ дѣйствительности благородный человѣкъ стоялъ выше подлаго въ нашемъ недавнемъ прошедшемъ, которымъ мы въ настоящей статьѣ только и заняты. Требуется узнать, на сколько условія жизни благородныхъ людей были способнѣе выработать людей нравственныхъ, нежели условія жизни людей подлыхъ. Не наше дѣло отвѣчать на этотъ вопросъ уже просто потому, что у насъ подъ руками только плохіе сборники г. Любавскаго и нѣтъ статистическихъ данныхъ, въ этомъ случаѣ необходимыхъ. Мы можемъ указать только нѣкоторые, весьма скудные, матеріалы для отвѣта на этотъ вопросъ, и притомъ, по смыслу нашей скромной и невеселой задачи, матеріалы односторонніе. Повѣсти о блистательныхъ подвигахъ нашихъ дворянъ на сушѣ и на морѣ, на полѣ брани и въ мирной гражданской жизни, на поприщѣ филантропіи и науки, науки и искусства, — этой праздничной повѣсти нѣтъ мѣста среди мрачной исторіи тѣхъ, кого переѣхали колеса триумфальной колесницы русской исторіи и кого мы взяли съ собой представить читателю. Притомъ же лицевая сторона всѣмъ извѣстна, и расскажемъ о доблестяхъ нашихъ дворянъ никого не удививъ. А главное, мы имѣемъ дѣло только съ изнанкой, только съ темными сторонами русской жизни, и потому не только русскими Аристидами, Сократами и Милліадами не можемъ заняться, но даже тѣми простыми смертными, кои, не отличаясь какими-либо особыми доблестями, мирно пользовались предоставленными имъ закономъ правами. Все это, разумеется, затрудняетъ возможность общихъ выводовъ. Положимъ,

мы захотимъ посмотрѣть на взаимныя отношенія членовъ дворянской семьи. Здѣсь мы должны бы были принять въ соображеніе, во-первыхъ, подвиги необычайной преданности и непреодолимой вѣрности, каковыя несомнѣнно были, есть и будутъ. Но эти свѣтлые факты для насъ не существуютъ. Кстати и къ счастію, Монтіоновской преміи за добродѣтели у насъ не даютъ, и русской добродѣтели приходится въ типичныя удовлетворяться сознаніемъ своего величія. Далѣе мы должны бы были заняться такими семьями, въ которыхъ хотя россиянки и не умираютъ на гробахъ своихъ супруговъ, но, тѣмъ не менѣе, папенька пользуется предоставленнымъ ему правомъ любить маменьку, а маменька предоставленнымъ ей правомъ бояться папеньки. Но и эти сѣренькія картинки не укладываются въ предназначенныя нами себѣ рамки. Такъ что намъ только и остается, что рассказывать мрачныя страницы жизни, обвѣденыя злой черной траурной каемкой. Да вдобавокъ и выборъ представляется намъ не особенно богатый. Воспользуемся, однако, тѣмъ, что есть.

Въ октябрѣ 1855 г. калужскій помѣщикъ Черновъ проживалъ въ Москвѣ. Черновъ былъ человѣкъ очень богатый. Разъ кондукторъ желѣзной дороги принесъ къ нему на квартиру письмо и посылку, состоявшую изъ ящика въ аршинъ длины и въ три четверти аршина ширины и вѣсившую около четырехъ пудовъ. На конвертѣ письма, кромѣ адреса, было написано: «При семъ слѣдуетъ посылка. Если Чернова въ Москвѣ нѣтъ, то записку распечатать и исполнить, что въ ней сказано». Распечатавъ письмо, Черновъ прочиталъ слѣдующее: «Посылка сія съ документами, если не застанетъ уже Чернова въ Москвѣ, то надѣжить ее отправить къ нему и по телеграфу дать отвѣтъ. Въ полученіи же сей посылки за четырьмя печатами снабдить посланнаго надлежащею роспиской безъ упоминанія о приложенныхъ документахъ, буде записка будетъ не распечатана. Марья Жукова». Внизу было приписано: «Чернову отыскать меня можно въ Дрезденѣ или у Шевалье, съ тѣмъ чтобы надняхъ мы могли видѣться и переговорить обо всемъ подробно». Кромѣ того, въ конвертѣ былъ особый запечатанный пакетъ съ надписью: «ключъ въ собственныя руки». Почеркъ былъ Чернову незнакомый, никакой Марьи Жуковой онъ не зналъ, посылка и документы вѣсили четыре пуда—все это показалось Чернову подозрительнымъ и потому онъ далъ знать объ этомъ случаѣ полиціи. Квартальный надзиратель, въ присутствіи шести свидѣтелей, вскрылъ ящикъ. Тамъ оказалась запечатая шкатулка съ подвижной крышкой. Надзиратель отперъ

пакатилку приложеннымъ къ посылкѣ ключемъ и затѣмъ потянулъ къ себѣ выдвижную крышку. Послышался трескъ, а вслѣдъ затѣмъ ящикъ съ оглушительнымъ ударомъ взорвало и всѣ присутствующіе получили незначительныя раны осколками дерева и стекла; дверь въ комнату выбило, полъ былъ поврежденъ, а на стѣнахъ найдены сплюснутыя свинцовыя пули. Въ числѣ обломковъ посылки оказались битыя бутылки, пистолетный стволъ, пистолетъ, мѣдная кастрюля и проч. Ясно было, что на жизнь Чернова покушались посредствомъ адской машины. Началось слѣдствіе. Черновъ заявилъ, что онъ никакой Жуковой не знаетъ, ни на кого подозрѣнія не имѣетъ, но полагаетъ, что это дѣло личной къ нему мести или желанія воспользоваться его имуществомъ послѣ его смерти. Въ гостинницахъ Дрезденъ и Шевалье ничего подозрительнаго не оказалось. Имѣя въ виду предположенія Чернова о желаніи воспользоваться его имуществомъ послѣ его смерти, какъ о вѣроятномъ мотивѣ покушенія, слѣдственная коммисія отправила одного изъ своихъ членовъ для секретнаго дознанія въ калужское имѣніе Чернова, гдѣ у Чернова были жена и дѣти. Жена Чернова отозвалась совершеннымъ недоумѣніемъ на счетъ личности преступника. Slѣдственная коммисія, между тѣмъ, нашла въ бумагахъ Чернова письмо отъ какой-то женщины, въ которомъ ему дѣлались попреки за отказъ дать взаймы денегъ; далѣе, авторъ письма говорилъ, что въ рукахъ у него есть тайна, отъ которой «зависитъ вся жизнь» Чернова, но тайны этой онъ ему не сообщить въ отместку за недачу денегъ. Черновъ объяснилъ, что письмо это онъ получил незадолго до покушенія отъ нѣкоей вдовы поручика Шабловской. Шабловскую отыскиали. Она объяснила, что у нея есть знакомая дѣвица, дворянка Луковичъ, которой очень хотѣлось познакомиться съ Черновымъ, и что эта Луковичъ рассказывала ей слѣдующее: одинъ молодой человѣкъ предлагалъ ей, Луковичъ, нанять дачу, помѣстить туда «дѣвицъ вольнаго обращенія» и заманить туда Чернова, пользуясь его слабостью къ женскому полу; затѣмъ молодой человѣкъ предполагалъ напоить Чернова до-пьяна и, когда онъ уснетъ, обобрать его. Это - то и была тайна, о которой Шабловская писала Чернову. Отыскали дворянку Луковичъ. Она показала, что планъ обобрать Чернова былъ ей предложенъ отставнымъ штабсъ-ротмистровъ Телепневымъ, и выразила подозрѣніе на него и относительно присылки адской машины. Отыскали Телепнева, и онъ скоро признался, что адскую машину приготовилъ и послалъ Чернову, дѣйствительно,

онъ. Но затѣмъ относительно причинъ, побудившихъ его покуситься на жизнь Чернова, онъ давалъ такія разнорѣчивыя показанія, что добратъся въ нихъ до истины можно, только принимая въ соображеніе показанія другихъ прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ, въ особенности жены Чернова. Дѣло было въ сущности такъ. За два года передъ покушеніемъ Телепневъ познакомился съ Черновой подъ именемъ князя Кочубея и произвелъ на нее сильное впечатлѣніе. Такъ что когда онъ признался, что онъ самозванецъ, она, тѣмъ не менѣе, бывала у него на квартирѣ въ Калугѣ, въ Москвѣ и въ Петербургѣ. Тутъ происходили у нихъ довольно странные разговоры о возможности для Черновой одо- вѣтъ, и Телепневъ даже предлагалъ разные средства для ускоренія этого событія, — отраву, дуэль. Трудно рѣшить, какъ Чернова принимала эти предложенія, — въ видѣ ли шутки, или въ видѣ серьезныхъ намековъ, или, наконецъ, просто пропускала ихъ мимо ушей. Несомнѣнно только то, что она Телепнева любила, а тому хотѣлось жениться на деньгахъ ея мужа. Дѣло кончилось адской машиной, и Чернова оставлена въ подозрѣніи въ томъ, что она «подъ вліяніемъ непріязни къ мужу съ намѣреніемъ не донесла объ умыслѣ Телепнева на его жизнь».

Штабъ-тѣкарь Николаевъ обвинялся въ утопленіи жены своей, урожденной баронессы Шлиппенбахъ (1850 г.?) Мотивомъ убійства прелполагались семейныя ссоры Николаевыхъ по поводу связи Николаева съ крестьянкой Фіоной Савельевой. Николаевъ по суду въ убійствѣ не изобличенъ, и потому мы приведемъ только часть переписки Николаева съ женой и тещей. Переписка эта относится къ тому времени, когда Николаева, вслѣдствіе семейныхъ передрагъ, уѣхала въ имѣніе матери. Мы приведемъ только два письма: 1) «*Ma chère femme*, писалъ Николаевъ, вамъ извѣстно, что я отмѣнно недоволенъ былъ вашей прислугой, а вы, по расположенію своему къ ней, не дѣлали имъ никакого препятствія; посему я вынужденъ на- шелся ее перемѣнить и отослать обратно, откуда она ко мнѣ пришла. Я нанялъ Фіону съ ея мужемъ. Сдѣлай одолженіе, прошу те- бя, молю тебя, не говори мнѣ никогда, не клевети, что у меня нехороша услуга, колдунья, колдунья!.. ничего не видя отъ этихъ людей худого, нельзя такъ беспокоить и огор- чать son mari. Я терпѣлъ и мучился четыре мѣсяца, пора быть и концу. Когда поѣдешь ко мнѣ, возьми съ собой одну женщину или дѣвку чесать тебѣ головку и распорядяйся ею какъ тебѣ хочется, а мое хозяйство, нашъ столъ поручи своему mari. Adieu, ma femme».

2) Письмо Николаевой къ мужу: «Ты пишешь, что жена должна повиноваться мужу,

но и мужъ долженъ беречь жену, а ты меня убилъ; ты прежде времени хочешь свести меня въ могилу. Одинъ Богъ видитъ, проходитъ ли день, чтобы я не плакала; грустно видѣть, что не любовь твоя ко мнѣ заставляетъ тебя послать за мной, а то, что нужна тебѣ Фіона; она будетъ хозяйничать, а я буду портить хозяйство, поправленное Фіоной. Развѣ ты не можешь нанять кромѣ ея, я сама готова быть работницей, не сходиться со двора, только быть покойной, а я не могу быть покойной и жить, когда будетъ эта женщина у тебя. Господи, какъ больно получать удары отъ близкихъ себѣ. Я на дняхъ приѣду, и если Фіоны не будетъ, то я не только готова жить, но быть слугой твоей; а если, какъ говоришь, что безъ Фіоны тебѣ и меня не нужно, то тогда ясно будетъ видно, что *тебѣ жена не нужна*. Ты скучаешь самъ отъ себя, а я грущу отъ тебя, болѣю сердцемъ о своемъ несчастіи; все мое упованіе на Владычицу, она мнѣ возвратитъ тебя. Ужасно читать твое письмо и знать цѣль его, что тебѣ нужна *я для Фіоны*. Я бы очень желала сказать—до свиданія, но я очень несчастна, чтобъ вѣрить въ счастье, счастье не для меня, цѣлю тебя, такъ какъ люблю тебя».

Утопилъ ли Николаевъ жену или не утопилъ, но уже эти два письма характеризуютъ ту драму, которая ежедневно разыгрывалась въ домѣ Николаевыхъ. А вотъ что пишетъ своей женѣ, женщинѣ двумя головами крупнѣе его, герой другой драмы, также не приведенной въ ясность: «Съ встрѣтившимся товарищемъ я заѣхалъ въ свой трактиръ, тамъ мы выпили бутылку хересу, другую, третью; тогда стало невесело, а чего-то досадно; дождь не переставалъ, а увеличивался, духъ же нашъ хотѣлъ бодрствовать. Мы отправились къ мадамъ С—ной*), не смотря, что первый часъ ночи и лошади донельзя измокли... Не доставши тамъ ничего выпить и закусить сладенькимъ, поѣхали въ другое мѣсто, но какъ третій часъ ночи, получили отказъ. Тогда мы отправились въ домъ къ Потапову, напились чаю, выпили графинъ наливки, и я весь обмокшій, въ грязи, въ 6 часовъ утра возвратился домой, легъ спать». Письмо оканчивается такъ: «Наслаждайся, мой вѣрный другъ, пріятностью и удовольствіемъ, сколько можешь и сколько времени захочешь. Награди въ дружеской бесѣдѣ съ своей сестрой прошедшимъ воспоминаніемъ о своихъ печальныхъ проведенныхъ дняхъ, когда радостныхъ намъ съ тобой fortuna не подарила. Цѣлю тебя, душа моя, отъ чистаго сердца, больше разъ, нежели здѣсь письменныхъ

словъ. Прощай еще, другъ мой, цѣлю тебя мысленно, послаще, чѣмъ на яву». Въ добавленіе къ этому мы только повторимъ, что эти пошлыя любезности и собственноручные рассказы мужа о своихъ похожденияхъ получила женщина недюжинная...

Помѣщикъ корнетъ Отраховичъ (1845 г.), имѣя или по крайней мѣрѣ намѣреваясь имѣть на сторонѣ любовныя шашни, смертельно ранилъ свою жену. Здѣсь въ особенности любопытенъ процессъ приготовленія къ убійству. Отраховичъ выпилъ графинъ водки, вливъ туда предварительно спирту. Затѣмъ за ужиномъ пилъ вино и потчивалъ имъ и жену, говоря при этомъ: «можетъ быть, намъ завтра ничего не будетъ нужно». Послѣ ужина онъ принесъ въ спальню ружье, зарядилъ его и поставилъ въ уголъ. Потомъ онъ легъ съ женою въ постель, шутилъ съ ней, цѣловалъ ее и прощался, говоря, что цѣлуется ее въ послѣдній разъ,—«только тебѣ и жить». Она хотѣла поцѣловать дѣтей, но онъ сказалъ, что завтра самъ ихъ за нее поцѣлуется. Она наполовину боялась, наполовину принимала все это за шутку, пока Отраховичъ, взявъ ружье, не скомандовалъ «разъ, два, три» и не всадилъ ей зарядъ дроби въ грудь...

Супруги Ломоносовы жили въ первое время послѣ свадьбы мирно и счастливо. Но скоро начали бѣгать между ними черныя кошки. Съ одной стороны, Ломоносовъ, управлявшій имѣніями жены, надѣлалъ долговъ и привелъ дѣла въ разстройство. Съ другой,—мужъ подозрѣвалъ жену въ любовной связи сначала съ гувернеромъ Ретте, а потомъ съ капитаномъ Карауловымъ, что, впрочемъ, положительно не доказано, но и не опровергнуто. Наконецъ, супруги развѣхались. Но Ломоносовъ продолжалъ любить и ревновать. Разъ осенью 1848 г. Ломоносова возвращалась изъ гостей ночью въ коляскѣ съ гувернанткой своего сына и капитаномъ Карауловымъ. Когда коляска вѣхала во дворъ, Ломоносова увидѣла на крыльцѣ мужа. Произошло замѣшательство, которое разрешилось тѣмъ, что Ломоносовъ выстрѣлилъ изъ пистолета въ коляску, но не попалъ ни въ кого. Дѣло это интересно, главнымъ образомъ, по тѣмъ разнообразнымъ положеніямъ, въ которыя встали относительно его различныя инстанціи судебной власти. Московскій надворный судъ полагалъ, «на основаніи 111, 121 и 1,922 ст. улож., лишить Ломоносова всѣхъ правъ состоянія и вмѣсто ссылки въ каторжную работу въ рудникахъ безъ срока, перейдя, согласно 144 ст. улож. (ст. 163), къ слѣдующему непосредственно затѣмъ роду наказаній, сослать на поселеніе въ Сибирь».—Московская уголовная палата нашла, что слѣдуетъ «подвергнуть Ломоносова, по силѣ 1,245 ст. улож. изд. 1845 г. (1,300 ст. изд.

*) Что-то въ родѣ публичнаго дома.

1857 г.), денежному взысканію въ 20 рублей». Такъ какъ въ силу рѣшенія надворнаго суда Ломоносовъ былъ уже въ это время подъ стражей, а по рѣшенію уголовной палаты онъ относительно покушенія оставался въ подозрѣніи, то палата постановила, освободивъ его, отдать на поруки.—Моховскій военный генераль-губернаторъ, представляя это дѣло въ сенатъ, находилъ, что сюда ближе подходитъ ст. 1,965 улож. изд. 1845 г., а потому полагалъ: «выдержать Ломоносова въ тюрьмѣ 4 мѣсяца». — 1 отдѣленіе 6 департамента сената заключило: «выдержать Ломоносова въ тюрьмѣ 3 мѣсяца». — Исправляющій должность оберъ-прокурора, къ просмотру котораго поступило сенатское опредѣленіе, предложилъ: «признавъ Ломоносова подлежащимъ наказанію по 1,922 ст. улож., участь его, во вниманіе къ особеннымъ обстоятельствамъ, повергнуть на всемілостивѣйшее воззрѣніе государя императора». — По непринятію предложенія оберъ-прокурора, дѣло перешло на разсмотрѣніе общаго собранія, гдѣ произошло разногласіе. — Министръ юстиціи полагалъ, «лишивъ Ломоносова всѣхъ правъ состоянія, сослать его въ каторжную работу въ рудникахъ безъ срока», и таковое заключеніе было принято высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ государственнаго совѣта. Но затѣмъ послѣдовали высочайшія повелѣнія: 1) 7-го марта 1853 г. объ отправленіи Ломоносова, вмѣсто каторжной работы, на поселеніе въ Якутскую область съ воспрещеніемъ выѣзда изъ нея; 2) 13-го апрѣля 1853 г. объ отдачѣ Ломоносова въ солдаты безъ выслуги; 3) 30-го іюня 1853 г. о совершенномъ помилованіи Ломоносова, такъ какъ онъ оказался къ военной службѣ неспособнымъ...

Эти, какъ выражается въ другомъ мѣстѣ г. Любавскій, «колебанія правосудія» весьма характеристичны: они показываютъ, какъ произведено было слѣдствіе.

Просматривая въ сборникахъ г. Любавскаго соотвѣтствующія приведеннымъ уголовнымъ дѣламъ, возникшимъ въ крестьянской семьѣ, мы не найдемъ между тѣми и другими никакой качественной разницы: мотивы одни и тѣ же, и различіе не идетъ дальше формы, въ которую выливаются факты. Такъ, крестьяне не прибѣгаютъ къ помощи адскихъ машинъ, а рѣшаютъ дѣло топоромъ. Утонченное зѣвство, съ какимъ Отраховичъ заигрываетъ съ женой передъ тѣмъ, какъ убить ее, — здѣсь тоже не встрѣчается. Что же касается до разницы количественной, то она можетъ быть опредѣлена только статистическимъ путемъ. Замѣчательно, что изъ всѣхъ дворянскихъ супругоубійствъ, рассказанныхъ у г. Любавскаго, нѣтъ ни одного, въ которомъ признаннымъ убійцей оказалась бы женщина; наоборотъ, въ крестьянской семьѣ, опять-таки на-

сколько она освѣщается сборниками г. Любавскаго, жены составляютъ большинство убійцъ. Эти случайно, кое-какъ собранные факты ничего, разумѣется, не доказываютъ. Но мы думаемъ, что и строго проверенныя статистическія данныя подтвердили бы это обстоятельство, что, однако, отнюдь не говорить въ пользу особенной нравственности женщинъ образованныхъ классовъ и особенной безнравственности крестьянскихъ женъ. Если бы указанная нами количественная разница была доказана, то объясненія ей слѣдовало бы искать въ той дряблости русской женщины, цивилизовавшейся при помощи крѣпостного права, которая не допускала ее до такой рѣшительной открытой мѣры, какъ убійство. У цивилизованной женщины были скрытые, косвенные пути, какіе не существовали для крестьянки; а у крестьянки были здоровыя руки, покрытыя такими же мозолями, какъ и руки мужика, какихъ не было у барыни. Поэтому въ то время, какъ крестьянка убивала своего мужа, — барыня съ своимъ разѣзжалась или надувала его. О сравнительной нравственности или безнравственности этихъ двухъ выходовъ изъ лабиринта семейной жизни мы судить не беремся; да и какъ судить выходы изъ лабиринта? Трудное это дѣло. Намъ приходится на память страстная ненависть, съ которою Бѣлинскій отнесся сначала къ такъ называемому женскому вопросу, вообще, и къ Жоржъ-Зандовскимъ идеямъ эмансипаціи женщинъ въ частности. Это былъ промахъ, отъ котораго Бѣлинскій и самъ скоро отказался, но промахъ гениальнаго человѣка. Основанія этого вопроса совершенно не ладили со всѣмъ строемъ нашей тогдашней жизни, звучали въ немъ нестерпимымъ диссонансомъ. Бѣлинскій, очевидно, прикинулъ выработанныя Западомъ идеи къ окружающимъ его, современнымъ ему фактамъ и отступилъ съ негодованіемъ; это была бы ложка меду въ кадкѣ дегтя. Онъ только и видѣлъ въ первое время, что эту противоречивую смѣсь, и потому проклялъ и медъ. Эмансипація дворянокъ прежде эмансипація милліоновъ крестьянъ! Было отчего отшатнуться, и отшатнуться не ради какихъ-либо произвольныхъ, педантическихъ понятій о порядкѣ прогресса, но ради живого внутреннего смысла самыхъ явленій. Всякое освобожденіе совершается или путемъ непосредственнаго вмѣшательства власти, или помощью собственнаго труда и, слѣдовательно, знанія. Что касается до перваго элемента, то по отношенію къ женскому вопросу онъ не могъ играть важной роли, а трудъ и знаніе... но интеллигенція наша, т.-е. тѣ слои нашего общества, куда только и могли залетать разныя идеи, безъ всякаго труда и

знанія были обезпечены самымъ порядкомъ вещей. Такимъ образомъ отъ Жоржъ-Зандовской идеи на русской почвѣ осталась бы одна голая идея свободы чувствъ, которая, при наличныхъ условіяхъ, не замедлила бы превратиться въ простой развратъ, разбавленный либеральной водицей... Мы видѣли просто душевладѣльцы; яркихъ типовъ душевладѣльцевъ-женъ мы у г. Любавскаго не нашли. Но вотъ душевладѣльцы-матери.

Въ Москвѣ проживала вдова гвардейскаго капитана, Екатерина Леонтьева. Прежде она жила въ своемъ ярославскомъ имѣніи, но была оттуда выслана по высочайшему повелѣнію за жестокое обращеніе съ крестьянами, и право распоряжаться ими было у нея отнято. Но если она лишилась, такимъ образомъ, возможности почуять мѣрами кротости крестьянъ, зато у нея оставались дѣти, на которыхъ и сосредоточилась ея материнская любовь. Въ 1851 году московскій военный генералъ-губернаторъ получилъ извѣстіе о крайне жестокомъ обращеніи Леонтьевой съ своимъ девятилѣтнимъ сыномъ Оедоромъ. Для удостовѣренія въ справедливости этихъ слуховъ московскій уѣздный предводитель дворянства, въ сопровожденіи достаточнаго количества постороннихъ лицъ, отправился на квартиру Леонтьевой. Девятилѣтняго сына Леонтьевой нашли запертымъ въ деревянномъ шкафѣ, въ дѣвчечьей. «Руки его были связаны сзади по локтямъ бумажнымъ снуркомъ. Блѣдный, изнуренный и худой, онъ былъ одѣтъ въ одной только рубашкѣ, обутъ въ туфляхъ и покрытъ коленкоровымъ чехломъ съ дивана. При медицинскомъ свидѣтельствѣ, на правой сторонѣ лба его былъ замѣченъ шрамъ около вершка и опухоль величиною въ лѣсной орѣхъ; на правой кисти шесть тонкихъ кровавыхъ полосъ; на верхней части праваго предплечія два возвышенія отъ дикаго мяса съ окружной краснотой, происшедшія отъ несовершенно зажившихъ ранъ; на лѣвой кисти три зажившіе шрама, подъ правымъ коленнымъ три красныя пятна, на голени выше лѣвой ступени красноватая полоса и тонкая полоса на ступени, на мизинцѣ лѣвой ноги опухоль и краснота, на дѣтородномъ членѣ головка обнажена и крайняя плоть заворочена». Доктора нашли, что изнуреніе и худосочіе мальчика зависятъ отъ плохого питанія и жестокаго съ нимъ обращенія. Оказалось слѣдующее. Леонтьева терпѣть не могла всѣхъ своихъ дѣтей и грозилъ «извести всю Леонтьевщину». Старшіе сыновья съ ней не жили; дочь взялъ къ себѣ, по ея просьбѣ, дядя, потому что у матери ей жить было невыносимо. Младшаго сына, Оедора, Леонтьева постоянно держала въ чуланѣ, въ которомъ, вслѣдствіе щелей въ доскахъ, было холодно, чѣмъ на открытомъ

воздухѣ. Оттуда она его выпускала только на ночь и клала спать на голый полъ съ связанными руками и привязывала къ мебели; кормила она его не больше двухъ разъ въ день «корками хлѣба, намоченными въ помояхъ». Била она сына страшно, и не разъ прямо говорила, что ненавидитъ его, сведеть въ могилу, что «ей скучно, когда она его не бьетъ». У мальчика развилась привычка къ онанизму, чему, по мнѣнію докторовъ, способствовало запираніе его въ шкафъ и въ чуланъ. Мать «рвала своими ногтями его дѣтородный членъ и прикладывала къ оному горчицу минутъ на 10 и болѣе». Кромѣ того, у Леонтьевой былъ и сподвижникъ, поручикъ князь Оболенскій, часто бывавшій у нея въ качествѣ жениха. Разъ за то, что Оедоръ «выпилъ квасъ», Оболенскій до того сѣкъ его, что самъ усталъ и потребовалъ для освѣженія холодной воды, а въ другой разъ ранилъ его полусаблей.

Мы предоставляемъ читателю представить себѣ эту самую мадамъ Леонтьеву, обуреваемую идеею свободы чувствъ и жаждущею эмансипаціи. Въ такомъ предположеніи нѣтъ ничего невѣроятнаго, ибо эта мегера получила воспитаніе въ пансіонѣ... Да, эмансипація душевладѣльцевъ—вещь забавная. Не болѣе, впрочемъ, забавная, чѣмъ политическая свобода душевладѣльцевъ, составляющая заветный идеалъ нѣкоторыхъ, нынѣ дѣйствующихъ русскіихъ публицистовъ. Любопытно, что эти самые публицисты наиболѣе склонны къ разглагольствованіямъ о необходимости исторической постепенности въ развитіи общества. А между тѣмъ ихъ идеалъ есть нѣчто въ родѣ Колосса Родосскаго, одна нога котораго должна стоять въ XVIII, а другая—въ XX вѣкѣ. Къ счастью или къ несчастью, идеалу этому трудно осуществиться; и если одной ногѣ Колосса случится застрять въ XVIII вѣкѣ, то другая будетъ навѣрное тамъ же.

VII.

До сихъ поръ мы ходили съ читателемъ по лужамъ русской крови, натекшей то изъ изодранной спины мужика и солдата, то изъ прострѣленной груди благороднаго дуэлиста, то изъ горла жены, перерѣзаннаго рукой мужа. Мы видѣли образцы возмутительнаго презрѣнія къ человѣку и обращенія съ нимъ, какъ съ вещью. Посмотримъ теперь на отношенія русскаго человѣка къ предмету безкровному и безтѣлесному—къ казнѣ.

Кто-то называлъ Россію страной казнокрадства. Надо сознаться, что въ этомъ нелестномъ для насъ мнѣніи есть своя доля правды. Вездѣ, разумѣется, растрата казеннаго и общественнаго имущества имѣетъ своихъ болѣе или менѣе многочисленныхъ предста-

вителей, но едва-ли гдѣ-нибудь преступленіе это такъ приглядѣлось, такъ вѣлось въ кровь, какъ у насъ. Не говоря уже о временахъ, болѣе отдаленныхъ, мы и теперь то и дѣло слышимъ, что тамъ предводитель дворянства, здѣсь предсѣдатель управы растратили общественныя суммы, и что общество не только не возмутилось такимъ опустошеніемъ своихъ кармановъ, но, во вниманіе къ превосходнымъ качествамъ ума и сердца растратившаго, приняло на себя обязанность пополнить растраченное. Это очень характеристическая терпимость: такъ терпятъ корсиканцы вендетту. Мы отлично понимаемъ, что обокрасть Ивана Ивановича нехорошо, Петра Петровича обокрасть тоже дурно, но, какъ народу сѣверному, скудно одаренному воображеніемъ, намъ трудно справиться съ понятіемъ объ обществѣ, личности идеальной, у которой нѣтъ ни глазъ, ни ушей, ни рта, а между тѣмъ есть деньги. Съ понятіемъ о казнѣ справиться, разумѣется, еще труднѣе, и намъ о ней достовѣрно только то и извѣстно, что «казна богата». Казна представляется русскому сознанію въ видѣ чудовищныхъ размѣровъ сундука, набитаго деньгами, изъ котораго можно черпать полную горстью, потому что, такъ или иначе, а убыль пополнена будетъ. Причины такого страннаго воззрѣнія должны быть достаточно глубоки. Замѣчательно, что въ артеляхъ весьма рѣдки случаи растраты артельныхъ денегъ выборнымъ казначеемъ. Это объясняется, разумѣется, тѣмъ, что артель имѣетъ опредѣленную цѣль, одинаковую для каждаго артельщика порознь и для всѣхъ вмѣстѣ. Сознавая свою солидарность съ общиной дѣломъ, ни одинъ изъ нихъ не рѣшается повредить этому дѣлу, потому что это его собственное дѣло. Въ общирномъ государствѣ, раскинувшемся отъ Пермь до Тавриды въ горизонтальномъ направленіи и отъ дуалистовъ до зарывающихъ живыхъ старухъ—въ вертикальномъ,—такое сознаніе солидарности и такая общность задачъ, разумѣется, возможны въ гораздо меньшей степени. Та экономическая и общественная рознь, съ которой мы только что начинаемъ въ принципѣ развязываться, необходимо мѣшала русскому человѣку вдуматься въ источники казенныхъ доходовъ и проникнуться сознаніемъ единства интересовъ, комбинирующихся въ высшемъ государственномъ интересѣ. Тамъ, гдѣ считалось правомѣрнымъ прямое и хроническое житье на счетъ чужого труда, немыслимо было искреннее и глубокое сознаніе мерзости косвеннаго и, такъ сказать, остраго житія на счетъ трудового гроша податныхъ сословій. Душная крѣпостная атмосфера сказалась и здѣсь. И мы не знаемъ ничего поразительнѣе совмѣст-

наго существованія у насъ такихъ двухъ чертъ, какъ самыя крайнія теоріи формальнаго, политическаго, горизонтальнаго объединенія Россіи, собиранія земли русской и даже земель славянскихъ и иныхъ съ одной стороны, и полное отсутствіе сознанія единства вертикальнаго, внутренняго, экономическаго и общественнаго—съ другой. Это совмѣстное существованіе такихъ контрастовъ поразительно отнюдь не потому, чтобы они были трудно совмѣстимы; напротивъ, благодаря рѣзкости этихъ двухъ чертъ нашей общественной фizioноміи, поразительна именно ихъ очевидная, глубокая внутренняя связь. Это масло къ кашѣ, соль къ хлѣбу. Тамъ, гдѣ весь патріотизмъ ушелъ въ барабанно-географическіе взгляды на величіе страны, гдѣ территоріальное расширеніе признается миссіей государства, тамъ, значить, порвана внутренняя связь между отдѣльными частями народа. Тамъ забыта та половина народа, которой придется одной отдуваться за эту миссію, которая одна понесетъ и кровь свою, и свои деньги на осуществленіе миссіи. Тамъ любовь къ отечеству есть любовь къ географическому понятію, т.-е. къ чему-то такому, что не можешь ни страдать, ни наслаждаться. А любить, дѣйствительно любить можно, именно, только то, что страдаетъ и наслаждается, потому что любить значить переживать страданіе и наслажденіе любимаго предмета. Патріотизмъ, въ буквальномъ значеніи слова, есть любовь отраженная, продуктъ рефлексіи. Не русскую же природу мы любимъ, мерзлую и скупую, не эти сѣренскіе, плюгавые ландшафты. Если они намъ и дороги, то не сами по себѣ, а потому, что тутъ полегли кости миллионовъ близкихъ намъ людей, что земля эта полита дорогими намъ кровью и потомъ. Пусть же не говорятъ о своемъ патріотизмѣ, которые присвоиваютъ себѣ его монополию. Они меньше, чѣмъ кто-нибудь, имѣютъ на это право. Любить страну нельзя: можно любить людей, живущихъ въ ней, и любимъ мы ихъ тѣмъ крѣпче, чѣмъ мы къ нимъ ближе, чѣмъ понятнѣе намъ ихъ радости и горести, чѣмъ болѣе эти радости и горести совпадаютъ съ нашими собственными, чѣмъ, слѣдовательно, наше собственное положеніе имѣетъ больше сходства съ ихъ положеніемъ. Такое сходство положеній играло до сихъ поръ, какъ извѣстно, на Руси православной не особенно важную роль и проявлялось только въ нѣкоторыхъ экстренныхъ случаяхъ. Бывало всѣмъ тяжело, но не бывало всѣмъ легко. О солидарности интересовъ тутъ и рѣчи быть не могло. А потому одна половина народа совершенно безсознательно, неумышленно привыкла смотрѣть на деньги, трудъ и кровь другой половины, какъ на

лѣшки, которыя она можетъ какъ угодно двигать для осуществленія своей личной фантазіи, — будь эта фантазія грандіозный политическій планъ, или просто желаніе имѣть яру содержанокъ. И политическіе фантазеры, гордо держащіе знамя Россіи, какими бы демократами они ни прикидывались, и казнокрады, — да простится намъ это сопоставленіе, — одинаково смотрятъ на казну, какъ на неисчерпаемый сундукъ и одинаково игнорируютъ источники его пополненія. Патріоты, въ смыслѣ любовниковъ географическаго понятія, и казнокрады — кровные братья. И оба эти явленія, какъ слѣдствія одной и той же причины, всегда и вездѣ сопутствуютъ одно другому. Припомните великій Римъ, даже не императорскій, а еще республиканскій Римъ, въ которомъ позорный ярлыкъ казнокрадства былъ нерѣдко пришить даже непосредственно къ славнѣйшимъ именамъ, обладатели которыхъ наиболѣе раздвинули предѣлы своего отечества. Сципіонъ Африканскій былъ казнокрадъ въ прямомъ смыслѣ слова, Сципіонъ Африканскій, увернувшійся изъ суда гордой и цинической выходкой: «отечеству дають отчетъ не въ деньгахъ, а въ дѣлахъ»...

Однако, да проститъ намъ и читатель наше отступленіе. Мы увлеклись нашей нехитрой параллелью, безъ которой, сознаемся, смѣло могли бы обойтись. Пусть Сципіоны преступники, не только какъ прямые казнокрады, а и какъ герои Африканскіе, — въ качествѣ героевъ ихъ будетъ судить потомство. А наше дѣло — представить читателю нѣсколько штукъ настоящихъ казнокрадовъ, которымъ одинаково трудно дать отечеству отчетъ какъ въ деньгахъ, такъ и въ дѣлахъ. Изъ личностей этого рода, фигурирующихъ въ сборникахъ г. Любавскаго, мы начнемъ съ неопытнаго, увлекающагося юноши и окончимъ почтеннымъ, убѣленнымъ сѣдинами старцемъ, который «знаковъ тѣмъ отличій навхаталъ».

Повѣсть юноши очень коротка. Мичманъ Славичъ, будучи отправленъ для сопровожденія казеннаго груза изъ Кронштадта въ Николаевскъ на Амуръ (1863 г.), неисправностью судна былъ задержанъ въ Бразиліи, въ Рио-Жанейро. Тамъ Славичъ былъ введенъ русскимъ посланникомъ въ высшій кругъ общества, который, какъ и всякій высшій кругъ общества, живетъ сыто, пьяно и богато. Славичъ былъ такъ молодъ (ему было 22 года), искушеній было такъ много, казна такъ богата, — и Славичъ надавалъ векселей на морское министерство, по которымъ и было уплачено больше 18,000 рублей.

Славичъ, какъ молодой казнокрадъ, составляетъ исключеніе. Большая часть преступленийъ этого рода, какъ свидѣтельствуешь, по

крайней мѣрѣ, западная уголовная статистика, выпадаетъ на долю людей старыхъ, что совершенно понятно. Не говоря уже о нѣкоторыхъ качествахъ молодости, облегчающихъ ей жизнь и устраняющихъ надобность въ незаконныхъ путяхъ, молодые казнокрады составляютъ относительную рѣдкость уже просто потому, что кругъ ихъ дѣятельности и степень ввѣренной имъ власти обыкновенно очень ограничены. Для казнокрадства требуется болѣе или менѣе импонирующее общественное положеніе, достаточно ограждающее отъ подозрѣній и достаточно вліятельное для вовлеченія въ соучастіе или, по крайней мѣрѣ, для полученія молчаливаго согласія очень многихъ людей. Такъ что даже самый размѣръ казнокрадства необходимо пропорціоналенъ чину.

Мы не будемъ входить въ подробности дѣла о командирѣ тульскаго оружейнаго завода, генералъ-маіорѣ Лазаревичѣ, все несчастіе котораго состояло въ томъ, что въ семи верстахъ отъ Тулы находилось имѣніе его жены, а при имѣнии былъ винокуренный заводъ; такъ что, благодаря этой близости разстоянія, Лазаревичъ слилъ ихъ воедино: нужны для винокуреннаго завода жены сѣно, люди, чутунъ, лошади — Лазаревичъ всѣмъ этимъ заимствовался изъ казеннаго имущества оружейнаго завода и изъ общественнаго имущества оружейниковъ.

Минуя затѣмъ дѣло о растратѣ въ 1852 г. въ одесскомъ коммерческомъ судѣ и казначействѣ 240,000 рублей, любопытное только по множеству прикосновенныхъ къ нему лицъ, мы переходимъ къ знаменитому дѣлу-монстръ, къ дѣлу Политеовскаго.

Въ 1821 г. на службу въ цензурномъ комитетѣ поступилъ юноша, только что окончившій курсъ въ благородномъ пансіонѣ при московскомъ университетѣ — Политковскій. Юноша быстро пошелъ по служебной лѣстницѣ въ гору. Въ 1828 году онъ пожалованъ въ камеръ-юнкеры. Въ 1831 г. поступилъ начальникомъ перваго отдѣленія канцеляріи «комитета 18-го августа 1814 года»; затѣмъ назначенъ правителемъ канцеляріи комитета, пожалованъ въ камергеры, переименованъ въ директоры канцеляріи. Жилъ онъ, приводя всѣхъ въ изумленіе своею роскошью, и умеръ мирно, окруженный общимъ уваженіемъ, украшенный многочисленными орденами и въ чинѣ тайнаго совѣтника. Но тотчасъ послѣ его смерти, послѣдовавшей въ 1853 г., какъ въ «комитетѣ 18-го августа 1814 г.», такъ и въ домѣ покойнаго поднялась кутерьма. Начальникъ счетнаго отдѣленія комитета, коллежскій совѣтникъ Таракановъ, явился въ квартиру предсѣдателя комитета, генерала У—а (неизвѣстно, для чего г. Любавскій скрылъ имя этого, ни въ чемъ

неповиннаго генерала) и объявилъ ему, что покойный директоръ съ 1834 г. по 1853 растратилъ комитетскихъ денегъ 952,000 руб. На слѣдующій же день была назначена слѣдственная коммисія, которая немедленно принялась за дѣло. У казначея комитета Рыбкина найденъ былъ конвертъ, запечатанный печатью Политковскаго и адресованный его рукой на имя начальника счетнаго отдѣленія Тараканова. Въ конвертѣ нашли такую собственноручную записку Политковскаго: «Симъ свидѣтельствую, что въ разное время взято мною займообразно отъ Ивана Федоровича Рыбкина 930,000 руб. сер.—8-го юля 1851 года». Но по приведеніи въ ясность счетовъ и суммъ комитета, оказался недочетъ не въ 930,000 и не въ 952,000, а въ 1.005,000 р., а затѣмъ, по новомъ тщательномъ разсмотрѣніи перепутанныхъ книгъ и вѣдомостей комитета, цифра эта выросла до 1.108,550 р. сер. Политковскій началъ свои захваты, еще будучи начальникомъ отдѣленія, и началъ сравнительно довольно робко. Въ 1834 г. онъ взялъ у казначея Рыбкина казенныхъ денегъ 26,200 р. ас. и изъ нихъ скоро отдалъ 21,700 р. Но поступивъ на должность правителя, а потомъ директора канцеляріи, Политковскій сталъ дѣйствовать уже гораздо безцеремоннѣе: въ 1835 г. взялъ онъ 51,000, въ 1836—98,000, изъ которыхъ возвратилъ 75,500, въ 1837 взялъ 33,000 и т. д. Политковскій велъ это дѣло чрезвычайно ловко, такъ что предсѣдатель и члены комитета относились къ нему съ полнѣйшимъ довѣріемъ. Что же касается болѣе мелкихъ чиновниковъ, знавшихъ о грабительствѣ Политковскаго, то относительно ихъ онъ пу-скалъ въ ходъ самыя разнообразныя средства: то увѣрялъ ихъ, что отдастъ казенныя деньги, когда получитъ какой-то фантастическій долгъ, то осыпалъ ихъ наградами, то выдавалъ деньги за молчаніе и платилъ даже женамъ своихъ умершихъ сообщниковъ; то пугалъ ихъ тѣмъ, что дѣло зашло уже слишкомъ далеко. Отчетность была поэтому ведена самымъ безпорядочнымъ образомъ, и Политковскій почти двадцать лѣтъ могъ, не навлекая на себя ни малѣйшаго подозрѣнія, раз-поряжаться суммами комитета, какъ своимъ карманомъ. Растрата производилась систематически, и ежемѣсячно представлялись, куда слѣдуетъ, аккуратно составленныя фальшивыя вѣдомости. Поощряемые примѣромъ начальника, подчиненные съ своей стороны ловили рыбу въ мутной водѣ и самостоя-тельно, безъ вѣдома Политковскаго. Такъ, начальникъ счетнаго отдѣленія Таракановъ, казначей Рыбкинъ и бухгалтеръ Путвинскій при повѣркѣ капиталовъ комитета въ 1850 г. «нашли по книгамъ излишніе 50,000 р. сер.»—нашли и раздѣлили между собой. Незави-

симо отъ сего они получали отъ щедротъ Политковскаго значительныя суммы; такъ, Рыбкинъ получилъ въ разное время около 50,000; умершему бухгалтеру Горбунову Политковскій общалъ 15,000 и часть этихъ денегъ уже успѣлъ уплатить его женѣ, и т. д.

Сюда же относятся, въ сборникахъ г. Любавскаго, и дѣло Гаевского и Яковлева, котораго мы рассказывать не будемъ, такъ какъ оно происходило, такъ сказать, надняхъ и еще живо у всѣхъ въ памяти. Кстати и статья наша уже очень растянулась, а намъ хотѣлось бы остановиться еще на одной группѣ фактовъ, быть можетъ, наиболѣе интересныхъ.

Преступленіе есть самый характеристич-ный, безспорный и для всѣхъ осязательный симптомъ общественнаго разстройства или неустройства. Это Ариаднина нить, по кото-рой мы можемъ добраться до Минотавра. Сквозь лабиринтъ существующихъ фактовъ. И потому изученіе преступленія представ-ляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ пунктовъ от-правленія для всевозможныхъ социологиче-скихъ изслѣдованій, будутъ ли эти изслѣдо-ванія имѣть своимъ объектомъ забытое прош-лое, существующее настоящее или желатель-ное будущее. Это самый точный термометръ для общественной температуры. Малѣйшее отклоненіе отъ идеальной нормы, и въ этомъ кровавомъ термометрѣ кровь поднимается. Пусть страна цвѣтетъ и благоухаетъ, пусть торговля ея захватываетъ полъ-міра, пусть сосѣди завидуютъ ея промышленности и бо-ятся ея солдатъ,—загляните въ ея уголовную лѣтопись: вы найдете за кулисы, и многое изъ того, что вы принимали за восхититель-ный ландшафтъ, окажется грубо намалеван-ной декорацией. Жалко вамъ станетъ восхи-тительнаго ландшафта—не отходите отъ де-корации, всмотритесь въ нее ближе, при-стальнѣе, и вы увидите, чего ей недостаетъ, чтобы сдѣлаться образцовой картиной, и тогда вы уже не пожелаете восхитительнаго ландшафта. Но на это до сихъ поръ мало охотниковъ. Цеховымъ криминалистамъ, въ вѣдѣніи которыхъ находится преступленіе, и въ голову не приходитъ заняться разра-боткой этого богатѣйшаго рудника. А между тѣмъ, даже съ ихъ точки зрѣнія, съ которой только видно, что наказаніе, даже съ этой специальной точки зрѣнія, преступленіе от-крываетъ широкую перспективу для плодотворныхъ выводовъ. Мы не отрицаемъ значенія наказанія, какъ мѣры, способной въ нѣкоторыхъ случаяхъ дать волѣ преступника извѣстное направленіе. Но для этого извѣст-ное преступленіе должно быть поставлено на очную ставку съ наказаніемъ и на основаніи этого сопоставленія должна быть произве-дена оцѣнка наказанія не какъ правового

института вообще, но какъ средства для получения извѣстнаго результата. Въ какой мѣрѣ можетъ и можетъ ли вообще такое-то наказаніе повліять на устраненіе такого-то преступленія? Смѣемъ думать, что такіе вопросы не чужды задачѣ криминалистовъ; смѣемъ думать, что вопросы эти просты и законны; смѣемъ думать, что есть возможность дать на эти вопросы удовлетворительные отвѣты. И, однако, криминалисты не задаютъ ихъ себѣ, не задаютъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда самый ходъ событій устраиваетъ вышеозначенную очную ставку извѣстнаго преступленія съ соотвѣтствующимъ (по положительному законодательству) наказаніемъ и самымъ очевиднымъ образомъ показываетъ ихъ несоотвѣтственность.

Какъ-то недавно намъ случилось прочесть въ газетахъ такой разсказъ. Жѣница, присутствовавшая при совершеніи смертной казни, по возвращеніи домой безъ всякаго повода зарѣзала у себя кого-то дома, кажется, своего ребенка. Мы не помнимъ подробностей и даже не знаемъ хорошенько, гдѣ произошелъ этотъ случай—у насъ или за границей. Уголовная практика знаетъ относительно значительное число такихъ загадочныхъ явленій. Видѣ наказанія иногда не только не производитъ желаемаго устрашающаго и опозоривающаго дѣйствія, но напротивъ, какъ будто наталкиваетъ на подражаніе палачу, вызываетъ непреодолимую жажду крови *). Уровень нашихъ психологическихъ познаній не захватываетъ этихъ явленій, хотя тамъ и сямъ можно встрѣтить намеки на попытки ихъ объясненія. Такова психологическая система Адама Смита, хотя ею далеко не охватываются всѣ этого рода факты. Таковы прямые слова Кетле, что «иногда источникъ преступленій лежитъ въ духѣ подражательности, въ высшей степени присущей человѣку и обнаруживающейся во всемъ» («Соціальная система»). А между тѣмъ, явленія этого порядка аналогичны, можетъ быть, даже съ такимъ обыденнымъ фактомъ, какъ зѣвота при видѣ зѣвающего. Есть много фактовъ, ничего не дающихъ для положительнаго вывода, но очень ясно намекающихъ на возможность широкаго отрицательнаго обобщенія. Мы напомнимъ только нѣсколько случаевъ, приведенныхъ въ извѣстной книгѣ Миттермайера. Однажды въ Англіи былъ казненъ поддѣлыватель ассигнацій и трупъ его былъ отданъ его родственникамъ; впоследствии оказалось, что эти родственники прятали въ ротъ трупа ассигнаціи собственной фабрикаціи, не менѣе фаль-

шивыя, чѣмъ тѣ, которыя сдѣлали изъ него трупъ. Когда въ Бостонѣ, послѣ долгаго неупотребленія смертной казни, казнили одного поджигателя, то съ этого времени поджоги усилились и въ самомъ Бостонѣ, и въ окрестностяхъ, и, какъ оказалось, всѣ послѣдующіе поджигатели присутствовали при казни перваго. Одинъ священникъ рассказывалъ, что изъ 167 человѣкъ, которыхъ онъ напутствовалъ передъ казнью, 161 присутствовалъ при совершеніи казней. И т. д. Если бы хотя тѣ умственные силы, которыя и нынѣ направлены на постройку теорій наказанія и коментированіе положительныхъ законодательствъ, если бы хотя эти силы получили надлежащее теченіе, мы бы, можетъ быть, теперь уже не бродили въ человѣческой, т.-е. своей собственной душѣ, какъ въ потемкахъ, и не наталкивались бы ежеминутно на страшные, кровавые вопросительные знаки. Но во всякомъ случаѣ, если мы не можемъ, при наличныхъ нашихъ знаніяхъ, подвести итогъ фактамъ въ родѣ вышеприведенныхъ, то мы можемъ однако смѣло утверждать тотъ очевидный фактъ, что во всѣхъ этихъ случаяхъ наказаніе своей цѣли не достигаетъ и является только напрасною тратой крови. Есть, однако, нѣкоторыя спеціальныя области явленій этого рода, относительно которыхъ мы можемъ, не ограничиваясь эмпирическимъ выводомъ, отвѣтить и на вопросъ—почему? Какъ на образецъ такого отвѣта, можно указать на извѣстную брошюру Гизо о смертной казни за политическія преступленія.

Но положимъ, что эти факты все болѣе или менѣе рѣдкіе и потому ускользающіе отъ анализа, хотя криминалисты обязаны бы были зорко слѣдить и за ними. Но у нихъ подъ руками есть другой источникъ для сопоставленія преступленія и наказанія, источникъ несравненно болѣе богатый. Мы говоримъ о рецидивѣ. Громадный во всѣхъ государствахъ процентъ рецидивистовъ, т.-е. впадающихъ въ преступленіе во второй разъ, въ третій и т. д., самымъ недвусмысленнымъ образомъ указываетъ на нѣкоторую неурядицу въ существующихъ общественныхъ отношеніяхъ. Это огнемъ написанныя слова: «ману, фекель, фарестъ», для прочтенія которыхъ не требуются даже переводчики. Возьмемъ безобидный примѣръ—дуэль. Человѣкъ подрался на дуэли, потерпѣлъ наказаніе, и опять дерется и опять потерпѣлъ наказаніе, и въ третій разъ дерется. Ясно, что есть въ обществѣ нѣкоторая сила, неумолимо толкающая его все на одну и ту же дорогу. Прямое дѣло изучить эту дорогу и затѣмъ загородить ее. Но этого отъ криминалистовъ собственно и требовать нельзя по самому свойству ихъ *soi disant* науки. Уголовное право, считаю-

*) «Опыты показываютъ, что нерѣдко казни имѣютъ пагубное вліяніе на зрителей и побуждаютъ ихъ самихъ къ совершенію убійствъ» (Миттермайеръ: «Смертная казнь»).

щее преступленіемъ только нарушеніе существующаго порядка, не можетъ вдаваться въ анализъ этого порядка, потому что неизбежно можетъ наткнуться на какіе-нибудь отрицательные выводы и, слѣдовательно, вступить въ число преступниковъ. Но въ этомъ существующемъ порядкѣ есть, однако, нѣкоторая область, подлежащая вѣдѣнію уголовного права, — это уголовное законодательство. Поэтому криминалисты могли бы изъ повторенія дуэли вывести хоть заключеніе о несостоятельности существующихъ противъ нея репрессивныхъ мѣръ. Но они и этого не дѣлаютъ, и самый дальній пунктъ, до котораго добѣжали передовые криминалисты въ этомъ направленіи, есть улучшеніе тюремной системы. Спасибо, конечно, и за то. Но вообще рецидивъ представляетъ для криминалистовъ только предлогъ къ разглагольствованіямъ объ испорченной волѣ и необходимости противопоставить ей энергическій отпоръ. Затѣмъ они распыляются въ поискахъ за метафизическими основами усиленія наказанія за повтореніе: одни указываютъ, какъ на такую основу, на обнаруженное преступникомъ сугубое неуваженіе къ закону; другіе на закоренѣлость преступника; третьи на усиленную опасность для общества и т. д. Эти старанія подвести теоретическое основаніе подъ и безъ того прочно стоящую практику составляютъ собственно всю суть уголовного права. А такъ какъ на практикѣ еще съ объективно-антропоцентрическаго періода рецидивъ вызываетъ усиленіе наказанія, то и всѣ криминалисты признаютъ повтореніе обстоятельствомъ, усиливающимъ вину. Только одна школа составляетъ въ этомъ случаѣ исключеніе, но она поддерживаетъ свое положеніе только метафизическими доводами о нарушеніи правила *non bis in idem*. Затѣмъ о коренномъ преобразованіи законодательства страны, переполненной рецидивистами, нѣтъ и рѣчи. А изученіе рецидива не съ формальной, юридической, а съ общественной точки зрѣнія уже совершенно выходитъ за предѣлы задачъ криминалистовъ, и для нихъ причины повторенія дальше личности преступника не идутъ.

Но понятно, что изученіе рецидива, какъ общественнаго явленія, есть дѣло громадной важности. А потому мы съ большимъ прискорбіемъ должны сказать, что г. Любавскій обращаетъ на это обстоятельство очень мало вниманія, что, впрочемъ, вполне гармонируетъ съ общою безтолковостью его изданія. Изъ тѣхъ немногихъ случаевъ повторенія, какіе мы нашли въ сборникахъ, мы приведемъ только два, въ которыхъ фактъ рецидива осложняется еще однимъ любопытнымъ явленіемъ.

Мы привели уже достаточно фактовъ, свѣдѣтельствующихъ о не особенной привлека-

тельности солдатскаго житія въ прошлое царствованіе. Рядовой Ягодкинъ, помааявшись подъ начальствомъ какого-нибудь Ефремова, Мандрыки или Данилова, возымѣлъ отвращеніе къ службѣ и въ 1828 г. сдѣлалъ первую попытку бѣжать. За это, а равно и за «жалобу на своего капральнаго унтеръ-офицера», Ягодкинъ получилъ 100 палокъ. Онъ, однако, не получилъ вслѣдствіе этого должнаго уваженія къ службѣ и въ 1832 году бѣжалъ, но былъ пойманъ и получилъ 200 палокъ. Въ томъ же году онъ опять бѣжалъ, и за это наказанъ шпицрутенами черезъ пятьсотъ человѣкъ одинъ разъ. Въ 1835 и 1837 гг. онъ тоже бѣгалъ и оба раза получилъ по пяти-сотъ шпицрутеновъ. Въ 1839 г. онъ былъ три раза высѣченъ за кратковременныя отлучки и пьянство. Но ни палки, ни шпицрутены не выбили изъ него желанія разстаться со службой; они только убѣдили его, что побѣгъ есть плохое, или по крайней мѣрѣ, рискованное средство для достиженія этой цѣли. Ягодкинъ сталъ придумывать средство повѣрнѣй и додумался, наконецъ, до того, что если онъ совершитъ какое-нибудь крупное преступленіе, то его сошлютъ въ Сибирь на каторгу, что и избавитъ его отъ службы. Продумавъ эту мысль, онъ вышелъ 22-го апрѣля 1842 г. изъ казармы, захвативъ съ собой ножъ, съ намѣреніемъ убить перваго встрѣчнаго. Онъ продалъ бывшую на немъ рубаху и на вырученныя деньги хватилъ «для смѣлости» водки. Когда онъ вышелъ изъ кабака, навстрѣчу ему попалась знакомая дѣвушка, которую онъ и рѣшился принести въ жертву, но это ему не удалось. Потомъ онъ встрѣтилъ маленькую дѣвочку, но и та случайно избѣжала опасности. Наконецъ, онъ наткнулся на семилѣтняго мальчика и, заманивъ его подальше отъ жилыхъ строеній, зарѣзалъ. Въ убійствѣ онъ не запырлся, а прямо указалъ на его дѣйствительные поводы.

Подобныя явленія ясно указываютъ на то, что на вѣсахъ судьбы преступника чашка неудобствъ его общественнаго положенія перевѣшиваетъ чашку неудобствъ наказанія, и вѣра во всемогущество репрессіи значительно колеблется такими фактами. Человѣкъ самъ ищетъ извѣстнаго наказанія и совершаетъ съ полнымъ знаніемъ дѣла именно то преступленіе, за которое это наказаніе полагаютъ. И это не минутная вспышка, а дѣло вполне обдуманное, дѣло математическаго расчета. Вотъ другой случай.

Въ 1845 году арестанты курскаго тюремнаго замка, Самофаловъ, Струковъ и Ретинскій, зарѣзали смотрителя замка, отставнаго прапорщика Безика. По собраннымъ о подсудимыхъ свѣдѣніямъ, оказалось, что они всѣ трое судились уже: Самофаловъ за первый побѣгъ изъ крѣпостной работы, за воровство

и *взведенія на себя смертоубійства*; Струковъ за четвертый побѣгъ изъ военной службы, переимѣну имени и *взведеніе на себя двухъ смертоубійствъ*; Ретинскій за первый изъ службы побѣгъ, воровство, переимѣну имени и *взведеніе на себя смертоубійства*. Разсмотрѣвъ дѣло объ убійствѣ Безика въ связи съ прежнимъ поведеніемъ убійцы, генераль-аудиторіатъ нашель, что они взводили на себя небывалыя убійства съ единственною цѣлью попасть за нихъ въ Сибирь. А когда ложность ихъ самообвиненій была открыта, они рѣшились совершить все съ тою же цѣлью настоящее убійство. На этомъ основаніи генераль-аудиторіатъ рѣшилъ наказать подсудимыхъ шпицрутенами каждаго черезъ тысячу человекъ по шести разъ и, вмѣсто ссылки въ Сибирь, которой они желали подвергнуться, обратитъ въ ближайшую крѣпость въ арестанты всегдашняго разряда, а для удержанія ихъ на будущее время отъ преступленій приковать всѣхъ троихъ къ тѣшкамъ.

Въ дѣлахъ этого рода поразительна безпомощность практики, благодаря односторонности теоретическихъ постановокъ вопроса объ отношеніи наказанія къ преступленію. Отмѣна

наказанія для того, чтобы не исполнилось желаніе преступника, составляетъ очень плохой выходъ изъ затрудненія. Но это единственный, возможный для практики. Онъ санкціонируется и теоріей. И эта безпомощность практики будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока криминалисты не выйдутъ изъ своихъ узенькихъ рамокъ и не примутся, не мудрствуя лукаво, за скромное, но великое дѣло изученія преступленія, то-есть корней его въ общественномъ строѣ, и законовъ явленій души человеческой.

Читатель не ожидаль, разумѣется, найти въ нашемъ бѣгломъ очеркѣ точныхъ указаній въ этомъ смыслѣ. Мы взяли просто передать нѣсколько поучительныхъ, по нашему мнѣнію, страницъ изъ русской уголовной лѣтописи, какія встрѣтились въ сборникахъ г. Любавскаго. Затѣмъ мы хотѣли показать необходимость изученія преступленія, какъ общественнаго явленія. А къ формулѣ нашей: количество преступленій прямо пропорціонально количеству и рѣзкости социальныхъ контрастовъ, къ этой формулѣ мы еще будемъ имѣть случай возвратиться.

ГЕРОИ И ТОЛПА *).

I.

Въ сентябрѣ 1771 г. въ Москвѣ, раздвинутой чумою, стоялъ у Варварскихъ воротъ фабричный рабочій и рассказывалъ всѣмъ желающимъ слушать—какой онъ чудный сонъ видѣлъ. Видѣлъ онъ Богородицу, и жаловалась Богородица, что образу ея у Варварскихъ воротъ уже тридцать лѣтъ никто молебновъ не пѣлъ и свѣчей не ставилъ; за это Христосъ хотѣлъ послать на Москву каменный дождь, но она, Богородица, умолила, чтобы наказаніе ограничилось трехмѣсячнымъ моромъ. «Порадѣйте, православные, Богородицѣ на всемірную свѣчу!» кричалъ рабочій. И валомъ повалилъ измученный народъ на этотъ крикъ, неся деньги, ставя свѣчи, молясь и плача: мужчины, женщины, дѣти, больные, здоровые цѣлый день толпились у воротъ; попы разставили рядъ налоевъ и служили молебны... По мысли архіерея Амвросія, предполагалось перенести икону въ другое мѣсто, чтобы толпа не загораживала проѣзда, а деньги, которыхъ быстро накопился цѣлый

сундукъ, употребить на благотворительную цѣль. Но начальство порѣшило перенести деньги въ сохранное мѣсто. Однако, когда у Варварскихъ воротъ явилась съ этою цѣлью команда съ подъячными, народъ разогналъ ее съ крикомъ: «Богородицу грабятъ!» и затѣмъ, вооружившись чѣмъ попало, двинулся при звукахъ набата искать Амвросія. Искали въ Чудовѣ монастырѣ, искали въ Донскомѣ, наконецъ, нашли и вытащили изъ церкви, позовили, однако, архіерею приложиться сначала къ иконѣ. Это былъ добрый знакъ. Дальше, когда Амвросій кротко и спокойно отвѣчалъ на сыпавшіеся на него со всѣхъ сторонъ вопросы о разныхъ санитарныхъ и полицейскихъ мѣрахъ, въ томъ числѣ и насчетъ Варварскихъ воротъ, толпа стала видимо стихать. Но вдругъ нѣкто Василій Андреевъ, дворовый человекъ Раевского, выбѣжавъ изъ кабака, кинулся на архіерея съ коломъ въ рукахъ. «Чего вы его слушаете? Развѣ не знаете, что онъ—колдунъ, глаза вамъ отводитъ?!»—закричалъ Андреевъ и ударилъ Амвросія коломъ въ високъ. Въ ту же минуту доброе настроеніе толпы исчезло, десятки ударовъ посыпались на архіерея, и онъ былъ убитъ...

*) 1882 г.

Въ 1253 г., капитулъ Notre-Dame de Paris наложить новые платежи на своихъ крестьянъ. Крестьяне одной деревни отказались платить, за что всѣ мужчины были привезены въ Парижъ и ввергнуты въ темницу. Узнавъ объ этомъ, королева Бланка Кастильская просила канониковъ Notre-Dame de Paris изслѣдовать дѣло, а въ ожиданіи выпустить арестованныхъ, причемъ обязывалась сама заплатить за нихъ. Церковники, ревнуя о своей власти, не только не исполнили просьбы королевы, а еще забрали женщинъ и дѣтей мятежной деревни и заключили ихъ въ ту-же темную, смрадную тюрьму. Бланка явилась у дверей тюрьмы въ сопровожденіи небольшой свиты и приказала выбить двери. Свита колебалась — права и привилегіи служителей церкви были въ ея глазахъ слишкомъ священны. Тогда Бланка выхватила алебарду у одного изъ сопровождавшихъ ее и собственноручно рубнула дверь. Увлеченная этимъ примѣромъ, свита тотчасъ же разнесла дверь...

Изъ множества историческихъ эпизодовъ, которые могутъ служить для иллюстраціи предлагаемаго очерка и которые отчасти будутъ употреблены съ этою цѣлью ниже, я съ совершенно опредѣленною цѣлью выбралъ въ первую голову возмутительное убійство Амвросія. Этотъ или другой, но подобный эпизодъ сразу ставить передъ читателемъ въ видѣ живыхъ образовъ и предметъ очерка, и его цѣль, и его терминологию. *Героемъ* мы будемъ называть человѣка, увлекающаго своимъ примѣромъ массу на хорошее или дурное, благороднѣйшее или подгвѣйшее, разумное или бессмысленное дѣло. *Толпой* будемъ называть массу, способную увлекаться примѣромъ, опять-таки высоко-благороднымъ или низкимъ, или нравственно-безразличнымъ. Не въ похвалу, значитъ, и не въ поруганіе 'выбраны термины «герой» и «толпа». Если пьянаго звѣря Василя Андреева мы называемъ героемъ, наряду съ благороднымъ образомъ Бланки Кастильской, то, конечно, читатель не найдетъ у насъ такъ называемаго культа героевъ, но не найдетъ онъ и отрицательнаго отношенія къ героямъ въ смыслѣ великихъ людей. Безъ сомнѣнія, великіе люди не съ неба сваливаются на землю, а изъ земли растутъ къ небесамъ. Ихъ создаетъ та же среда, которая выдвигаетъ и толпу, только концентрируя и воплощая въ нихъ разрозненно бродящія въ толпѣ силы, чувства, инстинкты, мысли, желанія. Безъ сомнѣнія, можно идти логическимъ путемъ даже гораздо дальше и въ такой же мѣрѣ умалить роль великихъ людей, въ какой Карлейль ее превозвысилъ. Но, становясь на эту точку зрѣнія, въ извѣстномъ смыслѣ вполне вѣрную, легко пропустить сквозь пальцы цѣлую обширную область явлений, крайне важныхъ и въ теоретическомъ,

и въ практическомъ смыслѣ. Именно всю область отношеній между великимъ человекомъ и тѣми, кто слѣдуетъ по его стопамъ. Какъ бы мы ни смотрѣли на эти отношенія, но они — фактъ. Они возникаютъ, существуютъ, прекращаются или разрѣшаются извѣстными результатами, и, значитъ, по крайней мѣрѣ, наравнѣ съ другими фактами подлежатъ изученію. Пусть, съ какой-нибудь очень возвышенной и вполне оправдываемой логикою точки зрѣнія, великій человекъ есть даже просто нуль или, самое большое, безсознательное орудіе осуществленія высшихъ и общихъ историческихъ законовъ; пусть его дѣятельность должна изучаться съ точки зрѣнія этихъ общихъ законовъ; но, кромѣ нихъ, существуютъ же какіе-нибудь частные законы отношеній между великимъ человекомъ и движущейся за нимъ массою. Конечно, самые факты этого рода, въ ихъ голой, эмпирической наготѣ, записываются въ исторію во множествѣ, но отъ голой записи еще далеко не только до пониманія явленія, но даже до пониманія его важности. Этого-то пониманія мы напрасно бы стали искать у историковъ культуры или цивилизаціи нынѣшняго времени, у политиковъ, социологовъ и вообще людей ex professo, занимающихся изслѣдованіями человѣческихъ дѣлъ и отношеній. Это, можно сказать — непочатой вопросъ. Это-то мы и рекомендуемъ вниманію читателя. При этомъ специально о великихъ людяхъ намъ трактовать не придется. Да если бы мы и вздумали такъ специализировать свою задачу, то при самомъ первоначальномъ приступѣ къ дѣлу натолкнулись бы на логическое и фактическое затрудненіе. Что такое собственно великій человекъ? Полубогъ съ одной точки зрѣнія, онъ можетъ оказаться мизинцемъ лѣвой ноги съ другой. Это и само собою понятно, ибо требованія, которые могутъ быть предъявлены великому человеку мною, вами, пятымъ, десятымъ, чрезвычайно разнообразны. Это и въ исторіи случалось, что великій человекъ для однихъ — былъ полнымъ ничтожествомъ въ глазахъ другихъ. Безъ сомнѣнія, всякій мыслящій человекъ можетъ и долженъ выработать себѣ точку зрѣнія для оцѣнки великихъ людей въ смыслѣ большаго или меньшаго количества блага, внесеннаго ими въ сокровищницу человечества. Но, имѣя собственное свое мѣрило величія, вполне пригодное для тѣхъ или другихъ цѣлей, мы не можемъ имъ руководиться при изученіи поставленнаго нами вопроса. Положимъ, что съ точки зрѣнія изслѣдователя какой-нибудь, напримѣръ, Будда — не великій человекъ, какъ о немъ полагаютъ буддисты, а совсѣмъ заурядная фигура. Если изслѣдователь, руководствуясь этимъ своимъ мѣриломъ величія, вычеркнетъ роль Будды

изъ программы своей работы, то, понятное дѣло, самъ себя лишить драгоцѣннаго матеріала, даваемого обаяніемъ, которое Будда производилъ на современниковъ. Исследователь долженъ въ этомъ случаѣ стать на точку зрѣнія буддистовъ. Онъ можетъ, конечно, отвергать и опровергать эту точку зрѣнія въ виду различныхъ, весьма даже важныхъ цѣлей и соображеній. Но въ данномъ случаѣ всѣ эти цѣли и соображенія, какъ бы они ни были сами по себѣ цѣнны, представляютъ нѣчто постороннее. Задача состоитъ въ изученіи механики отношеній между толпою и тѣмъ человѣкомъ, котораго она признаетъ великимъ, а не въ изысканіи мѣрилы величія. Поэтому завѣдомый злодѣй, глупецъ, ничтожество, полоумный для насъ такъ же важны, въ предѣлахъ поставленной задачи, какъ и всемірный гений или ангелъ во-плоти, если за ними шла толпа, если она имъ искренно, а не по вышнимъ побужденіямъ повиновалась, если она имъ подражала и молилась.

Этого мало. Бываетъ величіе, озаряющее далекіе историческіе горизонты. Бываетъ такъ, что великій человѣкъ, своею безсмертною стороною, своею мыслью живетъ вѣка, и вѣка вліяютъ на толпу, увлекая ее за собой. Но бываетъ и такъ, что великій человѣкъ мелькнетъ, какъ падающая звѣзда, лишь на одно мгновеніе станетъ идоломъ и идеаломъ толпы, и потомъ, когда пройдетъ минутное возбужденіе, самъ утонетъ въ рядахъ темной массы. Безвѣстный ротный командиръ бросается въ минуту возбужденія на непріятельскую батарею и увлекаетъ своимъ примѣромъ оробѣвшихъ солдатъ, а затѣмъ опять становится человѣкомъ, которому цѣна — грошъ. Вы затруднитесь назвать его великимъ человѣкомъ, хотя, можетъ быть, согласитесь признать извѣстную долю величія въ его выходкѣ. Но, во всякомъ случаѣ, какая разница, въ интересахъ нашей задачи, между этимъ ротнымъ командиромъ, которому разъ въ жизни удалось воодушевить и увлечь за собой солдатъ, и счастливымъ, «великимъ» полководцемъ, появленіе котораго предъ фронтомъ всякій разъ вызываетъ въ солдатахъ энтузіазмъ и готовность идти на смерть? Разницы никакой или весьма малая. Мы можемъ, конечно, отмѣтить въ послѣднемъ случаѣ нѣкоторое осложненіе психическими моментами, которыхъ нѣтъ въ первомъ. Тутъ мы видимъ привычку солдатской души реагировать извѣстнымъ образомъ при появленіи вождя, а тамъ дѣло происходитъ мгновенно, безъ ожиданія и даже, можетъ быть, противъ всякаго ожиданія. Но существенной роли эта разница не играетъ, и, конечно, мы сдѣлаемъ большую ошибку, если, изслѣдуя механику массоваго увлеченія подъ вліяніемъ одинокой воли, упустимъ изъ виду анализъ

такихъ фактовъ, какой представляетъ исторія безвѣстнаго ротнаго командира. Затѣмъ, въ смыслѣ душевной механики увлеченія подъ давленіемъ одинокой личности, между мгновеннымъ движеніемъ свиты Бланки Кастильской и такимъ же мгновеннымъ движеніемъ солдатъ—нѣтъ уже ровно никакой разницы. И тамъ, и тутъ толпа разомъ, мгновенно, переступаетъ какой-то таинственный и страшный порогъ, какъ только вождь дѣлаетъ первый шагъ, а до тѣхъ поръ жметъ, колеблется, отступаетъ.

Оба факта, очевидно, одинаковаго происхожденія и оба одинаково заслуживаютъ нашего вниманія. Да не то что Бланка Кастильская, Василій Андреевъ или ротный командиръ, а если бы, для уясненія занимающихъ насъ психическихъ процессовъ и тѣхъ общественныхъ или иныхъ условій, которыя обставляютъ эти процессы, если бы для этого оказались въ какомъ-нибудь смыслѣ пригодными отношенія между передовымъ бараномъ и бросающимся за нимъ бараньимъ стадомъ, такъ и ихъ изслѣдователь не можетъ исключить изъ своей работы.

Итакъ, вотъ въ какомъ, вполне условномъ смыслѣ, будемъ мы разумѣть героя. Это не первый любовникъ романа и не человѣкъ, совершающій великій подвигъ. Нашъ герой можетъ, пожалуй, быть и тѣмъ, и другимъ, но не въ этомъ заключается та его черта, которою мы теперь интересуемся. Нашъ герой просто первый «ломаетъ ледъ», какъ говорятъ французы, дѣлаетъ тотъ рѣшительный шагъ, котораго трепетно ждетъ толпа, чтобы съ стремительною силою броситься въ ту или другую сторону. И не самъ по себѣ для насъ герой важенъ, а лишь ради вызываемого имъ массоваго движенія. Самъ по себѣ онъ можетъ быть, какъ уже сказано, и полоумнымъ, и негодяемъ, и глупцомъ, ни мало не интереснымъ. Для меня очень важно, во избѣжаніе разныхъ возможныхъ недоразумѣній, чтобы читатель утвердился на этомъ значеніи слова «герой» и чтобы онъ не ожидалъ отъ героевъ, какіе ниже встрѣтятся, непременно чего-нибудь «героическаго» въ томъ двусмысленномъ значеніи, которое обыкновенно соединяется съ этимъ словомъ. Съ этою именно цѣлью я началъ очеркъ убійствомъ Амвросія. Съ этою же цѣлью я хочу напомнить читателю одну высоко-художественную сцену изъ «Войны и мира»—сцену убійства Верещагина. Я не знаю ни историческаго, ни художественнаго описанія момента возбужденія толпы подъ вліяніемъ примѣра, которое могло бы сравняться съ этими двумя страницами по выпуклости и тонкости работы.

—,Ребята! — сказалъ Растопчинъ металлически-звонкимъ голосомъ:—этотъ человѣкъ, Ве-

решагинъ, тотъ самый мерзавецъ, отъ котораго погибла Москва.

Молодой человѣкъ въ лишемъ тулупчикѣ стоялъ въ покорной позѣ, сложивъ кисти рукъ вмѣстѣ передъ животомъ и немного согнувшись. Исхудалое, съ безпокойнымъ выраженіемъ, изуродованное бритой головой молодое лицо его было опущено внизъ. При первыхъ словахъ графа, онъ медленно поднялъ голову и поглядѣлъ снизу на графа, какъ бы желая что сказать ему или хотъ встрѣтить его взглядъ. Но Растопчинъ не смотрѣлъ на него.

На длинной шеѣ молодого человѣка, какъ веревка, напряжилась и посинѣла жила за ухомъ и вдругъ покраснѣло лицо.

Всѣ глаза были устремлены на него. Онъ по-смотрѣлъ на толпу и, какъ бы обнадеженный тѣмъ выраженіемъ, которое онъ прочиталъ на лицахъ людей, онъ печально улыбнулся и, опять, опустивъ голову, поправилъ ногами на ступенькѣ.

— Онъ измѣнилъ своему царю и отечеству, онъ передался Бонапарту, онъ одинъ изъ всѣхъ русскихъ осрамилъ имя русскаго и отъ него погибаетъ Москва, — говорилъ Растопчинъ ровнымъ, рѣзкимъ голосомъ; но вдругъ быстро взглянулъ внизъ на Верещагина, продолжавшаго стоять въ той же покорной позѣ. Какъ будто взглядъ этотъ взорвалъ его, онъ, поднявъ руку, закричалъ почти, обращаясь къ народу: — своимъ судомъ расправляйтесь съ нимъ! отдаю его вамъ!

Народъ молчалъ и только все тѣснѣе и тѣснѣе нажималъ другъ на друга. Держать другъ друга, дышать въ этой зараженной духотѣ, не имѣть силъ пошевелиться и ждать чего-то неизвѣстнаго, непонятнаго и страшнаго становилось невыносимо. Люди, стоявшіе въ первыхъ рядахъ, видѣвшіе и слышавшіе все то, что происходило передъ ними, всѣ съ испуганно широко раскрытыми глазами и разинутыми ртами, напругая всѣ свои силы, удерживали на своихъ спинахъ напоръ заднихъ.

— Бей его!.. Пускай погибнетъ измѣнникъ и не срамитъ имени русскаго! — закричалъ Растопчинъ.

— Руби! Я приказываю!

Услыхавъ не слова, но гнѣвные звуки голоса Растопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась.

— Графъ! — проговорилъ среди опять наступившей минутной тишины робкій и вмѣстѣ театральнѣе голосъ Верещагина. — Графъ, одинъ Богъ надъ нами... сказалъ Верещагинъ, поднявъ голову, и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шеѣ, и краска быстро выступила и сбѣжала съ его лица. Онъ не договорилъ того, что хотѣлъ сказать.

— Руби его! Я приказываю... — прокричалъ Растопчинъ, вдругъ поблѣднѣвъ такъ же, какъ и Верещагинъ.

— Сабля вонъ! — крикнулъ офицеръ драгунамъ, самъ вынимая саблю.

Другая, еще сильнѣйшая волна взмыла по народу и, добѣжавъ до переднихъ рядовъ, волна эта сдвинула переднихъ и, шаталя, поднесла къ самымъ ступенямъ крыльца.

Высокій малый съ окаменѣлымъ выраженіемъ лица и съ остановившеюся поднятою рукою стоялъ рядомъ съ Верещагинымъ.

— Руби, — прошепталъ почти офицеръ драгунамъ, и одинъ изъ солдатъ вдругъ съ исказившимся злобой лицомъ ударилъ Верещагина тушимъ палашомъ по головѣ.

— А! — коротко и удивленно вскрикнулъ Верещагинъ, испуганно оглядываясь и какъ будто не понимая, зачѣмъ это было съ нимъ сдѣлано.

Такой же стонъ удивленія и ужаса пробѣжалъ по толпѣ.

— О, Господи! — послышалось чье-то печальное восклицаніе. Но вслѣдъ за восклицаніемъ удивленія, вырвавшимся у Верещагина, онъ жалобно вскрикнулъ отъ боли, и этотъ крикъ погубилъ его. Та натянутая до высшей степени преграда человѣческаго чувства, которая держала еще толпу, порвалась мгновенно. Преступленіе было начато, необходимо было довершить его. Жалобный стонъ упрека былъ заглушенъ грознымъ и гнѣвнымъ ревомъ толпы. Какъ послѣдній девятый валъ, разбивающій корабли, взмыла изъ заднихъ рядовъ эта послѣдняя неудержимая волна, донесла до переднихъ, сбѣжала и поглотила все. Ударившій драгунъ хотѣлъ повторить свой ударъ. Верещагинъ, съ крикомъ ужаса, заслонясь руками, бросился къ народу.

Высокій малый, на котораго онъ наткнулся, вцѣпился руками въ тонкую шею Верещагина и съ дикимъ крикомъ, съ нимъ вмѣстѣ, упалъ подъ ноги наваливаемаго режущаго народа. Одни били и рвали Верещагина, другіе высокаго малаго. И крики задавленныхъ, и тѣхъ, которые старались спасти высокаго малаго, только возбуждали ярость толпы.

.....
— Топоромъ-то бей, что-ли!.. Задавили!.. Измѣнникъ, Христа продалъ... живъ... живущъ... подѣломъ вору мука. Запоромъ-то!.. Ами живъ!..

Только когда уже перестала биться жертва и вскрики ея замѣнились равномѣрнымъ, протяжнымъ хрипѣніемъ, толпа стала торопливо перемѣщаться около лежащаго окровавленнаго трупа. Каждый подходилъ, взглядывалъ на то, что было сдѣлано, и съ ужасомъ, упрекомъ и удивленіемъ тѣснился назадъ.

Длинная выписка, но читатель, конечно, не посѣтуетъ на меня за то художественное наслажденіе, которое она ему доставила.

Кто герой этого омерзительнаго происшествія? Въ романическомъ смыслѣ имъ можетъ быть Верещагинъ, можетъ быть и Растопчинъ, можетъ быть и любой изъ бившихъ или битыхъ. Это — дѣло концепціи романа. Въ смыслѣ людей, совершающихъ героическіе поступки, здѣсь нѣтъ героевъ — объ этомъ свидѣтельствуетъ элементарное нравственное чувство. Въ нашемъ условномъ смыслѣ нельзя назвать героемъ Растопчина, потому что онъ самолично никакого вліянія на толпу не оказалъ: драгуны его послушались, хотъ и не сразу; народъ же, который не обязанъ былъ повиноваться, ни мало не тронулся его криками и подзадориваніями. Въ такомъ же положеніи находится и драгунскій офицеръ. Истинный герой происшествія есть тотъ солдатъ, который вдругъ, «съ исказившимся отъ злобы лицомъ», первый ударилъ Верещагина. Это былъ, можетъ быть (и даже вѣроятно), самый тупой человѣкъ изъ всей команды. Но во всякомъ случаѣ его ударъ сдѣлалъ то, чего не могли сдѣлать ни патристическіе возгласы Растопчина (а дѣло, замѣтите, было накануне вступленія французовъ въ Москву, когда, слѣдовательно, патристическіе возгласы имѣли за себя особенно много шансовъ), ни

начальственный видъ графа, ни его прямые приказанія.

Ударъ тупого палаша тупого драгуна, и только этотъ ударъ преодолѣлъ, очевидно, упорное нежеланіе толпы убить человѣка, вины котораго она не понимала. Въ свою превосходную картину графъ Толстой вставилъ замѣчанія или объясненія, по малой мѣрѣ, рискованныя. Фактъ не только воспроизведенъ съ рѣдкою художественною силою, но и вѣрно истолкованъ словами: «Та натянутая въ высшей степени преграда человѣческаго чувства, которая держала еще толпу, порвалась мгновенно». Но при этомъ графъ Толстой прямо замѣчаетъ, что «жалобный крикъ погубилъ Верещагина», и даетъ сверхъ того намекъ на настроеніе толпы—мотивомъ: «преступленіе было начато, необходимо было довершить его». Но крикъ Верещагина былъ до такой степени неизбѣжною, неотвратимою подробностью драмы, что сказать: «крикъ погубилъ» значить ровно ничего не сказать. Что же касается необходимости окончить разъ начатое преступленіе, то этотъ мотивъ былъ бы несомнѣненъ, если бы толпа начала преступленіе. Но этого-то и не было: преступленіе начато чуждою толпѣ силою, за грѣхи которой толпа не можетъ считать себя ответственной. Въ человѣкѣ, начавшемъ преступленіе, естественно инстинктивное стремленіе поскорѣй покончить съ жертвою. Но посторонній зритель, особливо если онъ предварительно выразилъ свое несочувствіе убійству, можетъ и на убійцу броситься и стараться спасти жертву.

Верещагина погубило неудержимое стремленіе извѣстнымъ образомъ настроенной толпы подражать герою. А героемъ былъ въ этомъ случаѣ тотъ драгунъ, у котораго хватило смѣлости или трусости нанести первый ударъ. Если читателю не нравится такое употребленіе слова «герой», то я прошу извиненія, но иного подходящаго слова я не нашелъ. Это, разумѣется, нисколько не мѣшаетъ увлекать толпу и истинно великимъ людямъ. Сами по себѣ, мотивы, двинувшіе героя на геройство, для насъ безразличны. Пусть это будетъ тупое повиновеніе (какъ, вѣроятно, было у нашего драгуна) или страстная жажда добра и правды, глубокая личная ненависть или горячее чувство любви—для насъ важенъ герой только въ его отношеніи къ толпѣ, только какъ двигатель. Безъ сомнѣнія, не мало найдется въ исторіи случаевъ, въ которыхъ личные мотивы героевъ бросаютъ свѣтъ на весь эпизодъ, и тогда мы, разумѣется, не можемъ отказываться отъ изученія этихъ мотивовъ. Но наша задача все-таки исчерпывается взаимными отношеніями двухъ факторовъ: героя и толпы. Мы постараемся уяснить себѣ эти

отношенія и опредѣлить условія ихъ возникновенія, будутъ ли эти условія заключаться въ характерѣ даннаго историческаго момента, даннаго общественнаго строя, личныхъ свойствъ героя, психическаго настроенія массы или какихъ иныхъ элементовъ. Повторяю: это, можно сказать—непочтой вопросъ. Поставить и разрѣшить его во всемъ объемѣ наука даже не пыталась. Это зависитъ прежде всего отъ крайней раздробленности знанія, въ силу которой каждый ученый съ благороднымъ упорствомъ работаетъ подъ смоковницей своей специальности, но не хочетъ или не можетъ принять въ соображеніе то, что творится подъ сосѣдней смоковницей. Юристъ, историкъ, экономистъ, совершенно незнакомый съ результатами, общимъ духомъ и приемами наукъ физическихъ, есть до такой степени распространенное явленіе, что мы съ нимъ совсѣмъ свыклись и не находимъ тутъ ничего страннаго. Есть, однако, область знанія, болѣе или менѣе близкое знакомство съ которою самые снисходительные люди должны, кажется, признать обязательнымъ для историка, экономиста или юриста. Это—область душевныхъ явленій. Положимъ, что психологія и до настоящаго дня не имѣетъ еще вполне установившагося научнаго облика, не представляетъ собою законченной цѣпи взаимно поддерживающихся и общепризнанныхъ истинъ. Но какъ ни много въ этой области спорнаго, гипотетическаго и условнаго, душевныя явленія настолько-то извѣстны все-таки, чтобы можно было по достоинству оцѣнить психологическіе моменты различныхъ политическихъ, юридическихъ, экономическихъ теорій.

Какія бы понятія тотъ или другой экономистъ ни имѣлъ о человѣческой душѣ для своего личнаго обихода, но въ сферѣ своей науки онъ рассуждаетъ такъ, что единственный духовный двигатель человѣка есть стремленіе покупать какъ можно дешевле и продавать какъ можно дороже. Для иного юриста мотивы дѣятельности человѣка исчерпываются стремленіемъ совершать преступленія и терпѣть за нихъ наказанія, и т. п. Такъ какъ душа человѣческая на самомъ дѣлѣ безконечно сложнѣе, то понятно, что явленія, незамѣтныя съ этихъ условныхъ, специальныхъ точекъ зрѣнія, ускользаютъ отъ анализа, хотя въ жизни заявляютъ о себѣ, можетъ быть, очень часто и очень сильно. Таковы, именно, массовыя движенія. Потрудитесь припомнить весь циклъ существующихъ такъ называемыхъ социальныхъ наукъ—и вы увидите, что ни на одну изъ нихъ нельзя возложить обязанности изученія массовыхъ движеній, какъ таковыхъ, т. е. въ ихъ существенныхъ и самостоятельныхъ чер-

тахъ. Правда, уголовное право знаетъ, на примѣръ, соучастіе въ преступленіи, бунтъ, возстаніе; политическая экономія знаетъ стачку, эмиграционное движеніе; международное право знаетъ войну, сраженіе. Но уголовное право вѣдаетъ предметъ съ точки зрѣнія виновности и наказуемости, политическая экономія—съ точки зрѣнія хозяйственныхъ послѣдствій, международное право—съ точки зрѣнія извѣстнаго, постоянно колеблющагося, такъ сказать, кодекса приличій. При этомъ массовое движеніе, какъ общественное явленіе, въ своихъ интимныхъ, самостоятельныхъ чертахъ, какъ явленіе, имѣющее свои законы, по которымъ оно возникаетъ, продолжается и прекращается, остается совершенно даже незатронутымъ. Повидимому, исторія должна вѣдать занимающіе насъ вопросы. Но исторія до сихъ поръ не знаетъ, что такое она сама и въ чемъ состоитъ ея задача: въ безпристрастномъ-ли записываніи всего совершившагося и совершающагося, въ картинномъ-ли воспроизведеніи образовъ и сценъ минувшаго для удовлетворенія безразличной любознательности, въ извлеченіи-ли практическихъ уроковъ изъ историческаго опыта, въ открытіи-ли общихъ или частныхъ законовъ, подчиняющихъ историческія явленія извѣстной правильности и порядку? Во всякомъ случаѣ, для уразумѣнія природы массовыхъ движеній исторія представляетъ до сихъ поръ только гигантскій складъ матеріаловъ. Прибавьте къ этому тотъ аристократизмъ исторіи, о которомъ и противъ котораго говорятъ такъ много и такъ давно, и который, однако, все еще достаточно живъ, чтобы третировать массовыя движенія болѣе или менѣе свысока и мимоходомъ.

Но въ исторіи человѣческой мысли нерѣдко бываетъ, что практика предвосхищаетъ у науки извѣстныя группы истинъ и пользуется ими, сама ихъ не понимая, для той или другой практической цѣли. Наука, на примѣръ, только теперь узнаетъ природу искусственной каталепсіи или гипнотизма, а между тѣмъ она была уже знакома древнимъ египетскимъ жрецамъ, не говоря о цѣломъ рядѣ послѣдующихъ шарлатановъ и фокусниковъ. Знакома она имъ была, конечно, только эмпирически, какъ фактъ, причѣмъ о причинахъ факта они не задумывались или же искали ихъ въ какой-нибудь мистической области. Такихъ примѣровъ исторія мысли знаетъ множество. И какъ практическое примѣненіе рычага на неизмѣримое, можно сказать, время предшествовало научному его изслѣдованію, такъ и механику массовыхъ движеній эмпирически знали и практически пользовались ею уже наши очень отдаленные предки. Военные люди, можетъ быть,

первые обратили вниманіе на неудержимую склонность толпы слѣдовать рѣзкому примѣру, въ чемъ бы онъ ни состоялъ. Есть много военно-историческихъ анекдотовъ о паническомъ страхѣ или безумной коллективной храбрости подъ вліяніемъ энергическаго примѣра. Можетъ быть, у военныхъ писателей, съ которыми я не имѣлъ времени познакомиться, факты этого рода даже извѣстнымъ образомъ обработаны, систематизированы; въ особенности у старыхъ военныхъ писателей, которые по необходимости больше, чѣмъ нынѣшніе, должны были принимать въ соображеніе живую силу человѣка, его душу, помимо усовершенствованныхъ смертоносныхъ орудій. Но и всякаго другого рода практики, имѣющіе дѣло съ толпой—агитаторы, ораторы, проповѣдники, педагоги—исповонѣвѣку, отчасти инстинктивно, отчасти сознательно, владѣли секретомъ вліять на толпу и пользовались имъ, хотя онъ былъ секретомъ для нихъ самихъ. Но все это была только практика, искусство, ловкость, личное умѣніе и тактъ, а не наука.

II.

Великъ и величественъ храмъ науки, но въ немъ слишкомъ много самостоятельныхъ придѣловъ, въ каждомъ изъ которыхъ происходитъ свое особое, специальное священнодѣйствіе, безъ вниманія къ тому, что дѣлается въ другомъ. Широкій, обобщающій характеръ шаговъ науки за послѣднюю четверть вѣка много урѣзалъ самостоятельность отдѣльныхъ придѣловъ, но мы все-таки еще очень далеки отъ идеала истиннаго сотрудничества различныхъ областей знанія. Если бы нужны были доказательства, то можетъ быть наилучшимъ доказательствомъ этого рода оказалась бы судьба вопроса, насъ теперь занимающаго.

Житейскій опытъ свидѣтельствуетъ, что бывають такія обстоятельства, когда кака-то непреодолимая сила гонитъ людей къ подражанію. Всякій знаетъ, на примѣръ, какъ иногда трудно бываетъ удержаться отъ зѣвоты при видѣ зѣвающего, отъ улыбки при видѣ смѣющагося, отъ слезъ при видѣ плачущаго. Всякому случалось испытывать странное и почти неудержимое стремленіе повторять жесты человѣка, находящагося въ какомъ-нибудь чрезвычайномъ положеніи, на примѣръ, акробата, идущаго по канату. Всякій знаетъ, наконецъ, что одинокій человѣкъ и человѣкъ въ толпѣ—это два совсѣмъ разные существа. До такой степени разные, что, зная человѣка, какъ свои пять пальцевъ, вы, на основаніи этого только знанія, никакимъ образомъ не можете предсказать

образъ дѣйствія того же человѣка, когда онъ окажется подъ вліяніемъ рѣзкаго, энергическаго примѣра. Вотъ что рассказываетъ Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ о бунтѣ военныхъ поселенъ 1831 года:

«Въ то время, когда была борьба за Соколова, я увидѣлъ унтеръ-офицера, съ нѣсколькими нашивками на рукавѣ, лежавшаго ничкомъ на крыльцѣ и горькъ плачущаго; на вопросъ мой: «о чемъ онъ плачетъ?» онъ, показывая на Соколова, сказалъ: «что дѣлается! убиваютъ не командира, а отца!» Я началъ ему говорить, что вмѣсто того, чтобы плакать въ сторонѣ, онъ пошелъ бы лучше туда и старался уговорить поселенъ, чтобы его оставили и отдали мнѣ. Онъ побѣжалъ туда, но не прошло двухъ минутъ, какъ, пробившись съ нѣсколькими поселенными на помощь Соколову, я увидѣлъ того же унтеръ-офицера, съ коломъ въ рукѣ, бьющаго его.— «Что ты дѣлаешь! Не самъ-ли ты мнѣ говорилъ, что онъ былъ вамъ отецъ, а не командиръ?»—На это онъ мнѣ отвѣчалъ: «Уже видно, что теперь пора такая, ваше высокоблагородіе, видите, что весь міръ бьетъ, что жъ я буду стоять такъ!» (Бунтъ военныхъ поселенъ въ 1831 году. Разказы и воспоминанія очевидцевъ. Спб. 1870, стр. 82).

Какъ ни поразителенъ на первый взглядъ этотъ фактъ, но всякій, я думаю, найдетъ въ запасѣ своихъ воспоминаній нѣчто подобное. Конечно, не непременно по кровавой обстановкѣ и результату, а только въ смыслѣ столь же рѣзкой разницы между однимъ человѣкомъ и человѣкомъ въ толгѣ, въ смыслѣ всеподавляющаго значенія примѣра. Недавніе еврейскіе погромы были, конечно, полны подобныхъ эпизодовъ. Да наконецъ, въ обыденной жизни, можно сказать, шагу ступить нельзя, не натолкнувшись на тотъ или другой фактъ безсознательнаго подражанія. Не говорю о дѣтяхъ, склонность которыхъ къ «обезьяничанью» вошла въ поговорку; не говорю о модѣ, во всеуравнивающемъ распространеніи которой замѣшиваются посторонніе элементы, въ родѣ тщеславнаго желанія быть не хуже другихъ и т. п. Но обратите вниманіе хотя бы на такой, неизмѣнно повторяющійся фактъ: люди, имѣющіе сношенія, напримѣръ, съ человѣкомъ, оригинально и талантливо разсказывающимъ, безсознательно усваиваютъ себѣ не только его манеру говорить, но даже его обычные жесты. Этого же рода не мгновеннымъ, а медленнымъ, постепеннымъ, хроническимъ давленіемъ примѣра объясняется одна, къ сожалѣнію, очень обыкновенная житейская драма: дорогой и близкій вашему сердцу человѣкъ подпадаетъ, невидимо для васъ, подъ чье-нибудь подлое вліяніе, и, въ концѣ концовъ, вы съ ужасомъ открываете,

что подлость прошла его до мозга костей. Конечно, тутъ могли дѣйствовать подговоры, убѣжденія, поученія, но большею частью эти вліянія въ подобныхъ случаяхъ совершенно ничтожны, а главная роль принадлежитъ непосредственно постоянному давленію примѣра подлости. Бываютъ, конечно, и обратные случаи, и благоразумные родители знаютъ, что лучшее воспитаніе состоитъ въ томъ, чтобы дѣти видѣли передъ собой всегда хорошій примѣръ.

Если этого рода факты до такой степени распространены, то понятно, что, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя отрасли науки не могли не обратить вниманія на кое-какіе спеціальные случаи.

Въ числѣ аргументовъ противъ смертной казни находимъ у Миттермайера («Смертная казнь по результатамъ научныхъ изслѣдованій, успѣховъ законодательства и опытовъ») такое указаніе: «Опыты показываютъ, что нерѣдко казни имѣютъ пагубное вліяніе на зрителей и побуждаютъ ихъ самихъ къ совершенію убійствъ». Сюда слѣдуетъ, по видимому, отнести также слѣдующіе, приводимые Миттермайеромъ факты: «Однажды въ Англіи былъ казненъ поддѣлыватель ассигнацій, и тѣло его было отдано родственникамъ, которые, какъ въ послѣдствіи открыла полиція, стали прятать фальшивые билеты въ ротъ трупа... Когда въ Бостонѣ, послѣ долгаго отсутствія казней, снова казнили одного поджигателя, то съ этого времени поджоги увеличились и въ Бостонѣ, и въ его окрестностяхъ; изслѣдованіе же показало, что всѣ послѣдующіе поджигатели присутствовали при совершеніи разсказанной нами казни... Въ Бристолѣ священникъ Робертсъ увѣряетъ, что изъ 167 человѣкъ, которыхъ онъ напутствовалъ передъ казнью, 161 объявили, что присутствовали при совершеніи казней».

Русскій криминалистъ говоритъ, между прочимъ: «Человѣкъ есть существо, склонное къ подражанію. Совершеніе смертныхъ казней вызываетъ въ немъ эту способность, пріучаетъ его нагляднымъ примѣромъ къ пролитію крови; естественный ужасъ, врожденное отношеніе къ пролитію крови мало-помалу покидаетъ сердце гражданъ, и мѣсто ихъ заступаетъ безчувственность и равнодушіе къ человѣку и человѣческой жизни, жестокосердіе и тупость при видѣ жестокихъ сценъ. Въ эпоху французской революціи гильотина сдѣлалась обыкновеннымъ домашнимъ украшеніемъ. Вольней разсказываетъ, что въ третій годъ французской республики онъ видѣлъ, во время путешествія по Франціи дѣтей, забавляющихся, въ подражаніе тогдашнимъ судамъ, сажаніемъ на колъ котовъ и гильотинированіемъ птицъ. То же самое явленіе повторилось въ Нп-

дерландахъ постѣ введенія гильотины... Та-
кимъ образомъ школа казней есть школа
варварства и ожесточенія нравовъ. Вме-
стѣ съ убійствомъ тѣлесной жизни преступ-
ника убивается нравственная жизнь наро-
да, говоритъ Шлаттеръ. Но вліяніе смерт-
ныхъ казней не выражается только въ об-
щемъ ожесточеніи нравовъ народа, но является
ближайшею и непосредственною причиною,
вызывающею новыя тяжкія убійства; проли-
тіе крови въ видѣ смертной казни разви-
ваетъ манію убійства. Въ подтвержденіе это-
го психіатрами собрано безчисленное мно-
жество самыхъ достовѣрныхъ фактовъ. Одинъ
мужчина, будучи свидѣтелемъ, какъ толпа
спѣшить на казнь убійцы, чувствуетъ жела-
ніе сдѣлаться въ свою очередь героемъ по-
добной сцены, для чего и совершаетъ убій-
ство... На другой день послѣ казни Мани-
новъ, одна дѣвка вонзила въ другую ножъ,
говоря, что она хочетъ крови изъ ея сер-
дца, хотя бы ее постигла участь Маниновъ.
Въ 1863 году, въ Чатамъ повѣшенъ былъ
убійца Бургонъ (по убѣжденію многихъ, одер-
жимый сумасшествіемъ). Спустя нѣсколько
недѣль въ томъ же городѣ совершенно было
убійство невиннаго дитяти: преступникъ по-
вторялъ, что онъ хочетъ быть повѣшеннымъ.
Еще яснѣе выразилось деморализующее влія-
ніе смертной казни въ Ливерпулѣ. Въ 1863
году два человѣка были казнены за убій-
ство. Въ слѣдующіе ассизы 11 человѣкъ бы-
ли обвинены въ подобномъ же преступленіи
и изъ нихъ четверо были казнены. Казнь
привлекла 100,000 зрителей. Послѣ нея, въ
теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, совершенно
одно за другимъ въ три раза болѣе убійствъ.
Въ Лондонѣ и его окрестностяхъ, незадолго
до казни и непосредственно послѣ казни Мил-
лера, процессъ котораго приобрѣлъ европей-
скую извѣстность, совершенно было нѣсколь-
ко убійствъ и покушеній на это преступле-
ніе. Нѣкоторые убійцы прямо упоминали имя
Миллера». (Кистяковский «Исслѣдованіе о
смертной казни», Киевъ, 1867).

Уголовныя лѣтописи знаютъ много подоб-
ныхъ фактовъ. Но криминалисты, занятые
болѣе наказаніемъ, чѣмъ источниками и при-
чинами преступленія, пользуются ими развѣ
только въ качествѣ аргументовъ при разрѣ-
шеніи того или другого практическаго во-
проса. Самое явленіе не изучается, а только
отмѣчается, и то безъ соотвѣтствующей его
значенію силы. Оно, можно сказать, пропа-
даетъ для науки, ибо, не разработанное спе-
циалистами, оно остается почти неизвѣстнымъ
другимъ специалистами, наталкивающимся на
тотъ же вопросъ подражанія и примѣра въ
другихъ областяхъ и формахъ.

Есть, однако, явленіе, отчасти подвѣдом-
ственное наукѣ уголовного права, отчасти

же далеко выступающее за его рамки, ко-
торое, можетъ быть, именно благодаря своей
пограничности между двумя или болѣе обла-
стями знанія, а можетъ быть, благодаря сво-
ему рѣзкому и мрачному характеру, нѣсколь-
ко болѣе изучено съ интересующей насъ
стороны. Разумѣю самоубійство. Здѣсь зна-
ченіе примѣра и подражанія не подлежитъ
никакому сомнѣнію. Это было извѣстно уже
древнимъ. Такъ, у Плутарха сохранился раз-
сказъ о странной эпидеміи самоубійства ми-
летскихъ дѣвушекъ: несчастныя налагали на
себя руки одна за другой, безъ всякой ви-
димой причины. Подражаніе въ дѣлѣ само-
убійства доходитъ иногда до того, что актъ
повторяется, именно, при той самой обста-
новкѣ, въ томъ же мѣстѣ, тѣмъ же орудіемъ,
какъ первое самоубійство. Солдатъ, повѣсив-
шійся въ 1772 году на воротахъ инвалид-
наго дома въ Парижѣ, вызвалъ пятнадцать
подражателей, и всѣ они повѣсились на томъ
же самомъ мѣстѣ, даже на одномъ и томъ
же крючкѣ. При Наполеонѣ I одинъ солдатъ
застрѣлился въ караулкѣ, и съ тѣхъ поръ эта
караулка стала любимымъ мѣстомъ само-
убійцы, пока ея, наконецъ, не сожгли. Гетев-
скій Вертеръ вызвалъ, какъ извѣстно, эпи-
демію самоубійствъ, и госпожа Сталь, можетъ
быть, не безъ основанія замѣтила, что ни
одна самая красивая женщина не обрекла
на самоубійство столько людей, какъ Вертеръ.
Самъ Гёте испугался и, между прочимъ, на-
печаталъ на обложкѣ одного изъ изданій
«Страданій Вертера» слѣдующій эпиграфъ:
«*Sieh, dir winkt sein Geist aus seiner Höhle:
sei ein Mann und folge mir nicht nach*».
Одинъ страдавшій сплиномъ англичанинъ
бросился въ кратеръ Везувія, и этотъ экс-
центрическій способъ раздѣлки съ жизнью
вызывалъ не мало подражателей между соотеч-
ественниками скучающаго лорда.

Но не будемъ продолжать перечисленіе
примѣровъ, которыми можно наполнить цѣлыя
страницы. Психіатры давно признали зара-
зительность самоубійства. Уже Эскироль (*Des
maladies mentales* P. 1838) писалъ: «Друзья
человѣчества должны требовать, чтобы газе-
тамъ было запрещено печатать извѣстія о мо-
тивахъ и подробностяхъ всѣхъ самоубійствъ.
Эти учащенные рассказы сближаютъ людей
съ идеей смерти и внушаютъ равнодушіе къ
смерти добровольной. Каждодневныя примѣры
заразительны, и тотъ или другой читатель
газетъ, можетъ быть, не наложилъ бы на себя
руки, если бы не ознакомился съ исторіей
самоубійства друга или знакомаго». Само со-
бою разумѣется, что я привожу эти слова
знаменитаго психіатра не ради заключаю-
щейся въ нихъ экскурсіи въ сферу публи-
цистики, а только для того, чтобы показать,
какъ давно и ясно понималось значеніе при-

мѣра въ частной области науки. Другой французскій психіатръ пишетъ: «Давно признано, что самоубійство легко обращается въ эпидемію, и что склонность къ этому акту можетъ передаваться отъ одного индивида къ другому путемъ нравственной заразы, существованіе которой такъ же несомнѣнно, какъ несомнѣнна заразительность нѣкоторыхъ болѣзней... Является какое-то таинственное влеченіе, подобное всемогущему инстинкту, побуждающему насъ, почти помимо нашего сознанія, повторять акты, которыхъ мы были свидѣтелями, и которые сильно подѣйствовали на наши чувства или воображеніе. Это обыкновенное наблюденіе, его каждый можетъ сдѣлать надъ самимъ собой. Исторія Панургова стада есть нестарѣющая аллегорія» (Lisle «Du suicide». P. 1856. См. также Brièsre de Boismont. «Du suicide et de la folie suicide» P. 1865, особенно стр. 232 и слѣд.).

Забывая нѣсколько впередъ, въ интересахъ дальнѣйшаго изложенія, отмѣтимъ любопытные моменты прекращенія нѣкоторыхъ эпидемій самоубійства. По словамъ Плутарха, ни слезы родителей, ни утѣшенія друзей не могли удержать милетскихъ дѣвушекъ отъ самоубійствъ, которыя, однако, тотчасъ же прекратились, какъ только изданъ былъ приказъ выставлять самоубійцъ голыми на всеобщее позорище. Въ 1772 году самоубійства въ парижскомъ инвалидномъ домѣ прекратились, когда сняли крючекъ, обладавшій таинственной притягательной силой, и продѣлали окно противъ стѣны, въ которую онъ былъ вбитъ. Въ 1802 году Наполеонъ, тогда первый консулъ, остановилъ эпидемію самоубійствъ между солдатами дневнымъ приказомъ по арміи такого содержанія: «Солдаты должны уметь побуждаться горе и меланхолію; кто терпѣливо переноситъ душевныя муки, тотъ обнаруживаетъ такую же храбрость, какъ и тѣ, кто непоколебимо стоитъ подъ выстрѣлами непріятельской батареи. Предаваться горести безъ сопротивленія значитъ удаляться съ поля битвы, не одержавъ побѣды».

Жизнь—очень дорогая штука для человѣка, и разъ онъ рѣшается съ ней покончить, мотивы должны быть, повидимому, очень сильны. Казалось бы, въ сравненіи съ тѣмъ ядомъ, которымъ должна быть переполнена чаша жизни самоубійцы, что можетъ значить загробный позоръ обнаженнаго дѣвственнаго тѣла, или напыщенные фразы о воинской храбрости, или, тѣмъ паче, присутствіе и отсутствіе какого-то желѣзнаго крючка, повѣсьнаго на которомъ ни менѣе, ни болѣе удобно, чѣмъ на всякомъ другомъ крючкѣ? А между тѣмъ эти пустяки, оказывается, имѣютъ рѣшающее значеніе. Мы увидимъ впоследствии, въ чемъ тутъ, по всей вѣроятности,

заключается секретъ. Но во всякомъ случаѣ это рѣшающее значеніе пустяковъ показываетъ, какая огромная доля вліянія принадлежитъ въ приведенныхъ эпизодахъ, именно, подражанію, а не тѣмъ общимъ причинамъ крайняго недовольства жизнью, которыя тяготѣли надъ милетскими дѣвушками и наполеоновскими солдатами. Безъ сомнѣнія, такія общія причины должны были существовать: если люди вѣшаютъ, такъ значитъ не красна ихъ жизнь. Но недовольство было все-таки не настолько сильно, чтобы перевѣсить соблазнъ отсутствующаго или присутствующаго крючка на воротахъ инвалиднаго дома. Онъ, именно онъ, этотъ крючекъ таинственно манилъ къ себѣ обремененныхъ и скорбныхъ, и разъ крючекъ былъ убранъ, бремя и скорбь перестали быть непереносными. Общія же условія жизни наполеоновскихъ солдатъ и милетскихъ дѣвушекъ ни на волосъ не измѣнились. Читатель можетъ, правда, замѣтить, что и сила подражанія поблѣднѣла передъ этими самыми пустяками. На это я могу только возразить, что перевѣсъ пустяковъ надъ страшными душевными муками представляется мнѣ необъяснимымъ, тогда какъ перерывъ эпидемическаго потока такими же пустяками можетъ получить свое объясненіе, которое читатель найдетъ ниже.

Итакъ, относительно смертной казни и самоубійства значеніе подражанія установлено давно и несомнѣнно. Но до сихъ поръ мы имѣемъ не объясненіе, а только описаніе явленія, то самое въ сущности описаніе, которое дано было слишкомъ триста лѣтъ тому назадъ фразою Раблзъ: «comme vous savez, estre du mouton le naturel tousiours suivre le premier, quelque part qu'il aille». Мы видимъ только, что существуетъ какая-то особая сила, толкающая людей къ подражанію; сила, очень на первый взглядъ капризная, ибо охваченный ею человѣкъ подражаетъ иногда палачу, то-есть совершаетъ убійство, а иногда казненному преступнику (послѣднее, кромѣ вышеприведенныхъ примѣровъ, особенно часто случается съ политическими преступниками), даѣе вліяніе этой таинственной силы обрывается иногда совершенно внезапно, наталкиваясь на самыя ничтожныя препятствія. Вотъ и все. Самая механика отношеній между героемъ и толпой, между «le premier» и тѣми, кто за нимъ слѣдуетъ, остается вполне неизвѣстною. Мы ничего все-таки не знаемъ ни о самомъ процессѣ душевной заразы, ни объ условіяхъ, благоприятствующихъ или препятствующихъ его росту. Мы имѣемъ что-то несомнѣнное и вмѣстѣ съ тѣмъ таинственное, одно изъ тѣхъ явленій, къ которымъ, до поры до времени, большинство относится, какъ къ курьезамъ: штука любопытная, но все-таки «штука», не

имѣющая серьезнаго значенія. Такому отношенію способствуетъ самая распространенность явленія. Никто не бывалъ пророкомъ въ своей землѣ, то-есть тамъ, гдѣ его видятъ каждый день и въ самыхъ обыденныхъ положеніяхъ. Такъ и сила подражанія, именно потому, что проявляется чуть не на каждомъ шагу, въ безчисленномъ множествѣ обыденныхъ мелочей, не обращаетъ на себя вниманія, а ея рѣзкія, исключительныя выраженія получаютъ характеръ курьезовъ, какихъ-то сплетеній любопытныхъ случайностей. Ученые люди, конечно, относятся къ дѣлу иначе. Они, по крайней мѣрѣ, копаютъ факты, для практическихъ-ли надобностей или въ видахъ ученой любознательности, а иногда пытаются и объяснить ихъ.

Фактовъ, относящихся къ нашему предмету, накоплено столько и въ такихъ разнородныхъ областяхъ знанія, что я затрудняюсь — въ какомъ направленіи продолжать изложеніе. Съ той точки, на которой мы остановились, мы можемъ двинуться и въ зоологію, и въ психіатрію, и въ исторію культуры, и въ психологію, и въ фізіологію. А въ общемъ результатъ найдемъ «разсыпанную храмину» — отдѣльныя группы яркихъ, характерныхъ фактовъ, иногда освѣщенные частнымъ обобщеніемъ, иногда совсѣмъ не освѣщенные, но, во всякомъ случаѣ, эти частныя обобщенія не подведены къ одному знаменателю. Это разбросанность и затрудняетъ порядокъ изложенія. Попробуемъ такъ.

Миттермайеръ и г. Кистяковскій, подыскивая аргументы и свидѣтельства пагубнаго вліянія смертной казни на зрителей, могли бы привести еще слѣдующіе интересные случаи. Мальбранша рассказываетъ, что одна беременная женщина, присутствовавшая при смертной казни колесованіемъ и чрезвычайно пораженная этимъ кровавымъ зрѣлищемъ, родила больного ребенка, члены тѣла котораго были переломаны какъ разъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ прошло колесо по тѣлу казненаго. Подобный же случай сообщаетъ Лафатеръ, съ тою разницею, что преступнику отрубили сначала руку, а потомъ обезглавили: присутствовавшая беременная женщина не выдержала зрѣлища до конца и, въ величайшемъ смущеніи, убѣжала тотчасъ послѣ того, какъ топоръ палача опустился на руку преступника; черезъ нѣсколько дней она родила безрукаго ребенка.

Если бы вышеупомянутые криминалисты натолкнулись въ своихъ поискахъ на эти факты, то, легко можетъ быть, не удостоили бы ихъ никакого вниманія. Можетъ быть, эти или подобные случаи имъ были даже извѣстны, но они презрѣли ихъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ сѣдую старину, полную чудесъ и сверхъестественныхъ вліяній, рожденіе уродливаго ре-

бенка могло бы составить криминальный вопросъ, ибо оно могло бы оказаться и преступленіемъ, или хоть плодомъ преступления, и наказаніемъ разгнѣваннаго Бога. Въ наше просвѣщенное время специалисту-криминалисту, памятующему, что всякій сверчекъ долженъ знать свой шестокъ, рѣшительно нечего дѣлать съ рожденіемъ безрукаго ребенка — это событіе совершилось не въ его участкѣ. Другое дѣло, когда видъ смертной казни вызываетъ на преступленіе, которое, въ свою очередь, влечетъ за собой наказаніе — въ этихъ предѣлахъ криминалистъ у себя дома. На самомъ же дѣлѣ, однако, онъ и здѣсь не у себя дома, именно потому, что слишкомъ хорошо помнитъ пословицу о сверчкахъ и шесткѣ. Удостоивъ своимъ вниманіемъ случая Мальбранша, Лафатера или другіе подобные, наши криминалисты получили бы новую и твердую опору для своей идеи о пагубномъ вліяніи самаго вида смертной казни. Въ самомъ дѣлѣ, вмѣсто неопредѣленныхъ разговоровъ о деморализующемъ вліяніи (которымъ, вѣдь, не безъ успѣха противопоставляются столь же неопредѣленные разговоры о морализующемъ вліяніи), вмѣсто слабыхъ намековъ на таинственное влеченіе къ подражанію палачу или преступнику, они могли бы сказать: вотъ до чего доходитъ напряженность силы подражанія — духовный факторъ, впечатлѣніе вида мучительной смертной казни, проникаетъ неизвѣстными путями въ утробу матери и коверкаетъ тамъ младенца, какъ бы заставляя его подражать казненному. Это явленіе, очевидно, одного порядка съ данными Миттермайера и г. Кистяковского, но на немъ сила подражанія обнаруживается принудительнѣе, ибо переходитъ даже въ грубо физическій процессъ. Для криминалистовъ это былъ бы ясный намекъ, что, сдѣлавъ нѣсколько экскурсій въ сосѣднія, а можетъ быть на видъ и очень отдаленныя области знанія, они найдутъ тамъ дѣйствительно драгоценныя указанія и неопровержимыя подтвержденія своей мысли.

Съ другой стороны, Мартэнъ (*Histoire des monstres depuis l'antiquité jusqu'à nos jours*. P. 1880), у котораго я заимствую рассказы Мальбранша и Лафатера, относится къ нимъ очень скептически. Опираясь на очень высокіе, хотя уже очень не новые авторитеты, онъ думаетъ, что нервное потрясеніе беременной женщины можетъ отозваться механически на младенца, но при этомъ соотвѣтствіе между предметомъ, поразившимъ воображеніе матери, и наружнымъ видомъ младенца — немислимо.

Вліяніе зрительныхъ впечатлѣній на беременность было извѣстно уже въ очень древнія времена. По крайней мѣрѣ, объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ библейскій раз-

сказъ о договорѣ Іакова съ Лаваномъ. Въ награду за свою службу Іаковъ выпросилъ у тестя весь будущій пестрый приплодъ отъ мелкаго скота—козъ и овецъ. Книга Бытія рассказываетъ далѣе: «И взялъ Іаковъ свѣжихъ прутьевъ тополевыхъ, миндальныхъ и яворовыхъ, и вырѣзалъ на нихъ бѣлыя полосы, снявъ кору до бѣлизны, которая на прутьяхъ; и положилъ прутья съ нарѣзкою передъ скотомъ въ водопойныхъ корытахъ, куда скотъ приходилъ пить и гдѣ, приходя пить, зачиналъ передъ прутьями. И зачиналъ скотъ передъ прутьями, и родился скотъ пестрый, и съ крапинами, и съ пятнами... Каждый разъ, когда зачиналъ скотъ крѣпкій, Іаковъ клалъ прутья въ корытахъ предъ глазами скота, чтобы онъ зачиналъ предъ прутьями. А когда зачиналъ скотъ слабый, тогда онъ не клалъ. И доставался слабый скотъ Лавану, а крѣпкій—Іакову». Такимъ образомъ, Іаковъ скоро чрезвычайно разбогатѣлъ. Впослѣдствіи онъ приписывалъ это особенной милости Бога, который уродилъ пеструю скотину въ награду за его, Іакова, добродѣтель. Но, какъ видно изъ библейскаго повѣствованія, независимо отъ милости Божіей, Іаковъ очень искусно воспользовался вліяніемъ пестрыхъ сучьевъ на зрѣніе беременныхъ или зачинающихъ матокъ, и, чрезъ посредство его, на образованіе пестраго приплода: приплодъ *подражалъ* цвѣту сучьевъ.

Существуетъ много анекдотовъ о женщинахъ, рождавшихъ бѣлокурыхъ дѣтей отъ черноволосаго отца или наоборотъ, или вообще такихъ, которыя, какъ говорится, ни въ мать, ни въ отца, а въ прохожаго молодца; причемъ дѣло объясняется впечатлѣніемъ, произведеннымъ на беременную видомъ чужого человѣка при особенныхъ условіяхъ, видомъ висѣвшей передъ ней картины, портретомъ негра и т. д. Надъ всѣми этими анекдотами тяготеетъ ироническая улыбка скептика, знающаго иное, повидимому, гораздо болѣе простое объясненіе. Въ томъ или другомъ частномъ случаѣ скептикъ, конечно, совершенно правъ, и сходство ребенка съ прохожимъ молодцомъ зависитъ отъ прямого физическаго родства между ними. Тѣмъ не менѣе, есть случаи этого рода, относительно которыхъ не можетъ быть никакихъ сомнѣній. Прохожій молодецъ былъ, разумеется, ни при чемъ въ томъ, напримѣръ, изображеніи революціоннаго символа—фригійской шапки, которое оказалось на груди дѣвочки, родившейся среди бурь первой французской республики, и за которое тогдашнее французское правительство назначило матери пенсію. Тутъ дѣло не въ прохожемъ молодцѣ, а въ духовной жизни матери, въ томъ, что говорилъ ей уму и сердцу посто-

янно мелькавшій передъ нею фригійскій колпакъ.

Мартэнъ не отрицаетъ подобныхъ случаевъ, какъ не отрицаютъ ихъ и тѣ старыя высокіе авторитеты, на которые онъ опирается. Но онъ думаетъ, что все это чисто случайныя совпаденія, капризная игра случая. Такъ, именно, объясняетъ онъ и факты, сообщаемые Мальбраншемъ и Лафатеромъ. Онъ посмотрѣлъ бы, однако, можетъ быть, иначе на дѣло, если бы имѣлъ въ виду рядъ фактовъ, приводимыхъ Миттермайеромъ и г. Кистяковскимъ. Они показываютъ, что соотвѣтствіе между видомъ смертной казни и *душевыми настроеніемъ* зрителей существуетъ. Почему же этому соотвѣтствію не идти далѣе? Ибо кто знаетъ, гдѣ кончается духъ и гдѣ начинается тѣло?

Впрочемъ, Мартэнъ, въ качествѣ врача, могъ бы найти и помимо этого обильныя и полновѣсныя указанія на роль воображенія, вниманія духовныхъ факторовъ, вообще, въ процессахъ физиологическихъ. Поскольку эта роль давить на организмъ въ направленіи подражанія, мы еще увидимъ ниже. А теперь обратимся къ группѣ явленій, не имѣющихъ, повидимому, рѣшительно ничего общаго со всѣмъ вышеизложеннымъ.

III.

Бэтсъ («Натуралистъ на Амазонской рѣкѣ») первый обратилъ вниманіе на странныя явленія, получившія съ его легкой руки названіе «мимичности» или «мимикри». Затѣмъ, въ знаменитой книгѣ Уоллеса «Естественный подборъ» факты эти были разносторонне изучены и получили свое объясненіе.

Полярный медвѣдь есть единственный представитель своего вида, окрашенный въ бѣлый цвѣтъ, и всегда живетъ среди вѣчныхъ снѣговъ и льдовъ. Песецъ, горностай, заяцъ на зиму одѣваются въ бѣлую шерсть, а американскій полярный заяцъ, круглый годъ живущій среди снѣговъ, круглый годъ и бѣлъ. Снѣжный подорожникъ, полярный соколъ и бѣлая сова—тоже жители сѣверныхъ странъ и также бѣлы. Бѣлая куропатка зимой бѣла, а лѣтомъ принимаетъ цвѣтъ камней, покрытыхъ ягелями, среди которыхъ преимущественно живетъ. Это соотвѣтствіе между окраской животнаго и цвѣтомъ его убжища или обыкновенной обстановки чрезвычайно распространено. Нѣсколько примѣровъ: «Южно-американскій козодой обыкновенно живетъ на скалистыхъ островкахъ верхняго Ріо-Негро и его необыкновенно свѣтлая окраска такъ хорошо сливается съ цвѣтомъ песка и камней, что его можно замѣтить только наступивши на него». «Лэстеръ замѣчаетъ... что вяхирь едва замѣ-

тень, когда сидитъ на вѣтвяхъ своей любимой ели, между тѣмъ, если бы онъ придерживался деревьевъ съ болѣе свѣтлою листвою, то голубая и лиловая окраска его оперенія скоро бы обнаружили его. Точно также рѣполовъ имѣетъ обыкновеніе сидѣть на сухихъ листьяхъ, имѣющихъ красноватый оттѣнокъ, такъ что его красная грудь мало отличается отъ нихъ, а коричневая спина отъ сучьевъ». Въ Сѣверной Америкѣ встрѣчается одна лягушка, обыкновенно сидящая на скалахъ и стѣнахъ, покрытыхъ мхомъ, съ которыми она до того сходна по окраскѣ, что ее можно замѣтить только при ея движеніи. Нѣкоторыя плоскія рыбы, какъ, напримѣръ, камбала и гладкій скатъ, имѣютъ совершенно такой же цвѣтъ, какъ песокъ, на которомъ они обыкновенно лежатъ. Но самые поразительные примѣры занимающаго насъ явленія встрѣчаются у насѣкомыхъ. Такъ, обь одной малайской бабочкѣ, поразительно похожей на сухой листъ. Уоллестразъ сказываетъ:—«Эти бабочки живутъ обыкновенно въ 'сухихъ лѣсахъ и очень быстро летаютъ. Онѣ никогда не садятся на цвѣты или на зеленые листья, но часто случалось совершенно потерять ихъ изъ виду на сухомъ деревѣ или кустарникѣ, съ котораго бабочка внезапно вспархивала послѣ того, какъ мы долго и напрасно ее искали. Иногда она поднималась съ того самаго мѣста, на которое мы пристально смотрѣли, не замѣчая ея, и снова затѣмъ исчезала въ двадцати или тридцати шагахъ впереди насъ. Два или три раза я находилъ это насѣкомое, когда оно спокойно сидѣло, и могу констатировать его полнѣйшее сходство съ сухими листьями. Обыкновенно эта бабочка садится на почти вертикальной вѣткѣ съ плотно сложенными крыльями, пряча между ними свою голову и усики. Маленькіе хвостики нижнихъ крыльевъ спускаются до сучка и образуютъ какъ бы черешокъ листа, который придерживается когтями средней пары ножекъ. Эти когти очень тонки и незамѣтны, а неправильное очертаніе крыльевъ очень похоже на сморщенный листъ. Такимъ образомъ, все здѣсь — размѣры, окраска, форма и привычки соединяются для произведенія самаго полного подражанія». «М-ръ Андрю Меррей замѣтилъ, что личинки ночного павлина (*Saturnia Pavonia minor*) очень сходны по цвѣту съ почками вереска, которыми онѣ питаются, и что розовыя пятна, которыми онѣ покрыты, напоминаютъ бутоны и цвѣты этого растенія». «Цѣлый отрядъ прямокрылыхъ, кобылки, кузнечики, сверчки, обыкновенно имѣютъ окраску, приспособленную къ почвѣ и растеніямъ, на которыхъ они живутъ, и это одинъ изъ самыхъ интересныхъ въ этомъ от-

ношеніи группъ насѣкомыхъ. Большинство *Mantidae* и *Locustidae*, живущихъ подъ тропиками, окрашены и испещрены цвѣтами тѣхъ листьевъ, на которыхъ они держатся, и у нѣкоторыхъ изъ нихъ на крыльяхъ замѣчаются даже такіе же точно жилки, какъ на листьяхъ. Это специальное приспособленіе достигаетъ наибольшей силы въ родѣ *Phyllium*. Родъ этотъ обязанъ своимъ названіемъ «ходячаго листа» необыкновенной формѣ своихъ крыльевъ и ножекъ, которые плоски и расширены, такъ что при самомъ внимательномъ наблюденіи очень трудно отличить живое насѣкомое отъ листьевъ, которыми оно питается. Все семейство *Phasmidae* или такъ называемыхъ «пугалъ», къ которому принадлежитъ это насѣкомое, болѣе или менѣе отличается такою же способностью подражанія. Многіе изъ этихъ видовъ извѣстны подъ названіемъ «двигающихся сучьевъ», съ которыми дѣйствительно они имѣютъ поразительное сходство. Нѣкоторые изъ нихъ бываютъ около фута длиною и толщиною въ палецъ. По своей окраскѣ, формѣ, шероховатой поверхности, устройству головы, ножекъ и усиковъ, они совершенно похожи на сухой сучекъ. Они висятъ обыкновенно на кустарникѣ въ лѣсу и имѣютъ странную привычку раскидывать свои ножки въ разныя стороны, что дѣлаетъ обманъ еще болѣе полнымъ».

Какъ ни странны эти явленія подражанія, однако, есть факты, близко къ нимъ подходящіе, еще болѣе поразительные. Это тѣ именно случаи, когда одно животное подражаетъ другому, копируетъ его цвѣтъ, форму, размѣры частей.

Въ Южной Америкѣ есть семейство бабочекъ — геликониды, которыя очень многочисленны, очень красивы и замѣтны; довольно плохо летаютъ. Не смотря на то, ихъ не трогаютъ ни насѣкомоядные птицы, ни ящерицы, ни плотоядные мухи. Онѣ охраняются своимъ острымъ запахомъ и, вѣроятно, соответственнымъ неприятнымъ вкусомъ, которые и отбиваютъ у многочисленныхъ враговъ насѣкомыхъ охоту нападать на геликонидъ. Вотъ эти-то счастливцы и становятся предметомъ подражанія для другихъ бабочекъ совершенно отличныхъ семействъ. Такъ, напримѣръ, семейство, къ которому принадлежитъ родъ *Leptalis*, такъ далеко отъ семейства геликонидъ, что «энтомологъ по строенію лапокъ различаетъ ихъ такъ же легко, какъ по виду черепа или зуба онъ отличаетъ медвѣдя отъ буйвола». А между тѣмъ наружнымъ своимъ видомъ лепталисы такъ искусно подражаютъ геликонидамъ («причемъ воспроизводится каждая полоска, каждое пятнышко, каждый оттѣнокъ, точно также, какъ и всѣ степени прозрачности»), что энтомологу требуется

иногда усиленное вниманіе для ихъ различенія. Поддѣлываясь подъ наружный видъ сильно пахнущихъ и невкусныхъ геликонидъ, лепталисамъ удается избѣгать опасностей. «Какъ бы для того, чтобы извлечь всевозможныя выгоды изъ этого подражанія, измѣнились даже самыя привычки лепталисовъ: они обыкновенно посѣщаютъ тѣ же мѣста, какъ ихъ образцы, и имѣютъ одинаковый съ послѣдними полетъ». Геликонидамъ подражаютъ не одни лепталисы. Замѣчательно, что нѣкоторыя группы геликонидъ копируютъ другія группы того же семейства. Точно также между бабочками не однѣ геликониды вызываютъ подражателей. Наконецъ, есть бабочки, подражающія насѣкомымъ совсѣмъ другого порядка, главнымъ образомъ, пчеламъ и осамъ. Подражаніемъ занимаются и другія насѣкомыя. Такъ, одно прямокрылое съ такимъ искусствомъ копируетъ одного жука изъ семейства скакуновъ, что «такой опытный энтомологъ, какъ профессоръ Уэствудъ, помѣстивъ обоихъ насѣкомыхъ между скакунами и такимъ образомъ держалъ ихъ долгое время въ коллекціи, не замѣчая своей ошибки». Позвоночныя несравненно рѣже прибѣгаютъ къ подражанію другимъ животнымъ. Однако, и имъ это явленіе знакомо. Такъ, нѣкоторыя безвредныя змѣи копируютъ ядовитыхъ и т. п.

Резюмируя всѣ эти явленія, Уоллесъ говоритъ: «Можно сказать, что это—актеры, ловкіе комедіанты, переодѣтые и загримированные ради какого-нибудь фарса, или какіе-нибудь мошенники, старающіеся пройти подъ видомъ извѣстныхъ и уважаемыхъ членовъ общества. Къ чему это странное переодѣваніе? Неужели природа унижается до обмана и замаскированія? Нѣтъ, ея принципы очень строги, всякая деталь въ ея произведеніяхъ имѣетъ свою пользу. Сходство одного животного съ другимъ есть явленіе въ сущности того же рода, какъ сходство того же животного съ листомъ, съ корой, съ пескомъ пустыни, и сходство это направлено къ той же цѣли. Въ послѣднемъ случаѣ врагъ не нападетъ на листъ или кору, стало быть, переодѣваніе здѣсь есть мѣра къ охраненію. То же и въ другомъ случаѣ: по различнымъ причинамъ врагъ, не преслѣдующій животное, которому подражаютъ, въ то-же время остается въ покоѣ и подражающее животное, которое, разумѣется, пользуется этими обстоятельствами для своей безопасности».

Въ послѣднихъ словахъ заключается уже часть объясненія странныхъ явленій подражанія или мимичности. Объясненіе это совершенно совпадаетъ съ общимъ направленіемъ теоріи Уоллеса-Дарвина: всякое явленіе мимичности есть не болѣе какъ специальный случай приспособленія, закрѣпляемый наслѣдственною передачей въ ряду поколѣній. Что

касается процесса, которымъ это приспособленіе возникаетъ, то онъ таковъ же, какъ и въ другихъ случаяхъ возникновенія видовыхъ особенностей: случайно прокидывается какое-нибудь легкое измѣненіе, благоприятное для вида, а затѣмъ, въ силу его полезности, оно подхватывается естественнымъ подборомъ, укрѣпляется и развивается. Такъ, напримѣръ, если появилось легкое измѣненіе цвѣта животнаго, приближающее его къ цвѣту окружающей почвы, то обладатель этой особенности, будучи лучше своихъ родичей защищенъ отъ нападеній, имѣетъ и болѣе шансовъ самъ ущѣлѣть и оставить потомство. Или если появляется въ животномъ такая особенность, которая нѣсколько приближаетъ его по формѣ и размѣрамъ къ животному совсѣмъ другой группы, обладающему, напримѣръ, непріятнымъ вкусомъ или другимъ какимъ-нибудь качествомъ, охраняющимъ его отъ нападеній, то эта охрана распространяется и на первое животное.

Мы не будемъ говорить ни о тѣхъ возраженіяхъ противъ этого объясненія, которыя болѣе или менѣе удачно опровергнуты Уоллесомъ, ни о тѣхъ многочисленныхъ частныхъ случаяхъ мимичности, которые имъ болѣе или менѣе остроумно разобраны. Весьма вѣроятно, что значительная часть указанныхъ фактовъ допускаетъ до извѣстной степени то именно объясненіе, которое предложено Бэтомъ, Уоллесомъ и Дарвиномъ. Но едва ли можно признать за этимъ объясненіемъ всестороннюю полноту и рѣшительную безукоризненность.

Прежде всего оно встрѣчаетъ на своемъ пути возраженіе, давно уже выставленное противъ самыхъ основаній такъ называемой теоріи Дарвина и до сихъ поръ, собственно говоря, никѣмъ не устранинное. Теорія предполагаетъ, что видовыя особенности представляютъ собою результатъ слабыхъ, медленныхъ измѣненій, накапливающихся въ ряду поколѣній. Но вѣдь если, напримѣръ, лепталисы такъ искусно и, главное, такъ полно подражаютъ геликонидамъ, что воспроизводятъ каждую полосу, каждое пятнышко, каждый отгѣнокъ, всѣ степени прозрачности, всѣ привычки и проч., то въ высшей степени трудно предположить, чтобы это сходство накоплялось постепенно. Если сначала случайно прокинулось нѣсколько сходныхъ пятнышекъ, то такое незначительное сходство, не будучи въ состояніи обмануть враговъ, не могло служить и охраной для лепталисовъ: обладатели этихъ пятнышекъ не имѣли никакихъ шансовъ оставить потомство сравнительно со всѣми другими лепталисами. Если же этой степени сродства было достаточно, то не видно, почему бы оно должно было усиливаться. Если, наконецъ, мимиче-

ская форма появилась вдругъ, со всѣми своими тончайшими чертами подражанія, то это, съ точки зрѣнія теоріи Дарвина, почти необъяснимое чудо. Конечно, разъ подражательная форма готова, объясненіе ея переживанія и упроченія чрезвычайно просто. Но, спрашивается, какъ она возникла? Положимъ, что когда-нибудь и гдѣ-нибудь, въ числѣ прочихъ случайностей, могла появиться и такая странная, исключительная случайность, какъ полнѣйшее, до обмана, сходство бабочки съ сухимъ листомъ или цвѣта жука съ цвѣтомъ его обстановки или цвѣта, формъ и размѣровъ животнаго съ цвѣтомъ, формами и размѣрами животнаго совсѣмъ другой группы. Но подобныя явленія, какъ мы видѣли, такъ часты и распространены, что странныхъ, исключительныхъ случайностей пришлось бы допустить несравненно больше, чѣмъ это позволяетъ самыми понятіями странности, исключительности и случайности. Уроды бываютъ всякіе, имѣя своею причиною каждый разъ комбинацію особенныхъ, частныхъ, индивидуальныхъ условій, не подлежащихъ суммированію; но если извѣстныя уродства попадаютъ чуть не на каждомъ шагу, такъ ужъ это не уродства, а явленія, управляющіяся нѣкоторымъ общимъ закономъ. Какой же общій законъ управляетъ явленіями мимичности? Очевидно, что это не законъ переживанія приспособленнѣйшихъ, потому что онъ можетъ въ настоящемъ случаѣ дѣйствовать только тогда, когда подражаніе уже закончено.

Въ дополненіяхъ къ тому русскому изданію книги Уоллеса (переводъ г. Вагнера), которымъ мы пользуемся, читатель можетъ найти нѣсколько мыслей самого Уоллеса, намекающихъ на возможность совершенно иного объясненія явленій подражанія. А именно, въ статьѣ «Теорія половой окраски», онъ, среди другихъ причинъ, влияющихъ на окраску животныхъ, отмѣчаетъ степень жизненной энергіи, нервнаго напряженія. «Во время сочетанія, говоритъ Уоллесъ: — самецъ находится въ возбужденномъ состояніи и полонъ энергіи. Даже неукрашенные ничѣмъ птицы машутъ крыльями, расширяютъ ихъ, поднимаютъ свои гребешки или хохолки и такимъ образомъ изливаютъ то нервное возбужденіе, которымъ онѣ переполнены. Очень вѣроятно, что гребешки и хохолки и другія сросшіяся перья прежде употреблялись для отпугиванія враговъ, такъ какъ они вообще поднимаются во время гнѣва или битвы. Тѣ индивиды, которые были наиболѣе воинственны и смѣлы и которые чаще и сильнѣе пускали въ ходъ свои гребни и вздымающіяся перья, стремились увеличить ихъ употребленіемъ и передать ихъ потомкамъ въ этомъ увеличенномъ

видѣ... Значитъ, если тѣ части перьевъ, которыя прежде вздымались и выставлялись на показъ, развились и окрасились, то настоящая выставка ихъ напоказъ, подъ вліяніемъ ревности или полового возбужденія, становится понятной. Самцы, соперничая другъ съ другомъ, видѣли, какія перья наиболѣе эффектны, и каждый старался превзойти своего врага, насколько это было въ его власти, точно такъ же, какъ они стараются перещеголять другъ друга въ пѣніи, причѣмъ иногда не шадятъ своей жизни».

Наличность этихъ чисто внутреннихъ, психическихъ факторовъ нисколько, разумѣется, не мѣшаетъ вліянію внѣшнихъ факторовъ — характера мѣстности, естественнаго подбора и проч. И если самцы птицъ, подъ вліяніемъ ревности или полового возбужденія, сознательно (?) развиваютъ и красятъ свои гребешки и хохолки, то почему не придать подобнаго же объясненія явленію мимичности? Почему не предположить, что наряду съ внѣшними условіями, влияющими на подражателя, нѣкоторую роль играютъ его собственные безсознательныя усилія стать похожимъ на предметъ подражанія? Шопенгауеръ сказалъ бы прямо, что полярный медвѣдь бѣлъ потому, что *хочетъ* быть бѣлымъ, *хочетъ* быть незамѣтнымъ среди бѣлыхъ снѣговъ и льдовъ сѣвера; что лепталисы *хотятъ* быть похожими на геликониды, имѣя въ виду ихъ привилегированное положеніе относительно враговъ, и проч. Подобнаго объясненія можно было бы ждать и отъ Уоллеса, въ виду его убѣжденія, что всякая сила есть *воля*. И объясненіе это, будучи построено на болѣе чѣмъ шаткомъ основаніи, имѣетъ, однако, то несомнѣнное преимущество передъ теперешней теоріей Уоллеса, что даетъ гораздо болѣе полное освѣщеніе соотвѣствующей группѣ явленій. Само собою разумѣется, что полнота эта была бы куплена слишкомъ дорогою цѣною; но изъ этого еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы вліяніе внутреннихъ, психическихъ факторовъ подлежало рѣшительному отрицанію. Во всякомъ случаѣ, уже на основаніи наиболѣе общихъ принциповъ науки, можно съ увѣренностью сказать, что теорія медленнаго, постепеннаго подбора недостаточна для объясненія мимичности и одностороння. Чтобы окончательно въ этомъ убѣдиться, стоитъ только ввести въ кругъ нашего разсужденія многочисленные случаи безсознательнаго подражанія, оставленные Уоллесомъ въ сторонѣ. Надо, однако, замѣтить, что въ «Философіи птичьихъ гнѣздъ» онъ самъ говоритъ о «подражательности», какъ объ особой, самостоятельной способности, «которою одарены вообще всѣ животныя». Но, намѣчая, въ качествѣ продуктовъ этой способности, пѣніе птицъ, архитектуру ихъ

гнѣздъ, какъ и архитектуру человѣческихъ жилищъ, Уоллесъ даже не пытается притянуть сюда и таинственные явленія мимичности.

Наблюденія и опыты Пуше показали, что, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя рыбы и ракообразныя способны вдругъ измѣнять свой цвѣтъ. болѣе или менѣе приближаясь къ цвѣту почвы, дна бассейна, въ которомъ они помѣщаются: рыба, помѣщенная въ бассейнъ съ несчанымъ дномъ, становится значительно свѣтлѣе, а перемѣщенная на темный грунтъ—темнѣе. Такое приспособленіе цвѣта рыбъ къ цвѣту дна бассейна указывается и Уоллесомъ. Онъ говоритъ, какъ мы видѣли, о камбалѣ и гладкомъ скатѣ, имѣющихъ совершенно такой же цвѣтъ, какъ и песокъ, на которомъ они обыкновенно лежатъ; о томъ, что между коралловыми рифами, пестрыми, какъ цвѣтникъ, рыбы бываютъ обыкновенно самыхъ нестрыхъ цвѣтовъ, между тѣмъ какъ рѣчныя рыбы, даже въ странахъ тропическихъ, весьма рѣдко бываютъ окрашены въ яркіе или замѣтные цвѣта, и проч. Но дѣло въ томъ, что опыты Пуше свидѣтельствуютъ о возможности столь рѣзкаго и непосредственнаго вліянія окружающей среды, что о постепенномъ, медленномъ подборѣ въ теченіе поколѣній тутъ и рѣчи быть не можетъ. Какимъ образомъ отражается цвѣтъ почвы на цвѣтъ рыбъ—это тоже въ общихъ чертахъ выяснилось опытами Пуше. Если извѣстный философскій каламбуръ—«человѣкъ есть то, что онъ ѣстъ» (*der Mensch iszt, was er iszt*) немножко слишкомъ смѣлъ, то относительно рыбъ, изслѣдованныхъ Пуше, мы имѣемъ полное право передѣлать его такъ: мы видимъ животное такимъ, какимъ само оно видитъ окружающую среду. Вырѣзывая у своихъ рыбъ глаза, Пуше вмѣстѣ съ тѣмъ лишалъ ихъ способности измѣнять цвѣта примѣнительно къ цвѣту почвы. И хотя механика этого измѣненія остается въ подробности неизвѣстною, но ясно, что именно силою зрительныхъ впечатлѣній условливается подражаніе, по крайней мѣрѣ, въ этомъ случаѣ. А если въ этомъ случаѣ, то почему же и не въ другихъ, смежныхъ? Не отрицая дѣйствія естественнаго подбора, какъ фактора вторичнаго, поддерживающаго разъ возникшее сходство цвѣта животнаго съ цвѣтомъ убѣжища или обычной обстановки, можно думать, что творческая роль въ этомъ процессѣ, роль элемента, порождающаго сходство, принадлежитъ непосредственно силѣ зрительныхъ впечатлѣній.

Одинъ новѣйшій писатель, объясняя явленія мимичности, нѣсколько подвинулся именно въ этомъ направленіи.

Давно уже Гладстонъ обратилъ вниманіе на бѣдность гомерическаго языка словами для обозначенія нѣкоторыхъ красокъ. Въ концѣ

шестидесятихъ годовъ нѣмецкій филологъ Гейгеръ развилъ эту мысль въ цѣлую теорію. Онъ доказывалъ именно, что не только въ древне-греческомъ языкѣ, а и въ языкѣ индѣйскихъ ведъ, равно какъ и въ библіи, нѣтъ словъ для обозначенія такихъ цвѣтовъ, которые мы различаемъ очень точно. Соблазнительнъ былъ отсюда выводъ, что способность различать, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые цвѣта не прирождена человѣчеству, а развилась постепенно. Гейгеръ и сдѣлалъ этотъ выводъ, который впослѣдствіи, въ особенности благодаря Магнусу, нашелъ себѣ опору въ теоріи Дарвина. Съ теченіемъ времени, однако, взгляды Гладстона и Гейгера, завоевавшіе себѣ сначала очень видное мѣсто въ наукѣ, подверглись разносторонней критикѣ и въ настоящее время должны считаться уже отжившими свой вѣкъ. Главныхъ возраженій противъ теоріи Гейгера два. Во-первыхъ, можно доказать, что способность различать цвѣта проявилась въ животномъ мірѣ очень рано, и если, напримѣръ, уже насѣкомыя прекрасно различаютъ голубую и зеленую краски, то становится въ высшей степени невѣроятнымъ, чтобы ихъ не умѣли распознавать человѣкъ, хотя бы и во времена созданія ведъ и библіи. Во-вторыхъ, можно доказать, что нынѣ существующіе дикіе народы, дѣйствительно, не имѣющие словъ для обозначенія нѣкоторыхъ красокъ, тѣмъ не менѣе ихъ различаютъ, а слѣдовательно и филологическая бѣдность въ этомъ отношеніи ведъ, Гомера и библіи еще не даетъ никакихъ основаній для теоріи Гладстона и Гейгера. Такимъ образомъ, въ концѣ концовъ, хотя способность различенія цвѣтовъ и прошла извѣстныя стадіи развитія, но ихъ надо искать не у человѣка, а у очень отдаленныхъ его предковъ.

Очень подробное развитіе этихъ доказательствъ читатель найдетъ въ сочиненіи Гранта Аллена (*Der Farbensinn. Sein Ursprung und seine Entwicklung. Ein Beitrag zur vergleichenden Psychologie, Deutsche Ausgabe. 1880*). Мнѣ нужно было только указать непосредственную цѣль книги Аллена, дабы читатель видѣлъ, что занимающій насъ теперь предметъ затрогивается ею только косвеннымъ образомъ. Явленія мимичности важны для Аллена, какъ одно изъ подтвержденій его главной темы; въ нихъ онъ справедливо видитъ доказательство, что низшія животныя дѣйствительно владѣютъ способностью различать краски. Съ особенною настоятельностью указываетъ Алленъ на яркость окраски насѣкомыхъ, птицъ и пресмыкающихся, питающихся ярко окрашенными цвѣтами, плодами и животными, и вообще на соотвѣтствіе между окраской животнаго и цвѣтомъ его обыкновенной пищи. Онъ признаетъ, однако, что соотвѣтствіе

это идет дальше, что не только окраска пищи, а и всей обстановки влияет на наружность животного. Что же касается причины этого соответствия, то Аллен ищет ее сообразно основным положениям теории Дарвина. Он полагает, что принципы естественного и полового подбора совершенно достаточно для объяснения всего процесса. Он вводит, однако, в это объяснение одну новую комбинацию. Он думает именно, что, благодаря половому подбору, только те животные развивают в себе яркую и красивую окраску, в которых предварительно выработалась некоторая склонность к созерцанию ярких красок, а вырабатывается эта склонность влиянием зрительных впечатлений. Каково бы ни было отдаленное происхождение способности различать краски и склонности к ярким цветам, но эту способность и эту склонность мы, во всяком случае, заставим, положим, у наскомых, в весьма развитом состоянии. А затем происходит сложный процесс взаимодействия наскомых и растений. Во-первых, ярко окрашенные цветы, привлекая к себе наскомых, получают, сравнительно с слабо окрашенными конкурентами, большие шансы в деле распространения по лицу земли. В свою очередь, яркие цветы, поддерживая и развивая склонность наскомых к блестящим краскам, точно также дают лишние шансы в борьбе за существование именно ярко окрашенным видам. В конце концов и получается известное общее соответствие между окраской животного и цветом его пищи: масса фактов свидетельствует, что где цветы и плоды ярко окрашены, там блестят красотой и животные, питающиеся цветами и плодами; наоборот, — темной, мрачной обстановкой соответствует столь же мрачная окраска животных. Рядом с этим процессом, обусловленным, во-первых, внутреннею склонностью животных к ярким краскам, а во-вторых — игрою полового подбора, идут своим чередом давно описанные процессы выработки покровительственной окраски, о чем уже говорено выше.

Такова в самом сжатом виде общая мысль Аллена, причем мы оставляем в стороне множество любопытных подробностей. Особенно любопытны остроумные подробности некоторых сложных и запутанных частных случаев соответствия окраски животных и их обстановки. Дело не обходится, однако, без очень и очень больших натяжек. Мы остановимся только на одном примере. В качестве ярого дарвиниста, Аллен не может себе представить *бесполезного* изменения организации или такого внешнего признака, как цвет покро-

вов: если изменение произошло, так, значит, оно было полезно виду и, только благодаря своему утилитарному характеру, могло утвердиться. «Это было бы бесполезно, а следовательно невозможно или необъяснимо, — таков аргумент, к которому Аллен прибегает очень часто. Наталкивается он, например, на такой поразительный факт. На одной индийской ящерице живут три клеща, из которых каждый подражает цвету той именно части тела, на которой живет: брюхо у ящерицы желтое, и на нем сидит желтый клещ, голова — коричневая, и клещ на ней коричневый, а третий клещ бывает разноцветный, с точностью копируя цвет чешуек, на которых он гнздится. Какая клещам польза от такого подражания? Простой смертный, не обязанный ротиться и клястися принципом полезности, скажет: никакой — и постарается найти какое-нибудь иное объяснение. Но дарвинист должен и здесь во что бы то ни стало разыскать пользу, и вот Аллен, на минуту призадумавшись, решает: может быть это подражание охраняет клещей против самой ящерицы или ее родичей... Натяжка слишком очевидна, чтобы стоило ее разоблачать.

Натуральный цвет хамелеона грязно-белый, но, смотря по окраске окружающей местности, животное принимает желтый, бурый, зеленый или голубовато-зеленый цвет. Механизм этого изменения состоит в следующем. Под кожей хамелеона заложены два слоя пигментных клеток, красящее вещество которых — голубого и желтого цвета; давление мускулов на один из этих слоев окрашивает животное в соответственный цвет, то-есть в голубой или желтый, а одновременное давление на оба слоя — в зеленый. «Таким образом, говорит Грант Аллен: — хамелеон имеет возможность приспособляться к цвету ветвей и листьев, на которых сидит, как для укрытия от врагов, так и для обмана собственной добычи». Несомненно, что для хамелеона происходят из его организации эти выгоды, и в высшей степени вероятно, что особенности организации хамелеона поддерживаются и развиваются игрою естественного подбора. Но вопрос в том: как они возникли? Очевидно, надо допустить в настоящем случае участие еще какого-то внутреннего фактора, который побуждает хамелеона, при получении известного зрительного впечатления, соответственным образом, так сказать, играть мускулами. Этот внутренний фактор признается и Алленом; он называет его склонностью к созерцанию ярких цветов, удовольствием, как бы зачаточным эстетическим наслаждением. В объяснение он напоминает общеизвестный

примѣръ мотылька, летящаго на огонь: мотылекъ все уменьшаетъ радіусы своихъ круговъ около огня и, наконецъ, когда оба глаза придутся прямо противъ пламени, падаетъ въ него; здѣсь зрительное впечатлѣніе отражается прямо на дѣятельности крыльевъ. Что испытываетъ мотылекъ, кружась около огня, мы, разумѣется, знать не можемъ, но мы видимъ, во всякомъ случаѣ, какое-то непреодолимое влеченіе, вызванное зрительнымъ впечатлѣніемъ; видимъ, что впечатлѣніе это отражается на очень, повидимому, отдаленныхъ частяхъ организма; видимъ, наконецъ, что дѣло тутъ совсѣмъ уже не въ принципѣ полезности. Все это приложимо и къ явленіямъ мимичности. Стоитъ себѣ, въ самомъ дѣлѣ, только представить, что рефлекторная дѣятельность, находящаяся въ связи съ органомъ зрѣнія, разрѣшается не движеніемъ крыльевъ насекомага, а такимъ движеніемъ мускуловъ, которое измѣняетъ расположеніе пигментныхъ клѣтокъ,—и мы получимъ объясненіе многихъ явленій мимичности. Разумѣется, и здѣсь многое остается неяснымъ. Мы все-таки не знаемъ, почему клещъ, сидящій на желтомъ брюхѣ ящерицы, и зрительный нервъ котораго, слѣдовательно, постоянно возбуждается желтымъ цвѣтомъ,—почему онъ и самъ принимаетъ именно желтую, а не какую другую окраску, тогда какъ его сосѣдь, живущій на коричневой головѣ ящерицы, одѣвается именно коричневымъ покровомъ. Но ясно, что причины этого надо искать не во внѣшнихъ процессахъ подбора и постепеннаго приспособленія, по крайней мѣрѣ, не въ нихъ въ однихъ, а еще въ какомъ-то внутреннемъ двигателѣ. Великое значеніе этого внутренняго двигателя останетъ еще болѣе яснымъ, если вспомнить (чего Алленъ почти не имѣетъ въ виду), что подражаніе отнюдь не ограничивается измѣненіемъ цвѣта покрововъ: мы видимъ, что оно отражается часто и на расположеніи частей тѣла, и на привычкахъ, и образѣ жизни. Къ сожалѣнію, Грантъ Алленъ, признавъ наличность внутренняго фактора, утопилъ его значеніе въ принципахъ теоріи Дарвина и Уолеса...

Я боюсь, что пропустилъ передъ читателемъ слишкомъ пеструю картину: Васья Андреевъ, Бланка Кастильская, милетскія дѣвушки, наполеоновскіе солдаты, овцы и козы Іакова, безрукія дѣти, геликониды и лепталисты, хамелеоны... А между тѣмъ нашъ бѣглый обзоръ разнообразнаго фактическаго матеріала еще не конченъ, какъ не кончена и опѣнка тѣхъ объясненій, которыя даются этому матеріалу въ различныхъ областяхъ знанія. Надѣюсь, что, когда мы дойдемъ до конца, читатель оправдаетъ эту фактическую пестроту, ибо

именно въ этомъ пестромъ мы найдемъ цѣльное, въ этомъ многомъ — единое. И только этимъ путемъ удастся намъ разгадать великую загадку, выражающуюся словами: герои и толпа.

IV.

Читатель замѣтилъ, вѣроятно, что тѣ сочиненія, даже спеціально посвященные самоубійству (Lisle, Brière de Boismont), на которыя мы ссылались, говоря о коллективныхъ самоубійствахъ, смотрятъ на эти факты, какъ на частный только случай нравственной заразительности или безсознательнаго подражанія вообще. Читатель, впрочемъ, и безъ того, конечно, слышалъ о нравственныхъ эпидеміяхъ, охватывающихъ иногда громадные массы народа.

Эпидемическій и именно подражательный характеръ нѣкоторыхъ нервныхъ болѣзней близко знакомъ каждому, выдавшему нашихъ кликушъ: весьма обыкновенное явленіе, что за одной кликушей слѣдуетъ ихъ нѣсколько. Всякаго рода судороги и конвульсіи вообще сильно дѣйствуютъ на зрителей и очень часто вызываютъ цѣлую вереницу подражателей. Таково, напримѣръ, происхожденіе «конвульсіонеровъ». Дѣло началось съ того, что на могилѣ одного праведника-янсениста съ однимъ изъ его почитателей случился припадокъ конвульсій. Этотъ примѣръ заразилъ и другихъ, а года черезъ два конвульсіонеровъ считалось уже до восьмисотъ. При этомъ бились въ страшныхъ судорогахъ не только янсенисты, а и совершенно посторонніе люди, случайно бывшіе свидѣтелями судорогъ. Замѣчательно также, что у нѣкоторыхъ конвульсіонеровъ, принимавшихъ позу распятаго Христа и впадавшихъ затѣмъ въ каталептическое состояніе, на извѣстныхъ мѣстахъ конечностей, именно тамъ, гдѣ у Христа были «язвы гвоздяныя», появлялась краснота и припухлость. Начиная, слѣдовательно, съ полусознательнаго подражанія распятому Христу, эти люди подвергались вслѣдъ затѣмъ такому усиленному давленію подражанія, которое до извѣстной степени воспроизводило даже крестныя раны. Объ этомъ, впрочемъ, подробнѣе рѣчь будетъ ниже. Что же касается заразительности судорогъ, то (не говоря о кликушахъ) она знакома и новѣйшему времени. Въ 1857 году въ одной савойской деревнѣ заболѣли двѣ дѣвочки припадками, которые мѣстными жителями были приняты за признаки бѣсноватости. Бѣсноватость оказалась заразительною, и къ концу 1860 года больныхъ было уже 110. Командированный для изслѣдованія и прекращенія эпидеміи докторъ Констанъ рассказываетъ, между прочимъ, что когда однажды въ церкви съ од-

ной дѣвочкой случился припадокъ, то перковъ мгновенно обратилась въ «настоящій адъ» (Constans. Relation sur une épidémie d'hystéro-démonopathie. P. 1862). Извѣстенъ дѣйствительно случай въ одной изъ національных мастерскихъ 1848 г. въ Парижѣ, когда больше четверти всѣхъ работницъ заболѣли судорожными припадками,—случай, который Бушю объяснилъ единственно подражаніемъ. Въ женскихъ монастыряхъ и закрытыхъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ подобныя явленія встрѣчаются очень часто. Бывшія институтки знаютъ, что иногда стоитъ только одной дѣвушкѣ крикнуть, чтобы безъ всякой видимой причины закричалъ весь дортуйаръ. Въ XV столѣтіи чуть не по всѣмъ женскимъ монастырямъ Германіи, а отчасти и другихъ странъ, ходила курьезная эпидемія: монахини кусались. Въ другомъ подобномъ случаѣ монахини мяукали по-кошачьи. Иногда эти эпидеміи захватываютъ громадныя массы людей, вслѣдствіе чего пользуются обширною историческою извѣстностью. Для подробнаго ознакомленія съ ними интересующіеся могутъ обратиться къ классическимъ трудамъ Кальмея (De la folie, considérée au point de vue pathologique, philosophique, historique et judiciaire. P. 1844), Геккера (Die grossen Volkskrankheiten des Mittelalters. Berl. 1865) и др. (По-русски, см. Гезера «Исторія повальныхъ болѣзней», пер. Манассеина, Спб. 1867; Кандинскаго «Общепонятныя психическіе этюды», М.: 1881). Я приведу здѣсь только слѣдующую выписку изъ Геккера: «Въ 1374 г. въ Ахенъ прибыли изъ Германіи толпы мужчинъ и женщинъ, охваченныхъ одною общею болѣзнію и дававшихъ народу на улицахъ и въ церквахъ слѣдующее представленіе: рука объ руку, составляли они хороводы и, повидимому, совершенно не владѣя собой, не видя окружающихъ, по цѣлымъ часамъ плясали въ дикомъ изступленіи, пока не падали отъ изнеможенія; тогда они жаловались на тоску и стонали... Мѣсяцъ спустя, болѣзнь появилась въ Кельнѣ, гдѣ больныхъ было слишкомъ пятьсотъ, и въ то же время въ Мецѣ, гдѣ, какъ говорятъ, на улицахъ толпилось болѣе тысячи плясунговъ. Крестьяне отрывались отъ плуговъ, рабочіе бросали мастерскія, хозяйки — хозяйство, чтобы присоединиться къ плясу, и богатый, промышленный городъ превратился въ арену ужаснаго безпорядка».

Вообще, всѣ средніе вѣка необыкновенно богаты нравственными эпидеміями. Эпидеміи самобичеванія, неистовой пляски, демономаніи, демонолатріи, затѣмъ истребленія евреевъ, освобожденія гроба Господня и проч., можно сказать, наполняютъ собою средніе вѣка и двигаютъ цѣлыя толпы народа по Европѣ и Азіи. Въ этихъ странныхъ движеніяхъ при-

нимаютъ участіе люди всякаго общественнаго положенія, пола и возраста. Извѣстны, на примѣръ, крестовые походы дѣтей, десятками тысячъ собиравшихся въ Германіи и во Франціи около такихъ же юныхъ вождей и погибавшихъ на пути въ Палестину. Всѣ эти эпидеміи читателю, конечно, болѣе или менѣе извѣстны и потому я не буду о нихъ распространяться. Но собственно для характеристики необыкновенной, какой-то фантастической дикости, которою окрашивалась иногда нравственная зараза, приведу слѣдующій курьезный фактъ изъ исторіи XVI вѣка. Мишлѣ (въ Histoire de France) рассказываетъ, со словъ португальской хроники, что король донъ-Педро, предаваясь, по случаю смерти своей жены, безпредѣльной горести, получилъ странную склонность къ музыкѣ и танцамъ. Иногда въ безсонныя ночи онъ выходилъ изъ дворца и плясалъ на улицахъ подъ звуки трубъ и при свѣтѣ факеловъ. Разбуженные шумомъ и свѣтомъ обыватели выходили на улицу и мало-по-малу, увлекаясь примѣромъ танцующаго короля, тоже пускались въ безумный плясъ, который продолжался иногда всю ночь на пролетъ.

Въ недавно выпшедшей забавной книжкѣ «Балетъ, его исторія и мѣсто въ ряду изящныхъ искусствъ» (Балетомана) этотъ самый эпизодъ получаетъ такое освѣщеніе: «Танцы были рѣшительною страстью въ эту эпоху, и описаніе Людовика XVI, танцующаго въ версальскихъ балетахъ, блѣднѣетъ передъ балетами, предводимыми на лиссабонскихъ улицахъ при звукахъ музыки и свѣтѣ факеловъ королевемъ донъ-Педро Справедливымъ». Изъ вышеприведеннаго видно, что никакого балета тутъ не было, а было непреодолимое стремленіе (soit compassion, soit entraînement méridional, говоритъ Мишлѣ) подражать, очевидно, не совсѣмъ здоровому королю. Тѣмъ не менѣе справедливо, что танцы «были рѣшительною страстью въ эту эпоху», если разумѣть подъ этой эпохой всѣ средніе вѣка со включеніемъ начала реформаціоннаго періода. Кромѣ обыкновенныхъ танцевъ, какъ особаго вида увеселенія, которыми занимались тогда не меньше, чѣмъ во всякій другой историческій періодъ; кромѣ хороводовъ и плясокъ, сопровождавшихъ разныя священныя и другія торжества, мы имѣемъ еще настоящую хореоманію, чуть не по всей Европѣ, мучившую людей въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ. Первыя извѣстія о неистовой пляскѣ или пляскѣ св. Витта относятся къ XI вѣку, послѣднія—XVI. Главной ареной этой эпидеміи была прирейнская Германія. Въ XV вѣкѣ въ Италіи появился и быстро распространился тарентизмъ, та же неистовая пляска. Кромѣ того, въ XIII—XVI

вѣкъ случались еще такъ называемые Wundertänze, которымъ предавались исключительно дѣти. Одинъ изъ этихъ случаевъ разсказывается въ одной старинной хроникѣ такъ. Въ городѣ Гамельнѣ было много мышей. Одинъ искусникъ взялся вызвать всѣхъ мышей изъ города звуками дудочки, и дѣйствительно смастерилъ это дѣло. Но жители Гамельна не отдали ему условленной за это изъавленіе платы, и крысоловъ жестоко отомстилъ. Разъ, во время богослуженія, когда жители молились въ церкви, онъ заигралъ на магической дудочкѣ, на звуки которой вышли на улицу 130 дѣтей. Онъ пошелъ впередъ, все посвистывая на флейтѣ, дѣти, танцуя, за нимъ и, такимъ образомъ, исчезли неизвѣстно куда изъ города всѣ, кромѣ одного, который и разсказалъ потомъ, какъ было дѣло (Voss. Der Tanz und seine Geschichte). Пляски играли существенную роль и въ шабашѣ вѣдьмъ. Наконецъ, въ XV вѣкѣ появляется во Франціи знаменитая пляска смерти, или макабрскій танецъ, кладбищенская обстановка и мрачный юморъ котораго свидѣлствуютъ, что пляшущимъ было совѣмъ не до веселья.

Подражательный характеръ всякаго рода коллективныхъ судорогъ, конвульсій, нелѣпыхъ плясокъ, въ родѣ средневѣковой неистовой пляски или раднѣй квакеровъ, шекеровъ, напихъ сектантовъ, едва ли можетъ подлежать сомнѣнію. Но читатель можетъ быть усумниться ввести элементъ подражанія въ объясненіе такихъ массовыхъ движеній, какъ крестовые походы или періодическія истребленія евреевъ. Повидимому, эти движенія управляются совершенно опредѣленною идеею; повидимому, можно подыскать такія общія пружины, которыя дѣйствовали одинаково сильно на всѣхъ и каждого изъ участниковъ движенія, совершенно помимо подражанія.

Это очень справедливое соображеніе. Но одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ въ исторіи мысли промаховъ состоитъ именно въ томъ, что изслѣдователь, сосредоточивъ свое вниманіе на одной какой-нибудь сторонѣ дѣла, не хочетъ или не можетъ если не охватить предмета съ другихъ сторонъ, то, по крайней мѣрѣ, допустить, что эти другія стороны существуютъ. Люди науки и отвлеченной мысли иногда цѣлые вѣка препираются между собою единственно потому, что одни смотрятъ на предметъ исключительно сверху, а другіе столь же исключительно снизу, или одни съ правой, а другіе съ лѣвой стороны. Повидимому, признать подражаніе единственнымъ двигателемъ массовыхъ движеній до такой степени невозможно, что всякія оговорки тутъ излишни. И, конечно, никто прямо такой нелѣпости не скажетъ. Но эта нелѣпость легко

можетъ прокрасться въ изслѣдованіе, не облекаясь въ формальное выраженіе. Вотъ, на примѣръ, что говоритъ Иламъ («Заразительность умственныхъ заблужденій». «Знаніе», 1871, № 11). «Въ четвертомъ томѣ исторіи Англіи Маколея мы находимъ чрезвычайно рельефный очеркъ эпидеміи разбоя и воровства со взломомъ. Упомянувъ о всеобщемъ неурожаѣ и недостаткѣ хлѣба, Маколей» и т. д. Слѣдуетъ цитата изъ Маколея, свидѣтельствующая о громадномъ числѣ преступленій противъ собственности въ 1692 г. Ясно, однако, что «всеобщій неурожай и недостатокъ хлѣба» сами по себѣ представляютъ достаточную причину увеличенія числа преступленій противъ собственности, и если вліяніе примѣра играло тутъ какую-нибудь роль, то только весьма и весьма второстепенную. Тотъ же Иламъ, говоря объ успѣхахъ магометанства въ VII вѣкѣ, какъ о «замѣчательномъ примѣрѣ той быстроты, съ которою распространяются идеи», перечисляетъ причины этихъ успѣховъ такъ: страхъ, внушаемый побѣдами Магомета; удобоисполнимость требованій новой религіи: простота ея догматовъ; соотвѣтствіе между наградой, обѣщанной Магометомъ въ будущей жизни, и вкусами восточныхъ народовъ; распри между христианами. Все это справедливо, конечно; но приче́мъ же тутъ эпидемія или «заразительность умственныхъ заблужденій»? Послѣ этого можно, пожалуй, и распространіе научной истины назвать эпидеміей, мотивируя дѣло тѣмъ, что эта истина была подготовлена предшествующими изслѣдованіями, что она подтверждается ясными логическими доказательствами и наглядными опытами и т. д.

Тѣмъ не менѣе, однако, было бы большою ошибкою изгонять роль подражанія изъ такихъ движеній, какъ быстрый ростъ магометанства или какъ крестовые походы. Въ средніе вѣка было много причинъ для того, чтобы люди бросали насиженное мѣсто, семью, работу и пускались въ путь, куда глаза глядятъ. Въ экономическихъ условіяхъ средневѣковой жизни, въ ея политическомъ и гражданскомъ строѣ, въ умственномъ и нравственномъ уровнѣ можно также найти общія причины другихъ многообразныхъ средневѣковыхъ движеній—еретическихъ, крестьянскихъ, антиеврейскихъ и т. п. Но были еще какія-то, намъ пока неизвѣстныя, причины, которыя обращали людей въ автоматовъ и заставляли ихъ повторять все, что продѣлывалъ передъ ними какой-нибудь «герой» въ нашемъ условномъ смыслѣ слова. А читатель знаетъ, что такимъ героемъ можетъ быть иногда дѣйствительно герой, цвѣтъ и краса человѣчества, а иногда и полоумный или шарлатанъ. Цитируемый Мишлѣ современникъ перваго крестоваго похода говоритъ: «Осуществились слова

Соломона: у саранчи нѣтъ вождя, но выступаетъ вся она стройно... У этой саранчи не было вождя; единственнымъ вождемъ, путешителемъ и боевымъ товарищемъ каждой вѣрной души былъ Богъ... Нѣкоторые не имѣли сначала никакого желанія идти въ походъ; они смѣялись надъ тѣми, кто торопился распродать свое имущество, и предсказывали имъ печальное путешествіе и еще болѣе печальное возвращеніе. А черезъ день сами насмѣшники, движимые внезапнымъ порывомъ, отдавали свое имущество за гроши и присоединялись къ тѣмъ, кого осмѣивали». Здѣсь очень характерно передана сила подражанія, увлекавшая многихъ крестоносцевъ почти помимо воли и сознанія. Но соображенія современника о саранчѣ, двигающейся безъ вождя, совсѣмъ неумѣстны. Напротивъ, никогда, можетъ быть, «герой» не былъ такъ нуженъ «толпѣ», какъ въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ вообще и во время крестовыхъ походовъ въ особенности. Были, правда, въ нѣкоторыхъ странахъ времена несравненно болѣе напряженнаго ожиданія «избавителя» или вообще какого-то полубога, который долженъ стать во главѣ толпы. Но эта толпа имѣла въ такихъ случаяхъ если не ясно формулированную программу, то, по крайней мѣрѣ, вполне опредѣленные отрицательныя требованія, которыя и подсказывала страстно ожидаемому герою. Въ средніе же вѣка мы сплошь и рядомъ видимъ толпу въ состояніи какого-то безпредметнаго напряженія, въ состояніи готовности подражать чему бы то ни было вплоть до неистовой пляски, и повиноваться кому бы то ни было, вплоть до капрала, взявшаго палку.

The Hameln worden uthgefört
Hundert und drittig Kinder, daselbst geboren,
Durch einen Piper daselbst verloren.—

Такими горестными словами современника засвидѣтельствована, между прочимъ, подлинность вышеупомянутаго происшествія въ Гамельнѣ, въ подробностяхъ, безъ сомнѣнія, разукрашеннаго. Но въ тѣ времена любой Piper могъ вести за собой не только дѣтей; громадныя массы народа находились въ постоянномъ ожиданіи вождя. Вожди, «герои», разумѣется, являлись и толпа окружала ихъ царственнымъ почетомъ. Петръ Пустынникъ былъ истинно полубогъ для тѣхъ, кто шелъ за нимъ. Если бы онъ захотѣлъ, какъ хотѣли до и послѣ него многіе, то могъ бы объявить себя мессіей, царемъ новаго Сіона и проч., вообще усвоить себѣ самый гордый и фантастическій титулъ; надѣть корону и царскую багряницу, какъ фландрскій пророкъ XII вѣка Танхелингъ; объявить себя равнымъ Богу, какъ Эонъ де-Стелла и проч., и проч. Вожакомъ перваго дѣтскаго крестоваго похода былъ пастухъ Стефанъ, и число дѣтей, тол-

пившихся около его пышной колесницы и жавшихся хотѣ взглянуть на своего вождя, хотѣ одну нитку изъ его платья достать себѣ на память, было такъ велико, что многіе были задавлены въ тѣснотѣ.

Не совсѣмъ поэтому неправы тѣ наивные историки добраго стараго времени, которые, по мѣрѣ своихъ художественныхъ силъ и умѣнья, рассказывали, какъ вдохновенная Іоанна д'Аркъ спасла Францію, какъ папа Урбанъ и Петръ Пустынникъ возбудили своими пламенными рѣчами крестовый походъ, какъ фанатическіе цвиккаускіе пророки взволновали массы крестьянъ, какъ непомѣрное честолюбіе Наполеона залило Европу моремъ крови и проч., и проч. Эти наивные историки понимали, правда, дѣло очень узко и плоско. Они описывали внѣшнюю исторію событій, не задаваясь изслѣдованіемъ ихъ причинъ и довольствуясь прибавкой похвальныхъ или неодобрительныхъ эпитетовъ къ именамъ вождей: необузданный честолюбецъ такой-то увлекъ, вдохновенная дѣва такая-то воодушевила, яростный фанатикъ такой-то возбудилъ и проч. Историки новѣйшаго типа поступаютъ, разумѣется, гораздо рациональнѣе, изыскивая причины историческихъ явленій въ общихъ условіяхъ культуры даннаго момента или данной страны. Но вѣдь необузданный честолюбецъ дѣйствительно увлекъ, а яростный фанатикъ дѣйствительно возбудилъ. Это факты, съ которыми надо считаться. Слѣдовательно, въ любомъ массовомъ движеніи мы должны различать такія общія условія, которыя непосредственно воздѣйствуютъ на всѣхъ и каждого изъ участниковъ, и такія, которыя толкаютъ ихъ къ бессознательному подражанію. Первые могутъ быть, очевидно, чрезвычайно разнообразны. Общія условія, двинувшія, наприимѣръ, полчища варваровъ изъ Азіи въ Европу во времена такъ называемаго великаго переселенія народовъ, конечно, рѣзко отличаются отъ тѣхъ условій, при которыхъ полчища европейцевъ двинулись въ Азію во времена крестовыхъ походовъ. Въ свою очередь, причины экономическія, политическія, нравственныя, умственныя, словомъ,—весь комплексъ культурныхъ условій, который давилъ на каждого изъ евреевъ, толпившихся около многочисленныхъ лже-мессій, былъ, безъ сомнѣнія, не тотъ, что охватывалъ каждого изъ арабовъ, примкнувшихъ къ Магомету, и не тотъ, что опредѣлялъ увлеченіе личностью Наполеона. Но въ этихъ общихъ условіяхъ есть, очевидно, какая-то единообразная струя, опредѣляющая подражательный характеръ всѣхъ массовыхъ движеній, всѣхъ, безъ различія ихъ происхожденія и причинъ. Эта струя, временами необыкновенно усиливающаяся (какъ это было въ средніе вѣка), времена-

ми ослабляющая въ исторіи, дѣйствительно можетъ быть схематически выражена словами наивныхъ историковъ добраго стараго времени: ненасытный честолюбецъ увлекъ, вдохновенная дѣва воодушевила. Только выраженія эти неправильно устанавливаютъ центр тяжести явленія, ибо ненасытный честолюбецъ и вдохновенная дѣва сплосъ и рядомъ оказываются людьми крайне малаго калибра, иногда просто Pipe'ами, посвистывающими въ дудочку; а слѣдовательно дѣло прежде всего не въ нихъ, а въ особенностяхъ настроенія или положенія тѣхъ массъ, которыя идутъ за Pipe'омъ и пляшутъ подъ его дудочку, иногда даже въ буквальномъ смыслѣ слова.

Непреодолимая сила безсознательнаго подражанія выдается иногда такъ рѣзко изъ общихъ условій жизни, что относительно ея общности не можетъ быть никакихъ сомнѣній. Понятное дѣло, что въ явленіяхъ патологическихъ интенсивность подражанія должна выступать рѣзче. Мы уже видѣли тому примѣры. А вотъ и еще примѣръ изъ исторіи камизаровъ и севенскихъ пророковъ. Это народное движеніе возникло, какъ извѣстно, въ концѣ XVII вѣка подъ вліяніемъ знаменитыхъ драгоннадъ и вообще преслѣдованія кальвинистовъ. Жителями Севеннъ всякаго пола и возраста овладѣла страшная экзальтація, сопровождавшаяся экстазомъ и сильнѣйшими конвульсіями. Затѣмъ они пророчествовали и проповѣдывали. Замѣчательно пріятно, что зараза охватила не только кальвинистовъ: ей поддавались и враги-католики, случайно бывшіе свидѣтелями припадковъ, и въ такомъ случаѣ ихъ пророчества и проповѣди точно также были приняты кальвинизмомъ. Это были, значитъ, кальвинисты поневолѣ. Сила примѣра комкала въ нихъ ихъ глубочайшія убѣжденія и заставляла подражать заклатымъ врагамъ, доводя это подражаніе до прямого служенія враждебнымъ началамъ. Ясно, что причины, породившія возстаніе камизаровъ, осложнялись еще специальными признаками коллективнаго увлеченія, какъ такового, независимо отъ причинъ движенія.

Повторяю, въ патологическихъ случаяхъ струна подражанія звучитъ особенно сильно. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы она молчала въ тѣхъ явленіяхъ, которыя мы не можемъ или не рѣшаемся признать за вѣдомо болѣзненными. Изъ этого, напротивъ, слѣдуетъ только то, что мы должны тщательно приглядываться къ такимъ фактамъ, которые сами собой, своими выдающимися чертами, облегчаютъ намъ логическій процессъ выдѣленія изучаемаго предмета изъ той конкретной сложности и запутанности, въ какой онъ является въ жизни. И съ этой точ-

ки зрѣнія особенно любопытна форма нервной болѣзни, специально выражающаяся склонностью къ подражанію, безъ всякаго отношенія къ какой бы то ни было общей идѣ или посторонней цѣли. Болѣзнь эта называется *chorea imitatoria*. Д-ръ Капшинъ наблюдалъ ее въ Якутской области. Болѣзнь состоитъ въ подражательныхъ и отчасти конвульсивныхъ движеніяхъ и дѣйствіяхъ, которыя больные производятъ безъ всякаго сознанія, копируя дѣйствія и движенія другихъ. Разъ д-ру Капшину привелось быть свидѣтелемъ такого случая. Одно изъ отдѣленій роты 3-го батальона забайкальскаго казачьяго войска, составленное изъ мѣстныхъ уроженцевъ, во время ученья повторяло командныя слова. Командиръ, конечно, разсердился, сталъ браниться, кричать, грозить, и съ удивленіемъ услышалъ, что солдаты аккуратно повторяютъ его руганъ и угрозы. Неизвѣстно, чѣмъ кончилась бы эта странная сцена, если бы командиръ не убѣдился доводами Капшина, что солдаты не столько виноваты въ неслыханной дерзости, сколько больны. Вообще, больные «олгинджей» или «омеряченъемъ», какъ называютъ эту болѣзнь на мѣстѣ, съ совершенною точностью повторяютъ все, что кому-нибудь случится передъ ними сказать или сдѣлать. Между якутками болѣзнь принимаетъ иногда нѣсколько отличную форму: несчастныя женщины исполняютъ приказанія, отъ кого бы они ни исходили и въ чемъ бы ни состояли. Этою готовностью больныхъ женщинъ повиноваться нерѣдко пользуются негодяи изъ мѣстной молодежи (Архивъ судебной медицины 1868, № 2).

Я прошу читателя запомнить эту психопатическую форму, потому что она намъ пригодится впослѣдствіи. Она, впрочемъ, и сама по себѣ достаточно любопытна уже тѣмъ, что въ ней элементъ подражанія является въ безусловно чистомъ видѣ (а также тѣмъ, что указываетъ на близкое родство подражанія и повиновенія, покорности).

V.

До сихъ поръ мы имѣемъ лишь описаніе явленій, крайне разнообразныхъ, и слабый намекъ, что это разнообразіе можетъ быть сведено къ какому-то неизвѣстному единому объясненію. Мы видѣли, правда, объясненіе, даваемое дарвинистами для частной области покровительственной окраски и другихъ явленій мимичности. Но мы видѣли также, что это объясненіе неудовлетворительно, или, по крайней мѣрѣ, далеко неполно. Оно неудовлетворительно даже по отношенію къ той специальной группѣ фактовъ, которая заинтересовала Бэтса, Дарвина, Уоллеса,

Аллена. А къ многочисленнымъ и многообразнымъ фактамъ безсознательнаго подражанія въ исторіи человѣчества и въ обыденной нашей жизни теорія переживанія приспособленныхъ совершенно неприменима. Если животное, подражая другому въ окраскѣ, расположеніи частей, образѣ жизни, тѣмъ самымъ спасается отъ угрожающихъ ему бѣдъ, то человѣкъ, подражающій палачу, казненному преступнику, безумному танцору, великому человѣку, капралу, взявшему палку, и проч., тѣмъ самымъ, наоборотъ, сплосъ и рядомъ идетъ на бѣду и даже прямо на смерть. Читатель, привычный къ общимъ приемамъ и тезисамъ дарвинизма, быть можетъ, даже не признаетъ возможности свести къ одному знаменателю группы явленій, повидимому, столь рѣзко противоположныхъ. Но мы видѣли, что сами дарвинисты допускаютъ вліяніе нѣкоторыхъ внутреннихъ факторовъ въ дѣлѣ подражанія, называя ихъ то самостоятельной способностью «подражательности» (Уоллесъ), то зачаточнымъ эстетическимъ чувствомъ, склонностью къ созерцанію яркихъ красокъ (Алленъ). Если бы Алленъ ввелъ въ свое объясненіе этотъ психическій факторъ не такъ двусмысленно и робко, какъ онъ это дѣлаетъ, то ему пришлось бы сказать просто: зрительное впечатлѣніе предмета или предметовъ, почему-либо обрашающихся на себя особенное вниманіе животного, вызываетъ такую группу рефлексовъ, которая въ большей или меньшей степени уподобляетъ животное созерцаемому предмету. Это нисколько, разумеется, не мѣшаетъ дѣятельности приспособленія и наслѣдственности, какъ факторовъ вторичныхъ, выступающихъ уже послѣ того, какъ подражательная форма готова.

Принявъ такое объясненіе, мы уже безъ большого труда можемъ устранить пропасть (кажущуюся) между специальными явленіями мимичности, занимающими дарвинистовъ, и тѣми фактами подражанія, которые мы знаемъ изъ исторіи человѣчества и обыденной жизни. Мы уже видѣли случаи вліянія зрительныхъ впечатлѣній на беременность женщинъ и вообще самокъ. Если бы эти случаи были вполне достовѣрны и бесспорны, то они представили бы какъ разъ промежуточные звенья разорванной цѣпи. Они дали бы, пожалуй, даже больше, чѣмъ нужно. Если лептались, подражая геликонидамъ, воспроизводить всѣ пятнышки и черточки ихъ покрововъ, то вѣдь и овцы и козы Іакова воспроизводили въ своемъ приплодѣ цвѣтъ пестрыхъ сучьевъ, и беременныя женщины, присутствовавшія при мучительныхъ казняхъ, рожали дѣтей съ уродствами, точно воспроизводящими подробности казни. Къ сожалѣнію, эти случаи проблематическіе и спорные. Есть, одна-

ко, факты этого же рода, вполне достовѣрные.

Въ концѣ шестидесятихъ годовъ въ одной бельгійской деревнѣ объявилось чудо: стигматизированная дѣвушка, по имени Луиза Лато. Каждую пятницу съ ней дѣлались какіе-то странные припадки, причемъ у нея появлялись кровоизліянія, съ большею или меньшею точностью воспроизводившія раны распятаго Христа (стигматы), какъ они описаны въ евангеліи и изображаются на картинахъ: «язвы гвоздинныя» на обѣихъ ступняхъ и обѣихъ рукахъ и рана на лѣвой сторонѣ груди. Это не было первое въ своемъ родѣ явленіе. Напротивъ, если не изучено, то съ большею подробностью описано оно было уже давнымъ давно. Выше было замѣчено, что у нѣкоторыхъ конвульсіонеровъ, принимавшихъ позу распятаго Христа, на ступняхъ и рукахъ появлялись краснота и припухлость. Но стигматизированные извѣстны были гораздо раньше—они ведутъ свою родословную съ XIII вѣка (т. е. все съ тѣхъ же среднихъ вѣковъ). Первымъ стигматизированнымъ былъ св. Францискъ. Удалившись не только отъ міра, а подъ конецъ и отъ практическихъ монашескихъ обязанностей, онъ поселился въ горахъ, предавался молитвѣ и посту сверхъ всякой мѣры, отчего часто впадалъ въ экстазъ. Разъ, будучи въ такомъ состояніи, онъ услышалъ голосъ, приказывавшій ему открыть евангеліе. Три раза открывалось евангеліе, и всѣ три раза на страданіяхъ Христа. Съ тѣхъ поръ Францискъ сосредоточилъ всѣ свои помыслы на этомъ пунктѣ, постоянно, изо дня въ день переживая евангельскую драму. И вотъ онъ дождался видѣнія: съ неба спускается къ нему шестикрылый серафимъ, держа въ рукахъ человѣческую фигуру, распятую на крестѣ. Видѣніе быстро исчезло, но послѣ него святой почувствовалъ болѣзненное ощущеніе въ кистяхъ рукъ и ступняхъ ногъ, а вслѣдъ за тѣмъ явились стигматы. Это было въ 1224 году. Чудо произвело, разумеется, сильнѣйшее впечатлѣніе, и съ тѣхъ поръ не одна экзальтированная голова постоянно пребывала мыслью на Голгоѣ. Замѣшалось въ дѣло и соперничество монашескихъ орденовъ. Въ результатѣ получился длинный рядъ стигматизированныхъ, сначала между францисканцами, а потомъ и между доминиканцами, которые выставили свою собственную стигматизированную—Екатерину Сиенскую и рядъ уже ея подражателей. Стигматы росли и количественно: къ пяти ранамъ Франциска у нѣкоторыхъ прибавились раны отъ тернового вѣнца. Иные принимали позу распятаго и испытывали при этомъ сильную боль.

Много здѣсь было, конечно, шарлатанства, но многіе случаи не подлежатъ, однако, ни-

какому сомнѣнію, потому что записаны и описаны вполне достоверными свидѣтелями. Благодарные люди даже давно искали причину стигматизаціи тамъ, гдѣ ихъ, дѣйствительно, слѣдуетъ искать—въ своеобразномъ разстройствѣ нервной системы. Но только Луиза Лато подверглась, наконецъ, серьезному и даже придирчивому изслѣдованію. Однако, люди науки стали сначала втупишь. Вирховъ публично заявилъ, что если это не обманъ, то чудо, нѣчто необъяснимое средствами науки. А между тѣмъ всѣ изслѣдованія удостовѣряли, что обмана здѣсь нѣтъ, по крайней мѣрѣ относительно кровоизліяній, воспроизводящихъ раны распятаго Христа. Наконецъ, по поводу одного изслѣдованія была наряжена цѣлая коммисія ученыхъ, которая, признавъ несомнѣнную подлинность стигматъ, объяснила ихъ бессознательнымъ подражаніемъ Луизы Лато, дѣвушка крайне мистически настроенная, вела аскетическій образъ жизни, и мысль ея была постоянно направлена на страданія Христа. По пятницамъ, когда съ ней начинались припадки, она воображала себя присутствующею на Голгофѣ, и тутъ-то, при созерцаніи образа распятаго Иисуса, появлялись на мѣстѣ стигматъ сначала боль, потомъ припухлость, жаръ, маленькій пузырь и, наконецъ, кровоизліяніе: Луиза Лато подражала распятому Христу почти съ такою же скрупулезною точностью, съ какою лептались подражаютъ реликонидамъ и т. п.

Хотя стигматы Луизы Лато вызвали сначала въ ученыхъ людяхъ нѣкоторое недоразумѣніе, но объясненіе, къ которому они, наконецъ, пришли, было не ново. Читатель, напримѣръ, можетъ его найти въ книгѣ Мори «*La magie et l'astrologie dans l'antiquité et au moyen âge*», изданной до чудеснаго случая съ Луизой. Тамъ имѣется весьма подробная исторія предшественниковъ чудесной бельгійской дѣвицы и прямо указывается на бессознательное подражаніе и усиленную работу воображенія, какъ на главные пружины чуда. И это вовсе не прыжокъ въ область натяжекъ и произвола мысли. Физиологи, психологи и практическіе врачи накопили множество фактовъ, краснорѣчиво говорящихъ объ отраженіи психическихъ моментовъ на процессахъ животной и растительной жизни. Русскій читатель найдетъ ихъ въ изобиліи у Карпентера, въ книгѣ Дарвина «О выраженіи ощущеній», въ лекціяхъ г. Манассеина «О значеніи психическихъ вліяній». Я приведу лишь нѣсколько случаевъ, наиболѣе близкихъ въ томъ или другомъ отношеніи къ стигматизаціи.

Что подъ вліяніемъ ожиданія, страха и воображенія люди чувствуютъ въ опредѣленныхъ мѣстахъ боль, это до такой степени общезвѣстно, что фактическихъ подтвержденій въ этомъ отношеніи не требуется. Высо-

кіе авторитеты утверждаютъ, что можно вызывать боль въ любой части тѣла, усиленно сосредоточивая на ней свое вниманіе. Проявленіе такъ называемой мнительности обыкновенно въ этомъ только и состоитъ. Что касается появленія опухолей, то мы приведемъ одинъ только случай, не подлежащій никакому сомнѣнію. Мать видѣла, какъ тяжелая рама отдавила три пальца на рукѣ ея сына; у нея самой тотчасъ-же оказались воспаленными и опухшими тѣ именно три пальца, которые пострадали у ребенка. Этотъ случай любопытенъ для насъ своею, такъ сказать, топографическою опредѣленностью; случаевъ же, въ которыхъ опухоли появлялись, исключительно подъ вліяніемъ испуга и т. п., безъ такого опредѣленнаго соотношенія опухшаго мѣста къ предмету, вызвавшему испугъ, весьма много. Вліяніе психическихъ моментовъ на сосудодвигательную систему простѣйшимъ образомъ выражается въ способности человѣка краснѣть отъ стыда, отъ негодованія, отъ оскорбленнаго самолюбія и пр. Достойно замѣчанія, что способность краснѣть сильно локализована, что краснѣть преимущественно и даже почти исключительно лицо, часть тѣла, наиболѣе обращающая на себя вниманіе. Отъ краснѣнія не труденъ переходъ къ кровавому поту, часто являющемуся подъ вліяніемъ, сильныхъ душевныхъ потрясеній. Обыкновенно кровавый потъ показывается на опредѣленныхъ мѣстахъ. Напримѣръ, «у 25-лѣтней женщины, подъ вліяніемъ сильнаго душевнаго волненія, появилось кровохарканіе и судороги, которыя стали затѣмъ повторяться при каждомъ психическомъ потрясеніи. Два года спустя, опять-таки подъ вліяніемъ сильнаго душевнаго потрясенія, появилась рвота, боль въ почкахъ и кровавая моча. Привычка организма реагировать на всякое душевное волненіе подобными явленіями длилась два года, послѣ чего явленія эти осложнились новымъ, а именно: во время приступа рвоты появился кровавый потъ на лицѣ, шеѣ, въ мышечныхъ впадинахъ и на передней поверхности груди и живота». Другой больной не было еще 11 лѣтъ, «какъ подъ вліяніемъ сильнаго горя у нея показались слезы, окрашенная кровью; съ этого же времени началъ показываться кровавый потъ на бедрахъ, на груди, на краю нижнихъ вѣкъ и на лицѣ. Потъ этотъ появлялся всегда вслѣдъ за какимъ-нибудь сильнымъ душевнымъ потрясеніемъ и сопровождался полной потерей движенія и чувствительности».

Конечно, переходъ отъ всѣхъ этихъ примѣровъ къ стигматамъ Луизы Лато представляеть еще трудности, такъ какъ интересно появленіе кровоизліяній на тѣхъ именно мѣстахъ, гдѣ были раны у Христа. Но мы уже видѣли, какъ у матери опухли тѣ именно паль-

цы, которые были отдавлены у ребенка. Зато надо припомнить тѣ многочисленные случаи, когда, напримѣръ, у человѣка отдѣляется сравнительно большее количество слюны только при мысли о чемъ-нибудь очень кисломъ, или когда его тошнитъ при представлении о какомъ-нибудь отвратительномъ кушаньи или лѣкарствѣ, или—когда представление холода вызываетъ такъ называемую гусиную кожу и т.п. Вотъ какъ объясняются подобныя явленія: «Когда мы беремъ въ ротъ кислый плодъ, то впечатлѣніе посылается путемъ вкусовыхъ нервовъ къ извѣстной части головного мозга; послѣдняя передаетъ нервную силу сосудо-двигательному центру, который, вслѣдствіе этого, заставляетъ мышечныя оболочки мелкихъ артерій, пронизывающихъ слюнные железы, расслабляться. Отсюда къ этимъ железамъ притекаетъ больше крови и онѣ отдѣляютъ большее количество слюны. Нѣтъ ничего невѣроятнаго въ предположеніи, что когда мы думаемъ о какомъ-нибудь ощущеніи, то та самая часть чувствительныхъ нервныхъ центровъ, или близко связанная съ нею, приводится въ дѣятельное состояніе, точно такимъ же образомъ, какъ въ случаѣ дѣйствительнаго впечатлѣнія. А если такъ, то тѣ же самыя клѣтки мозга должны возбуждаться, хотя быть можетъ и въ меньшей степени, когда мы живо представляемъ себѣ кислый вкусъ и дѣйствительно чувствуемъ его; въ томъ, какъ и въ другомъ случаѣ, клѣтки эти будутъ передавать нервную силу сосудо-двигательному центру съ одинаковыми результатами». (Дарвинъ. «О выраженіи ощущеній»). Какія глубокія измѣненія въ организмъ можетъ производить это уподобленіе дѣйствительности, видно изъ слѣдующаго факта, сообщаемаго Лейкокомъ: 48-ми-лѣтняя женщина, у которой уже 8 лѣтъ не бывало мѣсячныхъ, присутствовала при крайне трудныхъ родахъ своей дочери; подъ вліяніемъ сильнаго волненія, у нея появились рѣзкія боли въ животѣ, вслѣдъ за которыми показалось кровавистое выдѣленіе изъ влагалища, а три дня спустя въ грудяхъ ея оказалось молоко (приведена у Манассеина). Мнѣ лично извѣстенъ слѣдующій случай. Женщина чрезвычайно безпокойнаго и раздражительнаго нрава, но очень любившая животныхъ, ходила за коровами. Однажды, когда ея любимца должна была телиться, эта женщина провела въ величайшемъ волненіи ночь, а на утро въ грудяхъ у нея появилось молоко.

Здѣсь мы имѣемъ случаи, уже вплотную приближающіеся къ стигматизаціи и въ своемъ родѣ нисколько не менѣе поразительные. И тамъ, и тутъ мы видимъ необычайную силу бессознательнаго подражанія. Луиза Лато, вся проникнутая идеей страданій Христа, постоянно мысленно присутствующая на Гол-

гоѣ, такъ внѣдряетъ въ себя образъ Христа, что до извѣстной степени повторяетъ его своею личностью, воспроизводя явы гвоздинныя и ребро, копіемъ прободенное. Мать, трепещущая отъ страха за исходъ родовъ своей дочери, такъ проникается впечатлѣніемъ родовъ, что до извѣстной степени повторяетъ ихъ; тоже самое и съ коровницей, переполненной тревогою по случаю разрѣшенія коровы отъ бремени. Во всѣхъ этихъ случаяхъ представленіе, почему-либо обратившее на себя усиленное вниманіе субъекта, вызываетъ, помимо его воли, къ дѣятельности какъ разъ соотвѣтствующія этому представленію части его чувствительно-двигательнаго механизма. И въ результатъ получается болѣе или менѣе точная копія предмета или душевнаго состоянія, сосредоточившаго на себѣ вниманіе субъекта.

Если читатель потрудится собрать въ одну картину совокупность приведенныхъ фактовъ (число которыхъ я намѣренно сократилъ), то онъ признаетъ, безъ сомнѣнія, что, поддерживая и пополняя другъ друга, они вмѣстѣ съ тѣмъ указываютъ и на истинныя причины мимичности. Нѣтъ, очевидно, ни надобности, ни даже возможности изолировать собранные дарвинистами факты и объяснять ихъ исключительно дѣйствіемъ медленнаго подбора и переживанія особей, одаренныхъ «покровительственной окраской». Какъ только мы вводимъ въ кругъ нашего изслѣдованія факты изъ другихъ областей опыта и наблюденія, такъ является новый лучъ свѣта, освѣщающій и мимичность съ неожиданной стороны. Уже опыты Пуше показываютъ, что не медленный подборъ, а характеръ зрительныхъ впечатлѣній опредѣляетъ, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, приспособленіе цвѣта животнаго къ цвѣту его обстановки и убѣжища. Идя далѣе, мы натакиваемся на такіе примѣры бессознательнаго подражанія, которые уже никакимъ образомъ не могутъ быть объяснены естественнымъ подборомъ. И для насъ становится, наконецъ, яснымъ, что лепталисы, воспроизводя всѣ подробности формы, цвѣта, пятнышекъ и проч. геликонидъ, повинуются тому же закону, который воспроизводитъ раны на рукахъ, ступняхъ и на лѣвомъ боку Луизы Лато. Безъ сомнѣнія, разъ подражательная форма установилась, она можетъ быть подхвачена естественнымъ подборомъ въ качествѣ «покровительствуемой», но происхожденіе ея объяснимо только тѣми зрительными впечатлѣніями, которыя рефлексивно отражаются на цвѣтѣ и формѣ подражающаго организма. Съ этой точки зрѣнія, заяцъ, псецъ, горностаи, бѣлая куропатка мѣняютъ свои цвѣта на зиму не только потому, что когда-то ихъ предки получили эту особенность. Предки ихъ, дѣйствительно, ее

получили, но не случайно получили, а благодаря влиянію необозримой снѣжной пустыни на глазъ, и, кромѣ наслѣдственной передачи, эта способность къ переодѣванію получаетъ новый импульсъ каждую зиму.

Съ этой же точки зрѣнія должны, очевидно, получить свое объясненіе и всѣ явленія коллективнаго увлеченія и нравственныхъ эпидемій.

Задача изящнаго искусства состоитъ, между прочимъ, въ томъ воздѣйствіи на воображеніе зрителя, читателя, слушателя, чтобы онъ до извѣстной степени лично пережилъ изображаемое положеніе или психическій моментъ. Великому художнику это удастся, а великому оратору или проповѣднику изъ тѣхъ, которые дѣйствуютъ главнымъ образомъ на чувство, а не на разумъ, удастся нѣчто большее. Ему удастся воочію видѣть, что сотни, тысячи слушателей заражаются его личнымъ настроеніемъ или же относятся къ его образамъ и картинамъ, какъ къ чему-то живому, здѣсь, сію минуту присутствующему съ плотью и кровью. Одинъ примѣръ изъ тысячи. Знаменитый методистскій проповѣдникъ Витфильдъ часто плакалъ среди своихъ рѣчей, и тысячи, иногда десятки тысячъ слушателей проливали, глядя на него, слезы. Гарриксъ увѣрялъ, что Витфильдъ можетъ произнести слово «Месопотамія» съ такимъ выраженіемъ, что вся аудитория зарыдаетъ. Однажды въ Америкѣ, проповѣдуя передъ матросами, Витфильдъ употребилъ такой ораторскій приемъ: «Дѣти — говорилъ онъ, по обыкновенію, съ одушевленіемъ и сильной жестикуляціей: — дѣти! мы вышли въ море при легкомъ вѣтрѣ, и вотъ уже потеряли берегъ изъ виду. Но что же значить это внезапное помраченіе неба, эти темныя облака, тамъ, на западѣ? Пойдите! Слышите вы громъ вдали? видите блистающую молнію? Гроза! Всѣ на мѣста! Волны поднимаются, бьютъ о борты корабля! Кругомъ тьма! Буря! Наши мачты сломаны, корабль повалило на бокъ! Что дѣлать?» — «Лодку, лодку! спускайте лодку!» — закричали въ отвѣтъ возмущенные слушатели (См. Lecky, Entstehungsgeschichte und Charakteristik des Methodismus. Leipz. 1880). Какъ видитъ читатель, картина бури, нарисованная Витфильдомъ, довольно скудна; но тѣмъ сильнѣе, значить, была имъ передана субъективная сторона драмы — ужасъ положенія, если даже матросы, выдавшіе настоящія бури, такъ живо представили себѣ картину кораблекрушенія и такъ полно заразились чувствомъ опасности. Матросы произвольно подражали проповѣднику, который, въ свою очередь, вдохновленный нарисованной имъ самимъ картиной, подражалъ человѣку, охваченному ужасомъ кораблекрушенія. Этотъ двойной процессъ мимоволь-

наго подражанія съ одной стороны, по необычайной напряженности работы воображенія, схожъ съ процессами образованія стигматъ и вообще отраженія воображенія на физикѣ человѣка. Какъ при одномъ представленіи о чемъ-нибудь кисломъ у насъ замѣчается иногда усиленное отдѣленіе слюны, такъ и возбужденные Витфильдомъ матросы при одномъ представленіи кораблекрушенія почувствовали волненіе, выразившееся, разумѣется, и соответственными физическими симптомами: усиленнымъ сердцебіеніемъ и т. п. Съ другой стороны, весь приведенный случай есть лишь одинъ изъ образчиковъ нравственной заразы: разъ наиболѣе воспримчивые или вообще наиболѣе подходяще настроенные матросы почувствовали волненіе и выразили его на своихъ лицахъ и въ своихъ позахъ, остальные получили уже удвоенный, утроенный, удесятеренный импульсъ къ подражанію.

Очень наглядно формулируетъ этотъ процессъ заразы Эспинасъ (*Des sociétés animales. Etude de psychologie comparée*. P. 1880, 2-me éd.). Говоря объ осахъ, онъ задается вопросомъ, какимъ образомъ сторожевыя осы сообщаютъ своимъ товарищамъ объ угрожающей опасности. А этотъ вопросъ ведетъ его къ вопросу, болѣе общему: какимъ образомъ, на примѣръ, гнѣвъ передается отъ одного индивида къ другому? Единственно путемъ зрительнаго впечатлѣнія, отвѣчаетъ Эспинасъ, путемъ созерцанія разгнѣваннаго субъекта. Возмущенная оса особеннымъ образомъ жужжитъ и вообще чрезвычайно энергически выражаетъ состояніе своего сознанія. Другія осы слышать этотъ характерный шумъ, при представленіи котораго въ нихъ начинаютъ возбуждаться тѣ именно части нервной системы, которыя въ нихъ обыкновенно возбуждаются, когда онѣ сами точно также жужжатъ. Мы уже видѣли выше, что представленіе извѣстнаго акта вызываетъ начало его исполненія. Такъ, собака, перелъ которой держатъ кусокъ мяса, облизываетъ себѣ губы и отдѣляетъ слюну, какъ будто мясо у нея уже во рту. Такъ, ребенокъ или дикарь, рассказывая какое-нибудь происшествіе, непременно представляютъ его въ лицахъ или, что то же, произвольно подражаютъ дѣйствующимъ лицамъ своего разсказа. Извѣстный образъ непременно вызываетъ въ насъ соответственные движенія, задержать которыя можетъ только волнѣніе центральнаго органа. Чѣмъ слабѣе централизація мысли, тѣмъ легче совершаются подобныя движенія. Наши осы видятъ, что ихъ товарка влетаетъ въ гнѣздо, вылетаетъ, жужжитъ, словомъ — выражаетъ гнѣвъ и беспокойство, и сами начинаютъ вылетать и безпокоиться. И это не поддѣлка, а настоящій гнѣвъ. Энергическое внѣшнее выраженіе ка-

кого-нибудь чувства до известной степени вызывает это самое чувство. Такъ, актеръ, увлекаясь своими словами и жестами, переживаетъ и соответственное состояніе сознанія. Такъ, человѣкъ, фехтующій для забавы, испытываетъ, однако, нѣчто подобное настоящему ощущенію борьбы. Такъ, обезьяны, кошки, собаки, начиная играть и подражая при этомъ дракѣ, кончаютъ настоящей дракой. Такъ и осы. Механика, слѣдовательно, всего процесса слѣдующая: впечатлѣніе особеннымъ образомъ жужжащей и беспокойно движущейся осы возбуждаетъ къ дѣятельности тѣ нервныя центры въ осяхъ-зрительницахъ, которые въ нихъ возбуждаются, когда онѣ сами точно такъ же беспокоятся; а внѣшнее выраженіе гнѣва вызываетъ въ концѣ концовъ настоящій гнѣвъ, который и овладѣваетъ моментально всѣмъ сборищемъ.

Гнѣвъ этотъ будетъ, кромѣ того, расти пропорціонально числу осей. Представимъ себѣ собраніе, положимъ, въ 300 человѣкъ, передъ которымъ говоритъ ораторъ. Допустимъ далѣе, что волненіе, ощущаемое ораторомъ, можетъ быть выражено цифрою 10 и что при первыхъ взрывахъ своего краснорѣчія онъ сообщаетъ каждому изъ трехсотъ слушателей, по крайней мѣрѣ, половину этого своего волненія. Каждый изъ слушателей выразитъ это рукоплесканіями или усиленнымъ вниманіемъ; въ позѣ, въ выраженіи лица каждаго будетъ нѣчто напряженное. И каждый будетъ, слѣдовательно, видѣть не только взволнованнаго оратора, а и еще множество напряженно-внимательныхъ или взволнованныхъ своихъ товарищей по аудиторіи. Это зрѣлище будетъ въ свою очередь усиливать, что называется въ парламентахъ «движеніемъ» (sensation). Положимъ, что каждый изъ слушателей получаетъ только половину этого всеобщаго возбужденія. Тогда его волненіе выразится не цифрою 5, а цифрою 750 ($2\frac{1}{2}$, помноженное на 300). Что же касается самого оратора, этого центра, къ которому со всѣхъ сторонъ возвращается потокъ возбужденнаго имъ волненія съ преувеличенною силою, то онъ можетъ быть даже совершенно подавленъ этимъ потокомъ, какъ оно часто и бываетъ съ неопытными, неприспособившимися ораторами. Понятно, что въ дѣйствительности лавинообразный ростъ волненія не можетъ быть такъ быстръ, потому что не каждый же изъ трехсотъ слушателей видитъ съ своего мѣста 299 взволнованныхъ товарищей. Но общій законъ процесса все-таки именно таковъ.

Такимъ образомъ, въ явленіяхъ стигматизаціи и въ другихъ поразительныхъ случаяхъ вліянія воображенія на растительную и животную жизнь мы нашли переходную ступень между мимичностью съ одной стороны

и проявленіями подражательности въ мелкихъ житейскихъ дѣлахъ и въ записанныхъ исторіей и психіатріей нравственныхъ эпидеміяхъ — съ другой. Примѣръ же оратора, увлекающаго слушателей даже до совершеннаго забвенія дѣйствительности, представляетъ переходъ отъ случаевъ диночнаго подражанія Христу, казненному, палачу, роже-ницѣ и т. д. къ массовымъ движеніямъ и до известной степени уясняетъ самый процессъ заразы. Если читатель поспѣетъ на меня за нѣкоторую беспорядочность изложенія, то я укажу въ свое извиненіе на чрезвычайное разнообразіе матеріала, относящагося къ предмету предлагаемой статьи. Передъ нами точно калейдоскопъ, который, какъ его ни поворачивай, даетъ очень разнообразныя, но всегда правильныя и одноцентренныя звѣздообразныя фигуры. Какъ ни разнообразны вышеприведенные факты, набранные и изъ житейскаго опыта и изъ разныхъ областей научнаго знанія, а каждая ихъ группа имѣетъ все-таки одинъ и тотъ же центръ — бессознательное или мимовольное подражаніе. И если читатель, какъ я надѣюсь, убѣдился въ чрезвычайной силѣ и распространенности этого психическаго двигателя, то намъ остается только разрѣшить вопросъ объ условіяхъ, при которыхъ склонность къ подражанію присутствуетъ и отсутствуетъ, появляется и исчезаетъ, выражается съ большею и меньшею силою; при какихъ, слѣдовательно, условіяхъ складывается то, что мы условились называть «толпой» — податливая масса, готовая идти за «героемъ» куда бы то ни было и томительно и напряженно переминающаяся съ ноги на ногу въ ожиданіи его появленія.

VI.

Изъ какихъ людей составляется «толпа»? Въ чемъ заключается секретъ ихъ непреодолимаго стремленія къ подражанію? Нравственныя-ли ихъ качества опредѣляютъ это стремленіе, или умственные, или какія другія особенности?

Если мы обратимся съ этими вопросами къ людямъ, специально трактовавшимъ о предметѣ, то получимъ въ отвѣтъ необычайную разногласицу и цѣлый рядъ противорѣчій.

Адамъ Смитъ, если не ошибаюсь, первый обратилъ достаточное вниманіе на явленіи подражанія и положилъ ихъ даже во главу угла своей «Теоріи нравственныхъ чувствъ». Онъ начинается съ самыхъ элементарныхъ фактовъ, а впрочемъ, ими же и оканчивается. «Источникъ нашей чувствительности къ страданіямъ постороннихъ людей, говоритъ онъ — лежитъ въ нашей способности переноситься

воображеніемъ на ихъ мѣсто, въ способности, которая доставляетъ намъ возможность представлять себѣ то, что они чувствуютъ, и испытывать тѣ же ощущенія. Когда мы видимъ направленный противъ кого-нибудь ударъ, готовый поразить его руку или ногу, мы естественно отдергиваемъ руку или ногу; а когда ударъ нанесенъ, то мы въ нѣкоторомъ родѣ ощущаемъ его и получаемъ это ощущеніе одновременно съ тѣмъ, кто дѣйствительно получилъ его. Когда простой народъ смотритъ на канатнаго плясуна, то поворачиваетъ и наклоняетъ свое тѣло изъ стороны въ сторону вмѣстѣ съ плясуномъ, какъ бы чувствуя, что онъ долженъ бы былъ поступать такимъ образомъ, если бы былъ вмѣсто него на канатѣ. Люди слабаго сложения и съ впечатлительными нервами, при взглядѣ на раны, выставляемыя нѣкоторыми нищими на улицѣ, жалуются, что испытываютъ болѣзненное ощущеніе въ части своего тѣла, соответствующей пораженной части этихъ несчастныхъ. Самые крѣпкіе люди замѣтили, что они ощущаютъ весьма чувствительную боль въ глазахъ при взглядѣ на глаза, пораженные страданіемъ... Въ душѣ нашей возбуждается сочувствіе не одними только обстоятельствами, вызывающими страданіе или тягостное ощущеніе. Какое въ впечатлѣніи ни испытывалъ человѣкъ въ извѣстномъ положеніи, внимательный свидѣтель, при взглядѣ на него, будетъ возбужденъ сходнымъ съ нимъ образомъ... Симпатія пробуждается иногда непосредственно при одномъ только взглядѣ на ощущенія другихъ людей. Нерѣдко страсти передаются, повидимому, мгновенно отъ одного человѣка къ другому, безъ всякаго предварительнаго сознанія о томъ, что вызвало ихъ въ вольно-вольномъ человѣкѣ. Напримѣръ, достаточно бываетъ выразительнаго проявленія во взглядѣ и во внѣшнемъ видѣ человѣка печали или радости, чтобы возбудить въ насъ тягостное или пріятное ощущеніе. Смѣющееся лицо вызываетъ въ насъ веселое душевное состояніе; напротивъ того, угрюмое и грустное лицо рождаетъ въ насъ печальное и задумчивое настроеніе» («Теорія нравственныхъ чувствъ», Спб. 1868, стр. 17 и слѣд.).

Понятны выводы, которые могъ сдѣлать Смитъ изъ такой постановки вопроса, въ виду его основной мысли о симпатіи или сочувствіи, какъ источникѣ нашей нравственности. Очевидно, что съ этой точки зрѣнія люди, наиболѣе склонные къ подражанію, наиболѣе «чувствительные», суть вмѣстѣ съ тѣмъ и наиболѣе нравственные. Не менѣе очевидно, однако, невѣрность такого положенія. Смитъ очень старается показать, что, напримѣръ, месть (если она не исходитъ отъ человѣка, дѣйствительно оби-

женнаго) не можетъ вызвать сочувствія и что ея внѣшнее проявленіе имѣетъ для насъ непремѣнно отталкивающій характеръ. «Природа, говоритъ онъ, — какъ будто научаетъ насъ бѣжать отъ этой опасной страсти и возбуждаетъ насъ противъ нея». Увы! Природа насъ въ этомъ отношеніи ничему не научаетъ. Мы уже знаемъ, что крайне жестокіе и безчеловѣчные поступки обладаютъ иногда высокою степенью заразительности; что, напримѣръ, видъ смертной казни вызываетъ столь же непреодолимое стремленіе подражать палачу, какъ непреодолимо стремленіе слѣдить тѣлодвиженіями за канатнымъ плясуномъ, продѣлывающимъ опасныя штуки. Кромѣ того, почти всякое преступленіе, обратившее на себя усиленное вниманіе общества чудовищностью своихъ подробностей или самою своею сущностью, вызываетъ нерѣдко цѣлый рядъ подражателей. Такъ, напримѣръ, цитируемый Иламомъ Макъ говоритъ о процессѣ знаменитой Бренвилль: «Бренвилль служила темою всѣхъ разговоровъ. Всѣ подробности ея преступленія были опубликованы и читались съ жадностью; такимъ образомъ идея тайнаго отравленія впервые запала въ головы тѣхъ сотенъ людей, которые впослѣдствіи сдѣлались виновными въ этомъ преступленіи. Съ этого времени и до 1682 года тюрьмы Франціи были переполнены заключенными, обвинявшимися въ отравленіи. Преступники были окончательно открыты, и многіе изъ нихъ сожжены или повѣшены въ 1679 году; но послѣ этого эпидемія продолжала существовать еще два года и прекратилась не прежде, какъ уже болѣе сотни людей погибло на кострахъ и на висѣлицахъ». Да и въ новѣйшее время, напримѣръ, Тропманъ имѣлъ нѣсколькихъ подражателей, причемъ подробности ихъ преступленій свидѣтельствовали, что это дѣйствительно копія, а не оригиналы. Французскіе психіатры давно уже обратили вниманіе на эту заразительность преступленій, надѣлавшихъ много шума, и настоятельно требовали обузданія той части ежедневной прессы, которая безстыдно эксплоатируетъ подобные случаи и играетъ на звѣрскихъ инстинктахъ.

Итакъ, Смитъ, желая опредѣлить склонность къ подражанію и нравственную заразительность исключительно, такъ сказать, благожелательнымъ направленіемъ, впалъ въ ошибку. Отчасти онъ даже намѣренно закрылъ глаза на множество общеизвѣстныхъ фактовъ, въ которыхъ зараза толкаетъ людей или къ поступкамъ нравственно безразличнымъ, или же подлежащимъ осужденію съ точки зрѣнія какой бы то ни было системы морали. Всѣ эти безразличные или же прямо безнравственные поступки просто даже необъяснимы съ точки зрѣнія Смита, если раз-

умѣть подѣ симпатіей или сочувствіемъ самостоятельное нравственное начало, противоположное эгоизму. При чемъ въ самомъ дѣлѣ, симпатія, сочувствіе, способность переживать чужую жизнь въ томъ, напримѣръ, случаѣ, когда цѣлый женскій монастырь начинаетъ кусаться или мяукать по-кошачьи? При чемъ этотъ нравственный элементъ въ тѣхъ случаяхъ, когда одинъ или нѣсколько человекъ одолѣваются слѣпымъ тяготѣніемъ, единственно подѣ вліяніемъ примѣра, къ поступкамъ жестокимъ или подлымъ? Можетъ даже показаться, что передъ нами находится дилемма: или подражательность не имѣетъ ничего общаго съ симпатіей, или симпатія не можетъ служить основаніемъ для теоріи нравственныхъ чувствъ. Намъ, впрочемъ, здѣсь нѣтъ дѣла до системъ морали, а потому мы можемъ ограничиться простымъ замѣчаніемъ, что различіе между симпатіей и подражательностью не такъ ужъ рѣзко. Справедливо говорить Бэнъ: «По своимъ тенденціямъ и результатамъ симпатія и подражаніе различны, но въ своихъ основаніяхъ они имѣютъ много общаго». («Психологія», Спб. 1881, стр. 277). Ошибка Адама Смита состоитъ, главнымъ образомъ, въ томъ, что онъ не усмотрѣлъ или недостаточно подчеркнул существенный рубежъ между подражательностью и симпатіей: элементы *воли* и *сознанія*, которые необходимо должны быть налицо въ основаніи системы морали и столь же необходимо болѣе или менѣе подавлены въ явленіяхъ подражательности и нравственной заразы. Быть можетъ, даже вся задача изслѣдованія явленій подражательности состоитъ въ опредѣленіи условій, способствующихъ или противодействующихъ тому специальному виду подавленія сознанія и воли, который въ нихъ выражается.

Бѣглую ошибку Адама Смита, сдѣланную имъ, такъ сказать, мимоходомъ, отчасти повторилъ Гербертъ Спенсеръ въ четвертомъ томѣ «Основаній психологіи» (глава «Общественность и симпатія»). Но повторилъ странно и обстоятельно.

Поговоривъ о томъ, какъ вырабатывается въ стадномъ животномъ удовольствіе отъ *присутствія* другихъ, ему подобныхъ животныхъ, Спенсеръ переходитъ къ душевнымъ состояніямъ, производимымъ въ немъ *отсутствіемъ* другихъ, подобныхъ ему животныхъ. Члены стада, испуганные отдаленнымъ движущимся предметомъ или какими-нибудь звуками, производятъ также движенія и звуки, сопровождающіе испугъ. Каждый видитъ и слышитъ, что эти движенія и звуки производятся остальными товарищами въ то самое время, какъ и онъ производитъ ихъ, и въ то самое время, какъ въ немъ присутствуетъ чувство, побуждающее его къ этимъ движе-

женіямъ и звукамъ. Частое повтореніе неизбежно устанавливаетъ прочную ассоціацію между сознаніемъ страха и сознаніемъ наружныхъ знаковъ этого страха у другихъ. Испуганные члены стада, будучи видимы и слышимы остальными, возбуждаютъ въ этихъ остальныхъ то чувство, которое они сами обнаруживаютъ, послѣ чего остальные, побуждаемые чувствомъ, возбужденнымъ въ нихъ этимъ симпатическимъ путемъ, начинаютъ производить такіе же движенія и звуки. Затѣмъ эта привычка унаследуется въ ряду поколѣній и поддерживается, кромѣ того, процессомъ выживанія приспособленнѣйшихъ, потому что индивиды, наиболѣе усвоившіе себѣ эту привычку, наименѣе избѣгаютъ различныхъ опасностей.

Подѣ конецъ, одинъ крикъ тревоги, свойственный данному виду, будетъ вызывать во всемъ стадѣ чувство страха. Въ этомъ лежитъ происхожденіе той паники, которая такъ часто и въ такихъ рѣзкихъ чертахъ наблюдается у стадныхъ животныхъ. Напримѣръ, стадо овецъ долго стоитъ неподвижно и глупо глазѣетъ на приближающуюся фигуру; но едва одна овца побѣжала, какъ и всѣ остальные пускаются въ бѣгство. При этомъ каждая изъ нихъ продѣлываетъ то же самое движеніе и на томъ же самомъ мѣстѣ, какъ предыдущая, хотя бы въ этомъ не было ни малѣйшей надобности; такъ напримѣръ, подражая первой овцѣ, прыгнувшей на извѣстномъ мѣстѣ, каждая слѣдующая овца прыгаетъ на этомъ мѣстѣ, хотя бы тутъ не было ничего, черезъ что нужно перепрыгивать.

Кромѣ симпатическаго страха, продолжаетъ Спенсеръ, существуютъ и другіе роды симпатическихъ чувствованій, устанавливающихъ подобнымъ же образомъ. Радостное возбужденіе точно такъ же быстро передается отъ одного индивида къ другому въ табунѣ лошадей, стаѣ охотничьихъ собакъ и проч. Собаки, вслѣдствіе старинной дружбы и постоянного общенія съ человекомъ, способны возбуждаться симпатическими обнаруженіями и человѣческаго чувства. Такъ, слыша гнѣніе, собаки иногда подвываютъ, а иной разъ даже слѣдуютъ за голосомъ по ступенямъ выполняемой гаммы. Нѣкоторыя собаки симпатически возбуждаются даже молчаливыми проявленіями страданія или удовольствія своего хозяина: улыбка хозяина отражается въ нихъ радостью, уныніе—уныніемъ. «Этотъ фактъ приводитъ насъ самымъ естественнымъ образомъ къ той истинѣ, что степень и пшрина сочувствія или симпатіи зависятъ отъ ясности и обширности воспроизводительности мысли. Симпатическое чувствованіе есть такое чувствованіе, которое не возбуждается непосредственно естественною причиною та-

кого чувствованія, но возбуждается посредственно, вследствие представленія внѣшнимъ чувствамъ нѣкоторыхъ знаковъ или обнаруженій, которые обыкновенно ассоціированы съ такимъ чувствованіемъ. Слѣдовательно, симпатическое чувствованіе предполагаетъ способность воспринимать и комбинировать эти знаки, также какъ и способность воспроизводить въ умѣ подразумѣваемые ими вещи, внѣшнія или внутреннія, или и тѣ, и другія заразъ. Такъ что сочувствіе или симпатія можетъ существовать только въ степени, пропорціональной силѣ умственного воспроизведенія... Распиреніе умственныхъ способностей есть одно изъ условій, хотя далеко не единственное условіе, распиренія области сочувствія».

Этимъ своимъ выводомъ Спенсеръ очень дорожить и неоднократно къ нему возвращается, перефразируя его и иллюстрируя примѣрами. Жестокость представляется ему результатомъ недостатка умственныхъ способностей, которые не могутъ представить жестокому человѣку съ достаточною ясностью тѣ страданія, которыя онъ наноситъ. Наоборотъ, заразительность зѣвоты есть для Спенсера наглядный образчикъ проявленія значительныхъ умственныхъ силъ, въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, когда мы зѣваемъ не только при видѣ зѣвающего, а при одной мысли о зѣвотѣ.

Итакъ, если по Адаму Смиту выходить, что люди, склонные къ нравственной заразѣ, суть наиболѣе «чувствительные» и наиболѣе нравственные люди, то, по Спенсеру, это люди съ сравнительно высокими умственными способностями. Между тѣмъ вотъ нѣсколько почти на удачу взятыхъ мнѣній специалистовъ о томъ же предметѣ:

«Наблюденіе показываетъ, что сила раздраженія бываетъ сильнѣе выражена тамъ, гдѣ сѣрое корковое вещество мозга менѣе развито, или въ томъ случаѣ, когда человѣкъ такъ воспитанъ, что его систематически приучили смотрѣть съ одинаковымъ вниманіемъ на измышленныя и дѣйствительныя явленія и придавать имъ равносильное значеніе. Помянуто, что такіе умственные процессы возможны лишь при отсутствіи всесторонней критики, немислимой безъ дѣятельнаго участія коркового мозгового вещества. Если оно приучено не увлекаться въ раздраженія, поступающія извнѣ, то очевидно, что послѣдними должны обуславливаться рефлексы изъ центровъ ощущенія, а не изъ центровъ представленія. Этимъ объясняется множество общественныхъ явленій, какъ напримѣръ, мода, эпидемическое распространеніе тѣхъ или другихъ странныхъ воззрѣній, дѣйствій, религіозно-фанатическихъ движеній, сопряженныхъ съ разнаго рода странными тѣлодви-

женіями, оргіями, неистовствами, лишеніями, самобичеваніями, самоизувѣченіями и даже самоуничтоженіемъ» (Пеликанъ. «Судебно-медицинскія изслѣдованія скопчества», стр. 82).

Цитируемый тутъ же Пеликаномъ профессоръ Балинскій говоритъ: «Ежедневный опытъ убѣждаетъ насъ, какъ легко въ заведеніяхъ воспринимаются слабоумными отрывочныя, нелѣпыя идеи, высказываемыя другими больными, какъ легко и съ какою механическою необходимостью повторяются ими чужія дѣйствія, безъ всякаго пониманія цѣли и значенія этихъ дѣйствій».

Г. Кандинскій пишетъ:

«Инстинктивною подражательностью отличаются нѣкоторыя животныя, напримѣръ, обезьяны; въ весьма высокой степени мы иногда видимъ ее у дѣтей, а также у идиотовъ и у нѣкоторыхъ слабоумныхъ... Вообще, можно сказать, что наклонность къ инстинктивной имитации уменьшается съ развитіемъ ума... Чувственное впечатлѣніе, воспринимаемое *мысленными* мозговыми центрами, пробуждаетъ въ послѣднихъ дѣятельность представленія, мысли. Такимъ образомъ, отвѣтомъ на чувственное впечатлѣніе можетъ быть не только двигательная, но и мыслительная реакція. У взрослого человѣка, при видѣ извѣстнаго жеста другого лица, кромѣ безсознательнаго побужденія воспроизвести этотъ жестъ, рождается въ мозгу извѣстное представленіе, вызывающее въ свою очередь другое представленіе и т. д., то есть результатомъ будетъ не воспроизведеніе видѣннаго жеста, а мысль или чувство (напримѣръ, чувство смѣшнаго). У обезьяны же то же самое зрительное впечатлѣніе влѣсто мыслительной реакціи, обусловитъ реакцію двигательную и видѣнный жестъ будетъ автоматически повторенъ. Точно то же бываетъ и у человѣка, если онъ въ умственномъ отношеніи немного отличается отъ обезьяны, то-есть когда онъ рожденъ идиотомъ или когда онъ сдѣлался слабоумнымъ. Напримѣръ, Паршалпъ сообщаетъ весьма любопытное наблюденіе относительно двухъ слабоумныхъ больныхъ, сосѣдей по кроватямъ: одинъ изъ нихъ служилъ какъ бы зеркаломъ другому съ неизмѣнною правильностью и поразительно полною повторилъ каждый жестъ, каждое движеніе и дѣйствіе послѣдняго („Общепонятныя психологическія этюды“, стр. 179).

Мы можемъ, пожалуй, удовольствоваться этими выписками, достаточно, кажется, выразительными въ смыслѣ рѣшительной противоположности ихъ содержанія вышеприведенному выводу Спенсера. Мы можемъ, впрочемъ, сослаться и на самого Спенсера, утверждающаго въ другомъ мѣстѣ (вполнѣ согласно съ самыми основаніями своего міроуразумѣнія), что «мѣриломъ какъ интеллектуальнаго развитія, такъ и развитія чувствъ можетъ служить разстояніе, которое отдѣляетъ ихъ проявленіе отъ первичнаго отраженнаго движенія». Въ приложеніи къ нашему вопросу это, между прочимъ, именно, и значитъ, что быстрая отзывчивость на внѣшнія впечатлѣнія отнюдь еще не свидѣтельствуетъ о высокомъ уровнѣ умственныхъ силъ. Если обезглавленная лягушка тщательно стираетъ правой

лапкой кислоту, которою вы намазали ей левую лапку, то, вѣдь, изъ этого не слѣдуетъ, что обезглавленная лягушка владѣетъ умственными способностями. И вообще двигательная реакція на вѣщныя впечатлѣнія, въ чемъ бы она ни состояла, сама по себѣ ровно ничего не говоритъ объ умственныхъ силахъ. Она можетъ выражать усиленную дѣятельность вершинъ душевной жизни, сознанія и воли, но можетъ быть и простымъ рефлексомъ, то есть прямымъ переходомъ ощущенія во вѣщное движеніе, минуя высшія инстанціи психическаго аппарата. Въ первомъ случаѣ движеніе степенью своей цѣлесообразности, умѣстности дѣйствительно выразитъ уровень умственныхъ силъ; во второмъ случаѣ движеніе, какъ бы оно ни было отчетливо, ровно ничего не значитъ въ смыслѣ опредѣленія обширности или глубины умственныхъ способностей. Къ какому же изъ этихъ двухъ типовъ двигательной реакціи на вѣщныя впечатлѣнія должны быть причислены движенія подражательныя; тѣ многочисленныя и многообразныя движенія, которыя насъ выше занимали и которыя самъ Спенсеръ имѣетъ въ виду, говоря о симпатической зѣвотѣ, о томъ «сочувствіи, вслѣдствіе котораго у нѣкоторыхъ истерическихъ субъектовъ является нервный припадокъ отъ зрѣніа такого же припадка у другого» и т. п.?

Отвѣтить на этотъ вопросъ было бы, разумѣется, не трудно, если бы Спенсеръ не ставилъ рядомъ съ симпатической зѣвотой и т. п. такихъ видовъ сочувствія или симпатіи, какъ, на примѣръ, проникновеніе страданіями ближняго до невозможности совершить жестокий поступокъ. Почти на любомъ случаѣ массоваго увлеченія и одиночной подражательности можно убѣдиться, до какой степени это смѣшеніе или сопоставленіе неосновательно, что, впрочемъ, мы уже видѣли, говоря о теоріи Адама Смита. Если бы толпа, убившая Верещагина, руководилась проникновеніемъ страданіями ближняго, то она спасла бы жертву, но она ее покончила, потому что была охвачена волной подражанія, столь же неудержимаго, какъ неудержима зѣвота при видѣ зѣвающего. Мы знаемъ, правда, что проникновеніе страданіями Христа не разъ вызывало подражаніе, доходившее до воспроизведенія крестныхъ ранъ; знаемъ, что сочувствіе къ страданіямъ роженицы можетъ вызвать появленіе молока въ грудяхъ посторонней зрительницы и тому подобныя симптомы подражательности. Но мы знаемъ также безчисленные случаи, въ которыхъ сочувствіе, какъ самостоятельное нравственное начало, стоитъ въ самомъ рѣзкомъ противорѣчій съ склонностью къ подражанію. И не трудно видѣть, что Спенсеръ просто повторилъ ошибку Адама Смита, недостаточно подчеркнувъ

роль воли и сознанія, отсутствующихъ или, крайней мѣрѣ, значительно подавленныхъ въ нравственной заразѣ.

Но подавленность сознанія и воли вовсе не необходимо выражается нравственной заразой и склонностью къ подражанію. Есть различныя психическія разстройства, въ которыхъ эта подавленность выражается совсѣмъ иначе. Психически больной можетъ быть совершенно оригиналенъ и, какъ говорится, ни на что не похожъ. Подражательность, даже въ наивысшихъ своихъ болѣзненныхъ формахъ, есть лишь спеціальныя случаи омраченія сознанія и слабости воли, обусловленные какими-то спеціальными обстоятельствами. Очевидно, что въ этихъ спеціальныхъ обстоятельствахъ долженъ находиться ключъ къ разумѣнію всѣхъ разнообразныхъ явленій, бѣглый обзоръ которыхъ сдѣланъ выше. Найдя этотъ ключъ, мы откроемъ себѣ далекія перспективы въ глубь истории и въ область практической жизни, ибо узнаемъ, какъ, когда и почему толпа шла и идетъ за героями.

Но какъ же найти этотъ драгоцѣнный ключъ? Весьма мало надежды разыскать его при помощи прямого анализа условий, среди которыхъ совершилось то или другое массовое движеніе съ рѣшительно подражательнымъ характеромъ или случай столь же рѣзко выраженнаго одиночнаго подражанія. Можно, правда, найти этимъ путемъ нѣкоторыя весьма цѣнныя указанія, что отчасти и сдѣлано историками, психологами и психіатрами. Но всѣ подобныя указанія имѣютъ отрывочный характеръ, прилагаются только къ одной какой-нибудь группѣ фактовъ и не даютъ формулы на столько общей и многообъемлющей, чтобы подъ нее могла быть подведена вся громадная совокупность явленій безсознательнаго подражанія. Оно и понятно: всякій случай одиночной подражательности, а тѣмъ паче массоваго увлеченія обставленъ такими сложными и запутанными условіями, изъ которыхъ необыкновенно трудно выдѣлать спеціальныя причины подражательности, ибо онѣ самымъ тѣснымъ и сложнымъ образомъ переплетаются съ разными другими жизненными теченіями. Возьмемъ случай, относительно простой и вмѣстѣ съ тѣмъ яркій—подражательную хорею, которую д-ръ Кашинъ наблюдалъ въ восточной Сибири. Физиологъ или психіатръ, безъ сомнѣнія, можетъ разсказать это явленіе на языкѣ своей науки, то-есть описать, какимъ образомъ зрительное или слуховое впечатлѣніе, не доходя до центральной сферы сознанія и воли, разрѣшается въ рефлекторное движеніе, болѣе или менѣе точно копирующее тотъ предметъ, которымъ дано впечатлѣніе. Но рѣчь его станетъ далеко уже не столь опредѣленною и увѣренною, когда дѣло дойдетъ до причинъ явленія и самъ собою возникнетъ вопросъ

что же общего между условиями жизни современной якутки или забайкальского казака и, например, итальянца XIV вѣка, неистово и вѣстѣ послушно отплясывающаго тарантеллу, или крестоносца, почти автоматически прыгающаго къ походу? Почему во всѣхъ этихъ случаяхъ рефлексъ получаетъ именно подражательный характеръ, а не какой-нибудь другой? Въ отвѣтъ мы получимъ или простой итогъ: «имитативность, стремленіе приходитъ въ унисонъ съ окружающими людьми, есть существенное свойство человѣка, существенная черта его психо-физической природы, данная въ самомъ устройствѣ нервно-мозгового механизма» (Кандинскій, «Общепонятные психологическіе этюды»). Или же намъ предложить отдѣльныя отрывочныя объясненія того, какъ крупное общественное несчастье, въ родѣ труса, глада или нашествія иноплемениковъ, парализовало сознаніе и волю современниковъ; какъ въ томъ или другомъ случаѣ вниманіе человѣка или цѣлой группы людей до такой степени поглощено однимъ какимъ-нибудь предметомъ или идеей, что внѣ этого предмета или идеи для нихъ въ данную минуту ничего не существуетъ. Все это очень справедливо, но не удовлетворяетъ нашего ума, не даетъ, такъ сказать, фізіоломіи, рѣзкихъ опредѣленныхъ чертъ явленію, представляющему въ дѣйствительности нѣчто очень рѣзкое.

Понятное дѣло, что при этомъ остается еще очень много недоразумѣній. Мы видѣли, напримеръ, что г. Кандинскій, въ противоположность мнѣнію Герберта Спенсера, прямо говоритъ: «наклонность къ инстинктивной имитации уменьшается съ развитіемъ ума». Между тѣмъ, говоря о быстромъ распространеніи спиритизма, г. Кандинскій вынужденъ признать, что «и при высокой степени умственного и нравственного развитія человѣкъ никогда *вовсѣмъ* не избѣжитъ дѣйствія нервно-психическаго контакта». Положимъ, что г. Кандинскій подчеркиваетъ слово *вовсѣмъ* и тѣмъ ослабляетъ впечатлѣніе своего горькаго вывода. Но нѣкоторая неопредѣленность все-таки остается. А затѣмъ она даже усиливается мотивировкой: «главнѣйшіе источники душевныхъ эпидемій—религіозное чувство, мистическія стремленія, страсть къ таинственному и необычайному—во всякомъ случаѣ не скоро изсякнутъ». А вѣдь намъ только-что сказали, что «имитативность, стремленіе приходитъ въ унисонъ съ окружающими людьми, есть существенное свойство человѣка, существенная черта его психо-физической природы, данная въ самомъ устройствѣ нервно-мозгового механизма»...

VII.

Мимоходомъ сказать, часто упоминаемая книжка г. Кандинскаго представляетъ любопытный примѣръ того, какъ часто люди науки сами себя обворовываютъ, если позволительно такъ выразиться при полномъ уваженіи къ автору. Вторая часть этой книжки, озаглавленная «Нервно-психическій контактъ и душевные эпидеміи», цѣликомъ посвящена занимающему насъ здѣсь предмету, какъ показываетъ и самое заглавіе. Это очень интересный этюдъ. Но любопытно, что г. Кандинскій ни единымъ словомъ не касается мимичности и происхожденія покровительственно-подражательныхъ органическихъ формъ; это для него въ нѣкоторомъ родѣ «чиновникъ совершенно посторонняго вѣдомства». О явленіяхъ стигматизаціи упомянуто вскользь, въ двухъ словахъ. Но самое любопытное—это отношеніе автора къ гипнотизму. Гипнотическіе опыты, повидому, особенно дороги г. Кандинскому въ качествѣ полемическаго орудія противъ «чудесъ спиритизма». Г. Кандинскій, совершенно справедливо негодуя противъ податливости и легковѣрія не только «публики», а и ученыхъ людей, насколько они увлечены «эпидеміей спиритизма», стремится главнымъ образомъ опровергнуть чудесность спиритизма при помощи разъясненія гипнотическихъ опытовъ. Похвальная цѣль, конечно. Но удивительно все-таки, что въ трактатѣ, специально посвященномъ подражательности, едва-едва упоминается о той громадной роли, которую подражаніе играетъ въ самомъ составѣ гипнотическихъ сеансовъ. Между тѣмъ здѣсь-то можетъ быть и лежить ключъ къ уразумѣнію всей тайны «героевъ и толпы».

Явленія гипнотизма всѣмъ извѣстны, благодаря представленіямъ Ганзена, надѣлавшимъ столько шума. Для насъ самое интересное въ этихъ явленіяхъ есть наклонность гипнотиковъ къ подражанію: они повторяютъ съ большою точностью всѣ продѣлываемыя передъ ними движенія. Гипнотизированный субъектъ покорно идетъ за «магнетизеромъ», сжимаетъ кулакъ, когда тотъ сжимаетъ свой передъ его глазами, открываетъ и закрываетъ, по примѣру магнетизера, ротъ и т. п. При извѣстныхъ условіяхъ, онъ столь же автоматически повторяетъ слышимые имъ звуки, будетъ ли то звукъ камертона или человѣческая членораздѣльная рѣчь. Одинъ изъ самыхъ поразительныхъ фокусовъ Ганзена называется «нянька съ ребенкомъ» и состоитъ въ слѣдующемъ: Ганзенъ придаетъ тѣлу гипнотизированнаго положеніе няньки, держащей ребенка на рукахъ горизонтально, и кладетъ ему на руки куклу. Затѣмъ самъ магнетизеръ становится передъ этимъ жи-

вымъ автоматомъ и покачивается изъ стороны въ сторону, подражая нянькѣ, укачивающей ребенка: гипнотизированный съ большою точностью повторяетъ эти движенія, какъ бы укачивая куклу. Вообще, гипнотизированный можетъ быть поставленъ въ самыя нелѣпыя положенія и затѣмъ повторять съ правильностью зеркала все, что передъ нимъ будетъ продѣлываться. Для объясненія этихъ явленій мы возьмемъ въ руководство Гейденгайна, который специально занялся фокусами Ганзена, самъ ихъ повторилъ и дополнилъ, и на авторитетъ котораго положиться можно («Такъ называемый животный магнетизмъ». Спб. 1880).

Гипнотическое состояніе достигается постоянными, однообразными, слабыми раздраженіями кожныхъ нервовъ лица или слуховыхъ или зрительныхъ нервовъ. Пристально прислушиваясь къ однообразному тиканію часовъ, къ простому напѣву колыбельной пѣсни; пристально смотря на блестящій неподвижный предметъ, въ родѣ гранатнаго стекляннаго шарика или, пожалуй, глазъ магнетизера; подвергаясь медленнымъ, однообразнымъ поглаживаніямъ по лицу непосредственно или на извѣстномъ разстояніи; словомъ—подвергаясь всякаго рода однообразнымъ, слабымъ и равномерно повторяющимся раздраженіямъ, человѣкъ впадаетъ въ то безсознательное состояніе, которое называется гипнозомъ. Въ этомъ состояніи, говоритъ Гейденгайнъ, движеніе, безсознательно воспринятое, но не разившееся въ сознательное представленіе, не перешедшее за порогъ сознания, вызываетъ подражаніе. Гипнотизированный субъектъ является, такимъ образомъ, подражательнымъ автоматомъ, повторяющимъ тѣ изъ движеній, которыя связаны для него съ зрительнымъ или слуховымъ безсознательнымъ впечатлѣніемъ. Матеріальное измѣненіе, вызываемое въ центральныхъ органахъ чувственнымъ раздраженіемъ, обуславливаетъ движенія съ характеромъ произвольности, но которыя тѣмъ не менѣе произвольны. «Подобныя подражательныя движенія происходятъ и въ обыденной жизни», замѣчаетъ Гейденгайнъ и ссылается на автоматическую зѣвоту при видѣ зѣвающего и на «страсть» дѣтей къ подражанію. Дѣло въ томъ, что у гипнотиковъ, вмѣстѣ съ омраченіемъ сознания, сильно повышается рефлекторная раздражительность, именно потому, что подавляется дѣятельность извѣстныхъ отдѣловъ головного мозга — коркового слоя полушарій. Подробное выясненіе этого обстоятельства не входитъ въ нашу задачу, и мы можемъ ограничиться окончательнымъ выводомъ, къ которому пришелъ Гейденгайнъ относительно причинъ гипнотизма, вообще, и автоматической подражательности гипноти-

ковъ въ частности. Причина эта заключается въ «подавленіи гангліозныхъ ячеекъ коркового вещества, вызванномъ слабымъ, постояннымъ раздраженіемъ кожныхъ нервовъ лица или слуховыхъ, или зрительныхъ нервовъ».

Что въ данномъ случаѣ дѣло заключается, именно, въ этой скудости раздраженій, доказывается отчасти и встрѣчнымъ опытомъ: все очарованіе гипноза исчезаетъ, какъ только гипнотикъ подвергается сильнымъ или измѣненнымъ влияніямъ на органы чувствъ. Если, въ противоположность тѣмъ слабымъ и однообразнымъ влияніямъ, которыми обуславливается гипнотическое состояніе, ударить за-гипнотизированнаго по рукамъ, крикнуть надъ ухомъ, обдать холодомъ, то онъ просыпается. Тотъ же самый результатъ часто получается, если, вмѣсто экспериментатора, усыпившаго гипнотика своимъ упорнымъ «магнетическимъ» взглядомъ, встанетъ другое лицо. До этого момента «просіянія своего ума» гипнотизированный находится въ полной власти магнетизера, который можетъ играть имъ до послѣднихъ предѣловъ униженія человѣческаго достоинства. Это достигается тѣмъ удобнѣе, что характеристическими признаками гипнотическаго состоянія являются, между прочимъ, анестезія и аналгезія, то-есть потеря чувствительности и потери чувствъ: боли: гипнотика можно колоть, рѣзать, жечь—онъ не чувствуетъ боли. Интересны, между прочимъ, гипнотическіе опыты надъ лошадьми. Еще въ 1828 г. венгерецъ Баласса представилъ «способъ ковки лошадей безъ употребленія насилія»: «Посредствомъ неподвижнаго взгляда лошадь заставляють пятиться, поднять голову и неподвижно держать шею, и ею можно завладѣть до такой степени, что многія лошади не двинутся, если даже вблизи ихъ выстрѣлить. Крестообразное поглаживаніе по лбу и по глазамъ также представляетъ отличное вспомогательное средство, съ помощью котораго можно успокоить и усмирить самую боязливую, а также самую горячую и злую лошадь до такой степени, что она опуститъ голову и какъ бы заснетъ... Это гипнотизированіе (балассированіе) лошадей въ Австріи предписано даже военнымъ закономъ. Цѣлая система поглаживанія отъ головы по всему тѣлу еще раньше указана однимъ американскимъ укротителемъ лошадей» (Бенедиктъ. «Катаlepsія и месмеризмъ». Спб. 1880, стр. 33).

Итакъ, гипнотикъ находится совершенно во власти экспериментатора. Однако, это состояніе безвольной и безсознательной игрушки въ рукахъ другого человѣка имѣетъ свои степени. Есть, напримѣръ, гипнотики, способные и неспособные отвѣчать на заданный имъ вопросъ. Очевидно, что у первыхъ еще работаютъ нѣкоторыя части мозга, не функ-

ціонируючі у вторихъ. Далѣ, одни безсознательно подражають всѣмъ производимымъ передъ ними движеніямъ, но не исполняютъ обращенныхъ къ нимъ приказаній, если приказанія эти не сопровождаются движеніями, такъ сказать, подсказывающаго свойства. Такой гипнотикъ пойдетъ, пожалуй, за вами, если вы ему прикажете, но онъ пойдетъ, именно, за вами, подражая вамъ, а отнюдь не потому, что ваше приказаніе дошло по адресу. Есть, наоборотъ, и такіе, которые дѣйствительно повинуются самымъ нелѣпымъ приказаніямъ, наприкладъ, пьютъ чернила, суютъ руки въ огонь и т. п., не нуждаясь въ томъ, чтобы передъ ними продѣлывалось то же самое. Ясно, что повинующіеся погружены въ менѣе глубокий сонъ (если можно въ данномъ случаѣ употребить это слово), чѣмъ подражающіе, ибо первые все-таки способны воспринять приказаніе.

Все это достигается однообразными, равномерными и слабыми вліяніями на органы чувствъ. Таково фізіологическое объясненіе. Что касается объясненія психологическаго, то читатель можетъ его найти въ статьѣ Шнейдера «О психическихъ причинахъ гипнотическихъ явленій» («Новое Обозрѣніе» 1881, № 2). Я приведу только окончательный выводъ Шнейдера: «Гипнотизмъ есть не что иное, какъ искусственно произведенная ненормальная односторонность сознанія, то-есть ненормально односторонняя концентрація сознанія... Вслѣдствіе продолжительной фиксаціи блестящаго предмета, вслѣдствіе прислушиванія къ извѣстному равномерному звуку процессъ сознанія постепенно концентрируется въ ненормальной степени на одномъ данномъ явленіи, такъ что другія вліянія очень трудно или вовсе не доходятъ до сознанія».

Читатель видитъ, что объясненія Гейденгайна и Шнейдера говорятъ, собственно, одно и то-же, только на разныхъ языкахъ. Вульгарно выражаясь, можно сказать, что гипнотикъ, поставленный экспериментаторомъ въ условія крайне скудныхъ и однообразныхъ впечатлѣній, начинаетъ жить однообразною жизнью и, очень быстро исчерпавъ самого себя, превращается въ выдѣненное яйцо, которое собственнаго содержанія не имѣетъ, а наполняется тѣмъ, что случайно вольтается въ него со стороны.

Спрашивается, въ какой мѣрѣ можемъ мы обобщить этотъ выводъ? Въ какой мѣрѣ можно допустить, что и въ другихъ случаяхъ подражанія самостоятельная жизнь индивида поѣдается скудостью и однообразиемъ впечатлѣній?

Прежде всего сюда сами собой входятъ многіе факты, хорошо изученные и прочно поставленные въ науку. Таковы состоянія

экзальтаціи и экстаза, какъ мы видѣли, весьма часто сопровождающія нѣкоторые поразительныя формы подражательности. Экстатикъ весь поглощенъ однимъ какимъ-нибудь предметомъ, образомъ, идеей, почему-нибудь сосредоточившимъ на себѣ его вниманіе. Все остальное онъ видитъ и не видитъ, слышитъ и не слышитъ, то-есть впечатлѣнія отъ постороннихъ предметовъ, хотя, можетъ быть, и доходить до него, но не сознаются имъ. Вслѣдствіе чего на высшихъ ступеняхъ экстаза замѣчаются та же потеря чувствительности и та же потеря чувства боли, которыя характеризуютъ гипнотическое состояніе. Экстатикъ не чувствуетъ, что его жжетъ огонь костра, на который его ввела святая инквизиція, не чувствуетъ пытокъ и ранъ, ибо вся его психическая жизнь, вся безъ остатка, сосредоточена на той идеѣ, за которую онъ подвергается наказанію. Онъ могъ бы, поистинѣ, смѣяться надъ своими палачами, всѣ усилія которыхъ причинить ему боль пропадаютъ даромъ. Съ этимъ состояніемъ не слѣдуетъ, однако, смѣшивать состояніе внѣшнимъ образомъ выражающееся точно такъ же, но совершенно противоположное по внутренней психической механикѣ. Исторія знаетъ много примѣровъ людей, по наружности спокойно терпѣвшихъ величайшія мученія, но не потому, чтобы они не чувствовали боли, а потому, что не хотѣли показать, что имъ больно, причемъ естественной потребности выразить боль крикомъ, стономъ, жестомъ противопоставляли страшное напряженіе сознанія и воли. Эти люди, такъ полно владѣющіе собой, такъ сильно задерживающіе самыя, повидимому, неизбѣжныя двигательныя реакціи на внѣшнія впечатлѣнія, очевидно, не могутъ быть склонны къ подражанію. Наоборотъ, экстастики и люди, въ состояніи болѣе или менѣе близкомъ къ состоянію экстаза, совершенно не могутъ управлять собой, и потому пунетъ ихъ односторонне направленного вниманія имѣетъ надъ ними всеподавляющую власть. Наиболѣе выразительнымъ примѣромъ можетъ служить въ этомъ отношеніи стигматикъ. Св. Францискъ, наприкладъ, уединеніемъ, постомъ, всякими лишеніями сокративъ свой жизненный бюджетъ до *minimum'a*, затворилъ, такъ сказать, свою душу на-глухо для всѣхъ внѣшнихъ впечатлѣній и оставилъ просвѣтъ для одного только луча: для образа страданій Христа. И этотъ образъ заставилъ Франциска подражать себѣ, пригнавъ кровь къ ладонямъ, ступнямъ и лѣвому боку экстастика. Правда, Францискъ, можетъ быть, и желалъ уподобиться Христу, но *такое* уподобленіе совершилось, конечно, помимо его воли. То же самое происходитъ въ случаяхъ мгновеннаго сильнаго впечатлѣнія, если оно по-

чему-нибудь всецѣло овладѣваетъ человѣкомъ. И здѣсь, какъ, напримѣръ, въ случаяхъ появленія молока въ грудяхъ неродиншей женщины и т. п., подражательный характеръ явленія зависитъ отъ необычайной односторонности состоянія сознанія въ данную минуту.

Такимъ образомъ для вызова и обнаруженія склонности къ подражанію, а, слѣдовательно, и для образованія того, что мы называемъ толпой, нужно, повидимому, одно изъ двухъ: или впечатлѣніе, столь сильное, чтобы оно временно задавило всѣ другія впечатлѣнія, или постоянная, хроническая скудость впечатлѣній. Соединеніе этихъ двухъ условій должно, понятное дѣло, еще усиливать эффектъ подражательности. Къ провѣркѣ этого принципа и дальнѣйшему его приложенію мы теперь и обратимся.

VIII.

Читатель благоволитъ припомнить подражательную хорею, о которой у насъ шла рѣчь въ прошлый разъ.

Не нужно обладать чрезмѣрною страстью къ обобщеніямъ, чтобы усмотрѣть ближайшее родство между состояніемъ гипноза и состояніемъ «омеряченныхъ» которыхъ наблюдать д-ръ Кашинъ. Самъ Ганзенъ не сумѣлъ бы дать болѣе разительное представленіе, чѣмъ это хоровое повтореніе солдатами словъ команды и ругательства командира. Затѣмъ омеряченіе, совершенно такъ же, какъ и гипнозъ, выражается въ двухъ формахъ: человѣкъ либо подражаетъ, повторяетъ все, сообщаемое ему зрительными и слуховыми впечатлѣніями, либо повинуется всякому приказанію, какъ бы оно ни было нелѣпо или возмутительно. Спрашивается, въ какой мѣрѣ приложимо къ омеряченію то объясненіе, которое найдено для гипнотизма? Точнѣе говоря, есть-ли какое-нибудь сходство между условіями жизни омеряченныхъ и тѣми, въ которыхъ искусственно ставятся гипнотизируемые?

Что условія жизни въ Якутской области крайне однообразны, въ этомъ, конечно, не можетъ быть сомнѣнія: скудная флора и фауна, однообразная снѣжная пелена, въ теченіе слишкомъ полугода дающая глазу исключительно впечатлѣніе бѣлаго цвѣта, скудость звуковъ, красокъ, формъ, скудость промысловъ, занятій, интересовъ, скудость жизни, вообще. Совокупность этой скудости, очевидно, весьма немногимъ превосходитъ ту, которая дается неустаннымъ созерцаніемъ стекляннаго шарика, постояннымъ прислушиваніемъ къ тиканію часовъ и т. п. Надо замѣтить, что на сѣверѣ европейской Россіи и Сибири нѣкоторыя формы нервныхъ страданій чрезвычайно распространены, и имен-

но тѣ, которыя особенно способны передаваться путемъ подражанія. Объ этомъ свидѣтельствуютъ многіе путешественники и врачи, которыхъ судьба забрасывала въ глухіе закоулки сѣвера. Такъ, напримѣръ, въ работѣ г. Држевецкаго «Медико-топографія Усть-сысольскаго уѣзда» (Спб. 1872) приведена таблица о числѣ больныхъ въ устьсысольской больницѣ за семнадцать лѣтъ, съ 1853 по 1869. Въ этой таблицѣ нервныя болѣзни занимаютъ пятое мѣсто (по количеству больныхъ) изъ 20 рубрикъ, на которыя дѣлится таблица. И, именно, нервныя и мозговыя болѣзни составляютъ 7,1% общей цифры. Въ томъ числѣ 2,1% приходится на болѣзни головного и спинного мозга (кровоизліяніе, воспаленіе), 2,2% на умопомѣшательство и 3,8% на истерику, невралгіи и судороги. «Всѣ эти процентныя числа, говоритъ г. Држевецкій, — гораздо больше цифръ таковыхъ же болѣзней во всѣхъ русскихъ больницахъ, въ сложности. При всемъ томъ нервныя болѣзни въ дѣйствительности гораздо больше распространены въ Устьсысольскомъ уѣздѣ, чѣмъ сколько показываютъ цифры, потому что въ больницу поступаютъ, большею частью, солдаты, уроженцы другихъ мѣстъ Россіи, и мало поступаетъ женщинъ, между которыми эти болѣзни имѣютъ самое большое распространеніе. Въ частной практикѣ я встрѣчалъ очень много случаевъ различныхъ нервныхъ болѣзней, такъ что это были самыя частыя болѣзни, противъ которыхъ просили у меня пособія. Чаше прочихъ нервныхъ болѣзней встрѣчаются тамъ истерика (народное названіе «порча») и *chorea magna* (народное названіе больныхъ — «кликуша»)). Говоря объ одной нервной болѣзни на крайнемъ сѣверѣ Европейской Россіи, г. Максимовъ замѣчаетъ: «Икотою страдаетъ вѣрная четверть всего женскаго населенія по правую сторону отъ рѣки Сѣверной Двины. Дальше къ западу отъ Двины болѣзнь эта пропадаетъ и въ Кемскомъ поморьи является подъ новою формою (нѣсколько слабѣе) и подъ новымъ названіемъ (стрѣлье, щипота)» («Годъ на сѣверѣ»).

Любопытно слѣдующее общее замѣчаніе доктора Штейнберга. Перечисляя причины, обуславливающія обширное распространеніе кликушества, онъ, между прочимъ, говоритъ: «Обособленное положеніе отдѣльно взятаго человѣка и даже цѣлой группы людей, общества, служить, въ свою очередь, не маловажною причиной, почему извѣстныя понятія, міросозерцанія, изъ которыхъ развивается болѣзнь, какъ бы они ни были нелѣпы, крѣпко и неизмѣнно держатся, сохраняются и свято передаются, безъ всякой критики, изъ устъ въ уста, отъ предковъ потомкамъ. Обособленное положеніе дѣй-

ствуется еще сильнѣе, если человѣкъ или цѣлое населеніе живетъ среди дикой, пустынной, гористой природы, производящей неблагоприятное вліяніе на нервную систему и психическую сторону человѣка своимъ однообразиемъ или бурными атмосферными явлениями; происхожденіе болѣзни изъ этого источника въ особенности замѣчается у насъ на крайнемъ сѣверѣ» («Кликушество и его судебно-медицинское значеніе». Архивъ судебн. медицины, 1870, № 2).

Г. Штейнбергъ выражается очень неточно, говоря о «понятіяхъ, міросозерцаніяхъ, изъ которыхъ развивается болѣзнь». «Понятія, міросозерцанія» даютъ и могутъ давать только извѣстную окраску болѣзни. Мудрено, разумѣется, представить себѣ человѣка, не вѣрящаго въ чорта и вмѣстѣ съ тѣмъ бѣсоодержимаго (то-есть, по его собственному мнѣнію, бѣсоодержимаго). Но изъ этого не слѣдуетъ, что человѣкъ, не вѣрящій въ чорта, тѣмъ самымъ гарантированъ отъ той формы нервного расстройства, которую люди невѣжественные и суевѣрные называютъ бѣсоватостью. Справедливо, однако, что параллельно съ разсѣяніемъ мрака невѣжества и суевѣрія должно идти устраненіе, въ большей или меньшей степени той «обособленности» и того «однообразія» жизни, которая составляетъ, по нашему предположенію, коренныя условія эпидемическаго распространенія нѣкоторыхъ нервныхъ страданій. Самая даже вѣра въ чорта, напримѣръ, ослабѣваетъ, благодаря прямому вліянію увеличивающагося разнообразія *личной* жизни. По мѣрѣ того, какъ опытъ и наблюденіе расширяютъ и разнообразятъ сферу представленій и понятій человѣка, слабѣетъ суевѣріе, а вмѣстѣ съ тѣмъ (если справедливо наше основное предположеніе) должна ослабѣвать склонность къ подражанію, вообще, и рѣзко патологическія ея формы, въ особенности.

Но я не даромъ подчеркнул выше слово: разнообразіе *личной* жизни. И читатель, удостоившій своимъ вниманіемъ мои прежнія писанія, конечно, этому не удивится. Разнообразие общественной жизни, взятой въ цѣломъ, можетъ, какъ я много разъ это доказывалъ, находится въ прямомъ противорѣчій съ богатствомъ личной жизни и даже обусловливать собою ея однообразие, скудость, односторонность. И въ такомъ случаѣ мы найдемъ, можетъ быть, чрезвычайную склонность къ подражанію. Ниже мы увидимъ блистательные тому примѣры, а теперь оставимъ пока это обстоятельство въ сторонѣ, равно, какъ и отмѣченное г. Штейнбергомъ вліяніе «бурныхъ атмосферныхъ явленій». Во всякомъ случаѣ, однообразіе и обособленность жизни въ Якутской области не подлежатъ никакому сомнѣнію. Тамъ есть мѣстности, куда

почта рѣдко приходитъ и которыя, слѣдовательно, сообщаются съ остальнымъ міромъ разъ въ недѣлю, разъ въ мѣсяцъ и даже разъ въ годъ. Тамъ зима тянется шесть мѣсяцевъ. Тамъ можно проѣхать 500 верстъ, не встрѣтивъ того образа и подобія Божія, который называется человѣкомъ. Тамъ ѣдятъ рыбу, рыбу и опять рыбу, и рѣдка, и капуста составляютъ мѣстами едва-ли не лакомство. Тамъ человѣкъ можетъ въ теченіе цѣлаго дня не услышать, кромѣ воя вѣтра, почти никакого другого звука и не видѣть, кромѣ бѣлаго, никакого другого цвѣта. Сгустите еще немножко краски скудости и однообразія — и вы получите настоящій, только чудовищно-огромный, залъ, приспособленный для гипнотическихъ опытовъ.

Распространяться объ этомъ, кажется, не стоитъ, но очень стоитъ обратить вниманіе на то обстоятельство, что жертвами олгинджи являются въ замѣткѣ доктора Кашина солдаты и женщины. Это, конечно, не есть своего рода монополія солдатъ и женщинъ. Безъ сомнѣнія, и всякіе другіе мужчины подвергаются омерзченію. Но любопытно все-таки, что наиболѣе характерные случаи, невольно выдвинутые наблюдателемъ на первый планъ, относятся, именно, къ женщинамъ и солдатамъ. Возьмемъ же роту солдатъ, автоматически повторяющихъ слова команды и ругательства командира, и якутку, автоматически исполняющую постыдное приказаніе мѣстнаго донъ-жуана.

Мнѣ сообщали наблюденіе доктора Лихонина, такъ успѣшно повторившаго въ Петербургѣ опыты Ганзена, что гвардейскіе солдаты оказались чрезвычайно склонными къ гипнозу. Будто бы, именно, 60% изъ нихъ выпадаютъ въ гипнотическое состояніе очень быстро. Результатъ на первый взглядъ совершенно парадоксальный или, по крайней мѣрѣ, совершенно противорѣчащій обыкновеннымъ, ходячимъ представленіямъ о гипнотическихъ явленіяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, гвардейскіе солдаты въ физическомъ отношеніи представляютъ цвѣтъ и красу русскаго народа, избранныхъ изъ избранныхъ по росту и здоровью, съ сильными мускулами и несокрушимыми нервами. А между тѣмъ, мы привыкли думать, что къ гипнотическому состоянію наиболѣе склонны, то-есть преимущественно быстро и легко въ него впадаютъ, люди слабые, вообще, и слабонервные въ особенности. Это ходячее мнѣніе, до извѣстной степени, вѣроятно, дѣйствительно соотвѣтствующее истинѣ, подтверждается и научными авторитетами. Такъ, Гейденгайнъ говоритъ, что гипнотизму подвергаются преимущественно блѣдые, анемичные субъекты. Далѣе, онъ полемизируетъ съ Ганзеномъ по

слѣдующему поводу. Ганзенъ сообщаетъ, какъ собственное наблюдение, что для опытовъ особенно годятся люди, дѣлающіе сильные мышечныя движенія; «потому онъ предпочитаетъ англійскихъ студентовъ, которые много гребутъ, плаваютъ, ѣздятъ верхомъ, нѣмецкимъ студентамъ съ ихъ напряженною комнатною умственной работой». Гейденгайнъ замѣчаетъ, что, говоря это, Ганзенъ имѣетъ, вѣроятно, преимущественно въ виду одну сторону гипнотическихъ явленій, именно интенсивность мышечнаго оцѣпенѣнія, «которое несомнѣнно у его любимцевъ будетъ выражено сильнѣе, если ихъ загипнотизировать, чѣмъ у людей слабыхъ. Но, чтобы процентъ лицъ, способныхъ къ гипнозу, былъ тамъ больше, чѣмъ здѣсь, въ этомъ я рѣшительно сомнѣваюсь». Можетъ быть, способность къ гипнозу русскихъ гвардейскихъ солдатъ поколебала бы скептицизмъ Гейденгайна, хотя весьма вѣроятно также, что его замѣчаніе вполне справедливо; то есть, что процентъ способныхъ къ гипнозу у англійскихъ и нѣмецкихъ студентовъ приблизительно одинаковъ или даже у послѣднихъ больше, чѣмъ у первыхъ, но у англійскихъ, вслѣдствіе усиленнаго развитія мускулатуры, рѣзче бываютъ выражены явленія тетаническаго сокращенія, окоченѣнія или оцѣпенѣнія мышцъ. Извѣстно, что на этомъ окоченѣніи основываются многіе поразительные опыты Ганзена. Напримѣръ, онъ кладетъ загипнотизированнаго субъекта горизонтально, такъ что затылкомъ тотъ упирается на одинъ стулъ, а ступнями ногъ на другой, затѣмъ становится ему на грудь или животъ, и гипнотизированный не гнется. Понятно, что сильно развитая мускулатура должна много способствовать успѣху подобныхъ опытовъ. Но весь производимый ими эффектъ еще ровно ничего не говоритъ о процентномъ отношеніи способныхъ къ гипнозу между людьми физически сильными и физически слабыми. Такъ что и ходячее мнѣніе и мнѣніе Гейденгайна о преимущественной склонности къ гипнозу «блѣдныхъ, анемичныхъ субъектовъ» нисколько не колеблется заявленіемъ Ганзена на счетъ англійскихъ и нѣмецкихъ студентовъ.

Однако, вотъ русскіе гвардейцы, люди въ цвѣтѣ лѣтъ, здоровья и силы, изъ стомилионнаго населенія имперіи избранные, оказываются конкурентами блѣдныхъ, анемичныхъ субъектовъ. Это фактъ въ высшей степени интересный, и желательнѣе бы, конечно, было получить вполне точныя на этотъ счетъ свѣдѣнія. Но, какъ ни поразителенъ этотъ фактъ на первый взглядъ, какъ ни противорѣчитъ онъ установившимся понятіямъ, а его можно бы было предвидѣть, даже на основаніи тѣхъ только фактическихъ

данныхъ и соображеній, какія до сихъ поръ приведены въ предлагаемой статьѣ.

Не въ томъ, надо думать, дѣло, что къ гипнозу оказываютъ склонность *гвардейскіе* солдаты, которыхъ только и могъ д-ръ Лихонинъ имѣть подъ рукой въ Петербургѣ, а въ томъ, что они *солдаты*. И въ любомъ армейскомъ полку, и въ той заброшенной на край свѣта ротѣ, которую д-ръ Кашиный видѣлъ въ омеряченномъ состояніи, процентъ способныхъ легко и быстро впадать въ гипнотическій сонъ то-есть, легко и быстро отдавать свою волю въ чужія руки, оказался бы, конечно, приблизительно таковъ же, какъ и между гвардейцами. Онъ былъ бы даже, вѣроятно, скорѣе больше, чѣмъ меньше. Дѣло въ условіяхъ жизни солдата. Становясь на свое мѣсто въ строю, солдатъ видитъ около себя людей одинаковаго съ нимъ роста, въ одинаковой съ нимъ позѣ, съ однообразно опущенными руками, однообразно уставленными ногами, съ одними и тѣми же «выпускками, погончиками, петличками». Куда бы онъ ни посмотрѣлъ, онъ видитъ одни и тѣ же красные или синіе канты или воротники, однѣ и тѣ же золотыя или серебряныя пуговицы. Вся эта масса должна, какъ одинъ человекъ, выдѣлывать одни и тѣ же артикулы ружьемъ, дѣлать одни и тѣ же движенія и «въ ногу» ходить подъ однообразно ритмическіе звуки марша, безъ конца повторяя про себя: «разъ, два, разъ два, лѣвой, правой, лѣвой, правой». Словомъ, солдатъ въ строю, какъ бѣлка въ колесѣ, вертится въ кругу крайне однообразной и несложной комбинаціи зрительныхъ, слуховыхъ и осязательныхъ впечатлѣній, и насильственно, иногда прямо физическою болью возвращается въ этотъ закодированный кругъ, если его вниманіе отвлечется на мигу чѣмъ-нибудь постороннимъ. И такъ изо дня въ день. Солдатская жизнь внѣ строя, не будучи столь выразительно скудна и однообразна, тѣмъ не менѣе вся составляетъ подготовленіе къ жизни строевой и подготовленіе въ извѣстномъ смыслѣ чрезвычайно цѣлесообразное: казарма, вся размѣренная и замкнутая, разнообразія впечатлѣній, конечно, не даетъ, а внѣ казармы солдатъ тоже не ахти-какую богатую жизнь ведетъ. Изъ всего этого слѣдуетъ нѣчто, очень подходящее къ Гейденгайновской физиологической формулѣ условій гипнотическаго состоянія (подавленіе дѣятельности клѣточекъ корковаго вещества, вызванное слабымъ, постояннымъ, однообразно-повторяющимся раздраженіемъ тѣхъ или другихъ нервовъ) и къ психологической формулѣ Шнейдера (ненормально односторонняя концентрація сознанія). Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что солдаты, хотя бы и сильные, здоровые гвар-

сейцы, гипнотизируемые самою жизнью, быстро впадают въ настоящее гипнотическое состояніе и подражаютъ «магнетизеру» и повинуются ему. А если такъ, то не столь уже удивительнымъ представляется и эпизодъ съ омеряченными солдатами, рассказанный д-мъ Кашинымъ, тѣмъ болѣе, что тутъ къ специально-солдатской скудости примѣшивается еще скудость специально-якутская. Конечно, многое въ этомъ эпизодѣ остается все-таки не только непривычнымъ для нашей мысли, не вышедшей до сихъ поръ въ подобныя вещи, а и совершенно темнымъ. Почему, напримеръ, солдаты, всегда аккуратно исполнявшіе команду «на плечо», въ такой-то день и часть, именно въ такой, а не въ другой, не исполнили этой команды, а сами закричали «на плечо»? Почему они, обыкновенно внимательно выслушивавшіе командирское «такъ и такъ», на этотъ разъ сами отвѣтили «такъ-и-такомъ»? Кто былъ «героемъ» этой омеряченной толпы, и какъ, слѣдовательно, зачался процессъ подражанія: всѣ ли солдаты мгновенно были охвачены волной подражанія или между ними выскочилъ одинъ какой-нибудь особенно болѣзненно воспримчивый солдатикъ, который увлекъ своимъ примѣромъ остальныхъ? Чтобы дать отвѣтъ на эти вопросы, надо знать дѣло со всѣми мельчайшими подробностями, каково, напримеръ, времяпровожденіе солдатъ въ роковой и предшествовавшіе ему дни. А такого подробнаго описанія г. Кашинъ не только не даетъ, а конечно, и не могъ бы дать. Однако, въ общихъ чертахъ фізіономія эпизода съ омеряченными солдатами для насъ выясняется, благодаря сопоставленію съ явленіями, хотя и недостаточными еще изученными, но все-таки извѣстными и притомъ доступными не только наблюденію, а и опыту.

Здѣсь можетъ быть уместно будетъ покончить съ одной областью явленій подражанія, которыя, не смотря на свою повторяемость, по всей вѣроятности, не всегда останутся для насъ въ подробностяхъ неизвѣстными. Я говорю о явленіяхъ покровительственной окраски и мимичности въ тѣсномъ смыслѣ слова. Я надѣюсь, что переодѣваніе песка, горноста, зайца, бѣлой куропатки на зиму въ бѣлые покровы, что и всѣ другіе случаи приспособленія цѣта животнаго къ цѣту его обстановки сами собой выяснились читателю, какъ результаты однообразія и постоянства зрительныхъ впечатлѣній (въ связи, разумѣется, съ наслѣдственностью и переживаніемъ приспособленнѣйшихъ индивидовъ). Но когда, напримеръ, лептались подражаютъ геликопидамъ или когда бабочка подражаетъ пчелѣ или осѣ, то дѣло становится гораздо сложнее, и эта-то сложность, надо думать, всегда останется для насъ нераспутанною. Какъ, въ са-

момъ дѣлѣ, дознаться, почему вниманіе такой-то бабочки сосредоточилось на обликѣ такой-то пчелы, избравъ ее своимъ «героемъ», предметомъ подражанія?

Дѣлаю это замѣчаніе мимоходомъ, чтобы болѣе уже не возвращаться къ покровительственной окраскѣ и мимичности, которыя и введены-то нами въ изслѣдованіе только для полноты фактическаго матеріала, для показанія всей обширности района подражанія.

Возвратимся къ солдатамъ.

Мы видѣли, что какъ гипнотическое состояніе, такъ и омеряченіе выражаются въ двухъ формахъ: автоматическомъ подражаніи и автоматическомъ повиновеніи, разница между которыми сводится къ различію въ степени подавленности сознанія. Повинующійся автоматъ способенъ воспринимать приказаніе, которое до сознанія автомата подражающаго не доходитъ. Такъ какъ разница здѣсь только въ степени, то одна форма можетъ переходить въ другую, при благоприятныхъ для этого условіяхъ. Такъ, напримеръ, якутка, которая сегодня безпрекословно исполняетъ позорное приказаніе, завтра при усиленіи болѣзненнаго состоянія, можетъ, оказаться глуха къ приказанію и только автоматически повторять слова и дѣйствія, доходящія до ея слуховыхъ и зрительныхъ нервовъ, но уже не переступающія за порогъ ея сознанія. Весьма можетъ быть, что солдаты, наблюдавшіеся г. Кашинымъ, страдали олгинджей и наканунѣ роковаго дня. Въ этотъ день болѣзнь приняла выпую, подражательную форму: люди вмѣсто того, чтобы *сдѣлать* «на плечо», то-есть исполнить команду, *закричали* «на плечо». Но и прежде, когда они безпрекословно повиновались командѣ, они, можетъ быть, уже находились въ омеряченномъ состояніи, которое выразилось, именно, этимъ автоматическимъ повиновеніемъ. Объ этомъ трудно судить, конечно, потому что солдатъ и долженъ повиноваться, «слушать команду». Но читатель глубоко ошибается, если думаетъ, что солдатское повиновеніе, особливо въ строю, вполне сознательно. Не только въ якутской сѣвѣжной пустынѣ, а и гдѣ-нибудь въ центрѣ цивилизаціи, на майскомъ парадѣ, напримеръ, огромная доля солдатскихъ движеній, криковъ и т. п. совершается помимо участія сознанія. Такъ бываетъ со всѣми людьми, занятыми дѣломъ очень привычнымъ и, слѣдовательно, не нуждающимся въ постоянномъ контролѣ высшей психической инстанціи. Но на стройное и исполнѣе автоматическое исполненіе команды несомнѣнно вліяютъ, кромѣ того, и вышеупомянутые элементы однообразія впечатлѣній, получаемыхъ солдатами изо дня въ день, а подобные элементы суть вмѣстѣ съ тѣмъ и необходимыя условія обѣихъ формъ гипно-

тического состоянія. Въ этомъ отношеніи очень поучителенъ слышанный мною разсказъ одного молодого человѣка, отбывавшаго воинскую повинность по окончаніи курса въ высшемъ учебномъ заведеніи. Онъ говорилъ, что, вопреки рѣшительному нежеланію, ему почти никогда не удавалось воздержаться отъ возгласовъ, которые полагаются солдатамъ послѣ извѣстныхъ обращеній къ нимъ начальства. Какъ разъ въ надлежащую минуту изъ груди молодого человѣка неудержимо рвалось: «здравія желаемъ, вашество»! Ради стараться, вашество»! Нѣчто подобное каждый можетъ испытать на себѣ, если, идя по улицѣ, встрѣтитъ отрядъ солдатъ, марширующихъ подъ музыку: не идти въ тактъ этого однообразнаго ритма, подъ который ровно, стройно маршируютъ сотни людей, почти невозможно или, по крайней мѣрѣ, очень неловко и требуетъ постоянного напряженія воли.

Такимъ образомъ, дисциплинѣ и субординаціи въ войскахъ, независимо отъ прямыхъ внушеній, одобреній, наказаній, чрезвычайно способствуетъ то однообразіе солдатской жизни, которое подавляетъ сознаніе и волю въ направленія подражанія и повиновенія. Этотъ результатъ, конечно, совпадаетъ съ самою цѣлью учрежденія войска: но не надо забывать, что наклонность къ подражанію и повиновенію есть оружіе обоюдоострое. На ней покоятся не только порядки въ войскахъ, а и тѣ чудеса храбрости, которыя совершаются иногда даже незначительною горстью солдатъ подъ вліяніемъ рѣшительнаго приказанія или энергическаго примѣра. Однако, изъ нея же вырастаютъ и поразительные случаи военной паники, когда нѣсколькихъ одиночныхъ примѣровъ трусости достаточно, чтобы увлечь въ бѣгство цѣлый отрядъ; случаи солдатскихъ возмущеній и бунтовъ, когда, какъ мы видѣли на одномъ эпизодѣ изъ бунта военныхъ поселеній 1831 года, даже глубокая личная преданность тому или другому начальнику не можетъ удержать солдата отъ увлеченія примѣромъ товарищей и отъ побѣненія этого самаго любимого начальника; случаи повального грабежа и насилій въ непріятельской, а иногда въ своей собственной странѣ, когда никакія угрозы и наказанія не въ состояніи удержать расходившуюся солдатчину.

Во избѣжаніе недоразумѣній, считаю нужнымъ еще разъ оговориться, что во всѣхъ подобныхъ случаяхъ на человѣческую душу вліяютъ очень разнообразные мотивы, но въ числѣ ихъ, притомъ заглушая иногда всѣ остальные, дѣйствуетъ и наклонность къ подражанію и повиновенію. А эта наклонность воспитывается тѣми же условіями, которыя опредѣляютъ автоматическое подражаніе и

повиновеніе гипнотизированнаго субъекта: скудостью, постоянствомъ и однообразіемъ впечатлѣній. Это, значить, и суть необходимыя условія для образованія того, что мы согласились называть «толпой».

Но прежде, чѣмъ идти дальше въ развитіи этого положенія, мы должны еще вернуться опять въ Якутскую область, гдѣ насъ ждетъ женщина, автоматически исполняющая безстыдное приказаніе якутскаго ловеласа. Приложивъ сюда вышеизложенныя соображенія о гнетущемъ характерѣ однообразія естественныхъ и общественныхъ условій якутской жизни, перенесемъ въ Англію XV вѣка, точнѣе говоря—въ художественное ея изображеніе въ одной изъ драматическихъ хроникъ Шекспира. Читатель потрудится припомнить въ драматической хроникѣ «Король Ричардъ Третій» разговоръ Ричарда (тогда еще герцога Глостера) съ лэди Анной, у гроба короля Генриха VI. Генрихъ, тестъ Анны, убитъ Ричардомъ, также, какъ и мужъ ея Эдвардъ. Анна провожаетъ гробъ Генриха, одѣтая въ глубокій трауръ и посылая страшныя проклятія убійцѣ. Вдругъ появляется самъ убійца, безобразный нравственно и физически, Ричардъ. Анна осыпаетъ его бранью, проклятіями, плюетъ на него, бѣснуетъ, а онъ рипостируетъ все въ одномъ и томъ же родѣ: «О, праведница милая, за что же браниться такъ»?—«Позволь, моя божественная прелесть»...—«Красавица, которой красоту не въ силахъ я изобразить словами»...—«Проклятъ домъ мой одинокій, куда въ немъ я сплю, и безъ тебя».—«Красота твоя всему виной, та красота, которой грезилъ я, та красота, изъ-за которой смѣло рѣшусь я на всѣ убійства въ мірѣ, чтобы хоть на мигъ къ груди твоей припасть».—«Изъ милыхъ устъ идти не можетъ ядъ».—«Твой взглядъ прелестный мнѣ давно зараза».—«Я жажду прелестей твоихъ».—«Я Генриха убилъ, но вызванъ былъ на то твоей красотой... Я Эдварда закололъ, но вызванъ былъ твоимъ лицомъ небеснымъ». И т. д. Въ концѣ концовъ, происходитъ нѣчто, приводящее въ изумленіе самого Ричарда, который вполне сознаетъ свою бездонную низость, свое физическое уродство и, повидимому, безуміе дерзости обращаться съ такими предложеніями къ женщинѣ, у которой онъ убилъ отца и мужа. Анна постепенно утихаетъ подъ давленіемъ, если можно такъ выразиться, словесныхъ «пассовъ» Ричарда, разрѣшаетъ ему «надѣяться», принимаетъ отъ него подарокъ и даже соглашается поручить ему похороны Генриха, а сама удаляется отъ гроба, возлѣ котораго только что плакала, проклинала, бѣсновалась.

Лэди Анна—не жалкая якутка, омерзительная однообразнымъ воемъ вѣтра, видомъ

безконечной снѣжной пелены и всею, вообще, страшною скудостью своей жизни. Ей нельзя просто приказать исполнить то, что требуется Ричарду. По отношенію къ ней приказаніе должно растаянуть въ просьбу, мольбу, выраженную какими-нибудь дѣйствіями или словами, въ концѣ-концовъ, столь же осязательно парализующими волю, какъ при другихъ, менѣе сложныхъ условіяхъ, покоряется она простымъ, короткимъ приказаніямъ. Такъ, въ Австріи, мы знаемъ, «балассируютъ» горячихъ и злыхъ лошадей: укротитель устремляетъ упорный, неподвижный взглядъ въ глаза лошади или однообразно поглаживаетъ ее по лбу и по глазамъ — и лошадь укрощена. (Болѣе простой и менѣе опасный опытъ каждый читатель можетъ сдѣлать надъ рѣчнымъ ракомъ: легкими, однообразными движеніями руки надъ ракомъ по направленію длины тѣла самый пугливый и топорщійся ракъ успокаивается въ нѣсколько секундъ). Если якутка омерячена, то лэди Анна балассирована упорнымъ однообразиемъ отвѣтовъ Ричарда англійскаго, а якутскому Ричарду нѣтъ надобности прибѣгать къ такимъ вспомогательнымъ средствамъ, потому что предметъ его вождельній уже препарированъ надеждами образомъ всею своею предыдущею жизнью и обстановкой. Читатель замѣтитъ, можетъ быть, что поведение лэди Анны гораздо проще объясняется женскимъ тщеславіемъ, женскою склонностью къ лести и похваламъ. Я вовсе не отрицаю наличности этого мотива, но думаю, что его слишкомъ мало для объясненія укрощенія Анны. Поэты такъ давно и много занимаются перипетіями «торжествующей любви», что было бы нетрудно набрать цѣлый ворохъ художественныхъ иллюстрацій къ процессу обольщенія, покоренія женщины. Но я довольствуюсь Шекспиромъ, потому что онъ Шекспиръ, и исторіей лэди Анны, потому что въ ней роль специально женскихъ слабостей крайне ничтожна. Не смотря на нѣкоторую грубость красокъ и какъ бы схематичность изображенія процесса, всякій, наблюдавшій болѣе или менѣе пристально жизнь, чувствуетъ художественную правду въ сценѣ у гроба Генриха VI. Нельзя только приступить къ этой правдѣ съ запасомъ тѣхъ вульгарныхъ, слишкомъ уже простыхъ наблюденій, которыми довольствуются обыкновенно заурядные художники. Не красота и не какой-нибудь внѣшній блескъ Ричарда покорилъ лэди Анну: онъ безобразенъ; не лести — она на своемъ вѣку слышала ея довольно; не какія-нибудь нѣжныя струны сочувствія — Ричардъ прямо говоритъ о «спальнѣ»; не мотивы благодарности или состраданія, столь часто переходящіе въ женскомъ сердцѣ въ любовь, — Ричардъ убилъ ея тестя

и мужа, и она его ненавидитъ. Лэди Анна просто балассирована. И тщеславіе представляетъ при этомъ развѣ только маленькую щелку, сквозь которую, между прочимъ, вторглась упорная воля Ричарда и покорила ея волю. Наконецъ, что касается этого тщеславія, то оно само есть результатъ и показатель специально усвоенной женщиной функции «нравиться», той функции, благодаря которой жизнь женщины «однообразна и нестра, и завтра та же, что вчера». Нѣтъ никакого сомнѣнія, что женщина, обладающая болѣе разностороннимъ запасомъ представленій и понятій, чѣмъ какой допускается исключительною функцией «нравиться», не будетъ балассирована столь легко. Словесные «пассы», въ чемъ бы они ни состояли, встрѣтятся въ этомъ случаѣ гораздо больше препятствій въ достиженіи своей цѣли — ненормально односторонней концентраціи сознанія и соотвѣтственнаго омраченія воли. Понятно, что этотъ результатъ можетъ облегчиться или, напротивъ, еще затрудниться какими-нибудь обстоятельствами, стоящими внѣ всякой связи съ непосредственнымъ предметомъ нашего изученія. Мы ихъ касаться не будемъ и, что касается любовныхъ отношеній, отмѣтимъ еще одно только соображеніе.

Ричардъ побѣдилъ Анну не какими-нибудь своими достоинствами, а единственно упорствомъ своей воли. Воля же эта не представляетъ ничего мистическаго или таинственнаго. Она выразилась въ томъ, что на всѣ взрывы негодованія и скорби Анны Ричардъ съ равномѣрностью и однообразиемъ маятника отвѣчаетъ легкими варіаціями на одну и ту же крайне скудную тему. Если бы въ его рѣчахъ отразились какія-нибудь сомнѣнія, колебанія, уклоненія въ другія, хотя бы и гораздо высшія сферы мысли и чувства; если бы онъ затрогивалъ въ душѣ Анны какія-нибудь другія струны, — его успѣхъ не былъ бы столь рѣшителенъ. И вотъ почему происходятъ иногда такіе странныя на первый взглядъ дѣла, что мозглякъ Монсъ оказывается счастливымъ соперникомъ Петра, ничтожный Раковицъ — предпочитается Лассалю, Пушкинъ — умираетъ на дуэли и т. п. Совсѣмъ не въ томъ тутъ дѣло, что Петръ уже не молодъ и суровъ, а Монсъ красивъ, какъ фарфоровая кукла. Петръ *въ этомъ случаѣ* просто не годился въ «героя». Онъ былъ слишкомъ широкъ, его воля, направляясь въ разныя стороны, не могла неустанно и равномѣрно ложиться на женщину. Деспотическій и жестокий, онъ въ сущности гораздо менѣе гнулъ волю женщины, чѣмъ мягкій и податливый Монсъ, который могъ добиваться своей цѣли съ постоянствомъ всегда себя равнаго бле-

ска стеклянной пуговицы, созерцаніе которой доводит челоуѣка до полной утраты собственной воли.

IX.

Мы видѣли, что средніе вѣка особенно богаты нравственными эпидеміями и въ количественномъ, и въ качественномъ отношеніи. То-есть и много ихъ было, и были онѣ необыкновенно разнообразны. Всегда были и есть отдѣльныя личности, которымъ приходятъ въ голову странныя мысли и которые совершаютъ странные поступки. Всегда были и есть авантюристы, люди психически больные, люди, желающіе такъ или иначе высунуться впередъ и т. п. Такіе люди иногда вызываютъ подражателей и поклонниковъ, иногда нѣтъ, и въ послѣднемъ случаѣ они немедленно погружаются въ море забвенія. Но въ средніе вѣка ни одна странность, какъ бы она ни была нелѣпа, ни одинъ починъ, какъ бы онъ ни былъ фантастиченъ, не оставались безъ болѣе или менѣе значительнаго числа подражателей, такъ что исторія вынуждена была занести соотвѣтственные событія на свои страницы. Авантюристъ, чудакъ, больной, выскочка тотчасъ становился героемъ. Около него тотчасъ же группировалась толпа и, глядя на него, плясала или молилась, убивала людей или самоубивалась, предавалась посту и всяческому воздержанію или, напротивъ, крайней разнузданности страстей. Мы видѣли образчики этихъ странныхъ движеній въ формахъ завѣдомо патологическихъ, а равно и въ такихъ, которые трактуются историками, какъ явленія нормальныя. Нѣкоторые изъ нашихъ образчиковъ легко подводятся подъ то объясненіе, которое мы пытаемся дать явленіямъ автоматическаго подражанія вообще. Такъ, на примѣръ, эпидеміи кусающихся или мяукающихъ монахинь естественно вытекаютъ изъ скудости и однообразія монастырской жизни. Доведенныя этою скудостью, равномѣрностью, однообразіемъ впечатлѣній до состоянія приблизительно сходнаго съ якутской олгинджей, монахини безсознательно подражали своей случайно замаявавшей или закусававшейся больной подругѣ. Но въ этомъ явленіи нѣтъ ничего специально средневѣковаго: то же самое мы можемъ и теперь наблюдать въ строго замкнутыхъ монастыряхъ или въ закрытыхъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Остается, слѣдовательно, во всей силѣ вопросъ, естественно каждому приходящій въ голову: почему, именно, на долю среднихъ вѣковъ выпало такое необыкновенное количество нравственныхъ эпидемій, какого ни до, ни послѣ этого времени исторія не представляетъ?

Историки, можно сказать, совершенно не обращали вниманія на эту неустойчивость, податливость средневѣковой толпы. Но зато нѣкоторые изъ нихъ много разсуждали о другой выдающейся чертѣ средневѣковой жизни, на первый взглядъ какъ бы противорѣчащей той неустойчивости, о которой мы говоримъ.

Нѣкоторые изъ средневѣковыхъ массовыхъ движеній, какъ, на примѣръ, крестовые походы, совпадая съ характеромъ общаго строя тогдашней жизни, всячески покровительствовались властью имущими, тѣми, въ рукахъ у которыхъ были ключи всего зданія. Другія, какъ, на примѣръ, еретическія движенія или эпидеміи демонологіи, подвергались жесточайшему преслѣдованію, истреблялись огнемъ и мечемъ; хотя при этомъ сплошь и рядомъ огонь и мечъ, создавая мучениковъ и героев, только вызывали новые приливы подражателей. Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Но у средневѣковаго строя было въ распоряженіи нѣчто болѣе дѣйствительное, чѣмъ мечъ и огонь, и это-то нѣчто составляетъ предметъ удивленія многихъ историковъ, и дѣйствительно вполне достойно удивленія. Никогда ничего подобнаго исторія не представляла. Пусть читатель припомнитъ, на примѣръ, такія картины. Въ самомъ началѣ XIII вѣка папа Иннокентій III, раздраженный Филиппомъ II французскимъ за то, что тотъ упорно хотѣлъ устроить свою семейную жизнь такъ, какъ угодно ему, королю, а не такъ, какъ угодно папѣ, объявилъ всю Францію отлученною отъ церкви. Вслѣдъ за тѣмъ, раздраженный королемъ англійскимъ по церковнымъ дѣламъ, папа наложилъ такой же индигтъ на всю Англію. У Иннокентія были, повидимому, только слова отлученія и анафемы; а что такое слово?—звукъ пустой. У королей были въ распоряженіи солдаты и оружіе, огонь и мечъ, и все это они пустили въ ходъ для борьбы съ безсильнымъ и дерзкимъ челоуѣкомъ, метавшимъ словесные громы изъ Рима. Но эти словесные громы оказались, въ концѣ-концовъ, сильнѣе солдатъ и оружія. Общественное мнѣніе обоихъ королевствъ, вся масса вѣрующихъ въ единую спасающую католическую церковь примкнула къ римскимъ громамъ. И вотъ, могущественные англійскій и французскій короли, злобно пометавшіе среди негодующаго общества, смирились. Іоаннъ англійскій принесъ торжественное покаяніе и объявилъ себя данникомъ и ленникомъ папы. Филиппъ французскій переустроилъ свои семейныя дѣла такъ, какъ было угодно папѣ. Около того же времени король Аррагонскій, по собственному почину, самъ явился въ Римъ и вручилъ свое королевство папѣ, чтобы получить его обратно въ качествѣ вассала.

Есть величіе въ подобныхъ картинахъ торжества духа надъ мечемъ, и немудрено, что ими увлекались не только правовѣрные католики, а и, напримѣръ, позитивисты съ самимъ Контюмъ во главѣ. Они любовались этою, въ наше время почти непонятною, силою авторитета, настоящаго авторитета, себѣ довлѣющаго, поддерживаемаго не штыками или пушками, а сердцами тысячъ и сотенъ тысячъ людей. Этотъ авторитетъ обнялъ собою всю Европу и окружилъ каждую отдѣльную личность своею атмосферою. Онъ породилъ рыцарство, эту прирученную военную силу, вызвалъ множество подвиговъ самоотверженія, преданности пѣкоторому идеальному началу. Такъ говорятъ благорасположенные къ среднимъ вѣкамъ историки и говорятъ, разумѣется, совершенно справедливо. Но правы и историки неблаго-расположенные, которые рисуютъ средніе вѣка мрачными красками насилія, притѣсненія, жестокости, постоянной драки. Все это дѣйствительно было, и никакія соображенія о стройности и гуманизирующемъ вліяніи феодально-католической организаціи, никакіе примѣры самоотверженія и преданности тому или другому идеальному началу не могутъ стереть со страницъ средневѣковой исторіи потоковъ невинной крови, инквизиціонныхъ костровъ, безправія и позора слабыхъ, дикаго разгула сильныхъ. И все это были не случайныя историческіе прожилки, теряющіеся въ компактной массѣ совершенно другого вида и свойства матеріи. Нѣтъ, все это столь же неизбежно проистекало изъ самыхъ нѣдръ средневѣкового строя, какъ и тѣ явленія, которыми любятъ историки благорасположенные. Полная истина, какъ это часто бываетъ, находится не на той или другой сторонѣ, а въ нихъ обѣихъ, приведенныхъ къ нѣкоторому высшему единству.

Да не поскушаетъ читатель пробѣжать страницу изъ исторіи одного любопытнаго средневѣкового учрежденія.

Уже очень рано застаемъ мы во многихъ странахъ Европы воѣнные союзы торговцевъ, мелкихъ собственниковъ, промышленниковъ, владѣльцевъ недвижной собственности въ городахъ, крестьянъ, подъ именемъ гильдій. Члены гильдій обязывались взаимною помощью въ случаяхъ болѣзней, несчастій, оскорбленій кого-либо изъ нихъ посторонними лицами и т. п. Для поступленія въ гильдію требовались, кромѣ, разумѣется, жительства въ извѣстномъ мѣстѣ, только незапятнанная репутація и поручительство одного изъ членовъ. Отношенія между членами были вполнѣ братскія, да и къ постороннимъ людямъ гильдіи относились весьма гуманно. По крайней мѣрѣ, въ статутахъ говорится о помощи бѣднымъ, пилигримамъ и т. п. изъ гильдейской кассы. Во главѣ гильдіи стоялъ выборный старшина

съ помощниками. Смотра по комбинаціи другихъ общественныхъ единицъ, стоявшихъ рядомъ съ гильдіями и выше ихъ, гильдіи покровительствовались одними, преслѣдовались другими. Такъ, въ Англіи онѣ едва ли не съ самаго своего основанія пользовались охраною закона, а капитуляріи Карла Великаго и его ближайшихъ преемниковъ грозятъ, напротивъ, членамъ гильдій плетью, вырываніемъ ноздрей, изгнаніемъ и проч. Впослѣдствіи, однако, враждебные гильдіямъ короли, ища въ нихъ опоры для борьбы съ феодалами, измѣнили свою политику. Что же касается феодаловъ, то они естественно очень часто приходили во враждебныя столкновенія съ гильдіями, и мирные гильдейцы не разъ съ успѣхомъ мѣрялись силами съ гордыми баронами. Члены гильдіи необыкновенно высоко цтили честь своего союза (который часто ставился подъ покровительство какого нибудь святого) и достигали часто всеобщаго уваженія. Такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ суды до-вольствовались половиннымъ и даже меньшимъ числомъ присяжныхъ свидѣтелей, если они были членами гильдій. Отношенія гильдіи къ городу были разнообразны. Во многихъ мѣстахъ именно изъ гильдій выросло городское муниципальное устройство, но вообще опредѣленной связи между гильдіей и городомъ не было. Хотя первоначально личный составъ гильдіи и города часто бывалъ одинъ и тотъ же, но все-таки требовался особый актъ для вступленія въ гильдію. Иногда въ одномъ и томъ же городѣ было нѣсколько гильдій, которыя сливались впослѣдствіи въ одну или же оставались самостоятельными единицами. Въ послѣднемъ случаѣ старѣйшая, раньше другихъ основанная гильдія пользовалась нѣкоторыми преимуществами, которыя оберегали чрезвычайно ревниво. И это-то моментъ ревности составляетъ главѣйшій факторъ дальнѣйшей внутренней исторіи гильдейскихъ союзовъ. Гильдіи стали замыкаться, затрудняя доступъ въ себя постороннимъ лицамъ и обращаясь въ наслѣдственные, родовые союзы. вмѣстѣ съ тѣмъ, внутри ихъ историческій ходъ вещей проводить рѣзкія грани. Первоначально торговцы были вмѣстѣ съ тѣмъ и ремесленниками: они торговали сырьемъ, которое обрабатывали. Съ теченіемъ времени эти двѣ функціи отдѣлились и, напримѣръ, суконные торговцы перестали быть портными, торговцы кожами оставили кожевенное, дубильное, сапожное мастерства и т. д. Какъ только это общественное раздѣленіе труда достигло достаточной полноты и яркости, такъ двери гильдій заперлись для ремесленниковъ, и подъ сѣнью союза оказались только торговцы и владѣльцы недвижной собственности. Въ позднѣйшихъ нѣмецкихъ, датскихъ, бельгійскихъ статутахъ постоянно встрѣчаются

запрещенія принимать въ гильдію людей «съ грязными руками», «съ траурными ногтями», людей «выкрикивающихъ свой товаръ на улицахъ». Ремесленники постепенно стали въ глазахъ патриціевъ «безчестными, бездомными людьми, живущими работой». Городской патриціатъ сталъ, въ концѣ концовъ, къ ремесленникамъ въ отношенія чисто феодальныя, усвоивъ себѣ ко времени своего собственного освобожденія отъ феодальнаго гнета многія существеннѣйшія права бывшихъ сюзереновъ.

Въ этотъ-то періодъ городской жизни окрѣпли и развились союзы ремесленниковъ, цехи, миссія которыхъ была совершенно параллельна миссії гильдій. Во многихъ отношеніяхъ они были даже прямымъ сколкомъ съ гильдій. Но потребности были уже не тѣ, что во времена образованія гильдій. Товарищества взаимнаго страхованія отъ опасностей для личности и имущества перестали составлять настоящую потребность: на то существовало городское начальство, выдвинутое старыми гильдіями. Не тотъ былъ и персоналъ нуждающихся во взаимной помощи: гильдіи сложились изъ владѣльцевъ недвижимаго имущества и купцовъ, цехи изъ ремесленниковъ. Сообразно этому основнымъ принципомъ цеховъ было огражденіе интересовъ людей мелкаго капитала и ручного труда. Приэтомъ и внутренняя, и внѣшняя исторія цеховъ представляетъ поразительную аналогію съ исторіей гильдій. Прежде всего и цехамъ приходилось сталкиваться съ разными рядомъ и выше ихъ стоящими единицами, причемъ происходили разнообразныя комбинаціи. Самою важною струею является здѣсь борьба съ городскими патриціями, которая тянулась почти два вѣка и кончилась побѣдой цеховъ. Затѣмъ мы видимъ внутри цеха чисто братскія отношенія, гордость честью союза, образцовый судъ и самоуправленіе.

Цехъ не замыкался, принималъ въ свою среду всякаго удовлетворявшаго извѣстнымъ требованіямъ, и требовалъ только, чтобы всѣ, занимающіеся такимъ-то ремесломъ, подчинились правиламъ, выработаннымъ сознаниемъ общихъ нуждъ. Что же касается до самыхъ условий пріема новыхъ членовъ, то, не будучи особенно отяготительными, они были наложены, такъ сказать, самою силою вещей. Цехъ блюлъ интересы извѣстной отрасли ремесленной промышленности. Это достигалось непосредственно—заботами о благосостояніи производителей, и посредственно—гарантіей интересовъ потребителей, то-есть заботами о дешевизнѣ и доброкачественности продуктовъ. Полицейскими мѣрами въ этомъ послѣднемъ направленіи цехъ оберегалъ свою репутацію. Если сюда прибавить еще политическія условія цеха, именно его

борьбу съ патриціями, то мы увидимъ, что почти всѣ требованія отъ вновь поступающихъ членовъ были необходимы. Вотъ эти требованія. Право заниматься извѣстнымъ ремесломъ и продавать продукты своего труда связывалось съ правомъ гражданства въ городѣ. Вновь поступающій членъ долженъ былъ имѣть незапятнанную нравственную репутацію. Онъ долженъ былъ пробыть извѣстное время (отъ двухъ до семи лѣтъ) ученикомъ, чѣмъ гарантировалось качество работы. Приемъ учениковъ совершался весьма торжественно или въ полномъ собраніи цеха, или—такъ какъ ученикъ былъ будущій гражданинъ города—въ ратушѣ, въ присутствіи городскихъ властей. Такъ же торжественно праздновалось и окончаніе курса. При зачисленіи, какъ въ ученики, такъ и въ мастера, взималась небольшая сумма въ цеховую кассу. Кромѣ личнаго искусства работника, цехъ требовалъ извѣстныхъ гарантій въ самомъ производствѣ. Именно, никто не могъ употреблять матеріалы и инструменты, не одобренные цехомъ, и въ статутахъ встрѣчаются мельчайшія подробности въ этомъ отношеніи. Особенно строго преслѣдовались подмѣсы и продажа подновленныхъ товаровъ за новыя. Статуты обязывали членовъ помогать другъ другу въ работѣ. Впослѣдствіи пздавались тарифы цѣнъ на продукты. Въ интересъ какъ производителей, такъ потребителей статуты запрещали работать ночью, при свѣчкѣ. Цѣлый рядъ мѣръ принимался для парализованія невыгодныхъ сторонъ конкуренціи. Такъ, назначались извѣстныя вакаціи, въ продолженіе которыхъ воспрещалось работать всѣмъ безъ исключенія. Всякій членъ цеха, закупая сырой матеріалъ, зналъ, что долженъ будетъ уступить опредѣленную часть его товарищамъ по своей цѣнѣ. Запрещалось работать на заказчика, который еще не расплатился съ другимъ членомъ цеха. И проч.

Цехи сослужили свою службу: не только дали опереться ремесленникамъ и ремеслу, но обезпечили первымъ политическую равноправность съ патриціями. Жестокая борьба цеховъ, болѣе свѣжихъ, болѣе проникнутыхъ принципомъ взаимности, съ одряхлѣвшими и разрозненными гильдіями, кончилась въ концѣ XIV и въ началѣ XV вѣковъ побѣдой ремесленниковъ. Но ко времени этой побѣды начался уже процессъ внутренняго разложенія цеховъ—процессъ, весьма сходный съ тѣмъ путемъ, которымъ шли къ своей гибели гильдіи. Цехи не были союзами рабочихъ въ теперешнемъ смыслѣ слова. Это были общества людей, самостоятельно занимавшихся ремесломъ при помощи небольшого капитала. Такими они были при самомъ своемъ возникновеніи, такими явились себя и

во время борьбы за свою независимость: тут шла рѣчь о равноправности принциповъ недвижимаго имущества, землевладѣнія и капитала. Однако, этотъ характеръ цеховъ вполне обособился и выяснился только съ теченіемъ времени. Первоначально же ремесленники были вмѣстѣ съ тѣмъ и работниками, и хотя извѣстный капиталъ былъ необходимъ для самостоятельнаго веденія ремесла, но, по условіямъ тогдашняго производства, онъ не могъ быть великъ. Правда, ремесленники имѣли при себѣ батраковъ, рабочихъ, но имъ не возбранялось вступать въ цехъ, если они отбывали срокъ ученія и удовлетворяли другимъ требованіямъ цеховой конституціи. Вообще, до середины XIV вѣка о батракахъ почти не упоминается въ статутахъ. Повидимому, до этого времени батраковъ было весьма мало, такъ что не могло быть и рѣчи о существованіи въ средѣ цеховъ особаго, чисто рабочаго сословія, имѣющаго спеціальныя интересы. Исключеніе составляли только цехи фландрскихъ и брабантскихъ ткачей. И тамъ, собственно говоря, каждый ткачъ имѣлъ очень мало батраковъ, но самихъ-то ткачей было очень много, а потому въ цѣломъ число батраковъ было до такой степени значительно, что потребовалось для нихъ особая организація. Но при этомъ не было явной вражды между двумя фракціями ремесленниковъ. Все улаживалось пока мирно. Въ XIII вѣкѣ батраки посылали своихъ депутатовъ въ цеховыя собранія; они имѣли голосъ въ рѣшеніяхъ. Что же касается до заработной платы, то она стояла въ опредѣленныхъ отношеніяхъ къ доходу мастера, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ въ Брюгге, батраки были формально участниками дохода.

Съ половины XIV вѣка эти мирныя отношенія исчезаютъ. Чѣмъ болѣе процвѣтала извѣстная отрасль ремесленной промышленности, чѣмъ болѣе кругъ сбыта она приобрѣтала, тѣмъ яснѣе становилось, что члены цеховъ не работники, а капиталисты. Цехи съ недовѣріемъ смотрѣли на массы бывшихъ или настоящихъ рабочихъ, приливавшихъ въ города по мѣрѣ развитія промышленности. Съ одной стороны, приливъ рабочихъ рукъ былъ для нихъ выгоденъ, но съ другой—это были все-таки конкуренты, по крайней мѣрѣ, въ будущемъ. Отсюда-то и возникли истинныя цеховыя монополіи. Была возвышена сумма, уплачиваемая при вступленіи въ цехъ. Явился обычай требовать дорогого Meisterstück'a, то-есть образчика работы, удостоверяющаго, что испытуемый достоинъ, по своему искусству, быть принятымъ въ цехъ. Удлинились въ нѣкоторыхъ ремеслахъ до совершеннаго безсмысла срокъ обученія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, родственники старыхъ членовъ получали всяческія облегченія при зачисленіи въ цехъ.

Наконецъ, принципъ наслѣдственности завоевалъ себѣ мѣсто въ цеховой системѣ или съ занесеніемъ его въ статуты или, по крайней мѣрѣ, фактически. Цеховая система, постепенно развертывая заключенныя въ ней и дотогѣ скрытые элементы, дошла до того, что во многихъ мѣстахъ для вступленія въ цехъ требовался извѣстный цензъ въ видѣ недвижимаго или даже недвижимаго имущества. Весьма своеобразно измѣнились и цензы, такъ сказать, нравственный. Прежде для вступленія въ цехъ требовалась безукоризненная репутація, чѣмъ устранялось сообщество порочныхъ людей. Въ XIV же вѣкѣ цехи преградили доступъ къ себѣ цѣлымъ категоріямъ лицъ, въ родѣ незаконныхъ дѣтей, сыновей крестьянъ, дѣтей золотарей, живоделовъ, актеровъ; въ германскихъ цехахъ не принимались славяне и т. п. Старый духъ братства исчезъ совершенно и въ средѣ самыхъ цеховъ появились различныя дифференцированія, цехи распадались на болѣе бѣдныхъ и богатыхъ. Такъ, напримеръ, изъ одного и того же цеха обособились цехи кожевниковъ, сапожниковъ и чеботарей. Появились неслыханные дотогѣ споры и судебныя процессы о предѣлахъ компетенціи разныхъ цеховъ. Тяжбы эти тянулись иногда цѣлыми столѣтіями. Сапожники тягались съ починяльщиками поношенной обуви, ремесники съ кожевниками, продавцы стараго платья съ портными, а тѣ, въ свою очередь, съ сукноторговцами и т. д., и т. д. Женщины устранялись отъ занятій, наиболѣе имъ свойственныхъ, но зато и женщины, если имъ удавалось овладѣть правомъ на какое-нибудь производство, не допускали къ себѣ мужчинъ. Вся жизнь подѣлилась на маленькія клѣточки, ревниво оберегавшія свои узенькія рамки и усиленно враждовавшія со всѣмъ, что лежало внѣ ихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ сама промышленность замерла для какихъ бы то ни было усовершенствованій въ качественномъ или количественномъ отношеніи: мастеръ болѣею частью обязывался приготовить опредѣленное число извѣстнаго продукта въ годъ, именно этого продукта, а не другого, не больше и не меньше, не хуже и не лучше.

Не менѣе важнымъ, а въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже болѣе важнымъ явленіемъ было распаденіе однороднаго или почти однороднаго цеха на мастеровъ, учениковъ, имѣвшихъ право и возможность вписаться по окончаніи курса въ цехъ, и, такъ сказать, вѣчныхъ подмастерьевъ, батраковъ, рабочихъ въ тѣсномъ смыслѣ слова. Въ Англіи противоположность интересовъ мастеровъ и подмастерьевъ обнаружилась съ совершенною ясностью послѣ чумы 1349 г. Это было страшное время. Вымирали цѣлыя села и города; страна обезлюдѣла. Цѣны поднялись на все.

Священники подняли цѣну на молебны, обѣдны и т. п. Купцы, пользуясь слабымъ предложениемъ товаровъ, подняли цѣны на товары. Вздорожали и рабочіе руки. Хлѣбъ гнилъ на необранныхъ поляхъ, цѣлыя стада пропадали потому, что жнецы и пастухи требовали огромной платы. Аналогичныя явленія имѣли мѣсто и въ городахъ: батраки, подмастерья не соглашались работать на цеховыхъ ремесленниковъ за прежнюю плату. Въ дѣло это вмѣшалось правительство, издавъ цѣлый рядъ указовъ, имѣвшихъ цѣлью установить какую-нибудь норму для распатанныхъ отношеній, и такую нормою естественно представлялись отношенія, существовавшія до чумы. Между прочимъ, и батракамъ правительство предписало работать за ту плату, которую они получали до чумы, а цеховыхъ ремесленниковъ обязало не платить больше, чѣмъ они платили прежде. Однако, съ этихъ поръ борьба между мастерами и батраками стала открытой, и въ борьбѣ этой обыкновеннымъ приемомъ подмастерьевъ былъ гуртовой отказъ отъ работы. Но самый этотъ приемъ требовалъ извѣстнаго единенія между батраками. И дѣйствительно, въ XIV вѣкѣ появляются «братства» подмастерьевъ, совершенно аналогичныя цехамъ ремесленниковъ и древнимъ гильдіямъ въ первую пору ихъ существованія. Въ статутахъ братствъ говорится о богослуженіи сообщъ, объ общественныхъ объѣдахъ, о похоронахъ на общій счетъ, о взаимной помощи и т. п. Всякій подмастерье извѣстной отрасли промышленности долженъ былъ входить въ составъ братства. Всякій, имѣющій претензію на другого члена братства, долженъ былъ, прежде чѣмъ идти въ какой-нибудь судъ, сдѣлать попытку примиренія сначала передъ старшинами братства, а потомъ передъ старшинами цеха. Съ этой стороны «братство» являлось какъ бы дополненіемъ цеха, какъ бы продолженіемъ его принциповъ въ средѣ подмастерьевъ. Поэтому они вообще признавались цеховыми мастерами и учреждались съ ихъ согласія, однако, не вездѣ. Здѣсь мы опять-таки встрѣчаемъ разнообразныя столкновенія съ общественными единицами, стоящими рядомъ съ братствами и выше ихъ. Не входя въ дальнѣйшую исторію этихъ союзовъ подмастерьевъ и рабочихъ, конецъ которой выходитъ за предѣлы среднихъ вѣковъ, отмѣтимъ только слѣдующее обстоятельство. Рабочія товарищества, долго, упорно, хотя и съ переменнымъ счастьемъ, боролись съ союзами мастеровъ. Но при этомъ, примыкая все-таки къ цеховой системѣ въ смыслѣ дробленія производства и враждебной замкнутости отдѣльныхъ его отраслей, они не упускали случая подражать и между собой. Такъ какъ подмастерья обязаны были извѣстный срокъ странствовать, чтобы приглядѣться

къ своему мастерству, то естественно у нихъ образовались общія пристанища и новыя связи въ чужихъ мѣстахъ. Всѣ эти связи и отношенія были проникнуты наилучшими чувствами; но если подмастерье встрѣчалъ представителя другой, враждебной, профессіи, то немедленно возникала ссора, драка, достигавшая иногда размѣровъ обширнаго, массоваго и кроваваго побоища.

Такова очень, конечно, бѣглая картина возникновенія, развитія и паденія средневѣковыхъ промышленныхъ союзовъ. Она поучительна. Вы видите прежде всего чрезвычайно пеструю, сложную, общественную жизнь. Не говоря о феодальномъ баронѣ и его крѣпостныхъ, не говоря далѣе о церковныхъ отношеніяхъ, вотъ торговецъ, далекій отъ всякаго труда и презирающій его; вотъ ремесленникъ-мастеръ сапожнаго, положимъ, цеха, производящій только новыя сапоги; вотъ мастеръ близкаго, но другого всецѣла цеха, только починающій обувь; далѣе идутъ мастера по другимъ отраслямъ, чрезвычайно дробнымъ и обособленнымъ; далѣе — подмастерья, сами по себѣ отличные отъ мастеровъ и кромѣ того, распределяющіеся по всему множеству раздробленныхъ профессій. Всѣ они отдѣлены другъ отъ друга рѣзкими политическими, юридическими, нравственными гранями. Всѣ крѣпко держатся за ту маленькую клѣточку жизни, которая образуется пересѣченіемъ этихъ граней. Каждая функція дробится, обособляется, выдѣляется. Ясно, однако, что, параллельно съ происходящей отсюда сложностью общественной жизни, взятой въ цѣломъ, личная жизнь средневѣковаго человѣка должна была оскудѣвать, становиться все болѣе однообразною и одностороннею. Намъ, охваченнымъ совершенно другими формами раздѣленія труда, имѣющимъ въ своемъ распоряженіи улучшенныя пути сообщенія, почту, телеграфъ, газеты, — намъ трудно даже представить себѣ чрезвычайное однообразіе впечатлѣній средневѣковаго человѣка, со всѣхъ сторонъ окруженнаго заставами и стѣнами. И такъ изъ поколѣнія въ поколѣніе безъ просвѣта, безъ мысли о возможности какого-нибудь значительнаго измѣненія положенія.

Не слѣдуетъ думать, что это узость, односторонность, духовная скудость была спутницей именно только цеховой системы. Безъ сомнѣнія, бѣдность и однообразіе впечатлѣній должны выступать здѣсь съ особенною ясностью, благодаря строгой регламентаціи размѣровъ и способовъ производства и крайней раздробленности ея отраслей. Но та же духовная скудость была, въ формахъ, менѣе яркихъ, но не менѣе дѣйствительныхъ, состояніемъ всѣхъ классовъ средневѣковаго общества. Справедливо говоритъ Гизо: «Оши-

точно было бы для обозначения сельского населения этой эпохи употреблять такое выражение, съ которымъ соединилось бы понятие о чемъ-то цѣломъ, объ обществѣ, на примѣръ, слово «народъ». Населеніе это не составляло общества; дѣятельность его была исключительно мѣстная. Внѣ занимаемой ими территоріи колонны не имѣли дѣла ни до кого, не были связаны ни съ кѣмъ и ни съ чѣмъ» («Исторія цивилизаціи въ Европѣ»).

Еще ближе къ истинѣ стоитъ Мишле въ главѣ «Отчего средніе вѣка пришли въ отчаяніе», въ извѣстной книгѣ «La sorgiègre», «Въ теченіе цѣлыхъ десяти столѣтій тоска, неизвѣстная прежнимъ временамъ, держала средніе вѣка въ состояніи не то бодрствованія, не то сна, и надъ людьми господствовала конвульсія скуки, называемая зѣвотой. Пусть неустанный колоколъ звонитъ въ привычныя часы—люди зѣваютъ; пусть тянется старое латинское пѣніе въ носъ—люди зѣваютъ. Все предвидимо, надѣяться не на что, дѣла будутъ идти все такъ же. Несомнѣнная скука завтрашняго дня заставляетъ зѣвать уже сегодня и перспектива будущихъ дней, годовъ скуки ложится тяжелымъ гнетомъ на жизнь. Автоматическая и фатальная конвульсія безъ конца и надежды раздвигаетъ челюсти. Настоящая болѣзнь, которую благочестивая Бретань приписываетъ дьяволу: онъ, говорятъ бретанскіе крестьяне, прячется въ лѣсу и поетъ прохожимъ обѣдни и другія церковныя службы до того, что они, наконецъ, умираютъ отъ зѣвоты». Конечно, средневѣковые люди не болѣли зѣвотой въ буквальномъ смыслѣ слова; они жили, любили, чувствовали, мыслили, но все это было вогнано въ непомѣрно узкія стойла, гдѣ царило томительное и дѣйствительно почти усыпляющее, почти гипнотизирующее, однообразіе впечатлѣній. Сами гордые бароны, гнѣздившіеся въ замкахъ съ высокими стѣнами и глубокими рвами, выѣзжавшіе оттуда только для грабежа и турнировъ и опять представшіеся за свои стѣны, были обречены на ту же истому однообразія, а ихъ жены и подданные. Вообще, всякая личная жизнь, отлившись въ однообразныя, узкія формы, замерла.

Но Мишле находитъ еще другую причину, «отчего средніе вѣка пришли въ отчаяніе»: необезпеченность личности. Не смотря на неподвижность формъ, въ которыя отлилась средневѣковая личная жизнь, всякій свободный человѣкъ могъ оказаться вассаломъ, вассаль—службой, слуга—работой, сервомъ. Фактически это, конечно, вѣрно, но едва ли справедливо переносить теперешнюю европейскую жажду личной свободы на средневѣковые нравы. Безъ сомнѣнія, и тогда были люди, считавшіе личную свободу благомъ и гнушавшіеся всякаго рода зависимостью. Но

отнюдь не таково было общее правило. Вообще говоря, средневѣковой человѣкъ не только не тяготился зависимостью, а даже, напротивъ, искалъ ея. Одною изъ наиболѣе выдающихся психологическихъ чертъ типическаго тогдашняго человѣка была какая-то странная потребность повиноваться, отдавать свою волю въ чужія руки, чему вполне соответствовала средневѣковая лѣстница зависимости, необходимыя ступени которой составляли сюзерентъ, вассаль и рабы, колонны, крѣпостные. Каждый феодалъ, имѣя своихъ вассаловъ, самъ былъ или могъ быть вассаломъ другого сюзерена, и вся эта лѣстница упиралась въ безконечность, ибо достигавалась до престола Всевышняго, непосредственно подъ которымъ находился намѣстникъ Божій на землѣ—папа, по мнѣнію однихъ, императоръ—по мнѣнію другихъ. Обыкновенно происхождение этой лѣстницы объясняется насиліемъ или голымъ расчетомъ: дескать, слабый человѣкъ либо насильственно ставился въ вассальныя или рабскія отношенія къ сильному, либо добровольно отдавался подъ его защиту и покровительство, дабы охранить себя отъ выпущаго гнета. Не отрицая того и другого источника, надо, однако, замѣтить, что средніе вѣка представляютъ множество образчиковъ добровольнаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, совершенно безкорыстнаго самоподчиненія. Вышеприведенный случай съ королемъ Аррагонскимъ, добровольно и безъ всякаго давленія извнѣ объявившимъ себя ленникомъ папскаго престола, не составляетъ чего-нибудь рѣдкаго или исключительнаго. Напротивъ, множество всякаго званія людей самозакрѣпощали себя такимъ образомъ Богу, тому или другому святому, а въ сущности, конечно, папѣ или тому, или другому духовному лицу, духовной коллегіи. Затѣмъ рыцарское «служеніе дамѣ», и по внутреннему характеру, и даже по нѣкоторымъ внѣшнимъ формамъ весьма близкое къ вассальнымъ отношеніямъ, представляетъ другой любопытный примѣръ добровольнаго средневѣковаго самоподчиненія. Рыцарь весь отдавался своей дамѣ, совершалъ, по ея приказанію, въ угоду ей или въ честь ея, блистательные подвиги, возмутительныя злодѣяства и невѣроятныя глупости. Надо при этомъ имѣть въ виду, что, налагая на себя это, иногда вовсе не легкое бремя, рыцарь въ то же время оставался подъ игомъ своего сюзерена и своей корпораціи. Наконецъ, средневѣковые люди готовы были служить и дьяволу, и цѣлыми массами принимали страданіе и смерть ради этого фантастическаго объекта поклоненія. Если, такимъ образомъ, средневѣковой человѣкъ добровольно и безкорыстно служилъ, подчинялся, повиновался папѣ и женщинамъ, чорту и Богу, то

можно думать, что и въ другія свои отношенія онъ вкладывалъ не малую долю дѣйствительной, безкорыстной преданности и покорности. Конечно, въ нѣкоторомъ очень общемъ смыслѣ можно, пожалуй, говорить, что, и поклоняясь папѣ и женщинѣ, Богу и дьяволу, человекъ руководился простымъ расчетомъ — на награду въ загробной жизни, на помощь чистой или нечистой силы въ текущихъ земныхъ дѣлахъ, на любовь дамы и т. д. Но какова бы ни была доля справедливости въ этихъ общихъ соображеніяхъ, а нельзя же все таки отрицать, что есть на свѣтѣ покорность, настолько отдѣлившаяся отъ своего корня — расчета, что представляетъ уже нѣчто самостоятельное; есть же на свѣтѣ люди, искренно и даже пламенно пѣлющіе руку, которая ихъ бьетъ, и ярмо, которое ихъ давить. Вотъ это-то самоодвѣившая покорность и выдавалась въ средніе вѣка, выражаясь въ разнообразнѣйшихъ формахъ, отъ высокаго самоотверженія до пассивнаго, почти животнаго терпѣнія, отъ восторженной и торжественной передачи своей воли въ чужія руки до молчаливаго признанія за этими чужими руками права бить, обирать, казнить и миловать. Я не думаю, разумеется, утверждать, чтобы жизнь средне-вѣковаго человека исчерпывалась этимъ мотивомъ и чтобы онъ не руководился расчетами выгоды и невыгоды. Это была бы бессмыслица, тѣмъ болѣе, что гдѣ есть битые, тамъ есть, значить, и бьющіе; гдѣ есть покорные — тамъ есть и покоряющіе. Я утверждаю только, что средніе вѣка были несравненно богаче всякой другой исторической эпохи готовностью людей повиноваться, служить, подчиняться. Благородными формами этой готовности и восхищаются историки благорасположенные, видя въ нихъ черты чисто нравственной дисциплины. Но, не говоря о томъ, что рядомъ съ этими благородными формами существовали формы холопскія и даже почти не человѣческія, а собачьи, — эта болѣзненная потребность отдавать свою волю въ чужія руки, вытекающая сама собой изъ средне-вѣковаго строя общественной жизни, въ немъ же встрѣчала препятствія для мирнаго и спокойнаго своего удовлетворенія. Ибо возникалъ вопросъ: кому, чему повиноваться? На первый взглядъ средне-вѣковыя общественныя отношенія представляютъ нѣчто стройное, правильное и именно напоминаютъ игрушку изъ коробочекъ, одна въ другую вложенныхъ: каждая коробочка заключаетъ въ себя другую и въ свою очередь заключается въ третью. Такъ, подмастерье или рабочій входилъ въ составъ братства, которое заключалось въ цехъ, а цехъ входилъ въ составъ городского самоуправления. Такъ сервъ входилъ въ составъ фео-

да, который персонифицировался въ феодалѣ, тотъ въ свою очередь имѣлъ своего сюзерена, этотъ былъ вассаломъ другого сюзерена и т. д. Если бы дѣло и стояло такъ просто и правильно, такъ и то коллизіи между различными ступенями общественной лѣстницы были бы неизбежны. Но въ дѣйствительности отношенія были безконечно сложнее и дробнѣе. Рабочій могъ состоять въ цехѣ только, такъ сказать, одной ногой. Въ качествѣ ткача, сапожника, онъ примыкалъ къ цеху, но въ качествѣ работника онъ туда не допускался. Городъ могъ, дробясь на предмѣстья, участки, улицы, находиться во власти нѣсколькихъ сеньеровъ, между которыми могли быть сеньеры свѣтскіе и духовные; тѣ и другіе входили въ составъ двухъ іерархій, свѣтской и церковной, постоянно между собой сталкивавшихся. Не было физической возможности повиноваться всѣмъ сразу, ибо это значило бы разорваться въ буквальномъ смыслѣ слова, и средне-вѣковой человекъ, именно въ силу своей необычайной покорности, долженъ былъ сплошь и рядомъ оказываться непокорнымъ. Мы видѣли, что въ началѣ XIII вѣка французскіе и англійскіе люди оказались, правда, довольно пассивно, непокорными своимъ королямъ, но именно потому, что они были глубоко и сердечно подчинены духовной власти. Мы видѣли, что въ половинѣ того же XIII столѣтія французскіе люди отказались повиноваться королевѣ Бланкѣ, когда она приказывала имъ рубить двери тюрьмы, въ которую духовные владыки засадили своихъ крестьянъ: они боялись. Но стояло только Бланкѣ показать примѣръ собственноручнымъ ударомъ въ дверь, — и плѣнники были моментально освобождены.

Русскій историкъ французскихъ крестьянъ замѣчаетъ: «Установленіе феодальнаго порядка не встрѣтило сопротивленія со стороны массы народа... Почему же не возставали низшіе классы противъ этой споліаціи, когда на ихъ сторонѣ было численное превосходство, когда дѣло происходило въ бурную, военную эпоху, въ которую люди, имѣя вѣчно дѣло съ мечемъ, могли не дорожить своею жизнью? Но въ томъ-то и дѣло, что тогдашніе люди представляли болѣе примѣровъ безсилія, нежели храбрости... Сознаніе собственного достоинства было развито въ самой незначительной степени, и слабый безпрестанно унижался, рабѣлъпствовалъ передъ сильнымъ, говорилъ тономъ раба: «это были: какъ выразился одинъ писатель, рабскія души, развитыя неблагоприятной судьбой» (Карѣвъ, «Очеркъ исторіи французскихъ крестьянъ съ древнѣйшихъ временъ до 1789 года». Варшава, 1881).

X.

Однако, «низшіе классы» не разъ возставали въ средніе вѣка, какъ грозная буря, когда предѣлы упругости человѣческой души бывалъ, наконецъ, превзойденъ, когда гнѣтъ и насиліе поднимались выше всякой мѣры терпѣнія. И съ теченіемъ времени вся вавилонская башня средневѣковой іерархіи была подкопана и, наконецъ, рухнула со страшнымъ громомъ. Но на это потребовались цѣлые вѣка. Что же касается формъ и результатовъ борьбы, то и они носили на себѣ неизгладимую печать средневѣковаго въ его наиболѣе типическихъ чертахъ — повиновенія и подражанія. Мы можемъ, кажется, теперь съ увѣренностью сказать, что такъ и должно было быть въ виду однообразія, скудости и постоянства впечатлѣній средневѣковаго человѣка.

Вглядываясь въ вышеприведенную исторію развитія и разложенія цеховой системы, мы видимъ постоянную, вѣковую борьбу сначала гильдій съ феодалами, потомъ мастеровъ съ городскимъ патриціатомъ, наконецъ, рабочихъ съ мастерами. Торговые и промышленные люди, ремесленники, рабочіе послѣдовательно выступаютъ на арену борьбы, но, выступая, каждая изъ этихъ группъ повторяетъ приемы предыдущей и приходитъ къ тѣмъ же результатамъ. И мало того, что каждое вновь обнаруживающееся общественное наслоеніе копируетъ своихъ предшественниковъ, — оно, кромѣ того, регламентируетъ подражаніе, дѣлаетъ его обязательнымъ и въ самой организаціи своей, и въ производствѣ, и во всемъ складѣ жизни. Ни ремесленникъ, ни рабочій не должны проявлять какую-нибудь оригинальность, какое-нибудь творчество въ своей дѣятельности: они должны слѣдовать разъ установленнымъ образцамъ въ качественномъ и количественномъ отношеніи. Безъ конца повторяя другъ друга, они повторяютъ себя и въ дѣйствіяхъ своихъ, что достигается все болѣе и болѣе прочнымъ установленіемъ принципа наслѣдственности занятій, правъ и обязанностей. Члены добровольныхъ союзовъ, они, слѣпо повинаясь выраженнымъ или невыраженнымъ повелѣніямъ этихъ союзовъ, враждуютъ не только съ дѣйствительными врагами, а и съ своимъ же братомъ, мастеровымъ или рабочимъ, если только онъ занимается другимъ мастерствомъ. Строгая регламентація размѣровъ и способъ производства, равно какъ и обязательная наслѣдственность занятій сами собой вытекали изъ раздробленности, обособленности и замкнутости всѣхъ общественныхъ функцій и группъ. Если гнетущее однообразіе жизни на крайнемъ сѣверѣ вызываетъ распространеніе нервныхъ болѣзней эпидемическимъ,

подражательнымъ путемъ; если, какъ рѣшительно утверждаетъ Вайцъ, въ замкнутыхъ племенахъ и обществахъ съ однообразною жизнью даже сходство чертъ лица достигается путемъ произвольнаго подражанія (*Anthropologie der Naturvölker*, I, 77—78); то можно думать, что средневѣковая регламентація отнюдь не была чѣмъ-то тяжелымъ или нестерпимо принудительнымъ. Она только, такъ сказать, кодифицировала велѣнія самой жизни, ибо и безъ нея дѣла шли бы, за малыми исключеніями, такъ же, какъ и при ней: одинъ подражалъ бы другому, другой третьему.

Но вотъ поднимается настоящее народное возстаніе, грозящее, кажется, перевернуть вверхъ дномъ все общество. Вотъ, напримеръ, возстаютъ во Франціи XIV вѣка десятки тысячъ крестьянъ. Измученные, голодные, избитые, мужья, отцы и братья опозоренныхъ женъ, дочерей, сестеръ, они додумались, наконецъ, что они такіе же люди, какъ и бароны: *pous sommes comme ils sont, tels membres avons, comme ils ont, et aussi grand corps avons, et autant souffrir pouvons*. Эти «жаки» грабили и разоряли замки феодаловъ, избивали ихъ самихъ, ихъ семьи. Разгромъ былъ страшный. Но, какъ рассказываетъ лѣтописецъ (Фруассаръ), «когда ихъ спрашивали, зачѣмъ они такъ поступаютъ, они отвѣчали, что *не знаютъ, а дѣлаютъ такъ, какъ другіе* (*ils répondoient qu'ils ne savaient mais qu'ils faisoient ainsi qu'ils voyent les autres faire*), и думаютъ, что надо такимъ образомъ истребить всѣхъ дворянъ на свѣтѣ». Грозная жакерія была потушена въ нѣскольکو недѣль кровью жаковъ. И зачѣмъ еще горсть крестьянъ, подъ предводительствомъ нѣсколькихъ уцѣлѣвшихъ жаковъ, *просила позволенія* у начальства сразиться на свой собственный страхъ съ вторгнувшимися во Францію англичанами, передъ которыми павали побѣдители жаковъ — пышные дворяне... Впослѣдствіи, однако, подобныя возстанія стали обходиться побѣдителямъ много дороже. Но это было уже въ исходѣ среднихъ вѣковъ, когда весь феодально-католическій строй былъ распатанъ. Но собственно для средневѣковыхъ массовыхъ движеній чрезвычайно характерно то отсутствіе поддержки, плана, цѣли, направленія и то преобладаніе повиновенія и подражанія, которыя такъ ясно выразились въ жакеріи XIV столѣтія. Средневѣковая масса представляла, можно сказать, идеальную толпу. Лишенная всякой оригинальности и всякой устойчивости, до послѣдней возможной степени подавленная однообразіемъ впечатлѣній и скудностью личной жизни, она находилась какъ бы въ хроническомъ состояніи ожиданія героя. Чуть только мелькнетъ какой-нибудь особенный, выдающійся образъ на постоянно

сѣромъ, томительно ровномъ фонѣ ея жизни— и это уже герой, и толпа идетъ за нимъ, готовая, однако, свернуть съ половины дороги, чтобы идти за новымъ, бросившимся въ глаза, образомъ. Но именно вслѣдствіе этой необыкновенной податливости толпы средневѣковые герои весьма мало интересны, говоря вообще. Чтобы сдѣлаться въ ту пору героемъ, не нужно было обладать какими-нибудь специфическими чертами вожака. Не нужно было, напримѣръ, быть носителемъ той или другой идеи, которая концентрировалась бы бродящія въ толпѣ инстинкты или позывы; не нужно было обладать планомъ дѣйствія, надменною дерзостью повелителя или мягкостью искуснаго ловца умовъ и сердецъ. Стать человѣкъ ни съ того, ни съ сего плясать на улицѣ — и онъ герой; пошелъ освобождать гробъ Господень — герой; стать хлестать себя публично плетью по обнаженному тѣлу — герой; пошелъ бить жидовъ — герой и т. д., и т. д. Словомъ, отношенія между толпой и героями были самыя элементарныя, а потому мало поучительныя. Поучительно здѣсь именно только то, что герой могъ оказаться первымъ встрѣчный. А изъ этого слѣдуетъ, что хотя секретъ держанія массъ въ повиновеніи очень простъ, но представляетъ собою нѣчто очень скользкое и обоюдоострое. Мы уже видѣли это на примѣрѣ солдатъ, которые, будучи, такъ сказать, гипнотизированы самою своею жизнью, даютъ образчики безусловнаго повиновенія, но, при извѣстныхъ условіяхъ, вся сила этого автоматизма направляется совсѣмъ не туда, куда было бы желательно ее направить власть имѣющимъ. Кто хочетъ властвовать надъ людьми, заставить ихъ подражать или повиноваться, тотъ долженъ поступать, какъ поступаетъ магнетизеръ, дѣлающій гипнотическій опытъ. Онъ долженъ произвести моментально столь сильное впечатлѣніе на людей, чтобы оно ими овладѣло всецѣло и, слѣдовательно, на время задавило всѣ остальные ощущенія и впечатлѣнія, чѣмъ и достигается односторонняя концентрація сознания; или же онъ долженъ поставить этихъ людей въ условія постоянныхъ однообразныхъ впечатлѣній. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ онъ можетъ дѣлать чуть не чудеса, заставляя плясать подъ свою дудку массу народа и вовсе не прибѣгая для этого къ помощи грубой физической силы. Но бываютъ обстоятельства, когда этотъ эффектъ достигается въ извѣстной степени личными усилиями героя, и бываютъ другія обстоятельства, когда нѣтъ никакой надобности въ такихъ личныхъ усилияхъ и соотвѣтственныхъ имъ умственныхъ, нравственныхъ или физическихъ качествахъ.

Тогда героемъ можетъ быть всякій, что мы и видимъ въ средніе вѣка.

Возвращаясь къ исторіи средневѣковыхъ вольныхъ ремесленныхъ союзовъ, рекомендую читателю посмотрѣть на нее, какъ на фактическую иллюстрацію къ опѣнкѣ теорій Адама Смита и Герберта Спенсера, сдѣланной нами въ одной изъ предыдущихъ главъ. Мы видѣли, что эти мыслители отождествляютъ или, по крайней мѣрѣ, смѣшиваютъ симпатію, сочувствіе съ автоматическимъ подражаніемъ. Мы видѣли также, что мнѣніямъ ихъ рѣшительно противорѣчатъ факты подражанія поступкамъ подлымъ или жестокимъ, хотя нельзя не признать, что между симпатіей и подражаніемъ есть нѣчто общее. Это общее можно, пожалуй, выразить словами г. Кандина-скаго или цитируемаго имъ Льюиса: «стремленіе приходить въ унисонъ съ окружающими людьми». Но прійти на помощь человѣку, котораго бьютъ, и принять участіе въ его побѣдѣ—это двѣ вещи разныя. Въ первомъ случаѣ человѣкъ приходить въ унисонъ съ жертвой, во второмъ—съ палачами. Исторія развитія цеховой системы даетъ намекъ на полное объясненіе дѣла.

Вначалѣ гильдіи, какъ и цехи, относятся чрезвычайно гуманно къ людямъ, даже стоящимъ внѣ этихъ союзовъ. Ихъ члены способны сочувствовать слабымъ, нуждающимся, и «приходить съ ними въ унисонъ», переживая ихъ жизнь. Но по мѣрѣ того, какъ раздѣленіе труда проводить все болѣе и болѣе глубокія демаркаціонныя черты въ обществѣ, стремленіе къ унисону, оставаясь на лицо, существенно измѣняетъ свой характеръ и направленіе: вмѣсто сочувствія получается подражаніе. Сочувствіе убываетъ, а подражаніе прибываетъ до такой степени, что становятся возможны кровавыя драки и глубокая взаимная ненависть между представителями различныхъ отраслей раздѣленнаго общественнаго труда; становятся возможными такая замкнутость и отчужденность, что ремесленникъ для купца, рабочій для мастера, кузнецъ для сапожника и т. д. — есть какъ бы совсѣмъ другой породы существо, относительно котораго позволительна всякая жестокость и неправда. Такимъ образомъ, хотя симпатія и подражаніе имѣютъ въ основаніи своемъ нѣчто общее, но совершенно разнятся по своему направленію. При этомъ подражаніе, будучи результатомъ однообразія впечатлѣній, наилучше питается общественнымъ строемъ съ рѣзко раздѣленнымъ трудомъ. Въ средніе вѣка этотъ эффектъ былъ особенно силенъ, благодаря полному отсутствію въ обществѣ элементовъ, такъ или иначе уравновѣшивающихъ невыгоды раздѣленія труда.

НАУЧНЫЯ ПИСЬМА *).

(Къ вопросу о герояхъ и толпѣ).

I.

Происхождение стадныхъ и рабскихъ инстинктовъ, по Гальтону. — Неудовлетворительность объясненія Гальтона. — Невозможность рѣшить задачу съ точки зрѣнія теоріи Дарвина. — Теорія Рамбоссона. — Передача и превращенія мимическаго движенія. — Объ одномъ научномъ предрасудкѣ. — Психіатро-зоологическая теорія народныхъ волненій Ломброзо.

Въ статьѣ «Герои и толпа» была сдѣлана попытка объединить всѣ явленія автоматическаго подражанія, чрезвычайно многочисленныя и разнообразныя и имѣющія мѣсто чуть не во всѣхъ областяхъ жизни, какъ органической, такъ и общественной. При этомъ оказалось, между прочимъ, что явленія автоматическаго подражанія и нравственной или психической заразы находятся, по всѣмъ видимостямъ, въ самой тѣсной связи съ явленіями повиновенія, покорности. Эта попытка (очень бѣглая и уже потому неудовлетворительная, да вдобавокъ и не конченная) привести къ одному знаменателю явленія, столь разнообразныя и во многихъ отношеніяхъ столь важныя, остается до сихъ поръ, къ сожалѣнію, вполне одинокою. Не только въ русской литературѣ не было сказано за эти два года ни одного разъяснительнаго и вообще сколько-нибудь цѣннаго слова по этому поводу, но и въ Европѣ этотъ вопросъ чрезвычайной важности въ сущности очень мало подвинулся впередъ къ своему разрѣшенію. Едва ли даже хоть сколько-нибудь подвинулся, потому что подвинуться онъ можетъ только въ томъ случаѣ, если будетъ взята во всей своей многосложной обширности, а этого-то и нѣтъ. Но европейская мысль все-таки неустанно работаетъ, побуждаемая отчасти явленіями текущей практической жизни, отчасти той жаждой научныхъ завоеваній, которая ищетъ все новыхъ и новыхъ невѣдомыхъ или мало изслѣдованныхъ странъ, для водруженія на нихъ знамени той или другой доктрины. Англичанинъ Гальтонъ, французъ Рамбоссонъ и итальянецъ Ломброзо почти одновременно и совсѣмъ другъ отъ друга независимо остановили свое вниманіе на нѣкоторыхъ сторонахъ той обширной группы явленій, которую я не умѣю лучше формулировать, какъ словами «герои и толпа».

Гальтонъ, хорошо извѣстный нашей читающей публикѣ по «Наслѣдственности таланта», посвятилъ «стаднымъ и рабскимъ инстинктамъ» одну главу своей послѣдней книги (*Inquiries into human faculty and its development by Francis Galton, London 1883*). Онъ стоитъ на почвѣ общихъ принциповъ теоріи Дарвина. Другая современная широкая научная теорія, теорія единства и превращенія физическихъ силъ, дала толчокъ сначала нѣсколькимъ мемуарамъ, а потомъ книгѣ Рамбоссона о психической заразѣ и автоматическомъ подражаніи [*Phénomènes nerveux, intellectuels et moraux, leur transmission par contagion, J. Rambosson, Paris 1883*]. Наконецъ, извѣстный психіатръ Ломброзо, по поводу одного великаго случая изъ внутренней политической жизни Италіи, обнаружилъ теорію массовыхъ народныхъ волненій (*Due Tribuni studiati da un alienista. C. Lombroso. Roma, 1883*).

Съ изложенія и критики этихъ научныхъ новостей мы и начнемъ.

Въ книгѣ Гальтона, какъ уже сказано, для насъ интересна собственно одна только глава. Въ главѣ этой **) «рѣчь идетъ о рабскихъ склонностяхъ, не свойственныхъ вождямъ людей, но составляющихъ характеристическій элементъ жизни заурядныхъ личностей», — говоритъ Гальтонъ. Значительное большинство представителей нашей расы обладаетъ естественнымъ стремленіемъ уклоняться отъ отвѣтственности, сопряженной съ самостоятельной дѣятельностью: они возводятъ *vox populi* въ *vox Dei* даже и тогда, когда имъ извѣстно, что этотъ *vox populi* исходитъ отъ ничтожной толпы: они всегда являются податливыми рабами традиціи, авторитета и обычая. Умственный недостатокъ, соотвѣствующій этому нравственному пороку, обнаруживается рѣдкою свободныхъ и оригинальныхъ идей, сравнительно съ часто встрѣчающеюся готовностью принимать мнѣнія людей авторитетныхъ и подчинять имъ свои собственные сужденія. Я попытаюсь доказать, что рабскія наклонности человѣка являются прямымъ послѣдствіемъ стадности его природы, которая, въ свою очередь, есть результатъ

*) 1884 г.

**) Приношу глубокую благодарность В. В. Лесевичу, обратившему мое вниманіе на книгу Гальтона и сдѣлавшему для меня переводъ главы «Стадные и рабскіе инстинкты».

его первобытнаго варварства и формъ послѣдующей цивилизаціи. Мой аргументъ состоитъ въ томъ, что стадныя животныя въ значительной степени лишены самостоятельности, что условія жизни этихъ животныхъ сдѣлали для нихъ этотъ недостатокъ необходимостью и что, въ силу закона естественнаго подбора, стадныя инстинкты эти и сопутствующія имъ рабскія наклонности постепенно достигли высокаго развитія. Затѣмъ я имѣю въ виду доказать, что наши отдаленнѣйшіе предки жили при подобныхъ же условіяхъ; что и другія причины, исключительно присущія человѣческому обществу, вліяли въ томъ же направленіи вплоть до настоящаго времени, и что мы унаслѣдовали стадныя инстинкты и рабскія наклонности, необходимыя при минувшихъ условіяхъ, но при настоящемъ уровнѣ цивилизаціи приносящія нашей расѣ болѣе вреда, нежели пользы».

Затѣмъ Гальтонъ переходитъ къ своимъ наблюденіямъ надъ «психическою жизнью дикаго быка западной части Южной Африки». Исходнымъ пунктомъ для своихъ разсужденій онъ выбираетъ нравы этого животнаго, какъ потому, что имѣлъ случай близко съ ними познакомиться, такъ и по другимъ соображеніямъ. «Необходимо, говорить онъ, остановиться на эпитетѣ «дикій», потому что быки, происходящіе отъ одомашненныхъ родичей, обладаютъ иными естественными наклонностями; напримѣръ, англійскій быкъ гораздо менѣе стаденъ, нежели тотъ, котораго я желаю описать, и представляетъ менѣе цѣнные доводы въ пользу положенія, которое я имѣю въ виду доказать. Быки, о которыхъ я говорю, водятся въ Дамарѣ; предки ихъ никогда не были употребляемы для упряжки. Днемъ, пока они бродятъ по открытому полю, за ними присматриваютъ лишь издали, при наступленіи же ночи—ихъ криками загоняютъ въ загородки, въ которыхъ они бѣгутъ, какъ стадо испуганныхъ дикихъ звѣрей, загоняемыхъ охотникомъ въ западню. Ихъ пугливый нравъ не даетъ возможности захватить котораго-нибудь изъ нихъ иначе, какъ накинувъ ему, среди стада, арканъ на ноги, послѣ чего, при силѣ и ловкости, удается повалить животное на землю. У меня было около сотни этихъ животныхъ, приспособленныхъ къ упряжи, выкамамъ и подѣ сѣдло. Во время моего путешествія мнѣ приходилось проводить цѣлые дни на спинѣ одного изъ нихъ, причемъ другіе шли по сторонамъ, или исполняя свою работу, или на свободѣ; тутъ же, рядомъ, двигались экземпляры вполне одомашненные, имѣвшіе назначеніемъ служить запасомъ провизіи для путешественниковъ. Ночью, когда не было времени для устройства загородки, я ложилъ

ся среди нихъ и съ любопытствомъ наблюдалъ, какъ охотно они пользовались сосѣдствомъ огня костровъ и близостью человѣка, сознавая, что они находятъ такимъ образомъ защиту отъ бродящихъ кругомъ и высматривающихъ добычу хищныхъ звѣрей». Въ особенности замѣчательнъ стадный инстинктъ дамарскихъ быковъ, необыкновенно у нихъ развитый и явно отличающійся отъ обыкновенныхъ общественныхъ чувствъ. Эти послѣднія у нихъ даже очень слабо развиты и во взаимныхъ ихъ отношеніяхъ досада и отвращеніе обнаруживаются гораздо явственнѣе, чѣмъ дружелюбіе и ласковость. Повидимому, дамарскому быку общество совсѣмъ не нужно: при обыкновенныхъ условіяхъ онъ не почерпаетъ изъ него никакого удовольствія, и, однако, онъ не можетъ ни минуты провести безъ своего стада спокойно. Будучи хитростью или силою выдѣленъ изъ стада, онъ обнаруживаетъ явные признаки психическаго страданія, онъ всѣми силами старается вернуться, и если ему это удается, «онъ погружается въ среду сотоварищей всѣмъ своимъ тѣломъ, какъ бы наслаждаясь непосредственнымъ соприкосновеніемъ съ животными, окружающими его». Этотъ страстный ужасъ разлуки со стадомъ съ одной стороны очень удобенъ, потому что пока пастухъ ночью или въ туманѣ различаетъ одного быка, онъ можетъ быть увѣренъ, что и все стадо тутъ. Но отсюда же происходитъ и огромное неудобство для путешественниковъ, потому что быки, по образному сравненію Гальтона, ведутъ себя, какъ тѣ церемонные гости, которые толкуются въ дверяхъ столовой, уступая другъ другу мѣсто, и никто не хочетъ идти первымъ. Передовой быкъ есть исключительная въ нѣкоторомъ родѣ натура. Воспитатели, приручители этихъ быковъ наблюдаютъ, который изъ нихъ обнаруживаетъ настолько самостоятельности, чтобы отойти отъ стада въ сторону или идти впереди. Такого ужъ не приучаютъ ходить въ упряжкѣ и не бьютъ на мясо, а возлагаютъ на него только ту функцію вожака («героя»), къ которой онъ можетъ быть одинъ въ цѣломъ стадѣ способенъ.

«Заключеніе, къ которому мы приходимъ, говорить Гальтонъ,—состоитъ въ томъ, что скотъ дамарской породы представляетъ мало индивидовъ, достаточно самостоятельныхъ и независимыхъ для того, чтобы идти на встрѣчу ко вседневнымъ опасностямъ безъ расчета на постороннюю помощь. Онъ представляетъ собою настоящій рабскій типъ, и каждое отдѣльное животное видитъ лучшую участь свою въ подчиненіи тѣмъ изъ наиболѣе самостоятельныхъ, которые берутъ на себя роль вожака. Ни одинъ быкъ не дерзаетъ дѣйствовать вопреки стаду, всякій

принимаетъ общее рѣшеніе за обязательное».

Такимъ инстинктамъ естественно было выработаться въ странѣ, опустошаемой многочисленными хищными животными. Нельзя сказать, чтобы дамарскій быкъ былъ самъ по себѣ въ одинокомъ состояніи беззащитенъ. Напротивъ, его рога могутъ сослужить ему хорошую службу даже противъ самыхъ сильныхъ и большихъ хищниковъ. Корова, отелившаяся въ сторонѣ отъ пути стада и временно имъ оставленная, никогда не дѣлается добычей львовъ; она всегда благополучно возвращается вмѣстѣ съ теленкомъ къ стаду, хотя по слѣдамъ на землѣ видно, что ей пришлось выдержать правильную осаду со стороны дикихъ звѣрей. Но это дѣло исключительное, дѣло особенно возбужденнаго состоянія коровы, благодаря которому хищникъ не можетъ ее застать врасплохъ. При обыкновенныхъ условіяхъ скоту приходится большую часть дня пастись, то-есть держать голову погруженною въ траву и, слѣдовательно, не видѣть и не обонять того, что находится кругомъ. Такимъ образомъ, опасность состоитъ преимущественно въ неожиданности нападенія, каковая и парализуется самымъ фактомъ стадной жизни. «Жить стадомъ — значитъ сдѣлаться нитью огромной чувствующей ткани, покрывающей собою нѣсколько акровъ; значитъ — стать обладателемъ способностей, постоянно бодрствующихъ, глазъ, видящихъ во всѣхъ направленіяхъ, ушей и ноздрей, изслѣдующихъ широкую полосу воздуха; значитъ — сдѣлаться обладателемъ всѣхъ преимуществъ, дающихъ возможность слѣдить за приближеніемъ дикихъ звѣрей. Охранительныя чувства индивида, избирающаго жизнь общественную, возрастаютъ въ значительной степени, въ силу чего онъ пріобрѣтаетъ максимумъ безопасности цѣною минимальной бдительности. Изолируя животное, успѣвшее привыкнуть къ стадной жизни, мы сокращаемъ его охранительные ресурсы, и само оно начинаетъ сознавать, что оно ограждено отъ опасности только съ одной стороны, съ той именно, куда въ данный моментъ устремлено его вниманіе; оно знаетъ, что бѣда легко можетъ надъ нимъ стрястись оттуда, откуда оно не ожидаетъ... Не подлежитъ сомнѣнію поэтому, что въ странѣ, подверженной опустошеніямъ хищныхъ звѣрей, стадное сожителство есть явленіе, соответственное даннымъ условіямъ; а если такъ, то, въ силу закона естественнаго подбора, необходимо слѣдуетъ, что у такихъ животныхъ развитіе стадныхъ, а затѣмъ и рабскихъ инстинктовъ находить благопріятную почву. Изъ этого слѣдуетъ также, что степень, до которой развились эти инстинкты, есть, вообще говоря,

степень наибольшаго ихъ соответствія съ представляемою ими безопасностью. Если бы животныя эти были стадны въ большей степени, то имъ и на обширныхъ дамарскихъ пастбищахъ пришлось бы ходить въ такой тѣснотѣ, что они служили бы другъ другу помѣхой; если же бы они были стадны въ меньшей степени, то паслись бы слишкомъ въ разбродъ и лишались бы такимъ образомъ достаточной охраны отъ дикихъ звѣрей».

Спрашивается теперь: почему быки-вожаки, быки-герои попадаютъ именно въ такомъ числѣ, а не въ иномъ? Приблизительно на пятьдесятъ быковъ обыкновенныхъ приходится одинъ вожакъ. Почему же не одинъ на пять и не одинъ на пятьсотъ? «Причина указаннаго отношенія заключается несомнѣнно въ стремленіи закона естественнаго подбора дать одного вожака на каждое соразмѣрное пастбищу стадо и ограничить такимъ образомъ чрезмѣрное количество выдающихся особей. Существуетъ извѣстный размѣръ стада, наиболѣе сообразный съ географическими и другими условіями страны. Оно не должно быть слишкомъ обширно, потому что въ такомъ случаѣ разбросанныя по пастбищу лужи — единственный водопой въ теченіе большей части года — окажутся недостаточными; такая же соразмѣрность существуетъ и по отношенію къ пастбищу. Стадо не должно быть и слишкомъ мало, иначе оно станетъ сравнительно небезопасно... Мы видимъ, что быки, пасущіеся особнякомъ, равно какъ и выступающіе впереди стада, признаются обладающими достаточною независимостью характера, чтобы сдѣлаться вожаками. Ихъ даже предпочитаютъ настоящимъ предводителямъ, такъ какъ обособленность своею они свидѣтельствуютъ объ исключительной независимости. Вожаки достаточно охранены отъ львовъ тѣмъ, что по сторонамъ и въ тылу ихъ бодрствуютъ ихъ сотоварищи. Быкъ же, пасущійся особнякомъ, представляетъ собою индивида, чрезмѣрно одареннаго самостоятельностью, его тылъ и бока не защищены, а потому на такихъ-то быковъ и нападаютъ львы. Разсматривая вопросъ шире, мы можемъ утверждать, что именно дикіе звѣри и приспосабливаютъ всякое стадо къ компактности и доводятъ его до тѣсно связаннаго единства, предводимаго однимъ, хорошо защищеннымъ вожакомъ. Что же касается независимости характера рогатаго скота, живущаго при такихъ условіяхъ, то пониженіе ея, подъ вліяніемъ хищниковъ, сравнительно съ тою степенью, которая была бы достигнута при иныхъ условіяхъ, видно изъ того, что у скота, предки котораго не подвергались этой опасности въ цѣломъ ряду поколѣній, самостоятельности оказывается гораздо больше».

Таково же, по мнѣнію Гальтона, и вліяніе дикарей или варваровъ на своихъ сосѣдей. Онъ настаиваетъ на сходствѣ даже въ подробностяхъ. «Дикари, говоритъ онъ, большею частью такъ угрюмы и недружелюбны, что, кромѣ взаимной поддержки, у нихъ едва ли можетъ найтись другой поводъ для установленія общественной связи. Если мы обратимъ вниманіе на обитателей той же страны, въ которой живутъ описанные выше быки, то замѣтимъ, что дикари эти живутъ небольшими племенами, всегда почти ведущими между собою войну». Между этими племенами лишь немногія очень велики и столь же немногія очень малы; большинство же племенъ нѣкоторой средней величины, уклоненія отъ которой въ ту и другую стороны одинаково невыгодны: слишкомъ малому племени трудно выдержать напоръ сосѣдей; слишкомъ большое окажется чрезмѣрно разбросаннымъ и обречено страдать или отъ недостатка централизаціи, или отъ недостатка пищи. Регуляторомъ въ этомъ отношеніи является законъ подбора, надѣляющій каждую расу дикарей такимъ количествомъ самостоятельныхъ личностей, которое предотвращаетъ какъ опасности слѣпноты стремленія къ слитію нѣсколькихъ племенъ въ одно цѣлое, такъ и опасности чрезмѣрнаго раздробленія. «Не слѣдуетъ, конечно, предполагать — продолжаетъ Гальтонъ, — что стадные инстинкты имѣютъ одинаковое значеніе для всѣхъ формъ жизни дикарей». Но онъ утверждаетъ, что строй жизни отдаленныхъ предковъ европейцевъ (и именно жизнь кланами) имѣлъ въ свое время тѣ же результаты, какіе можно теперь наблюдать въ средѣ значительной части населенія Африки.

Къ сожалѣнію, это важное положеніе остается у нашего автора безъ всякаго развитія и доказательства. Онъ его просто ставитъ, какъ аксіому, переходя затѣмъ къ другому важному обстоятельству. Если какое-нибудь животное въ стадѣ возбудитъ гнѣвъ вожака, этотъ послѣдній нападаетъ на него одинъ на одинъ, и между ними происходитъ борьба, въ которую остальные животныя не вмѣшиваются. Въ человѣческомъ обществѣ, уже на очень ранней ступени его развитія, дѣло происходитъ иначе, потому что за вожакомъ стоятъ разнообразныя прислѣшники и слуги, которые всею своею массою и всѣмъ разнообразіемъ своихъ функций, такъ сказать, облагаютъ непокорнаго и подавляютъ его. Въ связи съ этимъ имѣютъ мѣсто различныя религіозныя и политическія гоненія, истребляющія или, по крайней мѣрѣ, устраняющія отъ дѣятельности людей наиболѣе энергическихъ и самостоятельныхъ и тѣмъ понижающія въ этомъ отношеніи уровень расы. Такимъ-то образомъ, стадные и рабскіе

инстинкты, когда-то выработанные необходимостью, становятся нынѣ поперекъ дороги человечеству. «Я утверждаю, говоритъ Гальтонъ, — что слѣпной инстинктъ, развившійся подъ продолжительнымъ вліяніемъ этихъ условій, проникъ въ насъ до мозга костей и служить въ настоящее время помѣхой пользованію той свободой, которую способны были дать намъ формы современной цивилизаціи».

Мы не послѣдуемъ за Гальтономъ въ дальнѣйшихъ его разсужденіяхъ на эту тему, какъ потому, что въ цѣломъ они не совсѣмъ удобны по нашимъ цензурнымъ условіямъ, такъ и потому, что они собственно не касаются занимающаго насъ здѣсь вопроса — «о происхожденіи стадныхъ и рабскихъ инстинктовъ». Что же касается этого вопроса, поставленнаго самимъ Гальтономъ, то едва ли я ошибусь, если скажу, что, прочитавъ все вышеизложенное, никто не почувствуетъ себя вполне удовлетвореннымъ, хотя мы и получили рядъ болѣе или менѣе остроумныхъ и правдоподобныхъ соображеній. Въ неудовлетворительности этой лично Гальтона можно винить только отчасти. Какова бы ни была цѣнность его выводовъ относительно психологіи дамарскихъ быковъ, но къ человѣческому обществу выводы эти приложены во всякомъ случаѣ крайне неудовлетворительно. Оба конечные пункта его изслѣдованія (если только тутъ уместно слово «изслѣдованіе»), то-есть и моментъ возникновенія стадныхъ и рабскихъ инстинктовъ, и моментъ ихъ превращенія изъ необходимыхъ и полезныхъ въ ненужные и вредные — совершенно неясны.

Гальтонъ оговариваетъ: «не слѣдуетъ предполагать, что стадные инстинкты имѣютъ одинаковое значеніе для всѣхъ формъ жизни дикарей». Но этой оговорки немножко мало, потому что на самомъ дѣлѣ степени развитія стадныхъ и рабскихъ инстинктовъ у дикарей въ высшей степени разнообразны.

Гальтонъ ссылается для примѣра на бытъ жителей той самой страны Дамара, на поляхъ которой пасутся столь «типишно-рабская» порода быковъ. По странной случайности, дикари эти, по крайней мѣрѣ, на первый взглядъ, могутъ служить образчикомъ тоже типично-рабской породы людей. По словамъ Спенсера, «у дамаровъ существуетъ мало стремленія сопротивляться чужой волѣ, но, вмѣсто того, какое-то почтительное восхищеніе каждымъ, кто рѣшится взять власть надъ ними» («Основація науки о нравственности». Спб. 1880, 227). Въ другомъ сочиненіи Спенсеръ цитируетъ именно Гальтона: «въ Дамарѣ чувство мести очень скоропреходяще и быстро уступаетъ мѣсто чувству благоговѣйнаго почтенія къ притѣснителю... Дамары лишены всякой независимости, они ищутъ

рабства,—раболовное почтеніе и страхъ суть единственные сильныя чувства у нихъ» («Основанія соціологіи», Спб. 1876, I, 64, 70). Въмѣстѣ съ тѣмъ Спенсеръ, со словъ того же Гальтона, называетъ дамаровъ «неисправимыми ворами и мошенниками». Позднѣйшій путешественникъ, Бюттнеръ, цитируемый г. Зиберомъ («Очерки первобытной экономической культуры», М. 1883), сообщаетъ чрезвычайно любопытныя подробности объ этихъ воровскихъ наклонностяхъ одного изъ дамарскихъ племенъ, гереро. Могущественнѣйшій изъ вождей этого племени, Камагареро, позволилъ снять съ себя фотографію, для чего явился въ слѣдующемъ костюмѣ: пара башмаковъ, три пары панталонъ изъ толстой матеріи; сколько было на немъ рубашекъ,—авторъ не можетъ сказать, но, сверхъ того, на немъ была жилетка, вокругъ тѣла была обита большая шаль, потомъ слѣдовалъ толстый пиджакъ, шаль вокругъ шеи и, поверхъ всего этого, плафрокъ, а на головѣ шарфъ, надъ которымъ была калабрійская шапка, а сверхъ нея шелковый колпакъ, вышитый жемчугомъ; «и все это при температурѣ, когда всякій другой охотно сбросилъ бы съ себя все, что не было необходимо!» Не слѣдуетъ думать, чтобы могущественный дамарскій вождь напялилъ на себя всѣ эти случайно доставшіяся отъ европейцевъ вещи единственно изъ франтовства. Можетъ быть, конечно, и этотъ мотивъ игралъ нѣкоторую роль, но главною побудительною причиною такого полного примѣненія словъ «omnia mea tibi» была боязнь, что «ищущіе рабства», благоговѣнно почитающіе «своего притѣснителя» подданные воспользуются случаемъ и раскрадутъ весь гардеробъ. Раскрадутъ и не отдадутъ, и будутъ носить на глазахъ вождя. Бюттнеръ рассказываетъ, что тотъ же «притѣснитель» Камагареро выпросилъ у одного изъ его друзей кусокъ мыла, объясняя притомъ, что онъ долженъ самъ, своими собственными державными руками, мыть свое платье: отдать вымытъ никому нельзя, возьмутъ и потомъ скажутъ: «мнѣ самому нужно». «Среди гереро, говоритъ Бюттнеръ,—никто не побоялся въ отсутствіи кого-либо изъ своихъ родственниковъ или друзей воспользоваться принадлежащими имъ вещами». Любопытно, однако, что взломать европейскій сундукъ съ замкомъ ни одинъ гереро не осмѣлится, вслѣдствіе чего «многіе здѣсь желали бы, по образцу европейцевъ, обзавестись сундуками съ замкомъ, чтобы сберегать въ нихъ тѣ вещи, которыя не нужны ежеминутно».

Изъ совокупности этихъ странныхъ, мало понятныхъ для насъ, чудныхъ фактовъ слѣдуетъ, кажется, заключить, что если дамари и въ самомъ дѣлѣ «неисправимые воры и мо-

шенники», то совсѣмъ не въ томъ смыслѣ, какой мы, цивилизованные европейцы, соединяемъ съ этими словами. Точно также рабскіе инстинкты ихъ нельзя называть высокою степенью того, что мы считаемъ рабствомъ. Повидимому, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ особеннымъ настроеніемъ ума, неспособнаго критически отнестись къ совершившемуся факту вообще, въ чемъ бы онъ ни состоялъ. Какой-нибудь Камагареро «взялъ власть» надъ соплеменниками, по выраженію Спенсера. Какъ это случилось — неизвѣстно, но во всякомъ случаѣ фактъ признается и принимается до такой степени, что наблюдатель-европеецъ говоритъ о раболовномъ почтеніи, о благоговѣніи и проч. Но гдѣ же тутъ, спрашивается, благоговѣніе, когда могущественнѣйшій изъ вождей такъ легко можетъ остаться безъ штановъ? Правда, ихъ съ него не снимутъ (какъ не снимутъ и съ любого другого гереро), равнымъ образомъ изъ запертаго сундука не вытащатъ: штаны надѣты, штаны заперты—это непререкаемые факты, не подлежащіе критикѣ. Но если эта принадлежность туалета лежитъ праздно и открыто или просто отдана въ стирку, то ее надѣваетъ тотъ, кому она нужна, и такъ-таки прямо и говоритъ могущественнѣйшему вождю: «мнѣ самому нужно», и это немедленно становится тоже непререкаемымъ фактомъ, противъ котораго могущественнѣйшій вождь совершенно безсиленъ. Очевидно, для уразумѣнія этихъ странныхъ отношеній мы должны совсѣмъ отрѣшиться отъ той мысли, что явленія первобытной жизни (то-есть жизни дикарей и нашихъ отдаленныхъ предковъ), въѣшнимъ образомъ сходныя съ нѣкоторыми современными явленіями, непременно суть явленія, дѣйствительно, одного съ ними порядка. Приписать чужую вещь означаетъ въ Дамарѣ совсѣмъ не то, что у насъ, и подчиненность дамарская не есть европейская подчиненность, только, дескать, въ иной и притомъ высшей степени развитія. Нѣтъ, это—совсѣмъ другой типъ отношеній. Поэтому, прежде чѣмъ говорить о происхожденіи стадныхъ и рабскихъ инстинктовъ у дикарей и нашихъ отдаленныхъ предковъ, надлежало бы доказать, что инстинкты эти дѣйствительно тамъ существуютъ. Допуская даже, что относительно дамаровъ это вполне доказано, мы твердо знаемъ, что есть много дикарей, отличающихся, напротивъ, необыкновеннымъ свободолюбіемъ и личною самостоятельностью. А потому и по отношенію къ предкамъ европейцевъ нельзя просто «утверждать», какъ это дѣлаетъ Гальтонъ, что они были носителями стадныхъ и рабскихъ инстинктовъ. «Утверждать», съ такимъ же или даже еще болѣе вѣроятіемъ, можно и совершенно обратное положеніе. Во всякомъ же случаѣ исход-

ная точка всего разсужденія Гальтона, моментъ возникновенія стадныхъ и рабскихъ инстинктовъ, не обставленъ никакими сколько-нибудь солидными доказательствами, и все его зданіе построено нѣкоторымъ образомъ на пескѣ.

За проистекающую отсюда неудовлетворенность читателя отвѣтственъ самъ Гальтонъ, а не его точка зрѣнія, которая можетъ быть и правильна; можетъ быть, оставаясь въ тѣхъ же рамкахъ и при той же задачѣ, нашъ авторъ пришелъ бы къ тѣмъ же результатамъ и при большей тщательности фактическаго изслѣдованія. Это неизвѣстно, но не несомнѣнно, что и при чтеніи первой половины главы «Стадные и рабскіе инстинкты», гдѣ ведется болѣе обстоятельная рѣчь о болѣе простыхъ явленіяхъ, неудовлетворенность все-таки чувствуется. И дѣло на этотъ разъ уже именно въ точкѣ зрѣнія автора и въ общихъ приемахъ его изслѣдованія.

Вышеупомянутый Бюттнеръ свидѣтельствуешь, что «небезопасность всякихъ отношеній въ анархической странѣ побуждаетъ народъ гереро раздѣлять свой скотъ на возможно большее число партій, для того, чтобы какая-нибудь эпидемія или внезапный грабительскій набѣгъ злыхъ сосѣдей не лишили его сразу всего имущества» (Зиберъ, I. с., 400). Изъ этого видно, что остроумное предположеніе Гальтона насчетъ дикихъ звѣрей, какъ регуляторовъ количества быковъ съ самостоятельнымъ характеромъ и численности самыхъ стадъ, не совсѣмъ вѣрно или, по крайней мѣрѣ, неполно. Дамары отнюдь не полагаются на благотѣльный законъ подбора, не думаютъ, что онъ самъ по себѣ можетъ привести все къ наилучшему концу и такъ раздробить стада, чтобы они численностью своею, какъ на заказъ, соответствовали мѣстнымъ условіямъ пастбища, водопоя и опасностей. Трудъ расчета всѣхъ этихъ условій дамары берутъ на себя и, вѣроятно, вовсе не благодарны хищнымъ звѣрямъ, которые, истребляя излишнее количество слишкомъ самостоятельныхъ быковъ, играютъ, съ точки зрѣнія Гальтона, такую благотѣльную роль.

Дѣло, однако, не въ подобныхъ частностихъ. Какъ бы ни были онѣ Гальтономъ предусмотрѣны, сколько бы тонкости мысли и остроумія онъ ни затратилъ на ихъ объясненіе, законъ подбора неизбѣжно будетъ насъ водить только вокругъ да около интересующаго насъ явленія, не давая объясненія именно тому, что подлежитъ объясненію. Въ статьѣ «Герои и толпа» мы разсмотрѣли эту черту дарвинизма съ нѣкоторою подробностью въ примѣненіи къ покровительственной окраскѣ и къ явленіямъ мимичности вообще. Траву косить можно только тамъ, гдѣ она растетъ; «подбирать можно только тамъ, гдѣ

есть что подбирать. Законъ подбора, выступаетъ на сцену лишь тогда, когда извѣстная психическая или физическая особенность, подлежащая подбору, уже существуетъ; иначе ему не надѣ чѣмъ проявить свое дѣйствіе. Вы спрашиваете дарвиниста: отъего это нашъ сѣрый русакъ на зиму бѣлѣетъ?—«Ахъ, это очень просто: среди сѣрыхъ зайцевъ случайно родился одинъ бѣлый, и такъ какъ онъ, благодаря этому своему бѣлому цвѣту, былъ сравнительно мало замѣтенъ на снѣгу для враговъ, то избѣгъ многихъ опасностей, которымъ подвергались его сѣрые родичи, и оставилъ потомство, а въ потомствѣ бѣлый цвѣтъ постепенно и утвердился».—Позвольте, однако, да вѣдь заяцъ-то на лѣто опять сѣрѣетъ: это почему же?—«Да все потому же: одинъ изъ потомковъ побѣлѣвшаго зайца лѣтомъ случайно посѣрѣлъ, и такъ какъ это было для него выгодно, то онъ избѣгъ многихъ опасностей и передалъ своему потомству способность мѣнять лѣтомъ и зимой цвѣта сообразно обстоятельствамъ». Дарвинистъ, какъ мы въ свое время видѣли, не останавливается и передъ еще болѣе сложными и трудно постигаемыми явленіями покровительственной окраски и автоматическаго подражанія. Онъ не замѣчаетъ при этомъ, что вовсе не отвѣчаетъ на ваши вопросы, а только ходитъ около отвѣта. Дарвинисты очень злоупотребляютъ словомъ «случайность». Случайность лежитъ у нихъ въ основаніи чуть не каждой новой особенности, каждаго отклоненія отъ установившейся формы. Но что такое случайность, если не комбинація обстоятельствъ, связанныхъ неизвѣстными намъ причинами? Какъ бы тщательно мы ни изслѣдовали дальнѣйшую судьбу новой особенности, изслѣдованіе это не можетъ пролить ни одного луча свѣта на тотъ *иксъ*, который былъ вызванъ случайностью. Онъ остается *иксомъ*, то-есть задача остается нерѣшенной. Для рѣшенія ея надо обратиться къ какимъ-нибудь другимъ приемамъ изслѣдованія. Это ясно изъ чисто логическаго анализа самаго понятія подбора. Дарвинисту надлежало бы сказать: *я не знаю* непосредственной причины такой или другой особенности, но знаю, что разъ она появилась, то естественный подборъ, смотря по тому—выгодно она оказывается или нѣтъ, стремится либо закрѣпить ее въ ряду поколѣній, либо, напротивъ, устранить. Въ такомъ же родѣ Гальтонъ, стоя на почвѣ теоріи Дарвина, долженъ бы былъ отвѣчать на вопросъ о происхожденіи стадныхъ и рабскихъ инстинктовъ. Правда, что касается дамарскихъ быковъ, дѣло такъ просто, что не требуетъ, пожалуй, и принциповъ дарвинизма для своего разъясненія: плохо вооруженныя животныя, угрожаемыя сильными хищниками, собираются въ стадо, въ которомъ находятъ себѣ

защиту и поддержку. Вот и все. Вводя сюда дарвиновскій принципъ подбора приспособленных и вымиранія неприспособленных, Гальтонъ, пожалуй, бросаетъ нѣкоторое дополнительное освѣщеніе на фактъ и обобщаетъ его. Однако, отнюдь не настолько обобщаетъ, чтобы мы могли сказать: теперь ужъ мы знаемъ, отчего происходятъ стадные и рабскіе инстинкты вообще, въ томъ числѣ и въ человѣческомъ обществѣ. Совсѣмъ мы этого не знаемъ и при помощи однихъ только принциповъ дарвинизма никогда не узнаемъ, потому что естественный подборъ, по самой сущности своей, можетъ разъяснять только укрѣпленіе и распространеніе какого бы то ни было явленія, а никогда — его происхожденіе.

Возьмемъ для примѣра паническій ужасъ, внезапно охватывающій толпу, или чисто рабское преклоненіе огромнаго количества людей передъ авторитетомъ Наполеона I. Неужели читатель будетъ удовлетворенъ, если явленія эти будутъ ему объяснять тѣмъ, что когда-то, много вѣковъ тому назадъ, предки европейцевъ жили на манеръ джармскихъ быковъ, и что какъ тогда, такъ и впоследствии обстоятельства способствовали подбору несамостоятельныхъ личностей, пропитанныхъ стадными и рабскими инстинктами? Спора нѣтъ, дарвинистъ можетъ сообщить въ этихъ рамкахъ много важнаго и интереснаго. Но, исчерпавъ даже всѣ обстоятельства, способствовавшія въ теченіе всего историческаго процесса истребленію самостоятельныхъ характеровъ и выживанію прирожденныхъ рабовъ, онъ не укажетъ намъ все-таки непосредственныхъ причинъ паникѣ или обожествленію Наполеона. Дѣло идетъ объ извѣстномъ психическомъ настроеніи, а намъ рассказываютъ о томъ, какъ люди противоположнаго настроенія истреблялись, не оставляли потомства и проч. Мы хотимъ знать, почему видъ бѣгущей толпы увлекаетъ и насъ, не имѣющихъ ни надобности, ни желанія принимать участіе въ этомъ бѣгствѣ, или почему человекъ падаетъ ницъ передъ представленіемъ гигантскаго образа Наполеона, а намъ отвѣчаютъ: это — наслѣдіе прошлаго; когда-то людямъ было полезно бѣгать стадомъ и преклоняться передъ тѣмъ, кто взялъ въ руки палку и энергически ею дерется; поэтому тѣ экземпляры человѣческой породы, которые не имѣли этихъ склонностей, погибли. Ясно, что это — не отвѣтъ, и что получить этимъ путемъ отвѣтъ безусловно невозможно. Дѣло здѣсь не въ личныхъ талантахъ и знаніяхъ изслѣдователя, а въ его точкѣ зрѣнія. Конечно, и убѣжденнѣйшій, послѣдовательнѣйшій дарвинистъ можетъ дать намъ искомый отвѣтъ, но въ такомъ случаѣ онъ почерпнетъ его не въ прин-

ципахъ дарвинизма, а гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ. *La plus jolie fille ne peut donner que ce qu'elle a*, и самыя могучія орудія изслѣдованія безсильны за предѣлами своей компетенціи.

На этомъ мы и покончимъ съ Гальтономъ. Стоило бы можетъ быть поговорить еще о той неопредѣленности, съ которою дарвинисты употребляютъ слова «польза», «полезныя приспособленія», разумѣя то пользу индивида, то пользу вида, то пользу общества, то, наконецъ, пользу данной формы общественныхъ отношеній. Но съ этою неопредѣленностью и съ происходящими отсюда послѣдствіями мы еще, вѣроятно, встрѣтимся, и притомъ въ болѣе яркомъ выраженіи, чѣмъ у Гальтона, а теперь это отвлекло бы насъ въ сторону.

Если, такимъ образомъ, теорія Дарвина, какъ мы убѣдились на покровительственной окраскѣ и на стадныхъ и рабскихъ инстинктахъ, не даетъ и не можетъ дать отвѣта на великую загадку о герояхъ и толпѣ, то не окажемся ли мы счастливей, обратившись къ другому, еще болѣе широкому научному обобщенію нашихъ дней, къ теоріи единства и превращенія физическихъ силъ? Въ такомъ счастливомъ исходѣ совершенно увѣренъ авторъ вышеупомянутой книги «*Phénomènes nerveux, intellectuels et moraux, leur transmission par contagion*», — Рамбоссонъ.

Какъ читатель уже по заглавію можетъ видѣть, книга Рамбоссона посвящена именно тому предмету, который занималъ насъ въ «Герояхъ и толпѣ». Но рамки этой книги нѣсколько иныя. Кромѣ той, не совсѣмъ определенной группы явленій, которую французскіе психіатры еще со временъ Эскироля называютъ нравственной заразой, *contagion morale*, мы имѣли въ виду явленія покровительственной окраски и мимичности вообще. Объ этихъ послѣднихъ Рамбоссонъ не говоритъ ни слова, равно какъ о стигматизаціи и другихъ подобныхъ явленіяхъ, представляющихъ въ нѣкоторомъ смыслѣ какъ бы переходъ отъ нравственной заразы къ удивительнымъ фактамъ подражанія въ расположеніи формъ и красокъ въ животномъ мірѣ. Далѣе, явленія гипноза и нѣкоторыхъ психопатій убѣдили насъ, что автоматическое подражаніе находится въ близкомъ родствѣ съ слѣпымъ повиновеніемъ. Эта сторона дѣла также совсѣмъ не занимаетъ Рамбоссона. Зато, съ другой стороны, онъ вводитъ въ кругъ своего изслѣдованія всю обширную область вліяній музыки, мимики и пластическихъ искусствъ. Вліянія эти, равно какъ и вліяніе примѣра въ случаяхъ нравственной заразы, объясняются для него «закономъ передачи и превращенія мимическаго движенія» (*du mouvement expressif*). Законъ этотъ форму-

лируется даже такъ: «Мозговое или психическое движеніе можетъ, проходя различныя среды, превращаться въ чисто физиологическое, затѣмъ въ физическое, затѣмъ опять въ физиологическое и, наконецъ, опять въ мозговое или психическое, ни мало при этомъ не извращаясь, то-есть сохраняя способность воспроизводить всѣ свойственныя ему явленія».

Прежде чѣмъ издавать свою книгу, Рамбоссонъ представилъ во французскія академіи рядъ мемуаровъ, относящихся къ этому закону. Мнѣ неизвѣстно, однако, чтобы мемуары эти обратили на себя вниманіе въ ученomъ мірѣ, и самъ авторъ, очень ревниво относясь къ своему закону и до комизма радуясь всякому похвальному отзыву, указываетъ только двухъ или трехъ итальянскихъ психіатровъ, печатно признавшихъ важное научное и практическое значеніе за его мемуарами.

Съ фактической стороны книга Рамбоссона очень скудна для спеціального изслѣдованія нравственной заразы (значительная ея часть занята популярнымъ изложеніемъ нѣкоторыхъ данныхъ физики и физиологіи). Не говоря объ игнорированіи сопредѣльныхъ явленій, онъ и въ области собственно нравственной заразы довольствуется немногими и общеизвѣстными фактами. Мы возьмемъ, однако, у него что-нибудь, дабы съ большимъ удобствомъ, на какомъ-нибудь собственномъ его образчикѣ, прослѣдить дѣйствіе закона передачи и превращенія мимического движенія.

Нѣкто аббатъ Вазилье разсказалъ нашему автору слѣдующій случай. Однажды въ школу, находившуюся подъ управленіемъ аббата въ Верденѣ, явился человѣкъ съ страннымъ предложеніемъ. Онъ брался, за небольшое вознагражденіе, заставить зѣвать весь персоналъ школы, учениковъ и учителей. Условіе было заключено. Персоналъ школы былъ, конечно, предупрежденъ и готовился выдержать испытаніе; два учителя и десять учениковъ въ особенности рѣшились не поддаваться искушенію, и въ этомъ смыслѣ составилось нѣсколько пари. Въ назначенный день всѣ собрались въ большой залъ. Странный человѣкъ сталъ слегка похлѣвывать, возбуждая сначала насмѣшки, но, по мѣрѣ того какъ онъ постепенно и съ большою натуральностію усиливалъ свои зѣвки, нѣкоторые изъ школьниковъ начали заражаться, къ нимъ приставали понемногу другіе и, наконецъ, всѣ присутствующіе зазѣвали во весь ротъ; слабѣйшіе зѣвали просто до боли.

Мы имѣемъ здѣсь обыкновеннѣйшее изъ явленій психической заразы, только слегка осложненное многочисленностію заражен-

ныхъ и преднамѣренностію опыта: заразительность зѣвоты слишкомъ извѣстна. Не смотря, однако, на эту извѣстность, а вѣрѣе сказать—именно вслѣдствіе этой извѣстности и обыденности явленія, намъ рѣдко приходится въ голову вопросъ: въ чемъ же тутъ дѣло? почему видъ зѣвущаго человѣка съ такою непреодолимостію раздвигаетъ челюсти зрителя, что, какъ всякій знаетъ по опыту, нужно иногда значительное усиліе, чтобы изъ приличія удержатъ ихъ сомкнутыми? Отвѣтъ Рамбоссона будетъ слѣдующій.

Назовемъ мимическимъ движеніемъ всю сумму явленій, по которымъ мы узнаемъ о такомъ или иномъ душевномъ настроеніи человѣка. Когда ему скучно, когда онъ утомленъ, когда ему весело или онъ, напротивъ того, огорченъ, когда онъ труситъ или преисполненъ бодрой отваги и проч., и проч., то всѣ эти состоянія духа свидѣтельствуются для присутствующихъ извѣстными, для каждаго даннаго случая, вообще говоря, постоянными, сокращеніями личныхъ мускуловъ, игрою сосудо-двигательной системы, вызывающею на лицѣ краску или блѣдность, жестами, выразительными звуками и т. д. Если, однако, мы все это сложное мимическое движеніе воспринимаемъ, то единственно потому, что оно передалось свѣтовымъ и звуковымъ волнамъ, сообщивъ имъ колебаніе, координированное опредѣленнымъ образомъ и именно соотвѣтственно всѣмъ подробностямъ мимического движенія. Но свѣтовое и звуковое движеніе, достигнувъ органовъ зрѣнія и слуха, не можетъ исчезнуть, какъ не исчезаетъ, напримѣръ, механическое движеніе колокольнаго языка, ударившагося о стѣну колокола. Современная физика учитъ, что хотя видимое движеніе языка и прекратилось, но оно не исчезло, а превратилось въ количественно соотвѣтственное движеніе молекулъ колокола, а затѣмъ передалось частицамъ воздуха, колебанія которыхъ даютъ намъ ощущеніе звука. Эта самая современная физика не говоритъ пока ничего опредѣленнаго о томъ, куда дѣвается и во что обращается звуковое или свѣтовое движеніе, достигнувъ нашего уха или глаза. Но всѣ аналогіи и, такъ сказать, общая фізіономія науки заставляютъ насъ признать, что и здѣсь идетъ дальнѣйшее превращеніе движенія, дальнѣйшій круговоротъ силъ. Организмъ, въ своей наиболѣе общей функціи, можетъ быть разсматриваемъ, какъ передатчикъ и преобразователь движеній, для чего онъ и снабженъ различными спеціальными аппаратами. Зрительный аппаратъ есть пунктъ примычки свѣтового движенія, которое затѣмъ передается нервамъ и превращается въ движеніе физиологическое, сообщая ему всякій разъ особенный харак-

теръ, соответствующій данной координаціи свѣтовыхъ волнъ. Въ чемъ собственно состоитъ нервная дѣятельность, мы ближайшимъ образомъ не знаемъ, но несомнѣнно, что она представляетъ нѣкоторое движеніе. Убѣжденіе это мы почерпаемъ не только изъ общихъ принциповъ науки, а и изъ прямыхъ наблюдений и опытовъ. Такъ, процессъ ощущенія сопровождается произвольными и непроизвольными движеніями; такъ, впечатлѣніе идетъ отъ периферіи къ мозгу, а переходъ отъ одной точки къ другой и есть движеніе; для этого перехода, какъ и для всякаго другого движенія, требуется извѣстное, измѣримое и отчасти уже измѣренное время и т. д. Затѣмъ въ нервномъ движеніи мы различаемъ два момента или двѣ формы: физиологическую, доводящую внѣшнее движеніе до мозга и тамъ превращающуюся въ новую, специально мозговую или психическую форму движенія. Возможно и обратный порядокъ превращеній, то-есть представленіе, мысль, чувство, вообще психическое или мозговое движеніе разрѣшается въ движеніе физиологическое, которое, въ свою очередь, превращается въ движеніе физическое. Такимъ образомъ, мы имѣемъ полный круговоротъ силъ. Ни на одной изъ точекъ этого круга движеніе не прекращается, не исчезаетъ; оно лишь видоизмѣняется сообразно встрѣчаемымъ имъ средамъ, въ то-же время, однако, сохраняя полностью характеръ первоначальнаго толчка. Съ этой точки зрѣнія весь феноменъ заразительности зѣвоты представляется такъ. Видъ и звукъ зѣвоты не есть что-нибудь условное, вродѣ буквъ азбуки, цифръ, словъ и т. п. Она выражаетъ извѣстное состояніе; но узнаемъ мы объ этомъ потому, что мимическое движеніе, превратившись въ звуковое и свѣтовое и войдя затѣмъ въ организмъ присутствующаго черезъ посредство специальныхъ аппаратовъ, здѣсь вновь превращается въ то же самое физиологическое, а затѣмъ и психическое движеніе; волны свѣта и звука пронесли его полностью отъ одной человѣческой души до другой. Зараза есть, слѣдовательно, точное и полное воспроизведеніе даннаго движенія въ зрителѣ или слушателѣ. Намъ нечему учиться, не въ чемъ условливаться, чтобы понять состояніе зѣвающего человѣка, потому что, грубо выражаясь, можно сказать, что состояніе это прямо вливается въ насъ волнами звуковъ и свѣта. Любопытно, между прочимъ, наблюденія Рамбоссона надъ заразительностью зѣвоты въ заведеніяхъ глухонѣмыхъ и слѣпорожденныхъ. Оказывается, что тѣ и другіе очень склонны къ этой заразѣ, а, слѣдовательно, одного свѣтового или одного звукового движенія въ этомъ случаѣ

совершенно достаточно для передачи мимики. Объясняется это, конечно, тѣмъ, что у слѣпорожденныхъ и глухонѣмыхъ здоровыя чувства изопряются насчетъ и какъ бы въ замѣну искалѣченныхъ. Но Рамбоссонъ особенно подчеркиваетъ это обстоятельство, видя въ немъ подтвержденіе своей мысли о фатальной необходимости, съ которою мимическое движеніе, такъ или иначе, войдя въ организмъ присутствующаго человѣка, продолжается или, вѣрнѣе, вновь возрождается тамъ изъ движенія физическаго со всею первоначальною полнотою.

То же самое наблюдается у нѣкоторыхъ нервныхъ больныхъ и гипнотиковъ, которые автоматически повторяютъ движенія экспериментатора, какъ видимыя, но неслышимыя, такъ и слышимыя, но невидимыя. Если, напримѣръ, экспериментаторъ, стоя позади такого больного, ударить въ ладоши или топнуть ногой, то и больной дѣлаетъ то же самое. По Рамбоссону, это свидѣтельствуетъ, что звукъ, какъ составная часть извѣстнаго мимическаго движенія, такъ полно соответствуетъ колебаніямъ своихъ волнъ всѣмъ его характеристическимъ особенностямъ, что одного его звука достаточно для воспроизведенія того же мимическаго движенія въ больномъ.

Не трудно видѣть, какія обширныя приложенія можетъ имѣть «законъ» Рамбоссона, если признать его достовѣрность. Самъ онъ, какъ уже сказано, не касается не только явленій покровительственной окраски и зоологической мимичности, но и гораздо болѣе близкихъ непосредственно къ его предмету фактовъ стигматизаціи и т. п. Подо все это онъ могъ бы подвести подкладку превращенія силъ съ такою же легкостью, какъ онъ это дѣлаетъ относительно заразительности зѣвоты. Но, съ другой стороны, онъ пытается приложить тотъ же законъ къ «естественному языку» вообще и къ вліянію музыки въ особенности. Эти пункты насъ не интересуютъ, и мы только для полноты скажемъ о нихъ нѣсколько словъ.

Когда человѣкъ говоритъ «мнѣ больно» и когда онъ кричитъ отъ боли, онъ выражается двумя очень различными способами, говорить на двухъ разныхъ языкахъ: слова «мнѣ больно» входятъ въ составъ искусственнаго, условнаго языка, доступнаго лишь тѣмъ, кто знакомъ съ условіями его формъ. Этотъ условный языкъ не вызываетъ въ насъ непосредственно и фатально тѣхъ чувствъ, представленій, мыслей, которыя онъ выражаетъ. Тутъ все дѣло въ привычкѣ къ условіямъ языка и въ происходящей отсюда ассоціаціи идей. Надо знать этотъ языкъ, чтобы понимать его и говорить на немъ. Не то съ языкомъ естественнымъ. Когда человѣкъ кричитъ отъ

боли, то это всё́мъ понятно, и именно потому, что крикъ боли есть настоящее мимическое движеніе, то есть само психическое движеніе, само чувство боли, превращенное въ движеніе физиологическое, затѣмъ въ физическое, звуковое, и въ насъ, присутствующихъ, вновь поднявшееся по этой лѣстницѣ превращеній до движенія психическаго. То же самое и съ музыкой. Она непосредственно, безъ всякихъ толкованій и условностей, вызываетъ или, вѣрнѣе, вливаетъ въ васъ, путемъ превращенія силъ, тѣ самыя ощущенія, которыя композиторъ превратилъ въ звуковыя волны.

На этомъ мы и покончимъ, потому что, не смотря на краткость предыдущаго изложенія, оно содержитъ все существенное, что есть въ книгѣ Рамбоссона, довольно объемистой, но переполненной отступленіями, повтореніями, предварительными и побочными соображеніями. За исключеніемъ одного пункта, о которомъ будетъ сейчасъ сказано, читатель имѣетъ передъ собой въ сжатомъ видѣ полную теорію Рамбоссона, съ тою именно степенью доказательности, какая предъявлена имъ самимъ. Эта степень доказательности, какъ видите, не высока, но теорія все-таки обладаетъ большою привлекательностью, ибо рано или поздно, а таинственная психическая сила будетъ, конечно, включена въ общій круговоротъ превращенія движеній. (Напомню, что у насъ г. Зеленскій еще въ 1876 году предложилъ психологическую теорію, одна изъ существенныхъ сторонъ которой состоитъ въ томъ, что «мысленное движеніе», какъ выражается авторъ, есть одно изъ превращеній внѣшнихъ, физическихъ движеній, «поглощенныхъ» организмовъ посредствомъ органовъ чувствъ. См. его «основы для ухода за правильнымъ развитіемъ мышленія и чувствъ». Какова бы ни была однако роль закона Рамбоссона въ будущемъ, и хотя бы онъ даже съ гораздо большею доказательностью расширилъ предѣлы великой теоріи единства силъ, но, въ приложеніи къ занимающему насъ предмету, объясненіе его, очевидно, слишкомъ грубо и недостаточно.

Сила заразительности хотя бы той же зѣвоты, какъ всякій по личному опыту знаетъ, не неопределима; видъ бѣгущей со страху толпы увлекаетъ зрителей не всегда и не непремѣнно, и даже наиболѣе поразительныя нравственныя эпидеміи встрѣчаютъ на пути своего распространенія организациі слишкомъ стойкія для того, чтобы поддаться общему теченію; наконецъ, для нѣкоторыхъ особенно рѣзкихъ формъ автоматическаго подражанія нужно совершенно особое состояніе, заведомо патологическое. Очевидно, все явленіе останется для насъ темнымъ,

пока не будетъ объяснена эта его, если можно такъ выразиться, разностепенность. Почему влияніе заразы такъ сильно отражается на Петрахѣ и отскакиваетъ отъ Ивановъ? Почему и на Петрѣ оно оказалось вчера и не оказывается сегодня? Чѣмъ отличается то состояніе организма или духа, которое способствуетъ воспринятію заразы, и чѣмъ отличается то, которое ей противостоитъ? Отвѣтъ на эти вопросы дастъ анализъ условій, при которыхъ явленіе обязательно возникаетъ, и тѣхъ, при которыхъ оно возникнуть не можетъ. Больше этого наука для объясненія явленія дать не въ состояніи, но никакъ не должна довольствоваться меньшимъ. Отъ Рамбоссона мы не узнаемъ на этотъ счетъ ничего опредѣленнаго. Онъ говоритъ о силѣ воли, помощью которой человѣкъ можетъ задержать превращеніе психическаго движенія въ мимическое; о томъ, что «воля не есть автоматическій феноменъ, а имѣетъ инициативу своихъ дѣйствій»; говоритъ, что между произвольными и автоматическими движеніями происходитъ борьба, рѣшающаяся то въ одну, то въ другую сторону; говоритъ, наконецъ, что какъ есть люди съ болѣе благоустроенными и менѣе благоустроенными органами чувствъ, такъ и нервныя системы разныхъ людей могутъ быть хорошими «и дурными проводниками мимическаго движенія». Все это онъ повторяетъ много разъ (см., напримѣръ, страницы 77, 80, 191, 192, 194, 334), но, конечно, очень мало удовлетворяетъ читателя. Подобныя общія и непровѣренныя выраженія, образно описывающія фактъ ощущаемой нами внутренней борьбы, слишкомъ поверхностны для теоріи, имѣющей претензіи ввести душевную жизнь въ цѣпь единства и превращенія силъ. По своему, они, можетъ быть, даже очень хороши, но въ данномъ случаѣ неумѣстны. Это все равно, какъ если бы живописецъ нарисовалъ одну часть портрета масляными красками, а другую — карандашомъ. Даже при превосходномъ исполненіи обѣихъ частей эстетическое чувство зрителя было бы оскорблено такимъ нарушеніемъ гармоніи. Портретъ карандашомъ можетъ быть въ своемъ родѣ прекраснымъ произведеніемъ, но если художникъ задался мыслью дать зрителю не только линіи, формы, тѣни, а также краски, то не можетъ ужъ для одной какой-нибудь, произвольно выбранной части лица, довольствоваться линіями. Притомъ же поверхностныя выраженія Рамбоссона о борьбѣ между произвольными и автоматическими движеніями даже и по своему-то не касаются именно того, что подлежитъ объясненію, ибо мы все-таки ничего не узнаемъ объ условіяхъ, способствующихъ и противодействующихъ рас-

пространенію психической заразы. Дѣло, однако, не только въ томъ, что Рамбоссонъ не сумѣлъ провести свой принципъ до конца.

Существуетъ предразсудокъ, по которому свести какое-нибудь сложное явленіе къ его простѣйшимъ основамъ—значить понять его. Это, дѣйствительно, не больше какъ предразсудокъ, хотя и имѣющій за себя оправданія и смягчающія обстоятельства. Сводя, напримѣръ, явленія органической формы къ ея механическимъ основамъ, наука дѣлаетъ огромный шагъ впередъ въ смыслѣ установленія трезваго міроразумѣнія. Масса поверженныхъ идоловъ, разбитыхъ идоложертвенныхъ столовъ, курильницъ и прочихъ орудій обмана и суевѣрія свидѣтельствуетъ о плодотворности работы въ этомъ направленіи. Но одно дѣло расширеніе и утвержденіе здравыхъ общихъ научныхъ принциповъ и другое дѣло—цѣлостное пониманіе какого-нибудь отдѣльнаго явленія или группы явленій. Лапласъ говорилъ, что разумъ, достаточно обширный, чтобы знать положеніе всѣхъ атомовъ вселенной въ данный моментъ, силу и направленіе ихъ скоростей, зналъ бы не только настоящее, но проникалъ бы и въ отдаленное прошедшее и могъ бы предсказывать столь-же отдаленное будущее. Боюсь ошибиться, но мнѣ помнится, что Лапласъ иллюстрировалъ это свое положеніе такимъ примѣромъ: упомянутый обширный разумъ могъ бы съ точностью опредѣлить время, когда на Софійской мечети въ Константинополѣ заблеститъ греческій крестъ. Безъ сомнѣнія, если событію этому, дѣйствительно, предстоитъ совершиться, то въ основѣ его, какъ и всего прошедшаго, настоящаго и будущаго вселенной, будетъ лежать механика атомовъ. Это послѣдній счетъ, представляемый современною наукою міру, какъ предмету изученія. Есть величіе въ этой поразительной картинѣ безчисленныхъ міриадъ малѣйшихъ частицъ или даже просто центровъ силъ, движеніями своими создающихъ и водруженіе креста на константинопольской мечети, и событія несравненно большей важности, и «неба содроганье, и горній ангеловъ полетъ, и дольней лозы прозябанье, и гадъ морскихъ подводны ходъ»; словомъ, весь міръ дѣятельности и творчества человѣческаго духа. Величіе, почти подавляющее бѣдный умъ человѣческій своею необъятностью, но въ то же время удовлетворяющее его коренной потребности объединить все сущее, породнить все пестрое разнообразіе, его окружающее, примирить все, кажущееся противорѣчивымъ и враждебнымъ. Но гипотетическій разумъ Лапласа ужъ, конечно, не можетъ быть разумомъ человѣческимъ. Человѣкъ не только не знаетъ и не можетъ знать расположеніе, размѣръ,

скорость движенія всѣхъ атомовъ вселенной въ данный моментъ, но не можетъ и понять хоть то же водруженіе креста на Софійской мечети, какъ игру атомовъ. Теоретически и отвлеченно онъ знаетъ, что въ концѣ-концовъ все это событіе, столь шумное и яркое, столь желанное для однихъ и нежеланное для другихъ, столь важное съ одной точки зрѣнія и столь пустяшное съ другой, опредѣляется во всѣхъ своихъ подробностяхъ механикою атомовъ. Но воспринимаетъ онъ его все-таки, какъ историческое событіе, то-есть какъ возможный результатъ сложной политической и религіозной борьбы и вообще человѣческой дѣятельности, со всѣми ея атрибутами, причѣмъ о механикѣ атомовъ даже и рѣчи быть не можетъ, ибо, введя ее въ объясненіе сложнаго историческаго явленія, мы тѣмъ самымъ совершенно откажемся отъ пониманія его, какъ живого, цѣльнаго явленія.

Я взялъ очень рѣзкій примѣръ, сопоставивъ два крайніе полюса науки: міръ понятій наиболѣе простыхъ и общихъ и область явленій наиболѣе сложныхъ и частыхъ. Но рѣзкость этого примѣра удобна тѣмъ, что наглядно рисуетъ несообразность вышеупомянутаго предразсудка, къ которому бывають склонны даже настоящіе люди науки. Попытка объяснить возможность паденія Оттоманской имперіи механикою атомовъ, попытка разложить на атомы всѣхъ дѣйствующихъ лицъ исторической драмы, со всѣми ихъ помыслами, побужденіями, подвигами ошибками, слишкомъ фантастична, чтобы быть предпринятою даже завѣдомо сумасшедшимъ человѣкомъ. Но въ случаяхъ менѣе рѣзкихъ, представляющихъ, однако, тотъ же самый типъ, мы постоянно видимъ, какъ не только профаны, но и люди науки получаютъ совершенно незаконное удовлетвореніе въ сведеніи сложнаго явленія къ его простѣйшимъ основамъ. Для простоты и краткости я оставляю совсѣмъ въ сторонѣ тѣ случаи, когда ошибка заключается не только въ приѣмѣ, а и въ самомъ результатѣ изслѣдованія. Допустимъ, что результатъ безошибоченъ. И все-таки здѣсь возможно незаконное удовлетвореніе въ томъ смыслѣ, что оно будетъ исключительно только словесное. Если, напримѣръ, ученый такой крупной величины, какъ Геккель, утверждаетъ, что всѣ перипетіи любви сводятся въ концѣ-концовъ къ «избирательному сродству» двухъ различныхъ клѣточекъ, зародышевой и сѣменной, то въ извѣстномъ смыслѣ онъ, конечно, совершенно правъ. Но по малой мѣрѣ наивно думать, что въ словахъ этихъ заключается «объясненіе» сложнаго феномена любви. Все это quasi-объясненіе сводится къ тому, что, вмѣсто мужнины и жен-

щины, въ немъ подставлены сѣменная и зародышевая кѣточки, а вмѣсто любви — «избирательное сродство»; знакомые образы замѣнены незнакомыми, знакомое чувство — незнакомымъ. Я слыхалъ хорошую поговорку: «была яма глубока, а теперь и дна не видно». И поговорка эта поневолѣ припоминается всякій разъ, когда слышишь подобныя объясненія, въ которыхъ, въ противность коренному смыслу слова «объяснение», извѣстное замѣняется неизвѣстнымъ. Мужчину и женщину въ моментъ любви мы можемъ, по крайней мѣрѣ, наблюдать и, слѣдовательно, изучать, а подставляемые вмѣсто нихъ мужскія и женскія кѣточки въ моментъ избирательнаго сродства никакому прямому изслѣдованію не подлежатъ. Притомъ же это избирательное сродство двухъ кѣточекъ, только отодвигая рѣшеніе задачи, не представляетъ собою и послѣдняго предѣла анализа: ниже и глубже его лежатъ опять-таки механика атомовъ.

Читатель безъ труда припомнитъ многія подобныя, якобы, объясненія, дающія ему только кажущееся, словесное удовлетвореніе и вытекающія изъ того предразсудка, будто свести явленіе къ его простѣйшимъ элементамъ значить — непременно понять его. Совсѣмъ это невѣрно, и въ такихъ случаяхъ мы очень часто получаемъ вѣщнее затемненіе вмѣсто объясненія. О теоріи Рамбоссона этого сказать нельзя: она ничего не затемняетъ, но едва ли многое и объясняетъ. Можно съ большою вѣроятностью думать, что его законъ передачи и превращенія мимическаго движенія заключаетъ въ себѣ нѣчто плодотворное и, будучи обставленъ болѣе солидно, впишетъ любопытную страницу въ философію естествознанія. Но специфическая тайна «героевъ и толпы» остается все-таки тайной и останется таковою вплоть до тѣхъ поръ, пока не будутъ выяснены условія, при которыхъ создаются герои и создается толпа, или, говоря терминологіей Рамбоссона, условія, при которыхъ процессъ передачи и превращенія мимическаго движенія происходитъ съ различною степенью интенсивности, то поднимаясь до совершеннаго помраченія разума въ «толпѣ», то опускаясь до нуля, до полного бездѣйствія.

Совсѣмъ съ другой стороны подошелъ къ занимающему насъ предмету итальянскій психіатръ Ломброзо. Явленія автоматической подражательности и повиновенія, то-есть стадныя и рабскія инстинкты по Гальтону, или факты передачи мимическаго движенія по Рамбоссону, занимаютъ Ломброзо исключительно въ формѣ массовыхъ народныхъ волненій, причемъ, однако, центръ тяжести его изслѣдованія, въ связи съ его прежними работами, лежитъ не въ «толпѣ», а въ «ге-

рояхъ». Теорія Ломброзо, которую онъ не совсѣмъ удачно называетъ «психіатро-зоологическою», состоитъ въ слѣдующемъ.

Въ природѣ царитъ законъ инерціи. Подчинено ему и человѣчество. Оно въ высшей степени консервативно и отчасти безсознательно, а иногда и сознательно противится всякимъ нововведеніямъ, приспособляясь къ которымъ, нервныя центры испытываютъ утомленіе, доходящее иногда до настоящаго страданія. Правда, разныя мелочныя новинки пріятно ласкаютъ чувства обыкновеннаго, средняго человѣка, но крупныя нововведенія завоевываютъ себѣ мѣсто лишь съ величайшимъ трудомъ. Консерватизмъ есть общій законъ исторіи, революціонныя же массовыя движенія составляютъ исключенія, нѣчто не соотвѣтственное нормальной природѣ человѣка, а потому и для возникновенія ихъ нужны особыя ненормальныя условія. Нужно, во-первыхъ, чтобы лишенія и страданія, доставляемыя даннымъ порядкомъ вещей, достигли высокой степени. Но за всѣмъ тѣмъ масса, задерживаемая силою консерватизма, лишь безсознательно стремится къ перемѣнѣ и для вызова ея на поле дѣйствія нуженъ примѣръ энергическихъ, но опять-таки ненормальныхъ людей. Такой особенный, ненормальный человѣкъ открыто борется съ нормальною силою консерватизма, увлекая за собой толпу, и либо падаетъ въ этой борьбѣ съ титуломъ безумца, либо, въ случаѣ удачи, завоевываетъ себѣ въ исторіи имя великаго человѣка.

Надо замѣтить, что Ломброзо изложилъ свою «психіатро-зоологическую» теорію очень бѣгло въ маленькой брошюрѣ по поводу скандала съ нѣкимъ Кокапеллеромъ, мелкимъ итальянскимъ политическимъ дѣятелемъ и писателемъ. Сама теорія изложена въ приведенныхъ немногихъ строкахъ почти полнотой, и въ такомъ видѣ представляетъ нѣчто очень произвольное и бездоказательное, содержащее лишь намекъ на что-то цѣльное и законченное. Она получаетъ, однако, большой интересъ въ связи съ другою, спеціальною работою Ломброзо: «Геній и помѣшательство».

II.

Еще нѣсколько словъ о теоріи Ломброзо. — «Психологія великихъ людей» Жоли. — «Естественная исторія претендентовъ» г. Бризнера. — Самозванецъ Ахія и лже-Неронъ. — Религіозные самозванцы и претенденты. — Еврейскіе и другіе лже-мессіи. — Исторія Товянскаго. — Заключение.

Изъ статьи г-жи Лѣтковой, напечатанной въ мартовской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» за 1885 годъ, и книги «Геній и помѣшательство» читатели могутъ получить

достаточно полное и ясное понятие о «психиатро-зоологической» теории Ломброзо. Я думаю, однако, что теория эта, возбуждая в читателѣ большой интересъ, натолкнувъ на рядъ, можетъ быть, совсѣмъ новыхъ мыслей, не удовлетворила его именно, какъ теория массовыхъ движеній. Не смотря на большое количество фактического матеріала, принятаго въ соображеніе итальянскимъ психиатромъ, самыя устои его теории довольно произвольны, недостаточно обоснованы или, по крайней мѣрѣ, выражены слишкомъ афористически. Не видно, напримѣръ, почему въ природѣ царитъ законъ инерціи въ смыслѣ неподвижности, когда съ гораздо большимъ правомъ можно сказать, что въ природѣ царитъ законъ неустаннаго движенія. Переводъ слова инерція словомъ консерватизмъ, противопоставленіе непремѣнно *ненормальнаго* человѣка *нормальности* консерватизма, подведеніе разстроеннаго ума и альтруистическихъ чувствъ, доведенныхъ до извѣстнаго градуса, за одну скобку ненормальности,—все это болѣе остроумно, чѣмъ доказательно. Можно опять-таки съ неменьшимъ правомъ говорить, что совершенно ненормально инертное претерпѣваніе голода и лишеній; что въ огромномъ большинствѣ массовыхъ движеній принимаютъ участіе люди ненормальные или же стремящіеся выйти изъ ненормальнаго положенія, и т. д. Вообще, тутъ возможна довольно разнообразная игра словами, болѣе или менѣе остроумная и занимательная, но очень мало уясняющая дѣло. Самое понятіе массоваго движенія оказывается очень неопредѣленнымъ, потому что оно, очевидно, не можетъ быть отождествлено непремѣнно съ революціей, по крайней мѣрѣ, въ томъ же смыслѣ, въ какомъ были революціонныя движенія, вызванныя ди-Риензи и Мазаниелло.

Затѣмъ остается, конечно, проблематичнымъ основной тезисъ Ломброзо — о близости сумасшествія и гениальности, тезисъ, имѣющій, впрочемъ, только косвенное отношеніе къ психиатро-зоологической теории. Это вопросъ не новый и, какъ читателю извѣстно, Ломброзо въ этомъ отношеніи гораздо умѣреннѣе своихъ предшественниковъ. Онъ приводитъ, между прочимъ, и рядъ именъ, принадлежащихъ людямъ гениальнымъ, которые, однако, не имѣли никакой склонности къ разстройству умственныхъ способностей. Тѣмъ не менѣе онъ настаиваетъ на томъ, что «*genio e follia*» — близкіе родственники. Какъ бы, однако, самъ по себѣ ни былъ обставленъ этотъ тезисъ у Ломброзо, надо сказать, что онъ обставленъ все-таки несравненно лучше, чѣмъ его отрицаніе въ недавно выпшедшей книжкѣ Жоли (Joly) «*La psychologie des grands hommes*». Мнѣ еще придется вернуть-

ся къ этой книжкѣ, о которой уже заявлено въ газетахъ, что она переводится на русскій языкъ. Теперь я скажу лишь нѣсколько словъ о тѣхъ главахъ «Психологіи великихъ людей», которыми опровергается тезисъ Ломброзо. Жоли не знаетъ итальянскаго психиатра, а возраженія его относятся главнымъ образомъ къ старому сочиненію Моро («*La psychologie morbide dans ses rapports avec la philosophie de l'histoire*»). Было бы поэтому несправедливо прямо сопоставлять отдѣльные аргументы Жоли и Ломброзо. Нельзя, однако, все-таки не сказать, что, въ противоположность Ломброзо, Жоли довольствуется въ вопросѣ о гени и сумасшествіи ничтожнымъ фактическимъ матеріаломъ и преимущественно аргументами «отъ разума», иногда любопытными, а иногда очень скучными. Мысль о возможности совмѣщенія гениальности и сумасшествія въ одномъ лицѣ Жоли даже до такой степени презираетъ, что отдѣляется отъ нея нѣсколькокии строками. Онъ говоритъ: «утвержденіе, что сила и слабость, болѣзнь и здоровье, порядокъ и безпорядокъ суть одно и то-же или зависятъ отъ одинаковыхъ условій,—утвержденіе это есть чисто игра ума». И затѣмъ ссылается для дальнѣйшаго опроверженія этой игры ума на Поля Жана — авторитетъ слишкомъ двусмысленный! Замѣйте, что эти, якобы, очень убѣдительныя строки направлены противъ извѣстной формулы Моро: «гениальность есть неврозъ», то-есть именно болѣзнь, а не здоровье. Какъ бы ни была преувеличенно парадоксальна формула Моро, но мы знаемъ, что Магометъ, Лютеръ, Кардано, Контъ, Шопенгауеръ и проч., и проч., люди обширнаго ума, энергической воли и широкихъ замысловъ, страдали тѣмъ или другимъ видомъ душевнаго разстройства. Это факты, подлежащіе объясненію, а уже никакъ не отрицанію, единственно въ силу того, что сила и слабость, болѣзнь и здоровье, порядокъ и безпорядокъ не одно и то же. Мы очень хорошо знаемъ, что все это логически противоположныя категоріи, но не можемъ все-таки ради нихъ выкинуть изъ своей памяти и стереть со страницъ исторіи рядъ несомнѣнныхъ фактовъ.

Другой примѣръ. Альфредъ де-Мюссе, чловѣкъ не великій, но все-таки далеко превышающій средній уровень, былъ пьяница. Этотъ фактъ, въ цѣломъ ряду другихъ подобныхъ, естественно останавливаетъ на себѣ вниманіе. И вотъ какъ относится къ этому факту Жоли. Онъ приводитъ сначала одно изъ изреченій Ларошфуко и затѣмъ дополняетъ его по своему. «Вѣрное толкованіе изреченія Ларошфуко состоитъ въ слѣдующемъ, говоритъ онъ:—только великіе люди могутъ проявлять великіе недостатки... *безмаказан-*

но... Пусть у гениальнаго человѣка есть слабости, пороки, недостатки, это—его дѣло! Человѣчество, вѣнчающее его славой за его заслуги, хочет только, чтобы эти недостатки вознаграждались избыткомъ преданности своему дѣлу, любви къ прекрасному, ясности ума, силы вниманія, словомъ, чтобы они не мѣшали ему дѣлать великія дѣла... Иначе говоря, надо, чтобы недостатки не вторгались въ священную область его прямого собственнаго дѣла. Такъ оно и есть, если мы захотимъ поближе приглядѣться къ исторіи литературы и искусства, равно какъ и къ исторіи въ тѣсномъ смыслѣ слова. Много было говорено объ увлеченіяхъ Альфреда де-Мюссе. Но на-ряду съ ними критика всегда видѣла твердый и ясный здравый смыслъ, поддерживающій даже его самыя легкомысленныя фантазіи, и Низаръ имѣлъ полное право сказать, что этотъ «наиболѣе безпорядочный (le plus troublé) сынъ девятнадцатаго вѣка остался, въ главныхъ основаніяхъ поэзіи, вѣрнымъ школь Буало». Прочитавъ все это, невольно спрашиваешь: ну, такъ что-жъ? Во-первыхъ, при чемъ тутъ школа Буало, а во-вторыхъ, развѣ у насъ о томъ рѣчь, чтобы прощать или не прощать великому человѣку его слабости, пороки, недостатки? Дѣло просто въ томъ, чтобы констатировать эти тѣни, эти пятна на солнцѣ, если угодно, и затѣмъ объяснить. Можно, конечно, оставить совсѣмъ въ сторонѣ слѣды разстроеннаго духа въ Магометѣ, Лютерѣ, Контѣ, Шопенгауерѣ и проч. («это ихъ дѣло!») и довольствоваться оцѣнкою ихъ работы, поскольку ее можно уединить въ «священной области», что, впрочемъ, не всегда удобно и даже не всегда возможно. Но если поставленъ вопросъ именно о близости гениальности и сумасшествія, такъ ужъ это не изъ дѣла, а дѣло науки. Науки, а не «максимъ» Ларошфуко или удачныхъ фразъ Низара или Сентъ-Бѣва, къ которымъ Жоли слишкомъ часто прибѣгаетъ для разрубанія узловъ (на подобіе Александра Македонскаго), когда ихъ нужно развязать.

Возвратимся къ Ломброзо. Если его психіатро-зоологическая теорія недостаточно обоснована, если его взгляды на родственность гениальности и сумасшествія проблематичны, то связующее звено этихъ двухъ половинъ теоріи, ученіе о маттоидахъ, какъ о «герояхъ» или вожакахъ массовыхъ движеній, заслуживаетъ полнаго вниманія. Безъ сомнѣнія, отнюдь не всегда, но очень часто все-таки во главѣ толпы становятся эти безкорыстные, хотя и самолюбивые, и властолюбивые, и честолюбивые, увлекательные, хотя и полубезумные люди, которыхъ я, впрочемъ, предпочелъ бы характеризовать не двусмысленнымъ и вмѣстѣ слишкомъ односторон-

нимъ словомъ «маттоидъ», а цѣлымъ выраженіемъ, именно тѣмъ удивительнымъ выраженіемъ, которое лѣтописецъ Выговской старообрядческой пустыни употребляетъ, говоря объ Андрѣе Денисовѣ: «И тако Богомъ поставляемъ, приходитъ самозванъ, паче же рещи богозванъ, къ подвигу». Какъ ни дерзко это выраженіе, но оно едва покрываетъ дерзость и безуміе самихъ лже-пророковъ. Остановимся на какой-нибудь определенной группѣ, на примѣръ, на приводимыхъ Ломброзо итальянскихъ маттоидахъ. Эти люди очень различнаго умственного роста, но всѣ они, начиная съ Ріензи, «память котораго священна всѣмъ итальянцамъ», и кончая Лапаретти, котораго, конечно, всѣ забыли, или Коккальеллеромъ, если только Ломброзо не преувеличиваетъ его фигуру, всѣ они самозваны для здравомыслящаго посторонняго наблюдателя и богозваны съ своей точки зрѣнія или, по крайней мѣрѣ, съ точки зрѣнія ихъ послѣдователей. Дѣлаю эту оговорку—«по крайней мѣрѣ», потому что самыя вожаки, болѣе или менѣе уклоняясь отъ чистаго типа маттоида, можетъ быть обманчивомъ не только въ объективномъ, а и въ субъективномъ смыслѣ. Онъ можетъ и совсѣмъ не вѣрить въ свое провиденціальное назначеніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ искренно вѣрить въ надобность или справедливость того дѣла, ради котораго онъ носитъ личину. Можетъ вѣрить тою странною, но нерѣдко встречающеюся полу-вѣрою, которая какъ бы говорить человѣку: есть въ тебѣ высшая сила, говорить въ тебѣ не земной голосъ, но слабъ онъ, а все-таки говорить, и потому не грѣхъ будетъ, если ты, для убѣжденія толпы, прибѣгнешь къ какому-нибудь фокусу и ложному чуду или, по выраженію пророка Іереміи, «мечты сердца своего» выдашь за дѣйствительность (я думаю мимоходомъ сказать, что этого рода полу-вѣра довольно обыкновенна у спиритовъ). Можетъ, наконецъ, вожаки ни вѣрить, ни полу-вѣрить, а прямо лгать въ видахъ своихъ личныхъ цѣлей. Но тогда онъ уже совсѣмъ уклонился отъ типа маттоида, все равно какъ уклонится въ другую сторону, если не будетъ прикрываться никакимъ самозванствомъ въ обширномъ смыслѣ слова.

Далѣе, какъ ни оскорбительны для великихъ людей могутъ показаться нѣкоторыя мысли Ломброзо, но надо все-таки сказать, что и въ этомъ отношеніи онъ въ значительной степени правъ. Я теперь говорю не о родственности гениальности и сумасшествія—пусть этотъ вопросъ остается нерѣшеннымъ въ общемъ смыслѣ, а въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ онъ поддежитъ фактической провѣркѣ. Правъ итальянскій психіатръ въ своей постановкѣ вопроса о ве-

ликихъ людяхъ, какъ герояхъ, увлекающихъ толпу. Когда говорятъ о великихъ людяхъ, то имѣютъ обыкновенно въ виду либо размѣры ихъ силъ, превышающіе средній уровень человѣческихъ способностей, либо размѣры вклада, сдѣланнаго, по мнѣнію изслѣдователя или апологета, великимъ человекомъ въ сокровищницу человѣчества. Но, независимо отъ этихъ двухъ совершенно законныхъ точекъ зрѣнія, стоятъ еще вопросы объ отношеніяхъ, существующихъ между великимъ человекомъ и его послѣдователями, количество и степень увеличенія которыхъ, какъ волны, выносятъ великаго человека изъ житейскаго моря на берегъ, въ исторію. Не разъ и не два, не тысячу и не миллионъ разъ въ этомъ житейскомъ морѣ тонули великія дарованія, способныя, можетъ быть, затмить собою всѣхъ исторически извѣстныхъ намъ звѣздъ первой величины. И, наоборотъ, на историческомъ берегу мы часто видимъ то самое, что бываетъ и на настоящемъ морскомъ берегу послѣ отлива: копошатся разные слизняки.

Такое неравновѣсіе судебъ зависитъ отъ трехъ категорій причинъ. Во-первыхъ, тутъ могутъ вліять разныя мелкія, иногда поразительно мелкія случайности. Для примѣра приведу одно соображеніе Гальтона (въ «Наслѣдственности таланта»). Говоря о знаменитыхъ полководцахъ, онъ замѣчаетъ, что прежде, чѣмъ стать «великимъ» на этомъ поприщѣ, человекъ долженъ пережить многія опасности: если онъ будетъ убитъ въ первомъ же сраженіи, то, понятное дѣло, его даже совершенно исключительныя военныя дарованія останутся неизвѣстны міру. А въ числѣ шансовъ быть убитымъ или не убитымъ въ сраженіи, между прочимъ, находится и большой или малый ростъ и дородство. Шансы эти Гальтонъ старается съ точностью вычислить математически. Выходитъ, напримѣръ, что Нельсонъ, часто бывавшій въ огнѣ и убитый при Трафальгарѣ на 47-мъ году своей жизни, въ значительной степени обязанъ своей славой малоростости и тѣлестности. Будь онъ выше ростомъ и толще, онъ имѣлъ бы извѣстный шансъ быть убитымъ раньше, задолго до своихъ послѣднихъ, блестящихъ побѣдъ, установившихъ его славу. Величіе полководца — дѣло довольно двусмысленное (о чемъ у насъ, вѣроятно, впоследствии и особый разговоръ будетъ), и я привелъ соображеніе Гальтона только какъ образецъ вліянія разныхъ мелочныхъ обстоятельствъ на судьбу великихъ людей; подобныя мелочи могутъ встрѣтиться на каждомъ поприщѣ. Второй рядъ причинъ, сплошь и рядомъ составляющихъ сильныхъ людей безслѣдно исчезать въ темныхъ глубинахъ житейскаго моря, заключается въ характерѣ обществен-

наго строя данной страны. Когда говорятъ (и въ извѣстномъ смыслѣ справедливо говорить), что чудеса древне-греческаго искусства и философіи обязаны своимъ существованіемъ рабству, предоставлявшему свободнымъ людямъ досугъ, или что блескъ нашей литературы сороковыхъ годовъ стоялъ въ такомъ же отношеніи къ крѣпостному праву, — когда говорятъ это, то забываютъ обыкновенно, что на одного Езопы, на одного Эпиктета, на одного Шевченку приходится *можетъ быть* тысячи затертыхъ дарованій, передъ которыми померкли бы, *можетъ быть*, таланты Фидіевъ и Тургеневыхъ. Наконецъ, третье условіе успѣха или неуспѣха лежитъ въ степени современности и умѣстности предпринимаемаго дѣла. Совершенно равныя силы, пущенныя въ ходъ въ разное время и въ разныхъ мѣстахъ, могутъ дать совершенно различные результаты вообще и въ частности для самихъ носителей этихъ силъ. Если не самъ Ермакъ, то ближайшій его помощникъ Иванъ Кольцо былъ приговоренъ къ смертной казни за волжскіе разбои, а перенеся свою дѣятельность съ Волги за Уралъ, Ермакъ сталъ историческимъ лицомъ, которому ставятъ монументы.

Ставъ на эту послѣднюю точку зрѣнія, Ломброзо натурально долженъ былъ прийти къ заключенію объ условности понятія «великихъ людей», а вмѣстѣ съ тѣмъ для него изъ-за «великаго человека» выдвинулся впередъ просто вождь, «герой», увлекающій толпу на большое или малое, глупое или умное, доброе или злое дѣло. При этомъ, однако, Ломброзо, въ качествѣ психіатра, ограничился только одною стороною отношеній и героя и толпы или, точнѣе говоря, однимъ изъ способовъ вліянія героя на толпу, тѣмъ именно способомъ, который находится въ распоряженіи маттоида. Но, какъ уже было сказано выше, характернѣйшая черта маттоида состоитъ въ самозванствѣ, въ придаваніи себѣ особеннаго, сверхъестественнаго, провиденціальнаго значенія; а затѣмъ отъ чистаго типа маттоида возможны отклоненія въ двѣ противоположныя стороны, именно по направленію къ заведому, злостному обману и по направленію къ полному отсутствію самозванства. Уже изъ этого чисто логическаго разсужденія слѣдуетъ заключить, что Ломброзо слишкомъ поторопился обобщеніемъ, говоря, что во главѣ *всякаго* массоваго движенія стоитъ непременно маттоидъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ и исторія. Но исторія свидѣтельствуетъ еще объ одной вещи, а именно, что самозванство бываетъ не только религіозное, а и политическое; что толпа увлекается не только вѣрою въ общино-божественныя черты вожака, а и вѣрою въ облыжно-царственное его происхождение.

Изъ нижеслѣдующаго читатель увидитъ, какъ богатъ относящійся сюда историческій матеріалъ и какъ неудачно справляются съ нимъ спеціалисты.

Г. Брикнеръ, извѣстный дерптскій профессоръ, помѣстивъ въ журналѣ Поля Линдау «Nord und Süd» (Band 15) статью подъ заманчивымъ заглавіемъ: «Zur Naturgeschichte der Prätendenten». Оставимъ въ сторонѣ краткія вступительныя соображенія г. Брикнера о возможности обработать исторію по типу наукъ естественныхъ. Соображенія эти малоцѣнны и теперь къ нашему дѣлу не идутъ.

Г. Брикнеръ полагаетъ, что «естественная исторія претендентовъ» очень подвигнется впередъ, если намъ удастся ихъ классифицировать. Задача его статьи главнымъ образомъ именно и состоитъ въ классификаціи, хотя онъ не отказывается отъ попутныхъ замѣчаній о причинахъ и вообще условіяхъ появленія претендентовъ. Онъ раздѣляетъ ихъ на два отдѣла: подлинныхъ претендентовъ и ложныхъ, самозванцевъ. Подлинные опять подраздѣляются на классы, но намъ до нихъ дѣла нѣтъ. Что же касается самозванцевъ, то никакой дальнѣйшей классификаціи г. Брикнеръ ихъ не подвергаетъ, а даетъ только бѣглый очеркъ исторически извѣстныхъ самозванцевъ, съ маленькимъ заключеніемъ объ условіяхъ ихъ появленія и успѣха.

Изъ древнихъ г. Брикнеръ поминаетъ только лже-Смердиса персидскаго и лже-Филиппа и лже-Александра македонскихъ. Въ средневѣковую эпоху онъ насчитываетъ лже-Генриха императора, лже-Вальдемара бренденбургскаго, лже-Ричарда англійскаго, лже-Стуре шведскаго и рядъ лже-Себастьяновъ португальскихъ. Къ новѣйшему времени относятся лже-Людовики, якобы дѣти казеннаго короля Людовика XVI, изъ которыхъ наиболѣе извѣстенъ часовщикъ Наундорфъ: дѣти его здравствуютъ и претендуютъ по-сейчасъ.

Оканчивая этотъ списокъ, г. Брикнеръ замѣчаетъ, что онъ, можетъ быть, и пропустилъ что-нибудь замѣчательное, но что, во всякомъ случаѣ, въ исторіи западной Европы самозванцы являются только въ видѣ рѣдкихъ исключеній. Совсѣмъ другое дѣло въ Россіи. Начиная съ лже-Димитрія I, мы имѣемъ: «Тушинскаго вора», лже-Петра (сына Ѳеодора); потомъ въ Астрахани объявился царевичъ Августъ, потомъ князь Иванъ (сказался сыномъ Грознаго отъ Колтовской); тамъ же явился царевичъ Лаврентій, якобы внукъ Грознаго отъ царевича Ивана; въ степныхъ юртахъ явились: царевичъ Ѳеодоръ, царевичъ Клементій, царевичъ Савелій, царевичъ Семень, царевичъ Василій, наконецъ царевичи: Ерошка, Гаврилка, Мартынка—

все, якобы, сыновья царя Ѳеодора Ивановича. Съ воцареніемъ Михаила Ѳеодоровича самозванцы не прекращаются; но если они и доставляли правительству безпокойство, то только какъ угроза, а не настоящимъ какимъ-нибудь вредомъ. Замѣчательнѣе другихъ, но и то своей несчастной судьбой, польскій шляхтичъ Луба, котораго увѣрили, что онъ сынъ Марины Мнишекъ отъ перваго самозванца. (Г. Брикнеръ ошибочно утверждаетъ, что Луба выдавалъ себя за сына царя Василія Шуйскаго). При Алексѣѣ Михайловичѣ опять встрѣчаемъ трехъ-четырехъ самозванцевъ. Стенька Разинъ гнулался самозванствомъ самъ, но въ его шайкѣ были нѣкоторое время лже-Никонъ патріархъ и лже-Алексѣй, сынъ царя. При Петрѣ и его преемникахъ тоже не обошлось безъ самозванцевъ. Былъ лже-Иванъ (братъ Петра), нѣсколько лже-Алексѣевъ (сыновей Петра). Лже-Петры III были и до, и послѣ Пугачева (появлялись они и въ Черногоріи, и въ Албаніи). Былъ лже-Иванъ Антоновичъ. Въ новѣйшее время были лже-Константины, лже-графиня Ловичъ.

Свой бѣглый и, какъ сейчасъ увидимъ, далеко не полный очеркъ г. Брикнеръ заканчиваетъ отчасти справедливыми, но довольно скудными замѣчаніями о томъ, что самозванцы встрѣчаютъ благоприятную почву тамъ, гдѣ масса народа подавлена, гдѣ народъ невѣжественъ и дикъ, гдѣ порядокъ престолонаслѣдія еще не установился, гдѣ таинственность смерти какого-нибудь виднаго лица даетъ пищу слухамъ, что оно живо. Но тутъ же мы встрѣчаемъ мысль, что во многихъ волненіяхъ, вызванныхъ самозванцами, самое самозванство играло второстепенную, побочную роль. Такъ, напримѣръ, между пугачевскимъ бунтомъ и похождениями разбойничьихъ атамановъ той же эпохи, Кулаги, Брагина и т. п., по существу нѣтъ никакой разницы, хотя ни Кулага, ни Брагинъ не были самозванцами. Дѣйствительно, если читатель смутится въ этомъ отношеніи размѣрами пугачевского бунта и его громкою историческою извѣстностью, то стоитъ только припомнить рядъ мелкихъ лже-Петровъ III—Кремнева, Богомолова, Ханина, которые уже рѣшительно ничѣмъ не отличаются отъ Брагиныхъ и Кулагъ. Г. Брикнеръ не замѣчаетъ, какое важное значеніе имѣетъ это обстоятельство для всей «естественной исторіи претендентовъ» и въ особенности для ихъ классификаціи.

Возьмемъ два случая самозванства изъ тѣхъ, которые совсѣмъ пропущены г. Брикнеромъ.

Въ 1625 г. въ Москву явилось нѣсколько запорожцевъ и одинъ грекъ, въ видѣ посольства отъ нѣкоего Александра Ахіа, назвав-

шагося турецкимъ царевичемъ, сыномъ султана Магомета, и проживавшаго въ то время въ Запорожьи. Ахія рассказывалъ, что мать его была гречанка и самъ онъ христіанинъ, что онъ много путешествовалъ по Европѣ и теперь находится въ Запорожьи, чтобы поднять казаковъ противъ Турціи; весною слѣдующаго года онъ рассчитываетъ идти въ походъ, такъ какъ Волошская земля, Болгарія и инныя страны уже признали его государемъ и онъ встрѣтитъ готовое войско изъ православныхъ сербовъ, болгаръ и грековъ. Ахія просилъ у московскаго царя помощи. Не смотря на то, что Москва сама довольно натерпѣлась отъ самозванцевъ и при случаѣ очень настоятельно требовала ихъ выдачи у турокъ, казаковъ, поляковъ, къ Ахіи она отнеслась любезно: въ помощи ему отказала, но одарила соболями, лисицами, бархатами. Затѣмъ Ахія дѣйствительно удалось было вспокоить запорожцевъ, но за другими дѣлами предпріятіе это не выгорѣло, и Ахія уѣхалъ, въ сопровожденіи всего четырехъ человекъ, въ Кіевъ. Полякамъ, почему-то интересовавшимся Ахіей, казаки могли съ чистою совѣстью отвѣчать: «Царикъ Ахія какъ пришелъ невѣдомо откуда, такъ и ушелъ невѣдомо куда». Въ Кіевѣ Ахію пріютилъ митрополитъ Іовъ и потомъ переправилъ въ Московское государство, гдѣ самозванца встрѣтили съ прежнею двусмысленною любезностью: прямой помощи не оказали, но, продержавъ нѣкоторое время не безъ почета, дали уйти въ Европу, черезъ Архангельскъ. Въ 1637 году Ахія появился въ Черниговѣ, куда звалъ запорожскихъ и донскихъ казаковъ, но никто, по видимому, на этотъ зовъ не откликнулся, и никакихъ дальнѣйшихъ свѣдѣній объ этомъ самозванцѣ не имѣется.

Въ концѣ 68 года Греція и вся, вовлеченная въ кругъ римской жизни, Азія были взволнованы удивительнымъ извѣстіемъ: Неронъ не то воскресъ, не то и не умиралъ даже, а счастливо избѣгъ угрожавшей ему опасности. Самозванецъ былъ какой-то рабъ, чрезвычайно похожій на трагикомическаго тирана и вдобавокъ обладавшій его музыкальными талантами. Появленію самозванца предшествовали смутные слухи въ народѣ, что Неронъ живъ и скрывается гдѣ-то у парянъ. Неудивительно, что христіане, до послѣдней степени возбужденные гоненіями, видѣли въ возрожденномъ Неронѣ антихриста, новаго и еще болѣе страшнаго гонителя, за паденіемъ котораго долженъ слѣдовать окончательный судъ надъ неправдой. Неудивительно, что и вообще же-Неронъ навелъ своимъ появленіемъ ужасъ на многихъ. Но у него были и ярые сторонники. Какія-то упованія связывались съ этимъ именемъ, наполнившимъ

міръ своею славою. Когда же-Неронъ былъ убитъ, тѣло его возили по Азіи, потомъ привезли въ Римъ, чтобы всѣхъ убѣдить въ его смерти; но это не помѣшало появленію еще, по крайней мѣрѣ, одного же-Нерона, а можетъ быть и двухъ. Увѣренность же, что Неронъ живъ, продолжалась едва ли не до конца IV вѣка.

Вотъ два совершенно различныхъ типа самозванцевъ. Уже одно то кладетъ рѣзкую разницу между ними, что за же-Нерономъ первымъ слѣдовалъ второй, а можетъ быть и третій, между тѣмъ какъ «царикъ Ахія» и въ историческомъ смыслѣ, «какъ пришелъ невѣдомо откуда, такъ и ушелъ невѣдомо куда». Въ исторіи не рѣдокъ фактъ появленія самозванцевъ цѣлыми, такъ сказать, гнѣздами. Таковы были наши же-Димитріи и же-Петры, таковы же-Собастіаны португальскіе, таковы же и же-Нероны; такова, наконецъ, цѣлая огромная группа самозванцевъ, какъ увидимъ, совсѣмъ оставленная въ сторонѣ г. Брикнеромъ. Въ подобныхъ случаяхъ никакая публичность казни, никакая торжественность заявленій и объясненій, никакая очевидность вообще неспособны, по крайней мѣрѣ, до поры до времени, искоренить связанные съ извѣстнымъ именемъ или лицомъ упованія и страхи. Для такихъ самозванцевъ почва лежитъ въ матеріальныхъ условіяхъ и духовномъ складѣ народной жизни. Ахія же есть, по видимому, просто изобрѣтеніе митрополита Іова, въ которомъ ревность къ православію питала мечту объединенія и освобожденія христіанскаго населенія Турціи. Затѣмъ польское и московское правительства пользовались или могли пользоваться имъ для политическихъ интригъ; но массамъ онъ былъ чужой, и остается неизвѣстнымъ, насколько удачна теоретически можетъ быть и остроумная комбинація Ахія: султанскій сынъ и вмѣстѣ христіанинъ. Должно быть не особенно удачна, потому что ничего изъ затѣи не вышло и больше она не повторялась; черногорскій самозванецъ прошлаго вѣка, Степанъ Малый, питавшій широкіе политическіе замыслы и пользовавшійся успѣхомъ, выдавалъ себя уже не за султанскаго сына, а за русскаго императора Петра III.

Такимъ образомъ самозванецъ, какъ орудіе политической интриги, и самозванецъ, опирающійся на убѣжденія или чувства массъ,—это двѣ совсѣмъ разныя фигуры. Безъ сомнѣнія, фактически они могутъ соединяться въ одномъ лицѣ, какъ то часто было съ самозванцами, которыми Польша снабжала Москву, но логически это два отдѣльные момента самозванства, и «естественная исторія претендентовъ» отнюдь не должна ихъ смѣшивать. Тѣмъ болѣе, если историкъ знаетъ, какъ знаетъ г. Брикнеръ, что одновременно съ са-

мозванцами дѣйствуютъ иногда разные предводители, не прибѣгающіе къ самозванству, но опирающіеся на тотъ же самый матеріалъ и дѣйствующіе въ томъ же самомъ направленіи. Еще вопросъ, въ какомъ смыслѣ можетъ быть названъ «претендентомъ», напримѣръ, даже извѣстнѣйшій изъ лже-Петровъ, а, можетъ быть, и самозванецъ вообще, Пугачевъ. По его собственнымъ словамъ, онъ «дальняго намѣренія, чтобъ завладѣть всѣмъ російскимъ царствомъ, не имѣлъ, ибо, разсуждая о себѣ, не думалъ къ правленію быть, по неумѣнію грамотѣ, способенъ». Въ искренности этихъ словъ нѣтъ никакого резона сомнѣваться. Въ высшей степени вѣроятно, что собственно о тронѣ Пугачевъ не помышлялъ, хотя и назвался именемъ вѣнценосца. Во всякомъ же случаѣ, по характеру своей дѣятельности, своего вліянія, своихъ отношеній, какъ справедливо указываетъ самъ г. Брикнеръ, какой-нибудь лже-Петръ Богомоловъ или Кремневъ ничѣмъ не отличался отъ какого-нибудь атамана Брагина или Кулаги, который, однако, не только претендентомъ, а и самозванцемъ не былъ. Подобные люди очень часто являются при массовомъ движеніи рядомъ съ самозванцами. Были они у насъ, напримѣръ, и во времена первыхъ самозванцевъ. Характеризуя одного изъ нихъ, Ляпунова, Соловьевъ говоритъ: «Такіе люди обыкновенно становятся народными вождями въ смутныя времена: истомленный, гнетомый нерѣшительнымъ положеніемъ, народъ ждетъ перваго сильнаго слова, перваго движенія, и кто первый произнесетъ роковое слово, кто первый двинется, тотъ и становится вождемъ народнаго стремленія» (Исторія Россіи, VIII, 161). И даѣе: «Ляпуновъ сталъ за Дмитрія противъ Шуйскаго, но былъ ли онъ увѣренъ въ личности Дмитрія, сказать нельзя. Вѣроятно, онъ не имѣлъ никакихъ крѣпкихъ убѣжденій въ этомъ отношеніи и возсталъ при вѣсти о возстаніи, повинувшись своей энергической природѣ, не умѣя сносить, подобно другимъ, нерѣшительнаго положенія, не умѣя ждать». Понятно, что Ляпуновъ, не будучи самозванцемъ, въ извѣстномъ смыслѣ, какъ психологическій типъ и какъ историческая фигура, стоитъ гораздо ближе къ опирающимся на вѣрованія и упованія темныхъ массъ самозванцамъ, чѣмъ эти послѣдніе къ самозванцамъ—орудіямъ придворныхъ и политическихъ интригъ.

Даѣе, г. Брикнеръ упоминаетъ о лже-Филиппѣ македонскомъ, обыкновенно называемомъ Андрискомъ, о которомъ, однако, Нибуръ полагаетъ, что онъ былъ, можетъ быть, совсѣмъ не самозванецъ, а дѣйствительно сынъ послѣдняго македонскаго царя Персея. Такое же мнѣніе, какъ извѣстно, существуетъ и относительно лица, называе-

маго лже-Димитріемъ I. А изъ этого слѣдуетъ, что разница между «подлинными претендентами» и самозванцами довольно шатка, ибо лже-Филиппъ IV остается по своей исторической роли ни мало не измѣненнымъ отъ разрѣшенія сомнѣній Нибура въ положительную или отрицательную сторону.

Тѣмъ не менѣе, самозванство есть своеобразный историческій фактъ, заслуживающій полнаго вниманія науки, гораздо большаго, чѣмъ то, которое ему удѣляетъ г. Брикнеръ въ специально этому предмету посвященной статьѣ. Правда, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, и именно съ моральной точки зрѣнія, историки придаютъ самозванству иногда уже слишкомъ большое значеніе. Такъ, напримѣръ, Соловьевъ полагаетъ, что лже-Димитрій I искренно вѣрилъ въ свое царственное происхожденіе, и приводитъ такой аргументъ: «Чтобы сознательно принять на себя роль самозванца, сдѣлать изъ своего существа воплощенную ложь, надо быть чудовищемъ разврата, что и доказываютъ намъ характеры послѣдующихъ самозванцевъ», а, дескать, первый лже-Димитрій завѣдомо не былъ «чудовищемъ разврата» и, слѣдовательно, не могъ быть самозванцемъ сознательнымъ. Наоборотъ, «Тушинскій воръ» было именно таковымъ, *и потому*, говоритъ Соловьевъ, мы не имѣемъ права предполагать сильное превеличеніе въ тѣхъ извѣстіяхъ чужеземныхъ, слѣдовательно, безпристрастныхъ, которые называютъ его безбожнымъ, грубымъ, жестокимъ, коварнымъ, развратнымъ, составленнымъ изъ преступленій всякаго рода, и недостойнымъ носить имя и ложнаго государя» (Исторія Россіи, VIII, 78, 172). Что «Тушинскій воръ» былъ въ нравственномъ отношеніи человѣкомъ очень низкопробнымъ, это несомнѣнно. Но выводить изъ факта сознательнаго самозванства увѣренность въ такой коллекціи пороковъ и преступленій столь же неосновательно, какъ относительными нравственными достоинствами лже-Димитрія I доказывать искренность его вѣры въ свое царственное происхожденіе. Лже-Димитрію первому приходилось такъ много лгать (хоть, напримѣръ, въ дѣлѣ о православіи или католичествѣ его самого и Марины Мнишекъ), что собственно облыжность имени ничего въ этомъ отношеніи рѣшающаго представить не можетъ. Вообще, можно, кажется, съ увѣренностью сказать, что само по себѣ сознательное самозванство еще ничего не говоритъ о моральныхъ качествахъ носителя чужого имени; оцѣнка ихъ, этихъ моральныхъ качествъ, должна быть произведена на какихъ-нибудь болѣе прочныхъ основаніяхъ.

Нельзя все-таки не пожалѣть, что, класси-

фицируя «претендентовъ», г. Брикнеръ не остановился на рубрикахъ сознательныхъ самозванцевъ и искренно вѣрующихъ въ принадлежность имъ извѣстнаго имени и связанныхъ съ этимъ именемъ правъ и обязанностей, хотя провести это раздѣленіе сквозь сѣть конкретныхъ историческихъ фактовъ было бы, конечно, чрезвычайно трудно и даже невозможно. Но еще гораздо страннѣе и прискорбнѣе, что г. Брикнеръ упустилъ изъ виду цѣлую самостоятельную группу самозванцевъ и претендентовъ, а именно—самозванцевъ религіозныхъ и претендентовъ на новые, ими самими создаваемые, престолы. Здѣсь мы опять приближаемся къ темъ Ломброзо.

Въ первую сицилійскую римско-рабскую войну (во II вѣкѣ до Р. Х.) рабъ Эвнъ, по происхожденію сиріецъ, провозгласилъ себя царемъ, подъ именемъ Антіоха. Еще задолго до возстанія онъ пользовался большою популярностью среди своихъ разноплеменныхъ товарищей по несчастію—рабовъ. Это былъ не то юродивый, не то пророкъ. Онъ увѣрялъ, что имѣетъ непосредственныя сношенія съ богами, помощью очень простого фокуса извергалъ изъ рта пламя, занимался предсказаніями и, между прочимъ, предсказывалъ, что будетъ царемъ. Богатый римлянинъ, которому принадлежалъ Эвнъ, кажется, снисходительно смотрѣлъ на его дурачества. По крайней мѣрѣ, онъ дѣлалъ себѣ и своимъ гостямъ потѣху изъ этого страннаго и смѣшнаго человѣка. Его приглашали на пиршествя для разспросовъ, какъ онъ будетъ царствовать; ему давали со стола лакомые куски, прося попомнить эту подачку и быть милостивѣе, когда онъ достигнетъ трона. Между тѣмъ среди рабовъ популярность его достигла такой степени, что одного его слова стало достаточно, чтобы вызвать страшное возстаніе. Рабы одного особенно жестокаго римлянина, нѣкоего Дамофила, обратились за совѣтомъ къ Эвну, какъ къ человѣку, устами котораго говорить божество. Эвнъ посоветовалъ,—и въ непродолжительномъ времени вся Сицилія была въ огнѣ, да и въ другихъ мѣстахъ, въ Македоніи, въ самомъ Римѣ, зашевелились рабы. Предсказаніе Эвна сбылось: онъ сталъ царемъ, подъ именемъ Антіоха; но римляне больше уже не смѣялись надъ нимъ. Напротивъ, лишь съ величайшими усиліями, да и то подъ конецъ лишь подкупомъ и измѣной, удалось имъ покончить съ царемъ Антіохомъ и со всѣмъ возстаніемъ. Во второмъ сицилійскомъ возстаніи рабовъ мы видимъ флейтиста Сальвіа, провозглашеннаго царемъ подъ именемъ Трифона. Онъ, подобно Эвну, слытъ за человѣка богодухновеннаго и пророка. Онъ окружилъ себя царственнымъ величіемъ, являлся

народу окруженный свитою, предшествуемый ликторами, въ вышитой пурпурной одеждѣ и проч. Преемникомъ его на фантастическомъ тронѣ былъ рабъ Атеніонъ, также обладавшій какими-то тайными знаніями и божественными дарами.

Если имѣть въ виду этого рода самозванцевъ и претендентовъ, то замѣчаніе г. Брикнера относительно количественнаго распредѣленія самозванцевъ между Россіей и западной Европой окажется не совсѣмъ вѣрнымъ. И западная Европа, и близкій, и дальній Востокъ знаютъ огромное количество самозванцевъ, и трудно отдать въ этомъ отношеніи пальму первенства какому-нибудь вѣку или какой-нибудь національности. Правда, въ разное время и въ разныхъ мѣстахъ самозванство осложняется разными обстоятельствами формальнаго свойства. Такъ, у насъ въ смутное время и въ прошломъ вѣкѣ оно находило себѣ такой поводъ въ не порядкахъ престолонаслѣдія, какого, пожалуй, дѣйствительно не было въ другихъ мѣстахъ; но это именно только поводъ, одна изъ случайностей занимающаго насъ съ г. Брикнеромъ историческаго явленія. Въ 1578 году португальскій король Себастьянъ погибъ почти со всѣмъ своимъ войскомъ въ сраженіи, въ Африкѣ, и трупъ его не былъ найденъ. Это обстоятельство послужило поводомъ для появленія нѣсколькихъ лже-Себастьяновъ. Понятное дѣло, что такой поводъ немислимы тамъ, гдѣ короли не предводительствуютъ самолично войсками въ сраженіяхъ и не принимаютъ участія въ дальнихъ военныхъ экспедиціяхъ. Но понятно также, что, при изученіи широко распространеннаго историческаго явленія, обстоятельству этому должна быть отведена чисто формальная роль. Поводы для появленія самозванцевъ постоянно измѣняются, но подъ этой измѣнчивой исторической пленкой дѣйствуютъ одни и тѣ же психологическіе и соціологическіе законы. Гдѣ въ чувствахъ, понятіяхъ, нравахъ и матеріальной обстановкѣ людей заложены условія, благоприятныя для самозванства,—тамъ за поводомъ дѣло не станетъ. Онъ всегда найдется—въ не порядкахъ ли престолонаслѣдія, въ таинственной-ли смерти авторитетнаго лица, въ старомъ пророчествѣ, въ какомъ-нибудь случайномъ совпаденіи. Отмѣтить эти поводы, конечно, не бесполезно. Но надо главнымъ образомъ найти общія и коренныя причины явленія, а для этого необходимо отодвинуть на задній планъ всѣ формальные признаки: иначе мы рискуемъ сузить свою задачу и пропустить сквозь пальцы очень цѣнный матеріалъ. Напримѣръ, вслѣдствіе нѣкоторыхъ яркихъ особенностей еврейской исторіи она не знала самозванцевъ въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ

разумѣть дѣло г. Брикнеръ, но въ ней были свои, особаго покроя самозванцы.

Извѣстно, что около нашей эры, то-есть немного раньше и немного позже рождества истиннаго Христа, въ Иудеѣ появилась масса лже-мессій. Было бы долго, да и не нужно рассказывать исторію всѣхъ этихъ самозванныхъ узурпаторовъ священнаго имени. Тутъ были и люди необычайной энергіи и вѣры въ свое дѣло, и совершенно ничтожные проходимцы; настоящіе «маттоиды», которые, какъ Оевда, увлекали тысячи людей обѣщаніями, въ родѣ того, что воды Иордана разступятся передъ ними, и своего рода «царевичи Ерошки, Гаврилки и Мартынки»; были люди политическаго темперамента, мечтавшіе о низверженіи римскаго владычества, объ образованіи могучаго государства, о социальномъ переворотѣ, были и люди, искавшіе царства не отъ міра сего; были добивавшіеся и, какъ Баръ-Кохба, добившіеся царскаго величія; были и такіе, какъ Иуда Галилейскій, которые утверждали, что надъ «избраннымъ народомъ» не можетъ быть иного царя, кромѣ Бога. Все это чрезвычайно поучительно и заслуживало бы подробнаго сравнительнаго изученія, параллельно съ изобилующими самозванцами смутными временами у другихъ народовъ. Но теперь, по крайней мѣрѣ, мы должны ограничиться самымъ бѣглымъ очеркомъ. Позволю себѣ, курьеза ради, только одно сближеніе, отнюдь, конечно, не существенное, тѣмъ болѣе, что оно не имѣетъ отношенія собственно къ смутному времени еврейской исторіи.

Извѣстно, что многіе наши раскольники считали 1666 годъ, годъ памятнаго имъ московскаго собора, началомъ царства антихриста, получившаго затѣмъ и окончательное, личное выраженіе въ Петрѣ Великомъ; извѣстно также, что гигантская личность великаго преобразователя представлялась раскольникамъ не только антихристомъ, но и самозванцемъ, «подмѣненнымъ» царемъ, и «жидовиномъ»; цифра же 1666 связывалась, по видимому, таинственно пророческимъ образомъ съ апокалипсическимъ «числомъ звѣринымъ»—666. Любопытно, что въ еврейскомъ мірѣ около 1666 года, отчасти на основаніи пророчествъ, указавшихъ именно на этотъ годъ, какъ на годъ появленія мессіи, происходило большое волненіе. На лицо былъ и мессія. Это былъ нѣкто Саббатаи-Цеви, красавецъ, умница, аскетъ и чудотворецъ. Послѣ многихъ неудачъ онъ достигъ, наконецъ, признанія со стороны извѣстной части еврейства, причемъ происходило, между прочимъ, слѣдующее чудо: въ разныхъ мѣстахъ женщины и юноши, никогда не выдавшіе Саббатаи-Цеви, подвергались сильнымъ эпиплетическимъ припадкамъ и, среди конвуль-

сій, кричали, иногда на древне-еврейскомъ языкѣ, котораго они не знали: «Саббатаи-Цеви есть истинный мессія изъ дома Давида, ему же вѣнецъ и царство!» Самозванецъ кончилъ тѣмъ, что обратился въ магометанство, но сумѣлъ и изъ этого своего ренегатства (впрочемъ, внѣшняго) сдѣлать предметъ подражанія; послѣдователи его существовали до самаго недавняго времени, существуютъ, можетъ быть, и теперь, вѣруя, что Саббатаи-Цеви не умеръ, а подобно Еноху и Илиі, взятъ живой на небо. Если бы наши раскольники знали, что въ 1666 году долженъ былъ явиться и, дѣйствительно, явился еврейскій мессія и чудотворецъ, то, конечно, еще болѣе убѣдились бы въ наступленіи съ этого роковаго года царства антихриста.

Повторяю, я привожу это отрицательное совпаденіе только какъ историческій курьезъ, интересный развѣ какъ наглядное свидѣтельство того, что народы иногда маются одинаковыми смятеніями, одинаковымъ алканіемъ свѣта и правды, но по темнотѣ своей ничего не знаютъ другъ о другѣ и въ разноформенности этого одинаковаго алканія готовы видѣть новый поводъ къ враждѣ и ненависти.

Переходя въ Европу, къ среднимъ вѣкамъ, мы найдемъ цѣлую нескончаемую вереницу лже-пророковъ, лже-мессій и самозванныхъ претендентовъ на новые троны. Въ большинствѣ случаевъ эти люди стояли на мистической почвѣ, причемъ среди ихъ поклонниковъ и послѣдователей весьма часто повторялись тѣ же странныя явленія, которыя мы только что отмѣтили въ исторіи Саббатаи-Цеви: конвульсіи и пророчества на неизвѣстныхъ языкахъ. Достаточно припомнить театральную фигуру «царя новаго Сіона», Яна Бокельсона, или Іоанна Лейденскаго, извѣстнаго даже, тѣмъ, кому ничего, кромѣ итальянской оперы, неизвѣстно.

Для Россіи слѣдуетъ помянуть хлыстовскихъ и скопческихъ лже-христовъ и лже-боговъ, пропускъ которыхъ у г. Брикнера тѣмъ достопримѣчательнѣе, что здѣсь религіозное самозванство осложнялось политическимъ, ибо и здѣсь все поминалось имя императора Петра III. «Естественная исторія претендентовъ» не потеряла бы отъ простаго констатирования факта, что это имя одновременно эксплуатировалось такими двумя рѣзко противоположными личностями, какъ разбойникъ Емельянъ Пугачевъ и проповѣдникъ «голубиной чистоты» Кондратій Селивановъ.

Будда и Магометъ пусть напоминаютъ читателямъ опять же очень длинный рядъ религіозныхъ самозванцевъ, стоящихъ внѣ всякаго отношенія къ христіанскимъ преданіямъ.

Не слѣдуетъ думать, чтобы религіозное самозванство было способно увлечь людей только при условіи невѣжества и грубости толпы, то-есть или въ болѣе или менѣе отдаленныя отъ нашей нынѣшней цивилизаціи времена, или въ средѣ невѣжественныхъ слоевъ общества. Невѣжество и связанныя съ нимъ легковѣріе и суевѣріе, безъ сомнѣнія, очень удобряютъ въ этомъ отношеніи почву. Но отнюдь все-таки не застрахованы отъ подобныхъ слѣпыхъ увлеченій и люди образованные. Ясное тому доказательство можетъ представить исторія польскаго лже-мессіи Андрея Товянскаго.

Товянскій былъ не первый польскій мистикъ, выдававшій себя за нѣчто, свыше особыми силами одаренное. Еще въ прошломъ столѣтіи существовалъ «царь новаго Израиля», графъ Грабянка, основавшій свое царство въ Берлинѣ, потомъ перенесшій его въ Авиньонъ, наконецъ, въ Петербургъ, и, кажется, мѣтившій на польскій престолъ. Онъ творилъ чудеса и окружалъ себя своеобразной царственной обстановкой. Иначе выступилъ Товянскій. Онъ явился въ 1841 году къ знаменитому поэту Мицкевичу, бывшему тогда однимъ изъ центровъ польской эмиграціи въ Парижѣ, съ увѣдомленіемъ, что близокъ часъ воскресенія Польши; что дѣло это предназначено совершить ему, Товянскому, въ тѣло котораго воплотился духъ великаго Наполеона, очистившійся покаяніемъ въ надзвѣздныхъ мірахъ; что, наконецъ, помощникомъ ему въ этомъ дѣлѣ долженъ быть Мицкевичъ. Мицкевичъ, читавшій въ это время курсъ исторіи славянскихъ литературъ въ Collège de France, сталъ горячимъ проповѣдникомъ идеи Товянскаго, и скоро образовалось нѣчто въ родъ школы или секты. Приведемъ нѣсколько поразительныхъ эпизодовъ изъ этой грустной исторіи. Самъ ли Товянскій, или одинъ изъ его пророковъ предсказалъ, что въ 1844 году произойдетъ революція во всей Европѣ; начнется она въ Парижѣ, и именно тогда, когда портретъ Наполеона, выставленный на одной художественной выставкѣ, зашевелится. Кружокъ ослѣпленныхъ напряженно ждалъ открытія выставки; но хотя изображение великаго маленькаго капрала осталось неподвижнымъ,—этотъ наглядный урокъ не разбилъ надеждъ и иллюзій. Въ другой разъ, на лекціи Мицкевича, соответственнаго содержанія, съ прямыми указаніями на Товянскаго, какъ на мессію, раздавались публичныя литографическія портреты Наполеона, сдѣланные такъ, что онъ былъ похожъ или казался для вѣрующихъ похожимъ на Товянскаго; мистическая лекція и мистическій портретъ были встрѣчены съ безумнымъ восторгомъ. Для окончательной характеристики духа, обуяващаго этихъ, во всякомъ уже слу-

чай не невѣжественныхъ и грубыхъ людей, я приведу изъ памфлета Эрлана «La France mystique» (Amsterdam, 1858) слѣдующій официально засвидѣтельствованный документъ.

Одинъ польскій эмигрантъ, графъ Северинъ Виберштейнъ-Пильховскій, призналъ себя въ этомъ документѣ «слугою и подданнымъ» (serviteur et sujet) Товянскаго, а его—своимъ «господиномъ и владыкой» (seigneur et maître). «Андрей Товянскій—говорится въ документѣ—мой господинъ и владыка, имѣеть надо мною и надъ моими землями въ Польшѣ всѣ права, предоставленныя въ этой странѣ обычаямъ и закономъ господину надъ его подданными». Мотивируется это рѣшеніе такъ: «Убѣжденный, что я не могу лучше исполнить свои обязанности христіанина, какъ повинуваясь тому, въ комъ мнѣ дано было познать Жизнь, Слово и Истину; убѣжденный, что, какъ полякъ, я не могу послужить лучше своему народу и всей славянской расѣ, какъ юридически и фактически ставъ подданнымъ того, кого я признаю всемірнымъ правителемъ (magistrat universel); убѣжденный, что я долженъ предоставить польскимъ эмигрантамъ, своимъ соотечественникамъ, вѣншее доказательство своихъ чувствъ, которое вмѣстѣ съ тѣмъ выражало бы преданность національной и религіозной Истинѣ, а слѣдовательно, и тому,—кто есть ея органъ,—я вступилъ въ подданство къ моему господину и владыкѣ и объявляю по совѣсти, что это—единственное средство быть вполне свободнымъ и счастливымъ». Документъ этотъ, какъ слѣдуетъ замечать, занумерованный, занесенный въ соответственныя официальные книги, подписанъ свидѣтелями: полковникомъ Росцкимъ, княземъ Ромуальдомъ Гедройцемъ, Михаиломъ Ходзко и Адамомъ Мицкевичемъ.

Эта жажда подчиненія, даже юридически оформленнаго, это наслажденіе отдачи себя и своей воли въ чужія руки, спокойно свѣтающееся подъ сухостью дѣловой бумаги, есть въ высшей степени характерная черта. Она насъ точно въ средніе вѣка переноситъ, когда люди отдавались въ подданство или становились въ вассальныя отношенія не только потому, что искали защиты сильнаго, а и просто ради удовлетворенія душевной потребности, ради того, чтобы подчиниться, и въ этомъ торжественномъ, публичномъ подчиненіи найти ту своеобразную «полноту свободы и счастья», о которой говоритъ Пильховскій. Тѣмъ поразительнѣе встрѣтить эту черту во второй половинѣ девятнадцатаго вѣка въ средѣ людей просвѣщенныхъ, напуганъ февральской революціи. Надо думать, что чувства, формально заявленныя Пильховскимъ, чувства, столь распространенныя

въ средніе вѣка, стоять вѣтъ прямой зависимости отъ степени просвѣщенія. Они опредѣляются исключительно двумя факторами: особеннымъ настроеніемъ толпы, подготовляющимъ жажду подчиненія, и особенными чертами характера героя, придающими ему подавляющую обаятельность. Мы не знаемъ, въ чемъ состояла обаятельность личности Товянскаго; мы знаемъ только внѣшнюю сторону дѣла—самозванные титулы. Что касается кружка почитателей, то почву, благоприятную для увлеченія проповѣдью Товянскаго, составляла скорбь о судьбахъ Польши послѣ неудачнаго финала революціи 1830—32 года, въ связи съ тою смутною тревожностью умовъ, которая господствовала въ Парижѣ передъ февральской революціей. Соединеніе этихъ двухъ факторовъ—личности Товянскаго и настроенія польской эмиграціи—опредѣлило собою все явленіе. Степень образованности участниковъ этого эпизода была во всякомъ случаѣ достаточно высока для того, чтобы не допустить вѣры въ движущіеся портреты и тому подобныя наглядныя несообразности. Но эта образованность оказалась очень слабой плотиною, сравнительно съ силой напора означенныхъ факторовъ.

Ломброзо, разумѣется, объяснилъ бы исторію Товянскаго тѣмъ, что несчастный былъ маттоидъ, именно тотъ «ненормальный» человекъ, который своею безумною вѣрою и неразделенною рѣшительностью удовлетворялъ смутнымъ и неопредѣленнымъ позывамъ кучки польскихъ эмигрантовъ. Придавленная скорбью, постоянно занятая мыслью о судьбѣ родины, она съ восторгомъ встрѣтила безумца, который взялъ на себя новый починъ; за этотъ обманчивый лучъ свѣта, такъ просто разрѣшавшій сомнѣнія и колебанія, она, безконечно благодарная, отдавала себя, и лицъ Пильховскаго, въ полное распоряженіе маттоида: пусть онъ все возьметъ—имущество, жизнь, волю, лишь бы выйти изъ напряженнаго состоянія. Все это такъ. Но необходимо приэтомъ отмѣтить самозванство Товянскаго: въ томъ фантастическомъ переплетѣ, въ которомъ онъ предсталъ Мицкевичу и его товарищамъ, онъ значился и мессіей, и возрожденнымъ Наполеономъ. А разъ мы наталкиваемся на самозванство, передъ нами встаетъ длинный рядъ вожаковъ, которыхъ отнюдь нельзя признать маттоидами. Къ тому же результату подходимъ и съ другой стороны. Имя Наполеона много говорило полякамъ какъ по той благосклонности, какую имъ оказывалъ императоръ на словахъ, если не на дѣлѣ, такъ и по своей собственной необычайной судьбѣ. То былъ *homme du destin*, роковой человекъ, воровавшій царствами, создававший ихъ и низвергавшій однимъ маповеніемъ руки, чудно явившійся на аренѣ исто-

ріи, чудно сошедшій съ нея. Но зато и не одни польскіе энтузіасты молитвенно любовались этимъ гигантскимъ образомъ, всегда дѣтельно и властно вторгавшимся въ жизнь и въ то же время увлекаемымъ какимъ-то таинственнымъ рокомъ, помимо собственной воли и власти. Разумѣется, въ полубожескомъ почитаніи, окружавшемъ Наполеона при жизни, надо выкинуть изъ счета подлую лесть тѣхъ, къ кому нашъ поэтъ обратился съ упрекомъ:

Какъ женщины, ему вы измѣнили
И, какъ рабы, вы предали его!

Но не льстили солдаты, замиравшіе отъ восторга и съ восторгомъ умиравшіе на глазахъ императора; не льстили наши темные сектанты, «наполеоновцы», поклонявшіеся бюсту этого вождя иноземныхъ полчищъ, изъза котораго бѣлокаменная Москва сгорѣла; не льстили вообще люди разныхъ «племенъ, націй, состояній», или очень далекие отъ Наполеона во времени и пространствѣ, или по выдавшимъ отъ него и черезъ него ничего, кромѣ горя и боли, и, однако, находившіе наслажденіе въ поклоненіи ему или слѣдованіи за нимъ. А между тѣмъ Наполеонъ не былъ маттоидомъ. Ломброзо ставить его даже въ число завѣдомо «нормальныхъ» «великихъ людей».

Едва ли нужно искать въ исторіи болѣе осязательное фактическое опроверженіе теоріи, полагающей, что во главѣ всякаго массоваго движенія стоитъ непременно маттоидъ, и мы еще вернемся къ Наполеону, когда окончательно подойдемъ къ вопросу о секретѣ вліянія героя на толпу. Крупный, яркий и даже напыщенный, какъ бы подчеркнутый образъ Наполеона, конечно, разъяснить намъ многое. А теперь подведемъ итоги сказанному.

Мы видимъ ученаго психіатра съ большою эрудиціей, съ оригинальною и смѣлою мыслью, задавагоса благодарною задачею перекинуть мостъ отъ психіатріи къ исторіи. Въ принципѣ подобное сотрудничество различныхъ областей знанія въ высшей степени плодотворно. И, дѣйствительно, Ломброзо далъ теорію массовыхъ движеній, во всякомъ случаѣ замѣчательную. Но, не говоря о неполнотѣ и бездоказательности самыхъ ея основаній, въ ней все-таки сказался специалистъ—психіатръ, слишкомъ склонный выдвигать впередъ значеніе своей спеціальности. Кажется, ясно, что признавать вожаковъ, героевъ непременно психіатрическими субъектами—неосновательно. Исторія представляетъ, разумѣется, множество фактовъ, способныхъ расшатать категоричность убѣжденія Ломброзо. Но особенно любопытно видѣть, какъ онъ обходитъ подобные факты въ тѣхъ случаяхъ, когда его наталкиваетъ на нихъ самый ходъ его изслѣдованія или, по крайней мѣрѣ, изло-

женія. Такъ заимствуя свои примѣры изъ старой и новой исторіи Италіи, онъ ни разу не поминаетъ Гарибальди, память котораго священна итальянцамъ не меньше, чѣмъ память Ріензи, и который, не будучи маттоидомъ, отличался совершенно изъ ряда вонъ выходящею способностью увлекать массы. Устанавливая въ книгѣ «Геній и сумасшествіе» ограниченія для положенія о родственности этихъ двухъ явленій, онъ приводитъ, между прочимъ, Наполеона, какъ образчикъ «нормальнаго» великаго человѣка; а въ книгѣ «Два трибуна», утверждая, что только «ненормальный» человѣкъ можетъ вызывать энтузіазмъ въ толпѣ, совсѣмъ забываетъ о Наполеонѣ. Наконецъ, анализируя характеръ маттоида, Ломброзо, такъ сказать, трогаетъ локтемъ идею самозванства и, однако, оставляетъ совсѣмъ безъ вниманія обширную группу самозванцевъ, дѣятельность которыхъ не носитъ никакого отпечатка разстроеннаго духа и которые по одному этому не подходятъ подъ понятіе маттоида. Такъ ведетъ свое дѣло специалистъ-психіатръ.

Зато относительно политическихъ самозванцевъ насъ выручаетъ другой ученый, г. Брикнеръ. Г. Брикнеръ есть историкъ въ вульгарномъ смыслѣ слова. Но на этотъ разъ онъ пожелалъ расширить рамки своей специальности, онъ пишетъ «естественную исторію претендентовъ», какъ опытъ обработки чисто историческаго матеріала по типу естественныхъ наукъ. Я думаю, что историкъ можетъ и долженъ въ широкихъ размѣрахъ пользоваться данными и выводами естественныхъ наукъ, но что разныя области знанія требуютъ разныхъ пріемовъ изслѣдованія. Не вижу, однако, надобности входить теперь въ подробныя доказательства этого положенія, потому что г. Брикнеръ, собственно говоря, никакой обработки своего матеріала не даетъ, и даже самый-то матеріалъ свой совершенно произвольно урѣзываетъ. Если Ломброзо, въ качествѣ психіатра, упускаетъ изъ виду всѣхъ *не-болыныхъ* вожаковъ массовыхъ движеній, въ томъ числѣ и всѣхъ самозванцевъ, какъ понимаетъ это слово вульгарная исторія, то г. Брикнеръ, въ качествѣ вульгарнаго историка, цѣлкомъ умалчиваетъ какъ разъ о тѣхъ «претендентахъ», которые занимаютъ Ломброзо. Для него лже-мессіи уже не самозванцы, точно такъ же, какъ претенденты на новые, дотошъ не существовавшіе престолы — не претенденты. Сверхъ того, задавшись, главнымъ образомъ, классификаціей претендентовъ, г. Брикнеръ не усмотрѣлъ или не отмѣтилъ разницы между самозванцами, выдвигаемыми игрою политическихъ и придворныхъ партій, и самозванцами, опирающимися исключительно на настроеніе массъ.

Насъ занимаютъ герои и толпа, ихъ взаимныя отношенія и условія ихъ появленія на исторической сценѣ. Въ первомъ письмѣ мы видѣли, что задача эта неразрѣшима съ помощью двухъ наиболѣе широкообъемлющихъ современныхъ научныхъ доктринъ — теоріи Дарвина и теоріи единства силъ. Мы видѣли, что попытки рѣшить задачу при помощи этихъ двухъ теорій, составляющихъ гордость современной науки, обходятъ вопросъ, подлежащій разрѣшенію, и, въ концѣ концовъ, успокаиваются на нѣкоторомъ недоразумѣніи. Мы не искали попытокъ слабыхъ и, слѣдовательно, удобныхъ для опроверженія; да и зачѣмъ бы намъ это было? мы взяли новѣйшее изъ того, что выставила европейская наука, и убѣдились, что дѣло здѣсь не въ личныхъ промахахъ и недостаткахъ изслѣдователей, а въ коренныхъ чертахъ самыхъ теорій, пущенныхъ ими въ ходъ. Въ этомъ второмъ письмѣ мы опять-таки взяли то, что могли взять, и хотя должны были остановиться на промахахъ и пропускахъ изслѣдователей, но при этомъ отмѣтили и общую черту современной науки. Это — бѣда отъ излишней спеціализаціи разныхъ областей знанія; бѣда, прорывающаяся даже въ тѣхъ случаяхъ, когда изслѣдователь хорошо вооруженъ и имѣетъ благое намѣреніе выглянуть за заборъ, отдѣляющій его спеціальность отъ сосѣдей. Во всякомъ же случаѣ мы, по крайней мѣрѣ, у Ломброзо кое-чему научились. И вы позволите мнѣ закончить настоящее письмо такъ.

Представимъ себѣ, что г. Брикнеръ, Ломброзо и мы съ вами, читатель, приглашены высказаться въ примѣненіи къ одному какому-нибудь конкретному историческому примѣру, гдѣ фигурируютъ претенденты и самозванцы, гдѣ есть массовое движеніе, гдѣ, наконецъ, есть герои и есть толпа. Положимъ, что намъ для этого указанъ рядъ возстаній римскихъ рабовъ.

Предоставивъ слово г. Брикнеру, мы услышимъ... мы ничего не услышимъ, ибо вышеупомянутые Эвнъ или царь Антиохъ, Сальвій или царь Трифонъ для г. Брикнера не претенденты и не самозванцы. И, дѣйствительно, онъ о нихъ не упоминаетъ въ своей «естественной исторіи претендентовъ».

Отъ Ломброзо мы услышимъ, напротивъ, очень много, потому что всю свою психіатро-зоологическую теорію онъ могъ бы до мельчайшихъ подробностей приложить къ возстаніямъ римскихъ рабовъ. Вся масса рабовъ представляла бы группу людей «нормальныхъ» въ силу консерватизма, съ которыми они переносятъ свою тяжелую участь. Эвнъ, Сальвій, Атеніонъ съ ихъ репутаціей людей, устами которыхъ говоритъ божество, съ ихъ странностями, чудачествами, напыщенной

царственной обстановкой, но въ то же время съ ихъ героическимъ самоотверженіемъ и обнаруженными ими административными и военными талантами, не разъ посрамлявшими римлянъ, представляютъ великолѣпные образчики маттоидовъ. И, такимъ образомъ, психіатро-зоологическая теорія будетъ блистательно оправдана, но при этомъ будетъ какъ-то забытъ Спартакъ.

Что же касается насъ съ вами, читатель, то мы, конечно, подивимся молчанію историка и поблагодаримъ психіатра. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы скажемъ психіатру слѣдующее:

Вашъ общій тезисъ о нормальныхъ свойствахъ человѣчества мы имѣемъ право и даже должны пропустить мимо ушей, потому что вы его не доказали, а только сказали. Затѣмъ Эвнъ, Сальвій, Атеніонъ, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ маттоиды, но, за отдаленностью времени и скудостью историческихъ свидѣтельствъ насчетъ подробностей, мы этого съ увѣренностью сказать не можемъ. Ихъ самоотверженіе и ихъ таланты засвидѣтельствованы фактами, но главная характеристическая черта маттоида — разстройство умственныхъ способностей, «тронутость», не доказана. Весьма вѣроятно, что они просто лгали, притворялись жордивыми и прорицателями, дабы поддержать свой

престижъ. Но престижъ этимъ сознательнымъ или искреннимъ самозванствомъ во всякомъ случаѣ поддерживался, и это очень характерно для героевъ и толпы. Толпѣ, повидимому, дѣйствительно, нужно, чтобы вожакъ дѣйствовалъ во имя чего-то высшего и далекаго, чтобы онъ предъявилъ или въ себѣ воплотилъ нѣкоторую санкцію предпринятаго движенія, на чемъ и держится всякое самозванство, какъ религіозное, мистическое, такъ и политическое, житейское. Это—черта, но не необходимая черта, потому что въ той же серіи возстаній римскихъ рабовъ мы знаемъ гладиаторскую войну, въ которой предводитель рабовъ Спартакъ не выдавалъ себя за пророка, не прибѣгалъ къ фокусамъ и чудотворству и вообще велъ свое дѣло отъ своего собственного лица. И вотъ почему вы, психіатръ, подчеркивая «тронутость» Эвна, Сальвія и Атеніона, совсѣмъ умолчали о ничуть нетронutomъ Спартаке. Поэтому, далѣе, мы примемъ вашу психіатро-зоологическую теорію къ свѣдѣнію, но не можемъ признать ее достаточною для объясненія всѣхъ массовыхъ движеній.

За дальнѣйшими поисками разгадки нашей задачи намъ пришлось бы сдѣлать довольно большое отступленіе въ совсѣмъ другія научныя сферы.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ МАГІЯ *).

Терминъ «патологическая магія» принадлежит не намъ. Брошенный вскользь въ книгѣ Альфреда Мори—*La magie et l'astrologie dans l'antiquité et au moyen âge*, онъ показался намъ очень подходящимъ для всего того обширнаго круга явленій, который будетъ насъ занимать въ предлагаемой статьѣ.

Въ старину магія раздѣлялась на бѣлую и черную, смотря по тому, добрыми или злыми тайными силами пользовались чародѣи и чудодѣи. Съ тѣхъ поръ какъ человѣческая мысль достаточно окрѣпла, не можетъ быть рѣчи ни о бѣлой, ни о черной магіи, ибо тайныя силы стали или становятся явными. При этомъ все загадочное и таинственное, что входило въ составъ магическихъ эффектовъ, распадается на два большихъ отдѣла. Первый обнимаетъ собою то, что теперь называется просто фокусами. Это дѣло физической ловкости и упражненія, въ связи съ примѣненіями простыхъ истинъ низшихъ

естественныхъ наукъ,—механики, физики, химіи. Другой отдѣлъ вѣдаетъ явленія гораздо болѣе сложныя, находящіяся въ зависимости отъ разнообразныхъ разстройствъ нервной системы человѣка. Этотъ-то отдѣлъ, характеръ и значеніе котораго выяснятся ниже, и можно назвать патологической магіей.

I.

Въ концѣ шестидесятыхъ и въ началѣ семидесятыхъ годовъ на всю и мраколюбивую, и любознательную Европу гремѣла нѣкая Луиза Лато, молодая дѣвушка, проживавшая въ бельгійской деревнѣ Буа д'Энъ. Каждую пятницу она впадала въ экстатическое состояніе, причемъ въ извѣстный моментъ раскидывала руки перпендикулярно къ тѣлу и складывала ноги одну на другую, на подобіе пригвожденной ко кресту. У нея появлялись кровоподтеки и кровоизліянія на рукахъ, ногахъ, на боку, на лбу, съ большею

*) 1887 г.

или меньшею точностью повторяя крестныя раны Христа: язвы гвоздиныя, рану, нанесенную воинномъ копьемъ въ бокъ, и слѣды терноваго вѣнца. Сверхъ того съ ней дѣлались и другіе припадки, конвульсивнаго характера. Этотъ случай, нынѣ совсѣмъ забытый,—такъ что едва ли кто-нибудь даже знаетъ или интересуется знать, жива ли еще несчастная,—въ свое время породилъ цѣлую литературу, одно изъ интереснѣйшихъ явленій которой составляетъ книга доктора Эмбера (Umbert-Gourbeurre). Эмберъ, врачъ, профессоръ медицинской школы, и, слѣдовательно, повидимому, человекъ, достаточно подготовленный къ правильному сужденію о трактуемомъ предметѣ, человекъ, какъ увидимъ ниже, въ высшей степени добросовѣстный,—самъ ѣздилъ въ Буа д'Энъ, изслѣдовалъ Луизу, собиралъ о ней всякаго рода свѣдѣнія со стороны, тщательно пересмотрѣлъ всѣ историческія или якобы историческія свидѣтельства о другихъ стигматизированныхъ, начиная съ Франциска Ассизскаго, т. е. съ начала XIII вѣка (онъ насчитываетъ ихъ около полутора вѣка), лично изслѣдовалъ еще одну живую стигматизированную въ Италіи, и результаты всѣхъ относящихся сюда своихъ наблюденій, изслѣдованій и размышленій напечаталъ въ двухъ книжкахъ, озаглавленныхъ «Les stigmates» Р. 2-е, éd 1873).

Мы не воспользуемся однако ни историческими экскурсіями Эмбера, ни тѣмъ болѣе догматическою и полемическою частью его книги, ни свѣдѣніями о Луизѣ Лато. Мы возьмемъ только его рассказъ о посѣщеніи имъ другой стигматички, гораздо менѣе извѣстной и во многихъ отношеніяхъ болѣе любопытной.

Въ 1871 г. Эмберъ, только что побывавъ у Луизы Лато, получилъ свѣдѣніе, что въ неаполитанскомъ городкѣ Оріа живетъ другая особа въ этомъ же родѣ, но еще болѣе замѣчательная. Кромѣ другихъ удивительныхъ вещей, которыя сообщались Эмберу и съ которыми мы сейчасъ познакомимся, онъ былъ въ особенности заинтересованъ свѣдѣніемъ, что Пальма (такъ звали эту итальянскую чудодѣйку) знаетъ Луизу Лато, никогда ее не видѣвши, а путемъ невидимаго, сверхъестественнаго общенія душъ. Эмберъ немедленно отправился въ Орію.

Пальма оказалась уже не молодою (46 лѣтъ), болѣзненною женщиною, бездѣтною, вдовою, окруженною нѣсколькими свѣтскими и духовными лицами. Въ первый же свой визитъ Эмберъ заговорилъ съ ней о Луизѣ Лато, а въ слѣдующій разъ опять вернулся къ этой темѣ. Въ концѣ концовъ: Пальма знаетъ Луизу уже три года и видѣла ее при-
мѣрно разъ двадцать, переносясь въ Буа

д'Энъ не тѣломъ, а духомъ. Она никогда не разговаривала съ Луизой и Луиза съ ней не разговаривала, но она увѣрена, что Луиза знаетъ ее путемъ божественнаго просвѣщенія, ибо Богъ посылаетъ ее въ Буа д'Энъ съ цѣлью поддержки Луизы, какъ только она въ ней нуждается. По словамъ Пальмы, Луиза одержима добрымъ духомъ, но ее еще мучитъ дьяволъ; она еще недостаточно чиста, но наступитъ время, когда она будетъ совершать чудеса, и это произойдетъ въ тяжкіе годы, скоро предстоящіе Бельгій.—Разсказывая все это такъ же просто, какъ исторію какой нибудь самой обыденной встрѣчи на прогулкѣ, Эмберъ съ характеризующею его фактическою добросовѣстностью тутъ же сообщаетъ и кое-какіе несомнѣнные промахи Пальмы. Такъ, она полагала, что Луизѣ сорокъ лѣтъ, тогда какъ бельгійская чудотворка родилась въ 1850 г. и, значить, ей въ 1871 г. было всего двадцать одинъ годъ. Описывая наружность своей сестры по духу, Пальма сказала только, что Луиза «non e profilata», т. е. не имѣетъ рѣзкаго профиля («описание очень точное», замѣчаетъ нашъ авторъ), но отъ опредѣленія цвѣта волосъ отказалась, потому что не видѣла ихъ. Глаза видѣла: «они не черныя, но немного темныя».—«Ты хочешь сказать, каріе?»—спросила присутствовавшая при этой бесѣдѣ дама. «Да», отвѣчала Пальма, и Эмберъ прибавляетъ отъ себя, что «это нѣсколько приближается къ истинѣ». Но тутъ же въ выноскѣ приводитъ точное описаніе наружности Луизы, изъ котораго видно, что глаза у нея въ дѣйствительности «голубые, ясные и свѣтлые». Въ другой выноскѣ Эмберъ сообщаетъ, что когда Луизѣ Лато передали содержаніе его бесѣды съ Пальмой, бельгійская стигматичка рѣшительно отрекалась отъ своей итальянской сестры: она не знаетъ Пальмы и никогда не чувствовала той поддержки, которую ей будто бы та приносила въ свои невидимыя визиты. Эмберъ замѣчаетъ: «Не мнѣ разрѣшать сомнѣнія, возникающія изъ этихъ противорѣчивыхъ показаній, но нельзя ли думать, что Богъ сводитъ Пальму и Луизу только въ моменты экстаза послѣдней, такъ что у нея не остается даже воспоминанія объ этихъ свиданіяхъ?»

Кромѣ Луизы Лато, Пальма имѣла духовныя сношенія и съ другими чистыми душами. Такъ въ 1865 г. она въ первый разъ заговорила о пятилѣтней дѣвочкѣ Ритѣ, живущей въ Парижѣ, «недалеко отъ большого дома сестеръ милосердія», и съ тѣхъ поръ много разъ пророчествовала о великой, чудодѣйственной будущности этой, пока еще неизвѣстной, Риты. «Имя Рита есть вѣроятно уменьшительное отъ Маргариты,—замѣчаетъ Эмберъ. Пальма не называетъ ея

фамиліи: въ сверхъестественномъ мірѣ другъ друга знаютъ только по крестному имени, записанному въ великую небесную книгу». Въ другомъ мѣстѣ Эмберъ упоминаетъ о живущей будто бы въ Іерусалимѣ стигматичкѣ Пасхалинѣ, съ которою, какъ ему рассказывали, Пальма находится въ общеніи душъ. Однако, Пальма имѣетъ, по крайней мѣрѣ, одностороннія общенія и не съ столь безусловно возвышенными личностями, какъ Луиза, Рита и Пасхалина. Эмберъ спросилъ ее о своемъ другѣ, извѣстномъ ультрамонтанскомъ публицистѣ Луи Вѣльмо. Но этотъ разговоръ надо привести въ изложеніи самого Эмбера.

— «Пальма, знаете ли вы Луи Вѣльмо, великаго парижскаго журналиста?

«Послѣ трехъ секундъ колебанія, въ теченіе которыхъ прозорливица (*la voyante*) имѣла видѣ человѣка, собирающагося съ мыслями, она отвѣтила:—Да, да, я его знаю; онъ мнѣ часто приходитъ въ голову во время молитвы. Это сильный человѣкъ; скажите ему, чтобы онъ держался.—Вотъ ея подлинныя слова по итальянски: *Si, si, io conosco; mi viene spesso a la mente, mentre che prego. E un uomo forte: di lui che si mantenga.*

— «Теперь, прибавила она, намъ нужны такіе люди. Что мнѣ нравится во французахъ, такъ это то, что они или совсѣмъ хороши, или совсѣмъ дурны.

«Удивленный тѣмъ, что Пальма, конечно, никогда не читавшая *L'Univers*, такъ говорить объ его редакторѣ, я спросилъ: да какъ же вы знаете Луи Вѣльмо?—Я его знаю только духомъ, я никогда о немъ ничего не слышала».

Прозорливость Пальмы уяснилась для Эмбера еще двумя откровеніями, лично его касающимися. Во-первыхъ. Пальма ему заявила, что она и его самого уже три года знаетъ и видитъ въ своихъ состояніяхъ экстаза. Другое откровеніе сложнѣе и интереснѣе. За четыре года передъ тѣмъ у Эмбера умеръ старшій сынъ. Черезъ годъ послѣ его смерти Эмберъ встрѣтилъ дѣвушку, пользовавшуюся репутаціей благочестія и прозорливости. Онъ просилъ ее молиться за усопшаго сына, и та черезъ нѣсколько времени сообщила ему, что сынъ его спасенъ, что онъ въ раю: она видѣла его вблизи самого Господа. Теперь, будучи у Пальмы, Эмберу захотѣлось проверить это свѣдѣніе. Онъ рассказалъ всю исторію. Пальма слушала очень внимательно, но, когда онъ дошелъ до видѣнія предыдущей прозорливицы, Пальма вдругъ торжественно сдѣлала отрицательный жестъ рукой и сказала: «онъ спасенъ, но находится еще въ чистилищѣ». Пораженный этимъ извѣстіемъ, Эмберъ сталъ просить Пальму молиться объ окончательномъ освобожденіи души сына. Она обѣщала, и дѣй-

ствительно, черезъ нѣкоторое время, уже по возвращеніи изъ Оріи, Эмберъ получилъ уведомленіе отъ Пальмы, черезъ третье лицо, что сынъ его въ день всѣхъ святыхъ, 1-го ноября, утромъ перешелъ изъ чистилища въ рай.

Пальма вообще обладаетъ способностью быть одновременно въ разныхъ мѣстахъ (*bilocation*). Она, оставаясь въ своей комнатѣ, совершаетъ въ то же время дальнія путешествія и, возвращаясь оттуда, рассказываетъ, что видѣла въ Китаѣ и въ другихъ мѣстахъ, при чьей смерти присутствовала и т. п. Эмберъ лично не слышалъ отъ нея подобныхъ рассказовъ, но онъ удостоился слышать нѣсколько историческихъ пророчествъ, которыя и записалъ. Добросовѣстность Эмбера проявляется при этомъ съ особенною ясностью. Въ первомъ изданіи своей книги онъ не рѣшился привести одно изъ предсказаній Пальмы, касавшееся Наполеона III, и оговорилъ, что не можетъ этого сдѣлать до поры до времени по практическимъ соображеніямъ. Но во второмъ изданіи Наполеонъ уже умеръ, и Эмберъ счелъ себя не только въ правѣ, но и обязаннымъ разоблачить лживое предсказаніе Пальмы: она пророчила, что Наполеонъ, тогда германскій плѣнникъ, вернется во Францію, но будетъ убитъ. «Два раза повторила мнѣ Пальма эти слова,—настаиваетъ Эмберъ,—и я ихъ записалъ подъ ея диктовку». Эта «ошибка» прозорливицы, равно какъ и другіе подобные факты, смущаютъ, конечно, Эмбера, но не въ концѣ. Они приводятъ его только къ нѣкоторому колебательному умозаключенію, которое мы увидимъ ниже.

Пальма уже семь лѣтъ ничего не ѣстъ. Черезъ три-четыре дня она пьетъ по два графина воды, которая, однако, часто тутъ же и извергается рвотой, но въ видѣ «кипятка», вслѣдствіе сжигающаго Пальму внутренняго огня. Сама Пальма увѣряетъ, что ее рветъ прямо-таки кипяткомъ, тоже подтверждаетъ и дочь ея квартирнаго хозяина; самъ же хозяинъ, преисполненный впрочемъ почтенія къ прозорливицѣ, говоритъ, что рвать, дѣйствительно, рветъ, но не кипяткомъ. Изъ рта Пальмы истекаетъ по временамъ «бальзамъ» (*baume*),—ароматическій, сладковатый, пріятный на вкусъ и цѣлебный; масло тоже оливковое она отдѣляетъ. Эмберъ видѣлъ свято хранимыя склянки съ этими продуктами и получилъ скляночку въ подарокъ, но самаго процесса отдѣленія не видѣлъ. Онъ видѣлъ, однако, нѣчто лучшее. Дѣло въ томъ, что Пальма, дѣйствительно, уже семь лѣтъ какъ ничего не ѣстъ въ обыкновенномъ смыслѣ слова, но она получаетъ таинственнымъ образомъ по нѣскольку разъ въ день, въ неопредѣленные часы, св. причастіе. Доставляютъ

ей его или самъ Иисусъ Христосъ, или кто-нибудь изъ святыхъ, ангеловъ, ея умершихъ духовниковъ, причемъ они берутъ причастный хлѣбъ изъ разныхъ церквей, какъ въ самой Оріи, такъ и въ Миланѣ, Римѣ и проч. Понятно, что образъ Христа или св. Петра, св. Франциска, приносящихъ св. причастіе, видимъ только самой Пальмѣ, окружающіе же видятъ только самое причастіе, внезапно, неизвѣстно откуда появляющееся во рту Пальмы. Это чудо и Эмберъ видѣлъ, притомъ два раза. Вотъ какъ это произошло. Эмберъ сидѣлъ бокомъ къ Пальмѣ и разговаривалъ съ третьимъ лицомъ. Вдругъ онъ чувствуетъ, что прозорливица слегка ударяетъ его по рукѣ и въ то же время его собесѣдникъ преклоняетъ колѣна. «Я обращаюсь къ Пальмѣ,—разсказываетъ авторъ,—и вижу ее съ закрытыми глазами, сложенными руками и широко открытымъ ртомъ, а на языкѣ ея замѣчаю причастіе. Я немедленно повергаюсь на колѣна, молюсь и смотрю. Пальма высовываетъ языкъ, какъ бы съ пѣлюю вполне ясно показать мнѣ причастіе, потомъ проглатываетъ, закрываетъ ротъ и остается въ глубоко сосредоточенномъ видѣ. Въ это время могло быть около половины пятого, вечеромъ, комната была плохо освѣщена маленькимъ, высоко пробитымъ окномъ. Чудесное причастіе показало мнѣ восковой бѣлизны. Въ виду вечера и кратковременности явленія я не могъ разсмотрѣть, были ли на причастіи обычные знаки». Во второй разъ чудо совершилось на глазахъ Эмбера столь же быстро и при подобной же обстановкѣ. Особенно интересно въ этомъ второмъ эпизодѣ развѣ только то, что дочь хозяина кричала: «высунъ языкъ, Пальма!» И та высовывала и показывала зрителямъ таинственно появившуюся на языкѣ облатку.

Много еще чудесъ видѣлъ Эмберъ. Пальма впадала въ экстазъ и въ это время горѣла «небеснымъ огнемъ». Горѣла въ буквальномъ смыслѣ слова. Эмберъ не видалъ самаго процесса горѣнія, потому что его позвали въ комнату прозорливицы «не болѣе какъ за двѣ минуты» до обнаруженія этого чудеснаго пожара. Но онъ видѣлъ результатъ: пахло паленымъ бѣльемъ, рубашка была въ одномъ мѣстѣ сожжена «какъ бы сильно накаленнымъ утюгомъ», а на тѣлѣ оказались ожоги, въ родѣ тѣхъ, какіе производятся мушкой и брызгами кипятку. Пальма предъявила Эмберу и раскрытые стигматы, именно стигматы терноваго вѣнца (началось тоже безъ него), и кровь, падавшая изъ нихъ, образовала на скомканныхъ бѣлыхъ платкахъ, приложенныхъ къ стигматамъ, не только обыкновенныя кровавыя пятна, но и странные, болѣе или менѣе правильные рисунки, расположенные независимо отъ складокъ платковъ. Та-

кіе же рисунки воспроизводитъ и «небесный огонь», и Эмберъ даетъ съ нихъ фотографію въ своей книгѣ.

Этого довольно, мы полагаемъ. Нѣтъ надобности входить въ остальные подробности, чтобы убѣдиться въ кощунственномъ и грубѣйшемъ надувательствѣ, которому подвергся бѣдный Эмберъ. Мы отмѣтимъ еще только одно обстоятельство. Въ 1866 г. гражданскія власти обратили вниманіе на чудеса Пальмы, и было наряжено слѣдствіе. Подлинныхъ протоколовъ Эмберъ не приводитъ и результатовъ, къ которымъ пришла комисія, не сообщаетъ. Онъ даетъ вмѣсто этого только своеобразныя извѣщенія клерикальных газетъ, въ которыхъ находимъ, между прочимъ, слѣдующую подробность: «Въ этотъ моментъ врачи стали всѣми возможными способами изслѣдовать ея раны, втыкать ей въ тѣло иглы до самыхъ костей, сильно щипать ее за щеки, за руки, за ноги. Пальма оставалась неподвижна, какъ скала». Она не чувствовала боли. Эта анестезія, конечно, не прошла бы Пальмѣ даромъ, если бы она жила въ средніе вѣка, когда именно такими втыканіями иглодокъ искали на подозреваемыхъ въ сношеніяхъ съ нечистымъ «печать дьявола» (*sigillum* или *stigma diaboli*): если оказывалось хоть одно нечувствительное мѣсто, испытующему предстоило прямая дорога на костеръ. Такъ мѣняются времена и обстоятельства! Надо, однако, замѣтить, что Эмберъ боится съ рѣшительностью признать божественное происхожденіе чудесъ Пальмы (да частію и Луизы Лато). Онъ называетъ это свое мнѣніе лишь «гипотезой». Онъ твердо вѣритъ, что описанныя имъ явленія сверхъестественны, и ругательски ругаетъ «литтреяницевъ», въ особенности Альфреда Мори, за его попытку рациональнаго объясненія явленій стигматизаціи. Но затѣмъ онъ раздумываетъ: сверхъестественное можетъ быть двойкаго происхожденія,—отъ Бога и отъ дьявола. Этотъ-то вопросъ и долженъ быть разрѣшенъ по отношенію къ занимающимъ его фактамъ, но онъ не беретъ сказать окончательное слово, онъ только «гипотезу» предлагаетъ...

Поразительное повѣствованіе Эмбера характерно въ высшей степени и во многихъ отношеніяхъ. И прежде всего характерна фигура самого повѣствователя. Онъ—врачъ и притомъ преподаватель въ медицинскоѣ школѣ (*école de médecine de Clermont-Ferrand*, гдѣ онъ состоитъ или состоялъ профессоромъ, есть, кажется, приготовительное училище). Постоянно, изо дня въ день, если не больше, то очевидно, чѣмъ кто-нибудь другой, онъ вращается въ мірѣ явленій, связанныхъ непрерывною и непререкаемою цѣпью взаимно пропорціональныхъ причинъ

и слѣдствій. И тѣмъ не менѣе онъ въ сферѣ своихъ специальныхъ знаній и занятій позволяетъ себя обманывать, какъ малый мальчишка, не только не имѣющій понятія объ устройствѣ и функціяхъ человѣческаго организма, но не обладающій еще даже и окончательно сложившимся здравымъ смысломъ. Онъ очень хорошо знаетъ, что рвота кипяткомъ есть «все, что только можно вообразить антифизиологическаго», или что капли крови, рисующія на одной сторонѣ платка какіе-то крючки и кресты, не просачиваясь насквозь, «нарушаютъ всѣ физическіе законы», и т. п., но его все это нисколько не смущаетъ. Духовникъ Пальмы объяснилъ ему, что душистый, сладкій и цѣлебный «бальзамъ», истекающій по временамъ изъ рта Пальмы, «идетъ изъ сердца черезъ вену, и это нѣсколько разъ утверждала сама Пальма». Эмберъ спокойно замѣчаетъ: «Мудрено принять это объясненіе съ физиологической точки зрѣнія; но, имѣя въ виду, что естественный порядокъ здѣсь совершенно опрокинутъ, я объясняю, что не имѣю лучшаго объясненія». И въ этомъ-то «совершенно опрокинутомъ порядкѣ» онъ плаваетъ, какъ рыба въ водѣ. Онъ, правда, благоговѣетъ передъ чудесами Пальмы, но ничему не удивляется: порядокъ опрокинутъ, только и всего. Въ его повѣствованіе вкраплены мѣстами шутивыя замѣчанія о томъ, какъ ему надобно въ Италіи макарены, какими грязными руками приготавливать ихъ итальянки («ихъ добродѣтель безупречнѣе ихъ пальцевъ»), какъ одна простодушная женщина просила у него его «географію» и какъ послѣ долгихъ переговоровъ ему удалось, наконецъ, понять, что это значитъ «фотографія», и т. п. Словомъ, онъ шутитъ, ѣстъ, пьетъ, какъ будто ничего особеннаго, изъ ряда вонъ выходящаго, не случилось, какъ будто порядокъ даже вовсе и не опрокинутъ. Ему не приходится на умъ и та мысль, что Богъ, котораго онъ исповѣдуетъ, казалось бы, слишкомъ великъ для того, чтобы проявлять свое всемогущество такими ненужными, безцѣльными, не поучительными и ничего не знаменующими пустяками, какъ, напримѣръ, рвота кипяткомъ у какой-то старой вдовы въ неизвѣстномъ итальянскомъ городишкѣ. А если бы подобная мысль и заставила его на минуту придуматься, то онъ тотчасъ же во всякомъ случаѣ опять встанетъ на ноги въ своемъ опрокинутомъ порядкѣ и скажетъ: я только «гипотезу» излагаю, а можетъ быть все это и не отъ Бога, а отъ дьявола. Не смотря однако на этотъ страшный скачекъ отъ альфы къ омегѣ, изъ безусловнаго добра въ безусловное зло, отъ извѣчнаго свѣта къ извѣчной тѣмѣ, опрокинутый порядокъ остается въ томъ же

опрокинутомъ видѣ, и Эмберъ продолжаетъ въ немъ гулять съ прежнимъ спокойствіемъ. Такъ, во снѣ насъ нисколько не поражаютъ проносящіеся въ нашемъ лишь на половину дѣйствующемъ мозгу фантастическія комбинаціи и остатки подавленнаго сознанія не протестуютъ противъ самыхъ чудовищныхъ несообразностей.

Сѣдая древность, когда она была еще беззубымъ дѣтствомъ и цвѣтущею юностью, характеризовалась именно этимъ отсутствіемъ удивленія передъ удивительными вещами. Камень заговорилъ—страшно, если онъ проговорилъ грозныя слова, радостно, если эти слова обѣщаютъ счастье, удачу, но ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ нѣтъ ничего поразительнаго. Давно умершій человѣкъ появился среди живыхъ,—пріятно, если это другъ, братъ; непріятно, если изъ могилы поднялся врагъ, мститель; но эти пріятныя и непріятныя чувства, какой бы степени страстности они ни достигали, не обязываютъ удивляться. Удивленіе ведетъ къ изслѣдованію явленія не только со стороны его грубо фактической достовѣрности (такое изслѣдованіе доступно и Эмберу, и человѣку отдаленной древности, и современному дикарю), но и со стороны выясненія его причинъ, его положенія въ неразрывной цѣпи причинъ и слѣдствій. А это уже выраженіе сомнѣнія. Человѣкъ отдаленной древности (равно какъ и многіе, слишкомъ многіе современные люди) до такой степени мало пропитанъ идеей причинной связи явлений,—хотя и живетъ, и умираетъ, и работаетъ, и отдыхаетъ, и наслаждается, и страдаетъ надъ ея всемогущимъ гнетомъ,—что просю даже и не задается вопросомъ о ней. Скептицизму здѣсь нѣтъ мѣста, но было бы ошибочно думать, что это странное для насъ состояніе сознанія заслуживаетъ названія сильной вѣры.

Нѣкоторый древній человѣкъ, будучи боленъ, вступилъ въ договоръ съ богомъ Сераписомъ: въ знакъ выздоровленія богъ долженъ былъ пожать ему въ сновидѣніи правую руку, а въ противномъ случаѣ лѣвую. Сераписъ не самъ явился больному во снѣ, а послалъ Цербера, который пожалъ правую руку. Изъ этого слѣдовало бы заключить, что больной выздоровѣетъ, и, однако, онъ умеръ. Тогда дѣло было истолковано такъ: адскій пёсъ Церберъ, въ качествѣ адскаго пса, и долженъ былъ поступить «напротивъ того», и его дѣйствіе непременно подлежало толкованію, противоположному условію съ богомъ. Такими почти трогательными изворотами мысли пробавлялась древность, когда ея вѣрованія разбивались о несомнѣнные факты.

Не говоря уже о томъ, что на зарѣ исторіи

каждаго народа мы встрѣчаемъ, естественное для первобытнаго ума, двойное ипостазированіе силъ природы: созданіе божествъ добрыхъ и злыхъ, — въ дальнѣйшемъ развитіи этихъ двухъ мифологическихъ рядовъ наблюдается слѣдующее любопытное явленіе. Народы становятся, враждуютъ, побѣждаютъ другъ друга. Приступая къ этой борьбѣ, они зовутъ на помощь своихъ боговъ, а затѣмъ, въ случаѣ удачи, приносятъ имъ благодарность. Но почти всегда при этомъ боги побѣжденнаго народа, не сумѣвшіе поддержать его въ борьбѣ, не только въ его собственныхъ глазахъ не теряютъ кредита, а и въ глазахъ побѣдителей. Эти, казалось бы, падшіе, поруганные, явно безсильные боги побѣжденных становятся и для побѣдителей, если не богами (а бываетъ и такъ), то все-таки олицетвореніями могущественныхъ силъ; въ крайнемъ случаѣ они понижаются въ рангѣ и обращаются въ злыхъ духовъ, демоновъ. Этотъ процессъ, отмѣченный всѣми исследователями отъ Гримма до Тайлора, еще будетъ занимать наше вниманіе ниже, по поводу одного неразгаданнаго историческаго явленія, занимающаго видное мѣсто въ области патологической магіи. Теперь мы упоминаемъ о немъ лишь для иллюстраціи того легковѣрія, которое отличаетъ раннія ступени развитія человѣческой мысли. Раннія не всегда въ строго хронологическомъ смыслѣ слова. Если не читатели, то кое-кто изъ благосклонныхъ читателейъ, повидимому, вполне вѣрующихъ въ христіанскаго Бога, можетъ быть не прочь иногда погадать у цыганокъ, въ томъ не совсѣмъ, конечно, сознаваемомъ расчетѣ, что цыгане, это презрѣнное, униженное, нищее, скитающееся племя, обладаютъ нѣкоторыми тайными знаніями и силами, по происхожденію своему сродни нечистому; этому неясному, неопредѣленному, даже неулавливаемому сознанію, какъ хотя бы смутный образъ, нечистому приписывается извѣстное могущество, хотя онъ явно не покровительствуетъ самимъ цыганамъ, — ни предуказаніемъ будущаго, ни какимъ бы то ни было другимъ способомъ. Внесите въ эти рамки яркость и конкретность стараго политеизма, осложненные постоянною международною и междуплеменною враждою, и вы получите аріійцевъ, молящихъ своихъ боговъ о побѣдѣ и благодарящихъ ихъ за побѣду надъ грубыми племенами долинъ Инда и Ганга, и въ то же время признающихъ сверхъестественное могущество за богами побѣжденных; получите средневѣковое язычество, не смотря на торжество христіанства, сохранившееся подъ видомъ поклоненія сатанѣ и демонамъ, подъ видомъ магіи и колдовства. И т. п. Не мѣшаетъ, можетъ быть, замѣтить, что это отнюдь не то настроеніе,

которое выражено поэтомъ въ извѣстномъ стихѣ: «такъ храмъ разрушенный все храмъ, кумиръ поверженный — все богъ». Дѣло здѣсь не въ абстрактно-почтительномъ отношеніи къ своимъ собственнымъ былымъ или къ чужимъ вѣрованіямъ, во имя того, что въ нихъ люди, какъ ни какъ, искали и находили утѣшеніе въ скорбяхъ и вообще пристанище для своего мятущагося духа. Нѣтъ, человѣческая мысль и человѣческое чувство на раннихъ ступеняхъ своего развитія не знаютъ такихъ абстрактныхъ отношеній. Побѣжденные и побѣдители ненавидятъ, презируютъ другъ друга, вообще питаютъ другъ къ другу вполне отрицательныя чувства, не осложненные никакими абстрактными деликатностями, и тѣмъ не менѣе признаютъ за чужими богами сверхъестественную силу совершать чудеса, иногда не уступающія въ значительности и тѣмъ, которыя совершаются ихъ собственными богами, но большею частію втораго сорта и съ отгнкомъ зла.

Такъ и нашъ Эмберъ не только готовъ согласиться съ «гипотезой» дьявольскаго происхожденія чудесъ Пальмы, но даже самъ забѣгаетъ этому предположенію впередъ. Онъ не можетъ остановиться на той мысли, что Пальма частью большая женщина, а частью наглая обманщица. И если обманъ, наконецъ, прямо быть даже по его ослабленнымъ глазамъ, въ видѣ заведомо облыжнаго пророчества или разоблаченныхъ отрицаніемъ Луизы показаній Пальмы о ея духовныхъ визитахъ изъ Италіи въ Бельгію, — то онъ только можетъ поставить это на счетъ злему духу. Онъ просто дѣлаетъ изворотъ мысли въ обходъ дѣйствительному, реальному разъясненію явленія.

Столь полное возрожденіе древняго легковѣрія, да еще въ человѣкѣ науки, какимъ самъ себя рекомендуетъ Эмберъ, есть по нашему времени, конечно, большая рѣдкость, нѣчто совсѣмъ исключительное. Объясненія этому факту надо, можетъ быть, искать, по крайней мѣрѣ отчасти, въ политическихъ убѣжденіяхъ Эмбера. Онъ страстный легитимистъ. Онъ жадно прислушивается къ пророчествамъ Пальмы о возвращеніи во Францію и воцареніи Генриха V (то-есть графа Шамбора, увы! съ тѣхъ поръ уже умершаго вдали отъ родины), о гибели итальянскаго короля (roi-lagton, то-есть короля-разбойника) и о торжествѣ Піа IX; нынѣшній французскій режимъ представляется ему апокалипсическимъ звѣремъ, и проч. Этотъ-то взаимный переплетъ религіозныхъ и политическихъ убѣжденій, тоже напоминающій древность по своей цѣлности и страстности, и составляетъ, можетъ быть, ту почву, на которой произрастаютъ порази-

тельные цвѣты и плоды легковѣрія Эмбера.

Если, однако, книга Эмбера и вообще весь складъ его мысли представляются чѣмъ-то совершенно исключительнымъ, то только именно своею чѣмностью, законченностью, яркостью. Можно сказать, вчерашнее увлеченіе всеисцѣляющей водой барона Вревскаго или облетѣвшій весь цивилизованный міръ спиритизмъ свидѣлствуютъ, что легковѣрія и въ современномъ человѣкѣ совершенно достаточно.

Позвольте себѣ привести два незначительныхъ, но довольно характерныхъ случая изъ своей личной жизни.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я получилъ письмо отъ неизвѣстнаго мнѣ «кружка спиритовъ» такого содержанія. Кружокъ имѣлъ, между прочимъ, сношенія съ духомъ покойнаго поэта Огарева, и получилъ отъ него спиритическимъ путемъ стихотвореніе, которое, по разъясненію самого духа, должно было служить отвѣтомъ на какое-то мое стихотвореніе. Кружокъ просилъ меня указать, гдѣ и когда было напечатано это мое стихотвореніе, на которое, судя по содержанію стиховъ Огарева, они могли бы отвѣчать *). Кружокъ просилъ меня отбросить всякіе предрасудки относительно спиритизма и, взявъ во вниманіе, что онъ, кружокъ, во всякомъ случаѣ ищетъ истины, отвѣтить серьезно и правдиво. Я серьезно и правдиво отвѣтилъ, что никогда нигдѣ никакихъ стиховъ не печаталъ. Не имѣю свѣдѣній о томъ, какъ былъ принятъ этотъ отвѣтъ.

Въ другой разъ мнѣ приходилось уѣзжать изъ Петербурга въ опредѣленный, довольно быстрый срокъ, но на неопредѣленное время. По этому случаю я имѣлъ честь принимать у себя довольно много гостей. Однажды вечеромъ собравшееся такимъ образомъ

*) Для курьеза, вотъ эти загробные стихи, свидѣлствующие, мнѣ кажется, что въ земной оболочкѣ Огаревъ писалъ нѣсколько лучше, чѣмъ по ту сторону бытія:

О да, друзья, за небесами
Душа хранитъ свою любовь
И тамъ ожившими сердцами
За гробомъ встрѣтятся мы вновь!

Отрадно мчатся въ поднебесной,
Летѣть отъ міра слезъ и ала
И вѣтъ оттуда міръ чудесный
И всѣ житейскія дѣла.

Хоть духъ, изъ тѣла улетаю,
Томится, страдаетъ и болитъ,
Но въ сферахъ облачныхъ витаю,
Любовью къ прошлому горитъ.

И будьте счастливы мечтою,
Что, вѣчной живенію дыша,
Свиданья ждетъ съ душой родною
Родная, близкая душа!

общество приняло предложеніе одной опытной въ спиритизмъ и очень нервной дамы—заняться спиритическими опытами, элементарными, съ вертящимися и говорящими столами. Одинъ изъ вопросовъ, обращенныхъ къ столу, гласилъ: какъ скоро я вернусь въ Петербургъ? Столъ, по принятой азбукѣ, отвѣтилъ, что черезъ годъ. Въ дѣйствительности я вернулся гораздо позже. Затѣмъ дама-медіумъ разъяснила, что у нея есть особенный близкій и симпатичный духъ, съ которымъ она обыкновенно бесѣдуетъ (она его назвала по имени, но я забылъ это имя) и что можетъ быть и у меня есть такой же симпатичный, родственный духъ. Обратились къ столу, онъ отвѣтилъ, что такой духъ, дѣйствительно, есть. Снова обратились къ столу за именемъ этого духа и столъ простучалъ слѣдующее: «Сенсеръ». Тогда одинъ изъ присутствующихъ, смѣясь (вообще, надо признаться, благоговѣнія участники опыта не обнаружили), замѣтилъ, что мы можетъ быть ошиблись и что столъ хотѣлъ сказать «Спенсеръ». Еще разъ спросили столъ и на этотъ разъ онъ отвѣтилъ: «Спенсеръ». — «Ну, конечно, Спенсеръ, сказала дама-медіумъ, — вы о немъ такъ много писали!» Но тутъ было выяснено, что Гербертъ Спенсеръ, о которомъ я, дѣйствительно, писалъ (не могу, впрочемъ, сказать, чтобы въ полномъ симпатичномъ тонѣ), благодаря Бога, еще живъ, а дама-медіумъ полагала его уже умершимъ. Порѣшено было, что это какой-нибудь другой Спенсеръ.

Лѣтописи спиритизма изобилуютъ, конечно, еще и не такими недоразумѣніями. Эти недоразумѣнія уже сами по себѣ, помимо завоеваний и роста трезваго міросозерцанія вообще, подтверждаютъ тѣ объясненія, которыя давнымъ давно даны наукой для подобныхъ случаевъ, когда сами вопрошающіе сами же себѣ бессознательно и отвѣчаютъ. И, однако, спириты, при помощи разныхъ изворотовъ мысли, обходятъ эти простыя и естественныя объясненія.

II.

Существуетъ и другой, по мотивамъ и исходнымъ точкамъ своимъ діаметрально противоположный, путь обхода настоящаго разъясненія чудесныхъ явленій и таинственныхъ фактовъ. Это—голое отрицаніе или по крайней мѣрѣ игнорированіе фактовъ. Этимъ грѣхомъ слишкомъ часто грѣшатъ гордые люди науки и затѣмъ огромная масса такъ называемыхъ интеллигентныхъ людей, весьма поверхностно усвоившихъ себѣ общіе контуры трезваго міросозерцанія, но готовыхъ если не прямо сказать подобно опереточному мандарину: «я знаю все»,—то по крайней мѣрѣ

относиться къ вещамъ такъ, какъ будто они, дѣйствительно, имѣютъ право сказать это. Прежде всего скептицизмъ этихъ людей крайне неустойчивъ. Сплошь и рядомъ изъ нихъ съ теченіемъ времени рекрутируются и наиболѣе легковѣрные. Такъ какъ они побывали собственно только, такъ сказать, въ швейцарской трезваго міросозерцанія, лишь оттуда заглянувъ въ его блестящія амфилады, и самое большее, что усвоили себѣ какую-нибудь отрасль прикладного знанія, въ качествѣ хлѣбнаго ремесла, то они легко спотыкаются даже на пустякъ и затѣмъ начинаютъ сжигать все, чему поклонялись. А такъ какъ между ними попадаются и люди съ хорошо повѣреннымъ языкомъ и, что называется, бойкія перья, то ихъ волнообразныя шатанія оказываются иногда не безъ вліянія, по крайней мѣрѣ временнаго, на судьбы истины.

Но, конечно, такіа задержки естественнаго поступательнаго хода знанія не могли бы имѣть мѣста, если бы имъ не потворствовали люди серьезной мысли и прочныхъ убѣжденій. Въ исторіи мысли и фактическаго знанія слишкомъ часты такіа явленія, что представители науки или презрительно брезгливо обходятъ такъ называемыя чудеса молчанія, или же отрицаютъ факты, не вмѣщающіеся въ общепринятый въ данную минуту багажъ науки, или же наконецъ подыскиваютъ имъ объясненія, очевидно, иногда до смѣшного недостаточныя. Вирховъ выразился по поводу вышеупомянутыхъ странныхъ происшествій въ Бунд'Энгъ, что это «или чудо, или обманъ». Вотъ образчикъ презрительнаго отношенія къ факту со стороны почетнаго и заслуженнаго человѣка науки, не мало способствовавшаго расширенію горизонтовъ знанія; презрительнаго и неправильнаго, потому что экстазы и стигматы Луизы Лато оказались при ближайшемъ разсмотрѣніи и не чудомъ, и не обманомъ, по крайней мѣрѣ, далеко не вполне обманомъ. Парижская академія наукъ отрицала каменные дожди, то-есть паденіе метеоритовъ, какъ совершенную невозможность, — образчикъ педантически узкаго скептицизма цѣлой ученой корпораціи. Вольтеръ отрицалъ нѣкоторые палеонтологическіе факты и, полагая, что нахожденіе окаменѣлыхъ раковинъ на возвышенностяхъ можетъ способствовать подтвержденію ненавистныхъ ему міеологическихъ сказаній, объяснилъ дѣло тѣмъ, что раковины заносились туда пилигримами, — образчикъ комически недостаточнаго объясненія, представленнаго съ наилучшими намѣреніями, правда, не официальнымъ представителемъ науки, но человѣкомъ, пользовавшимся болѣе высокимъ титуломъ «царя мысли».

Изъ какого бы источника ни происходили всѣ подобные обходы дѣйствительнаго разъясненія таинственныхъ фактовъ, — изъ гордаго ли презрѣнія къ невѣжественной толпѣ, не стоящей того, чтобы ограждать ее отъ обмана, изъ педантократическаго самодовольства и нежеланія ворошить признанныя въ данную минуту догмы или изъ страстной преданности извѣстному міросозерцанію, — они остаются во всякомъ случаѣ обходами. И понятно, что обходы эти отнюдь не способствуютъ украшенію храма науки и трезваго міросозерцанія. Болѣе внимательное отношеніе къ фактамъ и менѣе близорукая увѣренность въ законченности сферы знанія убѣдили бы Вирхова, парижскую академію наукъ и Вольтера, что стигматы Луизы Лато, дожди аэролитовъ и окаменѣлыя раковины не только не колеблютъ, въ качествѣ чудесъ, вѣками строящагося зданія науки, но открываютъ ей новыя перспективы въ томъ самомъ направленіи, которому она дотогѣ слѣдовала. Но если бы даже человѣку науки представились какіе-нибудь факты, совершенно ниспровергающіе установившіяся понятія въ данной области знанія, то это отнюдь не оправдало бы пренебрежительнаго или трусливаго отношенія къ этимъ неожиданнымъ фактамъ. Бывали же радикальные перевороты въ наукѣ, возможны они и въ будущемъ. Тѣ сотни, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже десятки лѣтъ, въ которыя выработались различныя нынѣ существующія отрасли человѣческаго вѣдѣнія, — ничто въ сравненіи съ тѣми тысячами лѣтъ, которыя еще человечеству придется жить, жить и учиться. Факты, добытые достовернымъ опытомъ и наблюденіемъ, всегда останутся на лицо, имъ некуда исчезнуть, за нихъ нечего бояться. Но сопоставляющая и объясняющая ихъ теоретическая мысль должна обладать такой степенью гибкости и пластичности, чтобы, не выпуская изъ своихъ развѣтвленій фактовъ установленныхъ, быть готовой охватить и всякіе новые факты, какъ бы неожиданны и непредвидѣнны они ни были. Понятно, что всякая система убѣжденій борется за существованіе и отстаиваетъ себя всѣми доступными ей способами: она слагалась долго, трудно, на ея выработку было затрачено много усилій человеческого ума, она видѣла въ своей жизни и вѣдро, и ненастье, была можетъ быть «gekreuzigt und verbannt», насчитываетъ въ составѣ своихъ послѣдователей героевъ и мучениковъ. Все это даетъ ей полное право и ставить ей даже въ обязанность держаться до послѣдней возможности. Но въ числѣ способовъ самоотстаиванія никоимъ образомъ не можетъ быть мѣста отрицанію или игнорированію фактовъ. Напротивъ, всякая система убѣжденій по самой

сущности своей должна держаться агрессивной, завоевательной политики и жадно ловить новые, неожиданные и непредвиденные факты, чтобы и их поглотить въ своей цѣльности. Она может презирать своихъ противниковъ, какъ шарлатановъ и, вообще, недостойныхъ служителей истины, ненавидѣть ихъ, какъ враговъ, скорбѣть о нихъ, какъ о заблуждающихся, но не смотря на это, а, пожалуй, даже именно вслѣдствіе этого, она должна употреблять всѣ усилія для отобранія у нихъ всего ихъ фактическаго матеріала. Если же это окажется въ концѣ концовъ, послѣ всѣхъ усилій, невозможнымъ, она должна добровольно умереть. Если человѣку простиительно цѣпляться «mit klammernden Organen» даже за унижительную жизнь, то человѣческой мысли и убѣжденію, теоріи предстоитъ дилемма: или жить «во всю», или совсѣмъ не жить.

Все это такъ элементарно просто и естественно, что, казалось бы, не стоитъ и говорить объ этомъ. Но исторія науки свидѣтельствуетъ, что представители ея сплошь и рядомъ нарушаютъ самыя элементарныя требованія служенія истинѣ, что, въ особенности въ связи съ шатаваніями легкомысленныхъ людей отъ невѣрія къ легковѣрію, тяжело отзывается на судьбахъ науки.

Остановимся нѣсколько на исторіи тѣхъ «чудесъ» животнаго магнетизма, гипнотизма, мантевизма, чтенія мыслей и проч., которыя нынѣ такъ занимаютъ и науку, и общество. Мы оставимъ пока въ сторонѣ тѣ первобытныя зачатки этихъ явленій, которые не могутъ быть поставлены ни въ какую преемственную связь съ нашими нынѣшними опытами и наблюденіями. Мы—въ восемнадцатомъ столѣтіи. Саркастически-скептическое дыханіе французской литературы шумно и торжественно носится по всей Европѣ. Вольтеръ самодовольно пишетъ Даламберу, что «вѣкъ разума наступилъ», и что успѣхъ скептической пропаганды «превозмогъ его ожиданія». Старымъ вѣрованіямъ грозятъ, повидимому, большія опасности, да временно и дѣйствительно грозятъ. И, однако, по этому «вѣку разума» съ необыкновеннымъ шумомъ проходятъ слѣдующія, напимѣръ (всѣхъ не переберешь), фигуры.

Знаменитый Месмеръ начинаетъ свою карьеру диссертацией «о вліяніи планетъ на человѣческое тѣло». Потомъ онъ вступаетъ въ компанію съ ученымъ иезуитомъ Геллемъ, занимающимся опытами «минерально-магнетическаго» лѣченія (повидимому, эти опыты съ практической стороны, то-есть независимо отъ ихъ теоретическаго обоснованія, были близки къ нынѣшней металлотерапіи и магнитотерапіи). Потомъ расходится съ Геллемъ и основываетъ свою собственную систему

животнаго магнетизма или месмеризма. Если нынѣшніе изслѣдователи признаютъ за практикой Месмера много шарлатанства, а за его теоріей много вздора, то тѣмъ не менѣе съ него, именно, начинается исторія животнаго магнетизма, гипнотизма и проч. Какъ бы то ни было, но въ Парижѣ больные и вѣрующіе толпились въ пріемныхъ залахъ Месмера, онъ совершалъ чудеса и, наконецъ, не имѣлъ даже времени удовлетворять всѣхъ болящихъ, такъ что долженъ былъ нанимать для совершенія чудесъ помощниковъ. Однако, не все на однихъ розахъ протекала парижская жизнь Месмера, были и шипы у этихъ розъ. То поднимаемый, то низвергаемый волнами легковѣрія и невѣрія, онъ долженъ былъ, наконецъ, уѣхать изъ Франціи и умереть въ 1815 г. въ Германіи, 80 лѣтъ, въ полномъ забвеніи.—Немного раньше момента наибольшаго торжества Месмера, а именно около 1775 года, въ Баваріи объявился свой чудотворецъ, экс-іезуитъ Гаснеръ. Этотъ уже прямо изгонялъ бѣсовъ при помощи магическихъ заклинаній и нѣкоторыхъ другихъ пріемовъ, близкихъ, повидимому, къ гипнотизаціи. Вслѣдствіе многочисленныхъ скандаловъ Гаснеру было, наконецъ, административнымъ путемъ запрещено продолжать эту практику.—Около того же времени практиковалъ нѣкій чудотникъ Вейследеръ или «лунный докторъ» (Mond-doctor), прозванный такъ, потому что онъ лѣчилъ преимущественно хирургическія (!) болѣзни луннымъ свѣтомъ, а также мистическими формулами, молитвами и требованіемъ вѣры отъ пациентовъ. Недостатка пациентовъ у него не было, хотя по изслѣдованію оказалось, что больные, полагавшіеся на его методъ лѣченія, только запускали свои болѣзни, отчего даже умирали.—Къ тому же времени относится бурная жизнь содержателя кофейной въ Лейпцигѣ, Шрѣпфера, обладавшаго многими тайными знаніями, но въ особенности прославившагося вызываніями тѣней умершихъ. Общенія съ Шрѣпферомъ добивались многіе весьма знатные и, слѣдовательно, болѣе или менѣе образованные люди. Этотъ чудодѣй кончилъ не безъ злого остроумія. Онъ создалъ своихъ поклонниковъ, чтобы показать имъ новое еще небывалое чудо, провелъ съ ними цѣлую ночь за напитками и фокусами, на утро вывелъ за городъ, а самъ отошелъ въ сторону. Почитатели должны были, какъ только услышать выстрѣлъ, бѣжать по его направленію, и тутъ-то они и увидятъ небывалое чудо. Выстрѣлъ раздался, почитатели побѣжали и нашли Шрѣпфера мертвымъ, — онъ застрѣлился. Впрочемъ, почитатели довольно долго ожидали его воскрешенія.—Сюда можно еще прибавить знаменитаго графа Калиостро, надувшаго чуть не всю Европу; шведскаго мистика Сведенборга, Лафатера, который не

только якшался съ Гаснеромъ, Шрёпферомъ и разными другими, болѣе мелкими чудодѣями, но и самъ готовъ былъ совершать чудеса. Онъ рассказывалъ, что однажды, силою вѣры и молитвы, онъ чуть-чуть было не воскресилъ мертвца, — уже онъ видѣлъ, какъ у мертвеца одинъ палецъ зашевелился, но тутъ имъ овладѣла гордость, и онъ оказался безсильнымъ довести чудо до конца.

Этотъ маленький букетъ (мы могли-бы его значительно увеличить) свидѣтельствуетъ, что Вольтеръ не совсѣмъ основательно хвасталъ «вѣкомъ разума» и успѣхами скептицизма. Но насъ занимаетъ теперь не это. У всѣхъ вышеупомянутыхъ чудодѣевъ были, пожалуй, не только почитатели, а и обличители, иногда и талантливые и усердные, изъ среды людей простого здраваго смысла, которые натурально могли только обличать шарлатанство, но не отдѣлять плевелы отъ пшеницы. А доля пшеницы, хотя-бы, какъ теперь признано всѣми, въ практикѣ Месмера была. Выяснить это было дѣломъ людей науки, призванныхъ не только къ отрицательной работѣ обличенія, а и къ творческой работѣ дальнѣйшаго движенія науки впередъ. Что же во все это время дѣлали люди науки?

Берлинская академія наукъ рѣшительно отвергла месмеризмъ. Въ Парижѣ была назначена для изслѣдованія его коммисія ученыхъ и врачей, передъ которой, впрочемъ, самъ Месмеръ предстать не пожелалъ. Коммисія удовольствовалась показаніями и опытами его alter ego, доктора д'Элона. Коммисія, мимоходомъ отмѣтивъ значеніе психическихъ вліяній ожиданія и воображенія въ практикѣ Месмера, отвергла месмеризмъ, и только одинъ Жюссель представилъ отдѣльное мнѣніе, въ которомъ настаивалъ, что въ изслѣдуемыхъ явленіяхъ не все сплошь шарлатанство, а есть и доля истины. И на этомъ дѣло было покончено и все, что нынѣ, спустя сто лѣтъ, насъ такъ занимаетъ подъ именемъ гипнотизма, мантевизма и проч., было положено въ долгій ящикъ. Правда, немедленно вслѣдъ за тѣмъ наступили бурныя времена революціи. Достаточно указать, что въ составѣ коммисіи, назначенной для изслѣдованія месмеризма, были такія имена, какъ Бальи, Лавуазье, вскорѣ сложившіе свои головы, Гильотенъ, изобрѣтатель гильотины, — чтобы объяснить себѣ эту задержку мирныхъ занятій наукой. Но дальнѣйшая исторія изученія гипнотическихъ явленій уже не можетъ выставить такого оправданія.

Еще при жизни Месмера, но уже когда онъ сошелъ со сцены, нѣкто маркизъ Пуисегюръ возобновилъ его опыты, но безъ всякой шарлатанской обстановки, и достигъ значительныхъ успѣховъ. Затѣмъ, въ теченіе слишкомъ полустолѣтія до опытовъ Брэда въ началѣ со-

ровыхъ годовъ, чудеса гипнотизма попадали въ самыя разнообразныя руки. III. Ріше такъ характеризуетъ этотъ періодъ: «Съ 1784 по 1842 годъ серьезные опыты и шарлатанство чередуются; съ одной стороны слѣпое легковѣріе признаетъ множество глупостей; съ другой стороны столь же слѣпой скептицизмъ отрицаетъ много истинъ. Между магнетизерами были шарлатаны, обманщики, но были и добросовѣстные люди, одушевленные идеей добра. Къ сожалѣнію, эти послѣдніе не имѣли достаточнаго научнаго образованія, чтобы съ успѣхомъ пропагандировать свои взгляды и чтобы отличить истину отъ лжи въ смутной массѣ разнообразныхъ явленій». И далѣе: «Всѣ эти басни сдѣлали то, что серьезные наблюдатели этой эпохи отвергли всѣ магнетическія явленія огуломъ. «Все вздоръ», — таково единственное и безусловное рѣшеніе ученыхъ. Вотъ къ чему привели столь многочисленныя труды, — ложь потопила правду» (L'homme et l'intelligence. P. 1884, 543).

Но кто-же виноватъ въ томъ, что получившаяся работа пропала даромъ и что ложь потопила правду? Кто, какъ не люди науки, игнорировавшіе и прямо отрицавшіе факты изъ брезгливой боязни замараться о шарлатанство, или можетъ быть изъ боязни за тотъ систематизированный уже комплексъ знаній, въ который факты, повидимому, не укладывались? Какъ бы то ни было, но, избѣгая риска компрометировать науку прикосновеніемъ къ чудесамъ, они гораздо болѣе компрометировали ее своимъ молчаніемъ; компрометировали и задерживали ходъ ея развитія. Пусть только читатель представитъ себѣ, что тѣ изслѣдованія, которымъ люди науки предаются нынѣ съ такимъ похвальнымъ усердіемъ и съ такимъ успѣхомъ, не только начались сто лѣтъ тому назадъ, но и продолжались все это время безъ перерыва. Какіе горизонты охватывала бы въ настоящую минуту наука? Чистый убытокъ для человѣчества, проистекающій изъ этой задержки, неисчислимы. И все это время люди несвѣдущіе должны были безпомощно стоять лицомъ къ лицу съ разными чудодѣями...

Но вотъ, наконецъ, послѣ долгихъ мытарствъ, чудеса животнаго магнетизма попадаютъ въ надлежащія руки, — въ руки Джамса Брэда, англійскаго врача, одинаково далекаго отъ Спиллы легковѣрія и Харибды слѣпое невѣріе. Тонкій и точный наблюдатель, Бредъ сдѣлалъ рядъ опытовъ и сообщеній высокой теоретической и практической важности, поставившихъ изученіе гипнотизма на ту высоту, на которой оно, собственно говоря, и теперь еще почти стоитъ, спустя чуть не второе полустолѣтіе работы. Ибо въ типичныхъ кабинетахъ, въ больничныхъ палатахъ и т. п. работа, пожалуй, не прекращалась.

Отдѣльные изслѣдователи, въ особенности во Франціи, повторяли, продолжали и развивали опыты Брэда, но въ концѣ концовъ только на порогѣ восьмидесятихъ годовъ представленіямъ профессиональнаго магнетизера Ганзена удалось привлечь къ гипнотическимъ явленіямъ то всеобщее вниманіе, котораго они заслуживаютъ. Да и то Ганзену пришлось вытерпѣть, во время представленій въ Вѣнѣ и Кельнѣ, а можетъ быть еще и въ другихъ мѣстахъ, настоящіе скандалы со стороны «невшрующихся», въ числѣ которыхъ было не безъ официальныхъ представителей науки.

Въ настоящее время почти каждая книга, статья, лекція по предмету гипнотизма и на близкія къ нему темы сопровождается обыкновенно краткой историко-библиографической экскурсіей, причемъ съ большею или меньшею тщательностью отмѣчаются всѣ фазы развитія вопроса. Это показываетъ, что явленія гипнотизма инкорпорируются наукой, ибо въ отличіе отъ искусства, составляющаго область личной ловкости, личной способности или наблюдательности отдѣльныхъ людей, наука характеризуется, именно, преемственностью знаній и ихъ обобщеніемъ. Было время, что гипнотизмъ былъ дѣломъ искусства, мастерства какого-нибудь Месмера, какого-нибудь аббата Фариа и т. п., не желавшихъ или не умѣвшихъ передать свое мастерство другимъ; и понятно, что Фариа не было никакого дѣла до Месмера, а еще позднѣйшій искусникъ не интересовался Фаріей. Теперь, значитъ, наступаетъ другое время, когда наука, утвердивъ или стремясь утвердить теоретическія основанія гипнотизма, прекращаетъ тѣмъ самымъ эту разрозненность и ищетъ собственныхъ корней и нитей въ прошломъ. Этою любезностью наука всегда встрѣчаетъ новинку, добившуюся, наконецъ, признанія, — справедливый и прекрасный обычай, тѣмъ болѣе, что онъ вытекаетъ не изъ какой-нибудь условной вѣжливости, а изъ самого существа науки, которой, по отношенію, напримѣръ, къ гипнотизму предстоитъ, именно, теоретизировать и обобщить мастерство. Но этотъ пріемъ наука оказываетъ, именно, только новинкѣ и пока она новинка. Такъ на нашихъ глазахъ было встрѣчено, напримѣръ, ученіе Дарвина. Было время, что нельзя было взять въ руки ни одной книги, статьи, лекціи о дарвинизмѣ, не натолкнувшись на болѣе или менѣе подробный синодикъ его предшественниковъ. Теперь, когда теорія Дарвина извѣстнымъ образомъ окончательно улеглась въ наукѣ, подобные синодики уже не встрѣчаются на каждомъ шагу, а составляютъ предметъ особыхъ историко-критическихъ изслѣдованій. Гипнотизмъ еще далеко не доросъ до такого положенія въ нау-

кѣ. Мало того, не смотря на чрезвычайно, повидимому, старательное изслѣдованіе его корней и нитей въ прошломъ и на всю готовность изслѣдователей заглазить старую несправедливость къ тѣмъ, кто давнымъ давно признавалъ его значительность; не смотря на все это, мы можемъ сплошь и рядомъ наткнуться на слѣды явнаго отсутствія преемственности.

Приведемъ на выдержку два примѣра:

Въ двухъ публичныхъ лекціяхъ «о внушеніи мыслей», читанныхъ г. Сикорскимъ въ Кіевѣ, въ мартѣ 1886 года (мнѣ эти лекціи извѣстны по изложенію въ фельетонѣ газеты «Заря», № 48), почтенный лекторъ развивалъ ту мысль, что изслѣдованія занимающаго его вопроса имѣютъ нынѣ двоякій обликъ: научный и спиритическій, причемъ научный способъ изслѣдованія уже нашелъ надлежащій путь разъясненія темныхъ явленій, которые вскорѣ поэтому и перестанутъ быть темными. Обзорывая свой фактический матеріалъ отъ Месмера черезъ Брэда къ современнымъ опытамъ и наблюденіямъ, лекторъ говоритъ, между прочимъ: «Поразительные опыты дѣлалъ проф. Бони съ гипнотизированными субъектами: онъ вызывалъ замедленіе или ускореніе біенія сердца, внушалъ больному, что у него черезъ $\frac{1}{4}$ часа послѣ пробужденія появятся красныя пятна на тѣлѣ, и пятна являлись, а также и нарывы, какъ-бы послѣ ожога». Опыты Бони дѣйствительно поразительны, но, можетъ быть, еще поразительнѣе то, что этого рода опыты дѣлались сорокъ лѣтъ тому назадъ Бредомъ.—III. Рише, такъ искренно и серьезно увлеченный задачей разгадки гипнотическихъ явленій, что ему по справедливости принадлежитъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ исторіи возрожденія интереса къ нимъ, замѣчаетъ: «Быть можетъ, слѣдуетъ привести въ связь съ магнетизмомъ и очарованіе, производимое змѣями на нѣкоторыхъ животныхъ, и стойку охотничьей собаки и проч. Не позволено-ли будетъ привлечь къ этимъ пунктамъ вниманіе наблюдателей, дабы пролить на нихъ свѣтъ?» (I. с., 211, въ примѣчаніи). Конечно, «будетъ позволено» (est il permis, — мягко и осторожно выражается Рише), тѣмъ болѣе, что, что касается очарованія, производимаго на нѣкоторыхъ животныхъ змѣями, то это уже сдѣлано все тѣмъ-же Бредомъ. (Der Hypnotismus. Ausgewählte Schriften von J. Braid. Deutsch herausgegeben von W. Preyer. B. 1882, гл. VII, Zur Physiologie des Bezauberns).

Такимъ образомъ слѣпой скептицизмъ приводитъ рѣшительно къ тѣмъ-же самымъ результатамъ, что и его кажущійся антиподъ—слѣпое легковѣріе: и тотъ, и другое обходятъ разъясненіе факта, и тотъ, и другое бесплодны въ дѣлѣ научнаго творчества. Не смотря

на діаметральную противоположность ихъ исходныхъ точекъ, мотивовъ, приемовъ, между ними оказывается нѣчто общее, и это общее есть ни больше, ни меньше, какъ слѣпота. Близорукіе-ли глаза ослѣпли или дальнорукіе, нормально различавшіе цвѣта или страдавшіе дальтонизмомъ—это, вѣдь, безразлично въ практическомъ отношеніи. И тѣ, и другіе, во всякомъ случаѣ, не видятъ, и въ этой ихъ незрячести тонуть второстепенныя различія ихъ судьбы.

Легковѣріе, даже не достигающее такой превосходной степени, какъ у Эмбера, конечно, не найдетъ себѣ защитниковъ. Въ принципѣ сами легковѣрные охотно отдадутъ его на пропятие, хотя на практикѣ, можетъ быть, и будутъ продолжать разгуливать въ опрокинутомъ порядкѣ съ тѣмъ-же *nil admirari* на лбу. Другое дѣло скептицизмъ,—онъ оказалъ человѣчеству такъ много услугъ въ трудномъ и сложномъ дѣлѣ выработки истины. Но у насъ, вѣдь, рѣчь идетъ не о томъ законномъ и необходимомъ скептицизмѣ, который съ строгою добросовѣстностью исполняетъ свои обязанности привратника храма науки, а о томъ зазнавшемся или трусливомъ, или холодно-безучастномъ къ господскому дѣлу рабѣ, который, въ переусердіи или недоусердіи, не пропускаетъ въ храмъ самую действительность, самые факты. Дѣло здѣсь, собственно, даже не въ скептицизмѣ самомъ по себѣ, а въ его нравственныхъ осложненіяхъ трусостью, надменностью, отсутствіемъ дѣятельнаго участія къ интересамъ науки и человѣчества. Конечно, принимая во вниманіе данный уровень знаній, скептикъ можетъ оказатся въ необходимости признать сообщаемый ему хотя-бы многочисленными очевидцами или даже имъ самимъ воспринимаемый фактъ невѣроятнымъ, невозможнымъ, то-есть не фактомъ. Однако, уже это «то-есть» требуетъ оговорки. Въ подобныхъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло съ обычнымъ показаніемъ нашихъ собственныхъ чувствъ или чувствъ другихъ свидѣтелей, мѣстоименій второго и третьяго лица. И на лицо остается, во всякомъ случаѣ, подлежащій изученію фактъ обмана чувствъ. Находясь въ извѣстномъ состояніи перваго возбужденія, я вижу чорта въ ступѣ. Это неправда, чорта въ ступѣ нѣтъ, но есть фактъ моей галлюцинаціи. И не отдѣливается-же отъ него наука голымъ отрицаніемъ — «все вздоръ!» хотя чортъ въ ступѣ есть вздоръ, совершенно невѣроятный и невозможный. Фактъ сознательнаго, злонамѣреннаго обмана, равно какъ и субъективные факты сознанія обманываемыхъ, точно также заслуживаютъ вниманія, какъ въ непосредственныхъ интересахъ науки,—потому что чудодѣй-обманщикъ владѣетъ иногда нѣкоторыми поучительными «секрета-

ми» и способностями, — такъ и въ интересахъ жизни, въ интересахъ человѣчества. Стоитъ только очень немного напрячь воображеніе и представить себѣ тѣ многочисленныя волны надежды, страха, скорби, отчаянія, которыя несутся къ подножію пьедестала какого-нибудь чудодѣя, чтобы сказать: да, есть изъ-за чего поработать надъ этими таинственными или яко-бы таинственными фактами...

Затѣмъ, какъ-бы ни былъ невѣроятенъ и невозможенъ съ точки зрѣнія настоящей минуты фактъ, никогда не мѣшаетъ помнить, что предѣлы вѣроятности и возможности, несомнѣнно существующіе, не безусловно, однако, неподвижны. Мы должны признать, что въ исторіи мысли они часто колебались, то суживаясь, то расширяясь, и, вѣроятно, еще не завтра перестанутъ колебаться. Если многое, что считалось вѣроятнымъ нашими предками, оказывается совершенно невозможнымъ съ нынѣшней точки зрѣнія, то и, наоборотъ, многое, бывшее въ глазахъ нашихъ предковъ невозможнымъ, о чемъ они даже и мечтать не могли, составляетъ въ наше время самое обыденное явленіе и предметъ всеобщаго пользованія. Выдѣленіе деревяннаго масла человеческимъ организмомъ «изъ сердца черезъ вену» или какимъ другимъ путемъ, разумѣется, всегда останется невѣроятнымъ, но, вѣдь, всѣ же мы, напримѣръ, ѣдимъ на пароходахъ, хотя, при своемъ идейномъ зарожденіи, пароходы считались скептиками даже недюжиннаго ума—невозможностью. Пытаясь теоретически установить безусловныя границы возможнаго и невозможнаго, мы найдемъ только такія общія формулы, которыя далеко не всегда выведутъ насъ на практикѣ, и, какъ-бы ни были безошибочны эти формулы, мы все-таки рискуемъ ошибиться въ томъ или другомъ частномъ случаѣ, подходя къ нему съ априорнымъ рѣшеніемъ и съ нимъ-же отходя. Подходить къ новому факту съ извѣстнымъ, хотя-бы не формулированнымъ, предвзятымъ мнѣніемъ позволительно, да и неизбежно, но отходить отъ него надо съ рѣшеніемъ апостериорнымъ, совпадаетъ-ли оно или не совпадаетъ съ априорнымъ. Достоверно, что мы не можемъ ни создать, ни уничтожить хотя-бы единый атомъ вещества, ни создать или уничтожить силу, и въ этомъ заключается наиболѣе общая безусловная граница невозможнаго. Но перераспредѣленіе вещества въ связи съ преобразованиемъ силъ даетъ такую сложную и пеструю картину, въ которой, по отношенію къ возможному и невозможному, трудно ориентироваться при помощи наиболѣе общихъ и безусловныхъ положеній физической науки. Скептицизмъ, если онъ желаетъ выдержать свою роль до конца

долженъ быть на-сторожѣ во всѣ стороны, а слѣдовательно, долженъ быть готовъ если не усомниться въ признанномъ багажѣ науки, когда новые факты въ него не укладываются, то, по крайней мѣрѣ, провѣрить и пересмотрѣть его.

III.

Въ защиту того скептицизма, который мы никакъ не можемъ признать ни разумнымъ, ни даже послѣдовательнымъ, очень часто приводятъ примѣры средневѣковыхъ вѣдьмъ и колдуновъ. Ихъ жгли десятками и сотнями, изъ которыхъ въ итогъ получались тысячи. Эти тысячи почти стереотипомъ показывали, что они были на шабашѣ, видѣли тамъ сатану въ образѣ чернаго козла, получали отъ него анти-крещеніе, имѣли съ нимъ такое-то и такое-то общеніе, такъ-то и такъ-то проводили время и проч. Вотъ, значить, живые и упорно стоявшіе на своихъ показаніяхъ свидѣтели, многочисленность и единогласіе которыхъ, казалось-бы, должны представлять верхъ убѣдительности. Но, вѣдь, на самомъ-то дѣлѣ нельзя-же этимъ тысячамъ вѣрить, бабы сказки это, вздоръ!—Нѣтъ, не вздоръ. Не вздоръ, во-первыхъ, исторически, потому что есть большая вѣроятность, что въ началѣ среднихъ вѣковъ шабаши существовали въ дѣйствительности, хотя на нихъ вѣдьмы, разумѣется, не слетались на помехахъ и на кочергахъ и сатана персонально не присутствовалъ. Правда, они, во всякомъ случаѣ, перешли потомъ изъ области объективной дѣйствительности въ сферу дѣйствительности субъективной, то-есть въ сферу фантазій и галлюцинацій. Но и въ такомъ видѣ они представляютъ цѣнность не простаго историческаго курьеза и заслуживаютъ не простой отмѣтки, какъ это обыкновенно дѣлаютъ историки, что вотъ, молъ, было какое грубое суевѣріе, какъ жестоко оно искоренялось и какъ оно, наконецъ, растаяло передъ солнцемъ просвѣщенія. Во-вторыхъ, это не вздоръ съ точки зрѣнія физиологіи и психіатріи, которые имѣютъ въ показаніяхъ вѣдьмъ и колдуновъ и въ протоколахъ ихъ судебныхъ процессовъ превосходную историческую иллюстрацію. Не даромъ новѣйшія сочиненія, занятая, по поводу явленій гипноза и близкихъ къ нимъ, физиологіей и патологіей души и тѣла, вызываютъ себѣ на помощь тѣни замученныхъ и сожженныхъ вѣдьмъ (см. напримѣръ въ вышеупомянутой книгѣ Шарля Рише главу *Les démoniaques d'autrefois* или въ книгѣ Реньера—*Les maladies épidémiques de l'esprit*, P. 1887, главу *Quinzième, seizième et dix-septième siècle. Les sorcières*).

Впрочемъ, средневѣковыя вѣдьмы и прежде

иногда служили предметомъ подобныхъ экскурсій психіатріи въ область исторіи или наоборотъ; экскурсій, которыя несомнѣнно должны служить на пользу обѣимъ наукамъ. До сихъ поръ, однако, этого рода литература была крайне бѣдна и отличается совершенною случайностью выбора темъ. Такъ, напримѣръ, посчастливилось почему-то римскимъ цезарямъ, которыми сравнительно довольно много занимались съ психіатрической точки зрѣнія; вопросъ объ отношеніяхъ между гениальностью и помѣшательствомъ по самой сущности своей требовалъ оплодотворенія историческаго матеріала психіатрической точкой зрѣнія, и т. п. Но все это были, пожалуй, даже не экскурсіи, предпринимаемыя по строго обдуманному плану, а какіе-то набѣды или набѣги *). А между тѣмъ обширнѣйшій историческій матеріалъ ждетъ сближенія не съ одной психіатріей. Но до какой степени эта потребность еще мало вошла въ сознаніе людей науки (а тѣмъ болѣе простыхъ людей жизни), объ этомъ можно судить не только по крайней скудости соответственной литературы, но и по слѣдующимъ, напримѣръ, словамъ одного изъ весьма почтенныхъ и новѣйшихъ сочиненій по вопросу о чудесномъ до древности.

Авторъ рѣшительно не хочетъ заниматься тою «скучною оцѣнкою, которую давали прежніе ученые относительно большей или меньшей искренности гадателей или оракуловъ и ихъ слугъ, а также относительно тѣхъ продѣлокъ, которыми въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ удавалось поддерживать нелѣпыя притязанія оракуловъ». Этотъ вопросъ «интересовалъ только, какъ поводъ къ возбужденію современныхъ страстей, потому что одни смотрѣли на приемы колдовства, какъ на дьявольское навожденіе, а другіе считали ихъ обманомъ со стороны недобросовѣстныхъ жрецовъ... Ванъ-Даль оказалъ значительную услугу, выбросивши изъ исторіи языческаго колдовства демоновъ, внесенныхъ туда традиціонной теологіей, но онъ заходилъ слишкомъ далеко, замѣняя ихъ повсюду ловкими шарлатанами. Наша любознательность не

*) Такою-же случайностью выбора или просто набора отличается недавне вышедшая въ русскомъ переводѣ книжка Ireland'a «Психомы въ исторіи» (Харьковъ, 1887), хотя, судя по заглавію, отъ нея можно-бы было ожидать нѣкоторой систематичности. Мы, впрочемъ, не беремся судить объ этой книжкѣ, такъ какъ не знаемъ оригинала, а по-русски она издана не вся и въдобавокъ испорчена переводомъ. Столь недобросовѣстнаго и невѣжественнаго перевода намъ не случалось встрѣчать, хотя на оберткѣ съ большимъ великолѣпіемъ значится: «Переводъ М. С. Буба. Подъ редакцію проф. П. И. Ковалевскаго. Изданіе журнала Архивъ психіатріи, неврологіи и судебной психопатологіи».

облекается въ столь смѣлыя формы. Она уже не требуетъ у естественныхъ наукъ объясненія всѣхъ чудесныхъ явленій, на которыя указываютъ «тайныя науки», какъ это дѣлалъ пятьдесятъ лѣтъ назадъ Е. Сальвертъ, запоздалый представитель евгемеризма, бывшаго въ модѣ въ послѣднемъ столѣтіи. Теперь совершенно излишне исключать чудесное изъ области разума, такъ какъ оно само по себѣ есть отрицаніе разумнаго порядка, и такъ какъ вмѣшательство чудеснаго дѣлаетъ міръ непонятнымъ, но съ другой стороны не за чѣмъ такъ преслѣдовать чудесное въ области чувства (?). Тутъ оно вполне умѣстно и способно устоять противъ всякой не признающей его силы. Поэтому въ опѣнкахъ внутренняго значенія религіозныхъ понятій древности читатель настоящаго труда найдетъ почтительное отношеніе къ нимъ, подобающее всѣмъ великимъ народнымъ произведеніямъ, въ которыя человѣкъ вложилъ часть своей души» (Буше-Леклеркъ. Изъ исторіи культуры. Истолкованіе чудеснаго (вѣдовство) въ античномъ мірѣ. Кіевъ, 1881. Пер. Мищенко. Предисловіе).

Ванъ-Даль, о которомъ здѣсь говоритъ Буше-Леклеркъ, писалъ въ концѣ XVII столѣтія, и немудрено, что не остывшіе еще вопросы минуты завели его по полемическому пути за предѣлы истины. Что-же касается книги Сальверта, то, въ противность мнѣнію Буше-Леклерка, мы думаемъ, что она и донныи сохраняетъ интересъ по своей задачѣ, хотя, разумѣется, устарѣла и по фактическому матеріалу, и по многимъ выводамъ. Мы сейчасъ къ ней обратимся, а теперь остановимся нѣсколько на нѣкоторыхъ взглядахъ Буше-Леклерка.

Что религіозныя понятія древности, въ качествѣ «великихъ народныхъ произведеній, въ которыя человѣкъ вложилъ часть своей души», заслуживаютъ почтительнаго отношенія,—въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Это даже не вопросъ нравственности. Не то чтобы безсердеченъ или какъ-нибудь нравственно низокъ, а просто только смѣшонъ и глупъ былъ-бы нынѣшній писатель, который вздумалъ-бы заднимъ числомъ издѣваться надъ простою и искреннею вѣрою, съ которою древній грекъ прибѣгалъ въ трудныя минуты жизни къ оракулу или трепетно ждалъ другаго чуда. Этого не дѣлаетъ даже легкомысленная оперетка, когда въ видѣ «Орфея въ аду» или «Прекрасной Елены» заимствуетъ свои пикантные сюжеты, повидному, изъ области древне-греческихъ религіозныхъ вѣрованій. И она при этомъ имѣетъ въ виду не тѣхъ древнихъ грековъ, которые мирно почіють, längst gestorben, verdorben, и не ихъ вѣрованія, и не ихъ вѣру. Но вѣдь мы навѣрное знаемъ, что боги Греціи, какъ

бы ни идеализировала ихъ поэзія, а иногда и наука, были ложные боги, что они никогда не совершали тѣхъ чудесъ, которыя имъ приписывались народными вѣрованіями. Мы знаемъ кромѣ того, что эти наивныя вѣрованія усвоивали богамъ не только могущество, какого они имѣть не могли, но и многія, отнюдь не божественныя слабости, даже пороки, даже преступленія; знаемъ, что и празднества въ честь этихъ боговъ (скажемъ хоть вакханаліи) сопровождались безнравственными дѣяніями, а иногда даже до убійства и человѣческихъ жертвоприношеній. Поэтому уже для современниковъ, обладавшихъ проницательнымъ умомъ и высокимъ нравственнымъ чувствомъ, возникало обязательно сложное отношеніе къ народнымъ вѣрованіямъ. Именно, въ качествѣ умныхъ и порядочныхъ людей, они не могли довольствоваться ролью почтительныхъ свидѣтелей того, какъ мысль ихъ соотечественниковъ путалась въ лабиринтѣ суевѣрія и обмана, а затѣмъ, какъ они поступали или должны были поступать, — разоблачать-ли обманъ, пускаться-ли въ ходъ насмѣшку, или прямо дубиной разбивать идола,—это уже было дѣломъ практическаго такта и разнообразныхъ комбинацій обстоятельствъ времени и мѣста. Мы находимся, конечно, въ иномъ положеніи по отношенію къ языческимъ вѣрованіямъ. Это для насъ исторія, объектъ теоретическаго изученія, а не практическаго воздѣйствія. Тѣмъ возможнѣе, разумѣется, для насъ безстрастно почтительное отношеніе къ былымъ вѣрованіямъ, какъ вѣрованіямъ, независимо отъ ихъ содержанія и формы, точнѣе говоря, къ психологическому факту вѣры. Но изученіе это должно быть всестороннее, а слѣдовательно въ него должно войти и естественное объясненіе чудесъ древности. Не въ полемикѣ здѣсь дѣло,—съ мертвецами не полемизируютъ,—а въ простой оцѣнкѣ историческихъ фактовъ. Что древніе греки искренно и глубоко вѣрили своимъ оракуламъ, это фактъ, но фактъ и то, что устами пифій не божество говорило, фактъ—болѣзненное экстатическое состояніе этихъ вдохновенныхъ прорицательницъ, фактъ—обманы жрецовъ. Почему-бы мы, слѣдуя Буше-Леклерку, должны были произвольно выдѣлять отсюда только фактъ самыхъ вѣрованій и только его изучать? Всякое такое выдѣленіе будетъ свидѣтельствовать не о научномъ безпристрастіи, а напротивъ того, о совершенно не научномъ произволѣ, и, можетъ быть, самъ Буше-Леклеркъ не настаивалъ-бы на этомъ пунктѣ, если-бы дѣло шло о богахъ и оракулахъ не Греціи, а иныхъ какихъ-нибудь, не облеченныхъ традиционнымъ ореоломъ; а то жалко разбивать эти поэтическія сказанія, спускать ихъ съ Олимпа

на землю. Древность заслуживает быть изученною со всѣхъ сторонъ, во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, и только тогда станетъ понятна. Да, наконецъ, почему-же изслѣдователю не занять и нѣкотораго воинствующаго положенія: боги Греціи умерли, но суевѣріе и обманъ живы и хоть не принимаютъ нынѣ граціозныхъ классическихъ формъ, но состоятъ съ ними въ кровномъ родствѣ и по сію время.

Такъ именно смотрѣлъ на дѣло столь презрительно отиѣченный Буше - Леклеркомъ Сальвертъ, писатель, какъ уже сказано, устарѣлый, но настоящій сынъ конца восемнадцатаго вѣка, когда люди умѣли смотрѣть на вещи широко и всесторонне, не запираясь наглухо въ узкія специальности, и когда поэтому умственная жизнь давала продукты, поучительность которыхъ переживала ихъ самихъ.

Сальвертъ (*Des sciences occultes ou essai sur la magie, les prodiges et les miracles*. Первое изданіе 1829 года, третье, посмертное — 1856) исходитъ изъ того убѣжденія, что сказанія древнихъ о чудесахъ заслуживаютъ вниманія не только какъ «великія народныя произведенія, въ которыхъ человѣкъ вложилъ часть своей души», а и въ качествѣ свидѣтельства реальности происшествій, если 1) имѣется достаточное число показаній наблюдателей и очевидцевъ, заслуживающихъ довѣрія; если 2) возможно указать тѣ причины и условія, которыя придали естественному факту, лежащему въ основаніи сказанія, колоритъ чудеснаго. Руководясь этими двумя повѣрочными принципами, Сальвертъ приходитъ къ тому заключенію, что большинство самыхъ фантастическихъ разсказовъ о чудесахъ содержитъ въ себѣ зерно фактической правды; зерно, которое, однако, далеко не всегда легко усмотрѣть подъ наслоеніями неточныхъ, двусмысленныхъ или метафорическихъ выраженій повѣствователей и, главное, обмана людей заинтересованныхъ. Дальнѣйшій выводъ Сальверта состоитъ въ томъ, что древность обладала знаніями, качественно и количественно далеко превосходящими наше обыкновенное представленіе о наукѣ древнихъ. Эти знанія, даже во всей совокупности своей, не составляли науки въ настоящемъ смыслѣ этого слова, это были отрывочныя, эмпирическія знанія, перемѣшанныя съ вздоромъ и не связанныя никакой теоріей. Но тѣмъ не менѣе, это были большія и положительныя знанія, позволявшія ихъ обладателямъ производить такіе эффекты, которые иногда и нынѣшней наукѣ едва доступны. Носителями этихъ знаній были жрецы, маги, вообще посредники между людьми и божествомъ, безконтрольно управлявшіе соотечественниками-современниками и ревниво охра-

нявшіе свои привилегіи, а слѣдовательно, имѣвшіе интересъ держать знаніе за десятью замками. Они-то, играя на струнахъ легкомыслія, страха и надежды, совершали чудеса, которыя, однако, были только результатомъ ловко обставленныхъ и ловко пущенныхъ въ ходъ знаній дѣйствительной природы вещей. Знанія эти, не смотря на свою отрывочность и фактичность, были, по мнѣнію Сальверта, таковы, что, изучая ихъ практическое примѣненіе въ формѣ чудесъ, мы дадимъ не только новое освѣщеніе древности, не только получимъ въ свое распоряженіе новые факты изъ исторіи науки и цивилизаціи, но можетъ быть при этомъ и нынѣшняя наука о природѣ и человѣкѣ получить нѣчто для нея цѣнное. Возвращаясь въ заключительной главѣ къ своей исходной точкѣ, Сальвертъ говорить: «Неразумно—удивляться чудесамъ или отказываться имъ вѣрить, когда они могутъ получить естественное объясненіе. Разумно — признавать, что физическія знанія, нужныя для совершенія чуда, существовали, по крайней мѣрѣ, у нѣкоторыхъ людей, въ то время и въ той странѣ, когда и гдѣ историческое преданіе помѣщаетъ чудо».

Мы не будемъ слѣдить за тѣмъ, какъ Сальвертъ ищетъ объясненія разныхъ отдѣльных чудесъ въ предполагаемыхъ знаніяхъ жрецовъ по механикѣ, оптикѣ, акустикѣ, гидростатикѣ, химіи, метеорологіи, токсикологіи, медицинѣ, пиротехникѣ, хотя многое здѣсь и весьма остроумно, и очень вѣроятно. Что же касается его общихъ взглядовъ, то, какъ ни странно они на первый взглядъ, какъ ни трудно принять ихъ во всемъ ихъ объемѣ, но они заслуживаютъ все-таки полного вниманія.

Къ посмертному изданію книги Сальверта приложено предисловіе Литтре. Въ качествѣ вѣрнаго ученика Огюста Конта, Литтре долженъ былъ обратить особенное вниманіе на кажущееся противорѣчіе основной идеи книги Сальверта съ контовскою историческою филіаціей наукъ, соответствующей, какъ извѣстно, и ихъ филіаціи логической, ихъ классификаціи. И дѣйствительно, значительную часть своего довольно обширнаго предисловія Литтре посвящаетъ именно этому предмету. Онъ рѣшительно отрицаетъ существованіе науки въ отдаленной древности и полагаетъ, что Сальвертъ только потому заблуждается на этотъ счетъ, что, будучи воспитанъ дыханіемъ XVIII вѣка, не былъ знакомъ съ воззрѣніями Конта. Онъ допускаетъ, однако, что въ Индіи, въ Египтѣ, Китаѣ, въ Средней Азіи уже въ весьма отдаленную пору могли быть люди, обладавшіе значительными «секретами», любопытными отрывочными знаніями, важными случайными «рецептами» и т. п. Такъ китайцы, говоритъ онъ, съ незапамятныхъ временъ знаютъ буссоль, порохъ,

книгопечатаніе, артезианскіе колодцы, «и мы постоянно узнаемъ, что они знакомы съ какимъ-нибудь тайнымъ составомъ, найти элементы и воспроизвести эффекты котораго западная наука затрудняется». Но это, дескать, не есть наука, это только искусство, мастерство. Надо, однако, замѣтить, что, развивая эти замѣчанія, Литтре, какъ бы немножко Сальвертовымъ добромъ да ему же челомъ бьетъ. Сальвертъ неоднократно самъ говорить въ своей книгѣ, что древніе чудодѣи опирались не на науку въ настоящемъ смыслѣ слова, а именно на случайныя, отрывочныя знанія, не связанныя никакой системой, никакой теоріей; въ этой ихъ несвязности и незаконченности онъ видитъ одну изъ причинъ ихъ исчезновенія, тогда какъ то, что разъ добыто наукой и вошло въ ея обиходъ, исчезнуть не можетъ.

Съ перваго взгляда трудно себѣ представить что-нибудь не только оскорбительное для нашей законной гордости, но и неосновательное той мысли, что мы можемъ позаимствовать какія-нибудь знанія у отдаленной древности или у ея современныхъ осколковъ, въ родѣ Индіи, Китая. Это вѣдь значитъ искать свѣту въ потемкахъ. И дѣйствительно, что касается низшихъ наукъ, то онѣ настолько подвинулись у насъ впередъ и настолько установились, что было бы смѣшно въ этомъ отношеніи ждать «съ востока свѣта», хотя бы слабого. Обозрѣвая вмѣстѣ съ Сальвертомъ и съ его точки зрѣнія древнія чудеса, объясняемые приложеніемъ механики, оптики, акустики, химіи, мы ясно видимъ, что тутъ ничего новаго мы для себя не найдемъ. Не совсѣмъ такъ просто стоятъ дѣла съ высшими отраслями знанія, которыми какъ разъ Сальвертъ наименѣе интересуется, и именно съ обширнымъ кругомъ явленій, находящихся нынѣ въ вѣдѣніи психофизиологій. Глава о воображеніи, затѣмъ главы о наркотическихъ веществахъ и о вліяніи человека на животныхъ, — этимъ собственно исчерпывается въ книгѣ Сальверта обзоръ психофизиологическихъ элементовъ чудеснаго. Между тѣмъ, именно у него можно бы было, повидимому, найти въ этомъ отношеніи что-нибудь гораздо болѣе значительное. Съ представляемой Литтре точки зрѣнія Огюста Конта, знаніе науки слагается постепенно, въ известной послѣдовательности, по этапамъ известной классификаціи, располагающей всѣ явленія въ порядкѣ убывающей общности и возрастающей сложности. Въ этой классификаціи психофизиологія можетъ занимать только предпоследнее мѣсто, за которымъ уже непосредственно слѣдуетъ вѣнецъ знанія — социологія. Съ этой точки зрѣнія менѣе всего можно ожидать развитія психофизиологій у древнихъ. Не то съ точки зрѣнія Сальверта,

который имѣетъ въ виду не систематизированныя науки, а ихъ случайныя и отрывочныя зачатки, лишенные теоретической связи, но достаточныя для нѣкоторыхъ эффектныхъ практическихъ дѣйствій. Въ этомъ смыслѣ зарожденіе и ростъ знаній не слѣдуютъ никакому логическому порядку, и элементы высшихъ наукъ могутъ пробиваться раньше зачатковъ наукъ низшихъ; скажемъ, — психофизиологическія наблюденія и соотвѣтственныя практическія указанія могутъ появиться задолго до того, какъ какая-нибудь случайность натолкнетъ на явленія физическія или химическія. И такъ какъ, по мнѣнію Сальверта, вниманіе жрецовъ и маговъ было устремлено, главнымъ образомъ, на то, чтобы воздѣйствовать на вѣрующихъ поразительными зрѣлищами, предсказаніями, вообще чудесами, то въ этомъ управленіи душами толпы понятно должны были играть важную роль нѣкоторые, чисто конечно эмпирическіе и практическіе «рецепты», «секреты» изъ области психофизиологій. Но во времена Сальверта эта область еще только складывалась въ научный обликъ и не привлекала къ себѣ вниманія въ достаточной степени. Для него, на примѣръ, явленія животнаго магнетизма представляются исключительно продуктами воображенія. Писатель, который нынѣ взялся бы за его тему, могъ бы именно въ явленіяхъ животнаго магнетизма найти значительную поддержку для самой темы и, кромѣ того, избѣжать многихъ частныхъ и одной принципиальной ошибки Сальверта.

Такъ, говоря о тѣхъ ордаліяхъ, о томъ «судѣ Божіемъ», который съ отдаленныхъ миѣческихъ преданій индусовъ и до среднихъ вѣковъ въ Европѣ, а у нѣкоторыхъ дикарей и доннынъ такъ часто принимаетъ форму испытанія огнемъ, раскаленнымъ металломъ, Сальвертъ все ищетъ вещества, которое предохраняло бы отъ обжога или дѣлало бы подвергаемую испытанію часть тѣла нечувствительною. Съ большимъ остроуміемъ толкуетъ онъ въ этомъ смыслѣ разныя историческія свидѣтельства и факты, хотя и не приходитъ къ окончательному заключенію относительно свойствъ этого таинственнаго вещества. Въ главѣ, специально посвященной огненнымъ испытаніямъ, онъ высказываетъ мысль, что это было вещество, специально предохранявшее кожу отъ разрушенія, но въ другихъ мѣстахъ онъ сближаетъ его съ наркотиками. Все это, конечно, до известной степени весьма возможно. Но вотъ гораздо болѣе доказательное для основного тезиса Сальверта признаніе современной науки. Въ № 39 «Врача» 1883 года читаемъ: «Kerlus указываетъ на тотъ фактъ, что разнообразныя пытки, которымъ подвергали себя и теперь еще подвергаютъ разные дервиши,

факиры, бонзы и т. д., несомненно указываютъ, что анестезированіе было извѣстно этимъ лицамъ гораздо раньше, чѣмъ наука открыла анестезирующія. (Курсивъ «Врача»). Въ настоящее время въ Парижѣ даютъ представленія члены секты Aïssaoua (арабы). На глазахъ у всѣхъ они прокалываютъ себѣ щеки, языки, руки или ноги острыми иглами и кинжалами, безъ проявленія боли и безъ кровотеченія, становятся на раскаленную до-бѣла желѣзную плиту, вертятся на отточенномъ лезвѣ сабли, ѣдятъ живыхъ скорпионовъ съ ихъ ядовитыми органами и куски иглистаго кактуса. По мнѣнію Kerlus'a, анестезія въ данномъ случаѣ объясняется предварительными (въ теченіе 2 часовъ) пляской и пѣніемъ, причѣмъ черепной мозгъ возбуждается до опьяненія; движенія начинаются медленными покачиваниями туловища и головы, которыя потомъ переходятъ въ бѣшено быстрыя, снова замедляются, опять ускоряются и т. д.; наконецъ, передъ самымъ опытомъ имѣющій подвергнуться пыткамъ дѣлаетъ очень быстрыя верченія головой въ теченіе нѣсколькихъ минутъ».

Г. Фельдманъ давалъ загибнотизированному въ руки раскаленный гвоздь, который прожигалъ ему тѣло до кости. Можетъ быть кому-нибудь изъ читателей случалось быть очевидцами опытовъ, менѣ жестокихъ, но столь же ясно свидѣтельствующихъ о достиженіи анестезіи чисто психофизиологическимъ путемъ, безъ всякихъ постороннихъ осложнений. И есть большая вѣроятность, что нѣкоторые изъ приводимыхъ Сальвертомъ фактовъ «несгораемости» и нечувствительности подлежатъ такому же объясненію. Напримѣръ, жрицы Дианы въ Каппадокіи ходили босыми ногами по раскаленнымъ угольямъ; въ одномъ изъ храмовъ Аполлона продѣлывалось то же самое членами небольшой группы семействъ, будто бы наслѣдственно обладавшихъ способностью несыгораемости. Цитируемый Сальвертомъ Варронъ объясняетъ это тѣмъ, что они смазывали себѣ подошвы особенною мазью, и нашъ авторъ склоненъ съ нимъ согласиться, тогда какъ это очевидно наименѣе вѣроятное объясненіе. Огнеупорная мазь должна была быть чрезвычайно опредѣленна по своему химическому составу и слѣдовательно наткнуться случайно на ея открытіе было, во-первыхъ, трудно, а во-вторыхъ, эта опредѣленность состава затрудняла сохраненіе тайны, ибо не представляла никакого простора личному мастерству. Гораздо вѣроятнѣе, что анестезія достигалась при помощи наркоза, а еще вѣроятнѣе предположить нѣчто въ родѣ тѣхъ приготовительныхъ операций, которыя продѣлываются

только что упомянутыми членами секты Aïssaoua *).

Мы знаемъ достоверно, что занимающія насъ нынѣ чудеса гипнотизма, можно сказать, только что открытыя для европейской науки, практиковались въ Индіи, въ Египтѣ цѣлыя тысячелѣтія тому назадъ, и что разные факиры, дервиши и прочіе чудодѣи давно умѣютъ доводить себя, а вѣроятно и другихъ, до гипноза и въ частности до анестезіи различными способами, въ томъ числѣ и весьма близкими къ нашимъ. Если древніе египтяне достигали этого продолжительнымъ созерцаніемъ блестящаго пятна на тарелкѣ, если и теперь въ Бирманѣ колдуньи смотрятъ на отполированную мѣдную чашку съ тою же цѣлью приведенія себя въ нѣкоторое одурѣніе, такъ вѣдь все это рѣшительно то же самое, что и блестящій граненый шарикъ Брэда. Собственно говоря, то же самое представляютъ собою и приемы индусовъ, смотрящихъ на какую-нибудь точку въ пространствѣ или даже просто на кончикъ своего носа, умбиликановъ XIV столѣтія, сосредоточенно созерцавшихъ свой собственный пупокъ, дабы прійти въ нѣкоторое просвѣтленное состояніе, и проч. Извѣстное гаданіе въ зеркало, которое нынѣ предоставлено преимущественно только дѣвушкамъ, желающимъ получить жениха, по всей вѣроятности такого же и притомъ весьма древняго происхожденія.

Сальверту, какъ и всѣмъ, впрочемъ, извѣстно, что древніе египетскіе маги умѣли превращать змѣй въ палки и обратно—палки въ змѣй. Онъ приводитъ изъ д'Эрбело сохранившееся на востокѣ еврейское преданіе, по которому этотъ фокусъ былъ будто бы разоблаченъ и оказалось, что маги вводили въ палки и веревки ртуть, потомъ бросали ихъ на разгоряченную солнцемъ землю, отчего онѣ начинали корчиться и производить змѣевидныя движенія. Это нелѣпое объясненіе, по мнѣнію Сальверта, было придумано для того, чтобы отвести глаза отъ настоящаго секрета египетскихъ и другихъ маговъ, но самый секретъ такъ и ускользаетъ отъ про-

*) По всѣмъ видимостямъ, это тѣ же Aïssaoua, которыхъ нѣмецкій путешественникъ, баронъ фонъ-Мальцанъ, видѣлъ въ Марокко (Reisen in Algerien und Marocco. Leipzig. 1868). Секта эта признаетъ своимъ основателемъ нѣкоего святого Сиди-Аиссу, жившаго въ половинѣ XVII вѣка. Во время приготовительныхъ бѣшеныхъ плясокъ и пѣнія на нихъ, по ихъ словамъ, сходитъ духъ основателя, который и сообщаетъ имъ неуязвимость. Они имѣютъ свои замкнутыя торжества, на которыхъ, по сошествіи духа Сиди-Аиссы, ѣдятъ всякую гадость отъ змѣй и скорпионовъ до кактусовъ и битаго стекла, но охотно даютъ и публичныя представленія. Подъ именемъ Aïssaoua они упоминаются и въ цитированной выше книгѣ Реньяра: Les maladies épidémiques de l'esprit.

нипательности автора. Теперь, послѣ опытовъ съ гипнозомъ животныхъ, подлежащихъ дальнѣйшей научной разработкѣ, но уже успѣвшихъ стать предметомъ забавы (гипнотизація раковъ, куръ), объясненіе не представляеть затрудненія. Очевидно, маги умѣли быстрымъ и ловкимъ движеніемъ руки приводить змѣй или въ то особенное состояніе, которое Прейеръ называетъ катаплексіей, параличемъ отъ испуга, или просто въ катаплексическое состояніе съ напряженными въ разнообразныхъ положеніяхъ мускулами. То, что мы для забавы продѣлываемъ надъ раками, то маги умѣли дѣлать со змѣями, превращая ихъ въ неподвижныя, вытянутыя въ прямую линію палки и потомъ опять предоставляя имъ естественную свободу ихъ характерныхъ движеній. Это и теперь умѣютъ дѣлать особые специалисты на востокѣ.

Этихъ двухъ примѣровъ довольно, чтобы видѣть, что если бы Сальвертъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи тѣ, скажемъ, не данныя, а намеки, какіе имѣются въ наше время, то нѣкоторые его тезисы получили бы гораздо болѣе солидныя основанія (что, мимоходомъ сказать, свидѣтельствуетъ, конечно, о достоинствѣ сочиненія). Секреты, рецепты, всякаго рода эмпирическія, отрывочныя, случайныя знанія изъ области психофизиологіи несомнѣнно имѣлись у древнихъ жрецовъ и маговъ и пускались ими въ ходъ, какъ они и нынѣ пускаются въ ходъ на дальнемъ востокѣ разными чудодѣями, получившими ихъ въ наслѣдство отъ древности. Несомнѣнно также, что операціи этихъ чудодѣевъ заслуживаютъ отнюдь не презрительнаго игнорированія или голаго отрицанія, а изученія, въ результатъ котораго будетъ во всякомъ случаѣ выгода для нашей науки. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, принявъ въ соображеніе эти элементы чудеснаго, Сальвертъ долженъ бы былъ отказаться отъ своего представленія жрецовъ, маговъ, вообще посредниковъ между человекомъ и божествомъ, какъ исключительно обманщиковъ. Правда, по поводу греческихъ оракуловъ онъ оговаривается, что не все въ нихъ было дѣломъ надувательства, ибо прорицатели и прорицательницы сами находились въ состояніи экстаза, но тутъ же торопится прибавить, что и самое это экстатическое состояніе было производимо все-таки жрецами съ завѣдомо обманною цѣлью и единственно въ видахъ эксплуатаціи вѣрующихъ. Безспорно, что такъ именно очень часто и было, но не всегда такъ, и Сальвертъ по необходимости призналъ бы это, если бы не ограничивать своего кругозора преимущественно такими чудесами, которыя объясняются низшими науками, — механикой, физикой, химіей. Если, по Титу Ливію, въ знаменитыхъ тай-

ныхъ римскихъ вакханаліяхъ, открытыхъ въ 186 г. до Р. Х., убитые удалялись особыми, искусно устроенными машинами, какъ бы похищенные богами; если, судя по остаткамъ храма Цереры въ Элевзинѣ, можно думать, что тамъ были устроены движущіеся полы; если громъ производился искусственно какимъ-нибудь химическимъ составомъ или акустическимъ приспособленіемъ и проч., и проч.,—то во всѣхъ этихъ случаяхъ обманъ совершенно ясенъ для самихъ обманывающихъ. Они не могутъ не знать всѣхъ подробностей дѣла. То же самое было бы относительно превращенія змѣй въ палки и обратно, если бы это чудо дѣйствительно достигалось тѣмъ способомъ, о которомъ говорить упомянутое восточное преданіе, или другимъ какимъ-нибудь подобнымъ. Но при той механикѣ этого превращенія, которая представляется наиболѣе вѣроятною, уже и въ этомъ, относительно простомъ случаѣ, самъ чудодѣй могъ и не быть вполне хозяиномъ дѣла. Онъ могъ выполнять фокусъ, одинаково старательно повторяя всѣ существенныя и случайныя подробности, при которыхъ ему удалось совершить его въ первый разъ или которыя были завѣщаны ему предками или учителями, и при этомъ придавать преимущественное значеніе именно подробности случайной и даже къ дѣлу вовсе не идущей. Выходило, напримѣръ, по рецепту такъ, что надо взять змѣю лѣвой рукой за хвостъ, скользнуть правой рукой вдоль тѣла, нажать извѣстную точку у основанія головы и все это продѣлывать послѣ трехдневнаго поста, обратившись лицомъ къ востоку и произнося извѣстныя магическія слова. Очень можетъ быть, что самъ чудодѣй приписывалъ успѣхъ главнымъ образомъ трехдневному посту, обращенію къ востоку и лишеннымъ всякаго смысла магическимъ словамъ, въ могущество которыхъ вполне искренно вѣрилъ. Онъ не обманывалъ, а обманывался. Еще вѣроятнѣе, что тѣ Aïssaoua или Aïssaawa, которые щеголяютъ своею неуязвимостью, никого не надуваютъ, а искренно вѣрятъ, что на нихъ сходитъ духъ Сиди-Аиссы, ибо хотя ихъ бѣшенныя движенія весьма цѣлесообразны въ видахъ достиженія анестезіи, но они не понимаютъ ихъ физиологическаго значенія. И мы его далеко не вполне понимаемъ, но мы знаемъ, по крайней мѣрѣ, гдѣ лежитъ ключъ къ этой загадкѣ, а для Aïssaawa тутъ и загадки никакой нѣтъ.

Такимъ образомъ, если бы Сальвертъ не столь налегалъ на механико-физико-химическія объясненія чудесъ и если бы онъ болѣе принималъ во вниманіе сложныя явленія нервной и психической жизни, патологическую магію, то онъ не пришелъ бы къ тому

выводу, что жрецы, маги, всякіе чудодѣи были сплошь обманщики, эксплуатировавшіе легковѣріе и невѣжество. Да и самыя ихъ знанія приняли бы въ его глазахъ характеръ, болѣе соотвѣтствующій дѣйствительному положенію вещей. Были обманы, много обмановъ; были знанія, немаловажныя знанія. Но и то и другое Сальвертъ слишкомъ подчеркиваетъ. Была и искренняя вѣра у самихъ чудодѣевъ, было у нихъ же и невѣжество, въ которомъ тонули знанія, которымъ поэтому скорѣе приличествуетъ титулъ умѣнья, чѣмъ знанія.

IV.

Намъ предстоитъ теперь взглянуть еще на одинъ типъ отношеній къ явленіямъ патологической магіи. Есть люди, которые посвящаютъ себя специально изученію этихъ явленій; по крайней мѣрѣ, они называютъ свою работу изученіемъ, хотя собственно изученіе не только не подвигается у нихъ впередъ, но, благодаря нѣкоторымъ особенностямъ ихъ пріемовъ, никогда и не можетъ подвинуться. У насъ эта группа людей имѣетъ своихъ весьма извѣстныхъ представителей, органомъ которыхъ служатъ журналъ или газета «Ребусъ». Газета эта не только называется «Ребусъ», но и печатается, рядомъ со всякаго рода таинственностями изъ области патологической магіи, между прочимъ и ребусы, и самое названіе свое изображаетъ въ заголовкѣ въ видѣ весьма впрочемъ не мудраго ребуса. Эта склонность къ загадочности, въ чемъ бы она ни состояла, даже до ребуса и шарады, и это возведеніе загадки и тайны какъ бы въ постоянное учрежденіе, что афишируется уже самымъ заголовкомъ, очень знаменательны. «Исслѣдователи» въ родѣ тѣхъ, какіе имѣютъ пристанище въ «Ребусѣ», часто, и иногда справедливо, негодуютъ на недостаточное со стороны людей науки вниманіе къ явленіямъ загадочнымъ и таинственнымъ. Они настаиваютъ на томъ, что эти явленія должны же наконецъ пройти сквозь горнило науки и получить естественное объясненіе. Они, повидимому, далеки отъ откровеннаго легковѣрія, напримѣръ, Эмбера и его готовности признать автономическую область сверхъестественнаго, гдѣ «лѣшій бродитъ» и «русалка на вѣтвяхъ сидитъ». Къ сожалѣнію, однако, все это больше на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ. На дѣлѣ эти господа иллюстрируютъ собою и своей работой отмѣченное извѣстной поговоркой отличіе вѣтряной мельницы отъ птицы: крыльями машетъ, а не летитъ. Секретъ, кажется, въ томъ, что они до такой степени любятъ все загадочное, что вовсе и не хотятъ разгадки. Ихъ дѣло указывать на тайны, предъавлять ребусы, коле-

бать по этому поводу небо и землю; но какъ только таинственный покровъ начинаетъ подниматься, такъ они отмахиваютъ руками и ногами рѣшеніе въ иную, болѣе таинственную область, чѣмъ обыкновенное земное сцѣпленіе причинъ и слѣдствій. Они любятъ загадку, какъ загадку, тайну ради тайны, имъ жаль разставаться съ покровомъ таинственности, они даже просто сердятся, бранятся, когда кто-нибудь пробуетъ приподнять этотъ покровъ, хотя бы съ величайшею деликатностью и со всѣми возможными предосторожностями. «Не потому ли,—по счастливому уподобленію извѣстной теософки г-жи Радда-Бай (Блаватской),—что все неизвѣстное, таинственное привлекаетъ насъ какъ пустое пространство и, производя головокруженіе, притягиваетъ къ себѣ подобно безднѣ?» («Загадочныя племена. Три мѣсяца на Голубыхъ горахъ Мадраса»). Головокруженіе, производимое таинственнымъ видомъ «пустого пространства», такъ обаятельно, и вдругъ таинственность исчезаетъ, ребусъ разгаданъ, и становится ненужнымъ и смѣшнымъ писать его въ видѣ ноты *re*, буквы *b* и нарисованнаго *уса*... Обидно. Не разгадки нужны, а перманентное учрежденіе загадки, вѣчный ребусъ, такъ что, если возможно, пусть и самыя обыкновенныя, всѣмъ понятныя вещи обратятся въ загадочныя и непонятныя: «чтобъ весь день, всю ночь мой слухъ лелѣя», все кругомъ звучало тайной, тайной, тайной...—Не помнимъ, по поводу какого заѣзжаго, совершенно откровеннаго фокусника и чуть ли не «анти-спирита» рассказывали, что петербургскіе спириты подозрѣвали его въ совершенно особенномъ шарлатанствѣ, въ шарлатанствѣ наизуотъ; они думали, что, будучи на самомъ дѣлѣ чрезвычайно сильнымъ медіумомъ, онъ притворяется простымъ фокусникомъ, потому что это выгодно. *Si non e vero e ben trovato!* Человѣкъ откровенно заявляетъ, что онъ фокусникъ, а ему говорятъ: «шалишь! насъ не надуешь, на макинѣ не поведешь! ты—чудотворецъ!...»

Но такъ какъ это настроеніе любви къ таинственности пустого пространства состоитъ въ прямомъ противорѣчій съ словесными заявленіями этихъ господъ о необходимости изучать факты и искать имъ естественнаго объясненія, то это двусмысленное положеніе приводитъ къ нѣкоторымъ нехорошимъ вещамъ. Не имѣя откровеннаго и элементарнаго легковѣрія Эмбера, они, къ сожалѣнію, не обладаютъ и его достойною всякой похвалы добросовѣстностью. Ихъ, конечно, нельзя назвать шарлатанами (ихъ, напротивъ того, самихъ постоянно надуваютъ шарлатаны), но, выкарабкиваясь изъ своего двусмысленнаго и противорѣчиваго положенія, они бываютъ склонны къ нѣкоторымъ пере-

держкамъ, незаконнымъ подчеркиваніямъ и умолчаніямъ, чисто словеснымъ эффектамъ и тому подобнымъ военнымъ хитростямъ. Мнѣ случилось разъ быть на публичной лекціи одного весьма извѣстнаго профессора, имѣющаго пристрастіе къ пустому пространству и вѣчности ребуса. Цѣль лекціи, казавая, видимая цѣль состояла въ уясненіи нѣкоторыхъ явленій патологической магіи. Въ дѣйствительности же лекторъ норовилъ затемнить и то, что въ этой области уже и тогда начинало выясняться. Лекція была переполнена незаконными подчеркиваніями, умолчаніями и другими отнюдь ненаучными эффектами, изъ которыхъ я приведу только одинъ. Дойдя до общепринятой нынѣ теоріи условій гипноза, предложенной Гейденгайномъ, и находя ее, конечно, слишкомъ не таинственной, лекторъ сказалъ, между прочимъ, примѣрно такъ: «чтобы оцѣнить эту теорію по достоинству, достаточно обратить вниманіе на колебанія Гейденгайна; сперва онъ приписываетъ гипнотическое состояніе анеміи мозга, потомъ, напротивъ того, гипереміи и теперь вотъ третье объясненіе предлагается». Цѣль этой инсинуаціи состояла, очевидно, въ томъ, чтобы въ глазахъ не особенно внимательной аудиторіи бросить нѣкоторую тѣнь на Гейденгайна и его, такъ сказать, научную правоспособность. Но дѣло въ томъ, что Гейденгайнъ, какъ чловѣкъ, добросовѣстно заинтересовавшійся предметомъ, самъ разсказалъ этапы своего изслѣдованія, и эти поиски за истиной, пусть они даже называются колебаніями, никакой тѣни на его теорію бросить не могутъ. А то вѣдь можно пожалуй и на Ньютона махнуть рукой, потому что и онъ колебался...

Для образца «изслѣдованій» по способу вѣчнаго ребуса возьмемъ выше цитированное произведеніе г-жи Радда-Бай «Загадочныя племена».

Г-жа Радда-Бай состоитъ секретаремъ «Теософическаго общества», цѣль котораго, между прочимъ, «изучать тайны природы и присущія чловѣку сокрытыя силы его»; «то есть *естественныя*», — прибавляетъ и подчеркиваетъ г-жа Радда-Бай, приводя этотъ параграфъ статута Теософическаго общества, — «хотя отъ неупотребленія быть можетъ атрофированныя психологическія силы». «Мы просимъ читателя помнить, — говоритъ въ другомъ мѣстѣ нашъ авторъ, — что этотъ разсказъ далеко не пропаганда спиритизма. Мы просто заявляемъ факты; дѣлаемъ попытку открыть глаза публикѣ насчетъ реальности многихъ ненормальныхъ, странныхъ, еще не объясненныхъ, но никакъ не сверхъестественныхъ явленій». Далѣе, г-жа Радда-Бай пускается и въ нѣкоторую полемику со спиритами, очень деликатную впрочемъ (гораздо

болѣе деликатную, чѣмъ съ не-спиритами), но не совсѣмъ для насъ понятную, да не особенно и интересную. Главное дѣло, во всякомъ случаѣ, въ фактахъ и въ естественномъ ихъ объясненіи. Приведу еще одно мѣсто такого характера: «Факты на лицо. Простыя ли они послѣдствія ненормальныхъ и чисто физиологическихъ явленій, по излюбленной теоріи медиковъ; или же результаты проявленій (навѣрное столь же естественныхъ) силъ природы, которыя кажутся наукѣ (въ ея настоящемъ невѣдѣніи) невозможными и несуществующими и потому отвергаются, — для нашего дѣла это не составляетъ ни малѣйшей разницы. Мы заявляемъ, какъ уже сказано, только *факты*». Курсивы въ этихъ выпискахъ (*факты, естественныя*) принадлежатъ г-жѣ Радда-Бай. Посмотримъ же на факты и на ихъ естественность.

Если исключить изъ произведенія г-жи Радда-Бай длинныя и многочисленныя отступленія въ стороны полемики, описаній природы, исторіи, лингвистики, то останется слѣдующее. Въ южной Индіи, въ Нильгири (Голубыя горы) живутъ пять невѣдомыхъ племенъ, изъ которыхъ три племени находятся въ совершенно особенныхъ другъ къ другу отношеніяхъ. Баддаги (ихъ около 10,000 чловѣкъ) — земледѣльцы, браминской вѣры и сами по себѣ совсѣмъ обыкновенные люди, хотя и неизвѣстнаго происхожденія; но они съ одной стороны обожаютъ, то-есть прямо-таки считаютъ богами племя высокихъ, красивыхъ, кроткихъ и добродѣтельныхъ тоддовъ (всего 700 душъ), а съ другой стороны страшно боятся курумбовъ (около 1,000 душъ), необыкновенно маленькихъ, уродливыхъ, злыхъ, обезьяноподобныхъ карликовъ. И то и другое имѣетъ свои основанія. Тодды и курумбы пользуются, и не даромъ, репутаціей свѣта и тьмы. Оба племени владѣютъ тайными знаніями и силою чарованія, но тодды направляютъ свою мудрость исключительно къ добру, а курумбы столь-же исключительно — ко злу. Какъ ни могущественны однако злые карлики курумбы, но добрые красавцы тодды въ концѣ-концовъ сильнѣе ихъ, такъ что курумбы чувствуютъ къ нимъ не меньшій страхъ, чѣмъ какой сами въ свою очередь внушаютъ тоддамъ. Бѣлая магія тоддовъ и черная магія курумбовъ, равно какъ и взаимныя отношенія всѣхъ трехъ племенъ, и составляютъ предметъ изысканій г-жи Радда-Бай.

Развивая свою мысль о тоддахъ, какъ представителей бѣлой, и курумбахъ, какъ представителей черной магіи, г-жа Радда-Бай спрашиваетъ: «Почему, напримѣръ, тодды производятъ свои исцѣленія днемъ и на солнцѣ, а курумбы свои вредныя заклинанія только при лунѣ и ночью? Почему

одни вылѣчиваютъ, а другіе убиваютъ и насылаютъ болѣзни? Почему, наконецъ, курумбъ такъ страшно боится тогда, что при видѣ одного изъ этихъ людей, которые не тронуть и не сдѣлаютъ вреда даже укусившей ихъ собакѣ, этотъ отвратительный карликъ, собирая свои зелья, падаетъ на земь словно въ падучей болѣзни? Это замѣтила не я одна, а многіе не вѣрующіе ни въ бѣлую, ни въ черную магію скептики». Въ подтвержденіе приводится показаніе одного миссіонера: когда-бы и гдѣ-бы курумбъ ни встрѣтилъ тогда, и «чѣмъ бы онъ ни былъ при этомъ занятъ», онъ бѣжитъ или тутъ-же падаетъ, «иногда замертво».

Итакъ, прежде всего тодды «вылѣчиваютъ», а курумбы «убиваютъ и насылаютъ болѣзни». Въ этомъ одна изъ рѣзкихъ противоположностей добра и зла, свѣта и тьмы. Однако, перевернувъ нѣсколько страницъ, мы находимъ слѣдующее показаніе нѣкоего полковника Маршала, подтверждаемое въ выноскѣ и самою г-жею Радда-Бай: «Курумбы, на сколько правительство успѣло изслѣдовать ихъ внутренній бытъ, живя столько столѣтій въ лѣсахъ, успѣли приобрѣсть значительныя познанія въ свойствахъ разныхъ травъ и кореньевъ. Они вылѣчиваютъ даже такихъ больныхъ, отъ которыхъ сами тодды отказываются, но при этомъ часто, конечно, и убиваютъ — не колдовствомъ и заговорами, а просто растительнымъ ядомъ и по ошибкѣ». Подчеркнутыя слова подчеркнуты г-жей Радда-Бай и служатъ ей поводомъ для сарказмовъ противъ скептицизма полковника Маршала, но что курумбы лѣчатъ и вылѣчиваютъ больныхъ, это вѣрно; а начали мы съ того, что они, въ противоположность тоддамъ, не лѣчатъ и тѣмъ болѣе не вылѣчиваютъ.

Далѣе, курумбъ, какъ мы видѣли, встрѣтивъ тодда, или бѣжитъ, или падаетъ даже «замертво». Но въ самомъ началѣ своего произведенія г-жа Радда-Бай рассказываетъ, какъ два англичанина, впервые пробравшіеся въ 1818 г. въ Нильгирі, были поражены слѣдующимъ зрѣлищемъ: «группа великановъ, а возлѣ нихъ нѣсколько группъ страшно уродливыхъ карликовъ». Великаны были тодды, карлики — курумбы, но курумбы вовсе не бѣжали отъ тоддовъ и не падали замертво. Они спокойно бесѣдовали, а замѣтивъ англичанъ, схватили ихъ и принесли въ общее съ тоддами собраніе, и только на другой день тодды ихъ куда-то унесли подъ тѣмъ предлогомъ, что «взглядъ курумба убиваетъ непривычнаго къ нему и боящагося его человека». Впрочемъ, хотя англичане и не привыкли къ курумбамъ, и боялись ихъ, но остались живы... Дѣло, однако, не въ этомъ, а въ томъ, бѣжитъ-ли и падаетъ-ли замертво курумбъ при встрѣчѣ съ тоддомъ

или, напротивъ того, совершенно спокойно проводитъ съ нимъ время?

Было-бы долго и скучно далѣе изучать произведеніе г-жи Радда-Бай со стороны подобныхъ противорѣчій чисто фактическаго свойства. Достоверно, что во всемъ этомъ разобраться нѣтъ возможности и что тодды и курумбы остаются для насъ, послѣ трехмѣсячнаго пребыванія г-жи Радда-Бай въ Голубыхъ горахъ Мадраса, столь-же почти неизвѣстными, какъ были и до него. Надо при этомъ замѣтить, что факты, сообщаемые почтеннымъ секретаремъ Теософическаго общества, или тѣ свѣдѣнія, которыя онъ называетъ фактами, идутъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ не отъ него лично. Все это показанія свидѣтелей, весьма мало достоверныхъ. Сама-же г-жа Радда-Бай, судя по крайней мѣрѣ по ея разсказу, была у тоддовъ всего одинъ разъ и ничего загадочнаго при этомъ не видала.

Таковы факты, существеннѣйшая или даже единственная, по словамъ г-жи Радда-Бай, ея задача. Въ дальнѣйшемъ изложеніи впрочемъ эта простая и безпритязательная задача добросовѣстнаго свидѣтеля фактовъ значительно расширяется. «Во-первыхъ», — говоритъ авторъ, — какъ секретарь общества, задавшася цѣлью изучать сколько возможно глубже всѣ такіе сложные психологическіе вопросы, я желаю доказать, что нѣтъ въ мірѣ «суевѣрія», которое не было-бы основано на твердомъ грунтѣ истины. Затѣмъ, проникнувъ, какъ я думаю, до корня вопроса о «колдовствѣ», я намѣрена показать на основаніи и свидѣтельства самой науки, что это народное чародѣйство разрабатывается подъ покровомъ ея и закона самими господами учеными; что колдовство, месмеризмъ, гипнотизмъ — просто синонимы; что все это проявленіе одной и той-же месмерической силы или *гипнотизма*, нынѣ не только допускаемаго, но даже преподаваемаго, какъ въ клиникѣ доктора Шарко, такъ и въ другихъ центрахъ науки».

Казалось-бы, чего-же лучше? Конечно, первый тезисъ г-жи Радда-Бай немножко рискованъ во всемъ своемъ объемѣ, но и онъ заключаетъ въ себѣ нѣчто отъ истины, а что касается до сближенія колдовства съ гипнотизмомъ, то, даже «не проникая до корня вопроса», можно считать эту мысль очень правильною, поскольку въ колдовствѣ есть нѣчто фактически достоверное. И совершенно излишне принимать при этомъ, какъ то дѣлаетъ г-жа Радда-Бай, воинственную позу и лягать Шарко за его «гистеро-эпилепсію» («style Charcot», ядовито прибавляетъ въ скобкахъ нашъ авторъ). Шарко во всякомъ случаѣ дѣло дѣлаетъ и менѣе всего заслуживаетъ ляганія съ точки зрѣнія, на

словахъ представляемой г-жей Радда-Бай. По ея собственнымъ словамъ, онъ изучаетъ тѣ именно *факты*, которые и ее занимаютъ; только по мѣсту своего жительства онъ изучаетъ ихъ въ Парижѣ, въ Сальпетріерѣ, а не въ Голубыхъ горахъ Мадраса. Онъ ищетъ *естественнаго* объясненія фактамъ, о чемъ и она хлопочетъ. За что же она на него сердится? А сердится она очень: «дѣянія доктора Шарко», «знаменитый гипнотизаторъ» и т. п. А затѣмъ слѣдуютъ уже «обезьяны науки». За что? Да именно за то, что Шарко изучаетъ факты и ищетъ имъ естественнаго объясненія. Дѣло въ томъ, что, не смотря на словесныя заявленія, ей не колдовство желательнѣе свести къ гипнотизму, а напротивъ того, изъ гипнотизма сдѣлать колдовство, ей нуженъ вѣчный ребусъ, перманентная тайна. Чтобы оцѣнить разницу отъ такого переименованія центра тяжести въ задачѣ сближенія колдовства и гипнотизма, мы обратимъ вниманіе читателя на ту книгу Мори, изъ которой заимствовали терминъ «патологическая магія».

Г-жа Радда-Бай «проникла до корня вопроса» въ 1883 году или, по крайней мѣрѣ, въ этомъ году заявила объ этомъ въ своемъ отчетѣ о видѣнномъ и слышанномъ въ Голубыхъ горахъ. Между тѣмъ въ книгѣ Мори за двадцать лѣтъ передъ тѣмъ (мы пользуемся *третьимъ* изданіемъ 1864 года) сближеніе колдовства съ гипнотизмомъ было уже установлено. Для Мори вся патологическая магія сводится къ четыремъ источникамъ: 1) сновидѣнія, 2) галлюцинаціи, 3) вліяніе воли и воображенія, 4) состоянія гипнотизма и сомнамбулизма. И, принимая въ соображеніе, какъ мало разработаны были въ то время явленія гипнотизма и какъ они даже вниманія на себя мало обращали, надо удивляться проницательности, съ которою онъ предвосхитилъ тезисъ г-жи Радда-Бай, столь пышно и съ такимъ задоромъ ею возвыщаемый. Но Мори желалъ объяснить неизвѣстное извѣстнымъ, сверхъестественное естественнымъ, загадочное разгаданнымъ. Для него, напримѣръ, опыты Брэда со стекляннымъ или металлическимъ шарикомъ, односторонне сосредоточенное созерцаніе котораго приводитъ въ гипнотическое состояніе, служатъ объясненіемъ катоптрмантіи и всѣхъ другихъ древнихъ видовъ гаданія и магіи при помощи блестящихъ предметовъ. Въ результатъ оказывается, что съ этой стороны чародѣи и чудодѣи были просто гипнотизаторы, сами того не подозревая и придавая сверхъестественное значеніе естественному факту. Г-жа Радда-Бай поступаетъ какъ разъ наоборотъ. Она рассказываетъ исторію одного чародѣйства курумбовъ и, сопоставляя его съ однимъ сложнымъ гипнотическимъ

опытомъ, какихъ нынѣ производится много, желаетъ утвердить читателя не въ той мысли, что курумбы суть гипнотизаторы, а въ той, что европейскіе гипнотизаторы прикосновенны къ чародѣйству, только сами этого не понимаютъ.

Какъ и всѣ поклонники и жрецы вѣчнаго ребуса, г-жа Радда-Бай не чужда и военно-полемическихъ хитростей, одобрить которыя отнюдь нельзя. Такъ, она неоднократно приметъ все имя Карпентера въ такихъ туманныхъ выраженіяхъ и двусмысленныхъ сопоставленіяхъ, что иной читатель можетъ подумать, что англійскій физиологъ есть ея единомышленникъ. Напримѣръ: «Ихъ (курумбовъ) удивительная «психическая сила», какъ ее называетъ Карпентеръ (въ выноскѣ: У. Карпентеръ, извѣстный физиологъ), ихъ такъ называемое колдовство и дьявольскія чары, кто можетъ растолковать намъ эту силу?» Или: «Мы имѣемъ сильное подозрѣніе, равняющееся убѣжденію, что эта сила въ нильгирійскихъ колдунахъ есть нашъ старый знакомый: «психическая сила» dr. Карпентера и Крукса». Или еще: «европейцы скептики не обращаютъ вниманія на трансцендентальныя качества «психизма» — какъ выразился-бы dr. Карпентеръ — тоддовъ и курумбовъ». Изъ всего этого можно бы было заключить, что Карпентеръ единомышленникъ Крукса, что онъ признаетъ какой-то «психизмъ» въ благопріятномъ для г-жи Радда-Бай смыслѣ и т. д. Но «Основанія физиологіи ума» Карпентера и его маленькая книжка о спиритизмѣ и месмеризмѣ имѣются въ русскомъ переводѣ, и всякій можетъ легко убѣдиться, что почтенный англійскій физиологъ не только не имѣетъ ничего общаго съ людьми въ родѣ г-жи Радда-Бай, но является однимъ изъ самыхъ сильныхъ ихъ противниковъ.

Въ заключеніе намъ остается только повторить одно прелестное выраженіе, употребленное г-жей Радда-Бай въ другомъ ея сочиненіи, — «Изъ пещеръ и дебрей Индостана». Когда одинъ таинственный индусъ плелъ ей кружево чудодѣйственныхъ непонятностей, она подумала или сказала: «Ну, ты вѣрѣ, а я погожу». Къ сожалѣнію, и намъ приходится сказать г-жѣ Радда-Бай то же самое, приходится погодить ей вѣрять. Говоримъ «къ сожалѣнію», потому что нѣкоторая доля истины и въ сообщеніяхъ, и въ размышленіяхъ ея несомнѣнно есть. Но эта доля до такой степени окутана тенденціей вѣчнаго ребуса и допущенными безъ всякой критики якобы фактами, что подобныя «исслѣдованія» могутъ только медвѣжьёю услугу оказать истинѣ и компрометировать ее.

Индія — страна древнѣйшей общественности, преданія которой уходятъ въ непро-

глядную даль временъ; страна величайшихъ въ мірѣ горъ, непроходимыхъ лѣсовъ, чудовищныхъ звѣрей, палящаго зноя. Было бы странно, если бы тысячелѣтняя общественная жизнь среди такой разнообразной, роскошной и грозной природы не оставила соотвѣтственныхъ по грандіозности слѣдовъ. И дѣйствительно. Индія выработала кастовый строй, по чудовищной законченности превосходящій все подобное въ другихъ странахъ. Индія выработала тончайшую метафизику, за которую европейцамъ не угоняться, и цѣлую коллекцію необыкновенно законченныхъ религиозныхъ системъ и сектъ отъ грубѣйшаго идолопоклонства до атеизма, отъ приписывающихъ человѣкоубійство до запрещающихъ убійство блохи. Индія выработала ту нирвану, ту идею блаженства небытія, за которую спустя вѣка ухватились европейскіе пессимисты, и тѣ ужасающія самоистязанія, въ сравненіи съ которыми выраженія аскетизма въ другихъ странахъ—дѣтская забава. Индія объѣздила слона, приручила гепарда, умѣетъ въ буквальномъ смыслѣ слова заставлять змѣй плясать по своей дудкѣ. И что мудренаго! Если до сихъ поръ въ одномъ Бомбейскомъ президентствѣ, по официальнымъ отчетамъ, избивается въ годъ больше 250,000 ядовитыхъ змѣй, такъ не тому надо удивляться, что въ тысячи лѣтъ такой жизни выработались искусники, умѣющіе вызывать и очаровывать змѣй музыкой, а напротивъ, тому, что и теперь, по официальнымъ же отчетамъ, гибнетъ отъ змѣй около 20,000 человѣкъ въ годъ. Это же разсужденіе приложимо и къ другимъ случаямъ. Такъ, представляется весьма вѣроятнымъ вышеприведенное мнѣніе полковника Маршалла, что курумбы, «живя столько столѣтій въ лѣсахъ, успѣли приобрести значительныя познанія въ свойствахъ разныхъ травъ и кореньевъ». Допустимо также,—конечно минусъ нѣсколько слишкомъ яркія краски,—что-то приводимое г-жей Радда-Бай «предположеніе, что тодды, какъ и многія другія племена, живущія, такъ сказать, на лонѣ природы, владѣютъ гораздо большимъ числомъ тайнъ природы, а потому знакомы и съ практической физиологіей лучше, нежели наши ученые врачи». Въ послѣднихъ словахъ г-жа Радда-Бай не то, чтобы хватила черезъ край, а дѣлаетъ пожалуй нѣчто худшее,—сопоставляетъ вещи, не взвѣсивъ предварительно степени ихъ соизмѣримости. Дѣло идетъ о томъ, что тодды будто бы съ давнишнихъ временъ не увеличиваются и не уменьшаются въ численности; какъ ихъ было 700 душъ, такъ и остается 700, причѣмъ дѣвочекъ рождается непропорціонально мало. Выходитъ какъ будто по заказу: тодды живутъ въ полиандрическомъ бракѣ, а потому имъ и нужно

меньше женскихъ рожденій, чѣмъ мужскихъ, а, можетъ быть, наоборотъ, именно вслѣдствіе малаго числа женскихъ рожденій у нихъ утвердилось полиандрія. Предположеніе, что они убиваютъ новорожденныхъ дѣвочекъ, тодды рѣшительно отвергаютъ. Они говорятъ, что если бы имъ было нужно больше «матерей» (такъ они называютъ женщинъ вообще), то ихъ у нихъ и было бы больше, намекая такимъ образомъ на какой-то извѣстный имъ физиологическій секретъ. Но дѣло въ томъ, во-первыхъ, что самый фактъ неподвижности числа тоддовъ нуждается въ нѣсколько большей доказательности, а во-вторыхъ, если тодды и дѣйствительно владѣютъ секретомъ рожденія дѣтей мужского или женскаго пола по желанію, то это никоимъ образомъ не можетъ быть выставлено въ пику «нашимъ ученымъ врачамъ». Недавно въ «Русской Медицинѣ» было опубликовано наблюденіе, по которому, при разницѣ возраста родителей на 8—10 лѣтъ, родится больше мальчиковъ, а если родители примѣрно ровесники, то больше дѣвочекъ. Это—чисто эмпирическое обобщеніе, наряду съ которымъ выставлены и другія подобныя, такъ какъ, дѣйствительно, «наши ученые врачи» и «физиологи» не знаютъ причинъ и условій рожденія дѣтей мужского и женскаго пола. Они узнаютъ это тогда, когда найдутъ въ своей наукѣ точку опоры для дедуктивнаго объясненія достаточнаго количества фактовъ, установленныхъ индуктивнымъ путемъ, который окажется вѣроятнымъ въ частности статистическимъ. Тодды же этого никогда не узнаютъ, пока останутся тоддами, никогда не доберутся до рациональнаго объясненія фактовъ, потому что для этого нужно обширное и сложное теоретическое построеніе. Съ другой стороны, однако, допустивъ, что, напримѣръ, вышеприведенное эмпирическое обобщеніе справедливо (говоримъ, разумѣется, чисто условно), легко видѣть, что тодды и въ самомъ дѣлѣ могутъ владѣть этимъ секретомъ и утилизировать его. При той замкнутой жизни, которую они ведутъ, можетъ быть, цѣлые вѣка, не смѣшиваясь съ сосѣдними племенами и даже мало сближаясь съ ними, слѣдовательно, зная исторію каждой своей семьи, они могли замѣтить, что тотъ или другой возрастъ брачующихся имѣетъ влияние на полъ дѣтей. А такъ какъ та ранняя ступень развитія семейныхъ отношеній, которой соотвѣтствуетъ полиандрія, не допускаетъ мысли объ очень страстныхъ личныхъ привязанностяхъ и значеніи личнаго выбора въ любви, то они могли и провести въ жизнь свой секретъ, ради пользы племени или общины, осуществляя нѣчто въ родѣ Платоновской мечты. Наконецъ, просто и са-

мая полиандрія можетъ вліять на полъ дѣтей.

Такимъ образомъ, если тодды дѣйствительно владѣютъ нѣкоторымъ физиологическимъ секретомъ, то по существу онъ все-таки не представляетъ ничего таинственнаго и самое это «знаніе» тоддовъ такъ же просто объясняется ихъ исторической судьбой и географической и этнографической обстановкой, какъ и «знаніе» чарователей змѣй, и знаніе лѣкарственныхъ свойствъ какихъ-нибудь травъ и корней у курумбовъ. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы мы имѣли резоны презрительно относиться ко всѣмъ этимъ фактамъ или игнорировать, или такъ же безъ критики отрицать ихъ, какъ г-жа Радда-Бай безъ критики ихъ принимаетъ. На сколько она легкомысленна въ своихъ отношеніяхъ къ явленіямъ патологической магіи, на столько же она права, когда требуетъ отъ людей науки вниманія къ этимъ явленіямъ. Наука можетъ только во всѣхъ отношеніяхъ выгадать, постаравшись отдѣлать плевелы отъ пшеницы и воспользоваться пшеницей. Что касается собственно Индіи, то почти всѣ путешественники привозятъ оттуда поразительныя вѣсти, изъ которыхъ многимъ, однако, не вѣрить нельзя, какъ по многочисленности и достовѣрности свидѣтелей, такъ и по совпаденію самыхъ свидѣтельствъ. При ближайшемъ, впрочемъ, разсмотрѣніи нѣкоторые изъ этихъ фактовъ, не смотря на свою поразительность, уже и теперь допускаютъ сближеніе съ установленными истинами науки, а, слѣдовательно, и объясненіе. Сообщаетъ такое, между прочимъ, и г-жа Радда-Бай. Мы сейчасъ ими воспользуемся, а въ послѣдствіи еще вернемся вообще къ индусской патологической магіи въ связи съ ея исторической и социологической обстановкой.

V.

Изъ сообщеній г-жи Радда-Бай достойны вниманія слѣдующія два.

Нѣкто Бетлоръ, канадецъ родомъ, охотникъ, нѣсколько лѣтъ путешествовавшій по порученію орнитологическаго общества, рассказываетъ о томъ, какъ охотятся на птицъ курумбы, вообще, надо замѣтить, слывшіе искуснѣйшими звѣроловами и охотниками на крупнаго и мелкаго звѣря.

Курумбъ укрѣпляетъ на кустѣ, фута на два отъ земли, небольшую жердочку, предварительно «повертѣвъ ее въ рукахъ, словно полируетъ ее», самъ ложится въ нѣсколькихъ шагахъ и терпѣливо и упорно смотритъ на намѣченную птицу. «Въ это время глаза курумба принимаютъ странное выраженіе. Я замѣчалъ такое же только во взглядѣ змѣй,

когда она, поджидая добычу, устремляетъ его на жертву, очаровывая ее, а также въ глазахъ черныхъ жабъ Майсура. Неподвижный, стеклянный, взглядъ этотъ сіяетъ словно внутреннимъ холоднымъ свѣтомъ, притягиваетъ къ себѣ и вмѣстѣ отталкиваетъ. За нѣсколько рупій одинъ курумбъ согласился дозволить мнѣ присутствовать при его ловлѣ. Птица порхаётъ и чирикаетъ, беззаботная, веселая, дѣятельная. Вдругъ она останавливается и прислушивается. Склонивъ голову на бокъ, она остается нѣсколько секундъ неподвижною; потомъ, востроушавшись, видимо силится улетѣть. Она иногда и улетаетъ, но весьма рѣдко. Обыкновенно ее словно что-то притягиваетъ въ очарованный кругъ, и она начинаетъ бочкомъ приближаться къ жердочкѣ. Ея перышки взъерошены; она тихо и жалобно пищитъ, а все-же подвигается маленькими, нервными скачками... Наконецъ, она возлѣ «очарованной» жерди. Однимъ скачкомъ она перепрыгиваетъ на нее и—судьба ея свершилась! Она уже не можетъ сдвинуться съ жерди и сидитъ на ней точно приклеенная. Курумбъ бросается на бѣдное очарованное созданіе съ быстротой, какой позавидовала бы любая змѣя; дайте ему только нѣсколько мѣдныхъ грошей въ добавокъ условленной платы, и онъ пожретъ птицу на мѣстѣ съ костями и перьями!»

Въ связи съ этимъ искусствомъ курумбовъ находится слѣдующій любопытный рассказъ. На окраинѣ Уттакаманди, городка въ Нильгири, жила нѣкая г-жа Симпсонъ съ двумя взрослыми сыновьями и одиннадцатилѣтнимъ племянникомъ. Этотъ мальчикъ очень любилъ птицъ и держалъ ихъ цѣлый птичникъ, въ которомъ, однако, къ его горю не доставало желтой ласточки, очень дикой и хитрой. Однажды, пустившись вслѣдъ за такой ласточкой въ лѣсъ, онъ заблудился и встрѣтилъ двухъ курумбовъ, которые проводили его домой, обошлись съ нимъ вообще очень ласково и общались на другой же день принести ему въ назначенное мѣсто желтыхъ ласточекъ. Мальчикъ, дѣйствительно, получилъ своихъ ласточекъ, но съ этого дня сталъ неузнаваемъ, — пересталъ играть, какъ будто постарѣлъ, и домашніе замѣчали, что онъ иногда ходитъ точно во снѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ домѣ стали пропадать деньги и разныя серебряныя и золотыя вещи. Оказалось, что ихъ таскаетъ мальчикъ. Г-жа Симпсонъ застала его однажды за этимъ дѣломъ ночью, причемъ онъ находился въ состояніи, похожемъ на сомнамбулизмъ. Уличенный, онъ сталъ объяснять, что беретъ серебро и золото для своихъ птицъ, беретъ будто бы съ разрѣшенія тетки, и что это не серебро и золото, а птичій кормъ, остатки котораго онъ долженъ относить *ему*. Этотъ онъ, когда

прослѣдили за мальчикомъ, оказался курумбомъ, а мальчикъ кончилъ полнымъ идиотизмомъ.

Г-жа Радда-Бай приводитъ въ параллель этому, по ея словамъ, достовѣрному и, дѣйствительно, не невѣроятному случаю, одинъ сложный опытъ «внушенія», сдѣланный во Франціи: нѣкому полицейскому чиновнику было, въ состояніи гипноза, внушено, чтобы онъ въ такомъ-то часу, въ такомъ-то мѣстѣ, такимъ-то оружіемъ убилъ человѣка, свалилъ преступленіе на такого-то, но потомъ сознался бы и донесъ на самого себя. Разумѣется, были приняты всѣ мѣры, чтобы въ дѣйствительности никакого убійства не произошло, и загипнотизированный тыкалъ будто бы малыйскимъ кинжаломъ, а на самомъ дѣлѣ деревянной палкой въ пустое пространство, гдѣ ему представлялась фигура человѣка, поддежащаго убійству. Благодаря многочисленнымъ газетнымъ статьямъ, отчетамъ, замѣткамъ сначала по поводу опытовъ Бишопа и Кумберленда, а потомъ г. Фельдмана, читатели, конечно, знакомы съ этого рода явленіями и, вѣроятно, согласятся допустить, вмѣстѣ съ г-жей Радда-Бай, что курумбы употребляли какіе-то гипнотизаторскіе приемы, чтобы овладѣть сознаніемъ и волей несчастнаго мальчика. Не мѣшаетъ помнить, что дракатическое осуществленіе чудеса патологической магіи, будучи, конечно, облегчаемо систематическимъ теоретическимъ знаніемъ, можетъ, однако, обходиться и безъ него. Дикому и невѣжественному курумбу оно столь же доступно, какъ и любому европейскому ученому. Въ уголовныя лѣтописи, безъ сомнѣнія, заносятся многіе случаи «внушенія», сдѣланнаго совершенно невѣжественными людьми не для опыта, а прямо ради преступленія. Къ сожалѣнію, они обращаютъ на себя мало вниманія людей науки. Таковъ случай изъ французской уголовной практики, сохранный отъ забвенія Дэпиномъ (Despine. Psychologie naturelle 1868). Двадцатипятилѣтній бродяга, по имени Кастелланъ, выдававшій себя при случаѣ за «сына божія», съ перваго же свиданія околдовалъ двадцатипятилѣтнюю дѣвушку, усыпивъ ее какими-то жестами, изнасиловалъ, увезъ изъ родительскаго дома, таскалъ за собой, какъ собаку, не смотря на ея отвращеніе къ нему, и всячески надругался, дабы показать постороннимъ людямъ степень своей власти надъ ней. На судѣ этотъ наглець хвалился, что можетъ и председателя суда «магнетизировать» пристальнымъ взглядомъ, такъ что тотъ долженъ былъ опустить глаза. Это почти напоминаетъ средневѣковые процессы въѣдъ, когда судьямъ рекомендовалось не встрѣчаться глазами съ глазами обвиняемыхъ, дабы не подпасть подъ вліяніе ихъ дьяволь-

скихъ чаръ. А дѣло, надо замѣтить, происходило въ 1865 году.

Суть гипнотизма состоитъ, какъ извѣстно, въ томъ, что гипнотизированный превращается въ совершеннаго автомата: онъ или автоматически повторяетъ жесты и слова гипнотизатора (то, что нѣмцы называютъ *Echosprache*, хотя это слово не вполне обнимаетъ явленіе), или автоматически исполняетъ самыя нелѣпыя и даже, повидимому, неисполнимыя приказанія. Повиновеніе и подражаніе, — вотъ главные психологическіе моменты гипнотизма. Автоматизмъ выходитъ до того полный, что ему было бы даже трудно повѣрить, если бы не большое число свидѣтельствъ, вполне достовѣрныхъ, и опытовъ, наилучшеобставленныхъ. Мы не будемъ, разумѣется, перерывать весь относящійся сюда огромный фактическій матеріалъ и только напомнимъ нѣсколько типическихъ случаевъ.

Карпентеръ говоритъ о «точномъ подражаніи вокальнымъ упражненіямъ Дженни Линдъ одной фабричной дѣвушки, которая не получила никакого музыкальнаго образованія и даже на своемъ родномъ языкѣ говорила неправильно... Эта дѣвушка въ гипнотическомъ состояніи повторяла пѣсни шведскаго соловья на различныхъ языкахъ такъ быстро и такъ вѣрно, — и слова, и музыку, — что трудно было различить оба голоса между собой. Чтобы испытать, до чего можетъ дойти способность къ подражанію этой сомнамбулы, Дженни Линдъ импровизировала при ней трудное хроматическое упражненіе, которое она переняла съ совершенною точностью, хотя въ состояніи бодрствованія, разумѣется, не осмѣлилась бы и пытаться выполнить что-нибудь подобное» (Основанія физиологіи ума, II, 167). Въ вышеупомянутой книгѣ Шарля Рише читатель найдетъ, на примѣръ, рядъ нравственныхъ превращеній «почтенной женщины, уважаемой матери семейства, отличающейся религіозностью», послѣдовательно въ крестьянку, актрису, генерала, священника, монахиню, старуху, маленькую дѣвочку, кокетку. Чѣмъ ей прикажутъ быть, тѣмъ она немедленно и становится, съ поразительною детальною тонкостью усвоивая манеры и нравственный обликъ копируемыхъ типовъ. Она то груба по генеральски, то безстыдна, какъ кокетка, то торжественна, какъ парижскій архіепископъ, то сюсюкаетъ, какъ маленькая дѣвочка. Когда ее, въ видѣ маленькой дѣвочки, спрашиваютъ, «нравственна-ли» сказка о Красной Шапочкѣ, она отвѣчаетъ, что не понимаетъ, что значить «нравственно». Когда одинъ мужчина былъ такимъ же образомъ превращенъ въ мольтеровскаго Гарпагона, онъ не только бесѣдовалъ съ будто бы присутствующими героями и героинями комедій Мольера,

но всѣмъ своимъ сознаніемъ переселялся въ XVII вѣкъ и не понималъ вещей, въ ту пору неизвѣстныхъ, не понималъ, напри- мѣръ, что значить «железнодорожная акція». До такой тонкости доходить подражаніе и до такой глубины — повиновение отданному приказанію. Точно также можно превратить человѣка въ животное, напри- мѣръ, въ зайца, и этотъ настоящій, а не легендарный «оборотень» усвоить себѣ заячью натуру и зайчы внѣшніе приемы, насколько это совме- стимо съ фигурой человѣка.

Въ высшей степени интересны случаи, когда воля гипнотизированнаго не сразу па- рализуется, а пытается оказать нѣкоторое сопротивление внушенію. (См. Beaunis. L'ex- périmentation en psychologie par le somnam- bulisme provoqué, въ Revue philosophique 1885, № 8). Но, какъ справедливо замѣ- чаетъ Бони, и въ этихъ случаяхъ «автоматизмъ» остается все-таки полнымъ, и субъектъ лишь на столько сохраняетъ самостоятель- ности и воли, на сколько ихъ ему пожелаетъ оставить гипнотизаторъ». А затѣмъ выпол- няются такіа внушенныя дѣйствія, которыя въ здоровомъ, бодрствующемъ состояніи даже не подлежатъ контролю воли и, слѣдо- вательно, не могутъ быть исполнены и по приказанію. Напри- мѣръ, наблюденіе Бони: при усмиреніи пульсъ даетъ 98 ударовъ въ минуту; дѣлается внушеніе замедлить бѣненіе сердца, — пульсъ спускается до 92; отдается приказаніе ускорить пульсацію, — получается 115. Другія наблюденія этого рода показы- ваютъ, что внушеніемъ могутъ быть вызваны приливы крови на опредѣленныхъ мѣстахъ, количественныя и качественныя видоизмѣ- ненія выдѣлений и проч. Было уже упомя- нуту, что такіе опыты дѣлалъ еще въ сороко- выхъ годахъ Бредъ. Ихъ принялъ во внима- ніе и ввелъ въ свои «Основанія физиологіи ума» и Карпентеръ. Такъ, напри- мѣръ. Одна дама, бросившая кормить вслѣдствіе потери молока, когда ребенку было тринадцать мѣ- сяцевъ, была загипнотизирована Бредомъ и, пока она находилась въ гипнотическомъ со- стояніи, онъ дѣлалъ пассы надъ ея правою грудью, чтобы привлечь ея вниманіе на эту грудь. Черезъ нѣсколько минутъ она приняла такую позу, какую принимаютъ женщины, когда держатъ ребенка у груди, и вскорѣ грудь наполнилась молокомъ. Чтобы восста- новить симметрію ея фигуры, Бредъ произ- велъ ту же манипуляцію надъ другою грудью, послѣ чего у нея въ теченіе еще девяти мѣ- сяцевъ былъ обильный запасъ молока. Въ послѣднее время этого рода опыты, уже не только съ теоретическими, а и съ практи- ческими, врачебными цѣлями, до такой сте- пени развились и распространились, что за- ними трудно даже услѣдить. Да намъ и нѣтъ

въ этомъ надобности. Достаточно напомнить имена Шарко, Льебо, Вуазена, Бернгейма и проч. Намъ нужно только отмѣтить резуль- татъ изслѣдованій, а результатъ состоитъ въ полнѣйшемъ автоматизмѣ гипнотизирован- наго, каковому автоматизму предѣлы полагаются лишь самимъ механизмомъ автомата: онъ будетъ исполнять *все* приказанное, до- колѣ у него *есть чѣмъ* повиноваться, доколѣ способны функционировать тѣ части орга- низма, на которыя распространяется прика- заніе.

Справедливо поэтому нѣкоторые предла- гаютъ самое слово «гипнотизмъ» (терминъ Бреда) замѣнить словомъ «автоматизмъ». Та- кая замѣна, кромѣ большей точности выра- женія и большого соотвѣтствія между пред- метомъ и его названіемъ, имѣла бы еще одну огромную выгоду. Она напоминала бы о дру- гихъ физиологическихъ и психологическихъ явленіяхъ, весьма близкихъ къ гипнотизму, но имѣющихъ мѣсто, повидимому, при совер- шенно другихъ условіяхъ, — безъ тѣхъ спе- ціальныхъ приѣмовъ, которые употребляются изслѣдователями для достиженія гипноти- ческаго состоянія. Таковы всѣ явленія без- сознательнаго и полусознательнаго повинове- нія и подражанія. Въ статьѣ «Герои и толпа» (1883 г.) и потомъ въ «Научныхъ пись- махъ» (1884 г.) я пытался указать огромную распространенность этихъ явленій въ органи- ческой природѣ и человѣческихъ обществахъ и ихъ огромное научное значеніе. При- этомъ приходилось удивляться той необыкно- венной и крайне убыточной разбросанности и специализаціи научныхъ силъ, которая уеди- няетъ вопросы о мимичности или покрови- тельственной окраскѣ животныхъ, о нѣкоторыхъ подражательныхъ формахъ психическаго расстройства, о нравственныхъ эпидеміяхъ, о стигматизаціи, о гипнотизмѣ, о нѣкоторыхъ историческихъ явленіяхъ покорности и подра- жанія, — не выражая даже отдаленнѣйшаго подозрѣнія, что все это частные случаи од- ного и того-же вопроса, и безплодно возясь съ отдѣльными вопросами въ ихъ специаль- ной формѣ. Съ тѣхъ поръ дѣло этого большо- го, всеобъемлющаго вопроса, не смотря на усиленное вниманіе, оказываемое гипнотизму, можно сказать, ни на одинъ шагъ не подвиг- нулось впередъ. Стоить, пожалуй, отмѣтить статью Тарда «Qu'est ce qu'une société» въ Revue philosophique 1885 г., о которой намъ можетъ быть еще придется говорить, а мо- жетъ быть обойдемся и безъ этого, потому что, не смотря на нѣкоторыя содержащіяся въ ней остроумныя мысли, она слишкомъ по- верхностна и расплывчата. Но Тардъ, по край- ней мѣрѣ, признаетъ высокое значеніе подра- жанія въ исторіи человѣчества: для него са- мое общество есть не что иное, какъ организо-

важная подражательность. Это, конечно, столько же односторонне, какъ и господствующее игнорированіе подражанія, какъ историческаго и социальнаго фактора. Во всякомъ случаѣ теперь мы не можемъ останавливаться на этомъ выводѣ, потому что это завело-бы насъ далеко въ сторону отъ предмета нашей статьи; тѣмъ болѣе, что, раздвигая понятіе подражанія въ одну сторону, Тардъ все-таки далеко не всѣ другія его стороны беретъ во вниманіе.

Въ 1868 году д-ръ Кашинъ напечаталъ въ «Архивѣ Судебной Медицины» замѣтку о наблюдаемой въ Якутской области нервной болѣзни, которую онъ описалъ подъ именемъ chorea imitatoria, а на мѣстѣ ее называютъ «олгинджей» или *омеряченъемъ*. Больные этою странною формою нейроза съ совершенною точностью автоматически повторяютъ всѣ обращенныя къ нимъ слова (напримѣръ, солдаты повторяютъ слова команды, а затѣмъ и брань, и угрозы командира) и подражаютъ всѣмъ жестамъ окружающихъ. Иногда болѣзнь выражается не подражаніемъ, а столь же автоматическимъ, слѣпымъ исполненіемъ самыхъ негнѣсныхъ или возмутительныхъ приказаній (напримѣръ, женщины повинуются безстыднымъ приказаніямъ мѣстныхъ якутскихъ ловеласовъ). Я воспользовался замѣткой д-ра Кашина въ статьѣ «Герои и толпа», какъ однимъ изъ многочисленныхъ случаевъ, настоятельно указывающихъ на необходимость обобщенія разнообразныхъ явленій подражанія; но другихъ свѣдѣній объ омеряченіи я тогда не имѣлъ.

Въ нынѣшнемъ году мнѣ случилось познакомиться съ одной рукописной статьёй, въ которой та же болѣзнь, но уже на Ленѣ, описывается подъ именемъ *оміряченія*, причѣмъ авторъ настаиваетъ, что именно такъ, а не *омеряченіе* слѣдуетъ говорить и писать это слово, потому что, дескать, оно происходитъ отъ слова «міръ»: оміряченные какъ-бы мірскіе люди.

Въ одной старой работѣ Бріера де-Буамонъ (De l'influence de la civilisation sur le développement de la folie въ Annales d'hygiène publique et de médecine légale t. XXV) есть ссылка на англійскаго путешественника двадцатыхъ годовъ Кохрана (Cochrane), который говоритъ объ этой же болѣзни у самоѣдовъ и называетъ ее *imerachisme*: «имераши» автоматически повторяютъ всѣ слова и жесты окружающихъ. Бріеръ де-Буамонъ сопоставляетъ это свѣдѣніе съ случаемъ, описаннымъ у Тиссо: одинъ старикъ долженъ былъ гулять всегда съ опущенными глазами, изъ боязни тогчасъ же передразнить всякаго встрѣчнаго; стоило ему только поднять глаза, и «тѣло его обращалось въ какую-то неустанную мимику» (son corps n'était plus qu'une mimique continue).

Соч. н. в. михайловскаго, т. II.

Въ № 46 «Врача» за 1884 годъ находимъ слѣдующую замѣтку г. Г. Ск. о книгѣ Арманге «Mimicismo ó neurósis imitante» (Барселона, 1884): «Въ началѣ текущаго года проф. Hammond описалъ особый нейрозъ, *который и назвалъ Miryachit'омъ*». (Курсивъ нашъ). Сочиненіе Арманге посвящено описанію какъ этого, такъ и другихъ подобныхъ нейрозовъ. *Miryachit* встрѣчается въ восточной Сибири у якутъ и заключается въ томъ, что больные автоматически повторяютъ всѣ звуки и движенія окружающихъ. «Сознаніе при этомъ не нарушено; больной отлично сознаетъ бесполезность и даже вредъ повторяемыхъ движеній, но не въ силахъ руководить ими». Подобная же болѣзнь встрѣчается на Малайскомъ архипелагѣ, гдѣ ее называютъ *latah*. Здѣсь также больные повторяютъ движенія окружающихъ. «Такъ, одна почтенная женщина, страдавшая *latah'омъ*, увидѣвъ, что одинъ мужчина раздѣвается, стала сбрасывать съ себя все платье. При этомъ она сознавала нескромность такого поступка, но весь свой гнѣвъ изливала на раздѣвающагося мужчину, прося убить его». Въ другихъ случаяхъ «больные въ присутствіи извѣстныхъ лицъ совершенно теряютъ свою волю и безпрекословно исполняютъ самыя безразсудныя приказанія, сознавая ихъ неразумность». Бываетъ и такъ, что, «услыхавъ извѣстное слово, больной дѣлаетъ рядъ движеній, какія онъ произвелъ бы, если бы названный предметъ находился передъ больнымъ: напримѣръ, при словѣ «тигръ» одинъ малайскій врачъ сталъ готовиться къ защитѣ отъ тигра». «Въ Сѣверной Америкѣ между гимнастами замѣчено особое заболѣваніе, которое Beard называлъ *jumping*. Достаточно тихо сказать: «брось! прыгни!» и т. д., и больной, повторивъ приказъ, немедленно выполняетъ его, хотя и сознаетъ бесполезность и даже вредъ своихъ дѣйствій». Арманге предлагаетъ называть эту болѣзнь «мимизмомъ» или «подражательнымъ нейрозомъ».

Въ № 8 «Русскаго Богатства» за 1885 годъ помѣщена замѣтка д-ра Янковскаго. «Странная болѣзнь», мотивированная именно замѣткой г. Г. Ск. во «Врачѣ» о книгѣ Арманге. Г. Янковскій видѣлъ *miryachit* въ Приморской области восточной Сибири. Слово «мирячить» или «меряжеть», говоритъ онъ, значитъ «дурить». Мирячащій называется «меряша». Изъ многихъ видѣнныхъ г. Янковскимъ случаевъ любопытны два случая повальнаго заболѣванія. Однажды, въ качествѣ врача 1-го восточно-сибирскаго линейнаго баталіона, онъ былъ извѣщенъ о прибытіи въ лазаретъ четырнадцати «сумасшедшихъ» солдатъ. Онъ засталъ дѣйствительно въ лазаретѣ четырнадцать солдатъ одного и того же взвода «въ разныхъ положеніяхъ: одни хо-

дили, другіе лежали, третьи сидѣли и продолжали такъ-же вести себя въ моемъ присутствіи. На вопросъ: «что съ вами?», всѣ въ одинъ голосъ отвѣтили: «что съ вами!» Вопросъ: «чѣмъ вы больны?» Отвѣтъ: «чѣмъ вы больны!» Прибывшій ротный командиръ заявилъ, что всѣ эти люди ѣли съ картофелемъ конопляное масло, купленное у корейца. Услышавъ слово «масло», всѣ начали повторять: масло, масло, масло на разные лады. Ни уговоры, ни приказанія не могли удержатъ больныхъ отъ повторенія словъ, сказанныхъ кѣмъ-либо изъ насъ или изъ нихъ самихъ». Разныя соображенія убѣдили г. Янковскаго, что причина болѣзни заключалась въ общеніи съ продавцомъ масла—корейцемъ, который былъ «меряча»: омеряченіе заразительно. Другой случай былъ въ 1878 г. во Владивостокѣ. Въ одной семьѣ четверо дѣтей отъ 3 до 7 лѣтъ повторяли слова, обращенныя къ нимъ, сказанныя въ ихъ присутствіи или произнесенныя кѣмъ-нибудь изъ нихъ самихъ, и продолжали все то, что дѣлали другіе. Рассказывая что-нибудь, ребенокъ услышитъ какое-нибудь слово, сказанное другимъ, повторить его и затѣмъ опять продолжаетъ свой рассказъ. «Дисциплина не повела ни къ чему».

Въ прошломъ году вышла въ русскомъ переводѣ подъ редакціей харьковскаго профессора Ковалевскаго брошюра Оберштейнера «Гипнотизмъ». Авторъ упоминаетъ мимоходомъ о занимающемъ насъ явленіи и увѣряетъ (даже въ русскомъ переводѣ), что въ восточной Сибири существуютъ люди, которыхъ тамъ называютъ «мирячитами».

Мнѣ, къ сожалѣнію, неизвѣстны ни работа Hammond'a о *miryachit'*, ни книга Арманге, но, судя по странной конструкціи этого слова, я полагаю, что это есть не ad hoc изобрѣтенный Hammond'омъ научный терминъ, какъ можно бы было думать на основаніи замѣтки г. Г. Ск., а неокончательное наклоненіе того-же сибирско-инородческаго глагола: *miryachit*, *мирячить*, *меряжать*. Отсюда же и приводимые Бріеръ-де-Буамономъ термины Кохрана: *imerachisme*, *imerach*. А такъ какъ слово это съ малыми измѣненіями употребляется и якутами и самоѣдами и совсѣмъ неизвѣстно въ европейской Россіи, то надо полагать, что оно и не отъ слова «міръ» происходитъ. Дѣло, впрочемъ, не въ происхожденіи слова, а въ поразительной разбросанности и взаимной отчужденности научныхъ наблюденій и сообщеній. Д-ръ Янковскій только замѣткой г. Г. Ск. о книгѣ Арманге подвигнулъ на опубликованіе своихъ наблюденій и, повидимому, совсѣмъ не знаетъ д-ра Кашина, почти тождественное сообщеніе котораго о наблюденіяхъ, сдѣланныхъ въ тѣхъ же мѣстахъ, напечатано еще въ 1868 году, а Ко-

хранъ видѣлъ еще въ двадцатыхъ годахъ тѣ же явленія у самоѣдовъ, и его сообщеніемъ воспользовался такой достаточно извѣстный ученый, какъ Бріеръ-де-Буамонъ. Только благодаря этой разрозненности, конечно, и могъ получиться такой странный эффектъ, какъ превращеніе полурусскаго глагола «мерячить», даже у русскихъ писателей, въ научный терминъ *miryachit*.

Но все это можетъ быть еще не столь удивительно, какъ то, что даже при теперешней модѣ на гипнотизмъ ни одинъ изъ упомянутыхъ писателей (кромѣ Оберштейнера) не остановился хотя бы вскользь на близости *miryachit*'а съ состояніемъ гипнотизированныхъ. Тотъ полный автоматизмъ, и въ тѣхъ же двухъ формахъ повиновенія и подражанія, который достигается при гипнотизмѣ пассажи, созерцаніемъ блестящаго шарика, прислушиваніемъ къ тиканію часовъ, вообще намѣреннымъ сосредоточеніемъ вниманія на одномъ какомъ-нибудь простомъ, элементарномъ впечатлѣніи, является здѣсь результатомъ какихъ-то непреднамеренныхъ житейскихъ условій. Введя эти условія въ кругъ изученія гипнотическихъ явленій, мы очевидно выиграемъ лишнюю точку опоры, а въ свою очередь то, что намъ уже извѣстно о гипнотизмѣ, можетъ пролить свѣтъ на «странную болѣзнь», какъ называетъ омеряченіе д-ръ Янковскій. А затѣмъ слѣпое повиновеніе и подражаніе, и какъ чисто психологическіе моменты, должны для насъ уясниться. Въ частности, по отношенію къ занимающей насъ патологической магіи во всемъ ея историческомъ развитіи, могли бы быть сдѣланы немаловажные выводы. Таинственная власть человѣка надъ человѣкомъ, власть чисто психическая, независимая отъ какихъ-нибудь юридическихъ нормъ или экономическихъ условій или грубой физической силы, играетъ въ этой магіи выдающуюся роль. Маги и чародѣи, сплосъ и рядомъ не имѣя за собою, повидимому, никакихъ внѣшнихъ преимуществъ, а иногда лишенные и высокихъ духовныхъ качествъ, тѣмъ не менѣе пользовались огромнымъ вліяніемъ на современниковъ вообще и въ частности на той же почвѣ психическаго вліянія совершали дѣйствительно чудеса, то есть такія дѣла, которыя въ то время не могли быть включены въ естественную цѣпь причинъ и слѣдствій. Теперь намъ въ этихъ чудодѣйствахъ разобраться уже не трудно. Пересматривая, напримѣръ, чудесную исторію знаменитаго въ языческой древности Аполлонія Тианскаго, мы не увидимъ никакой надобности ни отрицать всѣ его чудодѣйства, какъ сказку, ни приписывать ихъ исключительно ловкому обману. Такъ, извѣстный случай якобы воскрешенія имъ мертвой дѣвушки просто объ-

ясняется его наблюдательностью, дозволив-
шею ему усмотрѣть, что дѣвушка (ее несли
на костеръ) еще жива, и можетъ быть онъ
и самъ не имѣлъ намѣренія вводить зрителей
на этотъ счетъ въ заблужденіе. А его чудес-
ныя исцѣленія и изгнанія бѣсовъ практи-
куются теперь Шарко въ Сальпетріерѣ, по-
жалуй г. Фельдманомъ у насъ, вообще весьма
многими смертными, безъ всякаго магиче-
скаго антуража, и никому не доставляютъ
титула мага или чудодѣя. Аполлоній прошелъ
школу индійской тайной мудрости и могъ
тамъ научиться секретамъ поработенія чуж-
дой воли и опустошенія чужого сознанія,
нынѣ уже не составляющимъ тайны. Но
надо еще имѣть въ виду и другую сторону
дѣла. Нѣкоторые жители Якутской области
или самоѣды или американскіе гимнасты или
жители Малайскаго архипелага не нуждаются
ни въ пассахъ, ни въ какихъ другихъ пред-
намѣренныхъ техническихъ приемахъ гипно-
тизации, чтобы впасть въ состояніе автома-
тическаго подражанія и покорности. Это
состояніе является продуктомъ какихъ-то
условій ихъ жизни и взаимнаго общенія, ибо,
какъ мы видѣли, «странная болѣзнь» зара-
зительна. Быть можетъ и Аполлоній Тіанскій
имѣлъ передъ собой подобный же готовый
матеріалъ, безъ всякихъ индійскихъ секре-
товъ готовый къ автоматической покор-
ности.

Къ сожалѣнію, уже одной вышеприведен-
ной исторіи *mirgachit'a* достаточно, чтобы
видѣть, какъ мало до сихъ поръ обращается
вниманія на черты сходства всѣхъ явленій
подражанія и повиновенія и какъ еще далеки
люди науки отъ суммированія, подведенія
итога этимъ явленіямъ. Если даже отъ «по-
дражательнаго нейроза», — онъ же *chorea
imitatoria*, омеряченіе, *imerachisme*, *mirgachit* —
не перекинуть мостъ къ гипнотизму, то
тѣмъ паче нѣтъ его между этимъ послѣднимъ
и такими историческими явленіями, которыя
быть можетъ и нельзя назвать въ строгомъ
смыслѣ патологическими.

VI.

Обратимся къ сообщенію г-жи Радда-Бай
объ охотѣ курумбовъ на птицъ. Въ сообщеніи
этомъ есть намекъ на какую-то предвари-
тельную магическую манипуляцію съ жердоч-
кой, на которую птица должна сѣсть: прежде
чѣмъ укрѣпить жердочку, охотникъ зачѣмъ-
то «вертитъ ее въ рукахъ, словно полируетъ
ее». Надо замѣтить, что эта подробность
стоитъ внѣ тѣхъ ковычекъ, въ которыя вклю-
ченъ рассказъ Бетлора о видѣнной имъ
охотѣ. Конечно, г-жа Радда-Бай не сама ее
выдумала, но мы не знаемъ все-таки, какое
мѣсто занимаетъ она въ подлинномъ раз-

сказѣ Бетлора и какъ она тамъ изложена.
Мы не беремся поэтому о ней судить и
только приведемъ, по Сальверту, нѣкоторые
изъ собранныхъ имъ случаевъ этого рода
магическихъ операцій съ животными.

При Вителліи нѣкто Марикъ, выдававшій
себя за Бога, поднялъ возстаніе въ Галліи.
Онъ былъ побѣжденъ, взятъ въ плѣнъ и
осужденъ на растерзаніе дикими звѣрями.
Но совершилось чудо: звѣри не тронули его,
что какъ бы служило подтвержденіемъ его
дерзкому самозванству; тогда Вителлій при-
казалъ его удавить, что и было исполнено
безъ препятствій. — Египтянинъ Серапіонъ
предсказалъ Каракаллѣ скорую смерть. За
это на него выпустили голоднаго льва, но
Серапіонъ протянулъ льву руку, и тотъ не
тронулъ его. Другая казнь прикончила Сера-
піона. — Въ Индіи существовала ордалія, по
которой обвиняемый долженъ переплыть
рѣку, населенную крокодилами, и были слу-
чай, что эти животныя доставляли несчаст-
ному оправданіе то-есть почему-то не смѣли
его тронуть. — Мексиканскіе жрецы смазы-
вали себѣ тѣло какой-то мазью, которой
приписывали магическое дѣйствіе, и затѣмъ
спокойно разгуливали по ночамъ въ мѣстахъ,
населенныхъ дикими звѣрями. — Цѣлыя
группы людей занимались въ древности, за-
нимаются и теперь укрощеніемъ змѣй. — Въ
Лондонѣ есть искусники, умѣющие среди
бѣла дня вызывать мышей и загонять ихъ въ
мышеловку. Секретъ ихъ состоитъ будто бы
въ томъ, что они кладутъ въ мышеловку нѣ-
сколько соломинокъ, смазанныхъ анисовымъ
или тминнымъ масломъ. — Читатель, уже
знакомый съ взглядами Сальверта, догады-
вается, что для него объясненіе всѣхъ по-
добныхъ фактовъ лежитъ именно въ разныхъ
мазяхъ, привлекающихъ животныхъ или, на-
противъ, внушающихъ имъ отвращеніе. Онъ
рѣшилъ бы, конечно, что и курумбы не
просто вертятъ жердочку въ рукахъ, а чѣмъ-
нибудь ее смазываютъ, и можетъ быть онъ
былъ бы не совсѣмъ неправъ. Мы не рѣша-
емся, однако, настаивать на этомъ предпо-
ложеніи, какъ потому, что роль манипуляціи
съ жердочкой намъ совсѣмъ не ясна, такъ
и изъ боязни разсердить г-жу Радда-Бай.
Она утверждаетъ, между прочимъ, что на
ея любимцевъ тоддовъ никогда не напада-
ютъ никакіе звѣри, хотя они ходятъ безоруж-
ные. Одно приводимое г-жею Радда-Бай
постороннее мнѣніе гласитъ, что на тоддовъ
дѣйствительно рѣдко (а не то, чтобы ужъ
совсѣмъ никогда) нападаютъ звѣри и что это
объясняется особеннымъ, свойственнымъ имъ
непріятнымъ запахомъ. За такое оскорби-
тельное предположеніе г-жа Радда-Бай ру-
гаетъ его автора чуть не прямо дуракомъ,
хотя о курумбахъ сама говоритъ, что отъ

нихъ пахнетъ, по крайней мѣрѣ для человѣческаго обонянія, невыносимо скверно.

Гораздо интереснѣе роль упорнаго и сосредоточеннаго взгляда, которымъ курумбы очаровываютъ птицу. Мы не видимъ въ этомъ фактѣ ничего невѣроятнаго, но и ничего отъ «черной магіи», столь знакомой, по словамъ г-жи Радда-Бай, курумбамъ. Кто присутствовалъ при представленіяхъ укротителей звѣрей, тотъ знаетъ, что укротитель выходитъ изъ клѣтки льва или тигра непременно задомъ, не спуская глазъ со звѣря, ибо стѣснить ему только повернуться, какъ звѣрь съ нимъ покончитъ. Въ брошюрѣ Бенедикта «Каталепсія и месмеризмъ» есть свѣдѣніе о практикуемомъ въ австрійской арміи «балассированіи» горячихъ и злыхъ лошадей. Этотъ способъ укрощенія предложенъ венгерцемъ Баласса и состоитъ или въ крестообразномъ поглаживаніи ладонью по лбу и по глазамъ, или въ упорномъ, неподвижномъ взглядѣ, при помощи котораго лошады «можно завладѣть до такой степени, что многія лошади не двинутся, если даже вблизи ихъ выстрѣлятъ». Звѣря тоже только упорнымъ и неподвижнымъ взглядомъ очаровываетъ птицу или какое-нибудь мелкое млекопитающее до такой степени, что оно, какъ бы во исполненіе ея желанія или приказанія, падаетъ къ ней прямо въ раскрытую пасть. Такъ и курумбы. Но прежде, чѣмъ разсмотрѣть, въ чемъ тутъ собственно дѣло, позабавимся, разъ ужъ зашла рѣчь о глазахъ и вліяніи взгляда, небольшимъ букетомъ анекдотовъ.

Въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» 1883 г. (№ 84) рассказана со словъ одного иностраннаго журнала слѣдующая исторія.

Въ числѣ любимцевъ парижской публики временъ второй имперіи видное мѣсто занималъ оперный пѣвецъ Массоль. Это былъ странный человѣкъ: угрюмый, молчаливый, несообщительный, съ мрачно блестящими черными глазами, по поводу которыхъ ходилъ слухъ, что у него «дурной глазъ». Однажды давали оперу Галеви «Король Карлъ VI», лучшимъ номеромъ которой считалась такъ называемая «арія проклятія», всегда вызывавшая бурные аплодисменты. Когда эту арію пѣлъ однажды Массоль, онъ, согласно роли, обратилъ глаза къ небу, умоляя Всевышняго ниспослать проклетіе на головы его враговъ. Притаивъ дыханіе, публика слѣдила за пѣвцомъ и, едва онъ кончилъ, раздались оглушительные аплодисменты. Но вдругъ замерли оваціи; съ высоты, куда обращены еще были взоры пѣвца, упалъ на сцену машинистъ-рабочій и былъ вынесенъ уже трупомъ. Тяжкое впечатлѣніе, произведенное этимъ случаемъ, побудило снять на нѣкоторое время «Карла VI» съ репертуара.

Но, наконецъ, опера снова появилась на афишѣ. Массоль, на котораго случай съ рабочимъ произвелъ сильное впечатлѣніе, во время аріи проклятія смотрѣлъ уже не на верхъ, а на оркестръ, преимущественно на дирижера. Но какъ только пропѣта была «арія проклятія», капельмейстеръ Габенекъ почувствовалъ себя дурно, уѣхалъ домой и на третій день умеръ. Теперь упорнѣе, чѣмъ когда-нибудь, сталъ держаться слухъ о «дурномъ глазѣ» Массоля. Когда опера Галеви снова была назначена, многіе побоялись ѣхать въ театръ. Но все-таки народу набралось много, и изъ ложъ всего одна была пустая. На нее-то и смотрѣлъ Массоль, самъ съ волненіемъ относясь къ «аріи проклятія». Какъ разъ, однако, въ это время вошелъ въ ложу человѣкъ, и попалъ какъ разъ подъ взоры пѣвца. Это былъ богатый негоціантъ, который вскорѣ умеръ отъ разрыва сердца. Наконецъ, Массоль, утомленный артистическою дѣятельностью, рѣшилъ сойти со сцены. Прощальный спектакль происходилъ 14 января 1858 г. Назначенъ былъ «Вильгельмъ Телль». Избраннѣйшее общество наполнило театръ. Императоръ и императрица тоже хотѣли проститься съ Массолемъ, но когда они ѣхали въ театръ, произошло покушеніе Орсини, не помѣшавшее, впрочемъ, Наполеону и Евгенію явиться въ ложъ и досидѣть до конца представленія.

Эта любопытная исторія есть въ цѣломъ именно букетъ анекдотовъ, въ составъ котораго входятъ однако элементы весьма различной цѣнности. Понятно, что совпаденіе покушенія Орсини съ прощальнымъ спектаклемъ Массоля не имѣетъ никакого отношенія къ глазамъ пѣвца; оно не случайно развѣ можетъ быть только въ томъ отношеніи, что заговорщики, зная, что Наполеонъ пріѣдетъ на прощальный спектакль общаго любимца, выбрали этотъ день для исполненія своего предпріятія. Но легенды всегда складываются по принципу поговорки о бѣдномъ Макарьѣ и валящихся на него шишкахъ. Герои легенды, не говоря о прямыхъ выдумкахъ, ставятся на счетъ всякія случайности, способны придать его облику таинственный блескъ. И въ этомъ отношеніи рассказанная исторія Массоля поучительна своею тишиною. Да и вообще человѣкъ, такъ или иначе обратившій на себя общественное вниманіе, всегда можетъ рассчитывать на подобныя біографическія наросты. Едва-ли, однако, будетъ благоразумно такъ-таки прямо признать этого-же рода случайными наростами два первые эпизода изъ приведенной исторіи, то-есть смерть машиниста и капельмейстера (смерть негоціанта, повидимому, должна быть отнесена къ числу наростовъ). Дѣло тутъ, конечно, не въ «дурномъ глазѣ»

пѣвца, а во взглядѣ упорномъ, сосредоточенномъ, усиленно привлекающемъ вниманіе того, на кого онъ устремленъ, въ связи съ предрасполагающей извѣстнымъ образомъ и настраивающей фантазію репутаціей Масоля.

Разсуждая объ очарованіи, производимомъ змѣями на птицъ и мелкихъ млекопитающихъ, Бредъ пытался пустить въ ходъ чрезвычайно удачные, по точности и выразительности, термины, къ сожалѣнію не привившіеся. То состояніе поглощенного змѣинымъ взглядомъ вниманія, въ которомъ находится очарованное животное, онъ называлъ «моноидеизмомъ», а соответственную безсознательную, непривольную и даже противовольную мускульную дѣятельность, ввергающую животное въ пасть змѣи, — «моноидео-динамическою». Если эти термины, какъ впрочемъ и весьма многіе научные термины, которымъ посчастливилось въ смыслѣ всеобщаго употребленія, немножко неуклюжи, такъ зато они превосходно выражаютъ самую суть явленія, его коренную черту. Держась этихъ терминовъ, попробуемъ дать наглядное объясненіе, котораго самъ Бредъ не имѣлъ въ виду.

Чары змѣи состоятъ въ томъ, что она, своимъ пристальнымъ взглядомъ, всецѣло овладѣваетъ вниманіемъ животного, такъ что доступъ постороннимъ впечатлѣніямъ на это время совсѣмъ или почти совсѣмъ прекращается. Въ сознаніи животного водворяется какъ-бы пустыня, безгласная, безцвѣтная, безобразная, среди которой ярко горитъ лишь одинъ единственный пунктъ, — этотъ странный, упорный взглядъ змѣи, грозящій какою-то опасностью. Такое состояніе моноидеизма, одноидейности, придавливая сознаніе, вытѣсняя изъ него всю нормальную игру сложныхъ и разнообразныхъ впечатлѣній, въ то же время парализуетъ и волю, отдавая ее во власть того единственного пункта, который блеститъ въ опустошенномъ сознаніи животного, можно сказать единственного, который для него теперь существуетъ. Сосѣднія вѣтки деревьевъ, на которое животное можетъ отпрыгнуть, волны воздуха, по которымъ птица можетъ, взмахнувъ крыльями, улѣтѣть за тридевять земель отъ пресмыкающейся чаровницы, самыя эти крылья, самая способность владѣть ими, — все это вытѣснено изъ сознанія очарованной жертвы. Для нея не существуетъ ничего, кромѣ жаднаго змѣиного взгляда и разверстой пасти. Поэтому она уже не можетъ убѣжать, улѣтѣть, вообще совершить какое-нибудь цѣлесообразное произвольное дѣйствіе, подсказываемое, казалось бы, самымъ элементарнымъ чувствомъ самосохраненія. Ея мускульная дѣятельность можетъ быть только автомати-

ческой, и именно «моноидео-динамическою», то-есть состоятъ въ движеніи по направленію къ единственно существующему пункту чаръ. Нѣчто подобное каждый изъ насъ много разъ наблюдать, когда мотылекъ, неотступно кружась около свѣчки, наконецъ падаетъ въ огонь. Онъ тоже всецѣло поглощенъ впечатлѣніемъ свѣта и, въ этомъ своемъ моноидеизмѣ, не можетъ отлетѣть отъ мѣста своей гибели, а невольно и противовольно возвращается къ нему, даже испытывавъ обжогъ: ему больше некуда летѣть, потому что, кромѣ свѣчки, для него ничего не существуетъ.

Что доступно глазу змѣи, то, конечно, доступно и глазу курумба, а потому, допуская фактическую вѣрность разсказа Бетлора, намъ не зачѣмъ искать здѣсь, подобно г-жѣ Радда-Бай, слѣдовъ черной магіи, то-есть общенія съ какими-то тайными злыми силами. Вся охота курумбовъ на птицъ, за исключеніемъ проблематической манипуляціи съ жердочкой, представляетъ просто одинъ изъ случаевъ магіи патологической, извѣстнаго болѣзнетворнаго воздѣйствія на нервную систему добычи.

Вполнѣ вѣроятно, что паденіе и смерть машиниста послѣ «аріи проклятія» и затѣмъ болѣзнь и смерть капельмейстера послѣ той же роковой аріи — относятся сюда же. Машинистъ едва-ли не буквально повторяетъ своимъ паденіемъ исторію животного, падающаго въ пасть змѣи, или мотылька, бросающагося въ огонь. Изъ страннаго и мрачнаго взгляда пѣвца, обращеннаго прямо на несчастнаго машиниста, изъ его таинственной репутаціи, изъ самаго содержанія «аріи проклятія» слѣдуетъ, что всецѣло овладѣваетъ вниманіемъ машиниста. Для него тоже не существовало ничего — ни правой, ни лѣвой стороны, ни верху, ни низу, ни театральнаго зала, ни опасности, ничего, кромѣ единственного пункта, къ которому и направилась его «моноидео-динамическая» мышечная дѣятельность. Что касается капельмейстера, то объясненію подлежитъ здѣсь только болѣзнь, потому что послѣдовавшая за нею смерть не представляетъ уже ничего удивительнаго. Въ этомъ случаѣ «моноидеизмъ» не достигъ той степени, которая разрѣшается соответственными сокращеніями мышцъ, и дѣло сводится къ игрѣ воображенія. Намъ еще, вѣроятно, придется говорить о роли воображенія въ явленіяхъ патологической магіи, и здѣсь мы ограничимся только ссылкой на Карпентера, у котораго читатель найдетъ и массу фактовъ, и обоснованіе общаго принципа, гласящаго такъ: «психическія состоянія способны производить реальныя опущенія». Въ примѣненіи къ нашему примѣру это значитъ, что

капельмейстеръ, находясь подъ вліяніемъ репутаціи «дурного глаза» Массоля и въ частности надѣлавшей шуму и можетъ быть на его глазахъ случившейся исторіи съ машинистомъ, видя вдобавокъ этотъ страшный «дурной глазъ» прямо на себя устремленнымъ, трепетно ожидать худа и вслѣдствіе этого дѣйствительно получилъ его.

Возвращаясь къ чарамъ змѣи, вспомнимъ, что и на эту пресмыкающуюся чаровницу есть управа, и именно при помощи чаръ, аналогичныхъ тѣмъ, которыми она сама пользуется. Индійскій заклинатель дудитъ на своей дудкѣ монотонные, простые звуки, заставляя которые, змѣя подползаетъ къ нему, приподнимаетъ переднюю часть тѣла, и этою вертикально стоящею частью туловища автоматически повторяетъ движенія музыканта-заклинателя; онъ качнется вправо и она — вправо, онъ влѣво, и она тоже, а по прошествіи нѣкотораго времени заклинатель схватываетъ змѣю и спокойно кладетъ ее въ корзинку. Почему змѣи оказываются столь музыкальными натурами, это остается и вѣроятно всегда останется неизвѣстнымъ. Надо замѣтить, что отнюдь не однѣ змѣи столь чувствительны въ этомъ отношеніи, а и животныя, гораздо ниже стоящія на зоологической лѣстницѣ. Мнѣ самому случилось быть свидѣтелемъ, какъ черные скорпіоны выползали изъ щелей на звуки музыки. Интересующая насъ часть индійскаго фокуса состоитъ, впрочемъ, не въ музыкальности змѣи, а въ той безволивости, до которой ее доводятъ однообразные звуки индусской дудки. Мы и въ этомъ случаѣ имѣемъ дѣло съ моноидеизмомъ, достигаемымъ на этотъ разъ не зрительнымъ впечатлѣніемъ, которое подкашиваетъ жертву змѣи, а слуховымъ: змѣя, подстрекаемая своею любовью къ музыкѣ, выползаетъ на звуки, а затѣмъ все ея вниманіе цѣлкомъ поглощается источникомъ этихъ звуковъ: она уже ничего не видитъ, вообще ничего не воспринимаетъ, кромѣ дудящаго музыканта, и потому не можетъ дѣлать иныхъ движеній, кромѣ тѣхъ, какія продѣлываетъ предметъ ея сосредоточеннаго вниманія.

Въ настоящее время нѣтъ никакихъ сомнѣній или пререканій относительно условій, при которыхъ наступаетъ гипнозъ. Всѣми признано, что условія эти состоятъ въ однообразномъ, равномерномъ и слабomъ раздраженіи зрительныхъ, слуховыхъ или кожныхъ нервовъ, каковое равномерное однообразие, опустошая сознаніе, вслѣдъ затѣмъ сосредоточиваетъ его на одномъ какомъ-нибудь явленіи. Широкій умъ Брэда, впервые установившаго эти условія и этотъ основной принципъ гипнотизма и выразившаго этотъ послѣдній словомъ «моноидеизмъ», охватывалъ

и нѣкоторыя отсюда вытекающія социологическія слѣдствія. Онъ говоритъ, напримѣръ: «Извѣстно, что курица становится неподвижною, если держать ея клювъ на полу или на столѣ, принуждая ее такимъ образомъ смотрѣть на черту, проведенную мѣломъ, или на положенную передъ ней полоску цвѣтной бумаги. Совершенно такъ же, уже 2.400 лѣтъ, поступаютъ индійскіе факиры, которые, для удовлетворенія своей релігіозной потребности, приводятъ себя въ оцѣпенѣніе, напряженно созерцая кончикъ своего носа или другую часть тѣла, или какой-нибудь неодушевленный предметъ, напримѣръ, изображеніе бога. Главное дѣло здѣсь въ духовномъ отвлеченіи, въ сосредоточеніи вниманія, причемъ душевная дѣятельность до такой степени поглощается извѣстными представленіями и идеями, что постороннія впечатлѣнія или совѣтъ не воспринимаются, или, по крайней мѣрѣ, не вполне ясно сознаются» (op. cit. 99—100). Въ другомъ мѣстѣ, опредѣливъ послѣдовательность ступеней гипноза, Бредъ замѣчаетъ, что нѣкоторыя явленія наступаютъ почти у всѣхъ пациентовъ во второй стадіи, частью и въ первой, а «если они (пациенты) умственно ограничены, легковѣрны, слишкомъ богаты фантазіей или *приспособились къ узкому кругу интересовъ*, то иногда и *въ бодрствѣнномъ состояніи*... Явленіе это есть результатъ не внѣшняго физическаго впечатлѣнія, но изнутри дѣйствующаго психическаго наводненія (Blendwerk въ нѣмецкомъ переводѣ), которое до такой степени помрачаетъ разумъ и волю нѣкоторыхъ людей, что, безусловно управляемые другимъ человѣкомъ и дѣйствуя какъ марионетки, они только по его волѣ и подъ его руководствомъ видятъ, слышатъ, ощущаютъ, чувствуютъ и двигаются» (34). Протекающее отсюда повелительное наклоненіе гласитъ, что для сохраненія здороваго духа въ здоровомъ тѣлѣ необходимо управленіе *всѣхъ* нашихъ способностей; одностороннее же замыканіе въ кругъ узкихъ интересовъ, крайне вредное вообще, въ частности ведетъ къ тѣмъ уродствамъ души, которыя въ своей явно-патологической формѣ составляютъ область гипнотизма (114 и др.).

Такимъ образомъ Бредъ уже въ сороковыхъ годахъ указалъ, правда, очень бѣгло и лишь въ самыхъ общихъ чертахъ, тѣ условія, при которыхъ безъ всякихъ искусственныхъ, техническихъ приѣмовъ гипнотизированія самую жизнь устанавливается благодарная для автоматической покорности и подражанія, а слѣдовательно и для патологической магіи, почва. Условія эти состоятъ въ однообразіи впечатлѣній, скудости жизни, узости интересовъ, односторонности духовной дѣятельности. Всякій разъ, какъ обстоятельства

мѣста и времени, то-есть условія историческія, географическія и проч., настраиваютъ общественныя отношенія въ этомъ направленіи можно ожидать обильнаго урожая людей съ опустошеннымъ сознаниемъ и обезсиленной волей. А затѣмъ уже, по пословицѣ— «было бы болото, а черти найдутся», являются кудесники и чудодѣи, первоначально, можетъ быть, не только далекие отъ какихъ-нибудь ясныхъ плановъ и программъ дѣятельности, но совершенно не сознающіе, въ чемъ дѣло, въ чемъ секретъ ихъ силы, и сами недоумѣвающие передъ ней. Они видятъ только, что имъ люди повинуются, какъ бы въ самомъ дѣлѣ очарованные, потому что повиновение это заходитъ далеко за предѣлы, достигаемые обыкновенными путями угрозы, убѣжденія, просьбы.

Въ вышеупомянутомъ предисловіи къ книгѣ Сальверта Литтре дѣлается очень наглядную характеристику магіи вообще. «Тайная наука (la science occulte), — говоритъ онъ, — представляетъ полную непропорціональность между причиною и слѣдствіемъ... Въ мірѣ магическихъ явленій преобладаетъ воля, — либо воля сверхъестественныхъ существъ, которую магъ умѣетъ покорить себѣ, либо человеческая воля, непосредственно управляющая природой. Воля, безъ сомнѣнія, обладаетъ способностью приводить матерію въ движеніе; такъ, малѣйшее желаніе животнаго или человѣка сообщаетъ движеніе не только его мышцамъ, но и вѣшнымъ предметамъ, къ которымъ онъ прикасается. Но разница между магическимъ міромъ и міромъ естественнымъ состоитъ въ томъ, что въ послѣднемъ воля производитъ движеніе при посредствѣ нервовъ и мышцъ, а въ области магіи не нужны ни нервы, ни мускулы, достаточно одной воли, воли абстрактной». Словомъ, въ магическомъ мірѣ все происходитъ «по щучьему велѣнію, по моему прошенью». Такъ представляется дѣло не только жертвамъ и свидѣтелямъ магическихъ операций, но и самимъ магамъ и волшебникамъ, за исключеніемъ, конечно, тѣхъ, не интересующихъ насъ здѣсь случаевъ, когда они прибѣгаютъ къ простымъ обманамъ и фокусамъ. Въ средѣ «омеряченныхъ», то-есть въ большей или меньшей степени гипнотизированныхъ условіями жизни, является человѣкъ, продѣлывающій то же самое, что какой-нибудь Шарко или Бони продѣлываетъ надъ настоящими гипнотиками, съ тою, разумѣется, разницей, что это не ученый врачъ или профессоръ, а такой-же невѣжественный человѣкъ, какъ и окружающая среда, только быть можетъ болѣе другихъ наблюдательный, пронырливый и способный къ сосредоточенію мысли. Онъ, какъ Шарко, приказываетъ больному ходить, — и тотъ ходитъ; онъ, какъ

Бони, положимъ, вызываетъ и потомъ прогоняетъ нѣсколькими словами въ повелительномъ наклоненіи какую-нибудь накожную болѣзнь; онъ, какъ Рише, оборачиваетъ человѣка въ зайца или волка, и тотъ субъективно, то-есть въ своемъ опустошенномъ сознаніи, дѣйствительно становится оборотнемъ и бѣгаетъ по лѣсамъ и полямъ, и т. п. Понятное дѣло, что, не говоря уже объ окружающихъ, объектахъ и свидѣтеляхъ этихъ необыкновенныхъ происшествій, онъ и самъ долженъ прійти къ заключенію о необыкновенномъ могуществѣ его воли. Онъ легко можетъ совершенно добросовѣстно подняться до самыхъ дерзкихъ мыслей о своей сверхъестественной мощи и сплести свое имя съ существующими въ данной средѣ мѣрами, или же создать своей собственной персоной новый мифъ. А разъ сложилась репутація чудодѣя, окруженная вдобавокъ мистическимъ ореоломъ, открывается обширное поприще для воображенія и «выжидательнаго вниманія», играющихъ въ человеческой жизни столь выдающуюся роль.

VII.

Значеніе этихъ психическихъ факторовъ извѣстно читателямъ по самымъ обыденнымъ житейскимъ явленіямъ. Кто, напримѣръ, не знаетъ, что человѣку, пользующемуся репутаціей остроумца, достаточно иногда просто только появиться въ обществѣ и сказать нѣсколько совсѣмъ незначительныхъ словъ, чтобы на лицахъ присутствующихъ уже отразилось впечатлѣніе какъ бы дѣйствительно услышаннаго остраго слова. Выжидательное вниманіе этихъ присутствующихъ такъ напряжено, что забѣгаетъ факту впередъ и еще до его реального осуществленія вызываетъ соотвѣтственное, исполнѣнное ощущеніе, со всѣми его физиологическими послѣдствіями.

Но влияніе выжидательнаго вниманія, равно какъ и воображенія, можетъ идти гораздо глубже и выражаться гораздо ярче, чѣмъ въ этомъ и тому подобныхъ случаяхъ обыденной жизни. Одинъ, цитируемый Карпентеромъ, писатель говоритъ: «Можно сказать навѣрное, что каждая система дѣянія, какъ-бы ни была она нелѣпа, но репутація дѣйствительности которой распространилась въ публикѣ, — каждый индивидуумъ, который, благодаря случаю или умышленному обману, приобрѣлъ славу обладанія особымъ цѣлительнымъ даромъ, — привлекутъ множество страдающихъ всевозможными недугами, и изъ нихъ нѣкоторые могутъ быть *дѣйствительно* выздоровѣть вслѣдствіе твердой увѣренности въ ожидающемъ ихъ исцѣленіи, другіе-же *вообразятъ* себя выздоровѣвшими,

по крайней мѣрѣ на нѣкоторое время. По этой самой причинѣ нѣтъ миеологической системы, могущей насчитать достаточное число горячихъ приверженцевъ, которая не могла-бы похвастать чудесами этого рода». Порукой въ справедливости этихъ словъ можетъ служить хотя-бы то удивительное, что происходило въ Парижѣ, въ первой половинѣ прошлаго столѣтія, на могилѣ діакона Пари. Среди всякаго рода неистовствъ, конвульсій, передававшихся отъ одного къ другому путемъ психической заразы, здѣсь происходили и дѣйствительныя исцѣленія. То же было и съ Месмеромъ и проч. и проч.

Въ статьѣ «Герои и толпа» были приведены нѣкоторые поразительные примѣры тѣхъ глубокихъ измѣненій, какія способно производить въ организмъ человѣка чрезмѣрно усиленное вниманіе, внезапно-ли насторженное какимъ-нибудь чрезвычайнымъ явленіемъ, или какъ результатъ продолжительной фиксации. Намъ не зачѣмъ поэтому тревожить теперь относящійся сюда обширный фактический матеріалъ, тѣмъ болѣе, что въ основѣ его лежитъ тотъ-же принципъ, на которомъ покоятся и вышеприведенныя чудеса гипнотизма, «чудеса въ рѣшетѣ науки», какъ выразился одинъ развязный газетный скептикъ. Если, напримѣръ, въ вышеприведенномъ случаѣ Брэда молоко появилось въ груди женщины вслѣдствіе внушенія въ состояніи гипноза, то ему въ совершенную параллель можетъ быть поставленъ фактъ, сообщаемый Лейкокомъ (приведенъ у проф. Манассеина «О значеніи психическихъ вліяній»): 48-ми-лѣтняя женщина, давно вступившая въ климактерическій періодъ, была сильно взволнована присутствіемъ при крайне трудныхъ родахъ своей дочери, и ея насторженное страданіями дочери вниманіе вызвало и у нея аналогичныя рѣзкія боли, а затѣмъ появилось и молоко въ грудяхъ. Дѣло здѣсь, очевидно, все въ томъ же, говоря языкомъ Брэда, моноидеизмъ. Но на этотъ разъ мы не можемъ довольствоваться тѣмъ чисто логическимъ объясненіемъ, которое удовлетворяло насъ при разсужденіи о животномъ, безвольно ввергающемся въ пастъ змѣи, и о самой змѣѣ, столь-же безвольно отдающей во власть заклинателя. Тамъ мы имѣли дѣло съ движеніемъ всей массы животного по направленію къ предмету, поглотившему его вниманіе, и намъ казалось исполнѣ понятною и легко объяснимою эта моноидео-динамическая мускульная дѣятельность, направленная къ единственной существующей для очарованнаго животнаго точкѣ. Но въ занимающихъ насъ теперь случаяхъ дѣло не въ движеніи всего организма, а въ специальныхъ измѣненіяхъ, имѣющихъ

при извѣстныхъ условіяхъ мѣсто въ отдѣльныхъ органахъ.

Одно изъ общихъ положеній физиологіи гласитъ, что всякое представленіе, возникающее въ мозгу человѣка, отражается непроизвольно дѣятельностью разныхъ частей организма, причѣмъ между характеромъ представленія съ одной стороны и возбужденными къ дѣятельности частями чувствительно-двигательнаго механизма съ другой—имѣется определенное соотвѣтствіе. Такъ, когда голодный человѣкъ представляетъ себѣ что-нибудь вкусное, то нервное возбужденіе, распространяясь на слюнотдѣлительные нервы, вызываетъ усиленную дѣятельность слюнныхъ железъ, каковая усиленная дѣятельность была бы необходима въ томъ случаѣ, если бы въ ротъ голоднаго человѣка дѣйствительно попало это заманчивое, лишь представляемое имъ вкусное. Благодаря яркости представленія ѣды, человѣкъ переживаетъ до извѣстной степени состояніе ѣдащаго. Точно также, благодаря яркости представленія страданій родовъ, женщина Лейкока пережила состояніе роженицы до такой полноты, что у нея появились настоящія боли и спеціальныя отдѣленія молочныхъ железъ. Этимъ же властнымъ вторженіемъ духа, этою же реакціей его на физическую жизнь организма, объясняется и явленіе стигматизаціи, съ котораго мы начали нашу бесѣду. Понятное дѣло, что весь тотъ нелѣпый вздоръ, который Эмберъ разсказываетъ о бальзамѣ, истекающемъ изъ рта Пальмы, о сжигающемъ бѣлье внутреннемъ пламени и проч. и проч., не заслуживаетъ никакого вниманія. Но фактъ стигматизаціи, нуждающійся, разумѣется, въ каждомъ частномъ случаѣ въ провѣркѣ, не подлежитъ сомнѣнію, равно какъ несомнѣнно и объясненіе этого факта, столь удивительнаго, если его взять въ отдѣльности, и столь естественнаго въ ряду массы другихъ фактовъ того же порядка. Подробности читатель найдетъ въ статьѣ «Герои и толпа». Здѣсь замѣтимъ только, что соотвѣтствіе стигмъ съ язвами Христа далеко не всегда бываетъ полнымъ и у всѣхъ субъектовъ одинаковымъ, такъ какъ все явленіе определяется характеромъ субъективнаго представленія. Бурневиль (Science et miracle. Louise Lateau ou la stigmatisée belge, 1878) замѣчаетъ, что у Луизы Лато боковая язва была съ лѣвой стороны, тогда какъ у первообраза всѣхъ стигматиковъ она помѣщалась справа, что болѣе соотвѣтствуетъ преданію, какъ можно судить по картинамъ великихъ мастеровъ, помѣщающихъ обыкновенно воина, вооруженнаго копьемъ, съ правой стороны Распятаго.

Такимъ образомъ, исполнѣ признавая въ нѣкоторыхъ случаяхъ высокое молитвенное

настроеніе души стигматиковъ, — хотя здѣсь не мало бываетъ и кощунственнаго шарлатанства, — мы получаемъ вполне естественное объясненіе факта стигматизаціи. Это не чудо, а лишь одно изъ явленій патологической магіи, объясняющееся тѣмъ положеніемъ физиологіи, въ силу котораго всякое представленіе вызываетъ непроизвольную дѣятельность соотвѣтственныхъ частей организма.

Соотвѣтствіе это однако не всегда отличается тою цѣлесообразностью, какую мы имѣли въ случаѣ, напримѣръ, усиленной дѣятельности слюнныхъ железъ, вызываемыхъ представленіемъ вкусной пищи. Такъ, представленіе чего-нибудь позорнаго, срамнаго отражается на сосудо-двигательной системѣ такъ называемымъ краснѣніемъ лица и иногда части шеи. Органической надобности въ этомъ нѣтъ никакой, но тѣмъ не менѣе это соотвѣтствіе столь постоянно, что мы никогда не ошибемся, истолковывая краснѣніе психическимъ мотивомъ стыда или его видоизмѣненій, — негодованія, оскорбленнаго самолюбія. Языкъ жестовъ и мимики весь построенъ на такихъ, частью цѣлесообразныхъ, частью только постоянныхъ соотвѣтствіяхъ между извѣстными ощущеніями, представленіями, ихъ сложными комбинаціями въ видѣ чувствъ и мыслей съ одной стороны и множествомъ непроизвольныхъ движеній — съ другой. Этотъ языкъ непроизвольныхъ движеній такъ богатъ, точенъ и выразителенъ, что допускаетъ, какъ всякому извѣстно, настоящее «чтеніе мыслей». На той-же игрѣ непроизвольныхъ движеній, соотвѣтственныхъ вызвавшимъ ее ощущеніямъ и представленіямъ, основано и то чудесное «чтеніе мыслей», которымъ насъ недавно такъ занимали Бишопъ и Кумберлендъ.

Русские ученые встрѣтили опыты «чтенія мыслей» очень скептически. Это ихъ право, конечно. Они руководствовались приэтомъ искреннимъ желаніемъ обезпечить своихъ соотечественниковъ отъ вторженія новаго моднаго суевѣрія и оградить достоинство и интересы науки. И въ этомъ, разумѣется, ихъ заслуга, въ особенности въ наше сугубо сумбурное время, когда даже проповѣдь высокихъ нравственныхъ истинъ сплошь и рядомъ тащитъ за собой хвостъ отрицательнаго отношенія къ наукѣ и когда мы будто-бы до такой степени обременены знаніемъ, что даже непереносно. Но, быть можетъ, наши почтенные скептики упустили въ своемъ рвеніи изъ виду истину нѣмецкой поговорки, напоминающей о рискѣ выплеснуть изъ ванны, вмѣстѣ съ водой, и ребенка. Быть можетъ, стремясь доказать отсутствіе въ «чтеніи мыслей» чего-нибудь чудеснаго, то-есть необъяснимаго средствами науки, они нѣсколько съузили предѣлы компетенціи науки.

Обращаясь къ изслѣдованіямъ проф. Сикорскаго («Въ чемъ состоитъ такъ называемое чтеніе или узнаваніе мыслей другого?»), проф. Чирьева (публичная лекція «О физиологическихъ основаніяхъ такъ называемаго угадыванія мыслей»), проф. Тарханова («Гипнотизмъ, внушеніе и чтеніе мыслей»), мы прежде всего получаемъ твердую увѣренность, что Бишопъ или какой другой чтець отнюдь не есть сердцевѣдецъ, путемъ мистическаго наитія проникающій въ человѣческую душу. Убѣждаемся далѣе, что самый терминъ «чтеніе мыслей» неумѣстенъ или по малой мѣрѣ неточенъ, ибо никакого непосредственнаго чтенія мыслей, никакого непосредственнаго общенія читающаго мозга съ мозгомъ читаемымъ — нѣтъ и быть не можетъ. Общеніе есть, это фактъ, несомнѣнный для всякаго, кто хоть однажды присутствовалъ при опытахъ, но достигается оно совершенно не таинственнымъ путемъ. Мы видѣли, что всякое представленіе, да и всякій психическій актъ вообще заканчивается безсознательными, непроизвольными движеніями. Эти такъ называемыя психо-моторныя движенія, усиливающіяся при сосредоточенномъ вниманіи или ожиданіи извѣстнаго результата, часто не уловимы невооруженными органами чувствъ, но уловимы при помощи нѣкоторыхъ чувствительныхъ аппаратовъ. Однимъ изъ такихъ аппаратовъ является чтець мыслей. Сосредоточенно думая, напримѣръ, о поднятой рукѣ, мы невольно и безсознательно дѣлаемъ соотвѣтственныя движенія; чтець ихъ ловитъ и по характеру ихъ узнаетъ, о чемъ мы думаемъ. Все это читатель найдетъ въ болѣе развитомъ и доказательномъ изложеніи въ упомянутыхъ произведеніяхъ (да и во многихъ другихъ), а мы теперь обратимся къ вопросу о психическомъ состояніи чтеца. Находится ли онъ въ нормальномъ состояніи самообладанія и способности къ спокойнымъ, правильнымъ умозаключеніямъ, или же сознаніе его какъ-нибудь помрачено, подавлено, а онъ добирается до искомаго результата не путемъ логическихъ операцій, а какъ-нибудь иначе?

Вопросъ этотъ естественно возникаетъ въ виду нѣкоторыхъ гипнотическихъ опытовъ, дѣланныхъ еще въ сороковыхъ годахъ. Брэдъ, напримѣръ, дѣлалъ слѣдующее. Загипнотизировавъ чловѣка, онъ завязывалъ ему глаза, давалъ перчатку одного изъ присутствующихъ, незнакомыхъ ему людей и приказывалъ передать ее владѣльцу, и тотъ исполнялъ требуемое. Встрѣчный опытъ показалъ, что гипнотизированный руководствовался при этой отгадкѣ обонаніемъ, ибо, когда ему затыкали носовыя отверстія, онъ оказывался безсильнымъ найти владѣльца перчатки.

Этотъ опытъ, свидѣтельствующій, вмѣстѣ со множествомъ другихъ фактовъ, о необыкновенной повышенности воспримчивости къ вѣбнимъ впечатлѣніямъ у гипнотиковъ, весьма близокъ къ чтенію или отгадыванію мыслей. Естественно поэтому предположить, что психическое состояніе чтеца мыслей родственно состоянію гипноза.

Изъ вышеупомянутыхъ ученыхъ г. Сикорскій наиболѣе рѣзко отрицаетъ это предположеніе. Онъ подробно рассказываетъ, какъ онъ самъ учился «читать мысли», какъ спокойно и сознательно слѣдилъ онъ въ этого рода опытахъ за психо-моторными движеніями, подлежащими истолкованію: его воля и сознаніе при этомъ настолько бодрствовали, что о какомъ бы то ни было сходствѣ съ состояніемъ гипноза здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Г. Чирьевъ, наоборотъ, прямо говоритъ: «Несомнѣнно, что при этихъ опытахъ экспериментируемые субъекты впадаютъ въ состояніе, близкое къ гипнотическому». Но въ то же время, что касается Бишопъ, г. Чирьевъ набрасываетъ на него нѣкоторую тѣнь фокусничества и, объясняя его удивительные опыты значительнымъ развитіемъ осязанія и мышечнаго чувства, склоненъ, повидимому, думать, что Бишопъ пускаетъ въ ходъ эти свои преимущества въполнѣ сознательно. Г. Тархановъ, опять же наоборотъ, готовъ допустить, что собственно Бишопъ находится въ «состояніи помраченнаго сознанія, зависящаго отъ сосредоточенія вниманія въ одномъ только направленіи»; что и вообще состояніе чтецовъ «напоминаетъ начальныя фазы гипноза». Но затѣмъ почтенный профессоръ охотно выражается въ томъ смыслѣ, что чтецъ, при помощи зрѣнія, слуха, осязанія, «зорко слѣдитъ» за выраженіемъ лица, движеніемъ губъ, сокращеніемъ мышцъ, звукомъ шаговъ, произвольными толчками лица, мысли котораго взялся читать, «даетъ себѣ отчетъ» и т. д. Выразивъ, по поводу одной группы опытовъ, увѣренность, что чтецъ руководится въ этомъ случаѣ изощреннымъ обоняніемъ, г. Тархановъ рассказываетъ объ одномъ человѣкѣ, который обладалъ столь исключительно развитымъ обоняніемъ, что сдѣлалъ себѣ профессію изъ «вынюхиванія воровъ», за что его въ концѣ концовъ воры и убили. Затѣмъ г. Тархановъ замѣчаетъ: «ждать признанія въ этомъ отношеніи со стороны профессиональнаго чтеца, что онъ руководится именно этими ощущеніями, конечно, нельзя, такъ какъ онъ, открывъ свой секретъ, лишился бы своего заработка».

Едва ли этотъ скептицизмъ въполнѣ основателенъ, хотя бы уже потому, что профессія «вынюхивателя воровъ», вѣроятно, была тоже небезвыгодна, да, наконецъ, человѣкъ, обладающій столь исключительно обоняніемъ, могъ бы и просто показываться за деньги,

какъ показываются великаны, силачи, акробаты и проч. Во всякомъ случаѣ такого рода субъектъ есть рѣдкостный экземпляръ чело-вѣческой породы, своего рода геній обонянія, слуха и проч., очень интересный въ своей исключительности, но о которомъ не стоитъ говорить въ виду поставленной общей задачи. Поставленъ, положимъ, вопросъ о вліяніи нервнаго возбужденія на мускульную силу, а вы при этомъ напоминаете о Милонѣ Кротонскомъ, въ совершенно спокойномъ состояніи поднимавшемъ быка. Это можетъ быть и очень любопытно, но вовсе не относится къ обсуждаемому вопросу. Одно дѣло—приростъ силы подъ вліяніемъ нервнаго возбужденія, и другое дѣло—возможный предѣлъ физической силы въ нормальномъ состояніи. Такъ и въ интересующемъ насъ кругѣ явленій: одно дѣло—изощренность чувствъ и повышенная воспримчивость, какъ результаты извѣстнаго типическаго, подлежащаго изслѣдованію патологическаго состоянія, и другое дѣло—исключительная способность внѣ круга этого изслѣдованія. Точно также, если, напримѣръ, г. Сикорскій въполнѣ сознательно, путемъ уловимыхъ для него самого логическихъ выводовъ и умозаключеній, истолковываетъ психо-моторныя движенія индуктора, то, какъ бы ни были интересны эти опыты сами по себѣ, они, очевидно, не имѣютъ ровно никакого отношенія къ тѣмъ случаямъ, когда «чтецъ» находится въ нѣкоторомъ патологическомъ состояніи. Правда, г. Сикорскій рѣшительно отрицаетъ подавленность сознанія и воли въ чтецѣ мыслей, но, во-первыхъ, онъ дѣлаетъ это безъ достаточнаго основанія, а во-вторыхъ, для тѣхъ, кто, какъ напримѣръ г. Тархановъ, до извѣстной степени признаетъ патологическое состояніе чтеца, опыты г. Сикорскаго не имѣютъ никакого значенія. А между тѣмъ г. Тархановъ сочувственно цитируетъ г. Сикорскаго въ качествѣ единомышленника. Это, очевидно, простое недоразумѣніе. Оба названные ученые едино мыслятъ лишь въ томъ общемъ и элементарномъ смыслѣ, что одинаково ищутъ научнаго объясненія для «чтенія мыслей». Но одинъ видитъ въ этомъ чтеніи просто фокусъ, то-есть достигаемое отчасти ловкостью и навыкомъ, отчасти исключительными способностями умѣнье, а другой готовъ признать въ изучаемыхъ фактахъ одно изъ явленій патологической магіи, результатъ нѣкотораго аномальнаго состоянія нервной системы. Но ни г. Тархановъ, ни стоящій на той же почвѣ г. Чирьевъ не проводятъ своей точки зрѣнія до ея логическаго конца. Горь похвальнымъ желаніемъ отстоять интересы и достоинство науки, они впадаютъ въ обличительный тонъ, на что, конечно, имѣютъ полное право. Всякая вещь должна называться своимъ именемъ, въ томъ

числѣ и фокусъ—фокусомъ. Если чтеніе мыслей фокусничаютъ, они подлежатъ разоблаченію. Но если они не фокусничаютъ или, по крайней мѣрѣ, не только и не всегда фокусничаютъ, то нефокусническій элементъ долженъ быть строго выдѣленъ, поставленъ совсѣмъ особо, ибо онъ подлежитъ совсѣмъ особому изслѣдованію, въ качествѣ научнаго, а не обличительнаго матеріала.

Названные ученые стремятся доказать, что чтеніе мыслей есть отнюдь не активное лицо, а напротивъ того вполне пассивное; что когда, напримѣръ, Бишопъ бѣгаетъ по залу, таща за собой индуктора, и, наконецъ, находитъ спрятанный предметъ или задуманное лицо, то въ дѣйствительности не онъ тащитъ индуктора, а наоборотъ индукторъ направляетъ его безсознательными толчками и другими психо-моторными движеніями. Последнее совершенно справедливо: не чтеніе ведетъ, а индукторъ толкаетъ, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы чтеніе было всегда и непремѣнно пассивнымъ участникомъ опыта. Чтеніе въ родѣ г. Сикорскаго, находящійся «въ здоровомъ умѣ и твердой памяти», дающій себѣ отчетъ въ каждомъ движеніи, вполне собою управляющій, очевидно не можетъ быть названъ пассивнымъ участникомъ. Наоборотъ, чтеніе, переживающій «начальныя фазы гипноза» (слова г. Тарханова), находящійся «въ состояніи, близкомъ къ гипнотическому» (слова г. Чирьева), гораздо даже болѣе пассивенъ, чѣмъ думаютъ или говорятъ гг. Чирьевъ и Тархановъ.

Въ подтвержденіе своихъ мнѣній г. Тархановъ ссылается, между прочимъ, на опыты г. Спиро. Опыты эти, дѣйствительно, очень любопытны вообще, и въ частности намекаютъ на многое въ занимающемъ насъ вопросѣ. Отсылая читателя къ самой работѣ г. Спиро («О нѣкоторыхъ явленіяхъ такъ называемаго животнаго магнетизма. Опытъ экспериментальной разработки автоматическаго письма и столоверченія»), мы здѣсь приведемъ только одинъ типическій и, въ типичности своей, совершенно достаточный для насъ опытъ. Если дать человѣку въ руку карандашъ и посадить его за столъ, предложивъ ему по возможности ни о чемъ не думать, то, по прошествіи нѣкотораго времени, рука начинаетъ безсознательно и невольно двигаться, рисуя карандашомъ разныя разности, которыя г. Спиро называетъ «привычными формами». До нихъ намъ дѣла нѣтъ. Если поставить передъ испытуемымъ какой-нибудь рисунокъ,—линію, круги, треугольники, затѣмъ цифру, букву, слово, цѣлую фразу,—и предложить ему упорно и сосредоточенно смотрѣть на это изображеніе, то черезъ нѣкоторое время рука, опять-таки безъ всякаго волевого импульса, начинаетъ чертить именно

это изображеніе. Слѣдующее наблюденіе поможетъ намъ уяснить себѣ, въ чемъ тутъ дѣло. «У одного субъекта,—разсказываетъ г. Спиро,—въ началѣ сеанса, при условіи привычныхъ формъ, стали появляться треугольники,—фигуры при данныхъ условіяхъ мною невиданныя. При тщательномъ контролѣ обстановки оказалось, что въ полѣ зрѣнія субъекта находился метрономъ; послѣ удаленія этого инструмента фигуры треугольниковъ исчезли изъ невольныхъ рисунковъ».

Г. Тархановъ ссылается на опыты г. Спиро въ видахъ подтвержденія того, что индукторъ, думая, положимъ, о треугольничкѣ, невольно рисуетъ рукой треугольничекъ же, и эти-то движенія руки и служатъ чтенію истолкователемъ мысли индуктора. Самъ г. Спиро, по-видимому, не совсѣмъ такъ приложилъ бы выводы изъ своихъ опытовъ къ вопросу о чтеніи мыслей; *по-видимому*, потому что, къ сожалѣнію, г. Спиро совсѣмъ не упоминаетъ о чтеніи мыслей въ цитированной работѣ *). Признавъ справедливость толкованія г. Тарханова, г. Спиро не могъ бы, однако, на этомъ остановиться, а долженъ бы былъ распространить это толкованіе и на самого чтенца.

Вотъ достойныя величайшаго вниманія заключительныя слова работы г. Спиро: «Наши явленія представляютъ несомнѣнное сходство съ тѣми явленіями массовыхъ, коллективныхъ подражаній движеніямъ, которыя наблюдаются во время нѣкоторыхъ заразительныхъ нервныхъ эпидемій (различнаго рода судорожныя движенія, средневѣковыя пляски и т. п.)... Съ другой стороны я наблюдалъ при этихъ опытахъ тоже и развитіе начала настоящаго гипнотическаго сна (летаргія). Поэтому я полагаю, что «автоматическое письмо» и родственныя ему явленія представляютъ различныя стадіи перваго періода того сложнаго состоянія, которое извѣстно подъ названіемъ гипноза. И условія, вызывающія эти явленія, въ сущности тѣ же. При сеансахъ животнаго магнетизма, по-видимому, обнаруживаются временно, преходяще, лишь такія явленія, которыя наблюдаются продолжительное время, стаціонарно, на людяхъ при различнаго рода заболѣваніяхъ нервной системы или послѣ принятія нѣкоторыхъ ядовъ и, наконецъ, послѣ продолжительныхъ занятій гипнотическими опытами. Условія, вызывающія ихъ, сводятся, *по моему мнѣнію*, къ нарушенію равновѣсія тѣхъ условій, которыя необходимы для правильной, нормальной функціи даннаго организма. При измѣненіи нормальной обстановки въ сторону однообразія, усиленія одного изъ условій нормальнаго существованія организма въ ущербъ другимъ,

* Г. Спиро читалъ въ Одессѣ публичныя лекціи о чтеніи мыслей, но онѣ мнѣ незнакомы.

правильная функция организма становится невозможной,—она дѣлается болѣзненной».

Мы подчеркнули слова г. Спиро: *по моему мнѣнію*. Это отнюдь не личное мнѣніе почтеннаго одесскаго ученаго, ибо, какъ мы видѣли, къ нему приходили всѣ серьезные и самостоятельные изслѣдователи гипнотическихъ явленій, а Бредъ и Гейденгайтъ даже весьма точно его формулировали. И это обстоятельство способно, конечно, придать только вѣсъ мнѣнію г. Спиро. Во всякомъ случаѣ, принимая въ соображеніе, что гг. Тархановъ и Чирьевъ, равно какъ и многіе другіе, признають состояніе чтеца близкимъ къ гипнотическому; принимая далѣе въ соображеніе всю совокупность вышеизложенныхъ фактовъ, касающихся подражательныхъ формъ нервнаго расстройства,—мы можемъ, кажется, съ большою вѣроятностью прийти къ слѣдующему заключенію: чтець, строго говоря, не улавливаетъ психо-моторныхъ движеній индуктора и тѣмъ паче не истолковываетъ ихъ, онъ ихъ совершенно пассивно воспринимаетъ и повторяетъ, и все искусство профессиональнаго чтеца состоитъ въ умѣнii приводить себя въ состояніе, наиболѣе пригодное для такого акта безсознательнаго и невольнаго подражанія. Съ этой точки зрѣнія чтець и индукторъ въ моментъ опыта находятся во власти одного и того же физиологическаго закона, хотя соотвѣтственный процессъ идетъ у одного изъ нихъ въ направленіи, обратномъ тому, въ которомъ онъ происходитъ у другого. Чтець и индукторъ представляютъ какъ бы одно цѣлое, въ которомъ свободно бѣжитъ токъ подражанія,—да простится намъ это фигуральное и, конечно, не точное выраженіе. Все явленіе въ цѣломъ имѣетъ такой видъ: индукторъ задумываетъ, положимъ, фигуру треугольника; такъ какъ, по условію опыта, онъ обязанъ думать о треугольникѣ сосредоточенно и исключительно, отгоняя отъ себя всякія другія представленія и постороннія впечатлѣнія, то воля его въ большей или меньшей степени утрачиваетъ свой властный контроль надъ мышечными движеніями; онъ невольно и безсознательно чертитъ рукой образъ треугольника, всецѣло овладѣвшій его вниманіемъ; чтець столь же невольно и безсознательно повторяетъ эти психо-моторныя движенія, каковыя передаются извѣстными путями его головному мозгу, гдѣ и слагаются въ представленіе треугольника,—чтець прочиталъ мысль индуктора. Мысль, представленіе треугольника, какъ бы бѣжитъ по чувствительно-двигательному аппарату индуктора до чувствительно-двигательнаго аппарата чтеца и затѣмъ поднимается до головного мозга послѣдняго. Что эта вторая половина процесса дѣйствительно имѣетъ мѣсто, объ этомъ можно судить по нѣкоторымъ

опытамъ съ настоящими гипнотиками. Если вы сожмете руку гипнотика въ кулакъ или сложите его ладони какъ бы для молитвы, то это простое сокращеніе мышцъ руки передается его мозгу, вызоветъ тамъ соотвѣтственные представленія, и вся его фигура приметъ отпечатокъ сильнаго гнѣва или молитвеннаго настроенія. Такимъ образомъ, если представленія, мысли, психическія состоянія выражаются сокращеніями мышцъ, то и обратно, сокращенія мышцъ способны вызывать строго соотвѣтственные имъ представленія, мысли, психическія состоянія. И вотъ эти-то два противоположные по направленію процесса и связываютъ мысль индуктора съ мыслью чтеца, безъ всякаго участія воли и даже, напротивъ того, при условіи ослабленія воли какъ съ той, такъ и съ другой стороны.

Объясняемое такимъ образомъ чтеніе мыслей занимаетъ свое мѣсто въ обширномъ кругѣ явленій патологической магіи, на ряду съ омеряченіемъ, *latah*, стигматизаціей, внушеніемъ, очарованіемъ, психической заразой и проч. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, въ общемъ весьма мало изученныхъ и даже слабо намѣченныхъ для изслѣдованія, мы имѣемъ таинственное на первый взглядъ вліяніе одного существа (реальнаго или, какъ въ стигматизаціи, воображаемаго) на другое; вліяніе это обусловливается патологическимъ состояніемъ организма, и именно большею или меньшею степенью помраченія сознанія и ослабленія воли. Простѣйшимъ и вмѣстѣ поразительнѣйшимъ примѣромъ этого вліянія можетъ служить группа явленій покровительственной окраски и вообще мимикризма у животныхъ, группа, о которой мы достаточно говорили въ «Герояхъ и толпѣ» и о которой, къ сожалѣнію, никогда не говорятъ наши физиологи, занятые разъясненіемъ таинственности и чудодѣйствъ. Какъ малайская женщина, больная *latah*, не можетъ не раздѣваться при видѣ раздѣвающагося, не подражать ему, не смотря на протестующіе остатки сознанія, такъ бабочки лепталисы не могутъ не подражать геликонидамъ, не одѣваться, такъ сказать, въ ихъ платье; такъ заяцъ не можетъ не бѣлѣть зимой на бѣломъ снѣгу, такъ чтець мыслей не можетъ не повторять психо-моторныхъ движеній индуктора, и т. д. и т. д. Все это—явленія чистаго подражанія. Къ нимъ примыкають факты безсознательнаго повиновенія и невольной покорности, въ основаніи которыхъ лежитъ тотъ же принципъ. Когда американскій гимнастъ, большой *jumping*’омъ, получивъ приказаніе сдѣлать ненужный и безсмысленный прыжокъ, дѣйствительно его дѣлаетъ, въ его мозгу съ такою яркостью загорается представленіе прыгающаго человѣка, что онъ не можетъ ему не подражать. Вообще повиновеніе этого рода,

т.-е. фигурирующее въ патологической магіи, есть не что иное, какъ подражаніе внушенному представленію. Почему иногда «магическое» вліяніе выражается такимъ косвеннымъ подражаніемъ, а иногда прямымъ; почему, напримѣръ, омеряченные солдаты, о которыхъ рассказываютъ д-ра Кашинъ и Ляковский, повторяли слова команды вмѣсто того, чтобы исполнять ее, а такая же омеряченная якутка не повторяетъ приказанія мѣстнаго ловеласа, а исполняетъ его,—это, конечно, зависитъ отъ различія въ степени подавленности сознания и воли. Мы знаемъ, что и гипнозъ имѣетъ свои стадіи развитія.

Быть можетъ съ теченіемъ времени для объясненія всѣхъ этихъ явленій специально физиологическая точка зрѣнія окажется недостаточною. Ближайшимъ образомъ это опредѣлится тогда, когда будутъ или рѣшительно признаны, или рѣшительно отвергнуты нѣкоторые нынѣ спорные факты вліянія (внушенія и чтенія мыслей) на разстояніи. Мистическіе умы, исповѣдующіе культъ вѣчнаго ребеуса и перманентной тайны, хватаются за эти спорные факты для построенія совершенно ненаучныхъ теорій. Вышеупомянутые почтенные стражи русской науки, конечно, горячо протестуютъ противъ этихъ теорій, и, конечно, они совершенно правы. Но они далеко не столь правы, когда за-одно про-низируютъ по поводу мысли о расширеніи предѣловъ компетенціи науки съ нѣкоторымъ ущербомъ специально для физиологической точки зрѣнія. Нервное возбужденіе, механизмъ котораго объясняются для физиологовъ занимающіе насъ феномены, не есть фактъ конечный, не подлежащій дальнѣйшему анализу. Пытливый умъ человѣскій рано или поздно непремѣнно введетъ это возбужденіе въ цѣль преобразования силъ, вмѣстѣ съ чѣмъ должно, уже не съ специально-физиологической точки зрѣнія, уясниться многое, чего теперь съ этой точки зрѣнія просто не видать. Поучительны въ этомъ отношеніи слѣдующія слова Карпентера, рѣшительно отрицающаго всякую мистику и не подлежащаго, полагаемъ, ироніи со стороны даже самыхъ усердныхъ стражей достоинства и интересовъ науки.

„Всякій, кто допускаетъ, что „въ природѣ есть множество вещей, которыя не снлись мудрецамъ“, благоразумно поступить, если будетъ держаться поговорки „возможнаго“ относительно явленій, которыя не совершенно противорѣчатъ законамъ физики и физиологіи, но только отчасти переступаютъ границы этихъ законовъ. Нѣкоторые изъ опытовъ самого автора привели его къ тому предположенію, что врожденная способность познаванія того, что происходитъ въ умѣ другого лица, обозначаемая обыкновенно терминомъ „чтеніе чужихъ мыслей“, можетъ, подобно нѣкоторымъ видамъ чувственныхъ познаваній, чрезвычайно усиливаться, вслѣдствіе полного сосре-

доточенія вниманія, характеризующаго состоянія, которыя мы рассматривали выше. Безспорно, что эта способность отгадыванія, которою многіе индивидуумы обладаютъ отъ природы въ замѣчательно сильной степени, можетъ развиваться съ помощью культуры. Впрочемъ, насколько мы знакомы съ условіями проявленія этой способности, она зависитъ, повидимому, отъ бессознательнаго воспріятія тѣхъ почти неувольнимыхъ указаній, которыя даютъ намъ выраженіе лица, складъ рѣчи и невольныя бессознательныя движенія человѣка; но пониманіе значенія такихъ указаній во многихъ случаяхъ далеко превосходитъ все, что можетъ дать намъ по этой части самый обширный опытъ. О нѣкоторыхъ любопытныхъ примѣрахъ этого рода говорится въ автобіографіи Генриха Чокке; онъ говоритъ, что нерѣдко бывалъ въ состояніи описать не только въ общихъ чертахъ, но довольно подробно прошлую жизнь человѣка, котораго видѣлъ въ первый разъ и о которомъ ровно ничего не слышалъ. *Рассматривая перемѣну силъ, какъ специальный видъ одной изъ физическихъ силъ, можно предположить, съ нѣкоторой долей вѣроятности, что сила эта можетъ оказывать свое дѣйствіе на извѣстномъ разстояніи, приводя мѣст одного лица въ прямое динамическое соприкосновеніе съ мозгомъ другого лица, безъ всякаго посредства, какъ устной рѣчи, такъ и другихъ способовъ выраженія мыслей. Нуженъ большой запасъ свѣдѣтельствъ, проверенныхъ самымъ тщательнымъ образомъ, чтобы только вѣроятность такого предположенія могла быть установлена. Не имѣетъ ли право человѣкъ науки утверждать положительно, что такое соприкосновеніе невозможно?» (Основанія физиологіи ума, II, 192) *).*

VIII.

Нѣкоторые ученые, изъ тѣхъ, которые работаютъ преимущественно *ad majorem gloriam* теории развитія и стремятся переносить всѣ вопросы на ея почву, видятъ въ гипнотическомъ состояніи случай регрессивнаго измѣненія, возрожденія низшихъ формъ духовной жизни. Такое свое воззрѣніе эволюціонисты мотивируютъ главнымъ образомъ неудержимою склонностью гипнотиковъ къ подражанію, каковая склонность характерна для дѣтей и дикарей и идетъ, пожалуй, и дальше, въ глубь животнаго міра. Мистики, напротивъ того, желаютъ видѣть въ гипнозѣ нѣчто, гораздо высшее, чѣмъ нормальное психическое состояніе человѣка. Въ этомъ смыслѣ была недавно построена, подъ непо-

*) Напомню основанную на преобразованіи силъ теорію подражанія, предложенную Рамбоссономъ и изложенную мною въ «Научныхъ письмахъ» 1884 г. Съ тѣхъ поръ мнѣ встрѣтилось въ литературѣ только одно, но зато можетъ быть даже нѣсколько преувеличенное мнѣніе о теоріи Рамбоссона,—въ харьковскомъ «Архивѣ психіатріи» 1884 г., въ статьѣ г. Штейнберга «Случай патологическаго подражанія у маіака»: «Только капитальное сочиненіе Рамбоссона бросило яркій свѣтъ на подражаніе; этотъ авторъ разъяснилъ то, что до сихъ поръ оставалось скрытымъ въ вопросѣ о подражаніи. Благодаря его труду, подражаніе становится явленіемъ вполне понятнымъ, потому что раскрыты законы, имъ управляющіе».

средственнымъ давленіемъ гипнотическихъ опытовъ, пѣлая теорія не безызвѣстнымъ нѣмецкимъ писателемъ Дю-Прелемъ («Die Philosophie der Mystik 1885 г.).

Дю-Прель утверждаетъ, что человѣкъ состоитъ изъ двухъ различныхъ между собою, хотя и слитыхъ воедино субъектовъ,—эмпирическаго и трансцендентальнаго, изъ которыхъ каждый обладаетъ особымъ, типическимъ, отличнымъ отъ другого сознаниемъ. Эмпирическое сознание руководствуется докладами органовъ чувствъ и имѣетъ свое сѣдалище въ мозгу. Это—то самое сознание, которое преимущественно работаетъ при обыкновенномъ, нормальномъ состояніи человѣка. При помощи его мы познаемъ эмпирическую, чувственную сторону вещей медленнымъ и труднымъ путемъ опыта и наблюденія, дѣлаемъ открытія и впадаемъ въ заблужденія, исправляемъ ихъ и вновь заблуждаемся. Но какъ только по какимъ-нибудь обстоятельствамъ эмпирический субъектъ съ своимъ эмпирическимъ сознаниемъ въ насъ временно замираетъ, такъ выступаютъ на первый планъ трансцендентальный субъектъ и трансцендентальное сознание, которое, впрочемъ, и въ нормальномъ состояніи человѣка не совершенно бездѣйствуютъ. Этотъ субъектъ и это сознание не нуждаются ни въ какихъ органахъ чувствъ; они состоятъ въ непосредственномъ общеніи съ самою сущностью вещей. Чувственный субъектъ даже не подозреваетъ, что во всѣхъ сферахъ умственной, нравственной, художественной дѣятельности ему даетъ толчки въ извѣстномъ направленіи этотъ могучій и таинственный, сплетенный съ нимъ неразрывною связью сосѣдь. *Zwei Seelen wohnen in der Brust* не одного Фауста, это—тайна человѣческой природы вообще. Безосознательно для ограниченнаго эмпирическаго субъекта, субъектъ трансцендентальный видѣруетъ въ него въ свѣтлыя минуты истину, добро, красоту, приподнимаетъ для него таинственное покрывало Иизды и озаряетъ лучами высокаго художественнаго творчества. Такую высшую форму душевной жизни человѣкъ переживаетъ въ состояніяхъ обыкновеннаго сна, сомнамбулизма и его видоизмѣненія—гипнотизма. Въ этихъ состояніяхъ человѣкъ прозрѣваетъ истинную и всестороннюю связь вещей, скрытую отъ глазъ, ушей и проч., равно какъ и отъ логической способности эмпирическаго субъекта.—Эти свои фантастическія положенія Дю-Прель развиваетъ въ толстомъ томѣ «Философіи мистики», уснащая его многочисленными и яко-бы фактическими свидѣтельствами изъ богатой литературы вѣщихъ снова, сомнамбулическихъ предсказаній, изреченій и проч.

Эволюціонисты могли бы наговорить много остроумныхъ вещей на ту тему, что какъ

гипнотическое состояніе есть возрожденіе низшихъ ступеней психической жизни, такъ и «философія мистики» Дю-Преля есть возрожденіе первобытныхъ взглядовъ на психическую жизнь. Дѣйствительно, всѣ древніе, равно какъ и современные дикари смотрѣли и смотрятъ съ особеннымъ благоговѣніемъ, какъ на особыя, высшія существа, на людей, психически разстроенныхъ вообще, и въ частности на людей, находящихся въ состояніи, подобномъ гипнотическому; равнымъ образомъ, всѣ они придавали и придаютъ пророческое значеніе сновидѣніямъ. Мало того. Исторія и этнографія накопили множество данныхъ относительно тѣхъ искусственныхъ мѣръ и пріемовъ, при помощи которыхъ люди достигали и достигаютъ, говоря языкомъ Дю-Преля, подавленія эмпирическаго сознания и вызова къ дѣятельности сознания трансцендентальнаго. Мы уже упоминали вскользь о нѣкоторыхъ изъ этихъ искусственныхъ мѣръ, пускаемыхъ въ ходъ для проникновенія въ будущее и въ міръ невидимыхъ вещей вообще, равно какъ и для магическаго воздѣйствія на внѣшній міръ.

Таковъ прежде всего пріемъ упорнаго и сосредоточеннаго созерцанія какого-нибудь предмета, что возводитъ, какъ намъ уже извѣстно, субъекта на ту или другую ступень развитія гипноза. У многихъ народовъ мѣръ этой предшествуютъ продолжительное воздержаніе отъ пищи и половыхъ сношеній, удаленіе въ пустыню, всякаго рода аскетическія упражненія и самоистязанія, достигающія почти невѣроятной жестокости. И вотъ, когда всѣмъ этимъ чувственный, эмпирический субъектъ до послѣдней возможной степени заморенъ, трансцендентальный субъектъ выступаетъ на первый планъ и сообщаетъ человѣку такое могущество, что онъ, по мнѣнію индусовъ, становится выше самихъ боговъ и можетъ повелѣвать ими. Въ дѣйствительности факиръ или югинъ, такъ наивно дерзко поднимающійся, и по собственному мнѣнію, и по мнѣнію окружающихъ, на недосыгаемую высоту знанія и могущества, есть не болѣе, какъ гипнотикъ, доведенный страшною скудостью и однообразіемъ впечатлѣній до помраченія сознания и воли. Цитируемый Тайлоромъ Добрицгофферъ рассказываетъ о колдунахъ у абипоновъ: «Претенденты на званіе кудесника должны влѣзть на старую иву, свѣшивающуюся надъ какимъ-нибудь озеромъ, и воздерживаться отъ пищи въ теченіе нѣсколькихъ дней, пока не начнутъ прозрѣвать будущее. Мнѣ всегда казалось, что эти плуты начинаютъ страдать отъ долгаго поста умственнымъ ослабленіемъ, головокруженіями и родомъ бреда, заставляющимъ ихъ воображать, что они одарены высшею мудростью, и

выдавать себя за волшебниковъ. Они сначала обманываютъ самихъ себя, затѣмъ обманываютъ другихъ». Зулусскій врачъ приготовляетъ себя къ общенію съ духами, отъ которыхъ долженъ получить наставленіе въ своемъ искусствѣ, путемъ воздержанія отъ пищи, лишеній, страданій, бичеванія, уединенныхъ странствованій; все это продолжается до тѣхъ поръ, пока припадки или обмороки не приведутъ его въ прямое общеніе съ духами. Необходимость экстатического состоянія для кудесника и связь высшей мудрости съ аскетической практикой такъ ясны для зулусовъ, что у нихъ существуетъ поговорка: «постоянно упитываемое тѣло не можетъ видѣть тайныхъ вещей». Въ жирнаго чудодѣя они никогда не вѣрують. (Тайлоръ «Первобытная культура»).

Рядомъ съ аскетической практикой стоитъ другое средство, въ нѣкоторомъ смыслѣ противоположное, но столь же успѣшно парализующее сознаніе и волю: разнаго рода наркотики. Крестоносцамъ приходилось имѣть много дѣла съ мусульманскою сектою «ассасиновъ» и ихъ вождемъ—«старцемъ горы». Это были страшные люди, оставившіе свое имя въ наслѣдство французскому и итальянскому языкамъ для обозначенія понятія убійцы (assassin), хотя имя это есть только испорченное производное отъ слова «хашиши». «Старецъ горы» держалъ, при помощи хашиша, членовъ секты въ полномъ повиновеніи и давалъ имъ при жизни на землѣ вкушать всѣ наслажденія мусульманскаго загробнаго рая. Наслажденія эти были столь реальны, что существовало мнѣніе, будто у «старца горы» былъ какой-то подлинный садъ гдѣ были сосредоточены всѣ прелести рая и куда онъ время отъ времени вводилъ своихъ «ассасиновъ». Это общеніе съ невидимымъ міромъ не всегда выражалось и выражается только чувственными наслажденіями, оно принимаетъ формы и пророческаго предвидѣнія, и могущественнаго воодушевленія на людей и природу. Писецъ дельфійскаго оракула приступала къ своей пророческой функціи послѣ продолжительнаго поста, затѣмъ пила воду изъ священнаго источника, жевала листья лавра и садилась на треножникъ надъ расщелиной, изъ которой поднимались какіе-то пары. Все это вмѣстѣ доводило ее до нѣкотораго одуренія и вмѣстѣ воодушевленія, въ состояніи котораго она и произносила безсвязныя, новѣщія слова, подлежащія толкованію жрецовъ. Въ менѣ изящной формѣ мы встрѣчаемъ то же самое едва-ли не у всѣхъ дикихъ народовъ. Такъ, напримѣръ, калифорнскіе индѣйцы даютъ дѣтямъ наркотическое питье, чтобы получить изъ ихъ видѣній свѣдѣнія о непріятеляхъ. Мундрукусы въ сѣверной Бразиліи, желая

открыть убійцу, даютъ такое питье духовидцамъ, чтобы преступники явились имъ во снѣ. Даріенскіе индѣйцы кормили дѣтей сѣменахъ *Daturae sanguinea*, чтобы вызвать у нихъ пророческій бредъ, въ которомъ они открывали скрытыя сокровища. Въ Перу жрецы, для бесѣды съ фетишами, приводили себя такимъ же способомъ въ экстатическое состояніе (Тайлоръ). И проч., и проч. и проч. У древнихъ египтянъ существовала такая легенда: вино есть кровь людей, нѣкогда дерзнувшихъ бороться съ богами; кто пьетъ эту кровь, становится такъ же силенъ, но такъ же и безуменъ, какъ тѣ дерзкіе мятежники. А наркотическіе напитки индусовъ—«сома» и иранцевъ—«гаома» поднимаются даже сами на степень божества: столь цѣнится въ нихъ эта способность забивать эмпирическое сознаніе и вводить человѣка въ высшій міръ.

Тотъ же результатъ достигается сильными и быстрыми, преимущественно вращательными тѣлодвиженіями. Мы видимъ это у Aïssawa, на которыхъ во время ихъ неистовыхъ плясокъ сходитъ духъ основателя секты, Сиди-Аиссы. Во время «радѣній» нашихъ сектантовъ, на нихъ «накатываетъ духъ». Пляшущіе дервиши на востокѣ сдѣлали себѣ изъ этого способа одуренія специальность. У многихъ дикарей кудесники доводятъ себя до состоянія экстаза тѣми же неистовыми плясками, послѣ которыхъ или немедленно проріцають, или, усталые, засыпають тяжелымъ сномъ, а проснувшись, сообщаютъ свои сонныя видѣнія, какъ откровенія свыше.

Наконецъ, и обыкновенный сонъ всегда и вездѣ представлялся людямъ состояніемъ общенія съ невидимымъ міромъ. У древнихъ грековъ существовала цѣлая особая отрасль знанія — «онейромантика», занимавшаяся наблюденіемъ и толкованіемъ сновидѣній. Наша былина отмѣчаетъ, какъ особенную черту необузданности Василя Буслаева, что онъ не вѣрилъ, «ни въ чохъ, ни въ сонъ». И дѣйствительно, какъ въ древности, такъ и нынѣ, какъ въ средѣ грубыхъ дикарей, такъ и въ цивилизованныхъ обществахъ, число людей, раздѣляющихъ это невѣріе новгородскаго богатыря, навѣрное очень не велико. Теперешняя наша вѣра въ вѣщіе сны, конечно, очень извѣдена скептицизмомъ и не представляетъ собою чего-нибудь цѣльнаго. Она не вяжется съ усваиваемыми нами въ школѣ, въ литературѣ, въ жизни истинами, со всѣмъ характеромъ нашего міросозерцанія; оно есть съ нашей собственной точки зрѣнія не болѣе, какъ предразсудокъ. Но предразсудокъ есть, какъ извѣстно, «обломокъ древней правды». Въ старину вѣра въ вѣщіе сны была не предразсудкомъ, т. е. чѣмъ-то, принимаемымъ *предъ* рассу-

жденіемъ, она, напротивъ того, составляла результатъ разсужденія и связывалась сотнями нитей со всѣмъ строемъ тогдашней мысли.

Этотъ-то древній строй мысли и пытается возстановить Дю-Прель своей теоріей двухъ сознаний. Попытка эта не имѣетъ, конечно, никакихъ шансовъ на успѣхъ. Было бы, однако, простымъ, ни къ чему не ведущимъ празднословіемъ трактовать ее лишь какъ возрожденіе древнихъ вѣрованій. Это во всякомъ случаѣ попытка ориентироваться въ массѣ фактовъ, правда, далеко не всегда критически проверенныхъ, но вѣдь не сплошь же выдуманныхъ злонамѣренно или созданныхъ добросовѣстно, но пылкою фантазіей. Въ самомъ дѣлѣ, какъ-бы высоко мы ни поднялись надъ уровнемъ первобытнаго міросозерцанія, только крайне ослабленное самодовольство можетъ даже не останавливаться надъ вопросомъ: нѣтъ ли какого-нибудь зерна фактической правды въ вѣрованіяхъ, столь распространенныхъ и притомъ самостоятельно возникавшихъ въ разные времена и въ разныхъ углахъ земного шара? Пусть первобытный человѣкъ невѣжественъ и легковѣренъ, пусть мысль, не дисциплинированная наукой, слѣпа и вмѣстѣ необузданна, пусть выдвигаемые ею для объясненія фактовъ теоріи ребячески фантастичны и имѣютъ для насъ только цѣну историческихъ памятниковъ въ родѣ каменныхъ ножей и бронзовыхъ мечей; все это такъ, но упомянутые способы одуренія имѣютъ въ виду практическія цѣли, а практика необходимо ведетъ за собой проверку того положенія, на которомъ она основана. Мы можемъ, разумѣется, съ полною увѣренностью отвергнуть мнѣніе Дю-Преля и всѣхъ дикарей, будто состояніе омраченнаго тѣмъ или другимъ способомъ сознания поднимаетъ человѣка на какую-то высшую ступень. Но, независимо отъ qualificacіи этого состоянія, оставляя оцѣнку его, какъ высшаго или низшаго, совсѣмъ въ сторонѣ, трудно допустить, чтобы цѣлые народы и цѣлые вѣка рѣшительно и грубо заблуждались, ожидая отъ своихъ одуренныхъ чудодѣевъ такихъ проявленій духа, которые немислимы въ нормальномъ состояніи. Какіе-нибудь дикіе мундрукусы ошибаются, вѣря, что ихъ духовидецъ побывалъ гдѣ-то въ чувственного міра и оттуда принесъ имъ нужныя для нихъ свѣдѣнія, но свѣдѣнія-то онъ, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ принесъ; и если дѣйствительно принесъ, то надо доискаться, откуда и какимъ путемъ онъ ихъ получилъ. Конечно, здѣсь имѣется еще обширное поле для всякаго рода обмановъ и чисто случайныхъ совпаденій, но мудрено себѣ представить, чтобы

такъ-таки ничего, кромѣ обмановъ и случайныхъ совпаденій, не было въ основаніи вѣрованій, встрѣчаемыхъ и у американскихъ индѣйцевъ, и у древнихъ грековъ, и у самодѣловъ, и у африканскихъ негровъ, и у древнихъ галловъ, и у новозеландскихъ дикарей и проч. Во всякомъ случаѣ, это вопросъ, съ которымъ въ интересахъ самой науки неудобно кончать голымъ отрицаніемъ, какъ бы ни были нелѣпы вѣрованія и теоріи, выставляемыя для объясненія фактовъ. Умбиликантъ, досмотрѣвшійся на свой собственный пупокъ до полного умопомраченія, ошибался, полагая, что онъ тѣмъ самымъ поднялся на высшую ступень совершенства и общенія съ божествомъ. Ошибается и Дю-Прель, утверждая, что во снѣ, сомнамбулизмъ и гипнотизмъ человѣкъ развертываетъ какое-то трансцендентальное сознание, обнимающее и чувственный, и сверхчувственный міръ, но изъ этого только то и слѣдуетъ, что онъ ошибается, частью безъ критики принимаетъ факты, а частью невѣрно ихъ толкуетъ и обосновываетъ.

Мы уже видѣли, что гипнотизмъ, совершенно недоступный болевымъ ощущеніямъ, — его можно рѣзать, жечь, колоть, — вмѣстѣ съ тѣмъ необыкновенно воспримчивъ къ слабымъ раздраженіямъ. Образчикомъ этой ненормально повышенной воспримчивости органовъ чувствъ можетъ служить вышеприведенный опытъ Брэда съ обоняніемъ. Но не одно обоняніе достигаетъ такой утонченности при гипнозѣ: слухъ, осязаніе, зрѣніе, мышечное чувство точно также доходятъ у гипнотика до такой степени тонкости, какая совершенно недоступна нормальному человѣку. На этой повышенной воспримчивости къ впечатлѣніямъ основаны и удивительныя эквилибристическія упражненія сомнамбулъ, которые случайно минуютъ опасности, неизбежно гибельныя для нормальнаго, бодрствующаго человѣка, если бы онъ рѣшился продѣлать то, что совершенно спокойно и увѣренно дѣлаетъ лунатикъ. Уже этихъ двухъ обстоятельствъ, — анестезія съ одной стороны и повышенной воспримчивости съ другой, — достаточно для объясненія многихъ изъ чудодѣйствъ, относимыхъ Дю-Прелемъ на счетъ трансцендентальнаго сознанія. Индусскій факиръ, напримѣръ, доведя себя упорнымъ созерцаніемъ какой-нибудь точки въ пространствѣ до умопомраченія, можетъ претерпѣвать жесточайшія самоистязанія, не чувствуя при этомъ никакой боли, но можетъ также видѣть, осязать, обонять, слышать, вообще воспринимать такія впечатлѣнія, которыя недоступны никому изъ окружающихъ его нормальныхъ людей. Въ его распоряженіи, значитъ, есть такія средства познанія вещей, которыя, отнюдь не

выходя изъ предѣловъ «эмпирическаго субъекта», ничѣмъ не отличаюсь по существу отъ способовъ познанія обыкновенныхъ людей, далеко превышають ихъ по степени тонкости. Не то, чтобы у него были дѣйствительно «вѣщія зѣницы» и чтобы онъ «внялъ неба содроганье и горній ангеловъ полеть, и гадъ морскихъ подводный ходъ, и дальней лозы прозябанье». Онъ ограниченъ тѣми же условіями, которыя природа наложила на человѣка вообще, но онъ можетъ различать такіе отбѣнки и подробности, которые ускользають отъ органовъ чувствъ нормальныхъ людей. Метафорически говоря, вѣщный міръ входитъ въ него въ тѣ же двери, что и у обыкновенныхъ людей, но у него эти двери отворены настѣжъ.

Повышенною воспримчивостію не исчерпываются кажушіяся преимущества гипнотика. Его память и воображеніе достигаютъ, повидимому, также чрезвычайной степени напряженія, далеко превосходящей обыкновенный уровень этихъ способностей. Превращаясь, напримѣръ, по внушенію, въ молевскаго Гарпагона и копируя при этомъ данный типъ до поразительно тонкихъ и мелкихъ подробностей, гипнотикъ долженъ вызывать въ своей памяти все, когда либо слышанное или читанное имъ объ этомъ предметѣ, и комбинировать эти элементы силою воображенія въ живой типъ до такой ясности, чтобы пережить его. Такое поразительное развитіе памяти и воображенія встрѣчается вообще при всякихъ состояніяхъ помраченнаго сознанія и ослабленной воли.

Въ 1857 г. въ Савойѣ, въ мѣстечкѣ Морцинъ, двѣ дѣвочки заболѣли странною нервною болѣзнію, которую мѣстные жители объяснили видѣніемъ въ дѣвочекъ дьявола. Болѣзнь распространилась эпидемически, такъ что къ концу 1860 года, когда, наконецъ, въ мѣстечко былъ присланъ изъ Парижа врачъ для изслѣдованія, бѣсноватыхъ было уже 110. Экзорцизмы, то-есть заклинанія, не помогали. Между прочимъ, больныя говорили хорошо на чистомъ французскомъ языкѣ, тогда какъ прежде не знали другого языка, кромѣ своего патуа. Есть свѣдѣніе, что нѣкоторые изъ нихъ говорили даже по латыни. Эти внезапные разговоры на чужихъ, дотогѣ неизвѣстныхъ языкахъ, въ старыя времена всегда служили признакомъ вселенія добрыхъ или злыхъ духовъ. Съ теченіемъ времени пришлось прибѣгнуть къ другому объясненію, очень простому. Въ одномъ нѣмецкомъ городѣ заболѣла горячкѣю женщина. Она была неграмотна, не умѣла ни читать, ни писать, а между тѣмъ въ горячечномъ бреду говорила по-латыни, по-гречески и по-еврейски. Это языкознаніе было приписано бѣсовскому навожденію, но одинъ

врачъ, присмотрѣвшись къ дѣлу ближе и прослѣдивши всю жизнь больной, дознался, что она, во-первыхъ, не говорила по-латыни, по-гречески и по-еврейски, а произносила латинскія, греческія и еврейскія фразы безъ всякой связи и смысла; открылось далѣе, что она въ дѣтствѣ жила у старика протестантскаго пастора, который имѣлъ привычку вслухъ читать латинскія, греческія и еврейскія книги. Такимъ образомъ, вся исторія объяснилась безсознательнымъ усвоеніемъ отрывочныхъ фразъ, которыя были автоматически вызваны памятью въ горячечномъ бреду. Подобныхъ фактовъ, совершенно обслѣдованныхъ и уясненныхъ, наука знаетъ много, и, конечно, откровенія «трансцендентальнаго субъекта» тутъ такъ же не при чемъ, какъ и бѣсноватость.

Бѣдная неграмотная женщина могла въ бреду только повторять когда-то слышанныя ею безсвязныя, бессмысленныя фразы на непонятныхъ языкахъ. Но иногда автоматическая умственная дѣятельность, освобождаясь отъ контроля сознанія и воли, даетъ эффекты гораздо болѣе сложные. Это знаетъ всякій, видѣвшій слегка опьянѣвшихъ людей. Алкоголь, какъ извѣстно, омрачаетъ сознаніе и подавляетъ волю, а между тѣмъ мы сплошь и рядомъ видимъ, какъ ярко и роскошно развивается въ этомъ состояніи «игра ума»; остроумныя сопоставленія, яркіе образы, краснорѣчивые обороты, блестящія юмористическія выходки, каламбуры слѣдуютъ другъ за другомъ въ такомъ обиліи, какое совершенно недоступно тому же человѣку въ трезвомъ видѣ: отрезвѣлъ человѣкъ и — «облетѣли цвѣты, догорѣли огни». Въ нѣкоторой застольной бесѣдѣ упало на полъ блюдо съ копченымъ сигаромъ. *Sic transit!* — воскликнулъ одинъ изъ собесѣдниковъ, — указывая на поверженнаго сига. Если бы мы даже ничего не знали объ отуманивающимъ значеніи алкоголя, такъ и то эта забавная острота выдала бы свое автоматическое происхожденіе. Вполнѣ бодрствующее сознаніе едва ли допустило бы такое сопоставленіе; автоматическая же, чисто механическая работа мысли естественно можетъ не заключенія какія-нибудь по поводу упавшаго сига дѣлать, а уцѣпиться за созвучіе съ началомъ внезапно вспыхнувшего въ памяти латинскаго изреченія и создать такимъ образомъ каламбуръ. Большая часть каламбуровъ именно такого автоматическаго происхожденія. Но не одними каламбурами блещетъ автоматическая умственная дѣятельность. Существуетъ много рассказовъ о великихъ художественныхъ произведеніяхъ, созданныхъ въ минуты алкоголическаго возбужденія или иныхъ видовъ омраченнаго сознанія, о великихъ открытіяхъ, сдѣлан-

ныхъ безсознательно, о трудныхъ задачахъ, не подававшихся бодрствующему сознанию и разрѣшенныхъ въ бреду или въ состояніи, близкомъ къ сомнамбулическому. И многіе изъ этихъ разсказовъ вполне достовѣрны. Мимоходомъ сказать, на подобныхъ матеріалахъ частію основываются параллели между гениемъ и сумасшествіемъ. Мы не можемъ касаться здѣсь этого сложнаго вопроса и отмѣтимъ только одинъ пунктъ пресловутой параллели. И гений, и сумасшедшій усматриваютъ сходство или даже тождество тамъ, гдѣ никто этого сходства до нихъ не усматривалъ. Поприщинъ усмотрѣлъ сходство между Испаніей и Китаемъ, такъ что, по его словамъ, если написать на бумагѣ Испанія, то и выйдетъ Китай. Ньютонъ усмотрѣлъ сходство между яблокомъ, падающимъ на землю, и землею, обращающеюся вокругъ солнца. До Поприщина и Ньютона никто этихъ сопоставленій не дѣлалъ, но сопоставленіе сумасшедшаго пропадаетъ втунѣ, а сопоставленіе гения ложится въ основаніе науки, и въ этомъ, кажется, достаточная разница между гениемъ и сумасшествіемъ. Безспорно однако, что работа гения — художественнаго, научнаго, философскаго, пракческаго — отнюдь не сплошь идетъ при свѣтѣ вполне бодрствующаго сознания. Повидимому, работа эта идетъ въ общихъ чертахъ такъ: мысль сознательно и подъ давленіемъ опредѣленнаго волевого импульса направляется на извѣстный планъ и разрабатываетъ его; но по прошествіи нѣкотораго времени въ работу врывается быстрая, кипучая волна автоматизма, вызывающаго память изъ нѣдръ сознательно и безсознательно усвоенныхъ фактовъ подходящія элементы и комбинирующаго ихъ воображеніемъ въ стройное цѣлое; на это время сознание какъ бы удаляется, воля бездѣйствуетъ, образы и идеи самостоятельно текутъ и группируются, повинуваясь лишь собственнымъ механическимъ законамъ ассоціаціи. Затѣмъ сознание и воля опять вступаютъ въ свои права и кладутъ на работу послѣдніе штрихи, но періодъ безсознательнаго, автоматическаго творчества, повидимому, необходимъ, и вотъ почему труднѣйшія части работы дѣйствительно могутъ совпадать съ моментами алкоголическаго возбужденія или другихъ видовъ помраченнаго сознания, даже просто сна. «Есть сильное основаніе думать, — говоритъ Карпенгеръ, — что лучшими своими сужденіями умъ нашъ часто, особенно въ трудныхъ случаяхъ, бываетъ обязанъ безсознательнымъ выводамъ, разрѣшающимъ всѣ затрудненія въ то время, когда (послѣ предварительнаго внимательнаго разсмотрѣнія) вопросъ бывалъ предоставленъ самому себѣ».

Вотъ это-то «предоставленіе вопроса са-

мому себѣ» и составляетъ истинную задачу тѣхъ разнообразныхъ приемовъ устраненія контроля сознания и воли, которые практикуются кудесниками, духовидцами, чудодѣями всѣхъ странъ и народовъ. Всякому, «кто жилъ и мыслилъ», случалось, безъ сомнѣнія, испытывать борьбу бодрствующаго сознания съ внутренними безсознательными голосами, идущими, безъ сомнѣнія, изъ того же «эмпирическаго субьекта» и составляющими результаты безсознательныхъ наблюдений. Эти внутренніе голоса толкаютъ насъ въ ту или другую сторону въ видѣ предчувствій; предчувствіе сложилось на основаніи наблюдений и впечатлѣній, не дошедшихъ до порога сознания, безъ контроля сознания, такъ сказать, въ его отсутствіе. Поэтому сознание протестуетъ противъ предчувствія и часто ошибается и заставляетъ человѣка принять рѣшеніе, не соотвѣтственное его интересамъ и истинному положенію вещей, хотя это положеніе вещей и было уловлено его чувствами, только безсознательно. Если бы на время рѣшенія сознание было какимъ-нибудь способомъ заглушено, то рѣшеніе было бы, можетъ быть, гораздо правильнѣе. Едва ли нужно распространяться о томъ, что бывають предчувствія ложныя, и что отнюдь не каждый человѣкъ можетъ, безъ вреда для себя и для другихъ, полагаться на внутренніе безсознательные голоса въ ущербъ голосу сознания. Мы только хотимъ объяснить себѣ, какимъ образомъ помраченное сознание разныхъ чудодѣевъ можетъ не только не мѣшать правильнымъ предчувствіямъ, предвидѣніямъ и предсказаніямъ, а даже обуславливать собою эту правильность. Если прибавить къ этому отмѣченную выше усиленную восприимчивость къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ, то получится, кажется, достаточно полное объясненіе тѣхъ случаевъ, когда шаманы, факиры, ясновидящіе, кудесники открывали не только безъ фантастическаго трансцендентальнаго, а и безъ всякаго сознания, истину, недоступную проницательности обыкновенныхъ людей.

Послѣ всего этого уже не покажется удивительною возможность дѣйствительно вѣщихъ сновъ. Мы не будемъ говорить о тѣхъ, хорошо констатированныхъ случаяхъ, когда люди видѣли во снѣ окончаніе работы, начатой днемъ: здѣсь автоматическая дѣятельность мозга, не отвлекаемая никакими внѣшними впечатлѣніями, дѣйствительно доканчиваетъ дневную работу, давшую уже всему механизму извѣстный толчокъ. Но сны могутъ имѣть характеръ въ самомъ дѣлѣ пророческихъ, хотя пророчество состоитъ и въ этомъ случаѣ лишь въ комбинированіи всѣхъ же данныхъ безсознательнаго опыта и, слѣдовательно, въ концѣ-концовъ есть проро-

чество *post factum*. «Сонъ,—говоритъ одинъ психіатръ (Шюле, «Душевные болѣзни»),—является самымъ точнымъ и непосредственнымъ истолкователемъ нашихъ сокровеннѣйшихъ молекулярныхъ процессовъ, хотя, въ силу необходимыхъ чувственныхъ превращеній въ центральныхъ чувственныхъ поверхностяхъ, подъ аллегорической окраской». Дѣло въ томъ, что бодрствующее сознание такъ постоянно занято, что многія, совершающіяся въ организмѣ патологическія измѣненія не доходятъ до него и даютъ о себѣ знать лишь во снѣ, въ видѣ сновидѣній. Такъ, нѣкто видѣлъ во снѣ, что его собака укусила за ногу, и черезъ нѣсколько дней у него появился на этомъ мѣстѣ ракъ. Это случай типическій, одинъ изъ многихъ, какіе читатель можетъ найти въ сочиненіяхъ, специально посвященныхъ сну и сновидѣніямъ (Maury, Le sommeil et les rêves; Radestock, Schlaf und Traum; и проч.). А вотъ случай другого рода, приводимый Карпентеромъ. Нѣкій генералъ Слимъ рассказываетъ, что, когда онъ усмирять дзѣггивъ въ Индіи и преслѣдовалъ ихъ по всей странѣ, жена его обратилась къ нему однажды утромъ съ настоятельной просьбой, чтобы онъ велѣлъ перенести ихъ палатки на другое мѣсто. Она говорила, что во снѣ ее всю ночь преслѣдовали мертвецы. Вслѣдствіе полученныхъ въ теченіе дня извѣстій, генералъ приказалъ рыть на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ лагерь, и подъ палаткой генеральши нашли четырнадцать труповъ, жертвъ дзѣггивъ. «Не трудно понять,—говоритъ по этому случаю цитируемая Карпентеромъ миссъ Коббе,—что ужасный сонъ г-жи Слимъ былъ ей внушенъ отвратительнымъ запахомъ труповъ, подѣйствовавшимъ на ея безсознательную мозговую дѣятельность. Будь она въ состояніи месмерическаго транса, тотъ же случай составилъ бы блистательный примѣръ сверхъестественнаго откровенія».

На основаніи всего предыдущаго, читатель безъ труда усмотритъ, что въ обоихъ приведенныхъ случаяхъ автоматическая дѣятельность мозга оперировала надъ недошедшими въ свое время до сознания впечатлѣніями, комбинируя въ первомъ случаѣ неясныя ощущенія начинающагося рака въ аллегорическую форму собачьяго укуса, а во второмъ—дополняя воображеніемъ ощущеніе трупнаго запаха до законченнаго образа мертвеца. Бодрствующее же сознание пропустило, такъ сказать, мимо себя эти предварающія ощущенія.

Подводя итогъ бѣглому содержанию настоящей главы, мы наткнемся, повидимому, на огромный парадоксъ, выраженный еще Платономъ: «достаточное доказательство того, что Богъ даруетъ мантику (предвидѣніе)

только человѣку, лишенному разума, состоитъ въ томъ, что никто не обладаетъ настоящей и сверхъестественной мантикой, оставаясь въ здоровомъ разсудкѣ». На такомъ итогѣ мы успокоиться, конечно, не можемъ. Приведемъ эти слова Платона, Буше-Леклеркъ комментируетъ ихъ такъ: «Необходимо, чтобы индивидуальность человѣка, способная быть такимъ орудіемъ, *медиума*, какъ сказали-бы мы теперь, предварительно была ослаблена или уничтожена восторженностью, сномъ или болѣзнью». («Изъ исторіи культуры», 43). Дѣйствительно, корень вопроса заключается именно въ ослабленіи или уничтоженіи индивидуальности и потому, для раскрытія нашего парадокса, намъ придется сдѣлать теперь довольно большое отступленіе въ сторону вопроса объ индивидуальности.

IX *).

Что такое индивидуальность, индивидъ недѣлимое?

Это вопросъ не новый, это *vexata questio* древней философіи, проблема «единого и многого». Повидимому, нѣтъ ничего легче, какъ отвѣтить на этотъ вопросъ. Не всякій можетъ быть отвѣтить на него съ совершенною ясностью словами, но по крайней мѣрѣ всякій связываетъ съ терминами «индивидъ», «недѣлимое» болѣе или менѣе опредѣленные понятія. Никто не разсчитываетъ ошибиться, называя недѣлимымъ лошадь, человѣка, собаку, вообще тотъ или другой предметъ изъ круга обыденныхъ явленій. А между тѣмъ, если бы у кого нибудь явилось желаніе отчетливо формулировать свое понятіе объ индивидѣ, онъ непремѣнно встрѣтилъ бы затрудненія и въ малой сферѣ своего личнаго опыта. И по общему представленію, и этимологически индивидъ есть нѣкоторое замкнутое цѣлое, вступающее въ отношенія къ внѣшнему міру, какъ единица, не подлежащая дѣленію, потому что дробленіе ея ведетъ за собой ея уничтоженіе. Прикидывая эту мѣрку индивидуальности, напримѣръ, къ сіамскимъ близнецамъ, мы, очевидно, наталкиваемся на противорѣчіе. Представляютъ-ли они единое или многое? два тутъ недѣлимыхъ или одно? Принимая въ соображеніе, что смерть одного изъ нихъ повлекла за собою и смерть другого, который былъ, слѣдовательно, неспособенъ къ самостоятельной жизни, мы должны признать, что близнецы составляли одно недѣлимое, а между тѣмъ это будетъ очевидное и грубое насиліе надъ здравымъ смысломъ. Въ уродахъ о нѣсколь-

*) Эта и слѣдующія главы представляютъ переработку и развитіе одной старой статьи «Органъ, недѣлимое и общество».

кихъ головахъ или съ двойнымъ числомъ конечностей мы встрѣчаемъ то же самое затрудненіе. Жофруа Сентъ-Илеръ говоритъ, что и съ анатомической и физиологической точки зрѣнія двойной уродъ всегда больше одного индивидуума и меньше двухъ. Сколько-же?

Говоря о сіамскихъ близнецахъ, можно вспомнить тѣ приводимые Труссо и Гальтономъ загадочные, но достовѣрные случаи, когда нормальные, свободные близнецы, будучи въ различныхъ пунктахъ, на разстояніи многихъ сотенъ верстъ другъ отъ друга, въ одно и то же время заболѣвали одною и тою же болѣзнію, причемъ каждый изъ нихъ угадывалъ по себѣ, чѣмъ другой боленъ, а слѣдовательно, они до извѣстной степени жили одною, общею жизнью. Съ другой стороны, извѣстны патологическіе случаи—такъ называемое раздвоеніе личности, когда въ одномъ недѣлимомъ какъ бы живетъ два и болѣе. Далѣе, въ безрукихъ, безногихъ, скопцахъ и т. п. мы имѣемъ фактъ дробленія, который не мѣшаетъ видѣть въ этихъ калѣкахъ индивидуумъ. Справедливо однако замѣчаетъ Прейеръ: «Случалось, что человѣкъ оставался живъ послѣ ампутаціи обѣихъ рукъ и ногъ, но конечности все-таки необходимы для сохраненія жизни, потому что въ такихъ случаяхъ человѣкъ могъ оставаться въ живыхъ, только пользуясь руками и ногами другихъ людей» (Ueber die Erforschung des Lebens, Jena 1873).

Но оставимъ случаи загадочные и патологическіе, которые, въ качествѣ исключеній, развѣ очень немногихъ заставляютъ призадуматься надъ вопросомъ объ единомъ и многомъ, о цѣломъ и части, да наконецъ ради нихъ, можетъ быть, и дѣйствительно не стоило бы тревожить индивидуальности. Вообще говоря, высшіе представители животнаго царства, попадающіеся намъ на глаза наиболѣе часто и долго, еще не очень давно поглощавшіе исключительное вниманіе даже людей науки—зоологовъ, являются очень опредѣленными конкретными недѣлимыми, не могущими возбудить относительно своей индивидуальности ни малѣйшаго сомнѣнія. Понятія объ индивидуѣ какъ просто образованныхъ людей, такъ и специалистовъ-зоологовъ до сравнительно недавняго времени суть обобщенія впечатлѣній, производимыхъ на насъ именно высшими формами животной жизни. И потому проблема единого и многого, цѣлаго и части, представилась для животнаго міра только со времени утвержденія клѣточной теоріи и ближайшаго ознакомленія съ организаціей низшихъ представителей животной жизни.

Иное дѣло съ растительнымъ царствомъ. По обыкновенному ходячему воззрѣнію, всякое дерево, всякій кустъ, словомъ, всякое отдѣльно взятое растеніе со всѣми своими вѣт-

вями, листьями, почками, вѣтками, есть недѣлимое, единица и вмѣстѣ цѣлое. И, дѣйствительно, напримѣръ, дерево представляетъ собой нѣкоторое конкретное, замкнутое, способное къ самостоятельной жизни и къ продолженію своего вида цѣлое, повидимому, совершенно подобное замкнутымъ единицамъ высшихъ слоевъ животнаго міра. Но, напримѣръ, корни деревьевъ срастаются подъ землей и образуютъ сѣть, которая до извѣстной степени позволяетъ смотрѣть на цѣлый лѣсъ, какъ на единое, индивидъ, причемъ отдѣльныя деревья будутъ его частями. Правда, мы можемъ срубить любое изъ этихъ деревьевъ, не потревоживъ остальной рощи. Но вѣдь и отъ отдѣльнаго дерева можно отнять вѣтви, не мѣшая жить и расти цѣлому. Мало того, можно эти срубленные вѣтви посадить и онѣ пустятъ корни и дадутъ новое цѣлое растеніе. Можно привить одно растеніе къ другому, даже другого вида. Нѣкоторые растенія распространяются побѣгами, изъ которыхъ каждый даетъ начало новому индивиду, хотя и невозможно съ точностью опредѣлить, гдѣ кончается старый индивидъ и гдѣ начинается новый. Эта неопредѣленность индивидуальности растений обратила на себя вниманіе уже Аристотеля, который призналъ необходимымъ считать индивидомъ каждую почку съ соотвѣтствующею ей осью. Каждая такая ось, будучи отдѣлена отъ цѣлага растенія, можетъ вести самостоятельную жизнь и слѣдовательно имѣть полное право на титулъ индивидуальности. Это воззрѣніе, развитое Линнеемъ, Гёте и другими, принимается и теперь. Но оно встрѣчаетъ затрудненія при опредѣленіи индивидуальности нѣкоторыхъ низшихъ растений, вслѣдствіе чего предложены были другія понятія о растительномъ недѣлимомъ. Одни, опираясь на изслѣдованія Гёте о метаморфозѣ растений, видѣли недѣлимое въ листѣ, вслѣдствіе чего все растеніе оказалось бы, такъ сказать, колоніей листьевъ, а стеблевые образованія не болѣе какъ скученными нижними частями листьевъ. Другіе, напротивъ того, приписывали индивидуальность стеблевымъ образованіямъ, видя въ листьяхъ ихъ модификацію.

Въ этихъ теоріяхъ имѣлась главнымъ образомъ въ виду способность той или другой части растенія, принимаемой за недѣлимое, при извѣстныхъ условіяхъ вести самостоятельную жизнь и поддерживать существованіе вида. Но если мы обратимъ вниманіе, напримѣръ, на такой фактъ, что листъ бегоніи, будучи разрѣзанъ на множество частей, даетъ при благоприятныхъ условіяхъ столько же цѣлыхъ самостоятельныхъ растений, то станетъ очевиднымъ, что листъ — органъ, по однимъ воззрѣніямъ, и недѣлимое, по мнѣнію другихъ—самъ представляетъ собою «многое», агрегатъ

нѣкоторыхъ новыхъ единицъ. Эти новыя біологическія недѣлимыя суть клѣтки, и существованіе одноклѣточныхъ организмовъ, повидимому, позволяетъ окончательно остановиться на клѣточкахъ, какъ на «единомъ», а ткани, органы и недѣлимыя въ обыкновенномъ смыслѣ слова признать «многимъ», скопленіемъ настоящихъ индивидовъ.

Установленная для растительнаго царства Шлейденомъ и развитая въ приложеніи къ животному міру Шванномъ *), клѣточная теорія, какъ выражается Вирховъ, «черезъ всю область растительныхъ и животныхъ организмовъ проводить принципъ единства жизни». Любой организмъ оказывается состоящимъ изъ маленькихъ организмовъ, живущихъ за свой собственный счетъ. Они-то и суть настоящіе носители жизни, настоящіе индивиды. «Одна элементарная форма проходитъ черезъ весь органическій міръ, оставаясь все тою-же; напрасно было-бы искать, чѣмъ ее замѣнить. Мы вынуждены поэтому признавать высшія формы—растеніе, животное — совокупностью извѣстнаго количества сходныхъ или несходныхъ клѣточекъ... Каждый организмъ представляетъ сумму жизненныхъ единицъ, изъ которыхъ каждая живетъ полною жизнью... Организмъ есть всегда результатъ своего рода общественной организаціи, союза многихъ элементовъ. Это—масса индивидуальныхъ существованій, зависящихъ другъ отъ друга; но эта зависимость такого рода, что каждый элементъ имѣетъ свою собственную область дѣятельности, и даже когда стимулъ его дѣятельности дается другими частями, онъ все-таки функціонируетъ самъ, своими личными силами... Каждая эпителиальная или мускульная клѣточка живетъ какъ-бы паразитомъ по отношенію къ остальному организму» (*La pathologie cellulaire*, Tr. par. Picard, 11, 387).

Разъ существованіе клѣточекъ доказано, можно найти безчисленное множество доказательствъ ихъ самостоятельной жизни, автономіи. Дарвинъ приводитъ, между прочимъ, слѣдующіе случаи такъ называемой животной прививки. Шпора пѣтуха, привитая къ глазу быка, прожила восемь лѣтъ и достигла почти четырнадцати унцій вѣсу. Хвостъ поросенка былъ привитъ на серединѣ его спины и приобрѣлъ чувствительность. Докторъ Олиеръ привилъ часть надкостной плевы щенка подъ кожу кролика и изъ нея образовалась настоящая кость. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ извѣстная группа клѣточекъ оказывается настолько самодовлѣющею, что, будучи оторвана отъ цѣлаго организма и перенесена въ

совсѣмъ новыя, совершенно произвольно выбранныя для нея условія, продолжаетъ жить. Сюда же могутъ быть отнесены извѣстныя наблюденія Ремака и другихъ надъ живучестью сердца, которое способно сокращаться, то-есть жить своею спеціальною жизнью, долго спустя послѣ смерти животнаго. Можно, конечно, сказать, что носителями жизни являются здѣсь не непосредственно клѣтки, а законченныя, специфически оформленныя системы ихъ. Но это замѣчаніе во всякомъ случаѣ не имѣетъ силы по отношенію къ другимъ фактамъ искусственнаго раздробленія организмовъ. Какую-нибудь гидру, медузу можно разрѣзать почти безъ всякаго порядка, вдоль и поперекъ, на множество частей, и каждый отрѣзокъ съ теченіемъ времени мало-по-малу возстановитъ недостающія части и совершенно уподобится бывшему, изрѣзанному, цѣлому организму. Произвольность и многочисленность направленій разрѣзовъ показываютъ, что вмѣстилищемъ жизни должна быть здѣсь признана клѣточка. Наконецъ, мы знаемъ, что существуютъ организмы одноклѣточные, что и высшіе представители животной жизни, не исключая царя земли—человѣка, начинаютъ свое бытіе въ одноклѣточномъ видѣ.

Въ 1883 году обратили на себя вниманіе два сообщенія г. Мечникова на VII-мъ, одесскомъ, съѣздѣ русскихъ естествоиспытателей и врачей: о цѣлебныхъ силахъ организма и о воспаленіи. Нѣсколько позже г. Мечниковъ напечаталъ въ одной медицинской газетѣ двѣ статьи, стоящія въ ближайшей связи съ упомянутыми сообщеніями («Русская Медицина» 1884, № 1: «Исслѣдованія о мезодермныхъ фагоцитахъ нѣкоторыхъ позвоночныхъ животныхъ». №№ 3 — 6: «Исслѣдованія о внутрикѣточномъ пищевареніи у беспозвоночныхъ»). Г. Мечниковъ занятъ тѣми клѣточками, которые способны воспринимать и усваивать плотныя пищевыя вещества; онъ ихъ называетъ «фагоцитами». Эта способность въ наиболѣе совершенной формѣ проявляется въ области мезодермы, гдѣ встрѣчается огромное количество амебовидныхъ клѣточекъ, пожирающихъ какъ инородныя тѣла, такъ и отжившіе или отдѣлившіеся элементы организма. На этой способности основывается и цѣлебная сила организма, какъ бы высылающаго на борьбу съ мірадами бактерій, проникающихъ въ него извнѣ, цѣлую армію блуждающихъ клѣточекъ. Клѣтки эти просто поѣдаютъ бактерій и перевариваютъ ихъ. Центральнѣйшій органъ цѣлебной пищеварительной системы есть, повидимому, селезенка, куда устремляются бѣлыя кровяныя тѣльца, обремененныя поглощенными ими инородными тѣлами. Извѣстный фактъ, что многія животныя, лишеныя

*) Болѣе подробную исторію клѣточной теоріи читатель можетъ найти у Carnoy: *La biologie cellulaire*. Fasc. I, 1884, 173 и сл.

селезенки, продолжают жить, совершенно гармонируясь съ предположеніемъ, что органъ этотъ не имѣетъ какой-либо существенной физиологической роли, а назначенъ только для противодѣйствія вліянію плотныхъ болѣзнетворныхъ веществъ, главнымъ образомъ зародышей бактерій. Въ организмѣ существуютъ и нѣкоторые другіе элементы, именно лимфатическія железы и костный мозгъ, за которыми должно быть признано подобное же профилактическое значеніе. Но этою удивительною борьбою съ паразитами не ограничивается роль блуждающихъ клѣточекъ. У животныхъ, испытывающихъ въ своемъ развитіи сложныя превращенія, блуждающія клѣточки заняты поѣданіемъ ненужныхъ частей, подлежащихъ атрофированію. Г. Мечниковъ приводитъ свои наблюденія надъ нѣкоторыми личинками иглокожихъ, но мы остановимся только на болѣе удобномъ примѣрѣ атрофіи хвоста у головастика лягушки. Уже въ самомъ началѣ метаморфоза въ хвостѣ головастика появляется множество блуждающихъ клѣточекъ, содержащихъ внутри себя цѣлые куски мускульныхъ волоконъ, а затѣмъ и весь хвостъ, такъ сказать, разбирается ими по кускамъ. Въ началѣ процесса еще явственно можно различить строеніе поглощенныхъ фагоцитами волоконъ, но затѣмъ послѣдніе распадаются, растворяются, а фагоциты благополучно переправляются въ полость тѣла лягушки. То же самое происходитъ при атрофіи жаберъ. Любопытно, что если инородное тѣло слишкомъ велико для того, чтобы съ нимъ могла справиться одна клѣточка, то иногда около него собирается ихъ нѣсколько; онѣ сливаются въ такъ называемыя плазмодіи и все-таки пожираютъ тѣло и во всякомъ случаѣ окружаютъ его и задерживаютъ.

Г. Мечниковъ занятъ всѣми этими явленіями преимущественно съ точки зрѣнія и въ интересахъ эволюціонной теоріи. Поэтому онъ старается прослѣдить историческій процессъ распадапія пищеварительной функціи на обыкновенную систему пищеваренія и дѣятельность внутриклѣточную. Въ низшихъ, одноклѣточныхъ организамахъ послѣдняя господствуетъ, разумеется, всецѣло. Но затѣмъ, поднимаясь по зоологической лѣстницѣ вверхъ, мы должны натурально встрѣчать постепенную убыль этой способности отдѣльныхъ клѣточекъ питаться за свой собственный счетъ. И, дѣйствительно, въ высшихъ животныхъ только мезодермныя клѣточки не утратили первоначально всѣмъ клѣточкамъ общей воспринимательной и пищеварительной функціи. «Вообще, — говоритъ г. Мечниковъ, — подвижныя мезодермныя клѣтки сохранили больше другихъ свою первоначальную индивидуальную самостоятель-

ность, такъ что можно бы было сказать, что онѣ имѣютъ нѣкоторую протозоическую душевную дѣятельность».

Итакъ, въ насъ, какъ и въ другихъ организамахъ, существуютъ такіе элементы, которые, будучи постоянными, нормальными составными частями высшаго организма, вмѣстѣ съ тѣмъ живутъ за свой собственный счетъ; живутъ столь самостоятельно и полно, что скептическій натуралистъ готовъ признать за ними нѣкоторую, хотя и протозоическую, то-есть очень низменную, но все-таки духовную дѣятельность. Еще дальше идетъ въ этомъ направленіи Геккель, который прямо говоритъ о «клѣточныхъ душахъ» вообще, а не въ примѣненіи только къ какому-нибудь разряду клѣточекъ *).

Все это, повидимому, рѣшаетъ вопросъ объ индивидуальности въ пользу клѣточки: именно она есть въ полномъ и буквальный смыслѣ недѣлимое и настоящій носитель жизни. Есть, однако, не мало возраженій противъ такого привилегированнаго положенія клѣточки. Во-первыхъ, существуютъ организмы, не имѣющіе клѣточного строенія и слѣдовательно «живущихъ частей», какъ называетъ Вирховъ клѣточки, и, однако, живущіе. Это организмы еще болѣе элементарные: просто клубочки протоплазмы, безъ ядра; Геккель называлъ ихъ цитадами. Во-вторыхъ, автономія клѣточекъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ весьма условна. Такъ, самостоятельные фагоциты составляютъ меньшинство въ суммѣ клѣточекъ высшаго организма. Такъ, опытъ съ разрываніемъ медузы удается только съ тѣми отрѣзками, при которыхъ сохранилась хоть маленькая часть края шляпки медузы; остальные погибаютъ. Значитъ, не всѣ клѣточки тѣла медузы способны возрождаться. Отрѣзки гидры не ограничены подобнымъ условіемъ, но во всякомъ случаѣ отрѣзокъ долженъ или погибнуть или возродиться въ цѣлую гидру. Остаться жить въ видѣ отрѣзка онъ не можетъ, какъ не можетъ возродиться въ какую-нибудь отличную отъ гидры форму. Слѣдовательно, надъ клѣточками гидры тяготѣетъ какой-то рокъ: онѣ могутъ жить и быть, пожалуй, вмѣстѣлишемъ жизни, но не иначе, какъ въ той специфической комбинаціи, которую представляетъ тѣло гидры. Точно также та первичная единичная клѣтка, изъ которой развивается высшее животное или растеніе, живетъ вполне самостоятельно, но не можетъ

*) См. статью: Zellseelen und Seelenzellen въ Gesammelte populäre Vorträge aus dem Gebiete der Entwicklungslehre. Bonn, 1878—1879. Статья эта есть во французскомъ переводѣ, которому дано характерное заглавіе — «La psychologie cellulaire».

оставаться въ такомъ видѣ неопредѣленно продолжительное время. Для нея обязательно развиться именно въ такую или другую сложную форму, совершенно подобную той формѣ, отъ которой она отдѣлилась.

Это загадочное свойство, общее всѣмъ организмамъ, вызвало много объясненій. Нѣкоторые изъ нихъ для насъ любопытны.

Исходя изъ идеи единства плана, по которому располагаются части организма, Гербертъ Спенсеръ нашелъ нужнымъ поставить рядомъ съ клѣточкой другую элементарную единицу. Изъ яйца развивается животное, совершенно подобное отцу и матери; изъ зерна развивается растеніе, повторяющее въ себѣ черты организаціи предковъ. На мѣстѣ оторванной клешни у рака появляется клѣтчатая масса, развивающаяся въ новую клешню, совершенно подобную старой; каждый отрѣзокъ гидры развивается въ цѣлую гидру и т. п. Это суть проявленія закона наслѣдственности, по крайней мѣрѣ, въ первомъ ряду фактовъ, если не въ фактахъ возстановленія утраченныхъ частей. Въ чемъ состоитъ причина этихъ явленій? Спенсеръ пытается объяснить дѣло такимъ образомъ. Онъ допускаетъ существованіе въ организмѣ особыхъ «физиологическихъ единицъ», обладающихъ свойствомъ «органической полярности», свойствомъ распредѣляться въ извѣстномъ специфическомъ порядкѣ и придавать организму извѣстную специфическую форму. Что же это за единицы? Спенсеръ утверждаетъ, что ими не могутъ быть сложные атомы бѣлковины, фибрина и т. д., потому что миллионы растеній и животныхъ состоятъ изъ этихъ химическихъ единицъ, и это не мѣшаетъ, однако, разнообразію формъ органической жизни. Отвергнувъ специфическую полярность химическихъ единицъ, Спенсеръ не признаетъ ее и за морфологической единицей—клѣточкой. Въ противоположность мнѣнію Вирхова о клѣточкѣ, какъ о явленіи универсальномъ, Спенсеръ утверждаетъ, что эта универсальность не существуетъ. Корненожки, не имѣющія клѣточного строенія, тѣмъ не менѣе живутъ и передаютъ свою специфическую форму потомству. Значитъ, не клѣточками обуславливается органическая полярность. «Даже,—говоритъ Спенсеръ,—если бы клѣтки представляли собою универсальное явленіе, то и тогда нельзя бы было принять это предположеніе, потому что *самое образованіе клѣтки есть до нѣкоторой степени обнаруженіе того же особеннаго свойства*», т. е. свойства органической полярности («Основанія біологін»). И въ самомъ дѣлѣ, клѣтка есть уже организмъ съ обособленными, въ извѣстномъ правильномъ порядкѣ расположенными частями.

Въ физиологическихъ единицахъ Спенсера

мы имѣемъ новое понятіе индивидуальности, не совпадающее ни съ однимъ изъ вышеприведенныхъ. Правда, Спенсеръ не называетъ свои единицы индивидами и даже говоритъ о нихъ не въ главѣ объ индивидуальности, но достаточно того, что онъ сопоставляетъ ихъ съ клѣточками. Для ученія объ индивидуальности очень важно то обстоятельство, что эти единицы выставлены съ цѣлью объясненія именно формы организма. Съ тою же, вообще говоря, цѣлью Дарвинъ предложилъ свою гипотезу пангенезиса, а Геккель—теорію перигенезиса пластидуль.

Самъ Дарвинъ объясняетъ отношеніе пангенезиса къ клѣточной теоріи слѣдующимъ образомъ. «Физиологи допускаютъ, что каждая клѣточка, хотя въ значительной мѣрѣ зависитъ отъ другихъ, но до извѣстной степени самостоятельна. Я иду немного дальше и допускаю, что каждая клѣточка отдѣляетъ отъ себя свободный зачатокъ, способный воспроизвести подобную же клѣточку». («Прирученные животные и воздѣланные растенія». Спб. 1868. II. 409). Эти чрезвычайно мелкія частицы специфичны, то-есть зачатки, отдѣляемые клѣточками одной ткани или одного органа, отличаются отъ отдѣляемыхъ другими тканями и органами. Кроме того, они отдѣляются постоянно, во всѣхъ фазахъ развитія организма, и слѣдовательно зачатки, отдѣлившіеся отъ молодой ткани, отличны отъ зачатковъ, отдѣленныхъ клѣточками той же ткани въ болѣе зрѣломъ возрастѣ. Словомъ, каждому поколѣнію клѣточекъ соотвѣтствуетъ поколѣніе зачатковъ. Зачатки, сохраняя свойства своей клѣтки и встрѣчаясь съ однородными имъ въ топографическомъ и хронологическомъ отношеніяхъ зачатками, сливаются съ ними и образуютъ клѣтки слѣдующаго поколѣнія. Послѣдніе опять отдѣляютъ зачатки и т. д. Громадная масса такихъ зачатковъ заключается въ зародышѣ, который и долженъ слѣдовательно повторить въ своемъ развитіи съ буквальною точностью исторію развитія организма производителя. Но вмѣстѣ съ тѣмъ клѣтки измѣняются подъ вліяніемъ различныхъ внѣшнихъ условій, каковыя измѣненія тѣмъ же способомъ передаются потомству. Этою гипотезою пангенезиса, которую самъ Дарвинъ называетъ временною, предварительною, онъ пытается объяснить не только явленія наслѣдственности вообще, а и частности: появленіе наслѣдственныхъ особенностей въ томъ именно возрастѣ, въ которомъ онѣ приобрѣтены предками, атавизмъ, возстановленіе оторванныхъ членовъ и т. п.

Эту сложную и вообще мало удобную гипотезу Геккель предложилъ замѣнить теоріей специфическаго движенія «пластидуль», молекулъ протоплазмы, къ которымъ и должны перейти атрибуты клѣтки, какъ элементар-

ной жизненной единицы. Пластидула не разлагается уже болѣе на органическія единицы и ниже ея стоятъ только атомы входящихъ въ ея составъ химическихъ соединений. Имѣя въ виду, главнымъ образомъ, Дарвинову теорію происхожденія видовъ, Геккель объявляетъ, что явленія органическаго развитія, обобщенныя въ этой теоріи, а равно и всѣ остальные процессы органической жизни, въ концѣ концовъ, сводятся къ соотвѣтственнымъ явленіямъ въ мірѣ пластидулъ. (*Die Perigenesis der Plastidule oder die Wellenzugung der Lebenstheilchen*. Berl. 1876).

Не одинъ Геккель спускается въ поискахъ за индивидуальностью до молекулъ органическаго вещества. Независимо отъ того, что клѣточка не есть явленіе универсальное, анализъ нашъ уже потому не можетъ на ней остановиться, что, какъ сказано, сама она имѣетъ сложное строеніе и состоитъ изъ трехъ или, по крайней мѣрѣ, изъ двухъ обособленныхъ частей: протоплазмы и ядра, въ свою очередь состоящихъ изъ частей. Клѣточка сама есть «многое» и потому нѣкоторые биологи не безъ основанія приписываютъ индивидуальное значеніе и зернышкамъ, находящимся въ содержимомъ клѣточки. Въ тридцатыхъ годахъ одинъ нѣмецкій ученый зашелъ такъ далеко, что видѣлъ въ этихъ микроскопическихъ зернышкахъ живыя существа, строящія цѣлое растеніе, какъ свое жилище. Онъ называлъ ихъ біосферами и говорилъ объ ихъ оргіяхъ и танцахъ въ таинственныхъ залахъ дворцовъ, называемыхъ нами растеніями.

Рядомъ съ этимъ фантастическимъ воззрѣніемъ стоитъ строго научная и логичная мысль извѣстнаго ботаника Негели. «Какъ ни мала клѣточка,—говоритъ онъ,—но она опять-таки представляетъ сложный организмъ, состоящій изъ индивидуализированныхъ частей. Въ клѣточкѣ встрѣчаются иногда цѣлыя сотни такихъ частей, изъ которыхъ нѣкоторыя въ свою очередь достаточно велики, чтобы мы и въ нихъ могли замѣтить сложное строеніе. Сюда относятся зернышки крахмала, состоящія изъ 50—100 различныхъ слоевъ». Поэтому Негели принимаетъ за первую ступень индивидуальности молекулы органическаго вещества, которыя въ свою очередь разложимы на атомы. (*Die Individualität in der Natur mit vorzüglicher Berücksichtigung des Pflanzenreiches*. Zürich, 1856).

Можно не останавливаться и на этихъ гипотетическихъ, не подлежащихъ опыту и наблюденію единицахъ. Въ противоположность древнимъ атомистамъ, полагавшимъ, что въ природѣ нѣтъ ничего, кромѣ атомовъ и пустаго пространства, мы принимаемъ уже атомы массы и атомы эфира. Ничто не мѣшаетъ, если бы понадобилось, предположить, что ме-

жду атомами эфира расположены атомы еще болѣе тонкой матеріи. Въ своемъ новѣйшемъ сочиненіи (*Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre*, 1884) Негели, подвергая рѣзкой критикѣ теоріи пангенезиса Дарвина и перигенезиса Геккеля, предлагаетъ свою теорію «идиоплазмы», въ которой роль зачатковъ и пластидулъ предоставляется «мицеліямъ», бѣловымъ молекуламъ, расположеннымъ внутри клѣточки въ видѣ параллельныхъ линий. А по другому поводу онъ въ томъ же сочиненіи дробитъ самые атомы на «амеры», частицы уже окончательно недѣлимые. Но это очевидно совершенно произвольно. Собственно говоря, мы здѣсь наталкиваемся на идею безконечной дѣлимости матеріи, изъ которой нѣтъ выхода. Каждую мельчайшую массу матеріи мы можемъ мысленно раздѣлить, но не можемъ принять и безконечную дѣлимость матеріи, такъ какъ даже и мысленно не можемъ прослѣдить за этимъ процессомъ, потому что это потребовало бы безконечно долгаго времени. Наконецъ, многіе склоняются къ признанію атомовъ просто нематеріальными центрами силъ.

Мы и теперь уже прошли по наклонной плоскости анализа безконечно длинное разстояніе и все-таки не подвинулись ни на одинъ шагъ впередъ. Греческое слово «атомъ» и значить индивидъ, недѣлимое, и греки употребляли его для обозначенія какъ теперешнихъ атомовъ, такъ и теперешнихъ недѣлимыхъ. Эти понятія какъ бы находятъ нынѣ опять точки сближенія. «Каждый атомъ,—говоритъ Геккель,—обладаетъ извѣстною присушею ему суммою силъ и въ этомъ смыслѣ «одушевленъ». Безъ признанія атомической души (*Atom-Seele*) самыя общія и обыкновенныя химическія явленія необъяснимы. Всѣ атомы должны обладать положительными и отрицательными стремленіями, желаніями и отвращеніями, потому что движенія атомовъ, происходящія при образованіи и разложеніи химическихъ соединений, объяснимы только въ такомъ случаѣ, если признать за ними чувство и волю. Всѣми признаваемое химическое ученіе о «сродствѣ» основывается на безсознательномъ предположеніи, что взаимно притягивающіеся и отталкивающіеся атомы одушевлены опредѣленными склонностями и что они, слѣдуя этимъ склонностямъ, имѣютъ также волю и способность двигаться по направленію другъ къ другу или другъ отъ друга. Если воля высшихъ организмовъ кажется свободною въ противоположность «твердой» волѣ атомовъ, то это—заблужденіе, вызываемое крайнею сложностью произвольныхъ движеній первыхъ въ противоположность крайней простотѣ произвольныхъ движеній послѣднихъ». Какъ неразрушима масса атома, его вещество, такъ вѣчна, без-

смертна и нераздѣльна съ нимъ связанная душа. Смертны, переходящи только безчисленныя и вѣчно измѣняющіяся сочетанія атомовъ, безконечно разнообразныя способы, которыми атомы слагаются въ молекулы, молекулы въ пластиды и кристаллы, пластиды въ организмы. Но, прибавляетъ Геккель, если такимъ образомъ каждый атомъ оказывается одушевленнымъ, если сила присуща всѣмъ формамъ вещества, то надо искать другихъ оснований для разграниченія живого и мертвого, органическаго и неорганическаго. Такая граница дана въ способности «репродукціи», воспроизведенія или «памяти», способности, принадлежащей только пластиду и отличающей ее отъ всѣхъ другихъ молекулъ.

Не безынтересно замѣтить, что въ семидесятыхъ годахъ была сдѣлана попытка найти въ отношеніяхъ атомовъ и химическихъ молекулъ параллели тѣмъ именно біологическимъ процессамъ, которые Геккель особенно желаетъ свести къ движенію пластиду. Авторъ этой попытки говорить о конкуренціи атомовъ и молекулъ, о сохраненіи крайнихъ формъ и гибели формъ среднихъ и проч. Съ его точки зрѣнія при образованіи какого-нибудь химическаго соединенія имѣютъ мѣсто тѣ же процессы, что и при образованіи какой-нибудь органической формы, съ тою разницею, что въ первомъ случаѣ роль органическихъ недѣлимыхъ исполняютъ химическія молекулы. Кромѣ аналогіи, авторъ указываетъ на прямую зависимость органической жизни отъ процессовъ химическихъ (L. Pfaundler. Der Kampf um's Dasein unter den Molekülen. Въ Poggendorf's Annalen der Physik und Chemie, Jubelband 1874).

Итакъ, спускаясь отъ сложнаго растенія или животнаго внизъ, мы доходимъ путемъ анализа до атомовъ или по крайней мѣрѣ до органическихъ молекулъ, нисколько не отклоняясь отъ логической нити. Но съ такимъ-же логическимъ правомъ мы можемъ путемъ синтеза подняться вверхъ по лѣстницѣ индивидуальности далеко за предѣлы исходной точки, то-есть недѣлимаго въ вулгарномъ смыслѣ слова.

Итальянскій ботаникъ Галлезіо предложилъ въ 1816 году очень оригинальное опредѣленіе индивидуальности, которое впослѣдствіи болѣе подробно развилъ Гёксли *). Гёксли подраздѣляетъ понятіе недѣлимаго вообще на три категоріи: 1) субъективное или произвольное недѣлимое, подъ которымъ слѣдуетъ разумѣть всякій единичный предметъ въ цѣлой серіи подобныхъ ему предметовъ,

напримѣръ, столѣтіе; 2) недѣлимое, какъ носитель частей, связанныхъ только закономъ сосуществованія, напримѣръ, кристаллы; 3) недѣлимое, какъ носитель единства частей, связанныхъ закономъ послѣдовательности, напримѣръ, человекъ, послѣдовательно проходящій ступени яйца, зародыша, ребенка, взрослого и старика. Мы не будемъ вдаваться въ критику этой классификаціи (распространенную вариацию на нее даетъ Гартманъ въ Philosophie des Unbewussten), тѣмъ болѣе, что интересующій насъ пунктъ—органическое недѣлимое—относится только къ третьему изъ подраздѣленій Гёксли. Итакъ органическое недѣлимое есть совокупность всѣхъ формъ, возникшихъ изъ одного яйца. Таково-же было и воззрѣніе Галлезіо, съ тою разницею, что послѣдній приложилъ его къ растительному царству, а Гёксли главнымъ образомъ къ міру животныхъ. Слѣдовательно, съ точки зрѣнія Галлезіо и Гёксли, однимъ и тѣмъ же недѣлимымъ долженъ считаться весь циклъ формъ, возникающихъ въ промежуткѣ между двумя актами оплодотворенія, хотя-бы въ этотъ циклъ входило безчисленное множество совершенно самостоятельныхъ организмовъ, порожденныхъ однимъ изъ процессовъ бесполового размноженія (почкованіемъ, дѣленіемъ, спорами, отводками). Выраженіе «безчисленное множество» здѣсь вовсе не пустая фраза, какъ видно изъ процесса размноженія, напримѣръ, травяной вши. Самцы являются осенью изъ такъ называемыхъ зимовыхъ яицъ и оплодотворяютъ самокъ; самки кладутъ тѣ-же настоящія зимовыя яйца, изъ которыхъ весною развиваются самки, размножающіяся все лѣто посредствомъ споръ или ложныхъ, неоплодотворенныхъ яицъ. Осенью опять рождаются вмѣстѣ съ самками и самцы и т. д. Въ теченіе лѣта бесполовымъ размноженіемъ производится такимъ образомъ 10—15 поколѣній, нѣсколько миллионныхъ экземпляровъ. И всѣ они, согласно опредѣленію Гёксли и Галлезіо, должны быть приняты за одно и то же недѣлимое, такъ какъ по этому опредѣленію недѣлимое обнимаетъ собою всѣ формы отъ яйца до яйца, независимо отъ того, распадается или не распадается оплодотворенный зародышъ на нѣсколько самостоятельныхъ особей. Точно также всѣ европейскія плакучія ивы составляютъ, по этому воззрѣнію, въ совокупности только одно недѣлимое, потому что всѣ онѣ произошли отводками отъ одного дерева, привезеннаго въ прошломъ столѣтіи изъ Азіи.

И этому воззрѣнію, какъ и всѣмъ предидущимъ, нельзя отказать не только въ логической послѣдовательности, а и въ извѣстной и теоретической и практической важности. Но и оно ведетъ ко множеству затруд-

*) Upon animal individuality. 1855. Мнѣ извѣстно по цитатамъ у Геккеля въ Generelle Morphologie der Organismen, I, 261 и у Негеля въ Die Individualität, 15.

ней и въ концѣ концовъ не удовлетворяетъ нашего ума, а гонить его дальше, къ дальнѣйшимъ обобщеніямъ, какъ предыдущія гнали къ дальнѣйшимъ расчлененіямъ. Затрудненіе состоитъ, во-первыхъ, опять въ столкновении съ здравымъ смысломъ; потому что, какъ говорить Негели, «намъ невозможно освоиться съ мыслью, что плакучая ива, осѣняющая гробъ Наполеона на островѣ св. Елены, составляетъ одно цѣлое съ деревомъ, висая въ вѣтви котораго купаются въ пруду нашего сада». Не говоря уже о томъ, что такое представленіе совершенно противорѣчитъ установившимся понятіямъ о недѣлимомъ, какъ о чемъ-то конкретномъ, цѣлостномъ и замкнутомъ, это насиліе надъ нашей мыслью нисколько собственно не подвигаетъ насъ впередъ въ разрѣшеніи вопроса объ органической индивидуальности. Правда, Гёксли различаетъ — и беретъ въ примѣръ именно травяныхъ вшей — настоящихъ недѣлимыхъ, *Zoon*, и организмы, полученные путемъ бесполого размноженія, *Zooida*. Но послѣдовательное проведеніе этого подраздѣленія встрѣчаетъ непреодолимую трудность. Съ одной стороны, рабочая пчела, рабочій муравей должны быть съ этой точки зрѣнія приняты, какъ продукты полового размноженія, за настоящіе индивидуы; а съ другой стороны они относятся къ своему полному типу точно также, какъ несовершенныя травяныя вши ко вшамъ съ вполне развитыми органами и слѣдовательно суть только *Zooida*. И за всѣмъ тѣмъ все-таки стоитъ вопросъ: гдѣ же недѣлимое, какъ жизненная, біологическая единица? Недѣлимое должно жить, дѣйствовать какъ единица, какъ единое цѣлое. Въ этомъ, именно, состоитъ понятіе недѣлимаго, очевидно неприложимое къ совокупности миллионныхъ самостоятельныхъ травяныхъ вшей или къ совокупности тысячъ деревьевъ, самостоятельно живущихъ на тысячныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга. Въ извѣстномъ смыслѣ они могутъ представлять и одно цѣлое, какъ мы можемъ думать, какъ о цѣломъ, о пудѣ свѣчей, о фунтѣ свѣчей, объ одной свѣчкѣ. Но очевидно, что каждая изъ плакучихъ ивъ живетъ своею отдѣльною жизнью и, срубивши иву, купающую свои вѣтви въ нашемъ пруду, мы ни на волосъ не потревожимъ ивы, осѣняющей гробъ Наполеона. Но и это еще не все. Между тѣми сомнительными переходными формами, изъ которыхъ Геккель составилъ третье органическое царство, есть много видовъ, размножающихся исключительно дѣленіемъ и почкованіемъ. Слѣдовательно, у этихъ низшихъ формъ, съ точки зрѣнія Галлезио и Гёксли, нѣтъ и недѣлимыхъ, хотя и есть оформленные, живыя, самостоятельныя единицы.

Тѣмъ не менѣе Геккель принялъ принципъ Гёксли и провелъ его еще дальше. Онъ назвалъ индивидуы Гёксли генеалогическимъ индивидуомъ первого порядка и далъ ему мѣсто рядомъ съ фیزیологическимъ и морфологическимъ недѣлимымъ. Идею генеалогическаго индивидуа Геккель дополнилъ для организмовъ съ бесполовымъ размноженіемъ такимъ образомъ, что поставилъ рядомъ съ цикломъ отъ яйца до яйца циклъ отъ одного почкованія или дѣленія до слѣдующаго, то есть призналъ недѣлимымъ сумму состояній, проходимыхъ организмомъ съ того момента, какъ онъ тѣмъ или другимъ способомъ отдѣлился отъ организма производителя, вплоть до того момента, когда онъ самъ становится производителемъ. Это генеалогическій индивидуъ первого порядка. Цѣлый видъ есть, по Геккелю, генеалогическій индивидуъ второго порядка. А такъ какъ виды, согласно теоріи Дарвина, произошли изъ небольшого числа первичныхъ формъ, то потомство каждой изъ этихъ формъ можетъ составить генеалогическій видъ третьяго порядка.

Эта идея принадлежит не одному Геккелю. И Негели, различая нѣсколько ступеней растительной индивидуальности, видитъ пятую ступень въ видѣ, а шестую и послѣднюю въ растительномъ царствѣ. На недѣлимомъ въ общепринятомъ смыслѣ слова удержаться трудно. И, какъ идя отъ него въ одну сторону, руководимые исключительно анализомъ, мы спускаемся до клѣточки, а то и ниже, такъ, двигаясь въ другую сторону, подъ руководствомъ исключительно синтеза, мы неизбежно приходимъ къ генеалогическому индивиду третьяго порядка.

И даже дальше. Нѣкоторые хотятъ видѣть органическій индивиду въ самой землѣ, какъ и въ другихъ планетахъ, и, наконецъ, во всей вселенной. «Кто сомнѣвается, — говоритъ Гартманъ, — въ томъ, что живущее небесное тѣло, какова земля, есть организмъ... тотъ пусть изучаетъ геологію, метеорологію и хозяйство природы вообще; онъ вездѣ найдетъ сохраненіе и развитіе формы при помощи обмѣна вещества, въ чемъ и состоитъ сущность всего органическаго». Это воззрѣніе находитъ себѣ косвенное подтвержденіе въ возможности аналогій и параллелей между процессами астрономическими и біологическими. (Du Prel. *Der Kampf um's Dasein am Himmel*). Въ вышеупомянутомъ послѣднемъ своемъ сочиненіи Негели замѣчаетъ: «При относительномъ значеніи всѣхъ количественныхъ отношеній, не невозможно и даже не вѣроятно, что повторное дѣленіе химическихъ атомовъ раньше или позже дойдетъ до индивидуальныхъ тѣлецъ, построенныхъ на подобіе какой-нибудь планеты, населенныхъ маленькими существами и въ совокуп-

ности своей представляющих подобіе звѣзднаго неба... Наше звѣздное небо въ цѣломъ, состоящее изъ цѣлага ряда системъ, есть, можетъ быть, индивидъ, который опять составляетъ часть другого, еще большаго цѣлага и относится къ нему или какъ атомъ къ химическому соединенію, или какъ молекула къ кристаллу, или какъ молекула къ массѣ газа, или какъ міровое тѣло къ своей системѣ, или еще какъ-нибудь иначе. Возможно, что міровыя системы слагаются въ искусно построенные организмы, далеко превосходящіе разумомъ нашъ собственный организмъ». (Mechanisch-physiologische Theorie, 613).

Мы переносимся такимъ образомъ изъ микроскопическаго міра клѣточекъ, которыхъ въ крови взрослого человѣка обращается ежеминутно до 60 биліоновъ, и молекулъ, діаметръ которыхъ измѣняется миллионными долями миллиметра, въ міръ небесныхъ явленій, гдѣ поперечникъ солнечной системы равняется 4—5 биліонамъ миль, гдѣ нужны миллионы лѣтъ, чтобы свѣтъ нѣкоторыхъ звѣздъ достигъ нашего глаза... Мы не пойдемъ, однако, въ этотъ ужасающій міръ необъятныхъ пространствъ, мы останемся на землѣ.

Х.

Было уже говорено, что, хотя высшіе представители животнаго міра являются намъ въ видѣ рѣзко очерченныхъ индивидуальностей, но въ низшихъ животныхъ формахъ возникаютъ тѣ же затрудненія, что и при опредѣленіи индивидуальности растенія. Затрудненія эти здѣсь едва-ли даже не сильнѣе. Сюда относятся, во-первыхъ, явленія такъ называемаго сліянія. Напримѣръ, двѣ грегарины сливаются въ одно цѣлое и завертываются въ особую оболочку; въ послѣдствіи эта масса распадается на зернистое вещество, обособляющееся въ прозрачные пузырьки, изъ которыхъ выходятъ молодыя грегарины. Два тутъ недѣлимыхъ или одно? — Еще большія затрудненія возникаютъ въ случаяхъ противоположнаго свойства, въ паразитическихъ случаяхъ отторженія частей цѣлага организма. Существуетъ полу-органъ, полу-индивидъ, которому усвоено даже особое названіе — *Nectocotylus* и которое считали то паразитнымъ червемъ, то неразвившимся самцомъ одного головоногого. Между тѣмъ, это не паразитъ, не самецъ и вообще не какой-нибудь цѣльный организмъ. Это не болѣе, какъ нога или щупальце головоногого, заключающее въ себѣ элементы мужскихъ половыхъ органовъ, отдѣляющееся отъ своего организма и самостоятельно присасывающееся къ самкѣ. Но *Nectocotylus* все-таки по крайней мѣрѣ законченный органъ (съ извѣстной точки зрѣнія, впрочемъ, это-то и удивительно), а отъ

какой-нибудь гидры, медузы, червя можно, какъ мы видѣли, отторгнуть любую часть тѣла, которая не замедлитъ развиться въ цѣлое. Но для насъ всего поучительнѣе такъ называемыя колоніи животныхъ. Прежде, однако, чѣмъ перейти къ нимъ, отмѣтимъ еще одно обстоятельство высокой важности.

Дарвинъ на основаніи разныхъ соображеній предполагаетъ, что первоначально существовали раздѣльнополыя двудомныя растенія; слѣдующею ступенью были растенія однодомныя, постепенно перешедшія къ полному гермафродитизму, который, однако, съ теченіемъ времени опять уступаетъ мѣсто половому диморфизму. При этомъ Дарвинъ вскользь замѣчаетъ, что хотя высшія животныя несомнѣнно происходятъ отъ гермафродитовъ, но эти двуполые предки нынѣшнихъ высшихъ животныхъ сами, можетъ быть, были результатомъ сліянія двухъ слегка разнѣвшихся существъ. Двойная симметрическая система органовъ у высшихъ организмовъ свидѣтельствуетъ съ этой точки зрѣнія о происхожденіи ихъ отъ сліянія двухъ индивидовъ. (Des effets de la fécondation croisée et de la fécondation directe dans le règne végétal. P. 1877, 422). Если это предположеніе основательно, такъ мы имѣемъ чрезвычайно сложную исторію слитія и распада индивидовъ, оставившую и понынь глубокой слѣдъ на строеніи высшихъ животныхъ. Спрашивается, въ какомъ же смыслѣ можно говорить объ индивидуальности любого животнаго съ двойной симметрической системой органовъ, если оно состоитъ изъ двухъ половинокъ, нѣкогда бывшихъ вполне самостоятельными индивидами? Два тутъ недѣлимыхъ или одно? Далѣе, въ какомъ отношеніи находится половой диморфизмъ къ вопросу объ индивидуальности? Гипотеза Дарвина отклоняется отъ общепринятыхъ мнѣній только въ томъ отношеніи, что онъ предпо-сылаетъ для растеній періоду гермафродитизма еще болѣе ранній періодъ раздѣльнополости. Но что нынѣшнія раздѣльнополыя существа происходятъ отъ гермафродитовъ, въ этомъ всѣ или почти всѣ согласны. Значитъ, даже устраняя гипотезу Дарвина, мы вынуждены признать возможность распада одного слитнополага индивида на два раздѣльнополыхъ, индивидуальность которыхъ не подлежитъ однако сомнѣнію.

Половой диморфизмъ еще и съ другой стороны колеблетъ понятіе индивидуальности. Съ морфологической точки зрѣнія, съ точки зрѣнія законченности, оформленности, особенности, самецъ и самка, конечно, несомнѣнные индивиды. Но нельзя того же съ такою же рѣшительностью сказать съ точки зрѣнія физиологической, требующей, чтобы индивидъ былъ самостоятельнымъ цѣлымъ и всту-

паль въ отношеніи къ внѣшнему міру, какъ единица: одну изъ важѣйшихъ жизненныхъ функцій, обеспечивающую продолженіе рода, диморфныя существа не могутъ исполнять по одиночкѣ.

Взаимная зависимость индивидовъ и невозможность для каждаго въ отдѣльности жить вполне и во всѣхъ отношеніяхъ за свой собственный счетъ достигаетъ въ животныхъ колоніяхъ такой степени, за которою слѣдуетъ уже полная потеря индивидуальности.

Обыкновенная прѣсноводная гидра размножается или яичами или почкованіемъ, но во всякомъ случаѣ производитъ потомство, совершенно подобное себѣ. Молодые гидры, развивающіяся изъ почекъ, постепенно обособляются отъ материнскаго организма; въ нихъ дифференцируются тѣ же несложные органы, какими обладаетъ и организмъ-производитель, отъ котораго они, наконецъ, совершенно отдѣляются и существуютъ самостоятельно. Пока почка не сформировалась окончательно въ совершенную гидру и не отдѣлилась отъ материнскаго организма, трудно, разумѣется, указать, гдѣ кончается старый индивидъ и гдѣ начинается молодой. Мы имѣемъ просто одну гидру, какъ бы изуродованную: въ одномъ или нѣсколькихъ мѣстахъ стѣнки ея тѣла выпятились наружу. Эти бугорки развиваются постепенно въ настоящихъ гидръ, сохраняя, однако, до поры до времени общій съ материнскимъ организмомъ покровъ и общую пищеварительную полость. Это все-таки какъ бы одно нераздѣльное цѣлое, но состоящее изъ частей, могущихъ сами претендовать на титулъ цѣлаго. Но вотъ отдѣленіе произошло, и сомнѣнія исчезаютъ. Гидры ведутъ жизнь сидячую, присасываясь своей ногой или стопой къ различнымъ предметамъ, но могутъ, расширяя эту стопу, держаться и на поверхности воды съ обращенными внизъ ртомъ и хватательными отростками. Въ такомъ обратномъ положеніи онѣ приближаются къ типу медузы, животного, характеризующагося своимъ колоколообразнымъ тѣломъ. Можно думать, что нѣкогда медузы и гидры составляли одинъ и тотъ же видъ и разошлись вслѣдствіе общихъ причинъ расхожденія видовыхъ признаковъ, тѣмъ болѣе, что существуютъ формы переходныя, временно или навсегда сохраняющія смѣшанный типъ и образъ жизни гидръ и медузъ. Въ морскихъ полипахъ эта смѣшанность типа получаетъ очень оригинальный характеръ. Изъ яицъ медузы выходятъ не медузы, а полипы, весьма сходные съ прѣсноводной гидрой; эти же гидроидные полипы образуютъ почкованіемъ не полиповъ, а медузъ. Это такъ называемый обмѣнъ поколѣній. Но притомъ иногда почки не достигаютъ полного индивидуальнаго развитія и остаются, въ качествѣ почти ор-

гановъ, связанными въ одну древовидную колонію, имѣющую общій пищевой каналъ. Такимъ образомъ, получается чрезвычайно странное цѣлое, представляющее, по выраженію Фохта, «на половину удавшійся опытъ природы построить общину—недѣлимое изъ отдѣльныхъ органовъ». О томъ, что слѣдуетъ признавать въ этихъ колоніяхъ недѣлимыми, было множество споровъ, и это совершенно понятно, потому что едва-ли есть въ природѣ другое явленіе, которое до такой степени спутывало бы наши понятія объ индивидуальности. Нынѣ, однако, самый источникъ этихъ споровъ можно считать уже упрямленнымъ.

Сифонофора, одна изъ такихъ колоній, представляетъ собою обыкновенный полипъ, только очень удлинненный, заканчивающійся наверху плавательнымъ пузыремъ, наполненнымъ воздухомъ, и какъ бы обсаженный часто очень большимъ количествомъ модифицированныхъ полиповъ и медузъ. Непосредственно подъ воздушнымъ пузыремъ сидитъ двойной рядъ колоколообразныхъ медузъ. Но это медузы сильно измѣненныя: онѣ лишены и половыхъ органовъ, и пищеварительныхъ, и хватательныхъ аппаратовъ. Онѣ совершенно приспособились исключительно къ функціямъ движенія. Выталкивая изъ своихъ отверстій воду, эти, такъ называемые, локомотивы двигаютъ такимъ образомъ всю колонію. Подъ ними около главнаго ствола группируется множество разнообразныхъ медузъ и полиповъ, подѣлившихъ между собою всѣ органическія отправленія, такъ что одни исключительно добываютъ и перевариваютъ на всю братію пищу, причемъ питательное вещество поступаетъ въ общій пищевой каналъ, а оттуда въ полость каждаго отдѣльнаго организма; другіе специализируются въ особые питки и служатъ исключительно какъ бы панцырями, утративъ всѣ способности самостоятельной медузы; третьи составляютъ интеллигенцію колоніи и, не имѣя рта, не способные ни къ пищеваренію, ни къ половой дѣятельности, снабжены очень чувствительными органами осязанія; четвертые суть не болѣе, какъ половые органы. Все это живетъ единою жизнью, связано не только матеріальнымъ, а и нѣкоторымъ духовнымъ единствомъ воли; и однако, нѣкоторые изъ такихъ индивидовъ-органовъ могутъ отдѣляться и вести самостоятельную жизнь. Что же здѣсь органъ и что недѣлимое? Съ перваго взгляда, казалось бы, слѣдуетъ признать весь агрегатъ за одно недѣлимое съ многократнымъ повтореніемъ органовъ. Такъ на сифонофоръ и другія подобныя колоніи и смотрѣли первые наблюдатели. Этому воззрѣнію нѣсколько собственно не противорѣчитъ тотъ фактъ, что

обособленные части сифонофоры могут отделяться от цѣлаго организма и быть нѣкоторое время самостоятельными единицами. Если щупальце каракатицы, завѣдомо органъ, можетъ при извѣстныхъ условіяхъ индивидуализироваться, то къ этому могутъ быть способны и половые аппараты сифонофоры, будучи все-таки только органами, пока не оторвались. Въ пользу того, что сифонофора есть не колонія индивидовъ, а одинъ индивидъ, говоритъ также то обстоятельство, что весь этотъ удивительный агрегатъ есть продуктъ одного яйца. Но здѣсь мы встречаемся съ тѣми затрудненіями, на которыя указали, говоря о понятіи индивида, предложенномъ Гексли. Сифонофоры сами, непосредственно, не представляютъ этихъ затрудненій, потому что въ нихъ продукты почкованія не отдѣляются отъ материнскаго организма и составляютъ одно конкретное цѣлое. Но если смотрѣть на сифонофоръ, какъ на одно недѣлимое, только потому, что онъ представляетъ продуктъ одного яйца, то этотъ принципъ долженъ быть приложенъ и къ другимъ случаямъ перемежающагося размноженія или обмѣна поколѣній, то-есть опять-таки къ милліонамъ травяныхъ вшей, полученныхъ путемъ бесполового размноженія, и къ тысячамъ плакучихъ ивъ, полученныхъ отводками.

Въ пользу того, что сифонофора есть не одинъ индивидъ, а колонія индивидовъ говорятъ многія аналогіи изъ исторіи развитія другихъ органическихъ формъ. Сальпы тоже образуютъ колоніи, но это несомнѣнныя, настоящія колоніи, потому что продукты почкованія, оставаясь связанными въ одно цѣлое, тѣмъ не менѣе представляютъ собою вполне цѣлостныхъ и вполне сходныхъ между собою недѣлимыхъ, безъ всякаго раздѣленія труда. А между тѣмъ процессъ образованія этихъ колоній совершенно сходенъ съ процессомъ развитія сифонофоръ, съ тою только разницею, что въ послѣднемъ случаѣ продукты почкованія не доразвиваются. Во всякомъ случаѣ, если смотрѣть на сифонофору, какъ на индивидъ, то это индивидъ съ столь многократнымъ повтореніемъ органовъ, что нѣчто подобное можно встрѣтить только въ сложномъ растеніи. Дѣйствительно, аналогія между гидроидами и сложными растеніями можетъ быть проведена очень далеко. Но мы видѣли, что сложное растеніе есть, собственно говоря, агрегатъ многихъ недѣлимыхъ. Мы должны, слѣдовательно, допустить то же самое относительно сифонофоры. Если же нѣтъ, то намъ придется съизнова начинать сказку про бѣлаго бычка и принятая за недѣлимое въ томъ неопредѣленномъ смыслѣ, въ какомъ о немъ говорятъ въ просторечіи.

Итакъ, опять, что такое недѣлимое? «Есть ли оно цѣлое или часть?» спрашиваетъ Вирховъ. Вѣрно только то, что индивидъ есть непременно цѣлое въ тотъ моментъ, когда мы о немъ мыслимъ, какъ объ индивидѣ. Но, какъ показываютъ всѣ приведенные примѣры, мы можемъ представить себѣ всякое цѣлое въ видѣ системы концентрическихъ круговъ и послѣдовательно мыслить о каждомъ изъ нихъ, какъ о цѣломъ. «Все живое — говоритъ Гете — есть многое, а не единое; даже являясь намъ въ видѣ недѣлимаго, оно остается совокупностью живыхъ, самостоятельныхъ единицъ». Недѣлимое есть цѣлое, дѣйствующее, какъ единица; дѣйствующее и, слѣдовательно, измѣняющееся; измѣняющееся и, слѣдовательно, состоящее изъ частей. На этомъ мы должны помириться. Идя дальше, мы нечувствительно вступаемъ въ область неорганической природы и становимся лицомъ къ лицу съ безконечною дѣлимостью матеріи въ одну сторону, съ безконечностью пространства — въ другую. Мы должны, слѣдовательно, допустить различныя степени индивидуальности. Къ такому результату и пришли натуралисты.

Для растительнаго царства Шлейденъ принимаетъ три ступени: 1) клѣточка или элементарный органъ, 2) простое растеніе или почка, 3) сложное растеніе. Негели допускаетъ шесть ступеней: 1) молекулы органическаго вещества, 2) клѣточка, 3) органъ, 4) почка, 5) видъ, 6) растительное царство.

Животную индивидуальность Карусъ классифицируетъ слѣдующимъ образомъ: 1) цѣлостные индивиды, совмѣщающіе въ себѣ всѣ функціи, необходимыя для поддержанія собственной и видовой жизни и для общенія съ внѣшнимъ міромъ, и существующіе не болѣе, какъ въ двухъ формахъ, — мужской и женской; 2) полиморфные самостоятельные индивиды, каковы не связанные матеріально члены обществъ насѣкомыхъ; безполые рабочіе и солдаты, трутни, самки и т. д.; 3) полиморфные индивиды, какъ и предыдущіе, отчасти способные къ половымъ отправленіямъ, отчасти неспособные, но матеріально связанные общимъ пищевымъ каналомъ (колонія гидроидъ); 4) полиморфные индивиды, связанные также въ одно цѣлое, но при этомъ съ такимъ глубокимъ раздѣленіемъ труда, что не только половыя, а и всѣ другія отправленія специализированы въ отдѣльныхъ недѣлимыхъ (напримѣръ, сифонофоры).

Сложнѣе классификація Геккеля, обнимающая собою и растительное, и животное царства: 1) Пластиды или образовательницы (Bildnerinen). Этими общимъ именемъ Геккель называетъ клѣточки и цитоды, тѣ, еще болѣе простые органическіе элементы, ко-

которые состоятъ изъ комочка плазмы. 2) Органы, простые и сложные. 3) Антимеры или «противныя части» (Gegenstücke); сюда относятся «лучи» лучистыхъ животныхъ, «половины» животныхъ съ двойной симметрической системой (напримѣръ, мозговые полушарія) и т. д. 4) Метамеры, звенья цѣпи (Folgestücke); напримѣръ, колѣна стебля въ растеніяхъ, сегменты, кольца на съкомыхъ, позвонки и проч. 5) Личности (Personen, Prosopon), индивиды въ тѣсномъ смыслѣ слова у высшихъ животныхъ, отпрыски, побѣги, почки у растеній и безполостныхъ животныхъ. 6) Колоніи (Sorgen),—деревья, кусты и вообще сложные растенія, и животныя колоніи.—Генеалогическіе индивиды, какъ единицы отвлеченныя, Геккель ставитъ особю.

Существуетъ еще довольно много проектовъ классификаціи ступеней индивидуальности, но ни изслѣдовать, ни даже просто перечислять ихъ—намъ нѣтъ никакой необходимости. Съ насъ достаточно было установить фактъ относительности понятія индивида, а затѣмъ намъ предстоитъ опредѣлить тѣ взаимныя отношенія, въ которыхъ стоятъ различныя ступени индивидуальности. Обратимся для этого къ классификаціямъ Каруса и Геккеля.

XI.

Классификація Каруса располагаетъ ряды индивидовъ въ прямолинейномъ порядкѣ убывающей самостоятельности и цѣлостности, ограничиваясь при этомъ индивидами въ тѣсномъ смыслѣ слова, личностями, Personen, Prosopon, по терминологіи Геккеля. Неудобство этого послѣдняго обстоятельства ясно въ виду постепенности перехода отъ сомнительныхъ индивидовъ четвертаго разряда Каруса къ несомнѣннымъ органамъ, которымъ нѣтъ мѣста въ его классификаціи. Такимъ образомъ, предѣльные пункты классифицируемыхъ явленій намѣчены совершенно произвольно. Но въ этихъ предѣлахъ классификація Каруса очень удобна по той наглядности, съ которою она рисуетъ градацію индивидуальности. Если выкинуть изъ счета половой диморфизмъ, оцѣнка значенія котораго могла бы въ настоящую минуту только затемнить дѣло, то индивиды перваго разряда представляютъ каждый въ отдѣльности всю совокупность жизненныхъ функцій, необходимыхъ для ихъ личнаго существованія и существованія вида; каждый изъ нихъ есть органическое цѣлое, обладающее всею суммою свойствъ своего вида. Во второмъ разрядѣ бюджетъ личной жизни каждаго индивида является уже въ упрощенномъ видѣ и притомъ такъ, что нѣкоторыя жизненныя функціи усвоены одному недѣлимому, другія—другому и т. д. Ка-

ждый изъ этихъ индивидовъ представляетъ какъ бы обособленную часть индивида перваго разряда. Въ третьемъ разрядѣ эта раздробленность функцій идетъ дальше, въ четвертомъ—еще дальше, вмѣстѣ съ тѣмъ отдѣльные индивиды все тѣснѣе примыкаютъ другъ къ другу, такъ что образуютъ, наконецъ, одно матеріальное неразрывное цѣлое. Индивидъ второго разряда, напримѣръ, безполый рабочий муравей, есть какъ бы индивидуализированная часть индивида перваго разряда, обладающаго всеми органами и способностями этого безполаго муравья, плюс еще органы и способности воспроизведенія потомства, которыхъ онъ лишенъ. Это часть, однако, еще весьма значительная, въ сравненіи съ недѣлимыми четвертаго разряда, напримѣръ, съ членами колоніи сифонофоры, которые представляютъ собою *только* желудки, *только* двигательные аппараты, *только* половые аппараты.

Спрашивается, чѣмъ обусловливается это раздробленіе индивидуальности, эта постепенная убыль цѣлостности и самостоятельности въ классификаціи Каруса? Отвѣтъ дадутъ остальные приведенныя классификаціи, которыя всѣ построены на одномъ и томъ же принципѣ. Всѣмъ извѣстны дѣтскія игрушки, состоящія изъ нѣсколькихъ пустыхъ коробочекъ или деревянныхъ яицъ, одно въ другое вложенныхъ. Нѣчто въ этомъ родѣ представляютъ классификаціи Шлейдена, Негели, Геккеля и другихъ. Если мы остановимся на какой-нибудь одной изъ нихъ, напримѣръ, на Геккелевой, и возьмемъ послѣднюю ея ступень, то увидимъ, что стоящая на этой ступени колонія или индивидъ шестого разряда состоитъ изъ системы индивидовъ низшихъ ступеней, то-есть личностей, антимеръ, метамеръ, органовъ, пластидъ и, пожалуй, еще добавленныхъ впоследствии Геккелемъ пластидулъ. Индивидъ пятаго разряда—личность есть опять-таки система низшихъ индивидуальностей и т. д. Отправляясь отъ другого конца классификаціи, мы видимъ, что пластиды входятъ въ составъ органовъ, органы въ составъ антимеръ и т. д., вплоть до личностей, входящихъ въ составъ колоній. Сходство съ дѣтскою игрушкой, однако, здѣсь только формальное и очень условное. Не коробочка входитъ въ коробочку, а живое цѣлое, входя въ составъ болѣе сложнаго цѣлаго, подвергается весьма существеннымъ измѣненіямъ.

Высшія животныя, по которымъ составляются наши первыя, грубыя понятія объ индивидуальности, успѣвшія войти въ языкъ до провѣрки ихъ научнымъ путемъ, характеризуются, какъ недѣлимыя, двумя чертами: во-первыхъ, замкнутою единичностью, во-вторыхъ способностью къ самостоятельной

жизни. Первая составляет морфологическую, вторая—физиологическую черту индивидуальности. Въ большинствѣ случаевъ эти двѣ черты въ высшихъ животныхъ совпадаютъ. Однако, и здѣсь существуютъ различныя отѣнки; такъ, напримѣръ, физиологическая индивидуальность представителей различныхъ кастъ у муравьевъ болѣе чѣмъ сомнительна, тогда какъ индивидуальность морфологическая очерчена очень рѣзко. Въ низшихъ животныхъ и въ растеніяхъ такое несовпаденіе морфологической и физиологической индивидуальности есть почти общее правило. Здѣсь мы сплошь и рядомъ встрѣчаемъ такое постепенное распаденіе одного недѣлимаго на нѣсколько новыхъ, которыя иногда на всю жизнь остаются прикрѣпленными къ материнскому организму, что различеніе морфологическихъ и физиологическихъ индивидуальностей становится неизбежнымъ. Съ морфологической точки зрѣнія клѣточки, органы, почки, листоносныя вѣтви, наконецъ, цѣлыя сложныя растенія суть недѣлимые, потому что каждое изъ этихъ явленій закончено, оформлено, единично, но они суть индивидуумы, другъ другу подчиненные, и графически могли бы быть выражены нѣсколькими концентрическими кругами. Съ физиологической же точки зрѣнія, строго говоря, въ сложномъ растеніи только однѣ клѣточки цѣлостной пыли вполне индивидуальны, потому что только онѣ однѣ могутъ, оторвавшись отъ своего цѣлаго, самостоятельно жить. Точно также всѣ органы морфологически индивидуальны, но не всѣ индивидуальны физиологически. Морфологическая индивидуальность членовъ колоній сифонофоръ не мѣшаетъ намъ признавать физиологическими индивидуумами всю совокупность ихъ, всю колонию, такъ какъ каждый отдѣльный членъ ея, представляя оформленную законченную единицу, только въ видѣ рѣдкаго исключенія способенъ къ самостоятельной жизни за свой собственный счетъ. Въ Геккелевой классификаціи физиологическій индивидъ состоитъ изъ системы низшихъ индивидовъ, какъ единицъ морфологическихъ, а каждый морфологическій индивидъ входитъ въ составъ высшей индивидуальности. Каждая изъ ступеней индивидуальности можетъ являться и морфологической, и физиологической единицей. Въ самыхъ низшихъ органическихъ формахъ эти единицы совпадаютъ, и клѣтка въ такихъ формахъ есть индивидъ и морфологическій и физиологическій. Вступая, какъ подчиненная, составная часть въ индивидъ высшаго порядка, клѣтка сохраняетъ только свою морфологическую индивидуальность и болѣе или менѣе утрачиваетъ индивидуальность физиологическую. Точно также на другомъ концѣ классификаціи, личности (Personen) медузъ и полиповъ, со-

единенныя въ колоніяхъ сифонофоръ, суть только морфологическіе индивидуумы, тогда какъ свободно живущіе полипы и медузы совмѣщаютъ въ себѣ и морфологическія, и физиологическія черты индивидуальности. Какъ существуютъ рудиментарные органы, органы безъ отправленій, такъ существуютъ и недѣлимые въ тѣсномъ смыслѣ слова, снизошедшія до степени простого органа.

Свободный одноклѣточный организмъ представляетъ собою нѣчто оформленное, особое, замкнутое и въ то же время способное къ самостоятельной жизни; онъ индивидуаленъ и морфологически, и физиологически, онъ не нуждается ни въ какихъ помощникахъ или слугахъ, чтобы нести бремя своей несложной жизни. Для образованія индивида второго, третьяго и т. д. порядковъ, нѣсколько клѣточекъ прилегаютъ другъ къ другу и затѣмъ претерпѣваютъ измѣненія качественныя. Первоначально совершенно однородныя, онѣ мало по малу начинаютъ усваивать себѣ различныя характеры. Такъ напримѣръ, свойство плазмы сокращаться—дѣлается спеціальнымъ свойствомъ тѣхъ клѣточекъ, изъ которыхъ составляется мышечная ткань, тогда какъ остальные клѣточки сохраняютъ его въ гораздо меньшей степени. Такимъ образомъ, вступая въ высшую индивидуальность въ качествѣ подчиненныхъ частей, клѣточки остаются индивидуальны морфологически, то есть не теряютъ своей оформленности и замкнутой единичности, но уже не могутъ вступать въ отношенія къ внѣшнему міру, какъ физиологическія единицы; ихъ физиологическая индивидуальность, по прекрасному выраженію Спенсера, болѣе или менѣе «помрачается». Онѣ могутъ жить только въ извѣстной, строго опредѣленной общественной комбинаціи, становясь полиморфными, причемъ сумма способностей, заключавшихся, такъ сказать, въ скрытомъ состояніи въ каждой отдѣльной клѣткѣ, распределяется по цѣлому ряду ихъ, и тамъ уже каждая изъ способностей получаетъ дальнѣйшее развитіе. Степень полиморфизма, то-есть разнородности клѣточекъ, находится въ прямомъ отношеніи къ силамъ построеннаго на ихъ счетъ индивида высшаго порядка и въ обратномъ отношеніи къ ихъ собственной физиологической индивидуальности. Въ наиболѣе простыхъ организмахъ клѣтки еще до такой степени мало разнятся другъ отъ друга, что, напримѣръ, гидру можно вывернуть на изнанку безъ всякаго для нея вреда, потому что клѣтки внутреннего слоя всегда могутъ замѣнить клѣтки слоя наружнаго. Разрывая тѣло гидры или листъ бегоніи на мелкіе куски и видя затѣмъ, что эти оторванные отъ организма клѣтчатые массы развиваются въ цѣлый организмъ, мы должны допустить, что клѣтки этихъ низ-

ших органических формъ заключаютъ въ себѣ всю сумму свойствъ, характеризующихъ соотвѣтственный видъ. Почки, изъ которыхъ должны развиться молодые особи, появляются на гидрѣ въ опредѣленныхъ мѣстахъ; но, искусственно раздражая тѣло гидры, можно вызвать почкованіе и въ другихъ мѣстахъ. Это показываетъ опять-таки, какъ мало разнятся между собою клѣтки гидры и до какой степени каждая изъ нихъ индивидуальна. Но подобныя явленія возможны только на низшихъ ступеняхъ жизни. Чѣмъ выше будемъ мы подниматься вверхъ по лѣстницѣ организмовъ, тѣмъ клѣтки будутъ оказываться все болѣе и болѣе закрѣпощенными цѣлому, высшей индивидуальности. Въ высшихъ животныхъ только ничтожная доля клѣтокъ способна развиться въ цѣлый индивидуальный организмъ и, слѣдовательно, не приспособилась къ той или другой специальной дѣятельности внутри организма; физиологическая индивидуальность остальныхъ растворяется въ цѣломъ.

Этотъ антагонизмъ между индивидуальностью цѣлаго и индивидуальностью частей, между «единицею» и «многимъ» составляетъ, очевидно, необходимое условіе понятія индивида. На этомъ принципѣ построены извѣстные «тектологическіе тезисы» Геккеля, изъ которыхъ, кратко ради, мы приведемъ здѣсь только первый и два послѣднихъ:

Пластиды (цитоды и клѣточки) тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ больше число входящихъ въ ихъ составъ молекулъ плазмы, чѣмъ сложнѣе атомистическій составъ этихъ молекулъ, чѣмъ молекулы зависимѣ другъ отъ друга и отъ цѣлой пластиды и чѣмъ, наконецъ, сама пластиды централизованнѣе и независимѣе отъ высшей индивидуальности. Личности или индивиды въ тѣсномъ смыслѣ слова тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ разнороднѣе ихъ органо-логическое и гистологическое строеніе, чѣмъ разнообразнѣе функціи ихъ составныхъ частей, *чѣмъ эти части зависимѣ другъ отъ друга и отъ своего цѣлаго и чѣмъ, наконецъ, самъ индивидъ централизованнѣе и независимѣе отъ высшей индивидуальности, то-есть колоніи.* Колоніи тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ разнороднѣе составляющія ее личности, органы и ткани, *чѣмъ зависимѣе пластиды, органы, антимеры, метамеры и личности между собою и отъ всей колоніи, и чѣмъ централизованнѣе сама колонія.*

Словомъ, каждое цѣлое тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ несовершеннѣе его части, чѣмъ онѣ слабѣе, чѣмъ онѣ болѣе подавлены, въ своемъ индивидуальномъ значеніи, что не мѣшаетъ имъ быть весьма совершенными въ смыслѣ приспособленія къ извѣстной специальной функціи. Это послѣднее обстоятельство, то-есть возможность высокой степени

развитія при пониженномъ типѣ, да и кажущаяся парадоксальность глубоко вѣрной и плодотворной мысли, заключенной въ тектологическихъ тезисахъ Геккеля — сбиваютъ многихъ съ толку. Такъ Эспинасъ («Соціальная жизнь животныхъ»), повидимому, впрочемъ, совсѣмъ незнакомый съ тезисами Геккеля, по крайней мѣрѣ не упоминающій о нихъ, приходитъ по отношенію къ тектологіи (ученіе объ индивидуальности) къ такимъ заключеніямъ: «Индивидуальность агрегата не только не исключаетъ индивидуальности составляющихъ его элементовъ, но, напротивъ, предполагаетъ ее и прогрессируетъ вмѣстѣ съ нею» (русскій переводъ 1882 г., стр. 65); «между индивидуальностью цѣлаго и частей... нѣтъ никакой противоположности» (68); «индивидъ, дѣлающійся органомъ по отношенію къ болѣе широкому жизненному цѣлому, не регрессируетъ, а прогрессируетъ» (225). Одна сама книга Эспинаса, какъ всю свою фактическую часть, такъ и отдѣльными теоретическими выводами, свидѣтельствуетъ, что приведенныя выраженія составляютъ лишь результатъ недоразумѣнія и нѣкоторой трусости мысли. Какъ только рѣчь заходитъ о фактахъ, такъ Эспинасъ или забываетъ свои общія положенія или прямо дѣлаетъ ихъ несостоятельными очевидно для читателя. Такъ, напримѣръ, говоря о паразитизмѣ, онъ приводитъ примѣры превращенія индивида въ органъ (самца въ половой аппаратъ) и называетъ эти факты «явленіями паразитическаго вырожденія» (239), что, конечно, совершенно справедливо, но отнюдь не вяжется съ приведенными общими положеніями и даже прямо противорѣчитъ имъ. Точно также признавая семью и общество своего рода индивидами Эспинасъ замѣчаетъ, что эти двѣ сосѣднія ступени индивидуальности «враждебны одна другой; онѣ развиваются въ обратномъ отношеніи другъ къ другу» (393). «Семейная привязанность, связанная такъ близко съ любовью къ самому себѣ, производитъ на образованіе большихъ обществъ такое же и даже сильнѣйшее дѣйствіе, какъ личный эгоизмъ. Семейный эгоизмъ даетъ себя знать наиболѣе властно потому, что въ основѣ его стоитъ самое понятное изъ всѣхъ и что въ немъ есть своего рода самопожертвованіе. Поэтому соціальное сознаніе общества не можетъ имѣть при своемъ возникновеніи болѣе крупнаго врага, какъ противоположаемое ему коллективное сознаніе семейства» (396).

Но таковы всегда и непремѣнно взаимныя отношенія двухъ сосѣднихъ ступеней индивидуальности: высшая стремится подавить низшую, обращая ее въ свою служебную часть и побуждая ее къ высокому, но одностороннему развитію въ этомъ специальномъ слу-

жебномъ направленіи; низшая же, продѣлявая то же самое по отношенію къ индивидуальностямъ, еще ниже стоящимъ, въ то же время отстаиваетъ свою самостоятельность отъ посягательствъ высшей. Въ этомъ состоитъ то, что я уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ называлъ «борьбой за индивидуальность», каковая борьба (кореннымъ образомъ отличная отъ борьбы за существованіе) тѣсно связана съ великимъ, всеобъемлющимъ закономъ развитія. Въ силу закона развитія всякая индивидуальность стремится къ все большому и большому усложненію, но это усложненіе можетъ совершиться только на счетъ низшихъ индивидуальностей. Высокое философское и социологическое значеніе борьбы за индивидуальность я старался показать въ цѣломъ рядѣ статей, къ которымъ и долженъ отослать теперь читателя, во избѣжаніе безмѣрнаго расширенія того отступленія, которое намъ пришлось сдѣлать отъ непосредственнаго предмета статьи—патологической магіи. Въ интересахъ нижеслѣдующаго, однако, я долженъ напомнить въ самыхъ бѣглыхъ чертахъ одинъ общій выводъ.

Стремясь, въ силу закона развитія, все къ большей сложности и цѣльности, то-есть къ количественному увеличенію и качественной подчиненности частей, всякая индивидуальность враждебно сталкивается съ соседними. Исторія жизни во всемъ ея разнообразіи, со всей ея красотой и безобразіемъ, состоитъ изъ ряда возникающихъ отсюда побѣдъ и поражений. Борьба ведется съ перемѣннымъ счастьемъ: одолеваетъ то одна, то другая ступень индивидуальности. Но борьба не прекращается. Пораженная, разбитая сторона или какъ бы выжидаетъ благоприятныхъ обстоятельствъ для заявленія себя, или, наталкиваясь на непреодолимую преграду для своего развитія, ищетъ по крайней мѣрѣ какого-нибудь обхода. Человѣкъ, какъ индивидъ, человѣческая личность представляетъ собою одну изъ степеней индивидуальности (пятую, по классификаціи Геккеля). Въ составъ его входятъ индивидуальности четырехъ низшихъ порядковъ, а надъ нимъ высится индивидъ шестого порядка—общество (колонія), различныя формы котораго опять-таки могутъ представить систему степеней индивидуальности. Борьба за индивидуальность, возникающая для человѣческой личности изъ этого, отведеннаго ей природою положенія, обязательна очевидно въ двухъ направленіяхъ. Во-первыхъ, личность должна безпоощадно подчинять себѣ, какъ цѣлому, всѣ входящія въ ея составъ низшія индивидуальности; должна, слѣдуя старому девизу—«divide et impera», строго проводить раздѣленіе труда между своими органами, требовать отъ нихъ отъ всѣхъ напряженной

спеціальной работы въ ея, личности, интересахъ. Во-вторыхъ, личность должна противодѣйствовать тому, чтобы римскій девизъ «divide et impera» прилагался къ ней самой со стороны какой бы то ни было ступени индивидуальности, какими бы пышными именами она ни называлась. Этими двумя требованіями въ сущности исчерпывается антропологическая или, — что то же, какъ въ буквальномъ, такъ и въ условномъ значеніи слова—гуманная точка зрѣнія на міръ. Всякія другія точки зрѣнія будутъ лишь попытками стать либо выше, либо ниже той ступени лѣстницы индивидуальности, на которой человѣкъ стоитъ по самой природѣ своей, а слѣдовательно, не приличествуютъ человѣческой мысли.

Вернемся теперь къ Эспинасу. Онъ приходитъ къ тому заключенію, что индивидъ есть общество, ибо состоитъ изъ другихъ, низшихъ индивидовъ, и наоборотъ, общество есть индивидъ. Мы не будемъ слѣдить за его доводами, потому что, надѣемся, они сами собой понятны послѣ всего вышесказаннаго. Мы остановимся только на психологической сторонѣ дѣла. Мы видѣли, что г. Мечниковъ приписываетъ своимъ фагоцитамъ «нѣкоторую протозоическую душевную дѣятельность»; что, по Геккелю, каждый даже атомъ—«одушевленъ»; что возможенъ разговоръ о «целлюлярной психологіи»; что съ другой стороны Негели говоритъ о «разумѣ мировыхъ системъ». Надо замѣтить, что все это не метафорическія только выраженія, не пустопорожнія аналогіи, давно всѣмъ надѣвшія; нѣтъ, упомянутые ученые говорятъ съ точностью именно то, что хотѣтъ сказать. Спрашивается, каково же въ такомъ случаѣ отношеніе между психическою жизнью цѣлага и психическою жизнью частей? Что касается общества въ тѣсномъ смыслѣ (шестой ступени Геккеля), то мы находимъ у Эспинаса слѣдующія на этотъ счетъ разсужденія:

«Самецъ и самка, постоянно занятые, по крайней мѣрѣ въ теченіе извѣстнаго времени года, взаимными представленіями другъ о другѣ, собственно говоря, имѣютъ какъ бы одно сознаніе, заключенное въ двухъ сообшчающихся центрахъ. Сообщеніе этихъ центровъ и есть та связь, которая дѣлаетъ изъ двухъ отдѣльныхъ неполныхъ индивидуальностей одну, болѣе способную довольствоваться самой собой и которая поглощаетъ ихъ обоихъ, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторые моменты. Увеличеніе этого общества происходящими отъ него молодыми отпрысками сообщаетъ ему законченность и постоянство». Дѣтеныши составляютъ часть организма родителей. «Но эта общность субстанціи, какъ бы она ни была существенна для объясненія физиологической наслѣдственности, еще не въ состояніи образовать семейство, предста-

вляющее собою нравственный организм. Для этого необходимо, чтобы единение субстанціи перешло въ единеніе сознаний, и чтобы различные организмы, составляющіе семейное общество, будучи раздѣлены матеріально, стремились бы снова одинъ къ другому въ силу духовныхъ побужденій, то-есть взаимныхъ идей и чувства. Исторія животнаго семейства есть исторія постоянного соотносительнаго перехода индивидуальных сознаний въ одно общее». «Но какимъ образомъ разумъ можетъ быть, такъ сказать, сборнымъ?.. Въ нашу задачу не входитъ рѣшеніе вопросовъ—встрѣчаются ли дѣйствительно въ чело-вѣчествѣ слѣды совокупленія многихъ сознаний въ одно, порождаетъ ли любовь въ семействѣ, патриотизмъ въ государствѣ, а также помѣсь крови (смѣшанные браки), традиціи и идеи—порождаютъ ли они между сердцами людей дѣйтельное общеніе и концентрируются ли ихъ разрозненные аффекты въ отдѣльные центры, способные, въ свою очередь, посылать отъ себя направляющіе лучи. Наша цѣль состоитъ только въ изслѣдованіи животныхъ обществъ... Сознаніе животныхъ не составляетъ чего либо безусловнаго или недѣлимаго. Оно, напротивъ, способно къ раздробленію и дѣленію... Муравейникъ по-истинѣ представляетъ собой хотя и раздробленную, но одну дѣйствующую мысль, какъ различные клѣточки и фибры мозга млекопитающаго... Все приводитъ насъ къ той несомнѣнной истинѣ, что мысль и одухотворенное ею побужденіе (*impulsion*), какъ силы природы, способны къ распространенію (*diffusion*), передачѣ, дѣленію».

Поятно, что если индивидъ есть общество, то тѣ же соображенія приложимы и къ индивидамъ. «Сознаніе идетъ за жизнью,—говоритъ Эспинасъ: здѣсь оно подобно жизни, многоединично и, также, какъ она, не перестаетъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ единымъ. Известно, напримѣръ, что кольчатыхъ и глисть можно разрѣзать на нѣсколько кусковъ, не уничтожая жизни частей; но нужно замѣтить, что каждый изъ этихъ кусковъ будетъ имѣть единичное сознаніе, подобно цѣлому животному, въ которомъ онъ составляетъ лишь одну часть. Если у пиявки отрѣзать или перевязать спереди и сзади ганглія нервныя спайки, соединяющія его съ двумя сосѣдними, то зоонитъ этого ганглія сохраняетъ свою чувствительность; но мы получимъ при этомъ единичное изолированное животное между двумя многоединичными: причиняемые ему уколы будутъ ощущаться лишь имъ однимъ. Нельзя доказать болѣе очевидно психическую индивидуальность каждого кольца. Подобные же опыты были произведены съ на-сѣкомыми, напримѣръ, съ богомолъ, и привели къ одинаково поразительнымъ результа-

тамъ. Такъ, въ нормальномъ состояніи, при полной цѣлости на-сѣкомаго, каждый зоонитъ обладаетъ отдѣльнымъ сознаніемъ, но это не мѣшаетъ всему индивиду имѣть свое собственное, которое охватываетъ собою частныя сознанія, такъ какъ они въ большей своей части состоятъ изъ впечатлѣній, посылаемыхъ ему этими послѣдними. Это справедливо для безчисленнаго множества безпозвоночныхъ, такъ что, обозрѣвая природу во всемъ ея цѣломъ, нельзя не замѣтить, что раздробленное сознаніе имѣетъ въ ней болѣе мѣста, чѣмъ сознаніе, ртущее, такъ сказать, монолитно». Такимъ образомъ, когда мы говоримъ о физиологической самостоятельности низшихъ индивидуальныхъ формъ, входящихъ въ составъ высшей, положимъ, о самостоятельности каждаго членака солитера, то здѣсь надо разумѣть не только способности питанія и размноженія, но и психическую жизнь,—самостоятельность сознанія, чувства, воли.

Уже отмѣченная нами нѣкоторая трусость мысли Эспинаса не позволила ему распространить свои собственные выводы на весь животный міръ. Признавъ въ принципѣ, что всякій индивидъ есть сообщество низшихъ индивидовъ, и прослѣдивъ этотъ принципъ на низшихъ животныхъ формахъ, онъ остановился передъ позвоночными, не рѣшаясь признать и ихъ колоніями, обществами. Вундтъ тогда же отмѣтилъ нелогичность этой остановки (*Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie* 1878, 2 Heft: «Ueber den gegenwärtigen Zustand der Thierpsychologie»). А въ 1881 г. французскій зоологъ Эдмонъ Перье издалъ обширное изслѣдованіе о животныхъ колоніяхъ («*Les colonies animales*»), въ основѣ котораго лежитъ слѣдующая мысль: *всѣ* высшіе организмы, такъ сказать, начали свою карьеру въ видѣ ассоціацій, колоній, обществъ. На низшихъ ступеняхъ жизни ассоціированные элементы остаются почти вполнѣ независимыми другъ отъ друга и отъ своего цѣлага, но постепенно властное единство цѣлага все растетъ и растетъ и колонія-общество окончательно превращается въ индивидуальный организмъ, жизненныя функціи котораго строго подѣлены между когда-то независимыми и цѣлостными элементами. Было бы неумѣстно слѣдить здѣсь за всѣми подробностями замѣчательнаго и, принимая въ соображеніе его высокое философское значеніе, мало оцѣненнаго труда Перье. Для насъ интересна, главнымъ образомъ, опять-таки психологическая сторона дѣла, и именно въ высшихъ животныхъ.

Въ высшихъ формахъ животной жизни сообщество отдѣльныхъ частей, утратившихъ свою самостоятельность, создаетъ особый управляющій органъ—голову, занимающій мѣсто въ ряду прочихъ элементовъ, но деспо-

тически устанавливающий свое верховенство. «Трудно, однако, определить, въ какой мѣрѣ различные элементы утратили свою психологическую индивидуальность. Движенія, которыя можно вызвать въ любомъ отрѣзкѣ кольчатого или въ груди насѣкомаго, отдѣленной отъ головы и брюха, еще не доказываютъ, что эти отдѣленные части сознаютъ то, что происходитъ въ нихъ самихъ. Извѣстно, что обезглавленное животное, точно также, какъ и лишившійся сознания человекъ, можетъ совершать движенія, удивительно похожія на движенія сознательныя, производимыя подѣ давлениемъ воли; физиологи называютъ эти, чисто механическія, движенія рефлексорными. Но привычка можетъ обратить въ рефлексъ почти всѣ сознательныя и произвольныя движенія. Трудно поэтому рѣшить, въ какой степени зависимости держитъ своихъ сообщественниковъ управляющій индивидъ—голова. Такъ какъ, однако, физиологи исключаютъ изъ области сознания всѣ ощущенія, не централизованныя въ головномъ мозгу, и всѣ движенія, не предписанныя непосредственно имъ, то приходится измѣрять степень психологической индивидуальности или, что то же, степень сознания колоніи—степенью централизаціи психическихъ функцій въ индивидѣ, играющемъ роль головы. По мѣрѣ того, какъ совершается эта централизація, по мѣрѣ того, какъ растетъ значеніе общаго сознания,—частныя сознания насыщаются, довѣряя тому единому сознанию, которое беретъ на себя трудъ чувствовать, опѣивать и хотѣть за всѣхъ. Небольшое число очень привычныхъ дѣйствій остается въ зависимости отъ частныхъ сознаний, эти дѣйствія ускользаютъ отъ общаго, руководящаго сознания,—они составляютъ большинство рефлексовъ» (776).

Такимъ образомъ и въ психологической области оправданы тектологическіе тезисы Геккеля, а вмѣстѣ съ ними и теорія борьбы за индивидуальность. Между прочимъ, и наше человеческое я не есть что-нибудь единичное, не я, а мы; только члены этого множества числа давно низведены процессомъ органическаго развитія до степени совершенно подчиненныхъ единицъ, самостоятельное значеніе которыхъ утопаетъ въ сознаніи цѣлаго. Эта мысль давно уже пробиивается въ трудахъ психологовъ, психіатровъ, невро-физиологовъ. Для нашей цѣли она нагляднѣе всего выражена у Маудсли. Онъ замѣчаетъ, что, «разсуждая объ отправленіяхъ нервной системы у человека, необходимо отличать различные нервныя центры. 1) *Центры перваго порядка* или *мыслительныя* центры, состоящіе изъ сѣраго вещества извилинъ полушарій. 2) Нервные центры *второго порядка* или *чувствительныя* центры,

состоящіе изъ скопленій сѣраго вещества, лежащаго между перекрещиваніемъ пирамидъ и днами боковыхъ желудочковъ. 3) Нервные центры *третьаго порядка* или центры *рефлекторнаго дѣйствія*, состоящіе главнымъ образомъ изъ сѣраго вещества спинного мозга. 4) Нервные центры *четвертаго порядка* или органическіе центры, какъ мы можемъ ихъ назвать, принадлежащіе симпатической системѣ.—Каждый отдѣльный центръ подчиненъ непосредственно высшему центру, но въ то же самое время способенъ производить и сохранять извѣстныя движенія безъ участія высшаго центра. Устройство каждаго изъ нихъ таково, что правильное, независимое мѣстное дѣйствіе совмѣстно съ контролемъ высшаго центра. Узловыя симпатическія клѣтки координируютъ дѣятельность отдѣльныхъ элементовъ ткани, въ которой они помѣщаются, и такимъ образомъ представляютъ простѣйшую форму *обособленія* (индивидуализаціи); клѣтками спинного мозга координируются отправленія различныхъ органическихъ центровъ, и такимъ образомъ они имѣютъ хотя зависимое, но существенное участіе въ движеніяхъ животной жизни,—здѣсь, слѣдовательно, является дальнѣйшее и болѣе высокое обособленіе; спинные центры подобнымъ же образомъ контролируются чувствительными центрами, а чувствительныя въ свою очередь подчинены большимъ полушаріямъ мозга и особенно дѣйствію воли, которая, будучи правильно образована, представляетъ высшее проявленіе принципа *обособленія* (индивидуализаціи). Чѣмъ больше подчиненіе отдѣльныхъ частей у какого-нибудь животнаго, тѣмъ оно выше и совершеннѣе» («Физиологія и патологія души», 60).

XII.

Итакъ, человекъ не двулицый Янусъ, какъ утверждаетъ Дю-Прель. Въ немъ спаяны не два субъекта и два сознанія, а много субъектовъ и много сознаний, которые, однако, іерархически подчинены цѣлому, сознающему себя и проявляющему свою волю, какъ единое, нераздѣльное я. Чѣмъ централизованнѣе эта единица, тѣмъ болѣе путемъ приспособленія къ специальнымъ, служебнымъ функціямъ подавлены входящія въ ея составъ низшія единицы, тѣмъ личность выше. Въ этой деспотической централизаціи лежитъ залогъ здоровья, счастья, нравственной высоты личности. Наоборотъ, болѣзнь и нравственное паденіе объективно выражаются децентрализаціей нашего я, распаденіемъ индивидуальности, какъ бы возстаніемъ низшихъ индивидуальностей противъ законнаго господства цѣлаго я. Цѣнныя замѣчанія въ

этомъ направленіи читатель можетъ найти у Гартмана въ *Philosophie des Unbewussten* и въ особенности во второмъ изданіи полемическаго сочиненія «*Das Unbewusste von Standpunkt der Physiologie und Descendenztheorie*» (1877), оригинальный полемическій приемъ котораго позволяетъ удобно различать метафизическую шелуху отъ реального ядра въ философіи Безсознательнаго. На этомъ же принципѣ возстанія низшихъ индивидуальностей въ значительной степени построена печатающаяся въ «Юридическомъ Вѣстникѣ» «Психологія преступности» г. Дриля. Здѣсь же лежитъ источникъ всей психологической магіи.

Когда тѣмъ или другимъ способомъ подавлено сознание или дѣятельное состояніе клѣтокъ коркового вещества мозга, то низшіе центры живутъ, такъ сказать, на всей своей вольной волѣ. Цѣлое, человѣческая личность при этомъ какъ бы не существуетъ въ психологическомъ смыслѣ. Жизнь въ ней идетъ своимъ чередомъ, но безъ высшаго и общаго контроля. Какъ обезглавленная лягушка можетъ реагировать на внѣшнія раздраженія цѣлесообразными движеніями; какъ нѣкоторые насѣкомыя, напр., богомолъ, будучи обезглавленъ, ищеть самку, находятъ ее и совершаютъ половой актъ; такъ и человѣкъ съ отуманеннымъ или подавленнымъ сознаніемъ не только можетъ имѣть активное и пассивное общеніе съ внѣшнимъ міромъ, но въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ это общеніе можетъ достигать особенной точности, тонкости и напряженности. Чувство боли (боли физической и боли нравственной—горя) при этомъ исчезаетъ, потому что это атрибутъ цѣлаго, какъ мы его сами сознаемъ, а о боли и горѣ низшихъ, сдавленныхъ нашею личностью индивидуальностей мы ничего знать не можемъ. Но воспріятіе впечатлѣній и отвѣтныя на нихъ дѣйствія различныхъ частей организма продолжаютъ, только эти отвѣтные акты принимаютъ другой характеръ. Минувъ порогъ сознанія, не доходя до него, впечатлѣніе прямо отражается соответственными измѣненіями въ соответственныхъ частяхъ тѣла. Мы приводили поразительные факты этого рода и не станемъ ихъ повторять. Съ насъ достаточно теперь указанія, что эти удивительные факты, если не объясняются, то имѣютъ своимъ необходимымъ условіемъ распаденіе человѣческаго я, чрезмѣрную и незаконную самостоятельность низшихъ индивидуальностей, въ общемъ порабощенныхъ въковымъ процессомъ органической жизни.

Въ вышеупомянутой «Психологіи преступности» г. Дриль приводитъ чрезвычайно любопытный разсказъ одного больного о своей болѣзни, которую онъ самъ называетъ «дробленіемъ личности».

«Въ эти моменты цѣлостность его личности какъ бы уничтожается и онъ ясно начинаетъ ощущать какъ бы раздѣльными и самостоятельными всѣ органы своего тѣла,—руки, ноги, сердце, желудокъ и пр. Его «я» въ это время какъ будто отдѣляется куда-то въ сторону и всѣ органы становятся самостоятельными: они начинаютъ обладать чувствительностью, какъ бы отдѣльными желаніями и самостоятельною дѣятельностью. Въ это время ему стоитъ большого труда заставить отдѣльные подчиненные органы выполнять отъ центра исходящія желанія. Минуетъ это состояніе—и единство личности снова восстанавливается, раздѣльность чувствительности и управления исчезаетъ и на мѣсто множественности снова является единое управляющее я» («Юридическій Вѣстникъ», 1887, мартъ).

Это лишь очень рельефное изображеніе того, что давно извѣстно психіатрамъ подъ именемъ раздвоенія или вообще распаденія личности, при которомъ иногда какая-нибудь опредѣленная часть тѣла,—голова, рука,—представляется больному чѣмъ-то постороннимъ, чужимъ и даже враждебнымъ, что можно бить, щипать, не чувствуя боли. Но въ занимающихъ насъ случаяхъ патологической магіи дѣло не въ субъективныхъ ощущеніяхъ распадающейся, развивенной личности, а въ такихъ объективныхъ фактахъ, какъ, на примѣръ, появленіе молока въ грудяхъ женщины, неспособной къ дѣторожденію и у которой, слѣдовательно, молочныя железы и соответственные нервныя центры дѣйствуютъ внѣ всякой зависимости отъ общаго индивидуальнаго consensus'a, а возбуждаются постороннимъ впечатлѣніемъ къ самостоятельной дѣятельности, мятежной по отношенію къ личности. Таковы же случаи появленія у гипнотиковъ опухолей, кровоподтековъ, нарывовъ на мѣстахъ, указанныхъ волею гипнотизера. Такова и стигматизація, таковы вообще всѣ случаи мимовольнаго и безсознательнаго подражанія и его видоизмѣненія—автоматической покорности. Эти случаи рабской неустойчивости личности суть результаты анархическаго своевольства низшихъ индивидуальностей, освобожденныхъ отъ контроля центрального сознанія и центральной воли.

Но у людей съ децентрализованнымъ я, у людей, тѣмъ или другимъ способомъ какъ бы развинченныхъ на составныя части, не только отвѣтные акты на внѣшнія раздраженія отличаются особеннымъ, и именно рабскимъ характеромъ. Самый процессъ воспріятія впечатлѣній, не будучи, конечно, какимъ-то «трансцендентальнымъ», непосредственнымъ общеніемъ съ внѣшнимъ міромъ, отличается въ этомъ случаѣ нѣкоторыми важными особенностями. Мы уже знаемъ, что у гипноти-

ковъ, равно какъ и у сомнамбулъ, слухъ, обоняніе, осязаніе, мышечное чувство достигаютъ необыкновенной остроты и тонкости. Эти люди *чуютъ* такіа слабыя колебанія воздуха или такіе запахи, которые совершенно неуловимы, неразличимы для людей нормальныхъ. Но этого мало. Вейнгольдъ («Hypnotische Versuche») дѣлалъ опыты, изъ которыхъ видно, что по крайней мѣрѣ нѣкоторые гипнотики могутъ воспринимать звуки не тѣмъ путемъ, которымъ мы ихъ обыкновенно воспринимаемъ, то-есть не при посредствѣ спеціально для этого приспособленнаго органа слуха, а черезъ брюшную полость. Звуковыя колебанія доходятъ до надлежащихъ нервныхъ центровъ окольнымъ, длиннымъ и совершенно неожиданнымъ путемъ. Ганзентъ дѣлалъ слѣдующій опытъ. Загипнотизировавъ субъекта, онъ клалъ свою руку ему на голову и затѣмъ, взявъ въ ротъ перо, смоченное чернилами, спрашивалъ, что чувствуетъ во рту гипнотикъ. Тотъ отвѣчалъ, что чувствуетъ сильный чернильный вкусъ. Очевидно, что и въ этомъ случаѣ ощущение чернильнаго вкуса дошло до надлежащей мозговой инстанціи какимъ-то неизвѣстнымъ намъ окольнымъ путемъ. А это возможно только при ослабленной индивидуальности цѣлаго, при нарушении строгаго раздѣленія труда между его частями, когда одна изъ нихъ можетъ безпрепятственно исполнять функціи другой. Такъ гидру можно вывернуть на изнанку, потому что ея внутренній слой всегда можетъ замѣнить собою ви́шній и наоборотъ—ви́шній слой легко приспособляется къ функціямъ внутренняго. И это нормально для гидры. Но въ человѣческомъ организмѣ строгая спеціализація органовъ получила столь опредѣленный характеръ, что всякія замѣстительства одного другимъ служатъ лишь признакомъ глубокаго разстройства личности, ея крайняго ослабленія, какія бы, повидимому, выгоды и удобства ни представляло такое состояніе слабости.

А такіа кажущіяся выгоды и удобства есть. На нихъ именно и основано утвержденіе Платона, что «Богъ даруетъ мантику (предвидѣніе) только человѣку, лишенному разума». Буше-Леклеркъ очень вѣрно комментируетъ это изреченіе, говоря, что для «мантики» «индивидуальность должна быть предварительно ослаблена или уничтожена восторженностью, сномъ или болѣзнію». Дѣйствительно, какъ видно изъ всего вышесказаннаго, человѣкъ, достигшій, вслѣдствіе большаго или меньшаго помраченія сознанія и воли, децентрализаціи своего я, способенъ улавливать такіе признаки какого-нибудь явленія, которые обыкновеннымъ, здоровымъ людямъ недоступны. Вдобавокъ съ нимъ случается то же самое, только въ болѣе высокой степени, что

бываетъ и съ здоровыми людьми, когда въ нихъ изъ нѣдръ безсознательнаго выступаютъ, повидимому, неизвѣстно откуда, таинственно полученные образы, картины, фактическія знанія. Отсюда чудо знанія многихъ языковъ и т. п. А если прибавить, что при нѣкоторыхъ формахъ ослабленія сознанія и воли утрачивается чувство боли и горя, то станетъ понятнымъ, почему человѣчество издревле почитало людей децентрализованнаго я сверхъестественно могучими и святыми; почему, далѣе, человѣчество такъ упорно искало и ищетъ искусственныхъ средствъ для помраченія сознанія и находило и находитъ ихъ то въ созерцаніи точки въ пространствѣ, то въ монотонныхъ звукахъ, въ аскетическомъ воздержаніи, въ наркотикахъ и алкоголѣ, въ особенныхъ, быстрыхъ вращательныхъ движеніяхъ и т. п. На самомъ дѣлѣ въ людяхъ, достигающихъ этими путями помраченія сознанія, какимъ бы авторитетомъ они въ своей средѣ ни пользовались и какія бы дѣйствительно изумительныя дѣла ни совершали, надо отличать прежде всего отрицательную, пассивную сторону. Они могутъ быть при извѣстныхъ условіяхъ господами положенія, но по существу дѣла они—рабы, рабы просто впечатлѣнія, которому не могутъ противопоставить никакой преграды, которое неотразимо кладетъ на нихъ свою печать (stigma). Говоря о чтеніи мыслей, я старался разграничить сознательное чтеніе отъ безсознательнаго. Это различіе въ высшей степени вѣрно. Человѣкъ умираетъ мучительною смертію за дорогую ему идею и при этомъ, желая не дать лишняго торжества своимъ врагамъ и представить примѣръ мужества единомышленникамъ, напрягаетъ всѣ усилія, чтобы не обнаружить боли стономъ или жестомъ. Это—дѣло упорной воли и сознанія; мученикъ чувствуетъ боль, но держитъ всѣ свои органы въ строгомъ подчиненіи. Умираетъ такою же мучительною смертію, положимъ, средневѣковая вѣдьма и тоже не обнаруживаетъ боли ни стономъ, ни мимикой. Но ей нечего и обнаруживать,—она просто не чувствуетъ боли, потому что развинченный организмъ этой несчастной больной утратилъ всѣ атрибуты индивидуальности цѣлаго я, въ томъ числѣ и способность чувствовать боль. Другой примѣръ. Если я напшелъ, положимъ, украденную и запертанную воромъ вещь путемъ изученія характера вора, соображеній о его физическихъ и душевныхъ свойствахъ, о свойствахъ украденной вещи и т. п., припуская данныя своего безсознательнаго опыта лишь какъ подспорье къ этому процессу мысли, я несомнѣнно господинъ положенія. Но если я дѣлаю то же самое открытіе на манеръ Бишопъ, то-есть превращаюсь въ нѣчто въ родѣ зеркала, которое не можетъ не отражать находящіеся передъ нимъ пред-

меты, то я—рабъ индуктора, рабъ всѣхъ его движеній, ибо, только рабски копируя ихъ, я могу достигнуть своей цѣли. Въ первомъ случаѣ я могу говорить о своей личной заслугѣ, во второмъ—личность моя должна была, напротивъ того, болѣе или менѣе ослабнуть, развинтиться.

Достоинъ вниманія, что рабская черта принимается иногда въ децентрализованной личности чрезвычайно оригинальныя формы поклоненія именно тому орудію, при помощи котораго достигнута децентрализація. Таковы обожаемые наркотическіе напитки—индійская «сома», иранская «гаома», таковъ у насъ на сѣверѣ и въ Сибири прозаическій мухоморъ. Человѣкъ, опьяненный настоємъ или отваромъ мухомора, приписываетъ всѣ свои ни съ чѣмъ несообразныя поступки вѣліяніямъ мухомора: мухоморъ приказалъ идти туда-то и сдѣлать то-то. Но и вообще люди децентрализованнаго я никогда не дѣйствуютъ отъ своего личнаго имени; ихъ всегда кто-нибудь послалъ, а кто именно послалъ,—это опредѣляется частью личной фантазіей, но гораздо болѣею частью существующими въ данной средѣ повѣрьями и мифами.

И однако, эти слабые люди, эти рабы могутъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, стать огромной силой, передъ которой преклонится толпа. И не только потому, что они изумляютъ своимъ пассивнымъ чудодѣйствомъ: сердцебѣдніемъ (чтеніемъ мыслей) и безболѣзненнымъ претерпѣваніемъ жесточайшихъ истязаній и самоистязаній. Уже и этихъ пассивныхъ чудодѣйствъ, конечно, достаточно для того, чтобы окружающіе очевидцы прониклись почтительнымъ изумленіемъ и далеко разнесли славу чудодѣя, съ разными прибавками и прикрасами,—*fama eundo crescit*. Но люди, ограничивающіеся пассивнымъ чудодѣйствомъ, тѣ, кого у насъ народъ зоветъ «чудодѣйными», не могутъ подняться на ступень маговъ и кудесниковъ. Для этого нужно нѣчто активное,—способность овладѣвать волей людей, чтобы они безпрекословно шли, куда имъ скажетъ магъ, испѣлялись отъ болѣзни или, наоборотъ, заболѣвали, когда онъ прикажетъ, и т. д. А это возможно прина личности двухъ условій. Во-первыхъ, на лицо долженъ быть извѣстный контингентъ людей, склонныхъ къ автоматической покорности. Мы знаемъ почву, на которой растетъ и множится подобный людъ: однообразіе впечатлѣній, скудость жизни, узость интересовъ, односторонность духовной дѣятельности. Все это развивчиваетъ индивидуальность и готовитъ изъ нея раба, жадно ищущаго передъ кѣмъ преклоненія, кому отдать въ руки свою волю. Это—разъ. Во-вторыхъ, магъ и волшебникъ долженъ знать секреты гипнотизма; знать, разумѣется, не въ томъ смыслѣ, въ какомъ ихъ

знаетъ нашъ ученый современникъ. Пусть онъ не имѣетъ даже и отдаленнѣйшаго понятія объ истинной причинѣ и связи производимыхъ имъ самимъ таинственныхъ явленій. Пусть онъ руководствуется отнюдь не какой-нибудь теоріей, систематизаціей проверенныхъ фактовъ, а какими-нибудь жалкими примѣтами, бывшими примѣрами, преданіями, доставшимися отъ учителей, или искреннею вѣрою въ покровительствующее ему божество. Но только пусть онъ *знаетъ*, что подъ влияніемъ совокупности его магическихъ манипуляцій и реченій, изъ которыхъ въ дѣйствительности можетъ быть половина совѣтъ не нужна для предполагаемой цѣли, больной выздоровѣетъ или здоровый заболѣетъ. Деревенская колдунья сажаетъ дѣвушку передъ зеркаломъ и предлагаетъ ей, ни о чемъ постороннемъ не думая, смотрѣться въ него до тѣхъ поръ, пока ей явится суженый. По прошествіи нѣкотораго времени упорное созерцаніе опустошаетъ сознаніе дѣвушки и она дѣйствительно видитъ если не суженаго, то любимаго человѣка, образъ котораго самостоятельно поднимается изъ сферы безсознательнаго, или другого, мысль о которомъ ей «внушаетъ» колдунья. Колдунья, разумѣется, не имѣетъ никакого понятія о томъ, почему это такъ выходитъ, и можетъ быть искренно вѣрить въ свою сверхъестественную силу, можетъ быть бѣгала для полученія этой силы въ полночь чорту душу продавать по всѣмъ предписаннымъ на такіе случаи правиламъ, но она во всякомъ случаѣ приблизительно *знаетъ* результатъ гаданія. Вотъ такого рода знаніе секретовъ и копится у маговъ и волшебниковъ, иногда сохраняющихъ свои тайны особымъ корпоративнымъ строемъ и передающихъ ихъ изъ рода въ родъ или отъ учителей къ ученикамъ въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ. И натурально, что чудодѣйства ихъ идутъ тѣмъ успешнѣе, чѣмъ съ одной стороны болѣе проверяются опытомъ ихъ секреты, и съ другой—чѣмъ болѣе самый строй окружающей жизни препарируетъ людей, готовыхъ отдать свою волю въ чужія руки.

Этими двумя путями, ведущими къ одной и той же цѣли, маги и кудесники становятся господами положенія, но это не мѣшаетъ вышесказанному объ ихъ личной слабости. Нѣтъ, конечно, надобности, чтобы *все* маги и кудесники на самихъ себѣ испытывали то состояніе децентрализованной индивидуальности, которое выражается пассивнымъ чудодѣйствомъ. Напротивъ, здѣсь вполне возможны и завѣдомые обманщики, и искренно вѣрующіе, но совершенно нормальные люди, лишь къ другимъ примѣняющіе свои секреты, значить обнаруживающіе лишь сильную, повелѣвающую, активную сторону магической практики. Но можетъ быть въ большинствѣ случаевъ

надо предположить другое. Бишопъ, будучи всесвѣтной знаменитостью по части чтенія мыслей, не походя, однакоже, ихъ читаетъ: для этого онъ долженъ и себя самого, и участниковъ опыта привести въ извѣстное состояніе, которое вслѣдъ затѣмъ проходить. Словомъ, онъ не постоянно находится въ состояніи децентрализаціи. Съ другой стороны деревенская колдунья, доводящая дѣвушку до лицемернаго суженаго путемъ опустошенія ея сознанія, въ иное время и сама смотритъ въ ковшъ съ водой, чтобы опустошить свое собственное сознаніе. Шаманы, факиры, дервиши, маги, колдуны, жрецы и какъ бы они еще ни назывались, не смотря на весь свой авторитетъ и подчасъ дѣйствительно огромное значеніе и власть, сами, какъ извѣстно, кружатся, бѣснуются, удаляются въ пустыню, созерцаютъ свой собственный пупокъ и вообще прибѣгаютъ къ разнымъ искусственнымъ приемамъ для децентрализаціи своей личности и, слѣдовательно, для отдачи своей воли въ

чужія руки. Бываютъ другіе вожаки у толпы, другіе «герои», съ бодрствующимъ сознаніемъ и не помраченной волей. Но ихъ роль и значеніе — внѣ области патологической магіи.

Я хотѣлъ кончить предлагаемый очеркъ нѣкоторыми историческими иллюстраціями, намѣтивъ для этой цѣли два момента: средніе вѣка и Индію. Феодально-цеховой и кастовой строй общественной жизни естественно вызываетъ ту скудость жизни, однообразіе впечатлѣній и узость интересовъ, которыя составляютъ необходимыя условія расцвѣта патологической магіи. Поэтому обзоръ средневѣковыхъ и индійскихъ чудодѣйствъ, надо думать, намъ многое уяснилъ бы. Слѣды этого первоначальнаго плана благосклонный читатель можетъ найти кое-гдѣ въ нашей статьѣ. Но она и безъ того разрослась свыше предположенныхъ размѣровъ, а намѣченный историческій и социологическій матеріалъ очень великъ.

ЕЩЕ О ГЕРОЯХЪ*).

I.

«Геніальность и помѣпательство» Ломброзо, «Умственные эпидеміи» Реньяра, «Психологія великихъ людей» Жоли, «Герои и героическое въ исторіи» Карлейля, «Законы подражанія» Тарда, — таковъ рядъ изданій г. Павленкова, весьма различной научной и философской цѣнности, весьма различнаго направленія и характера, но очень близкихъ по содержанію. Всѣ они имѣютъ въ виду два сопредѣльные вопроса высокой важности — роль великихъ людей и психологію массъ. Къ этой группѣ сочиненій примыкаетъ, съ одной стороны, рядъ изданій того же г. Павленкова, посвященныхъ нѣкоторымъ темнымъ вопросамъ сознательной и бессознательной душевной жизни человѣка, необходимо возникающимъ при обсужденіи роли великихъ людей и психологіи массъ («Общая физиологія души» Герцена, «Психологія вниманія» Рибо, «Міръ грѣзъ» Симона, «Современные психопаты» Кюллера, «Экстазы человѣка» Мантегацца); съ другой стороны, біографическая бібліотека подъ заглавіемъ «Жизнь замѣчательныхъ людей»,

состоящая изъ отдѣльныхъ монографій, которыхъ теперь вышло уже около восьмидесяти. Мы, очевидно, имѣемъ дѣло съ цѣлымъ обширнымъ издательскимъ планомъ, въ подробности котораго я, однако, входить не буду. Повторяю лишь, что въ числѣ упомянутыхъ книгъ есть сочиненія очень разнаго достоинства.

Что вопросы о роли великихъ людей и психологіи массъ сопредѣльны, это явствуетъ само собою. Всякій, кто говоритъ о великомъ человѣкѣ, говоритъ и о его вліяніи на массу, въ составѣ ли современниковъ, или въ потомствѣ. И, наоборотъ, всякій, разсуждающій о какомъ бы то ни было массовомъ движеніи, по необходимости указываетъ его вождей. Но роль, отводимая этимъ двумя факторамъ общественной жизни различными изслѣдователями, крайне различна. Одни полагаютъ, что исторія совершается коллективною безыменною массой, по отношенію къ которой такъ называемые великіе люди являются лишь простыми представителями выраженныхъ или не выраженныхъ полномочій, почти прислужниками, хотя они и имѣютъ подчасъ видъ повелителей. По другому воззрѣнію, напротивъ, человѣчество всѣмъ обязано исключительно великимъ лю-

*) 1891 г.

дямъ, и самая исторія есть нечто иное, какъ «біографія великихъ людей». Таковы два крайнія воззрѣнія, между которыми можно уложить пѣлый рядъ отгѣнковъ, болѣе или менѣе приближающихся то къ одной, то къ другой крайней точкѣ.

Фраза: «исторія міра есть біографія великихъ людей» принадлежитъ Карлейлю, автору «культъ героевъ», поставившему великихъ людей на такой пьедесталъ, какого никто, ни до, ни послѣ Карлейля, имъ не воздвигалъ. Мимоходомъ сказать, я не знаю, почему русскій переводчикъ, вообще прекрасно справившійся съ своимъ труднымъ дѣломъ, избѣгаетъ выраженія «культъ героевъ», которое у насъ уже давно и совершенно правильно установилось по отношенію къ Карлейлю. На стр. 276 г. Яковенко (переводчикъ), вслѣдъ за французскимъ переводчикомъ, останавливается на трудности передачи слова *worship* въ томъ смыслѣ, въ какомъ его употребляетъ Карлейль именно въ этомъ мѣстѣ текста. Но французскій переводчикъ не затруднился перевести слово *hero-worship*, по крайней мѣрѣ, въ заглавіи. Французскій переводъ книги Карлейля озаглавленъ совершенно такъ же, какъ и англійскій оригиналъ: *Les héros, le culte des héros et l'héroïque dans l'histoire*. Г.-же Яковенко называетъ книгу *Герои и героическое въ исторіи*, совсѣмъ пропустивъ смущающее его выраженіе. Впрочемъ, въ своей вступительной статьѣ, перечисляя сочиненія Карлейля, г. Яковенко даетъ другое заглавіе, на этотъ разъ уже слишкомъ пространное: *О герояхъ, почитаніи героевъ и героическомъ періодѣ (?) въ исторіи*. Но, не говоря уже о неумѣстности въ данномъ случаѣ какого-то «героического періода», выраженіе «почитаніе героевъ» слишкомъ слабо для передачи строя мысли Карлейля, и я полагаю, что «культъ героевъ», какъ быть, такъ и остается словомъ, наиболее подходящимъ.

Книгѣ Карлейля пятьдесятъ лѣтъ. Но и помимо того не легко войти въ этотъ исключительно-своеобразный строй мысли, облеченный въ столь же своеобразную форму изложенія. «Герои» не изъ тѣхъ книгъ, изъ которыхъ можно что-нибудь *узнать*; кое-какія фактическія свѣдѣнія, въ ней мимоходомъ сообщаемы, можно получить въ гораздо болѣе полномъ и лучшемъ видѣ въ разныхъ другихъ книгахъ, далеко не столь оригинальныхъ и блестящихъ. Но это и не изъ тѣхъ книгъ, которыя *убѣждаютъ*, — она слишкомъ для этого далека отъ всѣхъ нашихъ не только дурныхъ, но и хорошихъ привычекъ мысли. И, тѣмъ не менѣе, книга представляетъ высокій интересъ. Выразеніе «полетъ мысли» ни къ кому, можетъ быть,

нельзя приложить съ такимъ правомъ, какъ къ Карлейлю. Проникнутая самымъ возвышеннымъ идеализмомъ, можно сказать, необузданною вѣрой въ достоинство человѣческой природы, мысль Карлейля летаетъ надъ землей, сверкая блестящими метафорами, неожиданными оборотами, и если слускается на землю, то только для того, чтобы парануть ее саркастическимъ когтемъ и опять взвиться къ небесамъ. На него можно любоваться, но съ нимъ ни соглашаться нельзя, ни спорить. Особенно любопытно слѣдить за нимъ, когда онъ пробуетъ возражать самъ себѣ отъ чьего-нибудь имени. Въ первой главѣ рѣчь идетъ о «героѣ, какъ божествѣ», образчикомъ котораго служитъ скандинавскій мнѣз Одина. Но для Карлейля Одинъ не мнѣз, онъ существовалъ или долженъ былъ существовать, какъ вполне реальное лицо. Карлейль знаетъ, что «объ Одинѣ исторія не знаетъ ничего». На легендарныя сообщенія скандинавскихъ лѣтописцевъ онъ не думаетъ опираться, онъ ихъ отвергаетъ, какъ «построенныя на однихъ только недостоверностяхъ». Онъ приводитъ затѣмъ этимологическія соображенія Гримма, который «отрицаетъ даже, чтобы существовалъ когда бы то ни было какой-то человѣкъ Одинъ». Карлейль «преклоняется передъ авторитетомъ Гримма, передъ его этимологическими познаніями», но пробуетъ дополнить ихъ своими собственными этимологическими же соображеніями, которыя клонятся, однако, къ реабилитаціи Одина, и затѣмъ вдругъ обрываетъ: «Но не можемъ же мы позабыть человѣка изъ-за подобныхъ этимологическихъ выкладокъ. Конечно, существовалъ первый учитель и вождь; конечно, долженъ былъ существовать въ извѣстную эпоху Одинъ, осязаемый, доступный человѣческимъ чувствамъ, не какъ прилагательное, а какъ реальный герой съ плотью и кровью!» Жестоко ошибется тотъ, кто увидитъ въ этомъ неожиданномъ оборотѣ трусливую увертку человѣка, не умѣющаго доказать то, что ему доказать хочется. Вы видите, что благопріятныя для его тезиса сообщенія лѣтописцевъ Карлейль отвергаетъ и, напротивъ, полностью приводитъ неблагопріятныя соображенія Гримма. Но всѣ эти «выкладки», подтверждающія, опровергающія, — все это пустяки, на которыхъ стоятъ остановиться развѣ на минуту, чтобы тотчасъ же подняться въ область вѣры въ человѣческое достоинство, гдѣ вопросъ рѣшается легко и просто: «Неужели же мы не можемъ представить себѣ, что Одинъ существовалъ въ дѣйствительности? Правда, заблужденіе было, не малое заблужденіе, но настоящій обманъ, пустая басня, предумышленная аллегорія, — нѣтъ, мы не повѣримъ, чтобы

наши отцы вѣрили въ нихъ». Вѣками нараставшія преданія, безъ сомнѣнія, преувеличили образъ Одина, но онъ существовалъ; онъ былъ грубъ, дикъ, но онъ былъ великій человѣкъ, «герой», и всеобщее удивленіе передъ его величіемъ, всеобщій восторгъ обратили его въ бога.

Все это само по себѣ, конечно, очень мало убѣдительно для кого бы то ни было, кромѣ самого Карлейля, но въ системѣ его воззрѣній, если можно говорить о его системѣ, занимаетъ вполне опредѣленное мѣсто.

По Карлейлю, за міромъ явленій, подлежащихъ опыту, наблюденію, измѣренію, логическимъ операціямъ, лежитъ міръ не являющийся, намъ недоступный, который навсегда останется для насъ тайною и «чудомъ», какъ бы далеко ни подвинулась впередъ наука. Карлейль необыкновенно презрительно относится къ тѣмъ людямъ науки и отвлеченной мысли, которые воображаютъ, что они познали сокровенную сущность вещей или, наоборотъ, отрицаютъ ее. Въ этомъ отношеніи онъ отдаетъ преимущество наивному мышленію нашихъ отдаленныхъ предковъ и современныхъ дикарей: они не отрицаютъ великой тайны, но и не думаютъ проникать въ нее: «Сила огня, напримѣръ, — говоритъ Карлейль, — которую мы обозначаемъ какимъ-нибудь избитымъ химическимъ терминомъ, скрывающимъ отъ насъ самихъ лишь дѣйствительный характеръ чуда, сказывающагося въ этомъ явленіи, какъ и во всѣхъ другихъ, для древнихъ скандинавовъ представляетъ Лока, самаго быстрого, самаго вкрадчиваго демона изъ семьи іотуновъ. Дикари Маріанскихъ острововъ (рассказываютъ испанскіе путешественники) считали огонь, до тѣхъ поръ ими никогда не виданный, также дьяволомъ или богомъ, живущимъ въ сухомъ деревѣ и жестоко кусающимся, если прикоснуться къ нему. Но никакая химія, если только ее не будетъ поддерживать тупоуміе, не можетъ скрыть и отъ насъ того, что пламя есть чудо. Дѣйствительно, что такое пламя?» Такимъ образомъ, подъ «чудомъ» Карлейль разумѣетъ совсѣмъ не то, что обыкновенно подъ нимъ разумѣется, не исключеніе изъ законовъ природы, а, напротивъ, самые эти законы въ ихъ сокровенной отъ нашего ума сущности. Чуду въ нашемъ, обыкновенномъ смыслѣ слова въ воззрѣніяхъ Карлейля даже совсѣмъ нѣтъ мѣста: въ мірѣ явленій все совершается опредѣленнымъ порядкомъ, по вмѣстѣ съ тѣмъ, «природа сверхъестественна», какъ выражается Карлейль; вся природа безъ исключеній, и огонь, и вода, и что въ водѣ, и земля, и что на землѣ и надъ землей, и самъ человѣкъ, — все это — сплошное «чудо», сплошная и вѣчная для насъ тайна, хотя мы и можемъ измѣрять, наблюдать, опредѣлять

феноменальную сторону міра или міръ явленій. «Магометъ, — говоритъ Карлейль, — не могъ творить никакихъ чудесъ. Онъ часто нетерпѣливо отвѣчалъ: я не могу сотворить никакого чуда. Вамъ нужны чудеса? — выкрикиваетъ онъ. — Какое же чудо хотѣли бы вы видѣть? Взгляните на себя, развѣ вы сами не представляете чуда?»

Мы осуждены жить въ мірѣ явленій, изучать его, устраиваться въ немъ возможно лучше, но мы не должны забывать, что существуетъ иной міръ, или иная сторона міра, для насъ недоступная, таинственная, чудесная, божественная. Проникнуть въ нее мы не можемъ, попытки взвѣсить ее, измѣрить, объяснить ее — безумны; мы можемъ только благоговѣнно преклоняться передъ ней, не ожидая себѣ за это никакой награды. «Въ своихъ лабораторіяхъ, за своими знаніями и энциклопедіями мы готовы забыть божественное. Но мы не должны забывать его! Разъ оно будетъ дѣйствительно позабыто, я не знаю, о чемъ же останется намъ помнить тогда. Большая часть знаній, мнѣ кажется, превратилась бы тогда въ сухую мертвечину, представляла бы глупь и пустоту, занятую мелочными препирательствами, чертополохъ въ позднюю осень. Самое совершенное знаніе есть безъ этого лишь срубленный строевой лѣсъ; это уже не живое растущее въ лѣсу дерево, не цѣлый лѣсъ деревьевъ, который доставляетъ, въ числѣ другихъ продуктовъ, все новый и новый строительный матеріалъ. Человѣкъ не можетъ вообще *знать*, если онъ не *поклоняется* чему либо въ той или иной формѣ. Иначе, его знаніе — пустое педанство, сухой чертополохъ».

Нашъ ограниченный умъ ищетъ механическихъ объясненій, прилагаетъ въ вещамъ число и мѣру, и это вполне законно, пока дѣло идетъ о мірѣ явленій. Но попытка свести самую сущность природы вообще, жизни въ частности, человѣческой жизни въ особенности къ подлежащей учету механикѣ приводитъ Карлейля въ негодованіе. Отсюда, между прочимъ, его крайнее недовольство «грубымъ машинообразнымъ утилитаризмомъ» Бентама, съ его построеніемъ нравственности на арифметическомъ расчетѣ страданій и наслажденій. Впрочемъ, противъ утилитаризма, не только, какъ ему кажется, Бентамסקаго, Карлейль имѣетъ еще и другіе резоны. Возражая на мнѣніе, что Магометъ намѣренно ввелъ въ свою религію разныя чувственыя приманки, Карлейль говоритъ: «Тотъ клеветаетъ на людей, кто говоритъ, что ихъ подвигаютъ на геройскіе поступки легкость, ожиданіе получить удовольствіе или вознагражденіе, своего рода обсахаренную черносливину, въ этомъ или загробномъ мірѣ! Въ

самомъ послѣднемъ смертномъ найдется кое-что благороднѣе такихъ побужденій. Бѣдный солдатъ, нанятый на убой и присягнувшій установленнымъ порядкомъ, имѣетъ свою «солдатскую честь», отличную отъ правилъ строевой службы и шиллинга въ день. Не отвѣдать какой-либо слабости, а совершить высокое и благородное дѣло, оправдать себя передъ небомъ, какъ человѣка, созданнаго по подобію Божьему,—вотъ чего дѣйствительно желаетъ самый послѣдній изъ сыновъ Адама. Покажите ему путь къ этому, и сердце самаго забитаго раба загорится геройскимъ огнемъ. Тотъ сильно оскорбляетъ человѣка, кто говорить, что онъ руководится легкостью. Трудность, самоотверженіе, мученичество, смерть—вотъ *приманки*, дѣйствующія на человѣческое сердце... Не счастье, а нѣчто болѣе высокое манитъ къ себѣ человѣка, что вы можете наблюдать даже на людяхъ, принадлежащихъ къ суетной толпѣ: и у нихъ есть своя честь и тому подобное. Не путемъ потворства нашимъ аппетитамъ религія можетъ приобрѣтать себѣ послѣдователей, а лишь путемъ возбужденія того героизма, который дремлетъ въ сердцѣ каждого изъ насъ».

Оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ, какъ справился бы съ этимъ возраженіемъ утилитаризмъ, обратимся къ понятію Карлейля о героѣ, героизмѣ, героическомъ.

Какъ это ни странно, но въ книгѣ, озаглавленной *Герои, культъ героев и героическое въ исторіи*, мы не найдемъ вполнѣ выдержаннаго опредѣленія слова «герой». Иногда Карлейль употребляетъ это слово въ обыкновенномъ, нѣсколько смутномъ смыслѣ, а именно въ смыслѣ сильнаго духомъ и самоотверженнаго человѣка. Иногда герой или великій человѣкъ получаетъ у него болѣе точныя, но и болѣе частныя опредѣленія. Великій человѣкъ «достаточно мудръ, чтобы вѣрно опредѣлить потребности времени, и достаточно отваженъ, чтобы повести его прямою дорогою къ цѣли». Изъ другихъ частныхъ опредѣленій Карлейль особенно настаиваетъ на томъ, что герой есть «искренній» человѣкъ, а самое, можетъ быть, оригинальное состоитъ въ томъ, что герой—«покорный» человѣкъ. Это не мѣшаетъ, однако, герою быть повелителемъ, предметомъ поклоненія, повиновенія, культа. На дѣлѣ, впрочемъ, черта «покорности» самихъ героев не играетъ никакой роли въ книгѣ. Эта странность имѣетъ связь съ другою. Герои—блестящіе единицы, время отъ времени появляющіяся въ темной массѣ, это одинокія искры, ихъ рѣчи «не похожи на рѣчи всякаго другого человѣка», ихъ поступки стоить же рѣзко выдѣляться на общемъ сѣромъ фонѣ; именно потому они и герои. Культъ героев всегда существовалъ и всегда будетъ существовать,—преклоненіе пе-

редъ тѣмъ, что выше насъ, есть глубочайшая потребность и, вмѣстѣ съ тѣмъ, благороднѣйшая черта человѣческой природы. Таковы коренныя убѣжденія Карлейля, проходящія сквозь всю его книгу. Но въ то же время изъ его изложенія вытекаетъ возможность такихъ обстоятельствъ, при которыхъ герои расплываются въ толпѣ и образуется, такъ сказать, героическая толпа. Въ будущемъ Карлейль провидитъ «не уничтоженіе культа героевъ, а скорѣе—цѣлый міръ героевъ. Если герой означаетъ *искреннюю личность*, почему бы каждый изъ насъ не могъ стать героемъ? Да, цѣлый міръ, состоящій изъ людей искреннихъ, вѣрующихъ; такъ было, такъ будетъ снова, иначе не можетъ быть! Это будетъ міръ настоящихъ поклонниковъ героевъ: нигдѣ истинное превосходство не встрѣчаетъ такого почитанія, какъ тамъ, гдѣ всѣ—истинные и хорошіе люди!» Въ другомъ мѣстѣ Карлейль говоритъ о «цѣлой націи героевъ, среди которой героемъ становится не только великая душа, но всякій человѣкъ, если онъ остается вѣрнымъ своему природному назначенію, такъ какъ онъ будетъ тогда и великою душой. Мы видимъ, что подобное именно состояніе человѣчество переживало уже подъ формою пресвитеріанства, и оно снова будетъ переживать его подъ иными, болѣе возвышенными формами». Наконецъ, еще въ одномъ мѣстѣ Карлейль замѣчаетъ: «Великія души всегда лояльно покорны, почтительны къ стоящимъ выше ихъ; только ничтожныя, низкія души поступаютъ иначе... Искренній человѣкъ по природѣ своей—покорный человѣкъ; только въ мірѣ героевъ существуетъ законное повиновеніе героическому».

Все это довольно смутно, но разобраться во всемъ этомъ, все-таки, можно. Кромѣ разныхъ частныхъ опредѣленій героя, какъ человѣка искренняго, отважнаго и т. д., герой, согласно общему взгляду Карлейля на міръ, «сквозь *вѣщность* вещей проникаетъ въ самую *суть* ихъ»; онъ—«вѣстникъ, посланный изъ нѣдръ безконечнаго неизвѣстнаго съ вѣстями для насъ». Словомъ, герой или великій человѣкъ есть посредникъ между міромъ явленій, въ которомъ мы живемъ, и тѣмъ чудеснымъ, таинственнымъ, божественнымъ міромъ, который, составляя самую сущность вещей, навсегда останется для насъ сокрытымъ. Не откроютъ его намъ и великіе люди, но они напоминаютъ намъ о существованіи великой окружающей насъ тайны, поднимаютъ насъ надъ уровнемъ земного, проходящаго, и то поклоненіе, которое естественно вызываетъ въ насъ нѣчто великое, завѣдомо существующее, но намъ непонятное, переносится и на нихъ. Отсюда—культъ героевъ, какъ вождей, какъ исключительныхъ личностей, ведущихъ за собой толпу.

Ихъ интимная связь съ безконечнымъ неизвѣстнымъ отражается въ нихъ благородными чертами характера и проникательностью ума. Но затѣмъ, если бы, благодаря обстоятельствамъ, вся слѣдующая за ними толпа прониклась, подобно имъ, вѣрою въ существованіе неизмѣримаго, неопредѣлимаго, необъяснимаго и постоянно памятовала о немъ, то герои, какъ исключительныя личности, исчезли бы и каждый въ каждомъ поклонился бы отраженію безконечнаго неизвѣстнаго.

Уже изъ этого видно, что Карлейлевскій культъ героевъ не заключаетъ въ себѣ ничего рабочаго. Карлейль презираетъ скептицизмъ, презираетъ и въ нѣкоторомъ смыслѣ противоположность его—примененіе числа и мѣры къ дѣламъ человѣческаго духа; таково, какъ мы видѣли, его отношеніе къ Бентамовскому утилитаризму, таково же его отношеніе къ политическимъ теоріямъ, основаннымъ на счетѣ голосовъ. Онъ желаетъ победы «меньшинству одного», то-есть героя, передъ которымъ всѣ преклоняются. Но не мѣсто красить человѣка, а человѣкъ мѣсто. Великій человѣкъ и великое мѣсто могутъ совпадать, какъ это мы видимъ, по мнѣнію Карлейля, въ случахъ Наполеона, Кромвеля; но могутъ и не совпадать, какъ это было съ roi-soleil, Людовикомъ XIV: «совлеките съ вашего Людовика XIV уборъ—и отъ его величія не останется ничего, кромѣ ничтожной виллообразной рѣдкн съ причудливо вырѣзанной головой». Признавая всякое общество какъ бы организованнымъ поклоненіемъ и повиновеніемъ, «героархіей» или «іерархіей», такъ какъ въ этомъ принципѣ есть нѣчто священное, Карлейль готовъ видѣть умственную анархію во всякомъ скептицизмѣ и политическую—въ торжествѣ самыхъ даже блѣдныхъ либеральныхъ программъ. «Герой» есть нѣчто неприкосновенное и для критики, которая не смѣетъ даже «объяснять» его, тѣмъ паче указывать пятна на солнцѣ, и для какихъ бы то ни было политическихъ теорій. Конецъ XVIII в. и французская революція есть для Карлейля нѣчто чудовищное, хотя и грандіозное. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы онъ былъ поклонникомъ ancien régime и легитимизма. Мы только что видѣли, какъ онъ относится къ блистательнѣйшему его представителю, Людовику XIV. Въ связи съ этимъ находятся слѣдующія его слова: «Существуетъ Богъ въ мірѣ, и божественная санкція должна таиться въ нѣдрахъ всякаго управленія и повиновенія, лежатъ въ основѣ всѣхъ моральныхъ дѣлъ людскихъ. Нѣтъ дѣла, болѣе связаннаго съ нравственностью, чѣмъ дѣло управленія и повиновенія. Горе тому, кто требуетъ повиновенія, когда не слѣдуетъ; горе тому, кто не повинуется, когда слѣ-

дуетъ! Таковъ божественный законъ, говоря, каковы бы ни были законы, писанные на пергаментѣ; въ основѣ всякаго требованія, обращеннаго человѣкомъ къ человѣку, лежитъ божественное право или же адское беззавѣе». Какъ и съ словомъ «чудо», Карлейль разумѣетъ подъ «божественнымъ правомъ» нѣчто прямо противоположное тому смыслу, въ какомъ оно всѣми употребляется. Для него Людовикъ XIV съ преемниками представители не «божественнаго права», а, напротивъ, «адскаго беззавѣя». Естественнымъ отвѣтомъ на это беззавѣе было чудовище революціи, а поправшій чудовище Наполеонъ былъ истиннымъ представителемъ божественнаго права, ибо онъ былъ «герой», великій человѣкъ.

Я не буду слѣдить за дальнѣйшими выводами Карлейля въ эту сторону. Читатель самъ ихъ найдетъ, если постарается освоиться съ своеобразнымъ ходомъ мысли и не менѣе своеобразнымъ языкомъ Карлейля. Для насъ здѣсь достаточно замѣтить, что, по основной мысли Карлейля, культъ героевъ есть, во-первыхъ, культъ именно героевъ, а во-вторыхъ, не заключаетъ въ себѣ ничего рабочаго и принудительнаго. Я подчеркиваю слова «по основной мысли» потому, что въ дѣйствительности оба пункта представляютъ трудности, которыхъ Карлейль не преодолеваетъ.

Русскій переводчикъ «Героевъ» написалъ также біографію Карлейля для біографической бібліотеки г. Павленкова. Біографія эта написана съ большою любовью. Г. Яковенко проникся духомъ Карлейля до такой степени, что не только усвоилъ себѣ нѣкоторыя его характерныя выраженія, какъ собственные, но исповѣдуетъ совершенно такой же культъ Карлейля, какой самъ Карлейль рекомендуетъ по отношенію къ героямъ вообще. Нѣкоторыхъ біографическихъ и автобіографическихъ данныхъ (дневника жены Карлейля и его собственныхъ воспоминаній о ней и комментаріевъ къ ея письмамъ) г. Яковенко не хочетъ утилизировать,—ему кажется, что это значило бы «подкапываться подъ великаго человѣка». Мало того, онъ скользкими намеками бросаетъ невѣрное освѣщеніе на взаимныя отношенія супруговъ Карлейлей. Такъ, въ одномъ мѣстѣ онъ вскользь замѣчаетъ: «Да, не легка бываетъ жизнь съ такимъ гениемъ, какъ Карлейль». Въ другомъ мѣстѣ встрѣчаемъ намекъ иного рода: «Съ барской точки зрѣнія жизнь свѣтской дѣвушки Джени Уэльшъ въ замужствѣ съ сыномъ каменщика Томасомъ Карлейлемъ была, конечно, существомъ несчастіемъ... Но барская точка зрѣнія будетъ ли вообще справедливою точкой зрѣнія?» Это нехорошій намекъ. Дѣло было

совѣтъ не въ гениальности Карлейля и не въ демократическомъ его происхожденіи, а во многихъ неприятныхъ и тяжелыхъ до непереносности чертахъ его характера, которыми, однако, «свѣтская дѣвушка Дженни Уэльшъ» перенесла съ совершенно исключительнымъ самоотверженіемъ. Самъ Карлейль не догадывался о ея страданіяхъ и узналъ о нихъ только послѣ ея смерти, изъ ея дневника. Если по случаю величія Александра Македонскаго не слѣдуетъ даже стулья ломать, то тѣмъ паче не годится бросать тѣнь намека-попрека на человѣка вообще, на одну изъ преданнѣйшихъ женъ въ особенности,—таковою признаетъ жену Карлейля и самъ г. Яковенко.

Насъ, впрочемъ, здѣсь интересуетъ не біографія Карлейля.

Г. Яковенко говоритъ: «У насъ, въ Россіи, Карлейль не только не пользуется популярностью, по почти неизвѣстенъ. Мы имѣемъ въ переводѣ почти всѣ сочиненія Дж. Ст. Милля, а о Карлейлѣ знаемъ лишь по наслышкѣ... Мы, русскіе, не интересуемся Карлейлемъ по убожеству своей мысли; для насъ, по нашей малокультурности, не доступны еще глубины чувства его сердца и высота его мысли». Что мы малокультурны, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Насчетъ «убожества нашей мысли» согласиться, пожалуй, труднѣе, а почему г. Яковенко сопоставляетъ переводъ сочиненій Милля съ переводомъ сочиненій Карлейля, этого и совѣтъ понять нельзя. Много у насъ переводилось и переводится нестоющихъ книгъ, но въ число ихъ отнюдь нельзя поставить сочиненія Милля. Мало того, я не вижу, почему бы не переводить и Милля и Карлейля; но ужъ если выбирать, то, конечно, слѣдуетъ отдать предпочтеніе Миллю. Въ Карлейлѣ переплетаются мыслитель и поэтъ, притомъ такъ, что онъ является не поэтомъ-мыслителемъ, а мыслителемъ-поэтомъ. Я хочу сказать, что онъ не произведенія фантазіи освѣщаетъ мыслью, а, наоборотъ, недостающія звенья фактовъ и логическаго мышленія пополняетъ фантазіей. Отсюда произвольность многихъ положеній, бездоказательность выводовъ, противорѣчивость. И какъ бы ни былъ оригиналенъ и блестящъ полетъ его мысли, это плохая умственная школа, въ особенности для людей, страдающихъ «малокультурностью» и «убожествомъ мысли». Другое дѣло—школа нравственная, о которой буду говорить ниже. А теперь приведу, по г. Яковенко, содержаніе одного изъ «Памфлетовъ послѣднихъ дней» Карлейля:

«По поводу освобожденія негровъ»: «Либералы заботятся объ эмансипаціи чернокожихъ; но позвольте спросить, въ какомъ положеніи находится свободный бѣлый рабочій?

Не такую ли же свободу сулятъ и чернокожимъ? Рабство, по крайней мѣрѣ, обезпечиваетъ человѣка отъ голодной смерти; негры не нуждаются въ эмансипаціи; имъ нужно разумное руководство и управленіе» и т. д.

«Памфлеты послѣднихъ дней» появились въ печати, если не ошибаюсь, въ 1850 г. Спрашивается, дѣйствительно ли мы, русскіе, обнаружили только «убожество мысли», не торопясь переводить ихъ даже до сего дня? Къ чему намъ они, когда у насъ были (и до сихъ поръ есть) свои доморожденные политики, которые прилагали къ освобожденію крѣпостныхъ тѣ же доводы, что Карлейль пускалъ въ ходъ по поводу освобожденія негровъ? Конечно, побужденія Карлейля были далеки отъ тѣхъ, которыя одушевляли нашихъ доморожденныхъ политиковъ, но санкція автора «Героевъ» принесла бы имъ, все-таки, не мало удовольствія, а, можетъ быть, и пользы. Съ этимъ, пожалуй можно было и не торопиться.

Возвратимся къ «Героямъ».

Въ очень давнія времена герой является божествомъ. Таковъ Одинъ. Въ первой лекціи (книга о «герояхъ» составила изъ шести лекцій) Карлейль яркими поэтическими красками рисуетъ совершенно фантастическую картину «перваго прекраснаго солнечнаго утра нашей Европы, когда все еще покоится въ свѣжестъ, раннемъ сіяніи величественнаго разсвѣта, и наша Европа впервые начинаетъ мыслить, существовать. Изумленіе, упованіе, безконечное сіяніе упованія и изумленія, словно сіяніе мыслей юнаго ребенка, въ сердцахъ этихъ мужественныхъ людей! Мужественные сыны природы, и среди нихъ появляется человѣкъ,—онъ не только просто дикій вождь и борецъ» и т. д. Словомъ, появляется Одинъ, и его признаютъ богомъ. Вторая лекція рисуетъ намъ героя, какъ пророка, для чего выбирается Магометъ. Отношенія къ герою сильно измѣнились, онъ уже не божество, а лишь Богомъ вдохновленный человѣкъ. «Въ исторіи міра не будетъ никогда болѣе человѣка, котораго, какъ бы великъ онъ ни былъ, остальные люди признавали за бога. Мало того, мы имѣемъ даже полное основаніе спросить: дѣйствительно ли считала когда-либо извѣстная группа человѣческихъ существъ богомъ, творцомъ міра—человѣка, существовавшаго бокъ-о-бокъ съ ними, всѣми *видимаго*? Вѣроятно, нѣтъ: обыкновенно это былъ человѣкъ, о которомъ они вспоминали, котораго они *никогда не видѣли*». Этимъ замѣчаніемъ нѣсколько стирается яркость красокъ, изображавшихъ Одина. Но затѣмъ въ своемъ родѣ столь же яркими поэтическими красками рисуется личность Магомета. Съ особенною силой настаиваетъ Карлейль на полной искренности, прав-

дивости основателя Ислама, и эта черта объявляется наиболее характеристическою для героя вообще. Въ третьей лекціи мы имѣемъ дѣло съ героемъ, какъ поэтомъ, иллюстраціями чего служатъ личности Данте и Шекспира. «Герои-боги, герои-пророки суть продукты древнихъ вѣковъ; эти формы героизма не могутъ болѣе имѣть мѣста въ послѣдующія времена. Онѣ существуютъ при извѣстной примитивности человѣческаго пониманія, но прогрессъ чистаго научнаго знанія дѣлаетъ ихъ невозможными. Необходимъ міръ, такъ сказать, свободный или почти свободный отъ всякихъ научныхъ формъ, чтобы люди въ своемъ восхищенномъ удивленіи могли представить подобнаго себѣ челоуѣка въ видѣ бога или въ видѣ челоуѣка, устами котораго говорить самъ Богъ. Богъ и пророкъ—это достояніе прошлаго». Теперь героизмъ является въ менѣе притязательной формѣ поэта. Это не значить, что сущность героизма какъ-нибудь понизилась и что, вмѣстѣ съ тѣмъ, культъ героевъ утратилъ что-нибудь изъ своего значенія. Это значить только, что наши понятія о божествѣ постоянно очищаются и возвышаются. Существо же героя всегда одно и то же, и обстоятельства времени опредѣляютъ лишь форму героизма. Любопытно, что Шекспиръ (а также и Данте) оказывается при этомъ «величественнѣе и выше Магомета». Въ сущности,—говоритъ Карлейль,—идея Магомета о его небесной миссіи пророчества была заблужденіемъ и влачить за собой такой ворохъ басней, непристойностей, жестокостей, что для меня представляется даже спорнымъ утверждать, въ данномъ мѣстѣ и въ данный моментъ, какъ я утверждалъ раньше, что Магометъ былъ истиннымъ проповѣдникомъ, а не честолюбивымъ шарлатаномъ, пустымъ призракомъ и извращенностью,—проповѣдникомъ, а не болтуномъ».

Таковъ мыслитель-поэтъ, приходящій въ своего рода экстазъ при созерцаніи крупной исторической личности и не находящій достаточно сильныхъ словъ для порицанія критическаго анализа въ приложеніи къ великимъ людямъ, но потомъ, при переходѣ къ созерцанію новаго героя, самъ стирающій краски съ предыдущаго. Но въ трехъ первыхъ лекціяхъ мы имѣемъ, по крайней мѣрѣ, извѣстный хронологическій порядокъ: за героемъ-божествомъ слѣдуетъ герой-пророкъ, который въ свою очередь уступаетъ мѣсто герою-поэту. Въ такомъ именно порядкѣ слѣдуютъ, по словамъ Карлейля, формы героизма въ историческомъ процессѣ. Но порядокъ, система, умственная дисциплина менѣе всего свойственны Карлейлю, этому врагу безпорядка и анархій, проповѣднику повиновенія и дисциплины. Въ четвертой лекціи онъ со-

вершенно бросаетъ хронологическую нить и говорить о «героѣ, какъ пастырѣ» (Лютеръ, Ноксъ), въ всякой системѣ. Въ пятой лекціи, трактующей о «героѣ, какъ писателѣ» (Джонсонъ, Руссо, Бёрнсъ), Карлейль какъ будто возвращается къ хронологическому порядку. Онъ говоритъ: «Герои, какъ боги, пророки, пастыри,—все это—формы героизма, принадлежація древнимъ вѣкамъ, существовавшія въ отдаленнѣйшія времена; нѣкоторые изъ нихъ давно уже стали невозможными и никогда болѣе не появятся вновь въ нашемъ мірѣ. Герой, какъ писатель, напротивъ, является всецѣло продуктомъ новыхъ вѣковъ». Затѣмъ въ шестой и послѣдней лекціи рѣчь идетъ о «героѣ, какъ вождѣ» (Кромвель, Наполеонъ), и здѣсь,—говоритъ Карлейль,—«мы какъ бы возвращаемся снова къ древнимъ временамъ: въ исторіи этихъ двухъ лицъ мы можемъ прослѣдить, какимъ образомъ появлялись нѣкогда короли и возники королевства».

Но не только въ «Герояхъ» не выдержанъ хронологическій порядокъ, котораго самъ Карлейль вначалѣ, по всѣмъ видимостямъ, хотѣлъ держаться. И какъ логическія категоріи, различныя формы героизма всѣ болѣе или менѣе недостаточно отграничены одна отъ другой и спутаны. Англійскій оригиналъ «Героевъ» мнѣ неизвѣстенъ, но во французскомъ переводѣ, съ которымъ, повидимому, сообразовался и русскій переводчикъ, пятая лекція начинается такъ: «Герои, какъ боги, пророки, *поэты*, пастыри,—все это—формы героизма, принадлежація древнимъ вѣкамъ», а, дескать, герой, какъ *писатель*, есть явленіе новое. Въ русскомъ переводѣ подчеркнутое мною слово *поэты* пропущено. Сомнѣваюсь, чтобы французскій переводчикъ вставилъ его отъ себя, и склоненъ скорѣе думать, что его вычеркнулъ русскій переводчикъ, смущенный противоположеніемъ поэта и писателя. Но если это мое предположеніе и невѣрно, то остается, все-таки, загадкой, почему поэтъ Бёрнсъ включенъ въ рубрику героевъ-писателей, а не героевъ-поэтовъ.

Подобныхъ запутанностей и противорѣчій въ «Герояхъ» не мало. Поэтому-то я и говорю, что, какъ чисто-умственная школа, книга Карлейля далеко не вполне удобна. Мы можемъ любоваться этимъ блестящимъ фейерверкомъ, можемъ получить отъ него извѣстное умственное возбужденіе, но учиться мыслить у Карлейля нельзя. Это относится и къ Карлейлю, какъ специально-политическому мыслителю. Говоря о томъ, что Карлейль не примыкалъ ни къ одной изъ политическихъ партій, г. Яковенко приписываетъ это тому, что онъ «былъ слишкомъ великъ, и подобныя рамки представлялись для него слишкомъ тѣсною клѣткою». Это не совсѣмъ вѣрно, хотя Кор-

лейль былъ несомнѣнно большой человѣкъ. Дѣло въ томъ, что о его политической программѣ трудно даже говорить. Въ ней вполнѣ ясны только отрицательныя черты. Въ легитимизмъ всѣхъ отбѣнковъ Карлейль видитъ «адское безправіе», въ либерализмъ съ его конституціонными и парламентскими формами и съ подспорьемъ экономической доктрины свободной конкуренціи или невмѣшательства—анархію. Если я говорю, что эти отрицательныя черты политическаго ученія Карлейля ясны, то это отнюдь не значитъ, чтобы онѣ были имъ достаточно разработаны или логически-правильно обставлены. Онъ не столько доказываетъ, сколько негодуетъ, возмущается, рветъ и мечетъ. Ему недостаетъ именно ясности мысли, чтобы оцѣнить взаимныя отношенія критикуемыхъ имъ доктринъ и фактовъ и благополучно пройти между «Сциллой» «адскаго безправія» и Харибдой экономической подавленности массъ подъ фальшивымъ флагомъ свободы. Что касается положительной стороны его программы, то она можетъ быть выражена буквально двумя словами: найдите героя, — героя, вождя или «способнѣйшаго» человѣка, «Kon-ping'a, Kap-ping'a», — человѣка, который знаетъ или можетъ». Рецептъ, повидимому, очень простой, но, во-первыхъ, онъ есть не столько политическая мысль, сколько отказъ отъ нея, предоставленіе ея герою, а во-вторыхъ, рецептъ совсѣмъ не такъ простъ, какъ кажется съ перваго взгляда. Карлейль и самъ понимаетъ это. Онъ говоритъ: «Укажите мнѣ истиннаго Kon-ping'a или способнаго человѣка, и окажется, что онъ имѣетъ божественное право надо мною. Испытаніе, котораго такъ жадно ищетъ нашъ болѣзненный вѣкъ, зависитъ именно отъ того, знаемъ ли мы сколько-нибудь удовлетворительно, какъ найти такого человѣка, и склонны ли будутъ всѣ люди признать его божественное право, разъ онъ будетъ найденъ... Конечно, по-истинѣ ужасное положеніе—стоять передъ необходимостью отыскать своего способнаго человѣка и не знать, какъ это сдѣлать!» Очевидно, здѣсь могутъ быть сдѣланы двоякаго рода ошибки, равно пагубныя. Возьмемъ любую категорію героевъ, положимъ, героевъ, какъ поэтовъ. Можетъ явиться новый Шекспиръ, и люди его не признаютъ, а съ другой стороны могутъ признать героемъ какую-нибудь «вилообразную рѣдку» изъ современныхъ драматурговъ или поэтовъ вообще. Но въ этой области ошибка, конечно, не можетъ долго держаться и принести очень вредные плоды. Въ другихъ сферахъ жизни дѣло обстоитъ иначе. Карлейль утверждаетъ, что «въ англійской исторіи мы не встрѣчаемъ другого государственнаго человѣка, подобнаго Кромве-

лю,—это единственный человѣкъ, дѣлѣвшій въ своемъ сердцѣ мысль о царствіи Божіемъ на землѣ, единственный человѣкъ на протяженіи пятнадцати вѣковъ». Пятнадцать вѣковъ! Что же людямъ дѣлать въ теченіе пятнадцати вѣковъ въ ожиданіи героя? Но такъ какъ за это долгое время Англія признавала, все-таки, кое-кого изъ своихъ дѣятелей великими людьми, то, значитъ, она ошибалась и даромъ тратила свое поклоненіе. А въ подобныхъ случаяхъ ошибки отзываются на жизни народовъ потяжеле, тѣмъ когда «вилообразную рѣдку» принимаютъ, по временному недоразумѣнію, за Шекспира.

Страннымъ образомъ, въ числѣ героевъ, поминаемыхъ Карлейлемъ, нѣтъ Юлія Цезаря. Говорю: «страннымъ образомъ» — потому, что эта крупная историческая фигура, казалось бы, во всѣхъ смыслахъ удовлетворяетъ тѣмъ требованіямъ, которыя Карлейль предъявляетъ герою. Мало того, изъ всѣхъ политическихъ принциповъ, когда либо появившихся въ дѣйствіи и въ теоріи, цезаризмъ наиболѣе близокъ къ воззрѣніямъ Карлейля, разумѣется, съ тѣми поправками и дополненіями, которыя требуются обстоятельствами новаго времени. Какъ разъ въ то самое время, когда Карлейль излагалъ своихъ «Героевъ», изгнанный изъ Франціи за страсбургское покушеніе принцъ Луи-Наполеонъ Бонапартъ, въ послѣдствіи императоръ Наполеонъ III, издалъ книгу «Les idées napoléoniennes». Карлейль читалъ свои лекціи въ 1840 году, а предисловіе къ книгѣ Наполеона помѣчено 1839 годомъ. Если бы не это обстоятельство, можно бы было подумать, что Наполеонъ есть ученикъ Карлейля. Ученикъ, конечно, бездарный (книги Карлейля и Наполеона, какъ литературныя произведенія, нельзя даже и сравнивать) и своекорыстный. Въ 1849 г. въ Парижѣ вышла книжка нѣкоего Ромѣ «L'ère des césars». Въ этой книжкѣ Карлейль не поминается, но въ ней почти съ Карлейлевскою страстностью и съ недюжиннымъ дарованіемъ проводятся мысли весьма близкія къ принципамъ, изложеннымъ въ «Героихъ». Ромѣ утверждалъ, что Франція находится въ состояніи умственной, нравственной и политической анархіи, что «божественное» забыто, что конституціонныя и парламентскія формы нечто иное, какъ болтовня, но что возвратъ къ легитимизму невозможенъ и наступаетъ «эра цезарей». Событія, повидимому, оправдывали если не діагнозъ, то прогнозъ Ромѣ: второе изданіе его памфлета появилось въ 1850 году, а въ 1851 г. Наполеонъ совершилъ свой кровавый государственный переворотъ. Мнѣ неизвѣстно, какъ отнесся къ этому факту Карлейль, очень интересовавшійся французскими событіями того времени

(г. Яковенко тоже ничего не говоритъ объ этомъ въ биографіи Карлейля). Несомнѣнно, что, за вычетомъ нѣкоторыхъ подробностей, и въ томъ числѣ плебисцита, какъ приложенія числа и мѣры къ священному дѣлу управления и повиновенія, воцареніе Наполеона III представляетъ нѣчто желательное съ точки зрѣнія Карлейля. Съ другой стороны, однако, личность этого авантюриста совершенно лишена тѣхъ возвышенныхъ чертъ, которыхъ Карлейль требуетъ отъ героевъ, и, повторяю, я не знаю, какъ онъ выпутался въ данномъ случаѣ изъ затрудненія.

Съ точки зрѣнія Карлейля, повиновеніе, почитаніе, культъ героевъ, будучи нравственнымъ долгомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, потребностью, составляетъ краеугольный камень общества. Такая двойная опора ручается, повидимому, за устойчивость зданія. Въ самомъ дѣлѣ, если герои суть вѣстники изъ того «чудеснаго», «божественнаго» міра настоящей дѣйствительности, только поверхность котораго доступна нашимъ взорамъ; если, дагѣе, мы не только должны, но и чувствуемъ потребность имъ поклоняться и повиноваться, — то не остается ничего больше желать. Придетъ герой, и мы поклонимся ему и покорно пойдѣмъ за нимъ. Но, вѣдь, не такъ просто идти дѣла въ дѣйствительности. Самъ Карлейль строитъ свое зданіе вполне *bona fide*. Онъ вѣритъ, что герой, по самой природѣ своей, поведетъ насъ не иначе, какъ по пути къ добру, правдѣ, свѣту, и пошелъ бы за нимъ, зажмуря глаза, полный лишь чистаго восторга и благодарности. Но, допуская даже, что всѣ люди готовы къ такому безкорыстному и нелицемѣрному культу, походящему на одномъ изъ коренныхъ требованій человѣческой природы, дѣло можетъ стать за героями. Согласимся съ Карлейлемъ, что Кромвель — единственный герой-вождь на протяженіи пятнадцати вѣковъ англійской исторіи. Что же людямъ дѣлать до и послѣ Кромвеля? На это Карлейль отвѣтилъ бы такъ: нужно готовиться къ приему новаго героя, воспитывая въ себѣ чувство восторга передъ всѣмъ, что выше насъ, передъ героями въ другихъ областяхъ, каковы герои-поэты, герои-пастыри, герои-писатели, передъ героями умершими, ибо дѣло ихъ не есть дѣло только ихъ кратковременной жизни, а на цѣлые вѣка переживаетъ ихъ тлѣнный прахъ. Страницы, посвященныя этому вѣковому переживанію словъ и дѣлъ героевъ, разбросаны по всей книгѣ Карлейля и принадлежатъ къ числу лучшихъ въ ней. При этомъ герои-поэты и герои-писатели естественно оказываются долговѣчнѣе героевъ-вождей. «Есть, — говоритъ Карлейль, — одинъ англійскій король, котораго ни время, ни случай, ни парламентъ, ни цѣлая коалиція парламентовъ

не можетъ свести съ трона. Король этотъ — Шекспиръ. Развѣ онъ дѣйствительно не сіяетъ надъ всѣми нами въ своемъ вѣнчанномъ превосходствѣ, какъ благороднѣйшій, доблестнѣйшій и, вмѣстѣ съ тѣмъ, могущественнѣйшій лозунгъ нашего объединенія, лозунгъ нерушимый и по-истинѣ болѣе важный съ этой точки зрѣнія, чѣмъ всевозможныя другія средства и ресурсы?» Или: «Агамемнонъ, цѣлая масса Агамемноновъ, Периклы и ихъ Греція, — все это превратилось теперь въ груду развалинъ! Молчаливыя, печальныя руины и обломки! А книги Греціи? Въ нихъ еще до сихъ поръ Греція живетъ въ буквальномъ смыслѣ для каждаго мыслителя; благодаря книгѣ, она можетъ быть снова вызвана къ жизни». Кромѣ того, къ героямъ-поэтамъ и героямъ-писателямъ вполне приложимы тѣ черты свободы и искренности культа, которыми Карлейль такъ дорожитъ. Въ самомъ дѣлѣ, преклоненіе предъ гениемъ Гомера или Шекспира можетъ иногда быть не вполне сознательнымъ, навѣяннымъ мнѣніемъ большинства и въ этомъ смыслѣ не вполне искреннимъ и свободнымъ. Но, во всякомъ случаѣ, и Шекспиръ, и Гомеръ оказываютъ на насъ давленіе исключительно только силою своего гения. Такъ ли это бываетъ съ героями-вождями? Въ одномъ мѣстѣ Карлейль готовъ признать извѣстное величіе даже за какимъ-нибудь Тамерланомъ или Батыемъ: «несомнѣнно, располагая несмѣтнымъ войскомъ, онъ силенъ; онъ удерживаетъ громадную массу народа въ политическомъ единеніи и, такимъ образомъ, дѣлаетъ, быть можетъ, даже великое дѣло». Въ своей ненависти къ «анархіи», понятіе которой онъ непомѣрно расширяетъ, Карлейль идетъ при случаѣ даже еще дальше. Тамерланъ есть, все-таки, крупная историческая фигура; онъ, несомнѣнно, долженъ былъ обладать извѣстными личными качествами, поднимавшими его надъ дикими ордами. Но вотъ передъ нами вопросъ объ освобожденіи негровъ. Мы видѣли, какъ его рѣшаетъ Карлейль. Здѣсь уже и помину нѣтъ о какихъ бы то ни было герояхъ: негры должны быть оставлены подъ управленіемъ и руководствомъ рабовладельцевъ, о героизмѣ которыхъ, однако, намъ ничего неизвѣстно, а о звѣрской жестокости и безсовѣстности извѣстно, напротивъ, слишкомъ достаточно. Въ виду положенія блага рабочаго, Карлейль забываетъ всѣ свои собственные разсужденія объ «адскомъ безправіи» и неизвѣстно почему ожидаетъ «разумности» отъ управленія рабовладельцевъ. Между тѣмъ, изъ положенія блага рабочаго только то и слѣдуетъ, что оно должно быть измѣнено, а совсѣмъ не то, что неграмы приличествуетъ рабство.

Я не хотѣлъ бы оставить читателя подъ

впечатлѣніемъ послѣднихъ замѣчаній о книгѣ Карлейля. Книга эта есть, во всякомъ случаѣ, нѣчто далеко выдающееся изъ ряда и можетъ доставить не только много наслажденія людямъ, умѣющимъ цѣнить искреннюю и оригинальную, хотя бы и невѣрную мысль, но и пользы. Вся книга, какъ блестками, усыпана въ капризномъ безпорядкѣ яркими побочными замѣчаніями, иногда въ высокой степени поучительными. Авторъ приводитъ ихъ въ болѣе или менѣе близкую связь съ своими основными положеніями, для уразумѣнія которыхъ нужно известное напряженіе, въ виду оригинальности хода его мысли и терминологіи, но ихъ можно и выдѣлать. Для примѣра, и только для примѣра, приведу одну изъ такихъ побочныхъ мыслей, надъ которою очень и очень стоитъ подумать многимъ нашимъ поэтамъ. Карлейль очень высоко цѣнитъ поэзію, но въ большинствѣ стихотворныхъ произведеній онъ видитъ лишь «отрывки прозы, втиснутые въ звучные стихи, къ высокому поношенію грамматики и къ великой досадѣ читателя». Онъ сомнѣвается даже, чтобы у большинства стихотворцевъ была опредѣленная мысль, которую они желаютъ высказать. А если такая есть, то они должны «сказать намъ просто, безъ всякаго звона, въ чемъ дѣло». Стихотворная же форма законна только тогда, когда она настолько срослась съ мыслью, что ихъ нельзя разлучить, когда человѣкъ *не можетъ* изложить ее въ прозѣ. Все это связывается у Карлейля съ положеніемъ: «пѣніе есть героическое въ рѣчи», но и въ приведенномъ, изолированномъ видѣ его мысль заслуживаетъ всякаго вниманія. Зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, звенѣтъ римами, если можно то же самое сказать прозой?

Но, конечно, не въ подобныхъ побочныхъ замѣчаніяхъ заключаются сила и значеніе книги Карлейля.

Теорія великихъ людей, героевъ, какъ главныхъ или даже исключительныхъ факторовъ исторіи, естественно, противопоставляется теоріи массовой, коллективной работы безыменныхъ людей. Нѣкоторые изъ вариантовъ этой теоріи читатель можетъ найти въ достаточно полномъ изложеніи въ книгѣ г. Карѣва «Сущность историческаго процесса и роль личности въ исторіи». Но обыкновенно теорія эта только высказывается и болѣе или менѣе удачно формулируется, а затѣмъ подмѣнивается другою, гораздо болѣе общею. Дѣло въ томъ, что изложеніе начинается обыкновенно съ полемики, съ возраженій противъ теоріи великихъ людей, какъ болѣе старой и пустившей глубокіе корни въ общемъ сознаніи. При этомъ имѣется, главнымъ образомъ, въ виду не Карлейль, который стоитъ совершенно одиноко въ литературѣ вопроса и съ своей точки зрѣнія имѣетъ основаніе

уже пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ жаловаться на упадокъ почтенія къ героямъ. Вліяніе Карлейля сказалось, можетъ быть, лишь умноженіемъ біографической литературы, а не усвоеніемъ его теоретическихъ взглядовъ. Во всякомъ случаѣ, совершенно независимо отъ Карлейля, а въ подробностяхъ часто и совсѣмъ несогласно съ его понятіемъ о герояхъ, наиболѣе распространенный типъ историческихъ сочиненій довольно близокъ къ «біографіи великихъ людей». Надо только сдѣлать маленькую оговорку относительно термина «великіе люди» или «герои». Карлейль разумѣетъ подъ ними только благодѣтелей челоѣчества, совершенно игнорируя такихъ организаторовъ повиновенія или почтенія, которыхъ иной историкъ съ своей точки зрѣнія называлъ бы великими злодѣями. Самый фактъ сосредоточенія многихъ личныхъ умовъ и воли на одной личности представляется ему настолько благодѣтельнымъ, даже «священнымъ», что, какъ мы видѣли, онъ готовъ признать известное величіе и въ Аттилѣ, и въ Тамерланѣ. Съ другой стороны, однако, онъ предъявляетъ герою такія требованія, которымъ не удовлетворяетъ, на примѣръ, Людовикъ XIV, хотя и называемый иногда «великимъ», королемъ-солнцемъ. Вполнѣ возможна и такая точка зрѣнія, съ которой излюбленные герои Карлейля, на примѣръ, Магометъ, Наполеонъ или Руссо, окажутся недостойными титула великихъ людей. Каждый историкъ руководится въ этомъ отношеніи своею собственною мѣркой, субъективнымъ пониманіемъ не только величія, но и вообще добра и зла. Поэтому, въ отличіе отъ Карлейлевской «біографіи великихъ людей», наиболѣе распространенный типъ историческихъ писаній можетъ быть названъ біографіей выдающихся людей вообще, вожаковъ, выплывающихъ изъ безыменной массы наверхъ и несущихъ съ собою иногда добро, иногда зло, сообразно опять-таки понятіямъ историка о добрѣ и злѣ. Въ большинствѣ случаевъ, этотъ приемъ просто практикуется, безъ всякихъ попытокъ теоретизировать его. Противъ этой-то практики, а тѣмъ болѣе противъ соотвѣтственной теоріи протестуютъ сторонники ученія о безыменныхъ массахъ, какъ о главномъ факторѣ исторіи. Они полагаютъ, что «героямъ» дѣлаютъ слишкомъ много чести, приписывая имъ управленіе событіями въ хорошую или дурную сторону. Масса воды напираетъ черезъ трубы на водопроводный кранъ и выжимаетъ изъ себя первыя капли, потому что надо же быть первымъ каплямъ въ виду малаго отверстія крана, но эти капли не ведутъ за собою остальную, главную массу воды, а напротивъ, именно выжимаются ею. Я думаю, что это сравненіе довольно вѣрно выражаетъ

мысль сторонниковъ ученія, о которомъ идетъ рѣчь, и должно придтись имъ по вкусу.

Эта точка зрѣнія, не всегда, конечно, выражаемая въ столь рѣзкой формѣ, оказала значительныя услуги историческому изученію, привлекая вниманіе изслѣдователей къ умственному, нравственному, экономическому и т. д. положенію народныхъ массъ, а равнымъ образомъ къ тѣмъ социологическимъ законамъ, которые писаны и для великихъ людей. Но сама теорія безыменныхъ массъ, какъ факторовъ исторіи, остается невыясненною въ своей противоположности съ теоріей именитыхъ героевъ. Собственно говоря, выясненію подлежитъ одинъ пунктъ, а именно процессъ, которымъ масса выдавливаетъ, выжимаетъ изъ себя героевъ, а вмѣсто этого мы слышимъ обыкновенно разсужденія о томъ, что герой есть продуктъ опредѣленныхъ условий времени, мѣста, среды, наслѣдственности. Такимъ образомъ, вопросъ переносится на совершенно другую почву и на мѣсто теоріи массъ, какъ историческихъ факторовъ, представляется ученіе о причинной зависимости человѣческихъ мыслей, чувствъ, желаній, дѣйствій. Это «отвѣтъ не въ текстъ», какъ говоритъ кто-то у Левитова; это не то, что правильное или неправильное рѣшеніе вопроса, а просто обходъ его, насилие надъ логикой. Но при этомъ часто насилуется не только логика, а и живое нравственное чувство. Ученіе, включающее человѣка въ великую міровую цѣль причинъ и слѣдствій, способствовало разсѣянію надменныхъ предразсудковъ относительно мѣста человѣка въ природѣ; но, односторонне проведенное, оно можетъ повлечь, и иногда дѣйствительно влечетъ за собой, многія печальныя послѣдствія. Превращая человѣка въ пассивный механизмъ, односторонность эта можетъ способствовать оправданію всякой гнусности и пошлости, историческому фатализму, ослабленію чувства ответственности, ослабленію энергіи дѣятельности и личной инициативы. Противъ этихъ-то ядовъ книга Карлейля и можетъ служить однимъ изъ противовѣдій. Въ своемъ родѣ она также односторонняя, но, кромѣ этой односторонности, кромѣ даже многихъ запутанностей и неясностей мысли, она содержитъ въ себѣ драгоценную поправку къ ученію о причинахъ человѣческихъ дѣйствій, — указаніе на *цѣль* дѣятельности. Еще Тэнъ справедливо замѣтилъ, что «тайну», которую Карлейль утверждаетъ по ту сторону видимаго, эсаямаго, измѣряемаго міра, можно назвать идеаломъ. Иногда, по немоги человѣческой, вполне недостижимый, онъ, однако, всегда манитъ къ себѣ человѣка изъ тины повседневныхъ мелочей и скрашиваетъ нашу жизнь. Карлейль непреклонно вѣритъ, что въ каждомъ изъ насъ живетъ тяготивіе къ идеалу,

къ чему-то безконечно-высшему и благороднѣйшему, чѣмъ мелкая и узкая дѣйствительность; но, засосанные ею, мы лишь порывами вспоминаемъ объ идеалѣ и достигаемъ большаго или меньшаго приближенія къ нему вслѣдъ за особенными людьми, героями или «вѣстниками» идеала. Имъ-то мы и обязаны не только благодарностью, а и настоящимъ «культомъ». Карлейль чрезвычайно негодуетъ на мысль, что герой есть «продуктъ своего времени». Собственно говоря, возразить противъ этого онъ ничего не можетъ. Конечно, появленіе героя всегда обусловлено извѣстными причинами, которыя мы несомнѣнно опредѣленно формулируемъ словомъ «время». Это безспорно. Но, спрашиваетъ Карлейль, самъ-то онъ, герой, развѣ ничего такого не сдѣлалъ, чего бы не могли сдѣлать и мы, «маленькіе критики»? И на это опять-таки возразить нечего. Дѣйствительно, просматривая хотя бы ту же біографическую бібліотеку г. Павленкова, мы видимъ, что герой, великій человѣкъ или какъ хотите его назовите, ставитъ себѣ извѣстную цѣль, иногда, по мнѣнію современниковъ или соотечественниковъ, далеко превосходящую предѣлы возможности, и борется за нее. Пусть онъ не болѣе, какъ орудіе исторіи, но исторія выбрала, однако, въ свои орудія именно его изъ десятковъ и сотенъ тысячъ. Пусть онъ орудіе, но онъ орудіе чувствующее, мыслящее и, главное, работающее въ опредѣленномъ, сознательно преслѣдуемомъ направленіи. Пусть онъ, со всеми своими исключительными силами или даже только съ исключительною удачей, есть результатъ извѣстныхъ причинъ, но, преслѣдуя свою цѣль, онъ самъ становится активною и сознательною причиной дальнѣйшаго хода событій. Причинная связь явленій несомнѣнна, но въ числѣ причинъ или другихъ явленій общественной жизни есть и личная энергія, и стойкость, и убѣждающая сила мысли, и сила примѣра, являемаго героемъ. Причинная связь явленій несомнѣнна, но, по ограниченности ума, вялости характера, трусости и т. п., мы можемъ въ тѣхъ или другихъ частныхъ случаяхъ ошибаться въ расцѣнкѣ вѣроятныхъ слѣдствій извѣстныхъ причинъ, ожидая малаго тамъ, гдѣ возможно большее. Къ этому-то негаданному большинствомъ большому и зоветъ и ведетъ насъ герой. Въ концѣ-концовъ, и книга Карлейля, проникнутая презрѣніемъ къ малому, чѣмъ мы изо дня въ день живемъ, есть страстный призывъ къ большому. И думаю, что русскій переводчикъ «Героевъ», несмотря на все свое очевидное пристрастіе къ Карлейлю, правъ, когда говоритъ, что онъ «заставляетъ васъ страхнуть съ себя апатію, отрѣшиться отъ жалкаго прозябанія», что «если онъ не умѣетъ убѣ-

дить васъ въ правильности своихъ воззрѣній, то, во всякомъ случаѣ, заронить въ ваше сердце искру божественнаго огня». Конечно, насколько все это можетъ сдѣлать книга...

II.

Къ счастью или къ несчастью, книга далеко не всемогуща, — къ счастью, когда книга нехороша, къ несчастью, когда она хороша. Одна и та же книга, одно и то же собраніе книгъ производитъ совершенно различные эффекты сегодня и черезъ нѣсколько лѣтъ, въ такой-то и въ другой такой-то сторонѣ. Зависитъ это отъ всей совокупности житейскихъ условій, среди которыхъ появляется книга.

Позвольте мнѣ въ поясненіе сдѣлать выписку изъ напечатаннаго въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» разсказа г. Станюковича «Домашній очагъ». Нѣкій Ордынцевъ заступился за своего сослуживца Горохова, котораго ихъ общій начальникъ Гобзинъ хотѣлъ ссадить съ мѣста ни за что, ни про что, а только чтобы предоставить это мѣсто другому. Такъ какъ это заступничество сопровождается нѣкоторымъ, очень, впрочемъ, незначительнымъ рискомъ для самого Ордынцева, то жена его, злая и глупая баба, дѣлаетъ ему сцену въ присутствіи дѣтей. Ордынцевъ обращается къ старшему сыну съ вопросомъ, какъ онъ смотритъ на это дѣло.

— Мы, вѣдь, не сходимся съ тобою во взглядахъ! — уклончиво замѣтилъ молодой человѣкъ.

— Какъ же, знаю! Очень не сходимся. Я — человѣкъ шестидесятихъ годовъ, а ты — представитель новѣйшей формации... Гдѣ же намъ сходиться? Но, все-таки, интересно узнать твое мнѣніе. Соболаговоли высказать.

— Если ты такъ желаешь, изволь.

И, слегка приподнявъ свою красиво посаженную голову и не глядя на отца, а опустивъ серьезные голубые глаза на скатерть, студентъ заговорилъ слегка докторальнымъ, спокойнымъ, тихимъ тономъ, въ то время, какъ мать не спускала со своего любимца очарованнаго взгляда.

— Я полагаю, что Гобзина со всѣми его взглядами и привычками, какъ унаследованными, такъ и приобретенными, ты не передѣлаешь, что бы ты ему ни говорилъ. Если онъ, съ твоей точкой зрѣнія, скотина, то такой и останется. Это его право. Да и вообще навязывать кому бы то ни было свои мнѣнія, по моему, донъ-кихотство и непроизводительная трата времени... Темпераментъ и характера, зависящихъ отъ физиологическихъ и иныхъ причинъ, нельзя измѣнить словами. Это — во-первыхъ...

— А во-вторыхъ? — иронически спросилъ отецъ.

— А во-вторыхъ, — такъ же спокойно и съ тою же самоувѣренною серьезностью продолжалъ молодой человѣкъ, — во-вторыхъ, та маленькая доля удовольствія, происходящая отъ удовлетворенія альтруистическаго чувства, какую ты получилъ, защищая обиженнаго, по твоему мнѣнію, человѣка, обращается въ нуль передъ тою сум-

мой неприятностей и страданій, которыя ты можешь испытать въ послѣдствіи и, слѣдовательно, ты же останешься въ явномъ проигрышѣ...

— Въ явномъ проигрышѣ?... Такъ, такъ... Ну, а въ-третьихъ? — съ нервнымъ нетерпѣніемъ допрашивалъ Ордынцевъ, жестоко теребя свою бороду.

— А въ-третьихъ, если Гобзинъ имѣетъ намѣреніе выгнать, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ, служащаго, то, разумѣется, выгнать. Ты, пожалуй, отстоишь Горохова, но Гобзинъ выгонитъ Петрова или Иванова. Такимъ образомъ, явится лишь перестановка именъ, а фактъ несправедливости останется. Кажется, очевидно? — заключилъ Алексѣй.

Эта сценка поучительна во многихъ отношеніяхъ, но я хотѣлъ бы обратить вниманіе читателя вотъ на что. Исторія нашего умственнаго развитія представляетъ собою послѣдовательную смѣну разныхъ односторонностей. Мы какъ будто сквозь чашу какую пробираемся, пробивая себѣ дорогу то правымъ плечомъ, то лѣвымъ, не говоря уже о крутыхъ поворотахъ назадъ, къ давно пройденному мѣсту. Можетъ быть, этотъ ходъ вещей обусловленъ какимъ-нибудь кореннымъ свойствомъ человѣческой природы, потому что до извѣстной степени такъ же дѣло идетъ и въ болѣе культурныхъ странахъ, гдѣ разъ завоеванными позиціями болѣе дорожатъ и гдѣ преемственная работа мысли надолго не обрывается. Но въ Европѣ критическая мысль развивается такъ давно и такъ ей тамъ привольно, что односторонности, безъ которыхъ и тамъ не обходится, взаимно уравнивались не только во времени, а и въ пространствѣ, если можно такъ выразиться. Въ противовѣсъ односторонности Руссо, жизнь въ то же самое время выдвигаетъ односторонность Вольтера, вліяніе холоднаго олимпійца Гѣте уравнивается вліяніемъ горячаго челоуколюбца Шиллера, голоса противоположныхъ философскихъ или политическихъ партій имѣютъ возможность заявлять себя одновременно. Но если и въ Европѣ, несмотря на эти благоприятныя условія, та или другая односторонность временами помѣщается въ передній уголъ и заполняетъ собою общее вниманіе, то тѣмъ чаще возникаетъ и тѣмъ рѣзче выражается это явленіе у насъ. Что, напримѣръ, осталось отъ нашего, еще многимъ памятнаго, повальнаго увлеченія естествознаніемъ, когда мы зачитывались книжками Фогта, Молешота, Бюхнера, рѣзали многое множество лягушекъ, и когда была возможна такая карриатура, какъ Евдоксія Кукшина: Жоржъ Зандъ, дескать, отсталая женщина и, вѣроятно, не знаетъ эмбриологіи, «а въ наше время какъ вы хотите безъ этого?» Конечно, это была карриатура, и довольно забавная, а Евдоксія Кукшина просто глупый челоуекъ, какіе всегда возможны. Но, собственно говоря, далеко ли былъ отъ этой карриатуры, напримѣръ, умный и талантливый Писаревъ, когда

предлагал Щедрина бросить сатиру и заняться популяризацией естественных наук? А затѣмъ произошло нѣчто вроде діалога въ комедіи Островскаго «Не все коту масленица». Ипполитъ говоритъ: «Коль скоро я пришелъ...», т.-е. коли я пришелъ, такъ ужъ добьюсь своего, а Аховъ перебиваетъ: «Коль скоро ты пришелъ, толь скоро ты и уйдешь.» Остроумная неожиданность этой реплики очень годится въ пародію той неожиданности, съ которою приходятъ и уходятъ наши увлеченія вообще. Само собою разумѣется, что это не способствуетъ нашему украшенію. Но надо, все-таки, различать.

Какъ лучъ свѣта различно преломляется въ различныхъ средахъ, такъ и лучи мысли даютъ очень разные эффекты, смотря по общимъ условіямъ, въ которыя они проникаютъ. Ордынцевъ-отецъ въ свое время если не лично рѣзалъ лягушекъ и зачитывался книжками по естествознанію, то, во всякомъ случаѣ, участвовалъ въ этомъ теченіи и по сейчасъ себя отъ него не отдѣляетъ. Ужъ, конечно, ему хорошо знакомы разсужденія Ордынцева-сына о томъ, что «темперамента и характера, зависящихъ отъ физиологическихъ и иныхъ причинъ, нельзя измѣнить словами» и т. п. Онъ самъ говоритъ это, навѣрное, съ гораздо большимъ жаромъ и задоромъ, чѣмъ теперь говоритъ его сынъ, онъ и сейчасъ скажетъ то же самое. Идея причинной зависимости явленій психологическихъ, социологическихъ, историческихъ представляетъ собою лишь распространеніе общихъ законовъ естества на человѣка, и понятно, что она должна была быть въ большомъ ходу во дни молодости Ордынцева-отца. Она была тогда въ нѣкоторомъ родѣ новинкой и манила къ себѣ, кромѣ своей общей философской цѣнности, еще какъ орудіе борьбы съ тѣмъю предрасудковъ и лицемерія. Ордынцевъ-сынъ, можетъ быть, никакого касательства къ естественнымъ наукамъ не имѣетъ, ибо теперь въ этомъ и необходимости нѣтъ для убѣжденія въ силѣ «физиологическихъ и иныхъ причинъ». Во всякомъ случаѣ, однако, онъ твердо, ясно, убѣжденно говоритъ эти слова. Изъ-за чего же пререканія между отцомъ и сыномъ? Извѣстно, что *c'est le ton qui fait la musique*, а въ данномъ случаѣ разница типовъ отца и сына столь велика, что вотъ мы присутствуемъ при невыносимой семейной какофоніи. Г. Станюковичъ не старался сгущать краски. Передъ нами разворачивается очень обыкновенная семейная исторія. Старикъ Ордынцевъ, давно пригнутый къ землѣ неудачами, не мечтаетъ ни о какомъ героическомъ подвигѣ. Заступаясь, во имя правды и справедливости, за своего товарища, онъ, по его мнѣнію, даже не рискуетъ повредить себѣ по службѣ, — такъ складываются обстоятельства. Но уже одного

намекъ на рискъ, заключающійся въ непріятномъ разговорѣ съ начальникомъ, достаточно, чтобы жена засыпала его злыми и жесткими словами на тему о донъ-кихотствѣ, объ обязанностяхъ передъ семьей и проч., Ахъ, это въ самомъ дѣлѣ такая обыкновенная исторія! Мало ли этихъ такъ называемыхъ главъ семействъ, которые корпятъ надъ неперіятнымъ и никому ненужнымъ дѣломъ, чтобы заработать изящный костюмъ жены, музыкальные уроки бездарной дочери и т. д., и, подъ угрозою нестерпимой свары, не смѣютъ поднять глаза къ небу. Не удивителенъ по нынѣшнему времени и Ордынцевъ-сынъ. Въ литературѣ за послѣднее время «дѣтскій зудъ», слава Богу, кажется, затихъ, да и въ жизни совершается такое трудное и страшное, что едва ли кому можетъ прійти въ голову тянуть «дѣтскія» пѣсни о «реабилитации дѣйствительности» и «свѣтлыхъ явленіяхъ». Но, вѣдь, мы еще очень недавно слышали эти пѣсни, такъ что старикъ Ордынцевъ далеко не единственная яблоня, отъ которой, подъ влияніемъ социальной атмосферы, яблочко откатилось такъ далеко. Особенность положенія старика Ордынцева состоитъ въ томъ, что онъ слышитъ отъ сына тѣ самыя слова, которыя, по всей вѣроятности, самъ говорилъ, но въ такомъ преломленномъ видѣ, что приходитъ, наконецъ, въ ярость. И ярость эта вполне понятна. Какъ бы ни было одностороннее то теченіе мысли, въ которомъ въ свое время участвовалъ старикъ Ордынцевъ и къ которому онъ и теперь открыто примыкаетъ, насколько это возможно въ его приниженномъ положеніи, — эта односторонность находила себѣ поправку въ общемъ приподнятомъ строѣ нашей тогдашней духовной жизни. Даже для Писарева въ тотъ моментъ, когда онъ предъявлялъ свое комическое требованіе Щедрина, «физиологическія и иные причины» не были предѣломъ, его же не преидеши; самое естествознаніе было для него не только самодовлѣющимъ изслѣдованіемъ непреклонной связи явленій, а вмѣстѣ орудіемъ для достиженія извѣстныхъ цѣлей, — орудіемъ, при помощи котораго онъ рассчитывалъ чуть не весь свѣтъ перевернуть. Конечно, это была мечта ребяческая, какъ можно судить уже по тому употребленію, которое дѣлаетъ изъ «физиологическихъ и иныхъ причинъ» Ордынцевъ-сынъ. Но, во всякомъ случаѣ, пассивному міру объективной дѣйствительности «физиологическихъ и иныхъ причинъ» противопоставлялось активное вмѣшательство личности во имя субъективнаго идеала, во имя извѣстныхъ, сознательно намѣченныхъ цѣлей. На словахъ, пожалуй, много, иногда даже слишкомъ много говорилось о томъ, что человѣкъ есть пассивный результатъ извѣстныхъ при

чить, но на дѣлѣ люди стремились стать сами активными причинами хода вещей. Слова остались, животворящій духъ исчезъ. Ордынцевы-отцы, какъ могли и умѣли, но *sine ira et studio* смотрѣли на реальное дно чаши жизни, а затѣмъ наполняли эту чашу виномъ идеала. Ордынцевъ-сынъ предпочитаетъ трезвость. Я думаю, что въ этомъ сказалось вліяніе разницы въ состояніяхъ общественной атмосферы, и потому склоненъ былъ бы съ жалостью смотрѣть на такого несчастнаго недоноска, какъ Ордынцевъ-сынъ, если бы не его возмутительный апломбъ.

Если, однако, книга, печатное слово и вообще мысль не всемогущи, потому что вліяніе ихъ зависитъ отъ свойствъ преломляющей среды, то изъ этого не слѣдуетъ, что они безсильны. Напротивъ, они могутъ въ свою очередь вліять на общественную атмосферу, очищая или заражая ее. Здѣсь происходитъ извѣстное взаимодействие, часто принимающее характеръ борьбы, исходъ которой далеко не всегда можно предсказать. Это налагаетъ на представителей слова и мысли большую отвѣтственность, которая, къ сожалѣнію, слишкомъ часто забывается то по легкомыслію, непростительному въ людяхъ, взявшихся поучать другихъ, то подъ вліяніемъ еще менѣе простибельныхъ мотивовъ низменнаго личнаго свойства. Мнѣ не придется на этотъ разъ останавливаться на конкретныхъ примѣрахъ такого забвенія отвѣтственности и происходящихъ отсюда печальныхъ послѣдствій. Вернемся къ нѣкоторымъ изъ вышеупомянутыхъ изданій г. Павленкова. Но сперва еще одно маленькое отступление.

Въ нашей литературной критикѣ образовалось за послѣднее время особое теченіе, которое старается опредѣлить не столько художественную или идейную, или какую иную цѣнность самого литературнаго произведенія, сколько его связь съ другими, болѣе ранними произведеніями на ту же тему или въ другихъ отношеніяхъ ему близкими. Связь эта оказывается, въ большинствѣ случаевъ, связью прямого заимствования, подражанія. Вотъ образчикъ изъ статьи г. Веселовскаго «Мертвыя души», напечатанной въ мартовской книжкѣ «Вѣстника Европы». Заявивъ, что «заимствования у русскихъ и иностранныхъ писателей гораздо чаще встрѣчаются у Гоголя, чѣмъ это обыкновенно думаютъ», г. Веселовскій продолжаетъ: «Въ началѣ извѣстнаго лирическаго мѣста седьмой главы перваго тома «Мертвыхъ душъ» («Счастливыя писатель» и т. д.) можно найти отголосокъ XI строфы первой *) главы «Евгенія

Онѣгина» («Свой слогъ на важный ладъ настраивая» и т. д.). Чичиковъ, объясняя Лѣвину необходимость, «чтобы это было въ тайнѣ, ибо не столько самое преступленіе, сколько соблазнъ вредоносенъ», выражается словами Тартюфа: «le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait; le scandale du monde est ce qui fait l'offense». Это неожиданное сходство можно сопоставить съ незамѣченнымъ еще, кажется, присвоеніемъ словъ Горация (сатира первая, стихи 69—70): «Quid rides? mutato nomine, de te fabula narratur», городничему въ «Ревизорѣ»: «что смѣетесь? Надъ собой смѣетесь!»

Это мѣсто статьи г. Веселовскаго очень характерно для крайностей историко-литературной критики. Почтенный авторъ ни мало не озабоченъ тѣмъ, чтобы обставить свои утвержденія хоть какими-нибудь доказательствами. Нѣкотораго сходства выражений для того совершенно достаточно, чтобы утверждать, что Гоголь «присвоилъ» слова Горация Сквознику-Дмухановскому. «Неожиданное сходство» для него равнозначительно «присвоенію». Подобные приемы даютъ критикамъ поводъ развернуть передъ читателемъ свою эрудицію, но признать ихъ основательными, конечно, нельзя. Почему, въ самомъ дѣлѣ, не предположить, что Гоголь и Пушкинъ, будучи современниками и друзьями, находясь подъ давленіемъ приблизительно одинаковыхъ условій, оба самостоятельно пришли къ нѣкоторымъ одинаковымъ мыслямъ и выраженіямъ (хотя, надо замѣтить, сходство указываемыхъ г. Веселовскимъ мѣстъ вовсе уже не такъ велико)? Почему не допустить, что Гоголь самъ по себѣ наблюдалъ такую черту лицемѣрія, которую до него, можетъ быть, даже не одинъ Мольеръ, а и еще многіе другіе наблюдали? Почему, наконецъ, не допустить, что Гоголь и не думалъ о Горации, когда писалъ свое «что смѣетесь»? Я, по крайней мѣрѣ, легко могу себѣ представить такое чисто-случайное совпаденіе и такую степень оригинальности и самостоятельности въ Гоголѣ, и согласился бы съ г. Веселовскимъ только въ такомъ случаѣ, еслибы онъ далъ какія-нибудь доказательства,—ну, хоть какую-нибудь подтверждающую выписку изъ записной книжки Гоголя или что-нибудь въ этомъ родѣ. Такая критика ни мало не подвигаетъ насъ впередъ въ какомъ бы то ни было отношеніи. Но она могла бы имѣть извѣстную, даже значительную цѣну, если бы не такъ дѣлалась за мелочи и если бы, не гоняясь за чисто-случайными совпаденіями, старалась отличить сходства, вызванныя сходствомъ обстоятельствъ, при которыхъ создавались сравниваемые произведенія, отъ настоящихъ заимствованій или подражаній. Нѣкоторые ученые справедливо жалуются на то, что въ

*) Это ошибка или опечатка: рѣчь, очевидно, идетъ не о первой, а о третьей главѣ.

сравнительномъ языкознаніи и народовѣдѣніи (исторія культуры, исторія миеовъ, легенда, фольклоръ, психологія народовъ) нагромождаются иногда примѣры совпаденій, безъ надлежащаго критическаго изслѣдованія, отчего они зависятъ: оттого ли, что одинъ народъ заимствовалъ извѣстный миеъ, обычай и т. п. у другого народа, или оттого, что оба народа, находясь приблизительно въ одинаковыхъ условіяхъ, самостоятельно выработали одинаковыя формы мысли и жизни? Если эти двѣ категоріи сходствъ надо различать въ дѣлѣ безыменнаго массоваго творчества, то и литературной критикѣ, имѣющей дѣло съ индивидуальнымъ творчествомъ, не полагается отождествлять «неожиданное сходство» съ «присвоеніемъ».

Тѣмъ не менѣе, подражаніе играетъ на всѣхъ путяхъ литературы и жизни огромную роль, гораздо даже, можетъ быть, большую, чѣмъ думаютъ люди, практикующіе утробованные приемы историко-литературной критики.

Голосовъ мало, эхо же многократно. Это еще Гёте напоминалъ. Но этого мало. При извѣстныхъ акустическихъ условіяхъ, эхо дѣйствительно многократно, но, независимо отъ своей однократности или многократности, эхо повторяетъ не все, что выкрикнулъ живой голосъ, а только послѣднее слово или даже только послѣдній слогъ. Нѣчто въ этомъ родѣ и въ жизни происходитъ. Послѣдніе слоги, окончательные результаты оригинальныхъ творческихъ процессовъ, такъ или иначе входятъ въ нашъ обиходъ, но самыхъ этихъ процессовъ мы не переживаемъ и даже мало интересуемся ими. Мы прививаемъ себѣ оспу, читаемъ или смотримъ на сценѣ «Гамлета», «Тартюфа», ѣздимъ въ Америку, разсуждаемъ объ «утопіяхъ» и проч., и проч. Мы не помышляемъ при этомъ, что пользуемся окончательными результатами длиннаго и иногда мученическаго процесса, совершившагося когда-то въ Дженнерѣ, Шекспирѣ, Мольерѣ, Колумбѣ, Томасѣ Морѣ. Мы именно какъ бы повторяемъ послѣдніе слоги цѣлыхъ реченій, когда-то съ увлеченіемъ и страстью, а иногда, кромѣ того, съ мучительною болью произнесенныхъ оригинальными голосами. Одинъ французскій критикъ, говоря о семейныхъ несчастіяхъ Мольера, замѣчаетъ, что не будь этихъ несчастій, этихъ *larmes de Molière*, какъ онъ выражается, мы не имѣли бы многого изъ того, чѣмъ любимъ въ комедіяхъ Мольера. Это совершенно вѣрно. Слезы Мольера, кандалы Колумба, кровь Томаса Мора и цѣлое море другихъ слезъ и кровей, и цѣлый оркестръ другихъ кандаловъ, и безчисленное множество болѣзней, печалей и воздыханій входятъ въ составъ нашего ежедневнаго обихода.

Это, вѣдь, немножко обязываетъ, по крайней мѣрѣ, тѣхъ, кто вообще способенъ чувствовать себя обязаннымъ, обязываетъ не быть простымъ эхо, обязываетъ, повторяя послѣдніе слоги, знать и все реченіе, которое ими оканчивается. Отсюда значеніе «біографической бібліотеки», затѣянной г. Павленковымъ. Но біографія замѣчательныхъ людей могутъ имѣть еще и другое значеніе.

По мнѣнію Тарда («Законы подражанія»), вся исторія и вся общественная жизнь во всякую данную минуту сводятся къ двумъ факторамъ: изобрѣтеніямъ или открытіямъ и подражанію. По нѣкоторымъ, довольно, впрочемъ, невнятнымъ соображеніямъ, Тардъ относитъ «законы или псевдозаконы изобрѣтенія» къ «соціальной философіи» и предполагаетъ заняться ими въ другомъ сочиненіи, а настоящую книгу посвящаетъ законамъ подражанія, которые составляютъ содержаніе «соціальной науки». Можетъ быть, вслѣдствіе этого, «изобрѣтеніе» рисуется въ «Законахъ подражанія» довольно туманными чертами и часто сводится на простую комбинацію разнаго рода подражаній, бывшихъ въ ходу раньше. Затѣмъ законы подражанія распадаются, по Тарду, на два большихъ отдѣла: законы логическіе и законы внѣ-логическихъ вліяній (*influences extra-logiques*). Главнѣйшія изъ подраздѣлений логическихъ законовъ подражанія суть «логическій поединокъ» и «логическій союзъ», а главнѣйшія изъ внѣ-логическихъ вліяній сводятся къ обычаю и модѣ. Развивая эти положенія, Тардъ высказываетъ много вѣрныхъ или, по крайней мѣрѣ, остроумныхъ мыслей, среди которыхъ попадаются, однако, и чрезвычайно странныя. Что же касается изложенія, то оно крайне тяжело: въ длинныхъ и запутанныхъ фразахъ иногда не сразу доберешься до содержащейся въ нихъ мысли, а многочисленныя фактическія иллюстраціи, заимствованныя то изъ лингвистики, то изъ археологіи, статистики, исторіи, не всегда умѣстны и подчасъ еще пуще затемняютъ дѣло. Многое бы можно было сказать гораздо проще, но тогда нѣкоторые преувеличенія стали бы очевиднѣе. А преувеличеній не мало. Для Тарда подражательны не только всѣ дѣйствія человѣка (со включеніемъ даже «изобрѣтеній»), но, на примѣръ, и память, и привычка суть не что иное, какъ самоподражанія; подражательна, наконецъ, какъ сейчасъ увидимъ, вся природа. Но, приглядываясь уже къ «логическимъ» законамъ подражанія, можно усомниться. Въ самомъ дѣлѣ, если мы изъ двухъ представляющихся намъ путей, расчищенныхъ какимъ-нибудь изобрѣтеніемъ или открытіемъ, сознательно, т.-е. соображаясь съ своими пониманіями о собственной выгодѣ или объ истинѣ, или о нрав-

ственнымъ долгу, выбираемъ тотъ или другой, то, по Тарду, это будетъ проявленіемъ логическихъ законовъ подражанія. Если же мы подражаемъ какой-нибудь модѣ или обычаю, какому-нибудь примѣру, вопреки логикѣ или, по крайней мѣрѣ, независимо отъ соображеній пользы, истины и проч., то это результатъ внѣ-логическихъ вліяній. Понятно, что въ дѣйствительной жизни эти два случая могутъ взаимно переплетаться, такъ что распутать ихъ можно только усиліями пристальнаго анализа. Но въ отвѣченіи они различаются очень легко, — до такой степени, что мнѣ представляется невозможнымъ обнять ихъ одною формулою, или же формула эта окажется слишкомъ, до безсодержательности, общею. И, однако, Тардъ ихъ обобщаетъ. Для него «соціальное состояніе, какъ и состояніе гипнотическое, есть не что иное, какъ сонъ, сонъ по приказу и сонъ въ дѣйствительномъ состояніи. Не имѣть никакихъ идей, кромѣ внушенныхъ, и считать ихъ самопроизвольными — такова иллюзія, свойственная какъ сомнамбулу, такъ равно и соціальному человѣку». И въ другомъ мѣстѣ: «Общество, это — подражаніе, а подражаніе — родъ гипнотизма». Что гипнотическое внушеніе или наводженіе играетъ въ общественной жизни огромную роль, противъ этого я, конечно, не буду спорить, такъ какъ утверждалъ это раньше Тарда. Но приговоръ Тарда совершенно устраняетъ сознательную жизнь, а съ этимъ согласиться, конечно, нельзя. Сознательные и бессознательные процессы въ области подражанія, какъ и во всякой другой, всегда останутся различными, и самъ Тардъ ихъ различаетъ, говоря о логическихъ и внѣ-логическихъ вліяніяхъ.

Тардъ въ значительной степени правъ, говоря, что изобрѣтенія или открытія, по пути которыхъ мы слѣдуемъ, часто являются лишь комбинаціей подражаній, бывшихъ въ ходу раньше. Задолго до изобрѣтенія Дженнеромъ оспопрививанія англійское простонародье замѣтило, что люди, случайно заразившіеся коровьей оспой, застрахованы отъ настоящей, злокачественной оспы. Собственно эта примѣта и дала толчокъ открытію Дженнера. Шекспиръ заимствовалъ сюжеты нѣкоторыхъ своихъ трагедій изъ старинныхъ хроникъ, черпавшихъ въ свою очередь изъ народныхъ сказаній. Мольеръ, какъ онъ самъ говоритъ, *reppait son bien partout où il le trouvait*. Задолго до Дарвина садоводы и скотоводы практиковали искусственный подборъ, а идею борьбы за существованіе онъ заимствовалъ у Мальтуса и экономистовъ. Уаттъ изобрѣлъ свою паровую машину, починая грубую, но, все-таки, уже паровую машину Ньюкомена, у котораго опять были свои предшественники, и т. д., и т. д. Во всѣхъ этихъ случаяхъ ве-

ликіе люди черпали изъ океана готовыхъ наблюденій и примѣненій, въ теченіе вѣковъ накопленныхъ людьми именитыми и безыменными. Они собрали бродячій, не установленный, разрозненный матеріалъ, передумали или перечувствовали его, очистили отъ стороннихъ примѣсей и затѣмъ, придавъ ему научную, художественную или философскую обработку, сдѣлали изъ него всемірный центръ свѣта. Какъ во всѣхъ человѣческихъ дѣлахъ, великихъ и малыхъ, не все здѣсь было сознательно. Но, вѣдь, никто же не скажетъ, что, вдумываясь въ народные примѣты и сказанія или въ чужую фавулу, чужую мысль, упомянутые великіе люди дѣйствовали безсознательно. Напротивъ, они отлично знали и съ точностью указывали свои источники, сопоставляли ихъ, явственно различали ихъ достоинства и недостатки.

Спрашивается теперь, каково же наше отношеніе ко всѣмъ этимъ открытіямъ и изобрѣтеніямъ? Тардъ сказалъ бы, что, прививая себѣ оспу, мы подражаемъ Дженнеру, примѣняя паровую машину, подражаемъ Уатту, ѣздя въ Америку, подражаемъ Колумбу и т. д. Онъ подвелъ бы именно эти наши дѣйствія подъ логическіе законы подражанія. Пусть такъ. Но въ этихъ дѣйствіяхъ нѣтъ ничего схожаго съ гипнозомъ, нѣтъ той силы непосредственнаго впечатлѣнія, которая, при гипнозѣ, не оставляетъ никакого мѣста выбору. Гипнотикъ бессознательно исполняетъ приказанія или столь же бессознательно подражаетъ примѣру. И только тѣ факты индивидуальной и общественной жизни можно правомѣрно сближать съ гипнотизмомъ, въ которыхъ, во-первыхъ, мы имѣемъ дѣло съ болѣе или менѣе односторонне сосредоточеннымъ сознаниемъ, и въ которыхъ, во-вторыхъ, приказаніе или примѣръ играютъ прямую, непосредственную роль. Какъ уже сказано выше, процессы сознательные и бессознательные въ дѣйствительности неожиданно переплетаются, то поддерживая другъ друга, то противоборствуя другъ другу. Въ поясненіе приведу такой примѣръ. Извѣстно, что Мирабо широко пользовался въ своихъ рѣчахъ чужими мыслями и выраженіями, но обыкновенно быстро ихъ усваивая и оригинально комбинируя. Однажды Мирабо, уже готовясь вступить на трибуну, увидалъ въ числѣ депутатовъ Вольнея съ рукописью въ рукахъ, — это была приготовленная Вольнеемъ рѣчь. Между ними произошелъ такой разговоръ: «Вы тоже хотите говорить?» — спросилъ Мирабо. — «Да, я послѣ васъ». — «Покажите, что вы хотите сказать». Вольней подалъ рукопись знаменитому трибуну, и тотъ, бѣгло просмотрѣвъ ее, сказалъ: «Это превосходно, чудесно, но, знаете, такіа вещи надо говорить не слабымъ голосомъ и не съ спокойною фи-

зіоміей,—уступите эту рѣчь мнѣ». Вольней согласился и Мирабо, вставивъ въ свою рѣчь мысли и обороты Вольнея, увлекъ собраніе, гипнотизировалъ его. Именно гипнотизировалъ, чего Вольней не могъ бы сдѣлать. Мирабо хорошо зналъ условія ораторскаго успѣха. Въ данномъ случаѣ мало было логической убѣдительности, фактической полноты,—все такое, обращенное къ бодрствующему сознанию аудиторіи, было, надо думать, и у Вольнея, слабаго оратора, но выдающагося мыслителя и превосходнаго, хотя и мало оцѣненнаго писателя. Мирабо прибавилъ сюда впечатлѣніе своей могучей фигуры, «медузиной головы», громового голоса, установившейся репутаціи непобѣдимаго трибуна. И всѣмъ этимъ онъ одно-сторонне концентрировалъ сознание слушателей и придавилъ его въ желательномъ ему направленіи. Онъ то же слово, да не такъ молвилъ. Можетъ быть, и Вольней подѣйствовалъ бы на собраніе въ томъ же направленіи, но, во-первыхъ, можетъ быть, и не подѣйствовалъ бы, а во-вторыхъ, его способъ дѣйствія настолько отличенъ отъ способа Мирабо, что я не могу, для ихъ различія, удовольствоваться терминами Тарда: логическіе законы подражанія и внѣ-логическія вліянія. Подражанія или заразы (contagion), какъ часто выражается Тардъ, нѣтъ въ эффектахъ рѣчи Вольнея (если бы она была имъ произнесена и если бы эффекты были). Нѣтъ заразы и въ тѣхъ отраженіяхъ, которыми отзываются въ нашей жизни открытія или изобрѣтенія Дженнера, Уатта, Колумба и проч. Но всѣ эти и другіе великіе люди могутъ стать источниками настоящей нравственной заразы, если имѣтъ въ виду не открытія ихъ, а ихъ личности. Примѣры великаго труда, неустанной энергіи въ борьбѣ съ препятствіями, высокихъ нравственныхъ качествъ (какъ и противоположные примѣры тунеядства, распушенности, злодѣйства) могутъ быть, дѣйствительно, заразительны. И не только въ жизни, а въ литературѣ, и, можетъ быть, особенно въ литературѣ біографической.

III.

Мнѣ трудно говорить о «законахъ подражанія», не касаясь моей статьи «Герои и толпа». Надѣюсь, это понятно. Судьба этой работы очень печальна. Она была напечатана въ 1882 г. въ «Отечественныхъ Запискахъ». Несмотря на довольно большіе размѣры статьи, она осталась неоконченной. Тема статьи была очень обширна, и, какъ соглашается въ своемъ послѣднемъ трудѣ г. Карѣвъ, даже до сихъ поръ представляетъ собою во многихъ отношеніяхъ непочатый уголь. А я былъ заваленъ и текущею, еже-

мѣсячною литературною работой, и работой редакціонной, не говоря уже о нѣкоторыхъ другихъ случайныхъ обстоятельствахъ, не благоприятствовавшихъ спокойному труду. Было бы, можетъ быть, лучше переждать, но случившіеся около этого времени звѣрскіе еврейскіе погромы дали практическій, житейскій толчокъ для немедленной обработки давно уже копившагося матеріала по вопросамъ, удобно формулируемымъ словами «Герои и толпа». Въ 1884 г. я возвратился къ той же темѣ въ «Научныхъ письмахъ», которымъ тоже не посчастливилось,—они прекратились въ самомъ началѣ, потому что прекратились «Отечественныя Записки». Но вопросы, затронутые въ «Герояхъ и толпѣ», не давали покоя, и въ 1887 г. я еще разъ занялся ими въ статьѣ «Патологическая магія», напечатанной въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ». Эту послѣднюю статью я могу считать законченною, но понятное дѣло, что конецъ, отрѣзанный отъ начала на цѣлыхъ пять лѣтъ, страдаетъ многими, весьма важными, недостатками. Истинно печальная судьба «Героевъ и толпы» избавляетъ меня отъ искушенія отрицать разныя изысканія этой работы. Я не могу, однако, согласиться съ нѣкоторыми сдѣланными мнѣ по поводу ея замѣчаніями.

Въ книгѣ «Сущность историческаго процесса и роль личности въ исторіи» проф. Карѣвъ, удѣливъ мнѣ довольно много вниманія, пишетъ: «Мы остановились довольно подробно на статьяхъ г. Михайловскаго, посвященныхъ интересующему насъ вопросу, какъ на единственной въ своемъ родѣ попыткѣ. Этимъ статьямъ очень много вредитъ крайняя несистематичность изложенія и недосказанность основной мысли: можно подумывать, что авторъ только еще подбиралъ матеріалъ для своей интересной работы и печаталъ его въ томъ порядкѣ, въ какомъ онъ накоплялся, и что, приступая къ изложенію своихъ мыслей, скорѣе предчувствовалъ окончательное рѣшеніе своего вопроса, чѣмъ имѣлъ уже окончательную формулировку этого рѣшенія. Съ другой стороны, по отношенію къ той спеціальной цѣли, ради которой мы занялись здѣсь статьями г. Михайловскаго, въ нихъ слишкомъ много посторонняго матеріала, заимствованнаго изъ разныхъ научныхъ областей; и тутъ можно сказать, что авторъ подъ конецъ сильно уклонился отъ «Героевъ и толпы» по направленію къ «Патологической магіи», его только попутно, по-видимому, заинтересовавшей, но зато отвлекшей его отъ прямой задачи работы».

Г. Карѣвъ обращаетъ больше всего вниманія на «Героевъ и толпу», затѣмъ на «Научныя письма» и только упоминаетъ о «Патологической магіи». Это естественно въ виду того, что г. Карѣва занимаетъ въ настоящемъ

сочиненіи частный вопрос о значеніи личности, какъ историческаго фактора. Въ этомъ отношеніи «Патологическая магія» содержитъ только кое-какія дополненія къ сказанному въ «Герояхъ и толпѣ». Но если бы г. Карбевъ обратилъ вниманіе на послѣднія четыре главы «Патологической магіи» и на примѣчаніе къ первому изъ «Научныхъ писемъ», онъ увидѣлъ бы, что цѣль моя состояла не только въ уясненіи взаимныхъ отношеній героя и толпы, а и въ приведеніи этого вопроса въ связь съ основаніями социологической теоріи, изложенной въ статьяхъ «Что такое прогрессъ», «Борьба за индивидуальность» и друг. И тогда г. Карбевъ не сказалъ бы, можетъ быть, что я «скорѣе предчувствовалъ окончательное рѣшеніе своего вопроса, чѣмъ имѣлъ уже окончательную формулировку этого рѣшенія». Не поставилъ бы онъ мнѣ, можетъ быть, въ упоръ и того, что я сильно уклонился въ сторону отъ «Героевъ и толпы» по направленію къ «Патологической магіи».

Высказывая свои соображенія о социальномъ значеніи и социологическомъ примѣненіи принципа гипнотизма, Тардъ пишетъ въ примѣчаніи: «Въ то время, какъ предыдущія и послѣдующія соображенія въ первый разъ появились въ печати (въ ноябрѣ 1884 г. *) въ «Revue Philosophique», еще только начинали говорить о гипнотическихъ внушеніяхъ; мнѣ ставили тогда въ упрекъ идею о всеобщемъ социальномъ воздѣйствіи, которая была затѣмъ такъ сильно поддержана Бернгеймомъ и другими, и называли эту мысль парадоксомъ, съ которымъ никакъ нельзя согласиться. Въ настоящее время нѣтъ ничего популярнѣе этого взгляда». Если такое случилось съ Тардомъ во Франціи, то нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что мои, еще болѣе раннія соображенія о, такъ сказать, социальномъ гипнотизмѣ были у насъ встрѣчены недоумѣніемъ и насмѣшкой. Такъ, г. Л. Слонимскій въ «Вѣстникѣ Европы» находилъ разсужденія о гипнотизмѣ совершенно неумѣстными въ социологическомъ трактатѣ,—онъ предоставлялъ имъ, равно какъ и многому другому, по его мнѣнію, ненужному и вздорному, мѣсто въ «мнимой социологіи». Я былъ, конечно, глубоко огорченъ столь рѣшительнымъ приговоромъ, но затѣмъ нѣсколько утѣшился, когда въ прошломъ году, по поводу выхода въ свѣтъ французскаго оригинала «Законовъ подражанія» Тарда, прочиталъ коротенькую библиографическую замѣтку г. Л. С. въ томъ же «Вѣстникѣ Ев-

ропы». Г. Л. С. не такъ уже строгъ, какъ г. Л. Слонимскій; книгу Тарда онъ объявляетъ достойною вниманія и находитъ въ ней лишь нѣкоторыя преувеличенія... Еще бы! А въ октябрьской книжкѣ «Вѣстника Европы» за нынѣшній годъ я прочиталъ статью г. Спасовича «Новыя направленія въ наукѣ уголовного права». Почтенный авторъ, трактующій о новыхъ уголовныхъ теоріяхъ, въ томъ числѣ и Тарда (онъ собственно криминалистъ), мимоходомъ останавливается и на «Законахъ подражанія». По мнѣнію г. Спасовича, «особенность Тарда заключается въ томъ, что онъ не по имени только, а и въ дѣйствительности *sociologue*» (курсивъ г. Спасовича). Ну, и слава Богу! Должны быть, и въ самомъ дѣлѣ *la raison finit toujours par avoir raison*...

Я не могу согласиться съ г. Л. Слонимскимъ, что разсужденія о гипнотизмѣ неумѣстны въ социологіи, но долженъ согласиться съ г. Л. С., что въ разсужденіяхъ на эту тему Тарда есть нѣкоторыя чрезмѣрности, завышенія, какъ я думаю, отъ нѣкоторой неясности мысли, а частью, можетъ быть, отъ того, что Тардъ изолируетъ героевъ отъ толпы, законы подражанія отъ «законовъ или псевдозаконовъ (?) изобрѣтенія и открытія». Непомѣрно расширяя область подражанія, Тардъ тѣнитъ въ этомъ принципѣ явленія не подходящія и устраняетъ задачу опредѣленія условій, при которыхъ настоящее подражаніе проявляется съ болѣею или меньшею силой. Для Тарда подражаніе есть нѣкоторый трансцендентный принципъ, обнимающій всю природу, а не только общественную жизнь и человѣческія дѣла. Все въ мірѣ стремится повторять себя и все дѣйствительно повторяется, говоритъ Тардъ, и самоповторенія эти можно подвести подъ три обширныя группы. Въ мірѣ физическомъ мы видимъ безконечное повтореніе или сходство колебательныхъ движеній атомовъ, молекулъ, волнъ. Въ мірѣ біологическомъ—воспроизведеніе себѣ подобныхъ или наслѣдственность. Въ общественной жизни—различные виды нравственной заразы или собственно подражанія. Казалось бы, весь міръ обнимается, такимъ образомъ, единымъ принципомъ. А, между тѣмъ, весьма не трудно указать многія явленія, не вмѣщающіяся ни въ одну изъ трехъ группъ Тарда. Въ статьѣ «Герои и толпа» и ея продолженіяхъ приведено много подобныхъ фактовъ. Но здѣсь я предпочитаю, по нѣкоторымъ соображеніямъ, сослаться на одно наблюденіе, упоминаемое въ болтливой и, за исключеніемъ нѣсколькихъ главъ, весьма мало содержательной книгѣ Мантегацца «Экстазы чловѣка».

Дѣло идетъ о нѣкоторыхъ наблюденіяхъ

*) Въ русскомъ переводѣ «Законовъ подражанія» показанъ 1874 годъ, но это опечатка.

Беккари, по выражению Мантегацца, «похороненныхъ въ кладовой одного научнаго журнала». Беккари замѣтилъ нѣсколько случаевъ совпаденія окраски птичьяго оперенія съ цвѣтомъ окружающей обстановки,—иногда съ цвѣтомъ растенія, сѣменами котораго питается птица, иногда съ обычными въ данной мѣстности красками атмосферическихъ явленій. Факты этого рода, и въ томъ числѣ гораздо болѣе поразительные и несомнѣнные, чѣмъ тѣ, которые записалъ Беккари, извѣстны во множествѣ и имѣютъ даже свое особое названіе—«мимикризмъ», каковое названіе уже подчеркиваетъ ихъ подражательный характеръ. Спрашивается, какъ объяснить эти явленія Тардъ и въ которую изъ своихъ трехъ группъ занесетъ ихъ? Это явленія біологическія, а въ этой области Тардъ знаетъ только одинъ видъ повтореній—наслѣдственность. Въ какой же мѣрѣ можно объяснить явленія мимикризма наслѣдственностью? Надо замѣтить, что мимикризмъ не ограничивается областью цвѣта: животныя подражаютъ не только краскамъ окружающей ихъ обстановки, а и формамъ другихъ животныхъ, растеній и т. п. Первоначально всѣ эти явленія получали объясненіе въ духѣ дарвинизма. Предполагалось именно, что подражательныя особенности приобрѣтаются путемъ медленнаго приспособленія въ ряду поколѣній. Животное, случайно получившее, напримѣръ, зеленоватый цвѣтъ покрововъ, имѣетъ болѣе, чѣмъ иначе окрашенные родичи, шансовъ укрыться отъ враговъ въ зеленой листвѣ и, слѣдовательно, оставить больше потомковъ, въ ряду которыхъ зеленоватый цвѣтъ будетъ все упрочиваться. Соображеніе это, имѣющее свою условную цѣну, оказывается, однако, для нѣкоторыхъ случаевъ недостаточнымъ, и уже у Уоллеса, обратившаго особенное вниманіе на явленія мимикризма, можно найти намеки на иной, болѣе быстрый и прямой процессъ возникновенія этихъ явленій. Во всякомъ случаѣ, они не вмѣщаются во вторую группу Тарда, хотя и принадлежать къ области біологіи. Наслѣдственность тутъ не при чемъ. Пусть наслѣдственность есть подражаніе потомковъ предкамъ, но, вѣдь, насъ занимаютъ въ данномъ случаѣ не наслѣдственные отношенія зеленого жука къ родичамъ, а его отношенія къ зеленой листвѣ, а они, вѣдь, не наслѣдственно связаны, а какъ-то иначе. По словамъ Мантегацца, «Беккари объясняетъ эти явленія превращеніемъ чувства прекраснаго въ актъ питанія перьевъ, въ мимикризмъ, желаемый и приобрѣтаемый самими животными. Новѣйшія открытія въ области гипнотизма, кровоизліянія и кровоподтеки, вызываемые путемъ внушенія, придаютъ этой смѣлой теоріи нѣкоторую вѣроятность».

Въ «Герояхъ и толпѣ», «Научныхъ письмахъ» и «Патологической магіи» было приведено столько относящихся сюда фактовъ, заимствованныхъ изъ самыхъ разнообразныхъ областей науки и жизни, что знакомымъ съ этими статьями теорія Беккари не покажется слишкомъ смѣлою, хотя она выражена нѣсколько парадоксально. Немножко странно звучатъ слова: «чувство прекраснаго превращается въ актъ питанія перьевъ»; но достовѣрно, во всякомъ случаѣ, что, при извѣстныхъ условіяхъ, зрительныя впечатлѣнія непосредственно вліяютъ на цвѣтъ и форму животныхъ, и именно въ направленіи подражательномъ. Мантегацца очень вѣрно говоритъ, что такой взглядъ на мимикризмъ получаетъ вѣское подтвержденіе въ изслѣдованіяхъ, относящихся къ области гипнотизма. Дѣйствительно, въ огромной и все растущей литературѣ гипнотизма можно найти множество фактовъ, свидѣтельствующихъ о воздѣйствіи извѣстныхъ состояній сознанія на физическій организмъ въ направленіи подражанія, ибо гипнотикъ есть, прежде всего, подражающій и повинующійся автоматъ. Но этого рода данныя утилизируются не только въ статьяхъ и книгахъ, посвященныхъ специально вопросу о гипнотизмѣ. Съ ними приходится имѣть дѣло современной психофизиологіи вообще, съ ними должна считаться и социологія.

Отсылая читателя къ упомянутымъ своимъ статьямъ, я прошу его теперь обратить вниманіе на то, что мимикризмъ, какъ принципъ, не имѣетъ ничего общаго съ наслѣдственностью. Правда, наслѣдственность, стремясь подхватить и упрочить въ ряду поколѣній всякую черту организаціи, подхватываетъ и упрочиваетъ въ томъ числѣ и такія, которыя возникли путемъ непосредственнаго подражанія или мимикризма. Но въ моментъ своего возникновенія черта мимическая рѣзко и быстро разрѣзываетъ нить наслѣдственности. Этимъ-то рѣзкимъ и быстрымъ переѣмамъ нѣтъ мѣста въ біологической группѣ Тарда, сплошь занятой наслѣдственностью, которая развѣ въ метафорическомъ смыслѣ можетъ называться подражаніемъ. Недостаточно выяснено въ книгѣ Тарда начало подражанія и въ общественной жизни. Нечего и говорить о «логическихъ законахъ подражанія». Если и можно говорить, что, прививая себѣ оспу, я подражаю Дженнеру или окружающимъ меня людямъ, раньше меня привившимъ себѣ оспу, то лишь въ извѣстномъ, условномъ смыслѣ. Это актъ чрезвычайно сложный, въ которомъ главную роль играетъ, во всякомъ случаѣ, расчетъ пользы. Но и то, что Тардъ разумѣетъ подъ «внѣ-логическими вліяніями», не можетъ быть цѣликомъ сведено къ подражанію. Въ

распространеніи известной моды или известнаго обычая роль подражанія очень велика, но и тутъ она осложняется расчетами пользы, удобства, приличія, спокойствія, самолюбія. Быть можетъ, это еще яснѣе относительно повиновенія, которое Тардъ совершенно справедливо сближаетъ съ подражаніемъ: одно дѣло — повиновеніе изъ страха или расчета и совсѣмъ другое дѣло — тотъ чистый отъ постороннихъ примѣсей, безкорыстный, безусловный культъ, который проповѣдывалъ Карлейль. Любопытно, что въ одномъ мѣстѣ Тардъ самъ себя дѣлаетъ это возраженіе и отвѣчаетъ на него такъ: «Если мы подражаемъ съ разборомъ и обдуманно, если мы дѣлаемъ только то, что кажется, особенно полезнымъ, если вѣримъ въ то, что кажется наиболѣе истиннымъ, то такъ же поступали люди и всегда при выборѣ мыслей и дѣйствій для подражанія. Безъ сомнѣнія, эти дѣйствія были наиболѣе способны удовлетворить и развитъ тѣ нужды, первый зародышъ которыхъ заложило въ насъ подражаніе другимъ, предшествующимъ изобрѣтеніямъ... Такимъ образомъ, подражанія оказываются послѣдовательными звеньями цѣпи, опирающимися одно на другое, если не каждое на самого себя, и если восходить по этой цѣпи, то мы логически придемъ, наконецъ, къ подражанію, такъ сказать, *родившемуся изъ самого себя* (курсивъ Тарда), къ умственному состоянію первобытныхъ дикарей, среди которыхъ, какъ у дѣтей, удовольствіе подражать ради подражанія является побудительною причиною большинства поступковъ, и именно всѣхъ тѣхъ, которые относятся къ соціальной жизни».

Это, очевидно, не отвѣтъ на возраженіе. Ясно, что подражаніе тѣсно переплетается

съ другими факторами, которые, однако, логически могутъ и должны быть выдѣлены при изслѣдованіи законовъ подражанія. И если подражаніе нѣкогда «родилось изъ самого себя», то такое самозарожденіе мы можемъ наблюдать, по крайней мѣрѣ, временами, и теперь. Чтобы объять всѣ случаи не только подражанія, а и близко имъ родственные, слѣдовало бы, я думаю, употреблять слово «обаяніе», которое уже само по себѣ устраняетъ моменты выгоды и пользы. И чтобы свести, наконецъ, концы съ концами, нѣтъ никакого сомнѣнія, что крупныя историческія личности, герои Карлейля, но часто также и герои-злодѣи, вліяютъ на современниковъ именно обаятельно. Врѣзаваясь всею своею крупною, яркою фигурой въ ходъ событій или въ исторію мысли, они разрываютъ плотную ткань расчетовъ пользы и выгоды, равно какъ и установившихся традицій, и, сосредоточивъ на себѣ общее вниманіе, ведутъ людей куда хотятъ. Они могутъ дѣлать это не только при жизни, но и послѣ смерти. Психіатры, въ особенности французскіе, много говорившіе о нравственной заразѣ, даже установившіе терминъ *contagion morale*, не разъ возставали противъ уголовныхъ и порнографическихъ романовъ, доказывая не только теоретически, а и фактами, что въ известной средѣ эти романы вызываютъ подражаніе пороку и преступленію. Но такое же подражаніе способны вызывать, и дѣйствительно вызываютъ, образцы высокихъ подвиговъ, а въ томъ числѣ литературное зеркало героя—его біографія. Конечно, для этого біографія должна отвѣчать известнымъ требованіямъ, которымъ, къ сожалѣнію, удовлетворяетъ отнюдь не вся «біографическая бібліотека» г. Павленкова.

ЕЩЕ О ТОЛПѢ *).

I.

Въ «Борисѣ Годуновѣ» «народъ безмолвствуетъ» въ отвѣтъ на извѣщеніе о смерти Годуновыхъ и на приглашеніе Мосальскаго кричать: «да здравствуетъ царь Димитрій Ивановичъ!» А передъ тѣмъ тотъ же народъ «песется толпой» и кричитъ: «Вязать!

топить! Да здравствуетъ Димитрій! Да гибнетъ родъ Бориса Годунова!» А еще раньше передъ тѣмъ тотъ же народъ, при избраніи Годунова на царство, кричалъ: «Вѣнецъ за нимъ! онъ—царь! онъ согласился!.. Борисъ нашъ царь! Да здравствуетъ Борисъ!» Въ сценѣ избранія Бориса достойна вниманія еще одна маленькая подробность. «Народъ» кричитъ разныя привѣтствія, а въ отдаленности люди говорятъ такъ: «Одинъ: Что

*) 1893 г.

тамъ за шумъ?—Другой: Послушай... что за шумъ? Народъ завылъ; тамъ падаютъ, что волны, за рядомъ рядъ... еще! еще... Ну, братъ, дошло до насъ; скорѣе на колѣна... Народъ (на колѣняхъ; вой и плачъ): Ахъ, смилуйся отецъ нашъ! Властуй нами! Будь нашъ отецъ, нашъ царь!—Одинъ: О чемъ тамъ плачутъ?—Другой: А какъ намъ знать? То вѣдаютъ бояре, не намъ чета... Одинъ: Всѣ плачутъ, — заплачемъ, братъ, и мы!»

Таковъ же народъ и въ трагедіяхъ Шекспира,—въ «Юліи Цезарѣ», въ «Коріоланѣ», въ «Генрихѣ Шестомъ». Въ «Юліи Цезарѣ» народъ послѣ рѣчи Брута хочетъ проводить его домой съ триумфомъ, поставить ему статую, кричитъ: «пусть Цезаремъ онъ будетъ!» А тотчасъ послѣ рѣчи Антонія грозитъ поджечь домъ Брута и вопить: «Отомстимъ! Идемъ, сожжемъ, испепелимъ, умертвимъ!» и т. д. Въ «Генрихѣ Шестомъ» возставшій народъ, подъ предводительствомъ утрированно подлаго Джэка Када, доходитъ до послѣднихъ предѣловъ звѣрства и разгута, но затѣмъ быстро откликается на призывъ къ законному порядку, такъ что Джэкъ Кадъ восклицаетъ: «Перелетало ли когда-нибудь перо такъ легко со стороны на сторону, какъ эта толпа?» Въ «Коріоланѣ» народъ чуть не на каждой страницѣ мѣняетъ свое настроеніе подъ вліяніемъ рѣчей Мененія Агриппы, самого Коріолана и трибуновъ. Одно изъ дѣйствующихъ лицъ трагедіи, желая объяснить причины высокомернаго презрѣнія Коріолана къ народу, говоритъ: «Сколько сильныхъ людей льстили народу—и понапрасну, а другихъ народъ любилъ, и сами они не знаютъ, за что, такъ, стало быть, коли чернь умѣетъ любить безъ толку, то и ненавидитъ она безъ причины. А Коріоланъ это знаетъ».

Этими чертами исчерпывается весь народъ въ драмахъ Шекспира и Пушкина (я не говорю—вообще у Пушкина и Шекспира). Народъ этотъ, повидимому, долженъ быть очень разный—римляне I и V вѣковъ до Р. Х., англичане XV вѣка, москвичи XVI вѣка. Да и авторы,—англичанинъ XVI вѣка и русскій XIX вѣка, — казалось бы, настолько отдѣлены другъ отъ друга временемъ и пространствомъ, всею огромною суммою историческихъ и этнографическихъ условій, что ихъ наблюденія надъ ихъ собственнымъ, современнымъ имъ народомъ должны бы привести ихъ къ различнымъ выводамъ и обобщеніямъ. Между тѣмъ, мы видимъ поразительное сходство: вездѣ народъ оказывается легко возбудимомъ, быстро мѣняющею настроеніе массою, въ которой безслѣдно тонетъ всякая индивидуальность, которая «любитъ безъ толку и ненавидитъ

безъ причины» и слѣпо движется въ томъ или другомъ направленіи, данномъ какимъ-нибудь, ей самой непонятнымъ толчкомъ. Очевидно, это какой-то условный, отвлеченный народъ, вѣрнѣе сказать, художественное воспроизведеніе одной лишь черты или одной группы чертъ народа. Извѣстно, какъ высоко чтилъ Пушкинъ, напримѣръ, народное поэтическое творчество; онъ, слѣдовательно, предполагалъ въ народѣ извѣстныя силы, не нашедшія, однако, себѣ выраженія въ «Борисѣ Годуновѣ» Давыде, для движенія римскихъ плебеевъ во времена Коріолана, какъ и для возстанія Джэка Када, были извѣстныя экономическія и политическія причины, на которыя, однако, имѣются лишь слабые намеки въ трагедіяхъ Шекспира: художникъ отодвинулъ ихъ на задній планъ, а вмѣстѣ съ ними и подробности быта и положенія народа, чтобы рѣзко отбѣить одинъ изъ психологическихъ моментовъ. Въ вышеупомянутыхъ сценахъ даже сословія или классы, къ которымъ принадлежитъ «народъ», не вездѣ ясны. Въ «Борисѣ Годуновѣ» видно только, что это не бояре, но тутъ, можетъ быть, и купцы, и посадскіе люди, и ремесленники, и крестьяне. Въ «Генрихѣ Шестомъ» въ числѣ приверженцевъ Джэка Када поминаются въ отдѣльности суконщики, мясники, ткачи, а въ цѣломъ они неопредѣленно называются «стаей оборванныхъ бродягъ, жестокихъ, грубыхъ, незнающихъ пощады». Такимъ образомъ мы имѣемъ дѣло съ чѣмъ-то очень неопредѣленнымъ и очень общимъ, возможнымъ, при какихъ-то условіяхъ, во всѣ времена и во всѣхъ странахъ.

Основной мотивъ трагедіи вообще, какова бы ни была ея фабула, состоитъ въ борьбѣ героя, человѣка, сильнаго духомъ, съ роковыми, стихійными силами, каковы судьба, собственныя страсти. Къ числу такихъ слѣпыхъ, стихійныхъ, неразумныхъ силъ принадлежитъ у Шекспира и народъ. Именно поэтому онъ и является у него безъ всякихъ дальнѣйшихъ опредѣленій или лишь съ очень слабыми намеками на такіе опредѣленія. Для художника въ такихъ случаяхъ важны не причины того или другого теченія, принятаго народной массою, а, напротивъ, его неразумная стихійность, съ которою сталкивается одинокая личность героя. Можно бы было поэтому думать, что сама задача подобныхъ произведеній предудказываетъ отсутствіе жизненности и правдивости въ тѣхъ сценахъ, гдѣ фигурируетъ народъ. И дѣйствительно, краски во многихъ изъ нихъ чрезмѣрно густо наложены, такъ что временами думается, что Шекспиръ совершенно солидаренъ съ Коріоланомъ въ высокомерномъ презрѣніи къ народу и является передъ нами не правдивымъ художникомъ, а озлобленнымъ вра-

гомъ народа. Однако, вы чувствуете какую-то глубокую правду въ этихъ сценахъ, несмотря даже на ихъ утрированность; чувствуете, что явление, которое такъ занимаетъ Шекспира, есть явление *sui generis*, которое можетъ быть разсматриваемо и изображаемо внѣ этнографическихъ, національныхъ, экономическихъ сословныхъ, политическихъ условій.

Не выходя изъ предѣловъ драматической литературы, мы можемъ указать на произведение Лопе-де-Вега «Овечій источникъ» (См. любопытную статью о немъ М. М. Ковалевского «Народъ въ драмѣ Лопе-де-Вега» въ сборникѣ «Въ память С. А. Юрьева», М. 1891), или на недавно вышедшія въ русскомъ переводѣ «сцены изъ феодальныхъ временъ» Проспера Мериме—«Жакерія», гдѣ народъ оставленъ иначе, чѣмъ у Пушкина и Шекспира. Тутъ мы имѣемъ дѣло съ совершенно ясно опредѣленнымъ «народомъ»; въ первомъ случаѣ это кастильскіе крестьяне XV вѣка, во второмъ—французскіе крестьяне XIV вѣка; рядомъ съ послѣдними фигурируютъ у Мериме разбойники и вольные стрѣлки, съ которыми крестьяне то вступаютъ въ соглашеніе, то это соглашеніе рушится, но при этомъ всѣ три группы сохраняютъ свои особенныя бытовыя черты. Въмѣстѣ съ тѣмъ, какъ у Лопе-де-Вега, такъ и у Мериме, вы видите всю ту цѣпь годовъ и можетъ быть вѣками копившихся взаимныхъ отношеній, которая привела къ событіямъ, изображаемымъ въ обоихъ произведеніяхъ. Тѣмъ не менѣе и здѣсь мы имѣемъ черты, отмѣченныя Шекспиромъ: крайнюю возбудимость, способную довести «народъ» до послѣднихъ предѣловъ жестокости, быструю перемѣчивость настроенія, исчезновеніе отдѣльныхъ личностей въ общемъ неудержимомъ потокѣ. У Шекспира эти черты абстрагированы, выдѣлены изъ всего остального, вслѣдствіе чего онѣ и приходятся по плечу всякой исторической и бытовой обстановкѣ. У Лопе-де-Вега и Мериме онѣ, напротивъ, слиты съ извѣстнымъ опредѣленнымъ мѣстомъ, временемъ и положеніемъ дѣйствующихъ лицъ; но онѣ есть и здѣсь, онѣ только не такъ обнажены. Пламенная рѣчь Лауренсія въ «Овечьемъ источникѣ» производитъ такой же зажигательный эффектъ, какъ и льстивая изворотливая рѣчь Антонія въ «Юліи Цезарѣ», а затѣмъ разъяренная толпа совершаетъ такія же неистовства, какъ и сообщники Джэка Када. Отдѣльныя личности крестьянъ въ «Жакеріи» Мериме такъ же быстро мѣняются свое настроеніе подъ влияніемъ общаго потока, какъ и «одинъ», «другой» въ драмѣ Пушкина.

Изъ этого слѣдуетъ заключить, что, изображая въ «Юліи Цезарѣ», Коріолянѣ, «Генрихѣ Шестомъ» народъ съ кажущимся Ко-

ріолановскимъ презрѣніемъ, Шекспиръ на самомъ дѣлѣ не чувствами надменнаго Марція руководствовался, а просто употреблялъ извѣстный художественный приемъ. Ему нужна была, по техническимъ условіямъ трагедіи, слѣпая, неразумная, стихійная сила, въ столкновеніи съ которой выяснился бы трагическій характеръ героя, и онъ находилъ такую силу, между прочимъ, въ народѣ. Для этого онъ устранялъ изъ народа всѣ осложняющія черты и выдвигалъ впередъ именно только эту стихійность. Но при этомъ онъ не клеветалъ на народъ, а изображалъ подлинное, несомнѣнно существующее явленіе, засвидѣтельствованное и другими поэтами, не прибѣгавшими къ приему абстракціи. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи особенно поучительна художественная практика гр. Л. Н. Толстого.

Трудно разобратъ въ теперешнихъ воззрѣніяхъ нашего геніальнаго художника, да въ настоящую минуту намъ это и не нужно. Во всякомъ случаѣ когда-то, въ своихъ теоретическихъ статьяхъ о народномъ образованіи, онъ ставилъ народъ на такую высоту, на какую его не поднимать можетъ быть ни одинъ писатель въ мірѣ. Напомню только для примѣра одну подробность. Говоря о беллетристическихъ опытахъ учениковъ Ясно-Полянской школы, гр. Толстой утверждалъ, что полуграмотный крестьянскій мальчишка Оедька проявилъ «такую сознательную силу художника», какой не могутъ достигъ ни самъ гр. Толстой, ни Гёте. Пѣсня о «Ванькѣ-Ключничкѣ» и напѣвъ «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ», по мнѣнію графа Толстого, выше любого стихотворенія Пушкина и симфоніи Бетховена. Намъ теперь нѣтъ дѣла до этихъ взглядовъ по существу. Съ насъ достаточно знать, что ужъ, конечно, гр. Толстой не Коріолянъ, ужъ, конечно, народъ для него не «стая подлыхъ собакъ», не «скотъ многоголовый», какъ походя ругается Марцій. А между тѣмъ припомните хоть знаменитую сцену убійства Верещагина въ «Войнѣ и мирѣ». Когда-то, въ статьѣ «Герои и толпа», я привелъ ее цѣликомъ, какъ образчикъ мастерскаго изображенія стихійнаго увлеченія толпы, за которымъ немедленно слѣдуютъ раскаяніе и недоумѣніе передъ совершившимся, хотя совершилось это звѣрское дѣло руками тѣхъ самыхъ людей, чьи головы теперь недоумѣваютъ. Теперь я попрошу вспомнить другую сцену изъ «Войны и мира» же, не столь потрясающую, не лишенную даже юмористическаго оттѣнка, но не менѣе въ своемъ родѣ выразительную и не менѣе художественно исполненную.

Старый князь Болконскій умеръ. Княжна Марья остается одна въ деревнѣ Богучаровѣ, къ которой уже подступаютъ французы. Княжна рѣшается уѣхать, предлагаетъ и крестья-

намъ перебраться, не дожидаясь непріятеля, въ другую, подмосковную деревню. Но между крестьянами ходятъ какіе-то темныя слухи и подозрѣнія. Они такъ и остаются невыясненными для самихъ крестьянъ, но все растутъ, и крестьяне отказываются уѣзжать изъ Богучарова, отказываются отъ хлѣба, который имъ предлагаетъ княжна, и, наконецъ, рѣшаютъ и самое княжну не пускать изъ деревни. Рѣшеніе совершенно безкорыстное, но и совершенно бессмысленное, потому что крестьяне знаютъ о приближеніи французскихъ войскъ и, слѣдовательно, оставаясь на мѣстѣ, сами обрекаютъ себя на всѣ неудобства и ужасы непріятельскаго нашествія. Княжна имъ тоже совершенно не нужна. Тѣмъ не менѣе такое рѣшеніе все болѣе утверждается, всѣ разумные доводы княжны пропадаютъ втунѣ, и крестьяне объявляютъ, наконецъ, что они прямо силой не пустятъ ее изъ деревни, — выпрягутъ лошадей. Какъ разъ въ это время въ деревню случайно заѣзжаютъ два русскіе офицера съ денщикомъ. Одинъ изъ нихъ, Николай Ростовъ, переговоривъ съ княжной, отправляется, гнѣвный и рѣшительный, усмирять «бунтующихъ». Приказчикъ Алпатычъ совѣтуетъ ему быть осторожнѣе. Онъ говорилъ, что мужики находились въ закоснѣлости, что въ настоящую минуту было неблагоприятно *противоборствовать* имъ, не имѣя военной команды, что не лучше ли бы было послать прежде за командой.

— Я имъ дамъ воинскую команду... Я ихъ попротивоборствую, — бессмысленно проговорилъ Николай, задыхаясь отъ неразумной, животной злобы и потребности излить эту злобу. Не воображая того, что будетъ дѣлать, безсознательно, быстрымъ, рѣшительнымъ шагомъ онъ подвигался къ толпѣ. И тѣмъ ближе онъ подвигался къ ней, тѣмъ больше чувствовалъ Алпатычъ, что неблагоприятный поступокъ его можетъ произвести хорошіе результаты. То же чувствовали и мужики толпы, глядя на его быструю и твердую походку и рѣшительное, нахмуренное лицо.

И дѣйствительно, нѣсколькихъ повелительныхъ окриковъ Ростова и энергически отданнаго имъ приказанія вязать старосту, когда и заняться-то этимъ, собственно говоря, было некому, — оказалось достаточно, чтобы толпа притихла. Черезъ два часа подводы стояли на дворѣ Болконскихъ, и тѣ самые мужики, которые грозились выпрячь лошадей, помогали выносить и укладывать вещи.

— Ты ее такъ дурно не кладь, — говорилъ одинъ изъ мужиковъ, высокій человекъ съ круглымъ, улыбающимся лицомъ, принимая изъ рукъ горничной пшатулку. — Она вѣдь тоже денегъ стоитъ. Что жъ ты ее такъ-то вотъ бросаешь, или подъ веревку, а она и потрется. Я такъ не люблю. А чтобы все честно, по закону было. Вотъ такъ-то подъ рогожку, да сѣномъ прикрой, вотъ и важно.

— Ишь книгъ-то, книгъ, — сказалъ другой мужикъ, выносившій библиотечные шкафы князя Андрея. — Ты не цѣпишь! А грузно, ребята, книги здоровыя!

— Да, писали не гуляли! — значительно под-

мигнувъ, сказалъ высокій, круглолицый мужикъ, указывая на лексиконы, лежавшіе сверху.

Все здѣсь нелѣпо, всѣ слѣдствія, повидимому, не соотвѣтствуютъ своимъ причинамъ. Ни очевидная опасность отъ непріятельскаго войска, ни разумные и вполне доброжелательные доводы княжны Болконской не могли сдѣлать то, чего добился нѣсколькими бѣшенными окриками смѣлый офицеръ, котораго толпа могла бы, если бы захотѣла, въ порошокъ стереть. И добился онъ не формальнаго только исполненія его приказанія; не изъ-подъ палки, не съ затаенною злобою, а старательно и добродушно помогаютъ эти люди тому самому дѣлу, которому два часа передъ тѣмъ хотѣли рѣшительно «противоборствовать».

Еще одинъ маленькій эпизодъ изъ «Войны и мира». Сцена передъ самымъ убійствомъ Верещагина.

— «Душегубъ! — вдругъ крикнулъ высокій малый на цѣловальника. — Вяжи его, ребята!

— Какъ же, связалъ одного такого-то! — крикнулъ цѣловальникъ, отмахнувшись отъ набросившихся на него людей, и, сорвавъ съ себя шапку, онъ бросилъ ее на землю. Какъ будто дѣйствіе это имѣло какое-то таинственно угрожающее значеніе, — фабричные, обступившіе цѣловальника, остановились въ нерѣшительности».

Это намъ не Марцій Коріоланъ рассказываетъ, а гр. Л. Н. Толстой, который утверждаетъ, что его, гр. Толстого, чудныя произведенія ничто въ сравненіи съ сочиненіями полуграмотнаго крестьянскаго мальчика и что народныя пѣсни выше всего, что сдѣлали Пушкинъ и Бетховенъ; который и на разныхъ другихъ пунктахъ признаетъ за народомъ едва доступную для насъ высоту «сознанія правды и добра». Спрашивается, что же, — вотъ этотъ народъ, бессмысленно и безсознательно растерзавшій Верещагина, не подававшійся разумнымъ убѣжденіямъ княжны Болконской и сразу измѣнившій свое рѣшеніе и настроеніе подъ окрикомъ Ростова, наконецъ, остановленный въ своемъ предпріятіи тѣмъ, что цѣловальнику почему-то вздумалось снять съ себя шапку и бросить ее на землю, — этотъ народъ тотъ ли самый, что сочинилъ превосходныя пѣсни и напѣвы? Тотъ ли онъ самый, что въ потѣ лица своего зарабатываетъ хлѣбъ свой? Тотъ ли, что выработалъ извѣстныя юридическія нормы въ своемъ обычномъ правѣ? Тотъ ли, наконецъ, который мы разумѣемъ, говоря о любви къ народу, о своемъ долгѣ народу и т. д.? Фактически тотъ самый, но гр. Толстой не противорѣчитъ себѣ, когда съ одной стороны приподнимаетъ народъ на пьедесталъ, а съ другой рисуетъ намъ сцены въ родѣ приведенныхъ выше. Народъ вѣдь, дѣйствительно,

въ потѣ лица зарабатываетъ хлѣбъ свой, сочиняетъ превосходныя пѣсни и т. д. И онъ же, дѣйствительно, совершаетъ богучаровскія и московскія нечѣности и жестокости. Фактически это одинъ и тотъ же народъ, но логически это совершенно разныя категоріи, очень легко входящія въ совѣмъ инныя разнообразныя комбинаціи. Какъ мы уже увидѣли отчасти и какъ еще яснѣе увидимъ ниже, въ быстро перемѣнчивую толпу съ неожиданными экцессами въ любомъ направленіи могутъ складываться, при извѣстныхъ условіяхъ, не исключительно только русскіе крестьяне, а люди всѣхъ временъ, народовъ и состояній.

Бываютъ непослѣдовательности, которыя, оскорбляя наше чувство, такъ сказать, логической, а иногда кромѣ того и нравственной красоты, вмѣстѣ съ тѣмъ все-таки лучше, чѣмъ послѣдовательное проведеніе извѣстной точки зрѣнія. Гр. Толстой торжественно отрекся отъ своей прежней литературной дѣятельности, призналъ ложью и зломъ всѣ свои художественныя произведенія. Но, несмотря на эту публичную покаянную исповѣдь, онъ не принимаетъ никакихъ мѣръ для того, чтобы изданныя имъ ложь и зло перестали распространяться въ обществѣ: сочиненія гр. Толстого издаются и переиздаются. Это совѣмъ непослѣдовательно, но и слава Богу. Величайшимъ его созданіемъ остается и навсегда останется не какой-нибудь трактатъ о вегетаріанствѣ или безбрачїи, или куренїи папирозъ, и не вся совокупность этихъ трактатовъ, а «Война и миръ»,—колоссальное произведеніе, и среди его беллетристички сверкающее, какъ цѣлая алмазная розсыпь. Сокровища, въ немъ заключающіяся, далеко не исчерпаны и до сихъ поръ, между прочимъ, и по вопросу, занимающему насъ теперь.

Не буду распространяться о тѣхъ многочисленныхъ въ «Войнѣ и мирѣ» военныхъ сценахъ, въ которыхъ случайный, иногда совершенно ничтожный толчокъ, своего рода шапка, брошенная на землю, двигаетъ массу людей то къ безумно смѣлому подвигу, то къ паническому ужасу. Не буду распространяться потому, что это явленіе достаточно всѣмъ знакомое, а къ той особенной его чертѣ, которая для меня представляетъ спеціальнѣйшій интересъ, мнѣ еще придется вернуться. Остановимся на прїѣздѣ императора Александра I въ Москву для объявленія манифеста о войнѣ.

На улицахъ толпится то, что обыкновенно въ этихъ случаяхъ называется народомъ,—въ отдѣльности упоминаются въ разсказѣ дьячокъ, мѣщане, кучеръ, купцы и купчихи, чиновникъ, отставной солдатъ, лакей. Въ эту огромную разночинную толпу, ожидающую го-

сударя и восторженно настроенную, попасть пятнадцатилѣтній графъ Ростовъ. Сначала его безъ всякой жалости и съ грубою бранью тискали, толкали и, наконецъ, кто-то такъ ударилъ по ребрамъ, что онъ потерялъ сознание. За него вступился дьячокъ и вывелъ его, блѣднаго и еле дышащаго, къ Царь-Пушкѣ. Нѣсколько лицъ пожалѣли Петю, и вдругъ вся толпа обратилась къ нему и уже вокругъ него произошла давка. Тѣ, которые стояли ближе, услуживали ему, разстегивали его сюртучокъ, усаживали на возвышеніе пушки и укоряли кого-то, тѣхъ, кто раздавилъ его». «Вдругъ съ набережной послышались пушечныя выстрѣлы (это стрѣляли въ ознаменованіе мира съ турками), и толпа стремительно бросилась къ набережной—смотреть, какъ стрѣляютъ». Понятно, что эти отдѣльные эпизоды происходятъ въ тѣ промежутки времени, когда народъ не разсчитываетъ видѣть императора,—пока ждутъ его прїѣзда и потомъ выхода изъ собора. Отобѣдавъ во дворцѣ, императоръ вышелъ на балконъ, дождавъ бисквиты. Народъ привѣтствовалъ его криками восторга и слезами умиленія. Между тѣмъ, кусокъ бисквита, который держалъ государь въ рукахъ, отломился и упалъ съ балкона на землю. Его подхватилъ какой-то кучеръ; толпа бросилась къ кучеру. Тогда императоръ велѣлъ подать себѣ тарелку съ бисквитами и сталъ ихъ бросать внизъ. Народъ, давая другъ друга, набросился на бисквиты.

Черезъ три дня послѣ этого, московское дворянство собралось во дворцѣ для привѣтствованія императора и выраженія своихъ патріотическихъ чувствъ. Всѣ были настроены торжественно, на высокій ладъ, но не всѣ, однако, были согласны между собою относительно дальнѣйшаго поведенія. Предстоящая война съ Наполеономъ требовала жертвъ, вызывала разныя осложненія жизни. Извѣстно было, что смоленскіе дворяне предложили выставить и обмундировать на свой счетъ ополченіе по 10 человекъ съ 1,000 душъ. Кто-то заговорилъ о такомъ же пожертвованіи московскихъ дворянъ. Но нашлись оппоненты. Какой-то отставной морякъ горячо доказывалъ, что ополченіе приведетъ къ разоренію дворянъ, а толку отъ него мало будетъ. Пьеръ Безуховъ носился съ конституционными мечтами, основываясь на словахъ манифеста, что императоръ прїбудетъ въ Москву «для совѣщанія и руководства». Онъ сказалъ въ этомъ смыслѣ рѣчь. Старый гр. Ростовъ прїѣхалъ, непріятно озабоченный патріотическимъ желаніемъ его пятнадцатилѣтняго сына поступить въ полкъ. Мало по малу, однако, вся эта разнородная личная психологія тонула въ общемъ настроеніи, случайнымъ выразителемъ котораго явился одинъ рѣчистый дворянинъ. «Пьеръ

въ прежнія времена видалъ его у цыганъ и зналъ за нехорошаго игрока въ карты»; но тутъ этотъ человекъ совершенно измѣнился, онъ съ горячностью говорилъ о необходимости безусловной жертвы всѣмъ достоинствомъ и жизнью. «Пьеру не только не удавалось говорить, но его грубо перебивали, отталкивали, отворачивались отъ него, какъ отъ общаго врага. Это не отъ того происходило, что недовольны были смысломъ его рѣчи, ее и забыли послѣ большого количества рѣчей, послѣдовавшихъ за ней,—но для одушевленія толпы нужно было имѣть осязательный предметъ любви и осязательный предметъ ненависти. Пьеръ сдѣлался этимъ послѣднимъ». Пьеръ и самъ, наконецъ, почувствовалъ себя взволнованнымъ, и «общее чувство желанія показать, что намъ все ни по чѣмъ, выражавшееся больше въ звукахъ и въ выраженіяхъ лицъ, чѣмъ въ смыслѣ рѣчей, сообщалось и ему». Подъ конецъ, патріотическій энтузіазмъ овладѣлъ всѣми. Постановлено было выставить ополченіе, и Пьеръ Безуховъ обязался выставить 1,000 человекъ; морякъ, говорившій о разореніи, замолкъ или присоединился къ общему хору, старый графъ Ростовъ тутъ же согласился на просьбу сына и самъ поѣхалъ записывать его въ полкъ. «На другой день государь уѣхалъ. Всѣ собранные дворяне сняли мундиры, опять размѣстились по домамъ и клубамъ и, покряхтывая, отдавали приказанія управляющимъ объ ополченіи и удивлялись тому, что они сдѣлали».

Въ моей сухой передачѣ исчезаетъ, разумеется, художественная красота картинъ гр. Толстого. Это не мѣшаетъ, однако, видѣть тѣ тонкіе штрихи, которыми нашъ художникъ изображаетъ психологію *всякой* массы людей, *всякой* толпы. Я подчеркиваю слово «*всякій*» и радъ, что случайно пришлось дважды написать и подчеркнуть его, ибо въ двойномъ смыслѣ различны тѣ явленія общественной жизни, общія черты которыхъ схвачены гр. Толстымъ; до такой степени различны, что на поверхностный взглядъ можетъ показаться, будто и общаго между ними ничего найти нельзя. Съ извѣстной точки зрѣнія, дѣйствительно, нѣтъ ничего общаго между всероссійскимъ патріотическимъ энтузіазмомъ 1812 года, какъ онъ обнаруживается въ московскихъ сценахъ, и, напимѣръ, нелѣпымъ поведеніемъ богучаровскихъ крестьянъ въ томъ же 1812 году. Въ первомъ случаѣ мы имѣемъ высокій подъемъ духа и готовность самопожертвованія, во второмъ — тупую подозрительность и столь же тупую покорность, быстро смѣняющія другъ друга. Въ нравственномъ смыслѣ, это — полярныя противоположности, которыя стануть для насъ еще ярче, если мы представимъ

себѣ, — а это сдѣлать очень легко, — что богучаровскіе крестьяне дошли въ своемъ протестѣ противъ отъѣзда княжны Болконской до прямого и грубаго насилія и только уже въ этотъ моментъ или послѣ него были остановлены рѣшительностью молодого офицера. Но не трудно также себѣ представить, что эта самая толпа богучаровскихъ крестьянъ направлена какимъ-нибудь счастливымъ толчкомъ на такой же патріотическій энтузіазмъ, какой мы видимъ въ московскихъ сценахъ. Приглядываясь къ этимъ послѣднимъ, мы видимъ, между прочимъ, что разнородная толпа, собравшаяся передъ дворцомъ, то озлобленно давить и бить затесавшаго въ нее маленькаго графа Ростова, то любовно ухаживаетъ за нимъ. Разумѣется, въ первомъ случаѣ она совершаетъ злое дѣло, а во второмъ — доброе. Но она, значитъ, совсѣмъ не такъ жестока и свирѣпа, какъ можетъ показаться по первоначальному ея отношенію къ мальчику. Достаточно было одному, дядьку, энергически принять участіе въ мальчикѣ, чтобы и въ толгѣ всплыли наверхъ ея добрыя инстинкты. Люди, составляющіе эту толпу, просто находятся въ какомъ-то особенномъ настроеніи, которое влечетъ ихъ, помимо личнаго сознанія и воли, въ ту или другую сторону. Но то же самое мы видимъ и въ дворянскомъ собраніи. Отставной морякъ пришелъ туда отнюдь не готовый жертвовать чѣмъ бы то ни было; онъ былъ противъ ополченія, боясь разоренія. Пьеръ Безуховъ явился съ конституціонными мечтами, надѣясь воспользоваться затруднительностью историческаго момента для осуществленія идеи «совѣщанія». Старый графъ Ростовъ всего за нѣскольکو дней передъ тѣмъ рѣшительно и гнѣвно отказалъ сыну, просившемуся въ военную службу. Рѣчистый дворянинъ, котораго Безуховъ встрѣчалъ у цыганъ и зналъ за нехорошаго игрока въ карты, ужъ, конечно, не патріотизмомъ горѣлъ во время этихъ походовъ, происходившихъ, можетъ быть, еще вчера. И всѣ эти индивидуальныя чувства и воззрѣнія утонули, безъ остатка расплылись въ общей атмосферѣ. И не на какіе нибудь доводы отъ разума сдались всѣ эти разнородные диссиденты. Нѣтъ, — «общее чувство желанія показать, что намъ все ни по чѣмъ, выражалось больше въ звукахъ и выраженіяхъ лицъ, чѣмъ въ смыслѣ рѣчей». Не смыслъ рѣчей, а нѣчто, въ такія минуты гораздо болѣе могущественное, чѣмъ разумъ, личный интересъ и всякія другія обычныя пружины, создали эту патріотическую лавину. Доказательствомъ уже то служить, что на другой день дворяне сами удивлялись тому, что они сдѣлали». Но еще выразительнѣе въ этомъ отношеніи одинъ эпизодъ, который я въ своемъ пере-

сказѣ пропустить, именно затѣмъ, чтобы выдѣлить его. Въ томъ же дворцѣ, гдѣ происходило все вышеприведенное, только въ другомъ залѣ, собрались купцы. Императоръ вышелъ изъ купеческаго зала, сопровождаемый двумя купцами. «Одинъ былъ знакомъ Пьеру: толстый откупщикъ, другой—голова, съ худымъ, узкобродымъ, желтымъ лицомъ. Оба они плакали. У худого стояли слезы, но толстый откупщикъ рыдалъ, какъ ребенокъ, и все твердилъ: «И жизнь и имущество возьми, ваше величество!» «Какъ потомъ узнали, государь только что началъ рѣчь купцамъ, какъ слезы брызнули изъ его глазъ, и онъ дрожащимъ голосомъ ее договорилъ». Болѣе, чѣмъ вѣроятно, что толстый откупщикъ шелъ на собраніе далеко не въ томъ настроеніи, въ какомъ онъ отсюда вышелъ, что онъ покрихтывалъ, думая о неизбежности извѣстныхъ жертвъ, но это расплылось въ общемъ настроеніи, и подѣйствовало тутъ не смыслъ рѣчи государя, прерванной слезами, а именно непосредственно эти слезы и общая, все захватившая, волна.

Итакъ, несмотря на глубокую разницу въ нравственномъ смыслѣ рѣшеній и поступковъ, совершаемыхъ тою или другою скученною массою людей, они совпадаютъ въ подробностяхъ некотораго психологическаго процесса. Исчезаетъ при этомъ и другая разница,—разница общественнаго положенія людей, составляющихъ толпу. Если поэтому намъ укажутъ, положимъ, на недавніе холерные безпорядки и скажутъ: вотъ каковъ русскій народъ!—то мы смѣло можемъ отвѣтить: нѣтъ, это не специально русскому народу свойственныя черты. Онѣ могутъ дать себя знать и въ каждомъ другомъ, европейскомъ, азиатскомъ и т. д. народѣ. Это—во-первыхъ. Во-вторыхъ, этотъ же самый народъ, притомъ тѣмъ же самымъ психологическимъ механизмомъ, только иначе направленнымъ, можетъ быть приведенъ и къ благороднѣйшему подвигу. Въ-третьихъ, наконецъ, этотъ благородный подвигъ и этотъ психологическій механизмъ и психологическій процессъ не составляютъ исключительнаго достоинства низшихъ слоевъ общества, обыкновенно разумѣемыхъ подъ словомъ «народъ». Однимъ словомъ, толпа—не народъ, а самостоятельное общественно-психологическое явленіе, подлежащее специальному изученію.

На этомъ мы пока и остановимся въ своей экскурсіи въ область идеи народа и обратимся къ этому самому специальному изученію толпы. За этимъ естественно нужно обратиться къ людямъ науки, тогда какъ до сихъ поръ мы имѣли дѣло исключительно съ художниками, поэтами,—съ Пушкинымъ, Шекспиромъ, Лопе-де-Вега, Мериме, гр. Толстымъ. Но дѣло въ томъ что во всемъ что

касается личной и массовой психологіи, поэты далеко опередили людей науки. Разумѣю, конечно, крупныхъ представителей искусства, потому что обыденная, якобы, художественная мелюзга совершенно произвольно связываетъ свои психологическіе концы съ концами и не только ничего не уясняетъ, а еще путаетъ своихъ многочисленныхъ читателей. Это случается, впрочемъ, и съ большими, но односторонними талантами. Что же касается истинно великихъ художниковъ, то они часто бываютъ неспособны къ точному анализу и къ точной формулировкѣ своихъ художественныхъ откровеній (чтобы не сказать открытій), но самыя эти откровенія несомнѣнны.

Нельзя сказать, чтобы люди науки совсѣмъ не обращали вниманіе на явленія, насъ теперь занимающія. Кое-что въ этомъ смыслѣ указывалось уже довольно давно, но урывками, съ какой-нибудь исключительно специальной точки зрѣнія и безъ той преемственной передачи, которая обязательна для всѣхъ установившихся научныхъ истинъ. Можно указать очень цѣнныя изслѣдованія историковъ, психологовъ, врачей, криминалистовъ, которыя однако быстро забывались, не оказывая никакого вліянія на сосѣднія специальности и отнюдь не охватывая явленіе во всей той цѣлостности, какую мы находимъ у художниковъ, отъ Шекспира до гр. Толстого. Во всякомъ случаѣ недавно, можно сказать, надняхъ, люди науки нѣсколько ближе подошли къ этому дѣлу. Случилось это одновременно у насъ и за границей, въ предѣлахъ международнаго научнаго общенія. У насъ вниманіе людей науки было привлечено холерными безпорядками. Они вызвали докладъ г. Случевского въ уголовномъ отдѣленіи петербургскаго юридическаго общества, статью г. Обинскаго «Contagion morale и холерные безпорядки» въ «Журналѣ гражданского и уголовного права» и еще кое-что. Какъ разъ около этого времени въ Брюсселѣ происходилъ международный уголовно-антропологическій конгрессъ, на которомъ видное мѣсто занялъ докладъ Тарда о «преступленіяхъ толпы». Вопросъ слишкомъ обширенъ, чтобы мы могли имъ заняться съ достаточною обстоятельностью теперь же. На первый разъ ограничимся двумя предварительными замѣчаніями.

И на Брюссельскомъ международномъ уголовно-антропологическомъ конгрессѣ, и у насъ въ юридическомъ обществѣ вопросомъ занялись криминалисты. Очень естественно поэтому, что они говорятъ о *преступленіяхъ толпы*,—это ихъ специальность. Но, по своей собственной многимъ специалистамъ наклонности незаконно расширять предѣлы компетенціи своей науки, многіе изъ нихъ (съ

особенною грубостью дѣлаетъ это Тардъ) утверждаютъ, что всякая толпа непременно преступна. Мы отчасти уже видѣли, а ниже и еще яснѣ увидимъ, до какой степени невѣрно и односторонне такое обобщеніе и къ какимъ страннымъ послѣдствіямъ оно ведетъ.

Выше мы рассматривали толпу совершенно абстрактно, стараясь отвлечь это понятіе отъ всѣхъ сопредѣльныхъ понятій и отъ всѣхъ житейскихъ осложнений, съ какими толпа является въ своемъ конкретномъ видѣ. Несмотря, однако, на всю логическую независимость идеи толпы, тотъ психологическій процессъ, который составляетъ ея сущность, происходитъ не въ безвоздушномъ пространствѣ. Рядомъ съ нимъ дѣйствуютъ извѣстные экономическіе, политическіе, нравственные факторы. Это упускается изъ виду нѣкоторыми изслѣдователями, что въ свою очередь ведетъ къ неправильнымъ выводамъ и обобщеніямъ.

II.

Самымъ виднымъ моментомъ преній о преступной толпѣ на Брюссельскомъ уголовно-антропологическомъ конгрессѣ былъ рефератъ французскаго криминалиста Тарда, изданный недавно въ Казани въ русскомъ переводѣ подъ заглавіемъ: «Преступленія толпы». Тардъ извѣстенъ у насъ еще своей книгой «Законы подражанія», предметъ которой находится въ самой тѣсной связи съ предметомъ реферата.

Въ статьѣ г. Закревскаго «Объ ученіяхъ уголовно-антропологической школы», напечатанной въ январскомъ номерѣ «Журнала гражданского и уголовного права» за нынѣшній годъ, находимъ слѣдующую, очень вѣрную характеристику Тарда, какъ писателя: «Сочиненія его обнаруживаютъ значительную эрудицію, способность дѣлать любопытныя и неожиданныя сближенія между разными историческими и соціологическими фактами. У него встрѣчаются блестящія страницы, остроумныя опредѣленія, мѣткія критическія замѣчанія, но въ общемъ онъ неясенъ, туманенъ, метафизиченъ, длиненъ, его философія носитъ на себѣ отпечатокъ эклектизма, безъ достаточно опредѣленныхъ и твердыхъ очертаній. Онъ нерѣдко злоупотребляетъ сопоставленіями фактовъ, взятыхъ изъ естественныхъ наукъ, съ фактами соціологическими, такими сопоставленіями, которыя серьезнаго научнаго значенія не имѣютъ».

Повторяю, все это очень вѣрно. Съ тѣхъ поръ, какъ вошли въ употребленіе параллели между явленіями и процессами природы, главнымъ образомъ, биологическими — съ одной стороны, и явленіями и процес-

сами соціологическими — съ другой, успѣла вырасти цѣлая огромная литература, построенная на подобныхъ аналогіяхъ. Но во всей этой огромной литературѣ можно указать лишь очень, очень немного трудовъ, въ которыхъ значеніе и границы всѣхъ такихъ сближеній были бы установлены съ достаточною опредѣленностью и доказательностью. Въ большинствѣ случаевъ объ этомъ даже не думаютъ, а хватаются за всякое возможное сближеніе, будь то логически законное обобщеніе дѣйствительно однородныхъ фактовъ, управляемыхъ одними и тѣми же законами, или простая, болѣе или менѣе красивая, болѣе или менѣе остроумная, наглядная, удобная метафора. И Тардъ не задается вопросомъ о значеніи и предѣлахъ сближенія естественно-научныхъ данныхъ и выводовъ съ данными и выводами соціологическими. Вопросъ этотъ, повидимому, для него просто не существуетъ. Поэтому рядомъ съ совершенно законными обобщеніями въ этой двойной сферѣ у него встрѣчаются и чисто произвольныя, не имѣющія никакого серьезнаго значенія, даже сбивающія съ толку своею кажущейся наглядною убѣдительностью. Но этого мало. И въ тѣхъ случаяхъ, когда его обобщенія элементовъ естественно-научныхъ и соціологическихъ въ принципѣ логически законны, онъ въ подробностяхъ и въ окончательномъ результатѣ нерѣдко переступаетъ предѣлы законности. А затѣмъ и въ чисто соціологической сферѣ его сближенія о обобщенія подчасъ просто поражаютъ своей грубостью. Его склонность къ обобщеніямъ отличается какимъ-то необузданнымъ характеромъ, благодаря отсутствію опредѣленныхъ руководящихъ принциповъ, съ точки зрѣнія которыхъ ихъ усматривались бы какъ сходства, такъ и различія идей и вещей.

Въ «Законахъ подражанія» Тардъ совершенно правильно вводитъ психо-физиологическій факторъ — гипнотизмъ въ объясненіе нѣкоторыхъ явленій общественной жизни. Исторія человѣчества переполнена такими явленіями, которыя представляютъ собою не аналогію какую-нибудь съ автоматизмомъ гипнотика, а самый этотъ автоматизмъ въ болѣе или менѣе сильной, болѣе или менѣе слабой степени. Но она, эта исторія человѣчества, не есть, конечно, сплошной рядъ гипнотическихъ сновъ безчисленныхъ, смѣняющихъ другъ друга, поколѣній. Если бы это было такъ, мы не могли бы имѣть никакого понятія о бодрственномъ, не гипнотическомъ состояніи, а, слѣдовательно, и о самомъ гипнотизмѣ, какъ особой группѣ явленій, имѣющихъ свои отличительные признаки, свои опредѣленные причины и слѣдствія. Казалось бы, это такъ ясно само собою, что

даже говорить объ этомъ смѣшно или неловко. А между тѣмъ Тардъ именно утверждаетъ, что «соціальное состояніе, какъ и состояніе гипнотическое, есть нечто иное, какъ сонъ, сонъ по приказу и въ дѣятельномъ состояніи»; «общество есть подражаніе, а подражаніе — родъ гипнотизма». Это обобщеніе тѣмъ удивительнѣе, что самъ Тардъ раздѣляетъ законы подражанія на «законы логическіе» и «законы внѣ-логическихъ вліяній». Въ первомъ случаѣ люди подражаютъ кому-нибудь или чему-нибудь, руководствуясь соображеніями о своей пользѣ, понятіями о нравственномъ долгѣ и т. п.; во второмъ — отсутствуютъ всѣ подобные расчеты, и подражаніе является фактомъ непосредственнаго перехода извѣстнаго впечатлѣнія въ соответственное дѣйствіе. Оба эти случая могутъ въ дѣйствительности входить въ разнообразныя сложныя комбинаціи между собою, но въ принципѣ, абстрактно, они являютъ различіе. Однако, Тардъ, установивъ это различіе, постоянно его забываетъ. Это видно уже изъ того, что онъ рѣшается назвать всякое соціальное состояніе «сномъ», а подражаніе вообще, безъ всякой оговорки, «родомъ гипнотизма». Очевидно, сближенію съ гипнотизмомъ подлежитъ только такое подражаніе, которое подчиняется дѣйствію «законовъ внѣ-логическихъ вліяній». Гипнотикъ автоматически, «безъ борьбы, безъ думы», повинуетъ приказанію и подражаетъ примѣру. И я, очевидно, не гипнотикъ, если повинуюсь приказанію не безотчетно, а, напримѣръ, изъ страха наказанія, или если слушаюсь предписаній врача по довѣрію къ его познаніямъ; если подражаю примѣру по мотивамъ тщеславія или по убѣжденію въ выгоду, пользу, нравственной обязательности такого поведенія. Всѣ эти мотивы, каковы бы они ни были по своей нравственной цѣнности, представляютъ собою работу бодрствующаго сознанія. Они осложняютъ собою даже тѣ явленія, которыя Тардъ до извѣстной степени справедливо отдаетъ въ вѣдѣніе законовъ внѣ-логическихъ вліяній. Подъ этими послѣдними онъ разумѣетъ, главнымъ образомъ, моду и обычай, по поводу которыхъ дѣлаетъ много остроумныхъ и вѣрныхъ замѣчаній. Въ распространеніи обычая или моды чистое подражаніе, подражаніе, какъ таковое, играетъ, конечно, огромную роль; однако и здѣсь мы отнюдь не всегда и не вполнѣ безотчетно дѣйствуемъ, а слѣдуемъ извѣстной модѣ или извѣстному обычаю, сознательно признавая ихъ болѣе удобными или сознательно же не желая обращать на себя вниманіе исключительностью своего поведенія. Покойный Кандианскій справедливо говорилъ въ своихъ «Общепонятныхъ психологическихъ эту-

дахъ»: «Подраженіе собственно имѣетъ мѣсто только тогда, когда человѣкъ беретъ примѣръ съ другого сознательно, на основаніи расчета (вѣрнаго или невѣрнаго), что поступить такъ, какъ поступило другое лицо, почему-нибудь лучше или выгоднѣе. Подражаніе же, о которомъ было говорено выше, — невольно и чисто безсознательно, и потому такого рода явленія можно назвать подражаніемъ автоматическимъ, органическимъ, инстинктивнымъ или, лучше, contagiозностью». Правда, г. В. Яковенко («Индустрированное помѣшательство») находитъ, что Кандианскій «въ гrotivоположность большинству авторовъ предпочитаетъ выраженіе «нервная contagiозность» «подражанію» безъ достаточныхъ основаній». Но дѣло здѣсь не въ выраженіяхъ, которыя могутъ быть удачны или неудачны, а въ установленіи различія между двумя группами явленій. Правда, г. Яковенко отрицаетъ надобность и такого различія. Онъ говоритъ: «Во всѣхъ этихъ случаяхъ основной законъ будетъ одинъ и тотъ же, и потому нѣтъ никакого основанія подражательныя акты, въ которыхъ участвуютъ сознаніе и воля, выключать изъ всей группы». Съ физиологической точки зрѣнія г. Яковенко, можетъ быть, и правъ, но психологія и тѣмъ паче социологія не могутъ остановиться на этой точкѣ зрѣнія. Во всякомъ случаѣ, Тардъ, смѣшавъ подъ рубрикой «подражанія» очень разныя вещи, самъ себя лишилъ возможности опредѣлить тѣ особенныя условія, при которыхъ подражательность является въ наиболѣе чистомъ видѣ. А чрезъ это утратила всякое практическое значеніе его плодотворная мысль о роли гипнотизма въ области социологическихъ явленій.

Можно было ожидать, что въ брюссельскомъ рефератѣ о преступленіяхъ толпы Тардъ вернется къ этой роли и попытается установить ее на прочныхъ основаніяхъ.

Какова бы ни была будущность гипнотизма, оправдаетъ онъ или не оправдаетъ тѣ большія надежды, которыя возлагаются на него нѣкоторыми представителями прикладныхъ отраслей знанія, — медиками, педагогами, криминалистами, — его заслуги и теперь уже очень велики. Во-первыхъ, онъ способствовалъ уясненію той общей истины, что всякій умственный процессъ, какъ сознательный, такъ и не поступившій въ поле яснаго сознанія, стремится выразиться соотвѣтственнымъ дѣйствіемъ, мышечнымъ движеніемъ. Разница только въ томъ, задерживается или не задерживается этотъ переходъ представленій и впечатлѣній въ дѣйствіе высшими мозговыми центрами, задерживающими сознаніемъ и волею. Конечно, эта истина гораздо старше гипнотическихъ

опытовъ, но они съ особенною наглядностью ее иллюстрируютъ и подчеркиваютъ. Во-вторыхъ, гипнотизмъ допустилъ приложение опытнаго метода къ изученію цѣлой серіи явленій, къ которымъ дотолѣ было приложимо почти исключительно только наблюденіе. Вопросъ о безсознательномъ и мимовольномъ подражаніи и повиновеніи не разъ возникалъ въ литературѣ задолго не только до теперешняго состоянія ученія о гипнотизмѣ, но и до перваго его истинно-научнаго изслѣдователя—Брэда. Достаточно вспомнить «Теорію нравственныхъ чувствъ» Адама Смита, исходною точкою которой было мимовольное подражаніе. Но въ распоряженіи Адама Смита, равно какъ и тѣхъ старыхъ психіатровъ, которые установили термины «нравственная эпидемія», «психическій контагіи» и т. п., не было или почти не было орудія опыта. Они могли наблюдать какъ обыкновенныя житейскія, такъ и завѣдомо патологическіе случаи безсознательнаго подражанія и повиновенія, могли, что и дѣлали нѣкоторые изъ нихъ, находить соответственныя черты въ историческихъ эпизодахъ демоніахъ, дѣтскихъ крестовыхъ походовъ, эпидеміи самоубиванія и проч. Но дѣлать сколько нибудь значительныя опыты, то есть искусственно создавать условія, необходимыя для проявленія автоматизма, они не могли. Такъ называемый месмеризмъ или животный магнетизмъ былъ, правда, дѣломъ опыта, но онъ ошупью искалъ необходимыхъ для него условій и восполнялъ недостатокъ ихъ частію фантазіями, частію шарлатанствомъ. Теперь мы можемъ не только наблюдать явленія подавленнаго сознанія и воли, подставляемыя намъ случаемъ, но и искусственно получать ихъ, создавая нужную для этого обстановку. А имѣя такія двѣ опоры, какъ наблюденія и опытъ, мы можемъ уже не ограничиваться бѣглыми и туманными намеками на роль гипнотизма въ общественной жизни, какъ это дѣлали еще Вольней безъ малаго сто лѣтъ тому назадъ (онъ говорилъ, конечно, о «животномъ магнетизмѣ»), а опредѣлить ее съ полною ясностью. И если Тардъ преувеличилъ и вмѣстѣ съ тѣмъ затупевалъ ее въ «Законахъ подражанія», то естественно ждать, что онъ сдѣлалъ необходимыя поправки въ брюссельскомъ рефератѣ о преступленіяхъ толпы. Эти преступленія вѣдь уже давно и многими изслѣдователями подведены подъ формулу нравственной эпидеміи, психической заразы, подражательнаго психоза и т. п. А нравственная зараза въ свою очередь характеризуется автоматическимъ подражаніемъ и повиновеніемъ, составляющими существенныя признаки гипнотическаго состоянія.

Къ удивленію, въ рефератѣ Тарда всего, кажется, два раза упоминается о гипнотизмѣ,

притомъ же отнюдь не по существеннымъ пунктамъ. На стр. 21 русскаго перевода читаемъ: «Остается неразъясненнымъ, почему та или другая личность пользуется вліяніемъ или престижемъ, подобно тому, какъ неизвѣстно, почему тотъ или другой субъектъ, предпочтительно передъ прочими, обладаетъ способностью къ гипнотизаціи. Самыми выдающимися гипнотизерами являются лица съ посредственнымъ интеллектомъ, тогда какъ замѣчательные врачи нерѣдко терпятъ неудачу въ своихъ попыткахъ гипнотизировать». И на стр. 40: «Увлекающая сила организованныхъ группъ въ нѣкоторыхъ, правда, рѣдкихъ случаяхъ можетъ доходить до того, что личность человѣка измѣняется самымъ кореннымъ образомъ. Она выше силы гипнотическаго внушенія, съ которымъ ее сравнивали. Я не могу присоединиться къ мнѣнію Sighele, что, если даже и гипнотическимъ внушеніемъ нельзя превратить честнаго человѣка въ убійцу, то тѣмъ труднѣе это сдѣлать помощью внушенія въ бодрственномъ состояніи, съ которымъ мы обыкновенно встречаемся въ народныхъ волненіяхъ. Факты доказываютъ, что деморализующее дѣйствіе митеча или даже тайнаго заговора далеко превышаетъ вліяніе какого либо гипнотизера».

Такимъ образомъ, когда, въ книгѣ о «Законахъ подражанія», рѣчь шла о подражаніи вообще, со включеніемъ случаевъ подражанія вполнѣ сознательнаго, Тардъ готовъ былъ уподобить всякое социальное состояніе гипнотизму. А когда онъ приступилъ къ изученію такихъ явленій общественной жизни, въ которыхъ можно видѣть настоящее приближеніе къ гипнотическому состоянію, онъ едва упоминаетъ о гипнотизмѣ, и то по совершенно побочнымъ поводамъ. Въ первомъ случаѣ онъ впалъ въ неумѣстно широкое обобщеніе, въ которомъ совершенно расплылся психо-фізіологическій факторъ, имѣ въ принципѣ правильно введенный. Во второмъ—онъ этотъ факторъ свелъ къ блѣднымъ общимъ мѣстамъ объ «увлекающей силѣ», «общемъ увлеченіи». «подражательной связи» и т. п.—и тѣмъ сузилъ свою и безъ того достаточно узкую задачу.

Въ этой первоначальной узости задачи Тарда винить, разумѣется, нельзя: *криминалистъ* по профессіи, онъ на *уголовно-антропологическомъ* съѣздѣ читалъ рефератъ о *преступленіяхъ* толпы. Съ извѣстной точки зрѣнія это не узкая, а только специальная задача. И можно въ такихъ случаяхъ только желать, чтобы специалистъ опредѣлилъ границы своей специальности и, не переступая ихъ, принималъ во вниманіе законныя требованія сосѣднихъ специальностей. Но для этого специалистамъ надо очень зорко слѣдить за

собой, такъ зорко, что весьма и весьма много оказываются неспособны на это. Для криминалистовъ представляется, можетъ быть, особенно много соблазновъ, по самой сущности ихъ специальности, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда они предпринимаютъ, съ своей специальной точки зрѣнія, экскурсіи въ области философіи, этики, антропологии, психологии, социологии. Блистательнымъ подтвержденіемъ этого можетъ служить итальянская такъ называемая позитивная школа уголовной антропологии съ Ломброзо, Ферри и Гарофало во главѣ, мимоходомъ сказать, потерпѣвшая полное и давно ею заслуженное фіаско на прошлогоднемъ Брюссельскомъ конгрессѣ. Подтверждаетъ это своимъ примѣромъ и Тардъ.

Преступленіе есть дѣяніе, воспрещаемое положительнымъ закономъ, вооруженнымъ средствами уголовной самозащиты. Это опредѣленіе, совершенно достаточное для узкихъ практическихъ цѣлей, втайнѣ, почти безсознательно, руководить многими криминалистами и въ такихъ сферахъ, гдѣ оно явно неудовлетворительно. Всякая общественная форма, какова бы она ни была по количеству своихъ членовъ, по качеству своихъ цѣлей, по причинамъ своего возникновенія, по характеру своей организаци, стремится оградить свой строй, свою, такъ сказать, фізіономію отъ всякихъ нарушеній, каковы бы, опять-таки, они ни были въ качественномъ и количественномъ отношеніи. И если данная общественная форма имѣетъ фактически достаточную силу, то такая самозащита получаетъ карательный характеръ. Это относится не только къ государству, но и къ входящимъ въ него общественнымъ формамъ, легально облеченнымъ дисциплинарною властью, и къ инороднымъ общественнымъ тѣламъ. Криминалисты стоятъ, конечно, на государственной точкѣ зрѣнія, и они правы въ своихъ предѣлахъ; ихъ задача именно и состоитъ въ поддержкѣ данной общественной формы, огражденной положительнымъ закономъ. Но они кажутся совсѣмъ неправы, когда вздумаютъ перенести свою точку зрѣнія въ инныя сферы. Возьмемъ грубый и въ подробностяхъ не совсѣмъ подходящий, но удобный по своей наглядности примѣръ. Достоевскій былъ такою же единицею преступности въ каторжной тюрьмѣ, какъ и остальные обитатели описаннаго имъ «мертвѣаго дома». Государство, при посредствѣ, правда, экстреннаго своего органа—военно-полевого суда, признало его, какъ преступника, равнымъ всѣмъ другимъ преступникамъ, осужденнымъ на каторжные работы на извѣстный срокъ. Но ни съ этической, ни съ психологической, ни съ социологической точки зрѣнія, онъ, конечно, не былъ имъ равенъ. Затѣмъ, всякая обще-

ственная форма подлежитъ законамъ не только статистики, законамъ сосуществованія явленій, но и динамики, послѣдовательности явленій. Общественная форма развивается, измѣняется, а вмѣстѣ съ тѣмъ измѣняются и понятія о преступности.

Тардъ, разумѣется, знаетъ это, но не совсѣмъ удачно справляется съ вытекающими отсюда затрудненіями. Онъ говоритъ: «Едиственное вполнѣ точное и ясное (я не говорю—возможное и самое лучшее) опредѣленіе честности (?) заключается въ томъ, что честнымъ будетъ тотъ, кто сообразуется съ господствующими въ данной странѣ и въ данное время обычаями и взглядами; напротивъ—безчестнымъ тотъ, кто не сообразуется съ ними. Правда, человѣкъ, не соглашавшійся въ настоящемъ съ обычными мнѣніями и считаеый за это злодѣемъ, можетъ въ ближайшемъ будущемъ за то же самое прослыть апостоломъ или героемъ; но это—дѣло будущаго. Въ настоящемъ же, разъ только онъ оскорбляетъ общественную совѣсть, какъ тотчасъ же подвергается ей осужденію».

Фактически это вѣрно: такъ бываетъ, такъ было на всемъ протяженіи исторіи человѣчества, и криминалистъ-практикъ можетъ на этомъ и установиться, безъ всякихъ дальнѣйшихъ мудрствованій. Указанія на историческіе примѣры, ну, хоть на судьбу Галилея, онъ можетъ парировать такимъ разсужденіемъ: пусть Галилей былъ честный человѣкъ, а то, что онъ проповѣдывалъ, было истиной, теперь общепризнанной, за незнаніе которой ставятъ ученикамъ единицы въ элементарныхъ школахъ, но въ Римѣ XVII вѣка онъ былъ преступникъ и законно понесъ наказаніе, потому что не сообразовался съ господствующими взглядами; пусть и теперь явится новый Галилей, котораго потомство можетъ быть признать великимъ человѣкомъ и глашатаемъ правды, а для меня онъ все-таки будетъ преступникъ, подлежащій такому-то и такому-то наказанію.

Тардъ не рѣшится сказать что либо подобное въ такихъ опредѣленныхъ выраженіяхъ. Напротивъ, вышеприведенныя свои соображенія онъ продолжаетъ такъ: «Если при переходѣ изъ одной среды въ другую, отъ одной социальной группы къ другой, одно и то же дѣйствіе перестаетъ быть преступленіемъ и становится подвигомъ или обратно, то какъ смотрѣть на грабежи, поджоги и убійства, какъ бы роковымъ образомъ совершаемые толпою, въ которой каждый членъ возбуждается общимъ примѣромъ, подчиняется и слѣдуетъ общему мнѣнію и, увлекаемый общимъ круговоротомъ этой маленькой тираннической группы, сразу какъ бы отрѣшается отъ всякаго вліянія остальнаго общества, сдѣлавшагося для него совершенно чу-

жизнь? Нельзя ли сказать, что поступокъ каждаго оправдывается участіемъ всѣхъ, что всякая замкнутая группа стремится выработать свой собственный законъ, свою собственную мораль и что, слѣдовательно, мысль о коллективной виновности всей этой группы заключается въ себѣ противорѣчіе? Въ самомъ дѣлѣ, что такое такъ называемое національное преступленіе, преступленіе, совершенное за-разъ всей націей? Это—или ничего не значащая фраза, или означаетъ только то, что нація, идячинась новымъ увлеченіемъ, оставляетъ обычай предковъ, становится преступной въ ихъ глазахъ, но заслуживаетъ похвалы въ глазахъ современниковъ. Почему же то, что считается справедливымъ для большой націи, не будетъ таковымъ для маленькаго народа, сословія или племени, равно какъ и для толпы или тайнаго общества? Повидимому, преступления толпы настолько же представляютъ спорный вопросъ, какъ и преступления національныя».

Эти сомнѣнія очень характерны. Тардъ не тотъ узкій криминалистъ-законникъ, который рассуждаетъ, ни мало не смущаясь судомъ надъ Галилеемъ. Егс берутъ сомнѣнія, но это сомнѣнія не философа, психолога, соціолога или моралиста, а опять же криминалиста, готоваго поддержать всякую исторически выработавшуюся общественную форму, разъ она вырабатывается. Но затѣмъ онъ дѣлаетъ еще одно усиліе вырваться мыслью изъ-подъ прессы существующихъ фактовъ и приходитъ къ любопытному заключенію, въ которомъ рѣчь идетъ уже не о преступленіи, въ смыслѣ нарушенія закона, а о добрѣ и злѣ. Онъ говоритъ о «крайней недостаточности понятія о добрѣ и злѣ, основаннаго на мнѣніи или волѣ одной какой-либо ограниченной общественной группы, на интересѣ одной какой-либо партіи или класса, или даже одного народа». Надо подняться надъ всѣмъ этимъ, обнять мыслью все человечество, все его прошедшее, настоящее и будущее и въ этомъ великомъ цѣломъ почерпнуть мѣрило добра и зла. Это очень хорошо, но, выразивши въ принципѣ намѣреніе подняться на эту высоту, Тардъ въ дѣйствительности этого не дѣлаетъ, по крайней мѣрѣ, видимымъ для читателя образомъ. Не открывая намъ хода своей мысли, онъ, безъ мотивировки и аргументаціи, ставитъ слѣдующія положенія: «Мы сочтемъ безнравственнымъ всякое правило поведенія, которое, не принимая во вниманіе ни нравственныхъ понятій прошлаго, ни отдаленныхъ послѣдствій нашихъ поступковъ въ будущемъ, освобождаетъ насъ отъ всякихъ обязанностей какъ по отношенію къ современнымъ, но чуждымъ для насъ общественнымъ группамъ, такъ и по отношенію къ грядущимъ

поколѣніямъ. Мы сочтемъ также преступнымъ всякій поступокъ, который, ради частныхъ интересовъ нѣсколькихъ единомышленниковъ, хотя бы они считались милліонами, поселяетъ тревогу и ужасъ въ громадной общечеловѣческой семьѣ, волнуется, напримѣръ, всю Европу и приэтомъ, такъ сказать, сознательно игнорируетъ эти обстоятельства».

Согласитесь, что, какъ результатъ экскурси въ прошедшее, настоящее и будущее всего человечества, это—немного! Немного и довольно двусмысленно. Такъ мѣрило добра и зла, эта формула, очевидно, слишкомъ неопредѣленная и допускаетъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ очень разнообразныя и противорѣчивыя истолкованія. А затѣмъ, что касается преступности, то она, во-первыхъ, не даетъ специфическихъ указаній на преступления *толпы* (поэтому Тардъ, установивъ ее, переходитъ къ необходимости отличать преступления и отвѣтственность *вожаковъ* отъ преступленія и отвѣтственности собственно толпы); во-вторыхъ, она ни мало не способствуетъ разрѣшенію специальныхъ сомнѣній криминалиста. «Мы сочтемъ преступнымъ всякій поступокъ, который, ради частныхъ интересовъ нѣсколькихъ единомышленниковъ, хотя бы они считались милліонами, поселяетъ тревогу и ужасъ въ громадной общечеловѣческой семьѣ, волнуется, напримѣръ, всю Европу». Причемъ тутъ собственно толпа? И не подойдутъ ли подъ это опредѣленіе, напримѣръ, Бисмаркъ, Наполеонъ I. Наполеонъ III? А съ другой стороны, пока власть находится въ рукахъ этихъ людей, пока они имѣютъ силу карать и миловать, всякое покушеніе на эту власть есть уже тѣмъ самымъ преступленіе.

Таковы трудности криминалистической точки зрѣнія, не обойденныя Тардомъ, а между тѣмъ онъ еще стремится непомѣрно расширить ея владѣнія, введя ее въ область психологіи и соціологіи.

Несмотря на небольшой объемъ реферата Тарда, въ немъ запутано много очень разныхъ явленій, такъ что нелегко даже сказать, что именно составляетъ предметъ его изслѣдованія. Самъ онъ говоритъ, что его занимаютъ тѣ случаи, когда «преступники дѣйствуютъ сообща и цѣлыми массами подъ влияніемъ всеобщаго увлеченія и когда приэтомъ находятъ себѣ исходъ тѣ силы и задатки, которые остались бы скрытыми при дѣйствіи въ-одиночку». «Правда,—прибавляетъ онъ,—мы коснемся и тайныхъ организованныхъ обществъ съ преступными цѣлями, но лишь для того, чтобы лучше изучить преступныя шайки и сборища, для которыхъ первыя такъ часто служатъ скрытой причиной».

Уже въ этихъ вступительныхъ словахъ заключается нѣкоторое смѣшеніе или, по крайней

мѣръ, неясность понятій, — отраженіе того смѣшенія или той неясности, которая мы видѣли въ «Законахъ подражанія». Большая разница между толпой, совершающей то или другое преступленіе «подъ вліяніемъ всеобщаго увлеченія», и «преступной шайкой», дѣйствующей по опредѣленному обдуманному плану, съ сознательнымъ распредѣленіемъ ролей между соучастниками, съ извѣстной іерархіей, основанной на короткомъ знакомствѣ съ силами и способностями сочленовъ. Общаго между ними только то, что и преступленія толпы и преступленія организованной шайки суть преступленія коллективные. Но внутри этой широкой рамки пролегаетъ пограничная черта между дѣйствіями сознательными и бессознательными, каковая черта имѣетъ важное значеніе и для криминалиста, хотя бы по вопросу о вѣняемости и отвѣстственности. Тѣмъ важнѣе это различіе для психолога и социолога. А Тардъ и въ дальнѣйшемъ изложеніи безразлично и за общую скобкою говорить о преступленіяхъ толпы и о преступныхъ шайкахъ, усваивая имъ одну и ту же психологію и прихватывая по пути даже и «чиновниковъ совершенно посторонняго вѣдомства», — по выраженію Гоголя, такія явленія коллективности дѣйствія, въ которыхъ и криминалистъ не можетъ усмотрѣть ничего преступнаго. Эти послѣднія обобщенія составляютъ, быть можетъ, самую поразительную часть реферата Тарда. Но здѣсь мы должны ввести еще одного писателя — Сигеле, писавшаго о преступленіяхъ толпы до Брюссельскаго конгресса, а слѣдовательно, и до реферата Тарда, но подъ сильнымъ вліяніемъ его «Законовъ подражанія». Въ свою очередь и Тардъ съ почтеніемъ цитируетъ книгу Сигеле «Folla delinquente» (по первому еще, итальянскому изданію; второе, французское, значительно дополненное, называется «La foule criminelle»).

Изъ множества разнообразныхъ фактовъ, приведенныхъ мною въ статьѣ «Герои и толпа», напомнимъ здѣсь эпизодъ изъ бунта военныхъ поселенъ въ 1831 г., по воспоминаніямъ Панаева:

«Въ то время, когда была борьба за Соколова, я увидѣлъ унтеръ-офицера, съ нѣсколькими нашивками на рукавѣ, лежавшаго ничкомъ на крыльцѣ и горько плачущаго; на вопросъ мой: «о чемъ онъ плачетъ?», онъ, показывая на Соколова, сказалъ: «что дѣлается! убиваютъ не командира, а отца!» Я началъ ему говорить, что вмѣсто того, чтобы плакать въ сторонѣ, онъ пошелъ бы лучше туда и старался уговорить поселенъ, чтобы его оставили и отдали мнѣ. Онъ побѣждалъ туда, но не прошло двухъ минутъ, какъ, пробившись съ нѣсколькими поселенями на помощь Соколову, я увидѣлъ того же унтеръ-

офицера, съ коломъ въ рукахъ, бьющаго его. — «Что ты дѣлаешь! Не самъ-ли ты говорилъ мнѣ, что онъ былъ вамъ отецъ, а не командиръ?» — На это онъ мнѣ отвѣтилъ: «Уже видно, что теперь пора такая, ваше высокоблагородіе, видите, что весь мѣръ бьетъ, что же я буду стоять такъ!»

Эпизодъ этотъ представляетъ собою яркій примѣръ воздѣйствія толпы на составляющихъ ее единицъ: старый, заслуженный, отличенный начальствомъ унтеръ-офицеръ, вполне убѣжденный не въ преступности только, а и въ жестокой несправедливости совершающагося передъ нимъ дѣла, самъ принимаетъ участіе въ немъ, подъ вліяніемъ общаго возбужденія: «весь мѣръ бьетъ». Какъ бы, однако, выразителенъ и доказателенъ ни былъ приведенный случай, онъ никоимъ образомъ не даетъ намъ права сводить всю исторію бунта военныхъ поселенъ къ психической заразѣ, къ вліянію примѣра и толпы. Это вліяніе можно выдѣлать и изучать его, какъ самостоятельный предметъ изслѣдованія, но это будетъ только логическая операція отвлеченія, которая не должна заслонять отъ насъ другія причины явленія, лежація въ самой организаціи военныхъ поселеній. Мы увидимъ ниже, какъ относятся къ этой сторонѣ дѣла Сигеле и Тардъ, а теперь мы остановимся только на томъ несомнѣнномъ фактѣ, что душевные движенія человѣка, подхваченнаго волной толпы, могутъ рѣзко отклоняться отъ его поведенія въ-одиночку.

Присматриваясь къ подобнаго рода явленіямъ, одинъ изъ главарей итальянской «позитивной» школы въ уголовномъ правѣ, Ферри, предложилъ установить новую научную дисциплину — коллективную психологію въ отличіе отъ индивидуальной психологіи съ одной стороны и социологіи съ другой. Она должна заниматься исключительно собраніями индивидовъ — въ разнаго рода политическихъ учрежденіяхъ, комиссіяхъ, комитетахъ, театрахъ и проч. Я не знаю того сочиненія Ферри, въ которомъ идетъ объ этомъ рѣчь, но, судя по цитатамъ Сигеле, можно думать, что Ферри, на-ряду съ политическими, судебными, художественными учрежденіями, поскольку они являются собраніями индивидовъ, ставитъ и преступленія толпы, и разбойничьи шайки. Во всякомъ случаѣ Сигеле и Тардъ отъаживаются на это обобщеніе. Отправнымъ пунктомъ служить для нихъ то положеніе, что свойствами отдѣльно взятыхъ индивидовъ еще не опредѣляются свойства ихъ собранія, а конечный результатъ ихъ разсужденія тотъ, что собраніе индивидовъ всегда ниже отдѣльно взятыхъ составляющихъ его членовъ. Приэтомъ разстояніе между отправнымъ пунктомъ и конечнымъ результатомъ поразительно кратко. Сигеле все-таки немножко про-

страннѣе. Онъ начинаетъ съ указанія на нѣкоторые промахи суда присяжныхъ (извѣстно, что итальянскіе «позитивисты» вообще не дожили до суда присяжныхъ, въ чемъ къ нимъ вполне примыкаетъ Тардъ). Есть, говорить онъ, промахи, зависящіе отъ личной неспособности присяжныхъ засѣдателей или отъ трудности вопросовъ, подлежащихъ ихъ разрѣшенію; но бываютъ случаи, когда вполне интеллигентные присяжные вносятъ явно нелѣпые приговоры по вполне ясному дѣлу. Отдѣльно спрошенный, каждый изъ нихъ на вѣрное разсудилъ бы дѣло какъ слѣдуетъ, а всѣ вмѣстѣ они никуда не годятся. Въ подтвержденіе этого заключенія Сигеле приводитъ, собственно говоря, всего только три конкретныхъ примѣра, причемъ не сообщаетъ никакихъ подробностей. Затѣмъ онъ ссылается на Макса Нордау, который въ «Парадоксахъ» (въ русскомъ переводѣ эта книга называется, кажется, «Въ поискахъ истины») выразилъ слѣдующую мысль. Соберите, говоритъ онъ, двадцать-тридцать Гёте, Гельмгольцевъ, Шекспировъ, Ньютоновъ и проч. и предложите на ихъ рѣшеніе какіе-нибудь текущіе практическіе вопросы, и вы увидите, что это рѣшеніе не будетъ отличаться отъ приговора собранія самыхъ заурядныхъ людей. Это оттого зависитъ, что, помимо своей личной оригинальности, они носятъ въ себѣ еще наслѣдственные свойства, общія у нихъ съ первымъ встрѣчнымъ на улицѣ. Эти-то многократныя въ каждомъ собраніи черты и берутъ перевѣсъ надъ чертами однократной оригинальности. Такимъ образомъ все великое и оригинальное въ каждомъ собраніи элиминируется, а все посредственное и заурядное выступаетъ на первый планъ. Далѣе, Сигеле ссылается на древнее изреченіе: «Senatori boni viri, senatus autem mala bestia».

На эту же поговорку ссылается и Тардъ, прибавляя: «хотя существуетъ и другая, прямо противоположная: *personne n'a plus d'esprit que Voltaire, si ce n'est tout le monde...*». Последнюю изъ приведенныхъ пословицъ я считаю за бессмыслицу, придуманную чересчуръ горячими поклонниками народного суверенитета».

Сигеле вслѣдъ за этимъ пытается нѣсколько ограничить свое положеніе, для чего раздѣляетъ всякія собранія на коллективности однородныя и разнородныя. Мало того, исходя изъ нѣкоторыхъ принциповъ самого Тарда, онъ въ приложеніи къ своей книгѣ излагаетъ въ высшей степени любопытную и оригинальную теорію, благоприятную для коллективной мысли. Но Тардъ непреклоненъ, какъ математически прямая линія, какъ по-истинѣ кратчайшее разстояніе между исходною точкою и конечнымъ результатомъ. Онъ говоритъ:

«наши общественныя учрежденія представляютъ изъ себя механизмы, слишкомъ грубые въ сравненіи съ нашей собственной организаціей, и никогда коллективный умъ, проявляющійся въ парламентахъ и конгрессахъ, не можетъ сравняться съ умомъ самаго посредственнаго изъ составляющихъ эти учрежденія членомъ, ни по быстротѣ и вѣрности сужденія, ни по глубинѣ и широтѣ мысли, ни по гениальности начинаній и рѣшеній... Можно указать на большія корпораціи и даже на цѣлыя народы, такъ сказать, отмѣченные печатью вѣроломства и, однако, составленные изъ личностей прямыхъ и честныхъ: такъ англичанинъ, безъ сомнѣнія, насравненно болѣе прямъ, честенъ и благороденъ, чѣмъ сама Англія». Понятное дѣло, что «толпа», уже просто какъ нѣкоторое коллективное цѣлое, тѣмъ болѣе должна оказаться преступною. Но уже не о преступности только ведетъ теперь Тардъ рѣчь, не о противозаконныхъ только дѣяніяхъ, — изъ спеціальной области уголовного права онъ перешелъ въ область психологій, этики и социологій, сохранивъ, однако, несмотря на всю необузданность обобщеній, свою спеціальную точку зрѣнія. Въ результатѣ такого внутренняго противорѣчія получается нѣчто изумительное. Въ «Законахъ подражанія» Тардъ пришелъ къ заключенію, что всякое «соціальное состояніе» есть «сонъ». Теперь оказывается, что всякая коллективная мысль или дѣятельность ниже мысли или дѣятельности индивидуальной; вступая въ общество, *каково бы оно ни было*, человѣкъ непременно становится причастенъ къ какому-нибудь минусу въ умственномъ или нравственномъ отношеніи.

Можно бы было удивляться непоследовательности Тарда, который пожелалъ излагать и защищать эту мысль на *конгрессѣ*. Но такихъ противорѣчій много въ самомъ составѣ реферата, да и не можетъ ихъ не быть, потому что, строго говоря, человѣкъ бываетъ внѣ «соціальнаго состоянія» развѣ только въ какихъ-нибудь исключительныхъ случаяхъ. Я сижу въ своемъ кабинетѣ одинъ-одинехонекъ, когда пишу эти строки, но я имѣю въ виду при этомъ и читателей, и Тарда, и тѣ общественныя явленія, о которыхъ онъ говоритъ; я не выхожу, слѣдовательно, изъ сферы соціальныхъ отношеній. И это относитъ не только къ такъ называемымъ общественнымъ дѣятелямъ. Напримѣръ, дама, ни о чемъ, кромѣ своего туалета и прически, не думающая, занята этими вещами все-таки ради тѣхъ общественныхъ отношеній, которыя ее связываютъ съ другими дамами и кавалерами. Даже Робинзонъ, при полной своей одинокости на островѣ, не былъ внѣ соціальнаго состоянія, потому что жилъ воспоминаніями о прошломъ и надеждами на будущее

возвращеніе въ общественную среду и принесъ съ собою на необитаемый островъ группу идей и чувствъ, воспитанныхъ въ обществѣ. Въ особенности ясно это съ той точки зрѣнія, на которую всталъ Тардъ въ «Законахъ подражанія», такъ какъ тамъ чловѣкъ является нагруженнымъ всѣмъ огромнымъ наслѣдіемъ предковъ, могущественно вліяющихъ на каждый его шагъ, «внушающихъ» ему его мысли, чувства и поступки. Съ этой точки зрѣнія, принадлежащей самому Тарду, умъ чловѣческій всегда коллективенъ. Умъ Тарда, когда онъ въ тиши своего кабинета, въ кажущемся одиночествѣ, обдумывалъ или писалъ свой рефератъ, былъ не менѣе коллективенъ, чѣмъ коллективный умъ Брюссельскаго конгресса. На конгрессѣ Тардъ обмѣнивался мыслями съ живыми людьми, размышлявшими о томъ же предметѣ, который и его занимаетъ; въ тиши своего кабинета онъ частію сознательно совѣщался съ книгами другихъ писателей, частію безсознательно слѣдовалъ урокамъ своихъ учителей и общественной жизни. Эту работу продѣлывали вѣдь и другіе члены конгресса, и спрашивается, почему же результатъ сознательнаго обмѣна ихъ мыслей долженъ быть непременно ниже результата частію сознательной же, частію безсознательной работы Тарда или другого отдѣльно взятаго члена конгресса?

Таковы явныя нелѣпости, проистекающія изъ слишкомъ смѣлыхъ обобщеній, построенныхъ на слишкомъ узкомъ и притомъ непродуманномъ основаніи. Ходъ мыслей Тарда очевиденъ. Его заинтересовали преступленія, совершаемыя толпою въ настоящемъ смыслѣ этого слова, то-есть случайнымъ, неорганизованнымъ сборищемъ людей, увлекаемыхъ потокомъ безсознательнаго взаимнаго подражанія. Его поражаетъ приэтомъ крайняя свирѣпость и жестокость, проявляемая иногда толпою, далеко превосходящая все, на что осмѣлился бы каждый отдѣльно взятый ея представитель. Вмѣсто того, чтобы спросить себя, не есть ли преступная толпа только частный случай, рядомъ съ которымъ возможна и толпа вовсе не преступная (ну, хотя бы, на примѣръ, толпа, увлеченная блестящею рѣчью краснорѣчиваго проповѣдника, или толпа театральнаго зала), Тардъ, съ одной стороны, объявляетъ всякую толпу преступною и пристегиваетъ сюда же разбойничьи шайки, а съ другой — приходитъ къ заключенію, что всякое сборище людей ниже въ нравственномъ и умственномъ отношеніи, чѣмъ составляющіе его индивиды. На пути этихъ обобщеній онъ наталкивается на факты, очевидно имъ противорѣчащіе, но, ослѣпленный своею исходною точкою, либо не замѣчаетъ ихъ, либо

даетъ имъ поразительно невѣрное истолкованіе.

Въ этомъ виноваты не только свойства ума Тарда, лишеннаго всякой гибкости и вмѣстѣ не обузданнаго какими-нибудь опредѣленными общими принципами, а и малая разработанность вопросовъ, относящихся къ психологіи массъ. До какой степени эти вопросы еще мало разработаны въ европейской литературѣ, несмотря на множество специальныхъ изслѣдованій, видно изъ слѣдующаго.

Мы видѣли, что Сигеле солидаренъ съ Тардомъ относительно низкаго уровня, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ людскихъ сборищъ сравнительно съ уровнемъ составляющихъ его единицъ, причемъ онъ въ особенности напиралъ на несостоятельность суда присяжныхъ. Къ этому пункту вполне примѣнимы вышеприведенныя соображенія о конгрессахъ. Какъ ни странны, однако, разсужденія Сигеле на этотъ счетъ, онъ далеко не столь прямолинеенъ въ своихъ обобщеніяхъ, какъ Тардъ. Онъ защищаетъ, собственно говоря, гораздо болѣе общій принципъ, тотъ именно, что личный составъ собранія не всегда предрѣшаетъ или опредѣляетъ свойства самого собранія. Онъ приходитъ, даѣе, къ заключенію, что свойства единицъ полностью отражаются только въ собраніяхъ однородныхъ и организованныхъ; въ собраніяхъ же неорганизованныхъ и разнородныхъ по составу, какова толпа, личные свойства входящихъ въ нихъ единицъ не опредѣляютъ собою рѣшеній или дѣйствій собранія. При этомъ Сигеле не отрицаетъ, что уровень собранія можетъ оказаться выше уровня единицъ, но и не утверждаетъ этого, даже не упоминаетъ объ этомъ, а иллюстрируетъ примѣры приводитъ исключительно противоположнаго характера. Можно бы было поэтому ожидать, что онъ отнесется къ общественному мнѣнію, къ рѣшеніямъ большинства съ такимъ же высокоуміемъ, какъ и Тардъ. Этого нѣтъ, однако. Какъ въ самомъ текстѣ книги, такъ въ особенности въ приложеніи, озаглавленномъ «Деспотизмъ большинства и коллективная психологія», Сигеле выступаетъ защитникомъ большинства, а, слѣдовательно, и всѣхъ тѣхъ учреждений, въ которыхъ голосъ большинства играетъ рѣшающую роль. И чрезвычайно любопытно, что онъ опирается приэтомъ на основныя идеи Тарда, изложенныя имъ въ «Законахъ подражанія».

На первый взглядъ, говорить Сигеле, всенародное голосованіе, предоставляющее равные голоса какому-нибудь дворнику и, на примѣръ, Герберту Спенсеру, есть безсмыслица. Но взгляды въ дѣло нѣсколько глубже. Вѣрно ли, что рѣшеніе большинства выражаетъ всегда мысль людей низкаго ум-

ственного уровня, сильныхъ только количествомъ? Не наоборотъ ли, вѣрная, плодотворная, возвышенная мысль привлекаетъ къ себѣ наибольшее количество сторонниковъ? Тардъ, въ «Законахъ подражанія», утверждаетъ, что выдающіеся люди ведутъ за собой толпу отнюдь не всегда при помощи внѣшней силы или обмана. Великіе люди отъ Рамзеса до Александра, отъ Александра до Магомета, отъ Магомета до Наполеона имѣли въ своемъ распоряженіи не только силу и хитрость, а и «престижъ», тотъ самый, которымъ пользуется и магнетизеръ въ глазахъ магнетизируемаго; «сколько разъ продолжительное созерцаніе этой блестящей точки славы или генія повергало цѣлые народы въ каталепсію». Тардъ доказывалъ, что у «соціального человѣка», все равно, какъ у гипнотика, нѣтъ иныхъ идей, кромѣ внушенныхъ, хотя бы онъ и казался ему самостоятельно выработанными. Сигеле дѣлаетъ отсюда слѣдующіе выводы: «Когда говорятъ, что по данному вопросу большинство держится такого-то мнѣнія, то этимъ отмѣчаютъ явленіе, которое точнымъ образомъ должно выразить такъ: мнѣніе X. овладѣло большинствомъ путемъ внушенія. То-есть: мнѣніе извѣстнаго человѣка, можетъ быть, оратора, можетъ быть, журналиста, заключало въ себѣ столько убѣдительности, что быстрѣе и сильнѣе другихъ передавалось большинству... Ошибочно думать, что деспотизмъ большинства означаетъ торжество посредственности; невѣрно, что міръ управляется наименѣе одаренными, сильными только своимъ количествомъ; напротивъ, наиболѣе одаренные увлекаютъ за собой большинство и предписываютъ ему свою волю. Верховное права большинства представляется поверхностному наблюдателю торжествомъ количества, тогда какъ въ дѣйствительности оно есть безсознательное почтеніе къ людямъ высшаго разряда». Заключительныя строки книги Сигеле возвращаются къ этому тезису: «Деспотизмъ большинства, съ точки зрѣнія коллективной психологіи, не есть, какъ говорятъ нѣкоторые поверхностные наблюдатели, господство посредственности; но его нельзя также, какъ хотѣли бы другіе, оправдать тѣмъ принципомъ, что количество рѣшаетъ все, — этотъ принципъ слишкомъ ариаретиченъ, чтобы быть пригоднымъ въ соціологіи. Мнѣніе большинства есть въ сущности мнѣніе наиболѣе выдающихся людей, медленно проникающее въ массу; поэтому деспотизмъ большинства сводится къ деспотизму гениальныхъ идей, сохранившихся для примѣненія».

Въ подробностяхъ этой защиты мнѣній большинства читатель безъ труда усмотритъ все то же забвеніе пограничной черты между сознательнымъ и безсознательнымъ, но Сигеле

все-таки намѣчаетъ здѣсь теорію, достойную вниманія и притомъ рѣзко противорѣчащую какъ нѣкоторымъ собственнымъ мыслямъ Сигеле, такъ въ особенности мыслямъ Тарда, хотя вытекаетъ она изъ положеній Тарда же. Такъ еще плохо установлено зданіе коллективной психологіи. На это имѣются и другія свидѣтельства.

Выше, говоря о толпѣ, какою она является подъ именемъ «народа» въ разныхъ художественныхъ произведеніяхъ, мы старались выдѣлать идею толпы отъ всѣхъ сопредѣльныхъ понятій и отъ разнообразныхъ житейскихъ осложненій, съ которыми она осуществляется въ дѣйствительности. Но мы тогда же замѣтили, что характерный для толпы процессъ нравственной заразы происходитъ не въ безвоздушномъ пространствѣ; что въ томъ или другомъ движеніи толпы, какъ преступномъ, такъ и совсѣмъ непроступномъ, рядомъ съ нравственной заразой дѣйствуютъ и иныя причины, коренящіяся въ понятіяхъ, интересахъ, экономическихъ и политическихъ условіяхъ жизни людей, изъ которыхъ толпа составила. Достойно вниманія, что Сигеле вспомнилъ объ этомъ обстоятельствѣ только во второмъ изданіи своей книги, и даже не самъ вспомнилъ. Въ примѣчаніи ко II главѣ онъ пишетъ: «Въ первомъ изданіи этого сочиненія я не подумалъ и даже совсѣмъ забылъ взглянуть на предметъ съ этой важной точки зрѣнія. Этотъ пробѣлъ указалъ мнѣ профессоръ Лессона». Пополняя теперь этотъ пробѣлъ, Сигеле указываетъ на трудности экономического положенія массъ, на ихъ невѣжество, пробужденіе въ нихъ зависти къ имущимъ классамъ, пробужденіе вообще во всѣхъ классахъ самымъ ходомъ прогресса такихъ потребностей, которыя этотъ прогрессъ удовлетворить не можетъ. Придавая такое значеніе реальнымъ интересамъ и чувствамъ, Сигеле если не совершенно отрицаетъ, то сводитъ къ *minimum* роль такъ называемыхъ разрушительныхъ идей и теорій. Иначе смотреть на дѣло Тардъ. Онъ говоритъ: «Медленно распространяющійся психическій контагіи, тихая и безмолвная подражательность, незамѣтно передающіеся отъ одного лица къ другому, всегда предшествовали тѣмъ бурнымъ, непреодолимымъ всплескамъ подражательности, которыми характеризуются народныя возстанія. Только широкая пропаганда идей Лютера въ началѣ XVI вѣка и идей Руссо во второй половинѣ XVIII вѣка сдѣлала возможными и возмущеніе Мюнцеровъ крестьянъ въ Тюрингіи въ 1525 г., и образованіе скопищъ Тилли и Валенштейна во время столѣтней войны, и формированіе Журданомъ полчищъ въ Авиньонѣ и Венесенѣ во время французской революціи».

Такимъ образомъ моменты, подготовляю-

щіе острое проявленіе нравственной заразы, сводятся для Тарда къ нравственной же заразѣ, только медленной и тихой, выражающейся въ пропагандѣ и усвоеніи извѣстныхъ идей. Не потому заняли свое мѣсто въ исторіи событія, отмѣченныя именами Лютера и Мюнцера, что гнетъ феодально-католическаго строя сталъ невыносимъ, а потому, что распространялись идеи Лютера. Такая постановка вопроса, слишкомъ, очевидно, узка и односторонняя, чтобы нуждаться въ опроверженіи. Но для ясности дѣла и такъ какъ не одинъ Тардъ повиненъ въ указанной односторонности, а, съ другой стороны, элементъ нравственной заразы въ массовыхъ движеніяхъ многими совершенно игнорируется, попробуемъ выяснитъ себѣ значеніе различныхъ факторовъ на какомъ-нибудь конкретномъ примѣрѣ, взглянувъши въ него нѣсколько пристальнѣе. Возьмемъ недавній случай изъ русской жизни, описанный специалистомъ, проф. Сикорскимъ, подъ названіемъ «психопатической эпидеміи».

Въ концѣ 1891 и въ началѣ 1892 г. въ нѣсколькихъ деревняхъ Васильковскаго уѣзда Киевской губерніи между крестьянами обнаружилось странное религіозное движеніе, получившее названіе «малеванщины», отъ имени мѣщанина Кондратія Малеванаго. Этотъ Малеваный уже нѣсколько лѣтъ страдалъ галлюцинаціями слуха и обонянія. Въ особенности во время молитвы онъ чувствовалъ какой-то необыкновенно пріятный запахъ, — онъ называлъ его запахомъ Св. Духа. Затѣмъ его посѣщали галлюцинаціи общаго чувства: онъ чувствовалъ особенную легкость тѣла, готовность подняться на воздухъ, летѣть, причемъ находился въ мистически-радостномъ настроеніи духа. Сосредоточивъ на себѣ вниманіе окружающаго населенія своимъ странно-возбужденнымъ состояніемъ, Малеваный скоро заразилъ и его своими галлюцинаціями. Малеванцы часто съ наслажденіемъ обнюхиваютъ свои руки, платье, разные другіе предметы, источающіе «запахъ Св. Духа», чувствуютъ необычайную легкость тѣла, готового подняться на воздухъ. У нихъ замѣчается также сильная склонность къ судорогамъ, особенно на молитвенныхъ собраніяхъ, когда они, кромѣ того, ведутъ рѣчи на неизвѣстныхъ языкахъ. Вотъ образчикъ: «Боже, Боже, літо, літо, міто, кіто. Ну крендо ну фули кресто триндо арте аранги аланти усти триндіази унти» и т. д. И сами говорящіе, и присутствующіе увѣрены, что эти бессмысленныя слова говорятъ подѣ навіемъ Св. Духа, сообщающаго избраннымъ даръ языковъ. Малеванцы обыкновенно находятся въ состояніи или апатіи, или радостнаго возбужденія; часто плачутъ, но это всегда слезы умиленія и счастья. Они распродаютъ все свое

имущество, накупили себѣ нарядовъ, не работаютъ и, нарядные и веселые, ждутъ конца міра, имѣющаго произойти очень скоро. Любить спланиваться въ собранія, причемъ галлюцинаціи, судороги, истерическіе припадки постепенно овладѣваютъ всѣми присутствующими. Центромъ этого явленія является упомянутый Кондратій Малеваный, въ котораго послѣдователи вѣруютъ, какъ въ Спасителя міра.

Назначена была для изслѣдованія этого явленія на мѣстѣ комиссія, въ которую вошелъ, между прочими, и г. Сикорскій. Причины явленія г. Сикорскій сводитъ къ двумъ группамъ: причины нравственныя и физическія. Къ первымъ принадлежатъ: во-первыхъ, развитіе въ южныхъ губерніяхъ штунды; во-вторыхъ, одностороннее направленіе грамотности, сосредоточивающее вниманіе и любознательность народныхъ массъ исключительно на трудныхъ религіозныхъ темахъ; въ-третьихъ, отсутствіе народной литературы и другихъ формъ воздѣйствія культурныхъ классовъ общества на народъ; въ-четвертыхъ, присутствіе субъектовъ, страдающихъ психическимъ разстройствомъ. Физическихъ причинъ указывается двѣ: вліяніе Крымской войны и усиливающееся злоупотребленіе спиртными напитками. Послѣднее понятно само собой. Что же касается вліянія Крымской войны, то г. Сикорскій замѣчаетъ, что нынѣ дѣйствующее поколѣніе родилось именно въ ту эпоху, а, дескать, война всегда приводитъ къ рожденію болѣе слабого въ чисто физическомъ и нервномъ отношеніи поколѣнія. «Въ заключеніе изложеннаго очерка, — говоритъ г. Сикорскій, — мы не можемъ не указать на одну психологическую особенность въ настроеніи народныхъ массъ, — особенность, которую можно характеризовать, какъ живое сознаніе нравственныхъ золъ и чаяніе избавленія отъ нихъ. Народныя массы ждутъ и жаждутъ духовнаго обновленія. Онѣ ищутъ Спасителя и... находятъ его въ помѣшанномъ Кондратіи Малеваномъ! Нельзя не сказать, что малеванщина есть вопль заболѣвшаго населенія и мольба объ освобожденіи отъ вина, объ улучшеніи образованія и санитарныхъ условій!»

Малеванщина представляетъ собою яркій примѣръ психической или нравственной заразы въ явно патологическихъ формахъ. Не касаясь самыхъ этихъ болѣзненныхъ формъ, подробно разсматриваемыхъ г. Сикорскимъ, мы остановимся только на общемъ фактѣ заразы, эпидеміи. Малеваный слышитъ необыкновенный запахъ, и эта обовятельная галлюцинація передается всѣмъ его послѣдователямъ; онъ чувствуетъ уменьшеніе вѣса своего тѣла и какъ бы поднимается на воздухъ, и присутствующіе видятъ, что онъ поднимается (я забылъ сказать объ этой по-

дробности: малеванцы показывают, что учитель поднимался вершковъ на пять отъ земли), и сами чувствуютъ особенную легкость въ тѣлѣ. На молитвенномъ собраніи съ однимъ начинаются судороги, и всѣ постепенно заражаются судорогами. Это простѣйшій, очевиднѣйшій случай заразы, свидѣтельствующій о такомъ, такъ сказать, параллѣ сознания и воли, что зрительное впечатлѣніе судороги, не задѣвая высшихъ мозговыхъ центровъ, немедленно преобразуется въ самый актъ судорогъ; одно представление о необыкновенномъ запахѣ вызываетъ уже ощущение его. То же самое мы видимъ у гипнотиковъ. И чѣмъ больше мы будемъ вглядываться въ явленія нравственной заразы съ одной стороны и гипнотизма—съ другой, тѣмъ яснѣе будетъ становиться не только сходство ихъ внѣшнихъ чертъ, но и тождественность ихъ психо-физиологическаго процесса; и это относится не только къ такимъ явно-патологическимъ формамъ заразы, какъ малеванщина, а и ко всѣмъ случаямъ болѣе или менѣе безсознательнаго и непроизвольнаго подражанія. Какъ ни смѣшнымъ это казалось въ свое время «Вѣстнику Европы» и, помнится, «Петербургскому Листку», но теперь это общепризнанная истина. Мало, однако, просто признать эту истину и безъ дальнѣйшаго ея анализа положить въ основу социологическихъ обобщеній, какъ это дѣлаютъ Тардъ, Сигеле и многие другіе. Это и неправильно, и невыгодно. Гипнотизмъ дорогъ наукѣ въ особенности тѣмъ, что допускаетъ широкое примѣненіе опытнаго метода, рядъ прямыхъ и пробнѣрныхъ опытовъ, выясняющихъ какъ самое явленіе, такъ и условія, содѣйствующія и грядущія его возникновенію и типическому теченію. Гипнотическіе опыты и всякія разсужденія о гипнотизмѣ вошли теперь почти въ моду. Но задолго до этого увлеченія мы имѣли весьма тщательныя, если не изслѣдованія, то описанія большихъ психическихъ эпидемій. Таковы, напримѣръ, очень точныя описанія взрывовъ коллективной храбрости и паники въ военномъ быту, или, напримѣръ, описанія средневѣковыхъ эпидемій демономаніи, ликантропіи, неистовой пляски, самоубицества и проч. Но изслѣдователи по необходимости должны были довольствоваться неопредѣленными выраженіями въ родѣ: всеобщее увлеченіе, увлеченіе примѣромъ, наконецъ—нравственная зараза, причемъ послѣдній терминъ, хотя вошедшій даже въ науку, имѣлъ скорѣе метафорическій характеръ. Теперь мы не только знаемъ, въ чемъ состоитъ процессъ этой заразы, но имѣемъ возможность говорить съ достаточною опредѣленностью объ общественныхъ условіяхъ средневѣковой или военной жизни, благоприятствующихъ явленію заразы.

Та односторонняя концентрація сознанія, то суженіе его поля, которымъ характеризуется гипнозъ, лучше всего достигаются или мгновеннымъ сильнымъ впечатлѣніемъ, или рядомъ однообразныхъ, слабыхъ, монотонныхъ впечатлѣній (пассы, созерцаніе блестящей точки, прислушиваніе къ тиканію часовъ). И въ томъ, и въ другомъ случаѣ производится искусственное оскуднѣніе личной жизни; какъ бы запираются всѣ двери и окна души и остается только одна форточка, изъ которой видно и слышно только гипнотизера и то, что онъ дѣлаетъ или приказываетъ дѣлать. При этомъ понижается дѣятельность сознанія и воли, и всякое впечатлѣніе или только представление о немъ,—а впечатлѣнія и представленія входятъ черезъ единственную форточку гипнотизера, — овладѣваетъ гипнотикомъ вполне: впечатлѣнія и представленія разрѣшаются немедленно соотвѣствующимъ мышечнымъ движеніемъ,—подражаніемъ или исполненіемъ приказанія. Этой сосредоточенности вниманія на одномъ всепоглощающемъ пунктѣ Брэдь далъ названіе «моноидеизмъ».

Примѣнивъ эти положенія ко множеству разнообразныхъ явленій, мы пришли къ статьѣ «Герои и толпа» къ нѣкоторымъ общимъ заключеніямъ, изъ которыхъ я одно позволю себѣ привести здѣсь буквально: «Кто хочетъ властвовать надъ людьми, заставить ихъ подражать или повиноваться, тотъ долженъ поступать, какъ поступаетъ магнетизеръ, дѣлающій гипнотическій опытъ. Онъ долженъ произвести моментально столь сильное впечатлѣніе на людей, чтобы оно овладѣло ими всецѣло и, слѣдовательно, на время задавило всѣ остальные ощущенія и впечатлѣнія, чѣмъ и достигается односторонняя концентрація сознанія; или же онъ долженъ поставить этихъ людей въ условія постоянныхъ однообразныхъ впечатлѣній. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ онъ можетъ дѣлать чуть не чудеса, заставляя плясать подъ свою дудку массу народа и вовсе не прибѣгая для этого къ помощи грубой физической силы. Но бываютъ обстоятельства, когда этотъ эффектъ достигается въ извѣстной степени личными усиліями героя, и бываютъ другія обстоятельства, когда нѣтъ никакой надобности въ такихъ личныхъ усиліяхъ и соотвѣственныхъ имъ умственныхъ, нравственныхъ или физическихъ качествахъ. Тогда героемъ можетъ быть всякій, что мы и видимъ въ среднѣвѣка».

Это же мы видимъ и въ «малеванщинѣ». Существуетъ теорія, сблизжающая геніальность и помѣшательство. Существуетъ другая теорія, которая, частію опираясь на первую, утверждаетъ, что вожди всякаго движенія суть «маттоиды», болѣе или менѣе умопо-

врежденные. Совершенно невѣрная въ общемъ, теорія эта права, однако, въ такомъ смыслѣ, что, *при извѣстныхъ условіяхъ*, всякій достаточно яркій умоповрежденный можетъ сосредоточить на себѣ вниманіе окружающихъ, «моноидеизировать» ихъ и стать центромъ того или другого движенія. Не какіи-нибудь высокія качества Кондратія Малеванаго, а его исключительность, необычность, странность привлекли къ нему сторонниковъ. Все равно, какъ бабочка неудержимо летитъ на свѣтъ лампы, фонаря, свѣчки, рѣзко выдѣляющийся на общемъ фонѣ темноты. Само собою разумѣется, что такую свѣтящуюся точкою не непременно долженъ быть маттоидъ, а и дѣйствительно крупный человекъ, обладающій высокими умственными и нравственными качествами, и, наконецъ, человекъ, самъ по себѣ ничѣмъ не выдающийся, ни въ положительную, ни въ отрицательную сторону, но случайно дѣлающій въ извѣстную минуту рѣшительный шагъ.

Кондратій Малеваный дѣйствовалъ, — конечно, не намѣренно, — какъ гипнотизеръ, средоточивающій на себѣ, тѣми или другими способами, вниманіе гипнотизируемаго. Но гипнотизеръ имѣетъ дѣло съ единицей, а Малеваный со множествомъ. Что происходитъ въ такихъ случаяхъ? Когда въ театрѣ раздается зловѣщій крикъ «пожаръ!», то происходитъ паника, часто далеко не соответствующая степени опасности. Это зависитъ отъ того, что внезапность крика, какъ и всякая внезапность, на нѣкоторое время ошеломляетъ людей, ослабляетъ дѣятельность сознанія, вслѣдствіе чего опять-таки запираются всѣ окна и двери и открытою остается одна форточка, въ которую страшными глазами смотритъ представленіе опасности. Но эффектъ еще усиливается тѣмъ обстоятельствомъ, что каждый изъ моноидеизированныхъ видитъ вокругъ себя испуганные лица и жесты отчаянія, вслѣдствіе чего волненіе каждого, если не арифметически точно помножается на число взволнованныхъ, то во всякомъ случаѣ значительно возрастаетъ. Здѣсь происходитъ какъ бы взаимная гипнотизація. (Эта сторона дѣла хорошо разъяснена Эспинасомъ въ «Соціальной жизни животныхъ»). Такимъ образомъ, всякая толпа, всякое сборище уже заключаетъ въ себѣ нѣчто, благоприятное для проявленія бессознательнаго подражанія, подъ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы дѣятельность сознанія была чѣмъ-нибудь подавлена. Сюда, слѣдовательно, совершенно не подходятъ такія собранія, какъ конгрессы, комплекты присяжныхъ, разныя комиссіи, парламенты и проч., въ которыхъ происходитъ обмѣнъ мыслей при бодрствующемъ сознаніи. Конечно, и здѣсь возможны случаи, что какой-

нибудь краснорѣчивый ораторъ не столько убѣждаетъ своихъ слушателей доводами отъ разума и фактическими доказательствами, сколько увлекаетъ ихъ своимъ волненіемъ, дѣйствующимъ на нихъ также, какъ крикъ «пожаръ!» на присутствующихъ въ театрѣ. Но въ общемъ итогъ дѣятельности подобнаго рода собраній такіе случаи ступеньваются и ведутъ къ тому же результату, на сторонѣ котораго находится сознательно выработанная истина.

Кондратій Малеваный былъ «героемъ», центромъ, свѣтящеюся точкою для малеванцевъ извѣстное, болѣе или менѣе продолжительное время, вслѣдствіе чего и успѣла образоваться цѣлая секта. Дѣло можетъ обходиться и безъ такого, такъ сказать, хроническаго героя. Первый, крикнувшій въ театрѣ «пожаръ!», остается обыкновенно въ полной неизвѣстности и не привлекаетъ къ себѣ ничьего вниманія; оно сосредоточивается не на немъ, а на угрожающей опасности. Въ статьѣ «Индустрированное помѣшательство, какъ одинъ изъ видовъ патологическаго подражанія» (напечатанной сперва въ «Вѣстникѣ клинической и судебной психіатріи и невропатологіи», а потомъ изданной и отдѣльно), г. В. Яковенко приводитъ, между прочимъ, слѣдующій интересный случай коллективной галлюцинаціи. Въ 1874—1875 г. въ Сѣдлецкой губ. былъ совершенъ актъ присоединенія къ православію униатовъ (болѣе 200,000 крестьянскаго населенія). Этотъ актъ повелъ за собой взрывы религіознаго фанатизма. Многіе, не желавшіе перемѣнять унию на православіе, упорствовали. Среди униатовъ Сѣдлецкой губ. большимъ почитаніемъ пользовалась икона Божіей Матери въ монастырѣ Лѣсна. По распоряженію начальства, эта икона была перенесена изъ Лѣсны въ одну изъ православныхъ церквей. Вскорѣ среди религіозно возбужденнаго населенія появился слухъ, что икона Божіей Матери сама ушла изъ православной церкви и шествуетъ въ облакахъ обратно въ Лѣсну. Толпы народа двинулись на поклоненіе ей и шли по пятамъ, слѣдя взорами за иконою, которая то скрывалась въ облакахъ, то снова появлялась, и вѣрующіе видѣли ее.

Слѣдствіе по этому дѣлу можетъ быть и открыло «зачинщиковъ», въ томъ числѣ и того, который первый увидѣлъ икону въ облакахъ. Но вся тысячная толпа, заразившаяся его галлюцинаціей, можно навѣрное сказать, его не знала и во всякомъ случаѣ не на него устремляла свое вниманіе, а на икону. Такіе случаи психической заразы при отсутствіи определенныхъ единоличныхъ центровъ движенія, несмотря на всю яркость, съ которою въ нихъ выражается зараза, до-

ходя даже до коллективныхъ галлюцинацій, ясно свидѣтельствуя, что къ одной заразѣ, къ одному подражанію дѣло не можетъ быть сведено. Тарду даже въ голову не приходитъ сдѣлать соотвѣтственные ограниченія въ области подражанія. Сигеле вспоминаетъ о ихъ необходимости только во второмъ изданіи своей книги, но нѣкоторый намекъ на такую необходимость можно видѣть уже въ томъ, что онъ, вслѣдъ за Ферри, желаетъ отдѣлить «коллективную психологію» не только отъ индивидуальной психологіи, но и отъ социологіи. Психологическую сторону массовыхъ увлеченій Тардъ, какъ мы видѣли и какъ еще увидимъ, понимаетъ грубо, односторонне, а стороны социологической, можно сказать, совсѣмъ даже не касается.

Вернемся къ малеванщинѣ и посмотримъ на тѣ причины, которыя вызвали это странное явленіе. Г. Сикорскій группируетъ эти причины по рубрикамъ нравственныхъ и физическихъ. Но можно классифицировать и иначе, а именно, раздѣлить ихъ на психологическія и социологическія. Напримѣръ, присутствіе среди даннаго населенія психически разстроеннаго человѣка есть причина психологическая. Но для того, чтобы она проявила свое дѣйствіе въ такомъ цвѣтѣ и размѣрѣ, нужны извѣстныя общественныя условія, социологическія причины. Последнія можно въ свою очередь разбить на общія и спеціальныя. Общія мы уже видѣли. Вездѣ, гдѣ условія создаютъ скудную, однообразную, бѣдную впечатлѣніями жизнь, можно ожидать, что на этомъ скудномъ, однообразномъ фонѣ исторія произведетъ гипнотическій опытъ въ большихъ размѣрахъ. Г. Сикорскій указываетъ на одну, весьма, конечно, важную частность такого порядка вещей: скудость и односторонность народнаго образованія. Но параллели этому можно найти и въ экономическихъ и иныхъ условіяхъ. Характерныя для малеванщины ожиданія «конца міра» не въ первый разъ возникаютъ на Руси, свидѣтельствуя о непорядкахъ, доводящихъ до отчаянія. Затѣмъ, намъ неизвѣстны тѣ спеціальныя причины общественнаго характера, которыя благоприятствовали развитію эпидеміи именно въ Васильковскомъ уѣздѣ, но онѣ достаточно ясны въ сѣдлецкой исторіи. Силъ этихъ причинъ поддавались всѣ и каждый отдѣльно взятый участникъ движенія, независимо отъ подражанія, которое только прибавило лишнюю, правда, очень тяжеловѣсную гирю.

Необходимость различать эти два рода причинъ всякихъ массовыхъ движеній имѣетъ значеніе не только съ теоретической точки зрѣнія, но и въ видахъ уголовной практики, въ тѣхъ, разумѣется, случаяхъ, когда движеніе получаетъ преступный характеръ. Не

мое дѣло рѣшать вопросы о вѣроятности, — на то есть спеціалисты — криминалисты. Но въ виду позиціи, занятой Тардомъ, невольно является вопросъ: вѣроятна ли за совершенныя ею преступленія толпа, если она дѣйствовала подъ вліяніемъ подражанія, а подражаніе есть «родъ гипноза»? Извѣстны случаи преступленій, совершенныхъ въ гипнотическомъ состояніи или даже въ бодрственномъ, но по внушенію, полученному въ моментъ предшествовавшаго гипноза. Такихъ преступленій, очевидно, невѣроятны (см. объ этомъ у г. Таганцева въ «Лекціяхъ по русскому уголовному праву», вып. II). Ногоря въ концѣ реферата объ отвѣтственности преступной толпы, Тардъ совсѣмъ обходитъ возникающій изъ его собственныхъ положеній вопросъ.

Тарду случается, впрочемъ, забывать даже то, что онъ говорилъ за нѣсколько строкъ передъ тѣмъ. Вотъ, напримѣръ, какъ рисуетъ онъ одну изъ чертъ психологіи толпы.

Онъ рассказываетъ, между прочимъ, «объ одной взбѣшенной толпѣ, которая въ 1791 г. въ окрестностяхъ Парижа преслѣдовала богатаго фермера, заподозрѣннаго въ томъ, что онъ занимался наживой на счетъ общества; *но кто-то горячо вступился за него, и злодѣи внезапно перешли отъ крайней ярости къ не менѣе крайнему расположенію къ этому господину; они заставили его пить и плясать съ собою вокругъ дерева Свободы, тогда какъ за минуту передъ тѣмъ собирались его повѣсить на сучьяхъ этого дерева. Со стороны отдельнаго лица, осмѣливагося не согласиться въ чемъ-либо съ толпой, она не выноситъ ни противорѣчій, ни сопротивленій».*

Такимъ образомъ, только что рассказавъ случай, когда чье-то заступничество измѣнило жестокое намѣреніе толпы, Тардъ тутъ же ставитъ общее положеніе, что толпа не выноситъ противорѣчій со стороны отдельнаго лица. Безъ всякаго сомнѣнія, и то, и другое случается, но нельзя же рядомъ ставить противорѣчащія другъ другу общія положенія безъ всякой оговорки, безъ попытки свести ихъ къ какому-нибудь единству.

Это приводитъ насъ къ вопросу о добрыхъ и злыхъ движеніяхъ толпы.

III.

Въ апрѣльской и майской «Книжкахъ Недѣли» напечатана статья В. К. Случевского «Толпа и ея психологія», представляющая собою отдѣланный для печати докладъ, читанный авторомъ въ уголовномъ отдѣленіи Петербургскаго юридическаго общества. Въ январскомъ номерѣ «Журнала гражданскаго и уголовного права» напечатана статья

П. Н. Обинскаго «Contagion morale и холерные безпорядки». Тѣмъ же авторомъ издана брошюра подъ заглавіемъ «Законъ подражанія въ области добрыхъ дѣлъ, какъ игнорируемый факторъ благотворенія».

Все это очень интересно не только по сюжету, но и по исполненію. Несмотря на разницу во взглядахъ, достигающую, по нѣкоторымъ пунктамъ, размѣровъ полнаго противорѣчія, произведенія гг. Случевского и Обинскаго одинаково проникнуты духомъ жизни, интересомъ къ ней. Это не академическія разсужденія на холодныхъ вершинахъ отвлеченной науки, куда нѣтъ доступа людскимъ горестямъ и радостямъ, и не сухіе комментаріи къ такимъ-то и такимъ-то статьямъ закона. Это — посильные, можетъ быть, не совсѣмъ правильные, но живые отвѣты на вопросы, задаваемые жизнью.

Г. Случевскій начинаетъ съ заявленія того факта, что «современная психологія» вступила на новый путь развитія, отказавшись отъ разрѣшенія загадки о сущности душевныхъ явленій, отбросивъ, какъ спиритуалистическую, такъ и матеріалистическую точку зрѣнія, и ограничивъ свою задачу изученіемъ самыхъ явленій душевной жизни. Въ подробностяхъ г. Случевскій не совсѣмъ точенъ. Такъ, онъ говоритъ, что въ 60—70 годахъ психологи склонялись къ матеріализму и только «въ настоящее время» споры между матеріалистами и спиритуалистами въ области психологіи замолкли, «и научныя силы устремились на другую, сравнительно болѣе плодотворную почву». Это именно и есть почва изученія явленій душевной жизни. Изъ числа ученыхъ, придерживающихся этого новаго направленія, г. Случевскій поминаетъ «Вундта и Лазаруса, Спенсера и Ренувриэ (Ренувье?), Тэна и Шопенгауера». Не касаясь вопроса о томъ, въ какой мѣрѣ удобно ставить всѣхъ этихъ писателей за одну скобку, я позволю себѣ только напомнить г. Случевскому, что Шопенгауеръ въ 1860 г. уже умеръ, «Основанія психологіи» Спенсера появились впервые въ 1855 г., труды Тэна, имѣющіе связь съ психологіей, относятся къ 60—70 годамъ, первое изданіе указываемаго г. Случевскимъ сочиненія Лазаруса «Das Leben der Seele» появилось въ 1856—58 гг. и т. д. Далѣе, г. Случевскій называетъ «современными психіатрами» Мореля и Бріеръ-де-Буамона, что, пожалуй, справедливо въ извѣстномъ смыслѣ, но, ужъ, конечно, не въ томъ, что эти почтенные ученые дѣйствовали послѣ 60—70 годовъ. Изъ ихъ сочиненій г. Случевскій цитируетъ (безъ обозначенія года изданія) только «Des hallucinations» Бріеръ-де-Буамона, а этотъ трактатъ уже третьимъ изданіемъ вышелъ въ 1862 г. Маленькія хронологическія потемки, въ кото-

рыхъ, такимъ образомъ, г. Случевскій вводитъ своихъ читателей, зависятъ отъ того, что онъ желаетъ уловить переломъ въ психологіи и приурочить его къ опредѣленному моменту. Такого опредѣленнаго момента не было. И сейчасъ найдутся люди, толкушіе словесную воду въ ступѣ метафизики, и раньше, много раньше того момента, на который указываетъ г. Случевскій, были люди, изучавшіе законы явленій душевной жизни. Эти два теченія шли одновременно, иногда даже сливаясь въ одномъ и томъ же лицѣ. Не разъ именно случалось, что человекъ, отъ разума преиращающійся о духъ и матеріи, какъ о сущностяхъ, въ то же время работаетъ, путемъ наблюденія и опыта, надъ явленіями. Но понятно, что только результаты этой послѣдней работы осѣдаютъ сами собой въ сокровищницу науки, а метафизическая вода испаряется и безслѣдно исчезаетъ въ пространство. Г. Случевскій говоритъ, что «создалось новое направленіе, отказавшееся отъ разрѣшенія сущности понятій (?) и задавшееся болѣе скромной и болѣе жизненной, судя по достигнутымъ результатамъ, программой — изученіемъ явленій психической жизни во всѣхъ неисчерпаемыхъ многообразныхъ ея сторонахъ, какъ ab intra. такъ и ab extra». Въ науку, заслуживающей этого названія, иного направленія никогда и не было и не могло быть. И если г. Случевскій правъ, указывая на успѣхи психологіи въ новѣйшее время, то лишь потому, что сокровищница науки постоянно растетъ, преемственно сохраняя всѣ добытые ею результаты. Характеръ же науки всегда одинъ и тотъ же.

Надо, однако, замѣтить, что характеръ этотъ самъ по себѣ еще не гарантируетъ ни «жизненности», ни «скромности» работы ученаго. Г. Случевскій самъ намекаетъ на это, когда мотивируетъ свое намѣреніе привлечь и беллетристику въ качествѣ матеріала для изученія психологіи толпы. Онъ говоритъ: «Въ наше время уже не разъ обнаруживались признаки, свидѣтельствующіе о томъ, что та замѣнутость, которая характеризовала большинство изслѣдованій ученыхъ прежняго времени, проходить, а вмѣстѣ съ нею исчезаетъ и пренебреженіе ко всему, что стоитъ за границами профессиональной учености, равно какъ и та тяжеловѣсная форма, которая была присуща изложенію научныхъ мыслей въ недавнемъ прошломъ. Пользованіе данными изящной литературы съ чисто научными цѣлями представляется явленіемъ ограднымъ и можетъ быть плодотворнымъ». Можно бы было и теперь указать не мало людей науки, не отличающихся ни скромностью, ни жизненностью своихъ программъ. Можно бы было, повидимому, даже опредѣлить тѣ общественныя условія, при которыхъ люди науки

съ странною гордостью отлучаютъ себя отъ жизни...

Какъ бы то ни было, гг. Случевскій и Обнинскій неповинны въ этомъ грѣхѣ. Слѣдуетъ только пожалѣть, что оба названные писатели немножко небрежно относятся къ своему матеріалу. Вышеотмѣченные хронологическія потемки г. Случевского я приписалъ его желанію приурочить научный характеръ психологіи къ определенному историческому моменту, но понятно, что тутъ играетъ значительную роль и нѣкоторая небрежность почтеннаго автора. До какой степени можетъ доходить эта небрежность, я испыталъ на себѣ. Г. Случевскій сообщаетъ: «г. Михайловскій приводитъ любопытный рассказъ о томъ, какъ отправлявшійся на пароходъ въ Америку проповѣдникъ Витфильдъ, подъ влияніемъ горячо произнесеннаго имъ слова о тщетности, существующаго, привести свою аудиторію въ такую экзальтацію, что, заговоривъ о возможной гибели парохода отъ бури, заставилъ ее повѣрить, несмотря на яркое солнце и безоблачное небо, что пароходу угрожаетъ опасность; люди стали кричать о необходимости спасаться, несмотря на полную безопасность».

Случай, о которомъ идетъ рѣчь (одинъ изъ многихъ эпизодовъ, свидѣтельствующихъ о необыкновенной возбудительности краснорѣчія Витфильда), дѣйствительно очень любопытенъ; гораздо даже любопытнѣе, чѣмъ его передаетъ г. Случевскій. Содержаніе рѣчи Витфильда мнѣ неизвѣстно, и откуда г. Случевскій взялъ, что это было «слово о тщетности существующаго» (?), я тоже не знаю. Каково бы, однако, ни было содержаніе этой проповѣди, она была произнесена на сушѣ, въ Нью-Йоркѣ, а не на пароходѣ, да пароходы и не ходили въ Америку во времена Витфильда (умеръ въ 1770 г.). Г. Случевскій былъ сбивъ, очевидно, тѣмъ, что Витфильдъ проповѣдывалъ матросамъ, и, недостаточно внимательно прочитавъ мой рассказъ, пустилъ въ ходъ свое воображеніе. Витфильдъ проповѣдывалъ дѣйствительно матросамъ, но это было, повторяю, на сушѣ, и тѣмъ поразительнѣе эффектъ рѣчи: не только солнце было ярко, а небо безоблачно (о чемъ, впрочемъ, у меня тоже не упоминается и за что я поручиться не могу), но не было передъ слушателями и воды, и тѣмъ не менѣе Витфильдъ, для иллюстраціи какой-то своей мысли, такъ ярко нарисовалъ картину бури и кораблекрушенія, что, привычные, видавшие виды, матросы закричали въ волненіи: «Лодку, лодку! Спускайте лодку!»

Что касается г. Обнинскаго, то въ брошюрѣ «Законъ подражанія въ области добрыхъ дѣлъ», онъ строитъ свои соображенія на нѣкоторыхъ мысляхъ Карлейля и Тарда,

причемъ цитируетъ обоихъ этихъ писателей исключительно по одной изъ моихъ статей въ «Русской Мысли». Тѣ же самыя цитаты (но уже безъ указанія источника) приводитъ онъ и въ статьѣ «Contagion morale и холерные безпорядки». Я, конечно, очень польщенъ такимъ довѣріемъ, но думаю, что если бы г. Обнинскій обратился къ самому Карлейлю и къ самому Тарду, то нашелъ бы у нихъ нѣчто и кромѣ того, что нашелъ я, и, слѣдовательно, читатель былъ бы въ выигрышѣ...

Вотъ это не мѣшаетъ, однако, статьямъ гг. Случевского и Обнинскаго быть очень интересными и въ разныхъ смыслахъ поучительными; и особенно если мы, изучая ихъ, не упустимъ изъ виду Тарда и Сигеле, о которыхъ у насъ шелъ разговоръ въ прошлый разъ.

Г. Случевскій, судя по заглавію, занятъ не *преступленіями* толпы, какъ Сигеле и Тардъ, а ея *психологіей*, то-есть беретъ гораздо болѣе широкую тему, И, конечно, онъ поступаетъ правильно, потому что изъ общихъ психологическихъ свойствъ толпы всегда можно выдѣлить признаки толпы преступной, тогда какъ обратный ходъ изслѣдованія едва ли даже возможенъ. Къ сожалѣнію, «психологія» остается лишь въ заглавіи статьи г. Случевского и на дѣлѣ онъ, подобно Тарду и Сигеле, занятъ все-таки только преступной толпой.

Г. Случевскій устанавливаетъ слѣдующіе психологическіе признаки толпы: во-первыхъ, легкую возбудимость по самымъ ничтожнымъ поводамъ; во-вторыхъ, моноидеизмъ, поглощеніе всѣхъ душевныхъ силъ одною какою-нибудь идеею или однимъ какимъ-нибудь чувствомъ; въ-третьихъ, легковѣрность; въ-четвертыхъ, жестокость. Обращаясь хотя бы къ тому самому эпизоду съ проповѣдью Витфильда, который въ дѣйствительности гораздо ярче и характернѣе, чѣмъ въ неточномъ пересказѣ г. Случевского, мы можемъ найти въ немъ и возбудимость, и моноидеизмъ, и легковѣріе, но не найдемъ и слѣда четвертаго признака — жестокости. Это не есть, значить, признакъ необходимый, что г. Случевскій, пожалуй, и оговариваетъ, но дѣлаетъ это, во-первыхъ, крайне слабо, а во-вторыхъ, и во всѣхъ своихъ разсужденіяхъ, и въ подборѣ фактовъ явно находится подъ одностороннимъ впечатлѣніемъ жестокости толпы въ минувшихъ холерныхъ безпорядкахъ, съ одной стороны, и положеній Сигеле и Тарда — съ другой. Онъ говоритъ; «Толпа, по мнѣнію Тарда, представляется явленіемъ ретрограднымъ, такъ какъ чѣмъ болѣе сосредоточивается на одномъ пунктѣ социальная связь между людьми, тѣмъ болѣе эта связь умалывается въ своемъ значеніи, и тол-

па, какъ организмъ, обособляется отъ всего, что стоитъ за предѣлами ея. Подтвержденіемъ вѣрности послѣдняго заключенія Тарда служить то обстоятельство, что толпа, обыкновенно, хотя и не исключительно, отдается злему дѣлу разрушенія, страданія и смерти; служеніе же дѣлу созиданія, радости и счастья жизни, какъ о томъ свидѣлствуетъ исторія, въ рѣдкихъ случаяхъ сосредоточиваетъ на себѣ дѣятельность толпы.

Рѣдки или не рѣдки подобные случаи, но, разъ г. Случевскій интересуется не специально только преступленіями толпы, а ея психологіей вообще, эти случаи должны бы были оставить какую-нибудь свою печать на его работѣ. Этого нѣтъ однако. Что касается Тарда, то онъ дѣйствительно приводитъ, въ защиту своего общаго тезиса, то соображеніе, что въ толпѣ экзальтируется чувство взаимной солидарности, вслѣдствіе чего, дескать, для нея становится чуждымъ все остальное человечество. Нетрудно однако видѣть, что, поскольку это замѣчаніе справедливо, оно относится отнюдь не только къ «толпѣ». Самъ Тардъ говоритъ: «Такъ называемая регулярная армія имѣетъ въ сущности наклонность относиться подобнымъ же образомъ ко всему, что внѣ ея, не исключая и своихъ соотечественниковъ. Одушевленная глубокимъ чувствомъ солидарности, прямо пропорціональнымъ совершенству ея организаціи, она, въ особенности во время военныхъ дѣйствій, чувствуетъ себя совершенно отчужденной отъ остальной націи, поэтому необходима строгая дисциплина, чтобы удержатъ солдатъ отъ наклонности къ грабежу».

Эта оговорка съ одной стороны совершенно излишняя, а съ другой — совершенно недостаточна и можетъ служить еще однимъ свидѣтельствомъ того, какъ мало вдумался Тардъ въ свой предметъ. Оговорка излишняя, потому что во всѣхъ хорошо извѣстныхъ случаяхъ, какъ военной паники, такъ и коллективной отваги, обнаруживаемой какимъ-нибудь отрядомъ, отрядъ этотъ является со всѣми признаками толпы. Но съ другой стороны оговорка и недостаточна. Та отчужденность отъ всего остального человечества, которая характерна, по мнѣнію Тарда, только для «преступной толпы» или преступныхъ сообществъ вообще, да для «такъ называемой регулярной арміи», свойственна весьма многимъ коллективнымъ единицамъ, не имѣющимъ ни преступнаго, то-есть незаконнаго характера съ одной стороны, ни военнаго съ другой. Стоитъ только вспомнить индійскія касты или средневѣковые цехи. Или, напримѣръ, древній Римъ со всей его единственной въ своемъ родѣ организаціей, — развѣ гордый девизъ: *cives romanus sum*, свидѣтельствовавшій о высокой степени со-

лидарности, не былъ въ то же время девизомъ отчужденности отъ всего остального, «варварскаго» и рабскаго міра? Но и помимо этихъ рѣзкихъ и старыхъ примѣровъ, мы знаемъ множество современныхъ литературныхъ и житейскихъ драмъ, въ которыхъ сословные или профессиональные предразсудки становятся китайскою стѣной; знаемъ, кстати сказать, и этотъ прославленный Китай, имя котораго обратилось въ нарицательное; знаемъ, что и во многихъ государствахъ Европы патриотизмъ принимается характеръ лютой ненависти къ иностранцамъ и инородцамъ. Словомъ, мы и здѣсь видимъ все ту же свойственную Тарду необузданность обобщеній, построенныхъ, однако, на крайне узкомъ фундаментѣ. Но если ужъ таково бросающееся въ глаза свойство ума Тарда, то г. Случевскому слѣдовало бы быть особенно осторожнымъ въ слѣдованіи за нимъ.

Колебаніямъ г. Случевскаго относительно возможности «рѣдкихъ случаевъ», когда психологія толпы не окрашена жестокостью, не чужды и Тардъ. Онъ идетъ, пожалуй, даже дальше. Онъ спрашиваетъ, напримѣръ: «Какимъ же образомъ формируется толпа? Какимъ чудомъ масса лицъ, такъ еще недавно разсѣянныхъ и совершенно индифферентныхъ другъ другу, вдругъ соединяется въ одно цѣлое, образуетъ родъ магнитной цѣпи, издаетъ одни и тѣ же крики, бѣжитъ въ одномъ и томъ же направленіи, дѣйствуетъ по одному и тому же плану?» И отвѣчаетъ: «Единственно благодаря *симпатіи*, этому источнику подражательности, этому *животворящему началу социальныхъ тѣлъ*». Въ другомъ мѣстѣ, говоря о нѣкоторыхъ европейскихъ движеніяхъ, Тардъ замѣчаетъ: «Это, въ сущности, совершенно сходныя проявленія одной и той же бурной горячки, одной и той же нравственной эпидеміи, — *то благотворной, то разрушительной*, направляющей цѣлый народъ или даже цѣлый материкъ къ новой религіи и къ новой политической догмѣ и придающей всѣмъ религіознымъ сектамъ и политическимъ партіямъ на громадномъ протяженіи къ сѣверу и югу, въ странахъ, какъ кельтскаго, такъ и славянскаго или германскаго происхожденія, общія существенныя черты, вопреки всевозможнымъ индивидуальнымъ особенностямъ».

Тѣмъ не менѣе, Тарда «изученіе народныхъ скопищъ» приводитъ къ тому заключенію, что ненависть въ отношеніи заразительности вообще беретъ перевѣсъ надъ любовью, влословіе надъ похвалой, свистки надъ аплодисментами и отрицательныя убѣжденія надъ положительными». Предвзятое мнѣніе должно быть ослѣпляюще сильнымъ для того, чтобы человекъ рѣшился выставить такое общее положеніе, не приводя рѣшительно никакихъ

доказательствъ. Въ особенности любопытно указаніе на преобладаніе свистковъ надъ аплодисментами. Актеры, пѣвцы, музыканты, танцовщики. вообще всѣ люди эстрады и связанныхъ съ нею профессій, каковы авторы драматическихъ произведеній, театральные антрепренеры, режиссеры и т. д., по самымъ элементарнымъ расчетамъ выгоды и самолюбія, ведутъ свое дѣло такъ, чтобы устранить свистки и вызвать аплодисменты. Освистанный актеръ или переходитъ на другую сцену, гдѣ его, можетъ быть, ждетъ успѣхъ, или берется за другія роли, или совсѣмъ къ другимъ занятіямъ обращается. Наоборотъ, актеръ съ установившейся репутаціей пожинаетъ иной разъ лавры и аплодисменты даже незаслуженно, просто въ силу обаянія имени. Такимъ образомъ, что касается сцены и эстрады, количество аплодисментовъ по необходимости далеко превосходитъ количество свистковъ, и нѣтъ даже почвы, на которой можно бы было сдѣлать приблизительно вѣрный расчетъ заразительности тѣхъ и другихъ. Сложнѣе, конечно, положеніе ораторовъ и проповѣдниковъ, но и къ нимъ до извѣстной степени приложимо то же сужденіе. А главное, если бы и была доказана бѣльшая заразительность свистковъ сравнительно съ аплодисментами, это еще ничего не говорило бы о нравственномъ характерѣ аплодирующей и свистающей толпы. Наибольше заразительны, какъ извѣстно каждому изъ личнаго опыта, чисто физиологическіе акты, какъ зѣвота, рвота, икота, судороги, и они не имѣютъ никакого нравственнаго значенія, ни положительнаго, ни отрицательнаго. Но когда мы говоримъ объ аплодисментахъ и свисткахъ, то выступаетъ нравственный моментъ, притомъ настолько сложный, что нѣтъ никакой возможности поставить аплодисменты безусловно выше свистковъ въ нравственномъ смыслѣ, нѣтъ возможности считать аплодисменты выраженіемъ непременно добрыхъ и вообще высокихъ чувствъ, а свистки — непременно злыхъ и низменныхъ. Толпа, аплодирующая акробатическому представленію, въ которомъ фигурируетъ несчастный ребенокъ съ вывернутыми руками и ногами и запуганнымъ лицомъ, конечно, гораздо ниже той, которая эту мерзость освищетъ.

Весьма достойно вниманія, что ни Сигеле и Тардъ, ни г. Случевскій ни единымъ словомъ не поминаютъ Адама Смита, который впервые систематически заговорилъ о безсознательномъ подражаніи и построилъ «теорію нравственныхъ чувствъ» на томъ самомъ фундаментѣ, на которомъ для означенныхъ писателей произрастаетъ не только преступность, но и безнравственность и жестокость. Достойно также вниманія, что эти писатели—

Соч. н. к. михайловскаго, т. II.

кто мелькомъ, кто нѣсколько пространнѣе—останавливаются на Гербертѣ Спенсерѣ ради его органической теоріи, но ни одинъ изъ нихъ не касается его «Основаній психологіи», гдѣ, въ главѣ «Общественность и симпатія», трактуется предметъ ихъ изслѣдованія, но въ смыслѣ, приближающемся къ идеямъ Адама Смита. Идеи же эти, въ самыхъ общихъ чертахъ, состоятъ въ томъ, что безсознательное подражаніе есть показатель нашей способности переживать чужую жизнь, страдать чужими страданіями и радоваться чужой радостью. Безъ всякаго сомнѣнія, это такъ же односторонне, какъ и разсужденія Тарда, Сигеле и г. Случевского, только въ другую сторону. Но если бы означенные писатели обратили нѣкоторое вниманіе на эту чужую односторонность, они, можетъ быть, внесли бы какія нибудь поправки въ свою собственную. Во всякомъ случаѣ, эта чужая односторонность заслуживала бы, по крайней мѣрѣ, опроверженія съ ихъ точки зрѣнія, но они и этимъ пренебрегаютъ, и, признавъ фактъ жестокости, какъ необходимаго атрибута толпы, ищутъ объясненія этому явленію.

Ищутъ они его, кромѣ заразительности жестокости, въ условіяхъ социальныхъ и антропологическихъ. Впрочемъ, что касается первыхъ, то только одинъ Сигеле останавливается на нихъ, какъ мы видѣли въ прошлый разъ, съ нѣкоторымъ вниманіемъ, Тардъ не говоритъ о нихъ вовсе, а г. Случевскій лишь мимоходомъ бросаетъ замѣчанія такого рода: «Тягость условій жизни во времена Стеньки Разина и Пугачева, какъ о томъ свидѣлствуютъ историческія показанія того времени, создала для нихъ толпу приверженцевъ всюду, куда они являлись и гдѣ собиравъ народъ къ поднятому ими знамени. Эксплоатація еврействомъ населенія въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи создала такое отношеніе населенія къ евреямъ, которое во многихъ мѣстностяхъ давало основаніе представителямъ власти заранее предсказывать, что дѣло идетъ къ возможнымъ насиліямъ толпы». Гораздо болѣе вниманія удѣляютъ наши авторы условіямъ антропологическимъ. Послѣднія сводятся къ существованію въ человѣкѣ звѣрскихъ инстинктовъ, дремлющихъ до поры до времени и заглушаемыхъ добрыми инстинктами, частію прирожденными же, частію развитыми воспитаніемъ, но, при благоприятныхъ для нихъ обстоятельствахъ, всплывающихъ наверхъ, а такимъ именно благоприятнымъ для нихъ обстоятельствомъ и является толпа. Съ особенною опредѣленностью выражается въ этомъ смыслѣ г. Случевскій. Онъ думаетъ, что «Достоевскому мы обязаны выясненіемъ этой стороны психи человѣка въ выведенныхъ имъ въ «Мертвомъ домѣ» типахъ поручиковъ Жеребятникова и Смекалова, распоряжавъ

шихся исполненіемъ тѣлеснаго наказанія на каторгѣ». Приведа образчики гнусно-жестокато издѣвательства этихъ двухъ поручиковъ надъ истязуемыми, г. Случевскій замѣчаетъ, что жеребятниковскіе и смекаловскіе элементы въ большемъ или меньшемъ объемѣ, болѣе или менѣе глубоко заложены въ душѣ «каждаго человѣка», а «толпа представляется тою атмосферою, въ которой инстинкты эти выходятъ наружу и овладѣваютъ полностью всѣмъ существомъ человѣка».

Я думаю, что въ этихъ соображеніяхъ не много вѣрнаго, хотя есть элементы для нѣкоторыхъ совершенно вѣрныхъ частныхъ выводовъ. Прежде всего, при полномъ сочувствіи къ общей мысли г. Случевского о пользѣ привлеченія беллетристики къ изученію явленій душевной жизни, я полагаю, что въ данномъ случаѣ г. Случевскій напрасно потревожилъ Достоевскаго. Наука—исторія и психіатрія—знаетъ экземпляры гнусно-жестокыхъ людей, гораздо болѣе яркіе, чѣмъ Жеребятниковъ и Смекаловъ, хотя бы уже потому, что ихъ районы дѣйствія были гораздо обширнѣе. Что такое эти поручики въ сравненіи съ Калигулами и Неронами, хорошо изученными какъ съ исторической, такъ и съ психологической точки зрѣнія. А затѣмъ остается еще большой вопросъ. Г. Случевскій утверждаетъ, что «жеребятниковскіе и смекаловскіе элементы» лежатъ въ «каждомъ человѣкѣ», прирождены человѣку. Такъ ли это? Нынѣ вошло въ большую моду сваливать всѣ бѣды на злую природу человѣка, унаследованную имъ отъ далекихъ предковъ. При этомъ предъявляются иногда остроумныя, а иногда совсѣмъ не остроумныя соображенія о томъ, какъ именно и почему сквозь тѣмъ временъ сохранилась и въ данномъ случаѣ выбилась наружу та или другая звѣрская складка. Это—настоящая мода, обуявшая и людей науки, и представителей искусства, и практическихъ дѣятелей. Какъ и всякая мода, она скоро пройдетъ, но и не дожидаясь этого, повидимому, весьма уже близкаго конца, можно бы было быть осмотрительнѣе въ распредѣленіи причинъ звѣрства между наслѣдственностью (которую никто и не думаетъ отрицать) и условіями личной жизни человѣка, обнаруживающаго звѣрство. Не думаю, чтобы Жеребятниковъ и Смекаловъ были людьми отъ природы ангельскаго характера, но весьма вѣроятно, что ихъ положеніе маленькихъ безконтрольных владыкъ, такъ мастерски изображенное Достоевскимъ, гораздо больше, чѣмъ какія-нибудь прирожденные качества, способствовало выработкѣ въ нихъ этой разнузданной жестокости. Такъ понятые портреты, нарисованные Достоевскимъ, дѣйствительно, могутъ освѣтить кое-что въ психологій толпы, въ тѣхъ частныхъ случаяхъ,

когда она звѣрски убиваетъ, жжетъ, разрушаетъ, хотя, повторяю, наукѣ, да и искусству, извѣстны фигуры гораздо болѣе яркія, чѣмъ Жеребятниковъ и Смекаловъ.

Едва-ли можно указать звѣрство ужаснѣе, возмутительнѣе, чѣмъ тѣ сочетанія кровожадности и сладострастія, которыя извѣстны подъ названіемъ садизма. Звѣрство это возможно, конечно, и въ толпѣ, но, по самому существу дѣла, оно свойственно преимущественно одиночнымъ людямъ, совершающимъ его въ тиши и глуши. Когда Тардъ и Сигеле указываютъ на случаи изнасилованія женщинъ толпой, то, какъ бы ни были они ужасны, садисты оставляютъ ихъ далеко за собой. Это не мѣшаетъ помнить людямъ, утверждающимъ, что толпа способна на такія жестокости на какія никогда не посягнетъ человѣкъ въ одиночку. Дѣло, впрочемъ, теперь не въ этомъ. Въ интересной статьѣ «Пассивизмъ», напечатанной въ Харьковскомъ «Архивѣ психіатріи, неврологіи и судебной психопатологіи», г. Стефановскій замѣчаетъ между прочимъ: «Воображеніе садиста улаживается идеею безграничной власти надъ его жертвой, кровь которой онъ воленъ пролить». Это совершенно вѣрно, таковъ фактъ. Но онъ можетъ зависѣть и отъ прирожденных психопатическихъ свойствъ, и отъ условій воспитанія въ широкомъ смыслѣ этого слова, въ смыслѣ воздѣйствія всего даннаго положенія человѣка въ обществѣ.

Сигеле, какъ и большинство итальянскихъ криминалистовъ, склонный, по слѣдамъ Ломброзо, преувеличивать значеніе атавизма и «прирожденной преступности», тѣмъ не менѣе указываетъ все-таки на современныя общественныя условія жизни европейскихъ массъ, побуждающія ихъ иногда къ насиліямъ, а затѣмъ отмѣчаетъ еще одинъ, уже психологическій моментъ. Онъ говоритъ именно, что многочисленность толпы не только поднимаетъ ея возбудимость путемъ взаимной заразы, но и способствуетъ возникновенію въ ней нѣчѣмъ не ограниченной самоувѣренности, сознанія своей силы, которой ничто въ данную минуту противостоять не можетъ. Толпа видѣть своими многочисленными глазами, что передъ ней все уступаетъ—люди, двери, ворота, дома, и практика этой безграничной, хотя и недолговременной, власти доводитъ ее до того градуса, когда становится нужна кровь, какъ высшее свидѣтельство власти. Это положеніе чревато прискорбными нравственными послѣдствіями и для одинокаго человѣка. Сигеле ссылается на д-ра Якоби, изслѣдованіе котораго «Etudes sur la sélection» посвящено, главнымъ образомъ, знаменитымъ своею безумною жестокостью и распутствомъ римскимъ цезарямъ. Несмотря на то, что Якоби занятъ преимущественно отягченною наслѣд-

ственностью цезарей, онъ отмѣчаетъ, однако, въ качествѣ источника необычайной жестокости какого-нибудь Нерона или Калигулы и самое ихъ общественное положеніе. Это были всемірные владыки, которымъ воздавались божескія почести и которые ни надъ собой, ни около себя, ни въ самихъ себѣ не знали никакихъ преградъ и предѣловъ. Это приучало ихъ къ мгновенному исполненію всякой, казалось бы, самой невозможной фантазіи, каждаго мимолетнаго и сейчасъ же забытаго желанія, и тѣмъ самымъ ослабляло ихъ «я», дѣятельность задерживающихъ центровъ, какое-то ослабленіе оканчивалось яркою картиною психическаго расстройства. Это до такой степени характерно, что прежніе нѣмецкіе психіатры употребляли даже особый терминъ — «Säzenwahnnsinn» для обозначенія того спеціальнаго вида психической болѣзни, въ число симптомовъ которой входила необычайная жестокость, какая-то проническая и вмѣстѣ съ тѣмъ сладострастная кровожадность. Но и помимо какой бы то ни было психіатрической терминологіи, историки не разъ указывали на то обстоятельство, что, напримеръ, Калигула, несмотря на свои эпилептические припадки, тяжелую бессонницу и т. п., не сразу, однако, сталъ тѣмъ лютымъ звѣремъ, какимъ онъ остался въ памяти потомства. Напротивъ, первое время его царствованія, правда, всего нѣсколько мѣсяцевъ, представляло нарочито свѣтлую картину, и только самая практика его единственнаго въ своемъ родѣ положенія постепенно вскружила ему голову. Эта же самая практика безконтрольной власти и силы и у толпы кружитъ голову до кровожадности.

Кажется, эту самую мысль имѣлъ въ виду г. Случевскій, оканчивая свою первую (апрѣльскую) статью слѣдующими словами:

«Значительное большинство входящихъ въ составъ толпы лицъ принадлежитъ къ низшимъ слоямъ населенія, живущимъ при тяжелыхъ условіяхъ пріобрѣтенія себѣ средствъ существованія и горделивыя мечты которыхъ не идутъ далѣе желаній, выраженныхъ въ стихахъ Некрасова:

Хоть бы разъ „Иванъ Мосѣичъ“
Кто меня называлъ!

И вдругъ этотъ скромный, приниженный будничными условіями жизни человѣкъ слышитъ, что его величаютъ Иваномъ Мосѣичемъ, видитъ, что за нимъ ухаживаютъ, и чувствуетъ, что о немъ только и заботы, ему только и служатъ. Полиція не знаетъ, какъ бы только угодить ему; для него бьютъ барабаны, совершаютъ прогулки войска, скачутъ казаки, гарцуютъ жандармы. Онъ, этотъ совсѣмъ не видный человѣкъ, нагналъ на всѣхъ страхъ. Передъ нимъ преклоняютъ колѣни и

простираютъ руки потерпѣвшіе, прося его пощады или защиты. Онъ полный господинъ положенія и приэтомъ, подъ вліяніемъ экзальтаціи, думаетъ, что дѣлаетъ хорошее дѣло, — кого-то спасаетъ и кого-то по дѣломъ наказываетъ. Это ли не обстановка для увлеченія, для того, чтобы потерять всякое самообладаніе!»

Я сказалъ: «кажется» здѣсь выражена та же самая мысль о значеніи для психологін толпы безграничной власти, на мигъ ей доставшейся. Только потому «кажется», что странно видѣть эту мысль облеченною въ полу-юмористическую форму. Есть сюжеты слишкомъ мрачные сами по себѣ, чтобы о нихъ можно было съ улыбкой разговаривать. Въ другомъ мѣстѣ г. Случевскій повторяетъ за Тардомъ: «Общество защищается, какъ можетъ, не ссорясь своихъ ударовъ и нанося ихъ съ лихвою. Пули могутъ угодить какъ въ вожаковъ, такъ и въ послѣднихъ членовъ толпы, какъ въ наиболѣе виновныхъ, такъ и въ менѣе преступныхъ, даже простыхъ, завѣдомо случайно попавшихъ въ толпу лицъ». Да, такъ бываетъ. Но вѣдь это страшная, кровавая трагедія, и позволительно-ли ее рассказывать въ такомъ видѣ, будто «полиція не знаетъ, какъ угодить Ивану Мосѣичу» и т. д.?

Анекдотъ о проповѣди Витфильда передъ матросами понравился, можетъ быть, не одному г. Случевскому, и потому я расскажу еще одинъ случай изъ жизни знаменитаго методистскаго проповѣдника.

Надо замѣтить, что Витфильдъ не обладалъ ни большимъ запасомъ идей, ни значительною логическою силою. Но собственно ораторскіе его ресурсы были совершенно исключительны, и едва ли много найдется во всемирной исторіи людей, которые были бы осыпаны этого рода дарами природы въ такой мѣрѣ: сильная, образная рѣчь, необыкновенный тактъ, позволявшій ему быстро приспосабливаться къ уровню любой аудиторіи и безнаказанно рисковать такими оборотами рѣчи, которые при иныхъ условіяхъ могли бы показаться смѣшными, благородная жестикюляция и, наконецъ, голосъ мягкій, гибкій, музыкальный и въ то же время настолько сильный, что, по словамъ Франклина, онъ былъ явственно слышенъ 30.000 толпѣ на открытомъ воздухѣ. До какой степени трудно было противостоятъ его краснорѣчію, показываетъ слѣдующій рассказъ Франклина. Витфильдъ хотѣлъ устроить сиротскій домъ въ Георгіи. Франклинъ отказалъ ему въ своей поддержкѣ, полагая по разнымъ соображеніямъ, что наиболѣе подходящее мѣсто для этого благотворительнаго учрежденія — Филадельфія. Вскорѣ послѣ этого Франклинъ, присутствуя на одной изъ проповѣдей Витфильда, замѣтилъ,

что тотъ клонить рѣчь къ сбору пожертвованій на сиротскій домъ въ Георгіи, и рѣшилъ, что не дастъ ни копѣйки. «У меня въ карманѣ,—разсказываетъ Франклинъ,—была горсть мѣдаковъ, три или четыре серебряныхъ доллара и пять пистолей золотомъ. Въ теченіе проповѣди я размягчился и рѣшилъ отдать мѣдъ. Новый приливъ краснорѣчія Витфильда устыдилъ меня, а конецъ рѣчи былъ до такой степени увлекателенъ, что я совсѣмъ опустошилъ свой карманъ. Тутъ присутствовалъ еще одинъ членъ нашего клуба, раздѣлявшій мои взгляды, и такъ какъ онъ предвидѣлъ, что будетъ сборъ пожертвованій, то изъ предосторожности совсѣмъ не взялъ съ собою денегъ, выходя изъ дому. Къ концу рѣчи онъ, однако, пожелалъ участвовать въ сборѣ и обратился къ своему сосѣду, знакомому, съ просьбой ссудить ему нѣсколько денегъ, но тотъ, быть можетъ, единственный человѣкъ во всемъ обществѣ, не поколебленный проповѣдникомъ, отвѣчалъ: «во всякое другое время, любезный Гопкинсонъ, я бы тебѣ далъ, сколько хочешь, но не теперь, потому что ты, мнѣ кажется, не въ здравомъ умѣ».

Такимъ образомъ, Франклинъ, человѣкъ чрезвычайно определенныхъ убѣжденій и здравого смысла по преимуществу, оказался въ составѣ толпы, увлеченной, можно, кажется, смѣло сказать, — гипнотизированной Витфильдомъ. Какова бы, однако, ни была здѣсь роль самого Витфильда, нѣтъ никакого сомнѣнія, что толпа свою роль сыграла, а эта роль состоитъ во взаимной заразѣ, удесатеряющей силу впечатлѣнія и возбужденія. Дома, одинъ на одинъ или въ небольшомъ обществѣ, Франклинъ не одобрялъ плана Витфильда и не соглашался съ его доводами. Но здѣсь, въ толпѣ, наэлектризованной краснорѣчіемъ оратора, и самъ онъ, и его единомышленники позабыли всѣ свои соображенія и увлеклись общимъ теченіемъ. Психологически это совершенно тотъ же процессъ, которымъ, во время бунта военныхъ поселеній въ 1831 году, старый унтеръ-офицеръ, плакавшій объ избіеніи «не командира, а отца», дошелъ до того, что самъ принялъ дѣятельное участіе въ этомъ избіеніи. Какъ этотъ унтеръ-офицеръ былъ противъ избіенія, такъ и Франклинъ былъ противъ пожертвованій, но толпа перерѣшила за нихъ. Случай съ Франклиномъ можетъ служить такимъ же яркимъ примѣромъ рѣзкаго измѣненія человѣка въ толпѣ, какъ и случай съ унтеръ-офицеромъ, но если въ этомъ послѣднемъ случаѣ переворотъ произошелъ въ пользу звѣрской жестокости, то этого уже никакъ нельзя сказать про переворотъ съ Франклиномъ. А, слѣдовательно, утверждать, что жестокость есть необходимый элементъ дѣй-

ствій толпы — нѣтъ резона, что мы, впрочемъ, уже и раньше видѣли. Правда, Сигеле и Тардъ могли бы возразить, что они приписываютъ толпѣ или даже всякому собранію людей не жестокость только, а вообще пониженіе уровня въ области чувства и въ области мысли, такъ что и въ данномъ случаѣ они могутъ сказать, что первоначальное рѣшеніе Франклина было правильнѣе, разумнѣе, чѣмъ то, къ которому онъ потомъ примкнулъ вмѣстѣ съ толпой. Къ сожалѣнію, однако, мы въ подобныхъ случаяхъ лишены возможности установить мѣрило, для всѣхъ равно обязательное и убѣдительно. Самъ Сигеле, ссылаясь притомъ на Тарда, указываетъ, въ видъ исключенія, на знаменитую ночь 4 августа 1789 г., когда французскія привилегированныя сословія обнаружили въ національномъ собраніи порывъ коллективнаго великодушнаго энтузіазма, на который навѣрное не были бы способны ихъ представители, отдѣльно взятые. Это былъ, дѣйствительно, порывъ великодушія; но найдутся люди, которые не назовутъ этотъ отказъ отъ сословныхъ привилегій разумнымъ рѣшеніемъ. Если можно спорить о подобныхъ вещахъ, то тѣмъ паче позволительно колебаться въ вопросѣ о томъ — были-ли сиротскому дому въ Георгіи или Филадельфіи, не измѣняя разуму ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ. Достоверно одно: какъ въ ночь 4 августа по французскому національному собранію прошла бурная, все увлекающая волна великодушія и безкорыстія, такъ и толпа, къ которой примкнули Франклинъ и его единомышленники, была возбуждена добрыми чувствами и откликалась на доброе дѣло.

Но и вообще представленіе о толпѣ, какъ о чемъ-то исключительно или даже только преимущественно жестокомъ, есть результатъ односторонняго предвзятаго мнѣнія, которое заслоняетъ въ памяти изслѣдователей три группы явленій.

Во-первыхъ, многочисленные случаи жестокости одинокихъ людей, жестокости, своей утонченностью и выдержкой далеко превосходящей все, что можетъ предъявить въ этомъ отношеніи толпа. Какіе бы ужасы ни рассказывали намъ о поведеніи разъяренной толпы, мы всегда можемъ найти самыя точныя параллели имъ въ жизни отдѣльных личностей, съ тою разницею, что у послѣднихъ жестокость имѣетъ обыкновенно хроническій, пожизненный характеръ, тогда какъ настроеніе толпы переменчиво. Изъ множества случаевъ мгновеннаго усмиренія разъяренной толпы самою ничтожною неожиданностью припомнимъ хоть эпизодъ съ братомъ знаменитаго Мирабо, — виконтомъ Мирабо-Бочкой, котораго, въ качествѣ отъявленнаго

врага революціи, парижское населеніе ненавидѣло. Однажды онъ былъ достигнутъ толпой якобинцевъ и простоародья на улицѣ и осыпанъ ругательствами; уже раздавались зловѣщія крики: «на фонары!» Но Мирабо-Бочка былъ веселый, находчивый и смѣлый человекъ, притомъ же онъ былъ, вѣроятно, по обыкновенію, подвыпивши. Онъ остановился, любезно раскланялся съ толпой и пропѣлъ изъ оперы «Ифигенія»:

*Que j'aime à voir les hommages flatteurs
Qu'ici l'on s'empresse à me rendre!*

Раздались аплодисменты, крики «браво!», смѣхъ, и Мирабо не только не повисъ на фонарѣ, какъ это легко могло по тогдашнимъ страшнымъ временамъ случиться, а его еще съ почетомъ проводили до дому. Въ началѣ предлагаемыхъ, къ большому моему сожалѣнію, слишкомъ бѣглыхъ и разбросанныхъ очерковъ (въ № 4 «Русскаго Богатства») было приведено нѣсколько случаевъ, когда толпа измѣняетъ свое настроеніе то подъ вліяніемъ грознаго окрика, то подъ впечатлѣніемъ просто даже шапки, неожиданно и неизвѣстно зачѣмъ брошенной на землю. Не таковы одинокіе жестокіе люди. Сидѣлъ ли въ упоминаемыхъ г. Случевскимъ герояхъ Достоевскаго — Жеребятниковъ и Смекаловъ — прирощенный, наслѣдственный звѣрь или онъ былъ въ нихъ воспитанъ практикою власти, но они во всякомъ случаѣ изъ года въ годъ и можетъ быть изо дня въ день, систематически, безъ свѣтлыхъ промежутковъ, звѣрски издѣвались надъ своими жертвами. Сколько ужасающихъ драмъ происходитъ въ тиши одиночества, — въ родѣ, на примѣръ, «фабрикаціи ангеловъ» Скублинской и другихъ жесточайшихъ истязаній дѣтей, на которыя толпа рѣшительно неспособна, а драмы эти растягиваются на цѣлые годы, пока не открываются случайно. Сигеле и Тардъ приводятъ нѣсколько ужасныхъ случаевъ звѣрскаго расправы толпы, когда она издѣвается даже надъ трупами замученныхъ. Ну, а чѣмъ же лучше ея, на примѣръ, тотъ Леже, который затащилъ двѣнадцатилѣтнюю дѣвочку въ глухое мѣсто, изнасиловалъ, задушилъ, разрѣзалъ трупъ и съѣлъ ея сердце? Или знаменитый маршалъ Жиль де Ретцъ, въ теченіе многихъ лѣтъ искавшій и находившій наслажденіе въ возмутительнѣйшихъ сочетаніяхъ сладострастія и убійства? Что значатъ хоть бы, на примѣръ, поджоги больницъ и барачковъ въ послѣдніе холерные безпорядки въ сравненіи съ «факалами христіанства» и пожаромъ Рима, учиненнымъ Нерономъ? Возьмите два историческіе романа — «Черный годъ» Данилевскаго и «Кудеяръ» Костомарова. Въ первомъ дѣйствуетъ толпа, во второмъ — одинокій человекъ. Гдѣ же больше звѣрства, крови, душу раздирающихъ сценъ?

Все это не сбавляетъ, разумѣется, жестокости толпы въ тѣхъ случаяхъ, когда она, дѣйствительно, даетъ себя знать. Но если бы изслѣдователи преступной толпы имѣли въ виду всю огромную, испещренную кровавыми пятнами картину людской жестокости, они, можетъ быть, уже не съ такою безповоротною рѣшительностью утверждали бы, что толпа обнаруживаетъ такую степень жестокости, на которую неспособны отдѣльныя личности.

Затѣмъ изслѣдователи, и преимущественно тѣ, которые стоятъ на сравнительно новой точкѣ зрѣнія, примѣняющей къ историческому матеріалу законы подражанія, совсѣмъ упускаютъ изъ виду или, по крайней мѣрѣ, сильно затушевываютъ весь сложный комплексъ общественныхъ явленій, предшествовавшій взрывамъ коллективной жестокости. Мы видѣли, что, на примѣръ, жестокости, совершенныя нѣмцами крестьянами въ такъ называемыя крестьянскія войны періода реформаціи, имѣютъ для Тарда, во первыхъ, исключительно подражательный характеръ, а во-вторыхъ, являются результатомъ пропаганды идей Лютера, каковая пропаганда въ свою очередь сводится къ подражанію же, къ нравственной заразѣ. Это въ сущности возвращеніе къ типу историческихъ писаній добраго стараго времени, сохранившемуся еще въ учебникахъ для низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній. Правда, въ этихъ старыхъ писаніяхъ не употребляются термины «нравственная зараза», «контагій», «законы подражанія» и проч., но суть дѣла не измѣняется отъ терминологіи. Старые историки рассказывали намъ, какъ Лютеръ «зажегъ сердца ненавистью къ папству», какъ Мюнцтеръ «поднялъ знамя возстанія», какъ примѣромъ Кемптенскихъ крестьянъ были увлечены сосѣди, какъ волна кровавой борьбы съ феодалами распространилась по всей Германіи и т. д. Надо отдать, однако, справедливость историкамъ добраго стараго времени. Они говорили и о сознательномъ усвоеніи идей реформаціи, и о социальныхъ причинахъ всего движенія, дѣйствовавшихъ не только путемъ толчковъ «заразы», увлеченія примѣромъ, а и непосредственно на большинство участниковъ движенія. Послѣдующіе историки обратили особенное вниманіе на этого рода причины. Мы имѣемъ прекрасныя изслѣдованія умственного и нравственного состоянія, экономического, юридическаго, политическаго положенія различныхъ слоевъ населенія Германіи въ періодъ реформаціи. Мы знаемъ изъ этихъ изслѣдованій, какимъ страшнымъ гнетомъ лежалъ феодально-католическій строй на народѣ, который, наконецъ, отвѣтилъ грозной реакціей. Ужасающія вещи дѣлались

этотъ вѣками содержимый во мракѣ невѣжества и нищеты, доведенный до отчаянія народъ, но надо же усчитать и то долготерпѣніе, съ которымъ онъ передъ тѣмъ выносилъ ежедневныя, ежечасныя жестокости, оскорбленія, издѣвательства надъ нимъ, надъ его женами и дѣтьми со стороны свѣтскихъ и духовныхъ бароновъ. Опять-таки и это ничего фактически не измѣняетъ въ картинѣ жестокости той или другой крестьянской толпы XVI вѣка, но если имѣть въ виду эту сторону дѣла, то жестокость, какъ необходимое свойство толпы, утрачиваетъ свою яркость.

Въ-третьихъ, наконецъ, изслѣдователи психологіи толпы склонны почему-то забывать тѣ случаи, когда надъ толпою завѣдомо вѣетъ духъ добра, правды, безкорыстія, великодушія. Г. Обнинскій совершенно правъ, когда начинаетъ свою брошюру «Законъ подражанія въ области добрыхъ дѣлъ, какъ игнорируемый факторъ благотворенія» слѣдующими словами: «Эпидемія, заразу принято понимать лишь въ отрицательномъ значеніи этого слова; между тѣмъ, какъ то же самое свойство контагіозности наблюдается и въ явленіяхъ положительнаго, самаго желательнаго характера». Дѣйствительно, совершенно не видно, почему заразительны могутъ быть только безправственные дѣянія. Утвержденія на этотъ счетъ Тарда исполнѣ голословны. Въ самомъ механизмѣ нравственной заразы нѣтъ рѣшительно ни одного момента, который оправдывалъ бы эти утвержденія. Подобно фотографическому аппарату, который не знаетъ красоты и безобразія и одинаково отчетливо фиксируетъ то и другое, механизмъ бессознательнаго подражанія, разъ онъ пущенъ въ ходъ, не справляется съ нашими понятіями о добрѣ и злѣ, и *всякое* представленіе переводитъ въ соответствующее дѣйствіе. При какомъ бы актѣ ни присутствовалъ (хотя бы даже только мысленно) человѣкъ, находящійся въ условіяхъ односторонней концентраціи вниманія, онъ невольно повторитъ этотъ актъ. Таковъ чистый процессъ подражанія. Но затѣмъ онъ осложняется частью вторженіемъ сознательнаго начала, частью борьбою между элементами представленія, сосредоточившаго на себѣ вниманіе. Нѣкоторые криминалисты давно замѣтили, что видъ смертной казни иногда вызываетъ стремленіе подражать палачу (см. объ этомъ у Миттермайера, Кистяковского и др.), а иногда, напротивъ—казниному. Положительно извѣстны случаи, когда люди, присутствовавшіе при смертной казни, искали возможности или повода совершить то самое преступленіе, за которое только что былъ казненъ другой человѣкъ, или даже прямо

желали быть казненными тѣмъ именно способомъ, который они видѣли. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что видъ смертной казни и самъ по себѣ, и въ особенности, какъ она практиковалась въ прежнія времена—всемирно и въ мрачно торжественной обстановкѣ—способенъ моноидеизировать впечатлительныхъ зрителей. Но это актъ сложный, и пути подражанія поэтому раздваиваются: между представленіемъ палача и представленіемъ казеннаго происходитъ нѣкоторая борьба, разрѣшающаяся въ однихъ—въ одну, въ другихъ—въ другую сторону. Причинъ, направляющихъ потокъ подражанія въ эти двѣ противоположныя стороны, мы не знаемъ, но самая возможность такого раздвоенія показываетъ, что процессъ подражанія не заключенъ въ тѣ рамки, которыя ему ставятъ Сигеле, Тардъ и г. Случевскій.

Въ виду впечатлѣнія, произведеннаго холерными беспорядками съ одной стороны, и преніями на Брюссельскомъ уголовно-антропологическомъ конгрессѣ—съ другой, г. Обнинскому должно быть поставлено въ особенную заслугу то обстоятельство, что онъ избѣжалъ односторонности названныхъ изслѣдователей. Заслуга эта еще увеличивается тѣмъ глубоко гуманнымъ тономъ, которымъ проникнуты обѣ его, впрочемъ, почти тождественныя статьи.

Г. Обнинскій заинтересовался не только жестокой и нелѣпой расправой толпы съ врачами, фельдшерами, больницами, аптеками, но и тѣмъ встрѣчнымъ, въ нравственномъ смыслѣ противоположнымъ теченіемъ, которое въ голодающія, а потомъ пораженные тифомъ, цингой и холерой мѣста всакала всякаго рода помощи и организовало дѣло «благотворенія». Надо замѣтить, что г. Обнинскій понимаетъ это дѣло благотворенія, филантропіи, далеко не въ обыденномъ, ополченномъ смыслѣ этихъ словъ. Кромѣ дѣлъ помощи, призрѣнія и милосердія, онъ разумѣетъ здѣсь и «защиту угнетаемаго, самопожертвованіе для спасенія его, гражданскую доблесть не только того, кто сдѣлалъ доброе дѣло, но и того, кто воздержался отъ дурнаго, пожертвовавъ при этомъ своей судьбою, или помѣшалъ совершить его кому-либо другому и т. д.». Г. Обнинскій даетъ даже очень остроумный и вѣрный списокъ нашихъ обыкновенныхъ такъ называемыхъ благотворителей, и я не могу отказать себѣ въ удовольствіи привести его здѣсь цѣликомъ:

„Старая, великосвѣтская грѣховодница, чопорная и надменная ханжа, съ высохшимъ тѣломъ и такою же душою, развлекающая свою праздную старость игрою въ благотворительность; за нею—ея неизбѣжный спутникъ „секретарь“, молодой пролазъ, начинающій свою карьеру при содѣйствіи „бабушекъ ворожей“, за которыми такъ „хорошо живется“ по извѣстной

пословицѣ; затѣмъ традиціонный „Китъ Книгъ“, увѣнчанный медалями и жажущій креста, дворянства или генеральства; за ними непочатая уйма всякаго рода и званія барынь, усремяющихся этимъ путемъ проникнуть въ „большой свѣтъ“, соперничающихъ и интригующихъ; потомъ дѣвицы и кавалеры, желающіе повеселить себя „въ пользу бѣдныхъ“; подрядчики, па.рѣвующіе свои руки около богоугодныхъ зданій, эконоы, обирающіе призрѣваемыхъ, номинальные врачи, пробивающіе себѣ дорогу, бездарные художники, алчущіе „связей“ для сбыта своихъ иконописаній, канцелярскіе юнцы, ищущіе случая подмазаться къ своему ветхому патрону, сближеніе съ которымъ возможно для нихъ лишь „на поприщѣ благотворенія“ умирающія отъ скуки обоего пола особы, желающія хоть чѣмъ-нибудь наполнить свое никому ненужное существованіе и т. д. и т. д.“

Но кромѣ этихъ компрометирующихъ высокій смыслъ слова «филантропія» и придавшихъ ему, повидимому, безповоротнo комическій характеръ элементовъ, въ недавнемъ возбужденіи нашего общества по поводу голода и холеры были и иные, чистые. И законъ подражанія, этотъ, по выраженію г. Обнинскаго, «жестокій и милосердый, ужасный и благодатный законъ, этотъ множитель пороковъ и сокровище всѣхъ страждущихъ», сыграть здѣсь свою роль, какъ и въ дѣлѣ поджоговъ, разгромовъ и убійствъ. А эти поджоги и убійства были, по крайней мѣрѣ, частью направлены прямо противъ тѣхъ, кто несъ бѣдствующимъ и болѣющимъ помощь. Это трагическое столкновеніе двухъ теченій, которымъ надлежало бы идти по одному и тому же руслу, естественно наводитъ г. Обнинскаго на скорбныя мысли, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на нѣкоторыя теоретическія соображенія о роли подражанія въ явленіяхъ общественной жизни.

Къ сожалѣнію, эти теоретическіе выводы г. Обнинскаго, сдѣланные, очевидно, наскоро, срадають нѣкоторою сбивчивостью и неясностью, и я предпочитаю совсѣмъ ихъ не касаться, за исключеніемъ одного пункта.

Отправляясь отъ Тардовскаго раздѣленія законовъ подражанія на законы логическіе и законы внѣ-логическихъ вліяній, г. Обнинскій замѣчаетъ: «Эти оба момента могутъ реагировать на воспріимчивость субъекта то вмѣстѣ, то порознь, смотря по тому, изъ какой категоріи сферъ является объектъ подражанія. Если въ этомъ объектѣ является нравственный подвигъ, то оба импульса, и логическій—сознательный, и внѣ-логическій—автоматическій должны непремѣнно дѣйствовать совмѣстно для того, чтобы получить подражаніе, гармонирующее съ природою подражаемаго объекта, или говоря иначе, необходимо, чтобы подражающій не только видѣлъ, но и *зналъ и понималъ* подражаемаго. Чѣмъ болѣе въ этомъ процессѣ участвуетъ сознательный элементъ, тѣмъ возможно, шире и быстрѣе, тѣмъ *похо-*

же подражаніе. Совсѣмъ иное наблюдается тамъ, гдѣ объектомъ подражанія является не нравственный подвигъ, а факты иного порядка. Тамъ первый импульсъ, сознательный, можетъ совершенно отсутствовать».

Если г. Обнинскій хотѣлъ этимъ сказать, что только сознательное подражаніе возвышенному примѣру (живому или мысленному—идеалу) заслуживаетъ qualificации нравственнаго дѣянія, то онъ, конечно, совершенно правъ. Я не увѣренъ, однако, что онъ хотѣлъ сказать именно это. Во всякомъ случаѣ это толкованіе не противорѣчитъ тому общему тезису, что психическая эпидемія, психическая зараза можетъ имѣть не только отрицательный, а и положительный характеръ. Единственный сколько-нибудь основательный доводъ въ пользу необходимой жестокости или вообще низкаго уровня толпы состоитъ въ томъ, что въ подобныхъ случаяхъ происходитъ пониженіе сознанія и воли, вслѣдствіе чего, дескать, и вспыхиваютъ на поверхность ничѣмъ не сдержанные грубые, эгоистическіе инстинкты. Доводъ этотъ основателенъ только на первый взглядъ. Въ нѣдрахъ нашего безсознательнаго таятся не одни грубые и эгоистическіе институты, а наши сознаніе и воля отнюдь не всегда къ добру и свѣту направлены. Не буду говорить о процессѣ художественнаго и научнаго творчества, въ которомъ безсознательная работа оказывается иногда самая существенныя услуги. Это отвлекло бы насъ далеко въ сторону. Ограничимся областью практической дѣятельности. Въ житейскія будни мы руководствуемся расчетами выгоды и невыгоды, удовольствія и страданія, напрягая при этомъ сознаніе и волю, отнюдь не всегда, я полагаю, въ направленіи нравственнаго подвига. Я радъ за того читателя, который можетъ сказать о себѣ иное, но и онъ, надѣюсь, согласится что такіе люди не на каждой улицѣ въ каждомъ домѣ живутъ. Однако, и для всѣхъ остальныхъ, всѣ дома всѣхъ улицъ переполняющихъ, возможны житейскіе праздники, когда, помимо забытыхъ мелочной борьбой и мелочными заботами сознанія и воли, люди, чѣмъ-нибудь потрясенные, забываютъ всѣ расчеты и совершаютъ нѣчто необыденное, быть можетъ, героическое; совершаютъ и потомъ сами изумляются своему поступку. Я приводилъ изъ «Войны и мира» сцену патріотическаго увлеченія московскаго дворянства въ 1812 году: на собраніе эти люди шли съ разными побужденіями и мыслями о своихъ дѣлахъ,—они были въ полномъ обладаніи своимъ сознаніемъ и волей; на самомъ собраніи ихъ захватила волна общаго увлеченія, побудившая ихъ искренне забыть всѣ личные расчеты и принести на алтарь отечества всякія жертвы; а на другой день,

когда сознаніе и воля опять вступили въ свои права, они вспоминали о своемъ вчерашнемъ патріотизмѣ, покряхтывая и почесывая затылки. То же было и со многими изъ присутствовавшихъ во французскомъ національномъ собраніи въ знаменитую ночь 4 августа 1879 года.

Говорю я это не въ посрамленіе, разумѣтся, сознанія и воли. Въ принципѣ это высшіе пункты человѣческаго существованія, поднимающіе его надъ всей природой, и только то прочно, что на нихъ построено. Это не мѣшаетъ, однако, существованію великодушныхъ и безкорыстныхъ бессознательныхъ дѣйствій. Дѣло только въ томъ, что на нихъ именно ничего построить нельзя. Можно и должно взять съ нихъ все, что они даютъ въ состояніи, но рассчитывать на продолжительность массоваго и всякаго другого бессознательнаго, хотя бы прекраснѣйшаго увлеченія—нельзя. Завтра же могутъ вступить въ свои права мѣщански-обезкрыленные сознаніе и воля, или объявиться новыя бессознательныя увлеченія въ противоположную сторону. Русская исторія знаетъ много поворотовъ этого рода. Г. Обнинскій, къ удивленію, даже строить большія надежды на этой чертѣ нашей исторіи. Онъ говоритъ: «Нашъ народъ, во всѣхъ слояхъ своихъ, сверху и до низу, преимущественно передъ всѣми иными національностями, воспримчивъ въ сферѣ, управляемой закономъ подражанія: легкость усвоенія иноземныхъ нравовъ и культуръ въ высшемъ обществѣ, распространеніе раскола въ народной массѣ, «стадная» способность какъ въ своемъ отрицательномъ, такъ и въ положительномъ проявленіяхъ, и т. п. культурно-бытовые свойства его общаются подражанію *добра* широкую и обильную область воздѣйствія». *Добра и зла*, я думаю: стадное чувство ничего не гарантируетъ. Стадо барановъ шарахается изъ стороны въ сторону по ничтожнѣйшему поводу и въ то же время спокойно щиплетъ траву, когда пастухъ извлекаетъ изъ него ту или другую овцу на убой. Коренная ошибка Адама Смита въ томъ именно и состоитъ, что онъ вздумалъ построить «теорію нравственныхъ чувствъ» на основѣ бессознательнаго подражанія.

Но такова же и обратная сторона медали бессознательнаго подражанія. Нельзя возлагать надежды на великодушные и безкорыстные порывы толпы, — ихъ можно только утилизировать, — но не слѣдуетъ приходить въ отчаяніе отъ ея жестокости: эти сегодня жестокіе люди, завтра же обратятся въ мягкихъ и кроткихъ людей, какими они и вчера были. Спрашивается, какъ же должна относиться уголовная репрессія къ этимъ проявленіямъ «злой воли», когда тутъ никакой воли не было? Я уже говорилъ, что не считаю себя

призваннымъ отвѣчать на этотъ вопросъ. Что же касается г. Обнинскаго, бывшаго прокурора (онъ самъ говоритъ о своей «многолѣтней профессіи обвинителя и преслѣдователя»), то онъ даетъ въ высшей степени интересный отвѣтъ по отношенію къ нашимъ холернымъ безпорядкамъ. Собственно объ увлеченныхъ стихійной силою подражанія онъ говоритъ кратко: «о вмѣненіи (въ принципѣ, а не на почвѣ дѣйствующаго уложенія) не можетъ быть и рѣчи». Подробнѣе обсуждаетъ онъ сознательные элементы безпорядковъ. Сущность его разсужденія сводится къ тому, что безпорядки эти были не «сопротивленіемъ» или «возстаніемъ», а «самозащитой»: искреннѣйшей самозащитой отъ «докторовъ, пускающихъ холеру въ народъ», отъ санитаровъ, «засыпающихъ извѣстью живыхъ людей», отъ «господъ, пускающихъ холерную шмару въ подзорную трубу», и проч. Этой нехлбной легендѣ была придана извѣстная обстановка. были присканы мотивы для смертоубійственныхъ намѣреній «господъ» и докторовъ, въ родѣ того, напримѣръ, что царь хочетъ отдать помѣщичьи земли крестьянамъ, а господа хотятъ за это переморить крестьянъ и т. п. Увѣренность въ правотѣ своего дѣла выражалась не только поджогами и избіеніемъ медицинскаго персонала, а и такими, напримѣръ, мирными дѣйствіями, какъ питье воды на желѣзныхъ дорогахъ изъ бочекъ, а не изъ сосудовъ съ бѣлыми ярлыками, гдѣ содержалась фильтрованная вода: эта-то мѣченная вода и есть «холерная», отравленная. Въ виду всего этого г. Обнинскій находитъ, что уголовная репрессія въ данномъ случаѣ и не дѣлесообразна, и не правомѣрна. Вмѣненію подлежатъ лишь «заправскіе преступники, воспользовавшіеся удобнымъ случаемъ поудить рыбу въ мутной водѣ, — воры и буяны по призванію». Для остальныхъ нужна не уголовная репрессія, а просвѣщеніе. Но вѣдь кровь звѣрски убитыхъ вопіетъ о возмездіи? Да, отвѣчаетъ г. Обнинскій: «Мы видимъ двѣ самообороны, изъ которыхъ каждая по своему права: общества, поневолѣ примѣняющаго каторгу вмѣсто отсутствующей школы, и народа, нарушившаго его покой и, также мимовольно, въ своихъ спасителяхъ увидѣвшаго своихъ злодѣевъ». И далѣе: «Все спасеніе всецѣло зависитъ отъ просвѣтленія темныхъ массъ, отъ школы и предупредительныхъ противостихійныхъ мѣръ, но пока нѣтъ этого просвѣтленія, этой школы и этихъ мѣръ, общество вынуждено такъ или иначе охранять себя. Но оно должно знать, это общество, что такое положеніе не нормально, что на немъ нельзя успокоиться, что охрана окупается здѣсь слишкомъ дорогою цѣной, и что даже это самое уложеніе, къ которому оно прибѣгаетъ теперь, допускаетъ самооборону

лишь для «неотвратимой другими средствами опасности». Если этихъ средствъ нѣтъ пока, они *должны явиться*, явиться непременно, явиться тотчасъ же, потому что жизнь не ждетъ».

Школа, разумѣется, великое дѣло, и нельзя достаточно удивляться слѣпотѣ тѣхъ нашихъ публицистовъ, которые даже въ виду холерныхъ безпорядковъ продолжаютъ говорить объ излишествахъ или даже вредѣ образованія для народа. Но г. Обнинскій, мнѣ кажется, слишкомъ уже приурочиваетъ школу къ дѣлу холерныхъ безпорядковъ. Не знаю, какъ другіе, а я долженъ откровенно признаться, что, имѣя претензію считать себя человекомъ образованнымъ, я только въ 1873 послѣднюю холеру узналъ, что трупы умершихъ отъ холеры еще подергиваются нѣкоторое время судорогами. И я не знаю, какъ бы я себя велъ, если бы мнѣ довелось присутствовать при положеніи въ гробъ чело-вѣка, обнаруживающаго такіе признаки жизни. Конечно, это—частность, предотвратимая, во-первыхъ, осторожностью медицинскаго персонала и снисходительною неторопливостью въ дѣлѣ похоронъ, а во-вторыхъ, специальными разъясненіями, какія и появились въ прошломъ году; разъясненія же эти, разумѣется, доступны для грамотнаго населенія, чѣмъ для безграмотнаго. Интересно воть что. Стараясь установить свою точку зрѣнія на холерные безпорядки, какъ на

самозащиту, при отсутствіи какихъ бы то ни было настоящихъ бунтовскихъ мотивовъ, г. Обнинскій замѣчаетъ, что вѣдь перенесъ же передъ тѣмъ этотъ самый народъ съ кротостью и терпѣніемъ голодовку. Дѣйствительно, обнаруженное народомъ въ голодный годъ долготерпѣніе поистинѣ заслуживаетъ удивленія. Нѣкоторыя недоразумѣнія, однако, все-таки происходили. Кое-гдѣ дѣло доходило до прямыхъ насилій надъ тѣми самыми людьми, которые приносили помощь въ деревню, кое-гдѣ на нихъ смотрѣли подозрительно, предполагая въ нихъ даже «антихристовъ», благодѣтельствующихъ съ дурными цѣлями. Для устраненія этихъ тяжелыхъ драмъ мало сообщенія фактическихъ свѣдѣній въ родѣ тѣхъ, какихъ было бы достаточно для предотвращенія холерныхъ безпорядковъ. Школа могла бы въ этихъ случаяхъ служить только сообщеніемъ общаго развитія, которое, конечно, желательно, но въ придачу къ которому нужно и еще кое-что. Что именно, — указаніе на это можно найти у самого г. Обнинскаго...

Къ сожалѣнію, не только «въ изумительной легендѣ о холерной шмарѣ» и не «впервые», какъ утверждаетъ г. Обнинскій, «мы увидели дно той глубокой пропасти, которая эволюціоннымъ путемъ историко-осмическихъ обваловъ и наслоеній создавалась и ждала народомъ и интеллигенціей»...

На вѣнской всемірной выставкѣ *).

I.

Въ Вѣну я пріѣхалъ 5 мая (н. ст.), т.-е. уже на шестой день послѣ торжественнаго открытія «поприща мирнаго соперничества народовъ всего міра», какъ выразился императоръ Францъ-Іосифъ, или «публичнаго отчета цивилизации», какъ выразился кто-то другой, или «моря мысли, въ которое нынѣ все вливается», какъ выразился Бертольдъ Ауэрбахъ, или вѣнской всемірной выставки, какъ выражаются всѣ. Ходили зловѣщія слухи, что, не смотря на всѣ старанія барона Шварца, выставка весьма мало подвинулась впередъ. Нѣкоторые увѣряли даже, что не официальное, а настоящее открытіе совпадетъ съ днемъ закрытія. Это было уже

черезчуръ зло, и я, памятуя заповѣдь:—не всякому слуху вѣрь, поторопился.

Я подходилъ къ выставкѣ мимо цѣлага ряда балагановъ, ипподромовъ, театриковъ, ресторановъ, которыхъ въ Пратерѣ и въ обыкновенное время много, а теперь нѣсть числа. День былъ чудесный. Со всѣхъ сторонъ раздавалась, нестройно переплетаясь, самая разнообразная музыка—странствующие чехи и венгерскіе цыгане, военные трубачи и шарманки. Владѣльцы разныхъ рѣдкостей въ родѣ великановъ и карликовъ, двухголоваго соловья и сѣвернаго оленя осиплыми голосами зазывали проходящихъ, перекрывая другъ друга и удостовѣряя, на отвратительномъ вѣнскомъ діалектѣ, что у нихъ за нѣсколько крейцеровъ можно видѣть нѣчто *übernatürliches, fameses, kolossales, unübertreffliches*. Отдавало нашей масленицей съ прибавкой солнца, зелени, благообразія и

*) 1873 г., июнь.

эрудиции. Да, тутъ была и эрудиція. Я прочиталъ на одномъ балаганѣ вывѣску: *Darwin Vogt's vierhändige Ur-und Waldmenschen* и догадался, что это псевдонимъ театра ученыхъ обезьянъ. Тѣмъ не менѣе эта надпись на балаганѣ, стоящемъ въ преддверіи публичнаго отчета цивилизаціи, навела меня на размышленія. Размышленія, конечно, пріятныя: кругомъ свѣтло, тепло; идешь нѣкоторымъ образомъ сквозь строй музыки и развлеченій; вправо по главной аллеѣ галопируютъ ловкіе наѣзники и катаются въ удивительныхъ вѣнскихъ экипажахъ красивыя, удивительно, если можно такъ выразиться, щедры сложенные вѣнскія дамы; впереди предстоитъ созерцаніе чудесъ цивилизаціи, совмѣщенныхъ въ одномъ громадномъ чудѣ—вѣнской всемірной выставкѣ съ ея девизомъ: *viribus unitis*. А! бѣдный «урменшъ», грезилось ли тебѣ когда что-нибудь подобное? Ты, несчастный, не умѣлъ дѣлать даже тѣхъ шутокъ, которыя выдѣлываютъ современные ученые «обезьяны и собаки; ты былъ-бы послѣдней спицей въ колесницѣ въ балаганѣ, на которомъ красуется твое имя, Ты былъ нищъ и нагъ, босъ и убогъ. Возстанъ-же и «виждь и внемли»..

Но Богъ съ нимъ, съ «урменшемъ». Помянемъ его добрымъ словомъ, потому что какъ ни какъ, а онъ свое дѣло сдѣлалъ. Пойдемъ къ тѣмъ, кто теперь дѣло дѣлаетъ.

Урменшъ, какъ извѣстно, вымеръ, давъ начало двумъ видамъ: «ферштандсменшу» и «гефюльсменшу». Разно, собственно, называютъ эти виды, но всякому, даже не учившемуся въ семинаріи, извѣстно, что только нѣмецкая терминологія есть вещь, а прочее все гиль. Разно тоже рассказываютъ исторію происхожденія этихъ видовъ. Одни говорятъ, что нѣкоторые урменши были очень лѣнны и глупы, а другіе, напротивъ, очень прилежны и умны, вслѣдствіе чего первые обратились въ гефюльсменшовъ, а вторые стали ферштансменшами. Другіе рассказываютъ, что дѣло было не такъ, что нѣкоторые урменши были грабители и мошенники и т. д. Вообще исторія эта темная, едва-ли даже не темнѣе исторіи пришествія варяговъ въ Россію. Но вотъ фактъ, не подлежащій ни малѣйшему сомнѣнію: *viribus unitis*, соединенными силами ферштандсменша и гефюльсменша произведенъ весь блескъ, который сейчасъ тамъ за оградой поразить и ослѣпить насъ. Это только фактъ, но фактъ первенствующей важности, отъ котораго и надо отправляться, приступая къ разсмотрѣнію публичнаго отчета цивилизаціи. Не всѣ такъ смотрятъ, конечно, даже большинство смотритъ иначе, въ томъ числѣ устроители и распорядители публичнаго отчета цивилизаціи. Девизъ выставки: *viribus unitis*—означаетъ для нихъ

соединенныя силы народовъ. Если хотите, оно, пожалуй, вѣрно. Выставка дѣйствительно создана соединенными силами народовъ, и въ этомъ смыслѣ дѣло не обошлось даже безъ трогательныхъ эпизодовъ. Народы, какъ извѣстно, съ полнымъ удовольствіемъ откликнулись на зовъ гостепріимной Вѣны, однако не всѣ. Восточные народы нѣсколько заупрямились. Не заупрямился, конечно, Египетъ, блистательный повелитель котораго некогда не упустить случая пустить пылъ въ глаза кому слѣдуетъ и кому не слѣдуетъ. Не заупрямилась и обновляющаяся, справляющая медовый мѣсяцъ цивилизаціи Японія. Но Китай, Персія, Тунисъ, Марокко заупрямились. Послѣдніе два народа откровенно и чистосердечно, на-прямикъ, заявили, что у нихъ денегъ нѣтъ, и что поэтому, несмотря на все ихъ желаніе, они не могутъ принять участія въ публичномъ отчетѣ цивилизаціи. Они помнили коварный вопросъ Санчо-Пансо: «на какія деньги странствуютъ благородные рыцари?» Не знаю, помнятъ-ли этотъ вопросъ персіане, но во всякомъ случаѣ отъ Персіи долго не могли добиться удовлетворительнаго отвѣта на приглашеніе. Окончательное мнѣніе Персіи воспослѣдовало едва-ли не благодаря желанію шаха постраивать по Европѣ вообще и быть на выставкѣ въ особенности. Китай, наконецъ, заупрямился, кажется, только потому, что онъ Китай. Но всѣ эти маленькія непріятности не только не помѣшали большому удовольствію, а даже увеличили его, ибо дали возможность развернуться международной любезности, и при томъ не только платонической: австрійскій консулъ въ Тангерѣ Шмидтъ рѣшилъ устроить марокканскій отдѣлъ на свой счетъ; тоже самое сдѣлалъ для Туниса триестскій банкиръ Морпурго-Нильма; Китаю тоже помогли европейцы. Такимъ образомъ различныя немощи Востока были побѣждены любезностью и щедростью Запада. Изъ этого видно, что выставка дѣйствительно создана *viribus unitis* народовъ всего міра, и тотъ, кто видитъ въ выставкѣ только выставку, можетъ смѣло успокоиться на этомъ выводѣ. Но какъ и чѣмъ создано то, что стоитъ, лежитъ, виситъ на выставкѣ? Ужъ, конечно, соединенными силами не народовъ, а ферштандсменшовъ и гефюльсменшовъ. Къ сожалѣнію, эта точка зрѣнія не въ ходу, а она была-бы немного поплодотворнѣе. Впрочемъ, одна изъ здѣшнихъ, специально посвященныхъ выставкѣ газетъ, *Internationale Ausstellungs Zeitung*, издающаяся въ видѣ приложенія къ *Neue freie Presse*, остановилась разъ на этомъ пунктѣ. Почтенная газета сказала мало новаго: мы, говоритъ, видимъ вокругъ себя блестящіе результаты сотрудничества ферштандсменшовъ и гефюльсмен-

шовъ, которые и на будущее время должны идти рука объ руку, дружно, мирно, не дѣлая другъ другу пакостей, соединенными силами охраняя алтарь цивилизаціи и отворачиваясь отъ социализма, грозящаго уничтожить обособленность ферштандсменшовъ и гефюльсменшовъ и *тѣмъ самымъ* прекратить ростъ цивилизаціи. Тутъ новаго въ самомъ дѣлѣ мало; но пріемъ, имѣя въ виду фактическую сторону дѣла, несомнѣнно хорошъ и во всякомъ случаѣ лучше изъѣзженныхъ, какъ проселочная дорога, разговоръ о томъ, что вотъ, молъ, соединенными силами народовъ какую штуку устроили. Народы только свезли въ одно мѣсто продукты сотрудничества ферштандсменшовъ и гефюльсменшовъ и затѣмъ другъ передъ другомъ величаются. И то, конечно, поучительно и достойно вниманія. Но не слѣдуетъ тоже упускать изъ виду, что за всемірной выставкой слѣдуетъ обыкновенно всемірная потасовка. Народы, убравши во-своихъ продукты сотрудничества ферштандсменшовъ и гефюльсменшовъ, берутся за ружья, пушки, знамена, барабаны, сабли и устраиваютъ нѣкоторую международную бойню, не смотря на всѣ сопровождающія выставку великолѣпныя рѣчи о торжествѣ цивилизаціи и мирныхъ сношеній. Ахъ! сколько такихъ рѣчей было сказано и написано по поводу первой всемірной выставки—лондонской 1851 года. Бѣдный Элю Борритъ такъ вдохновенно говорилъ тогда о вѣчномъ мирѣ. Его слушали, ему аплодировали, всѣмъ казалось такъ естественнымъ и понятнымъ, что послѣ публичнаго отчета цивилизаціи, послѣ того какъ народы свезли въ хрустальный дворецъ все, что у нихъ было въ печи,—война есть *pop sens*. Но за лондонской выставкой слѣдовала крымская потасовка, за другими выставками слѣдовали другія потасовки. На официальномъ открытіи вѣнской выставки была исполнена кантата, оканчивающаяся словами.

Einen Völker Friedenbund
Feiert heute Oesterreich.

Но будущее въ рукахъ божіей... Дѣло, впрочемъ, не въ этомъ, а просто въ томъ—много ли можно выжать изъ того факта, что народы свезли свои произведенія въ одно мѣсто, въ хрустальный дворецъ, въ Елисейскія поля, въ Пратеръ? Ну, свезли, потомъ развезутъ. Между тѣмъ какъ печать происхожденія выставленныхъ вещей, печать знаменитой фирмы «ферштандсменшъ и гефюльсменшъ» останется на нихъ до послѣдней минуты ихъ существованія. Говорятъ, что это единственная фирма, способная вести дѣло цивилизаціи. Говорятъ, что ликвидація этой фирмы есть ликвидація цивилизаціи. Это говорить, напримѣръ, вышеупомянутая статья

Internationaler Ausstellungs Zeitung. Мнѣ хочется привести изъ нея одно мѣсто, касающееся нашего отечества. Поговоривъ объ ужасахъ социализма на западѣ, желающаго ликвидировать дѣла фирмы «ферштандсменшъ и гефюльсменшъ», произведенія которой наполняютъ Пратеръ, почтенная газета продолжаетъ:

«Соціалистическія идеи даютъ себя знать и въ далекихъ равнинахъ Россіи, хоть и не съ такою очевидностью, какъ въ западной Европѣ. Но зато тамъ онѣ имѣютъ подъ собой особенно выгодную почву. Одинъ высокопоставленный русскій государственный дѣятель и вмѣстѣ крупный землевладѣлецъ, задолго до освобожденія крестьянъ, выражалъ при насъ мнѣніе, что уничтоженіе крѣпостного права будетъ имѣть въ Россіи всѣмъ не тѣ послѣдствія, какія оно имѣло въ Европѣ. Онъ говорилъ: «Наши чиновники и попы постоянно внушали крѣпостнымъ, что земля и человекъ, земельная собственность и мужикъ — нераздѣльны. На этомъ именнс основаніи и признавалось, что землевладѣлецъ есть *ipso facto* собственникъ проживающихъ на его землѣ крестьянъ. Крестьяне, наконецъ, сжились съ этой идеей. И вы увидите, что когда ихъ освободятъ, они, совершенно послѣдовательно, будутъ требовать себѣ всей земли, какъ нераздѣльной ихъ собственности». Такъ и случилось. И хотя попытки осуществленія этой идеи были подавлены военной силой, но въ крестьянахъ живетъ убѣжденіе, что ихъ права нарушены. Къ этому еще надо прибавить, что во многихъ земледѣльческихъ общинахъ Россіи существуетъ коммунистическое хозяйство; что наконецъ нигдѣ въ цѣломъ мірѣ нѣтъ такой продажности, какъ въ русскомъ чиновничествѣ. Изъ всего этого видно, что на востокѣ Европы опасность социализма гораздо настоятельнѣе, чѣмъ въ западныхъ государствахъ, хотя въ Россіи и имѣются подъ рукой болѣе энергическія репрессивныя средства».

Разберите ужъ сами, сколько здѣсь правды и сколько вранья, сколько смысла и сколько безсмыслицы; сколько, напримѣръ, смысла въ признаніи продажности чиновничества—грѣхъ, о которомъ австріецъ долженъ бы былъ говорить, нѣсколько зарумянившись,—однимъ изъ условій, выгодныхъ для распространенія социализма. Я привелъ эту небезъинтересную тираду только такъ, по дорогѣ.

Я у входа, плачу свой гульденъ и съ нѣкоторымъ благоговѣніемъ озираюсь кругомъ. Надѣюсь, что благоговѣніе понятно, законно. Я очутился не только на «поприщѣ мирнаго соперничества народовъ всего міра», — это слишкомъ официально; не только въ «морѣ мысли, въ которое нынѣ все вливается», — это слишкомъ глупо; даже не только на «пу-

«ближномъ отчетѣ цивилизаціи», потому что и это, пожалуй, недостаточно сильно сказано. Всемирная выставка есть не просто публичный отчетъ цивилизаціи,—мало ли какіе отчеты бываютъ, — а отчетъ съ нѣкоторой, и огромной претензіей: въ немъ фирма «ферштандсменшъ и гефюльсменшъ» ищетъ права на званіе благотѣлительницы человѣческаго рода. И я благоговѣю.

Я иду черезъ западные ворота (West Entrance) по Elisabeth Avenue. Налѣво, вижу, американскій ресторанъ почти пустой, направо нѣмецкій ресторанъ Куммера, въ которомъ негдѣ яблоку упасть. Дальше направо—Пильзенская Bierhalle и рядомъ съ ней что-то только еще устраивающееся. Спрашиваю, что тутъ будетъ, говорятъ: ресторанъ подѣ названіемъ «Ungarischer Weinhaus». Дальше опять какая-то Bierhalle, дальше американская Trinkhalle, а тамъ вижу хорошенькій домикъ съ надписью «Швейцарская кондитерская». Для начала недурно, весело и неожиданно. Я, по крайней мѣрѣ, не ожидалъ наткнуться съ перваго-же шагу на такое гнѣздо гастрономическихъ учрежденій, тѣмъ болѣе, что я еще не вижу многихъ этого рода заведеній, о которыхъ уже слышалъ: нѣтъ русскаго ресторана, французскаго, знаменитаго вѣнскаго Захера, итальянскаго, турецкой кофейной и проч., и проч. До всего этого еще дойдетъ чередъ. Это хорошо, что на публичномъ отчетѣ цивилизаціи есть гдѣ закусить и выпить, потому что старинная поговорка: *plenus venter non studet libenter*, или сытое брюхо къ ученью глухо,—есть вздоръ. Но все-таки я вижу, что не боги горшки обжигаютъ, и мое благоговѣніе не то что спадаетъ, а принимаетъ болѣе скромные размѣры. Я даже заносчиво рѣшаю, что не увижу ничего поучительнаго въ Elisabeth Avenue, круто сворачиваю налѣво и натыкаюсь на павильонъ газеты Neue Freie Presse. Это большая, прекрасная, свѣтлая, чистая типографія, въ которой печатается довольно плохая и мутная вышеупомянутая Internationale Ausstellungs Zeitung; тутъ же имѣется кабинетъ редакціи и контора газеты.

Обогнувъ павильонъ, я очутился противъ главнаго зданія выставки—Industrie Palast'a и именно противъ французскаго отдѣла. Вотъ оно,—настоящее! Чудесное зданіе выставки, деревянное, но такъ отштукатуренное и отбѣланное, что даже вблизи трудно разглядѣть, что оно не каменное, это чудесное зданіе было отъ меня на разстояніи всего ширины Невскаго проспекта. Но пройти это разстояніе было не такъ-то легко. Тутъ валялись неоткупоренные тюки и ящики, стояли телѣги, наполненные и пустыя, толпились красные, мокрые отъ жары и работы гефюльс-

меншы всѣхъ націй. Вотъ какъ-то дико «гиркается» на своихъ здоровенныхъ лошадяхъ, еле вывозящихъ тяжелую телѣгу, венгерецъ. Тамъ слышится въ кучкѣ говоръ, напоминающій родную славянщину. Здѣсь итальянскій гефюльсменшъ старается на ломаномъ нѣмецкомъ языкѣ объяснить что-то французскому ферштандсменшу, чѣмъ-то распоряжающемуся. Вотъ степенной походкой проходятъ два восточные человѣка въ большихъ чалмахъ, но безъ всякаго признака обуви, несмотря на то, что площадь выставки усыпана неизвѣстно зачѣмъ острой галькой, которая способна въ одинъ день доконать хорошіе сапоги. Вотъ торопливо пробираются два японца, оба маленькіе, узкоглазенькіе, безбородые, у обоихъ цвѣтъ лица напоминаетъ нечищенный сапогъ. Но одинъ изъ нихъ въ цилиндрѣ и въ европейскомъ костюмѣ,—это японскій ферштандсменшъ, а другой, въ синей курткѣ съ вышитыми на ней драконами и другими чудищами,—это японскій гефюльсменшъ.

Поглазѣвъ на весь этотъ людъ и на всѣ эти тюки и ящики, я пробираюсь наконецъ въ Industrie Palast. Тутъ вкладываю персты свои въ язвы гвоздиныя и вижу, что публичный отчетъ цивилизаціи находится въ совершенно эмбриональномъ состояніи. Бѣдный баронъ Шварцъ! Бѣдные посѣтители выставки! Вездѣ идетъ приколачиваніе, распаковка, установка не то что вещей, а витринъ. Вездѣ протянуты веревки, замѣняющіяся мѣстами лаконической надписью: *verbotener Eingang*. Восточные народы оказались при этомъ значительно аккуратнѣе западныхъ, изъ которыхъ, впрочемъ, Швейцарія убралась почти совсѣмъ. Зато энергическіе янки совсѣмъ сплеховали. Въ большомъ помѣщеніи, отведенномъ для Сѣверной Америки, не было буквально ничего, кромѣ одного курьеза, — на одной изъ стѣнъ была изображена нѣкоторымъ образомъ «свиньяда», исторія свиньи какъ полезнаго животнаго: на одной картинѣ свинья въ хлѣву, на другой ее рѣжутъ, на третьей палатъ, на четвертой рубятъ и т. д. Оригинально и поучительно. Оригинальными и поучительными показались мнѣ также аккуратность и стремленіе къ художественности господъ стеариновыхъ и мыльныхъ фабрикантовъ. Они почти всѣ выставили уже свои продукты, между которыми любопытны статуи изъ стеарина и мыла: одинъ выставилъ колоссальный монументъ въ честь основателя стеариноваго производства, другой гигантскую колонну, третій какого-то генія и т. д. Подобныхъ курьезовъ, впрочемъ, не мало на выставкѣ: есть, напримѣръ, листъ бумаги въ 4 мили длинной, такъ что на развертываніе его ушло 42 часа; есть картины изъ спичекъ; есть Стефанъ Баторій изъ са-

хара (въ русскомъ отдѣлѣ) и проч.; Швеція выставила огромный кусокъ полярнаго льду, ничѣмъ впрочемъ отъ всякаго другого льда не отличающагося.

Мнѣ кажется, впрочемъ, что чудеса въ родѣ стеариновой статуи на мыльномъ пьедесталѣ или въ родѣ спичечной картины нѣсколько компрометируютъ публичный отчетъ цивилизаціи, придаютъ ему видъ балагана. Мнѣ кажется, что ихъ мѣсто тоже за оградой, тамъ-же, гдѣ показываютъ человѣка, могущаго высидѣть пять минутъ подъ водой, восковыя фигуры, клоуновъ, играющихъ на скрипкѣ ногами, и проч. Я понимаю, что гефюльсменшъ сдѣлаетъ все, что ему закажутъ: наполнить стеариномъ форму, изображающую генія, а потомъ опять надѣлаетъ изъ генія стеариновыхъ свѣчей, ибо этотъ геній стеариновая свѣчка есть и въ стеариновую свѣчку обратится. Но ферштандсменшъ, которому пришла въ голову такая идея,—кого онъ благодарить хочетъ? Одинъ изъ такихъ курьезовъ навелъ меня на очень грустныя мысли. Въ русскомъ отдѣлѣ, въ числѣ предметовъ, выставленныхъ Строгановскимъ училищемъ технического рисованія, есть странный образецъ каллиграфическаго искусства. Вы видите доску, на которой въ безвкусномъ и придуманномъ безпорядкѣ лежатъ книги, номеръ «Московскихъ Вѣдомостей», тетради, карандаши, перочинные ножи, счеты. Все это, какъ значится на подписи, изображено (не умѣю выбрать выраженіе: написано или нарисовано) ученикомъ Строгановскаго училища С. Андреевымъ «по проекту и подъ наблюденіемъ учителя его, каллиграфа А. И. Глюске». Тщательно выводя, на манеръ печатнаго, заглавія книгъ (между которыми самое видное мѣсто занимаютъ руководства г. Глюске), заглавія тетрадей и проч., г. Семеновъ былъ гефюльсменшомъ, исполнявшимъ заказъ ферштандсменша г. Глюске. Поэтому можно только сказать, что онъ исполнилъ заказъ довольно искусно. Но, ради Аполлона и девяти Музъ, скажите, неужели это въ самомъ дѣлѣ искусство? И неужели ферштандсменшу г. Глюске не жаль было убивать молодыя силы гефюльсменша г. Семенова на такую египетскую работу, т.-е. работу тяжелую и бесполезную? Я задумался о будущности молодого каллиграфа и о прошедшемъ стараго каллиграфа, объ ихъ *âge des fleurs et du soleil*..

Въ такомъ-то раздумьи шелъ я по русскому отдѣлу, въ которомъ было весьма мало посѣтителей. Впрочемъ, это отнюдь не относится къ нашему безчестію, потому что посѣтителей было и вездѣ немного, ихъ мало даже по сихъ поръ. Вотъ нѣсколько цифръ, которыя я записалъ на удачу: 3 мая, т. е. на третій день послѣ открытія, при входной

платѣ въ 5 гульденовъ, посѣтителей было 5252; 4 мая, при платѣ въ 2 гульдена—7497, но въ этомъ числѣ больше половины даровыхъ билетовъ, выдаваемыхъ экспонентамъ, рабочимъ, членамъ администраціи выставки; 16 мая—17,984, изъ которыхъ, однако, только 6731 заплатили полную входную плату (1 гульденъ), 1517 пришли съ недѣльными билетами (5 гульденовъ за 7 дней) и съ офицерскими (30 крейцеровъ), 9736 даровыхъ; 20 мая—13,753, изъ нихъ исполнѣ оплаченныхъ 5698, недѣльных и офицерскихъ 1588, даровыхъ 6467; 26 мая 20,595, изъ которыхъ исполнѣ оплаченныхъ 8084, недѣльных и офицерскихъ 2009, даровыхъ 10,502. Это количество посѣтителей рѣшительно тонетъ въ огромномъ пространствѣ выставки (2.330,631 кв. метр.), и чего добраго — выставка потерпитъ фіаско въ нравственномъ отношеніи и огромной дефицитъ въ матеріальномъ. Въ маѣ средній ежедневный доходъ выставки былъ 9,118 гульденовъ, а дирекція рассчитывала на 50,000. Впрочемъ, по воскресеньямъ и праздникамъ, когда плата за входъ спускается до 50 крейцеровъ, народу бываетъ несравненно больше. Такъ 11 мая всѣхъ посѣтителей было 30,000. Въ ту минуту, какъ я пишу, ходятъ слухи, что и въ будни плата будетъ 50 крейцеровъ.

Итакъ я шелъ по пустынному русскому отдѣлу, который былъ пустыненъ только относительно, какъ и вся выставка. Народъ былъ и въ русскомъ отдѣлѣ, его было даже пожалуй не мало. Я видѣлъ порядочныя группы около витринъ мѣховщиковъ, около русскихъ музыкальных инструментовъ, около русскихъ парчей. Я слышалъ, между прочимъ, какъ одна барыня, узнавъ отъ своего кавалера о главномъ назначеніи парчей, воскликнула: «*sie müssen ganz elegant sein, die russischen Popen!*» Да, матушка, подумалъ я, посмотрѣла бы ты на какого-нибудь сельскаго элганта! Но больше всего публики было около стоящихъ почти рядомъ брилліантовъ Чичелева, издѣлій изъ малахита и лаписъ-лазури Гессриха, издѣлій изъ ашмы, топаза, горнаго хрустала екатеринбургскаго фабриканта Стебакова и особенно около серебряныхъ вещей Овчинникова. Витрины ювелировъ и т. п. составляютъ, впрочемъ, во всѣхъ отдѣлахъ нѣкоторые притягательные центры для большинства посѣтителей выставки. Такъ ужъ человѣкъ должно быть устроенъ. Дѣлать съ этимъ нечего, но нельзя однако не замѣтить, что по большей части люди, толпящіеся около витринъ ювелировъ, золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастеровъ и т. п., суть наименѣе интересные экземпляры человѣческой породы. Можетъ быть это отъ того зависеть, что въ созерцаніи вещей изъ

драгоценных камней и металлов выражается самая общая, самая обыкновенная и по тому самому уже наименее интересная слабость человеческого характера. Может и от чего другого. Я только констатирую замеченный мною факт.

Однако, на этот раз я услышал около витрины Овчинникова, по крайней мере, интересный разговор. А интересный разговор хоть и не то, что интересный человек, но все-таки нечто, не часто встречающееся у витрин ювелиров и золотых дел мастеров.

— Да, вы правы, говорил высокий худощавый, длинноволосый немец, обращаясь к трем-четырем своим спутникам и энергично жестикуюя: — вы правы, это превосходно, *prachtvoll, famos, colossal, unübertrefflich*. Это лучшее из всего, что выставила Россия. В остальном я вижу только, что она богата от природы, что у нея малеху столько, что она может делать из него столы и каминны, что мѣха у нея въ Сибири необычайные, но цивилизации ея или вовсе не вижу, или вижу голое подражаніе. Напримѣръ, русскія бронзовыя вещи — это вообще просто посредственные или даже плохія французскія вещи. А это совсѣмъ другое дѣло. (Немецъ ткнулъ пальцемъ въ витрину Овчинникова). Это такая работа, въ которой онъ знаетъ чему удивляться, изяществу ли рисунка, или терпѣнію работника. Ничего подобного въ этомъ родѣ на всей выставкѣ нѣтъ, да и быть не можетъ.

— Ужъ и нѣтъ? ужъ и быть не можетъ?

— Нѣтъ и быть не можетъ, это вѣрно. Есть вещи, пожалуй, лучше, но всѣ онѣ въ сравненіи съ русскими серебряными издѣліями очень ординарны по замыслу и безхарактерны. А это, во-первыхъ, чисто національный стиль какъ формы вещей, такъ и рисунка черни и эмали, значитъ, ужъ, поэтому, его не можетъ быть въ другихъ отдѣлахъ; а во-вторыхъ, такая работа возможна только въ странѣ съ дешевыми рабочими и при отсутствіи средняго сословія, въ странѣ, болѣе или менѣе варварской, чему, пожалуй, и рисунокъ соответствуетъ: не смотря на всю его красоту, вы сразу видите, что это Азія...

— Пошли парадоксы!...

— Ни малѣйшаго парадокса. Разсудите сами, вѣдь рабочій, который сдѣлаетъ этотъ рисунокъ, долженъ быть художникомъ, онъ долженъ обладать талантомъ, долженъ воспитать свой талантъ. Какой заработной платы потребуетъ онъ у насъ? Такой, что этимъ вещамъ цѣны не будетъ, на нихъ не найдется покупателей. Это разъ. А потомъ, явись рядомъ съ этимъ мелкимъ ремесломъ фабричная промышленность и, слѣдовательно,

среднее сословіе, фабрика уничтожить, задушить это ремесло со всей его красотой и національнымъ характеромъ...

Собесѣдники ушли, продолжая болтать, а я сталъ дотягивать нитку мысли разговорчиваго нѣмца. Въ ней, въ этой мысли, не мало вѣрнаго. Но главное вотъ чтó. Все, чтó лежитъ, виситъ, стоитъ на выставкѣ, несомнѣнно создано фирмой «ферштандсменшъ и гефюльсменшъ». Но эта фирма старинная и компаніоны ея, оставаясь ферштандсменшами и гефюльсменшами, тѣмъ не менѣе въ теченіе вѣковъ измѣнялись, измѣнялись и подробности ихъ взаимныхъ отношеній, измѣнялись и характеръ, и цѣль ихъ произведеній.

Различныя національности расположились во дворцѣ промышленности въ приблизительно географическомъ порядкѣ отъ запада къ востоку; Бразилія, Сѣверная Америка, Англія, Португалія, Испанія, Франція и т. д., Турція, Египетъ, Персія, Китай, Японія, Сіамъ. Недалеко отъ восточныхъ отдѣловъ стоятъ отдѣльныя зданія: копія константинопольскаго фонтана Ахмеда, дворецъ египетскаго вице-короля, японскія постройки, турецкій домъ, марокканскій домъ, турецкая кофейная, турецкій базаръ, персидскій домъ и *Cercle oriental*, — очень оригинальное зданіе, одна половина котораго построена въ японско-китайскомъ стилѣ, другая въ персидско-турецкомъ, а середина въ арабскомъ; кромѣ того, тутъ же находятся сіамская бесѣдка и турецкая кухня. Такъ вотъ, если идти, скажемъ, отъ запада къ востоку или, пожалуй, наоборотъ, то постепенное измѣненіе взаимныхъ отношеній компаніоновъ фирмы «ферштандсменшъ и гефюльсменшъ» выразится передъ нами наглядно.

Первое, чтó бросается въ глаза, — это присутствіе въ восточныхъ и отсутствіе въ западныхъ отдѣлахъ, если можно такъ выразиться, моделей людей, манекеновъ въ національных костюмахъ. Въ персидскомъ, въ турецкомъ, въ египетскомъ, въ тунисскомъ отдѣлахъ на васъ со всѣхъ сторонъ смотрятъ странныя фигуры въ странныхъ костюмахъ. Вотъ, напримѣръ, Тунисъ. Кругомъ разложены кукуруза, горохъ, орѣхи, стволы деревьевъ и прочія незамысловатыя, Богомъ Тунису данныя вещи. Есть, впрочемъ, и кое-какія произведенія рукъ тунисскихъ чело-вѣковъ: расшитые золотомъ и камнями чепраки и сѣдла, кое-какая посуда. И среди всего этого палатка, а въ палаткѣ, должно быть, бей, хоть шипки на носу у него нѣтъ. Сидитъ онъ поджавши ноги и куритъ трубку; передъ нимъ лежатъ на столѣ какія-то сладости, что-то въ родѣ мармелада и миндальныхъ печеній. Какъ ни глупо лицо этой модели тунисскаго чело-вѣка, но это несомнѣнно

тунисскаго ферштандсменша. Тутъ-же есть и тунисскае гефюльсменша, которые въ живомъ видѣ подають, вѣроятно, безъ трубку, пекутъ миндальные пирожки, расшиваютъ золотомъ чепраки и сѣдла и подставляютъ, не знаю, спину или пятки для палочныхъ ударовъ. Въ турецкомъ отдѣлѣ есть довольно некрасиваго фасона золоченый экипажъ, въ которомъ сидитъ модель жены турецкаго ферштандсменша и т. п. Въ европейскихъ отдѣлахъ подобныхъ моделей, конечно, нѣтъ, если не считать нѣсколькихъ манекеновъ въ колоніальныхъ отдѣлахъ выставки. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Всеневелирирующая мода задаетъ тонъ, въ противоположность національности, не мѣсту, а времени. Но, вмѣстѣ съ исчезновеніемъ національныхъ костюмовъ, вы, подвигаясь къ западу, можете наблюдать постепенное исчезновеніе и всякихъ другихъ національных особенностей. Напримѣръ, нѣкоторые русскія серебряныя издѣлія, по справедливому замѣчанію вышеупомянутаго нѣмца, еще сохраняютъ извѣстный своеобразный, національный отпечатокъ, но въ болѣе западныхъ отдѣлахъ искать его будетъ все труднѣе и труднѣе, хотя окончательное его исчезновеніе можно наблюдать далеко не на всякаго рода продуктахъ.

Причину или, по крайней мѣрѣ, одну изъ главныхъ причинъ этого явленія узнать (очень не трудно). Вы увидите ее съ перваго взгляда, если вы знатокъ, сличивъ, напримѣръ, какую-нибудь бумажную или шерстяную ткань, которая украшаетъ модель тунисскаго бея, съ таковою-же матеріею, висящею въ витринѣ, напримѣръ, австрійскаго фабриканта Либиха. Для знатока сравненіе восточныхъ тканей, въ числѣ которыхъ есть превосходныя, съ западными вообще поучительно. Но я не знатокъ и потому поведу васъ совсѣмъ вонъ изъ дворца промышленности въ расположенный параллельно ему механическій отдѣлъ. Это огромная галерея, длиною безъ малаго въ версту, въ которой свистать, шумять и щелкають различныя машины. Въ этомъ отдѣленіи выставки Востока нѣтъ вовсе, все западъ. Оканчивается оно Россіей. Да и то при взглядѣ на русскій механическій отдѣлъ, въ которомъ, между прочимъ, стоятъ экипажи, — потому-ли, что для русскихъ экипажей нѣтъ мѣста, или потому, что для русскаго механическаго отдѣла русскихъ машинъ не хватало — не знаю, — при взглядѣ, говорю, на русскій механическій отдѣлъ вспоминаются слова поэта:

Вы зачѣмъ здѣсь, несчастныя дѣти?!

Итакъ здѣсь нѣтъ Востока. Ткань, изъ которой сшиты шаровары великолѣпнаго тунисскаго ферштандсменша, изготовлена самыми первобытными способомъ, прямо ру-

ками тунисскаго гефюльсменша на какомъ-нибудь грубѣйшемъ станкѣ, сколоченномъ изъ деревянныхъ палокъ. Тогда какъ на фабрикахъ барона Либиха дѣйствуетъ множество водяныхъ колесъ, турбинъ и паровыхъ машинъ, дающихъ 1,830 лошадиныхъ силъ; работниковъ у него 6,300 человекъ; газу онъ у себя на фабрикахъ сжигаетъ въ годъ 6.000,000 куб. футовъ, податей платитъ 140,000 гульденовъ. Почтенныя цифры! Я понимаю, что баронъ Либихъ отказался отъ предложеннаго ему пожизненнаго званія члена палаты господъ. Я понимаю также, что знаменитый Крупшъ, который блистаетъ и на вѣнской всемирной выставкѣ, какъ блисталъ на предыдущихъ, и который располагаетъ цифрами, еще болѣе почтенными, чѣмъ баронъ Либихъ, отказался отъ предложеннаго ему въ 1864 году прусскаго дворянскаго достоинства. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ оно человеку съ такими цифрами? Зачѣмъ ему, представителю, одному изъ воплощеній новыхъ боговъ, надѣвать на себя ветхую хламиду старыхъ боговъ? Впрочемъ, это мимоходомъ. Но, во всякомъ случаѣ, мнѣ подвернулось нужное слово: старые боги и новые боги — вотъ чего слѣдуетъ искать на всемирной выставкѣ, кромѣ сотрудничества ферштандсменшъ и гефюльсменшъ. Надъ палаткой тунисскаго бея, въ складахъ его шароваръ, въ миндальномъ почтеніи, стоящемъ передъ нимъ, витають старые боги. Машинное отдѣленіе есть храмъ новыхъ боговъ. И то простое обстоятельство, что шаровары великолѣпнаго бея сшиты изъ матеріи, вытканной чуть не голыми руками тунисскаго гефюльсменша, а матеріи барона Либиха изготовлены при помощи великолѣпныхъ машинъ Platt и K°, — это простое обстоятельство указываетъ на одно изъ существеннѣйшихъ различій между старыми и новыми богами. Тунисскаго гефюльсменша вложилъ въ свой продуктъ непосредственно свой личный талантъ, свой глазомѣръ, свою фантазію, свою физическую силу. Но что такое личный талантъ, личная фантазія, личный глазомѣръ тунисскаго человека? Это національный талантъ, національная фантазія, осмѣливаюсь даже сказать, національный глазомѣръ. Какъ ни странно на первый взглядъ это выраженіе, но оно вѣрно. Кто видѣлъ, напримѣръ, снимки съ рисунковъ древнихъ египтянъ, — а кто ихъ не видѣлъ? — тотъ знаетъ, что глазомѣръ можетъ быть національнымъ. Въ созданіи матеріи барона Либиха или всякаго другого европейскаго фабриканта личныя свойства гефюльсменша, напротивъ, не принимаютъ, можно сказать, никакого участія, особенно съ тѣхъ поръ, какъ самыя машины приготавливаются при посредствѣ машинъ. Поэтому, если бы даже

никакія другія причины не вліяли на разрушеніе національнаго характера произведеній извѣстной страны, если бы національный типъ продолжалъ отражаться, какъ въ зеркалѣ, въ личныхъ силахъ и свойствахъ работника, однихъ машинъ, устраняющихъ всякую надобность въ личныхъ особенностяхъ, было бы достаточно для устраненія національнаго характера продуктовъ фирмы «ферштандсменшъ и гефюльсменшъ». Но этимъ прямымъ, непосредственнымъ вліаніемъ на продуктъ, на результатъ работы гефюльсменша не исчерпывается враждебное національности дѣйствіе машинъ. Онѣ вмѣстѣ съ другими дѣятелями исторіи разрываютъ тѣ отношенія между компаніонами фирмы «ферштандсменшъ и гефюльсменшъ», которыя выросли на національной почвѣ, вводятъ новыя потребности.

Вотъ одна изъ главнѣйшихъ причинъ, по которой, подвигаясь по выставкѣ отъ востока къ западу, вы видите постепенное исчезновеніе національнаго характера различныхъ произведеній фирмы «ферштандсменшъ и гефюльсменшъ», постепенное паденіе старыхъ боговъ, которые у каждой націи свои, тогда какъ новыя боги неумолимо обязательны для всѣхъ. Марксъ очень вѣрно замѣтилъ, что противоположность между древнимъ и новымъ міросозерцаніемъ лучше всего выражается сопоставленіемъ одного изреченія Аристотеля съ изреченіемъ Франклина. Первый, какъ извѣстно, сказалъ, что человѣкъ есть «общественное животное», а второй называетъ человѣка «дѣлательмъ машинъ». Но дѣло въ томъ, что опредѣленіе Аристотеля есть специально древне-греческое и у каждого древняго народа, у каждого современнаго народа, еще поклоняющагося старымъ богамъ, оно будетъ свое, особенное. Тогда какъ «дѣлатель машинъ» есть опредѣленіе всемірное. Оно конечно, немного односторонне, потому что въ концѣ концовъ человѣкъ дѣлаетъ машину не для машины; но въ немъ много вѣрнаго. Человѣкъ стремится прожить полегче и покомфортабельнѣе и, можетъ быть, осязательнѣе всего достигаетъ этихъ цѣлей при помощи машинъ, т. е. сваливая съ себя трудъ на механическихъ дѣятелей. Въ этомъ отношеніи прогулка по механическому отдѣлу публичнаго отчета цивилизаціи весьма поучительна. Во дворцѣ промышленности вы видите уже готовые продукты, готовые вещи, предназначенныя для удовлетворенія человѣческой потребности прожить полегче и покомфортабельнѣе. Но это только одна сторона дѣла. Цивилизація не только снабжаетъ васъ удобной и роскошной мебелью, наряжаетъ въ изящные костюмы, кладетъ вамъ въ карманъ часы, надѣваетъ на голову шляпу, наполняетъ вашъ буфетъ

хрусталею и фарфоромъ и проч. Она дѣлаетъ больше. Снабжая васъ этими благами, она удешевляетъ способы ихъ производства, экономизируетъ человѣческій трудъ. И эта закулисная сторона цивилизаціи почти вся представлена въ механическомъ отдѣлѣ выставки. Вы увидите здѣсь машины для приготовления булавокъ, передъ которыми совершенно блѣднѣетъ знаменитый классическій примѣръ, такъ восхищавшій отца политической экономіи; увидите ткацкія и прядильныя машины, на которыхъ одинъ мальчикъ или одна женщина замѣняетъ сотни рабочихъ рукъ; увидите громадныя локомотивы и проч., и проч. Несмотря на то, что здѣсь нѣтъ того блеска, роскоши формъ и красокъ, которыми полонъ дворецъ промышленности, настоящій казовый конецъ публичнаго отчета цивилизаціи находится именно здѣсь, въ механическомъ отдѣлѣ. Отсюда вышли благодѣянія цивилизаціи, столь несомнѣнныя и очевидныя, что становится совершенно понятными тѣ розовыя мечты, которыми предавались нѣкоторые древніе мыслители, прозрѣвая будущее. Аристотель, вмѣстѣ со всѣми древними считавшій рабство неизбѣжнымъ условіемъ общественной жизни, представлялъ себѣ однако, что если бы каждый рабочий инструментъ работалъ самъ собой, если бы, на примѣръ, челноки ткача двигались сами собой, то рабство было бы учрежденіемъ ненужнымъ. Древне-греческимъ ферштандсменшамъ гефюльсменши нужны были только для того, чтобы они, ферштандсменши, могли развивать въ себѣ ту гармонию личности, ту цѣлостность, ту, какъ говорятъ нѣмцы, Totalität, которая въ Греціи дѣйствительно достигала безпримѣрной полноты. Пьяный илотъ, на примѣръ, былъ необходимъ спартанскому ферштандсменшу, но не для грубой потѣхи, а для поученія, и если бы возможно было устроить самоопьяняющую машину, то спартаецъ былъ бы, вѣроятно, удовлетворенъ. Многочисленные рабы были необходимы для аѳинскаго ферштандсменша, но не для удовлетворенія тщеславія, а дабы ему, ферштандсменшу, было удобнѣе гармонически развивать свое существо. Греческій поэтъ Антипаросъ, жившій гораздо позже Аристотеля, въ пламенныхъ стихахъ привѣтствовалъ изобрѣтеніе водяной мельницы; онъ видѣлъ въ ней освободительницу рабынь и залогъ безмятежнаго счастья.

Сбылись мечты. Аристотель съ своей точки зрѣнія можетъ быть и нашелъ бы у насъ рабовъ, но челноки ткача во всякомъ случаѣ бѣгаютъ сами собой, а водяная мельница... но кто же нынче говоритъ о водяной мельницѣ? Но—странное дѣло—по мѣрѣ того, какъ осуществлялись и далеко, далеко обгонялись

фантазіи древнихъ, тѣ самыя гефюльсменши, облегченіе труда которыхъ составляетъ, повидимому, цѣль машинъ, возстаютъ противъ этихъ новыхъ благодѣтельныхъ боговъ, возстаютъ со всею страстностью и необузданностью голоднаго звѣря. Позволю себѣ напомнить вамъ нѣсколько эпизодовъ изъ исторіи машиннаго дѣла. Въ механическомъ отдѣлѣ публичнаго отчета цивилизаціи воспоминанія эти какъ нельзя болѣе умѣстны. Еще въ началѣ XVI вѣка въ Данцигѣ было изобрѣтено нѣкоторое подобіе теперешней ткацкой машины. Но городской совѣтъ запретилъ ея употребленіе и даже, разсказываютъ, велѣлъ удушить или утопить изобрѣтателя. Лѣтъ черезъ сто такая-же машина была пущена въ ходъ въ Лейденѣ, но противъ нея возстали ткачи, требуя ея уничтоженія. Ткацкая же машина произвела возстанія въ XVII и XVIII столѣтіяхъ въ Кельнѣ, въ Гамбургѣ, въ Англіи, и въ Гамбургѣ, напримѣръ, разъяренные гефюльсменши добились того, что ихъ благодѣтельница и освободительница была публично сожжена. Въ первыхъ годахъ нашего вѣка изобрѣтеніе и введеніе парового ткацкаго станка вызвало чуть не во всей Англіи грозное движеніе: ткачи жгли и ломали машины. Мы съ полнымъ правомъ можемъ отнести многое въ этихъ удивительныхъ явленіяхъ на счетъ грубости и невѣжества гефюльсменшъ. Но все-таки такая безсмысленная, черная неблагодарность немислима, если на солнцѣ новаго божества нѣтъ болѣе или менѣе крупныхъ пятенъ. Должны-же были у свирѣпыхъ гефюльсменшъ быть какіе-нибудь, положимъ, грубые, эгоистическіе, но все-таки резонные и вполнѣ реальныя мотивы. А мотивы были слѣдующіе. Данцигскій городской совѣтъ запретилъ употребленіе ткацкой машины и утопилъ ея изобрѣтателя въ тѣхъ видахъ, что машина можетъ пустить массу ткачей по міру, отнявъ у нихъ работу. Введеніе въ Англіи машины для стрижки шерсти отняло работу у 100,000 человѣкъ, которые и предавались всякимъ неистовствамъ. Аркрайтова машина для расчески шерсти вызвала протестъ 50,000 рабочихъ, которые до тѣхъ поръ занимались этимъ дѣломъ.

При прежнихъ отношеніяхъ компаніоновъ фирмы «ферштансменшъ и гефюльсменшъ», при тѣхъ, надъ которыми высились или еще до сихъ поръ высятся старыя боги, подобные случаи немислимы. Возставали гефюльсменши—рабы, крѣпостные или какъ бы они ни назывались—и въ прежнее время и съ еще большею дикостью, но всегда потому, что они были завалены работой. При новыхъ боггахъ гефюльсменши возстаютъ, напротивъ, потому, что у нихъ отнимаютъ работу. Старыя боги насильно савали въ руки гефюльсменша рабочій инструментъ, новые боги насильно

отнимаютъ его. Различіе весьма характерное. Правда, случаи возстанія рабочихъ противъ употребленія машинъ нынѣ уже весьма рѣдки,—европейскіе гефюльсменши перестали прать въ этомъ направленіи противъ рожна. Но, абстрактно говоря, остается все-таки вѣрнымъ, что всѣ механическія приспособленія, находясь въ рукахъ ферштансменшъ, отнимаютъ у гефюльсменшъ хлѣбъ насущный. Фактически дѣло идетъ, разумѣется, не совсѣмъ такъ, потому что волны промышленности поднимаются все выше, разстилаются все дальше и дальше, захватываютъ все новыя и новыя области, и такимъ образомъ вновь засаживаютъ за работу «освобожденнаго» гефюльсменша. Въ концѣ концовъ, говоря словами покойнаго Дж. Ст. Милля,—величайшаго современнаго экономическаго авторитета, по мнѣнію многихъ, и во всякомъ случаѣ умнаго, ученаго и честнаго человѣка,—въ концѣ концовъ всѣ механическія изобрѣтенія не облегчали ни на волосъ труда гефюльсменшъ. Цивилизація надула Аристотеля и Антипароса.

Эта тѣневая сторона цивилизаціи не представлена на ея публичномъ отчетѣ. Этого требовать было бы и неразумно. На то выставка. Тунисскій бей на ней не дуется палками по пятамъ тунисскаго гефюльсменша, а сидитъ, мудро и благородно поджавши ноги, манчестерскій фабрикантъ не тянетъ жилъ изъ гефюльсменша англійскаго, а показываетъ публикѣ свои произведенія. Къ своему публичному отчету цивилизація должна была подбѣлиться, поддурманиваться, подложить куда слѣдуетъ ваты и надѣть шиньонъ. Она выставила весьма утѣшительныя таблицы движенія цѣнъ и торговли, но не выставила и не можетъ выставить таблицы движенія пролетариата. Это тѣмъ болѣе въ порядкѣ вещей, что, умалчивая о пятнахъ на солнцѣ, цивилизація не прямо лжетъ, а только умалчиваетъ. Но представлено ли по крайней мѣрѣ достаточно ясно несомнѣнное фактическое торжество новыхъ боговъ? Нѣтъ, да оно и не можетъ быть представлено на выставкѣ, ибо всякая всемірная выставка есть только дорого стоящая забава, серьезная сторона которой ничтожна. Это зависитъ отчасти отъ неизбѣжныхъ неудобствъ всякой всемірной выставки самой по себѣ, отчасти отъ свойствъ огромнаго большинства публики, съѣзжающей якобы принимать отъ цивилизаціи отчетъ.

Представимъ себѣ человѣка, пріѣхавшаго на вѣнскую всемірную выставку безъ знакомства съ многочисленными побочными условіями, при которыхъ она происходитъ. Куда онъ ни пойдетъ, онъ вездѣ наткнется на Австрію: во дворцѣ промышленности она

занимает огромное, подавляющее пространство и, напримѣръ, коврамъ, мебельнымъ матеріямъ и другимъ тканямъ австрійскаго фабриканта Филиппа Гааса отведено мѣсто, равняющееся, пожалуй, трети всего русскаго отдѣла; кромѣ того, въ машинномъ отдѣлѣ, въ сельскохозяйственномъ, въ самомъ паркѣ, въ многочисленныхъ отдѣльныхъ павильонахъ — Австрія вездѣ на первомъ мѣстѣ. Достаточно того, что по официальному (весьма неполному) каталогу, австрійскихъ экспонентовъ (*безъ Венгрии*) — 7490, а англійскихъ — 742, т.-е. ровно въ 10 разъ меньше! Между тѣмъ, какъ дѣйствительное отношеніе между австрійскою и англійскою промышленностью обратное, т.-е. послѣдняя разъ въ 10 развитѣе первой. Немудрено, что императоръ Францъ-Иосифъ, посѣтивъ выставку, нашелъ, что австрійскій отдѣлъ давить все. Но нѣтъ ничего мудренаго и въ томъ, что онъ въ самомъ дѣлѣ давить все. Въ Петербургѣ или въ Москвѣ всегда все будетъ давить русскій отдѣлъ (съ нѣмецкими, впрочемъ, больше именами фабрикантовъ, какъ ядовито замѣчаютъ австрійскія газеты), въ Римѣ — итальянскій, въ Стокгольмѣ — шведскій и даже, можетъ быть, въ Тунисѣ — тунисскій. Австрія у себя дома и потому ей просто себя показать. А тутъ примѣшиваются и другія побочныя обстоятельства. Англія, напримѣръ, представлена въ высшей степени плохо потому, что англичане извѣрились въ «поприща мирнаго соперничества народовъ всего міра» и въ публичные отчеты цивилизаціи. Опытномъ убѣдившись въ нецѣлости этой забавы, ими-же впервые пущенной въ ходъ, они устроили у себя постоянную выставку, а на вѣнскую всемірную взглянули съ полнѣйшимъ презрѣніемъ. Изъ этого видно, что только въ нѣкоторыхъ случаяхъ выставка можетъ дать, и то приблизительное, понятіе о сравнительной высотѣ развитія промышленности въ той или другой странѣ. Къ числу такихъ исключительныхъ явленій принадлежитъ, напримѣръ, французскій отдѣлъ. Глядя на него, поневолѣ, что называется, диву даешься. Послѣ того, что Франція вытерпѣла еще недавно, въ виду того, что она терпѣть еще до сихъ поръ, нѣмецкія газеты коварно замѣчали, что Франція, кажется, потребовала себѣ слишкомъ много мѣста на публичномъ отчетѣ цивилизаціи и что едва-ли французскій отдѣлъ будетъ удовлетворителенъ. Но французскій отдѣлъ устроился и положительно затмилъ все. Что за удивительная представительница фирмы «ферштандсменшъ и гефюльсменшъ»!

Тѣмъ не менѣе однако выставка полна всякаго рода ложью.

Вдали отъ дворца промышленности, за

восточными отдѣлами, въ самомъ концѣ выставки есть чудесный уголокъ, — международная деревня. Тутъ стоятъ различные крестьянскіе дома: русскій, секлерскій, венгерскій, галиційскій, фюральбергскій и проч. Только эльзассскій крестьянскій домъ находится по сю сторону рѣчки, отдѣляющей главную часть выставки отъ международной деревни. Въ немъ устроенъ ресторанъ и красуется на немъ надпись, почерпнутая, повидимому, изъ какого-то древняго источника, несмотря на свою новѣйшую мораль: *Halt fest am Reich, Bauer, es falle süß oder sauer...* Въ международной деревнѣ, въ чертѣ которой, между прочимъ, помѣстились части сельскохозяйственнаго и лѣсного отдѣловъ, первое мѣсто занимаетъ русскій домъ. Если-бы я не помнилъ заповѣди: не пожелай дому ближняго твоего, я бы очень желалъ имѣть такой крестьянскій домъ, я бы готовъ былъ для этого стать мужикомъ. Воображаю, какими патріотическимъ растопыренностямъ предавался бы г. Стасовъ, глядя на него. Дѣйствительно, домъ прелестный: легкій, красивый, двухъ-этажный, съ цѣльными стеклами, весь изукрашенный рѣзбой и знаменитыми русскими «полотенцами», съ чудесными, свѣтлыми конюшнями, сараями и проч. Около этого дома всегда толпа народу. Одни объясняютъ другъ другу, что вотъ тутъ — дескать — «*Kladewoya*», а тутъ «*Paradnaya Kommoda*» (названія эти красуются въ такомъ видѣ и въ австрійскихъ газетахъ). Другіе нѣсколько недовѣрчиво качаютъ головой. Еще бы! На меня, грѣшнаго, неспособнаго къ патріотическимъ растопыренностямъ, этотъ восхитительный домъ произвелъ отвратительное впечатлѣніе именно своею восхитительностью. Пусть кто захочетъ радоваться національному стилю его постройки и украшеній, но для меня онъ мерзость и ложь. Зачѣмъ здѣсь, въ международной деревнѣ, стоитъ этотъ красавецъ-домъ коммерціи совѣтника И. Ф. Громова, построенный академикомъ Е. И. Винтергальтеромъ? Если-бы въ международной деревнѣ существовало самоуправленіе, сеотвѣтственное идеаламъ нѣкоторыхъ петербургскихъ дворянъ, тогда, я понимаю, можно бы было поселить въ этомъ красавцѣ волостного старшину. Но кто смѣетъ называть его «мужичьимъ домомъ», *russischer Bauernhaus*? Въ томъ то и дѣло, что всѣ смѣютъ, потому что всѣ привыкли видѣть въ «національномъ» — «народное», между тѣмъ какъ въ дѣйствительности нація есть не народъ, а извѣстная, старая, подъ старыми богами обрѣтающаяся комбинація ферштандсменшовъ и гефюльсменшовъ. Народъ русскій, русскіе гефюльсменши участвовали, конечно, въ созданіи и выработкѣ этихъ коньковъ, полотенцевъ,

всѣхъ этихъ дѣйствительно прекрасныхъ узоровъ рѣзбы. Но, господа растопыренные патриоты, будьте новыми Шамполионами, дайте ключъ къ этимъ іероглифамъ, расскажите, что бродило въ головѣ и на сердцѣ тѣхъ древнихъ гефюльсменшъ, которые впервые вывели эти хитрые узоры. Быть можетъ кнутъ ферштандсменша натягъ эстетическую способность гефюльсменша, быть можетъ тутъ вырѣзана цѣлая повѣсть о «горѣ-злосчастіи», быть можетъ это вложенный въ кусокъ дерева заунывный тонъ русской пѣсни, а можетъ и мечта «лихого человѣка» о лѣсѣ дремучемъ тутъ засѣла. Впрочемъ, вамъ, мои растопыренные, не подѣ силу разобрать эти іероглифы, да и никому должно быть эта работа не подѣ силу. А вы, вы знаете только, что деревянныя постройки съ деревянными украшеніями національны, ибо соответствуютъ нашему лѣсному богатству. Наблюденіе удивительно тонкое; но мнѣ всегда казалось, что если маленькій деревянный домъ лучше большой каменной болѣзни, то даже маленькій каменный домъ лучше маленькаго деревяннаго. И право, если ужъ въ домѣ коммерціи совѣтника И. Ф. Громова окна съ цѣльными, чуть ли даже не зеркальными стеклами, то почему бы ему не быть каменнымъ. Вѣдь національное русское стекло есть, кажется, слюда, а то такъ и просто дыра. Если-бы въ домѣ коммерціи совѣтника И. Ф. Громова оставить рѣзбу, но разбить стекла и кое-гдѣ затенуть дырки грязными тряпками, навалить на крышу соломы и проч., и проч., то это былъ бы дѣйствительно русскій крестьянскій домъ, *gutsischer Bauerghaus*, а теперь это домъ волостного старшины идеальной всесловной волости петербургскихъ дворянъ. Положимъ, что разбитыя стекла, ѣдкій дымъ въ «*paradnaa Kommoda*», кучи грязи въ «*Kladewoya*» и проч. неумѣстны на публичномъ отчетѣ цивилизаціи. Это было бы слишкомъ ужъ правдиво. Но все-таки *est modus in rebus*. Тутъ-же въ международной деревнѣ живымъ укоромъ русскому красавцу стоитъ, напримеръ, домъ галиційскаго мужика: маленький, одноэтажный, тоже деревянный, но безъ завитковъ, съ крошечными окнами, крытъ соломой, внутри чисто, но очень бѣдно: голыя деревянные кровати, прикрытыя грубыми одѣялами, на печкѣ и на полкахъ грубая глиняная посуда, по стѣнамъ лубочные образа. А воображаю, какова внутренность русскаго крестьянскаго дома: посуда должно быть отъ Сазикова или Овчинникова, но зато въ національномъ стилѣ, мебель должно быть изумительная, образа въ золоченыхъ ризахъ «съ яхонты и лаллы» и т. п. Говорю: должно быть, потому что, до сихъ поръ по крайней мѣрѣ, въ русскій крестьян-

скій домъ не пускаютъ, да оно и понятно, — гдѣ же такому важному барону всѣхъ предъ свои пресвѣтлыя очи пускать. Несмотря, однако, на всю эту важность русскаго мужикаго дома, надпись на недалеко отъ него стоящей некрасивой трансильванской избѣ выражаетъ нѣсколько больше уваженія къ мужику. Вотъ эта наивная и гордая надпись: *Der Kaiser führt das Schwert, der Bauer führt den Pflug. Wer Allebeid' nicht ehrt, der ist gewisz nicht klug*, т.-е.: императоръ править мечомъ, мужикъ — плугомъ, кто ихъ обоихъ не уважаетъ, тотъ навѣрно не уменъ. Мнѣ кажется, что растопыренные *sind gewisz nicht klug...*

Не менѣе, а пожалуй даже еще болѣе лжи увидимъ мы въ выставкѣ, если отъ выставленныхъ предметовъ перейдемъ къ газѣющей (думаю, что это не совсѣмъ вѣжливое выраженіе вполнѣ умѣстно) на нихъ публикѣ. Самое видное мѣсто на выставкѣ занимаютъ ткани бумажныя, шерстяныя, шелковыя, полотняныя. Это вполнѣ резонно и естественно. Во-первыхъ, рассчитано, что расходы на одежду простираются отъ 14 до 20% всякаго семейнаго бюджета. Во-вторыхъ, ни на одной отрасли промышленности не отразились въ такой мѣрѣ обоюдострые результаты дѣятельности фирмы «ферштандсменшъ и гефюльсменшъ»: поразительный ростъ производства и потребления, громадные техническія улучшенія и выѣстъ съ тѣмъ обвиняніе и паденіе гефюльсменша. Огромное большинство публики, весьма впрочемъ естественно, ни мало не интересуется всѣмъ этимъ и останавливается только передъ какими-нибудь особенно красивыми матеріями, чтобы полюбоваться на узоръ и краски. Но узоръ и краски гораздо ярче и затѣйливѣе на Востокѣ, чѣмъ на Западѣ, и вообще тамъ, гдѣ старые боги сильнѣе. Это справедливо даже, напримеръ, относительно европейскихъ бумажныхъ тканей, находящихся, вообще говоря, подъ особеннымъ покровительствомъ новыхъ боговъ. Во Франціи до сихъ поръ дѣйствуетъ до 200,000 ручныхъ станковъ. На нихъ работаютъ ткачи, отказавшіеся отъ мысли конкурировать съ машиннымъ производствомъ, но приспособившіеся къ новымъ богамъ косвеннымъ путемъ. Они производятъ такія модныя матеріи, для производства которыхъ, по недолговѣчности моды, было-бы слишкомъ дорого устраивать машинный станокъ, равно какъ и нѣкоторые другія изящныя ткани, не поддающіяся машинной обработкѣ. Передъ этими матеріями публика, разумѣется, останавливается, не подозревая, что она любитъ на продуктъ стараго, отсталого способа производства, сохранившагося въ пустынь цивилизаціи въ видѣ оазиса, благодаря капризамъ

моды. Да ей, публикѣ, впрочемъ до этого и дѣла нѣтъ. Она до такой степени объята цивилизаціей со всѣхъ сторонъ въ своемъ домашнемъ и общественномъ быту, что на выставкѣ склонна искать не публичнаго отчета цивилизаціи, а напротивъ, отдыха отъ нея. Она толпится около великолѣпнаго парюра, выставленнаго придворными вѣнскими брильянтиками Kobek Aegidi и стоящаго около полутора милліона гульденовъ, около венгерскихъ опаловъ, богемскихъ гранатовъ, русскихъ серебряныхъ и малахитовыхъ вещей. А это все предметы, болѣе или менѣе чуждые цивилизаціи, какъ потому, что украшенія этого рода любимы дикарями даже больше, чѣмъ цивилизованными людьми (прибавлю, и женщинами больше, чѣмъ мужчинами, дѣтьми больше, чѣмъ взрослыми), такъ и потому, что они суть продукты ремесленнаго, т. е. болѣе или менѣе отсталого въ техническомъ отношеніи способа производства. Я увѣренъ, что когда знаменитыя 330 драгоценностей его величества султана откроются для публики (ихъ до сихъ поръ не показываютъ), къ нимъ не проберешься, во первыхъ, потому, что это драгоценности, а во вторыхъ, потому, что это Востокъ. Пристрастіе къ восточнымъ отдѣламъ составляетъ одну изъ характернѣйшихъ чертъ посѣтителей выставки: Японія, Китай, Сіамъ, Марокко, Тунисъ, Египетъ всегда биткомъ набиты. Точно также множество народу напряженно слѣдитъ за постройкой дворца египетскаго вице-короля, японскаго, турецкаго домовъ; въ турецкой кофейной нѣтъ прохода отъ людей, желающихъ затянуться изъ турецкаго tschibuk и выпить чашку турецкаго кофе; въ японскомъ базарѣ — отъ людей, желающихъ, если не купить, то по крайней мѣрѣ поглазѣть на японскіе вѣера, фонари, портсигары, ящики, матеріи и проч. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, потому что, напримѣръ, японскія бронзовыя отливки и мелкія вещи изъ черепахи, дерева, кожи, слоновой кости положительно превосходны. Естественно, наконецъ, желаніе посмотреть на диковинки полудивицизованныхъ или не по европейски цивилизованныхъ народовъ. Но присмотритесь и прислушайтесь къ отношенію публики къ восточнымъ отдѣламъ, и вы придете къ странному результату. Казалось-бы, какія чувства можетъ вызвать въ цивилизованномъ европейцѣ, пользующемся благами конституціонной свободы, напримѣръ, созерцаніе нелѣпой роскоши великолѣпнаго повелителя нищаго Египта? Негодование? насмѣшку? Ничуть не бывало: всѣ глазѣютъ на диковинный дворецъ хедива почтительно и даже нѣсколько восторженно. Модель тунисскаго ферштандсменша, вкушающаго миндальные пряники, хотя и не пользуется та-

кими симпатіями, но все-таки не вызываетъ и никакихъ отрицательныхъ чувствъ. Не одна дамская голова мечтаетъ вѣроятно о яванскомъ браслетѣ въ видѣ змѣи, или о расшитомъ золотомъ тунисскомъ сѣдлѣ, сидя на которомъ, было-бы такъ пріятно прогалошировать по главной аллеѣ Пратера. О сералѣ хедива задумывается вѣроятно не мало мужчинъ. Я ужъ не говорю о томъ, что всякому пріятнѣе выкурить трубку хорошаго и сравнительно недорогого турецкаго табаку, чѣмъ скверную австрійскую папиросу или сигару, такъ что толкотня въ турецкой кофейнѣ не представляетъ собою ровно ничего загадочнаго. Но, оставляя въ сторонѣ нѣкоторыя несомнѣнныя достоинства an und für sich восточныхъ произведеній, вы можете наблюдать въ высшей степени любопытный фактъ: если на публичномъ отчетѣ цивилизаціи сія послѣдняя растетъ по направленію отъ востока къ западу, то вниманіе и даже восторги посѣтителей выставки растутъ въ обратномъ направленіи. Прибавьте къ этому, что машинный отдѣлъ почти пустъ и былъ-бы еще болѣе пустъ, если бы не представлялъ удобнаго прохода въ другіе отдѣлы. Прибавьте еще вышеупомянутое замѣчаніе, что краски и узоры ярче и затѣйливѣе, вообще говоря, въ продуктахъ ремесленнаго, технически неразвитаго производства. Сообразивъ все это, вы увидите, что публичный отчетъ цивилизаціи есть торжество отсталости, торжество старыхъ боговъ надъ новыми. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь дворецъ хедива или 330 султанскихъ драгоценностей, или множество другихъ восточныхъ вещей должны бы были фигурировать на публичномъ отчетѣ цивилизаціи въ качествѣ пройденныхъ ступеней, къ которымъ возврата нѣтъ и возвратъ нежелателенъ. А они вызываютъ увлеченіе и восторги. Развѣ это не побѣда старыхъ боговъ надъ новыми? Значитъ, выставка и еще разъ ложь, потому что торжество новыхъ боговъ несомнѣнно.

Скажутъ, можетъ быть что не всѣ же посѣтители выставки просто шатаются по Пратеру, дворцу промышленности, международной деревнѣ и проч. Есть-же и люди, поучающіеся вообще, есть и специалисты, изучающіе подробности своего дѣла. Конечно есть. Но, напримѣръ, Россія затратила болѣе милліона рублей (считая расходы казенные и частныхъ экспонентовъ). И надо думать, что сумма эта могла-бы быть истрачена для тѣхъ же цѣлей гораздо производительнѣе, чѣмъ на выставкѣ.

Какъ поприще мирнаго соперничества народовъ всего міра, выставка есть ложь, потому что народы обыкновенно послѣ выставки дерутся, чего, разумѣется, упаси Богъ на этотъ разъ.

Она есть ложь, потому что ростъ цивилизаціи совершается *viribus unitis* не народо-въ, а ферштандсменшовъ и гефюльсменшовъ.

Какъ публичный отчетъ цивилизаціи, она есть ложь, потому что скрадываетъ всю тѣневую сторону поступательнаго шествія цивилизаціи.

Она ложь потому, что частности ея нарушены и подбѣлены до нечѣлости, до постройки, наприимѣръ, дворца подъ именемъ мужицкой избы.

Наконецъ, она есть ложь, потому что, по своимъ собственнымъ свойствамъ и по свойствамъ публики, не въ силахъ показать дѣйствительное торжество новыхъ боговъ, со всѣми ихъ хорошими и дурными сторонами.

Правды слѣдуетъ искать не на выставкѣ, не въ зданіяхъ ея, а въ балаганахъ Пратера, на улицѣ, въ ресторанахъ, въ театрѣ. Тамъ вы вездѣ поймете и то, что народы готовы сейчасъ же разодраться, и то, что цивилизацію дѣлаютъ ферштандсменши и гефюльсменши, и взаимныя отношенія этихъ двухъ подвидовъ вида *Homo sapiens*, и фактическое торжество новыхъ боговъ.

Но прежде, чѣмъ идти туда, гдѣ цвѣтеть и приносить плоды правда, я долженъ сознаться, что сильно забѣжалъ впередъ. Я началъ собственно рассказывать, что я увидѣлъ на выставкѣ въ первый день моего посѣщенія. Но ни въ этотъ день, ни во многіе послѣдующіе на выставкѣ не было ни правды, ни лжи, а были нераскупоренные ящики, надписи: *verbotener Eingang*, разноязычные крики ферштандсменшовъ и гефюльсменшовъ, расколачиваніе, распаковка, разстановка, вообще нѣчто напоминающее картину г. Айвазовскаго «Сотвореніе міра». Духъ барона Шварца носился надъ этимъ хаосомъ. Усталый отъ ходьбы и тщетныхъ поисковъ публичнаго отчета цивилизаціи, я вышелъ въ паркъ, присѣлъ на стулъ, за что надзирающая за стульями миловидная дѣвица немедленно взыскала съ меня 10 крейцеровъ, и закурилъ папиросу. Сосѣдъ нѣмецъ попросилъ у меня огня, вслѣдствіе чего, какъ водится, завязался разговоръ.

— Позвольте, говорю, спросить, что собственно теперь дѣлаютъ на выставкѣ?

— *Man arbeitet.*

Нѣмецъ, очевидно, не понялъ моего вопроса. Я объяснилъ ему, что вижу, что гефюльсменши работаютъ, но чѣмъ занимаются по-сѣтителѣ, ферштандсменши, вотъ, говорю, какъ мы съ вами?

— *Man bummelt.*

Нѣмецъ былъ не краснорѣчивъ, но кратокъ и ясенъ до послѣдней степени. *Man bummelt!* Я и не догадался, а между тѣмъ дѣло такъ просто и ясно. Всѣ эти почтенные ферштандс-

менши съ бородами, усами и бакенбардами всѣхъ цвѣтовъ и фасоновъ, съ бутоньерками и безъ оныхъ, эти господа австрійскіе офицеры въ кокетливыхъ небесно-голубыхъ, побѣжало-сѣрыхъ, свѣтло-зеленыхъ кургузыхъ мундирчикахъ, весь этотъ болтающій, молчащій, суеящійся, спокойно сидящій, пьющій, курящій людъ, съѣхавшійся съ разныхъ концовъ свѣта принимать отъ цивилизаціи отчетъ,—все это *Bummeler*! Бумлеръ,—это въ родѣ какъ фланеръ, болѣе или менѣе веселый, праздношатающійся бездѣльникъ. Занятіе хорошее, безобидное, неголоволмное и въ пищеварительномъ отношеніи неопѣненное. Наткнувшись на эту послѣднюю особенность бумлерскаго занятія, я почувствовать, что я страшно голоденъ и, пожелавъ не краснорѣчивому, но краткому и ясному нѣмцу всякаго благополучія, отправился въ русскій ресторанъ.

Въ гастрономіи я патріотъ и за границей меня часто одолеваетъ тоска по той частицѣ родины, которая называется щами и кулебякой. Я патріотъ не безусловный. Здѣсь, на публичномъ отчетѣ цивилизаціи, можно найти образчики гастрономическихъ вкусовъ если не народовъ всего міра, то, по крайней мѣрѣ, главнѣйшихъ европейскихъ націй: здѣсь есть кухня французская, англійская, нѣмецкая, русская, венгерская, итальянская, шведская. И теоретически я готовъ отдать преимущество французской кухнѣ, которая, подобно французскимъ идеямъ и французскимъ модамъ, завоевываетъ весь міръ, въ которой различныя питательныя вещества совмѣщены въ надлежащей пропорціи, въ которой нѣтъ ни слишкомъ грубаго реализма англійской кухни, ни приторнаго идеализма кухни нѣмецкой, ни наконецъ, надо признаться, нѣкоторой тяжеловѣсности и неповоротливости русской кухни. Тѣмъ не менѣе, однако, къ щамъ и кулебякѣ время отъ времени все-таки тянется. Да проститъ мнѣ читатель эти нѣсколько строкъ о гастрономіи въ корреспонденціи о публичномъ отчетѣ цивилизаціи. Дѣло въ томъ, что этотъ отчетъ вовсе не такая важная птица, какъ кажется издали, а гастрономія вовсе не такая пустая вещь, какъ о ней обыкновенно думаютъ, и бѣднаго Фурье совершенно напрасно осмѣяли за его «гастрософію». Задачи духа всѣ сводятся къ тому, чтобы познать свою зависимость отъ плоти и окружающаго міра вообще и затѣмъ, при помощи этого познанія, овладѣть этимъ міромъ. Свойства пищи составляютъ одно изъ сильнѣйшихъ вліяній на развитіе человѣка и, слѣдовательно, одно изъ сильнѣйшихъ орудій борьбы съ внѣшнимъ міромъ. Если преувеличено мнѣніе Молешота, что реформація произведена распространеніемъ кофе, то все-таки кто знаетъ, какое вліяніе имѣло на вы-

работку различных типовъ ферштандсменшовъ и гюфельсменшовъ различныхъ націй различіе ихъ пищи. Наши финны и brave венгерцы, какъ извѣстно, близкіе родственники, но они нисколько другъ на друга не похожи, и въ этомъ различіи, надо думать, не послѣднюю роль играетъ то обстоятельство, что они сидятъ на разной пищѣ. Можетъ быть нашихъ финновъ стоитъ только покормить бараниной съ краснымъ перцемъ, да попить венгерскимъ виномъ, чтобы они выпустили изъ себя Кошутовъ и Клапокъ, а посади венгерцевъ на картофель, такъ можетъ быть никакой Австро-Венгріи не существовало бы...

Русскій ресторанъ есть слѣдующее: снаружи русская изба, плоховатая, непримѣръ похуже дома г. Громова, а внутри петербургскій трактиръ средней руки, находящійся подъ управленіемъ петербургскаго ресторатора Францля. Отъ обыкновенныхъ петербургскихъ трактировъ того-же калибра выставочный ресторанъ отличается, во-первыхъ, непомѣрными цѣнами. По случаю толковъ о дороговизнѣ была произведена офиціальнымъ путемъ ревизія цѣнъ въ различныхъ ресторанахъ, и при этомъ оказалось, что въ чертѣ выставки самый дорогой ресторанъ есть нашъ, отечественный, или вѣрнѣе г. Францля. Второе отличіе состоитъ въ томъ, что половые въ выставочномъ ресторанѣ одѣты не по петербургски, не во фракахъ, а по московски, въ цвѣтныхъ шерстяныхъ и шелковыхъ рубахахъ съ косымъ воротомъ. Нѣкоторые изъ нихъ весьма бойко выражаютъ свои мысли на нѣмецкомъ языкѣ, мысли, правда, немногосложныя, больше насчетъ бифштекса и борща. Я потомъ довольно часто заходилъ помянуть родину въ русскій ресторанъ и видѣлъ тамъ презабавныя сцены. Снаружи, какъ уже сказано, онъ очень невзраченъ, такъ что туда заходить иногда народъ совсѣмъ бѣдный, особенно по праздникамъ, когда за входъ платится 50 крейцеровъ. Придетъ нѣмецъ съ нѣмкой, спросятъ себѣ по кружкѣ пива, а изъ кармана вытащутъ свой хлѣбъ, свою Salami или Extrawurst и завтракаютъ себѣ, иной разъ и еще, и еще по кружкѣ пива спросятъ. При расчетѣ оказывается, что за каждую кружку, стоящую во всякомъ другомъ мѣстѣ 10—15 крейцеровъ, въ невзрачномъ русскомъ ресторанѣ надо заплатить 20. А бойкіе половые между тѣмъ негодуютъ на то, что нѣмецъ съ своей колбасой пришелъ, и тутъ опять недоразумѣніе.

— Удивляюсь я на здѣшнюю публику, говорилъ мнѣ одинъ изъ половыхъ. У насъ развѣ кто изъ простаго званія, такъ съ своимъ хлѣбомъ въ заведеніе приходитъ чай пить. А здѣсь придутъ, спросятъ это

пива и сейчасъ изъ кармана колбасу. Прямые, извините меня, колбасники-съ...

Высокообразованный полевой, обманутый круглой шляпой нѣмца, полагалъ, что они не изъ «простаго званія», а тѣ, въ свою очередь, обманутые скромнымъ видомъ русскаго ресторана, полагали, что онъ устроенъ именно для простаго званія. Надо думать, что публичный отчетъ цивилизаціи откроетъ, наконецъ, глаза и тѣмъ, и другимъ, и такимъ образомъ сблизитъ народы. Сблизитъ онъ насъ, надо надѣяться, и съ братьями славянами. Въ русскій ресторанъ являются по временамъ черномазые люди въ родѣ тѣхъ, какіе навѣщали Инсарова. Они необыкновенно тщательно и чисто выговариваютъ русскія слова, съ необыкновенною любовью пьютъ очищенную, ѣдятъ щи, кулебяку, селянку. Тутъ я, не шутя, убѣдился, что дѣйствительно существуютъ братья-славяне, наивнѣйшимъ и добродушнѣйшимъ образомъ любящіе Россію. Но когда имъ подадутъ счетъ, они неодобрительно покачиваютъ головами и что-то быстро говорятъ другъ другу. Насколько я могъ понять, они не повторяютъ при этомъ словъ Инсарова: «о, вы русскіе, у васъ золотыя сердца»!..

Выходя изъ русскаго ресторана, я наткнулся на прямо противъ него строящійся павильонъ русскаго императора. Смотря: постукиваютъ топорами, поплевываютъ въ ладони и переругиваются трехъ-этажными словами русобородые молодцы въ розовыхъ ситцевыхъ рубахахъ.

— Откуда, ребята?

— Ярославскіе.

— Что же, хорошо вамъ тутъ?

— Ничего...

— Много ли жалованья?

— Да двадцать пять въ мѣсяцъ, харчи хозяйскіе.

— Хорошо кормятъ?

— Кормятъ...

— Ну, значить, и ладно?

— Дома лучше.

— Что такъ?

— Да нальютъ тебѣ тутъ бульону этого...

Русобородые молодцы опять заплевали въ ладони, застучали топорами и заругались трехъ-этажными словами *). Я пошелъ дальше,—къ японцамъ. Тѣ тоже постукивали

*) 8-го іюня (н. ст.) въ павильонѣ русскаго императора случилось слѣдующее несчастіе. Трое какихъ-то посѣтителей выставки поднялись на родъ балкона, находящагося наверху павильона. Полюбовавшись видомъ выставки, они стали спускаться опять внизъ по красивой, широкой деревянной лѣстницѣ. Одинъ изъ нихъ отсталъ и отсталъ на свое счастье, потому что подъ остальными двумя поддомылился ступени и они полетѣли внизъ съ высоты 1—1½ сажени. Чѣмъ эта исторія кончилась, пока не знаю.

топорами, но больше молчали. Удивительный народ! Дождь пойдет, всѣ попрячутся, только японскій гефюльсменшъ въ синей курткѣ съ драконами на спинѣ сидитъ на крышѣ и что-то ковыряетъ, и удивительно ковыряетъ: я такой плотничьей работы не видывалъ, хваленые русскіе плотники въ подметки японцамъ не годятся. Японскіе ферштандсменши тоже народъ очень милый. Когда открылся японскій базаръ, надо было видѣть терпѣніе и любезность, съ которыми эти маленькіе человѣчки цвѣта нечищенного сапога объясняли и руками, и ногами, и головой значеніе и цѣну своихъ вещей какому-нибудь тупоголовому нѣмцу. «Фись, фись», твердитъ, стараясь выговорить нѣмецкое Fisch, узкоглазенькій человѣчекъ. Это было, конечно, не совсѣмъ удобопонятно. Но то, что выдѣлывалъ при этомъ человѣчекъ руками, ногами и головой, было до послѣдней степени понятно: дѣлошло объ рыболовной удочкѣ. Въ японскомъ отдѣлѣ дворца промышленности и въ японскомъ базарѣ все подѣлано маленькими узкоглазенькими человѣчкамъ: все такое миленское, чистенькое, аккуратное, отчетливое, ясное. Только три предмета нарушаютъ нѣсколько эту гармонию. Во-первыхъ, въ японскомъ отдѣлѣ дворца промышленности висятъ зачѣмъ-то у потолка громаднѣйшіе разноцвѣтные бумажные, шарообразные фонари. Во-вторыхъ, тамъ-же стоятъ страшные, престрашные латы и шлемы въ видѣ чудовищныхъ какихъ-то рожъ. Должно быть японцы понимаютъ, что ихъ собственными маленькими и миленскими рожицами нѣтъ никакой возможности устроить врага. Впрочемъ, теперь, когда японцы обзавелись пушками и прусскими фельдфебелями, дѣло пойдетъ у нихъ иначе. Третій предметъ, нарушающій гармонию маленькаго японскаго міра на выставкѣ, всего интереснѣе. Надъ низенькими, чистенькими зданіями японскаго базара возвышается шесть, а къ концу шеста въ видѣ флага привѣшивается по нѣкоторымъ днямъ, должно быть по праздникамъ, громаднѣйшее изображеніе рыбы, сдѣланное изъ какой-то раскрашенной матеріи. Боюсь соврать, но думаю, что рыба эта длиною около трехъ сажень, такъ что во чревѣ ея могло бы помѣститься нѣсколько штукъ японскихъ ферштандсменшовъ и гефюльсменшовъ. Говорю: во чревѣ, потому что у рыбы, дѣйствительно, есть чрево. Японцы—народъ-реалистъ. Отвлеченныя понятія даются имъ крайне плохо, мною у нихъ крайне незатѣйливые, а символика ихъ удивительно странно осложняется крайнимъ реализмомъ. Напримѣръ, рыба эта есть какой-то символъ. Ну, мы, напримѣръ, будь у насъ такой символъ, просто вывѣсили бы

флагъ съ нарисованной на немъ рыбой. Нарисовали бы мы ее въ маломъ видѣ, хотя она должна бы была изображать символически, скажемъ, хоть кита, въ которомъ жилъ Іона. Японцевъ подобный флагъ не удовлетворитъ, онъ требуетъ слишкомъ большого напряженія способности отвлеченія, онъ слишкомъ удаляется отъ того реальнаго предмета, который долженъ изображать. И вотъ японецъ поднимается на шесть, во-первыхъ, дѣйствительно, громадную рыбу, а во-вторыхъ, дѣлаетъ ее въ видѣ мѣшка, такъ что она надувается вѣтромъ и дѣлается какъ есть рыбой.

Впослѣдствіи выставка была удостоена посѣщеніемъ японскихъ ферштандсменшовъ самаго высокаго сорта,—японскаго посольства. Прибывъ въ Вѣну и осмотрѣвъ ее и выставку, японское посольство осталось вполне довольно публичнымъ отчетомъ цивилизаціи вообще и ролью Японіи на немъ въ особенности. Посольство разсыпалось въ любезностяхъ передъ графомъ Андраши и барономъ Шварцемъ, а сего послѣдняго вознамѣрилось украсить даже орденомъ. Но какъ быть, когда въ Японіи ордена не существуютъ? И вотъ къ микадо шлетъ проектъ учрежденія перваго японскаго ордена. Говорятъ, посольство колебалось между тремя проектами: ордена «пестраго слона», ордена «всепоглощающаго кита» (должно быть это и есть вышеописанная рыба) и, наконецъ, ордена «великой черепахи». Великая черепаха одержала наконецъ побѣду. Но любопытнѣе всего то, что этотъ орденъ будетъ не то, что маленькіе европейскіе кресты и звѣзды. Японскій реализмъ не можетъ помириться съ подобной символикой. Орденъ великой черепахи будетъ, какъ слѣдуетъ быть великой черепахѣ: онъ будетъ носиться въ видѣ двухъ большихъ щитовъ спереди и сзади. Воображаю удовольствіе барона Шварца, когда онъ, въ награду за всѣ свои хлопоты по устройству выставки, долженъ будетъ прогуливаться въ торжественныхъ случаяхъ въ орденѣ великой черепахи! Чтобы по достоинству оцѣнить всю глубину этого реализма, надо нѣсколько отрѣшиться отъ Японіи, которая, будучи для насъ страной диковинокъ вообще, не можетъ особенно выдѣлаться какою-нибудь курьезною частностью. Но представимъ себѣ, что подобный реализмъ овладѣлъ Европой и что европейскіе кавалеры разныхъ орденовъ не увѣшаны крестами, а сами вздѣты на кресты...

Прошатался я такимъ образомъ по выставкѣ ровно до 6 часовъ, когда дворецъ промышленности и другія зданія выставки запираются и остаются еще нѣсколько времени открытыми только рестораны. Куда дѣ-

ваться? Театръ есть, какъ извѣстно, въ такихъ случаяхъ, когда не очень рано и не очень поздно, а сидѣть дома не хочется, единственное убѣжище. И я пошелъ въ театръ An der Wien. Давали оперетку Штрауса «Карнаваль въ Римѣ», передѣлку, если не ошибаюсь, какой-то французской комедіи. Вещь эта весьма и весьма бездарная, особенно если принять въ соображеніе богатство матеріала въ драматическомъ и въ музыкальномъ отношеніи. Нѣмецкая гастрономія предписываетъ ѣсть жаркое съ вареными въ сахарѣ вишнями и черносливомъ. Нѣмецкое веселье и нѣмецкая насмѣшка, даже въ Вѣнѣ, наименѣе нѣмецкомъ изъ большихъ нѣмецкихъ городовъ, осложняются непремѣнно тоже въ своемъ родѣ варенымъ въ сахарѣ черносливомъ. И только весьма рѣдко черносливъ не пересахаривается и образуетъ съ жаркимъ нѣчто гармоническое, нѣчто не противное на вкусъ человѣка, не имѣющаго чести считать себя членомъ великой германской семьи. Правда, въ этомъ, именно, отношеніи Германія можетъ похвастаться колоссомъ—Гейне, въ которомъ веселье и насмѣшка съ необычайнымъ изяществомъ осложняются сентиментальностью. Но объ исключеніяхъ говорить нечего. Какъ бы то ни было, но оперетка Штрауса въ цѣломъ скучна до послѣдней степени. А между тѣмъ, не говоря о сценахъ карнавала,—матеріалъ, кажется, достаточно благодарный,—въ ней есть, на примѣръ, слѣдующее: сцена раздѣлена на двѣ части заборомъ вдоль, такъ что обѣ половины сцены видны зрителямъ. Въ лѣвомъ отдѣленіи готовится веселая пирушка, въ правомъ чинно гуляютъ монахини и поютъ, надо думать, что-нибудь благочестивое, затѣмъ уходятъ. Между тѣмъ въ лѣвой половинѣ пирушка подвигается, собираются веселые кавалеры и дамы, раздаются плясовые звуки. Въ правой половинѣ къ забору подбѣгаютъ одна за другой молоденькія монахини, прислушиваются къ пьяно-плясовой музыкѣ и, наконецъ, не выдерживаютъ,—начинаютъ канканировать, какъ есть въ рясакъ и капюшонахъ. Соплюсь на нашихъ ученыхъ музыкальныхъ критиковъ, которые, какъ бы они ни смотрѣли на сюжетъ, должны признать этотъ контрастъ весьма благодарнымъ въ музыкальномъ отношеніи. Но у Штрауса ничего не вышло. Меня, впрочемъ, не съ музыкальной стороны занимала оперетка. Я смотрѣлъ на нее, какъ на то самое торжество новыхъ боговъ надъ старыми, котораго нѣтъ возможности уловить на публичномъ отчетѣ цивилизаціи, вѣнской всемірной выставкѣ тожъ. Кромѣ описанной сцены, въ опереткѣ есть еще слѣдующія. Одно изъ дѣйствующихъ лицъ переодѣвается монахомъ, про-

даетъ различныя священные вещи въ родѣ палки, которою Моисей извлекалъ изъ скалы «не только воду, но и пиво, и вино», пуговицы, которыя оторвались у Іосифа Прекраснаго во время борьбы съ женою Пентефрія и т. п. То же самое дѣйствующее лицо съ умиленнымъ видомъ произноситъ якобы тексты св. писанія: «gaude avis!» «Plenus venter non studet libenter!» и проч. И все это изображается въ столицѣ имперіи, которая такъ много послужила въ свое, очень еще не давнее, время дѣлу католицизма и глава которой носить титулъ «апостолическаго величества»! Почему эта сторона современной жизни, сторона очевидно очень важная, не представлена на публичномъ отчетѣ цивилизаціи, который имѣетъ, однако, претензію обнимать всѣ стороны жизни: въ немъ есть элементы научные, художественные, промышленные, этнографическіе, культурно-историческіе. Какъ *gaude avis*, какъ нѣчто рѣдкое, торжественное, солидное, публичный отчетъ цивилизаціи могъ бы представить паденіе католицизма не въ видѣ, конечно, глумленія надъ его догматами, обрядами и преданіями, а какъ-нибудь иначе; но онъ ничего въ этомъ родѣ не представилъ. Нужные для этого элементы, пожалуй, всѣ находятся на лицо, но они до такой степени разбросаны, что, будь даже публика, посѣщающая выставку, не толпа *Vismuler*’овъ, комбинировать эти элементы для надлежащаго вывода—было-бы по малой мѣрѣ трудно. Конечно, не лишено нѣкоторой пикантности и выразительности, на примѣръ, то обстоятельство, что въ турецкомъ отдѣлѣ, въ витринѣ съ іерусалимскими рѣзными перламутровыми изображениями святыхъ, красуются портреты императора Вильгельма и даже, католическими газетами антихристу уподобляемаго, князя Бисмарка. Но это сопоставленіе есть просто случайная наивность, *sancta simplicitas* іерусалимскаго экспонента. Тогда какъ въ театрѣ дѣло стоитъ передъ вами во всей своей правдѣ и наготѣ. И зависить это отъ того, что оперетка Штрауса, какъ-бы бездарна она ни была, есть отраженіе жизни. А публичный отчетъ цивилизаціи, какъ-бы грандіозенъ онъ ни былъ, есть подкрашенная мертвечина, гробъ повлеченный.

День прошелъ, другой прошелъ. Я все ходилъ на выставку и искалъ публичнаго отчета цивилизаціи. Наконецъ, это стало невыносимымъ. Томительно медленно поднималось изъ хаоса твореніе барона Шварпа. Каждый день нераскупоренные ящики устанавливаемыя витрины и *verbotener Eingang*, и опять нераскупоренные ящики устанавливаемыя витрины и *verbotener Eingang*. Интересъ выставки, по крайней мѣрѣ, для

раннихъ, торопливыхъ посѣтителей, въ числѣ которыхъ былъ и я, подрывался въ корнѣ. Въмѣсто того, чтобы быть съ разу ослѣпленнымъ чудесами цивилизациі, я присутствовалъ при ростѣ выставки, я видѣлъ, какъ она увеличивалась и развѣтывалась вершокъ за вершкомъ, фунтъ за фунтомъ. Это было, во-первыхъ, скучно, а во-вторыхъ, ослабляло впечатлѣніе. Я рѣшилъ уѣхать куда-нибудь на нѣсколько дней, чтобы потомъ съ большимъ рвеніемъ предаться созерцанію выставки. Я выбралъ Пештъ. Поѣздка въ столицу Венгріи не входитъ въ планъ этой корреспонденціи, но, съ вашего позволенія, я скажу о ней нѣсколько словъ собственно для заключенія письма.

Въ Пештъ я ѣхалъ по Дунаю, который совсѣмъ не Блау и сравнительно съ нашей Волгой не особенно schön: и желтѣе, и уже, и меньше оживленъ, такъ какъ у него отнимаетъ хлѣбъ желѣзная дорога. Берега, по крайней мѣрѣ, на протяженіи отъ Вѣны до Пешта, вообще скучны и однообразны. Но есть три, четыре мѣста чрезвычайно живописныхъ. Таковъ, напримѣръ, видъ Гайнбурга, лежащаго какъ разъ на границѣ Австріи и Венгріи: на высокой горѣ внушительнаго вида развалины стараго феодальнаго замка, а внизу казенная табачная фабрика. Такъ что и здѣсь вы видите живѣе то торжество новыхъ боговъ, котораго нѣтъ на публичномъ отчетѣ цивилизациі. Только здѣсь вы видите схватку фабрики съ феодализмомъ, схватку оконченную, какъ свидѣлствуютъ развалины замка и спокойная дѣятельность на табачной фабрикѣ.

Красивъ также съ Дуная видъ Буда-Пешта, бывшихъ Песта и Офена, лежащихъ по обѣ стороны рѣки. Что я дѣлалъ въ Пештѣ—разсказывать не стоитъ, потому что, откровенно говоря, ничего не дѣлалъ. Былъ, между прочимъ, въ парламентѣ, слушалъ рѣчи на ни на что не похожемъ венгерскомъ языкѣ и, само собою разумѣется, ничего не понималъ. Тѣмъ Меттерниха, я думаю, тоже ничего не поняла бы, не потому, чтобы покойникъ не зналъ венгерскаго языка, а потому, что такіа два явленія, какъ Меттернихъ и венгерскій парламентъ, не могутъ быть другъ другу понятны ни на какомъ діалектѣ. Бѣдный Меттернихъ! Могъ-ли онъ, краса и гордость государственныхъ людей своего времени, предвидѣть венгерскій парламентъ! Могъ-ли онъ думать, что на его мѣстѣ, на мѣстѣ машиниста великой австрійской государственной машины, будетъ когда-нибудь стоять бывший мятежникъ, венгерецъ графъ Юлій Андраши, сподвижникъ Кошута, бѣглецъ, заочно приговоренный къ смерти!

Выходя изъ парламента, я купилъ номеръ Пештскаго Ллойда и

Da hörte ich plötzlich das traurige Mähr...

Въ Вѣнѣ — Krach! Знаете-ли вы, что такое Krach? Это не простое звукоподражаніе. Это нѣчто въ родѣ соціальной холеры, страшная эпидемія. Krach—это биржевой погромъ. И надо же было ему случиться какъ разъ въ минуту публичнаго отчета цивилизациі!

II *)

Удалась вѣнская выставка или не удалась? Одни говорятъ: да; другіе—нѣтъ, и въ концѣ концовъ и тѣ и другіе правы. Все дѣло въ точкѣ зрѣнія, съ которой вы посмотрите на выставку. Съ точки зрѣнія Bummel'а выставка удалась и не могла не удалась. Для Bummel'а выставка даже слишкомъ многоплодна. Для него было-бы вполне достаточно ротонды, кое-чего изъ дворца промышленности, восточныхъ отдѣловъ, художественной выставки и ресторановъ. Кстати, я еще ничего не сказалъ вамъ о ротондѣ. Это — огромный, чрезвычайно высокій павильонъ, находящійся въ самой срединѣ дворца промышленности. Въ центрѣ его бьетъ большой и очень красивый фонтанъ, а вокругъ расположены лучшія произведенія различныхъ странъ. Но лучшія значить здѣсь, главнымъ образомъ, красивѣйшія, и въ этомъ отношеніи ротонда не оставляетъ ничего желать: столько здѣсь красоты и блеску, красокъ и узоровъ. Ротонда устроена какъ-бы специально для буммелеровъ, не только потому, что расположенныя въ ней произведенія пересыпаны, такъ сказать, опять-таки ресторанами и буфетами, но и потому, что оно есть главное витѣстилище красокъ и узоровъ. Какъ и по чьему выбору наполнялась ротонда — я не наю, но знаю, что она напоминаетъ собой извѣстное описаніе кабинета рѣдкостей въ какомъ-то водевилѣ:

По стѣнамъ изображенія
Историческихъ всѣхъ лицъ.
Всѣ Брамбеуса творенія
И набитыхъ много птицъ,
Стеариновы свѣчи,
Самострѣльный пистолетъ,
Бородинскія картечи и т. д.

Конечно, ротонда неизмѣримо грандіознѣе и по величинѣ и по качеству предметовъ, чѣмъ этотъ водевильный кабинетъ рѣдкостей. Но она напоминаетъ его по бессмысленности своего состава: колоссальная статуя изъ стearина на пьедесталѣ, изъ мыла и колоссальная-же гипсовая модель швейцарскаго національнаго монумента въ Женевѣ, удивительно эффектно расположенныя французскія мѣдныя трубы и очень художественно исполненные манекены лалландцевъ, модель брюссель-

*) 1873, июль.

ской биржи и вѣнскіе альбомы, портсигары, церковные органы и малахитовые столы и проч. О томъ, въ какой мѣрѣ ротонда можетъ дать понятіе о степени промышленнаго развитія (а ротонда есть часть дворца промышленности) какой-нибудь страны, можно видѣть, напримѣръ, изъ того, что помѣщенія въ ротондѣ удостоились слѣдующія русскія произведенія: издѣлія императорскихъ фарфороваго и стекляннаго заводовъ, колыванской и екатеринбургской гранильныхъ фабрикъ, графитъ, серебряныя вещи Сазикова, гуттаперчевыя вещи російско-американской компаніи и малахитовыя издѣлія петербургскаго фабриканта Шпергазе. Среди всего этого есть вещи, дѣйствительно, прекрасныя, но говорить-ли онѣ что-нибудь, что бы то ни было о русской промышленности? Въ цѣломъ, великолѣпная ротонда представляетъ только рядъ блестящихъ калейдоскопическихъ зигзаговъ, сохраняющихъ для васъ всего на одну минуту извѣстный смыслъ симметріи и блеска. Вы получаете въ самое короткое время громадную массу впечатлѣній, другъ на друга насканивающихъ, другъ друга затирающихъ, въ которыхъ ориентироваться нѣтъ возможности, и право, не знаю, не только какъ отражаются и группируются эти впечатлѣнія въ вашемъ мозгу, но даже группируются-ли они вообще, какъ-бы то ни было. Но если вы буммлеръ, то вамъ нѣтъ никакого дѣла до этого: день преиде, вы благодарите Господа. Но ротонда есть только сконцентрированная выставка, и къ послѣдней относится почти все, что можно сказать о первой. А если выставка кое-гдѣ и уклоняется отъ своего буммлерскаго характера, то дѣло поправляетъ самъ буммлеръ: туда, гдѣ есть нѣчто, кромѣ красокъ и узоровъ, публика ходитъ мало, а туда, гдѣ ихъ вовсе нѣтъ, совсѣмъ не ходитъ. Такъ что съ точки зрѣнія буммлера выставка во всякомъ случаѣ удалась!

Если вы пріѣхали на выставку съ наивною мыслью въ самомъ дѣлѣ присутствовать при публичномъ отчетѣ цивилизаціи, то вы, конечно, должны будете горько разочароваться. Но это будетъ простое наказаніе за наивность, потому что вы полѣзли въ воду, не спросясь броду, потому что вы пришли искать воды въ Сахарѣ, ростбифа въ избѣ вологодскаго мужика, мысли въ болванѣ для париковъ; словомъ, чего-то такого, чего, по самымъ условіямъ явленія, оно вамъ дать не можетъ. Теперь, когда баронъ Шварцъ можетъ, положа руку на сердце, сказать, что его дѣло почти сдѣлано, весьма легко убѣдиться въ справедливости тѣхъ обглыхъ замѣчаній, которые были сдѣланы въ прошломъ письмѣ. Цивилизація есть сумма благъ, которая можетъ быть разбита на нѣсколько категорій: красота, богатство, истина, свобода, спра-

ведливостъ. Послѣдніе результаты цивилизаціи и ростъ различныхъ ея категорій—вотъ что долженъ былъ-бы представить собою публичный отчетъ цивилизаціи. Пусть этотъ отчетъ будетъ разграфленъ по странамъ и національностямъ, — это не бѣда, это даже очень полезно. Пусть намъ покажутъ, какой степени развитія достигли различныя блага цивилизаціи въ Россіи, Венгріи, Франціи, Египтѣ и проч. Главное дѣло только въ томъ, чтобы ясенъ былъ характеръ движенія цивилизаціи, чтобы всякій, или хотя и не всякій, могъ видѣть, что пережила его родина, какъ она живетъ теперь, что съ большею или меньшею вѣроятностью ей предстоитъ пережить въ будущемъ. Иначе, какой же смыслъ можетъ имѣть публичный отчетъ цивилизаціи? Но ничего подобнаго выставка собою не представляетъ. Изъ всѣхъ категорій, на которыя можетъ быть разбита сумма благъ, называемая цивилизаціей, наиболѣе полно представлена красота. Она представлена даже слишкомъ хорошо; вся выставка есть, можно сказать, нѣкоторый обширный храмъ красоты, въ которомъ служеніе этому богу производится въ ущербъ и истинѣ, и справедливости, и даже богатству. Это вполне естественно, такъ какъ всемірная выставка есть нѣчто въ родѣ Духова дня, когда купчихи-невѣсты, разряженные, нарядные, выползаютъ въ Лѣтній садъ. Невѣсты желаютъ блеснуть и богатствомъ, и извѣстнымъ своеобразнымъ пониманіемъ свѣтскихъ приличій, и всякими другими качествами, но все это непременно должно быть окружено ореоломъ красоты или хотя украшеній. Такъ и на выставкѣ; и въ этомъ не было-бы никакой бѣды, если бы красота не пересаливала. А то, напримѣръ, англійская каменнотупельная промышленность, которою кормится $\frac{1}{8}$ всего населенія Англіи, и представлена плохо, и не обращаетъ на себя ничего вниманія; а, напримѣръ, вѣнскія кожаныя Galanterie-Waaren (альбомы, саквояжи, портмоне и проч.), дѣйствительно, очень красивыя и хорошія вообще, но занимающія всего 700 рабочихъ, да еще около 1,000 человѣкъ, приготавливающихъ бронзовыя и стальныя украшения для нихъ, представлены роскошно. Да и вообще дѣйствительныя богатства современной цивилизаціи и объективно, и субъективно, т.-е. и сами по себѣ, и по отношенію къ нимъ публики, вездѣ уступаютъ на выставкѣ первое мѣсто богатствамъ болѣе или менѣе первобытнаго свойства, служащимъ цѣлямъ украшенія и отнюдь не заслуживающимъ названія богатства съ точки зрѣнія народнаго хозяйства. Частный человѣкъ, который украситъ свою супругу великолѣпными брилліантами Кюбека и Эгоди; султанъ турецкій, обладающій 330 необык-

новенными драгоценностями, конечно, богаты; но на публичномъ отчетѣ цивилизаціи этого рода богатства должны были-бы, собственно говоря, играть только отрицательную роль, потому что не можетъ же, въ самомъ дѣлѣ, цивилизація хвастаться тѣмъ, что у турецкаго султана есть триста - тридцать необычайныхъ драгоценностей. Оставляя въ сторонѣ болѣе крайнія требованія, можно, по малой мѣрѣ, сказать, что цивилизація до этихъ драгоценностей нѣтъ никакого дѣла. А между тѣмъ о появленіи ихъ много хлопотала дирекція выставки; появленіе ихъ сопровождается особенно почетной обстановкой: такъ, ихъ ждутъ очень долго (въ ту минуту, какъ я пишу, во второй половинѣ іюня, ихъ, все-таки, не показываютъ), ихъ ждутъ съ большимъ нетерпѣніемъ, и носятъ слухи, что видѣть ихъ удостоится только тѣ, кто пробылъ на выставкѣ извѣстное, довольно продолжительное время. Такой парадный выходъ султанскихъ драгоценностей былъ-бы въполнѣ естествененъ въ самой Турціи, гдѣ съ ними связывались-бы и понятія о величіи священной особы падишаха, и тупое удивленіе его частнымъ богатствамъ, и восторгъ невѣжественныхъ людей передъ красотой и блескомъ алмазовъ, рубиновъ и проч. Но вѣдь мы не въ Турціи, мы на публичномъ отчетѣ цивилизаціи!..

До какой степени неприложимы къ выставкѣ требованія, какія могли бы быть предъявлены публичному отчету цивилизаціи, видно изъ слѣдующаго примѣра, который мнѣ хотѣлось привести еще въ прошломъ письмѣ, да забылъ. На маленькой хорошенькой полянкѣ, окруженной тѣнистыми деревьями, стоитъ вигвамп, палатка американскихъ индійцевъ, можетъ быть тѣхъ самыхъ модоконъ, истребленіемъ которыхъ нынѣ занята Сѣверная Америка. Но въ вигвамп нѣтъ ни модоконъ, ни ихъ утвари, ни ихъ оружія, словомъ, ничего модоконскаго. Въ немъ устроены буфетъ, въ которомъ продаются различныя американскія «mixed drinks», какъ-то: sherry cobbler, milk punch, claret punch и проч., названій до десяти. Это довольно вкусныя смѣси разныхъ напитковъ, преимущественно спиртуознаго свойства; подаются они со льдомъ и тянутся черезъ соломинку. Подаютъ ихъ негры, черныя лица которыхъ очень эффектно выдѣляются на фонѣ ихъ бѣлыхъ костюмовъ. Разберитесь теперь, зачѣмъ на публичномъ отчетѣ цивилизаціи sherry cobbler подается въ модоконскомъ вигвамп, а главное, зачѣмъ цивилизація вывезла на свой публичный отчетъ лакеевъ-негровъ? Вѣдь цивилизація такъ гордится, и справедливо гордится, освобожденіемъ негровъ, а тѣ времена, когда лакей-негръ составлялъ въ Европѣ своего рода шикъ, тоже

вѣдь были и быльемъ поросли. Оставляя въ сторонѣ вигвамп, приспособленіе котораго, во всякомъ случаѣ, несообразное, можетъ быть объяснено какою-нибудь случайностью, — не преслѣдовала-ли здѣсь цивилизація какой-нибудь коварной цѣли? Не хотѣла-ли она наглядно показать тотъ пройденный уже фазисъ развитія справедливости, экономического быта и умственного характера, когда южно-американскій плантаторъ, не въ вигвамп, конечно, наслаждался разными прохладительными mixed drinks, подаваемыми руками покорныхъ и забытыхъ рабовъ-негровъ? Но вы, разумѣется, чувствуете сами, до какой степени этотъ вопросъ наивенъ, до какой степени неудовлетворимы вытекающія изъ него требованія. На своемъ публичномъ отчетѣ цивилизація самымъ нелѣпымъ образомъ извращаетъ даже то, чѣмъ она имѣетъ полное право хвалиться, и единственно для удовольренія бумилерскаго любопытства вывозитъ изъ Америки освобожденныхъ рабовъ, чтобы сдѣлать изъ нихъ лакеевъ.

Даже относительно парящей на выставкѣ красоты публичный отчетъ цивилизаціи даетъ, въ сущности, весьма неудовлетворительныя свѣдѣнія. Красоты здѣсь столько, что можно подумать, что современная цивилизація имѣетъ чуть не исключительно эстетическій характеръ. Это ужъ само по себѣ ложь, или по малой мѣрѣ односторонность, но тѣмъ неудовлетворительнѣе отвѣты отчета на различныя, относящіяся сюда побочные вопросы. Не ищите, напримѣръ, на выставкѣ данныхъ для исторіи развитія эстетической стороны цивилизаціи. Только кое-гдѣ, въ восточныхъ и колоніальныхъ отдѣлахъ, вы наткнетесь на вещи, о которыхъ можно сказать: вотъ, приблизительно, какъ понималась красота прежде и какъ она понимается и до сихъ поръ въ странахъ, мало цивилизованныхъ. Въ европейскихъ-же отдѣлахъ нечего искать какой бы то ни было градациі понятій красоты. Я не имѣю при этомъ въ виду такъ называемаго «павильона любителей», составляющаго часть художественной выставки и наполненнаго среднѣвѣковыми рѣзными, скульптурными и другими художественными произведеніями. Это, во-первыхъ, случайное явленіе на выставкѣ, обязанное своимъ существованіемъ инициативѣ нѣсколькихъ любителей и специалистовъ, а во-вторыхъ, здѣсь нѣтъ рѣчи собственно объ искусствѣ, вопросъ о которомъ несравненно сложнѣе, чѣмъ вопросъ о красотѣ. Я просто ищу различныхъ ступеней развитія понятій о красотѣ и ничего подобнаго не нахожу, а разъ нѣтъ поля для сравненія, нѣтъ и возможности какихъ-нибудь выводовъ. Единственный выводъ, который

можетъ быть сдѣланъ въ этомъ отношеніи, указанъ въ прошломъ письмѣ. Это—постепенное исчезновеніе національных особенностей въ выставленныхъ произведеніяхъ вообще, а слѣдовательно, и въ пониманіи красоты. Въ европейскихъ отдѣлахъ все красиво, и все красиво съ точки зрѣнія современнаго цивилизованнаго человѣка, современнаго ферштандсменша. Я замѣтилъ только одну витрину, рѣзко выдающуюся въ этомъ отношеніи. Это именно витрина одного польскаго пряничнаго фабриканта въ русскомъ отдѣлѣ (того самаго, который выставилъ Стефана Баторія изъ сахара). Этотъ экспонентъ, — я не помню его фамиліи, — представилъ на публичный отчетъ цивилизаціи, между прочимъ, огромный безобразный пряникъ, въ видѣ пирога, и еще болѣе безобразныхъ пряничныхъ пѣтуховъ и т. п. съ украшениями изъ сусальнаго золота. Я вижу въ этихъ безобразіяхъ одинъ изъ немногихъ лучей правды на вѣнской всемірной выставкѣ. Цивилизація, конечно, лжетъ, когда утверждаетъ на своемъ публичномъ отчетѣ, что она въ области красоты производитъ только французскія бронзы, итальянскія статуи, австрійскіе портсигары, русскія яшмовыя и порфировыя чаши. Все это несомнѣнно прекрасно, все это несомнѣнно произведено цивилизаціей, т. е. фирмой «ферштандсменшъ и гефюльсменшъ». Но вѣдь всякій же понимаетъ, что этой высокой ступени развитія понятій о красотѣ достигла только одна половина представителей фирмы. А между тѣмъ дѣло поставлено такъ, что вышеупомянутый экспонентъ-прячникъ совершилъ нѣчто въ родѣ гражданскаго подвига, выставивъ безобразныхъ пѣтуховъ, вполнѣ, однако, удовлетворяющихъ милліоны русскаго люда. Своимъ публичнымъ отчетомъ цивилизація самымъ наивнымъ образомъ обманываетъ сама себя. Она подаетъ сама себѣ сливки и торжественно объявляетъ, что вотъ, молъ, что дала мнѣ моя королева. Но куда-же дѣвалось снятое молоко и почему о немъ не упоминается ни единымъ словомъ, когда всѣмъ извѣстно, что оно существуетъ? Выставка, несомнѣнно, даетъ не мало матеріаловъ для рѣшенія вопроса: чѣмъ и какъ живутъ и чего жаждутъ душа и тѣло современнаго ферштандсменша? Допустимъ, что цѣль эта стоитъ тѣхъ затратъ, которыхъ требуетъ всемірная выставка, и что матеріалы собраны и расположены вполнѣ удовлетворительно. И то, и другое, собственно говоря, совсѣмъ несправедливо, но положимъ. Все-таки мы имѣемъ отчетъ цивилизаціи совершенно односторонній и вдвойнѣ фальшивый: онъ не только не полный, но еще выдаетъ себя за полный. Это было-бы нагло, если бы не было наивно. Такъ какъ тѣ вре-

мена, когда Марія Антуанета совѣтовала голодающимъ, въ виду дороговизны хлѣба, кушать кондитерскіе пирожки, уже прошли, и всякому случалось встрѣчать въ жизни явленія, пропущенныя на выставкѣ, то наивность была бы въ этомъ случаѣ даже совсѣмъ непонятна, если бы она не питалась побочными вопросами. Въ числѣ этихъ побочныхъ вопросовъ самое видное мѣсто занимаетъ такъ называемое международное соперничество. Выгоды отдѣльныхъ экспонентовъ, естественно выдающихся въ выставкѣ удобнѣйшій моментъ для рекламы, и патриотизмъ, откуда и какъ бы онъ ни выросъ, сосредоточиваютъ мысль большинства общества на щегольствѣ произведеніями той или другой страны. Въ этомъ щегольствѣ видятъ даже обыкновенно самую суть всемірныхъ выставокъ, и пускаются въ красивыя, удобныя и утѣшительныя сравненія ихъ съ олимпійскими играми въ Греціи и съ средневѣковыми рыцарскими турнирами. Но этимъ-же самымъ, очевидно, подписывается смертный приговоръ выставкѣ, какъ публичному отчету цивилизаціи. Очевидно, что на выставкѣ играетъ тотъ народъ или тѣ экспоненты, которые, по обстоятельствамъ времени и мѣста, лучше сумѣютъ и смогутъ товаръ лицомъ показать. А эти обстоятельства безконечно разнообразны и часто въ высшей степени мелочны. Я приводилъ уже цифры экспонентовъ англійскихъ и австрійскихъ, изъ которыхъ слѣдовало бы заключить, что Австрія далеко опередила Англію на пути промышленнаго развитія, тогда какъ въ дѣйствительности дѣло объясняется просто тѣмъ, что выставка имѣетъ мѣсто въ столицѣ Австріи. Есть, правда, на вѣнской выставкѣ такъ называемый павильонъ «всемирной торговли», въ которомъ, однако, сосредоточены главнымъ образомъ данныя для новѣйшей исторіи торговыхъ отношеній Триеста. Въ *cercle oriental* помѣстилась маленькая бібліотека, состоящая изъ монографій по торговлѣ и статистикѣ Востока. По инициативѣ эрцъ-герцога Райнера предполагается рядъ публичныхъ отчетовъ специалистовъ. Предполагаются, кромѣ того, международные конгрессы пивоваровъ, политико-экономовъ, учителей и проч. Весьма вѣроятно, что эта сторона выставки дастъ болѣе или менѣе цѣнные результаты. Но вѣдь выставка тутъ, собственно говоря, не при чемъ, потому что конгрессы и отчеты специалистовъ не только не потеряли бы, а даже выиграли бы, если бы они происходили при менѣе дорогой и шумной обстановкѣ. Во всякомъ случаѣ, между ними и выставкой нѣтъ прямой, необходимой связи. Самые рутинные экономисты, каковы Мишель Шевалье, Воловскій, болѣе или менѣе прямо говорятъ, что все-

мірныя выставки суть шарлатанство. И дѣйствительно, побывавъ на выставкѣ, всякій, при помощи самыхъ нехитрыхъ соображеній, не замедлитъ убѣдиться, что это для однихъ—дорого стѣящее, но грандіозное развлеченіе, для другихъ—мутная вода, въ которой удобно ловить рыбу. Тѣмъ не менѣе все современное общество до такой степени воспитано на идеяхъ международнаго соперничества, международной дружбы и всякихъ другихъ международностей, что на всемірную выставку мы не можемъ смотрѣть иначе, какъ съ вытекающей отсюда точки зрѣнія. Связанный съ патриотизмомъ страсти и страстишки отводятъ людямъ глаза отъ мишурности этого рода отчетовъ цивилизаціи, и будущность ихъ была бы надолго обезпечена, если бы не огромная вѣроятность, что они будутъ убиты рублемъ, т.-е. дефицитами.

Вотъ еще нѣсколько цифръ, свидѣтельствующихъ о неблизкостатномъ состояніи финансовой стороны вѣнской выставки. 21-го іюня было 88,000 посѣтителей. Но это былъ день совершенно исключительный: Троицынъ день, превосходная погода, 50 крейцеровъ входной платы. Но и изъ этихъ 88,000 далеко не всѣ заплатили входную плату, а, какъ я уже говорилъ, дирекція рассчитывала на 50,000 гульденовъ въ день. 4-го іюня было всѣхъ, и платящихъ, и не платящихъ, и половину платящихъ посѣтителей—30,377; 5-го іюня—26,372; 11-го іюня—29,252; 12-го іюня—53,494 (50 крейц. за входъ); 14-го іюня—30,751; 29-го іюня—27,656; 1-го іюля—31,452; 2-го іюля—27,640. А на парижской выставкѣ среднимъ числомъ въ день приходилось 50—60,000 посѣтителей. Это уже осязательная, прямая неудача вѣнской выставки, отчасти даже затрогивающая интересы буммлеровъ. Причины этой неудачи многообразны и нѣкоторыя изъ нихъ весьма любопытны, какъ проблески той жизненной правды, которой нѣтъ на публичномъ отчетѣ цивилизаціи.

Самые завзятые изъ австрійскихъ патриотовъ, восторженные поклонники выставки, сваливаютъ всю вину на дурную погоду и отчасти на запоздалое открытіе выставки. Но это причины наименѣе важныя и интересныя. Погода въ Вѣнѣ стояла, дѣйствительно, непривлекательная почти до настоящей минуты *). Но ни буммлеръ, ни специалистъ, ни наивный мечтатель, рассчитывающій присутствовать при публичномъ отчетѣ цивилизаціи, конечно, не посмотрятъ

на погоду. Открыта была выставка въ свое время, т. е. 1-го мая, какъ и обѣщаль баронъ Шварцъ. Правда, что открыты были, главнымъ образомъ, закупоренные тюки и запертыя двери. Но это неудача только сама по себѣ, не влекущая за собой другихъ неудачъ. Къ болѣе интереснымъ, отчасти дурнымъ предзнаменованіямъ, отчасти дѣйствительнымъ причинамъ неудачи выставки относятся, во-первыхъ, стачка извозчиковъ, окончившаяся, впрочемъ, своевременно и благополучно, если не считать неблагополучіемъ вытребованное извозчиками довольно значительное возвышеніе таксы. Надо, впрочемъ, замѣтить, что вѣнскіе извозчики, несмотря на свои прекрасные экипажи, народъ въ высшей степени непріятный, пьяный, грубый, избалованный биржевыми денди. И я, по крайней мѣрѣ, старался обходиться безъ ихъ услугъ, что въ Вѣнѣ очень удобно, благодаря обилію носильщиковъ, коммисіонеровъ, дилижансовъ и конно-железныхъ дорогъ. Далѣе—дороговизна. Дороговизна, во-первыхъ, входной платы, а кромѣ того, вы должны еще заплатить, присѣвъ на стулъ, смотря по тому гдѣ, 5 или 10 крейцеровъ; за самыя необходимыя отправленія 10 или 20 крейц., да еще 50 крейц., если вы пожелаете послушать тутъ-же на выставкѣ играющій въ опредѣленные часы оркестръ Штрауса; да еще васъ обдерутъ въ ресторанахъ. Вѣнскія сатирическія газеты потратили много остроумія на изображеніе бѣдственнаго положенія посѣтителей выставки. Но дороговизна существуетъ и внѣ выставки, хотя, вообще говоря, далеко не въ такомъ размѣрѣ, какъ расписывали англійскія, германскія и отчасти русскія газеты. Во всякомъ случаѣ, жители веселой Вѣны не обнаружили древней добродѣтели—гостепріимства, и стремленіе обратить ближняго нѣсколько парализируетъ торжественно-дружественный характеръ всемірной выставки.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ грабежъ достигаетъ дѣйствительно громаднхъ размѣровъ. Вотъ напечатанный въ *Le Danube* счетъ, поданный одному англичанину въ гостиницѣ *Métropole*:

27-го мая	комната . . .	12	гульд. —	крейц.
»	» свѣчи . . .	1	» 80	»
»	» прислуга . . .	1	» 50	»
»	» два обѣда . . .	7	» —	»
»	» рюмка ликеру . . .	1	» 50	»
»	» привозъ багажа со станціи . . .	4	» 20	»
28-го	» комната . . .	12	» —	»
»	» прислуга . . .	1	» 50	»
»	» бѣлье . . .	1	» 35	»
»	» 2 кофе, 4 яйца . . .	1	» 90	»

*) Стихія продолжаютъ не благопріятствовать выставкѣ. 29-го іюня надъ Вѣной разразилась страшная буря и многія зданія выставки потеряли огромныя поврежденія отъ вѣтра и воды.

29-го мая комната . .	12 гульд.—крейц.
» » прислуга . .	1 » 50 »
» » бѣлье . . .	1 » 25 »
» » 2 кофе, 4 яйца	1 » 90 »
» » омнибусъ на станцію . .	2 » — »
	63 гульд. 50 крейц.

Это тоже пропущенная на публичномъ отчетѣ цивилизации жизненная правда. По поводу ея происходила небезынтересная перестрѣлка между германскими и австрійскими газетами. Первые съ лицемѣрнымъ видомъ объясняли, что имъ очень прискорбно, что выставка не удалась, но что это, къ сожалѣнію, фактъ, никакому сомнѣнію не подлежащій. Австрійскія газеты отгрызались, какъ могли, а отгрызаться имъ приходилось еще и отъ нѣкоторыхъ чешскихъ газетъ, которыя въ лицѣ выставки громили нынѣшнее министерство и весь нынѣшній порядокъ вещей въ Австріи. Полемика по поводу дороговизны облекалась даже въ форму рекламъ и объявленій. Вотъ, для примѣра, одно изъ такихъ международно-полемиическихъ объявленій:

WIEN-BERLIN.

Es gibt nur eine Kaiserstadt,
Die ist jetzt Berlin,
Dort heisst man eine Räuberstadt
Unser gut's schönes Wien. —
Ein so billig's Viertel Gans'l *),
Wie beim g'rad'n Michl in Wien —
Auf der Seilerstŕasse sowohl,
Als in der Teinfaltstrasse d'rin, —
Bekommt man nicht in London,
Paris oder Turin! —
Am allerwenigsten aber
In der Kaiserstadt Berlin!!!
G'rader Michl.

Надо, впрочемъ, отдать справедливость вѣискому городскому начальству: оно принимало всѣ мѣры для сокращенія аппетитовъ домохозяевъ и содержателей гостиницъ и ресторановъ, не гармонирующихъ съ характеромъ минуты, — минуты публичнаго отчета цивилизации. Оно и сдѣлало многое въ этомъ направленіи. Однако, дороговизна все-таки напугала и пугаетъ многихъ. И самымъ яростнымъ клакѣрамъ выставки, а вмѣстѣ съ тѣмъ и успѣховъ цивилизації, приходится сознаваться, что на розахъ много шиповъ, на солнцѣ много пятенъ. Одни вспоминаютъ при этомъ ужасающій ростъ дороговизны квартиръ въ Вѣнѣ, и помимо выставки, и цѣлый рядъ гнусныхъ спекуляцій насчетъ нанимателей. Другіе вспоминаютъ даже «доброе

старое время», когда, какъ будто, не такъ стремились къ обдиранію ближняго и когда жить было дешевле. Одна газета напечатала интересный документъ — распоряженіе вѣнскаго магистрата, изданное въ 1720 году по случаю дороговизны. Распоряженіемъ этимъ устанавливались слѣдующія цѣны: въ одномъ ресторанѣ обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ за 7 крейцеровъ и изъ 6-ти блюдъ за 17 крейцеровъ, въ другомъ 7 блюдъ за 24 крейцера. Семи-крейцеровый обѣдъ состоялъ изъ супа, говядины, зелени и жаркого, а теперь за него надо заплатить гульдена два.

Изъ разныхъ этихъ мелочей, группирующихся вокругъ публичнаго отчета цивилизації, складается нѣкоторая горечь, мѣшающая, если не всякому, то, по крайней мѣрѣ, многимъ отдаться съ полнымъ entrain именинамъ сердца цивилизації. Маниловы, конечно, всегда и вездѣ существуютъ въ большомъ количествѣ, особенно когда именины такъ грандіозны, шумны, блестящи, какъ всемірная выставка. Но, я думаю, многимъ приходитъ въ голову вопросъ: насколько, въ самомъ дѣлѣ, въ правѣ цивилизация такъ чествовать именины своего сердца? За плечами у насъ не Аркадія, это вѣрно, wir sind nicht in Arkadien geboren. Возвратъ къ прошедшему нежелателенъ, даже если бы онъ былъ возможенъ. Пусть старые боги летятъ въ бездну времени, туда имъ и дорога. Но ждешь ли насъ Аркадія впереди, а тѣмъ паче много ли аркадскаго видимъ мы вокругъ себя? Лѣтъ тридцать тому назадъ эти вопросы сильно занимали людей, и много мужества, смѣлости и силы мысли было при этомъ обнаружено. Но великій искъ противъ великаго противника былъ проигранъ; извѣстная форма цивилизації объявила себя формой единственной, вѣчной, люди повѣрили ей, а тѣмъ самымъ подорвана почва у вопроса: къ Аркадіи ли мы приближаемся? Люди всегда радѣлись на такихъ, которые довольствуются синицей въ рукахъ, и на такихъ, которые ищутъ журавля въ небѣ. Это крайніе типы, среди которыхъ укладывается множество отгѣнковъ. Но на аренѣ исторіи постоянно чередуются сильныя уклоненія то къ одной, то къ другой изъ двухъ крайностей. Теперь мы, вообще говоря, предпочитаемъ, слѣшкомъ предпочитаемъ синицу въ рукахъ журавлю въ небѣ. И всемірныя выставки не мало способствуютъ этому теченію мыслей и чувствъ. По самымъ интимнымъ свойствамъ своимъ онѣ должны возбуждать въ людяхъ самодовольство, самообольщеніе, убѣждать ихъ въ томъ, что находящаяся въ ихъ рукахъ синица есть даже вовсе не синица, а именно тотъ журавль, котораго другіе ищутъ въ небѣ, или, по крайней мѣрѣ, въ томъ, что журавль будетъ пойманъ сейчасъ, сію

*) Eskostet gegenwärtig trotz der Weltausstellung ein schönes, vollkommenes, heuriges Eipeldauer Gans'l nur 45 und 50 kr. und später noch weniger.—Ein ganzes Backhuhn nur 80 kr.

минуту, и притомъ на томъ же пути, на которомъ изловлена синица. Понятно, какъ вредно такое закрѣпленіе и безъ того уже господствующаго настроенія. Оно вредно уже потому, что оно ложно. Совсѣмъ не такъ гладокъ путь цивилизаціи, какъ думаютъ настроенные выставкой Маниловы. Если мы будемъ искать наиболѣе живой струны современной цивилизаціи, то найдемъ ее въ производствѣ матеріальныхъ богатствъ. Здѣсь бьется теперь пульсъ исторіи, и только по временамъ притягиваютъ къ себѣ общее вниманіе чисто политическіе и притомъ старозавѣтные идеалы. Но производство, какъ центръ всѣхъ стремленій, чувствъ и мыслей, есть просто грабежъ природы и будущихъ поколѣній, и рано или поздно ему предстоитъ печальный конецъ. Цивилизація до такой степени погрузилась въ задачу производства, что даже и не помышляетъ о необходимости возмѣщенія силъ, занятыхъ у природы. Рассчитываютъ, что къ 1945 году Англія сожжетъ и распродастъ весь свой каменный уголь. Нѣкоторые русскіе патріоты радуются этому обстоятельству, имѣя въ виду хотя отчасти замѣнить на рынкѣ англійскій уголь нашимъ. Съ патріотической точки зрѣнія это разсужденіе безукоризненно. Но не значитъ ли это разсчитывать на ту же пропасть, въ которую провалится въ свое время Англія? Во всякомъ случаѣ, впереди насъ ждетъ многое непредвидѣнное, а можетъ быть и непредвидимое, можетъ быть страшныя катастрофы. Можетъ быть, конечно, и Аркадія, но все-таки дѣло это не безпроигрышное. Его надо стараться выиграть. Складывать руки или, пожалуй, давать работу только рукамъ, производить, производить и производить—тѣмъ болѣе неблагоприятно, что опасности предстоитъ не только со стороны природы. Допустимъ, что развитіе технологіи ни на шагъ не отстанетъ отъ истощенія запасовъ природы. Допустимъ, что, напримѣръ, въ Англіи къ тому самому времени, когда сожжется или продается послѣдній пудъ угля, будетъ изобрѣтенъ способъ добыванія теплоты, какъ двигателя и для другихъ надобностей, непосредственно изъ солнечныхъ лучей. Такимъ образомъ, истощеніе запасовъ теплоты отодвинется на громадное, практически безконечно далекое время. Но кромѣ нашихъ отношеній къ природѣ существуютъ еще наши отношенія другъ къ другу. И какъ бы ни гарантировала намъ Аркадію технологія, этой гарантіи все-таки мало. Когда въ Германіи были изобрѣтены и вошли въ употребленіе вѣтряныя мельницы, между королями, баронами и духовенствомъ возникли жаркіе споры по вопросу—кому принадлежить вѣтеръ? Не можетъ ли повториться подобный споръ относительно тѣхъ солнечныхъ

лучей, которые отдастъ намъ со временемъ въ услуженіе технологія? Можно сказать навѣрное, что формы спора будутъ иныя, иные будутъ и тяжущіеся. Но только это и можно сказать навѣрное. Самый споръ будетъ даже неизбеженъ, если современная форма цивилизаціи доживетъ до того времени. Какъ бы дикъ ни казался намъ теперь споръ изъ-за права на вѣтеръ, онъ органически вытекаетъ изъ формы тогдашней цивилизаціи, тогдашнихъ междоличныхъ отношеній, а потому казался всѣмъ натуральнымъ. Но стоитъ только оглянуться вокругъ себя, хотя бы на той же самой вѣнской всемірной выставкѣ, и вы увидите и услышите массу дикостей, признаваемыхъ вполне натуральными, потому что онѣ органически вытекаютъ изъ современной формы цивилизаціи. Internationale Ausstellungs Zeitung, обозрѣвая ліонскую часть французскаго отдѣла, ни съ того, ни съ сего, можно сказать, вполне ни къ селу, ни къ городу, припомнила, что вотъ-могъ эти шелки и бархаты исполнены тѣми самыми рабочими, которые нѣкогда написали на своемъ знамени: «vivre en travaillant ou mourir en combattant». Почтенная газета на этомъ не остановилась. Она замѣтила, что со стороны ліонскихъ рабочихъ было весьма странно и противорѣчиво возставать противъ роскоши, когда они ею живутъ. Это разсужденіе есть своего рода пертъ дикости, но оно показываетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ форма цивилизаціи овладѣваетъ людьми, какъ трудно отъ нея отрѣшиться на краю даже самыхъ очевидныхъ пропастей софизма и бессмыслицы.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что если бы на вѣнской всемірной выставкѣ успѣхи промышленности и техники были представлены даже вполне удовлетворительно, то все-таки еще не было бы резону праздновать именины сердца цивилизаціи. Все-таки надо было бы потребовать громаднаго дополненія къ отчету; нужно указать, какъ распределяются дары цивилизаціи и каковы отношенія между участниками фирмы «ферштандменшъ и гефюльсменшъ». Сдѣлать это было бы, абстрактно говоря, вовсе не такъ трудно, какъ оно кажется съ перваго взгляда. Зародышъ этой стороны отчета цивилизаціи даже имѣется на выставкѣ, хотя и въ извращенномъ видѣ,—это международная деревня, къ сожалѣнію, мѣстами безсовѣстно подкрашенная. Абстрактно говоря, было бы очень легко наглядно показать, чѣмъ довольствуется гефюльсменшъ въ области красоты, богатства, справедливости, истины. Но ни одна всемірная выставка, разумеется, этого не сдѣлаетъ, потому что она есть выставка лучшихъ вещей. Выставка распределенія даровъ цивилизаціи немислима. Точно также немислима вы-

ставка, какъ отчетъ о взаимныхъ отношеніяхъ между представителями цивилизаціи. Я въ этомъ отношеніи рассчитывалъ на художественную выставку. Я думалъ, что свободное, неподкупное, святое искусство дастъ обильный матеріалъ для рѣшенія этого вопроса. Я рассчитывалъ встрѣтить картины, непосредственно характерныя для настоящаго фазиса цивилизаціи, и укору прошедшему, и идеалу будущаго. Я ошибся.

Но, къ счастью или къ несчастію, около самодовольнаго, шарлатанскаго, приторнаго публичнаго отчета цивилизаціи копится все больше и больше горечи правды. Горечь эта даже растетъ на время отчета, является какъ-бы въ увеличенномъ видѣ, что, впрочемъ, очень естественно. Напримѣръ, жители веселой Вѣны и въ обыкновенное время не отличаются особенною строгостью нравовъ. Не говоря о разсказахъ опытныхъ людей, достаточно взглянуть на заднія страницы нѣкоторыхъ вѣнскихъ газетъ, чтобы убѣдиться, что вѣнцы и вѣнки пожуировать любятъ. Объявленія о желаніи вступить въ бракъ при такихъ-то и такихъ-то условіяхъ наименѣе интересны и наименѣе пикантны. Да ихъ сравнительно и немного. Гораздо поучительнѣе заявленія въ такомъ родѣ: такой-то и такой-то молодой человѣкъ, обвороженный такою-то, такъ-то одѣтою дамою, видѣнною имъ такого-то числа тамъ-то, покорнѣйше проситъ ее назначить ему часъ и мѣсто свиданія, и т. п. Бываетъ и такъ, что приглашается на свиданіе молодой офицеръ, вошедшій такого-то числа, въ такое-то время, въ такую-то табачную лавку. Разъ подобныя объявленія печатаются въ большомъ количествѣ, эти приглашенія, очевидно, должны довольно часто увѣчиваться вожделѣннымъ концомъ. На время публичнаго отчета цивилизаціи такого рода зазывы и предложенія естественно должны были и увеличиться числомъ, и подняться тономъ выше. И дѣйствительно, нѣкоторыя изъ нихъ отличаются замѣчательнымъ цинизмомъ. То какой-то художникъ ищетъ *на время выставки* хорошенькой и непременно *рыжей* подружки; то молодой человѣкъ *краткаго тѣлосложенія* ищетъ покровительства богатой и знатной дамы; то двѣ веселыя дѣвицы ищутъ двухъ иностранцевъ для совместнаго посѣщенія публичнаго отчета цивилизаціи, то два иностранца ищутъ двухъ дѣвицъ и т. д., и т. д. Все это не безъ эффекта отбѣняетъ именины сердца цивилизаціи.

Klatsch, конечно, отбѣняетъ минуту вящаго самохвальства и шарлатанства еще пикантнѣе. Когда я пріѣхалъ изъ Пешта въ Вѣну, я сейчасъ-же отправился на Schatten Ring, гдѣ находится многогрѣшная вѣнская биржа. Но я засталъ уже улегшееся море.

Не только биржа, но почти вся улица въ ширину и всѣ кафе на противоположной сторонѣ были наполнены людьми съ мрачными, озабоченными, преимущественно еврейскими фizioноміями. Говорили больше шопотомъ. Ни площадныхъ ругательствъ, ни дракъ уже не было и, признаюсь, я пожалѣлъ объ этомъ: мнѣ очень хотѣлось посмотрѣть и послушать, какъ ругаются и дерутся высокообразованные, изящные биржевые денди. Это была, говорить, прелестная въ своемъ родѣ картина. Вѣнцы съ своею обычною живостью перенесли ее на театральные подмостки и на другой же день послѣ пріѣзда изъ Пешта я видѣлъ въ одномъ изъ маленькихъ вѣнскихъ театровъ нѣкоторое подобіе Klatsch'a.

Вѣна давно уже окунулась въ омутъ биржевой игры. Она вся играла на биржѣ, отъ самыхъ высокопоставленныхъ лицъ въ имперіи (меня увѣрили, что одно изъ такихъ лицъ потеряло въ послѣднемъ погромѣ 18 милліоновъ) до извозчиковъ и кельнеровъ. Понятно, какія послѣдствія долженъ былъ имѣть такой порядокъ вещей. Скорая и легкая нажива на биржѣ естественно отгоняла мысль отъ труда и всякихъ серьезныхъ занятій. Безумная роскошь росла не по днямъ, а по часамъ. Вѣна украшалась дворцами, радуя сердца городскихъ патриотовъ, но дороговизна все увеличивалась, потому что гдѣ же угоняться за людьми, которые безъ всякаго труда, можно сказать, въ нѣсколько часовъ становятся богачами. Все стало покупнымъ отъ печатнаго слова до женскихъ объятій, всѣ интересы измельчали и сосредоточились около курсовыхъ таблицъ. Моралисты пришли бы въ ужасъ отъ всего этого, если бы они были на лицѣ. Но ихъ не было, потому что распространѣннѣйшіе въ западной Европѣ проводники нравственныхъ идей, газеты, въ Вѣнѣ чуть не всѣ находились такъ или ичѣ въ рукахъ биржевиковъ и ажіотѣровъ. Къ интереснѣйшимъ эпизодамъ краха относится внезапное прекращеніе около тридцати газетъ, до тѣхъ поръ жившихъ насчетъ биржа и ажіотажа. Никогда, можетъ быть, печатное слово не достигало такого униженія, какъ въ моментъ публичнаго отчета цивилизаціи. Оно раздѣлило печальную долю нумерованныхъ извозчиковъ. Кстати, это очень интересная порода людей. Вѣнцы очень любятъ, что называется, кататься и щегольнуть лошадьми и экипажами. Недаромъ и на выставкѣ вѣнскіе экипажи не имѣютъ соперниковъ. Какъ и почему сложилась въ жителяхъ веселой Вѣны эта страсть, я не знаю, но достойно извѣстно, что биржевые денди и увлекались ею больше, чѣмъ кто-нибудь, и больше, чѣмъ кто-нибудь, способствовали ея развитію. Собственный экипажъ есть любимая мечта всякаго истаго вѣнца, биржевая

игра—удобнѣйшее средство для ея осуществленія. Но пока биржевой денди еще не успѣлъ сдѣлаться крезомъ, онъ довольствуется нenumерованнымъ извозчикомъ. Эти подобія нашихъ лихачей—люди крайне избалованные и гордые своимъ привилегированнымъ положеніемъ. И вдругъ Крахъ подрѣзалъ крылья ихъ кліентамъ, а вмѣстѣ и имъ самимъ: они должны были превратиться въ обыкновенныхъ нумерованныхъ извозчиковъ или прекратить свое существованіе, какъ прекратили свое существованіе тридцать вѣнскихъ газетъ, жившихъ крохами со стола биржевыхъ тузовъ. Поучительное сходство судеб! Поучительно оно особенно по своей обстановкѣ, по совпаденію несчастья газетъ и извозчиковъ съ минутой хвастовства цивилизации.

Биржевой погромъ богатъ чрезвычайно характерными эпизодами. Я уже не говорю о дракахъ въ зданіи биржи и объ очищеніи его при посредствѣ полиціи. Я не говорю о многочисленныхъ самоубійствахъ, на которыя рѣшались даже совсѣмъ молодые люди, полные силъ и надеждъ. Тѣмъ паче не стоитъ говорить о банкротствахъ. Изъ нихъ надѣлало особеннаго шума банкротство банкирскаго дома Плахта, пассивъ котораго простирался до трехъ милліоновъ, а активъ равнялся чему-то въ родѣ 50,000. Плахтъ, печатавшій въ газетахъ свои заманчивыя объявленія еще нѣсколько дней спустя послѣ перваго удара грозы, имѣлъ въ провинціи многочисленныхъ агентовъ, которые сплавляли къ нему сбереженія бѣднѣйшаго люда. Такъ, въ числѣ кредиторовъ оказалась одна скотница изъ Штейермарка, которая вложила три гульдена. Но оригинальнѣе всего исторія, называемая въ Вѣнѣ исторіей о томъ, какъ «евреи Бога проиграли». Рассказываютъ ее разное, и я могу передать только суть дѣла. Гдѣ-то въ Венгріи еврейская община имѣла въ рукахъ капиталъ тысячъ въ тридцать, собранныхъ, не умѣю сказать, на постройку ли синагоги или уже въ готовой синагогѣ, во всякомъ случаѣ деньги ассигнованы были на священныя цѣли. Благочестивые сыны Израиля, желая по возможности быстро и безъ труда увеличить священный капиталъ, выпустили его на биржу, какъ выражаются въ Вѣнѣ, zur höchsten Fruktifizierung, и капиталъ погибъ въ водоворотѣ Краха. Это весьма характерно для современной цивилизации. Но публичный отчетъ ея, называемый вѣнскою всемірною выставкой, конечно, умалчалъ о лежащемъ въ основаніи этого эпизода элементѣ.

Крахъ естественно отразился на выставкѣ. Приходить или не приходить кому-нибудь въ голову соображенія о противорѣчивости выставки съ окружающею ее жизненной прав-

дой, но фізіономія Вѣны должна была пострадать Газетъ меньше, нenumерованныхъ извозчиковъ нѣтъ, ряды ловкихъ наѣздниковъ съ еврейскими лицами порѣдѣли, вездѣ мрачные толки о самоубійствахъ, разореніяхъ; расчеты на наплывъ иностранныхъ и иногородныхъ гостей значительно подорваны. Крахъ поразилъ не одну Вѣну, потому что вся Австрія болѣе или менѣе вовлечена въ игру своей столицы. А чтобы видѣть, какъ это можетъ отразиться на успѣхахъ выставки, возьмемъ наглядный примѣръ. Есть въ Венгріи небольшой городъ Эденбургъ, а въ немъ много лѣтъ тому назадъ открылъ мелочную лавку нѣкто Фландорферъ. Крейцеръ за крейцеромъ, гульденъ за гульденомъ наколачивалъ онъ деньги и оставилъ своему сыну уже довольно круглую сумму, которую тотъ, въ свою очередь, увеличилъ. Но внукъ владѣльца мелочной лавки, какъ человекъ вполне современный, повелъ дѣло на широкую ногу: имъ овладѣла биржевая и акціонерная горячка, онъ основалъ эденбургскій кредитный банкъ, эденбургскій торговый банкъ и скоро сталъ милліонеромъ. Но Крахъ не пощадилъ его,—онъ застрѣлился. Представимъ себѣ, что Крахъ нѣсколько запоздалъ и далъ эденбургскому Ротшильду возможность людей посмотреть и себя показать на вѣнской выставкѣ. Какихъ лошадей, какую толпу прихвостней привезъ бы онъ съ собою въ столицу, какіе пиры задавалъ бы онъ у Frères Provençaux и Захера, какихъ картинъ и статуй купилъ бы онъ для украшенія своихъ дворцовъ и въ поощреніе искусству! И все это унесъ Крахъ...

Въ Вѣнѣ теперь очень многіе заняты дѣйствительно любопытнымъ вопросомъ: какое вліяніе окажетъ Крахъ на судьбы искусства? Вліяніе онъ окажетъ, это несомнѣнно: оно уже обнаруживается тѣмъ, что никто не покупаетъ картинъ ни на выставкѣ, ни внѣ ея, у торговцевъ художественными произведеніями. Впрочемъ, это относится только къ картинамъ. Лучшія итальянскія статуи были выставлены во дворцѣ промышленности задолго до открытія собственно художественной выставки (она была офиціально, т.-е. императоромъ австрійскимъ, открыта только 15 мая, и то далеко не вся). Почти всѣ онѣ были немедленно раскуплены за весьма почтенныя деньги англичанами, преимущественно какимъ-то мистеромъ Джономъ Льюисомъ. Но на этомъ дѣло стало: картины не идутъ въ ходъ, хотя художественная выставка всегда биткомъ набита. Знатоки дѣла, торговцы художественными произведеніями приписываютъ этотъ застой доселѣ очень ходкаго товара исключительно биржевому погрому. Они утверждаютъ, что нѣтъ лучшихъ покупателей, какъ биржевые тузы. Вопросъ теперь въ

томъ—хорошо или дурно, что, за исчезновениемъ или, по крайней мѣрѣ, присмирениемъ биржевыхъ денди, картины не покупаются? Съ точки зрѣнія торговца художественными произведениями отвѣтъ простъ и ясенъ: нехорошо. Но многіе утверждаютъ, что въ этомъ отношеніи чѣмъ хуже, тѣмъ лучше, и, осмотрѣвъ художественную выставку, я вполне присоединяюсь къ этому мнѣнію.

Тѣ времена, когда Людовикъ XIV съ негодованіемъ отворачивался отъ картинъ фламандской школы и презрительно говорилъ: «Tirez moi ces magots», эти времена прошли безвозвратно. Поэтому о нихъ можно говорить спокойно. Меценатство есть убійство искусства, но меценатство вѣдь не исчезло, а только приняло инныя формы. И еще можно поспорить, какія формы его выше и выгоднѣе для искусства,—старыя или новыя. Во всякомъ случаѣ, можно долго говорить и за тѣ и другія, и противъ тѣхъ и другихъ. Несмотря на всю ходульность и жеманство искусства временъ такъ-называемаго великаго короля, въ пользу тогдашняго меценатства говорить самое положеніе меценатовъ. Они были вельможи; на развитіе ихъ эстетической способности ушли цѣлые ряды послѣдовательныхъ поколѣній, и какъ ни отвратительно это обстоятельство само по себѣ, но оно гарантировано, по крайней мѣрѣ, искреннюю любовь къ искусству и извѣстное пониманіе его. Съ тѣхъ поръ, какъ центр тяжести перешелъ въ руки буржуазіи, положеніе вещей измѣнилось. Сначала искусство, вдохновляемое медовымъ мѣсяцемъ буржуазіи, служило великимъ идеямъ истины и справедливости. Въ это время не было и не могло быть меценатовъ, а если они кое-гдѣ и были, то ничему не мѣшали, потому что таковъ уже былъ характеръ времени: коронованный покровитель Шиллера не мѣшалъ ему оставаться Шиллеромъ. Но и эти времена прошли. Опять явились меценаты; на этотъ разъ уже другого сорта. Плахты и Фландорферы, разбогатѣвшіе на биржѣ внуки мелочныхъ лавочниковъ, совмѣстившіе въ себѣ всѣ недостатки средняго сословія и не имѣющіе ни одного изъ его достоинствъ,—вотъ кто даетъ нынѣ тонъ искусству. Они главные покупатели, и художникъ, не желающій умирать съ голоду или не имѣющій особеннаго мужества, по-неволѣ приноровывается къ ихъ требованіямъ. А какія ихъ требованія? Пройдитесь по заламъ художественной выставки, и вы узнаете. Плахты и Фландорферы, одинаково чуждые и старымъ, и новымъ нравственнымъ идеямъ, хотя прежде всего наслаждаться не только красотой, техникою рисунка, но и сюжетомъ картины. Поэтому, самымъ ходкимъ товаромъ будутъ хорошенькіе пейзажи

и голыя женщины: раздѣвающіяся нимфы, одѣвающіяся нимфы, купающіяся дѣвушки, спящія дѣвушки, истина въ образѣ нагой женщины, держащей факелъ и т. д. Всего этого очень много на выставкѣ и нѣкоторыя изъ этого рода вещей несомнѣнно превосходны. Есть, напримѣръ, въ итальянскомъ отдѣлѣ статуя туринскаго скульптора Табакки, изображающая полулежащую женщину въ какомъ-то легкомъ костюмѣ, въ родѣ костюма дебардѣра, съ маской въ рукѣ. Она, должно быть, только-что вернулась изъ маскарада и напоминаетъ свои похождения: поза лѣнивая и сладострастная, на лицѣ бродитъ торжествующая и зазывающая улыбка. Сдѣлана эта вещь превосходно: тѣло, рубашка, спущенная драпировка, кружева—изумительны. Но ничего, кромѣ чувственности, эта прекрасная статуя возбудить не можетъ, да и другой цѣли, очевидно, не имѣетъ,—на это ушелъ весь талантъ художника. Эта статуя напоминаетъ мнѣ нѣкоторыя страницы изъ прославленнаго у насъ романа Эмиля Зола «La curée». Романъ этотъ мѣстами, дѣйствительно, прекрасенъ, но сатирическая задача автора далеко не осуществилась: при описаніи походовъ героини съ своимъ пасынкомъ у него, очевидно, у самого слюнки текутъ, и вмѣсто сатирическаго бича получается конформативъ. Статуя Табакки есть тоже конформативъ и притомъ безъ какихъ-бы то ни было сатирическихъ намѣреній. Служить конформативомъ для Плахтовъ и Фландорферовъ,—какая великая задача искусства!

За хорошенькими пейзажами и сюжетами пикантнаго свойства идетъ невинный жанръ, болѣе или менѣе оставляющій мысль въ покоѣ и не дающій ничего, кромѣ специально-эстетическаго наслажденія. Есть, конечно, и исключенія; но, вообще говоря, выставленные жанры преимущественно успокоительнаго и увеселительнаго свойства, ибо таковы требованія Плахтовъ и Фландорферовъ. Я вспоминаю забавный случай. Шли мы какъ-то съ однимъ пріятелемъ по Вѣнѣ, и видимъ аукціонную продажу картинъ. Зашли изъ любопытства. Продавались все пейзажи. Хозяинъ лавки, угадавъ, вѣроятно, въ насъ иностранцевъ, завелъ съ нами особый разговоръ и освѣдомился, почему мы ничего не покупаемъ. Чтобы отказать, мы отвѣтили, что намъ пейзажей не нужно, а вотъ, если-бы былъ жанръ. Хозяинъ не смутился и немедленно вытащилъ изъ задней комнаты огромное полотно съ голымъ миеологическимъ сюжетомъ... Жанры есть на выставкѣ прелестныя, и я могу съ патристическою гордостью сказать, что къ лучшимъ изъ нихъ относятся: «Рыболовъ» и «Охотники» г. Перова, «Игра въ бабки»

г. Каменскаго, «Возвращеніе съ базара» г. Корзухина и нѣкоторыя другія русскія картины. Но какъ ни хороши многія изъ находящихся на выставкѣ жанровъ, они оставляютъ большею частью какое-то неудовлетворительное впечатлѣніе. Какъ-то обидно становится, что такіа большія силы затрачиваются на такіе узкіе сюжеты; это специализируетъ наслажденіе и не даетъ простора мысли и художника, и зрителя. Поэтому, въ концѣ концовъ, даже лучшіе изъ жанровъ приходится по плечу Плахтамъ и Фландорферамъ. Въ нихъ нѣтъ ничего такого, что могло бы нарушить миръ души новѣйшихъ меценатовъ, а между тѣмъ есть нѣчто прекрасное и нѣчто забавное.

Одно меня поразило: на выставкѣ чуть не въ каждомъ отдѣлѣ есть по изображенію, а то и по два, похоронъ, и нѣкоторыя изъ нихъ очень хороши. Напримѣръ, въ швейцарскомъ отдѣлѣ есть превосходная картина Вотье: деревенскія похороны. Гробъ выносятъ изъ бѣдной сельской церкви, а передъ нею стоитъ толпа народу—мужчинъ, женщинъ, ребятишекъ съ самыми разнообразными и необыкновенно-правдиво схваченными выраженіями лицъ. Чѣмъ объяснить это пристрастіе современной живописи къ похоронамъ—не знаю.

Художественныхъ произведеній, имѣющихъ хоть какой-нибудь общественный интересъ, дающихъ работу чему-нибудь, кромѣ эстетической способности, на выставкѣ весьма мало. Венгрія, хотя и заполоненная въ экономическомъ отношеніи евреями, еще живетъ своимъ политическимъ прошлымъ и будущимъ. Поэтому ея художники выставили рядъ картинъ изъ исторіи своей родины. И какъ ни плохи и барабанны многія изъ нихъ, на нихъ все-таки, останавливаешься съ нѣкоторымъ удовольствіемъ, потому что, все-таки, тутъ художника занимало нѣчто высшее, чѣмъ желаніе угодить современнымъ меценатамъ. Право, даже батальнымъ картинамъ, во множествѣ выставленнымъ Германіей, и многочисленнымъ портретамъ нѣмецкихъ героев послѣдней войны, многое можно простить по тѣмъ-же соображеніямъ. Какъ ни какъ, а они даютъ не голое эстетическое наслажденіе. Художники, ихъ писавшіе, все-таки, вдохновлялись худо-ли, хорошо-ли понятными общественными интересами. Можно желать, чтобы интересы эти были шире, чтобы они правильнѣе понимались, можно всей душой ненавидѣть вдохновляющія художниковъ идеи и чувства, но нельзя не отдать имъ справедливости въ томъ, что они служатъ не личностямъ, не личному наслажденію, а по своему понимаемымъ идеямъ правды и добра. Къ сожалѣнію, почти всѣ

эти картины проникнуты барабанно-патристическимъ характеромъ. Исключеній очень мало, хотя существуютъ и они. Во французскомъ отдѣлѣ есть прекрасная картина Глеза (Gleize)—«Театръ человѣческой глупости». На переднемъ планѣ, какъ-бы выйдя изъ рамы, стоитъ во весь ростъ человѣкъ. Написана эта фигура прекрасно. Онъ стоитъ въ качествѣ зазывателя публики въ театрѣ человѣческой глупости, а сзади находится и самый театръ: три картины, изображающія преслѣдованія и казни, одна—христіанъ, другая—еретиковъ; содержаніе третьей не помню, но она тоже изображаетъ религіозныя гоненія. Это чисто Вольтеровскій пошибъ. И что особенно замѣчательно, эта картина, изображающая театрѣ человѣческой глупости, есть государственная собственность,—собственность нынѣшней Франціи.

Перлы русскаго отдѣла художественной выставки—«Грѣшница» г. Семирадскаго и «Бурлаки» г. Рѣпина, я думаю, уже успѣли вамъ набить оскомину. Я могу о нихъ только сказать, что, во-первыхъ, не понимаю, какъ можно сравнивать эти двѣ картины, не имѣющія между собою ничего общаго; что, во-вторыхъ, фигура Христа г. Семирадскаго такова, что грѣшница не имѣла никакого резона пугаться, тѣмъ паче, обращаться на путь евангельской истины; что въ-третьихъ, наконецъ, картина г. Рѣпина превосходна. Не берусь развивать эти скромныя мысли, но зато приведу курьезное сужденіе о картинѣ г. Рѣпина одного нѣмца, одного изъ корреспондентовъ «Ausburger Allgemeiner Zeitung». Оно, кстати, покажетъ, до чего можетъ доходить нелѣпость отношеній къ публичному отчету цивилизаціи. «Картина г. Рѣпина есть на всей выставкѣ одна изъ очень немногихъ вещей, соединяющихъ въ себѣ глубокую жизненную правду съ широтою мысли. Это не дворецъ-изба г. Громова. Это члѣная социальная задача въ образѣ нѣсколькихъ бурлаковъ. Приглядитесь къ ихъ лицамъ и потомъ посмотрите на летящій вдаль пароходъ, и вы поймете, что задача искусства велика и священна, что его роль состоитъ не въ шекотаніи эстетической способности, что она можетъ будить совѣсть, будить мысль и чувство. Вотъ обдѣленная цивилизаціей кучка людей, вотъ механическая сила пара, которая современемъ освободитъ ихъ отъ тяжелаго, воловьяго труда. Но кончатся-ли на этомъ всѣ ихъ мытарства? Исторія цивилизаціи даетъ отвѣтъ условный: да, если сила пара будетъ принадлежать этимъ самымъ труженикамъ; нѣтъ если она очутится въ другихъ рукахъ». Но корреспондентъ «Ausburger Allgemeiner Zeitung» не дотянулъ даже первой половины этихъ мыслей, невольно возникающихъ при

видѣ картины г. Рѣпина. Онъ утвердился на точкѣ зрѣнія узкаго патріотизма и національнаго хвастовства. Въ качествѣ нѣмца и руссофоба, онъ, мимоходомъ, похваливъ картину г. Гуна и выразивъ увѣренность, что г. Гунъ нѣмецъ, не могъ, однако, не сказать, что картина г. Рѣпина хороша. Но сюжетомъ ея онъ воспользовался только для плохихъ острогъ на ту тему, что-де скать—эти бородатые, косматые люди скорѣе похожи на медвѣдей, что они гораздо ближе къ гориллѣ, чѣмъ мы, т. е. нѣмцы. Бѣдный нѣмецъ! Онъ не знаетъ, что у насъ есть цѣнители и судьи не умнѣе его, и что, слѣдовательно, мы не дальше отъ гориллы, чѣмъ онъ самъ.

III *).

Я еще разъ побывалъ на выставкѣ, на возвратномъ пути въ отечество, и увидѣлъ ее, наконецъ, въ полномъ блескѣ. Нигдѣ уже не стучать топоры и молотки; они покончили свое дѣло, нѣсколько поздно, правда, но лучше поздно, чѣмъ никогда. Я обошелъ всѣ отдѣлы, всѣ аннексы, всѣ отдѣльные павильоны, взбирался на ротонду, куда пускаютъ за особую плату, былъ во дворцѣ египетскаго вице-короля, въ русской избѣ коммерціи совѣтника г. Громова; словомъ, могу по совѣсти сказать вѣнской выставкѣ: нынѣ отпускаеши меня съ миромъ, яко видѣста очи мои и т. д. Очи мои видѣли на этотъ разъ и много новаго, и мало новаго,—какъ смотрѣть на дѣло. Многое прибавилось, многое выросло, блеску, шуму, красоте стало еще больше. Но характеръ выставки не измѣнился ни на волосъ, развѣ только выскочилъ.

Посѣтителей, относительно говоря, мало по прежнему: все тѣ же 20—30,000. Даже прїѣздъ персидскаго шаха, котораго я засталъ въ Вѣнѣ, не поколебалъ этой цифры. Посѣщенія «царя царей», какъ величаютъ здѣшнія газеты шаха, способствуютъ даже нѣкоторому опустѣнію выставки: громадные толпы народа тѣсняются въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ долженъ проходить восточный монархъ, и, ради его залитой драгоценными камнями особы, бѣгутъ изъ зданій выставки.

Но вотъ царь царей уѣхалъ, замолкли трубы и литавры, игравшія въ честь его разные марши; народъ разбрелся въ разные стороны. Куда онъ пошелъ? Пошелъ онъ любоваться на недавно оконченный персидскій домъ, который удивительно напоминаетъ только что уѣхавшаго шаха: фасадъ этого дома весь изукрашенъ зеркальными пластинками. Пошелъ народъ любоваться на кол-

лекцію г. Сидорова, помѣщающуюся близъ павильона русскаго императора. Тамъ есть и бѣлый медвѣдь, и китъ, и самоѣды, и образцы древесныхъ породъ, и модель ѣзды на собакахъ, вообще много монстровъ и раритетовъ. Пошелъ народъ смотрѣть итальянскія статуи, французскія бронзы и шелковыя матеріи, австрійскіе портсигары, испанскіе ордена, греческія губки, русскіе малахиты. Пошелъ народъ пить пильзенское пиво, ѣсть итальянскій ризотто, ѣсть венгерскую баранину съ перцемъ подъ заливчатскіе звуки чардаша, наигрываемые оркестромъ бродячихъ венгерскихъ цыганъ. Пошелъ народъ на такъ-называемую площадь Моцарта слушать вальсъ Іоганна Штрауса «Freuet euch des Lebens» и вальсъ Іосифа Штрауса «Mein Lebenslauf ist Lieb'und Lust». Все, значить, по старому.

Вотъ завернулъ кое-кто въ запоздалый дѣтскій павильонъ, хотя я, впрочемъ, не знаю, какъ онъ офиціально называется. Здѣсь собраны игрушки различныхъ странъ и стоитъ нѣсколько гипсовыхъ группъ, изображающихъ, какъ должно носить и водить ребятъ, какъ не должно и какъ носить и водять ихъ въ Англіи, въ Египтѣ и проч. Эта коллекція несомнѣнно интересна для педагоговъ, но я не совсѣмъ понимаю, почему въ ней есть изображенія англійскаго, египетскаго, самоѣдскаго способа ношенія дѣтей, и нѣтъ, напримѣръ, итальянскаго, русскаго. Впрочемъ, эти пробѣлы коллекціи, равно какъ и другіе, вѣроятно болѣе серьезныя, которые несомнѣнно отыскали бы въ ней специалисты, не представляютъ ничего особенно важнаго, ибо дѣтскій павильонъ посѣщается весьма мало. Да и то большинство посѣтителей павильона сосредоточиваетъ свое вниманіе на отдѣленіи, называемомъ «комнатой принцессы» (Prinzessinzimmer),—роскошно убранная и меблированная комнатка. Огромное большинство посѣтителей выставки, естественно, не чувствуетъ склонности къ различнымъ специальностямъ и смотреть преимущественно, во-первыхъ, на предметы роскоши, во-вторыхъ, на монстры и раритеты, въ-третьихъ, на такіе предметы, экспонентамъ которыхъ удалось соединить пріятное съ полезнымъ въ такой пропорціи, чтобы тощія коровы пріятности пожирали тучныхъ коровъ полезности. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи на выставкѣ есть вещи образцовыя. Вотъ что, напримѣръ, сочинилъ и привелъ въ исполненіе одинъ австрійскій полотняный фабрикантъ. Представьте себѣ небольшую комнату, стѣны которой убраны полотнами и столовымъ бѣльемъ. Но дѣло вовсе не въ стѣнахъ комнаты. Посрединѣ ея стоитъ хорошенькій фонтанъ, сдѣланный изъ разныхъ полуфабрикатовъ. Такъ, струи воды изобраа-

*) 1873, августъ.

жаются, и очень удачно, прядями расчесанного льна, резервуаръ фонтана украшенъ листьями и плодами изъ пряхи и клубковъ нитокъ, наверху стоитъ, тоже очень искусно сдѣланная, женская фигура съ веретеномъ и т. д. Это очень красиво и даже остроумно, даже пожалуй дѣльно, потому что тутъ находится на лицо всѣ переходныя ступени производства. Но понятно, что въ виду красоты фонтана рѣдко кому придетъ въ голову тщательно вглядываться въ продукты, и я склоненъ думать, что даже неподкупные жюри будутъ нѣсколько подкуплены пріятнымъ видомъ ансамбля выставки остроумнаго фабриканта.

Тѣмъ паче подкуплены посѣтители. Вообще, посѣтители довольны, а посѣтители-нѣмцы даже самодовольны. Если кое-кто изъ сѣверныхъ нѣмцевъ и поглядываетъ съ нѣкоторою завистью на блескъ Вѣны, то австрійцы и южные нѣмцы въ восторгѣ: нѣмецкій городъ сравняется съ Парижемъ и Лондономъ! Патриотизмъ тратится по случаю вѣнской выставки цѣлыми пудами. Идутъ вѣковѣчные нѣмецкіе толки объ общемъ фатерландѣ; пруссаки, австрійцы и южно-германцы приглашаются къ братскимъ объятіямъ и—кстати на поприщѣ мирнаго соперничества народовъ всего міра—проповѣдуется вражда къ французамъ. Если читатель желаетъ имѣть понятіе о характерѣ нѣмецкаго самодовольства по случаю вѣнской выставки, я рекомендую ему корреспонденцію «Augsburger Allgemeiner Zeitung», собранная и изданная нынѣ отдѣльной книжкой подъ заглавіемъ «Kunst und Kunstindustrie auf der Wiener Weltausstellung 1873». Я выбираю для образца эти корреспонденціи только для того, чтобы не рыться въ газетахъ. Замѣчу еще, что авторы ихъ, нѣкто Пехтъ, относительно говоря, чело-вѣкъ умѣренный и безпристрастный.

Есть на выставкѣ картина мюнхенскаго живописца Пилоти «Тріумфъ Германика». Это—одинъ изъ перловъ художественной выставки. Написана она на тему одного изъ разсказовъ Тацита. Германикъ, побѣдивъ германцевъ отчасти благодаря измѣнѣ Сегеста, проѣзжаетъ тріумфаторомъ передъ трономъ Тиверія. Императоръ, окруженный женщинами и блестящей свитой, въ числѣ которой виднѣется и предатель Сегестъ, смотритъ изъ подлобыя и, вообще, не особенно сочувственно на торжественный въѣздъ побѣдителя. Шествіе открывается превосходно написаннымъ римскимъ воиномъ, который одной рукой ведетъ на цѣли медвѣдя, а другой схватилъ за длинную сѣдую бороду плѣннаго связаннаго барда. Затѣмъ идутъ нѣсколько германскихъ плѣнниковъ, а за ними—главное дѣйствующее лицо картины, дочь Сегеста, Туснельда. Вся въ бѣломъ, она

идетъ гордо, безъ стоновъ, безъ какого-бы то ни было выраженія отчаянія и точно не видя ничего окружающаго. Такою именно описана она у Тацита. Въ противоположность ей, гораздо лучше, по моему, сдѣланы заднія фигуры германскихъ плѣнниковъ и плѣнницъ, полныя ярости и безсильной злобы. Дальше ѣдетъ на колесницѣ самъ тріумфаторъ съ своими пятью сыновьями, а еще дальше—необозримая толпа ликующаго народа.

Картина превосходна и затрогиваетъ массу общечеловѣческихъ мотивовъ, но нѣмецкому корреспонденту этого мало, или, пожалуй, много. Ему нужно сдѣлать изъ нея национально-гражданскій подвигъ и онъ его дѣлаетъ. Онъ благодаритъ художника за Туснельду, которая въ своей величавой гордости затмеваетъ собой истасканный, хотя еще побѣждающій римскій міръ. Онъ видитъ въ ея сдержанной фигурѣ залогъ того конца борьбы романскаго и германскаго элементовъ, который наступилъ въ послѣднюю войну. По другому поведи онъ распространяется насчетъ испорченности французовъ и величія нѣмцевъ, говоритъ о вѣковѣчной и никогда не имѣющей завершиться противоположности и взаимной враждѣ этихъ двухъ націй. Чуть не на каждой страницѣ онъ мѣряетъ нѣмцевъ съ французами и, разумѣется, рѣшаетъ дѣло почти всегда въ пользу первыхъ. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ совершенно безпристрастенъ, въ его словахъ звучитъ грубая нота самодовольства и самохвальства. Напримѣръ, замѣчая, что многочисленныя нѣмецкія батальныя картины оставляютъ многого желать, особенно сравнительно съ подобными-же произведеніями французовъ и итальянцевъ, онъ иронически прибавляетъ: «иной подумаетъ, что насъ всегда бьютъ!» Такія-то рѣчи раздаются на поприщѣ мирнаго соперничества народовъ всего міра (Пехтъ тоже называетъ такъ вѣнскую выставку). Сообразно этому, нѣмцы, естественно, видятъ въ самомъ существованіи вѣнской выставки торжество нѣмцевъ и, нѣкоторымъ образомъ, конецъ франко-прусской войны. Это—альфа и омега всѣхъ нѣмецкихъ писаній и разговоровъ о выставкѣ. Но и этого мало. Благодаря нѣкоторымъ особенностямъ отношеній нѣмцевъ къ французамъ, ихъ воззрѣнія на выставку еще болѣе искривляются и суживаются. Послѣ войны нѣмцы великодушно уступали французамъ область моды, изящества, вкуса. Они снисходительно замѣчали, что въ этомъ отношеніи имъ еще можно и должно кое-чему поучиться у французовъ. Въ снисхожденіи этомъ звучало не мало презрѣнія къ «націи парикмахеровъ и модистокъ». Но это было презрѣніе поддѣль-

ное, и вѣнская выставка побуждаетъ нынѣ нѣмецкій патріотизмъ къ отвоеванію у французовъ и этой оставленной было за ними области. Значительная доля силъ выставочныхъ публицистовъ и нѣмцевъ-посѣтителей выставки вообще тратится на доказательство, что вкусъ, изящество, мода на берегахъ Дуная и даже Шпре процвѣтаютъ не хуже, а даже, пожалуй, лучше, чѣмъ на берегахъ Сены. До выставки нѣмцы охотно сравнивали себя съ медвѣдями, любили говорить, что, при всемъ богатствѣ внутренняго содержанія нѣмецкой души, ей не хватаетъ изящной, красивой оболочки. Они даже нѣсколько кокетничали этимъ обстоятельствомъ. Теперь не то. Теперь нѣмцы съ особенною любовью говорятъ о Вѣнѣ, въ сущности городѣ еврейско-венгерско-славяно-нѣмецкомъ, какъ объ одной изъ колыбелей германизма, и именно потому, что это—городъ изящества, красоты, вкуса, моды. Въ сущности, Вѣна есть просто красивая распутица, т. е. нѣчто совершенно противоположное недавнему идеалу нѣмцевъ: величію внутренняго содержанія не совсемъ пазящной формы. Ни незабудокъ и философіи, ни голубыхъ глазъ и сантиментальной поэзіи, ни умѣренности и аккуратности, ни суровыхъ солдатъ и нѣжныхъ сердецъ,—ничего этого въ Вѣнѣ нѣтъ. Есть въ ней банкирскіе дворцы, развеселое житье, роскошныя женщины, масса венгровъ, славянъ и всякихъ другихъ инородцевъ. Но теперь нѣмцы за Вѣну уцѣпились руками и ногами, особенно когда ея блестящія внѣшнія качества удесятерились при помощи выставки. Естественно, что этимъ усугубляется бумлерское отношеніе къ выставкѣ, возводится даже въ принципъ. А выставка и сама по себѣ представляетъ урожайную въ этомъ отношеніи почву.

Люди, мало-мальски свободные отъ фальшиваго патріотизма, всѣ согласны въ томъ, что въ международномъ отношеніи выставка есть шарлатанство; т. е. что она ни въ какомъ случаѣ не даетъ понятія о степени развитія того или другого элемента цивилизаціи въ той или другой странѣ. Но если мы даже совсемъ отрѣшимся отъ этой задачи и будемъ требовать отъ выставки отъѣта на болѣе общій вопросъ: какихъ результатовъ достигла въ разныхъ отношеніяхъ цивилизація вообще? — то все-таки немного возмемъ. Важнѣйшія стороны цивилизаціи совсемъ не представлены на выставкѣ и не могутъ быть представлены. Немыслимо искать въ ней отчета о правовыхъ отношеніяхъ, устанавливаемыхъ современной цивилизаціей, а тѣмъ паче исторіи развитія этихъ отношеній. Положимъ, что такой отчетъ и обѣщанъ не былъ. Отчетъ объ экономическомъ состоя-

ніи современнаго міра обѣщанъ былъ, но онъ не данъ. Смѣшно же считать кое-какія данныя, представленныя триестскою торговою палатою или собранныя въ Cercle oriental,—смѣшно считать ихъ экономическимъ отчетомъ цивилизаціи. Политико-экономическій конгрессъ, имѣющій въ настоящую минуту свои засѣданія въ Вѣнѣ, въ принципѣ можетъ, конечно, дать очень цѣнные результаты, но онъ не имѣетъ никакого прямого отношенія къ выставкѣ. Экономическая сторона цивилизаціи совершенно скрыта на выставкѣ, поглощена стороною техническою, которая одна только и представлена удовлетворительно. Дѣйствительно, если исключить нѣкоторыя этнографическія, историческія, экономическія игрушки, нѣкоторые совершенно спеціальныя отдѣлы, въ родѣ педагогическаго, то останется не систематическій, конечно, но полный, по нѣкоторымъ отраслямъ даже слишкомъ полный, отчетъ о современномъ развитіи техники. Какой высоты изящества, прочности, экономіи производства различныхъ предметовъ достигъ современный міръ, — вотъ вопросъ, на который выставка можетъ дать дѣйствительно отвѣтъ. Отвѣтъ этотъ и будетъ заключаться въ отчетахъ экспертизы. Отъ меня вы, конечно, ничего подобнаго не ждете. Но я остановлюсь, все-таки, на teknikѣ, взявъ ее съ нѣкоторой особенной стороны, и надѣюсь прійти въ частной области къ выводу, который можетъ быть распространенъ и на сосѣднія.

Есть на выставкѣ египетскій токарь. Онъ тоже выставленъ. Онъ публично работаетъ, сиди на корточкахъ въ маленькой мастерской, помѣщающейся въ нижнемъ этажѣ дворца хедива. Около него всегда толпа народа, да и есть на что посмотреть. Черномазый сынъ страны Нила работаетъ всѣми четырьмя конечностями: пальцами ногъ, поочередно то одной, то другой, съ замѣчательною ловкостью управляетъ напилкомъ, а руками ворочаетъ обрабатываемый предметъ. Станокъ и другіе инструменты у него самаго первобытнаго свойства. Сначала я подумалъ было, что черномазый токарь—уродъ, хоть и не знаю, правильно ли называть уродомъ человѣка, имѣющаго передъ не-уродами нѣкоторыя очевидныя преимущества. Какъ бы то ни было, но выставка во многихъ своихъ частяхъ до такой степени напоминаетъ кабинетъ рѣдкостей и балаганъ, что я бы нисколько не удивился, встрѣтивъ въ числѣ выставленныхъ предметовъ живого монстра въ родѣ двухголоваго соловья или безрукой дѣвицы. Да и никто бы не удивился, а стали бы всѣ смотрѣть съ такимъ же интересомъ, съ какимъ смотрятъ на живого японца и особенно живую японку или

на чучело бѣлаго медвѣдя. Но, какъ мнѣ говорили по крайней мѣрѣ, четверорукий токаръ вовсе не монстръ, и въ Египтѣ такихъ работниковъ не мало. Глядя на него, многіе изъ публики острять въ такомъ родѣ, что вотъ—дескать—ближайшій родственникъ гориллы, четырехрукий человѣкъ. Я не нахожу, впрочемъ, чтобы это было очень ужъ остроумно, и поразилъ меня въ черномазомъ токарѣ не ближайшій родственникъ гориллы, а художникъ. Да, художникъ, какихъ мало на выставкѣ, несмотря на очевидную скудость находящихся въ его распоряженіи идей и образовъ. И не только художникъ, а импровизаторъ, во всемъ своемъ составѣ покорный овладѣвшей имъ въ данную минуту мысли. Если-бы возможно было заглянуть къ нему въ душу, то тамъ оказалось бы, вѣроятно, въ миниатюрѣ, нѣчто подобное тому состоянію міра, когда земля еще не была отдѣлена отъ воды и не были сотворены ни звѣри, ни птицы, ни рыбы, ни гады. Ничего яснаго, опредѣленнаго, никакихъ рамокъ и обособленій, но то нѣчто, которое выходитъ изъ-подъ рукъ и ногъ художника, самымъ тѣснымъ образомъ связано со всѣми сторонами его существа, вполне отражаетъ въ себѣ состояніе его души, со всею его смутностью и скудостью. Такъ, по крайней мѣрѣ, представляю я себѣ работу черномазога токаря, и, во всякомъ случаѣ, очевидно, что онъ не просто работаетъ, а творитъ, исполняетъ свою собственную задачу. Его стаканъ не великъ, но онъ пьетъ изъ своего стакана. Остановимся пока на этомъ несомнѣнномъ пунктѣ. Подвигаясь по выставкѣ отъ востока къ западу, отъ дикости къ цивилизаціи, мы увидимъ слѣдующія измѣненія въ процессѣ работы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ технику. Во-первыхъ, орудія производства становятся постепенно все сложнѣе и сложнѣе; вмѣстѣ съ этимъ, уменьшается спросъ на человѣческую силу: не только не приходится работать ногами, а едва пальцемъ шевелить. Далѣе, экономія времени достигаетъ громадныхъ размѣровъ. Въ венгерскомъ отдѣлѣ есть шитый бисеромъ коверъ, надъ которымъ одна дама сидѣла *тридцать лѣтъ*. Знатки говорятъ, что это—работа превосходная въ техническомъ отношеніи и весьма художественная по замыслу. Но, все-таки, она есть монстръ, допотопный звѣрь, образчикъ того, на что тратились женскія силы тридцать лѣтъ тому назадъ, и того, что такое первобытная работа вообще. Не умѣю въ точности сказать, какое время требуется для выдѣлки ковра машиной, и потому приведу примѣръ не совсемъ подходящий, но зато въ своемъ родѣ очень яркій. Въ американской части машиннаго отдѣла есть двѣ любопытныя машины

изъ которыхъ одна шьетъ въ семь минутъ изъ куска кожи сапоги, а другая—приготовляетъ въ четверть часа пару платья.

Преимущества современной техники очевидны. Если относительно прочности издѣлій это сомнительно, то обстоятельство это съ избыткомъ окупается экономіей времени и силы. Но... «Этотъ сапогъ не имѣетъ никакой идеи», говорилъ одному моему пріятелю петербургскій нѣмецъ-сапожникъ, мастеръ и любитель своего дѣла. Сапогъ, который критиковалъ мастеръ-нѣмецъ, былъ изготовленъ такимъ же, какъ онъ самъ, мастеромъ-нѣмцемъ. Что же бы сказалъ строгій критикъ объ идеѣ сапога, считаго на американской машинѣ въ семь минутъ? Подумать страшно о томъ, какому негодованію предался бы онъ, и онъ былъ бы съ своей точки зрѣнія совершенно правъ. Очевидно, что чѣмъ больше будетъ посредниковъ между человѣческой силой и ея продуктомъ, тѣмъ слабѣе отразится на продуктѣ личность, міросозерцаніе, чувства, идеи работника. Произведеніе машины будетъ всегда страдать, сравнительно съ ручной работой, отсутствіемъ оригинальности, отсутствіемъ мысли, отсутствіемъ художественности. А такъ какъ машинная работа постепенно и повсемѣстно вытѣсняетъ ручную, то въ дѣлѣ техники оригинальность, идея, художественность должны исчезать по мѣрѣ роста цивилизаціи. Какъ ни странно можетъ показаться это заключеніе, но что въ немъ есть значительная доля правды, въ этомъ убѣдитесь всякій, прогуливаясь по выставкѣ. Сравните, напримѣръ, японскія и австрійскія кожаныя издѣлія, особенно рисунки и другія украшенія на нихъ. И тѣ и другія, въ своемъ родѣ, превосходны, но вы сразу видите, что японскую вещь дѣлалъ художникъ, положившій въ свое произведеніе душу, а австрійская вещь сдѣлана ремесленникомъ, никакой идеи въ виду не имѣвшимъ. Съ перваго взгляда, можно прійти, пожалуй, къ противоположному заключенію. Многія изъ наполняющихъ ротонду вещей представляютъ такую художественную роскошь и изображаютъ идеи до такой степени намъ ясныя и знакомыя, что смутныя, фантастическія арабески и другія украшенія японскихъ кожаныхъ издѣлій, или русскихъ серебряныхъ вещей Сазикова и Овчинникова, или персидскихъ серебряныхъ работъ и ковровъ могутъ показаться въ сравненіи съ ними крайне бѣдными во всѣхъ отношеніяхъ. И дѣйствительно, въ этомъ отношеніи логически возможно такое-же рѣзкое и непримиримое раздѣленіе мнѣній, какое въ другой области существуетъ между экономистами и социалистами.

«Вѣстникъ Европы» недавно обозвалъ «умственными кастратами» всѣхъ, сомнѣ-

вающихся въ благодѣтельномъ значеніи современнаго фазиса цивилизаціи. Не стану спорить съ почтеннымъ журналомъ и только напомню ему, что въ число умственныхъ кастратовъ долженъ быть занесенъ тотъ самый Карлъ Марксъ, котораго почтенный журналъ еще въ прошломъ году удостоилъ своего одобренія. Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что уже многіе годы двѣ школы, говоря о предмѣтѣ, подлежащемъ измѣренію и вычисленію, называютъ другъ друга умственными кастратами. Потому что, надо правду сказать, ничто не мѣшаетъ иному назвать умственнымъ кастратомъ и человѣка, не сомнѣвающегося въ благодѣтельномъ значеніи современной цивилизаціи. Можетъ быть, количество такихъ, мало вѣдь къ чему хорошему ведущихъ, взаимныхъ обзываній значительно сократилось бы, если бы подлежащій обсужденію вопросъ ставился точнѣе. Спорный между экономистами и социалистами вопросъ состоитъ вовсе не въ томъ, плодитъ или не плодитъ современная цивилизація богатство, увеличивается или не увеличивается заработная плата и т. д. Дѣло просто въ судьбахъ экономической самостоятельности массъ,—растетъ она или нѣтъ? Точно также, глядя на судьбы техники съ затронутой выше стороны, надо имѣть въ виду, главнымъ образомъ, художественную самостоятельность массъ, а она несомнѣнно исчезаетъ. Ее убиваетъ, во-первыхъ, все усложняющееся и расширяющееся приспособленіе механической силы, какъ посредника между мыслью работника и продуктомъ его работы. Это—результатъ неизбежный, непреодолимый, и, какова-бы ни была судьба человѣчества въ другихъ отношеніяхъ, но сапоги «безъ идеи» въ ближайшемъ будущемъ облекутъ всѣ ноги, и эстетической способности придется искать себѣ иныхъ поприщъ. Свободная импровизація въ производствѣ вещей, удовлетворяющихъ матеріальнымъ нуждамъ, несомнѣнно погибнетъ. Объ этомъ, я думаю, и скорбѣть нечего. Но, кромѣ машиннаго производства, убивающаго художественную самостоятельность массъ, есть и еще дѣятель, ведущій къ тому же результату, но значительно его усложняющій. Машины и, вообще, орудія производства, находятся въ рукахъ фабриканта, который, благодаря этому обстоятельству, лишаетъ массы художественной самостоятельности. Черномазый четырехрукій египтянинъ пьетъ, какъ сказано, изъ маленькаго стакана, но изъ своего собственнаго. Попади онъ въ работники къ «геніальному» Клейну — такъ, не путя, пѣмцы, хоть бы вышеупомянутый Пехтъ, величаютъ извѣстнаго вѣнскаго фабриканта кожаныхъ издѣлій — онъ будетъ пить изъ

большаго стакана, но изъ чужого. Геніальный Клейнъ сочинить рисунокъ и дать его четырехрукому для исполненія. Думать, чувствовать, фантазировать, соображать, мечтать, какъ фантазируетъ, думаетъ онъ и теперь, работая передъ глазами праздно толпы посѣтителей выставки, четырехрукому уже не придется. Онъ весь уйдетъ въ стараніе ни на одну іоту не отойти отъ чуждой, непонятной ему идеи геніальнаго патрона. Такимъ образомъ происходитъ не только подавленіе эстетической способности массъ, но и концентрація ея въ головахъ патроновъ. Изъ темной массы выдѣляется кучка людей, развившихъ и развивающихъ въ себѣ извѣстную специальную способность. Поэтому нашъ первый выводъ требуетъ нѣкоторой поправки. Нельзя сказать, чтобы художественная идея вообще исчезала по мѣрѣ поступательнаго движенія цивилизаціи. Она исчезаетъ въ технику, въ исполненіе, потому что исчезаетъ въ работникъ, между которымъ и продуктомъ стоитъ, во-первыхъ, болѣе или менѣе сложная машина, и который, во-вторыхъ, самъ обращается въ механическаго посредника между идеей и продуктомъ. Но ничто не мѣшаетъ художественной идеѣ плодиться и множиться въ головахъ фабрикантовъ или ихъ помощниковъ. Мало того. Такъ какъ новѣйшіе способы производства даютъ огромную экономію времени и силъ, обходятся дешевле стародавнихъ, то художественная идея, достигнувъ извѣстной высоты въ обособившейся кучкѣ людей, можетъ затѣмъ очень удобно популяризоваться въ массѣ. Такой же популяризаціи могутъ способствовать и выставки. За 30—35 копѣекъ (теперь входъ на выставку оплачивается только по средамъ гульденомъ, въ остальные дни платится 50 крейцеровъ) каждый можетъ насмотрѣться чудесъ красоты и изящества. Такъ оно и есть. Но любопытно, однако, знать, въ какомъ направленіи и въ какой степени развивается художественная идея въ головахъ фабрикантовъ и въ какомъ видѣ она, затѣмъ, популяризуется, предлагается массамъ.

Присматриваясь къ знаменитымъ коврамъ Филиппа Гааса, вы безъ труда замѣтите, что лучшіе изъ нихъ сдѣланы на персидскіе мотивы, т. е. и рисунки, и сочетаніе цвѣтовъ въ нихъ представляютъ поддѣлку подъ персидскіе ковры, которые въ ту же, на выставкѣ, можете видѣть въ оригиналѣ. Вамъ объяснятъ даже, что коверъ, составляющій красу и гордость всего павильона Гааса, есть не что иное, какъ точная копія со стараго персидскаго ковра, хранящагося въ мюнхенскомъ національномъ музеѣ. Идите взглянуть на фарфоры французскіе, саксонскіе, австрійскіе. Вездѣ вы увидите кл-

тайцевъ и китайскіе рисунки и сочетанія красокъ. Въ испанскомъ отдѣлѣ есть превосходное оружіе и посуда въ старомъ мавританскомъ стилѣ, — и это, можетъ быть, единственная, достойная вниманія часть всего испанскаго отдѣла. Пройдитесь по бронзамъ, и вы увидите египетскіе саркофаги, египетскихъ сфинксовъ и т. д. Спрашивается, чѣмъ объяснить это обращеніе къ вымершимъ и вымирающимъ цивилизаціямъ за художественными мотивами? Или современная, наша, европейская цивилизація исчерпала себя до дна, такъ что уже ничто своего произвести не можетъ? Конечно, нѣтъ. Европейская цивилизація можетъ сказать словами Мольера: *je prend mon bien partout où je le trouve*; беру китайскіе, египетскіе, мавританскіе, персидскіе рисунки и комбинаціи цвѣтовъ, потому что они, по моему, красивы. Да, но для насъ они *только* красивы, тогда какъ для китайца, араба и т. д. они не только красивы. Персъ, турокъ, арабъ, выдѣлывая на коврѣ, на серебряной вещи, на деревянной или глиняной посудѣ свои странныя, на нашъ взглядъ ничѣмъ не мотивированныя арабески, кладетъ въ нихъ или, по крайней мѣрѣ, вѣситъ въ свое время всю душу свою. Вы видите, что арабески эти въ оригиналахъ очень часто пересыпаны надписями, говорящими нѣчто намъ непонятное не только глазамъ восточнаго человѣка, а и его разуму, чувству, фантазіи. Въ китайскомъ, въ японскомъ, въ сіамскомъ, въ индійскомъ отдѣлахъ сравнительно очень мало вещей, служащихъ исключительно цѣлямъ украшенія, идеѣ красоты. Идея эта осложняется въ нихъ другими элементами, главнымъ образомъ, религіознымъ. Да и еще бы имъ не вкладывать въ свои произведенія всего своего содержанія, когда они, нецивилизованные люди, руками и ногами работаютъ. Прудонъ, въ своей книгѣ о справедливости, если не совсѣмъ точно, то весьма глубоко выражался, что умъ работника не только въ головѣ, а и въ рукахъ. Но для насъ эти чуждыя намъ формы и сочетанія линий и красокъ не имѣютъ никакого смысла и тѣшатъ только наши глаза. Денди, который поставитъ на свой письменный столъ пресспалье въ видѣ египетскаго саркофага, дама, которая надѣнетъ французскую поддѣлку подъ турецкую шаль, будутъ имѣть въ виду исключительно красоту, если не курьезъ. Мы смѣемся надъ дикарями, которые съ гордостью носятъ европейскій мундиръ на голомъ тѣлѣ или цилиндрическую шляпу при костюмѣ Адама. Но эти европейскія вещи для дикарей, во-первыхъ, красивы, а во-вторыхъ, много, хотя и смутно говорить о величій, могущетвѣ европей-

цевъ, о необходимости усвоить себѣ ихъ преимущества и т. д. И мундиръ, и цилиндрическая шляпа для нихъ не только красивы, они для нихъ представляютъ нѣкоторые символы. Мы же окружаемъ себя вещами, имѣющими для насъ исключительно эстетическое значеніе.

Конечно, поддѣлки подъ Востокъ, подъ дикость, подъ древность, подъ вымершія и вымирающія цивилизаціи, какъ ни бросаются они въ глаза на выставкѣ, составляютъ, все-таки, малое меньшинство выставленныхъ предметовъ. Огромное большинство ихъ обязано своимъ существованіемъ европейской, современной фантазіи. Но какъ скудна, какъ не скажу бѣдна, но узка и мелка эта фантазія! Вы видите, во-первыхъ, формы, плоскостныя изображенія и цвѣта людей, звѣрей, цвѣтовъ, то очень вѣрныхъ природѣ, то совершенно невозможныхъ. И все это, въ большинствѣ случаевъ, совершенно бессмысленно или, что, по моему, то же самое, бьетъ исключительно на удовлетвореніе чувства зрѣнія. Есть, напримѣръ, во французскомъ отдѣлѣ превосходно сдѣланная изъ бронзы огромная птица, кажется, журавль, а впрочемъ, не помню. Стоитъ птица, и именно журавль, и въ японскомъ базарѣ, въ саду. Французскій журавль и къ природѣ ближе, и исполненъ тщательнѣе, и красивѣе, но онъ — журавль и больше ничего, тогда какъ японскій журавль есть символъ, дорогой и близкій японцу, исполненный для него глубокаго смысла и значенія, связанный со всѣмъ его міросозерцаніемъ.

Далѣе мы увидимъ въ европейскихъ отдѣлахъ удивительно красивыя сочетанія дерева съ бронзой и перламутромъ, драго цѣнныхъ камней всевозможныхъ цвѣтовъ съ золотомъ и серебромъ, кожи съ бронзой, сталью, серебромъ, камнями, пѣнки съ янтаремъ и проч., и проч. Но обо всемъ этомъ можно только сказать, что это красиво или некрасиво, да еще развѣ очень дорого или не очень дорого. Индусъ, яванецъ, китаецъ, арабъ, проходя по своимъ отдѣламъ, навѣрное гдѣ заплакали-бы, гдѣ помолились, гдѣ улыгнулись, а гдѣ и просто задумались-бы. Европейцамъ, проходя по европейскимъ отдѣламъ, приходится только ахать, разводить руками и восклицать: *«grachtvoll! colossal! famos! unübertrefflich!»* И это не потому, разумѣется, что европейская цивилизація уже, мельче какой-нибудь яванской или египетской. Напротивъ, она слишкомъ широка и глубока, чтобы могла быть схвачена спеціалістомъ идеѣ красоты, оторванной отъ остальныхъ сторонъ міросозерцанія и жизни. Спеціализація художественной идеѣ и эстетической способности даетъ себя знать

не только во дворцѣ промышленности и его добавочныхъ павильонахъ, а и въ специальномъ храмѣ искусства, въ Kunsthalle; и здѣсь можетъ быть даже еще сильнѣе, хотя на другой манеръ. Осмотрѣвъ нынѣ присталнѣе художественную выставку, я могу только подтвердить и дополнить замѣчания, сдѣланныя въ прошломъ письмѣ. Живописецъ, ваятель соединяють въ себѣ личности работника и мыслителя. Между ними и ихъ произведеніями нѣтъ посторонняго посредника, вслѣдствіе чего для нихъ не существуетъ то фатальное рабство исполненія, то убійство свободы въ техникахъ, которое неизбѣжно въ производствѣ вещей машиною и фабричнымъ способомъ. И, дѣйствительно, техника очень и очень многихъ изъ выставленныхъ художественныхъ произведений поражаетъ своею смѣлостью, свободой, яркостью. Она слишкомъ часто впадаетъ даже въ виртуозность и фокусничество. Множество картинъ и статуй, очевидно, имѣють въ виду только побѣдить ту или другую техническую трудность и изъ-за этой задачи совершенно теряють изъ виду истинныя цѣли и значеніе искусства. Почти всѣ подобныя фокусы сводятся къ операціямъ надъ освѣщеніемъ. Художникъ задается, напримѣръ, цѣлью изобразить двойное освѣщеніе, или пустить свѣтъ въ массу древесной зелени такъ, чтобы одна часть лѣса была темная, а другая ярко освѣщена. А что совершается при двойномъ освѣщеніи или въ перерѣзанномъ свѣтомъ лѣсѣ, — это для него дѣло второстепенное. Бываютъ, конечно, и другіе фокусы. Иной сосредоточиваетъ свою силу на изображеніи складокъ женскаго платья, иной на мѣхахъ, иной на синевѣ неба и т. д. Въ тѣхъ-же случаяхъ, когда художникъ желаетъ произвести не только оптический эффектъ, не только поразить или приласкать ваше зрѣніе, онъ почти всегда возбуждаетъ или похоть, или патриотизмъ. Это — два любимые конька современнаго искусства. Я уже писалъ вамъ о статуѣ Табакки. Но большинство итальянскихъ статуй въ такомъ-же родѣ. Надо замѣтить, что изъ итальянскихъ статуй только немногія стоятъ въ Kunsthalle. Большую часть ихъ вы увидите при входѣ въ итальянскій отдѣлъ дворца промышленности. Вотъ статуя Барпаги «Моисей и дочь Фараона». Превосходная статуя, но совершенно неизвѣстно, почему эта прекрасно-сложенная женщина, кокетливо держащая передъ обнаженною грудью ребенка, есть дочь Фараона. Вотъ статуя Аргентини «Невинность». Опять-таки прекрасная статуя, но зачѣмъ эта невинность выставила свою полусформировавшуюся грудь? Зачѣмъ она, вызывающе-стыдливо закрываясь одной рукой, другою подаетъ кому-то, надо думать,

символическую полураспустившуюся розу? И т. д., и т. д.

Этимъ вызывающимъ элементомъ густо окрашены даже многія историческія картины, не говоря уже о сюжетахъ миеологическихъ. Въ Ehrensaal или Hauptsaal (нѣтъ соотвѣтствующее ротондѣ дворца промышленности, гдѣ висятъ выдающіяся произведенія различныхъ странъ, между прочимъ, и картина г. Семирадскаго) есть любопытная картина французскаго художника Тони Робера-Флэри. Называется она «Послѣдній день Коринеа» и изображаетъ въѣздъ въ Коринеъ побѣдоноснаго консула Муммія. Впрочемъ, Муммій и его свита играютъ роли безъ рѣчей, они — вдали. А на первомъ планѣ стоитъ бронзовая статуя Минервы, окруженная голыми коринескими женщинами, рвущими на себѣ волосы, поднимающими руки къ небу, плачущими и вообще выражающими отчаяніе. Отчаянія, дѣйствительно, много, но интересъ картины сосредоточивается на голыхъ тѣлахъ и ихъ разнообразныхъ изгибахъ въ моментъ отчаянія.

Что касается до патриотизма, то онъ возбуждается преимущественно батальными картинами на темы, заимствованныя изъ послѣдней войны: то принцъ Фридрихъ-Карлъ на конѣ, то наслѣдный принцъ прусскій на конѣ, то императоръ Вильгельмъ, Бисмаркъ и Мольтке на коняхъ, а кругомъ трупы, раненые, знамена, пушки, пороховой дымъ, огонь. Все это казенно до послѣдней степени. Впрочемъ, одна изъ батальныхъ картинъ заслуживаетъ вниманія по своему оригинальному замыслу. Принадлежитъ она какому-то итальянскому художнику, какому, не умѣю сказать, потому что официальный каталогъ художественной выставки составленъ, кажется, только для того, чтобы сбивать посѣтителей. На картинѣ нѣтъ никакой центральной единичной фигуры на конѣ, на фізіономіи и молодецкой позѣ которой сосредоточивается, обыкновенно, весь интересъ батальныхъ картинъ. Нѣтъ и кучъ мертвыхъ тѣлъ, пушечныхъ лафетовъ, массы безразличныхъ солдатъ, замахивающихся другъ на друга саблями, тыкающихъ другъ друга пиками и т. д. Картина представляетъ атаку берсальеровъ или какихъ-то другихъ итальянскихъ воиновъ. Со стѣны, прямо на зрителя, бѣжитъ небольшая кучка солдатъ, почти во весь ростъ. Они, очевидно, встрѣчены сильнымъ ружейнымъ огнемъ, подъ которымъ уже свалился одинъ трубачъ. Картина поражаетъ своею живостью и непривычною въ батальныхъ картинахъ возможностью видѣть разнообразныя выраженія загорѣлыхъ лицъ отдельныхъ солдатъ.

Итакъ, художественная идея и эстетическая способность исчезаютъ въ массахъ, а

выѣстъ съ тѣмъ и въ технику. Въ людяхъ гнѣхъ сторонъ жизни и мысли пришлось бы интеллигенціи онѣ, вообще говоря, до послѣдней степени специализируются, отрываясь отъ всѣхъ другихъ сторонъ жизни и мысли. Я думаю, что относительно этихъ дру-



Изъ литературныхъ и журнальныхъ замѣтокъ 1874 года.

I *).

„Гражданинъ“, № 51.—«Замѣчательныя богатства частныхъ лицъ въ Россіи», экономическо-историческое изслѣдованіе Е. П. Карновича.—„Основанія политической экономіи съ нѣкоторыми изъ ихъ примѣненій къ общественной философіи“ Дж. Ст. Милля. изд. 2.—„Автобіографія“ Дж. Ст. Милля.—Г. Головачовъ и нравственные кастраты.

Я не приглашаю васъ, читатель, заглядывать въ «Гражданинъ» слишкомъ часто: хорошенкаго понемножку. Но, право, иногда стоитъ, любопытно. Прочтите, напримеръ, въ № 51 статью «О русскомъ дворянствѣ передъ военною реформою». Я не думаю, чтобы вы оцѣнили ее по достоинству, ибо очень трудно ее понимать. Но все-таки она навѣрное васъ наведетъ на размышленія, а чего же больше нужно? По затруднительности постигнуть означенную статью, я не берусь передать ея содержаніе и приведу наиболѣе характерныя мѣста прямо въ выдержкахъ:

«Есть люди у насъ, и государственные и негосударственные, которые не столько радуются военной реформѣ, какъ улучшенію, какъ полезному общественному преобразованію, сколько какъ привлеченію русскаго дворянства къ дѣлу, отъ котораго, будто бы, оно было изъято въ силу своихъ сословныхъ правъ, дозволявшихъ ему всю тягость военной службы оставлять на податныхъ сословіяхъ».

Таково вступленіе, за которымъ идетъ цѣлый рядъ непостижимостей. Однако, и въ этихъ немногихъ строкахъ непостижимостей не мало. Почему дворянство было «будто бы» изъято отъ обязательной службы рядовыми, когда оно дѣйствительно было изъято? Если военной реформѣ должно радоваться не какъ привле-

ченію дворянства къ военной повинности, а какъ улучшенію и полезному общественному преобразованію, то въ чемъ состоитъ это улучшеніе и полезное преобразование? Впрочемъ, комментировать глубину размышленій «Гражданина» дѣло слишкомъ трудное, и потому будемъ продолжать выдержки:

«Тѣ, которые такъ, повидимому, узко и близоруко смотрятъ на военную реформу—радуются еще и другому: военная служба уравниваетъ, говорятъ они:—всѣ сословія, это разъ; военная же реформа дастъ всѣмъ сословіямъ право быть офицерами, а черезъ офицерство дворянами! Эти же люди, прославляя будущую реформу, заранѣе признаютъ за нею, кромѣ практической пользы, нравственное значеніе торжества *принципа одной интеллигенціи!* Различій по сословіямъ не будетъ: будетъ различіе только по образованію! Мы беремъ перо въ руки не для того, чтобы спорить, съ какой именно точки зрѣнія, съ этой ли или съ другой, менѣе отвлеченной, оцѣнивать достоинство великой реформы будущаго года, но для того, чтобы освѣжить, такъ сказать, въ памяти читателей прежнія отношенія русскаго дворянства къ военному дѣлу на Руси. Въ ту минуту, когда дворянство призвано будетъ наравнѣ со всѣми подходить къ урнѣ военного жребія, оно имѣетъ право выставить впередъ историческую истину: что хотя законъ и давалъ право со временъ Екатерины русскому дворянству не служить, но никто болѣе русскаго дворянства не сознавалъ въ себѣ самомъ долга военной службы».

«Это добродушное отношеніе русскаго дворянства къ своей государственной роли было такъ постоянно, что не даромъ сложились въ обществѣ мысль въ видѣ политическаго афоризма; что *русскаго дворянства не существуетъ!* И; дѣйствительно, русскаго дворянства, какъ особой, внѣшней государствен-

*) 1874 г., январь.

ной политической силы, какъ связанной тѣсною солидарностью корпораціи—не было и нѣтъ! Но есть русское дворянство *какъ духъ*, какъ міръ извѣстныхъ, изъ рода въ родъ завѣщаемыхъ и свято сберегаемыхъ преданій! Отвергать этотъ духъ, этотъ міръ преданій можетъ только тотъ, кто хочетъ ихъ отвергать, кто находитъ въ себѣ причины ихъ отвергать, и чѣмъ больше рѣшимости къ такому отрицанію, и чѣмъ больше ненависти въ такой рѣшимости, тѣмъ болѣе доказательствъ, что этотъ духъ есть что-то *сильное и живучее*; ибо не стоило бы ненавидѣть и отрицать то, чего нѣтъ! Новая исторія Россіи есть какъ бы сцена постоянныхъ проявленій вліянія этого духа на постепенное развитіе русскаго государства! Екатерининскіе люди болѣе сдѣлали *этимъ духомъ*, чѣмъ *своимъ образованіемъ*, и съ тѣхъ поръ, слѣдя за исторіею Россіи по настоящее время, трудно не видѣть, какъ много чрезвычайныхъ подвиговъ свершило русское государство *при самомъ ничтожномъ уровнѣ образованія*, но при постоянномъ вліяніи на событія *духа русскаго дворянства*, всегда столь преданнаго своему государству!»

«Такіе факты забывать грѣшно, и теперь, когда русское дворянство будетъ *обязано по закону* раздѣлять съ солдатами то, что оно раздѣляло съ ними *вопреки закону*, по своей *охотѣ*, каждый русскій охотно помянетъ добромъ это дворянство именно за то, что оно несло всю тягость военной службы въ силу его воли, его преданій, его единства по духу съ русскимъ народомъ. Въ такое время имѣетъ ли смыслъ и прилична ли радость бюрократовъ о томъ, что дворянство утрачиваетъ свое послѣднее право? Признаемся, мы не можемъ сочувствовать этой радости потому, между прочимъ, что она предвѣщаетъ что-то недоброе для судебъ военной реформы въ будущемъ, недоброе въ томъ смыслѣ, что тѣ же люди, которые радуются принужденію русскаго дворянства служить наравнѣ съ солдатомъ, въ то же время съ какою-то непонятною настойчивостью хотятъ, чтобы въ будущей нашей арміи господствовалъ *не духъ русскаго дворянства, а духъ какой-то всесословной русской интеллигенціи!* Что дастъ намъ этотъ новозобрѣтенный духъ, мы еще того не знаемъ. Но знаемъ, что духъ русскаго народа и духъ русскаго дворянства дали намъ екатерининскую эпоху, эпоху двѣнадцатаго года и севастопольскую защиту. Неужели духъ всесословной интеллигенціи въ русской арміи дастъ что-либо лучшее? Дай-то Богъ! Что-то не вѣрится».

Я не могу «левиаэана на удѣ вытащить па брегъ», я не могу постичь непостижимости «Гражданина». Одно ясно: «Гражданинъ» желаетъ что-то охранить, онъ жела-

етъ блеснуть консерватизмомъ. Но что, именно, желаетъ онъ охранить, это, по всей вѣроятности, неизвѣстно ему самому. Охранять «вольности», дарованныя русскому дворянству Петромъ III и Екатериной II, онъ, очевидно, не хочетъ, потому что признаетъ военную реформу улучшеніемъ и полезнымъ общественнымъ преобразованіемъ. Труднѣе всего постичь, зачѣмъ онъ столь многократно противопоставляетъ духъ образованности духу русскаго дворянства, будто ужъ это совершенно непримиримые духи. Не безграмотность же онъ охраняетъ. Очевидно, «Гражданинъ», въ своемъ усердіи, дѣлаетъ совершенно неправильный шагъ. Правда, юрьевское дворянство, въ своемъ наказѣ депутату комиссіи 1767 г., писало: «Что же касается до представленій о общихъ нуждахъ и недостаткахъ и къ восстановленію государственныхъ правъ, и на оное всеподданнѣйше донести, что за недовольнымъ числомъ насъ, бывшихъ нынѣ въ собраніи, а особливо и по скудоумію нашему... мы представить не можемъ» (Сборникъ русск. ист. общ. IV, 317). Правда, можно бы было привести не мало подобныхъ фактовъ. Но вѣдь это было такъ давно. За что же оскорблять русское дворянство, къ воспитанію и образованію котораго прилагалось всегда столько стараній? Петръ Великій не выдѣлялъ дворянскаго образованія изъ образованія русскаго народа вообще; то же самое мы видимъ и въ нынѣшнее царствованіе. Но при всѣхъ преемникахъ Петра почти вплоть до конца царствованія императора Николая массы государственныхъ и крестьянскихъ средствъ уходили специально на дворянское воспитаніе, на шляхетные корпуса, благородные пансіоны и т. п. Неужели же всѣ усилія государственной власти и всѣ трудовые крестьянскіе гроши пропали даромъ, и между духомъ русскаго дворянства и духомъ образованности лежитъ цѣлая пропасть? Конечно, «Гражданинъ» не желалъ попасть пальцемъ въ небо, но попалъ. И въ этомъ онъ даже не особенно виноватъ. Безъ сомнѣнія, многое изъ приведенныхъ непостижимостей должно быть отнесено на личный счетъ «Гражданина». Но на его мѣстѣ трудно быть логичнѣе. Либерализмъ, въ настоящемъ, европейскомъ смыслѣ этого слова, не имѣетъ корней въ нашемъ обществѣ, за малымъ развитіемъ въ немъ буржуазныхъ силъ и интересовъ. Но либералы наши имѣютъ, по крайней мѣрѣ, въ своемъ распоряженіи цѣлую коллекцію модныхъ двусмысленныхъ словъ, при помощи которыхъ они могутъ сохранить хотя внѣшній видъ бодрости и непреклонности. Наши консерваторы лишены и этого подспорья. У насъ, какъ и вездѣ на свѣтѣ, можно пятиться назадъ, можно ставить точ-

ки, можно быть ретроградомъ, но быть консерваторомъ весьма и весьма трудно, чтобы не сказать невозможно. «Гражданинъ» не желаетъ отстаивать право дворянства не служить. Но предположимъ, что онъ пожелалъ бы сдѣлать это съ консервативной точки зрѣнія. Что почерпнуть бы онъ по этому поводу изъ «міра извѣстныхъ, изъ рода въ родъ завѣщаемыхъ и свято берегаемыхъ преданій»? Издревле русское дворянство было исключительно служилымъ классомъ и единственно за службу пользовалось помѣстнымъ и вотчиннымъ правомъ. Петръ Великій привелъ этотъ стародавній принципъ русскаго дворянства въ соотвѣтствіе съ своимъ планомъ реформы, обязавъ дворянъ постоянною, до старости или увѣчья, службою, военною (начиная съ солдата) и гражданскою. Онъ строго преслѣдовалъ «нѣтчиковъ», «огурщиковъ», «отлынивавшихъ» отъ службы, которыхъ было не мало. При преемникахъ Петра, отчасти по злоупотребленію, а потомъ и законодательнымъ путемъ дворянская служба облегчалась, а Петръ III и Екатерина II, манифестомъ 1762 г. и жалованною дворянству грамотою, отмѣнили обязательную службу дворянъ. Однако, при императорахъ Павлѣ, Александрѣ и Николаѣ было не мало уклоненій отъ жалованной дворянству грамоты. Затѣмъ, такъ называемое дворянское самоуправленіе, возникшее съ освобожденіемъ дворянъ отъ обязательной службы, было, по выраженію г. Лохвицкаго, только перечисленіемъ изъ военного министерства въ министерство внутреннихъ дѣлъ; или, какъ говоритъ г. Романовичъ-Славатинскій, «преобразованіемъ военной обязательной службы дворянства, сообразно потребностямъ правительства центрального, въ мѣстную обязательную службу гражданскую, сообразно потребностямъ мѣстнаго управленія; въ сущности, это самоуправленіе было *обязанностью* губернскихъ дворянскихъ обществъ *нарядовать* мѣстныхъ судей и полиціимейстеровъ». Опять пошли «нѣтчики» и «огурщики», и опять штрафы и другія взысканія за отлыниваніе отъ службы.

Спрашивается, можно ли въ виду всего этого серьезно охранять право русскаго дворянства служить и не служить, серьезно относиться къ этому праву съ консервативной точки зрѣнія? Вообще охранять небывалое столь же трудно, какъ и постигнуть непостижимое. Поэтому принципы охранительной партіи въ Россіи, совершенно независимо отъ степени грамотности и умственнаго развитія отдѣльных ея представителей, всегда нѣсколько непостижимы. Напримѣръ, институтъ общиннаго землевладѣнія, существующій многіе вѣка и, дѣйствительно, передающийся изъ рода въ родъ, всѣми нашими

охранителями отрицается. При чемъ тутъ охранительные принципы? Принципу общиннаго землевладѣнія наши охранители противопоставляютъ начало личной собственности, или просто собственности, какъ они любятъ обобщать. Мы охраняемъ, говорятъ они, священное право собственности. Но это они только копируютъ европейцевъ, которые, дѣйствительно, уже довольно давно пользуются правами личной собственности и которыми, поэтому, есть что охранять. У насъ же издревле была извѣстна только государственная и общинная собственность и потому защитникамъ личной собственности предстоитъ созидать и разрушать, но охранять имъ нечего. Нашъ почтенный цивилистъ, г. Побѣдоносцевъ, выражается на этотъ счетъ весьма опредѣлительно. «Понятіе о полномъ правѣ собственности на землю, говоритъ онъ:—явилось и выразилось только тогда, когда служебная повинность снята съ дворянства жалованною грамотою Петра III и Екатерины II, а вслѣдъ затѣмъ (въ 1785 году) явилось то опредѣленіе, которое мы встрѣчаемъ въ дѣйствующемъ законодательствѣ (420 ст. гражд. зак.). Съ этой эпохи, можно сказать, только-что начинается гражданская исторія русскаго права собственности» («Курсъ гражданского права», I, 1873, стр. 133). Такимъ образомъ, праву личной собственности у насъ не болѣе ста лѣтъ. Но этого мало. Не говоря уже о томъ, что принципъ личной собственности не можетъ войти въ культурный обиходъ народа при помощи одного или нѣсколькихъ указовъ, слѣдуетъ замѣтить слѣдующее: личная собственность, обособленная, освобожденная отъ служебной повинности Петромъ III и Екатериной, состояла, главнымъ образомъ, въ населенныхъ имѣніяхъ, т.-е. была тѣснѣйшимъ образомъ связана съ крѣпостнымъ правомъ, которое нынѣ охранять уже нѣсколько поздно, такъ какъ его нѣтъ. Въ виду того, что личное право собственности еще такъ недавно, можно сказать, надняхъ, подверглось коренной переборкѣ, равно какъ и въ виду всей исторіи частной собственности въ Россіи, можно, кажется, сказать, что охранители, толкующіе о священномъ правѣ собственности, находятся во власти нѣкотораго недоразумѣнія.

Много любопытныхъ данныхъ по этому вопросу читатель найдетъ въ недавно вышедшемъ «экономическо-историческомъ изслѣдованіи» г. Карновича: «Замѣчательныя богатства частныхъ лицъ въ Россіи». Книга г. Карновича содержитъ въ себѣ не особенно много новыхъ фактовъ, но они, кажется, впервые являются у него сгруппированными въ одно цѣлое. Она далеко не вполне оправдываетъ свое заглавіе, такъ какъ имѣетъ

преимущественно анекдотическій характеръ, несмотря на желаніе автора избѣжать его. Она обнимаетъ, главнымъ образомъ, только прошлое столѣтіе и правильнѣе было бы назвать ее матеріалами для исторіи пожалованія и конфискаціи населенныхъ имѣній въ XVIII вѣкѣ. Есть, однако, у г. Карновича указанія и на другіе способы приобрѣтенія и потери собственности, и въ цѣломъ его изслѣдованіе представляетъ одно изъ интереснѣйшихъ литературныхъ явленій за прошлый годъ. Его прочтеть каждый съ удовольствіемъ и почти каждый съ пользою.

Изъ множества разбросанныхъ въ книгѣ г. Карновича примѣровъ видно, что богатства у насъ рѣдко держались въ одномъ и томъ же родѣ болѣе или менѣе продолжительное время. Это объясняется, во-первыхъ, раздѣломъ между наслѣдниками (мысль Петра I о введеніи майоратовъ разбилась о наши исконныя привычки), во-вторыхъ, мотовствомъ и отсутствіемъ всякихъ аристократическихъ преданій, въ-третьихъ, наконецъ, конфискаціями. Послѣдній пунктъ особенно любопытенъ. Земельное владѣніе было у насъ испоконъ вѣку связано съ обязательной службой государству. Дворянство наше было исключительно землевладѣльческимъ классомъ только въ силу того, что оно же было классомъ исключительно служилымъ. Ни помѣстье, ни вотчина, въ которой идея права собственности была нѣсколько болѣе развита, никогда не представляли полной собственности, такъ какъ главнымъ источникомъ тѣхъ и другихъ было пожалованіе княземъ, царемъ, императоромъ, а первымъ условіемъ — усердная служба князю, царю, императору, или если не усердная служба, то, по крайней мѣрѣ, умѣнье такъ или иначе угодить. Въ этомъ отношеніи очень характерно одно приводимое г. Карновичемъ шуточное замѣчаніе Екатерины II. Родоначальникомъ князей Юсуповыхъ былъ нѣкто Юсуфъ, владѣтель ногайской орды. Его сыновья прибыли въ Москву въ 1563 году и умѣли повести свои дѣла такъ, что и царь Федоръ Ивановичъ, и Лжедмитрій I, и Лжедмитрій II, и бояре-правители, и царь Михаилъ Федоровичъ жаловали имъ «деревнишки», не отнимая предыдущихъ пожалованій. При Алексѣѣ Михайловичѣ правнукъ Юсуфа крестился въ православную вѣру, но по старой магометанской памяти вздумалъ однажды, у себя на обѣдѣ, попочевать патріарха Іоакима гусемъ въ постный день. За это царь велѣлъ его бить кнутомъ и отнять все имѣніе, но вскорѣ смиротворился и возвратилъ отобранное. Когда правнукъ этого князя разсказалъ какъ-то при случаѣ этотъ эпизодъ изъ исторіи своего рода Екатерины, императрица замѣтила: «я

нахожу, что царь Алексѣй Михайловичъ поступилъ очень милостиво съ вашимъ прадедомъ: я отняла бы у него все имѣніе, потому что оно было ему дано съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ не ѣлъ скромнаго въ постные дни». Эта имущественная зависимость нашей аристократіи сдѣлала то, что дѣйствительно, какъ говорить «Гражданинъ», русское дворянство всегда крайне «добродушно» относилось къ своей государственной роли и никогда не было политической силой. Даже подозрительный Иванъ Грозный корилъ бояръ, въ письмахъ къ Курбскому, не за какія-нибудь политическія ухищренія, а за то, что они растаскали изъ дворца серебряную посуду. Въ смутное время къ польскому королю Сигизмунду не мало было обращено князьями Мстиславскими, Куракинскими, Хворостинными и проч. просьбъ о пожалованіи «деревнишекъ». Подобныя просьбы удовлетворялись и Шуйскимъ и «Тупинскимъ воромъ». Въ позднѣйшее время, въ XVIII вѣкѣ, просьбами о пожалованіи населенныхъ имѣній были осыпаны всѣ государи, и только императоръ Александръ I прекратилъ этотъ порядокъ вещей во вниманіе къ бѣдственному положенію помѣщичьихъ крестьянъ, а отчасти и потому, что количество свободныхъ земель было уже слишкомъ сокращено въ предыдущія царствованія. Такъ какъ населенныя имѣнія составляли у насъ въ старину главный видъ богатства и такъ какъ единственнымъ источникомъ этого богатства была милость государя, то конфискація была совершенно естественнымъ, логически необходимымъ явленіемъ: кто получилъ богатство подъ условіемъ усердной службы, тотъ могъ и лишиться всего, въ случаѣ недовольства его службой. Естественно было также, что конфискованныя имѣнія немедленно раздавались другимъ, болѣе вѣрнымъ слугамъ, указавшимъ на неудовлетворительность службы лица, подвергшагося конфискаціи. Такъ дѣякъ Гороховъ, производившій слѣдствіе надъ знаменитымъ бояриномъ Артамономъ Матвѣевымъ, «яко изъ Восточной Индіи Гиппанской съ безцѣннымъ золотомъ и серебра караваномъ на кораблѣ прибылъ». Такъ денщикъ Петра Великаго Григорій Пашковъ, производившій слѣдствіе надъ казенными князьями Гагаринымъ и Кольцовымъ-Масальскимъ, получилъ значительную часть ихъ имущества. Немудрено, поэтому, что, какъ говорить г. Карновичъ, очень часто сперва при московскомъ, а потомъ и при петербургскомъ дворѣ приготовлялась псподволь опала сильнаго и богатаго сановника не только изъ личной къ нему неприязни, но и изъ желанія пожить въ отобранномъ у него имѣніемъ. Все это было въ порядкѣ

вещей. Но понятно также, что при такихъ условіяхъ исторія собственности въ Россіи должна отличаться крайнею беспорядочностью. И дѣйствительно, это какой-то первобытный хаосъ, въ которомъ всѣ принимаемые гражданскимъ правомъ способы пріобрѣтенія и потери имущества видоизмѣняются самымъ страннымъ образомъ. Пожалованіе, дареніе, купля, продажа, мѣна, конфискація, приданое комбинируются точно въ калейдоскопѣ. Напримѣръ, императрица Екатерина подарила Потемкину въ 1773 году таврическій дворецъ. Черезъ нѣсколько времени онъ продалъ дворецъ казнѣ, а въ 1791 г. опять получилъ его въ подарокъ. Нынѣшній аничковскій дворецъ былъ подаренъ Потемкину въ 1776 г. Онъ передалъ его откупщику Шемякину, у котораго дворецъ былъ купленъ казною и опять подаренъ Потемкину. Или: Петръ Великій устроилъ свадьбу одного изъ своихъ денщиковъ, Григорія Чернышева, съ 17-лѣтнею Евдокіей Ивановной Ржевской, причѣмъ далъ новобрачному въ приданое за покровительствуемой имъ невѣстой 4,000 душъ крестьянъ. Потомъ рождавшимся отъ этого брака сыновьямъ жаловалъ на зубокъ деньги и деревни, и отсюда пошло знаменитое богатство Чернышевыхъ. Таково же происхождение богатства Румянцевыхъ.

Единственная путеводная нить по исторіи почти всѣхъ безъ исключенія замѣчательныхъ богатствъ частныхъ лицъ въ Россіи есть внезапность. Она, именно, придаетъ этой исторіи занимательность и дѣлаетъ изъ нея въ нѣкоторомъ родѣ романъ, «и романъ не простой, а этакъ Рафаила Михайловича Зотова, съ бенгальскимъ освѣщеніемъ финала». Но она же мѣшаетъ уловить какой бы то ни было общій типъ происхожденія и роста богатства. Внезапно возникаютъ и внезапно проваливаются, — вотъ все, что можно сказать о нашихъ и легально, и не легально добытыхъ крупныхъ состояніяхъ.

Богатства, нажитыя нелегальнымъ путемъ, въ большинствѣ случаевъ по необходимости внезапны. И любопытно здѣсь развѣ только нѣкоторые особенные, исключительные способы наживы. Такъ, напримѣръ, послѣ 1812 г., въ Москвѣ внезапно оказались громадные купеческіе капиталы у лицъ, дотолѣ совершенно бѣдныхъ. Это объясняется тѣмъ, что многимъ обитателямъ первопрестольной столицы, украшенію которой такъ много способствовалъ пожаръ, удалось захватить прекрасно сдѣланныя фальшивыя ассигнаціи, привезенныя въ Россію Наполеономъ. При Екатеринѣ нѣкто Кишенскій, дослужившись до офицера, получилъ порученіе надзирать за калмыками, признавшими надъ собою верховную власть

Россіи. Онъ грабилъ калмыковъ даже совершенно безумно, такъ что въ 1770 г. 75,000 кибитокъ откочевало въ Китай. Это обстоятельство повело къ раскрытію прѣдѣлокъ Кишенскаго, но онъ остался цѣль и невредимъ: «Впослѣдствіи онъ имѣлъ чинъ генераль-маіора и съ пышностью кровнаго барина проживалъ въ Петербургѣ плоды своего хищничества».

Богатства, нажитыя исключительно легальнымъ путемъ, отличаются тою-же внезапностью. Генераль-адъютантъ Екатерины II Ермоловъ въ теченіе 16 мѣсяцевъ получилъ: два помѣстья, одно цѣною въ 100,000, другое въ 300,000 рублей; деньгами 150,000, кромѣ единовременной выдачи въ 100,000, пенсіи и жалованья по 12,000 рублей въ мѣсяцъ. Генераль-адъютантъ Екатерины Ланской получилъ: деньгами 3,000,000, брильянтовъ на 80,000, на уплату долговъ 80,000 и домъ въ 100,000 рублей. Генераль-адъютантъ Римскій-Корсаковъ въ 16 мѣсяцевъ получилъ: 150,000 деньгами, 4,000 душъ крестьянъ, 100,000 на уплату долговъ, 100,000 на экипировку, 170 или 200,000 на путешествіе за границу, жалованья по 2,000 руб. въ мѣсяцъ и домъ, проданный имъ потомъ за 200,000. Братья Орловы въ сложности получили 45,000 душъ крестьянъ и 17,000,000 деньгами и драгоценностями. Пожалованіемъ не исчерпываются легальные способы необычайно быстрой наживы. Не мало громадныхъ состояній порождено откупамъ, преимущественно винными. Такъ, въ царствованіе Екатерины II саратовскій крестьянинъ Злобинъ понемногу разжился на откупахъ до того, что получалъ 1,000 р. дохода въ день. Таково же происхождение богатствъ Сапожниковыхъ и Яковлевыхъ, предокъ которыхъ пришелъ въ Петербургъ пѣшкомъ «съ полтиной въ карманѣ и съ родительскимъ благословеніемъ», а капиталъ его правнука простирался до 60,000,000.

Конечно, сдѣлаться, помимо всякаго пожалованія, изъ бѣднаго крестьянина владельцемъ капитала, приносящаго 365,000 годового дохода, очень трудно исключительно легальнымъ путемъ. Но дѣло въ томъ, что въ тѣ времена, о которыхъ повѣствуетъ книга г. Карновича, понятія о собственности были до такой степени смутны, что не всегда было легко отличить не только способы пріобрѣтенія, удовлетворяющіе какому бы то ни было высшему началу справедливости, отъ неудовлетворяющихъ ему, но даже просто легальные отъ нелегальныхъ. Взятки, грабежъ на большихъ дорогахъ, конечно, легальными путями не признавались. Но какъ назвать, напримѣръ, такой способъ пріобрѣтенія: Мазепа (въ другомъ мѣстѣ у

г. Карновича сказано Скоропадскій) отдать Меньшикову во владѣніе Почепскій уѣздъ; вслѣдствіе этого повѣренныя Меньшикова являлись неожиданно въ какую-нибудь слободу, село или деревню и ставили тамъ столбъ съ его княжескимъ гербомъ, объявляя, что въ силу гетманскаго пожалованія эта мѣстность составляетъ отнынѣ собственность князя Александра Даниловича. Или вотъ подобныя же исторіи изъ болѣе поздняго времени: вскорѣ по вступленіи на престолъ императора Павла, близкіе къ нему люди выпросили себѣ у него «великое количество» на выборъ лучшихъ казенныхъ земель, и для удовлетворенія ихъ отбирали у казенныхъ крестьянъ всѣ лишнія земли сверхъ положенныхъ 8 десятинъ на душу. Крестьянъ при этомъ лишали не только пахотной земли, но и бывшей подъ огородами, а затѣмъ эти же земли продавались тѣмъ же крестьянамъ по 300 и по 500 р. за десятину. При Екатеринѣ II существовалъ нѣкто Фредериксъ, покровительствуемый Орловымъ. Онъ занимался торговлей, былъ придворнымъ банкиромъ и скопилъ въ короткое время «невѣроятныя богатства». Повидимому, онъ занимался также поставками на армію. Во время первой турецкой войны Фредериксъ устроилъ великолѣпный праздникъ въ честь графа Григорія Орлова, причемъ гости, состоявшіе изъ членовъ дипломатическаго корпуса и цвѣта высшаго общества, любовались на слѣдующую надпись надъ дверями роскошно убранной столовой: «война кормить, миръ истощаетъ». Этотъ откровенный цинизмъ весьма характеренъ. О временахъ, болѣе отдаленныхъ, и говорить нечего. Г. Карновичъ приводитъ слѣдующій отрывокъ изъ письма царя Алексѣя Михайловича къ Никону по поводу описи имущества умершаго патріарха Іоасафа: «немного я не покусился на иные сосуды, да милостью Божіей воздержался и вашими святыми молитвами; ей! ей! ни до чего не дотронулся».

Въ виду этого весьма трудно классифицировать замѣчательныя богатства частныхъ лицъ въ Россіи по признакамъ легальности и нелегальности ихъ происхожденія. За вычетомъ нѣкоторыхъ богатствъ, возникшихъ путемъ пожалованія, они происхожденія весьма смѣшаннаго. Но пожалованія сопровождались обыкновенно усиленіемъ общественнаго значенія, іерархическимъ возвышеніемъ жалуемыхъ лицъ, а тѣмъ самымъ передъ ними раскрывалось болѣе или менѣе широкое поприще незаконной наживы. И по-истинѣ непостижима та жадность, которую обнаруживали люди, взысканные милостями государей. У людей, довольствовавшихся самымъ скуднымъ жалованьемъ или другимъ заработкомъ, вдругъ точно вырастаютъ тысячи рукъ,

которыя хватаютъ рѣшительно все, что имъ попадается, хватаютъ иногда даже безъ всякой нужды и цѣли. Такъ, осыпанный милостями Екатерины Завадовскій, не довольствуясь пожалованными ему 20,000 душъ крестьянъ и громадными денежными суммами, на всякіе манеры грабилъ находившіяся подъ его управленіемъ государственныя заемныя банкы. Такъ, сынъ бѣднаго дворянина Потемкинъ, получившій отъ Екатерины 37,000 душъ крестьянъ и 9.000,000 деньгами, занимался спекуляціями по виннооткупной части, бралъ изъ казны займообразно, но въ то же время безвозвратно купилъ, доходившіе иногда до 3.500,000, занималъ у частныхъ людей и не платилъ и т. п. Такъ, Шафировъ, внукъ крещенаго еврея, жившій, по должности переводчика, въ посольскомъ приказѣ, на 30 рублей въ годъ, понавъ въ милость къ Петру Великому, не довольствуется уже щедрыми пожалованіями императора, а рветъ гдѣ попало и какъ попало: утаиваетъ казенныя деньги, произвольно возвышаетъ почтовую таксу, пристанодержательствуетъ въ своихъ помѣстьяхъ и т. д. Такъ, бывшій пирожникъ Меньшиковъ держитъ зачѣмъ-то у себя въ сундукахъ куски литого золота, нитки жемчуга, трости съ брильянтовыми набалдашниками и т. п., и всякими правдами и неправдами наживаетъ такое состояніе, что конфисковано у него было: 90,000 душъ крестьянъ; города: Ораніенбаумъ, Ямбургъ, Копорье, Раненбургъ, Почепъ и Батуринъ; 4.000,000 тогдашнихъ рублей наличною монетою; капиталовъ въ лондонскомъ и амстердамскихъ банкахъ на 9.000,000 руб., драгоценностей на 1.000,000 р., три перемѣны, по 24 дюжины каждая, серебряныхъ тарелокъ и столовыхъ приборовъ и 105 пудовъ золотой посуды.

Столь быстрой наживѣ такихъ невѣроятныхъ богатствъ естественно соответствуетъ безумная, нелѣпая, чисто азіатская роскошь. Кромѣ того, хищническія руки, протянутыя со всѣхъ сторонъ къ добычѣ, портятъ другъ другу дѣло. Наконецъ, милости монарховъ измѣнчивы. Поэтому колоссальныя богатства успѣвали у насъ слагаться необычайно быстро, но тотчасъ вслѣдъ затѣмъ ихъ начинали подкапывать мотовство, алчность сосѣдей, измѣненіе симпатій государя или восшествіе на престолъ новаго и, наконецъ, слишкомъ уже большая склонность къ нелегальнымъ способамъ приобрѣтенія. Приведемъ нѣсколько примѣровъ такихъ превратностей судьбы.

Любимецъ царевны Софіи, князь Василій Голицынъ, прозванный великимъ Голицынымъ, былъ осыпанъ милостями своей покровительницы: населенныя имѣнія, огромныя денежныя награды, драгоценныя подарки летѣли на него какъ изъ рога изобилія. Но

онъ не довольствовался этимъ. Въ одинъ изъ своихъ крымскихъ походовъ онъ взялъ съ татаръ двѣ бочки съ золотой монетой и донесъ въ Москву, что дальше Перекопа идти невозможно. Однако, татары надули Голицына, и деньги ихъ оказались мѣдными позолоченными. Подобную же сдѣлку Голицынъ устроилъ съ поляками. У малороссійскаго гетмана Дорошенко онъ прямо отнялъ осыпанную брилліантами булаву. Жилъ онъ роскошно. Польскій посланникъ говорилъ, что онъ нигдѣ въ Европѣ не видалъ дворца, подобнаго палатамъ Голицына. Но Петръ Великій уничтожилъ все это дѣло царевны Софіи однимъ почеркомъ пера. Онъ лишилъ Голицына боярскаго достоинства, сослалъ въ Яренскъ и отобралъ все имѣніе. При описи его имущества оказалось, кромѣ недвижимаго, 100,000 червонцевъ, 40 пудовъ серебряной посуды и множество драгоценностей. А потомки его, вслѣдствіе Петровскаго разгрома, до такой степени обдѣлились, что внукъ великаго Голицына былъ шутомъ при Аннѣ Ивановнѣ, получилъ при заключеніи Бѣлградскаго мира 3,000 рублей за охраненіе любимой собаки императрицы и былъ обвиненъ въ ледяномъ домѣ съ камычкой Авдотьей Бужениновой.

Князь В. Ѳ. Одоевскій, извѣстный писатель, не имѣлъ, кажется, никакого состоянія. Но предки его были очень богаты, какъ видно, уже изъ того, что одинъ изъ нихъ завѣщалъ Троицко-Сергіевской лаврѣ 6,000 душъ крестьянъ. Въ особенности богатъ былъ прадедъ Владиміра Ѳеодоровича, дѣйствительный тайный совѣтникъ и президентъ вотчинной коллегіи князь Иванъ Васильевичъ, получившій въ наслѣдство часть имѣнія князей Лыковыхъ. Однако, этотъ вельможа любилъ такъ шибко пожить, что долженъ былъ распродать всѣ свои деревни и остался при одномъ хорѣ крѣпостныхъ музыкантовъ, которые, играя за деньги въ разныхъ мѣстахъ, содержали себя и барина. Тотъ же вельможа дошелъ, наконецъ, до того, что прямо воровалъ у Разумовскаго во время карточной игры деньги.

По вступленіи на престолъ Анны Ивановны, гофмейстеру ея Петру Бестужеву-Рюмину было поручено похитить изъ Кіевскаго архива подлинное завѣщаніе императрицы Екатерины I, по которому, въ случаѣ престѣченія мужского поколѣнія дома Романовыхъ, престолъ долженъ былъ перейти въ потомство старшей дочери Петра Великаго, герцогини Голштинской. Удачное исполненіе этого щекотливаго порученія положило основаніе богатству Бестужевыхъ-Рюминыхъ. Сынъ ловкаго похитителя графъ Алексѣй Бестужевъ-Рюминъ былъ однимъ изъ главныхъ угодниковъ Бирона и получалъ отъ него, помимо жалованья, щедрые подарки

деньгами и вещами. При Елизаветѣ Петровнѣ онъ, будучи сначала вице-канцлеромъ, а потомъ государственнымъ канцлеромъ, постоянно кланялся о разныхъ подачкахъ и пользовался такой репутаціей, что Фридрихъ Великій говорилъ о немъ: «онъ продалъ бы самую императрицу, если бы у кого-нибудь нашлось достаточно денегъ, чтобы купить ее». Чтобы имѣть понятіе о разнообразіи способовъ наживы Бестужева-Рюмина, приведемъ слѣдующій рассказъ г. Карновича. Вдова Ивана Толстого, у отца котораго было конфисковано все имущество, обратилась къ канцлеру съ просьбой исходатайствовать у императрицы Елизаветы возвращеніе отобраннаго. Канцлеръ принялъ, повидимому, большое участіе въ дѣлѣ Толстой, но объяснилъ, что императрица всѣхъ имѣній ни въ какомъ случаѣ не возвратитъ, а пусть Толстая составитъ два списка конфискованныхъ имѣній—одинъ лучшихъ, другой худшихъ; онъ, канцлеръ, беретъ похлопотать о возвращеніи ей лучшихъ имѣній. Вдова такъ и сдѣлала. Черезъ нѣсколько дней Бестужевъ-Рюминъ выпросилъ у императрицы лучшія по списку Толстой имѣнія—для себя. Вскорѣ однако онъ былъ сосланъ, а имущество его конфисковано. Петръ III возвратилъ ему движимое имущество, Екатерина возвратила изъ ссылки. У канцлера былъ единственный сынъ, графъ Андрей, который, несмотря на чинъ генераль-поручика и Александровскую ленту, былъ, по просьбѣ отца, посаженъ за пьянство и развратную жизнь въ монастырь на смиреніе. Со смертію его пресѣлся родъ графовъ Бестужевыхъ-Рюминыхъ, такъ какъ и онъ, и старшій братъ канцлера были бездѣтны. Богатство ихъ перешло въ другіе роды.

Этихъ примѣровъ, число которыхъ мы могли бы весьма значительно увеличить, достаточно, чтобы видѣть, что въ нашемъ давнемъ и недавнемъ прошедшемъ не было рѣшительно никакихъ данныхъ для укрѣпленія идеи собственности. Благодаря отчасти самой задачѣ автора, а отчасти и отрывочному, анекдотическому характеру книги, въ изслѣдованіи г. Карновича имѣются только весьма скудныя свѣдѣнія о томъ, какъ отражался этотъ порядокъ вещей на низшихъ слояхъ населенія. Нѣсколько связную, хотя очень краткую и далеко не полную картину этого рода представляетъ въ его книгѣ только описаніе судебъ землевладѣнія на Донѣ. Донскіе казаки признавали занятія ими свободныя и отвоєванныя у татаръ земли общинною войсковою собственностью и пользовались земельными участками на правѣ временнаго владѣнія. До второй половины XVIII вѣка донскіе казаки не были знакомы ни съ крѣпостнымъ правомъ, ни съ потом-

ственнымъ владѣніемъ земель, ни съ дворянствомъ, такъ какъ каждый войсковой начальникъ избирался на время и, отбывъ свою должность, обращался въ равнаго всѣмъ другимъ простого казака. Но мало по малу къ нимъ стали проникать московскіе нравы и обычаи. Началось дѣло съ того, что великорусскіе крестьяне стали бѣгать на Донъ отъ своихъ помѣщиковъ. Казаки принимали ихъ съ большимъ удовольствіемъ, давая имъ на первое время всякія льготы, ибо сами они земледѣіемъ заниматься не любили. Такимъ образомъ, воинственные донцы, слышавшіеся уже о московскихъ порядкахъ и лишенные вдобавокъ до извѣстной степени мирными сношеніями московскихъ царей съ Турціей своего привычнаго заработка войной, эти люди столкнулись съ великорусскими крестьянами, уже болѣе или менѣе свыкшимися съ помѣщичьимъ гнетомъ. Войсковые чины стали закрѣплять за собой бѣглыхъ и даже покупать увеликорусскихъ помѣщиковъ крестьянъ на свозъ. Екатерина значительно толкнула это дѣло впередъ, начавъ жаловать временныхъ казацкихъ начальниковъ военными чинами, дававшими право потомственного дворянства. Естественно, что прототипомъ донского дворянства стало дворянство русское, т.-е. помѣстное. Прогрессъ крѣпостного права на Дону шелъ такъ быстро, что по переписи 1763 года всѣхъ записанныхъ за тамошними землевладѣльцами крестьянъ считалось 20,422 души. Въ это время между донцами выдвинулись богатые помѣщики Платовы, Иловайскіе, Денисовы и другіе, за которыми числилось отъ трехъ до пяти тысячъ душъ. Но такъ какъ души эти были по большей части бѣглыя, то появленіе донскихъ помѣщиковъ вызывало не мало протестовъ со стороны помѣщиковъ русскихъ. Дѣло кончилось тѣмъ, что указомъ 1796 г. крестьяне были закрѣплены на Дону на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ поселились. Все это однако ни мало не способствовало выясненію определенности идеи собственности на Дону. Напротивъ, прежніе казацкіе порядки, весьма ясные и определенныя, какъ бы мы ни судили объ ихъ неудовлетворительности, смѣнились путаницею, которая все усиливалась. Указомъ 1796 г. донскіе помѣщики были надѣлены завѣдомо чужою собственностью. Далѣе, богатые помѣщики, фактически имѣвшіе въ своемъ распоряженіи земли, достаточныя для населенія въ 5,000 человекъ, юридически собственниками не были, такъ какъ земля все-таки считалась общинною собственностью всего донского войска. Въ виду этого для разрѣшенія вопроса о поземельномъ устройствѣ донцовъ былъ въ 1819 году образованъ въ Новочеркасскъ особый комитетъ, не приведшій, однако, до 1835 г. ни къ какому ре-

зультату. Въ этомъ году крестьяне окончательно закрѣплены лично за помѣщиками, причемъ на каждую ревизскую душу дано было по 15 десятинъ земли. Но земля эта, въ силу стародавняго обычая, была предоставлена не въ потомственное, а лишь временное владѣніе донского дворянства, такъ что крестьяне, хотя и считались крѣпостными, но прочной осѣдлости у своего помѣщика не имѣли. Крѣпостныхъ въ это время на Дону было 80,000 и для поселенія ихъ помѣщикамъ было отведено 1.680,000 десятинъ. Въ 1861 г. отмѣнено крѣпостное право. Въ 1868 г. всѣ земли, бывшія прежде во временномъ владѣніи, перешли въ полную частную собственность. Такимъ образомъ въ одномъ изъ богатѣйшихъ угловъ Россіи идея полной частной собственности всего какихъ-нибудь пять, шесть лѣтъ тому назадъ выбилась изъ принциповъ собственности общинной и государственной. Къ этому слѣдовало бы прибавить, что значительная часть великорусскаго населенія и до сихъ поръ не знаетъ частной поземельной собственности. Но даже оставляя совершенно въ сторонѣ всѣ относящіяся сюда соображенія, не трудно видѣть, что положеніе русскихъ консерваторовъ по отношенію къ принципу собственности (и далеко не къ одному ему) въ высокой степени затруднительно. И вообще, роль охранительной партіи настолько же трудна, насколько легка задача людей, такъ сказать, ежеминутныхъ, людей данной минуты. Охранители не имѣютъ въ своемъ распоряженіи и такого единаго принципа, какой въ видѣ принципа свободы имѣется у либераловъ. Тѣ знаютъ свое: водворятъ свободу—и, по мѣрѣ своихъ силъ и способностей, варьируютъ этотъ лозунгъ. Охранительная программа требуетъ для своего не только выполнения, а и составленія несравненно большаго запаса ума и политическаго такта. Никому не можетъ прийти въ голову охранять безусловно все наслѣдство прошедшей исторіи. Это немыслимо просто потому, что въ такомъ случаѣ пришлось бы охранять вещи положительно непримиримыя. Охранитель, подъ страхомъ потерять всякій кредитъ, долженъ весьма искусно лавировать между завѣдомо не охраняемымъ и подлежащимъ охраненію. Онъ отнюдь не долженъ, какъ дѣлаетъ, напримѣръ, «Гражданинъ», противопоставлять свою программу такой всепризнаваемой вещи, какъ «духъ образованности». Напротивъ, онъ долженъ доказывать, что подобныя всепризнаваемые вещи находятся исключительно на его сторонѣ. Понятно, что это дѣло—часто очень и очень не легкое. Но къ русскому консерватору, кромѣ вопроса: что ты хочешь охранять?—долженъ быть обращенъ еще другой: есть ли тебѣ что

охранять-то? Будемъ поэтому снисходительны къ этимъ людямъ...

Совершенно особую и въ высшей степени любопытную группу крупныхъ состояній представляютъ богатства, нажитыя горно-заводскою промышленностью. Къ сожалѣнію, этотъ отдѣлъ замѣчательныхъ богатствъ частныхъ лицъ въ Россіи разработанъ г. Карновичемъ весьма скудно. Совѣтуемъ читателю дополнить эту главу его книги статьей г. Колупанова «Колонизація Пермской губерніи и распространеніе горнаго промысла» («Бесѣда», 1871 г.). Богатства этого рода выделяются не своими громадными размѣрами, не своею внезапностью, равно какъ и не тѣмъ, что обладатели ихъ почти безъ исключенія происходили изъ простонародья. Всѣ эти признаки встрѣчаются, какъ мы видѣли, и въ исторіи другихъ богатствъ. Они любопытны, какъ первыя проявленія у насъ промышленности въ крупныхъ размѣрахъ. До нихъ замѣчательныя богатства приобрѣтались или пожалованіемъ населенныхъ имѣній — богатства собственно дворянскія, или торговлей, или откупамъ таможенными, заставными, рыбными, винными и т. д., — словомъ, способами болѣе или менѣе первобытными, азіатскими. Не мало было, впрочемъ, азіатскаго и въ первыхъ шагахъ нашей горно-заводской промышленности. Но они во всякомъ случаѣ въ высокой степени любопытны, какъ переходная форма, какъ первая крупная проба капиталистическаго порядка на Руси; именно только грандіозная проба, еще сильно осложненная первобытными, азіатскими элементами.

Едва-ли какая-нибудь отрасль промышленности пользовалась гдѣ-нибудь такимъ широкимъ покровительствомъ, какъ горно-заводская у насъ. Правительство давало предпринимателямъ всякія льготы, землю, лѣсъ, даровой трудъ, создало особый видъ владѣнія — такъ называемое посессіонное право, въ силу котораго къ заводамъ приписывалось извѣстное число казенныхъ мастеровыхъ и дозволялось, на извѣстныхъ условіяхъ, не-дворянамъ заводчикамъ покупать крѣпостныхъ. Сверхъ того, заводчикамъ предоставлялись въ значительныхъ размѣрахъ судъ и расправа. Даровыя силы природы и даровой трудъ, — вотъ при какихъ условіяхъ у насъ зародился и вышелъ на свѣтъ Божій въ болѣе или менѣе опредѣленной формѣ капиталъ, т.-е. богатство, не въ сундукахъ лежащее и не въ видѣ брилліантовыхъ пуговицъ и эполетъ носимое и не проживаемое безъ остатка, а обращаемое на производство новыхъ богатствъ. Надо замѣтить, что и помимо правительственной помощи горно-заводское дѣло могло устраниваться и устранивалось недурно. Г. Колупановъ, въ

упомянутой уже статьѣ, приводитъ слѣдующія, по истинѣ, поразительныя цифры. Твердышевъ, первый заводчикъ въ Оренбургскомъ краѣ, купилъ у башкиръ подъ Бѣлоуфцкій заводъ 300,000 дес. земли, покрытой строевымъ лѣсомъ, за 300 р.; 100,000 д. лѣсу подъ Преображенскій заводъ были куплены за 100 р. и въ то же время 10,000 десятинъ лѣсу на срубъ приобрѣтено за 50 р. и нѣсколько фунтовъ чая; 180,000 десятинъ подъ заводы Авзяно-Петровскій и Кагинскіе окормлены на вѣчныя времена за 20 р. въ годъ. Послѣдній заводчикъ, воспользовавшийся трудомъ приписныхъ крестьянъ, былъ Походяшинъ. Преданіе говоритъ, что, за недостаткомъ крѣпостныхъ рабочихъ, онъ наполнялъ свои заводы бѣлыми и «лихими» людьми, стекавшимися къ нему на зимовку: съ этою цѣлью онъ, говорятъ, портилъ намѣренно дороги къ своему заводу, чтобы его не тревожило начальство, «и тамъ по своему расправлялся съ бездомными пришельцами» (Колупановъ). Трудъ «лихихъ» людей стоилъ, надо думать, немногимъ дороже крѣпостного. Г. Колупановъ замѣчаетъ, что при такихъ условіяхъ со стороны предпринимателя не требовалось ничего, кромѣ личной энергіи. Но, по совѣсти говоря, даже и этого элемента нужно было не особенно много. Впрочемъ, основатели нашей горно-заводской промышленности были несомнѣнно люди весьма и весьма энергичные. Если многое въ быстротѣ ихъ обогащенія должно быть отнесено на счетъ необычайныхъ выгодъ ихъ положенія, то непрерываемымъ указаніемъ на ихъ энергію можетъ служить ихъ обращеніе съ рабочими. Всѣ эти Демидовы, Походяшины, Зотовы, сами едва вышедшіе изъ низшихъ слоевъ народа, обращались съ своими вольными и невольными рабочими до звѣрства неистово. Такъ Прокофій Демидовъ писалъ своимъ приказчикамъ въ 1788 году: «Вы, архибестіи, смѣлоотчаянные, двухголовые и сущіе клятвопреступники и ослушники, Блинновъ и Серебряковъ, за всѣ генерально дурности и неправды и не такія уже вамъ плети достанутся, какъ писалъ, подтверждалъ съ караванными, но гораздо не въ примѣръ. Божусь вамъ Богомъ, болѣе! Да и денежнаго превеликаго штрафа, сверхъ крѣпкихъ плетей, не минуете, вѣрно и перовѣрно, двухголовые, архибестіи и смѣлоотчаянные, наглые, хищные волки. Да и сверхъ того, божусь вамъ самимъ Богомъ, будете вы, каналы Блинновъ и Серебряковъ, въ золѣ ваяться. — А чтобы по куренямъ и всюду для прочихъ дѣлъ еженедѣльно вамъ якобы нельзя ѣздить, то цыцъ и перецыцъ! Не токмо думать, но и мыслити сего вамъ архибестіямъ страшиться: ибо ничего, хотя бабку свою пойте, въ резонъ ни мало не пряму.

И чинить въ самой точности, какъ я и подтверждалъ неоднократно, и ѣздить точно и переточно вамъ, архибестіямъ, по куреніямъ и всюду еженедѣльно, а то какъ лягушекъ раздавлю. А на сіе писать ко мнѣ». (Русск. Архивъ 1873, № 11). Г. Колюпановъ, говорить, что въ екатеринбургскомъ архивѣ сохранилась жалоба казенныхъ мастеровыхъ на уткусскаго приказчика: приказчикъ имѣлъ обыкновеніе вымазывать рабочему задъ смолой и водить его по заводу, *прижаривая у юрновъ*. Рабочіе жалуются не на свирѣпость такого неслыханнаго наказанія, а на то, что они ему подвергались безвинно. Походяшинъ, по словамъ того же писателя, часто привлекалъ къ себѣ рабочихъ, выдавая жалованье впередъ за цѣлый годъ; «но иногда непокорный рабочій исчезалъ безслѣдно въ широкомъ огненномъ столбѣ, который изъ домны далеко освѣщаетъ заводы въ темную ночь». Зотовъ, бывшій крѣпостной бывшаго мѣщанина Яковлева, «былъ чистый звѣрь: въ великолѣпныхъ залахъ Расторгуевского дома онъ при себѣ забивалъ людей до смерти, ходилъ по заводу съ заряженнымъ пистолетомъ и стрѣлялъ за ослушаніе. Богатство все покрывало. Наконецъ, по высочайшему повелѣнію, производилъ надъ нимъ слѣдствіе гр. Ал. Гр. Строгоновъ. Зотовъ и послѣ того выпутался; но со вступленіемъ въ министерство внутреннихъ дѣлъ графа Александра Григорьевича, наряжена была особая комиссія. Зотовъ съ Харитоновымъ сосланы въ Кексгольмъ. Не ручаюсь за правду, но рассказываютъ невѣроятныя вещи: рассказываютъ, что комиссія спустила прудъ въ Касляхъ, и на днѣ его найдены были остатки десятковъ человѣческихъ тѣлъ» (Колюпановъ). Немудрено, что, по словамъ г. Колюпанова, на Уралѣ говорятъ: заводы, какъ село скудельниче, купленное на деньги Іуды, выстроены цѣною крови, на костяхъ человѣческихъ.

Возвращаясь къ книгѣ г. Карновича, повторимъ, что, каковы бы ни были ея недостатки и пробѣлы, она представляетъ одно изъ интереснѣйшихъ и полезнѣйшихъ литературныхъ явленій за прошлый годъ. Желаніемъ ей полного успѣха и притомъ не только въ смыслѣ распространенія, — такой она будетъ имѣть навѣрное, — а въ смыслѣ возбужденія ею интереса къ экономической исторіи Россіи. Это почти непочатая область.

На этотъ разъ у насъ есть и еще интересныя литературныя новости. Вышло второе изданіе Милля «Основаній политической экономіи». Къ нему приложена, въ видѣ введенія, статья г. Жуковскаго, пытающаяся опредѣлить мѣсто Милля въ исторіи политической экономіи и излагающая нѣкоторыя собственныя воззрѣнія нашего экономиста. Объ этомъ предисловіи мы тѣмъ болѣе не считаемъ нуж-

нымъ говорить, что въ немъ заявляется о скоромъ выходѣ въ свѣтъ второго тома «Исторіи политической литературы XIX вѣка» г. Жуковскаго, гдѣ мы встрѣтимъ, разумѣется, болѣе полное и обстоятельное изложеніе мнѣній этого писателя. Распространяться объ экономическихъ воззрѣніяхъ Милля мы также не считаемъ здѣсь ни нужнымъ, ни возможнымъ. Напомнимъ только отношенія къ нему нашей литературы. Переводчикъ съ большимъ тактомъ выбралъ «Основанія политической экономіи» Милля для ознакомленія русской публики съ современной экономической литературой на западѣ. Снабженный его комментаріями, «Основанія политической экономіи», послѣднее, лучшее и честнѣйшее выраженіе школьной, буржуазной экономіи, много способствовали у насъ распространенію и уясненію здравыхъ экономическихъ понятій. Переводчикъ не преувеличивалъ, но и не уменьшалъ значенія Милля. Онъ видѣлъ въ немъ писателя не оригинальнаго, но умнаго и честнаго, готоваго признавать истинность, даже величія такихъ ученій, отъ которыхъ съ негодованіемъ отвертываются рутинеры-экономисты, готоваго сдѣлать всяческія уступки жизни, опередившей старую доктрину, но вмѣстѣ съ тѣмъ далеко не всегда умѣющаго вырваться изъ путъ этой самой доктрины. Эта условность Миллева авторитета была чрезвычайно выгодна для нашего общества. Она не давала ему возможности успокоиться на чемъ-нибудь въ родѣ приснопамятнаго учебника г. Горлова, но не давала вмѣстѣ съ тѣмъ повода застрять и въ болѣе широкомъ, но безусловномъ авторитетѣ, который въ ту пору легко могъ стать громомъ всякой критики, всякой самостоятельной мысли. Условность авторитета «Основаній политической экономіи» много способствовала не только распространенію здравыхъ экономическихъ понятій, но имѣла и вообще важное воспитательное значеніе, приучая мысль къ спокойному критическому анализу. Съ теченіемъ времени, однако, подъ влияніемъ совершенно постороннихъ обстоятельствъ, нашему обществу понадобились, во что бы то ни стало, авторитеты безусловныя, своего рода Баярды sans tâche ni гергосче, какихъ не откуда было взять; все же условное, подлежащее отдѣленію плевелъ отъ пшеницы третировалось en saumaille. Сообразно этому, въ памятную эпоху господства «Русскаго Слова» Милль подвергся жесточайшимъ нападкамъ и дослужился даже, наконецъ, по словамъ Герцена, до титула «ракальи». Нынѣ мы, кажется, можемъ успокоиться на мѣткомъ, хотя и отрицательномъ опредѣленіи желчнаго, саркастическаго, часто очень несправедливаго къ людямъ Маркса: «Если люди, какъ Джонъ-Стюартъ Милль, Фоссетъ и др., и заслужи-

вають порицаніи за противорѣчія своихъ старо-экономическихъ догматовъ своимъ новѣйшимъ стремленіямъ, тѣмъ не менѣе было бы величайшею несправедливостью смѣшивать ихъ съ шайкой рутинно-экономическихъ апологистовъ» (Капиталь, 528 примѣчаніе).

Кстати вышла помѣченная уже 1874 годомъ «Автобіографія Джона-Стюарта Милля». Читатель, жаждущій отъ біографій и автобіографій разсказа о событіяхъ, эффектныхъ эпизодахъ и т. п., не найдетъ здѣсь ничего подобнаго. Милль и самъ говоритъ, что его жизнь не ознаменована никакими любопытными событіями. Его автобіографія представляетъ добросовѣстно и обстоятельно написанную исторію его умственного и нравственного развитія. Однимъ изъ главныхъ соображеній, побудившихъ Милля составить свою автобіографію, было слѣдующее: «полезно сохранить память о воспитаніи необыкновенномъ и замѣчательномъ, которое, несмотря на прочіе свои результаты, доказало, что можно обучить ребенка, и хорошо обучить, гораздо большому, чѣмъ обыкновенно предполагають возможнымъ, въ тѣ ранніе годы, которые, при обычныхъ теоріяхъ воспитанія, почти пропадаютъ даромъ». И дѣйствительно, воспитаніе Милля было необыкновенно и замѣчательно, но я осмѣливаюсь думать, что оно ровно ничего не доказываетъ, что оно не подлежитъ никакимъ обобщеніямъ.

Милль не помнитъ, когда онъ началъ учиться греческому языку, но слышалъ отъ другихъ, что ему было тогда три года. Первые его воспоминанія относятся къ заучиванію наизусть длинныхъ списковъ греческихъ словъ съ англійскимъ переводомъ. Изъ грамматики онъ долгое время зналъ только склоненія существительныхъ и спряженія, а послѣ вокабулъ прямо перешелъ къ переводамъ. До семи лѣтъ онъ прочелъ Эзопа, Ксенофонта, всего Геродота, кое-что изъ Діогена Лаерція, Лукіана и проч., а кромѣ греческаго занимался только ариметикой. Семи лѣтъ онъ началъ учиться латинскому языку вмѣстѣ съ сестрой, которую долженъ былъ, собственно говоря, обучать, давая отцу отчетъ и въ собственныхъ, и сестринныхъ занятіяхъ. Отъ восьми до двѣнадцати лѣтъ Милль прочелъ изъ латинскихъ книгъ Буколики Виргилія, первыя шесть книгъ Энеиды, всего Горация, за исключеніемъ Эподъ, басни Федра, первыя шесть книгъ Ливія, всего Саллюстія, значительную часть метаморфозъ Овидія, часть Лукреція, Теренція, Циперона, а по-гречески: всю Иліаду, всю Одиссею, нѣсколько пьесъ Софокла, Эврипида и Аристофана, всего Фукидида, Эллиники Ксенофонта, большую часть Демосоеена, Эхина и Лизія, также Феокрита, Анакре-

она, часть Антологіи, немного Діонисія, нѣсколько книгъ Полибія, наконецъ, реторику Аристотеля. Кромѣ того, въ тѣ же годы онъ «основательно прошелъ элементарную геометрію и алгебру и далеко неосновательно дифференціальное исчисленіе и другіе отдѣлы высшей математики». Обязательными занятіями маленькаго Милля было также въ это время писаніе стиховъ и выразительное чтеніе вслухъ. Двѣнадцать лѣтъ онъ долженъ былъ приняться за логику: читалъ Органонъ Бэкона, нѣсколько латинскихъ схоластическихъ сочиненій, Гоббза. Греческіе и латинскіе писатели шли своимъ чередомъ. Тринадцать лѣтъ Милль прошелъ «полный курсъ» политической экономіи. Сначала отецъ преподавалъ ему эту науку въ формѣ разговоровъ, а затѣмъ усадилъ за Рикардо и Смита. Кромѣ того, у мальчика были занятія необязательныя, состоявшія въ чтеніи нѣкоторыхъ, очень немногихъ дѣтскихъ книгъ, и полубязательныя—чтеніе историческихъ сочиненій, выписки изъ нихъ, компиляція.

За дальнѣйшимъ образованіемъ, въ тѣсномъ смыслѣ слова, Милль мы слѣдимъ уже не будемъ, такъ какъ оно, послѣ всего вышеприведеннаго, не представляетъ уже ничего необыкновеннаго: онъ познакомился съ сочиненіями Бентама и нѣкоторыми психологическими ученіями, которыя, въ особенности Бентамъ, обратились, такъ сказать, въ цементъ набранныхъ имъ съ самаго ранняго дѣтства кирпичиковъ знанія. Занимался съ нимъ всегда самъ отецъ, Джемсъ Милль, авторъ «Анализа ума», «Исторіи Британской Индіи» и «Основъ политической экономіи», другъ Бентама и Рикардо, человѣкъ въ свое время весьма замѣтный. Милль полагаетъ, что отецъ его разрѣшилъ трудную педагогическую задачу—утилизировать ранніе годы дѣтства, не отягощая памяти голыми фактами и готовыми фразами и не ослабляя умственныхъ способностей заграживаніемъ развитія самостоятельной мысли. «Мой отецъ, говоритъ Милль, никогда не позволялъ, чтобъ я чему-нибудь учился одной зубряжкой. Онъ старался, чтобъ не только я понималъ все, чему учусь, но чтобъ сознаніе, если возможно, предшествовало знанію» (33). Въ этомъ позволительно, однако, усомниться. Миллю довольно часто приходится припоминать, что такой-то разговоръ Платона «было бы лучше пропустить, такъ какъ я рѣшительно не могъ его понимать; но отецъ во всѣхъ своихъ занятіяхъ со мною требовалъ не только того, что я могъ сдѣлать, но и многого такого, что мнѣ было совершенно не по силамъ» (6); что Джемсъ Милль «выражалъ неудовольствіе, когда я не могъ сдѣлать трудной задачи, и онъ нѣсколько не бралъ въ соображеніе, что у меня не было необходи-

мой подготовки» (13); что для чтенія «Органа» мальчикъ «въ то время еще далеко не созрѣлъ» (19) и т. п. Кромѣ необыкновенной для дѣтскаго возраста массы знанія, были и другія весьма замѣчательныя, даже исключительныя особенности въ воспитаніи Милля. Джемсъ Милль былъ человекъ, повидимому, крайне сухой: его знаменитый сынъ никогда его не любилъ, хотя и уважалъ его (52), и до такой степени его боялся, что, будучи большимъ спорщикомъ, въ его присутствіи всегда молчалъ (36). Милль такъ рисуетъ своего отца: «Въ личныхъ его качествахъ преобладалъ стойкъ; въ нравственныхъ принципахъ онъ былъ энциклопедистъ, т.-е. утилитаристъ, признававшій единственнымъ мѣриломъ добра и зла стремленіе человѣческихъ дѣйствій къ доставленію удовольствія или страданія. Но (тутъ начинался циникъ не въ современномъ, а въ древнемъ значеніи слова) онъ почти не вѣрилъ въ удовольствіе, по крайней мѣрѣ въ послѣдніе свои годы, о которыхъ только я и могу говорить въ этомъ отношеніи вполнѣ опредѣленно. Онъ не оставался безучастнымъ къ удовольствіямъ, но полагалъ, что немногія изъ нихъ стоить той цѣны, которую въ настоящемъ положеніи общества надо за нихъ заплатить» (47). Эта сухость отразилась и на воспитаніи маленькаго Милля. Онъ былъ, во-первыхъ, совершенно удаленъ отъ общества своихъ сверстниковъ; это не было упущеніемъ, отецъ вполнѣ сознательно устранялъ столкновенія сына съ другими мальчиками. Далѣе, Джемсъ Милль «слишкомъ довѣрялъ тому, что отвлеченныя положенія понятны сами по себѣ, безъ приданія имъ конкретной формы». Такъ, онъ добивался, единственно при помощи объясненій и логическаго анализа, чтобъ сынъ читалъ вслухъ хорошо, т.-е. съ извѣстнымъ выраженіемъ, интонаціями и проч., но ни разу не показавъ ему на примѣрѣ, какъ слѣдуетъ читать. Любопытно, что Дж. Ст. Милль въ дѣтствѣ очень любилъ заниматься опытными науками, физикой, химіей, но исключительно по книжкамъ: самъ онъ никакихъ опытовъ не дѣлалъ, и даже не присутствовалъ при нихъ. Изъ всего этого выходило, что Милль, какъ онъ самъ говорить, «долго и въ нѣкоторой степени во всю свою жизнь отличался недостаткомъ умственной и физическаго проворства»; воспитаніе его «подготовило скорѣе къ тому, чтобы *знать*, чѣмъ къ тому, чтобы *дѣйствовать*» (39). Но и этого мало. Самое знаніе страдало крайнею сухостью и отвлеченностью, костлявостью, если позволено будетъ такъ выразиться. Милль рассказываетъ одну очень характеристическую для этой костлявости подробность. Еще ему не было двѣнадцати лѣтъ, когда онъ письменно защищалъ аграрные

законы на основаніи Тита Ливія и отстаивалъ римскую демократическую партію. Онъ читалъ также исторію Греціи одного торійскаго писателя, причемъ отецъ объяснялъ ему ухищренія автора «оправдать тирановъ и очернить народныя учрежденія». Это была безспорно самая живая сторона его воспитанія. Но любопытно, что этотъ маленький демократъ только года три спустя впервые прочелъ исторію французской революціи, которая его очень удивила. До тѣхъ поръ онъ зналъ только, «что французы низвергли неограниченную монархію Людовика XIV и Людовика XV, казнили короля и королеву, предали смерти на гильотинѣ многихъ людей, между прочими Лавуазье, и въ концѣ концовъ, подчинились деспотизму Бонапарте» (63).

Семнадцати лѣтъ Милль поступилъ на службу въ индійскую компанію, гдѣ служилъ его отецъ, гдѣ и онъ прослужилъ безъ перерыва тридцать шесть лѣтъ. Но еще за годъ передъ тѣмъ онъ, шестнадцатилѣтній мальчикъ, основалъ общество и, конечно, не съ какими нибудь практически-революционными цѣлями, что, однако, было вполнѣ понятно въ такомъ молодомъ человекѣ. Нѣтъ, «утилитаристское» общество имѣло задачей два раза въ мѣсяцъ сообщать обсуждать различные вопросы съ точки зрѣнія Бентамовой философіи. Эти юные трезвые философы представляютъ въ описаніи Милля чрезвычайно интересное явленіе. Интересенъ, разумѣется, въ особенности самъ Милль. «Самолюбіемъ, — говоритъ онъ, — и жаждой отличія я обладалъ въ высшей степени, а также ревность къ достиженію того, что я считалъ благомъ челоѣчества, была сильнѣйшимъ во мнѣ стремленіемъ, которое придавало отгѣнокъ всѣмъ другимъ. Но эта ревность въ ту эпоху моей жизни ограничивалась только ревностью къ умозрительнымъ мнѣніямъ. Она не основывалась на искреннемъ сочувствіи къ челоѣчеству, хотя оно занимало должное мѣсто въ моихъ нравственныхъ понятіяхъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, ее не сопровождалъ пламенный энтузіазмъ къ благороднымъ, возвышеннымъ идеаламъ. По строю своего воображенія я былъ склоненъ къ подобному чувству, но въ то время во мнѣ ощущался большой недостатокъ его естественной пищи—поэтической культуры, тогда какъ былъ избытокъ противоположной способности къ логическому мышленію и анализу» (113). Эти молоденькіе сухарики презирали поэзію, очень негодовали на всѣхъ, недовольныхъ теоріей Мальтуса или видѣвшихъ въ принципѣ полезности холодный расчетъ, и щедро разсыпали на всѣ стороны упреки въ «пустозвонствѣ» и «сантиментальности». «Мы всего болѣе думали о томъ,—

вспоминаетъ Милль, — чтобы измѣнить мнѣнія людей и заставить ихъ вѣрить только въ очевидность, а также сознать ихъ истинные интересы; однажды достигнувъ этого, мы были увѣрены, что сами люди, путемъ общественнаго мнѣнія, распространять между собой должное уваженіе къ своимъ дѣйствительнымъ интересамъ. Вполнѣ созная высокое достоинство безкорыстной доброты и любви къ справедливости, мы ожидали возрожденія челоуѣчества не отъ непосредственной дѣятельности этихъ чувствъ, а отъ вліянія умственнаго развитія, которое придаетъ должное направленіе эгоистичнымъ чувствамъ челоуѣка» (115). Хотя «утилитаристское» общество съ теченіемъ времени и распалось, но составилось нѣкоторое подобіе школы или секты. Кромѣ того, Милль участвовалъ въ особомъ обществѣ, имѣвшемъ цѣлью изученіе сначала нѣмецкаго языка, а потомъ политической экономіи, логики и психологіи. Затѣмъ, онъ участвовалъ въ публичныхъ преніяхъ экономистовъ съ послѣдователями Овена, въ другихъ публичныхъ ораторскихъ упражненіяхъ, сталъ писать въ періодическихъ изданіяхъ и притомъ съ большимъ успѣхомъ. Казалось бы, оставалось только летѣть на всѣхъ парахъ по жизненному полю. Онъ и самъ чувствовалъ, что ему нечего гоняться за счастьемъ, что оно у него подъ рукой. Въ самомъ дѣлѣ, челоуѣкъ былъ молодъ, здоровъ, уменъ, ученъ, имѣлъ передъ собой блестящую перспективу, съ успѣхомъ работалъ для сознанной широкой цѣли, — чего еще нужно?

Скоро, однако, оказалось, что чего-то не хватаетъ. Дѣло было въ 1826 году. Миллю, двадцатилѣтнему тогда юношѣ, — онъ родился въ 1806 году, — было что-то не по себѣ. Нездоровье было, собственно говоря, самое пустое: нервное расстройство, мрачное настроеніе духа. Но случилось такъ, что ему какъ разъ въ это время пришелъ въ голову вопросъ: я стремлюсь къ извѣстнымъ перемѣнамъ въ челоуѣческихъ мнѣніяхъ и учрежденіяхъ, желаю реформировать міръ; что, если эта реформа осуществится сейчасъ же? буду ли я счастливъ? Голое совѣсти рѣшительно отвѣтилъ молодому челоуѣку: нѣтъ! И этотъ голосъ былъ до того силенъ, что все счастье Милля рухнуло разомъ, онъ утратилъ цѣль жизни. Напрасно садился онъ за любимыя книжки, напрасно составлялъ и говорилъ въ своемъ обществѣ рѣчи, — сознаніе внутренней пустоты не давало ему покоя. День за днемъ проходили мучительной чередой, до такой степени мучительной, что Милль рѣшилъ, что и годъ такъ протянуть невозможно. Близкихъ людей, людей по душѣ, у него не было, подѣлиться горемъ было не съ кѣмъ и на лицо оставался

только привычный съ дѣтства анализъ. За него и принялся несчастный юноша. Его воспитаніе, основанное на принципахъ Бентама, убѣдило его, что всѣ добрыя и злыя качества и чувства суть результаты ассоціаціи идей съ извѣстными явленіями; что мы любимъ одно и ненавидимъ другое, благодаря тому, что воспитаніе или жизненный опытъ соединили съ извѣстными явленіями идеи удовольствія и страданія. Изъ этого слѣдовало, что воспитаніе должно имѣть задачей развитіе ассоціацію идеи удовольствія со всѣмъ, что ведетъ къ наибольшему счастью наибольшаго числа людей, и идеи страданія со всѣмъ, что нарушаетъ общее благоденствіе. Обычныя средства для этого, которыми пользовались и руководители Милля, суть похвала и порицаніе, награда и наказаніе. Этими средствами, конечно, многое можетъ быть достигнуто, но теперь Миллю казалось, что «въ созданныхъ такимъ образомъ ассоціаціяхъ всегда должно быть нѣчто искусственное. Идеи страданія и удовольствія, насильственно придаваемые извѣстнымъ предметамъ, не соединены съ ними какими-либо естественными узами, и потому я полагалъ необходимымъ для долговѣчности этихъ ассоціацій, чтобы онѣ окрѣпли и стали неразрывны до начала обычной дѣятельности могучей силы анализа. Теперь я видѣлъ, что постоянная привычка анализа убиваетъ чувства, и дѣйствительно это случается, когда не развиваютъ никакихъ другихъ умственныхъ привычекъ, и духъ анализа остается безъ его естественныхъ дополненій и смягченій» (142). Въ чемъ состоитъ задача и достоинство анализа? — рассуждалъ далѣе Милль. Въ томъ, что онъ разсѣкаетъ всѣ случайныя, не связанныя причинно соединенія. Вслѣдствіе этого анализъ оказывается громадной силой въ дѣлѣ уничтоженія предрасудковъ и въ уразумѣніи истинной связи явленій въ природѣ, независимой отъ нашей воли и чувствъ. Но въ то же время онъ ослабляетъ «тѣ ассоціаціи идей съ извѣстными предметами, которыя, говоря обыкновеннымъ языкомъ, основаны на чувствахъ». Теоретически молодой Милль вполнѣ признавалъ, что имѣть цѣлью жизни благо челоуѣчества весьма выгодно для личности, такъ какъ чувства, сопровождающія эту цѣль, суть вѣрнѣйшіе источники счастья. «Я былъ убѣжденъ въ справедливости этого, но сознаніе, что извѣстное чувство могло бы сдѣлать меня счастливымъ, если бы я имъ обладалъ, не давало мнѣ этого чувства. Мое воспитаніе не развило во мнѣ этихъ чувствъ въ достаточной силѣ, чтобы противостоять разлагающему вліянію анализа, тогда какъ весь ходъ моего умственнаго развитія приучилъ меня къ раннему, преждевременному анализу. Такимъ образомъ я, съ

самого начала моего странствія по жизненнымъ волнамъ, имѣлъ хорошо оснащенный корабль и руль, но у меня не было парусовъ; я не чувствовалъ истиннаго желанія достигнуть тѣхъ цѣлей, для достиженія которыхъ я былъ такъ старательно приготовленъ; я не ощущалъ удовольствія ни въ добродѣтели, ни въ общемъ благѣ, ни въ чемъ-либо другомъ. Источники самолюбія и тщеславія, казалось, также исчезли во мнѣ, какъ и источники доброты и сочувствія. Чувство самолюбія было отчасти удовлетворено въ слишкомъ раннемъ возрастѣ... одинъ фактъ этого преждевременнаго достиженія, какъ всякое преждевременное удовольствіе, сдѣлалъ меня равнодушнымъ, blasé. Такимъ образомъ, всѣ удовольствія, эгоистичныя и неэгоистичныя, потеряли для меня одинаково всякое значеніе удовольствія и, казалось, не было силы въ природѣ, которая могла бы начать сызнова образованіе моего характера и создать въ моемъ умѣ, неумолимо-аналитическомъ, ассоціаціи идеи удовольствія съ какимъ бы то ни было предметомъ чело-вѣческихъ желаній» (144).

Такимъ образомъ анализъ показалъ Миллю и свою силу, и свое безсиліе. Онъ съ полною ясностью представилъ ему исторію его психическаго состоянія, разложилъ, такъ сказать, его мученія на составныя части, но помочь горю не могъ. Положеніе и не для двадцатилѣтняго юноши дѣйствительно ужасное. Оно тянулось около полугода и, наконецъ, разрѣшилось слѣдующимъ образомъ. Въ числѣ книгъ, за которыя Милль почти механически принимался въ этотъ періодъ мрака и унынія, ему попались мемуары Мармонтеля. Сцена, гдѣ Мармонтель описываетъ смерть отца, положеніе семьи и рѣшимость его, юноши Мармонтеля, замѣнить семью отца, произвела на Милля неожиданное и глубокое впечатлѣніе. Онъ прослезился и обрадовался своимъ слезамъ, какъ маниѣ небесной, какъ признаку, что онъ «не былъ болѣе деревомъ или камнемъ». За тотъ остатокъ жизни и чувства, который казался въ этихъ слезахъ, надлежало ухватиться и ввести его во что бы то ни стало въ міросозерцаніе, построенное на одномъ анализѣ. Такъ Милль и сдѣлалъ. Онъ далеко не сразу выѣхался, и припадки пережитаго имъ умственного недуга возвращались къ нему неоднократно и тянулись иногда по нѣскольку мѣсяцевъ (къ сожалѣнію, Милль не говоритъ, великъ ли былъ промежутокъ между первымъ и слѣдующими припадками); но въ его міросозерцаніи произошли существенныя измѣненія. Во-первыхъ, онъ рѣшилъ, что хотя счастье есть мѣрило всѣхъ жизненныхъ правилъ и цѣль существованія, но оно можетъ быть достигнуто только тогда, когда будетъ

отодвинуто на второй планъ; что личное счастье придетъ, если мы будемъ имѣть въ виду не его, а какую-нибудь другую цѣль—счастье другихъ, усовершенствованіе чело-вѣчества, какое-нибудь искусство или предпріятіе. Далѣе онъ рѣшилъ, что, не-смотря на всю важность умственного развитія и практики анализа, рядомъ съ ними должно идти развитіе чувствъ. Но особенно любопытенъ выходъ изъ другихъ двухъ затрудненій, мучившихъ Милля въ періодъ унынія. Изъ всѣхъ искусствъ онъ съ дѣтства любилъ только музыку, но во время его умственного недуга она не давала ему обычныхъ наслажденій. Только когда наступилъ кризисъ, онъ вновь получилъ способность слушать музыку съ удовольствіемъ. Однако, еще не окончившійся недугъ своеобразно подтачивалъ и этотъ источникъ наслажденій: Милля мучила мысль объ истощеніи музыкальныхъ комбинацій, ему казалось, что долженъ же истощиться запасъ красивыхъ сочетаній тоновъ, а разнообразіе составляетъ въ этомъ случаѣ существенное условіе наслажденія. Параллельно этой мукѣ шла другая, болѣе важная. Положимъ, что, благодаря усиліямъ общественныхъ реформаторовъ, всякая борьба и лишенія исчезнутъ, каждый членъ общества будетъ свободенъ и матеріально обезпеченъ. Что же будетъ дальше? Останется ли тогда какой-нибудь источникъ наслажденій, въ которыхъ нынѣ такую важную роль играетъ борьба за правое дѣло, за то, что тотъ или другой считаетъ желательнымъ? Возникновеніе подобнаго вопроса въ аналитическомъ умѣ совершенно понятно, но совершенно понятно также, что исключительно аналитическій умъ не въ силахъ на него отвѣтить и можетъ только мучиться. Такъ было и съ Миллемъ. Но онъ былъ слишкомъ молодъ, чтобы оставаться долго въ этомъ безвыходномъ положеніи. Упорно ища лѣкарства отъ своей болѣзни, онъ принялся за поэзію. Взялъ Байрона—не помогло, даже хуже стало, потому что умственное настроеніе поэта слишкомъ подходило къ его собственному: тотъ же душевный мракъ, то же недовольство жизнью, то же недовѣріе къ наслажденію. Затѣмъ онъ сталъ читать поэмы Вордсворта. Это было уже совсемъ другое дѣло. Здѣсь онъ нашелъ изображеніе состоянія чувствъ и мыслей подъ влияніемъ красоты природы. И тутъ ему стало ясно, что есть источники наслажденій, независимые отъ соціальной борьбы, которые именно и забьютъ полной струей, когда исчезнетъ все зло въ жизни. Сказалъ ему это не анализъ, а во-первыхъ, чувство, возбужденное Вордсвортомъ, во-вторыхъ, воспоминаніе о чувствѣ, имъ лично когда-то испытанномъ, въ особен-ности во время путешествія по Франціи.

(Читатель припомнить, безъ сомнѣнія, при этомъ главу «о неподвижномъ состояніи» въ «Основаніяхъ политической экономіи»). Другой пунктъ мучительныхъ сомнѣній Милля составляла усвоенная имъ теорія образованія характера подъ вліяніемъ обстоятельствъ. Эта теорія казалась ему истинной, но въ то же время въ ней было что-то давящее и безотрадное. «Я думалъ, говоритъ онъ, что было бы большимъ счастьемъ, если бы теорію необходимости можно было признавать только относительно образованія характера другихъ и отвергать относительно образованія своего собственнаго характера» (178). Вдумываясь, подъ вліяніемъ пережитаго, въ этотъ вопросъ, онъ, наконецъ, рѣшилъ его (въ томъ смыслѣ, какъ дѣло изложено во второмъ томѣ «Системы логики», стр. 406—414 русскаго перевода) и «уже болѣе не страдалъ подъ бременемъ мысли, чрезвычайно тягостной для человѣка, стремящагося быть реформаторомъ мнѣній, что одна теорія истинна, а другая, противоположная, нравственно благодѣтельна».

Въ концѣ концовъ Милль выльчился, хотя и неизвѣстно, надолго ли, потому что, какъ мы уже упоминали, онъ не говоритъ, къ какой порѣ его жизни относятся послѣдующіе припадки унынія. Во всякомъ случаѣ мы имѣемъ, кажется, право поставить вопросъ: разрѣшилъ ли дѣйствительно отецъ Милля задачу воспитанія? Милль говоритъ, что онъ былъ мальчикъ посредственныхъ способностей, такъ что его воспитаніе и образованіе не представляютъ ничего такого, что не могло бы быть приложено къ большинству дѣтей. Едва ли, однако, такого рода осязательный урокъ представляетъ автобіографія Милля. Несмотря на ея искренность и обстоятельность, она не уясняетъ многихъ вещей, существенно важныхъ для рѣшенія вопроса о томъ, насколько воспитаніе Милля удовлетворяло разумнымъ требованіямъ педагогіи. Прежде всего трудно положить на показаніе Милля о посредственности его способностей въ дѣтскомъ возрастѣ, потому что и вообще объ этомъ трудно судить самому человѣку, а другихъ свидѣтельствъ въ настоящемъ случаѣ нѣтъ. Милль, конечно, далеко не былъ гениальнымъ человѣкомъ. Во всѣхъ своихъ работахъ онъ оригиналенъ только въ нѣкоторыхъ частностяхъ, въ общемъ же онъ является и въ логикѣ, и въ психологіи, и въ политической экономіи умнымъ и добросовѣстнымъ продолжателемъ другихъ изслѣдователей. Ничего, какъ говорятъ нѣмцы, *Epochemachendes* онъ не совершилъ. Любопытно, что въ молодости Милль производилъ впечатлѣніе «сдѣланнаго, искусственнаго человѣка, который могъ повторять только тѣ мнѣнія, печать которыхъ

была на него наложена» (162). Но эта неоригинальность и отсутствіе идей, выходящихъ изъ ряду вонъ, еще ничего не рѣшаютъ. Можетъ быть, дѣйствительно, Милль правъ, говоря, что воспитательные приемы его отца сдѣлали изъ мальчика посредственныхъ способностей ученаго и способнаго человѣка. Но можетъ быть и наоборотъ, что педагогическіе приемы Джемса Милля лишили человѣчество оригинальнѣйшаго и глубочайшаго мыслителя. Вообще автобіографія Милля оставляетъ весьма широкое поле для апріорныхъ рѣшеній. Одинъ можетъ сказать: если бы Джемсъ Милль не засадилъ сына съ трехъ лѣтъ за греческія вокабулы и затѣмъ не вкладывалъ бы ему въ голову ежедневно новыхъ знаній, то мы не имѣли бы «Системы логики», «Основаній политической экономіи», «Размышлений о представительномъ правленіи», книги «О свободѣ». Другой можетъ сказать: если бы въ мягкій мыслительный аппаратъ ребенка не всаживали, начиная съ трехлѣтняго возраста, знаній и анализа, а дали бы нѣкоторый просторъ его природной умственной инициативѣ, то мы имѣли бы не свѣтлую только личность, а блестящую. Далѣе, приведенный выше разсказъ Милля о его душевномъ недугѣ долженъ во всякомъ поколебать вѣру въ пригодность педагогическихъ приемовъ его отца, хотя опять-таки на основаніи автобіографіи трудно указать степень негодности различныхъ элементовъ этихъ приемовъ. А между тѣмъ Миллемъ затронутъ вопросъ весьма важный,—вопросъ о возможности, безъ ущерба для полноты жизни, сократить періодъ дѣтства и, прибавимъ отъ себя, старчества.

Мы забыли упомянуть еще одну любопытную особенность воспитанія Милля: онъ не получилъ никакого религіознаго воспитанія. Не будучи атеистомъ, такъ какъ онъ признавалъ нелѣпыми всѣ догматическія теоріи атеизма, Джемсъ Милль отрицалъ, однако, всѣ положительныя религіи и всѣ клерикальныя доктрины. Поэтому онъ очень рано внушилъ своему сыну убѣжденіе въ невозможности разрѣшить вопросы о существѣ вещей. Онъ давалъ ему читать исторію религій, вообще разъяснялъ, какъ разрѣшались эти вопросы въ разное время и велъ это дѣло, по словамъ Дж. Ст. Милля, очень искусно. «Мнѣ нисколько не было странно, говоритъ Милль, что мои соотечественники думали иначе, чѣмъ я: зная изъ исторіи, что человѣчество въ различныхъ эпохи придерживалось различныхъ вѣрованій, я считалъ и это явленіе продолженіемъ того-же историческаго факта» (43). Отецъ внушилъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, Миллю, что было бы неблагоприятно открыто передъ всѣми

высказывать свои убѣжденія. «Подобная привычка скрывать свои мысли въ такомъ раннемъ возрастѣ—замѣчаетъ Милль—не могла имѣть хорошаго нравственнаго вліянія, хотя ограниченность столкновений съ чужими людьми, особенно съ такими, которые стали бы говорить со мною о религіозныхъ догматахъ, уничтожала необходимость дѣлать выборъ между неблагоразумной откровенностью и лицемеріемъ».

Кромѣ разсказа о необыкновенномъ и замѣчательномъ воспитаніи, автобіографія Милля имѣетъ еще другую цѣль, именно воздать должное людямъ, которымъ онъ обязанъ своимъ нравственнымъ и умственнымъ развитіемъ. Онъ дѣлаетъ это съ замѣчательною добросовѣстностью, повидимому, даже преувеличивая достоинства и заслуги близкихъ къ нему людей. На первомъ мѣстѣ здѣсь стоятъ Джемсъ Милль и Бентамъ (собственно его сочиненія), затѣмъ, не считая болѣе мелкихъ вліяній, сенъ-симонисты, Контъ, жена Милля и падчерица. Отношенія Милля къ женѣ были болѣе или менѣе извѣстны и прежде. Автобіографія подтверждаетъ фактъ глубокаго уваженія, можно сказать, благоговѣнія Милля къ женѣ, а равно и тотъ фактъ, что она ему помогала въ работахъ. Любопытно отмѣтить процессъ писанія Милля. Небольшая книжка «О свободѣ» подготовлялась имъ, вмѣстѣ съ женой, около пяти лѣтъ. «Послѣ написанія сочиненія, какъ всегда, два раза съ первой строчки до послѣдней, мы долго сохраняли его, отъ времени до времени перечитывая сызнова и критикуя каждую фразу, заѣвшивая каждое слово» (265). И несмотря на тщательность этой работы, жена Милля все-таки не дожидая до «окончательной редакціи». Милль положительно говорить, что многія изъ его произведеній были плодомъ «не одного ума, а двухъ». Повторяемъ, все это было болѣе или менѣе извѣстно и прежде. Но кажется, въ автобіографіи впервые выясняются нѣсколько отношенія Милля къ падчерицѣ, дочеръ его жены отъ перваго мужа, Тэлора. Вотъ слова самого Милля, которыя мы приводимъ цѣликомъ, предоставляя читателю догадываться, что означаютъ въ нихъ многозначія:

„Хотя я лишился той, которая одушевляла меня моими лучшими идеями, но я не былъ одинъ: она оставила мнѣ дочь, мою падчерицу, постоянно развивавшія способности которой были съ того времени посвящены тѣмъ же великимъ цѣлямъ“

Конечно, не было человека, счастливѣе меня въ этомъ отношеніи. Пораженный такой тяжелой потерей, я снова вынулъ счастливый жребій изъ урны житейской лотереи.“

Всякій, кто теперь или впоследствии будетъ думать обо мнѣ и о моихъ трудахъ, долженъ помнить, что они результатъ не одного ума и не одной совѣсти, а трехъ (279)

Изъ этого видно, что Милль до конца жизни, если и не былъ «сдѣланнымъ» человекомъ, какимъ казался въ юности, то во всякомъ случаѣ довольно легко поддавался вліянію окружающихъ людей. Присматриваясь же къ этимъ различнымъ вліяніямъ, мы безъ труда увидимъ, что они распадутся на два отдѣла. До того кризиса, который мы описали выше, Милль испытывалъ преимущественно умственные вліянія, и въ это-то время сложились его собственныя мнѣнія, въ тѣсномъ смыслѣ слова, которыя онъ донесъ въ болѣе или менѣе чистомъ видѣ до могилы. Это были вліянія Джемса Милля, Рикардо, Бентама. Естественное дѣло, что когда подобные умы вліяютъ на человека съ десяти лѣтъ, они подавляютъ его, оставляютъ на немъ свою неизгладимую печать. Безъ сомнѣнія, эти вліянія не исчерпывались умственнымъ развитіемъ, давали нѣкоторый тонъ и развитію нравственному. Но, какъ мы видѣли, чувства и вообще вся нравственная сторона далеко не подвергалась въ молодомъ Миллѣ такой упорной культурѣ, какъ его аналитическая способность и образованіе въ тѣсномъ смыслѣ слова. Поэтому нравственные идеалы Милля и его практическія стремленія оказались впоследствии гораздо мягче, уступчивѣе новымъ вліяніямъ, чѣмъ вынесенные имъ изъ школы отца, Рикардо и Бентама научныя догматы. Отсюда тотъ разладъ между старо-экономическими догматами и новѣйшими стремленіями Милля, о которомъ говоритъ Марксъ.

Въ нѣкоторыхъ, очень рѣдкихъ случаяхъ, такого разлада, конечно, не было. Напримѣръ, одна изъ любимѣйшихъ идей Милля,—о равноправности женщинъ, была имъ усвоена весьма рано, но, какъ все, усвоенное имъ въ раннемъ возрастѣ, только въ видѣ отвлеченнаго принципа. Знакомство сначала съ сенъ-симонистами, а потомъ съ мистриссъ Тэлоръ возбудили въ немъ извѣстныя чувства и практическія стремленія, которыя облекли отвлеченный принципъ въ плоть и кровь. Не такова судьба его экономическихъ воззрѣній. Сенъ-симонисты имѣли на него весьма значительное вліяніе. «Ихъ критика общепринятыхъ доктринъ либерализма казалась ему чрезвычайно важной и совершенно справедливой, а также ихъ сочиненіямъ онъ былъ отчасти обязанъ сознаніемъ очень ограниченнаго и временнаго значенія старой политической экономіи, на которой онъ воспитывался и для

которой свобода производства и торговли была послѣднимъ словомъ социальнаго прогресса» (157). Однако, идеалы сенъ-симонистовъ не удовлетворяли его ума, онъ видѣлъ въ нихъ главнымъ образомъ высокій нравственный стимулъ. Въ томъ же направленіи вліяла на него и мистриссъ Тэлоръ, впоследствии его жена. Нелегко, впрочемъ, опредѣлить степень этого вліянія. Милль очевидно нѣсколько путается въ своихъ воспоминаніяхъ. То онъ намекаетъ, что еще передъ іюльской революціей онъ былъ уже умѣреннымъ социалистомъ (181); то, говоря о позднѣйшемъ времени, замѣчаетъ: до мистриссъ Тэлоръ, «одинокій, я не шелъ далѣе старой школы экономистовъ въ вопросѣ кореннаго улучшенія социальныхъ условий» (244). Какъ бы то ни было, но при помощи мистриссъ Тэлоръ онъ увидѣлъ «социальную задачу будущаго въ соединеніи наибольшей индивидуальной свободы дѣйствія съ общиннымъ землевладѣніемъ и одинаковымъ участіемъ всѣхъ въ прибыляхъ общаго труда» (245). Далѣе, извѣстную главу «о вѣроятномъ будущемъ рабочихъ классовъ» въ «Основаніяхъ политической экономіи» Милль цѣликомъ приписываетъ своей женѣ. Наконецъ, онъ слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ ея роль въ его экономическихъ трудахъ: «все, что въ нихъ отвлеченнаго и чисто научнаго, принадлежитъ преимущественно мнѣ, а человѣчный элементъ приданъ ею». Главнымъ же образомъ ея вліяніе выразилось въ опредѣленіи различія между законами производства богатствъ, которые суть настоящіе, естественные законы, и законами распредѣленія богатствъ, которые зависятъ отъ человѣческой воли. Какъ бы, однако, ни было велико сближеніе умовъ и сердецъ Милля и его жены, оно не могло же дойти до полнаго отождествленія, и ни ея благотворное вліяніе, ни другія, дѣйствовавшія въ томъ же направленіи, не были въ силахъ окончательно стереть заставку, съ такимъ рѣдкимъ упорствомъ навязанную ему съ самыхъ раннихъ лѣтъ. Отсюда двойственность Милля, его усилія, не всегда удачныя, выбиться изъ круга старыхъ идей. Помянемъ же добрымъ словомъ этого честнаго труженика, условія развитія котораго были далеко не такъ выгодны, какъ кажется ему самому, за неустанную работу надъ самимъ собой, за готовность всегда откликнуться на голосъ правды и добра, что, однако, было труднѣе для него, чѣмъ для кого-нибудь.

Парламентскую дѣятельность Милля мы обойдемъ совсѣмъ, такъ какъ она была очень недолга и не представляетъ ничего выдающагося. Притомъ же намъ нужно отмѣтить еще одно литературное явленіе.

«Мы нисколько не думаемъ создавать пре-

градъ для промышленнаго развитія и не принадлежимъ къ тѣмъ умственнымъ кастратамъ, которые полагаютъ, что современное развитіе цивилизаціи противоположно интересамъ большинства; къ тѣмъ нравственнымъ недоноскамъ, которые, замѣтивъ одну изъ сторонъ дѣла, временно невыгодную для какой-нибудь части общества, или даже злоупотребленія капитала своей силой, закрываютъ глаза на всѣ полезныя результаты, вызываемыя промышленнымъ прогрессомъ въ общемъ историческомъ развитіи человѣчества, думаютъ, что они открыли Америку и возвѣщаютъ міру великія идеи, никому другому неизвѣстныя. Что касается этихъ людей, то мы смѣемъ увѣрить ихъ, что все то, что они говорили и имѣютъ высказать въ будущемъ, очень хорошо извѣстно каждому образованному человѣку, наблюдавшему настоящій экономическій порядокъ, недостатки котораго не могли остаться незамѣченными. Но такъ какъ совершенство не есть удѣлъ человѣчества, то люди, менѣе близорукіе, не рожься на одномъ заднемъ дворѣ, а стараются расширить свой кругозоръ, ищутъ средствъ къ улучшенію существующаго порядка и относятся къ будущему съ полною вѣрой. Намъ кажется, что вооружаться въ принципѣ противъ самаго капитала, въ виду тѣхъ злоупотребленій, которыя онъ себѣ позволяетъ, или противъ машинъ, въ виду тѣхъ рабочихъ, которые въ данную минуту лишаются заработка,—все равно, что вооружаться противъ ножа, которымъ можно зарѣзать человѣка, или противъ свободнаго слова, которымъ можно сдѣлать пользу и принести вредъ. Мы съ сожалѣніемъ смотримъ на эти ограниченныя и одностороннія умы, которые думаютъ защитить интересы большинства, вооружаясь противъ современной цивилизаціи, противъ свободнаго промышленнаго прогресса, не замѣчая, какъ непослѣдовательны они и какое ужасное оружіе они даютъ противъ себя лицамъ, принадлежащимъ къ крайней ретроградной партіи».

Мы заимствовали эту тираду не у какого-нибудь дряннаго писака и не изъ какой-либо газетной статьи, гдѣ голая, бездоказательная ругань и извращеніе чужихъ мнѣній если не извиняются, то по крайней мѣрѣ до извѣстной степени объясняются спѣшностью работы, увѣренностью, что написанное сегодня будетъ завтра же забыто, различными личными раздраженіями и т. д. Нѣтъ, мы заимствовали приведенныя слова изъ серьезнаго и весьма почтеннаго изслѣдованія одного изъ нашихъ замѣтныхъ публицистовъ, г. Головачова. Читатель найдетъ ихъ въ статьѣ «Вѣстника Европы»: «Операции государственнаго банка», перепечатанной въ сборникѣ «Вопросы государственнаго хозяй-

ства» (Спб. 1873). Замѣчательно, что приведенныя строки, не рекомендующія добросовѣстность и критическій тактъ автора, не имѣютъ никакой связи съ остальнымъ содержаніемъ его книги. Онѣ вовсе не вызваны логическою нитью самыхъ изслѣдованій «вопросовъ государственнаго хозяйства» и вовсе не нужны для непосредственныхъ цѣлей автора. Мы не назовемъ ихъ оазисомъ среди пустыни только потому, что онѣ слишкомъ не плодоносны, тогда какъ самая книга достойна всякаго вниманія. Это какая-то совсѣмъ ненужная заплатка на совершенно приличномъ платьѣ. Это-то и побуждаетъ насъ остановиться на ней. Будь сказанное г. Головачовымъ сказано другимъ лицомъ или въ другомъ мѣстѣ, мы погнушались бы возиться съ такимъ вздоромъ.

Умственные кастраты, нравственные недоноски, ограниченные и односторонніе умы, —такими прозвищами осыпаетъ г. Головачовъ людей, возстающихъ «въ принципѣ противъ капитала въ виду тѣхъ злоупотребленій, которыя онъ себѣ позволяетъ, или противъ машинъ въ виду тѣхъ рабочихъ, которые въ данную минуту остаются безъ заработка». Должно сказать, что авторъ правъ, что люди, въ принципѣ отрицающіе, по какимъ бы то ни было соображеніямъ, капиталъ и машины, вполнѣ заслуживаютъ оскорбительные эпитеты, коими ихъ награждаетъ почтенный авторъ. Въ принципѣ капиталъ есть накопленный трудъ, машина—посредникъ между человекомъ и природой, облегчающій процессъ производства. Возставать противъ подобныхъ вещей дико и человекъ, возстающій противъ нихъ, близокъ къ желтому дому. Можетъ быть такіе и есть, ибо пункты помѣшательства безконечно разнообразны. Но невольно возникаетъ вопросъ: что какъ наши изслѣдователи различныхъ отраслей науки и жизни всѣ примутся съ пафосомъ опровергать воззрѣнія обитателей желтаго дома? если, напримѣръ, географы станутъ доказывать, что Испанія находится на юго-западѣ Европы, а не тамъ, гдѣ полагалъ Гоголевскій сумасшедшій, не подъ хвостомъ у пѣтуха? Несомнѣнно, что все, что выскажетъ нашъ гипотетическій географъ, будетъ сама правда. Несомнѣнно, что, становясь рыцаремъ этой правды и грома своихъ противниковъ, онъ будетъ сама справедливость. Но стороны будетъ нѣсколько обидно присутствовать при такой напрасной тратѣ силы такого почтеннаго географа, за географа обидно. Такъ и намъ было бы только за самого г. Головачова обидно слышать, какъ онъ кипятится изъ-за вздора, подслушаннаго имъ въ сумасшедшемъ домѣ, если бы совокупность его громовъ не свидѣтельствовала, что тутъ не безъ подтасовки.

Г. Головачовъ указываетъ, рядомъ съ отрицаніемъ капитала и машинъ въ принципѣ, нѣкоторые другіе признаки умственныхъ кастратовъ, нравственныхъ недоносковъ и т. д. Они, по мнѣнію автора, «полагаютъ, что современное развитіе цивилизаціи противоположно интересамъ большинства»; они ратуютъ «противъ свободнаго промышленнаго прогресса». Это уже черты фizioномій общезвѣстныхъ, это мнѣнія людей, которыхъ одни могутъ считать умными, другіе глупыми, односторонними и многосторонними, но которые навѣрное не суть обитатели желтаго дома. Такъ смотрятъ на вещи социалисты. Но, спрашивается, отрицалъ ли изъ нихъ кто-нибудь и когда-нибудь капиталъ и машины въ принципѣ? Нѣтъ, никто и никогда. Г. Головачовъ употребилъ здѣсь, къ сожалѣнію, очень удобный и обыкновенный, но не совсѣмъ чистоплотный полемическій приемъ. Рецептъ этого приема слѣдующій: постройте собственными руками карточный домикъ и назовите его неприступнѣйшею изъ неприятельскихъ крѣпостей; затѣмъ напрягите всѣ силы своихъ легкихъ и дуньте,—домикъ разсыплется, а вы съ гордымъ видомъ побѣдителя можете обратиться къ своимъ обычнымъ занятіямъ. Приемъ этотъ слишкомъ часто употребляется и, какъ это ни странно, слишкомъ часто удается. Гордый видъ побѣдителя и его азартъ многихъ сбиваютъ съ толку, многимъ отводятъ глаза отъ дешевизны побѣды. Не мало мы уже видали такихъ примѣрныхъ сраженій, въ которыхъ люди побѣдоносно доказывали несуществующимъ противникамъ, что нелѣпо отрицать науку, искусство, нравственность и т. п. Позиція чрезвычайно выгодная, потому что защищать самую науку, самое искусство, самую нравственность очень легко и очень лестно. И, Боже! съ какимъ азартомъ обыкновенно кричатъ эти рыцари никѣмъ не оскорбляемой дамы: умственные кастраты! нравственные недоноски! Знакомые звуки, читатели, не правда-ли? Вы ихъ много разъ слышали.

Въ примѣненіи къ социалистамъ г. Головачовъ поднимаетъ упрекъ самый вульгарный, самый распространенный и самый бессмысленный. Намъ стыдно повторять, но дѣлать нечего: никто изъ социалистовъ никогда не отрицалъ въ принципѣ машинъ и капитала вообще. Это даже не клевета, а просто бессмыслица. Но самый бессмысленный упрекъ долженъ-же имѣть какое-нибудь основаніе. Долженъ его имѣть и упрекъ г. Головачова. Основаніе это заключается въ другихъ пунктахъ обвинительнаго акта, составленнаго почтеннымъ авторомъ. По этимъ пунктамъ, и мы, грѣшные, должны признать себя виновными, ибо и мы раздѣляемъ ересь умственныхъ кастратовъ и нравственныхъ недонос-

ковъ. Но, увы! это уже не ересь. Мы даже лишены удовольствія быть еретиками! Г. Головачовъ совершенно справедливо говорить, что Америка умственныхъ кастратовъ и нравственныхъ недоносковъ уже открыта и что лежащая въ основаніи этого открытія великія идеи извѣстны каждому образованному человѣку, наблюдавшему современный экономическій порядокъ. Но, къ сожалѣнію, эти великія идеи часто забываются образованными людьми, а иногда и извращаются, какъ это случилось и съ г. Головачовымъ. Разъ забвенію и извращенію предаются такіе почтенные изслѣдователи вопросовъ государственнаго хозяйства, чего же требовать отъ людей, хотя и образованныхъ, но знакомыхъ съ дѣломъ по наслышкѣ и изъ вторыхъ или третьихъ рукъ? Можно себя представить, какія они говорятъ и пишутъ нелѣпости, не смотря на то, что они люди образованные, а Америка давно открыта. По несчастію, экономическіе вопросы принадлежатъ къ числу такихъ, о которыхъ каждый считаетъ себя въ правѣ трактовать. Вѣдь и Щеринскій помпадуръ Митенька, человѣкъ, безъ сомнѣнія, образованный, говоритъ: «я полагаю посмотрѣть здѣшній гостинный дворъ, и установить равновѣсіе между спросомъ и предложеніемъ. «Спросъ» — это вообще... требованіе товара: «предложеніе» — это... это предложеніе товара же».

«Мы вовсе не смѣшиваемъ — говорить г. Головачовъ — экономическую свободу съ произволомъ капитала и его тенденціей эксплуатировать рабочаго, котораго необходимость можетъ заставить подчиняться всякимъ условіямъ. Человѣческое общество необходимо должно дорожить интересами большинства, и одна изъ задачъ политической жизни настоящаго времени состоитъ въ томъ, чтобы оградить интересы этого большинства отъ произвола капитала. Но ограниченіе произвола не есть еще стѣсненіе свободы. Опредѣленіе границы между первымъ и послѣдней составляетъ задачу нашего времени, которую должна разрѣшить только практика» (73). Если первая наша цитата изъ произведенія г. Головачова полна голословной ругани и побѣдъ надъ карточными домиками собственной фабрикаціи, выдаваемыми за неприступнѣйшія изъ непріятельскихъ крѣпостей, то вторая — совершенно противоположнаго свойства. «Необходимость можетъ заставить рабочаго подчиняться всякимъ условіямъ», «человѣческое общество необходимо должно дорожить интересами большинства», «одна изъ задачъ политической жизни настоящаго времени состоитъ въ томъ, чтобы оградить интересы большинства отъ произвола капитала», «ограниченіе произвола не есть еще стѣсненіе свободы», — все это такіа исти-

ны, подъ которыми умственные кастраты и нравственные недоноски не подписались бы, развѣ только потому, что онѣ, истины, значительно отдають азбукой. Впрочемъ, дѣло не въ этомъ. Мы не станемъ попрекать г. Головачова тѣмъ, что онъ думаетъ, будто открылъ Америку, и вѣщаетъ міру великія идеи, никому доселѣ неизвѣстныя. Мы остановимся только на заключительной его мысли, что опредѣленіе границы между произволомъ и свободой должно быть разрѣшено практикой. Практика, конечно, вещь хорошая въ смыслѣ пробнаго камня. Но едва ли намъ, русскимъ, предстоитъ особенная надобность продѣлывать всѣ подробности пробы, ибо нѣкоторыя изъ этихъ подробностей могутъ насъ завести, чего добраго, въ такіа трущобы, изъ которыхъ выбраться будетъ весьма и весьма трудно. Г. Головачовъ рассказываетъ въ своей книгѣ исторію нѣкоторыхъ нашихъ пробъ въ дѣлѣ постройки желѣзныхъ дорогъ и, конечно, согласится самъ, что было бы не худо, если бы мы ихъ избѣжали. Само собою разумѣется, что избѣжать болѣе или менѣе неудачныя пробы совсѣмъ — дѣло невозможное. «Совершенство не есть удѣлъ человѣчества», какъ замѣчаетъ поразительно вѣрно и оригинально г. Головачовъ. Но мы не совсѣмъ хорошо понимаемъ, какъ можно перейти отъ этой посылки къ выводу: должно «относиться къ будущему съ полной вѣрой». Намъ кажется напротивъ, что именно потому, что совершенство не есть удѣлъ человѣчества, именно поэтому къ будущему слѣдуетъ относиться съ нѣкоторымъ недоверіемъ. Но, спрашивается, какъ же быть, если подвергать благосостояніе миллионовъ народа всѣмъ подводнымъ камнямъ практическихъ экспериментовъ не желательно, а одними теоріями пробавляться, конечно, тоже нельзя? Существуетъ очень простой выходъ изъ этой дилеммы: надо прибавить къ теоріямъ и къ практикѣ на свой страхъ (которая въ большемъ или меньшемъ размѣрѣ неизбежна) практику другихъ народовъ. Присматриваясь къ ходу цивилизаціи въ странахъ, насъ опередившихъ, прикидывая затѣмъ результаты, до которыхъ они дошли, къ особенностямъ условій нашей жизни, мы можемъ получить не одинъ полезный урокъ и избѣжать не одного неловкаго шага. Такія сравненія и сопоставленія съ общественно-педагогическими цѣлями даже неизбежны. Какъ только русская мысль получила мало-мальски возможность осмотрѣться, ея представители распались не на какія-нибудь опредѣленныя, самостоятельныя политическія, социальныя, философскія и т. д. партіи, а на славяно-филовъ и западниковъ. Только съ теченіемъ времени уяснилось, что это группировка со-

вершенно неправильная, что западная цивилизация не есть какой-нибудь монолитъ, что она сама полна расколовъ, иногда даже гораздо болѣе глубокихъ, чѣмъ нашъ расколъ славянофиловъ и западниковъ. Это уясненіе отразилось въ нашей жизни и мысли тѣмъ, что въ средѣ западниковъ обособились такія рѣзкія противоположности, какъ напимѣръ, «Вѣсть» и «Современникъ». Въ свою очередь и славянофилы убѣдились, что національная почва способна производить и пшеницу и плевелы. Но въ различіи пшеницы и пшеницы, что бы они ни признавали тѣмъ и другимъ, имъ общественно помогать анализъ западной цивилизации. Такимъ образомъ практика Европы во всякомъ случаѣ способствуетъ уясненію нашихъ собственныхъ воззрѣній. Остается только принять ее въ руководительницы исполнѣ сознательно, не противопоставляя ей разукрашенныхъ основъ національной жизни, но не разукрашивая и ее непригодными цвѣтами. Такое спокойное, безпристрастное, сознательное обращеніе къ европейской практикѣ за социально-педагогическими указаніями вовсе не составляетъ, впрочемъ, новости въ нашей литературѣ. Во время знаменитыхъ споровъ объ общинномъ землевладѣніи, представляющихъ одну изъ поучительнѣйшихъ страницъ исторіи нашей литературы вообще, обнаружилась нѣкоторая солидарность между славянофилами и извѣстною группою западниковъ. Совпаденіе произошло на томъ пунктѣ, что европейская экономическая практика побуждаетъ къ пересмотру школьной, официальной науки, преподаваемой какъ въ нашихъ, такъ и въ заграничныхъ университетахъ, коллегіяхъ, институтахъ и т. д.; къ пересмотру въ смыслѣ благопріятномъ для ученій умственныхъ кастратовъ. Съ тѣхъ поръ говорилось на эту тему не мало. Было многократно доказываемо, что «современное направленіе цивилизаціи противоположно интересамъ большинства» и что «свобода промышленнаго прогресса» не Богъ знаетъ какая находка. Доказывалось это либо теоретически, либо фактами изъ исторіи европейской промышленности. Мы не намѣрены приводить здѣсь доказательства этого рода. Наша задача гораздо скромнѣе.

Весь обиходъ идей нашихъ публицистовъ, занимающихся ех professo или случайно экономическими вопросами, добытъ исключительно изъ школьной науки. Это одинаково справедливо и для фритредеровъ нашихъ, и для протекціонистовъ и для людей, изучавшихъ дѣйствительно науку, и для людей, схватившихъ изъ той или другой популярной книжки, изъ случайно услышаннаго разговора и т. п. кое-какіе обрывки экономическихъ идей. Мы не будемъ здѣсь говорить

о томъ, насколько европейская школьная наука, служащая выраженіемъ идей третьяго сословія, пригодна въ качествѣ школьной науки у насъ, можно сказать, не имѣющихъ третьяго сословія вовсе. Для насъ важно, что и въ Европѣ слагается уже новая школьная наука, что и внѣ школы тамъ есть наука, которой никто не рѣшается отказать въ титулѣ науки. Умственные кастраты и нравственные едоноски пробились тамъ, наконецъ, въ храмъ Изиды окончательно. То, что прежде было иногда только неяснымъ, стремленіемъ, порывомъ благородныхъ чувствъ, мечтой, обратилось въ предметъ тщательнаго, подчасъ педантическаго изслѣдованія законовъ экономической жизни. Къ этому привела практика.

II *).

Пolemika гг. Мамонова и Аксакова — Письма г-жи Ваземъ, икры г-жи Андреани и „Петербургскія Вѣдомости“ — „Путевыя впечатлѣнія“ г. Скальковскаго. — Люди двойной репутаціи. — „Отставные солдаты“ г. Энского

Статья г. Пыпина о славянофилахъ (въ «Вѣстникѣ Европы») вызвала любопытный протестъ со стороны г. Дмитріева-Мамонова. (Славянофилы. Историко-критическій очеркъ въ отвѣтъ г. Пыпину. «Русскій Архивъ», 1873, № 12). Статья г. Мамонова написана очень умно и ловко, въ ней есть много не только чрезвычайно мѣткихъ выраженій, но и положеній, по нашему мнѣнію, совершенно безспорныхъ. Я не могу отказать себѣ въ удовольствіи привести изъ нея слѣдующія, очень удачныя, не въ смыслѣ точности, конечно, а въ смыслѣ образности, слова: нѣкоторые западники (г. Мамоновъ говоритъ это именно о нѣкоторыхъ западникахъ, отнюдь не, вая ихъ всѣхъ въ одну-кучу) «не поняли того, что есть природа нерелефлирующая и есть природа рефлеклирующая, въ которой, какъ въ зеркалѣ, всѣ явленія первой природы представляются въ обратномъ видѣ: въ этомъ-то и заключается весь смыслъ *рефлексіи*. Такъ, для природы нерелефлирующей грабительство есть необходимый законъ, за исполненіе котораго казни не полагается; для рефлеклирующей природы оно есть только возможное явленіе и потому подлежитъ исправленію. Для одной природы мышьякъ есть убійственный ядъ, для другой цѣлебное средство; для одной природы борьба за существованіе есть законъ, для другой же явленіе. А если такъ, то отъ насъ зависитъ не возводить его въ законъ. Борьба ведется въ человѣческомъ обществѣ только потому,

*) Февраль, 1874 г.

что общество не выросло изъ неререфлектирующаго состоянія, не освободилось отъ звѣрства; она ослабѣваетъ по мѣрѣ того, какъ наша умственная рефлексія очищается, и если человѣчеству не суждено осуществить на землѣ идеальнаго мира и согласія, то всежо прогрессивное наше умиротвореніе есть такой же необходимый законъ для насъ, людей, какъ борьба за существованіе для звѣрскій». Подробныхъ, удачно выраженныхъ и совершенно правыхъ положеній въ статьѣ г. Мамонова не мало, и тѣмъ не менѣе она производитъ чрезвычайно странное впечатлѣніе. Въ ней много хорошаго, но нѣтъ именно того, чего читатель въ ней поневолѣ ищетъ — защиты славянофильства. То-есть, есть, пожалуй, и защита, но такая особенная, такая странная, что ею ни славянофилы, ни западники удовлетвориться никакимъ образомъ не могутъ. Что касается славянофиловъ, то неудовлетворительность протеста г. Мамонова съ ихъ точки зрѣнія обнаруживается напечатаннымъ въ томъ же номерѣ «Русскаго Архива» письмомъ къ издателю И. С. Аксакову. Это письмо также заслуживаетъ вниманія. Оно представляетъ вполне обстоятельную критику статьи г. Мамонова, и если посторонній человѣкъ признаетъ, что г. Мамоновъ судитъ о вещахъ, вообще говоря, правильнѣе г. Аксакова, то въ частности къ ученію славянофиловъ послѣдній относится несравненно правдивѣе, искреннѣе и резонантнѣе. Г. Аксаковъ слѣдитъ шагъ за шагомъ за защитой г. Мамонова и доказываетъ вездѣ весьма ясно и просто, что эта защита крайне неудовлетворительная. Далѣе г. Аксаковъ подводитъ итогъ своимъ замѣчаніямъ, причемъ не безъ основанія утверждаетъ, что авторъ задался цѣлью представить славянофильство въ очищенномъ, «такъ сказать, облупленномъ видѣ», представить его въ выгодномъ, *либеральномъ* свѣтѣ; что для этого авторъ систематически ограничивается отрицательною стороною славянофильства, «тщательно отсѣкая внутреннее содержаніе, положительную сторону славянофильской проповѣди». Съ этимъ нельзя не согласиться каждому, мало мальски, хотя бы только по наслышкѣ знакомому со взглядами славянофиловъ.

Вотъ нѣсколько опредѣленій г. Мамонова, «Славянофилы, говоритъ онъ, требовали искренности, неподкупной честности, безкорыстнаго и свободнаго служенія народу». Г. Аксаковъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что отъ такого требованія не откажется ни одна партія и ни одна школа. Славянофилы, говоритъ г. Мамоновъ, думали, что «когда наука насильно навязывается, да еще отгѣренная чиновничьей мѣркой, то польза ея сомнительна. Впро-

чемъ, если бы западники ограничились доказательствомъ, что и такая наука лучше, чѣмъ совсѣмъ ничего, то очень возможно, что они не встрѣтили бы рѣшительныхъ противниковъ или по крайней мѣрѣ ихъ противники не почувствовали бы нужды сплотиться въ особую боевую фалангу, съ своимъ отдѣльнымъ знаменемъ». Г. Аксаковъ опять-таки вполне резонно возражаетъ, что если бы ларчикъ открывался такъ просто, то онъ навѣрное былъ бы въ свое время открытъ. На знамени славянофиловъ было, по мнѣнію г. Мамонова, написано: «недовѣріе къ официальнымъ цивилизаторамъ, недостаточность одного усвоенія всего чужого, необходимость тщательной и бережной провѣрки основъ родного быта прежде огульнаго ихъ осужденія и, наконецъ, непригодность нѣкоторыхъ началъ европейской цивилизаціи для нашей земли». Г. Аксаковъ возражаетъ, и съ нимъ нельзя не согласиться, что это опредѣленіе отчасти совсѣмъ невѣрно, а отчасти не полно; что славянофилы даже предпочитали официальныхъ цивилизаторовъ цивилизаторамъ неофициальнымъ или, какъ выразится г. Аксаковъ, «непризнаннымъ»; что славянофилы не допускали никакого осужденія «основъ родного быта»; что «непригодность нѣкоторыхъ началъ европейской цивилизаціи для нашей земли» есть понятіе въ такой мѣрѣ общее, что и «самый отчаянный западникъ» можетъ безпрепятственно его держаться. Г. Мамоновъ говоритъ: «не менѣе западниковъ славянофилы чувствовали, что цивилизація безплодна, пока она составляетъ исключительное преимущество высшаго слоя общества; но они чувствовали еще и другое, именно, что для того, чтобы привить ее, сдѣлать доступною и понятною народу, необходимы два условія. Во-первыхъ, нужно цивилизаторамъ съ народомъ сблизиться и приобрести его довѣріе», что въ ту пору было фактически невозможно. «Во-вторыхъ, нужно было отыскать способъ связать само просвѣщеніе съ дѣльными существующимъ мировоззрѣніемъ народа и должно открыть въ понятіяхъ народныхъ такое мѣсто, такой органъ, который бы могъ служить звеномъ между наукою, приходящею извнѣ, и непосредственнымъ туземнымъ преданіемъ... Для достиженія своей цѣли славянофиламъ больше ничего не оставалось, какъ вдумываться, вживаться въ народное мировоззрѣніе, насколько это возможно людямъ, уже оторваннымъ отъ него, прінять въ себя народное мировоззрѣніе, глубоко проникнуться основами, лежащими въ русскомъ бытѣ... Здѣсь-то кроется причина всѣхъ славянофильскихъ обращеній отъ философіи къ православію, и это набрасывало на ихъ школу ту романтическую черту, ко-

тору очень вѣрно замѣтилъ г. Пыпинъ». Г. Аксаковъ утверждаетъ, что все это фактически невѣрно. Онъ говоритъ, что славянофилы отнюдь не были столь глупы, чтобы видѣть въ православіи элементъ, удобный въ качествѣ «звена между туземнымъ преданіемъ и наукою». Онъ говоритъ, что славянофилы «вдумывались и вживались въ народное міровоззрѣніе» вовсе не за тѣмъ, чтобы привить простому народу цивилизацію или сдѣлать науку понятною и доступною ему, какъ утверждаетъ г. Мамоновъ; нѣтъ, по справедливому показанію г. Аксакова, славянофилы желали «сами возродиться въ духѣ народности и обрѣсти правый путь». Г. Аксаковъ говоритъ далѣе, что протестовъ противъ насильственного характера петровской реформы и противъ подражательности было не мало и помимо славянофиловъ (Шипковъ, сатира Фонъ-Визина, Растопчина, Грибоѣдова) и что не въ этихъ протестахъ лежатъ суть славянофильства, а въ «просвѣтительномъ началѣ православія». «Самую русскую національную особенность, свидѣтельствуемъ г. Аксаковъ, славянофилы возводили на степень просвѣтительнаго начала только потому и насколько она была проникнута духомъ православія». Что же касается до обращеній отъ философіи къ православію, то, по мнѣнію г. Аксакова, если это и можно считать объ И. В. Кирѣевскомъ, то въ К. С. Аксаковѣ «были всегда съ дѣтства живы всѣ инстинкты народные и православные», а Хомяковъ «отъ рожденія до гроба пребывалъ въ православіи, жилъ въ церкви».

Кромѣ этихъ уличеній въ неправильной передачѣ самой сути славянофильскаго ученія, г. Аксаковъ дѣлаетъ г. Мамонову еще и иные упреки. Г. Мамоновъ говоритъ, что «такъ называемые послѣдователи только мѣшаютъ уразумѣть покойныхъ славянофиловъ, Кирѣевскихъ, Хомякова, Константина Аксакова. Они затеряли главнѣйшія славянофильскія преданія; они *свободнѣйшее* направленіе превратили въ патріотически-благонамѣренную доктрину, которая въ одну сторону хочетъ все и всѣхъ русить, а въ другую всѣмъ проповѣдуетъ уже не народное православіе, а просто полицейскую вѣру, подхваченную Ю. О. Самаринимъ у дикихъ латышей и эстовъ, торгующихъ своею религіозною совѣстью. Живое славянофильство исчезло; оно сдѣлалось пошленькимъ, формальнымъ, худосочнымъ катехизисомъ клерикально-полицейскихъ сентенцій. Вотъ почему оно, къ началу 1860 годовъ, вдругъ такъ распространилось по всему русскому царству, вдругъ получило одобреніе отъ всѣхъ маменекъ и генераловъ и приняло въ свое лоно всѣхъ матушкиныхъ сынковъ, желавшихъ сдѣлать карьеру». Г. Аксаковъ самымъ энергичнымъ

образомъ протестуетъ противъ этихъ заявленій, напоминая печальную участь, постигшую заграничныя изданія г. Самарина и его, г. Аксакова, газеты, «День», «Москву», «Москвича».

Не касаясь этихъ щекотливыхъ пререканій, мы остановимся только на первой половинѣ замѣчаній г. Аксакова. Что г. Мамоновъ профильтровалъ славянофильство, это ясно. Но зачѣмъ ему это понадобилось? Зачѣмъ онъ такъ двусмысленно туманно освѣтилъ положительную сторону славянофильства, его понятія о народности и православіи, и въ то же время направилъ такой непропорціонально яркій свѣтъ на его отрицательную сторону, на его протестъ противъ насилія, противъ чиновничества, противъ подражательности? Фактъ указанъ г. Аксаковымъ совершенно вѣрно, но какъ его объяснить? Г. Аксаковъ предполагаетъ слѣдующее: г. Мамоновъ во время оно долго числился въ славянофильской дружинѣ, такъ что ему неудобно отказаться отъ титула «послѣдователя», а между тѣмъ отъ ученія славянофильскаго онъ уже отсталъ. Вслѣдствіе этого онъ и рѣшилъ «выкинуть изъ славянофильства все, по мнѣнію автора, излишнее или неспособное доставить славянофиламъ благоволеніе «либеральной и просвѣщенной публики» и отрекомендовать ихъ ей съ болѣе сочувственной стороны,—преимущественно со стороны протеста противъ петровскаго деспотизма и вообще всяческаго насилія: все же прочее выдать за пустяки, романтизмъ, который можно и простить ради другихъ добродѣтелей и отъ котораго, по всей вѣроятности, и сами славянофилы бы отказались, если бы жили подольше,—особенно Хомяковъ: «вѣдь это было свободнѣйшее направленіе!»—выражается г. Мамоновъ.» Надо замѣтить, что и г. Мамоновъ, и г. Аксаковъ ссылаются на свое *личное* знакомство со звѣздами славянофильства, да и въ другихъ ихъ доводахъ проскальзываетъ столько личнаго элемента, что постороннему челоѣку очень трудно оцѣнить степень вѣроятности нѣкоторыхъ ихъ предположеній и соображеній. Такъ и въ настоящемъ случаѣ мудрено рѣшить, на сколько вѣрно или невѣрно предположеніе г. Аксакова насчетъ личныхъ мотивовъ, заставившихъ г. Мамонова изобразить дѣло не совсѣмъ правильно и даже совсѣмъ неправильно. Несомнѣнно, однако, что какіе-то посторонніе дѣлу мотивы тутъ дѣйствовали; потому что, что же мѣшаетъ г. Мамонову, какъ и всякому другому, съ почтеніемъ относиться къ той или другой сторонѣ славянофильской доктрины, не набрасывая покрыва на остальное. Добро бы такое отношеніе къ славянофильству было новостью въ нашей литературѣ и тре-

бывало бы какой-нибудь особенной смѣлости. Но въ литературѣ есть не мало примѣровъ вовсе не огульнаго отношенія къ славянофиламъ. Достаточно напомнить автора «Очерковъ гоголевскаго періода» и «Замѣтокъ о журналахъ» или хоть того же г. Пыпина. Ясно, что въ хирургической операціи, произведенной г. Мамоновымъ надъ славянофильствомъ, должно играть нѣкоторую роль то обстоятельство, что онъ самъ былъ нѣкогда славянофиломъ.

Судьбы славянофильскаго ученія нынѣ уже такъ мало интересуютъ людей, что, можетъ быть, читатель посѣтуетъ на меня за то, что я нѣкоторымъ образомъ поднимаю мертвеца изъ гроба, говоря о полемикѣ гг. Аксакова и Мамонова. Но я имѣю свои резоны. Небезынтересно отмѣтить ке-сарское сѣченіе, предпринятое г. Мамоновымъ, даже просто какъ единичный фактъ. Но оно не есть единичный фактъ. Читатель, безъ сомнѣнія, встрѣчалъ за послѣднее время и въ литературѣ, и въ жизни людей, признаваемыхъ по старой памяти и признающихъ себя славянофилами, которые, однако, столь же мало славянофилы, какъ и г. Мамоновъ. Я по крайней мѣрѣ имѣлъ случай дѣлать подобныя наблюденія и предаваться по поводу ихъ не весьма веселымъ размышленіямъ. Не то, чтобы я скорбѣлъ о паденіи славянофильства. Нѣтъ, Богъ съ нимъ, тѣмъ болѣе, что его живыя стороны не пропадутъ, а сольются съ подходящими сторонами стараго западничества. Но въ этомъ паденіи славянофильства при-скорбно очевидное желаніе прислониться къ преданію, въ которое сами прислоняющіеся не вѣрять, къ которому они даже и прислониться не могутъ, не выворотивъ его предварительно на изнанку. Быть первымъ портнымъ, конечно, вовсе не лестно, да вѣдь его никогда и не было, перваго-то портного. Поэтому потребность опереться на преданіе, на задатки своихъ собственныхъ убѣжденій въ прошедшемъ, вполне естественна и законна. Но это не мѣшаетъ относиться къ самому дорогому преданію вполне свободно и критически. Отношеніе же гг. Мамоновыхъ къ славянофильскому преданію отнюдь нельзя назвать свободнымъ и критическимъ. Это не свобода, а только развязность, которая весьма часто есть признакъ именно отсутствія свободы. Свободно ли относились славянофилы къ до-петровской Руси, когда систематически скрадывали ея темныя стороны? Конечно, нѣтъ. Такъ и гг. Мамоновы, скрадывая непривлекательныя на ихъ собственный взглядъ стороны славянофильства, отнюдь свободы не обнаруживаютъ. Не принимая особенно близко къ сердцу судьбы славянофильскаго ученія и не имѣя личныхъ

причинъ протестовать противъ его извращенія съ тою энергіей и негодованіемъ, какъ это дѣлаетъ г. Аксаковъ, мы отмѣчаемъ приведенный фактъ только какъ одно изъ проявленій общаго недуга, одолюющаго русскую жизнь и русскую литературу. Этотъ недугъ, о которомъ нами было говорено много разъ, можетъ быть выраженъ извѣстнымъ терминомъ: отсутствіе всякаго присутствія. Сверху небо, снизу земля, и затѣмъ на всемъ этомъ необъятномъ пространствѣ ничего, кромѣ сквозного вѣтра, который одинъ гуляетъ смѣло и свободно. Только кое-гдѣ проскальзываетъ страстное желаніе ухватиться хоть за что-нибудь, чтобы прожить по-человѣчески. Но и этому страстному желанію не соответствуютъ ни воля, растроченная по мелочамъ, ни вѣра, надорванная неудачами. Напрасно мыкаются даже тѣ, кто ищетъ только гвоздика, на который можно бы было повѣсить старое, не держащееся уже на плечахъ «рубище издранно». Даже и этой простой операціи мы не въ силахъ сдѣлать съ достоинствомъ и норовимъ надуть самихъ себя, припрятывая и заштопывая на живую нитку дырява завѣдомо негодной, въ нашихъ собственныхъ глазахъ негодной хламиды. «Русская Старина» 1900 года напечатаетъ наши дневники и мемуары. Будутъ между нами фальшивые и живые, но будутъ и искренніе, которые расскажутъ, въ поученіе потомству, во что обходится намъ наша теперешняя жизнь... Впрочемъ, занавѣсь! Не надо мрачныхъ картинъ и мрачныхъ мыслей. Будемъ веселиться. Читатель получить этотъ номеръ «Отечественныхъ Записокъ» въ великомъ посту, но нишу я на масляницѣ. На балаганы, что ли, сходить?

Не все пропало. Кругомъ не все колебанія, сомнѣнія, извороты, невѣріе, двоедушіе, ложь. Есть и искренность, и непреклонность, и смѣлость, и правда, и самоувѣренность, и законный апломбъ. Сомнѣвающимся рекомендую статью г. S., о балетѣ въ № 8 «Петербургскихъ Вѣдомостей». Здѣсь есть все вышенсчисленное, да въ придачу еще эрудиція, достойная изумленія. «Въ былое время, говоритъ г. S., когда не было земства, концессій, интересныхъ судебныхъ дѣлъ и проч., новый балетъ составлялъ крупное явленіе петербургской общественной жизни, и «весь Петербургъ», забывъ канцелярское производство и маршировку, погружался въ аналитическое изслѣдованіе разныхъ *cambrures des reins* и *entrechats six de volé*, а сильные міра сего, заранѣе предвкушая блаженство, ѣздили на репетиціи и подавали кордебалету необходимыя указанія. Теперь не то. Балетъ, считавшійся чуть не національнымъ нашимъ учрежденіемъ и

претендовавший на титулъ перваго въ Европѣ, сталъ угнетаться соперничающими съ нимъ труппами и дошелъ до того, что не можетъ уже найти ни мѣста, ни времени для своихъ представлений. Балетныя представленія стали даваться иногда по утрамъ, хотя очень трудно на тощій желудокъ, съ возбужденной энергіей и свѣжей головой переноситься въ сонный міръ фантазій и воображать себя въ Магометовомъ раю, когда знаешь, что черезъ часъ или два предстоитъ еще исполненіе разныхъ безотлагательныхъ и часто неприятныхъ дѣлъ. Такую реакцію, весьма впрочемъ понятную, мы не совсѣмъ одобряемъ. Конечно, мѣсто балета въ ряду русскихъ учреждений, наиболѣе импонировавшихъ Европѣ, навѣки утрачено; но все-таки балетъ останется изящнымъ и утонченнымъ препровожденіемъ времени. Пластика, грація, выразительная мимика никогда не утратятъ своей силы, потому что искусство вѣчно... Г-жа Ваземъ выдѣлываетъ чудеса техники. Вообще она замѣчательна по искусству, съ которымъ побѣждаетъ всѣ техническія трудности въ классическихъ па. Въ этомъ случаѣ она принадлежитъ къ той же серьезной школѣ, какъ и Феррарисъ и Доръ... Начинается сценическое па, гдѣ г-жа Ваземъ выдѣлываетъ необыкновенно трудныя пуанты. Пуанты вообще составляютъ сильную сторону таланта г-жи Ваземъ, и о ней нельзя сказать, какъ о нѣкоторыхъ танцовщицахъ, что это *les pointes d'asperges*. Затѣмъ является «чаровательница змѣй», г-жа Кеммереръ 1-я; танецъ ея—образчикъ граціи, которою дѣйствительно можно бы было очаровать даже змѣя. Возбужденное состояніе публики усиливается еще съ появленіемъ г-жи Радиной 1-й и г. Кшесинскаго въ малабарской пляскѣ. Конечно, тощія баддерки Малабарскаго берега не имѣютъ и сотою части нѣги и огня, которые г-жа Радина сумѣла вложить въ этотъ танецъ... Послѣдній актъ переносить, по традиціи, дѣйствіе въ царство фей. Вещи, которыя мы тамъ видимъ, для насъ, конечно, кажутся сказочными: во-первыхъ, феи жатвы жнутъ богатый урожай; во-вторыхъ, феи золота и серебра показываютъ эти неизвѣстные у насъ въ обращеніи металлы; въ заключеніе являются феи цвѣтовъ и нѣтъ между послѣдними народнаго (?) цвѣтка, единственно знакомаго Петербургу (имя которому далъ Дюма-сынъ).

Я увѣренъ, читатель не посѣтуетъ на меня за эту выписку. Она занимательна. Это, во-первыхъ, признакъ времени. Статейка написана изящнѣйшимъ слогомъ (грація г-жи Кеммереръ можетъ очаровать даже змѣя); она защищаетъ искусство (искусство вѣчно); она не лишена остроумія (*pointes d'as-*

perges), либеральныхъ намековъ на злобу дня (феи жатвы и феи золота и серебра); наконецъ обнаруживаетъ значительную эрудицію (какіе пуанты! какіе *entrechats six de volé!*). Словомъ, тутъ есть все, что способно украсить литературное произведеніе. Не пугая говоря, въ статейкѣ нѣтъ ничего предосудительнаго. Тѣмъ не менѣе общій тонъ ея до того пошлъ, что она рѣшительно претитъ. Какъ вы себѣ ни внушайте, что разъ балетъ существуетъ, отчего же о немъ не докладывать публикѣ, отчего не дѣлать это изящнымъ слогомъ, отчего не острить и проч.; но при чтеніи произведенія г. С., у васъ все-таки остается на душѣ какой-то скверный осадокъ, васъ морально тошнитъ. И я готовъ держать какое угодно пари, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ ни одна серьезная газета не покусилась бы напечатать у себя что-либо подобное. Но статейка г. С. есть не только признакъ времени, а и картина времени. Это капля, но вооружитесь микроскопомъ и вы увидите въ ней и людей, и нравы, и взгляды, и времяпровожденіе. Позвольте мнѣ утрудить ваше вниманіе такимъ разсмотрѣніемъ.

Отчетъ о новомъ балетѣ. Начинается онъ съ легкой ироніи на счетъ стараго времени съ его маршировкой, канцелярскимъ производствомъ и балетоманіей. Авторъ, значитъ, человѣкъ новый, такъ сказать по-реформенный (да и гдѣ же теперь до-реформенныхъ сыщешь?). Идутъ съ одной стороны легкія насмѣшки надъ знатоками *sambures de reins* и другихъ хореографическихъ тонкостей, но вмѣстѣ съ тѣмъ дается понять, что и сами мы—дескать—не лыкомъ шиты и очень хорошо эти самыя *sambures de reins* понимать можемъ. Далѣе идутъ все тѣ же двѣ струи. Авторъ по утрамъ имѣетъ тощій желудокъ, свѣжую голову, возбужденную энергію и множество разныхъ безотлагательныхъ и часто неприятныхъ дѣлъ. Это все несомнѣнные признаки по-реформенности. Авторъ—дѣлецъ. Можетъ быть онъ заправляетъ въ той или другой мѣрѣ судьбами русской промышленности, можетъ быть разсылаетъ по лицу земли русской сразу по тридцати тысячъ курьеровъ, можетъ быть держитъ краснорѣчивыя рѣчи во всевозможныхъ комитетахъ. Словомъ, дѣлецъ. И знаетъ себѣ цѣну, вполне сознаетъ, какую важную статью составляютъ его энергія и свѣжесть его головы. Но... но онъ все-таки не лыкомъ шитъ: онъ настолько универсаленъ, что понимаетъ и цѣнитъ сходство балета съ Магометовымъ раемъ: дѣла и гурія, дѣла и гурія... Затѣмъ опять легкія насмѣшки надъ балетомъ и другими учреждениями, импонировавшими въ до-реформенное время Европѣ, и вдругъ совсѣмъ уже фальшивая, такъ

сказать, совсѣмъ посторонняго вѣдомства, отчасти даже карамзинская нота: пластика, грація никогда не потеряютъ своей силы, потому что искусство вѣчно... Но это только на одну минуту, этого совсѣмъ ненужно, далѣе идти подъ руку только по-реформенный человекъ и человекъ не лыкомъ шитый. По-реформенный человекъ цинически намекаетъ на самарскій голодъ и безденежье, а человекъ не лыкомъ шитый гаркаетъ: но какіе пуанты! И выходитъ такъ, что одна половина человека—человекъ по-реформенный—оплевываетъ другую—человѣка не лыкомъ шитаго, а эта въ свою очередь оплевываетъ первую, но вмѣстѣ они составляютъ нѣчто цѣлое, нераздѣльное, вооруженное одной парой глазъ одной парой ушей, однимъ носомъ — вотъ что достойно удивленія, — и, смѣю прибавить, отвращенія. Въ какой мѣрѣ по-реформенному человеку въ самомъ г. S долженъ быть отвратителенъ въ немъ же сидящій не лыкомъ шитый человекъ, объ этомъ читатель можетъ судить по слѣдующему отзыву его объ одномъ представленіи въ театрѣ Буффъ: актеру недоставало таланта, одной актрисѣ—голоса, а другой — *икры*. Bravo! Г. Бобарыкинъ въ своемъ романѣ представилъ нѣсколько типовъ «дѣльцовъ», несомнѣнно схваченныхъ прямо изъ жизни, можетъ быть даже слишкомъ прямо изъ жизни. Но у него только намѣчена эта характернѣйшая для нашего времени черта: потребность оплевыванія своей собственной утробы, потребность, если хотите, совершенно невинная, потому что безсознательная. Рекомендую нашимъ романистамъ слѣдующіе типы. X, желающій имѣть репутацію, во-первыхъ, серьезнаго человека, во-вторыхъ, Казановы. Онъ, навѣрное, вовсе не серьезный человекъ и, легко можетъ быть, имѣть только отдаленное сходство съ Казановой. Но онъ страстно жаждетъ этой двойной репутаціи. Это совсѣмъ не такая цѣльная натура, какъ Саламатовъ, котораго одолеваетъ страсти и который не думаетъ ни прятать, ни показывать своихъ грѣховъ, а ужъ такъ выходитъ, что все у него видно, а ему все равно, видно или нѣтъ. Это и не Малаевскій, не Воротилинъ, все-таки кое-какъ сводящіе въ своей душѣ концы съ концами. Нѣтъ, X готовъ соврать на себя въ обоихъ направленіяхъ своей двойной репутаціи. У него хватить смѣлости объявить, что онъ глубоко изучилъ предметъ, который онъ видалъ только во снѣ, и тутъ же рядомъ дать понять, что онъ не лыкомъ шитъ, что онъ именно обольстил двѣнадцать спящихъ дѣвъ, которыя его даже и во снѣ не видали. Другой типъ... Но другіе когда-нибудь въ другой разъ. Вообще теперешнему человеку нужно, чтобы въ немъ

сидѣли два человека, чтобы одинъ былъ современнѣйшій общественный дѣятель, а другой, чтобы не былъ лыкомъ шитъ по части того или другого грѣха, который былъ въ до-реформенное время въ почетѣ, затѣмъ заклеить «страха ради либеральна», а нынѣ почему-то вновь попадаетъ въ передній уголъ. Такимъ образомъ, у насъ воочію осуществляется гегелевская триада съ ея тезисомъ, анти-тезисомъ и синтезисомъ, положеніемъ, отрицаніемъ и примиреніемъ. Однако, послѣднее звено триады, будучи возвращеніемъ къ первому, не есть все-таки его буквальное повтореніе. Возьмемъ хоть бы тѣ же *икры* г-жи Андреани или какой другой актрисы, — не помню хорошенько, кто именно не удостоился въ этомъ отношеніи одобренія академической газеты. Въ до-реформенную эпоху можно было встрѣтить весьма часто разслабленнаго старца или юнаго гусарскаго корнета, которые объявляли: такая-то актриса—ничего, только *икры* плохи. Окружающіе смѣялись и поддакивали. Затѣмъ, реформы и нигилизмъ изгнали эти игристы изъ общественнаго обихода, такъ что заикнуться о красотѣ *икры* было подчасъ страшно даже разслабленному старцу и юному корнету. Нынѣ идутъ дебаты объ этомъ предметѣ въ серьезной газетѣ, и г. S, занимающійся этимъ, даетъ понять, что онъ имѣетъ множество серьезныхъ дѣлъ, не терпящихъ отлагательства. Въ этомъ послѣднемъ обстоятельстве и лежитъ разница между первою и третьею ступенями триады. Гусарскій корнетъ связывалъ въ своей головѣ понятіе о своемъ специальномъ занятіи—защитѣ отечества самыми неразрывными узами со всевозможными игристями. Такъ ужъ выходило какъ-то и пѣсни даже такія все пѣлись, что-де скать гусаръ долженъ храбро защищать отечество и вмѣстѣ съ тѣмъ быть знатокомъ и любителемъ по части игристей. Почтенный старецъ былъ, конечно, въ иномъ положеніи, онъ не могъ такъ удобно связать свое флишонство съ своею сановитостью. Но онъ и не пытался быть или казаться тѣмъ и другимъ заразъ: либо сановникъ, либо флишонъ. Ему приходилось притворяться, но потому, что ему все-таки было стыдно. Нынѣ не то. Возьмемъ книжку Скальковскаго, изображающую его «Путевыя впечатлѣнія въ Испаніи, Египтѣ, Аравіи и Индіи». Вѣдь ужъ, кажется, не можетъ быть сомнѣній въ серьезности, дѣльности почтеннаго автора. А если кто и предается подобному, ни на чемъ не основанному скептицизму, то самъ же г. Скальковскій посрамитъ его, разсказавъ, напримѣръ, что изъ его книги о Суэзскомъ каналѣ было сдѣлано извлеченіе на англійскомъ языкѣ и перепечатано во всѣхъ калькутскихъ, мадрасскихъ и бомбейскихъ

газетах («Путевыя впечатлѣнія», 136). Но г. Скальковскому мало этой, можно сказать, всемірной славы основательнаго человѣка. Онъ пламенно желаетъ внушить современникамъ и потомкамъ, что и по части неосновательности онъ не лыкомъ шитъ, что онъ тоже фолионъ! Вслѣдствіе этого его «Путевыя впечатлѣнія» испещрены разсказами о томъ, какъ онъ провозгласилъ тостъ въ честь дамъ (32); какъ императрица Евгенія была въ платьѣ изъ свѣтло-сиреневаго фая, открытомъ спереди и отдѣланномъ алансонами; на головѣ у нея была круглая черная шляпка съ такими же вуалемъ и вуалеткой, а роль modestie замѣнялъ на груди небольшой сиреневый цвѣтокъ» (39); какъ онъ, г. Скальковскій, преодолевалъ всевозможныя трудности, чтобы полюбоваться пикантными танцами египетскихъ «альма» (71); какъ онъ вникалъ въ танцы баядерокъ и испанскихъ цыганокъ и проч., и проч. и проч. При этомъ въ каждой страницѣ звучитъ до комизма назойливая нота: о, я бѣдовый, я фолионъ! я знаю цѣну «нервическаго дрожанія бедръ», знаю, что значитъ пропорціональность частей женскаго тѣла и т. д. Объясните же мнѣ теперь, почему «Петербургскія Вѣдомости», не довольствуясь своей репутаціей солидной газеты, желаютъ кромѣ того прослыть фолионами и не стыдятся публично не одобрять икры г-жи Андреани? Почему г. Скальковскій, не довольствуясь своей міровой славой въ качествѣ автора «Суэзскаго канала», также стремится казаться фолиономъ? Откуда это возрожденіе старыхъ грѣховъ съ приправою серьезности и дѣловитости? Думаю, что соотвѣтственный социально-психологическій анализъ далъ бы въ результатъ: отсутствіе всякаго присутствія. Я не проповѣдую морали, — «и погромче насъ были витіи». Изучайте балетъ, изучайте икры, живите какъ знаете и умѣете. Но... но по крайней мѣрѣ живите же. Развѣ это жизнь, эта погоня за двойной репутаціей?

Читатель, я хотѣлъ васъ свести въ балаганы. Но мы попали въ своего рода Собачью пещеру, въ которой долго оставаться нельзя, — задохнешься. Я васъ выведу на свѣжій воздухъ и покажу вамъ нѣчто, встречающееся въ природѣ вообще и въ русской литературѣ въ особенности, весьма рѣдко: ясно сознанный принципъ и энергическое преслѣдованіе избранной цѣли. Это я въ литературѣ нашелъ. Такая гага avis заслуживаетъ подробнаго изученія.

Икры г-жи Андреани не одобряются, пуанты г-жи Ваземъ одобряются. Тѣмъ временемъ гдѣ-то въ глуши, въ провинціи, въ головахъ состоятельнаго, повидимому, землевладельца г. Ѳедора Энскаго зарождаются

самыя странныя, самыя удивительныя мысли и поднимаются въ немъ чувства не менѣе странныя. Потому ли, что въ тамошней мѣстности нѣтъ наводящихъ на размышленія ногъ или по чему другому, но вниманіе г. Энскаго обратили на себя субъекты, весьма часто лишенные не только икры, а и ногъ, и слѣдовательно относительно пуантовъ уже совершенно безталанные, — отставные солдаты. Въ прошломъ году г. Энскій издалъ подъ заглавіемъ «Отставные солдаты» книгу, представляющую любопытнѣйшій рядъ документовъ о томъ, какъ нѣкоторые его, г. Энскаго, проекты были приняты въ земствѣ, въ администраціи, въ печати. Эту-то книгу я и рекомендую особенному вниманію читателя. Начнемъ съ тѣхъ странныхъ мыслей и чувствъ, которыя подвинули г. Энскаго дѣлать и въ дворянскія собранія, и въ земскія управы, и къ военному министру, и въ другія административныя учрежденія, и въ газеты. Вотъ эти удивительныя мысли:

«Сущность государства составляютъ люди: для нихъ и земля, и учрежденія, и престолъ, и алтари, и если изъ этихъ людей одни принуждаются къ службѣ, тогда какъ другіе вольны служить и не служить, то государственная служба выходитъ, на повѣрку, службой однихъ людей другимъ. Если же одни должны были служить другимъ и терять, въ то время какъ тѣ жили и приобритали, то громкое чувство справедливости требуетъ, чтобы они за эту службу, за эти потери были вознаграждены и обезпечены тѣми, кому служили, по крайней мѣрѣ тогда, когда не будутъ уже въ силахъ ни служить, ни работать. Не труженикъ долженъ существовать для такой группировки людей ему подобныхъ, для поддержки такого настроенія въ своемъ народѣ, гдѣ гибель его совершенно незамѣтна, а трудъ его, хотя и нуженъ для другихъ, но оцѣнивается не имъ, а группами, пользующимися выгоднѣйшимъ положеніемъ, и всегда можетъ быть замѣненъ трудомъ другого. Нѣтъ... не народъ, не человѣкъ существуетъ для государства и общества, а государства и общества — для народовъ, для человѣка. Государство, при обращеніи къ чувствамъ народа, обыкновенно освящается названіемъ отечества. Любовь къ отечеству полагается общественнымъ мнѣніемъ въ основу всѣхъ гражданскихъ добродѣтелей. Эта любовь должна обнимать государственную землю съ ея учрежденіями, съ вѣрованіями и преданіями народа, но, къ удивленію разсудка, безъ самаго народа... Общество, которое вмѣсто того, чтобы быть стройною совокупностью всѣхъ гражданъ, представляетъ собою только меньшинство, т. е. группы, выгородившіяся изъ среды на-

рода, такое общество говорить про себя: любовь къ отечеству не требуетъ любви къ большинству народа: довольно любить и меньшинство. Нѣтъ, любовь къ отечеству должна быть только частью любви къ народу... Какая можетъ быть любовь къ народу въ тѣхъ, кто установилъ и поддерживалъ крѣпостное право, или въ тѣхъ, кто желаетъ его продолженія? Какая любовь къ народу можетъ быть въ томъ обществѣ, гдѣ смотрятъ равнодушно на лишенія, бѣдствія, страданія тѣхъ людей изъ народа, чьи права свободы и самостоятельности были прерваны въ дѣйствіи, чья кровь пролита для цѣлости и силы государства, которымъ держится общество, а если нѣтъ состраданія къ нимъ, то можетъ ли оно быть къ тѣмъ массамъ народа, въ которыхъ каждый стремится къ своимъ личнымъ, а не къ общимъ цѣлямъ, и хотя порабощается, эксплуатируется обществомъ, но не менѣе того ведетъ съ нимъ борьбу за свое существованіе. Если общество и дорожитъ этими массами, то лишь потому, что извлекаетъ изъ нихъ средства для своей безопасности, для своего усиленія и развитія... Придетъ часъ, и нынѣ есть, когда народы покроютъ негодованіемъ, заклеятъ позоромъ имена тѣхъ завоевателей, которые жертвовали ими для государствъ, имена, которые они такъ долго, безсознательно и по заказу величали, принимая за любовь къ отечеству тотъ облагороженный эгоизмъ, который жертвуетъ не только чужою, но иногда, въ минуты сильнаго возбужденія и самозабвенія, и своею жизнью—для своей чести и славы, и самыми блистательными подвигами доказываетъ только, что государство не есть сила сверхъестественная, разумная и нравственная, которой, какъ существу высшей природы, смертные должны быть приносимы въ жертву» (Предисловіе).

«Благотворныя преобразованія, совершенныя и совершаемыя государемъ нашимъ, имѣютъ ближайшую цѣль прекращеніе страданій разнаго вида, присущихъ народной жизни въ каждомъ государствѣ, пока оно развивается болѣе внаружу, нежели внутри себя; пока народъ есть ничто иное, какъ извѣстное число пѣшекъ, сбрасываемыхъ и удерживаемыхъ для выигранія партіи вѣшняго и внутренняго значенія правительства; пока общество составляется только изъ меньшинства народа, не побуждаемаго къ труду ни гнетомъ нужды, ни жестокимъ закономъ; тогда какъ поработаемое имъ громадное большинство обречается жить не для себя, а если и удѣляютъ ему кое-что отъ пира общественныхъ благъ, то это только по тому побужденію, по которому ѣздокъ бережетъ своего коня» (Рѣчь въ дворянскомъ собраніи).

«Каждый изъ насъ можетъ сдѣлаться ни-

щимъ, но солдатъ не долженъ быть нищимъ, это должно стать первымъ нашимъ общественнымъ правиломъ, войти въ число основныхъ законовъ. Я не считалъ бы за безчестіе, если бы законъ обязывалъ меня стоять на улицѣ безъ шапки передъ безрукимъ или безногимъ солдатомъ. Онъ несъ за меня жизнь свою, а я для него ничѣмъ не жертвовалъ. И что же: вмѣсто благодарности отъ меня, онъ долженъ валяться въ ногахъ моихъ, чтобъ получить кусокъ черстваго хлѣба или какого-нибудь лохмотья для прикрытія наготы своей» (Рѣчь въ уѣздномъ земскомъ собраніи).

«Я заканчиваю свой трудъ въ увѣренности, что и по сознанию всѣхъ лучшихъ изъ моихъ согражданъ въ огражденіи и обезпеченіи военныхъ инвалидовъ отъ бѣдствій нащеты было бы для Россіи еще болѣе и гораздо болѣе чести и славы, нежели въ томъ, что она простирается «отъ хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды». Я завершаю этотъ трудъ въ несокрушимомъ убѣжденіи, что языческая, безотчетная любовь къ отечеству съ ея оракулами, жрецами, жертвами и кумирами, — должна уступить христіанской, сознательной, дѣятельной, самоотверженной любви къ природному въ отечествѣ народу, и особенно къ тѣмъ массамъ или группамъ его, которые терпятъ и страдаютъ» (Еще дополненія и послѣднее слово).

Таковы странныя мысли и чувства, овладѣвшія г. Энскимъ. Свой основной принципъ онъ называетъ принципомъ «не Бонапартовъ, не Бисмарка и даже не Тьера, но многихъ безкорыстныхъ, возвышенныхъ умовъ, отъ которыхъ бѣдствующее челоѣчество ждало и ждетъ еще чего-то лучшаго». Очевидно, «Гражданинъ» долженъ дать ему кличку *citoyen du monde civilisé*, «Петербургскія Вѣдомости» должны съ своей обычной, напавъ бьющей ироніей, выронить презрительное: «народолюбецъ», а иные органы печати, пожалуй, даже его нигилистомъ обзовутъ. Мы, разумѣется, не можемъ сдѣлать ни того, ни другого, ни третьяго, ибо, читатель знаетъ, мы сами всѣ эти клички получали и приблизительно за то же, за что ихъ долженъ получить г. Энский. Но къ его основнымъ принципамъ мы еще вернемся ниже, а теперь обратимся къ исторіи его усилій добиться своей цѣли — улучшенія положенія отставныхъ солдатъ.

Самъ непосредственно г. Энский сдѣлалъ слѣдующее: во-первыхъ, онъ съ 1868 года вноситъ ежегодно по 300 рублей уѣздному предводителю дворянства для употребленія на пользу тѣхъ отставныхъ солдатъ, которые не могутъ работать и ничѣмъ не обезпечены. Во-вторыхъ, въ 1869 году онъ передалъ сельскому обществу своихъ бывшихъ крѣпо-

стныхъ 185 десятинъ земли для надѣла по 4 десятины полевой земли, на основаніи положенія 19-го февраля, солдатъ, сданныхъ въ службу изъ крестьянъ этого общества до 1861 года, какъ возвратившихся уже, такъ и состоящихъ еще на службѣ, и сыновей ихъ, рожденныхъ до того же времени; сверхъ того, по поддесятины подъ усадьбы тѣмъ, которые таковыхъ еще не имѣли. Кромѣ того, эти цовые землевладѣльцы получали, по условію г. Энскаго съ сельскимъ обществомъ, значительныя льготы относительно платежа повинностей. Наконецъ, онъ издалъ въ пользу инвалидовъ книгу, о которой у насъ идетъ рѣчь. Но этимъ личнымъ благотвореніемъ не могъ удовлетвориться человѣкъ, смотрящій на вещи, какъ смотритъ г. Энский. Онъ роется въ архивахъ, вычисляетъ вѣроятное количество отставныхъ солдатъ, неспособныхъ къ работѣ, сравниваетъ степень обезпеченности русскихъ отставныхъ солдатъ съ положеніемъ ихъ въ другихъ государствахъ, разспрашиваетъ инвалидовъ, ходящихъ съ шарманками или просящихъ милостыню, хлопотетъ за нихъ по одиночкѣ въ подлежащихъ учрежденіяхъ и проч., и проч., и проч. Помимо того, онъ хлопотетъ за свой «инвалидный вопросъ» въ земствѣ, въ администраціи, въ печати. Это цѣлая эпопея. Слѣдя за ней, невольно вспоминаешь Донъ-Кихота, но не комическую сторону этого героя, не сраженіе съ вѣтряными мельницами и стадами барановъ, а все, что есть въ нравственномъ образѣ ламанческаго рыцаря благороднаго и самоотверженнаго. Читая книгу г. Энскаго, не знаешь, радоваться ли тому, что есть еще на Руси такая несокрушимая энергія, такая высота убѣжденій, такая вѣра въ свое дѣло, или скорбѣть и вспоминать, какое громадное число личныхъ энергій сокрушалось объ апатію и эгоизмъ, какимъ высокимъ убѣжденіемъ случалось у насъ падать и затираться, какая глубокая вѣра въ свое дѣло подчасъ надрывается въ нашемъ обществѣ...

Въ сентябрѣ 1868 года г. Энский сдѣлалъ въ одномъ губернскомъ дворянскомъ собраніи такого рода предложеніе (къ сожалѣнію, названіе губерніи, равно какъ и имена нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ эпопеи скрыты). Исходя изъ того принципа, что не человѣкъ существуетъ для общества, а общество для человѣка и что огражденіе инвалидовъ отъ нищеты составляетъ нравственную обязанность тѣхъ, кого они ограждали своей службой, г. Энский предложилъ, чтобы дворянское собраніе постановило: 1) черезъ губернскаго предводителя дворянства просить начальника губерніи о немедленномъ открытіи дѣйствій мѣстнаго управленія для попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ (которое въ этой губерніи не открывалось въ те-

ченіе почти полутора года со времени изданія устава общества призрѣнія инвалидовъ); 2) просить предводителей дворянства открыть у себя подписку для принятія добровольныхъ пожертвованій; 3) просить начальника губерніи распорядиться доставленіемъ предводителямъ дворянства свѣдѣній объ инвалидахъ для распредѣленія между ними пособій; 4) ходатайствовать передъ правительствомъ объ измѣненіи устава общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, въ томъ смыслѣ, чтобы на обязанности общества лежало впредь попеченіе объ инвалидахъ не только на случай войны, но и въ мирное время.

Этотъ проектъ былъ принятъ дворянскимъ собраніемъ единогласно. Но немедленно же начались разныя мытарства. Прежде всего произошло столкновеніе съ администраціей, о которомъ г. Энский рассказываетъ такъ: «губернаторъ увидѣлъ въ проектѣ непочтительное отношеніе къ правительственной власти и по вліянію его на губернскаго предводителя дворянства предложеніе мое, сдѣланное изустно, было внесено въ протоколъ засѣданій въ видѣ постановленія дворянства только о сборѣ черезъ уѣздныхъ предводителей добровольныхъ приношеній въ пользу инвалидовъ, а не объ устройствѣ призрѣнія ихъ по губерніямъ и уѣздамъ». Но по крайней мѣрѣ дворянство одобрило проектъ и даже встрѣтило его рукоплесканіями. Уѣздный предводитель дворянства, принимая отъ г. Энскаго его первый взносъ въ 300 рублей, писалъ ему: «эта ваша жертва поставить всѣхъ насъ въ обязанность всевозможнымъ образомъ содѣйствовать этому благу и благородному дѣлу». Однако, черезъ мѣсяцъ въ «Голосѣ» явилась корреспонденція, въ которой было глухо сказано, что дворянскіе-дескать выборы прошли у насъ тихо: «было одно только пикантно-гуманное предложеніе, но по счастью кануло въ воду». Денегъ только и было собрано, что 300 рублей въ годъ, вносимыхъ самимъ авторомъ проекта. Черезъ три года, на дворянскихъ выборахъ 1871 г., г. Энский хотѣлъ опять поднять свое предложеніе, но тотъ самый уѣздный предводитель, который выразилъ такое сочувствіе проекту, сказалъ теперь: «Не подымайте этого вопроса, если не хотите поднять общій хохотъ, и безъ того ужъ говорили передъ выборами: чего мы туда поѣдемъ? развѣ только за тѣмъ, чтобы услышать опять рѣчь объ инвалидахъ». Другой сказалъ: «повѣрьте мнѣ, ничего не выйдетъ, не хотятъ». Третій: «теперь срокъ службы сокращенъ, съ каждымъ годомъ инвалидовъ будетъ меньше, скоро и всѣ они перемрутъ; вотъ и изъ вашихъ пенсіонеровъ умерло нѣсколько человѣкъ одинъ за другимъ въ корот-

кое время». Несмотря на все это, г. Энскій все-таки исполнилъ то, что считалъ своимъ долгомъ и повторилъ свое предложеніе. Отмѣтимъ два любопытные эпизода. Г. Энскій, между прочимъ, сказалъ: «я не говорю, чтобы долгъ призрѣнія военныхъ инвалидовъ лежалъ на насъ однихъ, чтобы въ немъ не должны были участвовать другія сословія, лица и положенія. Есть положенія и въ особенностяхъ лица, еще болѣе насъ нравственно отвѣтственные за небреженіе о тѣхъ, кто служилъ живой оградой для нихъ и для всѣхъ своихъ согражданъ, но мы не въ правѣ здѣсь говорить о томъ, что должны дѣлать другіе: мы можемъ разсуждать только о нашихъ собственныхъ обязанностяхъ». Какъ бы то ни было, но предложеніе г. Энского прошло. Однако, фактически это не повело ни къ чему, такъ какъ никто не пожертвовалъ ни копѣйки.

Г. Энскій толкнулся въ періодическую печать. Здѣсь также не повезло. И тутъ являлось ничего удивительнаго, потому что г. Энскій, полный вѣры въ свое дѣло, сдѣлалъ въ своихъ обращеніяхъ къ періодической печати не мало практическихъ промаховъ. Совершенно естественно, что «Виржевыя Вѣдомости» не напечатали его письма, въ которомъ есть, между прочимъ, слѣдующія слова: «къ инымъ вліятельнымъ вѣдомостямъ не знаю стоитъ ли обращаться по этому дѣлу. Что значить для гг. редакторовъ этихъ вѣдомостей страданіе нѣсколькихъ тысячъ отставныхъ солдатъ, нѣсколькихъ, можетъ быть немногихъ, ибо сколько ихъ ужъ выстрадало и вымерло, передъ тѣмъ могуществомъ, которымъ должна просіять болѣе болѣе объединяющаяся Россія, состоящая, по внутреннему убѣжденію этихъ господъ, изъ людей съ общественнымъ положеніемъ, можетъ быть даже только изъ подписчиковъ на ихъ вѣдомости съ тѣмъ числомъ «простого народа», какое необходимо для охраненія общественной безопасности и для доставленія питомцамъ фортуны средствъ пользоваться своимъ положеніемъ, наслаждаться жизнью и подписываться на вѣдомости». А «Московскія Вѣдомости» онъ попотчевалъ слѣдующимъ: общество существуетъ для человѣка; это «принципъ не Бонапартовъ, не Бисмарка и даже не Тьера, но многихъ безкорыстныхъ, возвышенныхъ умовъ, отъ которыхъ бѣдствующее человѣчество ждало и ждетъ еще чего-то лучшаго. Вамъ, милостивые государи, слишкомъ хорошо долженъ быть извѣстенъ истинный смыслъ этого принципа, чтобы онъ не казался вамъ отговоркою къ избавленію гражданъ отъ службы государству, началомъ разложенія государства; но въ передовыхъ статьяхъ вашихъ вѣдомостей, насколько я могу понимать ихъ, мнѣ всегда представляется прин-

ципъ обратный, по которому человѣкъ признается существующимъ для общества».

Итакъ, въ литературѣ не повезло. Г. Энскій обратился къ правительству и администраціи. Онъ представилъ гг. министрамъ военному, государственныхъ имуществъ и внутреннихъ дѣлъ, а также другимъ представителямъ администраціи, менѣе вліятельнымъ, записку объ улучшеніи быта военныхъ инвалидовъ. Чего добраго, г. Энскому пришлось въ этихъ странствіяхъ столкнуться и съ г. С., потому что, кто его знаетъ, этого господина, можетъ онъ и администраторъ; можетъ онъ именно бесѣду съ г. Энскимъ имѣлъ въ виду, когда трактовалъ о несовмѣстности «безотлагательныхъ и часто неприятныхъ дѣлъ» съ утренними представленіями балетовъ. Я представляю себѣ такой діалогъ:

«Положеніе отставныхъ солдатъ...

— Да, Магометовъ рай...

«Великій принципъ...

— Икры плохи, плохи икры!

«Человѣкъ, лишившійся руки или ноги на службѣ отечеству...

— Сильную сторону ея таланта составляютъ пуанты, очаровательность которыхъ свѣдѣтельствуешь о принадлежности къ классической школѣ...

Конечно, это я только къ примѣру. По всей вѣроятности, ничего подобнаго не было. Но картину странствованій г. Энского по канцеляріямъ я могу воспроизвести только отчасти, ибо онъ всего не сообщаетъ. Военный министръ отнесся къ «инвалидному вопросу», какъ его понимаетъ и поднимаетъ г. Энскій, вполне сочувственно. Однако, существеннѣйшія замѣчанія г. министра были таковы: дѣло это не относится къ кругу дѣйствій общества попеченія о раненыхъ, мѣры, предлагаемыя г. Энскимъ, зависятъ отъ частной инициативы и не могутъ быть приняты по распоряженію самого правительства, а потому автору записки надлежитъ дѣйствовать путемъ печати и личнаго вліянія въ земскихъ собраніяхъ. Но г. Энскій уже испробовалъ эти пути, а потому представилъ г. военному министру вторую записку. По разсмотрѣніи обѣихъ записокъ въ министерствѣ, военный министръ нашелъ, что было бы полезно учредить по губерніямъ особые комитеты для сбора добровольныхъ пожертвованій и для устройства призрѣнія инвалидовъ и положить въ основаніе этихъ комитетовъ часть инвалиднаго капитала. По этому предмету былъ спрошенъ министръ внутреннихъ дѣлъ, который нашелъ, что надлежитъ прежде всего спросить мнѣніе комитета о раненыхъ. Комитетъ-же этотъ сообщилъ военному министру, что положеніе отставныхъ и беззачно-отпускныхъ солдатъ въ Россіи устроено какъ нельзя лучше и что

потому всякое улучшение въ немъ было бы излишне.

Г. Энскій не безъ ехидства помѣстилъ въ своей книгѣ тотчасъ послѣ этого отзыва комитета «замѣтки изъ разсказовъ о себѣ нѣкоторыхъ нищенствующихъ отставныхъ солдатъ». Вся книга г. Энского проникнута драгоцѣннѣйшимъ характеромъ правды, подлинности, подлинности чувствъ и мыслей самого автора, подлинности сообщаемыхъ имъ фактовъ и приводимыхъ имъ документовъ, наконецъ, подлинности освѣщенія, которое она бросаетъ на самыя разнообразныя сферы русской жизни. Поэтому я приведу и кое-что изъ упомянутыхъ «замѣтокъ».

Никифоръ Сошинъ служилъ 9 лѣтъ, ослѣпъ на службѣ; по выходѣ въ отставку получалъ солдатское жалованье—4 руб. 5 коп. въ годъ и деньги на провантъ по справочнымъ цѣнамъ отъ 75 коп. до 1 руб. 50 коп. въ мѣсяцъ. Дача прованта прекращена въ 1869 году, по случаю изданія положенія (25-го іюня 1867 года) о назначеніи нижнимъ чинамъ, неспособнымъ къ труду, по 3 рубля въ мѣсяцъ. Въ 1870 году эта выдача Сошину 3 рублей прекращена, потому что открылось, что у жены его есть въ Новгородѣ домъ. Домъ этотъ даетъ чистаго дохода 2 руб. 40 коп. въ годъ. Сошинъ ходитъ съ шарманкой и зарабатываетъ столько, что платитъ за квартиру 3 рубля, кормитъ женщину, которая его водитъ, и ея сына, и посылаетъ женѣ (55-ти лѣтъ) когда 3, когда 5 рублей; говоритъ: «Благодарю Бога, православный народъ меня не оставляетъ».—Никита Макаровъ, 63-хъ лѣтъ, служилъ не болѣе года въ уланѣхъ, упалъ съ лошади и поступилъ въ инвалидную команду Новгородскаго гарнизона. Въ 1870 году просилъ 3 рубля въ мѣсяцъ, но признанъ способнымъ къ работѣ. Лѣкаря 1-го сухопутнаго госпиталя сказали ему: «какъ померешь, такъ будешь получать». У него жена, три сына и двѣ дочери. Ходитъ работать на биржу и зарабатываетъ копеекъ 30 въ день, но не всегда; говорить: «ты человекъ ломаный, мы лучше мужика возьмемъ молодого». Зимой зажигалъ фонари за 8 руб. въ мѣсяцъ, изъ которыхъ 5 отсылалъ семейству въ Новгородъ; платилъ рубль за уголь.—Одному изъ солдатъ, нищенствующихъ у Исаіевскаго собора (70-ти лѣтъ), Энскій посоветовалъ просить 3 рубля въ мѣсяцъ. Солдатъ былъ признанъ, по освидѣтельствованіи, имѣющимъ право на это пособіе, но зато у него отняли получаемую имъ пенсію изъ комитета о раненыхъ въ размѣрѣ 21 рубля въ годъ. Г. Энскій лично хлопоталъ за него и добился того, что солдатъ могъ, наконецъ, сказать: «теперь я какъ графъ».

Возвратимся къ мытарствамъ г. Энского.

Не вездѣ его проекты были встрѣчены такъ сочувственно, какъ министрами военныхъ и внутреннихъ дѣлъ. Объ этомъ свидѣтельствуемъ напечатанное въ книгѣ письмо автора «къ одному сановнику». Вотъ отрывки изъ этого письма: «Ваше высокопревосходительство, въ отвѣтъ на записку мою объ улучшеніи быта отставныхъ солдатъ изволили почтить меня отзывомъ, въ которомъ многія изъ предлагаемыхъ мною средствъ для призрѣнія военныхъ инвалидовъ удостоены названія прекрасныхъ, и хотя нѣкоторыя другія вы находили неудобопримѣнимыми, однако изволили объявить, что въ главныхъ основаніяхъ совершенно со мной согласны и употребите всѣ старанія, чтобы подвинуть это, какъ вы назвали его, благое дѣло. Послѣ такого отраднаго для меня отзыва, я, когда узналъ о пріѣздѣ вашему въ С.-Петербургъ, поспѣшилъ явиться къ вамъ съ новой редакціей той же записки... Но послѣ чуть ли не часа моихъ ожиданій, ваше высокопревосходительство, выйдя ко мнѣ въ шинели въ минуту отъѣзда вашего, изволили сказать только, что имѣете переговорить со мной объ этомъ дѣлѣ, и предложили прійти въ другой разъ. На вопросъ же мой—когда именно? отвѣчали, что вы не знаете, когда вамъ будетъ время, но чтобы я самъ искалъ васъ. Поспѣшность вашего высокопревосходительства не позволили мнѣ даже передать вамъ бывшую у меня тогда въ рукахъ записку... Я опять пришелъ къ вашему высокопревосходительству... Но велико было мое разочарованіе, когда ваше высокопревосходительство изволили опять выйти ко мнѣ въ пріемную и сказать только, что сдѣланныя мною пожертвованія похвальны, но что предложенія мои не могутъ быть приняты... Видимое нежеланіе вашего высокопревосходительства продолжать этотъ разговоръ дало мнѣ только время представить вамъ новую записку мою и сказать нѣсколько словъ... Ваше высокопревосходительство.... не дослушавъ моихъ доводовъ... изволили сказать, что вы здѣсь, въ Петербургѣ, чувствуете себя какъ въ чадѣ и потому не можете заняться пристально этимъ дѣломъ, и затѣмъ, оставивъ меня, обратились къ другому, бывшему тутъ же лицу».

Нынѣ г. Энскій возлагаетъ, кажется, свои надежды главнымъ образомъ на земство, какъ можно судить по одному изъ рукописныхъ документовъ, присланныхъ имъ, вмѣстѣ съ его книгой, въ нашу редакцію.

Надѣюсь, что читатель не посѣтуетъ на меня за то, что я такъ долго удерживаю его вниманіе на приключеніяхъ г. Энского. Книга его не представляетъ связнаго разсказа, въ ней много повтореній и подчасъ очень тяжелаго изложенія. Но такова сила

правды, искренности и высокаго нравственнаго убѣжденія, что авторъ далъ все-таки драгоцѣннѣйшую картину русской жизни, картину, полную живыхъ, типическихъ фигуръ. Вотъ вамъ 70-ти-лѣтніе Никифоры Сопины, защитники отечества, орудія русской славы, выдавшіе, безъ всякой для себя надобности, и венгровъ, и турокъ, и нѣмцевъ, и французовъ, разгуливающіе по улицамъ съ шарманкой или нищенствующіе у Исаакія и говорящіе, при полученіи 3 руб. въ мѣсяцъ: «теперь я какъ графъ». Вотъ другіе, одобрѣющіе и аплодирующіе, но аплодисментами и ограничивающіеся, и втайнѣ посылающіе въ столичную газету насмѣшливую корреспонденцію о паденіи «пикантно-гуманнаго» предложенія. Вотъ администрація, литература, вотъ вся Русь многогрѣшная... Прикиньте сюда еще пуанты и икры... И среди всего этого бьется какъ рыба объ ледъ, мечется русскій Донъ-Кихотъ, осмѣиваемый и оскорбляемый, но все-таки мечущійся; этотъ обрызганный «Гражданиномъ» и «Петербургскими Вѣдомостями», *citoyen du monde civilisé* и «народолюбецъ», имѣющій смѣлость говорить, что администрація, журналистика, учрежденія, государство существуютъ для народа, а не наоборотъ. А еще г. Энскій, какъ видно изъ книги, весьма не бѣдный землевладѣлецъ, могущій бесѣдовать съ министрами и самымъ своимъ положеніемъ огражденный отъ многихъ и многихъ несприятныхъ неожиданностей... Г. Энскій не унываетъ. У него, пожалуй, скоро составится второй томъ «Отставныхъ солдатъ». Онъ прислалъ намъ свое письмо въ редакцію «Сына Отечества», свой протестъ противъ рецензента «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», свой циркуляръ губернскимъ земскимъ управамъ. Не мало еще ему, должно быть, придется огрызаться.

Въ книгѣ г. Энскаго много хорошаго. Очень удаются ему, между прочимъ, характеристики типовъ и положеній. Нѣсколько строкъ, часто въ технически литературномъ отношеніи очень неуклюжихъ,—и передъ вами стоитъ знакомая живая фигура съ плотью и кровью. Я, не обинуясь, приписываю это не какимъ-либо особымъ дарованіямъ автора, а его точкѣ зрѣнія. Она для меня особенно дорога, такъ какъ я давно уже говорилъ, что пока литература не станетъ именно на эту точку зрѣнія, она, не взирая ни на какіе таланты и эрудицію, останется такою, какова она нынѣ, т. е. внутренно и вѣнне безсильною, себя самой и всѣхъ боящеюся, мелкою и безсодержательною. Да простить мнѣ читатель, да простить мнѣ и г. Энскій, если я постараюсь выяснитъ его точку зрѣнія при помощи соображеній, высказанныхъ и развитыхъ мною на этомъ же мѣстѣ годъ тому назадъ.

Нація и народъ не суть понятія совпадающія, покрывающія другъ друга. Это собственно признается всѣми, но большинство людей полагаетъ, что національный принципъ шире народнаго, такъ какъ въ составъ націи входитъ и народъ, въ тѣсномъ смыслѣ слова, и другіе классы общества. Между тѣмъ это не болѣе, какъ оптический обманъ. Онъ на столько однако силенъ и на столько уже нашъ духовный глазъ къ нему привыкъ, что нужно иногда значительное напряженіе мысли, чтобы высвободиться изъ-подъ его вліянія, хотя необходимые для такого освобожденія факты находятся у всѣхъ подъ рукой и въ огромномъ количествѣ. Почему, напримѣръ, какъ мы постоянно видимъ въ исторіи, *національное* величіе, въ смыслѣ военной славы и могущества *нации*, идетъ всегда рука объ руку съ угнетеніемъ, приниженіемъ *народа*? Почему *національное богатство*, какъ признано всѣми добросовѣстными экономистами самыхъ разнообразныхъ школъ, тождественно *нищетою народа*? Почему высокое развитіе *національнаго* искусства весьма часто уживается рядомъ съ грубостью и невѣжествомъ *народа*? Если понятіе націи шире понятія народа, обнимаетъ его собою, то подобныя явленія немислимы. Но они существуютъ. Какъ же ихъ объяснить? Дѣло въ томъ, что, говоря о національномъ величіи, о національномъ искусствѣ, мы разумѣемъ нѣкоторый агрегатъ, нѣкоторое расчлененное цѣлое, интересы составныхъ частей котораго вовсе не тождественны. Приэтомъ для насъ естественно особенно ярко выдѣляются наши собственные интересы, интересы верхнихъ слоевъ общества, которые мы, благодаря ихъ яркости (существующей, впрочемъ, только для насъ), распространяемъ на все расчлененное цѣлое. Возьмемъ, напримѣръ, поэзію Пушкина или Лермонтова, которые обозначаютъ собою моментъ яркаго разцвѣта нашего національнаго искусства и которыми наша нація можетъ по справедливости гордиться. Нація можетъ гордиться, но изъ кого состоитъ эта нація? Собственно только мы, ничтожное меньшинство людей, говорящихъ по-русски, очерпаемъ въ произведеніяхъ Пушкина и Лермонтова эстетическое наслажденіе, нравственные идеалы и проч. Но, говоря о своемъ національномъ искусствѣ, мы даемъ ему, совершенно ошибочно, гораздо болѣе широкое значеніе, а между тѣмъ русскій *народъ*, огромное большинство, читаетъ Францыя Венеціана и Георга милорда англійскаго. Возьмемъ далѣе хоть наши среднеазиатскія завоеванія и, оставя въ сторонѣ связанныя съ ними болѣе сложныя экономическія соображенія, посмотримъ на нихъ съ точки зрѣнія національнаго величія. Мы, воспитавшіе въ себѣ «любовь къ отечеству и народную гор-

дость» въ томъ смыслѣ, какъ понималъ эти вещи Карамзинъ, радуемся расширенію предѣловъ отечества и славы русскаго оружія. Мы съ гордостью говоримъ, что врагъ русской націи Вамбери сказалъ намъ похвальное слово за хивинскій походъ. Мы называемъ это національнымъ величіемъ. Пусть такъ. Но вѣдь только мы, т. е. опять-таки ничтожное меньшинство, воспитанное, приготовленное къ пониманію этого величія, радуемся и гордимся, только для насъ оно имѣетъ значеніе дѣйствительнаго интереса. Понятное дѣло, что національное дѣло можетъ совпасть и съ народнымъ, какъ было, напримѣръ, у насъ въ 1812 году. Но это только исключительные случаи и затѣмъ въ большинствѣ случаевъ національное и народное не только не совпадаютъ, но даже находятся въ самомъ рѣзкомъ противорѣчій другъ къ другу, ибо ростъ націи совершается насчетъ народа. Таковы противорѣчія національнаго величія и безсилія народа, національнаго богатства и нищеты народа. Люди, трусящіе своей собственной мысли, отрицаютъ существованіе этихъ противорѣчій, закрываютъ передъ ними глаза, несмотря на ихъ элементарную, такъ сказать, очевидность. Въ нашей литературѣ въ разныхъ формахъ то и дѣло проскакиваетъ такая, напримѣръ, мысль, впервые пущенная въ ходъ «Московскими Вѣдомостями»: рациональное сельское хозяйство и широкое развитіе промышленности требуютъ для своего осуществленія многочисленнаго класса безземельныхъ крестьянъ, батраковъ, которые, не будучи привязаны къ клочку земли, могутъ составить контингентъ фермеровъ и фабричныхъ рабочихъ. Только тогда — дескать — національное богатство и процвѣтетъ. Мысль эта пользуется у насъ значительною популярностью и, будучи извѣстнымъ образомъ приправлена и одобрена, высказывается самыми либеральными органами періодической печати. Мысль, если хотите, совершенно вѣрная и послѣдовательная, ибо *национальное* богатство, дѣйствительно, требуетъ обезземеленія, пролетаріата, нищеты *народа*. Но не будемъ же заблуждаться и вводить другихъ въ заблужденіе относительно объема, замѣшаннаго въ игру понятія *нации*; очевидно, это не вся совокупность обитателей земли русской, это только совокупность землевладѣльцевъ и капиталистовъ, да еще, можетъ быть, нашего брата, членовъ такъ называемаго мыслящаго пролетаріата, представителей свободныхъ профессій и чиновничества. Что національное богатство росло въ Европѣ доселѣ именно тѣмъ путемъ, который рекомендуется нашими публицистами; что и вообще такого рода путями шла цивилизація вездѣ, — это

несомнѣнный фактъ: народъ всегда и вездѣ существовалъ pour les beaux yeux націи, а не учрежденія, капиталы, государство, словомъ не нація для народа. Но, во-первыхъ, это не мѣшаетъ называть этотъ фактъ его настоящимъ именемъ, а во-вторыхъ, на извѣстной ступени развитія такой ходъ цивилизаціи встрѣчаетъ непреодолимые препятствія. Препятствія, во-первыхъ, снизу. Попробуйте, напримѣръ, убѣдить англійскихъ фермеровъ, сельскихъ работниковъ, да и значительную часть фабричныхъ, что имъ земля не нужна, что для «націи», со включеніемъ ихъ самихъ, теперешній порядокъ вещей лучше и выгоднѣе. Попробуйте убѣдить большинство европейскихъ рабочихъ вообще, что цивилизація никакимъ, отличнымъ отъ прежняго, путемъ не пойдетъ. Съ другой стороны въ средѣ самой «націи» выдѣляются съ теченіемъ времени люди, прямо заявляющіе, что отнынѣ они не хотятъ роста націи насчетъ народа, что первоначальный грѣхъ цивилизаціи долженъ быть искупленъ, что народъ долженъ перестать существовать для учреждений, для литературы, для науки, словомъ для націи. Попробуйте, напримѣръ, разубѣдить г. Энского, доказать ему, что нація ни чѣмъ не обязана по отношенію къ своимъ искалѣченнымъ защитникамъ, разносившимъ по всему міру военную славу націи. Вы можете его оскорблять, можете надъ нимъ смѣяться, дѣлать ему всякія пакости, но разъ сознанный нравственный долгъ вытравить нельзя. Г. Энскій такъ и умретъ съ этимъ сознаніемъ, ибо противорѣчіе національнаго и народнаго для него не только вполне ясно, но и бременитъ его своею очевидностью, мѣшаетъ ему жить, чего отнюдь нельзя сказать о тѣхъ яснолобыхъ публицистахъ, которые, пожалуй, и понимаютъ отвлеченнымъ-то образомъ, что дѣло не чисто. Эти люди, болѣе или менѣе оторвавшіеся отъ прошедшаго, отворачивающіеся отъ будущаго, не живущіе даже какъ слѣдуетъ настоящимъ, эти-то люди, живущіе очертя голову, зажмуря глаза и принужденные давить въ себѣ голосъ собственной совѣсти, они-то и составляютъ гангрену русской литературы и жизни, въ нихъ лежитъ корень безсилія и вялости той и другой.

Но вѣдь есть же выходъ изъ этихъ противорѣчій національнаго и народнаго? Есть же возможность, не отрицая нравственнаго долга націи, сохранить всѣ истинныя блага цивилизаціи, добытые труднымъ путемъ противорѣчій? Да, есть выходъ, есть возможность не только сохранить блага зачатой во грѣхъ цивилизаціи, но даже удесятерить ихъ. Мы не разъ указывали на это. Указываетъ на выходъ и г. Энскій. Въ одномъ его

письмѣ къ неизвѣстному лицу (стр. 103) говорится: «Органы печати, изъ числа имѣющихъ большой кругъ читателей, занимаемая трактатами о введеніи русскаго языка и пропагандѣ православной вѣры на окраинахъ Россіи, не хотѣть согласиться, что ни русскій языкъ, ни православіе не могутъ убѣдить никого, чтобы въ Россіи отслужившіе престолу и отечеству воины были достаточно вознаграждаемы государствомъ или даже только обезпечены отъ нищенства; также какъ не убѣдятъ и въ томъ, чтобы государственные налоги не лежали у насъ всею тяжестью на рабочемъ, особенно земледѣльческомъ классѣ. Эти патріоты упускаютъ изъ виду, что въ нынѣшнемъ вѣкѣ движенія неуклонное тяготѣніе разноплеменныхъ окраинъ государства къ центру—объединеніе вѣрою и языкомъ—можетъ быть дѣйствіемъ одной только силы: силы правды, положенной въ основу всѣхъ государственныхъ учреждений и отношеній сословій и лицъ между собою и къ государству». Другими словами: уничтоженіе племенной вражды и розни, дѣло національное, достигнется попутно, само собою, если, вмѣсто измышленія специально національныхъ средствъ, будетъ обращено должное вниманіе на дѣло народное. Такимъ образомъ не пропадетъ даромъ ни одна капля крови, пролитая въ прежнее время ради чисто политическихъ цѣлей, поскольку онѣ были, дѣйствительно, необходимы, а существующая племенная вражда рушится гораздо проще, вѣрнѣе и безкровно. Этотъ именно путь примиренія всего длиннаго ряда нравственно-политическихъ противорѣчій мы и рекомендовали русской литературѣ.

Мы доказывали, напримѣръ, что публицисты наши, провоцирующие развитіе отечественной, національной промышленности, работаютъ на гибель русскаго народа; что, наоборотъ, если бы они направили всѣ свои усилія на возвышеніе благосостоянія *только* народа, то національное богатство, поскольку оно соответствуетъ дѣйствительнымъ нуждамъ страны, пришло бы само собой, было бы достигнуто попутно, т. е. природныя силы страны эксплуатировались бы, и притомъ не хуже, а лучше, чѣмъ это дѣлается теперь. Мы доказывали далѣе, что литература наша, сдѣлавъ *только* народъ центромъ своихъ помысловъ, не только не утратила бы своего національнаго значенія и имѣющихся на лицо талантовъ, но вызвала бы новые и приобрѣла бы небывалую силу. Намъ взялись отвѣчать «Петербургскія Вѣдомости» и отвѣтили какой-то невообразимой ерундой, какого-то «Непризнаннаго поэта».

Г. Энскій сосредоточилъ свое вниманіе на частномъ вопросѣ, обнимающемъ поло-

женіе всего нѣсколькихъ десятковъ тысячъ человекъ. Мы, разумѣется, не станемъ его за это упрекать, какъ это дѣлали другіе; во-первыхъ, потому, что нравственный долгъ не измѣряется количествомъ кредиторовъ, а во-вторыхъ, потому, что г. Энскій, очевидно, очень хорошо понимаетъ всю широту предполагаемаго имъ принципа. Это видно и изъ имѣющихся въ его книгѣ поучительныхъ страницъ о нашей податной системѣ, и, наконецъ, изъ самой его постановки вопроса объ отставныхъ солдатахъ. Но мы также не удивляемся тому, что журналистика наша обратила такъ мало вниманія на его книгу, и если и замѣтила въ ней что, такъ слишкомъ уже бьющую въ глаза практическую дѣятельность почтеннаго автора и его благія намѣренія относительно судьбы военныхъ инвалидовъ. Общая же теоретическая подкладка книги оставлена совершенно безъ вниманія. (Мнѣ, впрочемъ, къ сожалѣнію, неизвѣстна статья г. Ореста Миллера въ «Недѣлѣ», на которую г. Энскій ссылается въ письмѣ въ редакцію). Повторяю, въ такомъ небреженіи журналистики къ книгѣ г. Энскаго вообще и къ ея существеннымъ сторонамъ въ особенности не представляетъ для меня ничего удивительнаго. Книга эта идетъ слишкомъ въ разрѣзъ съ общимъ тономъ нашей журналистики. Можетъ быть, небреженію послѣдней слѣдуетъ даже радоваться. Дѣйствительно, напримѣръ, «Петербургскія Вѣдомости», на которыя почтенный авторъ, вѣроятно недостаточно вникнувъ въ характеръ ихъ ежедневной болтовни, особенно претендуетъ, «Петербургскія Вѣдомости» увидѣли въ задачахъ г. Энскаго дешевую филантропію и снисходительно одобрили его. Но если бы онѣ поняли истинное и, смѣю сказать, великое значеніе принциповъ, изложенныхъ въ книгѣ, — о, какихъ пошлостей и плоскостей наговорили бы онѣ! какой «гомерическій хохотъ» присоединили бы онѣ къ хору насмѣшекъ и оскорбленій, встрѣченныхъ г. Энскимъ! Г. Энскій! не претендовать вамъ слѣдуетъ на академическую газету, а радоваться, что она васъ не поняла. Что бы вамъ досталось за одну фразу: «Любовь къ отечеству должна быть только частью любви къ народу!»

Мнѣ остается сказать еще о мѣрахъ, предлагаемыхъ г. Энскимъ правительству для обезпеченія военныхъ инвалидовъ. Главныя изъ этихъ мѣръ строго вытекаютъ изъ основныхъ принциповъ автора. Онъ разсуждаетъ такъ. Защита государства есть дѣло общее. Но, принимая въ соображеніе, что податныя сословія и безъ того уже обложены свыше своихъ средствъ, налогъ на содержаніе военныхъ инвалидовъ, впредь

до податной реформы, долженъ падать только на тѣхъ, кто свободенъ отъ налоговъ со-всѣмъ или платитъ непропорціонально своимъ платежнымъ средствамъ и прибылямъ. Г. Энский поэтому предлагаетъ между прочимъ: взимать въ государственномъ банкѣ, во всѣхъ городскихъ, общественныхъ и акціонерныхъ банкахъ и обществахъ взаимнаго кредита по 1/10% съ учтаемыхъ векселей и другихъ банковыхъ оборотовъ; установить налогъ въ 2% съ прибыли частныхъ ломбардовъ и обществъ для заклада движимыхъ имуществъ, обложить гласныя кассы ссудъ окладнымъ сборомъ; возвысить крѣпостныя пошлыны съ перехода имуществъ въ даръ или наслѣдство по завѣщанію. Кромѣ этихъ и нѣкоторыхъ другихъ, второстепенныхъ налоговъ, г. Энский предлагаетъ еще нѣсколько мѣръ, изъ которыхъ мы отмѣтимъ слѣдующія: 1) измѣненіе пенсіоннаго устава введеніемъ въ него правила, чтобы пенсіи выдавались только лицамъ, не имѣющимъ извѣстнаго, опредѣленнаго для каждого чина или званія дохода, такъ чтобы пенсія служила дополненіемъ дохода до этого опредѣленнаго размѣра; 2) прекращеніе пожалованій государственныхъ земель въ вѣчное владѣніе, съ тѣмъ чтобы на этихъ земляхъ селились отставные и безсрочно-отпускные солдаты; 3) возвращеніе къ закону Петра Великаго, по которому на каждого монаха возлагалось призрѣніе 2, 3 и даже 4 инвалидовъ. За весьма любопытнымъ мотивированіемъ этихъ мѣръ отсылаю читателя къ самой книгѣ, изъ которой я и безъ того уже много заимствовалъ. Я приведу только оригинальные мотивы одного очень эксцентричнаго проекта автора. Онъ предлагаетъ установить особый орденъ, и притомъ не только въ смыслъ знака отличія, а нѣчто въ родѣ рыцарскихъ или монашескихъ орденовъ въ западной Европѣ. Члены этого ордена, пожизненные кавалеры ордена, принимаютъ на себя многосложныя обязанности по дѣлу призрѣнія военныхъ инвалидовъ. Орденъ раздѣляется на четыре степени, изъ которыхъ каждая получается пожизненно за извѣстное пожертвованіе деньгами (напримѣръ, 1-я степень—20 тысячъ единовременно или по 3,000 въ годъ въ теченіе 10 лѣтъ) или соотвѣтственнымъ даромъ удобной земли. Никакихъ пенсій кавалеры ордена не получаютъ. «Жаль, говорятъ авторъ, что нравственный уровень нашего общества заставляетъ придумывать поощренія для благотворительности, которую въ этомъ случаѣ можно бы, кажется, считать долгомъ. Но будемъ надѣяться на прогрессъ въ общественной нравственности, въ виду котораго предлагаемое поощреніе можетъ быть нужно только до времени. Впрочемъ, развѣ другіе ор-

денскіе знаки имѣютъ болѣе нравственное происхожденіе? Не всѣ ли они вызваны общечеловѣческими немощами: суетностью и тщеславіемъ? За исключеніемъ людей, служащихъ изъ властолюбія, много ли нашлось бы такихъ подвижниковъ, которые, имѣя тѣмъ жить, согласились бы служить безъ чиновъ и орденовъ; и если дадутъ ордена безъ всякой специальной заслуги, то почему не давать ихъ за заслугу существенную, за призрѣніе многихъ бездомныхъ ветерановъ, за извлеченіе десятковъ сотенъ семействъ изъ пролетаріата и устройство ихъ въ числѣ владѣльцевъ пахарей родной земли?»

III *).

Полное собраніе сочиненій Щербина.—Исторія развитія Щербина.—«Московскія Вѣдомости» объ оперѣ г. Мусоргскаго „Борисъ Годуновъ“.—„Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы“ М. В. Авдѣева.—Рудины и люди шестидесятихъ годовъ.—Что случилось?—Разночинецъ пришелъ.—Изъ біографіи Ѳ. М. Рѣшетникова.

Недавно вышло полное собраніе сочиненій одного изъ нашихъ талантливыхъ поэтовъ, покойнаго Щербина. Первые изъ его пьесъ относятся къ 1841, послѣднія къ 1869 году. Тридцать лѣтъ! И какихъ лѣтъ! Чѣмъ только не потчевала за этотъ періодъ судьба нашу Русь православную! Сколько надеждъ и разочарованій, Каиновъ и Авелей, жертвъ и жрецовъ, веселья и слезъ, сколько благородныхъ сердецъ начало и кончило биться за это время, сколько мѣдныхъ лбовъ закалилось... Поневолѣ соблазняешься мыслью подвести итогъ литературной дѣятельности лирика, несомнѣнно талантливаго, пережившаго всю эту толкотню свѣта и мрака, величія и пошлости и окончившаго уже свое земное странствованіе. Послѣднее обстоятельство весьма важно. Совершенно справедливо говоритъ самъ Щербина: «одною смертію окончательно опредѣляется значеніе и смыслъ человѣка, а до смерти еще о немъ бабушка на двое сказала» (Полное собраніе сочиненій, 363).

Щербина передъ смертію самъ приготовилъ свои сочиненія для изданія полнаго собранія и расположилъ ихъ въ семь отдѣловъ. Любопытнѣйшіе изъ этихъ отдѣловъ суть: первый («греческія стихотворенія»), третій («пѣсни о природѣ») четвертый («ямбы и элегіи») и седьмой, въ который вошли различныя сатирическія произведенія Щербина. (Неизвѣстный авторъ приложенной къ книгѣ статьи «Н. Ѳ. Щербина» утверждаетъ, что сатирическія вещи покойнаго поэта являются въ печати впервые. Это не совсѣмъ справедливо, потому что часть ихъ была напечатана въ «Русской

*) 1874, мартъ.

Старинѣ» за 1872 годъ). Группы, на которыя Щербина раздѣлилъ свои произведенія, весьма рѣзко отграничиваются другъ отъ друга. Въ установленіи и расположеніи ихъ поэтъ обнаружилъ большой тактъ и значительно облегчилъ задачу критики. Онѣ могутъ быть сравниваемы съ напластованіями земной коры, изъ которыхъ каждое отличается отъ сосѣднихъ и своимъ минеральнымъ составомъ и заключающимися въ ней остатками органической жизни. При каждомъ стихотвореніи указанъ годъ его созданія, и хотя при этомъ оказывается, что отдѣлы, установленные самимъ Щербиной, расположены въ подробностяхъ не строго хронологически, но все-таки мы можемъ сказать съ большимъ приближеніемъ къ полной точности: вотъ что преимущественно занимало и волновало поэта въ такую-то пору, а вотъ за что ухватился онъ потомъ. Мы имѣемъ такимъ образомъ ключъ къ исторіи развитія поэта.

Но что такое исторія развитія поэта? Что такое самъ поэтъ? Мнѣ не случалось встрѣчать опредѣленіе, которое я могъ бы признать удовлетворительнымъ, и потому предлагаю свое: поэтъ есть человѣкъ, умѣющий говорить и за себя и за другого. Это опредѣленіе (не совсѣмъ вѣрное только развѣ въ смыслѣ неполноты) можетъ, впрочемъ, казаться, обнять не только поэта, а художника вообще. У Щербина есть чрезвычайно злая и остроумная эпиграмма на представленіе «Смерти Іоанна Грознаго». Вотъ она:

Талантливыхъ нашихъ актеровъ навѣрное тѣмъ не обижу,
Когда бы имъ правду въ глаза я сказалъ,
Что Павла Васильича ¹⁾ видѣлъ, Василья Васильича ²⁾ вижу,
Ивана-жъ Васильича ³⁾ я не видалъ.

Это значитъ, что, по мнѣнію Щербина, гг. Васильевъ и Самойловъ не прониклись духомъ грознаго царя, не пережили его, не сумѣли говорить за него. Пройдитесь по заламъ любой художественной выставки и вы убѣдитесь, что предлагаемая мною простая мѣрка вполне приложима и здѣсь, что и здѣсь есть люди, умѣющие и не умѣющие говорить красками и образами за другихъ, за молящагося, негодующаго, любящаго, ненавидящаго, страдающаго, радующагося человѣка. Относительно жанра, исторической живописи, портретовъ въ этомъ, кажется, не можетъ быть сомнѣній, но я думаю, что та же мѣрка приложима и къ ландшафтной живописи; приложима она и къ музыкѣ. Не стану, впрочемъ, настаивать на этомъ, потому что я имѣю дѣло только съ поэзіей. Поэзія же, и лирика, и эпосъ, и драма не-

сомнѣнно вся построена на умѣніи говорить за другихъ. Въ этомъ заключается и неотъемлемая сила поэзіи въ принципѣ, и ея великое социальное значеніе. Отсюда: какъ въ начертательной геометріи положеніе тѣла въ пространствѣ опредѣляется двумя его проеціями на горизонтальной и вертикальной плоскостяхъ, такъ критика должна опредѣлять ростъ поэта, во-первыхъ, его *умѣніемъ* говорить за другихъ и, во-вторыхъ, количественнымъ и качественнымъ значеніемъ *этихъ другихъ*.

Первыя вдохновенія Щербина были ниспосланы ему древней Греціей. Неизвѣстный авторъ предисловія къ полному собранію его сочиненій говоритъ, что онъ съ ранней юности тщательно изучалъ классическій міръ. И этому слѣдуетъ вѣрить, не только потому, что Щербина, будучи тринадцати лѣтъ, написалъ поэму «Сафо», впоследствии имъ уничтоженную, но и потому, что многія изъ его «греческихъ стихотвореній» положительно превосходны. Я приведу образцы, нарочно выбирая положенія и образы, съ нашей теперешней точки зрѣнія, по малой мѣрѣ неважные и даже щекотливые и неудобные:

Вечеромъ яснымъ она у потока стояла,
Моя прозрачныя ножки во влагѣ жемчужной;
Струйка воды ихъ съ любовью собой обдавала,
Тихо шипѣла и брызгала пѣной воздушной...
Кто-бъ любовался красавицей этой порою,
Какъ надъ потокомъ она будто лотосъ склонилась,
Змѣйкою станъ изогнула, и бѣлой ногою
Стала на черный обрывистый камень и мылась,
Грудь наклонивши надъ зыбью зеркальной потока;
Кто-бъ посмотрѣлъ на нее, облитую лучами,
Или увидѣлъ, какъ страстно, привольно, широко
Прыдали волны на грудь ей толпамъ,
И, какъ о мраморъ кристаллъ, разбивались, блѣднѣя:
Тотъ пожелалъ бы, клянусь я, чтобъ въ это мгновеніе
Въ мраморъ она превратилась, какъ мать Ниобелъ,
Вѣчно-бъ здѣсь мылась грядущимъ вѣкамъ въ наслажденіе.
(Купанье, 20).

Сбрось-же, красавица, сбрось, умоляю, одежды и поясъ!
Прелесть тѣла они безобразье, а не прикраса...
Что ты стыдишься напрасно!.. Оставь предразсудки и мнѣнія
Суетно-глупой толпы предъ лицомъ человѣка-поэта!..
Что ты ему созерцать позволяешь лишь только отдѣльно
Части прекраснаго тѣла... Зачѣмъ бы тебѣ не явиться
Творческимъ взоромъ его въ натовѣ нестыдливой и чистой!
Только пороки лишь стыдятся, скрываясь отъ яснаго свѣта!..
Иль тебѣ больно, что драхмой наемщицы бѣдною
Я заплатилъ за безцѣнность, твою красу покупая?..

¹⁾ Павелъ Васильевичъ—Васильевъ.

²⁾ Василій Васильевичъ—Самойловъ.

³⁾ Иванъ Васильевичъ—Грозный.

Въ жизни намъ должно мирить все земное съ
небеснымъ,
Должно равно уважать намъ потребности Олимпа и
дола...
Разоблачись предо мною, и примешь ты плату
бессмертья,
Плату изъ всѣхъ дорогую... О, какъ ты чиста
непорочно...
(Ваятель и натурщица 40).

Стоило бы выписать еще маленькое стихотворение—«Въ деревнѣ», въ которомъ воспѣваются «здоровыя и сытныя блюда деревенскія, облитыя крѣпительной влагой Вакха», и сладострастіе, а также нѣсколько строкъ изъ стихотворенія безъ заглавія подѣ № XXIII. Здѣсь такъ называемая пикантность сюжета идетъ, пожалуй, еще дальше, чѣмъ въ приведенныхъ отрывкахъ, а между тѣмъ она нисколько не рѣжетъ вамъ уха, если вы болѣе или менѣе знакомы съ духомъ древней Эллады. Это, конечно, условіе sine qua non. Иначе вы не увидите ничего, кромѣ плоскихъ и циническихъ картинокъ, какъ не увидите и въ Венерѣ Милосской ничего, кромѣ голой женщины. Въ молодомъ Щербинѣ (ему было тогда 20—25 лѣтъ) было почти дерзостью братья за такія, такъ сказать, скользкія темы, съ которыхъ такъ легко свалиться въ пропасть грязи и цинизма. Но онъ вышелъ побѣдителемъ изъ этихъ трудностей и успѣхъ оправдалъ его дерзость. Въ лѣта отъ Р. X. 1840—50 трудно говорить лучше за древняго грека, трудно лучше передать ясность, простоту, законченность его міросозерцанія. Отсутствіе всякой туманности, цѣльность, не дававшая обособляться чувственному наслажденію отъ духовнаго, удивительно тонкое чувство мѣры, изгонявшее изъ искусства и изъ морали все преувеличенное и напыщенное, безграничное поклоненіе красотѣ во всѣхъ ея видахъ,—вотъ что характеризовало древняго грека въ цвѣтущую пору Греціи, вотъ что удалось ему воспитать въ себѣ насчетъ каторжнаго труда и духовной нищеты рабовъ, вотъ что не можетъ болѣе повториться въ исторіи и вотъ что удивительно вѣрно схвачено Щербиной. Задача исполнена имъ блистательно, онъ сумѣлъ говорить за древняго грека. Но является еще другой вопросъ: почему ему вздумалось говорить за древняго грека?

Въ стихотвореніи «Волосы Вереники» есть слѣдующая profession de foi поэта:

Вижу яркій образъ всюду
И прекрасныя черты...
Я всегда поэтомъ буду
И любви, и красоты!
Вамъ, художники другіе,—
Горе дня и ложь людей,
Вамъ мечтанія больныя,
Стоянь и жалобы страстей!
То моя отвергла лира,
Что проходить съ каждымъ днемъ,

Что изгонится изъ міра
Вѣчной правды торжествомъ...

...Того, что недостойно,
Я искусству не даю
И въ душѣ горячкой знойной
Зло безъ образовъ таю.

Зло недостойно образовъ,—вотъ воззрѣніе чистокровнаго древняго эллина, отождествляющаго искусство съ служеніемъ красотѣ, и идеалъ красоты съ идеаломъ нравственности. Очевидно, что и Щербина такъ смотрѣлъ въ ту пору. А между тѣмъ пора была не совсѣмъ подходящая. Если бы я имѣлъ время и охоту повеселиться, я бы провелъ небольшую параллель между древней Греціей и Россіей сороковыхъ, пятидесятыхъ годовъ. Базисъ и той и другой культуры, пожалуй, одинъ и тотъ же—рабство. Но съ одной стороны на этомъ грубомъ, неотесанномъ, презрѣнномъ пьедесталѣ стоитъ свободный, цѣльный, здоровый, трезвый красавецъ. А съ другой топчутся: дикій помѣшникъ, пьяный бурбонтъ, чиновникъ, сухой и желтозеленый, какъ осенній листь, лишній человѣкъ, демоническая натура, наконецъ борецъ, страстно жаждущій помѣряться со зломъ вообще и воплотить его въ образахъ въ частности,—все люди забытые, разбитые и борцы, все вовсе не античныя фигуры. Уже Гоголь давно раскатился своимъ негодующимъ хохотомъ, своимъ смѣхомъ сквозь слезы и успѣлъ изныть съ тоски по идеальномъ типѣ. Уже Чацкій проговорилъ свои великодушныя монологи, съѣдаемый «миліономъ терзаній», уже славянофилы ушли искать спасенія въ глуши временъ. Уже Печоринъ успѣлъ размѣняться на Тамариныхъ. Уже Бѣлинскій смѣнилъ одну блестящую кожу на еще болѣе блестящую, и изъ эстетическаго критика обратился въ протестанта. Уже раздалась «муза мести и печали» и послышался надтреснутый голосъ Достоевскаго, и проч., и проч. и вдругъ.

Вечеромъ яснымъ она у потока стояла,
Моя прозрачныя ножки...

Вдругъ такая неимоверная ясность, спокойствіе и прозрачность среди всяческихъ стоновъ, раздвоенностей, болѣзненныхъ криковъ и лихорадочной тревоги врачей. Какъ избѣжалъ Щербина всей этой забитости и разбитости и, въ особенности, этой жажды борьбы со зломъ? Можетъ быть никогда послѣдняя не была такъ сильна въ русскомъ обществѣ,—я разумѣю его лучшую часть,—какъ вскорѣ послѣ выступленія Щербины на литературное поприще. Но можетъ быть никогда эта жажда и законнѣе не была,—припомните только, что тогда творилось у насъ и что носилось надъ Европой. Какъ же могъ такой замѣчательный и молодой, слѣдовательно впечатлительный талантъ, какимъ

оказался на первыхъ порахъ Щербина, не только избѣжать этой жажды, но такъ сильно и полно проникнуться безмятежными принципами греческой жизни: «того, что недостойно, я искусству не даю, зло безъ образовъ таю». Создать «греческія стихотворенія» Щербины совсѣмъ не то, что написать ученѣйшій и превосходнѣйшій трактатъ о древней Греціи. Первое требуетъ гораздо большаго, полнѣйшаго усвоенія древне-греческой жизни, требуетъ умѣнья говорить за нее, чего вовсе не требуется отъ ученаго трактата. Это и не то, что потребовать въ критической статьѣ, чтобы художникъ поклонялся только красотѣ и таилъ въ себѣ зло безъ образовъ. Извѣстно, что *la critique est aisée, mais l'art est difficile*. Такому критику всякій можетъ сказать: попробуй-ка самъ. И кабы онъ попробовалъ, такъ можетъ быть ничего и не вышло бы. Но у Щербины вышло. У него мы видимъ не рецептъ, не правило, а исполненіе, и притомъ блистательное. Значитъ, на душѣ у него было дѣйствительно антично—свѣтло и спокойно, несмотря на все, что дѣлалось вокругъ него. Но, какъ ни хороша сама по себѣ античная ясность и цѣльность, въ русскомъ юношѣ сороковыхъ годовъ она представляеть собою аномалію, которая только тѣмъ и объясняется, что Щербина съ раннихъ лѣтъ жилъ въ греческомъ обществѣ, чуждомъ русскимъ, да и европейскимъ тревогамъ и болѣзнямъ.

То, что было такъ широко для древней Греціи, было слишкомъ узко для второй половины XIX вѣка, и талантливый, чуткій человѣкъ не могъ на вѣки погрязнуть въ красотахъ древне-греческой поэзіи. Дѣйствительно, въ позднѣйшихъ греческихъ стихотвореніяхъ античная ненависть ко всякой раздвоенности, ко всякому дуализму не исчезаетъ:

Вѣрь мнѣ, одна безъ различія жизнь, и людей,
и природы:
Всюду единая царствуетъ мысль, и душа обитаетъ
Въ глыбахъ камней бездыханныхъ и въ радужныхъ
листвѣхъ растеній..
Нѣтъ для меня, Левконоя, и тѣла безъ вѣчнаго
духа,
Нѣтъ для меня, Левконоя, и духа безъ стройнаго
тѣла!
Умственнымъ взоромъ гляжу я на образъ жены
полногрудой.
Въ выпуклыхъ линіяхъ формъ, изваянныхъ богиней
природой,
Душу и цѣлую жизнь и поэму созданья читаю..
(Моя богиня, 82).

Но рядомъ съ этимъ чисто античнымъ монизмомъ и чисто античнымъ же воззрѣніемъ на самую богиню-Природу, какъ на художника, попадаются уже такіе строки:

Дѣти! Искусство — слеза недовольства насущною
жизнью,
Голосъ прозрѣнія въ лучшую жизнь съ полнотой
ея стройной,
Страстная жажда вездѣ и всегда и во всемъ
совершенства,
Вопли любви, неизданной нами и нами просимой.
Первое чадо разсудку и сердцу знакомаго юря,
Первый младенческій крикъ въ челоуѣкѣ
родившейся мысли,
Слово потребъ вопиющихъ, потребъ безконечнаго
духа..
Знайте, искусство — ужъ это несчастье наше,
о дѣти!
Вы же, малютки, живете въ довольствѣ созвучіи
съ природой,
Въ свѣтлой охранѣ ея, подъ крыломъ ея, дѣвственно
теплымъ,
Счастливы тѣмъ, что вамъ чуждо искусство, а
съ нимъ и страданье,
Чужды вамъ слезы тоски по возникшемъ въ душѣ
идеалъ..
(Дѣвочки, 80).

Или:

И художникъ въ печали своей,
Когда сердцемъ болящимъ страдалъ
Надъ нестройною жизнью людей,
Твой чарующій ликъ извѣдалъ,
И онъ вѣрилъ: придутъ времена —
Все, что въ духѣ безлютномъ живетъ,
Будто грезы роскошнаго сна,
Въ повседневную жизнь перейдетъ.

(Предъ статуей Венеры Таврической, 81).

Здѣсь мы видимъ все еще въ античной формѣ вовсе уже не античное содержаніе. Никогда греку, при видѣ статуи Венеры, не пришли бы въ голову подобныя мысли. Для этого, во-первыхъ, онъ слишкомъ сильно наслаждался бы непосредственно красотой статуи, а во-вторыхъ, слишкомъ мало страдалъ надъ нестройною жизнью людей. Аристотель и Платонъ въ сильнѣйшей извѣ своего времени — рабствѣ, видѣли именно только необходимый и законный пьедесталъ культуры. Эпикурейцы замыкались въ личное счастье при данныхъ условіяхъ. Стоики видѣли въ нестройности жизни людей только отблескъ мировой стройности, т. е. нестройности не видѣли и слѣдовательно надъ ней не страдали. Словомъ, тутъ Щербина уже не за грека говорилъ, а за современнаго челоуѣка съ его «недовольствомъ насущною жизнью» и надеждою устроить «повседневную жизнь» въ будущемъ, съ его, почти неизвѣстной древнему міру тоской по общественному идеалу. Формой Щербина пользовался еще старой, но относительно содержанія сдѣлалъ значительный шагъ впередъ. Но тутъ замѣшалась другая зацѣпка — пантеизмъ, сказавшійся особенно въ «пѣсняхъ о природѣ».

Щербина точно нарочно искалъ для своей поэтической дѣятельности такой сферы, гдѣ бы его не терзали болѣзни времени, такой точки зрѣнія, которая скрывала бы или подкрашивала все многообразное зло на-

сущной жизни. Еще не выпутавшись окончательно из сѣтей классицизма и все-таки стѣсняемый ими, онъ начинаетъ колебаться, но изъ всѣхъ тогдашнихъ вѣяній вдохновляется только пантеизмомъ:

Вѣрю, я безсмертенъ!
Въ атомахъ вселенной
Я ужъ зарождался,
Съ вѣчной жизнью Бога,
Въ божьей мысли жилъ я...
Жизненная влага
И пылика персти
Первыхъ дней созданья
Слиты въ этомъ тѣлѣ...
И ужель не буду
Въ мірѣ вѣчно жить я,
Съ этимъ вѣчнымъ міромъ—
Образомъ всевѣчной
Некрушимой мысли?
Развѣ заронился
Втунѣ хотъ единый
Солнца лучъ на землю?
Или не возникъ онъ,
Въ ней преображенный,
Цвѣтомъ ароматнымъ
Въ изумрудныхъ листьяхъ?
Иль, въ дыханіи зноя,
Съ чашечки разсвѣта,
Не упалъ на землю
Радужною пылью
И съ землею не слился
Въ вѣчныхъ превращеньяхъ?
(Жизнь, 108).

Эту тему Щербина эксплуатировалъ часто и иногда съ замѣчательной силой. «Жизнь» я привелъ только потому, что это стихотвореніе небольшое и, такъ сказать, концентрированное, но отнюдь не какъ лучшее въ этомъ родѣ. Особенно удачно «Уженье» (112). Это, дѣйствительно, прелестная вещь, каждая строка которой полна смысла, конечно, пантеистическаго. Понятно, какъ успокоительно это поэтическое убѣжище. Несмотря на свою туманность и расплывчатость, оно не уступаетъ въ этомъ отношеніи античной ясности и конкретности образовъ. Вдвигая человѣка, со всѣми его радостями и страданіями, мыслями и страстями, въ безконечную цѣпь явленій природы на правахъ одного изъ атомовъ, пантеизмъ, собственно говоря, вычеркиваетъ человѣка, закаляетъ его на алтарѣ мирового величія. Поэтому съ своей новой точки зрѣнія Щербина имѣлъ полное право говорить:

Смолкните-жъ, стоны страданья,
Жалобный вопль человѣка!
Нить въ мірозданіи юря:
Горе—то призракъ, отъ вѣка
Созданный вольно тобою,
Гдѣ утонулъ ты, какъ въ морѣ,
Ложной носимый судьбой
И истомленный борьбой.
Слейся душою и тѣломъ,
Слейся съ широкой природой,
Полной здоровья, свободой,
Мыслью и дѣломъ...
Смертный! Пойми и прими

Жизнь горячо и разумно,
Страсти больныя уйми,—
И перестанешь, въ сознаньи,
Во всеуслышанье, шумно
Плавать о мнимомъ страданьи,
Плакать, какъ плакалъ ты вѣчно
О преходящемъ, ничтожномъ,
Ложно блестящемъ, конечномъ,
Иль на землѣ невозможномъ

(Миръ, 130).

Во всякомъ случаѣ это шагъ впередъ, тѣмъ болѣе, что рядомъ съ культомъ красоты поэтъ ставитъ науку, знаніе (См. «Природа», «Счастье» и проч.). Но мало-по-малу пробиваются среди этихъ пѣсень о природѣ совершенно иного свойства ноты, и поэтъ поднимается постепенно на новую, высшую ступень своего развитія. Къ прекрасному и истинному примыкаетъ въ его пѣсняхъ благое, справедливое, «Добро». Задачу своей дѣятельности поэтъ видитъ уже не въ служеніи красотѣ, не въ обѣганіи зла, какъ матеріала для образовъ. Напротивъ:

О, поэтъ! ты—совѣсть вѣка

Да звучить твой стихъ обронный (?).
Правды божьей набатъ
Въ пробужденіи мысли сонной,
Въ кару жизни беззаконной,
На погибель всѣхъ неправдъ.

(Поэту, 149).

И античное, и пантеистическое спокойствіе постепенно разсѣваются какъ туманъ, изъ-подъ котораго вырѣзывается, наконецъ, фигура современнаго русскаго человѣка. Щербина сумѣлъ говорить и за отчаяніе тогдашняго лучшаго русскаго человѣка:

Переполнены силою страстною
Пожираемы жадно любовью,
Истощены мы жертвой напрасною,
За людей не прольемъ мы кровью...
Не волнуйся-жъ, душа многотрунная,
И въ безгрезной дремотѣ разлейся!
Замолчи, мое сердце безумное,
Замолчи навсегда... иль разбейся!

(Пѣсня вѣка, 170).

Умереть бы намъ, други, весною:
Ничего не осталось для насъ,
Кромѣ сказанныхъ съ желчью больною,
Отрицанья исполненныхъ фразъ,

(Смерть весны, 178).

Отозвался онъ и на его надежды:

Но настанутъ вѣка золотые:
Ты ихъ мыслью своею призовешь,
И добра сѣмена дорогія
Своей кровью обильно польешь,
И всѣ силы души и природы
Покоришь себѣ, новый Зевесъ,
Создашь, новое солнце свободы
И два солнца засвѣтятъ съ небесъ.
(Пѣсня Прометея, 159).

Многіе изъ этихъ «ямбовъ и элегій» въ свое время производили впечатлѣніе, несмо-

тря на весь блескъ наличныхъ первостепенныхъ поэтовъ въ этомъ родѣ. Но это былъ послѣдній шагъ Щербины впередъ. Онъ вдругъ круто оборвался и полетѣлъ внизъ, его оставили и мысль, и форма, и *умѣнье* говорить за *другихъ*. Въ немъ не осталось ничего кромѣ злобнаго, узкаго, бессмысленно на всѣ стороны огрызающагося я..

Повторяю, исторія развитія поэта не такъ проста, не такъ хронологически прямолинейна, какъ я представилъ. Три указанные фазиса только постепенно вытѣсняли другъ друга. Но если читатель пожелаетъ познаться статистикой, то онъ увидитъ, что наибольшее количество «греческихъ стихотворений» написано Щербиной въ самомъ началѣ сороковыхъ годовъ; затѣмъ все чаще и чаще проглядываютъ пантеистическія прожилки, а наибольшее число «ямбовъ и элегій» выпадаетъ на самый конецъ сороковыхъ и пятидесятые годы, хотя и тутъ еще отзываются по временамъ старыя струи.

Но читатель, можетъ быть, спроситъ, почему я считаю исторію развитія Щербины до того момента, до котораго я ее довелъ, исторіей прогрессивнаго развитія. Сдѣлалъ ли дѣйствительно Щербина шагъ впередъ, заразившись болѣзнями мѣста и времени, схвативъ скорбь о настоящемъ и тоску по будущему? Не лучше ли было ему оставаться «пѣвцомъ зимой погоды лѣтней» и стоять одиноко съ классическимъ спокойствіемъ среди волнъ отрицательнаго и безпокойнаго теченія? Я полагаю, впрочемъ, что читатель мнѣ подобнаго вопроса не задастъ и жеваную азбуку пережевывать не заставитъ. Я скажу только нѣсколько словъ, собственно въ разъясненіе моего опредѣленія поэта и поэзіи, пожалуй, искусства вообще.

Я не вѣрю въ такъ называемое чистое искусство или искусство для искусства. Не то, чтобы я ему не сочувствовалъ или не одобрялъ его, я въ него именно не вѣрю, я полагаю, что его никогда не было, нѣтъ и не будетъ, какъ не было, нѣтъ и не будетъ безусловной справедливости, т. е. справедливости для справедливости, объективной морали, т. е. морали для морали, науки для науки. То, что понимается подъ всеми этими категоріями, есть не болѣе какъ замаскированное служеніе данному общественному строю. Эстетическая способность, способность познаванія, способность этическая, идеалы красоты, личной нравственности и общественной справедливости переплетены другъ съ другомъ самымъ тѣснымъ образомъ и безчисленными перекрещивающимися нитями. Древній грекъ, художникъ по преимуществу, преклонялся предъ красотой Фидіева созданія, прекло-

нялся не передъ одной красотой и дрожала въ немъ не только эстетическая струнка. Онъ преклонялся въ статуѣ, въ картинѣ, въ поэтическомъ произведеніи передъ всѣмъ строемъ античной жизни. Онъ чуялъ въ нихъ и отблескъ своей гражданской и политической свободы и рабства $\frac{1}{8}$ населенія всей Греціи. Да, въ статуѣ Фидія и въ картинѣ Апеллеса отразилось это рабство, ибо оно составляло одно изъ условій ихъ созданія. Отсюда слѣдуетъ, что Фидій и Апеллесъ умѣли говорить за другихъ, но эти другіе составляли лишь одну пятую долю ихъ соотечественниковъ. Мысли, чувства, и, главное, интересы только этой дроби формулировали они въ своихъ прекрасныхъ образахъ. Рабъ ихъ не понималъ, не могъ понимать, не хотѣлъ, да и они не хотѣли, чтобы онъ ихъ хоть когда-нибудь понялъ, потому что, пойми онъ ихъ,—греческой культурѣ конецъ. Пойми онъ, какое оскорбленіе, какая несправедливость къ нему кроется въ каждомъ изгибѣ тѣла прекрасной статуи, — эту статую постигла бы участь Вандомской колонны. Божественный ликъ Сикстинской Мадонны воюющій и развратный рабъ изрѣжетъ ножомъ, съ негодованіемъ говорить одинъ изъ героев «Бѣсовъ» г. Достоевскаго. Я понимаю это негодованіе, но понимаю и раба, хоть, конечно, не этимъ путемъ достигнется его нравственная и физическая чистота. Но все-таки его движенія такъ понятны. Ламартины еще въ сороковыхъ, помнитесь, годахъ предсказывали разрушеніе, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, Вандомской колонны. А вѣдь не Богъ знаетъ какой пророкъ былъ. А Прудонъ по этому поводу спокойно замѣтилъ: да, вотъ тоже ваши произведенія будутъ изорваны.

Итакъ, служеніе чистой красотѣ не существуетъ, а то, что называется этимъ именемъ, есть служеніе интересамъ группы людей, усвоившей себѣ соотвѣтственные понятія о красотѣ, воспитавшей въ себѣ извѣстную комбинацію эстетической и познавательной способности. Комбинація эта, удовлетворявшая древнихъ грековъ, оставивъ по себѣ великіе памятники, разсыпалась прахомъ; кости носителей ея истлѣли и даже лопухъ растетъ уже не изъ нихъ. Возможны, конечно, и нынѣ рѣдкіе экземпляры, повторившіе въ себѣ, вслѣдствіе особенныхъ обстоятельствъ, эту комбинацію. Но это будутъ тепличныя растенія, потому что если-бы какимъ-нибудь чудомъ сложились развѣянные по міру частицы настоящаго, заправскаго древняго грека, если бы онъ, гордый рѣшитель судебъ своей родины и свободный слуга ея, явился среди насъ, ему пришлось бы вторично умереть — отъ удущья въ нашей канцелярско-казарменной атмосферѣ.—Но,

скажетъ, можетъ быть, читатель, тутъ-то, въ этой независимости поэтического вдохновенія отъ окружающей среды и сказывается чистое искусство, если даже справедливо все, что вами сказано о связи греческаго искусства съ нравственными и политическими идеалами античнаго міра.—Не совсѣмъ такъ. Допуская даже, что въ своихъ греческихъ стихотвореніяхъ Щербина *желалъ* служить исключительно красотѣ и что его нравственные идеалы тутъ не при чемъ, не трудно видѣть, что *въ действительности*, можетъ быть, безсознательно, такъ сказать, нечаянно, онъ служилъ кое-чему и кромѣ красоты. За кого говорилъ поэтъ, напримѣръ, въ слѣдующихъ строкахъ:

Музамъ я утро свое посвящаю, вставая съ
Авророй,
Знойнаго полдня часы провожу подъ наметомъ
Темно-прохладныхъ деревь, и на ложѣ забы-
чивой нѣги
Сладко дремлю я, вкусивши здоровыхъ и смѣ-
ныхъ
Блюдь деревенскихъ, облитыхъ крѣпительной
влагою Вакха.
Ночью я весь отдаюсь Афродитѣ-богинѣ:
Полною чашей восторги любви испиваю во
мракѣ:
Тонуть уста мои въ жаркихъ устахъ Левконой,
Руки по мрамору тѣла скользятъ, красоты
ощущая
Гибкаго стана и груди упругой и полной.

Въ этомъ стихотвореніи (озаглавленномъ «Въ деревнѣ») поэтъ говоритъ за древнихъ грековъ, которые были и былиемъ поросли, которые проводили время далеко не всегда на этотъ манеръ, но съ точки зрѣнія которыхъ такое времяпровожденіе, между прочимъ, вполне достойно пѣснопѣнія. Самъ поэтъ и еще сотня людей это, конечно, очень хорошо знаютъ и радуются единственно удачному выраженію античнаго спокойствія. Но затѣмъ на Руси сороковыхъ, пятидесятихъ годовъ есть еще нѣсколько тысячъ людей, не переведшихся и до сихъ поръ, которые могутъ вполне сочувствовать и содержанію этого произведенія, за которыхъ, слѣдовательно, поэтъ тоже говоритъ. Эти нѣсколько тысячъ человекъ проводятъ время весьма сходно съ описаніемъ Щербины, которое *фактически* оказывается идеализаціей ихъ житія-бытія. Щи съ кулебякой на четыре угла, окропленные живительной влагой очищенной, лежаніе вверхъ брюхомъ подъ кустомъ смородины или въ тѣни рябины, затѣмъ ночь съ законной супругой, а нѣтъ такъ съ Левконой-Палашкой (утреннія бесѣды съ музами, конечно, вычеркиваются, потому дѣло не греческое,—надо и по хозяйству посморгнуть),—вотъ чему служилъ, допустимъ, безсознательно Щербина въ своихъ греческихъ стихотвореніяхъ, а вовсе не чистой красотѣ; вотъ чѣмъ интересамъ, оплеваннымъ Гоголемъ, служилъ этотъ

юный поэтъ и даже до извѣстной степени сочувствовалъ, потому что иначе у него на душѣ не было бы такъ антично свѣтло въ сороковыхъ годахъ. Слѣдовательно, было бы вовсе неправильно говорить, что Щербина перешелъ въслѣдствіи отъ чистаго искусства и гимновъ красотѣ къ «гражданскимъ мотивамъ». Онъ просто качественно и количественно расширилъ кругъ своего поэтическаго сочувствія, кругъ людей, за которыхъ онъ взялся говорить. Онъ пересталъ говорить за мертвыхъ грековъ и людей, въ родѣ Петра Петровича Пѣтуха, и сталъ говорить за лучшихъ русскихъ людей сороковыхъ годовъ, которые обнимали своимъ сочувствіемъ всю Россію, а съ ней и все человѣчество.

Я, кажется, не избѣгъ азбуки. Но въ то время, какъ я писалъ о Щербинѣ, я прочиталъ № 46 «Московскихъ Вѣдомостей», изъ котораго усмотрѣлъ, что еще долго и долго азбука у насъ будетъ дѣломъ нелишнимъ. Въ этомъ № почтенной московской газеты напечатано второе «музыкальное письмо изъ Петербурга» г. Лароша. Дѣло идетъ объ оперѣ г. Мусоргскаго «Борисъ Годуновъ». Я не знаю этой оперы, о музыкѣ вообще понятія имѣю весьма слабыя, съ новой русской музыкальной школой, къ которой принадлежатъ г. Мусоргскій, незнакомъ, можно сказать, вовсе. Но петербургская корреспонденція московской газеты высказываетъ нѣкоторыя положенія объ искусствѣ, въ такой мѣрѣ общія, что и профанъ въ музыкѣ можетъ оцѣнить ихъ по достоинству. Авторъ «музыкальнаго письма» находитъ въ авторѣ «Бориса Годунова» нѣкоторый талантъ, много смѣлости, очень мало музыкальнаго образованія и проч. Затѣмъ авторъ сравниваетъ новую оперу съ нѣкоторыми литературными явленіями и наконецъ говоритъ: «Будучи реалистомъ въ томъ смыслѣ, который это слово приобрѣло у насъ въ Россіи въ новѣйшее время, г. Мусоргскій раздѣляетъ, повидимому, симпатіи реальной школы къ бѣдному люду, къ его горемычной жизни, къ его нравамъ и языку. «Борисъ Годуновъ» реальнаго композитора представляетъ, какъ мы видѣли, нѣсколько народныхъ сценъ; онъ первоначально вдохновленъ Пушкинымъ, но фантазія поэта-музыканта разрисовала ихъ по своему и съ очевидною любовью. Но гораздо болѣе это влеченіе къ бѣдняку рисуется въ заключительныхъ строчкахъ драматической поэмы, которая словно резюмируетъ ея внутреннее содержаніе, словно даютъ ключъ къ ея разгадкѣ:

Лейтесь, лейтесь, слезы горькія,
Плачь, душа православная!
Скоро врагъ придетъ и настанетъ тьма,
Темень темная, непроглядная,
Горе, горе Руси,

Плачь, русскій людъ,
Голодный людъ!

(Это поетъ юродивый, остающійся одинъ на сценѣ). Не честолюбіе Бориса, не включеніе Лжедмитрія, не надменная красота Марины оковали фантазію художника: послѣднее слово его драмы, послѣднее впечатлѣніе, съ которымъ онъ выпускаетъ зрителей изъ залы—воплъ наболѣвшаго сердца: «плачь, русскій людъ, голодный людъ!» Хотя только въ намекахъ, но въ вѣскомъ и чувствительномъ намекахъ, намъ показываютъ бѣдствія и страданія народа, предъ громадностью которыхъ мельчаютъ и исчезаютъ отдѣльныя историческія фигуры съ ихъ судьбой и характерами. Вторженіе гражданского плача, столь обыкновеннаго въ русской литературѣ, въ русскую музыку—явленіе небывалое; ни Даргомыжскій, ни кто либо изъ его адептовъ не думали объ этомъ, и г. Мусоргскій сдѣлалъ положительно новый шагъ на пути музыкальнаго реализма. Но у него этотъ гражданскій плачь звучитъ не въ первый разъ: многіе изъ его романсовъ, выпедшихъ раньше «Бориса», особенно «Свѣтъикъ Савишна», «Колыбельная Еремупки» и «Сиротка», посвящены изображенію «меньшого брата», его сиротской доли, его голода, его смиренія и переносимыхъ имъ униженій и жестокостей. И въ романсахъ слова, на ряду съ музыкой, нерѣдко принадлежатъ г. Мусоргскому: онъ не только находитъ скорбные мотивы въ нашей собственной лиричѣ, но и самъ создаетъ ихъ себѣ, сочиняя тексты, полные гражданскихъ слезъ».

Какое, однако, удивительное и прекрасное явленіе пропустилъ я, прикованный къ литературѣ, но болѣе или менѣе слѣдящій за разными сторонами духовнаго развитія нашего отечества! Въ самомъ дѣлѣ, музыканты наши до сихъ поръ такъ много получали отъ народа, онъ далъ имъ столько чудныхъ мотивовъ, что пора бы ужъ и расплатиться съ нимъ хоть мало-мальски, въ предѣлахъ музыки же, разумѣется. Пора, наконецъ, вывести его въ оперѣ не только въ стереотипной формѣ: «воины, дѣвы, народъ». Г. Мусоргскій сдѣлалъ этотъ шагъ. Спѣшу подѣлиться указаніемъ г. Лароша съ читателемъ. Я слыхалъ о новой «реальной» русской музыкальной школѣ и почитывалъ критическія статьи о ней. Но до сихъ поръ дѣло вертѣлось преимущественно на сочностяхъ, вкусоностяхъ, на гнусащихъ нотахъ, изображающихъ гнусный характеръ, на септимахъ и доминантъ-аккордахъ. Я убоялся премудрости и возвратился вспать, не подозрѣвая, что одинъ изъ представителей новой школы сдѣлалъ такой, дѣйствительно, важный шагъ. Честь и слава г. Мусоргскому, но честь и слава г. Ларошу, который первый, по край-

ней мѣрѣ въ печати, указалъ на это явленіе, и нѣкоторымъ образомъ поднесъ лавровый вѣнокъ своему товарищу по профессіи, поднесъ безъ зависти къ успѣху, безъ педантическаго ворчанья,—вотъ что особенно дорого.

Но знаете-ли вы, мои благосклонные читатели, что выписанныя мною изъ «музыкальнаго письма изъ Петербурга» строки вовсе не суть нѣкоторымъ образомъ лавровый вѣнокъ, подносимый товарищу по профессіи безъ зависти и педантизма? Можете-ли вы догадаться, что это одинъ изъ пунктовъ обвинительнаго акта? Надо видѣть, чтобы вѣрить. Прочтите всю корреспонденцію «Московскихъ Вѣдомостей» и вы повѣрите. Впрочемъ, для ясности дѣла я приведу тѣ смягчающія обстоятельства, на которыя списходительно указываетъ авторъ. «Нельзя сказать, — говоритъ онъ, — чтобы вокальная музыка была неспособна принимать въ себя социальныя идеи, стремленія и симпатіи; скорѣе можно ратовать противъ тенденціозности всего искусства вообще, но, терпя уже много глѣбъ социальные мотивы въ лирическомъ стихотвореніи и въ драмѣ, мы не должны особенно вооружаться противъ появленія ихъ въ романсѣ и въ оперѣ, какъ бы оно ни показалось рѣзко, грубо и оскорбительно». Что же это, наконецъ, такое? Въ Бедламѣ мы что ли живемъ? И еще г. корреспондентъ «Московскихъ Вѣдомостей» называетъ г. Мусоргскаго «наивнымъ обитателемъ какой-нибудь Новой Каледоніи, принявшимъ обновить дряхлую Европу и предписать ей новыя законы, островитяниномъ, поражающимъ насъ своимъ фантастическимъ видомъ, перьями и татуировкой!» Но, государь мой, вы то кто, какъ не татуированный дикарь? Или вамъ неизвѣстно, что если вы перестанете «терпѣть социальные мотивы» въ поэзіи (не знаю, почему вы упоминаете только лирику и драму), то вамъ придется выкинуть за бортъ безъ малаго всего Шиллера, всего Барбье, половину Беранже и Виктора Гюго, почти всего Жоржъ-Занда, и проч., и проч., и проч. И какой вѣдь это въ самомъ дѣлѣ ничтожный нравственный и умственный капиталъ, стоитъ съ нимъ перемониться! Эта дряхлая Европа и не подозрѣваетъ, что социальные мотивы совсѣмъ не подлежатъ вѣднѣію искусства. Но любопытно бы было знать, что это собственно значитъ: «социальные мотивы». Очень жаль, что корреспондентъ «Московскихъ Вѣдомостей» не сообщилъ, — что именно долженъ былъ говорить юродивый; онъ это навѣрное знаетъ, ему и книги въ руки. Я могу только догадываться. Скажи онъ: такъ наказывается честолюбіе! — ничего; о, какъ презрѣнно самозванство! — тоже

ничего; велика, о, Марина, твоя красота, но она надменна и притомъ она польская! — опять-таки ничего, даже очень прекрасно. Но закончить драму изъ смутнаго времени воспоминаніемъ о томъ, что народу приходилось плохо и отъ природы, и отъ людей, и отъ своихъ, и отъ чужихъ, — какой нехудожественный, какой «грубый, рѣзкій и оскорбительный приѣмъ». Только потому и рукой махнуть можно, что вообще художникъ, особенно поэтъ-беллетристъ, нынѣ избаловался, мало его подтягивали, много воли давали.

Успокойтесь, строгій жрецъ чистаго искусства, подтянуты, я это доподлинно знаю...

Какъ мы, однако, нынѣ не любимъ тенденцій. Пой, пиши, играй, рисуй, лѣпи, дѣлай рѣшительно все, что хочешь, запрету нѣтъ, но не съ тенденціей же! И такъ мы къ этому режиму привыкли, что скоро и ѣсть научимся безъ тенденціи удовлетворять свой аппетитъ. Да впрочемъ ужъ научились. Развѣ не слышимъ мы на каждомъ шагу: вотъ человекъ, который сытъ, дадимъ ему обѣдъ, ибо онъ будетъ ѣсть безъ тенденціи удовлетворить свой голодъ; а вотъ этому не дадимъ, ибо онъ будетъ ѣсть тенденціозно. Да здравствуетъ же чистая гастрономія, художественная, свободная отъ «грубой, рѣзкой, оскорбительной» тенденціи утолить голодъ! *Difficile est satirum non scribere*. Благодарить безъ тенденцій мы тоже научились. Вы, конечно, знаете, что въ Индіи голодъ не хуже нашего. Но вы, можетъ быть, не знаете, что въ № 9 «Недѣли» напечатано:

«Въ редакціи «Недѣли» получено изъ Вологды отъ врача Коробова 100 рублей въ пользу голодающихъ индійцевъ. Деньги переданы въ англійское посольство».

Столь хлѣбородная, столь знаменитая своими урожаями Вологда шлетъ братскую помощь голодающей Индіи. И благотворительно, и ни малѣйшей тенденціи...

Вернемся, однако, къ Щербинѣ. Онъ оборвался, какъ сказано, вдругъ. Въ концѣ пятидесятихъ и въ шестидесятихъ годахъ онъ утратилъ и изящество формы, и скольконибудь опредѣленный смыслъ, мало-мальски ясную программу жизни и дѣятельности. Порѣзче другихъ пробивалась славянофильская струнка, но и то слабо. Затѣмъ онъ злобно, иногда остроумно, иногда бездарно, набрасывался на всѣхъ мимоходящихъ, а иногда укусить и вслѣдъ затѣмъ извинится, какъ это было у него съ Аполлономъ Григорьевымъ, съ Аксаковымъ, Погодинымъ и проч. Но больше всего возненавидѣлъ онъ изъ личностей почему-то покойнаго Панаева, а изъ явленій нашей жизни такъ-называемый нигилизмъ. Чтобы читатель видѣлъ, до какой

степени плоскости и формы и содержанія доходилъ этотъ когда-то даровитый поэтъ, я приведу два-три отрывка.

Нигилисты вы тупые!..

Чѣмъ же быть вамъ, господа!

Съ просвѣщеніемъ Россіи

Ваша скроется звѣзда.

При познаньяхъ нашихъ узкихъ,

При отсутствіи ума,

Развилась въ болотахъ русскихъ

Отрицанія чума...

Какъ заглянемъ въ жизнь-ли, въ книги-ль,

Все намъ скажетъ, господа,

Что ex nihilo лишь nihil

Въ результатъ всегда.

(Нигилистамъ, 394).

Репетилонъ за свободу

Въ стѣны крѣпости попалъ,

Хлестаковъ Иванъ народу

Кажетъ жизни идеалъ...

Гдѣ-жъ Маниловъ социальный,

Столь опасный для властей?

Иль ужъ сосланъ съ городъ дальній,

Онъ за Обь и Енисей?

(Театральное извѣстіе, 396).

Надѣлать крестьянъ землею

Мы Бабефовъ разослали.

А Барбесовъ всей душою

Въ мировые судьи взяли.

Теруанъ де-Мерикуры

Школы женскія открыли,

Чтобъ оттуда наши дуры

Въ нигилисты выходили.

(Французская революція на русскій ладъ, 399).

Кажется, комментаріевъ тутъ не требуется. Но вотъ что любопытно. Пока «Бабефы, Барбесы и Теруанъ-де-Мерикуры» были еще малыми ребятами, Щербина ждалъ отъ нихъ многого, можно сказать всего, и благословлялъ ихъ на путь «счастья и добра» (См. «Мысль и дѣло», «Женщинѣ»). Почему же онъ отъ нихъ отвернулся, когда они выросли? Въ немъ-ли самомъ что оборвалось, или надежды его не оправдались и, дѣйствительно, ужъ очень безобразно было на Руси въ шестидесятихъ годахъ? Авторъ предисловія къ сочиненіямъ Щербины, упомянувъ, что увлеченія были вполне естественны въ молодомъ обществѣ, которое только что вышло на путь и проч., полагаетъ, что корень раздраженія поэта лежалъ въ немъ самомъ, въ его неудовлетворенномъ, болѣзненно-развитомъ самолюбіи, въ плохомъ матеріальномъ положеніи, наконецъ, въ тяжелой, неизлѣчимой болѣзни. Плохое матеріальное положеніе и тяжелая болѣзнь не мѣшали, однако, многимъ смотрѣть иначе на «слабые лучи свѣта и свободы, оживившіе русскую мысль и русскую печать въ концѣ пятидесятихъ и въ шестидесятихъ годахъ». Впрочемъ, въ совокупности три приведенныя причины, дѣйствительно, отчасти объясняютъ нравственную фizioномію Щербины въ послѣднія десять

лѣтъ его жизни. И что касается лично Щербина, то на этомъ можно покончить. Но, вѣдь, Щербина не единственный художникъ сороковыхъ годовъ, который росъ, росъ, а какъ показались имъ самимъ прежде призывавшіеся «слабые лучи свѣта и свободы», такъ и окрылся въ большей или меньшей степени и вмѣстѣ съ тѣмъ въ большей или меньшей степени утратилъ свой талантъ. Да и внѣ литературы можно наблюдать аналогичныя явленія. Каждый видаль, вѣроятно, такъ-называемыхъ людей сороковыхъ годовъ, которые въ свое время даже пострадали за свое пристрастіе къ лучамъ свѣта и свободы и которые въ шестидесятыхъ годахъ вдругъ окрылись, не будучи въ состояніи побѣдить въ себѣ непріязненнаго чувства къ людямъ, въ конечномъ результатѣ имъ, повидимому, вовсе не столь рѣзко противнымъ. И, какъ говорилъ Суворовъ: одинъ разъ удача, другой разъ счастье, надо же, наконецъ, немножко и умѣнья; такъ и здѣсь надлежитъ подумать: одинъ заболѣлъ разстройствомъ печени, другой состарѣлся, третій изъ-за границы не доглядѣлъ, четвертый просто ошибся, но, вѣдь, должна же быть какая-нибудь общая причина этой распри «отцовъ и дѣтей», можно же подвести къ одному знаменателю эти разрозненные факты. Объясненія имѣются въ литературѣ, даже въ большомъ количествѣ. Но если и признать эти объясненія резонными, то они все-таки представляютъ резоны неполные. Говорятъ, напримеръ, что «дѣти» вдругъ стали непочтительны, грубы, рѣзки, предались отрицанію всего, составляющаго цвѣтъ и красу цивилизованной жизни и проч. Можетъ быть оно и вѣрно, но отчего же вдругъ все это случилось? Долженъ же быть какой-нибудь коренной фактъ, который составляетъ ядро всѣхъ этихъ явленій, всей этой внезапно вспыхнувшей въ разныхъ мѣстахъ свалки дѣтей съ отцами—не съ крѣпостниками какими или завзатыми самодурами, озлобленіе которыхъ и не требуетъ никакихъ объясненій; нѣтъ, любопытно знать коренную причину озлобленія людей, дотолѣ стремившихся къ «лучамъ свѣта и свободы». Подобнаго коренного факта, коренной причины я всегда склоненъ искать въ социальныхъ отношеніяхъ. Пользуюсь и настоящимъ случаемъ, чтобы рекомендовать читателю эту точку зрѣнія, она навѣрное окажетъ ему много услугъ и во многихъ весьма запутанныхъ обстоятельствахъ выведетъ его на свѣтлую дорогу. На этотъ разъ мнѣ поможетъ г. Авдѣевъ, нашъ извѣстный романистъ, одинъ изъ писателей сороковыхъ годовъ, не окрысившихся при видѣ блѣдныхъ лучей свѣта и свободы.

Г. Авдѣевъ издалъ недавно книгу: «Наше общество (1820—1870) въ герояхъ и героиняхъ литературы».

Отдѣльные очерки, вошедшіе въ составъ этой книги, печатались, если не ошибаюсь, въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» и въ «Недѣлѣ», гдѣ я ихъ, впрочемъ, не читалъ. Тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ познакомился я съ ними въ совокупности. Не скрою отъ почтеннаго автора, что въ его книгѣ весьма не мало азбуки, но въ виду хоть бы вышеупомянутаго музыкальнаго письма это дѣло, очевидно, не лишнее. Очевидно, не мало еще народа, которому нужно говорить: «открой, душевника, ротикъ, я тебѣ положу этотъ кусочекъ». Америка открыта очень давно, но нынѣ въ такомъ количествѣ являются люди, стремящіеся закрыть ее, что напоминаніе о ней, если и не можетъ сравниться съ открытіемъ, то все-таки имѣетъ значительную цѣну. Но у г. Авдѣева не все только напоминанія о давно открытой Америкѣ и искреннее желаніе предотвратить ея закрытіе. Нѣтъ, въ небольшой его книжкѣ есть нѣсколько мыслей, очень цѣнныхъ, и соображеній, весьма любопытныхъ. Книжка раздѣляется на двѣ части: «Герои» и «Героини». Сначала о «герояхъ», подъ которыми авторъ разумѣетъ литературные типы, «представляющіе высшія точки стоянія общественнаго уровня». Онъ не задается собственно литературно-критическими цѣлями, и художественная правда извѣстнаго образа еще не даетъ этому образу права попасть въ портретную галерею г. Авдѣева. Точно также не принимаются имъ въ соображеніе и общечеловѣческія стороны героя, если степень и форма, въ которой онъ проявляется, не составляютъ характеристики своего времени. Общій выводъ, къ которому г. Авдѣевъ пришелъ, слѣдя послѣдовательно за Чацкимъ, Онѣгинымъ, Печоринымъ, лишними людьми и русскими Гамлетами, Рудинимъ, Инсаровымъ, Базаровымъ и людьми шестидесятыхъ годовъ, таковъ: въ теченіе пятидесятилѣтія 1820—1870 высшіе представители русскаго общества постоянно и болѣзненно стремятся къ гражданской дѣятельности, но постоянно осаживаются жизнью и остаются неудовлетворенными. Въ обществѣ идутъ постоянныя смѣны надеждъ и разочарованій. За протестомъ и надеждами Чацкаго идетъ апатія и хандра Онѣгина; въ Печоринѣ жажда дѣятельности прорывается вновь, но, благодаря обстоятельствамъ, прорывается уродливо и бесплодно, и затѣмъ наступаетъ безотрадная пора лишнихъ людей; раздается пропаганда Рудина, не указывая, однако, прямого живого дѣла; въ созданіи болгара Инсарова, въ сочувствіи къ нему и героини «Наканунѣ», и общества сказывается дѣйствительная жажда гражданской, политической дѣятельности; поднимается Базаровъ, уни-

рающій ничего не сдѣлавъ и этою смертію какъ бы указывающій на невозможность дѣятельности; въ Рязановѣ («Трудное время» г. Слѣпцова) мы видимъ изломаннаго, разбитаго, павшаго духомъ послѣдняго яркаго человѣка дѣйствія. Дальнѣйшее теченіе исторіи въ литературѣ еще не отразилось.

И, конечно, не стану слѣдить за всѣми отдѣльными положеніями г. Авдѣева, представляющими далеко не вездѣ одинаковый интересъ и далеко не всегда новыми и оригинальными. Я остановлюсь только на двухъ пунктахъ: на Рудинѣ и на людяхъ шестидесятихъ годовъ. Но зато эти пункты, дѣйствительно, достойны вниманія.

У насъ привыкли третировать Рудина свысока. Онъ для насъ фразеръ, болтунъ, тряпка, сплетникъ, неисправный плательщикъ долговъ. Г. Авдѣевъ совершенно справедливо утверждаетъ, что это отношеніе къ Рудину вовсе неправильно. Дѣйствительно, оно по малой мѣрѣ односторонне. Здѣсь много виноватъ г. Тургеневъ, безъ вины виноватъ, конечно. Онъ любитъ кружевную работу; возьметъ извѣстный фонъ и наплететъ на немъ множество тонкихъ и совершенно случайныхъ узоровъ, много способствующихъ особности, индивидуальности фигуры, но вмѣстѣ съ тѣмъ затемняющихъ ея основной характеръ, загромаждающихъ его. Оттого-то изъ-за тургеневскихъ образовъ и идетъ, т.-е. шла, всегда перепалка между его толкователями, и притомъ такая странная, что одинъ толкователь признавалъ бѣлымъ то, что другой называлъ чернымъ. Г. Некрасовъ тоже эксплуатировалъ типъ Рудина въ poemѣ «Сапш». Но, какъ поэтъ, болѣе, что называется, субъективный и менѣе склонный къ узорной разработкѣ случайныхъ деталей, онъ поставилъ типъ яснѣе. Онъ даже приговоръ ему подписалъ. Не пощади въ общаго характера Агарина (а не случайныхъ частныхъ въ родѣ неплатежа долговъ), поэтъ, однако, говорить:

А остальное все сдѣлаетъ время.
Сѣетъ онъ все-таки доброе сѣмя!

..... Нетронутыхъ силъ
Въ Сапшѣ такъ много сосѣдъ пробудилъ...

Именно эту точку зрѣнія по отношенію къ Рудину избралъ и г. Авдѣевъ, не упомянувъ, впрочемъ, о Агаринѣ. Добролюбовъ говорилъ о г. Тургеневѣ по поводу Инсарова: «Изъ всей Иліады и Одиссеи онъ присвоиваетъ себѣ только рассказъ о пребываніи Улиса на островѣ Калипсо. Величіе и красота идеи Инсарова не выставляются передъ нами съ такой силой, чтобы мы сами прониклись ими, и въ гордомъ одушевленіи воскликнули: «идемъ за тобой!» Припоминая эти слова, г. Авдѣевъ говоритъ, что они приложимы

и къ Рудину. Это замѣчаніе вѣрно, но Рудинъ обставленъ еще болѣе неблагоприятно, чѣмъ Инсаровъ: тотъ на островѣ Калипсо велъ себя молодцомъ, а Рудинъ сплеховалъ; тотъ, не какъ общественный дѣятель, а какъ частный человѣкъ, и не какъ типъ, а какъ индивидуальная фигура, безупреченъ, а за Рудинимъ водятся грѣшки. Рудина, какъ «политической натуры», какъ выразился о немъ Лежневъ, мы нигдѣ своими глазами не видимъ, во-первыхъ потому, что ей и разгуляться негдѣ, а во-вторыхъ, потому, что онъ дѣлаетъ свое дѣло, т.-е. ведетъ свои разговоры, гдѣ-то за кулисами. А между тѣмъ, всѣ его личные слабости, принадлежащія вовсе не типу, а личности, Дмитрію Николаевичу (такъ, помнится, зовутъ Рудина), выдвинуты впередъ и поневогѣ привлекаютъ къ себѣ особенное вниманіе зрителей. Бываетъ и въ жизни, что какая-нибудь, совершенно случайная, вовсе не существенная черта въ человѣкѣ становится ему поперекъ дороги. Въ литературѣ это случается еще чаще и ведетъ къ гораздо худшимъ послѣдствіямъ. Случайная деталь, ассоціируясь, благодаря таланту автора, съ представленіемъ объ извѣстномъ типѣ, становится поперекъ дороги уже неотдѣльной личности, а цѣлой группѣ людей. Мало ли такихъ случайныхъ деталей въ Базаровѣ и сколько онѣ бѣды надѣляли! Одно то уже, что бездарные и отъ всякаго другого постоя свободные копировщики хватились за подобные детали и на нихъ строили яко бы цѣлые характеры,—одно это сколько напакостило. Я не то говорю, что литература обязана давать идеально прекрасные образы безъ пятна и порока, безъ всякихъ личныхъ слабостей. Нѣтъ, Богъ съ ними, съ этими ходульными героями. Видали мы ихъ. Но случайная деталь не должна давить сущности, въ этомъ, именно, и состоитъ задача поэта. Иначе, одни, хватаясь за эту деталь, стремятся, и весьма часто съ успѣхомъ, ополчить и обгадить весь типъ, а другіе напираютъ на эту деталь въ противоположномъ смыслѣ, что ведетъ, однако, къ тѣмъ же, въ концѣ-концовъ, результатамъ. Такъ, именно, сложилась у насъ и репутація Рудинныхъ. Однако, изъ всѣхъ обвиненій, которыми осыпалъ Рудинъ, важно, собственно говоря, только одно:

Что въ разговорахъ онъ время проводитъ.

Но развѣ рудинскіе разговоры, зажигающіе сердца и будящіе мысли, не дѣло? Я больше спрошу: много-ли найдется большихъ, выдающихся русскихъ людей, которымъ выпало на долю что-нибудь, кромѣ разговоровъ? Русский человѣкъ, вообще говоря, въ среднемъ выводѣ, гораздо шире европейца. Не приспособившись окончательно къ той или другой частной колѣѣ, онъ способенъ къ

очень широкому размаху. Но зато и требованія онъ ставитъ своимъ лучшимъ людямъ безумно широкія. Что дѣлалъ всю жизнь какой-нибудь Прудонъ?— «Разговаривалъ», билъ набатъ, будилъ совѣсть, будилъ мысль— больше ничего. Его практическая попытка— народный банкъ— вещь жалкая въ сравненіи съ шириной теоретическаго размаха, въ сравненіи съ великимъ значеніемъ его набата, его «разговоровъ». Но Европа его все-таки никогда не забудетъ. А мы оплевали своего Рудина за то, что онъ не практиченъ и только разговариваетъ! Конечно, Прудонъ былъ пуританинъ въ частной жизни, а Рудинъ безхарактеренъ и грѣшенъ, но вѣдь до этого намъ собственно и дѣла нѣтъ, да и кто первый посмѣетъ бросить въ него камень? Конечно, Прудонъ и въ другихъ отношеніяхъ не Рудину чета, но вѣдь по Сенъкъ и шапка. Что Рудинъ былъ не бездушный фразеръ, этого и доказывать нечего, это доказала его смерть. Не смотря на нѣсколько эпилоговъ, которыми г. Тургеневъ окончилъ «Рудина», конца этой повѣсти все-таки нѣтъ. Г. Некрасовъ, по крайней мѣрѣ, своими словами доказалъ этотъ конецъ въ видѣ утвержденія: «сѣть онъ все-таки доброе сѣмя, а остальное все сдѣлаетъ время». Это-то «остальное» и составляетъ всю суть, которую г. Тургеневъ могъ бы прослѣдить и въ жизни Натальи, и въ жизни другихъ людей, въ разное время разбуженныхъ Рудинымъ. Тогда бы стало совершенно ясно, что слово этого человѣка, слабаго, но искреннаго, грѣшнаго, но способнаго вдохновляться великими идеями и вдохновлять ими другихъ,— было весьма осязательнымъ дѣломъ. Г. Авдѣевъ совершенно справедливо говорить, что Рудинъ есть первый общественный дѣятель между героями литературы. Но отчего же мы на него такъ набросились, не стараясь даже найти для него тѣхъ смягчающихъ обстоятельствъ, какія готовы были допустить относительно совершенныхъ уже бездѣльниковъ, въ родѣ Онѣгина и Печорина? Замѣчательно, что такой, въ сущности, негодный человѣкъ, какъ Печоринъ, вызвалъ тѣмъ подражателей и въ литературѣ, и въ жизни. Кто не видалъ или не слышалъ о людяхъ, корчившихъ Печорина. Рудина никогда никто не корчилъ, не смотря на весь его умъ и на поэтическій ореолъ, обвившій его несчастную голову на дрезденскихъ баррикадахъ. Пустѣйшій, мельчайшій и дряннѣйшій человѣчекъ, можетъ быть, претерпѣть сравненіе не то, что съ Печоринымъ, а хоть съ Малютой Скуратовымъ, но считать себя до послѣдней степени обиженнымъ, если вы сравните его съ Рудинымъ. До такой степени удалось г. Тургеневу загроздить его случайными деталями непри-

влекательнаго свойства. Впрочемъ, такому на первый взглядъ просто непостижимому презрѣнію къ человѣку, столь крупнаго умственнаго роста, есть и помимо кружевной работы г. Тургенева двѣ причины. Одна изъ нихъ находится въ тѣсной связи съ этой кружевной работой, другая отъ нея совершенно не зависитъ. Дѣло въ томъ, что подъ давленіемъ обстоятельствъ мы въ шестидесятыхъ годахъ сосредоточили всѣ свои стремленія на задачѣ, уже давно формулированной мною словами: какъ мнѣ жить свято? Преслѣдуя эту задачу личной нравственности всѣми силами своей души и даже подчасъ въ ущербъ задачамъ общественной дѣятельности, мы были особенно расположены смотрѣть сквозь пальцы на дѣятельный, общественный характеръ слова Рудина и, вмѣстѣ съ тѣмъ, возмѣтѣ глубочайшее презрѣніе къ личнымъ слабостямъ, которыми наградила его г. Тургеневъ. Это одна причина. Другая указана г. Авдѣевымъ. Презрѣніе къ Рудину сложилось въ такое время, когда русское общество было полно надеждъ, мня себя быть наканунѣ широкой гражданской дѣятельности. Казалось, настала пора дѣла, состоящаго не въ словесной пропагандѣ только. И въ Рудинѣ мы казнили не прошлое, а тѣхъ людей, которыхъ и въ настоящемъ, и въ будущемъ заподозрѣвали въ желаніи остановиться на «словесности». «Но теперь, замѣчаетъ г. Авдѣевъ,— когда съ той эпохи прошло 10—12 лѣтъ, когда самое молодое поколѣніе того времени успѣло уже сдѣлаться зрѣлымъ и уступить свое мѣсто болѣе молодымъ, а общественныхъ дѣятелей и дѣятельности внѣ службы все пока не явилось, пора трезво взглянуть на дѣло и не винить людей со связанными ногами, зачѣмъ они не бѣгаютъ; иначе нынѣшнее молодое поколѣніе можетъ и еще съ большимъ правомъ обратиться къ людямъ шестидесятыхъ годовъ съ тѣми упреками, съ которыми тѣ обращались къ людямъ сороковыхъ годовъ».

Впрочемъ, по отношенію къ людямъ шестидесятыхъ годовъ подобныя упреки едва-ли умѣстны. Защита Рудина совершенно законна и своевременна, но изъ этого не слѣдуетъ, что надо ломать стулья и выгораживать его въ ущербъ людямъ шестидесятыхъ годовъ. Пропаганда словомъ шла своимъ чередомъ и въ ихъ время, но нельзя же не признать, что они нѣчто дѣлали и другое, нѣчто пытались дѣлать и помимо «словесности». Нельзя не назвать дѣломъ ихъ попытки упорядочить свою личную жизнь, подчинить ее ясно сознаннымъ нравственнымъ принципамъ. Нельзя не назвать дѣломъ и другія ихъ попытки, какъ бы кто о нихъ ни судилъ... Г. Авдѣевъ, къ сожалѣнію, при полномъ желаніи отдать должное людямъ шестидесятыхъ го-

довъ, далеко не достигаетъ такой справедливости. Въ его отношеніи къ этимъ людямъ звучить, конечно, въ смягченномъ видѣ, таже распря отцовъ и дѣтей, таже враждебная нота, которая поглотила такъ много людей его времени, людей сороковыхъ годовъ. Тѣмъ интереснѣе становится уловить корень этой вражды. Что же такое, наконецъ, случилось? Съ чего всѣ эти Рудины (Рудинъ — типичнѣйшая изъ фигуръ сороковыхъ годовъ) болѣе или менѣе жестко третируютъ людей шестидесятыхъ годовъ, идущихъ, вѣдь, отчасти по ихъ стопамъ, по крайней мѣрѣ, въ генеалогическомъ смыслѣ, людей, можетъ быть, даже, именно, ими, Рудиными, вдохновенныхъ?

Что случилось? — Разночинецъ пришелъ. Больше ничего не случилось. Однако, это событіе, какъ бы кто о немъ ни судилъ, какъ бы кто ему сочувствовалъ или не сочувствовалъ, есть событіе высокой важности, составившее эпоху въ русской литературѣ. Да, и первостепенную важность этого событія должны признать рѣшительно всѣ стороны. Пусть одни утверждаютъ, что отсюда идетъ паденіе русской литературы, пусть другіе говорятъ, что съ этихъ, именно, поръ она стала достойна своего имени, — одно вѣрно: явилось нѣчто, значительно измѣнившее характеръ литературы и имѣющее будущность, предѣлы которой трудно даже предвидѣть. Этого, по мнѣнію однихъ, пятна на литературѣ — смѣть никто не въ силахъ; этого, по мнѣнію другихъ, свѣтлаго луча — погасить нельзя.

Событіе, которое я резюмирую словами: разночинецъ пришелъ, г. Авдѣевъ описываетъ и характеризуетъ слѣдующимъ образомъ: «Молодые силы, всегда честныя въ своихъ стремленіяхъ, пора освободительныхъ преобразованій, всегда возвышающая народный духъ, не могла не отозваться выгодно на нравственномъ состояніи общества; съ другой стороны, приливъ людей, выросшихъ въ неблагопріятной обстановкѣ и почувствовавшихъ потребность въ знаніи и болѣе здравыхъ понятіяхъ о жизни, не могъ не повысить уровня обращенной преимущественно къ нему литературы, которая должна была принаравляться къ его средствамъ и вкусамъ, заговорить такимъ языкомъ, популяризовать такія понятія, которыя давно уже были пережиты образованнѣйшимъ меньшинствомъ. Экономическое положеніе прилившаго поколѣнія и встрѣча его съ тѣмъ, которое было до сихъ поръ руководительнымъ, не могло остаться безъ послѣдствій и выразилось въ сектаторской нетерпимости и подозрительности. Все, что имѣло тѣнь сочувствія къ старому, что пришлось смягчить рѣзкость и крайность, что единой буквой не подхо-

дило подъ требованія новаго кодекса, считалось враждебнымъ, безчестнымъ или, по меньшей мѣрѣ, отжившимъ». И далѣе: «Вообще, характеръ этой литературы, честный и наивный, напоминаетъ первое движеніе двадцатыхъ годовъ, когда появились люди, думавшіе добродѣтелью и правдой исправить нравы и истребить зло и образовавшіе съ этою цѣлью союзъ благоденствія. Люди двадцатыхъ годовъ, побывавъ во время войны за границей, увлеклись порядками, тамъ введенными. Вновь выступившіе изъ низшей среды люди 60-хъ годовъ, познакомясь съ нѣкоторыми недоступными дотогѣ для нихъ заграничными сочиненіями, увлеклись ихъ новизною. Разница состояла въ томъ, что первые знали болѣе жизнь, были просвѣщеннѣе и зажиточнѣе и не нуждались въ тѣхъ элементарныхъ воспитательныхъ свѣдѣніяхъ, которыя оказались необходимыми для послѣднихъ». Говорится у г. Авдѣева и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ о полу-невѣжествѣ, о совершенномъ невѣжествѣ; даже знаменитая сигара Рахметова поминается.

Голый фактъ: разночинецъ пришелъ — указанъ здѣсь г. Авдѣевымъ вѣрно, но его размышленія по этому поводу далеко не основательны. Значенія событія разработано по малой мѣрѣ весьма односторонне. Фактическая сторона дѣла указана, можетъ быть, еще яснѣе, чѣмъ въ вышеприведенныхъ словахъ, въ статьѣ о Базаровѣ. «Вина ихъ (нигилистовъ), говоритъ авторъ, если это можно назвать виною, заключалась въ ихъ экономическомъ положеніи: не имѣющій не только прочнаго экономическаго положенія, но и гражданскаго, человекъ, оторвавшійся отъ старыхъ корней и невидящій возможности привиться къ чему либо, витающій, такъ сказать, въ воздухѣ, и въ очень душномъ и сыромъ воздухѣ, встрѣтился съ человекомъ, не только стоящимъ на землѣ, но и властвующимъ большою ея частью». Но мнѣ кажется, что стоитъ только вдуматься въ указываемую г. Авдѣевымъ фактическую сторону дѣла, чтобы прійти къ заключеніямъ, весьма отличнымъ отъ тѣхъ, къ которымъ пришелъ онъ.

Безъ сомнѣнія, можно владѣть землею и вмѣстѣ съ тѣмъ владѣть высокими убѣжденіями, а тѣмъ болѣе обширными знаніями. Возможность такого сочетанія богатства, высокихъ убѣжденій и обширныхъ знаній представится даже намъ съ особенною ясностью, если мы будемъ смотрѣть на вещи съ высоты вороньяго или галочьяго полета; говорю, галочьяго или вороньяго, а не вообще птичьяго, потому что птицы бываютъ разныя, и съ высоты полета сокола или орла перспектива будетъ уже, можетъ быть, совсѣмъ не та. Дѣйствительно, что можетъ быть естественнѣе предположенія, что граждански и

экономически благоприятно обставленный человекъ разовьетъ въ себѣ и въ своихъ дѣтяхъ смѣлые помыслы, высокія чувства, глубокія знанія. Въдѣ ему такъ легко всего этого добиться, тогда какъ разночинцу, съ другой стороны, приходится на пути къ свѣту проходить сквозь строй униженій, всяческой грязи, тяжелыхъ нравственныхъ, а то такъ и просто физическихъ тычковыхъ и пинковыхъ: въдѣ Шевченко страшные виды выдывалъ! въдѣ Помяловскаго, по его собственному счету, въ бурсѣ четыреста разъ выпороли! Въ самомъ непродолжительномъ времени должны выйти сочиненія покойнаго Рѣшетникова (изданіе г. Солдатенкова) съ предисловіемъ, въ которое вошли многочисленные выдержки изъ дневника и другихъ бумагъ покойнаго. Благодаря любезности автора предисловія, Г. И. Успенскаго, я имѣлъ возможность познакомиться съ этими выдержками и приведу изъ нихъ кое-что здѣсь, не дожидаясь выхода въ свѣтъ сочиненій Рѣшетникова. Надѣюсь, что болѣе выгоднаго для положеній г. Авдѣева примѣра подыскать невозможно.

Отецъ Оедора Михайловича Рѣшетникова былъ сначала дячкомъ въ Екатеринбургѣ, а потомъ почтальономъ. Поведенія онъ былъ въ такой мѣрѣ нетрезваго и для домашнихъ неудобнаго, что жена съ 9 мѣсячнымъ сыномъ (это и былъ Оедоръ Михайловичъ) должна была уйти отъ него въ Пермь къ его брату, значить, дядѣ нашего писателя, служившему также по почтовой части. Мать Рѣшетникова очень скоро умерла, и мальчикъ остался на попеченіи у дяди и тетки. Отца же своего увидалъ онъ въ *первый* разъ уже *десяти* лѣтъ отъ роду. Обстановка была, разумѣется, крайне непривлекательная. «Не можете ли вы одолжить мнѣ три копейки на пиво, ежели у васъ есть?» пишетъ къ Рѣшетникову одинъ его пріятель. «Живемъ между нищими и средними», пишетъ его дядя. «Не знаю, пишетъ отецъ Рѣшетникова, за что преслѣдуетъ почтмейстеръ съ самаго моего прибытія... Я мѣсяца съ три всяко вытягался для почтмейстера, а онъ меня такъ уважилъ... что лучше нельзя... А живу, какъ денщикъ... Покорно прошу, любезный братецъ, чтобы письмо это не узналъ кто дальше, не услышалъ бы почтмейстеръ нашъ, то онъ меня съѣстъ». Или въ другомъ письмѣ: «Почтмейстеръ проситъ, чтобы меня перевели къ нему; но сохрани меня небесная сила отъ такого ига; онъ тамъ вдостоль изъ меня оставшійся сокъ вытянетъ». Одинъ философствующій представитель этого круга пишетъ: «И вѣрно уже такой рокъ, что все предвидится только сражаться съ терпѣніемъ и хорошо бы было и то, ежели бы тому предвидѣлся хотя конецъ, но ожи-

дать того, по моему мнѣнію, не предвидится никакой надежды». Въ семействѣ дяди Рѣшетниковъ получились благозвучныя клички: «песь», «ножовое вострей», «балбесъ», «безрогая скотина», «воръ», «поганая рожа». Само собою разумѣется, что этому соотвѣтствовали всевозможныя волосянки, дранье, затрепины, битье чѣмъ попало и по чему попало. Обозлился мальчикъ страшно. Выдѣлывалъ онъ вотъ что: то засунетъ въ квашню дохлую кошку, то вымажетъ грязью чистое бѣлье, то вытащитъ изъ кипящаго самовара кранъ и заброситъ его черезъ заборъ; «меня отдерутъ, говоритъ онъ, я сяду куда-нибудь въ уголъ и думаю, что бы мнѣ еще такое сдѣлать, да такъ, чтобы никто не узналъ». Десяти лѣтъ его отдали въ бурсу, значить, къ домашней расправѣ прибавилась училищная, знакомая намъ по рассказамъ Помяловскаго. Не выдержалъ мальчикъ и бѣжалъ, но былъ, разумѣется, пойманъ и столько разнаго рода побоевъ претерпѣлъ, что вылежалъ въ лазаретѣ два мѣсяца. Но только что поправился, опять бѣжалъ и на этотъ разъ странствовать довольно долго. Шатался онъ между мужиками и мастеровыми. «Много, говоритъ онъ,—увидѣлъ я здѣсь хорошаго. Мнѣ такъ понравилась простота ихняя, что я хотѣлъ на всю жизнь остаться у нихъ». Но и другіе виды видалъ онъ. Ему пришлось столкнуться съ нищими, которые таскали его съ собою насильно, поили водкой, заставляли плясать. Наконецъ, онъ опять пошелъ домой и вновь вытерпѣлъ градъ истязаній. Съ этихъ поръ въ немъ произошла значительная перемена. Усталъ-ли онъ просто злиться или видѣнное и слышанное имъ во все время второго побѣга отвлекло его вниманіе, но злость его прошла и замѣнилась чувствомъ раскаянія, чувствомъ вины передъ своими воспитателями. Въ это-то время онъ и своего отца въ первый разъ увидалъ. Холодна была встрѣча. Рѣшетниковъ ждалъ ея съ радостью, съ вѣрою въ возможность выложить передъ отцомъ все свое горе. Но вышло не такъ. Разъ вечеромъ дядя привезъ съ собою обрюзглаго, болѣзненно-кашлявшаго почтальона. Почтальонъ этотъ жаловался, что его обижаютъ, бьютъ, каждый день бьютъ, бьютъ варварски. Это былъ отецъ Рѣшетникова. Сыну онъ только сказалъ: «Большой выросъ. Что же ты не цѣлуешь отца?» На другой день онъ упрасивалъ жену своего брата: «дери ты его... что есть мочи дери!» Когда ему предложили взять сына съ собою, онъ отвѣчалъ: «куда мнѣ съ нимъ?... не надо... мнѣ и одному горько жить». Убъжая, онъ сказалъ сыну только: «Ну, прощай! слушайся...» «Мнѣ было тяжело, говорить Рѣшетниковъ, — что отецъ

уѣхалъ, а я не высказалъ ему своего горя»... Пошло все опять своимъ чередомъ: бурса, порка, колотушки. Рѣшетниковъ переносилъ уже все это безъ прежней злобы. И такому его смиренію много способствовало слѣдующее печальное происшествіе. Между прочими услугами своимъ учителямъ онъ таскалъ для нихъ тайкомъ съ ночты газеты, а по прочтеніи послѣднихъ господами учителями бросалъ черезъ сосѣдній заборъ въ сѣнгъ. Случалось ему со страху уничтожать такимъ образомъ и разные другіе пакеты, въ числѣ которыхъ оказался одинъ важный манифестъ. Вдругъ открылась прошажа газетъ и журналовъ изъ почтовой конторы. Виновника разыскали, и тринадцатилѣтній Рѣшетниковъ оказался уголовнымъ преступникомъ. Дѣло тянулось два года; мальчикъ-преступникъ много пережилъ за это время. Онъ весь проникся мыслью своей глубокой виновности передъ благодѣтелями и воспитателями. Толчки и ругательства уже не встрѣчали съ его стороны отпора; онъ отвѣчалъ на нихъ слезами раскаянія, «благодарности», онъ даже удивлялся, что дядя и тетка не боятся держать его у себя. Дѣло Рѣшетникова окончилось ссылкой въ Соликамскъ на эпитемію въ тамошній монастырь. Здѣсь Рѣшетниковъ сблизился съ монахами, кутилъ съ ними (въ большинствѣ употребленіи было пиво, настоянное на листовомъ табакѣ) и вмѣстѣ съ тѣмъ предавался «богомыслямъ и умозрѣніямъ». На развитіе Рѣшетникова трехмѣсячное пребываніе въ монастырѣ имѣло крайне дурное вліяніе. Тяжело выписывать тѣ мѣста его дневника, гдѣ онъ, по возвращеніи уже въ Пермь, судить и ридить объ окружающемъ его мірѣ: столько здѣсь пошлости, напускного, униженія паче гордости, возрѣній съ высоты монастырской морали. Но Рѣшетникову было всего шестнадцать лѣтъ, значить, дѣло было поправимое. Въ 1859 году воспитатели его перѣхали въ Екатеринбургъ; онъ остался въ Перми одинъ и могъ дышать нѣсколько болѣе свѣжимъ воздухомъ. Онъ, между прочимъ, ѣздилъ рыбачить на Каму, гдѣ проводилъ иногда цѣлыя ночи въ кругу простого народа. «Часто въ это время, говорить онъ,—случалось, что я, сидя въ лодкѣ, глядѣлъ куда-нибудь въ даль: глаза останавливались, въ головѣ чувствовалась тяжесть, и вертѣлись слова: какъ же это? отчего это? И въ отвѣтъ ни одного слова. Очнешься и плюнешь въ воду. Начнешь удить и думаешь: ахъ, если бы я былъ богатъ, я бы накопилъ книгъ много, много... Я бы все выучилъ»... Со всѣми этими мечтами ему пришлось разстаться, какъ только онъ окончилъ курсъ въ уѣздномъ училищѣ. Онъ немедленно долженъ былъ погрузиться въ новую мертвящую среду, въ среду уѣзднаго чиновничества.

Но я не буду слѣдить за дальнѣйшими мытарствами Федора Михайловича. Для моей цѣли достаточно и приведеннаго. Притомъ же я не хочу отнимать интересъ у біографіи Рѣшетникова, которая непременно должна быть прочитана цѣликомъ всякимъ, мало-мальски интересующимся русской литературой. Тѣ же, кто бранилъ Рѣшетникова за горечь его произведеній, должны обратить особенное вниманіе на слѣдующія его собственные слова, заимствованныя изъ его дневника: «Если я пишу плохо, мысль моя не обработана, вездѣ сухо и горько, то пусть всякій (желающій судить объ этихъ описаніяхъ) пойметъ меня и мою жизнь». Впрочемъ, ниже я еще буду ссылаться на бумаги Рѣшетникова и здѣсь приведу выдержки изъ писемъ къ нему дяди, представляющія напутствіе на литературное поприще: «Я не ладилъ и даже не желалъ сдѣлать изъ тебя поэта или какого-либо дурака, а всегда старался сдѣлать изъ тебя умнаго образованнаго человѣка». «А. С. сказалъ мнѣ, что ты составилъ сочиненіе о грязномъ или черномъ озерѣ, гдѣ ты описалъ много поступковъ губернскихъ начальниковъ, за что тебя этакого поэта даже вызывали черезъ печатаніе въ газетахъ... Изъ этого видно, къ чему ведетъ наша поэзія, какъ не къ погибели человѣческой. Напрасно строишь ты воздушные замки, которыхъ намъ состарѣться, а не видать; а этими непріятностями сокращаешь дни моей жизни. Неужели я съ тою цѣлью училъ тебя, воспиталъ и опредѣлилъ на службу. Чтобы изъ потомковъ моихъ кто-либо сдѣлался клеветникомъ на начальниковъ? Поэтому еще нахожу средство послѣднее: окопировать тебя и не желать себѣ болѣе поэтовъ изъ племянниковъ». «Пожалуйста, поэзію свою оставь, она не совсѣмъ у мѣста; и если надо за нее заняться, то совершенно основательно и съ разборомъ каждое слово надобно одумавши вставить, такъ чтобы остатковъ отъ него не было»...

Вечеромъ яснымъ она у потока стояла,
Моя прозрачная ножка во влагѣ жемчужной...

Это мнѣ Щербина вспомнился, который умѣлъ «совершенно основательно и съ разборомъ каждое слово одумавши вставить, такъ, чтобы отъ него остатковъ не было»...

Ясно, что исторія развитія разночинца есть печальнѣйшая изъ исторій; существуетъ очень большая вѣроятность, что ему не развить въ себѣ высокихъ чувствъ, глубокихъ знаній, смѣлыхъ помысловъ. Ему-ли, забитому, каждую минуту чувствующему надъ собою чей-нибудь гнетъ, ему-ли, на жизненномъ пути котораго стоятъ то монастырская жизнь съ пивомъ, настояннымъ на табакѣ, то банда нищихъ, то всезатирающая канцелярская работа, ему-ли, наконецъ,

который такъ близокъ къ уголовному преступленію... Нѣтъ, г. Авдѣевъ еще слишкомъ мягокъ. Во всякомъ случаѣ, съ высоты вороньяго полета ни малѣйшему сомнѣнію подлежать не можетъ, что вторженіе разночинца должно понизить уровень литературы, ибо онъ, разночинецъ, дѣйствительно нуждается въ элементарныхъ понятіяхъ, досконально усвоенныхъ образованнѣйшимъ меньшинствомъ, не только стоящимъ на землѣ, но и владѣющимъ большею ея частью. Да здравствуетъ высота вороньяго полета!...

Пусть здравствуетъ, но пора, наконецъ, спуститься съ нея на землю. Здѣсь, на этой низменной землѣ, которую ипохондрики зовутъ комомъ грязи и которая иногда такъ странно разрываетъ своею неуклюжею реальностью сѣтъ нашихъ логическихъ разсужденій, мы увидимъ нѣчто иное. Мы увидимъ, что въ дѣйствительности сочетаніе богатства, смѣлыхъ помысловъ, высокихъ чувствъ и обширныхъ знаній составляетъ явленіе довольно рѣдкое вообще, а на Руси православной и подавно. Нѣсколько блестящихъ исключеній не должны затемнять общую истину. Отчего это зависитъ, это особѣ статья, но во всякомъ случаѣ таковъ фактъ, противъ котораго, конечно, и г. Авдѣевъ спорить не будетъ. Онъ скажетъ, что никогда и не думалъ игнорировать этотъ фактъ, что онъ имѣлъ въ виду только тѣхъ представителей двадцатыхъ и сороковыхъ годовъ, которые обладали означеннымъ сочетаніемъ матеріальной обеспеченности, знаній и высокихъ убѣжденій, только образованнѣйшее меньшинство, руководившее литературу (разумѣя здѣсь не только писателей, а и читателей, не только предложеніе, а и спросъ). Я знаю, что такова мысль г. Авдѣева, но мнѣ нужно было напомнить тотъ общезвѣстный фактъ, что въ самой «зажиточности», въ самомъ «владѣніи большею частью земли» есть какіе-то элементы, какъ будто неблагоприятствующіе умственному и нравственному развитію. Сдѣлавъ это общее и пока весьма неопредѣленное замѣчаніе, посмотримъ, въ какой мѣрѣ дѣйствительно люди сороковыхъ и двадцатыхъ годовъ имѣли преимущество передъ людьми шестидесятыхъ годовъ. Возьмемъ сначала знаніе. Г. Авдѣевъ категорически заявляетъ, что прежніе дѣятели не нуждались въ тѣхъ элементарныхъ свѣдѣніяхъ, которыхъ потребовали нахлынувшіе въ шестидесятыхъ годахъ разночинцы. Это мнѣніе довольно распространенное и имѣетъ за себя много соображеній съ высоты вороньяго полета. Но какъ его доказать? гдѣ найти мѣрило знанія? Если мы возьмемъ мѣрило официальное, то найдемъ, что, напримѣръ, двое самыхъ видныхъ въ литературѣ шестидесятыхъ годовъ разночинцевъ кончили полный курсъ наукъ, одинъ,

Добролюбовъ, въ педагогическомъ институтѣ, другой въ университетѣ. Между тѣмъ, какъ истинный вождь сороковыхъ годовъ—Бѣлинскій былъ, во-первыхъ, разночинецъ, во-вторыхъ, «недоучившійся студентъ», котораго, напримѣръ, г. Погодинъ еще до сихъ поръ (см. «Простая рѣчь о мудреныхъ вещахъ») громить за невѣжество. Я отнюдь не думаю напирать на это обстоятельство и основывать на немъ какія бы то ни было заключенія. Я хочу только убѣдить г. Авдѣева, что есть слова и предложенія, которыя очень легко сказать и обставить весьма приличными силлогизмами, но которыя очень трудно доказать фактически. Если мы ухватимся за мѣрило не официальное и станемъ сравнивать число журнальныхъ статей и книгъ научнаго содержанія въ сороковыхъ и шестидесятыхъ годахъ, то г. Авдѣевъ объяснитъ, пожалуй, существующій въ этомъ отношеніи прогрессъ именно тѣмъ, что понадобились знанія, которыя прежде представляли нѣчто совершенно уже всѣми усвоенное. А я объясню тѣмъ, что уровень знаній поднялся. И я думаю, что на моей сторонѣ будетъ больше правды, потому что г. Авдѣевъ во всемъ своемъ разсужденіи не примѣтилъ одного маленькаго слона,—Европы. Вотъ если бы г. Авдѣевъ доказалъ, что съ 1840 по 1860 года и въ Европѣ не прибавилось знаній или если бы по крайней мѣрѣ ему удалось установить независимость нашего умственнаго развитія отъ европейскаго за это время, тогда другое дѣло. Но вѣдь ни того, ни другого, т. е. ни застоя въ умственномъ развитіи Европы, ни нашей независимости, не было. Есть, правда, вещи, какъ, напримѣръ, гегелевская философія, которыя были очень хорошо знакомы людямъ сороковыхъ годовъ и, можно сказать, вовсе неизвѣстны людямъ шестидесятыхъ годовъ. Но подобныя явленія объясняются общимъ ходомъ умственнаго прогресса. За эти двадцать лѣтъ въ Европѣ опытные науки повели къ обобщеніямъ, подмывшимъ основы гегелевской философіи,—тоже случалось и у насъ. За эти двадцать лѣтъ въ Европѣ рѣзко обозначались двѣ противоположныя экономическія доктрины, поднялся уровень естествознанія, явились попытки приложенія его къ исторіи, явилась теорія Дарвина, теорія единства силъ и проч. Все это принималось и усиленно разрабатывалось и у насъ. Вѣдь не пророки же были люди сороковыхъ годовъ и не могли же они имѣть свѣдѣнія, можетъ быть и ставшія впоследствии элементарными, но въ ихъ время еще никому недоступныя. Научныя истины, которыя распространяли и популяризировали люди шестидесятыхъ годовъ, никѣмъ образомъ не могли быть элементарными для образованнѣйшаго меньшинства сороковыхъ годовъ. Напротивъ, для усвоенія этихъ истинъ.

люди сороковых годовъ должны были пережить не мало внутренней ломки, и далеко не все они вышли изъ этой борьбы побѣдителями. Понятное дѣло, что того, что г. Авдѣевъ называетъ полузнаніемъ, было въ шестидесятыхъ годахъ не мало, но не мало его было и въ сороковыхъ годахъ. Притомъ же полузнаніе вещь крайне неопредѣленная. Повторяю, Михайлъ Петровичъ Погодинъ до сихъ поръ преслѣдуетъ тѣнь Бѣлинскаго упреками въ полузнаніи. А Бѣлинскій за собой много людей водилъ, и не худшихъ. Или, можетъ быть, другой гениальный человѣкъ, на которомъ воспитывались лучшіе люди сороковыхъ годовъ, — Гоголь былъ очень просвѣщенный человѣкъ? Очевидно, снисходительное полупрезрѣніе г. Авдѣева въ этомъ отношеніи совершенно неумѣстно. Само собою разумѣется, что людямъ шестидесятыхъ годовъ нельзя поставить въ заслугу, что они знали или стремились знать то, что должны были знать; ни людямъ сороковыхъ годовъ въ вину поставить нельзя, что они не знали того, чего и не могли знать. Я и заговорилъ объ этой матеріи только потому, что г. Авдѣевъ на нее нападаетъ. Я съ своей стороны думаю, что это пунктъ совершенно безразличный въ вопросѣ о борьбѣ отцовъ и дѣтей. И тѣ учились и учили чему могли въ свое время и эти тоже. Разночинецъ, т.-е. извѣстное социальное положеніе, въ этомъ случаѣ не играетъ никакой роли, ибо зажиточность не исключаетъ невѣжества и съ успѣхомъ замѣняется рвеніемъ, искреннимъ желаніемъ научиться. Притомъ же, и самая наука въ шестидесятыхъ годахъ, не переставая быть наукой, стала дешевле, экономически общедоступнѣе: облегчился доступъ въ университеты, иностранныя книги стали переводиться въ огромномъ количествѣ и проч. Совсѣмъ, значить, дѣло не въ этомъ. Г. Авдѣевъ рѣшительно не воспользовался многочисленными выгодами своей собственной точки зрѣнія, своего собственнаго основнаго положенія: разночинецъ пришелъ. Въ какой мѣрѣ легкомысленно относится онъ къ дѣлу, видно изъ вышеприведенной его параллели между двадцатыми и шестидесятыми годами. Тогда, говорить, молодые люди побывали во время войны за границей и увлеклись тамошними порядками, и теперь, говорить, молодые люди познакомились съ нѣкоторыми недоступными имъ дотошъ заграничными сочиненіями и увлеклись ими; только, говорить, первые были просвѣщеннѣе, зажиточнѣе и не нуждались и т. д. Удивительно, какъ просто иногда открываются ларчики! Нѣтъ, милостивый государь, разночинецъ принесъ съ собой нѣчто положительное, нѣчто, кромѣ своей бѣдности и усилій пріобрѣсти знанія. Кстати, о людяхъ двадцатыхъ годовъ. Въ январской

книжкѣ «Русскаго Вѣстника» напечатанъ отрывокъ «Изъ біографіи графа М. Н. Муравьева» г. Кропотова. Если не ошибаюсь, полная біографія выйдетъ въ скоромъ времени. Въ напечатанномъ отрывкѣ, между прочимъ, читаемъ: «Одинъ изъ моихъ знакомыхъ, имѣвшій возможность познакомиться во время странствованій своихъ по Сибири въ концѣ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ со многими декабристами, замѣтивъ, что значительная часть ихъ не знаютъ первыхъ основаній политическихъ наукъ, спросилъ однажды Никиту Муравьева: какимъ образомъ, не бывъ вовсе подготовлены образованіемъ для политической дѣятельности, вы рѣшились принять на себя громадный трудъ всесторонняго преобразованія нашего государства? «Ваше замѣчаніе вѣрно, отвѣчалъ Муравьевъ:—мы затѣяли дѣло полными невѣждами и только здѣсь принялись за книги, читаемъ ихъ, учимъ другъ друга и стараемся образоваться, чтобы поддержать въ публикѣ то доброе мнѣніе, которое она составила о насъ». «Время умудряетъ», замѣчаетъ г. Кропотовъ. Свидѣтельство неизвѣстнаго знакомаго г. Кропотова имѣетъ тѣмъ менѣе цѣнности, что и весь напечатанный до сихъ поръ отрывокъ изъ біографіи графа Муравьева заключаетъ въ себѣ вещи весьма странныя. Можетъ быть, все, что рассказываетъ г. Кропотовъ и вѣрно, но многое изъ того, что онъ говоритъ о военныхъ поселеніяхъ, о бунтѣ семеновскаго полка, о декабристахъ, стоитъ въ литературѣ совершенно одиноко. Притомъ же свидѣтельство неизвѣстнаго знакомаго г. Кропотова страдаетъ противорѣчіемъ: онъ уже въ концѣ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ поражаема невѣжествомъ декабристовъ, значить, они дѣтъ пятнадцать совершенно задаромъ читали книги и старались образоваться. Пятнадцатилѣтній упорный трудъ не повелъ ни къ чему: каковы, значить, не только невѣжды, а и Богомъ обиженные тупицы! Такъ-то легко хватить черезъ край въ сужденіяхъ о чьей-нибудь невѣжествѣ, г. Авдѣевъ! Примите это къ свѣдѣнію *).

*) Мнѣ хочется дать еще одинъ урокъ г. Авдѣеву. На стр. 8 нашъ почтенный балетристъ говоритъ: «Не умираютъ-ли для современнаго большинства всѣ идеальныя герои *Шиллера*, этого ультра-идеалиста? Отъ этого-то титанъ *Викисла*, *Шекспиръ*, и не брался за подобныя лица, и во всей галлерей созданныхъ имъ образовъ является безукоризненнымъ лицомъ развѣ одинъ *маркизъ Поза*, да и тотъ остался для насъ не образцомъ для подражанія, а типомъ наивнаго, непригоднаго для жизни благородства». Я могъ бы сказать по этому случаю г. Авдѣеву: вотъ вы люди просвѣщенные и зажиточные, не нуждающіеся въ эле-

Хвачено, дѣйствительно, черезъ край, такъ что поневолѣ сомнѣніе беретъ. Я склоненъ думать, что правъ не г. Кропотовъ, а г. Авдѣевъ, что декабристы были не невѣжественныя тупицы, а люди просвѣщенные. Но какая всетаки наивность воображать, что разница между людьми двадцатыхъ и шестидесятыхъ годовъ состоитъ только въ степени просвѣщенія и что разночинецъ только и сдѣлалъ, что увлекся нѣкоторыми заграничными сочиненіями, дотолъ ему неизвѣстными! Довольно тоже наивно говорить, что декабристы были жизненнымъ опытомъ богаче разночинцевъ...

Въ движеніи двадцатыхъ годовъ принимали участіе различнаго общественнаго положенія люди, но ядро ихъ составляла военная молодежь аристократическаго происхожденія. Я не могу говорить объ этихъ людяхъ такъ, какъ хотѣлъ бы, а говорить такъ, какъ могу,—не хочу. Поэтому оставимъ ихъ совсѣмъ въ сторонѣ, да они намъ въ настоящемъ случаѣ и не нужны. Такъ называемые люди сороковыхъ годовъ представляютъ группу гораздо менѣе опредѣленную, что касается ихъ общественнаго положенія: тутъ и профессоръ былъ, и помѣщикъ и литературный работникъ и проч. Но ядро ихъ все-таки различить можно. Это были средней руки дворянинъ, человѣкъ достаточно обеспеченный, чтобы получить болѣе или менѣе правильное, въ школьномъ смыслѣ, воспитаніе, т. е. кончить курсъ въ гимназій и въ университетѣ, русскомъ или нѣмецкомъ, а затѣмъ еще, можетъ быть, проживать внѣ государственной службы; человѣкъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ весьма тонко и, такъ сказать, чутко развитой, способный и къ ухищреннѣйшему самогрызенію и анализу лишннихъ людей, и къ буженію другихъ пламеннымъ краснорѣчіемъ Рудина, и къ наслажденію прекраснымъ и истиннымъ. Но за всѣмъ тѣмъ, міросозерцаніе его страдаетъ крайнею неопредѣленностью, благодаря, конечно, неопредѣленности его общественнаго положенія: онъ «ни въ тихъ, ни въ сихъ». У нѣкоторыхъ эта неопредѣленность доходила до того, что міросозерцаніе ихъ можетъ быть сравниваемо съ весьма каллиграфически изображеннымъ нулемъ необыкновенно большого діаметра. Ихъ божествомъ была, какъ растягиваетъ тургеневскій Потугинъ, цивилизація, причемъ вырѣзывались съ особенною яркостью два элемента цивилизаціи: философія и искусство. Не имѣя, собственно

говоря, никакихъ преданій, стыдятся и презирая прошлое, не имѣя ничего общаго съ тогдашнимъ настоящимъ, не имѣя причинъ вѣрять особенно сильно въ будущее своего отечества, они естественно должны были искать наслажденія по возможности въ отрѣшенныхъ отъ жизни сферахъ отвлеченной истины и отвлеченной красоты. Къ окружающей ихъ дѣйствительности они должны были, конечно, относиться отрицательно, но въ большей части случаевъ, постоявъ передъ ней въ позѣ красиваго унынія, они стремились уйти отъ ея сквернъ въ тихое пристанище гегелевской діалектики и прекрасныхъ образовъ. Здѣсь они были вполне у себя дома, искренно молились своей мысли и своимъ образамъ, искренно дорожили соотвѣтственными благами цивилизаціи. Однако, съ теченіемъ времени въ этомъ акафистѣ красотъ и безусловной истинѣ, на который уходили часто очень большія силы, стали все слышнѣе и слышнѣе пробиваться чисто земныя ноты. Геній Бѣлинскаго сжегъ многое изъ того, чему онъ поклонялся, и поклонился многому, что сжигалъ. Небольшая группа стоявшихъ около него людей яснѣе опредѣлила свое міросозерцаніе и свои требованія отъ жизни, и чисто земныя, просто жизненные задачи—освобожденіе крестьянъ и освѣщеніе политической атмосферы—заклопотали подъ красивой корою искусства и философіи.

Разночинецъ пришелъ съ своей стороны къ тѣмъ же общимъ задачамъ, но совсѣмъ инымъ путемъ. Я опять обращаюсь къ біографіи Рѣшетникова. Я рассказалъ уже, какъ онъ, послѣ обрушившагося на него уголовного дѣла, внезапно проникся сознаніемъ своей виновности передъ воспитателями, и, вообще, совершенно пережился. Его уважаемый біографъ говоритъ по этому поводу: «Это была самая дорогая минута въ развитіи Ѳ. М. Мысль его была возбуждена до высшей степени. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы отъ ненависти къ врагамъ дойти не только до прощенія ихъ, но даже до боязни какъ они могутъ его держать, оправдать ихъ и благодарить со слезами,—мысль маленькаго Рѣшетникова должна была коснуться массы общественныхъ вопросовъ, должна была работать надъ всѣмъ механизмомъ окружающей его жизни, вникать въ самыя мельчайшія подробности этого механизма... Минута, повторяемъ, была драгоценная для самаго плодотворнаго принятія знанія». Можетъ быть, въ этихъ теплыхъ словахъ нѣсколько преувеличено значеніе именно этой минуты въ жизни Рѣшетникова. Но вѣрно то, что ему, дѣйствительно, приходилось очень рано усваивать и развивать въ себѣ такіа «элементарныя понятія», какія даже лучшимъ

ментарныхъ понятіяхъ, вы, говорятъ, въ искусствѣ собаку съѣли, а Шекспира съ Шиллеромъ мѣшате! Я могъ бы по этому случаю предаться нѣкоторымъ громоноснымъ или ироническимъ обобщеніямъ, но, конечно, этого не сдѣлаю.

изъ людей сороковыхъ годовъ давались, по необходимости, только съ большимъ трудомъ. Выше было говорено, что совершенно неосновательно говорить о сравнительной непросвѣщенности людей шестидесятыхъ годовъ, что это точка зрѣнія по малой мѣрѣ бесплодная. Но вотъ Рѣшетниковъ, избранный мною въ качествѣ типической фигуры, всегда былъ и остался человѣкомъ необразованнымъ, скажете, можетъ быть, читатель. Да, Рѣшетникову, не смотря на всѣ его усилія, не удалось пробиться къ научному собственно свѣту. Но не въ этомъ и дѣло. Были между разночинцами люди, добившіеся знанія въ не меньшей степени, чѣмъ какою обладали для своего времени люди сороковыхъ годовъ. Пристало къ движенію не мало молодежи изъ того круга, изъ котораго въ свое время выходили Рудины, Лаврецы, лишние люди, Обломывы. Были и люди болѣе или менѣе темные, какъ Рѣшетниковъ. Но ихъ ужъ ни въ какомъ случаѣ нельзя уличать въ заносчивости полупросвѣщенія, о которой говорить г. Авдѣевъ. Изъ бумагъ Рѣшетникова видно, до какой степени жаждалъ онъ указаній, съ какимъ недовѣріемъ относился онъ къ своимъ произведеніямъ, въ которыхъ стоялъ только за одно, — за «правду». Знаніе этой правды Рѣшетниковъ и принесть съ собою и ни на какое другое претензій не имѣлъ. Другимъ разночинцамъ, какъ Базарову, дѣдъ котораго землю пахалъ, удалось прибавить къ этому житейскому знанію знаніе научное. Но, повторяю, въ занимающемъ насъ вопросѣ не въ этомъ дѣло. Намъ нужно знать, что принесть съ собою разночинецъ, какъ разночинецъ. Поэтому-то біографія Рѣшетникова и дорога для меня. И вижу я изъ нея, что Рѣшетниковъ принесть съ собою, во-первыхъ, глубокое знаніе народной жизни, приобретенное имъ въ непосредственныхъ столкновеніяхъ съ бурлаками, съ заводскими рабочими (изъ послѣднихъ одинъ, какъ видно изъ біографіи, имѣлъ сильное вліяніе на развитіе въ Рѣшетниковѣ потребности «дѣлать пользу» бѣдному человѣку), съ мужиками; принесть онъ, во-вторыхъ, особенный взглядъ на вещи, тоже выкованный его непосредственною обстановкой. Этотъ-то особенный взглядъ для насъ преимущественно интересенъ. Онъ не составляетъ чего-нибудь совершенно исключительнаго, невозможнаго для человѣка, не прошедшаго тяжелой школы разночинца. Но такому постороннему человѣку онъ дается лишь съ большимъ трудомъ, если ему не помогаютъ исключительныя обстоятельства благопріятнаго личнаго развитія. Возьмемъ какое-нибудь «элементарное понятіе», общее и людямъ шестидесятыхъ годовъ и нѣкоторымъ изъ людей сороковыхъ годовъ. Бѣлинскій, напримѣръ, не смотря

на свои громадныя силы, только послѣ долгихъ скитаній по пустынямъ чистой эстетики, пришелъ къ слѣдующему дѣйствительно элементарному понятію: «отнимать у искусства право служить общественнымъ интересамъ значить не возвышать, а унижать его, потому что это значить лишать его самой живой силы, т.-е. мысли, дѣлать его предметомъ какого-то сибаритскаго наслажденія, игрушкой праздныхъ лѣннивцевъ». Посмотрите же теперь, какъ просто, какъ естественно, какъ, можно сказать, фатально дошелъ до этого элементарнаго понятія, далеко не всѣми людьми сороковыхъ и иныхъ годовъ усвоеннаго, Рѣшетниковъ. Мальчикомъ еще онъ писалъ для крестьянъ письма (конечно за гроши, которые шли на умиротвореніе учителей), причемъ узналъ много крестьянскаго горя и крестьянскихъ радостей. Потомъ и въ другихъ формахъ ему приходилось приложить трудъ, часто физическій, съ очевидною пользою для другихъ людей. Въ 1860 году его опредѣляютъ помощникомъ столоначальника въ уѣздномъ судѣ. Онъ немедленно ориентировался вотъ въ какомъ родѣ. «Мнѣ страшно казалось, пишетъ онъ, рѣшать участь человѣка и я сталъ читать бумаги и дѣла, заглядывалъ въ разныя мѣста, читалъ разныя копіи, реестры и все то, что ни попадалось на глаза. Когда я бывалъ дежурнымъ, то рылся вездѣ, гдѣ не заперто, и узналъ здѣсь очень многое». По мѣрѣ его дальнѣйшаго знакомства съ положеніемъ разнаго бѣднаго люда, въ немъ сильнѣе говоритъ сознаніе обязанности «дѣлать пользу». Просыпается этическая способность, жажда творчества. Онъ мучительно трепещетъ за свои силы, анализируетъ самъ себя, проситъ всѣхъ и cadaго высказать свое искренне мнѣніе о его произведеніяхъ и его литературныхъ способностяхъ. Онъ даже подсказываетъ разнымъ компетентнымъ, по его мнѣнію, лицамъ неблагопріятныя отзывы, которые, однако, его глубоко огорчаютъ. Но это далеко не голое авторское самолюбіе, онъ ни на минуту не забываетъ своей обязанности быть полезнымъ. Вотъ глубоко трогательныя слова изъ его дневника: «Сегодня, 5-го сентября 1861 года, я поздравилъ себя съ двадцать первымъ годомъ моей жизни. А что я сдѣлалъ въ эти 20 лѣтъ? Ничего кромѣ нѣсколькихъ черновыхъ сочиненій... Кромѣ горя ничего не было. Дай Богъ созрѣть моимъ мыслямъ и исполниться желаніямъ людей, читавшихъ мои сочиненія, и быть изъ нихъ (сочиненій) дѣльному не для себя только, но и для пользы нашего русскаго народа. Дай Богъ мнѣ терпѣніе, сносить яремъ моей бѣдной жизни и жить въ трудѣ, безъ гордости, самообольщенія, не

увлекался мелькающими въ воображеніи мечтами... Это двадцатилѣтній юноша пишет! Отправляя своихъ «Подлиповцевъ» въ «Современникъ», Рѣшетниковъ писалъ въ редакцію, что описанные имъ люди дѣйствительно существуютъ, что онъ коротко знаетъ ихъ быть и «задумалъ написать бурлацкую жизнь, съ цѣлью хотъ сколько-нибудь помочь этимъ бѣднымъ труженикамъ». Я не думаю, чтобы цензура нашла что-нибудь въ этомъ очеркѣ невозможное для пропуса; по моему, написать все это иначе значить говорить противъ совѣсти, написать ложь. Наша литература должна говорить правду. Вы не повѣрите, я даже плакалъ, когда передо мной очерчивался образъ Пилы во время его мученій». Въ числѣ бумагъ Рѣшетникова найдено прошеніе къ оберъ-полицеймейстеру. Въ немъ разсказывается, какъ Ѳеодоръ Михайловичъ однажды былъ прибитъ. При этомъ онъ пишетъ: «Я ничего не ищу. Я только объ одномъ осмѣливаюсь утруждать васъ, чтобы пристава, квартальные, ихъ подчаски и городовые не били народъ... Этому «народу» и такъ придется много получать всякой всячины»...

Вечеромъ яснымъ она у потока стояла,
Моя прозрачныя ножки во влагѣ жемчужной...

Опять Щербина вспомнился.

И совсѣмъ не кстати...

Вотъ, значитъ, какъ просто далось Рѣшетникову одно изъ «элементарныхъ понятій», съ которымъ съ такимъ трудомъ справлялись лишь немногіе изъ людей сороковыхъ годовъ. Да и не далось оно ему, а чуть-что не съ нимъ родилось. Добейся этотъ чловѣкъ научнаго знанія, онъ направилъ бы его на тѣ же цѣли, имѣя онъ власть, владый онъ только физической силой, только грамотностью, онъ все это пустилъ бы въ ходъ на благо народа, какъ пустилъ онъ свою поэтическую способность, свои творческія силы.

Теперь представимъ себѣ, что чловѣка этого посадили бесѣдовать со Щербиной или хоть съ г. Ларошемъ. Какой у нихъ разговоръ можетъ выйти? Г. Ларошъ начнетъ снисходительно терпѣть соціальныя мотивы въ искусствѣ, Щербина залетѣетъ соловьемъ на счетъ того, что нужно «зло безъ образовъ таить». Рѣшетниковъ этого органически понять не можетъ, это для него тарабарская грамота; а онъ еще вдобавокъ чловѣкъ грубый, вѣжливости ему научиться негдѣ было, вотъ и жесточайшая перепалка готова. Что касается людей сороковыхъ годовъ, то изъ нихъ лишь немногіе поднялись вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ на послѣднюю ступень его развитія. Да и изъ этихъ немно-

гихъ многіе потомъ обратились вспять. Въ своемъ извѣстномъ письмѣ къ Гоголю по поводу «Переписки съ друзьями» Бѣлинскій очень опредѣленно выразилъ свою политическую программу. Онъ писалъ: «Самые живые современные національные вопросы Россіи теперь: уничтоженіе крѣпостного права и отмѣненіе тѣлеснаго наказанія, введеніе по возможности строгаго выполненія тѣхъ законовъ, которые уже есть». Когда эти требованія были отчасти удовлетворены, люди сороковыхъ годовъ стали въ недоумѣніи: чего-жъ еще теперь надо? Опять-таки развѣ дальнѣйшихъ общихъ категорій цивилизаціи: распространенія просвѣщенія, развитія свободы, увеличенія благосостоянія. Но программа, въ такой мѣрѣ общая, есть программа не дѣйствія, а бездѣйствія. Значить, все обстоитъ благополучно и надо только, чтобы было благополучіе. Значить, можно опять таить зло, безъ образовъ, пунктъ, впрочемъ, никогда на дѣлѣ не осуществившійся, потому что исповѣдывавшіе его что другое, а зло вигилизма безъ образовъ не таили.

Разночинецъ не могъ довольствоваться общими категоріями цивилизаціи, изъ которыхъ выходили люди сороковыхъ годовъ. Онъ цѣнилъ ихъ лишь по отношенію къ народу, и благо послѣдняго было для него такимъ же критеріемъ, какимъ для людей сороковыхъ годовъ были отвлеченныя категоріи цивилизаціи. Это различіе исходныхъ точекъ разночинцевъ и людей сороковыхъ годовъ не всегда отзывалось распрей въ конечномъ пунктѣ ихъ работы. Въ сороковыхъ годахъ, напримѣръ, довольно много работали на почвѣ экономическихъ вопросовъ Милютинъ, писатель замѣчательный, умный, талантливый и вовсе у насъ не оцененный. Если вы сравните его изслѣдованія съ трудами нѣкоторыхъ нашихъ позднѣйшихъ экономистовъ изъ разночинцевъ, вы увидите, что, не смотря на очевидную разницу ихъ исходныхъ точекъ и даже логическихъ приемовъ, они, въ концѣ концовъ, говорили одно и то же. Но хотя такимъ образомъ и всѣ дороги ведутъ въ Римъ, надо все-таки, чтобы въ чловѣкѣ какимъ-нибудь способомъ засѣло искреннее желаніе попасть въ Римъ. А въ этомъ-то и состоитъ трудность, которую преодолѣть могли только немногіе изъ людей сороковыхъ годовъ. Вслѣдствіе чего различіе исходныхъ точекъ вело къ непримиримой враждѣ. Разночинецъ чувствовалъ, а часто даже и понималъ, что процессъ цивилизаціи, разумѣмой въ видѣ общихъ и отвлеченныхъ категорій, совершается на счетъ народа, что водвореніе этихъ общихъ категорій подаетъ народу камень вмѣсто куска хлѣба. Онъ чувствовалъ

и понималъ, что наука для науки, искусство для искусства суть только особыя формы служенія настоящему, тяжелому для него порядку вещей; что свобода политическая и экономическая, какъ отвлеченная категория, въ дѣйствительности разрѣшается въ свободу однихъ притѣснять другихъ. Въ великихъ созданіяхъ человѣческаго ума, если они служили отвлеченнымъ категориямъ цивилизаціи, онъ чувалъ то самое оскорбленіе народу, изъ-за котораго греческій рабъ разбилъ бы статую Фидіа, если бы понялъ ея значеніе. Помните, какъ Писаревъ валилъ Пушкина. Это была своего рода Вандомская колонна. Но не Писаревъ, Дмитрій Ивановичъ, валилъ ее, онъ былъ только таранъ въ рукахъ разночинца. Но, вѣдь, это варварство? Да, варварство, но его было легко предупредить, легче по крайней мѣрѣ, чѣмъ вторженіе варваровъ въ Римъ. Не Пушкина собственно валилъ разночинецъ руками Писарева. Разночинецъ былъ для такого упражненія слишкомъ реаленъ, слишкомъ поглощенъ всеческими нуждами настоящаго и заботами о будущемъ. Пушкина, какъ грандіозный памятникъ прошедшаго, онъ не тронулъ бы, если бы ему было гарантировано на будущее время торжество его принципа, его исходной точки, побѣды идеи народа надъ отвлеченными категориями цивилизаціи. А ему что говорили? Ему говорили: какъ! для тебя мы погнемъ свои отвлеченные категории! да ты и требовать не смѣешь, чтобы искусство, наука, промышленность, свобода служили тебѣ! получай, что придется на твою долю въ остаткѣ и молчи! эти вещи выше тебя, пусть онѣ растутъ, хотя бы на твоей согнутой спинѣ!—Вотъ чего никакимъ образомъ не могъ переварить разночинецъ и, надѣясь, это понятно и естественно. Онъ, вѣдь, зналъ, хотъ можетъ быть и не сумѣлъ бы формулировать свое убѣжденіе, онъ зналъ, что это лицемеріе или недоразумѣніе; что человѣкъ, служащій чистому искусству, чистой наукѣ, просто промышленности, просто свободѣ, служить, подъ видомъ возвышенныхъ отвлеченныхъ категорій, интересамъ людей, надъ народомъ стоящихъ.

Вотъ, по моему мнѣнію, корень распри отцовъ и дѣтей; распри весьма прискорбной, потому что я склоненъ думать, что въ большей части случаевъ не лицемеріе управляло отцами, что они были жертвами недоразумѣнія. Я понимаю, что имъ дороги памятники прошлаго, такъ какъ они остались, цѣликомъ, безъ урѣзокъ. Но, повторяю, ихъ бы никто не коснулся, если бы въ будущемъ обѣщаны были иные памятники. Я понимаю тоже, что отцовъ отталкивала нѣкоторая грубость разночинца. Но, вѣдь, это ужъ совершенный пустякъ. А подрались... Жаль, тѣмъ болѣе, что

у отцовъ и дѣтей такъ много общаго въ виду современныхъ дѣльцовъ, заподозрить которыхъ въ недоразумѣніи уже никоимъ образомъ нельзя. Во всякомъ случаѣ, хотя шапки нынѣ уже и смѣшались, пришествіе разночинца остается событіемъ первостепенной важности, и г. Авдѣевъ его далеко не оцѣнилъ. Точка зрѣнія, принесенная разночинцемъ, можетъ время отъ времени слабѣть и горѣть слабымъ огонькомъ, но умереть не можетъ.

«Героиня» г. Авдѣева мнѣ приходится отложить до слѣдующаго раза, потому что это тоже матерія очень любопытная. Тамъ мы опять встрѣтимся съ разночинцемъ и договоримъ недоговоренное.

IV. *)

„Героиня“ г. Авдѣева.—Разночинцы и кающіеся дворяне.—Женскій вопросъ.—„Народныя юридическія воззрѣнія на бракъ“ г-жи Александры Ефимовны („Знаніе“, № 1)—„Вопросъ“ г. Майкова.—Новые рассказы г. Тургенева.—„Склячина“.

Рядъ «героинь» открывается у г. Авдѣева Софьей Павловной Фамусовой. Затѣмъ идутъ пушкинская Татьяна, лермонтовскія Бѣла, княжна Мери и Вѣра, тургеневскія Маша («Затѣшье»), Лиза («Дворянское гнѣздо»), Наталья («Рудинъ»), Елена («Наканунъ») и, наконецъ, «новыя женщины». На этомъ пространствѣ почтенный авторъ «Подводнаго камня» разсыпалъ не мало свѣдѣній истинъ и совершенно основательныхъ замѣчаній. Слѣдить, однако, за всѣми этими истинами и замѣчаніями я не буду, потому что они большею частью принадлежать къ общеизвѣстнымъ.

Извѣстно, что ничего не можетъ быть скучнѣе, какъ имѣть дѣло съ общеизвѣстными истинами, какъ бы онѣ ни были сами по себѣ велики и несомнѣнны. Благо тѣмъ, которые, подобно г. Авдѣеву, чувствуютъ призваніе къ преподаванію въ элементарныхъ, такъ сказать, жизненныхъ курсахъ; благо и обществу, въ которомъ является достаточно такихъ преподавателей по призванію. Но призваніе составляетъ здѣсь необходимое условіе. Безъ него ничего не подѣлаешь. Вы можете не хуже другого понимать, что лезть гнуса, вредна, что дважды два четыре, что взяточничество позорно, что желѣзныя дороги имѣютъ большія преимущества передъ проселочными дорогами, что женщина есть человѣкъ и т. п. Вы можете даже весьма ясно сознавать, что въ настоящую минуту очень важно и полезно напомнить обществу, что лезть гнуса, вредна, что дважды два четыре, — подобныя минуты выдаются

*) 1874 г., апрѣль.

болѣе или менѣе часто въ жизни каждаго общества, затменіе этакое находить. Вы можете все это понимать какъ нельзя лучше, но если у васъ нѣтъ призванія къ преподаванію въ элементарныхъ жизненныхъ курсахъ, вамъ будетъ въ высокой степени трудно напоминать своимъ согражданамъ истины въ родѣ перечисленныхъ. При этомъ я не собственно элементарность истинъ имѣю въ виду. Если извѣстная истина еще не вошла въ сознаніе общества, то работать для водворенія ея, какъ бы ни была она элементарна, почти всегда пріятно. Тутъ не нужно какого-либо особаго призванія. Но оно становится положительно необходимымъ, когда истина была уже однажды водворена, когда вы видѣли весь процессъ ея водворенія, были ея пропагандистомъ, видѣли успѣхъ своей пропаганды, и когда она вдругъ точно затерялась и опять понадобилась. Тутъ безъ упомянутаго призванія дѣйствительно ничего не подѣлаешь. Не легко отрывать отъ занятій вышнимъ анализомъ для преподаванія первыхъ четырехъ правилъ арифметики. Но человѣкъ, рѣшающійся на такое самопожертвованіе, находится въ несравненно болѣе выгодномъ положеніи, чѣмъ писатель, принужденный водворять истины, уже однажды водворенныя. Математикъ по крайней мѣрѣ спокоенъ: придетъ время, научится ребенокъ слагать, вычитать, умножать и дѣлить. А если придется опять внушать правила сложенія, вычитанія и т. д., то уже другому ребенку. Писателю же приходится поневолѣ часто думать: вѣдь это же мы жевали, и какъ жевали! На весь Божій міръ чавкали! Тутъ большая горечь и обида есть. Далѣе, для математика, какъ бы онъ много ни работалъ и до чего бы ни доработался, четыре правила арифметики ни малѣйше не измѣняются. Совсѣмъ иное дѣло съ писателемъ, занимающимся изученіемъ общественныхъ вопросовъ. Самая непоколебимая истина, въ родѣ, напримѣръ, преимуществъ желѣзныхъ дорогъ передъ проселочными, съ теченіемъ времени можетъ, оставаясь истиной, до такой степени осложниться, обрости новымъ мясомъ и облиться новою кровью, что проповѣдывать ее въ прежнемъ видѣ человѣку безъ призванія станетъ почти невозможно, а проповѣдывать ее со всѣми новыми осложненіями значить очень часто быть гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Поэтому люди, склонные къ преподаванію элементарныхъ жизненныхъ курсовъ, представляютъ необходимое и весьма важное явленіе въ экономіи общественной жизни. Они достойны всякаго уваженія, если отдаются своему дѣлу съ должною искренностью и скромностью, не забываютъ своего шестка. Но это-то и трудно. Представимъ себѣ, что въ

Соч. Н. К. Михайловскаго, т. II.

обществѣ происходитъ водвореніе такихъ истинъ; дѣйствія человѣка и ходъ исторіи управляются извѣстными законами; знаніе полезно; свобода благопріятствуетъ матеріальному и нравственному развитію отдѣльныхъ личностей и цѣлыхъ обществъ. Водвореніе происходитъ съ препятствіями, съ борьбой, но въ концѣ концовъ успѣшно, такъ что даже камни петербургской мостовой, участь которыхъ опредѣляется борьбой стихій съ усиліями господина градоначальника, даже эти камни вопіютъ: законы исторіи! знаніе полезно! свобода благопріятствуетъ! И по всей землѣ русской отдается тысячекратное эхо: полезно!... благопріятствуетъ!... замирая по мѣрѣ приближенія къ далекимъ окрестностямъ, куда эхо доносить все-таки хоть восклицательный знакъ, безсловесный и безформенный, но тѣмъ не менѣе выразительный. Но вотъ происходитъ перемѣна декорацій. Ходъ исторіи предательски подвѣртываетъ нѣкоторые совершенно непредвидѣнные и даже непредвидимые казусы; невѣжество поднимаетъ свою безобразную голову и становится все бодрѣе, игривѣе, наглѣе. Слова «свобода» и «благопріятствуетъ», казалось, слиты на манеръ магдебургскихъ полушарій, такъ что ни конская и никакая другая скотская сила не могли ихъ разлучить, разрываются и гуляютъ по головамъ врозь, испытывая совершенно различныя мытарства... Какъ вы хотите, чтобы послѣ всего того, что было, человѣкъ безъ призванія началъ, казалось, конченное дѣло сначала и затянулъ безконечную сказку про бѣлаго бычка? Этого ни отъ кого требовать нельзя. И тысячи благодарностей тѣмъ бодрымъ и несмущающимся преподавателямъ элементарныхъ жизненныхъ курсовъ, которые способны вновь обстоятельно доказывать своимъ согражданамъ, что дѣйствія человѣка и ходъ исторіи управляются извѣстными законами, что знаніе полезно, что свобода благопріятствуетъ нравственному и матеріальному развитію отдѣльныхъ личностей и цѣлыхъ обществъ. Но иногда эти полезные и достойные уваженія люди становятся уже слишкомъ бодры и несмущенны, такъ что утрачиваютъ даже право на уваженіе и дипломъ полезности. Это случается, когда они забываютъ свой шестокъ и спрашиваютъ за свои истины несообразно высокія цѣны. А они, вообще говоря, къ этому склонны. Обществу, въ которомъ произопла означенная перемѣна декорацій, весьма полезно напомнить, что исторія не есть огромное съ бухту-барахту, которое Бисмаркъ или кто другой можетъ на вѣки вѣчные или даже надолго повернуть, какъ захочетъ и куда захочетъ. И въ этихъ предѣлахъ преподаватели элементарныхъ курсовъ дѣлаютъ важное и полезное дѣло. Но когда они про-

стирают свое уваженіе къ законамъ исторіи до отказа отъ апелліаціи къ высшему нравственному суду на рѣшенія грубой силы; когда они стремятся подыскать въ законахъ исторіи статьи, оправдывающія непредвидѣнные историческіе казусы; когда они упускаютъ изъ виду, что, именно, эти непредвидѣнные казусы осложнили ихъ истину, наделили на нее новый слой мяса, который подлежитъ особому изслѣдованію,—тогда они становятся вредны и уваженія недостойны. Обществу, въ которомъ невѣжество гуляетъ, какъ буйный вихрь въ полѣ, въ которомъ даже молодежь отрицаетъ знанія, очень важно напомнить, что знаніе полезно. Но когда преподаватели элементарныхъ курсовъ подчиняютъ самую жизнь знанію и предлагаютъ людямъ окунуться въ безбрежное и одурачающее море голыхъ фактовъ,—они вредны и уваженія недостойны. Обществу, въ которомъ слова «свобода» и «благопріятствуетъ» разбѣжались въ разныя стороны, очень не мѣшаетъ напомнить, что это слова соединимыя. Но когда преподаватели элементарныхъ курсовъ игнорируютъ давно уже указанный историческимъ опытомъ осложненія истины—«свобода благопріятствуетъ»; когда они говорятъ хромому: «подай сюда свой костыль, онъ есть плодъ регламентаціи, гуляй свободно, ибо свобода благопріятствуетъ», тогда они вредны и недостойны уваженія. Преподаватели элементарныхъ курсовъ устраиваютъ себѣ обыкновенно изъ своихъ истинъ (водворенныхъ большею частью еще Петромъ Великимъ) родъ крѣпости изъ-за стѣны которой отчаянно отстрѣливаются отъ жизни безконечными залпами избитыхъ фразъ. Жизнь подходит и говоритъ: фу, какая тоска, какая скверность! Эко времечко! Неужто же я такъ и сгину безъ толку?—Изъ крѣпости залпъ: сгинешь! законы исторіи... акціи и реакціи... Бокль говоритъ, что даже письма безъ адресовъ... тѣмъ паче самоубійства... повинуются... Жизнь говоритъ: экую мнѣ мразь вмѣсто науки подсовываютъ!—Залпъ: знаніе полезно... только невѣжество... еще Аристотель, а въ новѣйшее время и Валентинъ Коршъ...

А между тѣмъ посмотрите, на примѣръ, какая толпа тѣснится на публичныхъ лекціяхъ О. Э. Миллера,—и вы убѣдитесь, что спросъ на преподаваніе элементарныхъ курсовъ громадный, а, оглянувшись кругомъ, вы не замедлите убѣдиться, что оно дѣйствительно весьма полезно и необходимо. Нельзя поэтому не радоваться появленію такихъ элементарныхъ преподавателей, какъ г. Авдѣевъ. Онъ отнюдь не принадлежитъ къ зловерному типу этой породы людей. Совсѣмъ напротивъ; водворяя излюбленные имъ и уже однажды водворенныя истины, онъ не те-

ряетъ изъ виду ихъ дальнѣйшихъ осложненій и не отстрѣливается отъ жизни. Что г. Авдѣевъ сторонникъ той части такъ называемаго женскаго вопроса, которая заключаетъ въ себѣ требованія уваженія къ женщинѣ и свободы чувства, это было всѣмъ извѣстно. Онъ съ усердіемъ и успѣхомъ способствовалъ водворенію соотвѣтственныхъ истинъ. Но онъ не остановился на точкѣ зрѣнія сороковыхъ годовъ, выдвинутой имъ въ романахъ «Подводный камень», «Межъ двухъ огней», «Магдалина». Дальнѣйшее развитіе женскаго вопроса, какъ видно изъ лежащей передо мной книжки, встрѣтило въ немъ не только не врага, какъ это часто случилось съ людьми сороковыхъ годовъ, а даже весьма симпатичнаго истолкователя.

Вотъ какъ разсуждаетъ г. Авдѣевъ о позднѣйшихъ фазисахъ женскаго вопроса.

«Съ эпохи шестидесятыхъ годовъ, между появившимися, такъ называемыми, «новыми людьми», заняла принадлежащее ей мѣсто и «новая женщина». Развитія до извѣстной степени женщины, достаточно обезпеченныя матеріально, чтобы не заботиться о кускѣ хлѣба, привыкали и привыкаютъ отчасти п нинѣ, за отсутствіемъ всякой умственной дѣятельности, жить исключительно жизнью чувствъ. Весьма естественно, что при первомъ пробужденіи сознательности эти женщины прежде всего обратили вниманіе на чувство, и именно на чувство, составлявшее главный двигатель ихъ жизни, т.-е. на любовь, и захотѣли поставить его на почву правды и искренности. Но чувство любви всего болѣе встрѣчаетъ препятствій и усложненій въ замужней женщинѣ. Поэтому замужняя женщина и является главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ первой новой постановкѣ вопроса... Новая женщина въ дѣлѣ чувства поступаетъ такъ: если она связана съ однимъ человѣкомъ и чувствуетъ склонность къ другому, она борется съ нею насколько хватить ея силъ, потому что эта склонность нарушаетъ сложившійся строй ея жизни, ставитъ ее въ бесполезный разладъ съ семьей и обществомъ. Но когда она не находитъ въ себѣ болѣе силъ на борьбу, она откровенно заявляетъ о томъ мужу, которому общала вѣрность. Такъ поступила Наташа (въ «Подводномъ камнѣ», такъ поступила Вѣра Павловна въ «Что дѣлать»). Надо отдать справедливость и ихъ мужьямъ, которые поняли, что когда чувство переходитъ въ страсть, оно становится болѣзненнымъ, и что болѣзнь эту убѣжденіями, препятствіями или угрозами вылечить нельзя... Вообще, вопросъ столь существенный въ жизни женщины, какъ соединеніе съ мужчиной, выводится современной женщиной на болѣе искреннюю и твердую почву. Нынѣшняя

дѣвушка находить, что бракъ не есть соединеніе двухъ любящихся голубковъ, а прочно и здраво обсужденный союзъ двухъ сочувствующихъ другъ другу лицъ на трудъ и дѣло жизни. Современная дѣвушка не только не отрицаетъ брака, какъ полагаютъ нѣкоторые, она вполне признаетъ его значеніе и важность въ жизни, и потому строить его на твердой почвѣ согласованія болѣшихъ по возможности условій для спокойнаго и счастливаго сожителства, а элементъ страстнаго чувства, съ которымъ невозможно спорить, а иногда и бороться, какъ пenorмальный и случайный, ставить совершенно отдѣльно... Вообще, самое понятіе о любви поставлено позднѣйшею литературою совершенно на иную почву: женщина, для которой въ прежнія времена любовь служила ореоломъ и подножіемъ, нынѣ срываетъ драпировку съ этого чувства и низводитъ его на настоящій уровень. Начать съ того, что современная женщина не дѣлаетъ для себя изъ любви единственнаго кумира, исключительную цѣль и занятіе жизни. Она ищетъ другого, болѣе обширнаго поля дѣятельности. Далѣе. Она увидѣла, что любовь идеальная, мечтательная любовь, не имѣющая подъ собою почвы, которая тѣмъ не менѣе считалась нѣкогда самымъ возвышеннымъ, первѣйшимъ сортомъ любви, есть пустое и вредное раздраженіе и самое глупое препровожденіе времени. Наконецъ, нѣкоторыя женщины пытались завоевать въ дѣлѣ любви хотя часть тѣхъ правъ, — конечно, въ свободѣ выбора, а не легкости и развратности его, — которыя приобрѣли или, лучше сказать, отмежевали себѣ мужчины, и не стали соединять съ нею условныхъ рыцарскихъ понятій о чести, которыя нивѣтъ почему прилетены къ ней, а замѣнять ихъ понятіями о честности, т.-е. прямою и разумности дѣйствій... Начавъ дѣло исканія самостоятельности и равноправности съ вопроса о чувствахъ, женщины послѣдняго десятилѣтія не остановились на немъ, а повели его дальше, перенесли на экономическую почву. Въ предыдущихъ очеркахъ мы видѣли рядъ женщинъ, которыя задачу своей жизни ставили въ помощи мужчинъ и служеніи дѣлу, имѣ избранному, — и если возвышались свои требованія до служенія общечеловѣческимъ интересамъ, то и ихъ пытались удовлетворить не непосредственно, а тоже черезъ мужчину, или научая, или ободрая этого мужчину, или ему содѣйствуя. Позднѣйшія женщины, стремясь и въ этомъ случаѣ отдѣлить себя отъ зависимости мужчины, въ то же время поняли, что эта зависимость и закрѣпощенность произошли отъ чисто-экономическихъ условій, и потому перенесли и свои заботы прежде всего на

упроченіе своей экономической независимости, на приобрѣтеніе своего куска хлѣба. Это исканіе честнымъ трудомъ заработать свой кусокъ хлѣба сдѣлалось преобладающею чертой дѣвушки, выставленной новѣйшею литературою («Живая душа», «Свой хлѣбъ»). Она указываетъ намъ, между прочимъ, на тотъ утѣшительный фактъ, что здравая современная мысль пробила себѣ дорогу въ такіе классы женщинъ, для которыхъ въ прежнія времена она была недоступна, и что главный составъ «новыхъ женщинъ», какъ и «новыхъ людей», дали сословія, не пользующіяся экономическою обезпеченностью. Но, къ несчастію, экономическая жизнь не только въ Россіи, но и въ другихъ болѣе развитыхъ странахъ стоитъ еще на такомъ уровнѣ, что самый упорный и постоянный женскій трудъ доставляетъ трудящейся дѣйствительно немного болѣе одного куска хлѣба...

Разсказавъ содержаніе романа г. Слѣпцова «Трудное время», г. Авдѣевъ заключаетъ: «Мы знаемъ, что Щетинину встрѣтитъ утомительная борьба, что ей удастся, можетъ быть, создать какое-нибудь маленькое дѣло для себя, но что общему дѣлу она принесетъ мало пользы или, по крайней мѣрѣ, пользу отрицательную. Тяжелыми усиліями и почти непреодолимыми препятствіями, встрѣчающими одинокихъ труженицъ, ничтожностью достигаемыхъ результатовъ, она, можетъ быть, докажетъ, какъ доказываютъ намъ много другихъ героинь современныхъ повѣстей, ту мысль, которую мы имѣли уже случай высказать въ одномъ литературномъ произведеніи, что единичныя усилія отдѣльныхъ лицъ мало помогаютъ дѣлу, что для этого нужны общія усилія всѣхъ женщинъ и, что всего важнѣе, усилія, правильно организованныя и разумно руководимыя. И требованія современной женщины, къ счастью, таковы, что эта организація не нуждается ни въ какой тайнѣ и не можетъ ожидать неодолимыхъ препятствій».

Г. Авдѣевъ, къ сожалѣнію, не говоритъ, въ какомъ именно литературномъ произведеніи высказана имъ эта мысль. Тамъ она, вѣроятно, выражена нѣсколько яснѣе и обстоятельнѣе. А то ее трудно понять, не смотря на то, что авторъ ею же и забавливаетъ свою книжку: «мы въ правѣ придти къ мысли, высказанной уже нами, какъ мы замѣтили, въ одномъ литературномъ произведеніи, что одиночныя, неорганизованныя точно и разумно стремленія долго не будутъ достигать тѣхъ здравыхъ и полезныхъ цѣлей, къ которымъ стремится современная женщина, хотя цѣли эти по существу своему такъ ясно полезны и такъ далеки отъ всякихъ мечтательныхъ преувеличеній, что при

спокойномъ и настойчивомъ стремленіи не могутъ, повидимому, въ глазахъ просвѣщенныхъ людей ни съ какой стороны ожидать неодолимыхъ препятствій».

За исключеніемъ этой мысли, къ сожалѣнію слишкомъ уже кудреватой и туманно выраженной, но, насколько ее понимать можно, кажется, недюжинной, г. Авдѣевъ является преподавателемъ элементарныхъ жизненныхъ курсовъ, полезнымъ водворителемъ водворенныхъ уже истинъ. Нѣсколько странно и смѣшно слышать, что человекъ, написавшій въ 1874 году вышеприведенное разсужденіе о женщинахъ, находитъ, что литература шестидесятыхъ годовъ понизилась отъ столкновенія съ разночинцемъ, ибо дескать, «должна была заговорить такимъ языкомъ, популяризировать такія понятія, которыя давно уже были пережиты образованнѣйшимъ меньшинствомъ». Весь трактатъ цѣликомъ заимствованъ изъ средней руки журналовъ шестидесятыхъ годовъ, только свѣжести тогдашней нѣтъ, а г. Авдѣевъ эти самые журналы мальтретируетъ... Впрочемъ, эта слабость совершенно невинная, потому что дѣлу не вредящая. Г. Авдѣевъ все-таки дѣлаетъ полезное дѣло, ибо мало уже у кого нынѣ повернется языкъ повторять эти слова: одни совѣтъ и смыслъ то ихъ забыли и отошли прочь, въ такія эмпирии, куда и воронъ не заносилъ костей какихъ бы то ни было «вопросовъ»; другіе уже ихъ переросли и говорить эти самыя слова имъ стыдно и обидно. А, вѣдь, казалось бы, такія все прекрасныя мысли, такія все высокія чувства...

Есть однако въ трактатѣ г. Авдѣева, не говоря о неясностяхъ, нѣсколько неточностей. Такъ, онъ старается утвердить нѣкоторый параллелизмъ исторіи «новыхъ людей» и исторіи «новыхъ женщинъ», и старается совершенно напрасно, потому что это исторіи далеко не параллельныя.

Мы отмѣтили въ прошлый разъ пришествіе разночинца, какъ центральный, опредѣляющій фактъ общественной жизни и литературы конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ. Разночинецъ, именно, принесъ съ собою новую точку зрѣнія на вещи, которая состояла въ подчиненіи общихъ категорій цивилизаціи идеѣ народа. Но въ тѣсной связи съ пришествіемъ разночинца находилось появленіе другого общественнаго элемента, сначала игравшаго лишь подчиненную роль, а впослѣдствіи овладѣвшаго всей сценой. Я разумѣю кающихся дворянъ, — не стою за названіе, но оно удачно выражаетъ мою мысль. Писаревъ былъ, въ литературѣ по крайней мѣрѣ, едва-ли не самымъ яркимъ представителемъ этой секты. Именно секты, потому что тутъ были на лицо всѣ характеристическіе при-

знаки сектантовъ: искренность, формализмъ, фанатизмъ, замкнутость, строгая, но узкая логичность. Смѣшивать разночинцевъ и кающихся дворянъ въ общей клячкѣ «людей шестидесятыхъ годовъ» или «новыхъ людей», какъ это дѣлаетъ г. Авдѣевъ, отнюдь не слѣдуетъ. Это два различныя теченія, хотя и бѣгущія почти на всемъ своемъ протяженіи по одному и тому же руслу. Секта кающихся дворянъ образовалась такимъ образомъ. Когда бездна крѣпостничества и всего стараго строя русской жизни развернулась во всемъ своемъ ужасающемъ безобразіи, въ обществѣ явилась непреодолимая потребность самообруганія, самонаказанія, покаянія. Съ теченіемъ времени эта потребность удовлетворилась въ большинствѣ и замерла. Но осталась группа людей, преимущественно молодыхъ, изъ тѣхъ, которые въ прежнее время жили бы у себя по деревнямъ, какъ и отцы ихъ, служили бы въ полкахъ и канцеляріяхъ, но которые теперь сосредоточили всѣ свои помыслы на выработкѣ правилъ личнаго поведенія: какъ жить свято? Много труда расходовалось на выясненіе мельчайшихъ подробностей святой жизни, много искренности и самопожертвованія сказалось въ слѣдованіи этимъ правиламъ. Каждый изъ пережившихъ это время, обратясь къ своимъ личнымъ воспоминаніямъ, найдетъ въ нихъ множество соотвѣтственныхъ примѣровъ; такая-то или такой-то, вытерпѣвъ страшную домашнюю бурю, ушелъ изъ полнаго, какъ чаша, родительскаго дома и сталъ жить своимъ трудомъ, потому что того требовалъ кодексъ; такой-то, глотая слезы, привелъ къ своей женѣ любимаго ею человека, потому что кодексъ требовалъ изгнанія ревности, такой-то отказался отъ блестящей карьеры и проч., и проч., и проч. Микроскопическія детали кодекса разрабатывались съ педантическою тщательностью: какъ жить, чѣмъ жить, съ кѣмъ жить, какъ съ кѣмъ обращаться, какъ ѣсть, спать, пить, какъ учиться, чему учиться и т. д. Все было смѣрено и взвѣшено. Таковъ былъ характеръ секты кающихся дворянъ. Разночинецъ же, вообще говоря, не былъ склоненъ къ такому формализму. Да оно и понятно: съ чего ему было накладывать за себя какія бы то ни было эпитетамъ, когда жизнь и безъ того навалила на него цѣлую гору всякихъ тяжестей, когда онъ ни за собой, ни за близкими своими не чувствовалъ того грѣха, въ которомъ калялись сектанты, когда его «дѣдъ землю пахалъ»? Весьма тоже естественно было, что въ то же время, какъ кающійся дворянинъ Писаревъ разрабатывалъ кодексъ святой, умѣренной и аккуратной жизни, а сотни и тысячи другихъ кающихся дворянъ

и дворянокъ прилагали этотъ кодексъ къ дѣлу, разночинецъ Помяловскій или Рѣшетниковъ, надломленные тяжелой жизнью, метались въ бѣлой горячкѣ. Разночинецъ не въ чемъ было каяться; онъ отъ другихъ требовалъ покаянія и, встрѣтивъ въ кающемся дворянѣ такую полную готовность, пошелъ съ ними рука объ руку, не смѣшиваясь, однако, съ ними до конца, не упуская изъ виду своей специальной мисси. Конечно, существовало много оттънковъ, много переходныхъ типовъ между чистымъ разночинецъ и чистымъ кающимся дворяниномъ. Но это не мѣшаетъ все-таки различать ихъ характеристическія черты; для одного на первомъ планѣ стояло подчиненіе категорій цивилизаціи идеѣ народа, для другого—идея личной морали. Съ теченіемъ времени разночинецъ исчезъ. Исчезъ совершенно на тотъ манеръ, какъ рассказываетъ Рязановъ, герой «Труднаго времени» г. Слѣпцова: «вотъ какъ въ балетахъ: все танцуетъ, танцуетъ, найдетъ на такое мѣсто—вдругъ хлопъ!—пропалъ». Кающийся дворянинъ еще подержался нѣсколько времени и тоже ступсевался.

Вотъ въ короткихъ, но совершенно достаточныхъ для нашей цѣли словахъ исторія «новыхъ людей». Исторія «новыхъ женщинъ» имѣетъ совсѣмъ другую фізіономію. Здѣсь прежде всего бросается въ глаза отсутствіе разночинца и сравнительно слабое вліяніе его идеи. Если онъ и является въ послѣднихъ фазисахъ «женскаго вопроса» ферментомъ, то возбуждаетъ все-таки почти исключительно только покаяніе и жажду личнаго совершенствованія. Возьмемъ, напримѣръ, героиню «Труднаго времени», благо г. Авдѣевъ удѣляетъ разбору этого романа довольно много мѣста.

Молодой, образованный помѣщикъ Щетининъ живетъ въ деревнѣ съ женой, красивой, умной и хорошей женщиной, Марьей Николаевной. Живутъ они хорошо, дружно, собой довольны, потому что съ мужиками обращаются и въ другихъ отношеніяхъ ведутъ себя съ помѣщицъей точки зрѣнія добропорядочно. Но вотъ пріѣзжаетъ къ нимъ старый товарищъ Щетинина, Рязановъ, писатель. Своими, весьма двусмысленнаго и неопредѣленнаго свойства разговорами, до которыхъ намъ здѣсь нѣтъ дѣла, Рязановъ доводитъ Марью Николаевну до того, что она начинаетъ съ отвращеніемъ смотрѣть на свою добропорядочную жизнь. Совсѣмъ это даже не добропорядочная жизнь оказывается. Марья Николаевна нѣсколько времени крѣпится, но наконецъ рѣшительно заявляетъ, между прочимъ, мужу: «Пойми, что я съ радостью пошла бы землю копать, если бы это нужно было для общаго дѣла.

А теперь... Что я такое? Экономка господина Щетинина; просто на просто экономка, которая выгадываетъ каждый грошъ и только и думаетъ о томъ: ахъ, какъ бы кто не съѣлъ лишняго фунта хлѣба! Ахъ, какъ бы!... какая гадость!... Я понимаю, что и ты—ты ошибся, да я то, не могу я такъ. Пойми, не могу я... огурцы солить»... Къ разбудившему ее Рязанову Марья Николаевна начинаетъ чувствовать любовь. Она объявляетъ ему, что между ею и мужемъ все кончено, что она свободна, и затѣмъ проситъ: «Теперь я бы желала только одного; я бы желала устроить такъ мою жизнь, чтобы я могла всѣ силы, всѣ способности мои употребить на то, чтобы хоть въ чемъ-нибудь быть вамъ полезной. Я много не желаю, мнѣ хотѣлось бы только хоть чуть-чуть помогать вамъ въ вашихъ занятіяхъ. Что вы мнѣ скажете, то я и буду дѣлать»... Рязановъ не особенно горячо встрѣчаетъ это признаніе и предложеніе помощи. Марья Николаевна объясняетъ, что она во всякомъ случаѣ уѣзжаетъ отъ мужа изъ деревни. «Я ѣду, говоритъ она, для того, чтобы начать новую, совсѣмъ новую жизнь. Мнѣ эта опротивѣла; эти люди мнѣ гадки, да и вся эта деревенская жизнь. Я могла здѣсь жить до тѣхъ поръ, пока я ждала чего-то, однимъ словомъ, пока я вѣрила; теперь я вижу, что ждать мнѣ нечего, что здѣсь можно только наживать деньги, да и то чужими руками. Къ помѣщикамъ и ко всѣмъ этимъ хозяевамъ я чувствую ненависть, я ихъ презираю; мужиковъ мнѣ, конечно, жаль, но что же я могу сдѣлать? Помочь имъ я не въ силахъ, а смотрѣть на нихъ и надрываться я тоже не могу»... «Тамъ», куда Марья Николаевна стремится, по ея мнѣнію, «живутъ такіе отличные люди, такіе умные и добрые, которые все знаютъ, все расскажутъ, научатъ, какъ и что дѣлать, помогутъ, пріютятъ всякаго, кто къ нимъ придетъ... однимъ словомъ, хорошіе, хорошіе люди».

Любовь къ Рязанову однако пропадаетъ какъ-то ужъ черезчуръ внезапно, и Марья Николаевна уѣзжаетъ «туда» одна. Рязановъ резюмируетъ ея мужу всю эту исторію такъ: «жить хочетъ женщина, а мы съ тобой такъ только, въ качествѣ благородныхъ свидѣтелей участвуемъ въ этомъ дѣлѣ. И роли-то наши самыя пустыя: ты ей нуженъ былъ для того, чтобы освободиться отъ матери, а ее отъ тебя освободилъ, а отъ меня ужъ она сама освободилась: теперь ей никто не нуженъ,—сама себѣ госпожа». Что сдѣлалось съ Марьей Николаевной по пріѣздѣ «туда», остается неизвѣстнымъ. Т. е. остается неизвѣстнымъ въ романѣ, а въ сущности-то оно очень хорошо извѣстно. Въ тѣ времена не было ни Цюриха, ни академіи, ни другихъ позднѣйшихъ

усложненій, и рассказать судьбу Марьи Николаевны не трудно. Приѣхала она въ Петербургъ,—потому что таинственное, заманчивое «тамъ» есть не что иное, какъ нашъ неприглядный, туманный Петербургъ, наши чухонскія Аенины,—приѣхала она въ Петербургъ, столкнулась съ группой другихъ кающихся дворянъ и дворянокъ,—ихъ-то, вѣдь, она и искала. Здѣсь еще сильнѣе заговорило въ ней сознание неудовлетворительности, грѣховности ея прежней жизни и жажда жизни новой, святой. Она приняла дѣятельное участіе въ выработкѣ статутъ секты, въ особенности тѣхъ параграфовъ его, которые касались отношеній женщины къ мужчинамъ, къ семьѣ, смѣло честно и самоотверженно слѣдовала выработаннымъ сообща правиламъ жизни, или, по крайней мѣрѣ, старалась изо всѣхъ силъ имъ слѣдовать. А когда дѣло не выгорѣло,—потому что вѣдь оно дѣйствительно не выгорѣло,—она занялась «женскимъ трудомъ», переводами, корректурой, мастерствомъ какимъ, а можетъ быть опять вернулась къ мужу солить столь ненавистные ей когда-то огурцы. Во всякомъ случаѣ во всей этой очень типической исторіи хорошей и энергичной женщины звучитъ, покрывая все остальное, одна нота жажды личнаго совершенства. Она желаетъ быть хорошей, превосходной женщиной. Она, правда, желаетъ также, чтобы и около нея все были хорошіе, превосходные люди, но только потому, что они могутъ научить ее святой жизни, сдѣлать ее хорошей, превосходной женщиной. Она, правда, говоритъ тоже объ «общемъ дѣлѣ», для котораго готова хоть землю копать. Но ея понятія объ этомъ общемъ дѣлѣ крайне смутны. «Ты мнѣ сказалъ, говоритъ она мужу про время сватовства, — что мы будемъ вмѣстѣ работать, будемъ дѣлать великое дѣло, которое можетъ погубить насъ... Я и пошла. Конечно, я тогда была еще глупа, я не совсемъ понимала, что ты мнѣ тамъ рассказывалъ. Я только чувствовала, я догадывалась. И я пошла бы куда угодно». Такъ поминаетъ Марья Николаевна старые годы. Но относительно «общаго дѣла» ее не далеко подвинуло и столкновение съ Рязановымъ, подъ влияніемъ котораго она говоритъ колкости мужу. Вышеприведенную просьбу, чтобы Рязановъ принялъ ее въ помощницы къ себѣ, Марья Николаевна заключаетъ словами: «такимъ образомъ мы и будемъ помогать другъ другу»...

— Въ чемъ? спрашиваетъ Рязановъ.

— Какъ въ чемъ?!

— Подумали ли вы, въ чемъ же это мы съ вами будемъ помогать другъ другу? И какое это такое занятіе вы нашли, я не понимаю хорошенько. Учиться что ли мы будемъ другъ у друга или такъ просто жить?...

Этотъ разговоръ достаточно свидѣтельствуеетъ о смутности и неопредѣленности понятій объ «общемъ дѣлѣ». Напротивъ, идеалъ личной ея жизни представляется ей совершенно ясно, а по приѣздѣ ея «туда» обрисовался безъ сомнѣнія до мельчайшихъ подробностей. Изъ этого видно, до какой степени неосновательно утверждать, что исторіи «новыхъ людей» и «новыхъ женщинъ» параллельны. Задача «новой женщины» была задачей только *нѣкоторыхъ* «новыхъ людей» и только *частью* ихъ общей задачи. А между тѣмъ у насъ привыкли считать женскій вопросъ какимъ-то центральнымъ пунктомъ всего движенія пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ. Обругать-ли, похвалить-ли кто хочетъ это движеніе, — всѣ большею частью набрасываются на женскій вопросъ. Что огромное большинство романовъ и повѣстей, взятыхъ изъ этого времени, сочувственныхъ или несочувственныхъ движенію, построены на «женскомъ вопросѣ», — это понятно. Понятно, что и въ дѣйствительности сложный и шекотливый вопросъ объ отношеніяхъ между полами, который весь сводится къ вопросу о положеніи женщины, за отсутствіемъ ясныхъ и возможныхъ политическихъ задачъ, получилъ очень видное значеніе. Но это еще не даетъ никакого права тощей коровѣ женскаго вопроса поглощать тучную корову такого широкаго и глубокаго движенія, какимъ было движеніе пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ. Я, не обинуясь, пишу прилагательное *тощій*, такъ какъ изъ всего вышесказаннаго, кажется, должно быть ясно, что я говорю относительно и вовсе не желаю умалять дѣйствительно значеніе женскаго вопроса и «новыхъ женщинъ». Новыя женщины представляютъ собою часть кающихся дворянъ и характеристика послѣднихъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и ихъ характеристика. Съ одной стороны, это прекрасно, глубоко симпатичное явленіе. Дворянскія жены и дочери, которыя въ прежнія времена били бы своихъ Палашекъ и Марфутокъ по щекамъ, требовали бы отъ своихъ отцовъ и мужей денегъ на наряды, не взирая на то, какими путями эти деньги добыты, сами собирали бы поборы въ видѣ куръ и поросятъ, читали бы «Битву русскихъ съ кабардинцами», распѣвали бы чувствительные романсы, порхали бы на балахъ и проч., — проникаются отвращеніемъ къ такому образу жизни. Зароненная имъ въ душу хорошей книгой или хорошимъ человекомъ искра Божія раздувается въ нихъ въ цѣлый пожаръ, который сжигаетъ все, чему онѣ поклонялись. Ихъ манитъ къ себѣ наука, трудъ, святая жизнь. Онѣ преодолеваютъ страшныя препятствія въ видѣ рутиннаго общественнаго мнѣнія, семейнаго деспотизма, насмѣшекъ,

угрозъ и проч. Каковы бы ни были сами по себѣ тѣ правила жизни, которымъ онѣ себя подчиняютъ, но онѣ подчиняются имъ, часто цѣною сильной внутренней ломки, и подчиняются вполне сознательно. Русская жизнь представляетъ немного картинъ краше этой. Но, какъ и кающіеся дворяне мужскаго пола, новыя женщины замыкаются въ секту, упираются въ глухой переулочекъ личной морали. Г. Авдѣевъ говоритъ: «Нѣжная и прекрасная половина рода человѣческаго, какъ называли ее прежде, оказалась не только нѣжной и прекрасной, но и болѣе настойчивой и практичной, чѣмъ мужчины. Такъ, по крайней мѣрѣ, мы должны заключать изъ тѣхъ успѣховъ, съ которыми женщины достигли и еще стремятся достигать своихъ цѣлей». Право, я не знаю зачѣмъ намъ, на память о добромъ старомъ времени, такъ расшаркиваться передъ дамами, разъ мы ужъ перестали быть кавалерами. Мнѣ кажется, что въ концѣ концовъ успѣхи новыхъ женщинъ не такъ чтобы ужъ очень велики. Думаю, что новыя женщины добились столь же немногаго, какъ и новыя люди вообще. Да и чего онѣ собственно добивались? Осуществленія идеала личнаго совершенства. Въ этомъ отношеніи новыя женщины смотрѣли даже ужена вещи, чѣмъ кающіеся дворяне. Дѣйствительно, напримѣръ, одно время между каущимися дворянами было сильно распространено мнѣніе, что служить не слѣдуетъ. А если кто и не могъ обойтись, по обстоятельствамъ, безъ государственной службы, то нѣсколько конфузился. Мнѣ нѣтъ надобности разбирать это убѣжденіе по существу, но во всякомъ случаѣ оно представляло нѣкоторый мостъ отъ чисто личной морали къ болѣе широкому, болѣе общественному взгляду. Между тѣмъ, въ то же самое время права государственной службы представлялись новымъ женщинамъ весьма заманчивымъ, онѣ ихъ добивались; и не только потому, что успѣхъ въ этомъ отношеніи утвердилъ бы ихъ равноправность съ мужчинами, нѣтъ, онѣ желали служить, какъ желали переводить, переплетать книги, работать въ швейной мастерской и т. п. Новыя женщины не дѣлали разницы между этими профессіями. И такъ ужъ это какъ-то странно устроилось, что сами ненавидѣвшіе службу кающіеся дворяне готовы бы были трубить побѣду при видѣ женщины въ мундирѣ. Точно также и наоборотъ, новая женщина, негодующая на недопущеніе женскаго труда въ канцеляріи, подчасъ съ презрѣніемъ взглянула бы на близкаго ей кающагося дворянина, если бы онъ поступилъ на службу. Эта двойственность осталась до извѣстной степени и до сихъ поръ. Конечно, нынѣ уже никто не высказываетъ такихъ вольнодумныхъ и несообразныхъ мыслей. Совершенно

напротивъ. Но все-таки есть нѣсколько служебныхъ положеній, не всякому симпатичныхъ. Такъ, напримѣръ, положеніе квартальнаго. Но представимъ себѣ, что наступило время полной равноправности женщинъ и допущенія ихъ на государственную службу. Представимъ себѣ далѣе, что вы, мой благосклонный читатель, принадлежите къ числу людей, косо смотрящихъ на профессію хранителя общественнаго спокойствія, и что у васъ есть два близкихъ вамъ лица, одно мужскаго, а другое женскаго пола, которые одновременно заняли подобныя мѣста. Весьма вѣроятно, что вы издадите по этому поводу два совершенно различныхъ восклицанія:

— О ужасъ, онъ попалъ въ квартальные!

— О восторгъ, она попала въ квартальные!

Конечно, это только мое предположеніе, и притомъ, откровенно говорю, предположеніе, значительно утрированное. Но въ основаніи его все-таки лежитъ правда, и въ этомъ нетрудно убѣдиться,—стоитъ только прислушаться къ тѣмъ многочисленнымъ странностямъ, которыя такъ часто высказываются на тему женскаго вопроса. Я уже имѣлъ однажды случай сослаться на радость, выказанную одною либеральною газетою по тому поводу, что въ Америкѣ женскій трудъ примѣняется къ дѣлу сыскной полиціи...

Вернемся, однако, къ Марьѣ Николаевнѣ Щетининой. Мнѣ могутъ сказать, что я слишкомъ обобщилъ исторію этой помѣщицы. Вотъ г. Авдѣевъ утверждаетъ, что, параллельно появленію разночинца, и «новыя женщины» въ послѣдствіи стали являться изъ низшихъ слоевъ общества. Очень можетъ быть. Но вопросъ не въ этомъ. Вѣдь вотъ и желѣзнодорожные концессионеры нынѣ изъ низшихъ слоевъ общества берутся: г. Губонинъ, — бывшій крѣпостной, гг. Варшавскій, Поляковъ тоже не изъ аристократовъ и проч. Вопросъ въ томъ, чѣмъ отзывается въ жизни появленіе на сценѣ женщинъ изъ низшихъ слоевъ общества. Возьмемъ же другой примѣръ. Возьмемъ примѣръ изъ Рѣшетникова. Глубже этого писателя никто въ народѣ не спускался. Онъ бралъ иногда для своихъ образовъ почти зоологическіе сюжеты. Таковы его «Подлиповцы», въ которыхъ только онъ, съ его близостью къ народу и теплымъ, искреннимъ отношеніемъ къ нему, могъ подсмотрѣть глубоко человѣческія, глубоко гуманныя черты. (Въ этомъ родѣ выше «Подлиповцевъ» въ русской литературѣ, да можетъ быть и не только въ русской, нѣтъ ничего; слѣдуетъ, впрочемъ, сказать, что другія крупныя произведенія Рѣшетникова далеко ниже «Подлиповцевъ»). У этого самаго Рѣшетникова есть романъ «Свой хлѣбъ», написанный на тему женскаго вопроса. Героиня

романа, Дарья Андреевна Яковлева — дочь чиновника, внука мѣщанина, правнучка дякона. Не смотря, однако, на такое неблестятельное происхождение, ей съ ранняго дѣтства внушается, что ей, чиновничьей дочери, отнюдь не слѣдуетъ играть съ мѣщанскими дѣтьми. Когда она разспрашиваетъ одного своего родственника, священника, о причинахъ такого запрещенія тотъ ей объясняетъ:

— Мѣщане грубы, невѣжи, а чиновники люди благородные. Отъ нихъ и дѣти такія же выходятъ.

— Такъ и я благородная? Что это такое?... Что значить?

— Значить быть вѣжливымъ, благовоспитаннымъ, памятуя, что ты будешь имѣть въ будущемъ общество дворянъ, вездѣ принятыхъ, а не мѣщанъ, которые созданы только для того, чтобы работать.

— Какъ же Господь сказалъ, что мы всѣ равны?

— Объ этомъ никто и не спорить; только люди съ давнихъ временъ сдѣлались такими, что ихъ нельзя равнять. Напримѣръ, я пастырь, а твой отецъ стряпчий. Я хожу въ царскія врата, а отецъ не имѣетъ права и не можетъ даже надѣть ризы. Такъ и мѣщанинъ. Для всѣхъ установлены законы, каждому человеку назначено мѣсто. Нужно помнить, что отецъ твой власти, а мѣщанинъ просто обыватель, а въ священномъ писаніи сказано: всякая душа властямъ предержащимъ да повинуется⁴.

Дѣвочка, однако, попалась съ умомъ, настолько пытливымъ, что объясненія эти ей не удовлетворили. Подросла она, стала книги читать, но изъ нихъ мало что вынесла, потому что могла понимать только «про любовь». Про любовь въ книжкахъ писалось разное, кругомъ на этотъ счетъ тоже дѣлалось разное. Когда Даша слышала или видѣла, что мужья бьютъ женъ, пьянствуютъ и т. п., она рѣшила, что замужъ ни за что не пойдеть: «на что мнѣ мужъ? развѣ я не могу одна жить?» Но иногда та же окружающая жизнь наводила ее на другія мысли. Ей казалось, что быть замужемъ хорошо, только не за чѣмъ непременно за чиновника выходить, какъ ей толковали, можно и за мѣщанина: «и какъ бы было хорошо: онъ бы работалъ и я бы стала работать». Между тѣмъ въ городѣ вдругъ появилась коронная повивальная бабка, женщина служащая, получающая жалованье и квартиру, — лицо дотолѣ небывалое. Новость эта на первыхъ порахъ смутила не одну дѣвицу, — всѣмъ захотѣлось въ бабки. Призадумалась и Даша. Собственно профессія-то повивальной бабки казалась ей непривлекательной и конфузной, но ее прельщала свобода: «тогда ей не для чего будетъ выходить замужъ: у нея будетъ жалованье, деньги». Такимъ образомъ Даша рѣшаетъ, что у нея будетъ свой хлѣбъ. Но ей удается этого достигнуть только послѣ долгихъ и многочисленныхъ мытарствъ. Одному своему при-

телю она говоритъ почти какъ Марья Николаевна Щетинину: «Знаете что? — я васъ давно знаю, мы были прежде друзьями и я теперь считаю васъ за друга и какъ другу скажу, что мнѣ невыносима эта жизнь; мнѣ не нравятся эти люди, хоть они и простые. Мнѣ хочется жить такъ, чтобы у меня было все свое — и хлѣбъ, и одежда, и квартира, такъ чтобы никто не смѣлъ упрекнуть меня въ томъ, что я живу на чужой счетъ». Наконецъ, уже послѣ смерти отца, Дарья Андреевна, отказавшись отъ сравнительно роскошной жизни у богатаго и важнаго, по уѣздному счету, дяди, поступаетъ въ швейный магазинъ. Тамъ она работаетъ и лучше, и усерднѣе другихъ, но зарабатываетъ мало, вообще бѣдствуетъ. Однако не это смущаетъ ее, — она своего добилась, осуществила отчасти свой личный идеалъ. Но ей горько, что на нее косятся швеи; онѣ видятъ въ ней, несмотря на всѣ ея старанія, все-таки «барышню, которой приличнѣе сидѣть въ гостиной и отъ нечего дѣлать что нибудь вышивать, а не пить здѣсь, отбивая у нихъ, бѣдныхъ дѣвушекъ, кусокъ хлѣба». Однажды у Дарьи Андреевны происходитъ слѣдующій, въ высшей степени характеристическій разговоръ съ одной швеей:

— Съ чего вы воображаете, что я на васъ сержусь? спросила обидчиво Катя (швея).

— Да развѣ я не вижу. Это видно и со стороны. Напримѣръ, вы не хотите даже со мной сидѣть, какъ будто я какая-нибудь прокаженная. *Попробуйте, что я ничѣмъ не лучше васъ.*

— Вотъ вы даже сейчасъ обидѣли насъ: чѣмъ же мы, напримѣръ, хуже людей?

— Я не говорю, чтобы мы, швеи, были хуже праздныхъ людей. *Я только приравниваю себя къ вамъ.*

— Ужъ пожалуйста! Намъ нечего приравниваться къ выскочкамъ, заѣдавшимъ чужого хлѣба. Я ужъ давно говорила вамъ: сидѣли бы вы гдѣ-нибудь въ гостиной и распивали бы тамъ съ барышнями кофеи ваши, запальчиво проговорила Катя.

— Вы меня, Катя, совсѣмъ не понимаете; вы не знаете причинъ, которыя заставили меня бросить праздную жизнь, разссориться съ родными, порвать всѣ отношенія съ сытымъ міромъ, съ которымъ живутъ насчетъ другихъ и на сытыхъ смотрятъ, какъ на какихъ-то лишенныхъ людей. *Я заготовляла рабочей жизни.* И знаете почему я приравнивала себя къ вамъ? — а потому, что я хотя получаю и больше васъ, Катя, но *переносу лишений не меньше вашей*⁴.

Намъ, пожалуй, не за чѣмъ и продолжать. Очевидно, Дарья Андреевна совершенно такая же кающаяся дворянка, какъ и Марья Николаевна. Только въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ типичнѣе и опредѣленнѣе. Ея идеалъ личной нравственности яснѣе, такъ какъ она хочетъ прямо «рабочей жизни», а Марья Щетинина еще ждетъ, какъ скажутъ тѣ хорошіе люди, которыхъ она встрѣтитъ «тамъ». Яснѣе въ Дарьѣ Андреевнѣ и со-

знаніе грѣховности окружающей жизни, — по крайней мѣрѣ, говоритъ она о ней въ болѣе определенныхъ чертахъ, — яснѣе и жажда покаянія, довольство переносимыми лишеніями, приравнивающими ее къ швеямъ, дѣлающими ее не хуже или, пожалуй, по ея очень характерному выраженію, не лучше ихъ. Кающіеся дворяне, вообще говоря, натуры чрезвычайно тонкія, изящныя, не смотря на свою иногда грубую виѣшность. Весь запасъ своихъ психическихъ силъ, унаслѣдованный ими часто отъ длиннаго ряда высокоблагородныхъ предковъ, запасъ, который отцами ихъ растратывался на наслажденіе красотой и узорами гегелевской философіи, весь этотъ запасъ силъ они направили на выработку кодекса личной нравственности. Немудрено, что въ этомъ дѣлѣ они оказывались подчасъ по-истинѣ великими виртуозами. Много надо имѣть душевной силы, чтобы искать будничныхъ, повседневныхъ, невидныхъ лишеній, и большая психическая тонкость нужна для того безошибочнаго анализа каждаго своего шага, которому предавались кающіеся дворяне. И «новыя женщины» въ этомъ отношеніи стояли, можетъ быть, даже выше «новыхъ людей» изъ кающихся дворянъ, а тѣмъ паче изъ разночинцевъ. Послѣдніе, конечно, опять-таки вообще говоря, были несравненно грубѣе, не только потому, что происхожденіе, воспитаніе ихъ не гарантировало имъ особенной тонкости чувствъ, но и потому, что значительная часть программы кающихся дворянъ для нихъ не существовала вовсе: какъ уже было замѣчено выше, разпочиавшу не въ чемъ было каяться и не зачѣмъ было налагать на себя эпитетимъ, — на него, неповиннаго, сама судьба, всегда слѣпая и бессмысленная, наложла не мало тяготы. Конечно, и передъ разночинцами стояла задача личной морали, но не она поглощала ихъ силы, и оттого они могли смотрѣть на вещи гораздо шире, чѣмъ кающіеся дворяне вообще и въ особенности чѣмъ новыя женщины.

Дарья Андреевна, подобно Щетининой, уѣзжаетъ въ Петербургъ, и на этомъ же пунктѣ заканчивается романъ Рѣшетникова. Въ Петербургѣ Дарья Андреевна можетъ быть и не затрется въ сектѣ кающихся дворянъ, потому что ей приходятъ иногда въ голову совершенно еретическія мысли. Такъ, напримѣръ, однажды «ей горько стало, что она живетъ только для себя, работаетъ только для того, чтобы заплатить за квартиру, чтобы наѣсться и не ходить босой. Кому я приношу пользу? Одной Эмили Карловнѣ (хозяйка магазина). И стало ей досадно, что ея работой живутъ другіе, а никакъ не она, и она успокоилась только

тѣмъ, что не одна она приноситъ пользу хоззяевамъ». Раздумье и скептицизмъ доходятъ по этому поводу въ Дарьѣ Андреевнѣ до того, что она даже къ ненавистному ей мужеству, по крайней мѣрѣ, временно, относится гораздо благосклоннѣе. Ее мирять съ нимъ дѣти: «вотъ тутъ есть цѣль, тутъ есть для чего жить, тогда, пожалуй, хорошо жить, если мужъ хорошій и любящій человѣкъ». Такого рода сомнѣнія весьма и весьма рѣдко вставали передъ новыми женщинами. (Да и въ Дарьѣ Андреевнѣ дальнѣйшее развитіе ихъ незамѣтно). По большей части это были люди, очень довольные собой, разъ имъ удалось добиться трудовой жизни, лишеній, возможности учиться, жить среди хорошихъ людей. Во всякомъ случаѣ, даже если этого самодовольства въ наличности не было. Оно было всегда такъ близко, такъ возможно. И это совершенно понятно. Женскій вопросъ, какъ онъ у насъ поставленъ, не только не самый передовой вопросъ къ ряду выдвинутыхъ нашимъ временемъ, — значеніе, которое ему такъ часто приписывается, — а напротивъ, вопросъ запоздалый, стоящій на пережитой уже почвѣ. Дѣйствительно, отдѣлите въ такъ называемомъ женскомъ дѣлѣ осложняющіе его элементы покаянія, элементы сектаторства, и вы увидите, что оно цѣликомъ покоится на общихъ категоріяхъ цивилизаціи, тѣхъ самыхъ, безошибочная провѣрка которыхъ составляла миссію разночинца. Чего хотѣли новыя женщины, какъ женщины? Во-первыхъ, свободы выбора своихъ личныхъ привязанностей, во-вторыхъ, свободы выбора профессій. Что же это, какъ не общая категорія цивилизаціи, какъ не пройденная уже съ точки зрѣнія разночинца ступень. О свободѣ выбора привязанностей, кажется, и говорить нечего. Вопросъ о ней стоялъ достаточно ясно, конечно, для меньшинства, еще въ сороковыхъ годахъ. Г. Авдѣевъ, напримѣръ, понималъ его очень хорошо, когда еще и никакого разночинца не было. Что же касается до свободы выбора профессій, то разночинецъ и всякій, стоящій на его точкѣ зрѣнія, имѣетъ полное право сказать: хорошо, женщины получаютъ и право, и возможность занимать соответствующія сѣла каждой изъ нихъ мѣста въ общественномъ организмѣ. Что же изъ этого произойдетъ? Мы это очень хорошо знаемъ, потому что было время, когда и мужчины не имѣли этого права и этой возможности, а теперь они этого добились, и результаты налицо. Будетъ то же, только въ большихъ размѣрахъ, что и теперь происходитъ въ сферахъ, открытыхъ для женскаго труда и способностей. Свобода выбора профессій, свобода труда для мужчинъ повела къ тому, что народу въ большинствѣ случаевъ стало

хуже прежняго: его завертѣло въ колесѣ національнаго богатства и крупной промышленности. Свобода выбора профессій въ сферахъ, куда допущенъ женскій трудъ и женскія способности, ведетъ къ тому, что въ швейномъ магазинѣ существуетъ Эмилія Карловна, возлѣ нея изнывають озлобленная Катя и кающаяся дворянка Дарья Андреевна, въ магазинѣ приходитъ либеральничая и толкующая о женскомъ вопросѣ и прогрессѣ барыня Тележникова заказать себѣ бальное платье. Что тутъ такого особенно утѣшительнаго съ высоты идеи народа, выдвинутой разночинцемъ и покрывшей собой въ концѣ пятидесятихъ и въ началѣ шестидесятихъ годовъ всѣ общія категоріи цивилизаціи? Да любой европейскій буржуа, если онъ только настоящій дѣлецъ, потребуетъ свободы женскаго труда, какъ требуетъ онъ свободы труда дѣтскаго. Допустимъ, что женскій вопросъ по своимъ свойствамъ и по другимъ обстоятельствамъ не могъ быть поставленъ иначе. Но это еще не резонъ, чтобы игнорировать самый фактъ и придавать женскому вопросу значеніе, котораго онъ не имѣетъ. Наконецъ, и невѣрно, чтобы женскій вопросъ не могъ быть поставленъ иначе. Пока разночинецъ не провалился, какъ въ балетѣ, онъ контролировалъ и женскій вопросъ своею верховною идеею и не давалъ ему обособиться отъ общаго социального вопроса. Обособленіе произошло уже при господствѣ кающихся дворянъ, а теперь оно еще усилилось.

Какъ бы то ни было, но очевидно, что, вопреки мнѣнію г. Авдѣева, исторіи «новыхъ людей» и «новыхъ женщинъ» не совсемъ параллельны.

Еще комментарий къ одному изъ положеній г. Авдѣева, и мы покончимъ съ его книжкою.

Разсуждая о судьбѣ Татьяны, которая отгоняетъ Онѣгина словами:

Я вышла замужъ. Вы должны,
Я васъ прошу, меня оставить;
Я знаю: въ вашемъ сердцѣ есть
И гордость, и прямая честь.
Я васъ люблю (къ чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду вѣкъ ему вѣрна;—

о судьбѣ Лизы («Дворянское гнѣздо»), которая рѣшила, что должна искупить грѣхъ невинной любви монастыремъ; о судьбѣ Софьи («Странная исторія»), которая обратилась въ проводницы полоумнаго веригоносца юродиваго,—г. Авдѣевъ замѣчаетъ: «Итакъ, вотъ въ третій разъ мы встречаемся съ русскими женщинами, покоряющимися тому, что онѣ называютъ «долгомъ». Понятіе о долгѣ у всякаго можетъ быть различно; но тотъ долгъ, которому слѣдовали

Татьяна, Лиза и Софья, имѣетъ одну общую черту покорности и преклоненія и составляетъ, повидимому, признакъ совершенно русскаго женскаго пониманія долга; Татьяна, Лиза и Софья носятъ на себѣ всѣ слѣды, именно, русской жизни, и разсказъ о послѣдней даже, какъ извѣстно, взятъ съ дѣйствительнаго событія. Да и не откуда выработаться такому пониманію долга, какъ не на русской, приниженной почвѣ; мы даже знаемъ, что Лиза и Софья почерпнули его прямо изъ народнаго слоя, прошедшаго черезъ дѣвичью въ дѣтскую, а Татьяна изъ той же барской дѣтской, съ примѣсью барской опочивальни. Мы, разумѣется, не станемъ тратить время на доказательства вреда такихъ понятій, которыя честныхъ, энергическихъ и счастливо одаренныхъ дѣвушекъ обращаютъ въ самое цвѣтъ жизни одну—въ холодную, великосвѣтскую ханжу, другую—въ монахиню, третью—въ прислужницу къ полоумному юродивому. Съ насъ достаточно только указать на вредъ всякихъ началъ, хотя бы и народныхъ, но принимаемыхъ безъ повѣрки, и на положеніе женщинъ того недавняго еще времени, когда ученіе и даже литература не указывали выхода, а искалѣченные до тупости преданія и ложныя ходячія понятія о долгѣ великъ нравственному самоуниженію и физическому саморастлбѣнью. Татьяна Пущкина, Лиза и Софья Тургенева останутся надолго для размышляющихъ читателей печальными придорожными крестами, говорящими о безвременно погибшихъ молодыхъ дѣвушкахъ, безцѣльно убитыхъ тѣмъ варварскимъ, бессмысленнымъ проводникомъ, котораго дало имъ съ ложнымъ паспортомъ долга народное невѣжество и слѣпой фанатизмъ».

Конечно, судьба Татьяны, а тѣмъ болѣе Лизы и Софьи очень печальна, очень трагична, и ихъ пониманіе долга очень извращено. Преподаватель элементарныхъ жизненныхъ курсовъ можетъ смѣло тратить свое драгоценное время на доказательство вреда такого рода понятій. Но я осмѣливаюсь замѣтить этому преподавателю, что всякій долгъ, какъ бы его кто ни понималъ, широко ли, узко ли, мелко ли, глубоко ли, «имѣетъ одну общую черту покорности и преклоненія». Можно и должно желать, чтобы люди критически работали надъ своими понятіями о долгѣ, чтобы они смотрѣли на него шире и разумнѣе, но вычеркивать изъ понятія о долгѣ элементъ покорности и преклоненія значить херить самый долгъ.

Конечно, всякія начала, «хотя бы и народные», принятыя безъ повѣрки, очень вредны. и не только *хотя бы* народные; напротивъ, они-то преимущественно подлежатъ повѣркѣ, потому что народъ вѣдь

и тому вѣрить, что земля на трехъ китахъ стоитъ. Но встрѣчаются между народными воззрѣніями и довольно правильныя, такъ что отнюдь не слѣдуетъ принимать безъ провѣрки убѣжденіе, что тамъ, въ народѣ-то, нѣтъ ничего, кромѣ сплошнаго невѣжества и слѣпого фанатизма.

Съ этой точки зрѣнія рекомендую г. Авдѣеву прочесть замѣчательную статью г-жи Ефименко «Народныя юридическія воззрѣнія на бракъ», напечатанную въ «Знаніи» (№ 1 за нынѣшній годъ). Народныя начала, одно время составлявшія предметъ самыхъ горячихъ споровъ, нынѣ совершенно удалились съ литературной сцены. Неизвѣстно даже, съ какими убѣжденіями на этотъ счетъ разошлись спорившіе: остались ли крайніе западники при томъ убѣжденіи, что ничего путнаго изъ Виллелема выйти не можетъ, разубѣдились ли славянофилы въ томъ, что народныя воззрѣнія суть единственный кладъ премудрости. Одно, кажется, вѣрно, что ни тѣ, ни другіе не были достаточно знакомы съ предметомъ спора. Положимъ, что западники его и знать не хотѣли, но славянофилы стояли за него такой горой, что отъ нихъ можно бы было потребовать большаго знанія дѣла. А что у нихъ его не было, что они рисовали народъ и народныя начала совсѣмъ не особенно схоже съ оригиналомъ, въ этомъ, мнѣ кажется, достаточно убѣждаетъ обстоятельное, хотя и частнаго только вопроса касающееся изслѣдованіе г-жи Ефименко. Статья г-жи Ефименко основана на трудахъ комиссіи по преобразованію волостныхъ судовъ, на нѣкоторыхъ другихъ печатныхъ источникахъ и на собственныхъ наблюденіяхъ автора. Цѣль ея—выяснить воззрѣнія народа на бракъ. Помимо чисто научнаго и общаго практическаго значенія, которое имѣетъ изученіе народныхъ юридическихъ обычаевъ вообще, предметъ, избранный г-жею Ефименко, очень важенъ для текущей минуты. вмѣстѣ съ предполагаемою реформою церковнаго суда въ настоящее время идетъ рѣчь, должны ли бракоразводныя дѣла оставаться въ вѣдѣніи духовной власти или ихъ слѣдуетъ передать власти свѣтской. Со стороны, не желающей въ этомъ отношеніи никакихъ измѣненій въ нашемъ законодательствѣ, появилась, по словамъ г-жи Ефименко, брошюра (извѣстно, замѣчаетъ г-жа Ефименко, что у насъ брошюры по текущимъ вопросамъ—явленіе, не принадлежащее къ числу обыденныхъ), авторъ которой доказываетъ, что, проектируя законъ, касающійся всего народа, надо знать мнѣніе о немъ «всей многомилліонной массы православнаго русскаго народа». При этомъ авторъ полагаетъ, что народъ видитъ въ бракѣ исключительно

тайнство, актъ религіозный, въ который не долженъ вмѣшиваться никакой гражданскій элементъ. Опроверженіе этого мнѣнія и выясненіе глубокой розни между нашимъ формальнымъ брачнымъ правомъ и обычнымъ, народнымъ—составляютъ всю суть статьи, о которой идетъ рѣчь. Я не буду слѣдить за подробностями историческаго очерка развитія нашего законодательства о бракѣ, который дѣлаетъ г-жа Ефименко, и приведу только главные его результаты. Наше брачное право было первоначально заимствовано изъ Византіи и получено нами съ двойственнымъ характеромъ, причемъ элементъ гражданскій значительно перевѣшивалъ элементъ церковный. И хотя бракъ поступилъ у насъ цѣликомъ въ вѣдѣніе духовенства, послѣднее долгое время не стремилось дать преобладаніе церковному значенію брака. Напротивъ, оно даже расширило, напри- мѣръ, нѣкоторые поводы къ разводу, допускаемые византійскимъ правомъ, и ввело новыя. Народа это однако не удовлетворяло, такъ что, несмотря на свою терпимость, духовенству приходилось выдерживать не малую борьбу за религіозный элементъ брака. Въ прошломъ столѣтіи происходитъ крутой поворотъ: брачное законодательство переходитъ въ руки общей, свѣтской власти, постановленія которой обязательны и для церкви. вмѣстѣ съ тѣмъ происходитъ явленіе удивительное и едва ли имѣющее свои параллели въ исторіи другихъ народовъ: съ переходомъ брачныхъ дѣлъ въ руки свѣтской власти, гражданскій элементъ, имѣвшій дотогѣ такое важное значеніе, начинаетъ уступать мѣсто религіозному. Свѣтская власть ставитъ бракъ на исключительно церковную почву. Уже Петръ Великій запретилъ господствовавшія до него рядныя и сговорныя записи съ обязательнымъ характеромъ и уничтожилъ значеніе гражданскаго обрученія. Это направленіе съ теченіемъ времени все усиливалось: нынѣ наше законодательство видитъ въ бракѣ исключительно тайнство.

Этотъ взглядъ, однако, представляя уже позднѣйшій фазисъ развитія нашего брачнаго права, весьма мало отразился на воззрѣніяхъ массы народа, который продолжаетъ смотрѣть на бракъ, главнымъ образомъ, какъ на гражданскій договоръ, только освященный благословеніемъ церкви. Г-жа Ефименко приводитъ цѣлый рядъ любопытнѣйшихъ данныхъ, подтверждающихъ это обстоятельство. Собственно церковному браку, вѣнчанію, предшествуетъ въ крестьянскомъ быту очень сложный и очень подробно обычаемъ разработанный чисто гражданскій договоръ, содержаніе котораго составляютъ свадебныя расходы, приданое, подарки, усло-

вія о количествѣ свадебныхъ гостей, неустойки, залогов, задатки и проч. Договоры обыкновенно заключаются словесно, но иногда и письменно, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (въ Архангельской губерніи) пишутся формальныя «сговорныя письма»,—тѣ же древнія, уничтоженныя Петромъ, рядныя или сговорныя записи. Въ нихъ опредѣляется время брака, назначается залогъ или неустойка на случай нарушенія договора, перечисляется приданое; если женихъ принимается въ домъ, то опредѣляются его права по отношенію къ имуществу тестя; если невѣста вдова съ дѣтьми, трактуется о положеніи и обезпеченіи дѣтей и проч. Нарушеніе составленнаго, такимъ образомъ, договора даромъ не проходитъ, и возникающія отсюда пререканія волостные суды всегда принимаютъ къ своему разбирательству. Они присуждаютъ возмѣщеніе убытковъ, возвращеніе подарковъ, плату «за безестіе» и проч., а въ нѣкоторыхъ особенныхъ случаяхъ въ великорусскихъ губерніяхъ—арестъ, а въ малорусскихъ губерніяхъ—штрафъ въ мірской капиталъ. Когда одна невѣста, послѣ заключенія договора, отказалась отъ исполненія его, ссылаясь на свою болѣзнь, судъ послалъ фельдшера для освѣдѣтельствванія ея. Договоры заключаются или самими брачущимися (рѣдко), или ихъ родителями. Въ послѣднемъ случаѣ уваженіе къ разъ заключенному договору доходитъ иногда до безобразія, до совершеннаго забвенія, что рѣчь идетъ о личности, а не о вещи. Такъ, на примѣръ, одинъ отецъ отказался отъ договора, между прочимъ, потому, что просваталъ дочь въ пьяномъ видѣ. Судъ постановилъ: «совершеніе поступка въ пьяномъ видѣ не даетъ права на снисходительное взыскаіііе: будь пьянъ, да умень»...

Совсѣмъ не такова роль религіознаго элемента въ крестьянскомъ бракѣ. Мѣстами и до сихъ поръ встрѣчается обычай обходиться вовсе безъ вѣнчанія. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Бѣлороссіи церковный обрядъ считается обязательнымъ, но уже сговоръ даетъ право жениху и невѣстѣ жить, какъ мужу съ женой. Въ числѣ обрядовъ крестьянскаго брака важное мѣсто занимаетъ свадебное пиршество, попойка, «веселье»: одинъ волостной судъ (Тамбовской губерніи) отказалъ въ претензіи на томъ основаніи, что «окончательнаго согласія не было, и никакого сватовства безъ попойки не бываетъ»; малороссы говорятъ: «хоть по чарці выпить, да короваю зысты, а все-таки треба». Въ Малороссіи это «веселье» не совпадаетъ necessarily съ обрядомъ вѣнчанія. Иногда родители поторопятся, по разнымъ соображеніямъ, церковнымъ бракомъ, а веселье откладываютъ недѣли на двѣ, на мѣсяць, по

неимѣнію средствъ. «Но замѣчательно то, что церковное вѣнчаніе, не сопровождаемое весельемъ, не влечетъ за собой никакихъ послѣдствій состоявшагося брака, не даетъ сторонамъ ни супружескихъ правъ, ни обязанностей, которыя вступаютъ въ свою силу только послѣ свадебнаго пиршества. Общество не допустить, чтобы новобрачная, до веселья, перешла въ домъ новобрачнаго, не допустить ихъ до фактическаго супружества. Съ другой стороны, бывали такіе случаи, что молодые люди, отбывъ веселье, жили вмѣстѣ безъ церковнаго вѣнчанія и считались супругами. Если тотъ или другой изъ супруговъ умираетъ послѣ вѣнчанія, но до веселья, то, считается несостоящимъ въ бракѣ, онъ погребается съ тѣми обрядами, какими обыкновенно сопровождается погребеніе дѣвушки или неженатаго парня». По поводу значенія, придаваемаго свадебному пиршеству и другимъ свѣтскимъ брачнымъ обрядамъ даже не крестьянами, г-жа Ефименко разсказываетъ слѣдующій забавный анекдотъ. Въ захолустье, гдѣ она жила, попало изъ губернскаго города выраженіе «гражданскій бракъ». Неудомѣвая на счетъ значенія этого выраженія и будучи пораженъ необыкновеннымъ случаемъ церковнаго вѣнчанія безъ соблюденія мѣстныхъ брачныхъ обычаевъ, горожане рѣшили, что вѣнчаться въ церкви и значить «вѣнчаться гражданскимъ бракомъ».

Что касается расторженія браковъ, то и здѣсь крестьяне какъ-бы игнорируютъ церковный элементъ. Формальный разводъ составляетъ, разумѣется, въ крестьянскомъ быту величайшую рѣдкость,—это дѣло хлопотливое и убыточное. Но крестьяне, оставляя неприкосновеннымъ церковный бракъ («худой поплъ обвѣнчаеъ и хорошему не развѣнчать»), замѣняютъ формальный разводъ фактическимъ. Иногда недовольные другъ другомъ супруги остаются жить вмѣстѣ, нисколько не стѣсняя другъ друга; но болѣею частью они дѣлаютъ «расходку». И волостные суды не стѣсняются утверждать условія, на которыхъ супруги расходятся и которыми они обязуются не вмѣшиваться болѣе въ дѣла другъ друга. Иногда суды не дозволяютъ расходки, а иногда, если причины достаточно важны, утверждаютъ ее даже въ случаѣ несогласія одной изъ сторонъ.

О раскольникахъ, разумѣется, и говорить нечего.

«Итакъ, говоритъ г-жа Ефименко:—мы видимъ, какъ далека истинный взглядъ народа на бракъ отъ того, что представляютъ обществу подъ именемъ «народныхъ воззрѣній» на предметъ разные создатели теорій, которымъ нужны эти «народныя воззрѣ-

нія», чтобы дать хоть кажущуюся опору своимъ, Богъ-знаетъ на чемъ основаннымъ измышлениямъ; мы видимъ, какое широкое развитіе, охватывающее всѣ стороны дѣла, получилъ у крестьянъ договорный элементъ брака, почти исключавшій участіе чего-бы то ни было, ему посторонняго; мы видимъ, наконецъ, что онъ, этотъ договорный элементъ, не только широко охватываетъ всѣ стороны дѣла, но и проводится послѣдовательно до крайнихъ своихъ выводовъ, переходя даже за тѣ предѣлы, передъ которыми должно было-бы остановиться развитіе нравственное чувство. Всѣ теоріи, основанныя на признаніи какого-то особеннаго православаго народно-русскаго духа, который, исполняя собою все, специально присутствуютъ въ бракѣ, какъ зародышъ гражданственности, кажутся до такой степени несостоятельными съ точки зрѣнія фактовъ, что рѣшительно не постигаешь, чему приписать ихъ возникновеніе: близорукости-ли и незнанію, или умышленной недобросовѣстности?.. Цѣлая бездна лежитъ между взглядами на бракъ наряда и взглядами на тотъ-же предметъ законодательства, между народнымъ брачнымъ правомъ и брачнымъ правомъ законнымъ. Введеніе христіанства положило начало этому раздвѣсненію; но долго, очень долго, почти черезъ всю нашу исторію, дѣло шло путемъ соглашенія различныхъ взглядовъ, путемъ уступокъ, однимъ словомъ, тѣмъ путемъ, на которомъ постоянно была передъ глазами возможность примиренія. Теперь, когда одинъ изъ этихъ взглядовъ получилъ окончательное преобладаніе, развился до своихъ послѣднихъ выводовъ и закрѣпился въ строгія законныя формы,—возможность примиренія теряется изъ виду. И вотъ представляется явленіе, поражающее своей ненормальностью: одно государство, одна національность, ничего, кромѣ различія сословій—и два брачныхъ права, основанныхъ на существенно различныхъ началахъ.

Какъ же помочь дѣлу, хотя-бы въ видахъ единообразія? Г-жа Ефименко полагаетъ, что народное право погнаться не можетъ, какъ не погнулось оно и до сихъ поръ. Но оно можетъ быть совершенно уничтожено, если уничтожить породившія его причины, если перевоспитать народъ и измѣнить условія его жизни, на что, однако, нужны цѣлыя вѣка. Законодательство находится въ совершенно иномъ положеніи. Оно можетъ отступить отъ своей исключительной точки зрѣнія, тѣмъ болѣе, что брачное законодательство находится у насъ въ рукахъ свѣтской власти. Теперешнее наше брачное право не представляетъ неизбѣжнаго слѣдствія нашего историческаго прошлаго, оно не можетъ опе-

реться и на точку народнаго духа. Законодательство руководилось исключительно отвлеченными соображеніями. Г-жа Ефименко отнюдь не считаетъ наше народное брачное право, въ его настоящемъ видѣ, вполне удовлетворительнымъ. Напротивъ, она очень хорошо видитъ его грубыя стороны, особенно по сравненію съ высокимъ понятіемъ о бракѣ, господствующимъ въ законодательствѣ. Но дѣло именно въ томъ, что это понятіе уже слишкомъ высоко. По закону бракъ есть «тайнство, доступное вступающимъ въ него лишь по взаимной любви и согласію, свободно отъ всякаго принужденія». Юристы наши стоятъ на той же идеальной точкѣ зрѣнія. Г. Побѣдоносцевъ опредѣляетъ цѣль брака такъ: «удовлетвореніе согласной съ разумною природою человѣка потребности общенія всѣхъ органическихъ внутреннихъ и внѣшнихъ силъ, дарованныхъ человѣку для развитія, труда и наслажденія въ жизни». Эти идеалы почерпнуты изъ области нравственно-религіозной, гдѣ они вполне уместны, но, обращаясь въ законодательную норму, они оказываются на столько высокими, что жизнь не можетъ ихъ принимать въ соображеніе. Въ свою очередь и законъ теряетъ возможность объять собою жизнь. Законъ, очень послѣдовательно, совершенно игнорируетъ, напримѣръ, обиды и оскорбленія между супругами; они для него совсѣмъ не существуютъ въ силу того, что бракъ есть «тайнство, доступное вступающимъ въ него лишь по взаимной любви и согласію». Въ самомъ дѣлѣ, если бракъ доступенъ исключительно только любящимся и согласнымъ людямъ, то какія-же тутъ могутъ быть оскорбленія и обиды? А если законъ и привлекаетъ къ суду мужа, наносящаго женѣ увѣчья, раны, тяжкіе побои, то, по отбытіи мужа въ тюрьму, онъ вновь водворится въ супружескія объятія, ибо, не смотря ни на что, супруги суть все-таки любящіеся и согласные люди. Если супруги живутъ врозь, то отдѣльный видъ на жительство можетъ быть выданъ мужемъ женѣ только на одинъ годъ. Какъ могутъ любящіеся и согласные супруги прожить врозь больше года? Законодательство не знаетъ несчастныхъ, неудачныхъ браковъ, они для него не существуютъ. Но такъ какъ изъ жизни-то формула законодателя ихъ изгнать не можетъ, то семья нерѣдко оказывается сосудомъ всякой лжи, лицемерія, гадостей, о чемъ достаточно краснорѣчиво свидѣлствуютъ ежедневно всплывающія брачныя и бракоразводныя драмы. Въ послѣднее время несостоятельность нашего брачнаго права передъ требованіями жизни опредѣлилась на столько ясно, что не только мировые судьи, но и высшая судебная ин-

хвастливы, болтливы, трусливы, уродливы, а русскіе казаки умны, благородны, скромны, храбры, красивы; русскій плѣнникъ въ кандалахъ, посаженный въ желѣзную клѣтку, чихаетъ, и толпы вооруженныхъ китайцевъ разбѣгаются отъ страха и проч. Казалось бы, какую болѣе доброкачественную и подходящую духовную пищу можемъ мы, «вверху стоящіе», предложить темному и глупому народу. Но опять-таки, странное дѣло, актерамъ было очевидно весело, не смотря на то, что они эту самую Оедосью Сидоровну разъ по десяти въ день продѣлываютъ. А зрители не особенно веселились. Запибающему деньгу, актеру, старику съ бородой изъ пакли, вертельщику весело, а принесшему деньгу скучно. Только когда Оедосья Сидоровна побѣждаетъ китайцевъ и заявляетъ, что, молъ, «русская баба вотъ какъ», раздается взрывъ хохота, но и то, кажется, болѣе скептического: что, дескать, баба можетъ, развѣ что съ китайцами... Известно, мужичье, грубое, глупое, ни женскаго вопроса, ни патріотизма не понимаетъ...

Мнѣ пришло въ голову: а что если народъ очень хорошо, не хуже нашего понимаетъ, какъ глупы и грубы предлагаемыя ему «вверху стоящими» масляничныя увеселенія, и ходить на нихъ только такъ, потому масляница? Вообще, большихъ сюрпризовъ можно ожидать...

Большихъ, но совсѣмъ, однако, въ другомъ родѣ, чѣмъ какой изображенъ въ послѣднемъ разсказѣ г. Тургенева «Пунинъ и Бабуринъ» («Вѣстникъ Европы», № 4-й).

Дѣйствіе первое, 1830 годъ. Лицо, отъ имени котораго ведется разсказъ, Петръ Петровичъ Б., двѣнадцатилѣтній мальчикъ, присутствуетъ при томъ, какъ нѣкій Бабуринъ занимается въ конторщики къ его бабушкѣ. Бабуринъ присланъ однимъ знакомымъ при письмѣ, въ которомъ значится, что онъ человѣкъ трезвый и трудолюбивый, но что за нимъ водятся «двѣ странности». Бабуринъ входитъ.

— Твоя фамилія Бабуринъ? спросила бабушка, и тутъ же прибавила про себя: *il a l'air d'un arménien*.

— Точно такъ-съ, отвѣчалъ тотъ глухимъ и ровнымъ голосомъ. При первомъ словѣ бабушки—«твоя», брови его слегка дрогнули. Уже не ожидалъ ли онъ, что она будетъ ему «выкать», говорить ему: вы?!!

Заходитъ рѣчь о «странностяхъ» Бабурина, о которыхъ упоминается въ рекомендательномъ письмѣ:

— Не могу знать, что имъ угодно было назвать странностями. Развѣ вотъ, что я... тѣлеснаго наказанія не допускаю.

Бабушка удивилась.—Неужто-жъ Яковъ Петровичъ тебя наказывать хотѣлъ?

Темное лицо Бабурина покраснѣло до самыхъ волосъ.

— Не такъ вы изволили понять меня, суда-

рыня. Я имѣю правиломъ не употреблять тѣлеснаго наказанія... надъ крестьянами!!

Другая странность Бабурина состоитъ въ томъ, что онъ держитъ постоянно при себѣ нѣкоего Пунина, бывшаго семинариста, не кончившаго курса, содержа его на свой счетъ. Дѣлаетъ это онъ «по справедливости... такъ какъ бѣднаго человѣка обязанность есть помогать другому бѣдному».

Разсказчикъ не дожидается результата переговоровъ и, посланный бабушкой, удаляется въ садъ, гдѣ сталкивается съ Пунинимъ. Съ этимъ добродушнымъ, смѣшнымъ, восторженнымъ и глубоко преданнымъ Бабурину чудачкомъ, мальчикъ очень быстро подружился. На другой же день, узнавъ, что оба друга поселились у нихъ въ домѣ, мальчикъ отправился навѣстить Пунина. «*Не постучавшись въ дверь—этого обычая у насъ и въ заводѣ не было* (я подчеркиваю, потому что эта мелкая черта очень характерна для всего разсказа), онъ прямо вошелъ въ комнату». Тамъ онъ засталъ, однако, только Бабурина.

— Вамъ что угодно? промолвилъ онъ, не опуская рукъ и насупивъ брови.

— Пунина нѣтъ дома? спросилъ я самымъ развязнымъ тономъ.

— Господина Пунина, Никандра Вавилыча, въ сію минуту точно нѣтъ дома, отвѣчалъ, не торопясь, Бабуринъ:—но позвольте вамъ замѣтить, молодой человѣкъ, развѣ прилично такъ, не спросясь, входить въ чужую комнату?

Я.. молодой человѣкъ!.. какъ онъ смѣетъ!.. Я вспыхнулъ весь отъ гнѣва.

— Вы, должно быть, меня не знаете, произнесъ я уже не развязно, а надменно: Я здѣшней Бабурина внукъ.

— Это мнѣ все едино, возразилъ Бабуринъ, снова принимаясь за полотенецъ.—Вы хотѣ и барскій внукъ, а не имѣете права входить въ чужую комнату.

— Какая же она чужая? Что вы?! Я здѣсь—вездѣ—дома.

— Нѣтъ, извините, здѣсь дома—я, потому что комната эта назначена мнѣ по условію—за мои труды.

— Не учите меня, пожалуйста, перебилъ я его:—я лучше васъ знаю, что...

— Васъ надобно учить, перебилъ онъ меня въ свою очередь:—потому что вы въ такомъ возрастѣ обрѣтаетесь... Я знаю свои обязанности, но и права свои знаю тоже очень хорошо, и если вы будете продолжать такимъ образомъ со мною бесѣдовать—то мнѣ придется попросить васъ отсюда выйти!..

Но тутъ приходитъ Пунинъ, и распря кончается. Пунинъ уводитъ мальчика въ садъ и тамъ объясняетъ: «Парамонъ Семенычъ (Бабуринъ) человѣкъ достойнѣйшій, строжайшихъ правилъ, изъ ряду вонъ человѣкъ! Ну, конечно, себя онъ въ обиду не дастъ, потому—цѣну себѣ знаетъ. Съ нимъ, мой миленькій, надо обходиться вѣжливейко, вѣкъ онъ... тутъ Пунинъ наклонился къ своему моему уху—республиканецъ!» «Да, мой

миленькій, да; Парамонъ Семенычъ республиканецъ, повторилъ Пунинъ:—вотъ вы и знайте впередъ, какъ о такомъ человѣкѣ отзываться». Въ скоромъ времени Бабурину пришлось заявить свои «республиканскія» идеи. Бабушка, изъ чистаго каприза, вздумала сослать одного крестьянина въ дальнюю деревню. Бабуринъ вступился, выразилъ, что «такія распоряженія суть не что иное, какъ превышеніе данной господамъ помѣщикамъ власти». За это бабушка его прогоняетъ вмѣстѣ, разумеется, съ Пунинымъ, отбѣздъ котораго глубоко огорчаетъ мальчика.

Дѣйствіе второе, 1837 годъ. Разсказчикъ уже не мальчикъ, а студентъ Московскаго университета. Пріятель его и товарищъ Тарховъ заводитъ интрижку съ молодой дѣвушкой Музой Павловной Виноградовой, которая оказывается пріемышомъ Бабурина: онъ ее избавилъ отъ разныхъ бѣдъ въ Воронежѣ и поселился съ ней и Пунинымъ въ Москвѣ. Бабуринъ не только облагодѣтельствовалъ Музу, но и любитъ ее и хочетъ жениться на ней. Когда разсказчикъ заявляетъ Пунину о неудобствахъ такого брака, по большой разницѣ лѣтъ, тотъ отвѣчаетъ, что зато честь велика: не говоря о достоинствахъ, «онъ происхожденія высокаго—съ лѣвой стороны. Говорятъ, его отецъ былъ владѣтельный грузинскій князь изъ племени Царя Давыда... Какъ вы это понимаете? Въ немногихъ словахъ—асколько сказано? Кровь Царя Давыда! Каково? А по другимъ извѣстіямъ, родоначальникъ Парамона Семеныча былъ нѣкій индійскій шахъ Бабуръ Бѣлая Кость Хорошо вѣдь и это? а?» Кончается, однако, дѣло тѣмъ, что Муза не прельщается ни достоинствами, ни происхожденіемъ Бабурина и сбѣгаетъ къ Тархову. Пунинъ въ отчаяніи, но Бабуринъ стойчески переноситъ свое горе.

Дѣйствіе третье, 1849 годъ. Разсказчикъ уже тридцатилѣтній чиновникъ въ Петербургѣ. Идетъ онъ разъ по Гороховой и видитъ бѣдную похорону. За гробомъ идетъ всего одинъ человѣкъ. Это Бабуринъ. Онъ хоронитъ Пунина. Бабуринъ уже женатъ. «Моя жена сегодня не совсѣмъ здорова, объявляетъ онъ:—оттого она не провожала покойника. А, впрочемъ, достаточно и одному человѣку исполнить эту пустую формальность, зтоя обрядъ. Кто же во все это вѣрить?» Женатъ Бабуринъ на Музѣ, которую Тарховъ, соблазнивши, бросилъ. Бабуринъ ни единымъ словомъ не помянулъ ей прошлаго. «Въ его комнатѣ, на самомъ видномъ мѣстѣ, висѣла извѣстная литографія, изображавшая Бѣлинскаго; на столѣ лежалъ томикъ старинной, бестужевской «Полярной Звѣзды». На другой же день послѣ своего перваго визита къ

Бабуринымъ, разсказчикъ получилъ отъ Музы письмо съ извѣщеніемъ, что мужъ ея арестованъ за участіе въ политическомъ дѣлѣ. Рѣчь идетъ, повидимому, о такъ называемомъ дѣлѣ Петрашевскаго. По суду Бабуринъ оправданъ, но сосланъ административнымъ порядкомъ въ Сибирь, куда за нимъ послѣдовала и Муза. Бабуринъ сначала этого не хотѣлъ: «по его понятіямъ, никто не въ правѣ жертвовать собою для другого человѣка—не для дѣла».

Дѣйствіе четвертое, 1861 годъ. Въ 1855 году Бабуринъ получилъ право вернуться въ Россію, но не воспользовался имъ. Въ 1861 г. разсказчикъ получаетъ отъ Музы письмо съ извѣщеніемъ о томъ, какъ Бабуринъ встрѣтилъ манифестъ 19-го февраля: «Сила воли въ немъ желѣзная, но тутъ онъ не выдержалъ! Руки тряслись у него, когда онъ читалъ; потомъ онъ обнялъ меня три раза и три раза со мной облобызался, хотѣлъ что-то сказать,—но, нѣтъ! не могъ и кончилъ тѣмъ, что прослезился, что очень было удивительно видѣть, и вдругъ закричалъ: «Ура! ура! Боже, царя храни!» Да, Петръ Петровичъ, эти самыя слова! Потомъ онъ прибавилъ: «нынѣ отпущаеши»... и еще: «это первый шагъ, за нимъ должны послѣдовать другіе»; и, какъ былъ, безъ шапки, побѣжалъ сообщить великую эту новость нашимъ пріятелямъ». Но Бабуринъ тутъ же простудился и вскорѣ умеръ отъ воспаления въ легкихъ.

Вотъ новый разсказъ г. Тургенева. Въ немъ нашъ маститый беллетристъ прабѣгъ къ обычному техническому эффекту, который сколько разъ уже помогалъ ему блеснуть своимъ мастерствомъ въ индивидуализаціи типовъ. Г. Тургеневъ беретъ большую часть двухъ или нѣсколько человѣкъ, связываетъ ихъ, говоря простонароднымъ языкомъ, какъ чортъ веревочкой, либо общностью положенія, либо тѣсной дружбой, и затѣмъ надѣляетъ ихъ самыми разнообразными физіономіями. Пріемъ, требующій большого искусства, большой тонкости работы, и только истинный художникъ владѣетъ этимъ даромъ «вязать и рѣшить» вмѣстѣ. Г. Тургеневъ имъ несомнѣнно владѣетъ и любитъ щеголять. Такое щегольство обнаружилъ онъ, напримѣръ, въ «Наканунѣ», окруживъ Елену Инсаровымъ, Шубинымъ, Берсеновымъ и Курнатовскимъ, въ «Первой любви», гдѣ героиня тоже окружена цѣлой группой образовъ, стоящихъ по отношенію къ ней въ одинаковомъ положеніи. въ «Дымѣ» (двѣ героини около Литвинова), въ «Вешнихъ водахъ» (двѣ героини около Санина), въ «Запискахъ охотника» («Хоръ и Калинычъ», «Чертапхановъ и Недопущинъ», «Пѣвцы»). Пріемъ этотъ, не смо-

тря на свою техническую трудность, съ другой стороны, для мастера, въ высшей степени благодаренъ. При немъ состязаніе, какъ въ «Наканунѣ», «Первой любви», «Дымѣ», «Вешнихъ водахъ», «Пѣвцахъ», или тѣсная дружба, какъ въ «Хорѣ и Калынычѣ», «Чертопхановѣ и Недопюскинѣ», «Пунинѣ и Бабуринѣ», образуютъ нѣкоторый общій фонъ, на которомъ отдѣльныя фигуры вырѣзываются съ особенною отчетливостью, и воображеніе художника можетъ смѣло комбинировать ихъ на разные лады. Къ сожалѣнію, за послѣднее время г. Тургеневъ точно истощилъ свои комбинаціи и безпрестанно повторяетъ самого себя. Такъ, состязающіяся героини «Вешнихъ водъ» очень уже напоминаютъ героинь «Дыма», а отношенія пріятелей Пунина и Бабурина не только въ общемъ, но и во множествѣ мелкихъ подробностей прямо списаны съ отношеній Чертопханова и Недопюскина. Къ еще большому сожалѣнію, копія эти гораздо слабѣе оригиналовъ. Покровительственно-дружественныя отношенія Чертопханова къ Недопюскину и почтительно-дружественныя отношенія послѣдняго къ первому совершенно ясны и понятны, потому что передъ читателемъ проходитъ и зарожденіе, и развитіе ихъ. Комбинація Пунинъ-Бабуринъ, напротивъ, очень туманна, потому что въ рассказѣ вся она держится на одномъ словѣ Бабурина: «по справедливости». Поневолѣ заподозрѣваешь самое это слово, т.-е. заподозрѣваешь, могло ли оно быть сказано, т.-е. заподозрѣваешь возможность самого Бабурина. Это одинъ изъ самыхъ неудачныхъ образовъ г. Тургенева. Авторъ на первой же страницѣ заставляетъ «дрогнуть» его брови при обращеніи къ нему мѣстоименія «ты» и затѣмъ строго-на-строго блюдетъ, чтобы онъ ежесекундно заявлялъ себя «республиканцемъ». Не смотря, однако, на этотъ строгій надзоръ или, вѣрнѣе, именно, благодаря строгости этого надзора, Бабуринъ блѣденъ, какъ тѣ листы бумаги, на которыхъ г. Тургеневъ писалъ свою повѣсть.

Вообще говоря, рассказъ г. Тургенева понравился. Критика, за послѣднее время не совсѣмъ благосклонная къ нашему знаменитому романисту, на «Пунинѣ и Бабуринѣ» съ нимъ помирилась. Критикъ «Голоса» доказываетъ, что рассказъ превосходенъ и что Бабурины—типъ, несомнѣнно существующій и впервые эксплуатируемый. Критикъ «Петербургскихъ Вѣдомостей» находитъ, что рассказъ прекрасенъ, что онъ кажется не вымысломъ, а былью,—столько въ немъ правды и такова сила таланта. На это возразить труднѣе, потому что тутъ дѣло не въ фактахъ, а въ томъ, что кому

кажется. Мнѣ кажется, что Бабуринъ весь—одна голая неправда, и для меня даже совершенно ясна причина этой неправды,—ее объясняютъ подписи подъ рассказомъ: «Парижъ 1874», и другой рассказъ г. Тургенева «Наши послали», напечатанный въ «Недѣлѣ».

Въ прошлой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» я пытался доказать, что пришествіе разночинца было событіемъ, заставившимъ людей сороковыхъ годовъ—и г. Тургеневъ ужъ, конечно, не меньше, чѣмъ другихъ—отшатнуться отъ послѣдняго нашего общественнаго движенія. Но вотъ является г. Тургеневъ съ повѣстью, въ которой фигурируютъ разночинцы (они такъ и называются въ рассказѣ «разночинцами», и я глубоко польщенъ этимъ совпаденіемъ) и въ которой авторъ выказываетъ весьма ясную симпатію къ нимъ. Да, mea culpa, mea maxima. Но, вѣдь, и то сказать: какого разночинца-то подхватилъ г. Тургеневъ! Пунинъ, конечно, въ счетъ не идетъ, но Бабуринъ-то каковъ! Онъ, правда, нѣсколько грубъ, какъ и подобаетъ «сыну толпы», но совершенно по-европейски; онъ формально декларируетъ, именно декларируетъ права человека и гражданина; въ 1830 году, въ какой-то Тмутаракани, отъ требуетъ, чтобы къ нему входили по европейски, постукавъ предварительно въ дверь. Мимходомъ сказать, г. Тургеневъ, очевидно, придаетъ большое значеніе способу вхожденія къ знакомымъ. потому что и въ другомъ мѣстѣ упоминаетъ о немъ: «Ни у кого не спросись, по студенческой безцеремонной привычкѣ, я прямо пробрался» къ Тархову. Какой укоръ этимъ безцеремоннымъ студентамъ представляетъ утонченный европеецъ Бабуринъ! Странно только, что мѣщанина, плохо выносящаго мѣстоименіе «ты» и совершенно не выносящаго вхожденія къ нему въ комнату безъ предварительнаго постукиванія, странно, что въ 30—40 годахъ его не прибилъ и не выпоролъ ни одинъ городничій, ни одинъ исправникъ, ни одинъ становой... Такъ вотъ каковъ этотъ разночинецъ... Блага цивилизаціи онъ способенъ оцѣнить вполне, а не то что Маркъ Волоховъ—черезъ окошко или черезъ заборъ все норовить, или какъ Михаилъ Ивановичъ—напьется и горланить про «прижимку». То азіаты...

Очевидно, г. Тургеневъ зажилъ за границей. Онъ полагаетъ, что эпизодъ изъ исторіи революціи 1848 года («Наши послали») и русскаго революціонера можно нарисовать однѣми и тѣми же красками. Я увѣренъ, что во французскомъ переводѣ «Пунина и Бабурина» ждетъ большой успѣхъ, но сомнѣваюсь, чтобы французы получили

изъ этой повѣсти правильное понятіе объ очень, разумѣется, для нихъ интересной сторонѣ русской жизни. Я увѣренъ также, что если г. Тургеневъ проживетъ, наконецъ, въ Россіи хоть годъ, ему станетъ обидно за эту смѣсь французскаго съ нижегородскимъ. А въ ожиданіи того я ему скажу словами Пущина: «Охъ, дворянчики, дворянчики! Полюбилися вамъ иностранчики! Отъ російскаго вы отклонились, на чужое преклонились, къ иноземцамъ обратились»...

Есть и еще новый рассказъ г. Тургенева: «Живыя мощи». Онъ напечатанъ, равно какъ и вышеприведенное стихотвореніе г. Майкова, въ «Складчинѣ», въ сборникѣ, изданномъ совокупными трудами русскихъ писателей въ пользу голодающихъ самарцевъ. Это огромный томъ въ сорокъ пять слишкомъ листовъ, гдѣ читатель найдетъ почти всѣхъ своихъ любимцевъ: Гончарова, Салтыкова, Некрасова, Тургенева, Островскаго, Достоевскаго. «Складчина» имѣетъ до сихъ поръ громадный успѣхъ: двѣ тысячи экземпляровъ были расхвачаны въ два дня, и до 8,000 рублей уже послано въ Самару. И только за неимѣніемъ достаточнаго количества готовыхъ экземпляровъ продажа была временно приостановлена. Это успѣхъ вполнѣ заслуженный, и не только потому, что цѣль изданія благотворительная. Мнѣ случалось слышать выраженія недовольства содержаніемъ «Складчины». Но это недовольство

совершенно неосновательно, потому что неосновательны были надежды, что въ «Складчинѣ» развернутся и предстанутъ во всеоружіи всѣ литературныя силы. Откуда взялись эти надежды? На общемъ собраніи литераторовъ, заявившихъ свое сочувствіе предпріятію, положено было, что все тенденціозное, полемическое, даже рѣзко публицистическое должно быть изгнано изъ «Складчины»; рѣшеніе вполнѣ разумное, потому что сборникъ иначе представилъ бы изъ себя очень странный арсеналь. Вслѣдствіе этого, напримѣръ, г. Погодинъ, авторъ «бранихъ посланій», долженъ былъ явиться безъ браннаго посланія (онъ далъ очень интересную вещь); кн. Мещерскій—безъ «гражданскаго» элемента; г. Салтыковъ—безъ сатиры; г. Некрасовъ—съ «тремя элегіями»; г. Гончаровъ долженъ былъ тоже обратиться назадъ, къ «Фрегату Палладѣ»; г. Тургеневъ—къ «Запискамъ охотника» и проч. Словомъ, почти всѣ писатели должны были предстать не въ своемъ обыкновенномъ, теперешнемъ видѣ, а либо должны были возвратиться къ пройденному уже, либо явиться, если позволено будетъ такъ выразиться, безъ соли. И все, что могло быть достигнуто при такихъ, наложенныхъ необходимостью, условіяхъ, дѣйствительно достигнуто. «Складчина»—идеаль безтенденціознаго сборника. Критикъ она, конечно, не подлежитъ, потому что всякое даваніе блага и всякъ даръ совершенъ.



Изъ дневника и переписки Ивана Непомнящаго.

I.

*Письмо къ Ивану Камердинеру *).*

Любезный другъ!

Ты знаешь, я люблю дурачиться съ друзьями... Нѣтъ, не то. Ты знаешь, я еще не очень давно имѣлъ довольно опредѣленные образъ и подобіе божіи. Правда, у меня не было римскаго носа (да и точно безъ него не проживешь!) и вообще рѣзкихъ чертъ лица: ни худъ, ни толстъ, жиденькая бородака неуловимаго цвѣта, носъ нѣсколько картофиной, слегка отвисшія губы, глаза не тусклые и не блестящіе; особыхъ примѣтъ никакихъ. Правда, и нравственная моя физіономія вполнѣ соотвѣтствовала этому фи-

зическому облику. Но все-таки, ты помнишь, физіономія была. Я имѣлъ имя, отчество, фамилію, взгляды на жизнь, осѣдность, чувства, мысли, мундиръ. Когда мы, бывало, втроемъ—ты, я и нашъ общій другъ Иванъ Либеральный—гдѣ-нибудь столкнемся, у насъ шли оживленнѣйшіе споры, я не помню теперь—о чемъ, но во всякомъ случаѣ я принималъ въ этихъ спорахъ горячее участіе, значить, имѣлъ же я что-нибудь за душой! Представь себѣ, что я все это утратилъ! Не то чтобы я за какое-нибудь преступленіе былъ лишенъ мундира, правъ состоянія, осѣдности или имени, отчества и фамиліи,—видитъ Богъ, я никогда не былъ ни въ чемъ виноватъ, — нѣтъ, я какъ-то все забылъ. Смутно представляется мнѣ, что было у меня что-то въ головѣ, на сердцѣ, на языкѣ, но

*) 1874 г., сентябрь.

что именно—хоть убей, не помню. Я долго старался припомнить, мучительно старался. У майора Ковалева только носъ пропалъ, да и то какъ онъ възбѣлился. Суди же о моемъ отчаяніи и усиліяхъ—увѣ! тщетныхъ. Долго ли, коротко ли, сладко ли, не сладко ли, а пришлось-таки помириться съ этимъ удивительнымъ положеніемъ. Но ты, написавшій «Взбалоученное море», «Некуда», «На ножахъ», «Мареву», «Марину изъ Алаго Рога», ты, авторъ этихъ и многихъ другихъ глубокихъ произведеній, слишкомъ хорошо знаешь человѣческое сердце, чтобы допустить, что я такъ вотъ сейчасъ всѣмъ и рассказалъ о своемъ несчастіи. Кругъ знакомыхъ моихъ не хуже, чѣмъ у майора Ковалева, я не безпозвѣстенъ и штабъ-офицершѣ Подточиной. Поэтому на первыхъ порахъ внутренняго примиренія съ моимъ новымъ и едва-ли не единственнымъ въ исторіи человѣчества положеніемъ я довольно долго ломался. Я старался, по крайней мѣрѣ, показать видъ, что очень хорошо помню рѣшительно все, чтобы, понимаешь, передъ посторонними-то людьми не конфузиться. Это мнѣ удалось. Хоть мнѣ и казалось иногда, что я и всѣ окружающіе разыгрываемъ роли авгуровъ и едва удерживаемся, глядя другъ на друга, отъ гомерическаго смѣха, но все-таки мнѣ и виду никто не показалъ, что мое несчастіе извѣстно. На что твоя «послѣдняя страничка» въ «Гражданинѣ»—чего ужъ, кажется, злѣе, ядовитѣе, а и та молчала. Но скоро мнѣ надобно притворяться. Мимоходомъ сказать, и тебѣ не совѣтую. Впрочемъ, объ этомъ ниже. Стараться имѣть видъ, что все помнишь, когда не помнишь ровно ничего, это такая адская мука, которую à la longue способны вынести только самые толстокожіе экземпляры вида Homo sapiens. Существовала нѣкогда пытка, извѣстная подъ именемъ «испанскаго осла». Пытаемаго сажали верхомъ на заостренную перекладину, а къ ногамъ подвѣшивали гири; гири тянули внизъ, а острие перекладины постепенно разрѣзало человѣка на двѣ части. Это, конечно, ужасно; говорить, страшнѣе этой пытки изобрѣтательный умъ человѣческій ничего не могъ придумать. Но представь себѣ, что было бы, если бы можно было обязать сидящаго на испанскомъ ослѣ имѣть совершенно бодрый и гордый видъ человѣка, галопирующаго по своей собственной охотѣ... Я не вынесъ. Не вынесъ какъ разъ въ то время, когда уже началъ довольно бойко и ни мало не краснѣя выкрикивать, «можно не соглашаться, но должно признаться!» Я тебѣ расскажу, какъ, почему и при какихъ обстоятельствахъ соскочилъ я съ испанскаго осла. Не долга эта исторія, но глубоко трагична и поучительна.

Нынче дѣломъ я, вмѣстѣ съ нашимъ об-

щимъ другомъ Иваномъ Либеральнымъ, напечаталъ въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» «Взглядъ и нѣчто» въ защиту плутократіи. Не помню ужъ, зачѣмъ мы это сдѣлали, можетъ быть, мы и тогда этого не знали. Какъ бы то ни было, но приемъ мы выбрали довольно оригинальный. Именно мы спросили себя: что такое плутократія? и отвѣтили весьма резонно; власть, правленіе богатей. Это по ученому, по-гречески. Но по-русски выходить это какъ-то не ладно,—точно власть плутовъ, тогда какъ всякому, даже не учившемуся у современныхъ педагоговъ, извѣстно, что плутъ и богатъ совсѣмъ не одно и то же. А такъ какъ, рассуждали мы дажѣ съ Иваномъ Либеральнымъ, ученое слово плутократія происходитъ отъ имени греческаго бога Плутона, то надлежитъ упразднить неприличный каламбуръ, поддерживаемый лишь всеобщимъ невѣжествомъ, и говорить не плутократія, а *плутонократія*. Кажется, чего бы лучше? Мы обнаружили энергію, обнаружили эрудицію; принять бы предложенную нами реформу и дѣло съ концомъ. Но оказалось,—чего, впрочемъ, открывенно говоря, всегда слѣдовало ожидать,—что энергія и эрудиція «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» превосходитъ нашу. Эта почтенная газета доказала, какъ дважды два четыре, что слово плутократія происходитъ отъ имени не Плутона—бога ада, а Плутоса—бога богатства. Я къ Ивану Либеральному.

— Какъ-же, говорю, такъ?

— А ты чего смотришь?

— Нѣтъ, ты-то, ты?

— Я, говорить, свободенъ вообще, свободенъ и отъ греческой міеологіи и греческой грамматики въ частности. А ты выходишь невѣжда...

И такъ это онъ гордо, съ такимъ апломбомъ сказалъ, что я даже опѣшилъ. Выругалъ я его за то, что онъ оставляетъ меня одного подъ мѣткими выстрѣлами энергіи и эрудиціи «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», и сталъ думать, какъ бы мнѣ извернуться, какъ бы мнѣ повернуть дѣло такъ, чтобы повѣрили добрые люди, что я все, все очень хорошо помню, даже греческую міеологію и греческую грамматику. Такъ оставаться, сложа руки, мнѣ было нельзя, потому что, повторяю, меня даже штабъ-офицера Подточина знаетъ. Однако, я не нашелся ничего лучшаго сдѣлать, какъ рипостировать «С.-Петербургскимъ Вѣдомостямъ» такъ: хорошо, пускай отъ Плутоса, тогда, значить, надо говорить *плутосократія*, а все-таки не плутократія. Я предлагалъ даже писать это слово такъ: Плуто-Сократія, вводя, такимъ образомъ, имя знаменитаго греческаго мудреца. Но Иванъ Либеральный нашелъ, что это уже слишкомъ, и мы напечатали въ «Бирже-

выхъ Вѣдомостяхъ» свой рипость, безъ предложеннаго мною улучшенія. Однако, мнѣ все-таки было стыдно, и я рѣшилъ немедленно ѣхать на Кавказъ. Иванъ Либеральный тоже поѣхалъ, но не отъ стыда, а писать корреспонденціи. Дорогой уже мы узнали, что и «Петербургскія Вѣдомости» не безъ грѣха, ибо и имъ было доказано тоже, какъ дважды два четыре, что Плутонъ и Плутосъ вовсе не разные боги, а одинъ и тотъ же богъ. Такъ кончилась эта знаменательная полемика. Мы много смѣялись надъ невѣжествомъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей»...

Немудрено, что мы пріѣхали въ Пятигорскъ въ томъ пріятномъ расположеніи духа, которое всегда овладѣваетъ даже самыми несчастными и невѣжественными людьми при видѣ чужого несчастья и невѣжества. Иванъ Либеральный былъ веселъ и болтливъ, какъ божья птичка. Я тоже былъ бодръ и пріобрѣлъ увѣренность, что жить и казаться понимающимъ еще можно. Я «ходилъ по тропинкѣ бѣдствій»... Однажды я отправился гулять и совершенно случайно наткнулся на Лермонтовскій гротъ, въ которомъ есть (увы! теперь уже надо говорить: *была*) мраморная доска съ высѣченными на ней стихотвореніемъ въ память поэта. Безъ всякаго злого умысла, а единственно подъ влияніемъ веселаго расположенія духа съ одной стороны и восточнаго характера мѣстности и людей съ другой, я вынулъ изъ кармана перочинный ножикъ и исчертилъ всю доску разными остроумными надписями. Подошедшій въ это время юнкеръ заглянулъ, прочиталъ, пріятно улыбнулся и ушелъ прочь. Представъ же себѣ, любезный другъ, что на другой день поднялся ужаснѣйшій скандалъ: мои остроумныя надписи нашли неприличными, доску убрали и пропечатали все это въ «Листкѣ для посѣтителей кавказскихъ минеральныхъ водъ»... Иванъ Либеральный выходилъ изъ себя: какая это, говорить, свинья посмѣла и пр. Я откровенно сказалъ: я!—Надо было видѣть ярость нашего вѣчно веселаго и безпечнаго друга! Надо было слышать излетавшій изъ устъ его потокъ жалкихъ и грозныхъ словъ! Онъ говорилъ о любви къ отечеству, о народной гордости и о деньгахъ, заплаченныхъ за мраморную доску, о величіи поэта и о своихъ корреспонденціяхъ, о свободѣ и о полиціи... Ты вѣдь знаешь его краснорѣчіе. Я стоялъ безмолвный, смутно чувствуя нѣкоторыя утрызвенія совѣсти. Я сдѣлалъ что-то нехорошее... Но что именно? Почему именно на этой доскѣ нельзя писать всего, что мнѣ задумается? Когда я вижу гдѣ-нибудь на углу надпись: здѣсь строго воспрещается производить нечистоты, — я прохожу мимо. Но вѣдь тутъ не было никакой надписи. Лер-

монтовъ... Что такое Лермонтовъ?.. Забылъ... Однако, признаться въ этомъ откровенно я не рѣшался.

— Не ты ли, — гремѣлъ, между тѣмъ, Иванъ Либеральный: — не ты ли долбилъ наизусть всего Лермонтова отъ «Вѣтки Палестины» до «Монго»? Не ты ли корчилъ изъ себя Печорина? Не у тебя ли висѣлъ надъ письменнымъ столомъ портретъ поэта?

Но тщетно рылся я въ своей памяти, она была пуста, какъ выпитая бутылка. Наконецъ, блеснулъ какой-то слабый, неясный лучъ. Мнѣ вспомнился пріятно ослабившійся юнкеръ, заставшій меня въ уединенномъ гротѣ съ перочиннымъ ножомъ въ рукахъ. При чемъ этотъ юнкеръ, я не понималъ, но чувствовалъ, что къ нему можно какъ-то пристегнуть якорь спасенія.

— Что же такое? приподрился я: — юнкерская поэзія...

Сказалъ и остановился, потому что забылъ, что дальше. Остановился и нашъ другъ. «Юнкерская поэзія», кажется, напомнила ему что-то, требовавшее новыхъ приемовъ аргументаціи и ошеломленія. Я съ своей стороны вспомнилъ только, что было на свѣтѣ нѣчто такое, что заслонило для меня Лермонтова, заставило снять со стѣны его портретъ и повѣсить вмѣсто него другіе. Это нѣчто называло Лермонтовскую поэзію юнкерскою поэзіей. Но что это за нѣчто? Почему оно называло Лермонтова юнкеромъ? Какіе именно портреты повѣсилъ я у себя надъ письменнымъ столомъ послѣ Лермонтова? Опять и опять терзалъ я свою память, и опять и опять тщетно...

— Лермонтовъ, — твердилъ я про себя съ озлобленіемъ: — ну, Лермонтовъ... былъ Лермонтовъ... Демонъ... Мцыри... прекрасна какъ ангелъ небесный, какъ демонъ коварна и зла... Фу, чорты!.. Лермонтовъ, ну, Лермонтовъ... потомъ... Что же потомъ?..

Испанскій осель аккуратно дѣлалъ свое дѣло и немилосердно рѣзалъ меня на двѣ части. Дальше я уже не въ силахъ былъ сохранять видъ человѣка, галопирующаго по своей доброй волѣ...

— Такъ ничего же я не помню! Ни Лермонтова, ни что до Лермонтова, ни что послѣ Лермонтова, ничего! Слышишь: ничего, ничего, ничего! Выкуси! Самъ садись на испанскаго осла...

Такъ разразился я передъ изумленнымъ Иваномъ Либеральнымъ, который, по обыкновенію, ничего не понимая, принялъ слова «испанскій осель» на свой счетъ и обидѣлся. Я не разувѣрялъ его и не слышалъ его упрековъ. Мнѣ было не до него. Конечно! Ничего не помню и баста! Пусть кто хочетъ лѣзетъ на испанскаго осла, а я — знать не знаю, вѣдать не вѣдаю, ни роду, ни пле-

мени, ни кола ни двора, ни отца ни матери, зовутъ Иваномъ Непомнящимъ!

Принявъ такое рѣшеніе—какъ давно уже мнѣ слѣдовало его принять!—спѣшу, любезный другъ, уведомить тебя о немъ публично, дабы, во-первыхъ, выразить тѣмъ свое уваженіе къ тебѣ, а во-вторыхъ, преподать, тебѣ нѣкоторые добрые совѣты. Скажу тебѣ прежде всего, что я счастливъ. Ты человѣкъ ученый, ты слыхалъ о нирванѣ, о буддистскомъ блаженствѣ небытія. Именно нѣчто въ этомъ родѣ испытываю я теперь, когда соскочилъ съ испанскаго осла и облегчилъ душу публичнымъ заявленіемъ: забылъ, все забыть! Я знаю, ты съ своей обыкновенной логикой скажешь: что жъ, дескать, хорошаго, что ты все забылъ, оторвался отъ всякой почвы и традиціи, забылъ, наконецъ, свои собственныя славныя дѣянія? вѣдь никто другой, какъ ты, обличалъ во взяточничествѣ исправника Z—скаго уѣзда, X—ской губерніи, никто другой, какъ ты, потребовалъ, чтобы слово жидъ было изгнано и на его мѣстѣ водружено слово еврей.—Благодарю, добрый другъ, за память. Дѣйствительно, я, кажется, совершилъ эти славныя дѣянія. Но, забывая все, я забываю не только эти свои лавры, а и все тѣ гнуснѣйшія и смѣшнѣйшія положенія, въ которыхъ не разъ приходилось становиться и мнѣ, и тебѣ, и Ивану Либеральному, и Ивану Чувствительному, и Ивану Ничего-непонимающему, и Иванушкѣ Дурачку и всѣмъ прочимъ Иванамъ. А главное, не въ этомъ совсѣмъ дѣло. Я бы и радъ помнить, но что же дѣлать, если все забылъ. Я не тому радуюсь, что забылъ, а тому, что имѣлъ мужество объявить это, тому, что соскочилъ, наконецъ, съ испанскаго осла. Я и тебѣ не говорю: забудь. Напротивъ, припоминай. Въ настоящую минуту ты именно стараешься припоминать, и я съ большимъ сочувствіемъ слѣжу за твоими усиліями. Припоминай, но если ты замѣтишь, что усилія твои тщетны, брось и объяви себя Иваномъ Непомнящимъ. Не послѣдняя выгода этого состоянія заключается въ хладнокровіи и спокойствіи, которыми оно меня надѣлило и образцы которыхъ ты увидишь сегодня же, въ этомъ письмѣ.

Я назвалъ себя счастливымъ. Оно вѣрно. Соскочивъ съ испанскаго осла, я избавился отъ ужаснѣйшихъ мученій. Но нѣтъ добра безъ худа. Во мнѣ развилась подозрительность.

Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ,
Вхожу ли въ многоядный храмъ,—

мнѣ все кажется, что кругомъ меня стоятъ, сидятъ, лежатъ, ходятъ въ сущности все такіе же непомнящіе, какъ и я, но только не имѣющіе мужества заявить о своемъ заб-

веніи или забыти,—не помню, какъ это говорится по-русски. Въ виду этого, мною овладѣлъ духъ прозелитизма. Всѣхъ этихъ непомнящихъ, но не имѣющихъ мужества мнѣ страстно хочется осчастливить, обративъ ихъ въ свою вѣру откровеннаго забвенія. Я долженъ, однако, откровенно признаться, что до сихъ поръ моя миссіонерская дѣятельность была довольно безплодна. Напрасно стараюсь я убѣдить непомнящихъ, но не имѣющихъ мужества, что, только достигнувъ той степени безстыдства, которой я достигъ, можно разсчитывать на полное и прочное счастье. *Они стыдятся!* (я подчеркиваю и *они*, и *стыдятся*), то-есть они предпочитаютъ остановиться на переходныхъ ступеняхъ безстыдства, которыя, по моему, даже хуже безстыдства откровеннаго. Они упорно сидятъ на своихъ испанскихъ ослахъ, и, право, не будь у меня собственнаго опыта, я бы иной разъ, пожалуй, повѣрилъ, что они помнятъ. До такой степени нѣкоторые, даже на испанскомъ ослѣ, умѣютъ сохранить молдцоватую, чисто кавалерійскую посадку. Но меня не проведешь. Идетъ человѣкъ по улицѣ; идетъ онъ очень скоро, очень твердо и съ печатью думы на челѣ, палочкой не помахиваетъ, дамамъ подъ шляпки не заглядываетъ, у магазинныхъ оконъ не останавливается. Но я про себя думаю: шляпы! ничего ты не помнишь! И затѣмъ обращаюсь къ нему. «Милостивый, говорю, государь, а вѣдь вы забыли! Онъ останавливается, смотритъ на меня во всеглаза и затѣмъ съ ужасомъ хватается за карманъ въ брюкахъ, за задній карманъ, за боковую. Несчастный! онъ думаетъ, что забылъ портмоне, онъ думаетъ, что, кромѣ портмоне, и забывать нечего... Онъ даже, наконецъ, вытаскиваетъ портмоне и показываетъ его мнѣ. какъ доказательство, что онъ не забылъ. Я его останавливаю. «Портмоне, говорю, вы, дѣйствительно, не забыли, но это единственная вещь, которой вы не забыли, а затѣмъ область вашего забвенія, можно сказать, необъятна. На первый случай вы забыли, куда и зачѣмъ вы вышли изъ дому, вы забыли заглянуть подъ шляпку и вотъ этой камелии, и вонъ той матери семейства, вы забыли остановиться передъ окнами Ліонскаго магазина, гдѣ выставлены новыя гобелены, вы забыли»... Но тутъ онъ прерываетъ меня, раздражаясь бранью, и круто поворачиваетъ назадъ. Однако, я вижу, какъ походка его утрачиваетъ свою солидность, какъ онъ догоняетъ указанныхъ ему мною дамъ, какъ онъ стоитъ передъ Ліонскимъ магазиномъ. Очевидно, я ему напомнилъ. Но обратилъ ли я его въ вѣру откровеннаго забвенія? Кажется, нѣтъ. И вотъ

это-то меня теперь и мучить. Но ты понимаешь, конечно, что неудачи не могут останавливать моего рвенія. Ты по себѣ знаешь, какъ трудно выгнать изъ себя духъ прозелитизма: ты написалъ много неудачныхъ произведеній, но рвеніе тебя никогда не оставляло.

Итакъ, я обращаюсь съ пропагандой къ тебѣ.

Ты припоминаешь. «Безъ опоры,—пишешь ты въ превосходной передовой статьѣ № 227 «Русскаго Мира».—безъ опоры твердой середины, безъ установленнаго сборнаго мнѣнія, для котораго у насъ въ настоящее время нѣтъ почвы, люди могутъ только играть въ свѣбоду, злоупотреблять ею во всѣхъ видахъ, но не могутъ ею пользоваться. Наше общественное безсиліе выражается однимъ словомъ: «разбродъ». Нравственная сила всякаго народа заключается въ связности его образованныхъ слоевъ, въ извѣстномъ единствѣ ихъ воззрѣній». И далѣе: «Мы окунулись въ полную бессословность, растворили въ массѣ свое, еще недостаточно связанное, еще не созрѣвшее культурное сословіе». Въ превосходнѣйшей передовой статьѣ, № 236 той же газеты, ты весьма мѣтко говоришь: «Въ русскихъ уѣздахъ существуетъ только то разумное общество, которое существуетъ въ русскомъ государствѣ; устройство швейцарскаго кантона въ такой же степени не соотвѣтствуетъ состоянію нашего уѣзда, въ какой общее устройство швейцарскаго союза не соотвѣтствовало бы состоянію русской имперіи». — Въ наипредосклоннѣйшей передовой статьѣ, № 237 все того же «Русскаго Мира», ты, съ свойственнымъ тебѣ остроуміемъ, излагаешь: «При культурномъ обществѣ, дѣйствительно сознательномъ и связанномъ, завѣдываніе дѣлами всегда будетъ находиться въ рукахъ людей, выносившихъ впередъ мнѣніемъ, выражающимъ настроеніе большинства,.. На нашу почву исторія не бросила сѣмянъ парламентаризма въ его европейскомъ и американскомъ видѣ—въ смыслѣ партій, дѣйствующихъ отъ своего лица и побѣждающихъ одна другую временнымъ привлеченіемъ большинства культурнаго слоя на свою сторону» *).—Въ глубокомысленной критической статьѣ «Пугачевцахъ» г. Сальяса, подписанной буквою А. («Русскій Вѣстникъ № 4) ты говоришь: «Мы не дали

себѣ труда понять, что литература ничѣмъ другимъ не можетъ питаться, какъ интересами образованнаго круга, потому что они одни только суть истинные національные интересы въ формѣ сознательной и приуроченной къ интересамъ цивилизаціи... Образованному человѣку естественно относиться съ гораздо большимъ интересомъ къ драмѣ, возникшей изъ столкновенія сложныхъ и зрѣлыхъ характеровъ, руководимыхъ страстями и побужденіями цивилизованнаго быта, нежели къ прозябанію жизни, остановившейся на низшей формѣ развитія... Культурная жизнь имѣетъ исторію, владѣетъ идеалами, въ ней вырабатываются сильныя своеобразныя личности, въ ней нарождаются и сталкиваются интересы, открывающіе человѣческой мысли далекіе горизонты... Жизнь культурнаго общества, его положеніе въ виду народныхъ массъ, находящихся въ состояніи стихійной неподвижности или стихійныхъ движеній, уже есть идея».

Но довольно. И въ другихъ твоихъ, не менѣе глубокомысленныхъ статьяхъ, подписанныхъ буквою А. и напечатанныхъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ», и въ очеркахъ текущей литературы, которыми ты, скрываясь подъ буквами А. О., снабжаешь «Русскій Миръ», равно какъ и во многихъ другихъ мѣстахъ ты припоминаешь: культура... ну, культура... была культура... Потому... Потому «разбродъ», прозябаніе жизни, остановившейся на низшей формѣ развитія... Что такое культурный?.. культурная... Конечно, ты пишешь довольно гладко и не запинаешься такъ ужъ часто. Но я не про печатное говорю,—бумага все терпитъ,—а про очень хорошо знакомый мнѣ процессъ твоей мысли. Это ничего, что ты припоминаешь. Повторяю, я съ большимъ сочувствіемъ слѣжу за твоими усиліями. Мнѣ кажется, я отсюда слышу, какъ въ головѣ твоей отдается какъ колокольный звонъ: культура, культуры, культурѣ, культурой, о культура! культурный, культурная, культурное и т. д. Мнѣ кажется, я вижу, какъ усилія припомнить вызываютъ обильный потъ на твоемъ высокомъ челѣ, ибо, по-истинѣ, ты въ потѣ лица зарабатываешь духовный хлѣбъ свой. Мнѣ ли не сочувствовать тебѣ, когда я на себѣ испыталъ всю адскую муку испанскаго осла! Себѣ я помочь не могу, но, старый другъ и товарищъ по несчастію, можетъ быть мнѣ удастся оказать услугу тебѣ. Давай припоминать вмѣстѣ.

Культура! Что такое культура? И что было послѣ культуры? Что это за послѣкультурное нѣчто, которое ты называешь интересомъ къ прозябанію низшей жизни, купаніемъ въ бессословности и т. п.? Ты говоришь, что графъ Сальясъ прекрасно изо-

*) Я получилъ надняхъ анонимное письмо съ упрекомъ, что почему-де я не занимаюсь опроверженіемъ твоихъ «серьезныхъ» передовыхъ статей въ «Русскомъ Мирѣ». Откровенно говоря, я тузую, что ты самъ прислалъ мнѣ это письмо. Но во всякомъ случаѣ, какая странная мысль: мнѣ опровергать тебя! мнѣ, который исполнѣ увѣренъ, что передовыя статьи «Русскаго Мира» не только серьезны, а священны, что sacrées elles sont, car personne n'y touche.

бражает все, что изображаетъ, но что онъ преимущественно «живописецъ культурныхъ явленій нашей жизни, культурнаго общественаго слоя», и указываешь при этомъ на созданный графомъ Сальясомъ типъ князя Даниила Родионовича Хвалынскаго. Вотъ и прекрасно.

Дѣдъ князя Даниила, князь Зосима Хвалынскій, засталъ свою жену съ стреманнымъ и изъ ревности убилъ ее на мѣстѣ. Потомъ онъ сталъ жить съ своей дворовой дѣвушкой и уже хотѣлъ было жениться на ней, но она умерла отъ родовъ. Князь Зосима такъ отнесся къ своему новорожденному сыну:

— «Проклятое чадо! Распроклятое! кричалъ онъ, обезумѣвъ при видѣ покойницы.— Ты убилъ, отнял ее у меня! Задавить его! Тащи! Вѣшай!

«И ударомъ ноги князь повалилъ богатую люльку. Ребенка унесли съ окровавленнымъ личикомъ; крохотная губка была разсѣчена при паденіи.

— «Задавили?! сто разъ въ день спрашивалъ князь, не находя себѣ мѣста въ Азгарѣ.—Задавили?!

— «Задавили-съ, робко отвѣчалъ всякій».

Вотъ первыя пробы культуры. Вотъ «драмы, возникшія изъ столкновенія сложныхъ и зрѣлыхъ характеровъ, руководимыхъ страстями и побужденіями цивилизованнаго брата». Итакъ, на первый разъ культура есть связь барыни со стреманнымъ, женоубійство, связь барина съ крѣпостной и дѣтоубійство.

Князь Данило не то, что дѣдъ, «но ему еще осталась возможность вернуться назадъ и въ старости быть вторымъ Зосимой». Впрочемъ, князь Данило и въ дѣйствительности не менѣе цивилизованъ и «культуренъ», чѣмъ Зосима. Отправился онъ въ Питеръ и очень было повезло ему по службѣ, какъ вдругъ онъ застрѣлилъ одного офицера, а какому-то вельможѣ послать плеть—въ слѣдующій-де разъ самъ съ плетью пріѣду. Къ плетямъ Данило Родиновичъ обнаруживаетъ большую склонность. Такъ, онъ придирается въ послѣдствіи на балѣ къ одному военноплѣнному, а когда ихъ разнимають, Данило грозитъ: «завтра я соберу моихъ лихачей и его какъ жидъ вспорю ногайками на дому». Да этого рода подвиговъ Даниила и не перечестъ. Онъ разъ даже одного царскаго воеводу выпоролъ, впрочемъ по ошибкѣ. Конечно, «образованному человѣку естественно относиться съ гораздо большимъ интересомъ къ такому культурному человѣку, чѣмъ къ прозябанію жизни, остановившейся на низшей формѣ развитія». Итакъ, обладать культурой значитъ пороть людей плетью или ногайками, самолично или при помощи своихъ лихачей.

Князь Данило, повинувшись вѣщему сну, женится на милой, но простоватой дѣвушкѣ, Милушѣ. Она ему скоро надоѣдаетъ и онъ ѣдетъ искать подвиговъ. Въ его отсутствіе прежній женихъ Милуши, Соколь-Уздальскій, тоже человѣкъ культуры, опаиваетъ ее и насилуетъ. Данило Родиновичъ не только подвергаетъ за это виновника всяческимъ истязаніямъ (опять при помощи своихъ лихачей), но безбожно тиранитъ хотя и надоѣвшую ему, но рѣшительно ни въ чемъ неповинную Милушу; наконецъ упекаетъ ее даже въ монастырь, а самъ связывается съ глухой и развратной татаркой Шерфе. — Культура, культуры, культуръ...

Князь Данило рѣшаетъ принять участіе въ усмирении Пугачевщины. Онъ на свой счетъ сформировалъ гусарскій полкъ и съ нимъ «жегъ, билъ и вѣшалъ все и всѣхъ, попадавшихъ подъ руку на пространствахъ отъ Бугульмы до Юзесвой и, между прочимъ, *сбросилъ* три большія татарскія деревни. Благодаря этому, душъ восемьсотъ, оставшихся вдругъ безъ крова и хлѣба, тучей двинулись въ Берду (къ самозванцу), побросавъ женъ и дѣтей, но унося съ собой звѣрскую ярость и злобу на царичины порядки и полки». Бибиковъ объ этой дѣятельности князя Даниила отзывался такъ: «Герой! Veni, vidi... и перваго, кто подвернулся—на висѣлицу! или изъ пистолета! Самъ и сыщики, и судья, и палачъ. Три села сжегъ, а куда пошли погорѣльцы?—въ Берду! Царичъ услужилъ?.. Много ихъ на Руси такихъ... Вотъ они что!—показалъ Бибиковъ на ящикъ изъ возка—осина подъ орѣхъ». —Но, конечно, это Бибиковъ пустяки сказалъ: Данило Родиновичъ совсѣмъ не осина подъ орѣхъ, не подѣлка подъ культуру, а самая настоящая, заправская культура. Его интересы «одни только суть истинные національные интересы въ формѣ сознательной и приуроченной къ интересамъ цивилизаціи».

Ты припоминаешь, очевидно, не безъ успѣха. Но мнѣ все-таки кажется, что ты не все припомнилъ. Въ твоёмъ «критическомъ очеркѣ» исторической теоріи Бокля (подписаномъ А. П. Стадлинъ, «Русскій Вѣстникъ», № 7) ты весьма основательно доказываешь, между прочимъ, что понятія этого мыслителя о культурѣ односторонни, ибо, говоришь ты, знаніемъ культура не исчерпывается. Это такъ, но вѣдь не исчерпывается она также изнасилованіемъ женщинъ, развратомъ, плетями, ногайками, лихачами, выжиганіемъ мирныхъ селеній, женоубійствомъ, дѣтоубійствомъ, звѣрствомъ надъ неповинной женщиной, упеканіемъ ее въ монастырь и проч. Какъ ни обширна и разнообразна эта программа, но все-таки въ ней, на сколько я могу припомнить, что такое культура, чего-то

какъ будто недостаетъ. Пустяка, конечно, какого нибудь, но все-таки...

Боясь, безъ сомнѣнія, далеко превосходить тебя въ односторонности. Но вотъ въ чемъ онъ, кажется, совершенно правъ: одинаковыя причины при одинаковыхъ условіяхъ всегда производятъ одинаковыя слѣдствія. Взять хоть бы насъ съ тобой. Я забылъ, что такое Лермонтовъ и что было послѣ Лермонтова и, не видя выразительной надписи: здѣсь воспрещается производить нечистоты, — исчертилъ мраморную доску остроумными надписями, которыя, однако, многими считаются неприличными. Ты забылъ, что такое культура и что было послѣ культуры и тоже, не видя выразительной надписи, отнесъ на счетъ культуры различныя славныя дѣянія, которыя, однако, многими называются дѣяніями позорными, плохими, преступными и глупыми. Забѣть, какое сходство. Оба мы забыли и оба же произвели нечистоты тамъ, гдѣ это воспрещается, хотя, по обстоятельствамъ времени, запретительной надписи на лицо и нѣтъ.

Однако, давай опять припоминать. Оставимъ романъ графа Салъеса, о которомъ переговорено уже достаточно и обратимся къ другимъ источникамъ. Можно бы было пожалуй порыться въ «Исторіи блѣднаго молодого человѣка». Но я долженъ тебѣ откровенно сознаться, что я не могъ одолѣть этого едва ли не скучнѣйшаго изъ твоихъ произведеній. Вообще я замѣтилъ, что все, написанное тобою подъ псевдонимомъ Аверкіева, какъ-то напоминаетъ... какъ-то равно ничего не напоминаетъ. Можетъ быть, конечно, потому, что я Иванъ Непомнящій. Но все-таки, если бы я зналъ тебя только какъ Аверкіева, я бы былъ увѣренъ, что ты этакій блѣдный, блѣдный, блѣдокурый молодой человѣкъ. Но у тебя есть другой псевдонимъ, гораздо болѣе счастливый, — Лѣсковъ-Стебницкій. Зная тебя съ этой стороны, я говорю: о, нѣтъ, его, конечно, не скоро заставишь покраснѣть, но не блѣдный онъ и не блѣдокурый, а этакій кирпичнаго цвѣта брюнетъ, желчнаго темперамента. Дѣйствительно, подъ псевдонимомъ Лѣскова-Стебницкаго тебѣ удавалось писать почти всегда по крайней мѣрѣ пикантныя, забористыя вещи. Обратимся же къ «Захудалому роду; семейной хроникѣ князей Протозановыхъ» («Русскій Вѣстникъ», № 7, 8), хотя она еще и не кончена.

Въ «Захудаломъ родѣ» мы видимъ уже совсѣмъ не тѣ черты культуры, что изображены въ «Пугачевцахъ». Совсѣмъ не тѣ. Культурныхъ типовъ въ родѣ Зосимы, Данилы, Ивана *) Хвалынскихъ въ семейной

хроникѣ князей Протозановыхъ нѣтъ. Здѣсь, напротивъ, все мудрость, красота, благость, кротость, мужество, твердость, цѣломудріе, смиренномудріе, любвеобиліе, словомъ всевозможныя блестящія качества умственныхъ, нравственныхъ и физическія и вдобавокъ богатство и знатное происхожденіе (прямохонько отъ удѣльныхъ князей). Одинъ изъ Протозановыхъ былъ «мудрецъ и праведникъ», такъ что даже смерть его слѣдуетъ называть не смертью, а «успеніемъ». Другой былъ «чистый человѣкъ, совершенно чистый». Объ этихъ только говорится и не совсѣмъ ясно видно, въ чемъ состояли ихъ мудрость, святость и чистота. Но вотъ и дѣйствующее лицо — бабушка (рассказъ ведется отъ имени княжны Протозановой) княгиня Варвара Никаноровна, урожденная Честунова (фамилія эта производится отъ честности). Добродѣтели бабушки изливаютъ свой свѣтъ преимущественно (по крайней мѣрѣ въ первой части хроники) на некультурные элементы.

Мужъ бабушки убитъ на войнѣ. Извѣстіе это привозитъ княгинѣ лакей, Патрикій Семенычъ Сударичевъ. Бабушка, конечно, огорчена, ибо супруги нѣжно любили другъ друга, но вмѣстѣ съ тѣмъ бабушка горда смертью мужа на полѣ битвы и потому даетъ вѣстнику Сударичеву вольную. Сударичевъ упирается, а когда княгиня настояла на своемъ, онъ бросаетъ вольную въ свѣчной ящикъ, гдѣ та и лежитъ безъ употребленія сорокъ лѣтъ, вплоть до смерти вѣрнаго Патрикія. Мужъ бабушки врубился въ ряды непріятелей, призывая за собой своихъ однополчанъ. Однако, за нимъ послѣдовалъ въ сѣчу только одинъ трубачъ, который и вынесъ его трупъ. Бабушка посылаетъ вѣрнаго Патрикія разыскать вѣрнаго трубача. Несмотря на всѣ препятствія, вѣрный Патрикій исполняетъ возложенное на него порученіе и между княгиней и разысканнымъ трубачемъ Петромъ Грайвороной происходитъ слѣдующій діалогъ. Княгиня спрашиваетъ Грайворону, за что онъ особенно любилъ ея мужа. — «Никакъ нѣтъ, ваше сіятельство, въ особину не любилъ». — Отчего-жъ ты за нимъ въ сѣчу врубился? — «Командиръ, ваше сіятельство, командира нельзя бросить, на то крестъ цѣловалъ». — А-а! Такъ вотъ ты какой! Это хорошо,

Опредѣлю его нравственную физіономію твоими собственными словами изъ той же критической статьи о «Пугачевцахъ»; Иванъ Хвалынскій «соединяетъ въ себѣ черты сказочнаго Иванушки (т.-е. Иванушки Дурачка) съ чертами Фонвизинскаго недоросля». Вотъ значить еще черты культуры. И, конечно, интересы этого дурачка суть именно интересы національныя и интересы цивилизаціи.

*) Я совсѣмъ забылъ объ этомъ нашемъ тевкѣ.

честно.—«Точно такъ, ваше сіятельство». — Ну, во всякомъ разѣ ты добрый человѣкъ, что ко мнѣ пріѣхалъ. — «Никакъ нѣтъ, я ослушаться не посмѣю». — Почему? спрашиваетъ княгиня, — «Вы командирша, ваше сіятельство». — А-а, это хорошо. Ты значить теперь послѣ мужа ко мнѣ подѣ команду поступаешь? — «Точно такъ, ваше сіятельство». Изъ дальнѣйшаго разговора оказывается, что Грайворона не только человѣкъ безродный, но даже никогда не выдавшій добрыхъ людей. «Никогда, говорилъ онъ, я добрыхъ людей, ваше сіятельство, не бачивалъ», и на переспросъ княгини подтверждаетъ: «точно такъ, еще никогда ни одного не видалъ». Въ подку Грайворону все дразнили хохломъ, а въ деревнѣ москалемъ и вдобавокъ выгнали изъ дому. Его пріютилъ слѣпой нищій, который, однако, тоже оказался недобрымъ человѣкомъ, ибо покусился однажды выварить Грайворонѣ кипяткомъ глаза, чтобы имъ больше подавали милостыни. Бабушка рѣшаетъ, что она успокоить и наградить этого соратника своего мужа. Во-первыхъ, она велитъ послать въ деревню Грайвороны денегъ бѣднымъ, десять рублей слѣпому нищему, «чтобы онъ былъ добрѣе» и серебряное паникадило съ соответственно надписью въ церковь, гдѣ Грайворона крещенъ. При этомъ Грайворона смѣется. Бабушка освѣдомляется о причинѣ этого смѣха, или, говорятъ, это тебѣ не нравится? — «Очень, отвѣчалъ трубащъ, потому что имъ отъ этого никогда въ носъ не учкнетъ, что этотъ паникадилъ для меня будетъ горѣть, а не для праздника». Затѣмъ Грайворонѣ дается изба, корова, овцы, свинья, мѣсячина и кромѣ того по бутылкѣ водки въ день. Но Грайворонѣ бутылки въ день мало; онъ пропиваетъ все, все тащитъ въ кабакъ. И когда ему говорятъ: «гляди, до чего допился, вѣдь у тебя уже въ глазахъ и свѣту нѣтъ», онъ отвѣчаетъ: «а на что мнѣ въ глазахъ свѣтъ, когда за меня паникадило свѣтитъ». Бабушка все это терпитъ и только объ одномъ и думаетъ, какъ бы Грайворонѣ получше было. Предлагаетъ ему жениться, но онъ отказывается: «Никакъ нѣтъ, ваше сіятельство, я кавалерскій характеръ имѣю, всякой женщинѣ наскучить могу». У бабушки родится сынъ. Грайворона, конечно пьяный, стрѣляетъ у нея подъ окномъ изъ ружья въ честь новорожденнаго. Княгиня падаетъ отъ испуга въ обморокъ, но, очнувшись и узнавъ, въ чемъ дѣло, съ ангельскою кротостью говоритъ: «а вотъ видишь, вы все меня увѣряете, что онъ глупъ. Вы всѣ на него нападаете, а онъ вѣрный человѣкъ. Прикажи ему отъ меня сейчасъ стаканъ вина поднести и поблагодарить». Собственный испугъ ничего не значить

для сіяющей добродѣтелями бабушки, но она приходитъ въ ужасъ, когда узнаетъ, что тѣмъ же выстрѣломъ разорвало ружье, изуродовало Грайворонѣ и безъ того уродливое лицо и оторвало палецъ. Вѣрному Грайворонѣ это, впрочемъ, ни по чемъ: «Если я, говоритъ онъ, — ея сіятельству моимъ усердіемъ потрафилъ, такъ прочее все пустяки, и не долго думая, взялъ овечьи ножницы, да самъ себѣ палецъ оторванный совсѣмъ прочь и отстригнулъ. А на счетъ рожъ, что опалилъ, говорить, это совсѣмъ незамѣчательно: она почитай такая и была; опухъ самъ пройдетъ, а тогда она опять вся на своемъ мѣстѣ станетъ». Наконецъ, вѣрный идіотъ Грайворона проситъ работы, но что ему ни дадутъ, все испакоститъ: десятникомъ назначили — бабъ всѣхъ перебилъ, конюхомъ — пьяный подѣ лошадь свалился, гуженнымъ сторожемъ — на нѣсколько тысячъ хлѣба сжегъ. Пьянствовалъ же онъ все сильнѣе, такъ что, наконецъ, до того дошелъ, что въ церкви отлѣпилъ отъ иконы свѣчку и тутъ же закурилъ объ нее трубку, за что его мужики побили. Отъ побоевъ ли или отъ пьянства Грайворона захворалъ. Культурная бабушка послала ему нашатырнаго спирта вытереться, а онъ, какъ подобаетъ некультурному человѣку, «изъ бутылочки выпилъ, а бутылочкой себя по всѣмъ мѣстамъ вытеръ», отчего, разумѣется, и померъ.

Представивъ въ этомъ превосходномъ эпизодѣ, равно какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ, столь же превосходныхъ эпизодахъ, все величіе души, змѣнчивую мудрость и голубиную кротость бабушки, ты, устами княжны-хроникера, продолжаешь: «Какъ понятно мнѣ то, что Данте рассказываетъ объ одномъ миниатюристѣ XIII вѣка, который, начавъ рисовать изображенія въ священной рукописи, чувствовалъ, что его опытная рука постоянно дрожитъ отъ страха, какъ бы не испортилъ миниатюрныя фигуры. Въ эти минуты я чувствую то же самое. Пока я писала о бабушкѣ и другихъ предкахъ Протозановскаго дома, я не ощущала ничего подобнаго, но когда теперь мнѣ приходится нарисовать на память ближайшихъ бабушкиныхъ друзей, которыхъ она выбирала не по роду и общественному положенію, а по ихъ внутреннимъ, ей одной вполне извѣстнымъ преимуществамъ, я чувствую въ себѣ невольный трепетъ. Могу ли я хоть сколько-нибудь отчетливо изобразить симпатичныя, умиляющею теплотою и безмѣрнымъ благородствомъ дышавшія черты этихъ маленькихъ людей». Однако, ты рѣшаешься-таки употребить свое перо, привычное къ изображенію людей великихъ, посвятить временно людямъ маленькимъ. Первый маленькій человѣкъ съ умиляющею теплотою и безмѣрнымъ благород-

ствомъ есть Патрикѣй Семенычъ Сударичевъ. Мы уже видѣли, какъ онъ оставилъ вольную на сорокъ лѣтъ въ свѣчномъ ящикѣ. Онъ «по натурѣ фанатикъ рабской преданности и твердый консерваторъ старыхъ порядковъ». Патрикѣй человѣкъ весьма способный, такъ что «охотнику мечтать о дарованіяхъ и талантахъ, погибшихъ въ разныхъ русскихъ людяхъ отъ крѣпостного права», такому охотнику ты не безъ насмѣшки (надъ охотникомъ, конечно) предлагаешь подумать, до какихъ степеней могъ бы дойти Патрикѣй на поприщѣ дипломатіи или науки. Ты съ своей стороны увѣренъ, что Патрикѣй ни дипломатіи, ни науки «не предпочелъ бы тому, что считалъ своимъ призваніемъ: быть вѣрнымъ служителемъ великодушной княгинѣ». Этому можно повѣрить не только на основаніи безмѣрнаго благородства Патрикѣя вообще, но и на основаніи слѣдующаго случая въ частности. У Патрикѣя былъ сынъ Николай, который, благодаря ангелоподобной бабушкѣ, вышелъ «въ благородные», именно въ архитекторы. (Выйдя, однако, въ благородные, онъ, кажется, не наследовалъ безмѣрнаго благородства своего отца). Когда Николай Сударичевъ пріѣхалъ уже въ званіи архитектора въ Протозаново, ангелоподобная бабушка сейчасъ же ему, разумеется, золотые часы и сто рублей на пару платьевъ. Но сверхъ того она пригласила къ себѣ на обѣдъ. Патрикѣй пришелъ въ священный ужасъ. Какъ! его сынъ, сынъ кровнаго холопа, будетъ сидѣть за княжескимъ столомъ! Но княгиня настояла-таки на своемъ и только услала зачѣмъ-то Патрикѣя на время обѣда. Однако, Патрикѣй, желая доказать, что его безмѣрное благородство, дѣйствительно, безмѣрно, въ половинѣ обѣда явился и принялся за свои обычные занятія, какъ ни въ чемъ не бывало. Сталъ онъ обходить столующихъ съ бутылкой, наклоняясь къ каждому съ почтительной фразой: не прикажете ли мадеры? Ангелоподобная бабушка его не останавливала. Вотъ онъ подошелъ къ сыну и уже наклонился съ твердою рѣшимостью произнести свое: не прикажете ли? Но тутъ силы оставили старика, и онъ упалъ безъ чувствъ. Какой трагичекій моментъ и какъ онъ обрисовывается и безмѣрное благородство Патрикѣя, и умъ, тактъ и проницательность бабушки! Ты превозмелъ себя въ этой сценѣ!

Есть и другіе маленькіе, но тоже безмѣрно благородные люди около бабушки, да и вообще все, что около нея стоитъ, заимствуя отъ нея свой свѣтъ, оказывается преисполненнымъ всяческихъ добродѣтелей. Только Грайворону присутствие бабушки не могло излѣчить отъ пьянства и идиотизма. Но и то сказать, Грайворона воспитался въ полку, значить, внѣ вліянія двора, помѣщичьяго дома и дру-

гихъ центровъ культуры. Можетъ быть, даже онъ былъ изъ государственныхъ крестьянъ. Значить, съ него и взять нечего. Совсѣмъ другое дѣло Патрикѣй, ~~горничная~~ Ольга Федотовна, дьяконица Марья Николаевна. Не берусь рассказывать ихъ подвиги любви, безмѣрнаго благородства и самоотверженія. Твое перо здѣсь нужно, твое или Шекспира. Скажу одно. Несмотря на всѣ добродѣтели маленькихъ людей, имъ все-таки далеко до добродѣтелей людей великихъ. Напримѣръ, Ольга Федотовна. Эта изумительная дѣвушка полюбила семинариста, брата дьяконицы Марьи Николаевны, пріѣхавшаго на каникулы. Семинаристъ полюбилъ ее. Уже оба мечтали о счастьи, какъ вдругъ Ольга Федотовна узнаетъ, что женитьба на ней испортитъ карьеру семинариста. Она рѣшаетъ устроить какую-нибудь недолимую преграду между собой и любимымъ человѣкомъ. Для этого, увлекши юнаго семинариста любовными рѣчами, она общается ему поцѣлуй, если тотъ дастъ слово исполнить первую ея просьбу. Тотъ сдуру даетъ слово, получаетъ поцѣлуй, а на другой день самоотверженная Ольга Федотовна требуетъ, чтобы онъ съ ней крестилъ. Куму и кумѣ жениться нельзя и цѣль Ольги Федотовны достигнута. Какая должна быть тонкая и сильная душа у этой Ольги Федотовны! Какъ и какимъ трепетомъ должна она была трепетать, выдерживая поцѣлуй и любовные рѣчи съ страстно любимымъ человѣкомъ въ ночной тиши и наединѣ, и все-таки не отказываясь отъ мысли вырыть между имъ и собой непроходимую пропасть! И вырыть именно при посредствѣ этого поцѣлуя и этихъ любовныхъ рѣчей въ ночной тиши и наединѣ! Очень у тебя эта черточка хорошо задумана, но, Боже! какъ она исполнена... Не въ томъ дѣло. Казалось бы выше и глубже такого созданія не можетъ быть ничего. И, однако, княгиня Протозанова выше и глубже. Она понимаетъ Ольгу Федотовну, а Ольга Федотовна не можетъ понять княгини. Такъ она во всю свою жизнь не можетъ взять въ толкъ, съ чего бабушка такъ привязалась къ пьяному идиоту Грайворонѣ. Это для нея слишкомъ тонко. Конечно, такъ и должно быть: большому кораблю и плаваніе большое, а маленькіе люди, несмотря на свое безмѣрное благородство, все-таки мелко плаваютъ. Они все-таки не культурные люди и блестятъ свѣтомъ, отраженнымъ отъ культурнаго солнца...

Поставленъ тобою около бабушки еще одинъ человѣкъ, не великій и не маленький, а такъ себѣ средняго роста, но тоже безмѣрно благородной души,—дворянинъ Доримедонтъ Васильевичъ Рогожнѣй. Этотъ Рогожнѣй весьма благоразумно склеенъ изъ об-

ломковъ Донъ-Кихота и Чертопханова, основательно изучилъ книгу г. Карновича «Замѣчательныя богатства частныхъ людей въ Россіи» и придерживается политической программы, изложенной тобою въ передовыхъ статьяхъ «Русскаго Мира». Больше о немъ пока ничего не имѣю сказать.

Забывъ все, я не могъ, однако, забыть твоихъ прежнихъ романовъ, написанныхъ подъ псевдонимомъ Лѣскова-Стебницкаго. Безсмертное не забывается. Поэтому я очень хорошо знаю многое изъ непечатавшихся еще частей «Захудалаго рода». Я знаю, что изъ рода Николая Сударичева, которому вѣрный Патрикѣй едва не предложилъ мядеры, выйдетъ то чудище обло, озорно, стозѣвно и лаяй, тѣ нигилисты и нигилистки, какихъ умѣетъ создавать только твоя творческая фантазія. Захуданіе же рода князей Протозановыхъ выразится тѣмъ, что ихъ позднѣйшіе представители будутъ вовлечены въ пасть этого страшнаго чудища. Но ихъ поддержитъ либо змѣиная мудрость и голубиная кротость бабушки, либо стремительность Донъ-Кихота-Чертопханова-Доримедонта Рогожина, либо преданность кого-нибудь изъ безмѣрно благородныхъ холоповъ. Имѣя такимъ образомъ въ рукахъ и начало, и конецъ твоего новаго произведенія, что извлечемъ мы изъ него по части культуры? Очевидно, до появленія чудища обла и озорна господствуетъ культура, а съ этого времени она исчезаетъ. Ты даже довольно отчетливо указываешь отдаленный моментъ зарожденія чудища, поглотившаго впоследствии культуру. Ты находишь, что еще «съ возвращеніемъ нашихъ войскъ изъ Парижа въ обществѣ нашемъ обнаружился повсемѣстный недостатокъ взаимоуваженія». Но все-таки что такое культура и что было послѣ культуры? Припомнилъ ли ты что-нибудь?

Ничего или очень мало. Перечислю кратко, что ты забылъ.

Ты забылъ, во-первыхъ, все, что говорилъ выше. Ты забылъ, что «литература ничѣмъ другимъ не можетъ питаться, какъ интересами образованнаго круга», что образованнаго человѣка не должно интересоваться прозябаніе низшихъ формъ жизни. Забывъ все это ты посвятилъ много страницъ прозябанію низшихъ формъ жизни, потому что что же можетъ быть ниже жизни Петра Гривороны. Да и интересы Патрикѣя, хотя и безмѣрно благороднаго, все-таки не суть интересы образованнаго круга.

Ты забылъ, создавая образъ Петра Гривороны, тѣ упреки, которые ты такъ часто дѣлалъ «петербургской» литературѣ за изображеніе низшей жизни вообще и пьяницъ, и идиотовъ въ особенности. Вспомни, какимъ

Соловьемъ *) свисталъ ты на эту тему. Ты заступался за оклеветанный народъ. Но ты долженъ также вспомнить, что петербургская литература никогда не отгѣняла своихъ пьяницъ такимъ рѣзкимъ контрастомъ, какой представляетъ ангелоподобная бабушка Варвара Никаноровна.

Кстати, я рѣшаюсь здѣсь ходатайствовать передъ тобой за Петербургъ и петербургскую литературу. Еще одна твоя статья, и отъ этого города, и отъ этой литературы только мокренько останется. Велика сила твоихъ ударовъ и исполнѣ законно твое негодование. Но удержи свою карающую руку еще нѣкоторое время. Быть можетъ, петербургская литература исправится и признаетъ тебя гениемъ. Удержись хотя бы ради твоихъ близкихъ друзей и даже можно сказать благотворителей, князя Ивана Точки и Ивана Генералова, которые вѣдь тоже въ Петербургѣ фигурируютъ. Вспомни, что ради одного праведника былъ пощаженъ преступный городъ, и пощади въ свою очередь. Я не даромъ прошу. Я выведу тебя за то изъ затрудненія, въ которое ты вовлеченъ забвеніемъ.

Культура, любезный другъ, не есть, какъ ты предполагалъ сначала, система дѣяній, предусмотрѣнныхъ уголовными законами. Изъ представленныхъ тобою самимъ новыхъ данныхъ слѣдуетъ заключить, что культура есть нѣчто двухстороннее: съ одной стороны мудрость, кротость, красота, мужество и проч., и проч., а съ другой — одна преданность. Блескъ и преданность—вотъ полная формула культуры. Очень характерно выражается въ одномъ мѣстѣ бабушка Варвара Никаноровна. Когда ей докладываютъ о причинѣ ея испуга, то-есть о выстрѣлѣ пьянаго идиота Гривороны, она говоритъ: «вотъ вы все называете его *мунимъ*, а онъ *отрый* человекъ». Итакъ, глупость съ успѣхомъ замѣняется преданностью. Культура есть, слѣдовательно, нѣкоторое таинство, въ совершеніи котораго принимаютъ участіе, по крайней мѣрѣ, двое лицъ. Первому изъ нихъ вовсе нѣтъ надобности, какъ ты первоначально утверждалъ, непременно потрясать ногойкой, жечь, сбѣхъ, убивать, закирывать женщинъ въ монастыри, насиловать ихъ и проч. Напротивъ, лицу этому нисколько не возбраняется быть вмѣстилищемъ всѣхъ добродѣтелей. Оно должно только имѣть право на блескъ и возможность блистать. Другое лицо, въ свою очередь, можетъ быть и без-

*) Пишу съ прописной буквы, ибо разумѣю сказочнаго Соловья Будимировича, отъ богатырскаго свиста котораго не то что петербургская литература, а и Илья Муромецъ едва устоявалъ на ногахъ.

мѣрно благороднымъ, и пьяницей, и идиомъ, но оно должно быть преданнымъ, — вотъ условіе *sine qua non* его участія въ таинствѣ культуры. Не помню, въ которомъ изъ твоихъ романовъ одинъ ужасный нигилистъ пускаетъ мышъ въ кіоту. Это продуктъ послѣ-культурнаго времени, собственно потому, что въ немъ нѣтъ преданности. Петръ же Грайворона, закуривая въ церкви трубку у свѣчки, поставленной передъ иконой, есть участникъ культуры, ибо онъ преданъ. Малограмотный Патрикѣй, въ качествѣ преданнаго, причастенъ культурѣ. Но онъ сталъ бы ей непричастенъ, если бы, измѣнивъ своему долгу, предался соблазнамъ дипломатіи и науки, и даже если бы оказалъ огромные успѣхи на этихъ поприщахъ. Точно также и сынъ его, Николай Сударичевъ или кто-либо изъ его потомковъ, несмотря на свое архитекторство и «благородство», окажется внѣ культуры, если, какъ я сильно опасаясь, преданность покинетъ въ послѣдующихъ частяхъ твоей хроники безмѣрно благородный родъ Сударичевыхъ. А если такъ, то очень неосновательно предположилъ ты сначала, что образованному человѣку неестественно интересоваться прозябаніемъ жизни, остановившейся на низшей формѣ развитія. Напротивъ, если эта низшая жизнь обладаетъ преданностью, то она вполнѣ достойна вниманія образованныхъ людей. Теперь ты можешь припомнить и истинныя причины твоей ненависти къ петербургской литературѣ. Совсѣмъ не тѣмъ она виновата, что изображаетъ жизнь, остановившуюся на низшей ступени развитія, а тѣмъ, что не изображаетъ преданности. Будь въ произведеніяхъ этой литературы преданность, надѣлая она своихъ поддипомцевъ и иныхъ безмѣрнымъ благородствомъ камердинера Патрикѣя и камеръ-юнгферы Ольги Федотовны, ты бы ей все простилъ, даже непризнание тебя геніемъ; ты опустилъ бы свою грозно поднятую культурную ногу и взялъ бы обыкновенное стальное или гусиное перо.

Выручивъ тебя изъ одного затрудненія, я, къ сожалѣнію, не могу помочь тебѣ въ другихъ неловкихъ положеніяхъ, въ кои ты попалъ по безпамятству.

Въ созданіи образа Донъ-Кихота-Чертопханова-Доримедонта Рогожина ты забылъ границу, отдѣляющую подражаніе отъ плагиата.

Въ созданіи образа княгини Варвары Николаевны Протозановой ты забылъ, что она должна быть очень умна, умнѣе тебя, если это возможно. А она глупа. Съ перваго раза это незамѣтно, благодаря направленному на нее тобою ослѣпляющему электрическому освѣщенію. Съ перваго раза, дѣйствительно, только глазамъ больно, а разобрать ничего нель-

зя. Но приглядись и увидишь, что ума ты не могъ придать бабушкѣ. Возьми хоть вышеприведенный эпизодъ за обѣдомъ. Не предотвративъ прислуживанія отца сыну (что она могла бы сдѣлать, не приглашая къ обѣду Николая Патрикѣича или же остановивъ за обѣдомъ Патрикѣя Семеныча), бабушка оказалась либо злобнымъ Мефистофелемъ, ехидно подшучивающимъ надъ преданностью, либо глупой женщиной. Но она, конечно, не Мефистофель, слѣдовательно... Или, напимѣръ, ея отношенія къ дьяконуцѣ Марѣ Николаевнѣ. Пусть жалуется сама Марья Николаевна. Она, правда, не жалуется, ибо она тоже безмѣрно благородна, но дѣло говорить само за себя. «Чуть бывало — рассказываетъ дьяконица — кто французскимъ языкомъ при ней обмахнется, я уже такъ и замру отъ ожиданія, что сейчасъ *осажэ* будетъ, и главное все на мой счетъ. Такъ бы вотъ вскочила да и дернула его: «перестаньте». А она слушаетъ, слушаетъ и все морщится, да вдругъ и извинится: «Позвольте, скажетъ, мнѣ васъ перервать: что вы это все по французски беспокоитесь? Мы, вѣдь, здѣсь русскіе, и вотъ, другъ мой, Марья Николаевна... она по французски и не понимаетъ и можетъ подумать что-нибудь на ея счетъ, и обидѣться можетъ»... И все бывало этакъ чаще всего за меня, такъ что даже право мученіе мнѣ это было при гостяхъ сидѣть... Я, бывало, обыкновенно сейчасъ послѣ обѣда хожу между гостей и все отыскиваю, который пострадалъ, и прошу: батюшка мой! Христа ради меня простите, что отъ меня вытерпѣли! Я тому ни сномъ, ни духомъ не виновата». — Ты, конечно, понимаешь, — какъ тебѣ не понимать! — что бабушка поступала грубо, неделикатно до послѣдней степени, чисто по-самоудурски. Но она любила Марью Николаевну и мучила ее не по злобѣ, а почему? Ни по чему другому, другъ любезный, какъ по глупости.

Наконецъ, не только въ семейной хроникѣ князей Протозановыхъ, а рѣшительно во всѣхъ твоихъ произведеніяхъ, беллетристическихъ, критическихъ и публицистическихъ, ты забылъ самого себя. Какъ ни удивителенъ этотъ феноменъ на первый взглядъ, но онъ тебѣ знакомъ. Даже хроника твоя пишется «на память измелъчавшимъ и едва ли самихъ себя не позабывшимъ потомкамъ древняго и добраго рода» князей Протозановыхъ. Возможное для потомковъ князей Протозановыхъ возможно и для тебя, Ивана Камердинерова. Я знаю, ты возмущился противъ этой мысли не меньше, чѣмъ возмущился Патрикѣй Семенычъ противъ мысли княгини посадить Николая Патрикѣича за барскій столъ. Ты слишкомъ свыкся съ мыслию, что всѣ пакости Хвалынскихъ суть

культура, а бабушка Протозанова непременно должна быть освѣщена электрическимъ освѣщеніемъ собственныхъ добродѣтелей и всеобщей преданности. Но напрасно ты думаешь, что ты недостойнъ развязать ремня у сапоговъ Хвалынскихъ и Протозановыхъ и можешь только чистить эти сапоги. Оно можетъ быть и такъ, но не потому, что твое генеалогическое древо не совсѣмъ изслѣдовано. Конечно, ты не аристократъ по рожденію. Объ этомъ свидѣлствуютъ не только твоя подлинная фамилія, но и избираемые тобою псевдонимы: Аверкіевъ, Авсѣенко, Лѣсковъ, Петръ Петровъ,—все это звучитъ не самоаристократически. По однимъ источникамъ, ты ех-лекаръ, значитъ нѣчто въ родѣ отца Бѣлинскаго, которыхъ (отца и сына) ты нынѣ столь презираешь, какъ недостаточно культурныхъ людей («По поводу одной литературной репутаціи», «Русскій Вѣстникъ», № 8). По другимъ, ты никогда въ князья не прыгалъ изъ хохловъ, да и не въ князья только, а, вообще, никуда не прыгалъ. Наконецъ, по твоимъ собственнымъ показаніямъ, поэтически изложеннымъ, ты «просто грамотный купецъ». Но все это не мѣшаетъ твоему роду быть весьма древнимъ. Правда, онъ теряется во мракѣ неизвѣстности за поколѣнія, за два до тебя и оставляетъ такимъ образомъ обширное поле предположеній. Быть можетъ, твой дѣдъ—кто знаетъ—былъ никто иной, какъ Петръ Грайворона. Быть можетъ, сосѣдей твоего прадеда не разъ поролъ ногойками и Данило Хвалынский, а Соколы-Уздальскій безчестилъ ихъ женъ и дочерей. Быть можетъ, твой прапрадедъ былъ тотъ самый красавецъ стремяной, котораго Зосима Хвалынский, заставъ съ женой, покаралъ за недостатокъ преданности. А можетъ быть, именно, онъ съ трепетомъ отговѣчалъ на вопросъ стараго звѣря объ уасти его сына: «задавили-съ». Конечно, все это предположенія. Не изслѣдовано твое родословное древо, но оно существуетъ. Предки у тебя были, мнѣ вѣрный человѣкъ сказывалъ. Припомни же ихъ, чѣмъ считать чужихъ, припомни ихъ судьбу, ихъ радости и горести и, можетъ быть, увидишь, что ты не только путемъ преданности можешь стать участникомъ культуры...

Не могу опять не отмѣтить сходства между нами. Что былъ на свѣтѣ нѣкоторый поэтъ по фамиліи Лермонтовъ, что его портретъ висѣлъ у меня надъ письменнымъ столомъ, что потомъ я этотъ портретъ бросилъ въ печку и повѣсилъ на его мѣстѣ другіе, что и эти другіе были затѣмъ мною употреблены на растопку плиты, на которой варился мой обѣдъ,—все это я, пожалуй, помню. Но помню я только вещественную сторону дѣла, а невещественная сторона—

мои отношенія къ Лермонтову и къ тому, что было послѣ Лермонтова, мотивы, побудившіе меня сначала повѣсить портретъ Лермонтова, а потомъ сжечь, потомъ повѣсить другіе и опять сжечь,—вотъ что ускользнуло изъ моей памяти. Совершенно также и ты. Ты знаешь, помнишь, что у тебя были предки, которые, по всѣмъ вѣроятностямъ, были въ вышеписанныхъ отношеніяхъ къ Хвалынскимъ и Протозановымъ. Но ты утратилъ способность цѣнить невещественную сторону этихъ вещественныхъ отношеній. Шлеть, ногойка, «задавили-съ», ты все это помнишь физически, если позволишь мнѣ такъ выразиться. Звуки эти производятъ извѣстное впечатлѣніе на твое ухо, но въ состояніи твоего сознанія они не производятъ тѣхъ измѣненій, которыя вызываются ими въ сознаніи людей не забывшихъ. И потому мы оба опять-таки произвели нечистоты тамъ, гдѣ это воспрещается, хотя, по обстоятельству времени, запретительной надписи на лицо и нѣтъ. Я произвелъ эту операцію въ Лермонтовскомъ гротѣ, ты—надъ безвѣстными могилами своихъ дѣдовъ. Впрочемъ, эта матерія во многихъ отношеніяхъ слишкомъ деликатная, и потому умолкаю.

Еще ты забылъ, что у тебя будутъ потомки...

Не забудь, по крайней мѣрѣ, своего друга.

II.

Дневникъ *).

«И будетъ передъ послѣднимъ концомъ родъ рода злѣй и родъ рода пьянѣе; такъ въ книгахъ писано, такъ оно и есть». Это говорилъ мнѣ нынче лѣтомъ лѣсникъ Геннадій. Онъ, очевидно, хотѣлъ сказать, что всѣ забудутъ все, и наступитъ нѣкоторое всеобщее забытие какъ бы отъ опьянѣнія, что уже и начинается. Что онъ хотѣлъ сказать именно это, я заключаю изъ подробностей его филиппики противъ нынѣшнихъ порядковъ: онъ говорилъ, что забывается уваженіе къ старшимъ, забываются границы между своимъ и чужимъ лѣсомъ и проч. Фактъ, по моему, указанъ лѣсникомъ Геннадіемъ вѣрно, но я не раздѣляю его пессимистическихъ воззрѣній. Нехорошо, когда одни помнятъ, а другіе забыли,—помнящимъ неловко: нехорошо тоже, когда кое-что помнится, а кое-что забывается,—что-то заплатанное выходитъ. Но когда всѣ забудутъ все,—вѣдь это рѣшительно все равно, какъ если бы всѣ все помнили, даже лучше, потому что гораздо свободнѣе и спокойнѣе. Это-то и есть страна, wo die Zitronen blühen, гдѣ текутъ рѣки молочныя въ берегахъ кисельныхъ. Теперь,

*) 1874 г., октябрь.

какъ сказалъ не помню какой умный нѣмецъ, мы и слишкомъ нравственны, и слишкомъ безнравственны, чтобы разгуливать въ костюмѣ праотца Адама и праматери Евы. Это правда. Теперь намъ было бы стыдно пройтись въ такомъ костюмѣ, именно, потому, что при этомъ обнаружилось бы наше безстыдство. Теперь я не рѣшусь обнажить передъ кѣмъ-нибудь вся сокровенная души моей, потому что мнѣ было бы стыдно, и я тороплюсь завѣситъ свои помыслы и поползновения чѣмъ-нибудь, исправляющимъ должность винограднаго листка—трехцвѣтнымъ, бѣлымъ знаменемъ, газетнымъ листомъ, просто какой-нибудь тряпичкой, вообще, какъ-нибудь спрятаться. Конечно, это не можетъ способствовать моему спокойствію и счастью, ибо стыдъ передъ самимъ собой все-таки время отъ времени вызываетъ румянецъ на моихъ щекахъ и заставляетъ меня потупить мои безстыжіе глаза. И потомъ нѣтъ-нѣтъ, да и найдется какой-нибудь прозорливецъ, который приподниметъ тряпичку, завѣшивающую мои помыслы и поползновения. А то чего добраго вѣтеръ поднимется... Нынѣ, впрочемъ, благодаря Бога, погода стоитъ тихая, и лѣсникъ Геннадій правъ. Всѣ забудутъ все. Къ тому идетъ, и я радуюсь.

Когда-то у насъ было въ употребленіи русское слово «инсинуація». Этимъ именемъ назывался легкій, болѣе или менѣе вуалированный, болѣе или менѣе прикрытый винограднымъ листкомъ гражданской скорби доносъ въ печати. Нынѣ гдѣ эта вуаль, гдѣ этотъ виноградный листокъ? Запишу одно истинное происшествіе. Какъ-то приходитъ ко мнѣ одинъ школьникъ, мальчикъ бойкій и подающій большія надежды. Среди разговора онъ объяснилъ мнѣ, что онъ донесъ кому слѣдуетъ на своего учителя. Я тогда еще не все забылъ или, по крайней мѣрѣ, старался показать видъ, что помню, и потому набросился на него съ разными жалкими словами, въ родѣ «подлость», «благодарность» и проч. Но не прошло и пяти минутъ, какъ я убѣдился, что эти жалкія слова ему ничего не напоминаютъ, что онъ ихъ забылъ, такъ сказать, съ корнемъ. И это не единственный извѣстный мнѣ примѣръ. Нашего полка, полка непомнящихъ, прибываетъ. Онъ молодымъ поколѣніемъ пополняется: и будетъ родъ рода злѣе и родъ рода хванѣе; такъ въ книгахъ писано, такъ оно и есть.

Но, странное дѣло, въ этой безграничной пустынѣ забвенія сохранились какимъ-то чудомъ цвѣтущіе оазисы. Меня особенно занимаетъ одинъ изъ нихъ: среди всеобщаго забвенія всѣ отлично помнятъ, что добродѣтель торжествуетъ, а порокъ наказывается. Къ сожалѣнію, я забылъ, что такое добродѣтель,

что такое порокъ, какъ именно торжествуетъ добродѣтель и какими путями пріемлетъ порокъ достойную казнь. А когда-то зналъ. У меня было даже нѣсколько отвѣтовъ на эти вопросы, нѣсколько заразы, что меня очень интриговало. Еще когда я былъ въ школѣ, одинъ начальникъ очень ласково предлагалъ мнѣ: когда ты, дружокъ, что-нибудь замѣтишь у себя въ классѣ, ну, тамъ если кто-нибудь подсказываетъ или въ душникѣ папирску курить, вообще, что-нибудь этакое, ты приходи ко мнѣ и говори,—твоя добродѣтель будетъ вознаграждена. Но въ тотъ же день меня отвелъ въ сторону одинъ товарищъ и очень внушительно сказалъ: если ты мнѣ не будешь подсказывать и не будешь сторожить, пока я буду курить папирску въ душникѣ,—твой порокъ будетъ наказанъ. И онъ показалъ мнѣ увѣсистый кулакъ. Это было только первое звено цѣлой цѣпи подобныхъ случаевъ и въ школьной жизни, и въ жизненной школѣ. Надо будетъ ихъ когда-нибудь записать. Я сталъ рыться въ книжкахъ и слушать умныя рѣчи. Я ничѣмъ не брезгалъ: читалъ Платона и Поль-де-Кока, Бентама и кн. Мещерскаго; сводилъ знакомство съ Иваномъ Либеральнымъ и съ Иваномъ Камердинеровымъ; читалъ фельетоны г. Экса и слушалъ лекціи профессора Чебышева-Дмитріева; слушалъ рѣчь г. Спасовича, когда онъ защищалъ одного писателя, обвинявшагося въ диффамаци, и рѣчь г. Спасовича, когда онъ обвинялъ другого писателя въ диффамаци; слушалъ и другихъ профессоровъ разныхъ правъ, адвокатовъ, частныхъ обвинителей и прокуроровъ. Всѣ эти авторитеты согласны въ томъ, что добродѣтель торжествуетъ, а порокъ наказывается. Но затѣмъ какое удивительное разнообразіе въ пониманіи добродѣтели и ея торжества. порока и его казни! Я даже радъ, что все это позабылъ, кромѣ самаго тезиса: добродѣтель торжествуетъ, а порокъ наказывается. Его я, вмѣстѣ со всѣми соотечественниками, очень хорошо помню и очень высоко цѣню, такъ что нерѣдко выворачиваю его даже наизнанку. Когда меня спрашиваютъ: что восторжествовало въ такомъ-то случаѣ? и отвѣчаю: добродѣтель; что наказано?—порокъ. Это избавляетъ отъ размышленій и припоминаній.

Г. Минаевъ получилъ уваровскую премію. За что? Говорятъ, за комедію «Сгѣтая пѣсня». Но это не отвѣтъ, а плохая острота. Это все равно, что на вопросъ: за что такого-то повѣсили? отвѣчать: за шую. Что собственно восторжествовало при полученіи г. Минаевымъ уваровской преміи? Иной станеть припоминать, есть ли у г. Минаева драматическій талантъ, хорошо ли, что у него всѣ дѣйствующія лица «любятъ поражать, какъ

боксомъ, нѣгпо-милымъ парадоксомъ» и т. п. Для меня эти вопросы не существуютъ, ибо я знаю, что здѣсь, какъ и всегда и вездѣ, восторжествовала добродѣтель, и премія ува-ровская есть только легкое видоизмѣненіе преміи монтіоновской.

Совѣтъ академіи художествъ присудилъ г. Верещагину званіе профессора. Г. Верещагинъ отказался отъ этой чести, «считая, какъ онъ говоритъ въ письмѣ въ редакцію «Голоса», всѣ чины и отличія въ искусствѣ безусловно вредными». Г. Тютрюмовъ напечаталъ въ № 265 «Русскаго Мира» по поводу этого отреченія «нѣсколько словъ». Въ этихъ нѣсколькихъ словахъ, умѣренно снабженныхъ логикой и грамотностью, доказывается, что г. Верещагинъ человекъ дерзкій, неприличный, неевропейскій, жадный, бездарный и недобросовѣстный; что его знаменитыя картины изъ средне-азиатскаго быта нарисованы «въ Мюнхенѣ компанейскимъ способомъ»; что онъ «не имѣютъ полной общности въ освѣщеніи, какую мы видимъ въ произведеніяхъ древнихъ и новыхъ мастеровъ»; что «фигуры зачастую относительно длинноваты; кисти рукъ и слѣды у многихъ изъ нихъ не соотвѣтствуютъ величинѣ головъ; густая синевя южныхъ небесъ почти вездѣ замѣнена нашими свѣтленькими небесами; вездѣ преобладаетъ пестрота». Но за что же академія присудила званіе профессора? Очевидно, за добродѣтель. Академія думала, что г. Верещагинъ добродѣтеленъ, и наградила его. А когда г. Верещагинъ отказался отъ профессорскаго званія и тѣмъ доказалъ свою порочность, г. Тютрюмовъ казнилъ порока.

Все на свѣтѣ просто и ясно, если только помнить, что добродѣтель торжествуетъ, а пороки наказываются. Но, къ сожалѣнію, этимъ все-таки не выясняются пути торжества добродѣтели и способы наказанія порока. Я хотѣлъ освѣжить свою память по этой части чтеніемъ авторитетовъ, но такъ какъ я ихъ всѣхъ перезабылъ, то, подойдя къ тому отдѣлу своей библіотеки, который содержитъ въ себѣ сочиненія нравственно-политическихъ писателей, наугадъ ткнулъ пальцемъ. Попались два толстѣйшіе тома Поля Жана *Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale* (Paris 1872). Признаюсь, я нѣсколько поморщился, потому что Поль Жанъ принадлежитъ къ исчезающей породѣ французскихъ живоотно-растений, первымъ и самымъ блестящимъ представителемъ которой былъ Кузенъ. Необычайно плоскія мысли, изложенныя прекраснымъ стилемъ, — вотъ что такое всѣ сочиненія Поля Жана. Онъ способенъ написать много и много страницъ на тему о торжествующей добродѣтели и о наказанномъ порока; и написать такъ гладко,

что, когда рѣшительно дѣлать нечего, можно даже, пожалуй, прочитать эти страницы. Но затѣмъ, навѣрное, никто не въ состояніи будетъ передать, что именно онъ прочиталъ, и не столько по слабости памяти, сколько потому, что и передавать-то нечего. Если Жану встрѣтится какой-нибудь запутанный пунктъ, какихъ такъ много въ исторіи политическихъ и нравственныхъ идей, онъ, не моргнувъ глазомъ, замажетъ его гладкими періодами, общими мѣстами и восклицательными знаками. Словомъ, это прекрасный, благородный писатель, но взять съ него нечего, — все равно какъ съ передовыхъ статей моихъ друзей Ивана Либеральнаго, Ивана Генералова и Ивана Плутонократова-Плутосократова, писателей тоже прекрасныхъ, благородныхъ. Я уже было сталъ жаловаться на судьбу, направившую мой палецъ такъ неудачно, — ибо, поистинѣ я, попалъ пальцемъ въ небо, — какъ вспомнилъ, что совершенно подобный же случай былъ недавно съ г. Ходневымъ, который, однако, не смутился. Г. Ходневъ, желая просвѣтить своихъ соотечественниковъ по части путей, какими осуществляется торжество добродѣтели и наказаніе порока, но, забывъ, подобно мнѣ, гдѣ находятся удовлетворительныя на этотъ счетъ рѣшенія, пришелъ во французскій книжный магазинъ и ткнулъ пальцемъ въ пространство. Онъ попалъ въ небо, — въ два толстѣйшіе тома Поля Жана. Но такъ какъ хорошенькаго понемножку, то г. Ходневъ перевелъ только первую главу и издалъ ее въ свѣтъ подъ заглавіемъ: «Мораль и политика на востокѣ» (СПб. 1874). Но г. Ходневъ забылъ, кромѣ того, французскій и русскій языки, вслѣдствіе чего въ его переводѣ встрѣчается такой удивительный Ормуздъ, который, «обладая всевѣднѣемъ, предвидитъ все, что должно случиться, и предполагаетъ свои дѣйствія впоследствии» (51); встрѣчаются «*налоги на подушную подать и оброкъ съ холста*» (97) и т. п. Въ оригиналѣ приводится цитата изъ законовъ Ману: *Les sacrifices ont pour mobile l'espérance; les pratiques de dévotion austeres et les observations pieuses sont reconnues provenir de l'espoir d'une récompense*. Эту простую фразу г. Ходневъ передаетъ слѣдующимъ, несообразнымъ ни съ русскимъ языкомъ, ни съ оригиналомъ, ни съ здравымъ смысломъ образомъ: «Мотивами жертвоприношеній служатъ благочестивые и другіе обряды, происходящіе отъ вѣрованія въ награду свыше» (9). Другая цитата изъ Ману у Жана: *Renfermées sous la garde des hommes les femmes ne sont pas en sûreté; celles-là seulement sont bien en sûreté qui se gardent elles mêmes de leur propre volonté*. Г. Ходневъ переводитъ: «Женщины подъ защитой мужчины не нахо-

дятся въ безопасности; только тѣ изъ нихъ въ совершенной безопасности, которые охраняютъ себя *отъ собственнаго возжеланія*» (14). Въ оригиналѣ стоитъ: *Plutôt mourir en restant pur: je n'ai que faire d'une vie qui serait pour le gens de bien un objet de blâme.* Г. Ходневъ забывъ, что *gens de bien* значить: порядочные люди, честные люди, переводить, такъ: «Лучше умереть, сохранивъ цѣломудріе; мнѣ остается только—изъ жизни, которая была бы для *людей добромъ*, сдѣлать предметъ порицанія» (44). Мѣстамъ г. Ходневъ забываетъ согласовать два періода, раздѣленные нѣсколькими строками, очевидно, вымаранными цензурой. Въ концѣ концовъ г. Ходневъ забываетъ всѣ мудрыя предписанія моралистовъ древняго востока, ибо они требовали скромности, добросовѣстности, безкорыстія, а г. Ходневъ, за плохо переведенный и изданный плохой клочекъ плохой книги, размѣромъ листа въ три формата «Отечественныхъ Записокъ», желаетъ получить 50 коп. Если его книжка разоидется, то добродѣтель будетъ вознаграждена съ избыткомъ.

Однако, когда не дадутъ пирога, надо ѣсть хлѣбъ, когда нѣтъ хлѣба, люди питаются лебедой. Когда попалъ на Жане, надо стараться извлечь изъ него что-нибудь поучительное, хотя бы въ видѣ афоризма: не воздѣвай рукъ къ небу, ибо рискуешь попасть въ него пальцемъ. Г. Ходневъ, съ точки зрѣнія поучительности, исчерпанъ въ предыдущихъ строкахъ весь, Полю Жане тоже. Остаются тѣ древніе восточные моралисты, о которыхъ въ книжкѣ Жане-Ходнева идетъ рѣчь. Эти почтенные люди, конечно, несравненно поучительнѣе.

Вотъ одна буддистская легенда, приводящая, между прочимъ, въ восторгъ Поля Жане. Нѣкто Пурна приходитъ въ Буддѣ посоветоваться насчетъ своей поѣздки черезъ страну, населенную дикимъ и грубымъ народомъ. Будда спрашиваетъ: а что если эти люди обратятся къ тебѣ съ дерзкими и грубыми словами? Что ты о нихъ подумаешь? Пурна отвѣчаетъ: я подумалъ, что это, вѣроятно, добрые люди, обращающіеся ко мнѣ съ дерзкими и грубыми словами, но не бьющіе меня ни рукой, ни камнемъ.—А если они тебя прибьютъ рукой или камнемъ?—Я подумалъ, что это кроткіе, добрые люди, которые бьютъ меня рукой или камнемъ, но не наносятъ мнѣ ударовъ ни палкой, ни мечомъ.—А если они нанесутъ тебѣ удары палкой или мечомъ?—Я подумалъ, что они люди добрые и кроткіе, которые наносятъ мнѣ удары палкой и мечомъ, но не лишаютъ меня жизни.—А если бы они тебя лишили жизни? что ты объ этомъ подумаешь?—Что они люди добрые и кроткіе, которые освобождаютъ меня

съ такой незначительной болью отъ этого грѣшнаго тѣла.—Хорошо, Пурна; ты, освобожденный, освобождай; ты, перешедшій на другой берегъ, зови и другихъ туда же; утѣшенный—утѣшай; достигнувшій Нирваны—способствуй и другимъ достигнуть ея.—Конецъ этой исторіи тотъ, что Пурна обратилъ грубыхъ и дикихъ людей, къ которымъ ѣхалъ на путь истины.

Такъ торжествуетъ добродѣтель. Смирись, уничтожься, и будешь, по буддистскому выраженію, «на другомъ берегу», т.-е. на берегу вознагражденной добродѣтели. Путь это, кажется, довольно вѣрный, и главное—довольно популярный. Когда закладчикъ беретъ съ меня 12% въ мѣсяцъ, онъ думаетъ: я человѣкъ добрый и кроткій, беру съ своего кліента 12%, но не беру 20%. И мнѣ приходится сознаться, что онъ мыслитъ основательно, потому что другой закладчикъ беретъ 20% и имѣетъ полное право думать, что онъ человѣкъ добрый и кроткій, ибо не беретъ съ меня 40% и т. д., до безконечности; родъ рода злѣе и пьянѣе, и все-таки все добрые и кроткіе люди. Когда домовладѣлецъ, у котораго я нанималъ въ третьемъ году квартиру за 500 рублей, объявилъ мнѣ въ прошломъ году, что по его бюджету я долженъ отнынѣ платить 600, онъ былъ человѣкъ добрый и кроткій, который бралъ съ меня 600 рублей, а не 700. Нынѣ онъ надбавилъ еще сотню. Что же, онъ человѣкъ добрый и кроткій, онъ надбавилъ сотню, а не двѣ. И за такое мое сужденіе домовладѣлецъ, съ своей стороны, говоритъ обо мнѣ: какой прекрасный, какой высоко нравственный человѣкъ этотъ Иванъ Непомнящій!—Онъ даже однажды согласился подождать нѣсколько дней уплаты денегъ и выразился при этомъ... не помню уже какъ, но что-то въ родѣ конца письма г. Тургенева къ г. Полонскому, приложеннаго къ разсказу «Живыя мощи»: «Мнѣ кажется, что помогать такому народу, когда его постигаетъ несчастіе, священный долгъ каждаго изъ насъ». Повторяю, это мораль очень распространенная. Органы Ивана Камердинерова, князя Ивана Точки и Ивана Генералова даже сдѣлали себѣ изъ нея нѣкоторую игрушку. Они нерѣдко проницески спрашиваютъ: а каково васъ побилъ рукой и камнемъ? Что же вы не говорите, что васъ бьютъ люди добрые и кроткіе, которые наносятъ вамъ удары рукой и камнемъ, но не мечомъ и палкой? Прискорбно только, что эта мораль, во-первыхъ, гораздо чаще рекомендуется, чѣмъ практикуется самими моралистами, а во-вторыхъ, она почти никогда не доводится до своего логическаго конца. Этотъ конецъ былъ достигнутъ едва ли не одними индусами, мимоходомъ сказать, единственнымъ, вполне

последовательнымъ народомъ въ мірѣ: у нихъ каста,—такъ ужъ не подходи близко судра къ брамину; отвлеченная мысль,—такъ ужъ въ ней не всякій нѣмецкій философъ ориентуруется; идолъ,—такъ взглянуть страшно. Если бы Жане не ограничился древнимъ вос- токомъ, то онъ увидѣлъ бы, что со времени Будды индусы сдѣлали значительные успѣхи въ дѣлѣ торжества добродѣтели. Въ настоя- щее время въ Индіи существуютъ секты, предписывающія своимъ членамъ, на ряду съ обѣтами цѣломудрія, прощенія обидъ и проч., благочестивыя упражненія въ такомъ родѣ: беззвучно произносить 12,000 разъ въ день слово «омъ»; стоять на головѣ, вытя- гивать искусственными средствами языкъ, заворачивать его назадъ и закрывать кончи- комъ его гортанное отверстіе, затыкать уши средними пальцами въ продолженіе 10 минутъ, наклонять голову нѣсколько на бокъ и при- слушиваться попеременно однимъ ухомъ къ шуму въ другомъ ухѣ (но какъ поступить, если правое ухо услышитъ въ лѣвомъ ухѣ шумъ недостаточно благоназмѣренный?); смо- трѣть на кончикъ собственного носа, пока глаза не прослезятся, и проч., и проч., и проч. и проч. Все это дѣлается съ цѣлю притупленія чувства умерщвленія плоти, словомъ, торжества добродѣтели. Вотъ это дѣло. Кто забудетъ въ себѣ всѣ чувства, всѣ желанія, всякую мысль, кто сумѣетъ заживо улечься въ гробъ, кто все, но рѣшительно все забудетъ, тотъ «на другомъ берегу». Какъ превратны всѣ сует- ныя разсужденія, на примѣръ, о дезинфекціи. Зачѣмъ уничтожать зловонія, когда можно просто закупорить носъ? Зачѣмъ огорчаться ударами рукой или камнемъ, когда можно радоваться, что бьетъ рукой и камнемъ, а не мечомъ и палкой? Зачѣмъ тратить мозго- вое вещество на выработку мысли, когда гораздо дешевле и спокойнѣе твердить: омъ! омъ! омъ! и т. д., насколько хватитъ усердія. За- чѣмъ виноградный листъ, когда можно при- тушить чувствительные нервы до невозможности краснѣть отъ стыда? Зачѣмъ терзать свою память, когда можно просто сказать: я забылъ. Et je reviens à mes moutons. Надо забыть. Надо забыть всѣ тѣ звуки, которые ласкали вашъ слухъ, и прислушиваться только къ шуму въ собственныхъ ухахъ. Надо забыть всѣ мысли, которыя волновали вашъ умъ, и беззвучно повторять 12,000 разъ въ день: «омъ». Надо забыть, что есть что- нибудь дальше кончика вашего носа и смотрѣть на него, на этотъ кончикъ носа, смотрѣть, смотрѣть и, наконецъ, всплак- нуть, но не слезами радости или горести,— о чемъ горевать, чему смѣяться, когда все забыто,— а просто отъ физическаго утомленія. Къ тому идетъ. Всѣ забудутъ все, и я радуюсь. Еще есть несчастные, которые

Соч. н. к. михайловскаго, т. II.

что-то помнятъ, которые заглядываютъ дальше своего носа и пытаются произносить что- то, кромѣ «омъ». Но, горе имъ! Добродѣтель восторжествуетъ, порокъ накажется. У вся- каго Верещагина найдется свой Тютрюмовъ. И хорошо, если только Тютрюмовъ... На г. Тютрюмова еще есть управа. Литература приняла его «нѣсколько словъ» (не слѣдуетъ ли говорить «нѣсколько клеветъ»?) весьма жестко. Не одобрилъ ихъ и свой братъ художникъ. Надняхъ въ «Голосѣ» было напечатано письмо гг. барона Клодта, Яко- би, Шишкина, Забѣлло, Гуна, барона М. К. Клодта, Мясоедова, Крамского, Чистякова, Попова и Ге. Эти нотабли нашего искусства на- чисто отказываются отъ солидарности «съ разочарованіями, подозрѣніями и критиче- скими взглядами» г. Тютрюмова. Его обви- неніе г. Верещагина они называютъ «воз- мутительнымъ». Но да не увлекаются по- мяншіе этимъ просакомъ г. Тютрюмова. По крайней мѣрѣ, да будутъ они готовы къ со- вершенно инымъ результатамъ.

Incident Tjutriumoff-Wierieschaguine, за неимѣніемъ болѣе подходящихъ, стоитъ того, чтобы записать его въ дневникъ съ нѣкоторыми подробностями. Что побудило г. Тютрюмова написать «нѣсколько словъ»? Зависть? Да. Но зависть, сама по себѣ, молча скрежещетъ зубами, а въ публикѣ, при солнечномъ свѣтѣ, появляется не иначе, какъ опираясь на чье-нибудь сочувствіе. Правда, г. Тютрюмовъ ошибся, онъ (кажется) ничего сочувствія не возбудилъ. Но во всякомъ случаѣ онъ на него рассчитывалъ и, конечно, имѣлъ для такого расчета свои резоны во многихъ явленіяхъ русской жизни. Пока мы молоды, мы много толкуемъ о разныхъ прин- ципахъ (и я толковалъ), но съ теченіемъ времени ихъ забываемъ. Самый обыкновен- ный изъ этихъ принциповъ есть выста- вленный г. Верещагинымъ: всѣ чины и от- личія въ искусствѣ безусловно вредны. Вѣ- роятно, его въ свое время и г. Тютрюмовъ исповѣдывалъ. Принципъ этотъ мы обыкно- венно помнимъ вплоть до того момента, когда намъ за успѣхи въ искусствѣ пред- лагаютъ какой-либо знакъ отличія. Въ этотъ именно моментъ принципъ внезапно идетъ какъ ключъ ко дну рѣки забвенія, Леты. Вмеѣстѣ съ тѣмъ мы начинаемъ любоваться кончикомъ собственного носа и прислуши- ваться къ шуму въ собственныхъ ухахъ. Г. Верещагинъ, какимъ-то чудомъ, не за- былъ въ надлежащій моментъ принципа и осуществилъ его. Г. Тютрюмовъ на него набросился, полагая увлечь примѣромъ своей личной храбрости и другихъ художниковъ, и общество. Его предположеніе въ данномъ случаѣ не оправдалось. Но вѣдь онъ столько примѣровъ видѣлъ, что

Si des rangs sortent quelques hommes,
Tous nous crions: à bas les fous!

Онъ знаетъ, что не всякая свора гончихъ гонится съ такимъ радостнымъ остервенѣніемъ за несчастнымъ зайцемъ, какъ гонимся мы, забывшіе и любующіеся кончикомъ своего носа, за человѣкомъ, который имѣетъ смѣлость что-то помнить. Онъ знаетъ, что нѣтъ клеветы, нѣтъ пакости, нѣтъ насмѣшки, которую бы мы ни рѣшились опрокинуть на такого человѣка. Г. Тютрюмовъ не рассчиталъ только той частной комбинаціи силъ, среди которой затѣялъ и привелъ въ исполненіе свой походъ. Онъ руководствовался слишкомъ общими соображеніями... Онъ полагалъ, что всѣ скажутъ: какой добрый и кроткій, а главное—какой справедливый человѣкъ г. Тютрюмовъ; онъ обвиняетъ г. Верещагина въ шарлатанствѣ, но не обвиняетъ его въ тасканіи платковъ изъ кармановъ. И онъ имѣлъ право этого ожидать, потому что... потому что вотъ и я говорю: какіе добрые и кроткіе люди князь Иванъ Точка и Иванъ Камердинеровъ: они обвиняютъ своихъ враговъ въ тасканіи платковъ изъ кармановъ, но не обвиняютъ въ грабежѣ на большой дорогѣ. Но если бы они и обвиняли въ грабежѣ на большой дорогѣ...

Омъ! омъ! омъ!..

Читалъ «Народныя русскія сказки въ изложеніи Н. Полевого съ рисунками И. Панова, исполненными въ Парижѣ». Прекрасная книга. Отвращиваю красивую обложку изъ папки, вижу другую обложку изъ бѣлой муаръ-антиковой бумаги. Потомъ пустая страница. Отвращиваю ее — страница съ заглавіемъ. Третья страница: на одной сторонѣ опять заглавіе, а на другой два эпиграфа, одинъ изъ Пушкина, другой изъ Лермонтова. Четвертая страница: предисловіе. Пятая: оглавленіе. Шестая: посвященіе. Седьмая: воспоминанія о «маленькой Лизѣ, охотницѣ до сказокъ». Восьмая: «Вмѣсто присказки» изъ Пушкина: «У лукоморья дубъ зеленый» и т. д. Итого цѣлый листъ in 8° занятъ одними, такъ сказать, прописями. Очень роскошно. Затѣмъ превосходная бумага, отличная печать, чудесныя хромо-литографіи и гравюры. По хромо-литографіямъ хоть сейчасъ балетъ или волшебную оперу ставь. «Цѣна полагается умѣренная», какъ выражаетъ обыкновенно книгопродавецъ Ласенковъ въ своихъ объявленіяхъ, — 4 рубля. Дѣйствительно умѣренная, принимая въ соображеніе роскошь изданія. Конечно, эту роскошную книгу подарятъ своимъ дѣтямъ только очень богатые люди. Но и то недурно: пусть бо-

гатые люди смолоду узнаютъ народную русскую поэзію, мораль и мудрость, насколько онѣ осѣли въ сказкахъ. Я былъ увѣренъ, что г. Полевой всѣмъ угодитъ своей книгой, что его похвалятъ и Иванъ Камердинеровъ (потому что онъ очень уважаетъ все народное), и Иванъ Плутонкратовъ-Плутосократовъ (потому что онъ любитъ дѣтей богатыхъ родителей), и Жан qui rit (потому что онъ любитъ смѣяться), и Жан qui pleure (потому что онъ любитъ плакать)... Развѣ, думалъ я, только Иванъ Либеральный скажетъ, пародируя Калхаса: слишкомъ много чертей! слишкомъ много чертей! Каюсь, я ошибся. Оказались у г. Полевого хвалители, но оказались и хулители, и весьма строгіе. Черти, конечно, не забыты. На нихъ особенно сильно напала «Недѣля». Рецензентъ этой газеты приводитъ даже опыты, которые онъ дѣлаетъ надъ дѣтьми разныхъ возрастовъ и темпераментовъ, давая имъ читать книгу г. Полевого. Сказки съ чертами и слишкомъ уже хорошіе рисунки производили въ дѣтяхъ нервное раздраженіе, выразившееся дурнымъ сномъ, бредомъ и т. п. Рецензентъ заключаетъ, что книгу г. Полевого давать дѣтямъ отнюдь не слѣдуетъ. Къ такому же приблизительно заключенію пришелъ рецензентъ «Голоса». Но онъ прибавилъ, что самая мысль «излагать» народныя сказки своимъ языкомъ неосновательна. Далѣе онъ обратилъ вниманіе на подозрительнаго свойства идеальныя типы сказокъ, изданныхъ г. Полевымъ. Зато горой сталъ за г. Полевого «Гражданинъ». Нѣкто г. Евгений Бѣловъ напечаталъ въ этомъ прекрасномъ журналѣ весьма горячее возраженіе хулителямъ сказокъ г. Полевого, гдѣ доказываетъ, что черти ничего, даже хорошо, что ихъ много, а о нѣкоторой своеобразности идеальныхъ типовъ сказокъ выразился такъ: «Рецензентъ «Голоса» говоритъ еще, что въ русскихъ сказкахъ жалкіе идеалы въ родѣ лебековъ Иванушекъ-дурачковъ, которые торжествуютъ надъ умными тружениками... Но рецензентъ не вникъ въ смыслъ этихъ простодушныхъ разсказовъ, ему и въ голову не пришло, что тутъ торжествуетъ *простота-правда* (курсивъ г. Бѣлова), торжествуетъ она не умомъ *лукавымъ* (курсивъ г. Бѣлова) надъ трудомъ, клонящимся ко вреду ближняго. Это одинъ изъ простодушно-дѣтскихъ идеаловъ и убѣжденій русскаго народа, что правда сильна сама по себѣ и посямляетъ и лукавый умъ, и тщетный трудъ» («Гражданинъ», № 39). Я собственно съ этой-то стороны и заинтересовался сказками, изданными г. Полевымъ. О чертахъ же мнѣ ничего неизвѣстно. Сказки эти для меня только новые матеріалы для рѣшенія во-

проса о путяхъ, коими торжествуетъ добродѣтель и наказывается порокъ.

Сказка «Морозко». Жила была сварливая баба, а у нея были дочь да падчерица. Не влюбила она падчерицу, поѣдомъ ее ѣла и, наконецъ, велѣла старику мужу увезти ее изъ дому и бросить въ чистомъ полѣ на морозъ. Жалко было старику дочки, однако, повезъ, свалилъ на опушкѣ лѣса въ сугробъ, перекрестилъ и уѣхалъ домой. Дѣвушка присѣла подъ ель, трясется, молится. Вдругъ слышитъ—невдалекѣ Морозко на елкѣ потрескиваетъ, съ елки на елки поскакиваетъ да пощелкиваетъ. Подскочилъ онъ, наконецъ, къ тому дереву, подъ которымъ дѣвушка сидѣла. Пощелкиваетъ, поскакиваетъ, на красную дѣвицу посматриваетъ: «дѣвица, дѣвица, я—Морозъ-красный-носъ!»—«Добро пожаловать, Морозъ! знать Богъ тебя принесъ по мою душу грѣшную!»—«Тепло ли те, дѣвица?»—«Тепло, тепло, батюшка Морозушко». Сталъ Морозъ ниже спускаться, больше потрескивать и чаще пощелкивать, сталъ опять дѣвицу спрашивать: «тепло ли те, дѣвица, тепло ли те, красная?» Дѣвица чуть духъ переводить, а все еще твердить: «тепло, Морозушко, тепло, батюшка!» Пуще затрепалъ и сильнѣе зашелкалъ Морозко и промолвилъ въ послѣдній разъ дѣвицѣ: «тепло ли те, дѣвица? тепло ли те, красная? тепло ли те, лапушка?» Дѣвица околѣла и только чуть слышно вымолвить могла: «ой, тепло, голубчикъ Морозушко!» Полюбилися Морозъ ея ласковыми рѣчи: онъ надъ дѣвицей сжалился, окуталъ ее шубами, отогрѣлъ одѣялами, да принесъ ей сундукъ со всякимъ добромъ, да платьѣ, шитое серебромъ и золотомъ. Тѣмъ временемъ мачиха по ней поминки справляетъ, радуется, велитъ мужу ѣхать за дочерью—хоронить. Какъ пріѣхала она разряженная да съ сундукомъ, мачиха глянула—и руки врозь: велѣла старику поскорѣе запрягать лошадей, везти ея родную дочь на то же мѣсто, гдѣ падчерица богатство добыла. Повезъ старикъ; посадилъ на то же мѣсто. Пришелъ и Морозъ-красный-носъ, сталъ спрашивать: «тепло ли те, дѣвица?» Старухина дочь говоритъ: «убирайся ты! или ты ослѣпъ?»—не видишь, что у меня руки и ноги окостенѣли». Попрыгалъ, поскакалъ Морозко, а хорошихъ рѣчей не дождался: разсердился на падчерку и на смерть ее заморозилъ. А старуха между тѣмъ гонитъ мужа: «ступай, мою дочь привези, лихихъ коней запряги, да саней не переверни, да сундука не оброни!» Какъ увидѣла старуха дочкино тѣло холодное, «заплакала-заголосила—поняла, что злобой да завистью дочь загубила».

Тутъ фигурируетъ одинъ изъ любимѣйшихъ мотивовъ народной русской сказки,—

добродѣтель, достигшая вознагражденія путемъ покорности. Есть въ изданіи г. Полевого и еще подобныя же сказки, но «Морозко» самая характерная. Это, по истинѣ, прелестная сказка. Пока я выписывалъ ее изъ книги г. Полевого, я чувствовалъ, какъ подъ лучами красоты и величія народной фантазіи оттаявала моя замороженная память, точно сама красная дѣвица подъ шубами и одѣялами сжалившагося Мороза-краснаго-носа. Я вспомнилъ, все вспомнилъ, я чувствую въ себѣ способность смѣяться и плакать, какъ въ ту счастливую пору, когда я зналъ слова, кромѣ «омъ», когда я смотрѣлъ дальше своего носа, когда я прислушивался не къ шуму въ собственныхъ ухахъ, а къ громкому и торжественному благовѣсту, и зналъ, откуда идетъ этотъ звонъ. Я пишу въ полной памяти. Я знаю, Иванъ Либеральный скажетъ, если подумаетъ (но подумаетъ-ли онъ?), что Морозко есть апоѳеозъ заботности съ одной стороны и самодурства съ другой. Но это вздоръ. Морозко дѣйствительно самодуръ, красная дѣвица дѣйствительно забита, но сказка все-таки не апоѳеозъ самодурства и заботности. Иванъ Камердинеровъ скажетъ почти то же самое, что Иванъ Либеральный, nur mit ein bischen anderen Worten, все равно какъ духовникъ Маргариты говоритъ почти тоже, что Фаустъ. Онъ скажетъ, что это апоѳеозъ культуры, таинства, совершаемаго могучимъ и благосклоннымъ Морозомъ (онъ вѣдь отогрѣлъ красную дѣвицу, значитъ онъ благосклоненъ) съ одной стороны и слабою, покорною, безмѣрно благородною, умиляюще преданною красною дѣвицею съ другой. О протестанткѣ старухиной дочери онъ скажетъ, можетъ быть, что это пріемлющій достойное наказаніе нигилизмъ. Иванъ Плутонократовъ-Плутосократовъ скажетъ... Но, Боже мой! какое мнѣ дѣло до того, что онъ скажетъ, что скажутъ всѣ эти Иваны! Пусть говорятъ и слушаютъ шумъ въ собственныхъ ухахъ. Могу же я оторваться отъ нихъ въ тотъ «свѣтлый прожежутокъ», когда ко мнѣ возвращается память и когда мнѣ становится гадко и стыдно за общество, въ которомъ я провожу время въ періоды безпамятства...

Не то важно, что скажутъ Иваны объ этой сказкѣ. Важно, что самъ народъ ея не оцѣнилъ по достоинству. Впрочемъ, жизнь представляетъ не мало примѣровъ такого непониманія народомъ своего собственного величія. Въ самомъ дѣлѣ. Старуха, какъ увидѣла дочкино тѣло холодное, «заплакала-заголосила,—поняла, что злобой да завистью дочь загубила». Какой жалкій, скаредный итогъ крупнымъ слагаемымъ сказки! Какъ

будто старуха тутъ не послѣдняя спица въ колесницѣ! Какъ будто есть кому дѣло до этой глупой злоки, когда въ лѣсу совершается глубокая, потрясающая драма, въ которой она, старуха, играетъ роль безъ рѣчей. Могутъ ли возбудить какой бы то ни было интересъ ея слезы, ея раскаяніе, ея зависть, ея злоба, когда въ лѣсу двѣ молодыя неповинныя жизни гибнуть или не гибнуть изъ-за каприза Мороза-краснаго-носа?

На первый взглядъ поражаетъ сходство сказки «Морозко» съ вышеприведенною буддистскою легендою о добродѣтельномъ Пурнѣ. И Пурна и старухина падчерица одинаково благодарно принимаютъ посылаемые имъ невзгоды, покорно переносятъ всѣ страданія и не протестуютъ ни единымъ словомъ, хотя они ни въ чемъ неповинны и знаютъ это. Одинъ, когда его бьютъ рукой и камнемъ, говоритъ: вотъ добрые и кроткіе люди, которые бьютъ меня рукой и камнемъ, но не наносятъ мнѣ ударовъ палкой и мечомъ. Онъ лжетъ во спасеніе. Другая, когда Морозко леденитъ ее своимъ дыханіемъ, говоритъ: тепло, Морозушко! тепло, батюшка! Она тоже лжетъ во спасеніе. Но сходство этимъ и ограничивается. Индусъ съ своей обычной, прямолинейной послѣдовательностью доводитъ терпѣливое перенесеніе страданій до логическаго конца, до умерщвленія плоти, больше того, до Нирваны, блаженства небытія. Но если индусы единственный въ мірѣ вполне послѣдовательный народъ, то русскій народъ долженъ быть причисленъ, наоборотъ, къ числу самыхъ непослѣдовательныхъ. Неизвѣстный коллективный авторъ сказки награждаетъ красную дѣвицу, такъ спокойно переносящую страданія, такъ готовую принять смерть, такъ, повидимому, мало дорожащую земною жизнью со всею ея суетой суетъ; эту дѣвицу авторъ сказки награждаетъ сундукомъ съ приданымъ, хорошимъ платьемъ и женихами (я опустилъ въ передачѣ сказки, для краткости, предсказаніе собаки, что у падчерицы будутъ женихи)! Въ индусской легендѣ добродѣтель вознаграждается чѣмъ-то туманнымъ, неопредѣленнымъ, неуловимымъ, какимъ-то громаднымъ отрицательнымъ знакомъ,—отсутствіемъ всякаго присутствія. Въ русской сказкѣ, напротивъ, добродѣтель вознаграждается самыми яркими, самыми осязательными земными благами, какія только доступны дѣвушкамъ народа: приданымъ, женихами, расшитымъ золотомъ (и вѣроятно краснымъ) сарафаномъ. А между тѣмъ путь къ торжеству добродѣтели и тамъ и тутъ все одинъ и тотъ же. Это, впрочемъ, не должно быть относимо на счетъ непослѣдовательности русскаго народа. Дѣло въ томъ, что въ сказкѣ о Морозѣ онъ и не хотѣлъ быть послѣдовательнымъ и даже о добродѣ-

тели мало думалъ. Тутъ нѣтъ поученія, которое составляетъ всю суть индусской легенды. Поученіе—«заплакала-заголосила, поняла, что злобой да завистью дочь загубила»—оттого и вышло такъ непропорціонально и плоско, что оно вовсе въ виду не имѣлось. Это, такъ сказать, нежилое строеніе, гдѣ-то на задворкѣ. Жизнь, бьющая ключемъ въ сказкѣ, совсѣмъ въ другомъ помѣщеніи развивается. Очень замѣчательно, что сказка только слегка хвалитъ падчерицу отъ себя: «дѣвочка была золото»—и только. Точно такъ же сказка не бросаетъ ни одного камня въ старухину дочку. Было бы очень легко, и даже соблазнительно, мазнуть лишній разъ кистью по этимъ двумъ образамъ и сдѣлать изъ одного нѣчто ангелоподобное, а изъ другого чудовище обло, озорно и лаей. Такъ, безъ сомнѣнія, и поступили бы фабриканты романовъ фирмы Иванъ Камердинеровъ и комп. Но коллективный, безвѣстный творецъ «Морозко»—народъ не могъ впасть въ такую грубую фальшь. Въ немъ для этого слишкомъ сильно чувство красоты и справедливости. Онъ не раздуваетъ достоинствъ падчерицы, а просто рассказываетъ, что эта дѣвушка получила сарафанъ, приданое и жениха, благодаря своей безропотности и покорности. Старухина дочка съ другой стороны рѣшительно ни въ чемъ не виновата, сказка не знаетъ ни одного грѣха за ней. Она не виновата въ томъ, что не вытерпѣла холода и самодурскихъ выходокъ стараго Мороза. Что можетъ быть проще и естественнѣе ея грубаго отвѣта, когда отъ холода ноги воченьются и зубъ на зубъ не попадаетъ, а старый самодуръ, пользуясь своей силой, издѣвается? Народъ и не винить ее за этотъ отвѣтъ. Онъ только рассказываетъ, что Морозъ ее за него не взлюбилъ и загубилъ. Мороза, какъ силу стихійную, непреодолимую, фатальную, народъ не судитъ. Но долженъ же кто-нибудь отвѣчать за загубленную жизнь, виновать же кто-нибудь—и вотъ пишки вавалются на ничтожную старуху, единственно за тѣмъ, что кто-нибудь долженъ отвѣтъ держать.

Вотъ и все. Странное дѣло! Я думаю у меня и бумаги не хватитъ для комментаріевъ къ «Морозкѣ», а ужъ больше нечего писать. Казалось, въ головѣ было такъ много мыслей, такъ толпились онѣ, другъ друга перебивая и другъ другу заступаая дорогу... Куда же онѣ всѣ дѣвались?

Это, кажется, очень просто. «Морозко» есть, по моему, широчайшая аллегорія, въ которую чуть не вся русская жизнь вмѣститься можетъ. И пока я записывалъ содержаніе сказки, какъ я его понимаю, въ головѣ моей тѣснились не мысли, а иллюстраціи къ одной и той же, и очень про-

стой, мысли, которую можно формулировать, не совсѣмъ однако точно, такъ: сила солову ломить. То, что я принималъ за кучу отдѣльныхъ, самостоятельныхъ мыслей, было безконечнымъ рядомъ образовъ историческихъ, литературныхъ и лично мнѣ близкихъ въ жизни. Теперь, когда самая мысль, не моя, а народная, записана, эти образы проходятъ мимо меня уже болѣе стройной вереницей.

Съдая древность. Аѳины. Мудрый Протагоръ пишетъ: «о богѣхъ неизвѣстно, существуютъ они или нѣтъ; разъясненію этого вопроса мѣшають его собственная темнота и краткость человѣческой жизни». Вѣрующимъ въ единого христіанскаго Бога вполне извѣстно, что греческіе боги никогда не существовали. Но для Протагора это была, конечно, мысль очень смѣлая, не менѣе смѣлая, чѣмъ отвѣтъ старухиной дочки Морозѣ. И аѳинскій Морозко не стерпѣлъ: Протагоръ былъ изгнанъ, сочиненія его сожжены. Мнѣ почему-то эта исторія всегда представляется слѣдующимъ, безъ сомнѣнія, исторически совершенно невѣрнымъ, образомъ: Протагоръ расположился очень спокойно, желая повѣдать своимъ согражданамъ истину, вооружился логикой, откашлялся и солидно началъ: гм! о богѣхъ неизвѣстно, существуютъ они или нѣтъ... И въ ту же минуту его за шиворотъ... Аѳинскій Морозко — толпа спрашиваетъ, подобно королю Максимилиану въ одной солдатской комедіи: будешь ли ты поклоняться моимъ кумирскимъ богамъ? А Протагоръ отвѣчаетъ, подобно непокорному Адольфу: я твои кумирскіе боги попираю подъ ноги. Если бы онъ не далъ такого грубаго отвѣта, а поклонился бы кумирскимъ богамъ, онъ получилъ бы всѣ нужные ему земныя блага, какъ получила падчерница сарафанъ, приданое и жениха, т.-е. все, что требуется.

Странно однако, что я записалъ исторію Протагора, которая не имѣетъ ни малѣйшаго отношенія къ русской жизни и не содержитъ въ себѣ существеннаго элемента сказки о Морозѣ: озорства Мороза, его издѣвательства надъ замораживаемыми дѣвчушками...

Перехожу къ другимъ сказкамъ. «Морозко», очевидно, не даетъ никакого рѣшенія насчетъ путей, ведущихъ къ торжеству добродѣтели и наказанію порока. Эта сказка рѣшаетъ совсѣмъ другой вопросъ, именно: чѣмъ достигаются въ дѣйствительной жизни осязательныя земныя блага? Перехожу къ сказкамъ, о которыхъ г. Евгений Бѣловъ столь краснорѣчиво говоритъ: «тутъ торжествуетъ *простота-правда*, торжествуетъ она не умомъ *лукавымъ* (а чѣмъ?) надъ трудомъ, клонящимся ко вреду ближняго. Это одинъ изъ простодушно-дѣтскихъ идеаловъ и убѣ-

жденій русскаго народа, что правда сильна сама по себѣ и посрамляетъ и лукавый умъ и тщетный (?) трудъ». Много вздора печатается въ «Гражданинѣ», но пальма первенства должна, кажется, принадлежать вадору г. Бѣлова. Впрочемъ, Богъ съ нимъ.

Сказка «Слѣпцы». Шелъ парень изъ Москвы на родину и было у него денегъ всего полтинникъ. Повстрѣчался ему слѣпой нищій. Парень подаль ему полтинникъ и говоритъ: «это, старичекъ, полтинникъ; прими изъ него, Христа ради, семитку, а сорокъ-то восемь копѣекъ мнѣ сдачи дай». Нищій оунулъ полтинникъ въ мошну и опять затунулъ: подайте, православные, и проч. Парень требуетъ сдачи. Нищій какъ будто не слышитъ, только благодаритъ. Парень, наконецъ, сталъ слѣпому плуту тормозить. Тотъ закричалъ: караулъ! грабятъ! Парень испугался и оставилъ его. Отойдя, однако, нѣскольکو шаговъ, онъ пожалѣлъ своего послѣдняго полтинника и вернулся. Видитъ — нищій поднялся и домой пошелъ. Парень за нимъ слѣдомъ. Подошли они къ двумъ избушкамъ. Нищій отперъ одну изъ нихъ и вошелъ, а парень раньше его въ дверь проскользнулъ, пока тотъ съ костылями, да съ ключами возился, присѣлъ на лавку и смотреть. Нищій вытащилъ изъ-подъ печки боченокъ, покидалъ въ него деньги, а самъ ухмыляется: «спасибо, говорить, тому молодцу, что полтинникъ далъ — на силу-то я пять сотъ доровнялъ». Сѣлъ нищій на полъ, ноги разставилъ и сталъ ими боченокъ покатывать, — забавляется, значить. Парень нагнулся съ лавки и подобралъ боченокъ. Нищій шарилъ, шарилъ и сталъ, наконецъ, кликать слѣпца-товарища. Пришелъ слѣпецъ-товарищъ, нищій ему рассказалъ про боченокъ. «По дѣломъ вору и мука, говорить товарищъ, задумалъ въ деньги играть и плачь отъ игры. И что за боченокъ? Ты бы дѣлалъ по моему: вонъ у меня тоже пять сотъ въ старой шапченкѣ зашито — кто у меня ее взять можетъ?» Какъ услышалъ это парень, соскочилъ съ лавки, схватилъ со второго слѣпца шапку, да драго. А слѣпецъ, думая, что это товарищъ съ него шапку стащилъ, сталъ его бить. Парень тѣмъ временемъ успѣлъ уйти далеко и впоследствии, разумѣется, зажило припѣваючи.

Сказка «Ома Беренниковъ». Жилъ былъ горемычный мужиченка Омка Беренниковъ. *«Боекъ былъ на языкъ Ома и умомъ смилень не хуже другою, только ужъ изъ себя больно не казистъ и къ работѣ крестьянской совсѣмъ не приоденъ»*. Выѣхалъ разъ Ома въ поле пахать, лошаденка у него плохая, работа тяжелая. Взяло его горе, сѣлъ онъ на камешекъ и видитъ, что лошаденку его со всѣхъ сторонъ облѣпили

оводы и мухи. Онъ ударилъ лошадеу по спинѣ хворостиной, мухи и оводы съ нея такъ и посыпались. Сталь Оома считать, сколько побилъ, и видить, что убито восемь оводовъ, а мухамъ и смѣты нѣтъ. Подсмѣялся Оома: вотъ какъ у насъ! чѣмъ я не богатырь? Не хочу пахать, хочу воевать, въ богатѣйствѣ счастья искать. Взялъ Оома серпъ, тупой косарь, лычный кошель, сѣлъ на свою клячу и поѣхалъ въ чистое поле. Подѣхалъ онъ къ столбу, на которомъ проѣзжіе богатыри свои имена пишутъ, и написалъ: «Проѣзжалъ здѣсь богатырь Оома Беренниковъ, единымъ махомъ восьмерыхъ побиваетъ, а мелкой-то сошкѣ и смѣты нѣтъ». Только онъ успѣлъ съ версту отъ столба отѣхавъ, какъ прискакали на то мѣсто два богатыри, прочли надпись и поѣхали Оомѣ въ догонку. Подѣзжаютъ къ нему и дивуются: «что за конь такой подъ этимъ богатыремъ? какъ есть кляча рабочая! да знать сила-то вся не въ конѣ, а въ самомъ молодцѣ!» Подѣхали, поздоровались. Глянулъ на нихъ Оома черезъ плечо, и головой не кивнулъ, спрашиваетъ: вы кто таковы?—«Илья Муромецъ, да Алеша Поповичъ, хотимъ къ тебѣ проситься въ товарищи». — «Отчего же? можно. Пожалуй, поѣзжайте сюда меня». Приѣхали въ сосѣднее царство и остановились на заповѣдныхъ царскихъ лугахъ, коней пастить пустили, сами подъ шатромъ легли. Царь выслалъ сотню наѣздниковъ, чтобы прогнали незваныхъ гостей съ заповѣдныхъ луговъ. Богатыри говорятъ Оомѣ: «самъ противъ нихъ пойдешь, или насъ пошлешь»?— «Вотъ еще, чтобы я сталъ объ эту дрянную руки марать! Ступай-ка ты, Илья Муромецъ, покажи свою удалъ». Илья Муромецъ вскочилъ на коня и мигомъ прирубилъ всѣхъ враговъ. Прогнѣвался царь, все войско, какое въ городѣ было, послалъ гнать гостей. Опять богатыри Оомку спрашиваютъ: самъ ли онъ на враговъ пойдетъ или ихъ пошлетъ. Оомка говоритъ: «Мнѣ ли съ такимъ сбродомъ въ честномъ бою сходиться, мнѣ ли, молодцу, объ нихъ руки марать? Ступай ты, Алеша Поповичъ, перевѣдайся съ ними понашенски, а я посмотрю, какова твоя храбрость есть». Алеша Поповичъ всю рать царскую побилъ, начальники къ нему съ повинной пришли, а онъ, какъ человекъ подначальный, послалъ къ Оомкѣ. Царь прислалъ Оомкѣ дары и просилъ защитить его царство отъ китайскаго хана, за что обѣщалъ выдать свою дочь за Оомку и ему же отказать по смерти царство. Оомка говоритъ: «ну, что-жъ?—пожалуй! На это я могу дать свое согласіе». Скоро подступилъ къ городу китайскій ханъ и предложилъ царю рѣшить судьбу ихъ царствъ единоборствомъ Оомки съ китайскимъ богатыремъ. Такъ и порѣ-

шили. Оомка поѣхалъ на бой съ косаремъ и на своей клячѣ, какъ его товарищи ни уговаривали доспѣхи надѣть. «Какъ же! отвѣчалъ онъ:—стану я отъ такой бритой башки подъ воинскимъ доспѣхомъ укрываться. Мнѣ этого китайца на одну руку мало». А самъ думаетъ: «Что-жъ за мудрость? Пусть убьетъ меня китаецъ—сраму мнѣ отъ этого не будетъ». Съѣхались богатыри. Китаецъ былъ огромный силачъ въ доспѣхахъ, оружіемъ обвѣшанъ и сидѣлъ на лихомъ конѣ. Оомка слѣзъ съ своей клячи и говоритъ китаецу: оба мы сильно могучіе богатыри, будемъ сейчасъ драться на смерть, но прежде должны отдать другъ другу почтеніе. И поклонился китаецу до земли. Китаецъ тоже, а пока онъ въ своихъ тяжелыхъ доспѣхахъ поднимался, Оомка ему косаремъ горло перерѣзалъ. Потомъ вскочилъ на китайскаго коня, ищетъ поводьевъ, да и забылъ, что къ дереву привязанъ. Но конь, почувавъ на себѣ сѣдока, вырвалъ дерево съ корнемъ и помчался назадъ, въ китайскій лагерь, волоча за собой дерево. Перепугался Оомка, кричитъ: помогите! помогите! А китаецъ еще больше перетрусилъ; показалось имъ, что онъ кричитъ: побѣгите! побѣгите! и пустились вразсыпную. А конь-то по нимъ скачетъ, копытами, да деревомъ вырваннымъ ихъ давить: гдѣ проскачетъ тамъ улица, гдѣ повернетъ—тамъ переулокъ. Конецъ понятенъ; Оомка женится на царевнѣ и получаетъ полцарства въ приданое. При этомъ онъ проситъ царя не забыть позвать на свадьбу его «меньшихъ братьевъ»—Алешу Поповича и Илью Муромца.

Такъ торжествуетъ добродѣтель и наказывается порокъ...

«Слѣпцы» и «Оома Беренниковъ» произведенія далеко не равнаго достоинства. Оомка—очень типичный забулдыга, которому все тринь-трава; въ сказкѣ о немъ много юмора, подчасъ переходящаго, впрочемъ, въ балаганство. «Слѣпцы» же просто мелкая тарелка и, вѣроятно, очень недавняго происхожденія. Въ художественномъ отношеніи разница громадная, но, на первый взглядъ, по крайней мѣрѣ, мораль обѣихъ сказокъ одна и та же. И мораль эта небезынтересна. Совсѣмъ тутъ нѣтъ обѣщаннаго г. Изловымъ торжества *простоты-правды*, торжествующей не умомъ *лукавымъ*; нѣтъ и посрамленія лукаваго ума, нѣтъ и правды, сильной самой по себѣ. Напротивъ, здѣсь торжествуетъ лукавство, загребаніе жара чужими руками, прямой грабежъ, цѣлый рядъ обмановъ и самохвальство. И надо замѣтить, что «Слѣпцы» и «Оома Беренниковъ» стоятъ въ этомъ отношеніи вовсе не одиноко въ ряду русскихъ народныхъ сказокъ вообще и изданныхъ г. Полевымъ въ особен-

ности. Не совсѣмъ чисто плотная мораль многихъ другихъ сказокъ скрыта фантастическимъ (волшебный конь, шапка-невидимка и т. п.) и сверхъестественнымъ элементомъ (разнаго рода черти) и только потому не выступаетъ такъ ярко наружу. (Мимоходомъ сказать, Морозко не сверхъестественный и не фантастическій, а аллегорическій элементъ). Но, спрашивается, что-жъ? — осудимъ ли мы за эти безнравственные сказки народъ, объявимъ ли его нравственно-несостоятельнымъ? Надо, по крайней мѣрѣ, посмотреть, нѣтъ ли смягчающихъ обстоятельствъ. Прежде всего надо замѣтить, что «Ома Беренниковъ» просто шутка, небывальщина. Омка смѣется и надъ честными и храбрыми, но недалёковидными богатырями Ильей Муромцемъ и Алешей Поповичемъ, и надъ глупымъ китайцемъ, и надъ царемъ, но пуще всего надъ самимъ собой, неспособнымъ ни къ крестьянской работѣ, ни къ богатству. Тутъ нечего искать морали. «Слѣпцы» — совсѣмъ другое дѣло. Это сказка во всѣхъ отношеніяхъ плохая, такъ что трудно даже угадать причины, побудившія г. Полевого включить ее въ свой сборникъ; но это сказка съ претензіей. Въ ней карается порокъ. И дѣйствительно, *порокъ наказанъ*. Но неужели народъ не могъ найти иного пути для *торжества добродѣтели*? Отвѣтомъ на это и на многіе другіе вопросы, вызываемые русскими народными сказками, дасть сказка же — «сказка о правдѣ и кривдѣ».

Жили въ деревнѣ два сосѣда мужика, оба бѣдные, оба безсемейные. Одинъ былъ плутовать и поворовать не прочь. «А другой шелъ по правдѣ, старался какъ бы вѣкъ трудомъ праведнымъ прожить». Заспорили они разъ о томъ, какъ лучше жить, правдой или кривдой. Криводушный, понятно, говорить, что кривдой лучше, а правдивый говорить: «какъ бы ни жить, да лишь бы правдой». Дальше больше, и рѣшили, наконецъ, мужики идти по бѣлу-свѣту и всѣхъ разспрашивать, какъ лучше жить — правдой или кривдой. Встрѣчаютъ мужика, — онъ говоритъ, что правдой хорошо не проживешь; встрѣчаютъ купца — то же самое; приказчика — опять то же самое. Криводушный торжествуетъ, а правдивый все свое: «не хочу я тому вѣрить! Надо жить по божьему, какъ Богъ велитъ: что бы ни было со мной, а кривдой жить не хочу!» Тогда криводушный предложилъ своему оппоненту разрѣшить споръ на дѣлѣ: пусть каждый живетъ по своему, тамъ и видно будетъ, какъ лучше жить. На первыхъ порахъ оказалось, что кривдой жить какъ будто лучше, потому что у криводушнаго все шло хорошо, «а правдивый — гдѣ поработаетъ, тамъ и поѣстъ

черствого хлѣба съ водицей; гдѣ работы не найдеть, тамъ и голодомъ посидитъ». Пришлось ему, наконецъ, такъ туго, что онъ попросилъ у криводушнаго кусочка хлѣба. Тотъ обѣщалъ его накормить, но съ тѣмъ условіемъ, чтобъ правдивый далъ себѣ глазъ выколоть, и дѣйствительно, покормилъ и глазъ выкололъ. «Стерпѣлъ прямотушный всѣ муки, а все отъ своего не отстаетъ, стоитъ за правду, не хочетъ товарищу потакать». Пришлось и опять скоро правдивому просить куска хлѣба у криводушнаго, и опять тотъ его покормилъ, но зато и другой глазъ выкололъ. Идетъ слѣпой правдивый по дорогѣ и вдругъ слышитъ голосъ: иди направо, дойдешь до гремачаго ключа, напейся изъ него, умойся, и прозрѣешь; потомъ увидишь дубъ, влѣзь на него и просиди всю ночь. Правдивый такъ и сдѣлалъ. И слышитъ онъ ночью, что слетѣлось подъ дубъ множество бѣсовъ, которые рассказываютъ другъ другу о своихъ похожденияхъ. Между прочимъ, одинъ изъ нихъ говоритъ, что онъ ужъ десять лѣтъ мучить одну царевну; лѣкаря, говорить, бьются и ничего подлѣвать не могутъ, а вылѣчить царевну можетъ только тотъ, кто у тамошняго купца достанетъ образъ, который у него въ черномъ кіотѣ надъ воротами вдѣланъ. Къ утру бѣсы разлетѣлись, а правдивый слѣзъ съ дуба, разыскалъ купца, добылъ образъ (правдивыми средствами: онъ его получилъ за трехлѣтнюю работу), вылѣчилъ царевну, женился на ней и зажилъ по царски. Однажды, встрѣтивъ криводушнаго, онъ рассказалъ ему, какъ добился счастья. Захотѣлось и тому того же. Влѣзъ онъ на дубъ, чтобы подслушать бѣсовскіе разговоры, но бѣсы услышали по духу, что на дубу кто-то сидитъ, стащили криводушнаго и разорвали его на мелкія части. «А правдивый забралъ къ себѣ съ родины старушку-матушку, привезъ ее въ палаты царскія и, съ ней да съ женой, весь вѣкъ прожилъ правдой!»

Такъ наказывается порокъ и торжествуетъ добродѣтель. Одно можетъ смутить: пунктъ, съ котораго началось счастье правдиваго. Вѣдь пунктомъ этимъ было, собственно говоря, подслушивание и бѣсовскіе разговоры, а подслушивать бѣсовскіе разговоры и «жить правдой, трудомъ праведнымъ» не совсѣмъ одно и то же. И почему это черти не рвали на мелкія части криводушнаго все время, пока онъ жилъ жизнью, совершенно отличною отъ жизни правдиваго, и совершили эту операцію какъ разъ въ ту минуту, когда онъ пошелъ по стопамъ правдиваго, залѣзъ на дубъ и проч.?

Казалось бы, записанное мною подозрѣніе о несовмѣстимости правды и труда праведнаго съ подслушиваніемъ бѣсовскихъ разговоровъ и вопросъ — почему черти не рвали

криводушнаго прежде, а дождались, пока онъ повторилъ дѣяніе правдиваго?—это подозрѣніе и этотъ вопросъ, казалось бы, совершенно естественны, резонны и даже представляютъ образецъ критической тонкости. А между тѣмъ, какъ они пошли! какъ они далеко отъ цѣли попадаютъ! Я ихъ только для того и записалъ, чтобы видѣть, какъ возможны вполнѣ благовидныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ нелѣпыя заключенія о морали русскихъ народныхъ сказокъ. Однако, не менѣе пошло и нелѣпо утверждать, что въ сказкѣ о правдѣ и кривдѣ торжествуетъ *простота-правда*, торжествуетъ не умомъ *лукавымъ*, что въ этой сказкѣ выразилось убѣжденіе народа, что правда сильна сама по себѣ. Совершенно напротивъ. Для торжества правды понадобилось несправедливое подслушиваніе и сверхъестественная помощь чертей, а пока правда стояла одна, такъ сказать, голая, она была безсильна, ей ничто не удавалось, ей за кусокъ хлѣба глаза выкалывали. Объ критики, и мною, примѣрно, сочиненная, и «Гражданиномъ», въ дѣйствительности представленная, никуда не годятся, потому что обѣ онѣ чисто формальныя и ищутъ голой морали. Критикъ долженъ, прежде всего, взять во вниманіе естественную наивность сказки и подступать къ ней съ тѣми требованіями, которыя она можетъ выдерживать. Это не будетъ снисходительнымъ ретированіемъ народной сказки свисока, потому что требованія, которыя можетъ выдержать народная сказка, громадны, такъ громадны, что не всякій критикъ ихъ и поставить можетъ. Она не можетъ выдерживать только нѣкоторыхъ формально-логическихъ и формально-моралистическихъ требованій, по самымъ свойствамъ своей задачи. Сказка о кривдѣ и правдѣ превосходна и, какъ всѣ лучшія сказки, она не даетъ никакого поученія. Она, съ глубоко-трогательною наивною, выражаетъ одно, что народъ *хочетъ*, страстно хочетъ жить правдой, трудомъ праведнымъ. По крайней мѣрѣ, таковъ его сказочный идеалъ. Идеалъ этотъ особенно сильно выразился въ превосходной сказкѣ о правдѣ и кривдѣ, но его можно усмотрѣть въ большинствѣ сказокъ. Его нѣтъ и слѣдовъ только въ шуткахъ, небывальщинахъ, да въ нѣкоторыхъ *плохихъ* сказкахъ, и это замѣчательно, что его нѣтъ въ *плохихъ*. Но вмѣстѣ съ тѣмъ народъ *хочетъ жить*. Онъ не аскетъ. Онъ не понимаетъ правды, вознагражденной туманностями и отрицательными величинами буддизма, не понимаетъ и правды стойковъ, находящей удовлетвореніе въ самой себѣ. Онъ, напримѣръ, влагаетъ въ уста «правдиваго» нѣкоторое, очень впрямую слабое, презрѣніе къ земнымъ благамъ, но не забываетъ наградить его въ концѣ сказки

благами, вполнѣ осязательными. Совершенно какъ въ «Морозкѣ» падчерипу, которая на первый взглядъ тоже не отъ міра сего. Вотъ, по моему, два базиса народной русской сказки; желаніе жить правдой и желаніе жить (а не прозябать). Сочетаніями этихъ двухъ желаній исчерпывается все разнообразіе положеній, лицъ, мотивовъ, темъ сказки. Сочетаніями этими управляетъ, однако, одинъ законъ (смѣло пишу *законъ*; законъ сочетанія элементовъ народной сказки столь же простъ, ясенъ и постояненъ, столь же законъ, какъ и законы движенія или химическихъ соединеній). Никогда, ни даже въ минуты самой причудливой игры фантазій, народъ не спускаетъ своего идеала цѣликомъ на землю, въ дѣйствительность, какъ она есть. Прямого, непосредственнаго соединенія обоихъ своихъ основныхъ элементовъ, одновременнаго удовлетворенія желанія жить правдой и желанія жить—сказка не знаетъ. Это была бы послѣдняя степень лжи и несообразности, какая только возможна въ сказкѣ, вѣрнѣе сказать, степень, по строю русской сказки, положительно невозможная. А между тѣмъ тотъ же строй сказки требуетъ сочетанія желанія жить правдой и желанія жить. И вотъ, во избѣжаніе горчайшей лжи и несообразности, сказка мечется изъ угла въ уголъ въ области второстепенныхъ несообразностей: то чертей на помощь позоветъ, то кладъ для всего героя выроетъ, то ему на голову шапку-невидимку надѣнетъ, то, наконецъ, сама себя надувая, заставитъ его слухавить, обокрасть кого-нибудь. И это-то метаніе изъ угла въ уголъ составляетъ всю прелесть сказки, всю ея красоту, наивную, трогательную и даже трагичную. Взять хоть бы ту же сказку о правдѣ и кривдѣ. Сказка заставляетъ правдиваго терпѣть, живя трудомъ праведнымъ, вселескія невзгоды, бѣдствовать, подаянія просить, ослѣпнуть. При этомъ сказка оказывается правдивѣе своего правдиваго героя, она не даетъ ему разжиться трудомъ праведнымъ, и не мѣшаетъ криводушному благодушествовать, не смотря на несправедливость его труда. Сказка и не измѣняетъ своей основной правдивости, но, наконецъ, ея силъ не хватаетъ, она видитъ полнѣйшую невозможность дотянуть этимъ путемъ до конца, предписаннаго ей народомъ и обязательнаго для нея самой, по закону ея развитія. И она круто поворачиваетъ въ сторону, къ дубу, подъ которымъ помѣщается бѣсовскій клубъ.

Народная русская сказка полна противорѣчій, потому что она слишкомъ честна, трезва и серьезна, чтобы припомаживать вихри дѣйствительности. Составляя продуктъ не личнаго, а коллективнаго творчества, она не можетъ уклоняться отъ своего закона въ

сторону личныхъ сомнѣній, личныхъ вѣрованій. Безконечно разнообразная по формѣ, она всегда одна и та же по своему основному складу.

Чтобы исполнить достоинство народной русской сказки, надо поставить съ ней рядомъ какую-нибудь поддѣлку, какую-нибудь сказку, специально написанную для народа. Наивныхъ людей, воображающихъ, что это задача очень простая, что образованному человѣку стоитъ только взять листъ бумаги и перо для созданія якобы народной сказки, — такихъ людей развелось нынѣ немало. Они обыкновенно преисполнены самыхъ благихъ намѣреній и влагаютъ въ сказку болѣе или менѣе высокое поученіе, но въ своемъ высокомеріи они и не подозреваютъ, что играютъ чисто шутовскую роль; что то же самое болѣе или менѣе высокое поученіе, которое они облекли въ сказочную форму, но изгнавъ «духъ живъ» сказки, произведетъ на народъ гораздо большее впечатлѣніе, будучи изложено въ формѣ афоризма, простого разсказа, простой статьи, приносившей, конечно, къ степени знаній народа, однимъ словомъ, въ какой бы то ни было формѣ, но только не въ формѣ сказки. Слишкомъ близка эта форма народу, слишкомъ онъ въ ней знакомъ, чтобы не замѣтить фальши поддѣлки.

Вотъ, наприимѣръ, сказка г. Ив. Малиревскаго «Осьминогъ Вакула». (Впрочемъ, г. Малиревскій имѣлъ осторожность назвать свое произведеніе «повѣстью»). Гдѣ-то на берегу большой рѣки стоитъ село, прозванное за богатство «Золотое дно». «Хаты въ немъ большія, свѣтлыя стоятъ и въ хозяйствѣ полными чашами глядятъ. Тамъ, не зная горя, богатѣль народъ». Но вотъ поселились въ селѣ два кабатчика, жидъ Шней (замѣчательно, что этотъ жидъ не играетъ въ сказкѣ рѣшительно никакой роли и введенъ совершенно неизвестно для чего) и Вакула. Последняго авторъ предлагаетъ назвать осьминогомъ по его моральному сходству съ каракатицей, которая тутъ же съ грѣхомъ пополамъ и описывается. «Какъ засѣлъ Вакула въ Золотое дно, оскудѣло скоро славное село. До ста душъ въ могилы на покой снесли. Тамъ неурожай, засухи пошли; разные болѣзни въ хатахъ развелись. Въ лапахъ осьминога мужики спились. Ребятишекъ малыхъ приучалъ къ вину, чтобъ росли на радость, на барышъ ему». Затѣмъ разсказывается, что, за неимѣніемъ дѣтей, Вакула принялъ къ себѣ сироту Васю, котораго очень любить, но это опять лицо совсѣмъ ненужное и появляющееся въ сказкѣ только за тѣмъ, чтобы появиться и исчезнуть. Затѣмъ идетъ описаніе весны, причемъ «грудь земли согрѣлась; озимъ поднялась; какъ къ вѣнцу

невѣста, нива убралась; отъ полей зеленыхъ, съ бархатныхъ луговъ, закурился къ небу еиміамъ цвѣтовъ» и проч. «Осьминогъ не дремлетъ, мужиковъ зоветъ, думаетъ: на корнѣ хлѣба заберетъ. Вотъ и Вознесенья праздничекъ насталъ, съ нимъ денекъ веселый міру Богъ послалъ. Мужики гуляютъ: хлѣбу сбыть нашли. И въ кабакъ къ Вакулѣ весело пошли». Совсѣмъ было ужъ мужики съ Вакулой порѣшили, но этому дѣлу помѣшала старуха Зоя, по прозвищу «Судиха», и ея внучка, семилѣтняя Катя. Зоя прозвана Судихой за свой разумъ и любовь къ правдѣ; Вакулы она терпѣть не могла и не разъ разгоняла народъ, силою своего краснорѣчія, изъ кабака. Что касается Кати, то это весьма удивительная дѣвочка. Она, «какъ серна дикая, межъ дѣтьми росла. Цѣлый день, бывало, при людяхъ молчитъ, а забравшись въ уголъ, шепчетъ, говоритъ съ камушкомъ, цвѣточкомъ, съ листикомъ, водою... Говоритъ и шепчетъ, какъ сама съ собой. Разъ ее спросили: съ кѣмъ ты говоришь? Отчего ты съ нами цѣлый день молчишь? И малютка, пальчикъ приложивъ къ губамъ (это съ картины Неффа?), погрозила тихо и сказала намъ: «есть у насъ, младенцевъ (семилѣтняя крестьянская дѣвочка не младенецъ, а *малышка*), ангелъ-херувимъ (бабушка сказала), я играю съ нимъ. Онъ всегда со мною утро, ночь и день; выйду-ль въ лѣсъ, или въ поле, онъ со мной, какъ тѣнь»...

Нѣтъ, не могу больше! Силъ нѣтъ записывать этотъ конфетный билетикъ. Но на немъ написано: «изданіе барона Косинскаго», къ нему приложено объявленіе о подпискѣ на единственную земскую газету въ Россіи «Еженедѣльникъ», къ нему приложено объявленіе объ изданіи (тѣмъ же барономъ Косинскимъ) народныхъ чтеній! Такая авторитетная обстановка заставляетъ меня, по крайней мѣрѣ хотъ своими словами, хотъ черезъ два въ третій, записать содержаніе этого безобразія. Зоя Судиха рѣшаетъ спасти мужиковъ отъ ихъ собственной глупости и лапъ осьминога. Она сама отправляется въ кабакъ уговаривать мужиковъ, а Катю посылаетъ — куда-то должно быть очень далеко, хотъ сначала было сказано, что Вакула, мужики, Зоя, Катя живутъ въ одномъ и томъ же селѣ — звать бабъ туда же, т.-е. къ Вакулину кабаку. Катя скачетъ верхомъ, сопровождаемая своимъ «ангеломъ-херувимомъ», что изображено и на виньеткѣ книжки. (Катя изображена на виньеткѣ верхомъ — по дамски, на хорошенькой лошадекѣ; сама дѣвочка въ нѣмецкомъ платьѣ и съ вѣнчкомъ изъ цвѣточковъ на головкѣ). Прискакавъ верхомъ къ бабамъ, Катя извѣщаетъ ихъ о случившемся, т.-е. о намѣреніи мужиковъ продать Вакулѣ не то хлѣбъ, не то зем-

лю (въ точности неизвѣстно). Катя тутъ же умираетъ мгновенно, но весьма поэтическою смертью, а противъ мужиковъ поднимаются сначала бабы, которыя какимъ-то чудомъ превращаются потомъ въ какой-то «сходъ мірской», онъ же «сходъ народный», онъ же «судъ мірской». Являются опять разные вводныя лица—Архипычъ, Силычъ; все кончается благополучно, бабакъ закрывается, открывается школа (а въ школѣ, конечно, читаютъ «Осьминога-Вакулу»), добродѣтель торжествуетъ, порокъ наказывается. Заключение: «просвѣтися знаньемъ русскій нашъ народъ: благодать великая на тебя сойдетъ, солнцемъ лучезарнымъ умъ твой просвѣтитъ, на землѣ и на морѣ славою подарить. Только тотъ великій кладъ земля хранить, пока умъ народный свѣтъ не озаритъ. Есть на Волгѣ-матушкѣ славное село... Да! вся Русь богатая—золотое дно».

Нѣтъ, это даже не поддѣлка, это—Богъ знаетъ что, нѣтъ имени этому произведенію. Для кого оно написано? Для народа вообще или для крестьянскихъ дѣтей въ особенности? Во всякомъ случаѣ оно въ народѣ ничего, кромѣ смѣха, возбудить не можетъ. Я уже не говорю о разныхъ «сернахъ дикихъ» и «еиміамахъ цвѣтовъ», о множествѣ несообразностей въ изображеніи мужицкой жизни; самая подкладка труда г. Маляревскаго нигде не годится. Народъ чувствуетъ основную правду своей сказки, несмотря на ея частныя неправдоподобности. «Повѣсть» же г. Маляревскаго, даже будь она правдоподобна въ подробностяхъ,—а она совершенно неправдоподобна,—грѣшитъ ложью въ самомъ своемъ корнѣ. «Золотое дно» г. Маляревскаго есть та именно ложь, которую самъ народъ въ своихъ произведеніяхъ никогда не допускаетъ и которую онъ слѣдовательно осмѣетъ или обругаетъ, гдѣ бы ее ни встрѣтилъ. Сопоставленіе произведенія г. Маляревскаго съ народными сказками напоминаетъ мнѣ слѣдующую, слышанную мною въ дѣтствѣ, побасенку. Пришли нѣмецъ съ русскимъ на постоянный дворъ, попросили ѣсть, но имъ объяснили, что ничего нѣтъ, кромѣ куска пирога, небольшого, такъ что на двоихъ не хватитъ. Путники рѣшили бросить жеребій, совсѣмъ особенный: именно съѣденіе пирога было отложено до другого дня и право на него предоставлялось тому, кто лучший сонъ увидитъ. Легли спать. Русскій заснулъ сейчасъ же, а нѣмецъ долго ворочался, сонъ хороший придумывалъ. На другой день нѣмецъ рассказываетъ, будто онъ видѣлъ во снѣ, что его подхватили ангелы и понесли на золотыхъ крыльяхъ къ высокому лазурному небу, гдѣ прекрасныя птички поютъ хвалу Богу, и проч. Нѣмецъ былъ увѣренъ, что лучше этого сна быть не можетъ, однако,

по сужденію третьяго лица, долженъ былъ уступить и пальму первенства, и кусокъ пирога русскому. Тотъ видѣлъ сонъ гораздо болѣе грубый, однако, въ своемъ родѣ очень недурной, и притомъ совершенно естественный: онъ видѣлъ, будто ѣсть спорный пирогъ. Народная сказка и есть этотъ не придуманный и естественный сонъ. Произведеніе же г. Маляревскаго есть вычурный и нескладный сонъ нѣмца, всю ночь проворочавшагося въ приготовленіи къ состязанію и все-таки проигравшаго.

Говорить объ «Осьминогѣ-Вакулѣ», пожалуй, и не стоило бы, если бы онъ не исходилъ изъ кружка пользующихся нѣкоторою извѣстностью и влияніемъ педагогическихъ и земскихъ дѣятелей. При томъ же «Осьминогъ-Вакула» вызываетъ на размышленія. Напримѣръ, весьма любопытно догадаться, что дало г. Маляревскому, какъ и многимъ другимъ, смѣлость писать для народа вообще и въ избранной имъ формѣ въ особенности. «Осьминогъ» и по приемамъ, и по темѣ очень напоминаетъ старинныя произведенія дѣтской литературы въ родѣ «Степки-растрепки» или другого разсказа (не помню его заглавія), въ которомъ изображается параллельно судьба двухъ мальчиковъ — кушавшаго и не кушавшаго супъ. Къ разсказу были приложены картинки, по которымъ было наглядно видно, какъ мальчикъ, кушавшій супъ, благоденствовалъ, а мальчикъ, не кушавшій супа, постепенно уменьшался въ объемѣ и превращался, наконецъ, въ какую-то нитеку; на послѣдней картинкѣ мальчикъ, увы! лежалъ уже въ гробу. Г. Маляревскій, очевидно, смотритъ на народъ совершенно такъ же, какъ авторы «Степокъ-растрепокъ» и т. п. смотрѣли на ребятъ. Тѣ говорили, указывая на нитеобразнаго мальчика, лежащаго въ гробу: видишь, душенька, что значить не кушать супа, а вотъ этотъ мальчикъ кушалъ супъ и видишь... Г. Маляревскій говоритъ народу: видишь, какая разница между пьянствомъ и ученьемъ: одно ведетъ къ бѣдности, другое къ богатству. Каково было «Золотое дно» прежде и каково оно стало потомъ... Но ребятамъ, получаемымъ авторами «Степокъ-растрепокъ», безъ сомнѣнія случалось встрѣчать весьма худощавыхъ людей, кушавшихъ очень много супу, и толстыхъ, но не кушавшихъ его. И народу, поучаемому г. Маляревскимъ, тоже, конечно, случалось видать аналогичныя странности. По моему, впрочемъ, Степки-растрепки были лучше. Они были на проломъ и не отывлекались въ стороны. А у г. Маляревскаго Богъ вѣсть зачѣмъ, точно маріонетки, выскакиваютъ Силычи до Архипычи, Зои да Кати съ херувимами.

Оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ, насколько подобные дидактическіе приемы резонны въ дѣтской литературѣ, не трудно видѣть, что народъ и ребенокъ во всякомъ случаѣ не одно и то же. А между тѣмъ мысль о сходствѣ между ними принадлежитъ къ числу распространенныхъ. Она даже поддерживается нѣкоторыми quasi-научными соображениями нелѣпологовъ, нелѣпономовъ и нелѣпософовъ,—я разумѣю аналогистовъ и органистовъ въ родѣ иностраннаго Блунчи и отечественныхъ гг. Строниныхъ, П. Л. Онгирскихъ и т. п. Не та же ли мысль побудила г. Полевого издать народныя сказки для дѣтей? Не будучи педагогомъ, я не берусь рѣшить, слишкомъ ли много чертей въ сказкахъ, изданныхъ г. Полевымъ. Это для меня даже мало интересно; но я былъ бы очень благодаренъ тому, кто объяснилъ бы мнѣ: какъ дѣти поймутъ сказки въ родѣ «Кривды и правды», «Слѣпцовъ», «Морозки», «Оомы Беренникова»? Прочтутъ ли они ихъ просто какъ сказки, въ томъ неопредѣленномъ и нѣсколько презрительномъ смыслѣ, въ какомъ часто употребляется это слово въ просторѣчьи,—прочтутъ и не зацѣпятся въ нихъ своею маленькой душой ни за какія сомнѣнія и противорѣчія? Или же сказки эти должны что-нибудь говорить дѣтской душѣ, помимо собственно фантастическаго разсказа? Если да, то что именно, какія понятія или какую мораль могутъ они извлечь изъ этихъ сказокъ? Я не имѣю отвѣтовъ на эти важные и любопытные вопросы, и, въ качествѣ профана, рѣшаюсь замѣтить только слѣдующее. Сказки эти слишкомъ много говорятъ уму и сердцу взрослого, чтобы быть вполне пригодными для дѣтей. Я очень люблю дѣтей и высоко цѣню глубокое евангельское изреченіе: блюдите, да не презрите одного отъ малыхъ сихъ; но я рѣшаюсь выразиться такъ: давать дѣтямъ читать по крайней мѣрѣ нѣкоторыя изъ народныхъ сказокъ значитъ метать бисеръ передъ свиньями.

Омъ!

Забылъ!

Отошелъ отъ сказочнаго міра, и все забылъ; ничего не помню, кромѣ того, что добродѣтель торжествуетъ, а пороки наказываются; ничего не слышу, кромѣ шума въ собственныхъ ушахъ; ни на что не смотрю, кромѣ кончика своего носа. Вчерашняго дня совсѣмъ не помню. Ночь спалъ плохо. Должно быть подъ влияніемъ вчерашняго чтенія видѣлъ необыкновенно странный, фантастическій сонъ. Будто я, соблазненный примѣрами австрійской полярной экспедиціи и нашего соотечественника Миклухи-Маклая, затѣялъ длинное путешествіе. Ъду. Фокъ-

мачты, марсы, брамъ-стенги трещать, дуетъ сильный NNO, словомъ совсѣмъ, какъ у Гончарова. Наконецъ, нашъ фрегатъ погибаетъ, а меня волны выбрасываютъ на Зелены островъ, однако не на тотъ, который дается въ Александринскомъ театрѣ и въ Буффѣ. Зелени на Зеленомъ островѣ естественно очень много, растетъ и древо жизни, и древо познанія добра и зла, но больше тринъ-трава растетъ. Жители имѣютъ видъ чрезвычайно бодрый. Они очень выносливы и всегда безпечальны. Я скоро убѣдился, что это отъ тринъ-травы. Жители питаются и ростбифомъ, и рыбой, и дичью, и хлѣбомъ, и лебедей, но главнымъ образомъ тринъ-травой. Во снѣ мало ли какихъ несообразностей насмотрѣшься, но я и во снѣ подивился, какая страшная масса тринъ-травы пожирается жителями Зеленаго острова. Островъ этотъ обширный, прорѣзанный многими судоходными рѣками и желѣзными дорогами, а потому естественно, что въ какомъ-нибудь углу его ежеминутно происходятъ какія-нибудь крупныя и мелкія бѣдствія. Есть, напримѣръ, на Зеленомъ островѣ такія фабрики, въ которыхъ ежегодно паровики ломаются и убиваютъ до восьми человѣкъ сразу. Придетъ техникъ разузнать о причинахъ несчастія, придетъ и закусить тринъ-травой, владылецъ фабрики тоже, рабочіе тоже (кромѣ убитыхъ, тѣмъ тринъ-травы не даютъ, а то и они продолжали бы сохранять бодрость и выносливость) и опять все идетъ какъ по маслу до слѣдующаго года. Есть на Зеленомъ островѣ такія кассы, которыя ежегодно обкрадываются кассирами, но, закусивъ тринъ-травой, обокраденные и обокравшіе лобызаются. Вообще жителей Зеленаго острова можно обворовывать, бить, бить и рукой и камнемъ, и палкой и мечомъ. Зато ихъ можно также безпрепятственно публично обозвать ворами, и ни одинъ мускулъ не дрогнетъ на ихъ заплывшемъ отъ употребленія тринъ-травы лицѣ. Взятки у нихъ даются не въ сжатомъ кулакѣ, не при закрытыхъ дверяхъ и не въ запечатанномъ пакетѣ. Но особенно поразилъ меня ихъ обычай при всякомъ, выходящемъ изъ ряду вонъ происшествіи, раздѣваться и ходить совершенно нагими. Собираются ли они строить желѣзную дорогу, они прежде всего раздѣваются и въ такомъ именно видѣ и рѣчи говорятъ, и взятки берутъ. По окончаніи же постройки они сейчасъ, Господи благослови, въ трактиръ и тамъ, въ томъ же голомъ видѣ, произносятъ спичи и провозглашаютъ тосты въ честь тоже голыхъ строителей. Случится ли съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ несчастіе, они опять-таки немедленно раздѣваются и въ этомъ раздѣтомъ видѣ съ удивительнымъ безстыдствомъ трактуютъ о

событіи. Я подивился этому и напомнилъ жителямъ Зеленаго острова, что вѣдь еще Адамъ, когда онъ узналъ, что онъ раздѣлъ, сконфузился. Они мнѣ отвѣтили, что это было, во-первыхъ, 6—7,000 лѣтъ тому назадъ, а прогрессъ идетъ, не останавливаясь; и что, во-вторыхъ, одно дѣло древо познанія добра и зла и другое дѣло тринь-трава...

Удивительно нелѣпый сонъ. И хоть онъ представлялся мнѣ съ поразительною ясною, но я ни на минуту не забылъ, что это сонъ. Въ дѣйствительности ничего подобнаго не можетъ быть, дѣйствительность не можетъ выдержать такой глубины безстыдства.

III.

Совѣты начинающимъ забывать *).

ЧАСТЬ I.

Vadetesit современного оратора.

ВВЕДЕНІЕ.

Молодой человѣкъ! Забывъ многое, ты теперь окончательно рѣшилъ сдѣлаться полноправнымъ гражданиномъ обширнаго царства забытья и забвенія. Привѣтствую тебя. Да хранить тебя боги богатства, торговли, желѣзныхъ дорогъ, почты, телеграфовъ, биржевыхъ операций, плутократіи и воровства—Меркурій и Плутонъ! Принеси достойную жертву этимъ безсмертнымъ: удави на алтарѣ ихъ свою совѣсть. Но не брезгай и смертными. Прими нѣсколько добрыхъ напутственныхъ совѣтовъ отъ Ивана Непомнящаго.

Я вижу, какъ ты насмѣшливо и самоуверенно улыбаешься. Ты, неофитъ и энтузіастъ, полный смѣлыхъ порывовъ, жажды дѣятельности и молодого задора, думаешь: чего хочетъ этотъ старый рутинеръ? Разъ принесена достаточная жертва Меркурію и Плутону, какія еще тамъ совѣты, какія правила нужны на гладкомъ пути забытья и забвенія?!—Очень многіе, молодой человѣкъ, очень многіе. Путь забытья и забвенія дѣйствительно гладокъ, но потому самому и скользокъ. Я съ восторгомъ смотрю на пламя энтузіазма, блещущее въ твоихъ безстыжихъ глазахъ; я увѣренъ, что въ пустой головѣ твоей бродятъ гениальные планы и что ты не посрамишь земли забытья и забвенія, или, что тоже, посрамишь отца своего и мать, родину и самое слово: человѣкъ. Но въ то же время я съ болью въ сердцѣ восклицаю: *si jeunesse savait!* Весь опытъ моей долгой и бурной жизни побуждаетъ меня къ этому восклицанію. И я былъ, подобно тебѣ, полный пылкаго молодого энтузіазма, и я не

хотѣлъ знать никакихъ правилъ и совѣтовъ, и я звалъ ихъ рутинною. Я дорого поплатился за свое увлеченіе. Надо тебѣ сказать, что желаніе забыть было во мнѣ всегда очень сильно, ибо я всегда любилъ свободу, а ничто не стѣсняетъ въ такой мѣрѣ свободы движеній, какъ переполненная память. Ты, конечно, самъ замѣтилъ, какъ нерѣшительны всѣ поступки людей съ обремененною памятью. При видѣ порхающаго жаренаго рябчика, на примѣръ, они не подставляютъ рта, какъ это совершенно инстинктивно дѣлаютъ люди забывшіе, а не шевеля даже пальцемъ, пережевываютъ какую-то странную идею о принадлежности жаренаго рябчика тому, кто его сжарилъ. Клянусь Меркуріемъ, эта пища была всегда не по мнѣ, даже въ тѣ минуты, когда я пережевывалъ ее за компанію съ другими, изъ которыхъ одни и до сихъ поръ остаются при ней, а другіе составили впоследствии украшеніе царства забытья и забвенія. Благодаря искреннему и сильному желанію забыть, мнѣ удалось довольно скоро отдѣлаться отъ всѣхъ идеаловъ моей ранней юности, той глупой юности, которая претъ противъ рожна и кипитъ нелѣпымъ негодованіемъ, когда ее кротко спрашиваютъ: какого тебѣ еще рожна нужно? Не я первый, не я послѣдній. Но довольно все-таки любопытенъ тотъ особый путь, которымъ я прослѣдовалъ къ источнику забытья и забвенія. Я задалъ себѣ вопросъ: что такое рожонъ? Не только тотъ рожонъ, противъ котораго я за компанію прю, но рожонъ вообще? Въ тѣ времена въ программу глупой юности входили натурализмъ, дарвинизмъ, позитивизмъ и уже не помню еще что. Непроницательные люди были очень недовольны этими измами, полагая, что они именно наполняютъ память юношей различными ферментами, производящими броженіе пранія противу рожна. Непроницательные люди упустили изъ виду ту сторону этого зерна, изъ которой, при помощи соотвѣтственнаго удобренія, орошенія и ухода, можно бы было взростить цѣлый лѣсъ тринь-травы. Я, по крайней мѣрѣ, при помощи этихъ измовъ, разрѣшилъ поставленный мною вопросъ такъ. Рожонъ есть естественное явленіе, обусловленное извѣстными историческими причинами. Можно ли же послѣ этого прать противъ рожна? Отвѣтъ ясенъ: нельзя. Понятное дѣло, что, разрѣшивъ вопросъ о рожнѣ такимъ образомъ, я уже не могъ смотрѣть на рожонъ какъ на нѣчто ненавистное: я примирился съ нимъ, я оправдалъ его, я поклонился ему. Часть рожна, противъ котораго я пралъ за компанію, мы называли ложью, обманомъ. Я и до сихъ поръ восклицаю: безъ обману! Но что такое обманъ? Не обманъ-ли, не ложь-ли, что я, такой-то, Иванъ Непомня-

*) 1874 г., ноябрь.

щій (тогда я, впрочемъ, имѣлъ имя, отчество и фамилію), лишенный свободной воли продуктъ естественной комбинаціи стихійныхъ силъ, что я могу измѣнить эту естественную комбинацію? Обманъ! Ложь! Далѣе я пралъ за компанію противъ рожна во имя идеаловъ. Но что такое идеалъ? Нѣчто не существующее, обманъ. Возьмемъ, наприкладъ, идеалъ женщины. Существуютъ Катеньки, Одинцовы и Кукшины; существуютъ матери Митрофаніи и Селафіилы; существуютъ Луизы и Альфонсины, но существуетъ ли идеалъ женщины? Точно также и всѣ другіе идеалы. Идеальная общественная жизнь, идеалы честности, самоотверженія и проч.,— все это обманъ, фантасма, иллюзіи, даже галлюцинаціи. Надо съ ними покончить, какъ покончила прогрессивная часть человечества со всякими другими теософическими и метафизическими галлюцинаціями. Въ другой разъ я подробно изложу, какъ путемъ этого рода умозаключеній я, постепенно выбрасывая за бортъ балластъ идеализма, благополучно выплылъ въ житейское море и, наконецъ, направилъ свой облегченный корабль въ тихую пристань забытій и забвенія. На этотъ разъ тебѣ достаточно знать, что я вступилъ въ царство забытій и забвенія именно этимъ путемъ. Другимъ выпали на долю другіе пути, но это все равно, ибо всѣ дороги ведутъ въ Римъ.

Освободивъ свою память отъ идеаловъ глупой юности, я вздохнулъ свободно. А разъ очутившись на гладкомъ пути забытій и забвенія, я прогрессировалъ уже весьма быстро. Скоро я вполне основательно забылъ смыслъ словъ: честь, совѣсть и т. п... А затѣмъ... затѣмъ мнѣ стало море по коѣтѣна. Я клеветалъ; грабилъ; нанимался въ говорушники на собраніяхъ, до предмета сужденій которыхъ мнѣ не было никакого дѣла; нанимался и въ другія, аналогичныя, болѣе или менѣе позорныя должности; вообще продавался на самыя разнообразныя манеры; самъ имѣя рыло въ пуху, громилъ себя подобныхъ; бралъ и давалъ взятки; поддѣлывалъ векселя; служилъ мушаромъ у Наполеона III; утопалъ въ чудовищномъ развратѣ; продавалъ самыхъ близкихъ мнѣ людей; пускалъ по міру цѣлыя деревни; говорилъ и писалъ о растлѣнности второй имперіи, очень хорошо понимая, что она, въ сравненіи со мною, мальчишка и щенокъ. Все это я продавливалъ съ тою рьяностью, которая одушевляетъ въ настоящее время тебя. Но, молодой человекъ, далеко не изо всѣхъ этихъ исторіетокъ выходилъ я *sain et sauf*! Увы! я знаю, что значить скамья подсудимыхъ... Ты опять насмѣшливо и самоуверенно улыбаешься. Ты думаешь: скамья подсудимыхъ! Пхе!—И я тоже говорилъ: пхе! и даже до сихъ поръ

остаюсь при этомъ междометіи. Не о позорѣ я тебѣ говорю: его не существуетъ въ царствѣ забытій и забвенія, и съ этой стороны ты совершенно правъ въ своемъ презрѣніи къ совѣтамъ и правиламъ и въ своей увѣренности, что достойная жертва Меркурію и Плутону замѣняетъ все. Но есть и другая сторона у медали за забвеніе. Частое появленіе на скамьяхъ подсудимыхъ подрываетъ кредитъ, слѣдовательно, суживаетъ поле дѣятельности, слѣдовательно мѣшаетъ удовлетворенію аппетита. А между тѣмъ этого священнаго голоса природы, т. е. аппетита, нельзя забыть даже въ той области вещей безъ названія, куда ты вступаешь. Ты видишь, значитъ, что нѣкоторые совѣты и правила тебѣ нужны, хотя бы во избѣжаніе голада. Но этимъ не исчерпывается необходимость предлагаемыхъ мною тебѣ совѣтовъ и правилъ. Когда я служилъ мушаромъ у Наполеона III, какой-то сорванецъ съ дюжими кулаками жестоко отколотилъ меня по поводу моей профессіи. Мнѣ не было стыдно, когда этотъ наглецъ обращался со мной какъ поваръ съ котлеткой, а толпа зѣвакъ, глядя на насъ, хохотала и подзадоривала, но... но мнѣ было больно! И вотъ тебѣ, молодой человекъ, другой, по-истинѣ осязательный примѣръ опасностей твоего молодого энтузіазма, отвергающаго всякіе совѣты и правила.

Я могъ бы рассказать тебѣ еще нѣкоторые поучительные эпизоды изъ исторіи моей жизни. Но самыя пикантныя изъ нихъ не могутъ быть обнародованы, ибо я подлежалъ бы за нихъ судебному преслѣдованію. Впрочемъ, едва ли и нужно на этотъ счетъ распространяться. Я увѣренъ, что ты уже убѣжденъ. Мои аргументы не суть какія либо отвѣченные доказательства, отпугивающія отъ неудобопонятныхъ и забытыхъ нами словъ и понятій. Голодъ физическая боль,—вотъ что я противопоставляю твоему горячему, но не благоразумному энтузіазму. Прими же, мой юный другъ, совѣты опытнаго старца, составившаго предлагаемое руководство единственно изъ любви къ тебѣ и тебѣ подобнымъ и ради торжества нашего дѣла, *ad maiorem dei (Mercurii) gloriam*. Предупреждаю, руководство это будетъ обширное и совѣты на счетъ предпріятій, болѣе или менѣе рискованныхъ въ родѣ фальсификаціи документовъ или служенія мушаромъ у Наполеона III, ты найдешь только въ концѣ его. Потерпи. Сначала займемся операціями болѣе элементарными и прочными, но тѣмъ не менѣе требующими выдержки и школы.

Богатъ ли ты? Нѣтъ, не богатъ. Оставимъ политико-экономамъ препираться о томъ, что такое богатство и какіе суще-

ствуют виды его. Для насъ должно быть ясно только то, что богатство есть понятие относительное. Богатъ, собственно говоря, тотъ, кто не желаетъ большаго, а такъ какъ подобные люди не существуютъ, то не существуютъ и богатые люди. Следовательно, ты не богатъ. Это столь же очевидно, какъ известный силлогизмъ: всѣ люди смертны, Иванъ человѣкъ, слѣдовательно онъ смертенъ. Итакъ, ты не богатъ. Значитъ, вступая въ царство забытья и забвенія, ты долженъ заботиться о своемъ пропитаніи, или, что тоже, быть общественнымъ дѣятелемъ. Но дѣйствовать на общество можно трояко: мечомъ, перомъ и языкомъ. Какой изъ этихъ инструментовъ ты выберешь?

Мечомъ, при послѣдовательномъ проведеніи принциповъ забытья и забвенія, можно зарабатывать весьма недурное пропитаніе. Доказательствомъ могутъ служить судьбы политики «железа и крови». Знаменитый кирасиръ князь Бисмаркъ забылъ. Оттого-то, между прочимъ, Иванъ Либеральный съ восхищеніемъ, а Иванъ Камердинеровъ съ огорченіемъ восклицаютъ: князь Бисмаркъ сталъ либераломъ! онъ преслѣдуетъ ультрамонтанство! Но мы съ тобой очень хорошо знаемъ, что знаменитый кирасиръ есть знаменитый кирасиръ и что весь секретъ состоитъ въ томъ, что онъ до такой степени забылъ, что рѣшительно ничего не помнитъ. Поэтому мы съ тобой нисколько не удивились, когда знаменитый кирасиръ, въ самый разгаръ своего либерализма, устремился схватить за шиворотъ Данію и усадилъ въ тюрьму Арнима. Доколѣ, однако, будутъ существовать люди, приписывающіе кирасиру какіе-либо принципы, отличные отъ принциповъ забытья и забвенія, дотолѣ онъ будетъ имѣть кредитъ и, слѣдовательно, исправно получать свое пропитаніе. Но несмотря на соблазнительность этого примѣра, я бы не посоветовалъ тебѣ имъ увлекаться. Знаменитый кирасиръ представляетъ исключеніе (какихъ, впрочемъ, въ исторіи человѣчества не мало). Меченосцы большею частью не могутъ забыть дисциплины, преданности, кавалерійскихъ сигналовъ и нѣкоторыхъ другихъ вещей, и это, повидимому, находится въ тѣсной связи со свойствами самого инструмента ихъ общественной дѣятельности. Поэтому громадное большинство ихъ получаетъ лишь пенсію за двадцатипяти-лѣтнюю безпорочную службу. Въ прежнее время, конечно, служба въ интendantствѣ или командованіе отдѣльною частью были болѣе или менѣе заманчивы для человѣка способнаго и забывшаго, но нынѣ... Ты говоришь: пхе! Именно. Что же касается до красивой формы, уловляющей сердца купеческихъ дочерей и вдовъ, то такая мелочь, о которой говорить рѣши-

тельно не стоитъ,—особливо въ виду всеобщей воинской повинности. Когда купеческіе сыны и племянники облекутся въ гусарскіе, уланскіе, драгунскіе и проч. мундиры, драмы изъ купеческаго быта существенно измѣняютъ свой характеръ, и кровь купцовъ будетъ уже въ гораздо болѣе рѣдкихъ случаяхъ мѣшаться съ кровью меченосцевъ прежняго образца.

Останется перо и языкъ. Возьмемъ сначала перо. Само собою разумѣется, что писать «о Байронѣ и о матеряхъ важныхъ» ты не станешь,—эти предметы находятся по ту сторону царства забытья и забвенія. Поистинѣ жалки люди, предающіеся этому безплодному и далеко не благонамѣренному занятію. Это—«проклятая раса», паринъ, замулененные, съ коими даже не совсѣмъ ловко, въ твоемъ положеніи, вести знакомство. Но ты можешь быть соблазненъ тѣмъ употребленіемъ, которое дѣлаетъ изъ пера мой другъ Иванъ Камердинеровъ? Не совѣтую. Иванъ Камердинеровъ, обмывъ перо въ вакуу, чиститъ имъ сапоги князей Хвалынскихъ, Протозановыхъ, Соколы-Уздальскихъ и т. д. Когда же сапоги вычищены, ихъ по естественному ходу вещей надѣваютъ и на слѣдующій день ихъ надо опять чистить, довольствуясь почти исключительно полистной платой. Клянусь Меркуріемъ, это немного, очень немного, даже при хорошей платѣ. Иванъ Камердинеровъ больше изъ чести служить.

О чемъ же писать и какъ? Безъ дальнихъ околичностей скажу тебѣ: если ужъ ты выберешь перо, то пиши о томъ и такъ, о чемъ и какъ пишетъ г. Колупановъ. Изучай этого писателя, ибо недалеко время, когда онъ будетъ объявленъ классическимъ, и хрестоматіи будутъ наполнены исключительно образцами его слога и мыслей. Возьми, на примѣръ, послѣднее его произведеніе, напечатанное въ № 259 «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», — «Вопросъ о сибирской желѣзной дорогѣ». Это цѣлая нить перловъ и алмаантовъ, изъ которыхъ каждый блеститъ за свой собственный счетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ способствуя красотѣ цѣлаго. Поучайся.

«Этотъ великій государственный вопросъ (о сибирской желѣзной дорогѣ) наконецъ, тронулся съ мѣста. Кромѣ важнаго своего государственнаго значенія, настоящій вопросъ замѣчателенъ потому, что ни одно желѣзно-дорожное дѣло не возбуждало въ такой мѣрѣ страстей. Такое явленіе совершенно понятно: для всѣхъ губерній, лежащихъ на пути соединенія Европы съ Азіей, Запада съ Востокомъ въ предѣлахъ Россіи, это вопросъ объ экономической жизни или смерти. Депутаціи смѣнялись одна другою; адре-

сы летѣли отовсюду безъ конца; сторонники Сѣвера и Юга, Кострома, Вятка и Пермь съ одной стороны, Нижній и Казань съ другой,—пересылались желчными укоризнами и, преувеличивая собственное значеніе, старались до послѣдней крайности умалить и низвести противника. Составилась *цѣлая обширная литература* по сибирскому вопросу, гдѣ одна статья опровергаетъ другую, и *вездѣ страницы испещрены цифрами, достоверность которыхъ оспаривается съ противной стороны*. Желаящему ориентироваться въ этой массѣ противорѣчащихъ другъ другу указаній предстоитъ не малый трудъ, и не скоро онъ найдетъ путеводную нить. Единственное къ тому средство—*отрешиться отъ мѣстныхъ стремленій и страстей и стать на точку общаго государственнаго интереса*. Такой Standpunkt необходимъ уже потому, что было бы въ высшей степени неосмотрительно и наивно ожидать разрѣшенія со стороны правительства вопроса о сибирской дорогѣ въ угоду какой-либо мѣстности или сословія. Путь адресовъ и ходатайствъ въ настоящемъ случаѣ самый скользкій и безуспѣшный: *сторонникамъ того и другого направленія необходимо, отбросивъ въ сторону увлеченія мѣстнаго патриотизма, стать на обще-государственную точку зрѣнія и, по мѣрѣ своихъ способности и умѣнья, внести въ этотъ запутанный вопросъ правильное и разумное слово*.

Замѣчаешь? Человѣкъ прямо говорить, что надо забыть. Но что? Надо забыть мелкій мѣстный патриотизмъ. Напримѣръ, самъ г. Колюпановъ, какъ извѣстно, костромичъ, слѣдовательно, «мѣстные стремленія и страсти» должны бы тянуть его сердце въ сторону сѣвернаго направленія; но онъ забываетъ, что онъ костромичъ, хоть дѣло идетъ «объ экономической жизни или смерти всѣхъ губерній, лежащихъ на пути соединенія Европы съ Азіей», а, слѣдовательно, и Костромской губерніи. Запомни этотъ приступъ, хорошенько запомни, молодой человѣкъ, начинающій забывать. Всякую статью о практическомъ дѣлѣ начинай съ заявленія, что ты не такъ, какъ иные прочіе; что ты совершенно даже не помнишь, какіе такіе бываютъ уѣздные, сословные, семейные, а тѣмъ паче личные интересы; что тебя отчасти возмущаютъ, отчасти же смѣшаютъ люди, которые не могутъ забыть эти мелочи. Приступъ этотъ тебя ровно ни къ чему не обязываетъ, ибо, при дальнѣйшемъ изложеніи своихъ мыслей, ты смѣло можешь забыть все, кромѣ этихъ самыхъ, осмѣянныхъ тобою мелкихъ страстей и стремленій. Впрочемъ, насчетъ дальнѣйшаго изложенія своихъ мыслей поучись опять у г. Колюпанова.

«На сколько извѣстно публикѣ,—продол-

жаетъ этотъ неподкупный и прямодушный писатель,—въ правительственныхъ сферахъ при рѣшеніи настоящаго вопроса выясняются слѣдующія три основныя положенія: 1) Сибирская линія, по самому своему значенію, представляется въ видѣ соединенія математическою прямою линіей кратчайшимъ разстояніемъ между Иркутскомъ и оконечностью одной изъ главныхъ линій нашей желѣзнодорожной сѣти. А какъ проведеніе такой прямой на сухомъ пути можетъ встрѣтить неодолимые препятствія, то дорога, уклоняясь для обхода такихъ препятствій, должна стремиться къ постоянному выходу и сближенію съ идеальной прямою». Остальныхъ двухъ «основныхъ положеній» я приводить не стану; они имѣютъ второстепенное значеніе и только затемнять урокъ логики и стилистики, который я хочу тебѣ преподавать.

Итакъ, въ «правительственныхъ сферахъ» рѣшено, что сибирская желѣзная дорога должна представлять по возможности прямую линію. Это несказанно радуется неподкупнаго и прямодушнаго г. Колюпанова. «Такой исходъ, говоритъ онъ:—важенъ потому, что сразу полагаетъ предѣлъ мѣстнымъ увлеченіямъ. Путемъ адресовъ и ходатайствъ нельзя опредѣлить искомую прямую линію,—это есть дѣло безстрастнаго математическаго исчисленія, для котораго Нижній и Казань, Кострома, Вятка и Пермь представляются безразличными точками на земной поверхности». Какова ясность и твердость мысли: путемъ ходатайствъ нельзя опредѣлить прямую линію! И каково, вмѣстѣ съ тѣмъ, безпристрастіе, заколающее всѣ мѣстные интересы на алтарѣ математики: Нижній и Казань, Кострома, Вятка и Пермь—безразличныя точки на земной поверхности! Взабирайся, молодой человѣкъ, на эту едва досягаемую высоту логики и справедливости и оттуда слѣди, слѣди.

Правительственныя сферы опредѣлили быть прямой линіи и тѣмъ положили предѣлъ всѣмъ мѣстнымъ увлеченіямъ! Превосходно. И г. Колюпановъ спокоенъ, и читатель спокоенъ, и государство спокойно. Но «прежде всего, съ какой бы стороны ни началось осуществленіе дороги, необходимо опредѣлить крайнія точки соединенія. Это очевидно: математическая прямая можетъ быть проведена и вычислена только при предварительномъ опредѣленіи обѣихъ конечныхъ точекъ, т.-е. Иркутска со стороны Сибири и пункта примычки къ сѣти желѣзныхъ дорогъ со стороны европейской Россіи. Если же направленіе, идущее изъ одной оконечности, будетъ искать другую оконечность, то линія будетъ не прямая, а ломаная. Такимъ образомъ, исполненіе предполагаемой задачи—отысканіе прямой линіи—предполагаетъ предварительное раз-

шение вопроса о пункте примычки сибирской дороги къ существующей сѣти, т.-е., другими словами, избраніе сѣвернаго или южнаго направленія примычки къ Петербургу-Рыбинску или Москвѣ-Нижнему. Посредствомъ математическаго или графическаго способа этой дилеммы рѣшить нельзя, ибо никакое вычисленіе по картѣ не можетъ указать, куда слѣдуетъ примкнуть—къ Рыбинску, Нижнему или другому какому пункту.—Замѣтьте опять, какая сила и ясность мысли. Понятное дѣло, что какъ путемъ ходатайствъ и адресовъ нельзя начертить прямую линію, такъ вычисленіемъ географическимъ нельзя рѣшить вопросъ объ экономическомъ значеніи желѣзной дороги. Старайся унащать свои статьи подобными неопровержимыми истинами. Объясняй, напримѣръ, что бутылка укусу никоимъ образомъ не можетъ съ достоинствомъ председательствовать въ какомъ бы то ни было собраніи, или что носъ статскаго совѣтника отнюдь не можетъ служить удобнымъ путемъ передвиженія громадскихъ вещей. Подобные афоризмы, выраженные побѣдоносно-насмѣшливымъ образомъ, придаютъ статьѣ характеръ солидности и неопровержимости и опять-таки равно ни къ чему тебя не обязываютъ. Ты видишь: пропустивъ вопросъ сквозь горнило безстрастной математики, мы благополучно возвращаемся къ своей точкѣ отправленія: что же—на сѣверъ или на югъ вести дорогу, на которыхъ изъ «безразличныхъ точекъ земной поверхности?» Теперь оказывается, что точки-то эти, несмотря на безстрастіе математики, не совсѣмъ безразличны, что между ними надо выбирать. Не пустить ли опять въ ходъ адреса и ходатайства? О, нѣтъ! Г. Колюпановъ категорически заявляетъ: «Я не думаю, чтобы кто-нибудь взялъ на себя смѣлость рѣшить—при настоящемъ состояніи нашихъ свѣдѣній о внутренней жизни нашего отечества и неустойчивости едва начавшей развиваться промышленно-торговой дѣятельности—поставленный вопросъ съ должною основательностью. Мнѣ кажется, что въ данную минуту такой крутой дилеммы и ставить нельзя; мнѣ кажется, что нельзя отрицать необходимости и важности для цѣлой Россіи и для Сибири соединенія послѣдней и съ Петербургомъ и съ Москвой. Такимъ образомъ, разрѣшая вопросъ о сибирской дорогѣ графическо-экономическимъ способомъ, приходится провести не одну прямую изъ Иркутска къ произвольной оконечности желѣзно-дорожной сѣти, а двѣ прямыхъ—отъ Иркутска къ Рыбинску и къ Нижнему. Несмотря на кажущуюся парадоксальность подобнаго результата, онъ въ основаніи своемъ глубоко справедливъ». — И чудесно. Надо двѣ дороги. Опять и г. Колюпа-

новъ спокоенъ, и читатель спокоенъ, и отечество спокойно. Но это только на одно мновеніе. Дѣйствительно, нужны двѣ дороги, но откуда же взять такую массу денегъ? Нужны двѣ дороги, но можно строить пока только одну. «Обѣ дороги строить вмѣстѣ не достаетъ средствъ, слѣдственно надо выбрать какую-либо одну. Какую же именно?» Значить, надо взять на себя смѣлость рѣшить тотъ самый вопросъ, который «по недостатку нашихъ свѣдѣній о внутренней жизни нашего отечества» и проч., никто не можетъ рѣшить «съ должною основательностью». Конечно, рѣшимость рѣшить неразрѣшимое равняется рѣшимости объять необъятное. Но на этотъ разъ намъ нѣтъ, по крайней мѣрѣ, надобности рыться въ «обширной литературѣ» по сибирскому вопросу или пересматривать «страницы, испещренные цифрами». Эта литература и эти цифры порождены мелкими, своекорыстными цѣлями, и ужъ, конечно, честное слово безкорыстнаго и прямодушнаго г. Колюпанова должно ихъ перевѣсить. А г. Колюпановъ даетъ это искомое честное слово. Онъ говоритъ, что надо выбирать линію, которая обойдется дешевле. «Какая же это линія? *Линія сѣвернаго направленія между Рыбинскомъ и Иркутскомъ, а не южная, между Нижнимъ и Иркутскомъ.* Мѣстность обоихъ направленій мнѣ нѣсколько извѣстна, и я осмѣлюсь заявить тотъ вполне достовѣрный фактъ, что въ строительномъ отношеніи дорога по направленію отъ Рыбинска къ Сибири обойдется несравненно дешевле дороги отъ Нижняго». Затѣмъ конецъ и Богу слава. Иныхъ доказательствъ не приводится, да они, очевидно, и не нужны.

Видишь, молодой человѣкъ, какой оборотъ! Костромичъ, сѣверянине г. Колюпановъ совершенно отрекся отъ своекорыстныхъ цѣлей и мѣстнаго патріотизма и единственно силою логики и общегосударственной точки зрѣнія пришелъ къ убѣжденію въ необходимости сѣвернаго направленія сибирской желѣзной дороги! А Кострома ему, собственно говоря, наплевать,—безразличная точка на земной поверхности...

Такъ Волга отклоняется на своемъ длинномъ пути и вправо, и влѣво, но въ концѣ концовъ благополучно вливаетъ свои волны туда, куда ей отъ Бога положено,—въ Каспійское море.

Разверни теперь, молодой человѣкъ, шекспировскаго Юлія Цезаря и прочти рѣчь Марка Антонія надъ трупомъ убитаго Цезаря. Антоній попросилъ у убійцъ позволенія почтить трупъ публичною рѣчью. Кассій было не соглашался, ожидая бѣды, но Брутъ настоялъ на томъ, чтобы просьба Антонія была исполнена. Антоній начинаютъ свою рѣчь

Римляне, друзья,
Сограждане, прошу у васъ вниманья.
*Я Цезаря пришелъ похоронить,
А не хвалить.* Дѣла людей дурныя
Переживаютъ ихъ, а все добро,
Что сдѣлали они при жизни, часто
Хоронится въ могилу съ ихъ костями.
Пусть будетъ такъ и съ Цезаремъ. Вамъ Брутъ
Сказалъ, что Цезарь былъ властолюбивъ.
Коль эта правда,—тяжкая вина,
И за нее онъ тяжело поплатился!
Я, съ позволенія Брута и другихъ
(Брутъ—честный человѣкъ, да и они
Всѣ—люди честные), пришелъ сказать
Здѣсь рѣчь надъ прахомъ Цезаря. Онъ былъ
Мнѣ другомъ вѣрнымъ, другомъ справедливымъ,
Но Брутъ сказалъ: «онъ былъ властолюбивъ».
А Брутъ безспорно честный человекъ.
Онъ много плѣнныхъ въ Римъ привелъ съ
собою.

Ихъ выкупомъ казна обогатилась;
Не это-ль властолюбие его?
При вопляхъ бѣдняковъ и Цезарь плакалъ:
Такъ нѣженъ властолюбецъ быть не могъ.
Но Брутъ сказалъ: «онъ былъ властолюбивъ».
А Брутъ безспорно честный человекъ.
Вы видѣли, какъ въ праздникъ Луперкалій
Я трижды подносилъ ему корону
И трижды онъ ее отвергъ:
И это властолюбие? *Но Брутъ
Сказалъ, что Цезарь былъ властолюбивъ,
А Брутъ безспорно честный человекъ.*
*Я говорю все это не за тѣмъ,
Чтобъ сказанное Брутомъ опровергнуть,
А говорю о томъ лишь, что я знаю.*

Постепенно поджигая толпу своимъ при-
пѣвомъ: Брутъ сказалъ, что Цезарь былъ
властолюбивъ и т. д., Антоній поджѣкаетъ
измѣняющееся настроеніе слушателей и на-
конецъ прямо вызываетъ къ мятежу, что ему
и удается.

Ты, безъ сомнѣнія, видишь сходство между
рѣчью Марка-Антонія римскаго и статьей
Марка-Антонія костромскаго, но видишь и
разницу между ними. Главное различіе со-
стоитъ въ томъ, что статья Марка Антонія
костромскаго не имѣла того мгновеннаго
успѣха, какой выпала на долю триумвиру.
Очень вѣроятно, что многіе сразу убѣди-
лись, благодаря Марку-Антонію Колюпа-
нову, въ невозможности провести прямую
линію посредствомъ адресовъ и ходатайствъ
и въ непригодности носа статскаго совѣт-
ника для передвиженія громоздкихъ вещей.
Эта часть статьи разработана такъ основа-
тельно, что способна убѣдить самыхъ за-
вязатыхъ скептиковъ. Но мнѣ извѣстно, что
въ газетахъ идетъ до сихъ поръ полемика
о направленіи сибирской желѣзной дороги,
а полковникъ Катонъ Богдановичъ еще не-
давно говорилъ въ Москвѣ блестящую рѣчь
въ пользу южнаго направленія. Слѣдова-
тельно, честное слово Марка-Антонія Колю-
панова не всѣми признано достаточной га-
рантіей выгоды сѣвернаго направленія.
Тогда какъ послѣ рѣчи триумвира толпа
немедленно отправилась жечь дома убійцы

Цезаря. Разница громадная. Ты можешь
многое въ ней отнести на счетъ разли-
цы темперамента римлянъ и нашихъ со-
отечественниковъ, на счетъ разницы са-
мыхъ операцій, предпринятыхъ обоими
Марками-Антоніями и проч. Но самое
важное вотъ что: рѣчь Марка-Антонія рим-
скаго есть рѣчь, а статья Марка-Антонія
костромскаго есть статья. Выражаясь сло-
вами отечественнаго Марка-Антонія, скажу:
«не смотря на кажущуюся парадоксаль-
ность подобнаго результата, онъ въ основа-
ніи своемъ глубоко справедливъ». Дѣйстви-
тельно, статья вообще, а тѣмъ паче статья
по какому-нибудь практическому вопросу,
всегда нѣсколько напоминаетъ черепаху: та
же медленность движеній, та же нѣмота, то-
же отсутствіе яркихъ красокъ, тотъ же пан-
цырь—я разумѣю панцырь логическихъ раз-
сужденій и умозаключеній. Рѣчь, напротивъ,
есть нѣчто, напоминающее ярко расцвѣчен-
ную, голосистую, вольно порхающую съ де-
рева на дерево, потомъ вдругъ быстро взды-
мающуюся къ небесамъ, потомъ опять на
землю спускающуюся птицу. Конечно, и пи-
сатель можетъ дѣйствовать быстро, но его
главное орудіе есть все-таки черепаший ходъ
логики, причѣмъ читатель почти всегда
имѣетъ время усмотрѣть разные прорѣхи,
недомолвки, софизмы. Ораторъ же можетъ
то соловьемъ заливаться, то турманомъ кувыр-
нуться, то жаворонкомъ зазвенѣть, то ястре-
бомъ спуститься на усмотрѣннаго имъ на
землѣ пыленка. При этомъ публика, совер-
шенно независимо отъ самыхъ мыслей ора-
тора, невольно увлекается созерцаемъ его
турманоподобныхъ кувыркѣвъ и слушаніемъ
его соловьиного шелканья. Статья Марка-
Антонія Колюпанова, при несомнѣнныхъ сво-
ихъ достоинствахъ и особливо при несо-
мнѣнной своей высокой поучительности, нѣ-
сколько слабовата. Диверсія въ сторону без-
страстной математики, напримѣръ, велико-
лѣпна, но когда сейчасъ же оказывается,
что это диверсія совершенно ненужная, то
иной читатель можетъ спросить: и зачѣмъ
было огородъ городить, и зачѣмъ было ка-
пусту садить? Но представь себѣ тѣ же ло-
гическіе приемы въ ораторской рѣчи. Пред-
ставь себѣ, что Маркъ-Антоній Колюпановъ
стоитъ въ величественной въ позѣ и, искусно,
жестикულიруя, съ насмѣшкой на лицѣ и въ го-
лосѣ, зычнымъ баритономъ или пріятнымъ
теноромъ говорить: сомнѣваюсь, чтобы бу-
тылка укусу могла съ достоинствомъ предѣ-
дательствовать въ какомъ бы то ни было
собраніи!—Напечатай это, выйдетъ просто
вздоръ, бессмыслица, а въ ораторской рѣчи,
дѣйствующей мгновенно, «глаголомъ жгущей
сердца людей», да и не однимъ глаголомъ,
а всѣмъ существомъ оратора, — этотъ фор-

тель можетъ сослужить очень полезную службу. Онъ можетъ быть до такой степени покрытъ аплодисментами, что его потомъ изъподъ нихъ и не вытащишь. Гдѣ же слушателю, отуманенному соловьинымъ шелканьемъ и турманоподобными кувирками оратора, угнаться за сущюю, за внутреннимъ достоинствомъ каждой мелочи. Впечатлѣніе, благоприятное для оратора, произведено, и конецъ. Насмѣши, растрогай, порази, увлечи—и многіе вздоры и пакости не только простятся тебѣ, но послужатъ краеугольными камнями твоего успѣха.

Вотъ почему я совѣтовалъ бы тебѣ добывать себѣ пропитаніе или, что тоже, быть общественнымъ дѣятелемъ при помощи не пера, а языка. Я не отрицаю значенія пера въ царствѣ забытія и забвенія. Впослѣдствіи я составлю руководство и для забывшаго писателя. Но забывшій ораторъ стоитъ для меня на первомъ планѣ. Общественнымъ потребностямъ надо удовлетворять въ порядкѣ ихъ неотложности. А что ты слышишь вокругъ себя съ особенною назойливостью и ясностью? Ты слышишь: какіе они куши дерутъ! Въ этомъ восклицаніи сосредоточивается столько зависти и восторга, вождельній и уваженія, что указаніе подлежащей удовлетворенію потребности не представляеть никакихъ трудностей. Надо только знать, кто эти *они*, дерущіе куши. А это несомнѣнно ораторы,—ораторы торжественныхъ и прочихъ собраній, ораторы обвинители, ораторы защитники. Ораторы академическіе большихъ кушей не дерутъ. Ихъ роль приближается къ роли, друга моего Ивана Камердинерова: они больше изъ чести служатъ. Но, во-первыхъ, въ дѣлѣ забытія и забвенія они не отстаютъ отъ своихъ товарищей, какъ ты можешь видѣть, напримѣръ, изъ рѣчи, произнесенной на торжественномъ актѣ варшавскаго университета 30 августа 1874 г. профессоромъ Симоненко («Очеркъ экономическаго развитія Привислянскаго края»), или изъ рѣчи, произнесенной на торжественномъ актѣ кievскаго университета 9 января 1874 года профессоромъ Шкляревскимъ («Объ отличительныхъ свойствахъ мужского и женскаго типовъ»), равно какъ изъ многіхъ другихъ рѣчей, изслѣдованіе коихъ будетъ мною тебѣ предложено въ свое время и въ своемъ мѣстѣ. Во-вторыхъ, ораторы академическіе весьма часто записываются временно или навсегда въ число ораторовъ торжественныхъ и прочихъ собраній, ораторовъ обвинителей, ораторовъ защитителей. Г. Лохвицкій, нѣкогда ораторъ академическій, составляетъ нынѣ гордость ораторовъ обвинителей-защитителей (этотъ подвигъ ораторовъ, эти, если ты позволишь мнѣ такъ выразиться,

гермафродиты будутъ мною изслѣдованы специально). Гг. Вышнеградскій и Делла-Вось, оставаясь, сколько мнѣ извѣстно, и понынѣ ораторами академическими, суть вмѣстѣ съ тѣмъ блестящіе ораторы торжественныхъ и прочихъ собраній. По всѣмъ симъ причинамъ, а равно и для полноты, округленности руководства, я предполагаю въ него ввести и краснорѣчіе академическое.

Но я отвлекся въ сторону. И помимо краткаго, но выразительнаго восклицанія: какіе они куши дерутъ! изъ самой сути литературной и ораторской дѣятельности видно, что прежде всего надлежитъ имѣть *vademecum* современнаго оратора. Когда нужно дѣйствовать медленно, долбить камень капля по каплѣ, постепенно, такъ сказать, сверлить дыру въ общественномъ сознаніи,—тогда пускается въ ходъ перо. Ораторская рѣчь, напротивъ, внезапно опшаривающая кого слѣдуетъ, приличествуе въ случаяхъ необходимости мгновеннаго дѣйствія. А изъ этого слѣдуетъ, что и *vademecum* современнаго оратора не терпитъ отлагательства.

Если тебѣ недовольно всѣхъ этихъ теоретическихъ соображеній, я, для разъясненія различій пера и языка, какъ инструментовъ общественной дѣятельности, остановлю твое вниманіе на какомъ-нибудь конкретномъ примѣрѣ. Предположимъ, дѣло идетъ о открытіи Америки. Вооружась перомъ, ты долженъ дѣйствовать совсѣмъ не такъ, какъ языкомъ. Въ литературѣ подвигаться къ сердцу вопроса столь форсированнымъ маршемъ—нецѣлесообразно. Ты долженъ сначала написать длинную статью по поводу пріѣзда заатлантическихъ друзей, въ какой статьѣ заатлантическіе друзья должны быть поставлены по возможности выше глса стоячаго и развѣ только чуть-чуть пониже облака ходячаго. Потомъ нужна статья, въ коей доказывалось бы, что заатлантическіе друзья прекрасные люди, тѣмъ болѣе, что имъ понравились обѣдъ и органъ у Гурина, что они до такой степени прекрасные люди, что даже отсутствіе въ Америкѣ культуры и преданій не можетъ повліять на нихъ разлагающимъ образомъ. Повидимому, ты хвалишь заатлантическихъ друзей въ этотъ разъ еще болѣе, чѣмъ въ первой статьѣ. Оно такъ и есть, но вмѣстѣ съ тѣмъ ты готовляешь почву для закрытія Америки, ибо ты упомянулъ объ отсутствіи въ ней культуры и преданій. Затѣмъ опять статья, уже специально посвященная обсужденію этого отсутствія, которое-де можетъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, дать весьма неблагоприятные результаты. На этой темѣ ты долженъ вертѣться довольно долго, можетъ годъ, можетъ и больше, смотря по обстоятельствамъ. Затѣмъ, достаточно подготовивъ

общество, пали: трахъ! трахъ! трахъ! Пиши рядъ статей, полныхъ пагоса и лиризма, о вредѣ Америки, въ которой нѣтъ культуры и преданій, въ которой—о ужасъ!—нечего за бывать! Послѣ этого' остается только хватать мимоходящихъ за шиворотъ (разумѣется, литературнымъ образомъ) и препровождать куда слѣдуетъ съ аттестаціей, что это-де американецъ, заатлантический другъ. Тутъ уже надо набать битъ: культура! культура! культура!—и Америка будетъ закрыта.

Весь этотъ нерѣдко многолѣтній процессъ ораторъ можетъ втиснуть въ какой-нибудь часъ времени. Выбравъ надлежащій моментъ онъ является на торжественное и прочее собраніе, всходитъ на трибуну и говорить:

Милостивыя государыни и государи! Существоетъ мнѣніе, что наши отдаленные предки были обезьяноподобны. Не я стану защищать столь нелѣпое мнѣніе, особливо перещъ столь блестящимъ собраніемъ. Я привелъ его для того только, чтобы имѣть случай его опровергнуть. Я не буду отрицать того, что предки людей, придерживающихся этого мнѣнія, были дѣйствительно очень похожи на обезьянъ (Браво!), ни даже того, что потомки этихъ предковъ имѣютъ съ обезьянами довольно много общихъ чертъ (Бррраво!). Но, милостивыя государыни и государи, не таковы были *наши* предки, нѣтъ, не таковы! Мы не окунемся въ область произвольныхъ, бездоказательныхъ гипотезъ. Мы обратимся къ нашему доброму старому Нестору и изъ него узнаемъ, что предки наши «живяху звѣринскимъ образомъ, живуще скотски убиваху другъ друга, ядаху вся нечисто, и брака у нихъ не бываше, срамословье въ нихъ предъ отцы и предъ снохами». Вотъ, милостивые государи, не гипотеза, вполне несомнѣнная, историческая истина, которую мы съ яснымъ лбомъ и чистою совѣстью можемъ противопоставить тѣмъ потомкамъ обезьяноподобныхъ предковъ, о которыхъ я имѣлъ честь говорить въ началѣ рѣчи. Отъ нея я и буду отправляться въ своихъ дальнѣйшихъ умозаключеніяхъ. По прошествіи нѣкотораго времени, въ теченіе котораго предки наши, какъ выражается въ другомъ мѣстѣ лѣтописецъ, «живяху въ лѣсѣ, яко же всякій звѣрь», по прошествіи, говорю, нѣкотораго времени, была открыта Америка. Это было, милостивые государи, открытіе высокой важности. Съ него, собственно говоря, надо вести наше лѣтосчисленіе, ибо, какъ выразился нашъ незабвенный Щербина, тогда «два солнца засвѣтили съ небесъ», одно солнце физическое, то величественное свѣтило, которое освѣщаетъ нашъ путь днемъ, и другое солнце духовное свѣтящее намъ и въ ночной темнотѣ. Срамо-

словье предъ снохами прекратилось, лѣса были вырублены, люди перестали убивать другъ друга и вѣсть нечистое, явились понятія чести, совѣсти, явилась жажда знанія. Блистательно было это время! Но печальный удѣлъ всего земного—смерть! Америка дала понятія чести и совѣсти, уничтожила звѣринный образъ времяпровожденія, возбудила жажду знанія, но культуры она не дала и не могла дать! Напротивъ, она заглушила культуру! Окиньте, милостивые государи и государыни, всю нашу общественную ниву умственнымъ окомъ. Что вы увидите? Вы увидите понятія о чести и совѣсти, жажду знанія, но культуры не увидите (въ публикѣ раздастся рыданіе). Не плакать надо, милостивые государи, а радоваться, ибо настала часъ Америки: понятія чести и совѣсти забываются, жажда знанія притушается... Объявляю Америку закрытою! (Урра! Бррраво!).

Вотъ, молодой человекъ, какъ слѣдуетъ писать и какъ слѣдуетъ говорить. Ты видишь и въ писателѣ, и въ ораторѣ полное торжество забытья и забвенія, выражающееся даже внѣшнимъ образомъ: и писатель, и ораторъ какъ бы забываютъ сказанное или написанное ими непосредственно передъ тѣмъ. Но ни тотъ, ни другой не забываютъ ни на минуту своей конечной цѣли: закрытія Америки. Одинъ приближается къ этой цѣли медленно, тихимъ шагомъ, только подъ конецъ переходящимъ въ рысь; другой скачетъ маршъ-маршемъ съ мѣста. Попробуй перемѣнить ихъ роли, заставъ мысленно оратора тянуть осторожную канитель, а писателя напечатать приведенную рѣчь, и ты увидишь, до какой степени это выйдетъ ни съ чѣмъ не сообразно: слушатели заснутъ, а читатели непремѣнно подмѣтятъ нѣкоторыя нескладности. Ты понимаешь, конечно, что «закрытіе Америки» взято мною совершенно случайно, къ примѣру. Въ дѣйствительности тема эта можетъ тебѣ понадобится только въ областяхъ краснорѣчія обвинительнаго и академическаго. Въ другихъ же случаяхъ ты будешь требовать даже вторичнаго открытія Америки и будешь рекомендовать себя и Христофоромъ Колумбомъ и Америку Веспуччи.

Но къ дѣлу. Предлагаемое руководство будетъ раздѣлено на слѣдующія главы:

Глава I. Краснорѣчіе торжественныхъ и прочихъ собраній.

Глава II. Краснорѣчіе обвинительное.

Глава III. Краснорѣчіе защитительное.

Глава IV. Краснорѣчіе академическое.

Глава V. Общіе выводы и апофеозъ.

ГЛАВА I.

Краснорѣчіе торжественнаго и прочихъ собраній.

(Посвящается Ивану Плутонократову-Плутосократову).

Нѣсть лести въ языкѣ моемъ.

Этотъ родъ краснорѣчія заимствуетъ свое названіе отъ заглавія третьяго тома сочиненій М. П. Погодина: «Рѣчи, произнесенныя М. П. Погодинымъ въ торжественныхъ и прочихъ собраніяхъ».

Давъ, однако, сему роду краснорѣчія названіе, Михаилъ Петровичъ не могъ дать ему вѣчныхъ, непреходящихъ образцовъ. Древнѣйшая изъ рѣчей М. П. Погодина относится къ 1830 году и хотя онъ съ божіей помощью и по сейчасъ упражняется въ ораторскомъ искусствѣ, но приемы его краснорѣчія, а равно и выборъ темъ носятъ на себѣ неизгладимую печать до-реформенной Россіи. Я не говорю, чтобы ты не могъ извлечь ровно ничего изъ его рѣчей. Такъ, на примѣръ, ты и теперь, подобно ему, можешь въ каждой рѣчи предлагать: «возблагодаримъ начальство!» Это не вредно, но уже и не столь существенно, какъ прежде. Равнымъ образомъ ты можешь съ успѣхомъ пускать въ ходъ и нѣкоторые обороты мысли и рѣчи, свойственные г. Погодину. Въ 1872 г. московскій городской голова г. Ляминъ сказалъ, въ числѣ прочихъ, привѣтственную рѣчь г. Погодину на юбилейномъ обѣдѣ, въ честь пятидесятилѣтія ученой и гражданской дѣятельности послѣдняго! Маститый юбиляръ отвѣчалъ: «Иванъ Артемьевичъ! Вы обдали меня такимъ паромъ, прямо съ каменки, вы подняли меня на такой высокой полдѣкъ, подъ самымъ потолкомъ, что у меня духъ захватываетъ, и я, въ отвѣтъ на вашу милостивую рѣчь, — иначе считать ее не смѣю, — могу только воскликнуть: да здравствуетъ наша родная Москва, бѣлокаменная, златоглавая, первопрестольная, всероссійская!» Это, конечно, блестяще, но, все-таки, подобный *salto mortale* отъ подробностей баннаго строенія къ всероссійской Москвѣ ты можешь пускать въ ходъ только въ исключительныхъ случаяхъ. Москвича, впрочемъ, коренного, ты всегда безопасно можешь сравнить съ банщикомъ, онъ это одобритъ. Вообще у г. Погодина нельзя отрицать нѣкоторыхъ весьма блестящихъ ораторскихъ *tours de force*, за которыми, однако, остается преимущественно историческое значеніе. На примѣръ, 23-го марта 1863 года Михаилъ Петровичъ давалъ у себя въ домѣ обѣдъ членамъ археологическаго съѣзда. «Обѣдъ былъ, разумѣется, постный, замѣчаетъ Михаилъ Петровичъ. Русскимъ археологамъ ѣсть

скромное въ великій постъ было бы внутреннимъ противорѣчіемъ». Въ продолженіе обѣда гостепріимный хозяинъ держалъ рѣчь о каждомъ подаваемомъ кушаньи. Когда подали уху, Михаилъ Петровичъ объяснилъ, что первоначально ухю назывался всякій наваръ; что въ XVI столѣтіи въ росписи, что послано къ царскому послу съ кормового дворца, значится *юрма* (?) уха курячья шафранная, уха курячья черная, уха курячья бѣлая, уха курячья съ *умачемъ*, *манты* и т. д. Затѣмъ, держались рѣчи о пирогахъ, о жаркомъ, о клюквенномъ киселѣ, о квасѣ. Задать подобный обѣдъ съ рѣчами есть мысль гениальная, но, какъ все гениальное, это есть нѣчто очень исключительное и, какъ все постное, нѣчто очень скучное. Не могу, однако, при этомъ удобномъ случаѣ не замѣтить, что въ тѣхъ случаяхъ, когда торжественное и прочее собраніе сопровождается обѣдомъ, — пепи, рѣчи и событіе, по поводу котораго происходитъ собраніе, должны находиться въ полной между собою гармоніи, не говоря уже о гармоніи душъ обѣдающихъ. Блестательный примѣръ такой гармоніи представлялъ обѣдъ 1-го сентября нынѣшняго года въ московскомъ домѣ П. И. Губонина: 1) обѣдъ происходилъ по поводу открытія конно-желѣзной дороги, 2) на немъ былъ, между прочимъ, поданъ маленькій конно-желѣзнодорожный вагонъ, запряженный шополадными лошадыми, а въ вагонѣ было уложено мороженое, 3) на обѣдѣ были медовыя рѣчи изъ сахарныхъ устъ полковника Богдановича, В. К. Делла-Воса, В. А. Кокорева, В. П. Мошнина и другихъ, 4) души всѣхъ этихъ ораторовъ были настроены совершенно одинаково.

Итакъ, рѣчи нашего маститаго историка, представляя нѣкоторыя отдѣльныя черты, весьма удачныя и поучительныя для нашего времени, въ общемъ имѣютъ, все-таки, болѣе историческій и даже археологическій интересъ. (Впрочемъ, дойдя до главы IV нашего труда, трактующей о краснорѣчіи академическомъ, мы еще вернемся къ Михаилу Петровичу). Слишкомъ значительная доля его рѣчей посвящена событіямъ военнаго характера, прославленію россійской военной мощи, необходимости оказать вооруженную помощь братьямъ-славянамъ и т. п. Эти дореформенныя формы заботы и забвенія для насъ мало поучительны, ибо нынѣ, какъ справедливо сказалъ Цицеронъ и не менѣе справедливо повторилъ Михаилъ Петровичъ, *cedant arma togae*. Мы съ тобой принесли жертву не Марсу, а Меркурію и Плутону. Что же касается практической злобы дня, находящейся подъ покровительствомъ Меркурія и Плутона и преимущественно насъ интересующей, то, не

смотря на знаменитую его финансовую операцию,—продажу публичной библиотекъ голенища Святополка Окаяннаго и другихъ древностей, Михайлъ Петровичъ есть въ этомъ отношеніи сущій младенецъ. Только въ одной изъ его рѣчей, именно въ рѣчи, сказанной въ 1854 г. на обѣдѣ въ московской коммерческой академіи, ты найдешь проблескъ пониманія истинныхъ задачъ вѣка. И то только проблескъ, о чемъ ты можешь судить самъ: «Нашъ мелочной лавочникъ, овощной торговецъ, для приведенія своего сторублеваго капитала въ движеніе и собранія съ него своихъ бѣдныхъ копеечныхъ процентовъ, имѣетъ нужду, я увѣренъ, въ большихъ умственныхъ способностяхъ,—въ смѣлливости, проворствѣ, дѣятельности,—однимъ словомъ, въ торговомъ искусствѣ, чѣмъ европейскій негодіантъ, который переводитъ свои милліоны изъ Ливерпуля въ Калькутту или Нью-Йоркъ. У европейскаго негодіанта бываетъ, по большей части, одинъ товаръ—бумага, шелкъ, вино, табакъ, а чего нѣтъ въ нашей лавочкѣ? 199 самыхъ разнородныхъ товаровъ, которыхъ надо знать въ тонкости всѣ достоинства и недостатки, надо знать время, когда запастись, и умѣть купить за настоящую цѣну, ибо передашь копейку—ее мудрено уже возвратить! Какіе покупатели являются въ мелочной лавкѣ? Такіе, которые сами знаютъ всю суть и которые нарываютъ алтынное за грошъ выторговать, такъ въ какой же степени надо ухитриться, чтобы алтынное продать имъ за три копейки съ денежкой?» — Здѣсь весьма удовлетворительно изображена невыгодность мелкихъ операций. Весьма, конечно, не трудно забыть, что такая-то вещь стоитъ алтынъ, а не три копейки съ денежкой. Но трудно и не стоять возиться съ подобными мизерами. Имѣя способности русскаго лавочника, можно со словомъ расширить предѣлы царства забытыя и забвенія.

Но вотъ эта-то мысль и не усвоена въ достаточной степени Михайломъ Петровичемъ. Въ одной изъ своихъ рѣчей въ обществѣ любителей русской словесности, онъ, ратуя за чистоту русскаго языка, негодуетъ такъ: «министерство финансовъ толкуетъ о фондахъ, которые являются въ сопровожденіи разныхъ трансфертовъ и разныхъ тиражей и всякихъ эквивалентовъ (?),—и качаетъ головою бѣдный чиновникъ въ городѣ Царево-Кокшайскѣ, или добрая старушка въ Чебоксарахъ, у которой въ десяти уездкахъ увязаны накопленные въ продолженіе цѣлой жизни рублевика. Рада бы она была отдать ихъ въ проценты, да ихъ будутъ разыгрывать въ какую-то игру,—ну, какъ она ихъ проиграетъ: чѣмъ же выдать ей замужъ трехъ внуковъ, а онѣ ужъ подрастаютъ!» Ты

видишь, Михайлъ Петровичъ стоитъ на точкѣ зрѣнія любителя русской словесности, точкѣ зрѣнія совершенно невинной и крайне въ настоящее время неудобной Тебѣ не разъ придется говорить рѣчи въ собраніяхъ людей весьма различныхъ національностей. Преимущественно тутъ будутъ представители великаго, хотя и разрозненнаго племени израильскаго. Но, спрашиваю тебя, возможно ли, чтобы г. Блюхъ, или многочисленные гг. Кронеберги, или г. Поляковъ, или г. Варшавскій и т. п. согласились стать вмѣстѣ съ Михайломъ Петровичемъ на точку зрѣнія любителя русской словесности? Безъ сомнѣнія, это все дѣти нашего великаго отечества, даже старшія дѣти, ибо они имѣютъ и желаніе и возможность купить право первородства далеко не за чечевичную похлебку. Не ты, конечно, будешь имъ въ этомъ мѣшать: они купцы, у тебя товаръ, или лучше сказать, ты самъ товаръ, цѣны котораго устанавливаются общими экономическими законами спроса и предложенія. Право первородства принадлежитъ къ числу вещей, которыя ты долженъ забыть прежде всего, а продать забытое, безъ сомнѣнія, столь же удобно, какъ закусить рюмку водки кускомъ селедки. Здѣсь будетъ умѣстно сказать нѣсколько словъ о колебаніи цѣнъ на право первородства. Во времена военно-патріотическія эти цѣны поднимаются, во времена партикулярно-патріотическія—падаютъ. Въ терминѣ «партикулярно-патріотическое время» ты не долженъ видѣть каламбура. Это просто время мирнаго прогресса, а не время преобладанія партикулярныхъ частныхъ интересовъ надъ интересами отечества. Т. е. пожалуй оно именно такое время, но какое намъ съ тобой до этого дѣло? Тѣмъ болѣе, что, принимая характеръ партикулярно-патріотическій, данная эпоха не перестаетъ быть патріотическою; измѣняется только персоналъ семьи отечества, но самый институтъ остается неприкосновеннымъ; есть и отцы отечества, и старшія, и младшія дѣти. Нынѣ мы переживаемъ время партикулярно-патріотическое, съ чѣмъ, между прочимъ, никакъ не могутъ вполне освоиться ораторы дореформенной Россіи, ораторы старой школы въ родѣ В. А. Кокорева или М. П. Погодина. Послѣдній въ этомъ отношеніи даже совсѣмъ плохъ. В. А. Кокоревъ подаетъ, однако, нѣкоторыя, даже значительныя надежды приспособиться къ современнымъ требованіямъ ораторскаго искусства. Итакъ; время нынѣ стоитъ партикулярно-патріотическое и потому съ правомъ первородства *слабо*. Ты этимъ, однако, не смущайся. Во-первыхъ, и кромѣ права первородства въ твоемъ умственномъ, нравственномъ и физическомъ существѣ есть

вещи, кои ты можешь вынести на рынокъ и съ коими *крико*. Во-вторыхъ, цѣна на право первородства никогда уже не можетъ вновь упасть до классической чечевичной похлебки. За него и теперь дадутъ весьма тонкій обѣдъ, и даже не одинъ, и даже не только обѣды. Но, тѣмъ не менѣе, цѣны стоять нынѣ, сравнительно говоря, все-таки низкія. Г. Варшавскій, какъ тебѣ, конечно, извѣстно, израильтянинъ, былъ недавно сопричисленъ къ ордену почетнаго легіона за услуги, оказанныя имъ французской промышленности заказами для русскихъ желѣзныхъ дорогъ. Ты можешь быть припомнишь нѣкоторыя шутки въ родѣ того, что «пишетъ, пишетъ король прусскій къ государынѣ французской мекленбургское письмо», или что «пруссакъ съ австрійцемъ за русское здоровье венгерское вино пьютъ». Не смотря на всю плоскость этихъ шутокъ, ты могъ бы не безъ успѣха пустить ихъ въ ходъ во времена военно-патріотическія, а съ тѣмъ вмѣстѣ поднять цѣну на право первородства. Но по нынѣшнему, партикулярно-патріотическому времени, это было бы совершенно нецѣлесообразно. Мой другъ Иванъ Плутонкратовъ-Плутосократовъ попробовалъ было поиграть на эту тему, но, ни малѣйше Европу не удививъ, замолкъ. Время нынѣ стоитъ такое, что нѣтъ эллиновъ, ни іудей. Ты это помни. Пусть г. Варшавскій оказываетъ услуги французской промышленности и получаетъ за то орденъ почетнаго легіона, онъ вѣдь и русской промышленности оказываетъ услуги. Дери онъ съ одного вола двѣ шкуры, дери онъ съ двухъ воловъ по одной шкурѣ,—это его дѣло. Не мни, что обстоятельства эти могутъ поднять цѣну на право первородства, бери за него, что дадутъ, но тѣмъ паче старайся извлекать барыши изъ другихъ составныхъ частей своего духовно-нравственнаго и физическаго существа.

Я отнюдь не говорю, чтобы ты долженъ былъ выкинуть изъ своего реторическаго инвентаря восклицанія чисто патріотическаго свойства. Безъ нихъ обойтись нельзя, слишкомъ прѣсно выйдетъ. Но *est modus in rebus*. Напримѣръ, на обѣдѣ, даваемомъ «нашимъ братомъ русакомъ» и «бывшимъ мужичкомъ», вышедшимъ изъ нѣдръ народа», П. І. Губонинымъ, особливо если этотъ обѣдъ дается въ Москвѣ, нельзя обойтись безъ кваса. Въ этомъ отношеніи можешь взять себѣ въ образецъ одного изъ знаменитѣйшихъ нашихъ ораторовъ, полковника Богдановича. Въ древности Катонъ заканчивалъ каждую свою рѣчь, о чемъ бы она ни трактовала, восклицаніемъ: а Карфагенъ надо разрушить! Въ настоящее время, по какому бы поводу ни происходилъ обѣдъ съ рѣчами, г. Богдановичъ говорить на немъ рѣчь о необходимости

провести въ скорѣйшемъ времени сибирскую желѣзную дорогу, и притомъ, въ противность искуснымъ вавилонамъ Марка-Антонія Колупанова, Катонъ Богдановичъ горой стоитъ за южное направленіе. Такъ было и на обѣдѣ, данномъ г. Губонинымъ по случаю открытія конно-желѣзной дороги въ Москвѣ. Г. Богдановичъ началъ съ того, что, дескать, сегодняшній праздникъ вполне русскій, потому перешелъ къ Москвѣ, какъ къ сердцу Россіи, къ ея исторіи, какъ она собирала земли русскія—Тверь, Владимиръ... царство Астраханское, царство Сибирское. Отсюда уже было два шага до сибирской желѣзной дороги, и конечно г. Богдановичъ не полѣнился сдѣлать не только эти два шага, но и еще третій шагъ въ сторону: онъ сказалъ и подчеркнул, что Россія ждетъ южнаго направленія сибирской дороги. Рѣчь была покрыта аплодисментами, къ коимъ я отъ всего сердца присоединяюсь, приглашая и тебя присоединиться. Дѣйствительно, не смотря на высокія достоинства *an und für sich* вавилоновъ Марка-Антонія Колупанова, они, даже въ видѣ застольной рѣчи, далеко уступаютъ стремительному натиску полковника Катона Богдановича. Этотъ натискъ несомнѣнно оставилъ въ головахъ слушателей весьма сильное впечатлѣніе. Они не въ состояніи будутъ провѣрить это впечатлѣніе критически, но крѣпко засядетъ въ нихъ мысль о связи южнаго направленія сибирской дороги съ величіемъ Россіи и бѣлокаменнаго, златоверхаго ея сердца. И въ общемъ, независимо отъ искуснаго скрѣпленія южнаго направленія съ величіемъ Россіи, рѣчь г. Богдановича должна быть признана образцовою. Какія въ ней историческія воспоминанія фигурируютъ? Не спеціальныя русскія, а общегосударственныя. Г. Богдановичъ, вспоминая о собираніи земли русской Москвою, какъ бы простираетъ объятія и Твери и Владимиру, и землямъ тептерей, мордвы и черемисовъ, и Лиф-Кур-Эст-и Фин-ляндіямъ, и царствамъ Казанскому, Астраханскому, Сибирскому, и Даге-и Лезги-и Турки-станамъ. Это чрезвычайно тонко, здѣсь никто необиженъ, здѣсь не сожжены корабли. Совсѣмъ иной видъ имѣетъ слѣдующее замѣчаніе, вырвавшееся у одного изъ ораторовъ на томъ же обѣдѣ (впрочемъ, не ручаюсь, это быть можетъ репортеръ «Русскаго Міра» отъ себя изобразилъ). Былъ провозглашенъ тостъ въ честь П. І. Губонина, «пріобрѣтшаго себѣ почетную извѣстность въ цѣлой Россіи своими громадными сооруженіями, снискавшаго себѣ всеобщее уваженіе своею *русскою, честною натурою*». Подобныхъ замѣчаній ты себѣ отнюдь не долженъ позволять, ибо они могутъ навлечь тебѣ большія непріятности. Представь себѣ, что учреди-тели бакинскаго нефтяного общества, В. А.

Кокоревъ и П. I. Губонинъ, даютъ обѣдъ, на которомъ и ты присутствуешь. Въ надлежащій моментъ ты, съ бокаломъ въ рукѣ, встаешь и говоришь рѣчь. Ты можешь начать съ легкой остроты, что вотъ, дескать, мы, естественные просвѣтители Востока, уже такъ много сдѣлавшіе на этомъ поприщѣ, будемъ нынѣ получать отсюда, взамѣнъ просвѣщенія, освѣщеніе. Затѣмъ можно пожалуй упомянуть объ огнепоклонникахъ, но это будетъ роскошь. Лучше прямо переходи къ графу Паскевичу-Эриванскому и къ тому, что новое освѣщеніе будетъ вполнѣ русское. Багу—все та же Россія, а имена учредителей сами по себѣ много говорятъ русскому сердцу: В. А. Кокоревъ, еще будучи откупщикомъ, прославился какъ достойный сынъ своего отечества, а П. I. Губонинъ... Но я не думаю, чтобы тебѣ нужно было преподавать, какъ именно слѣдуетъ величать Петра Ивановича. Формула величанія этого сына отечества вполнѣ выработана совокупными усиліями дѣятелей пера и языка. Нѣтъ предмета, относительно котораго забывшіе писатели и ораторы были бы болѣе единодушны, и я ничего не могу прибавить къ коллегіально ими сочиненному гимну. Я могу только посовѣтовать тебѣ не увлекаться и не говорить, напримѣръ, что П. I. Губонинъ «приобрѣлъ всеобщее уваженіе своею русскою честною натурою». И вотъ почему. Хорошо, П. I. Губонинъ соединился сегодня, для снабженія Россіи керосиномъ отечественной фабрикаціи, съ В. А. Кокоревымъ. Но вѣдь завтра онъ можетъ, съ цѣлью облагодѣтельствовать отечество чѣмъ-нибудь инымъ, соединиться съ какимъ-нибудь сыномъ Сираховымъ. И этотъ сынъ Сираховъ не позоветъ тебя обѣдать, или потребуетъ, чтобы ты сказалъ на обѣдѣ: сынъ Сираховъ приобрѣлъ всеобщее уваженіе своею еврейскою честною натурою, и ты долженъ будешь сказать это, — потому что, истинно говорю тебѣ, съ правомъ первородства слабо. Но послѣзавтра П. I. Губонинъ соединится съ г. фонъ-Тейфельсдрекомъ и ты долженъ будешь говорить о всеобщемъ уваженіи, приобрѣтенномъ германскою честною натурою. И т. д. Ты понимаешь, конечно, что это неудобно и что сжигать корабли отнюдь не слѣдуетъ. Должно употребить выраженія гораздо болѣе общія, чѣмъ «русская честная натура». Говори: столбъ отечественной торговли и промышленности, покровитель россійской науки и искусства, новѣйшій Меценатъ, благодѣтель народа, сынъ отечества, полярная звѣзда, жемчужина Россіи и т. п.

Изъ всего этого ты, надѣюсь, достаточно ясно видишь, какъ неосновательна и несовершенна точка зрѣнія любителя россійской словесности, на которой стоитъ древнѣйшій изъ

нашихъ наличныхъ ораторовъ М. П. Погодинъ. Если іудей и эллинъ, германецъ и туранецъ могутъ тебя во всякое время заставить говорить о честности, какъ о специальномъ качествѣ іудейской, эллинской, германской или туранской природы, то какимъ образомъ можешь ты рассчитывать на эффектъ и выгоды рѣчи, въ коей требуется отмѣна «трансфертовъ», «тиражей» и «фондовъ»? Самъ Михаилъ Петровичъ не вполнѣ до конца проводитъ свою мысль, ибо не только не требуетъ отмѣны «процентовъ», но выражаетъ даже желаніе, чтобы были устранены всѣ обстоятельства, мѣшающія царевokokшайскимъ чиновникамъ и чебоксарскимъ старушкамъ отдавать свои деньги на проценты. Эту послѣднюю мысль нельзя, впрочемъ, не одобритъ. Много подвинулось бы впередъ дѣло забвѣны и забвенія, сильно возрадовались бы Плутонъ и Меркурій, если бы населеніе Царевokokшайска и Чебоксаръ обратилось отчасти въ ростовщиковъ, а отчасти передало бы намъ свои сбереженія для «фруктификаціи», а если не намъ, то по крайней мѣрѣ нашимъ патронамъ. Очень и очень плодотворную мысль высказалъ здѣсь нашъ маститый ораторъ, но, быть можетъ, лучше бы было ея не высказывать: затѣмъ профанамъ знать вождельнія посвященныхъ? Михаилъ Петровичъ, въ невинности своей, не разъ высказывалъ въ рѣчахъ своихъ весьма цѣнные мысли, кои, однако, не всегда высказывать слѣдуетъ. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательна его рѣчь 1858 года въ собраніи акціонеровъ волго-донской дороги. «Въ нашихъ ушахъ—говорилъ между прочимъ ораторъ—прозвенѣли только два слова: Волга и Донъ,—и мы, ни о чемъ больше не разсуждая, ничего не разспрашивая, ничего не изслѣдуя, принесли свои деньги—на одно честное слово... Что же доказываетъ это явленіе? Оно доказываетъ, что у насъ есть вѣра, довѣріе, кредитъ особаго, высшаго рода. Это сильный рычагъ дѣятельности, кѣрный залогъ и твердое основаніе великихъ дѣлъ и успѣховъ. Да, мм. гг., въ русскомъ народѣ есть много вѣры въ разныхъ ея видахъ,—это его достоинство». Такова точка отправленія оратора. Ей вполнѣ соответствуетъ заключеніе рѣчи: «мнѣ остается сказать два слова вообще объ отчетности. Отчетность необходима, но, по нашему характеру, она имѣетъ свои неудобства и свои невыгодныя стороны. Никогда и нигдѣ нельзя, говорить, такъ безопасно обманывать, какъ подъ покровомъ строгихъ, такъ называемыхъ, урочныхъ положеній. Гдѣ отчетъ, тамъ ужъ вѣрно по большей части и ложь. Къ несчастью, исключенія встрѣчаются рѣдко. Слѣдовательно, для дѣйствій нашихъ въ этомъ отношеніи остается то же начало, съ котораго мы начали, а именно—

довѣріе. Мнѣ кажется, что лучше всего мы соблюдемъ наши выгоды, сказавъ общимъ (?) учредителямъ съ ихъ будущими директорами, какъ выговаривали наши дѣды: если вы не оправдаете нашей довѣренности, если вы насъ обманете, то вамъ будетъ стыдно. Эти слова, съ пособіемъ гласности, гласности полной, безусловной, неограниченной, которой не только мѣшать мы съ своей стороны не должны, но напротивъ просить, требовать, вызывать ее, даже съ преміей,—послужить намъ будьте увѣрены, самую лучшую гарантію. Если они насъ обманутъ, то имъ будетъ стыдно. Но нѣтъ, они вѣрно будутъ поступать не такъ, чтобы имъ было стыдно. Вѣрно они приобретутъ не только отъ насъ, но и отъ всѣхъ соотечественниковъ право на полную и совершенную благодарность».

Рѣчь эта драгоценна, какъ канва для размышлений и мечтаній современнаго оратора и забывшаго человѣка вообще. Клянусь Меркуріемъ и Плутономъ, Утопія Мора, Икарія Кабе, фаланстеры Фурье должны поблѣднѣть передъ фантазіей Михаила Петровича. Это я тебѣ говорю, я, самолично обокравшій на своемъ вѣку не одну кассу и пустившій въ трубу не мало царевokokшайскихъ чиновниковъ и чебексарскихъ старушекъ. О, если бы можно было древними устами Михаила Петровича древній медъ пить! Если бы наши соотечественники были столь великодушны, что, отдавая намъ свои сбереженія, говорили только: да будетъ вамъ стыдно, если вы насъ обокрадете! Кто что ни говори, а Руссо былъ великій человѣкъ. На меня, по крайней мѣрѣ, находятъ минуты меланхолическаго настроенія, когда я съ сердечнымъ умиленіемъ думаю о простотѣ первобытныхъ нравовъ: пастушки, пастушки, барашки... Дайте мнѣ хорошенькую пастушку, изъ кордебалета, ну, двѣ, три пастушки, дайте хорошенькое стадо барановъ, дайте подпасковъ, которые играли бы на свирѣли «Прекрасную Елену» и «Зеленый островъ»,—мнѣ больше ничего не нужно и теперь, въ нашъ развращенный вѣкъ... Но зачѣмъ смущать свою душу идиллическими картинами первобытной чистоты нравовъ, когда жестокая дѣйствительность ежеминутно напоминаетъ о своемъ существованіи! Михаилъ Петровичъ правъ: въ русскомъ народѣ еще много вѣры въ разныхъ ея видахъ, и потому жить еще можно, но первобытное: да будетъ вамъ стыдно,—исчезло или почти исчезло. Въ глухихъ уголкахъ нашего отечества еще есть люди, которые знать не хотятъ не только фондовъ, трансфертовъ и тиражей, но даже процентовъ, которыхъ, не смотря на всю свою преданность російской словесности, не отрицаютъ и Михаилъ Петровичъ. Есть люди, которые почитаютъ грѣхомъ

брать не только проценты, а и росписки. Но такихъ остатковъ первобытной культуры весьма мало и, какъ всякая утасающая, не приспособленная къ современнымъ условіямъ порода, они играютъ весьма печальную роль среди бойкихъ, горькихъ, полныхъ жизни представителей позднѣйшихъ историческихъ напластованій. Основывать на нихъ какіе бы то ни было планы нельзя, тѣмъ болѣе, что прогрессъ неудержимо стремится впередъ—ко всеобщему забытію и забвенію. Доказательствомъ можетъ служить недавняя охота за рекрутскими квитанціями. Поэтому мечтай время отъ времени въ тиши своего кабинета объ утраченной чистотѣ нравовъ, о пастушкахъ изъ кордебалета и подпаскахъ, играющихъ на свирѣли:

Pif! paf! pan!
En avant!
Le pied leste
Et du geste!

но не стремись выносить эти мечтанія на улицу. Не говори рѣчей, подобныхъ рѣчи М. П. Погодина въ собраніи акціонеровъ волго-донской дороги. Все равно ими потерянаго рая не вернешь и никого не увѣришь, что тебѣ когда-нибудь и при какихъ-нибудь обстоятельствахъ можетъ стать стыдно. Пожалуй, еще возбудишь мнительность и подозрительность.

Но я забѣжалъ впередъ. О рѣчахъ, кои ты долженъ говорить въ собраніяхъ акціонеровъ, рѣчь впереди. И вообще я замѣчаю, что не въ состояніи буду совершить съ тобою заразъ всю прогулку по садамъ современнаго краснорѣчія всѣхъ торжественныхъ и прочихъ собраній. На первый разъ будетъ достаточно, если мы à fond проштудирруемъ краснорѣчіе застольное,—простѣйшій видъ краснорѣчія торжественныхъ и прочихъ собраній.

Первое правило намъ уже извѣстно: гармонія между обѣдомъ, поводомъ обѣда и рѣчами. На этомъ пунктѣ я не буду останавливаться. Онъ ясенъ самъ по себѣ.

Второе правило. Если ты хочешь, чтобы цвѣты твоего застольнаго краснорѣчія принесли плоды, ты долженъ лѣстить председателю пиршества или «трапезы», какъ говорить въ подобныхъ случаяхъ въ Москвѣ. Лестъ тебѣ дѣло, конечно, знакомое, и я опять вижу, какъ ты самоувѣренно улыбаешься, и слышу, какъ ты говоришь: пхе! О, дѣти, дѣти, какъ опасны ваши лѣта! Какъ часто вы при большихъ природныхъ способностяхъ, при полной безсовѣстности, словомъ, имѣя всѣ данныя для успѣха, что называется, зарываетесь, ибо не хотите слушать совѣтовъ опытныхъ людей, прошедшихъ уже черезъ огонь, воду и мѣдныя трубы, къ тому времени, когда вы только начали

забывать. Конечно, увлечения возможны и въ зрѣломъ возрастѣ. Это зависитъ отъ темперамента. Напримѣръ, г. Вышнеградскій, отстаивая въ общихъ собраніяхъ акціонеровъ привислянскій желѣзной дороги интересы своего патрона, г. Блюха, и имѣя темпераментъ сангвиническій, дошелъ, наконецъ, до того, что самъ г. Блюхъ сказалъ ему публично и громогласно: тпру! Дальнѣйшее поведеніе г. Вышнеградскаго отчетъ о засѣданіи 19-го октября передаетъ, между прочимъ, такъ:

Кроненбергъ. Теперь я хочу сказать не какъ членъ правленія, а какъ частный акціонеръ, на счетъ той борьбы, о которой говорилъ г. Блюхъ, что вину этой борьбы я слагаю лично на г. Блюха и ни на кого больше.

Вышнеградскій (жестикულიруя). Господи! Слыханое ли это дѣло; можно ли личныя заявленія дѣлать общему собранію?! Это странно, это чрезвычайно странно!..

Здѣсь опять г. Вышнеградскій былъ увлеченъ своимъ энтузіазмомъ за предѣлы необходимости и едва-ли не все призвалъ имя Божіе. Но я и самъ увлекся за предѣлы краснорѣчія застольнаго. Приведу лучше примѣръ пагубности излишняго энтузіазма изъ своей собственной практики.

Чертогъ сіялъ, гремѣли хоры, чарочки по столу похаживали. Амфитріономъ былъ сынъ Сираховъ, по фамиліи Лихтбергъ, онъ давалъ обѣдъ, по поводу окончанія одного изъ своихъ безчисленныхъ гешефтовъ... Дошла очередь до моей рѣчи. Клянусь Меркуріемъ, никогда не былъ я такъ краснорѣчивъ! Какъ ласково журчащій ручеекъ, лилась моя десь къ ногамъ «непобѣдимаго владыки»... то бишь сына Сирахова, омывая его лакированные сапоги. Я говорилъ объ отечествѣ, о благодарномъ потомствѣ, объ изумленныхъ современникахъ и произвелъ впечатлѣніе. Конвивы прерывали меня аплодисментами и одобрительными восклицаніями; на лицахъ многихъ была написана зависть; крючковатый носъ и подслѣповатые глаза сына Сирахова мнѣ поощрительно кивали, а уста, доселѣ не могущія правильно произнести слово *шиболетъ*, улыбались. Замѣтивъ такое благоприятное для меня настроеніе общества, я поднялъ тономъ выше. Ласково журчащій ручеекъ смѣнился бурнымъ потокомъ. Я гремѣлъ. Я приглашалъ Россію прислать депутатовъ для обლობызанія сапогъ сына Сирахова; я требовалъ, чтобы немедленно составилось акціонерное общество съ цѣлью сооруженія памятника сыну Сирахову, причемъ матеріальную часть работы предлагалъ поручить самому сыну Сирахову (тутъ сынъ Сираховъ сочувственно цмокнулъ). Удачно воспользовавшись фами-

ліей сына Сирахова, я говорилъ: «Много перловъ и алмазовъ украшаютъ высокую грудь супруги достойнѣйшаго Соломона Давидовича, но не въ этомъ отношеніи завидуютъ ей наши жены и дочери. Это не брильянты, это брильянтики. Что такое брильянтъ въ 40, въ 60, даже во 100 каратовъ (*юлось справа*: у васъ больше, что-ли? *юлось слева*: ишь ты! Амфитріонъ съ неудовольствіемъ цмокаетъ, жена его краснѣетъ отъ злости). Да, милостивые государи, это ничтожество, я не отказываюсь отъ своихъ словъ, это ничтожество въ сравненіи съ величайшимъ и драгоцѣннѣйшимъ изъ алмазовъ, извѣстнымъ подъ именемъ «ко-и-нура», «горы свѣта», по-нѣмецки лихт-берга. И когда этотъ безцѣннѣйшій алмазъ покоится на высокой груди m-me Лихтбергъ, о!..» Но мнѣ не дали окончить. Раздался градъ рукоплесканій и неистовыхъ виватовъ, супруги Лихтберги прояснились. Успѣхъ моей рѣчи былъ громаденъ. Это, выражаясь слогомъ московскихъ ораторовъ, еще больше поддало мнѣ пару. Я превратился въ Везувій... Нѣтъ, что Везувій! Представь себѣ, что Везувій, Этна, Гекла, Крабла и В. А. Кокоревъ слились въ одну огнедышащую гору. Только такой, такъ сказать, коллективный вулканъ можетъ тебѣ дать нѣкоторое понятіе о тѣхъ потокахъ лавы краснорѣчія, которые я извергалъ. Это было нѣчто изумительное, почти сверхъестественное, я даже самъ нѣсколько одурѣлъ. И вдругъ я замѣчаю, что конвивы примолкли, нѣкоторые даже ворчатъ, сынъ Сираховъ цмокаетъ крайненеодобрительно, а его подслѣповатые глаза отъ меня отворачиваются. Я поддалъ еще пару, но ворчанье и неодобрительное цмоканье послышалось еще явственнѣе, кто-то даже шикнулъ. Пораженный такимъ, какъ мнѣ казалось, неблагодарностью, я оборвалъ на полусловъ и, какъ подкошенная трава, тихо опустился на стулъ. Оказалось, что пламя моего краснорѣчія, огненная лава моей лести дожарила кровавый ростбифъ, превратила дичь въ что-то въ родѣ щепокъ, вскипятила шампанское и растопила мороженое! До сихъ поръ не могу безъ содроганія вспомнить о той страшной минутѣ, когда я увидѣлъ эти неожиданные результаты моей рѣчи. Я хотѣлъ глаголомъ жечь сердца людей и—сжегъ обѣдъ! Чувствуя все неприличіе своего поведенія, я взялъ нѣсколько пеплу съ блюда, на которомъ лежали когда-то, увы! сочные жареные бекасы, посыпалъ имъ главу свою и ушелъ. Меня никто не останавливалъ. На слѣдующій обѣдъ я приглашенъ не былъ и кромѣ того лишился обѣщанной мнѣ денежной подачи... Я претерпѣлъ все это со смиреніемъ...

Вотъ тебѣ, молодой человѣкъ, достаточно,

кажется, яркій примѣръ пагубности излишества въ энтузіазмѣ лести. Лести, лести такъ, чтобы небу жарко стало, но наблюдай все-таки, чтобы отъ пламени рѣчей твоихъ не согрѣлось шампанское и не засохло жаркое.

Въ частности ты долженъ въ застольной рѣчи утверждать, что явленіе, вызвавшее трапезу, есть явленіе въ своемъ родѣ единственное, въ сравненіи съ которымъ всѣ остальные явленія міра видимаго и невидимаго суть совершенные пустяки. На другой трапезѣ ты будешь говорить опять, что всѣ явленія міра, со включеніемъ явленія, вызвавшего первую трапезу, совершенно затемняются, тѣмъ, которое породило настоящую трапезу. И т. д. Затѣмъ старайся оконченный или начатый гешефтъ, по поводу котораго происходитъ трапѣза представить такъ, какъ будто барышей амфитріонъ отъ гешефта никакихъ не получаетъ. Хорошо даже изобразить его жертвой любви къ отечеству и народной гордости. Но это возможно только въ рѣдкихъ случаяхъ и потому старайся, умалчивая о барышахъ, налегать на благодѣтельные послѣдствія гешефта для отечества. Въ случаѣ полной невозможности притянуть сюда все отечество, напирай на мѣстное населеніе. Образцовъ этого рода лести ты можешь найти достаточно. Изучи, напримѣръ, рѣчи В. А. Кокорева на обѣдѣ, данномъ Н. И. Путиловымъ въ 1870 г.; или рѣчь священника П. С. Иларіонова на трапезѣ, предложенной г. Беггровымъ въ 1872 г. по случаю открытія имъ сажеприготовительнаго завода; или вышеупомянутую цѣлую группу рѣчей, сказанныхъ разными лицами на трапезѣ, предложенной П. И. Губонинымъ 1-го сентября нынѣшняго года.

Займемся лишь этой группой, ибо, во-первыхъ, она намъ уже нѣсколько извѣстна, а во-вторыхъ, она представляетъ и образцы рѣчей, достойныхъ подражанія, и образцы рѣчей, коихъ слѣдуетъ избѣгать.

Первымъ выступилъ В. К. Делла-Востъ, директоръ техническаго училища, какъ ораторъ, покрывшій себя неувядаемою славой еще на съѣздѣ фабрикантовъ 1871 г. Онъ извѣстенъ изящною кудреватостью своихъ рѣчей. «Главная цѣль этого предпріятія (конно-желѣзной дороги въ Москвѣ)—говорилъ ораторъ—заключается въ выгодномъ помѣщеніи капитала и труда на устройство такихъ приспособленій, при помощи которыхъ улучшается и удешевляется передвиженіе жителей Москвы на обширной площади этого города. Особенность этого дѣла или, лучше сказать, отличительная его черта состоитъ въ томъ, что оно принадлежитъ къ категоріи такихъ мѣстныхъ промышленныхъ предпріятій, которыя не посредственно, но

прямо становятся въ соприкосновеніе съ существенными интересами всего населенія нашей промышленной столицы». Вотъ вступленіе, котораго я тебѣ никакъ не могу рекомендовать для подражанія, ибо въ немъ прекрасная мысль о пользѣ конно-желѣзныхъ дорогъ не столько развивается, сколько завивается въ словесныя папильотки до совершенной ея неузнаваемости. При томъ стиль вступленія слишкомъ уже строгій для застольной рѣчи:

Чтобы ей угодить,
Веселѣй надо быть.

Дальше идетъ, впрочемъ, нѣсколько веселѣй. Указавъ на то, что мѣстное населеніе обыкновенно очень равнодушно встрѣчаетъ устройство новыхъ фабрикъ и заводовъ, ораторъ продолжаетъ: «Этотъ индифферентизмъ къ промышленнымъ успѣхамъ родного города имѣетъ свое основаніе и можетъ быть вполне оправданъ тѣмъ обстоятельствомъ, что большинство населенія не предвидитъ отъ осуществленія сказанныхъ предпріятій никакихъ прямыхъ послѣдствій для своей экономической жизни и не ожидаетъ никакого улучшенія тѣхъ условій, которыми обставлена его трудовая, ежедневная жизнь. Обыденная жизнь его потечетъ обыкновеннымъ порядкомъ, цѣны на первыя потребности останутся тѣ же или, лучше сказать, не уменьшатся, прогрессивное вздорожаніе квартиръ не прекратится. Но стоитъ только задумать такое предпріятіе», какъ конно-желѣзная дорога,—и она будетъ встрѣчена живѣйшимъ восторгомъ. Затѣмъ тостъ въ честь московскаго генералъ-губернатора и городского головы. — Здѣсь собственно стиль ни мало не веселѣе, чѣмъ во вступленіи, но веселѣй или, по крайней мѣрѣ, поучительнѣе содержаніе. Но и его я тебѣ рекомендовать въ качествѣ образца, достойнаго подражанія, не могу. Весьма полезно было объявить конно-желѣзную дорогу предпріятіемъ, затемняющимъ всѣ остальные, но опять-таки вовсе не нужно сжигать корабли. Надо, какъ уже тебѣ извѣстно, подыскивать въ подобныхъ случаяхъ болѣе общія выраженія и отнюдь не говорить прямо, что фабрики и заводы могутъ поднять («или, лучше сказать, не уменьшатъ») цѣны на первыя потребности, или что равнодушіе населенія къ промышленнымъ успѣхамъ родного города вполне законно и естественно, потому что ему собственно отъ этихъ успѣховъ скорѣй холодно, чѣмъ тепло. Вѣдь такъ явится, пожалуй, другой ораторъ на другомъ обѣдѣ и скажетъ: фабрика, господа, это не то, что какая-нибудь конно-желѣзная дорога; фабрика встрѣчается мѣстнымъ населеніемъ съ восторгомъ, потому что даетъ

ему заработокъ, а конно-желѣзная дорога отнимается, напротивъ, заработокъ у легко-выхъ и ломовыхъ извозчиковъ. Словомъ, большую ошибку сдѣлалъ В. К. Делла-Вось, и я даже не знаю, какъ онъ теперь предстанетъ на слѣдующемъ сѣздѣ фабрикантовъ...

Затѣмъ слѣдовала извѣстная тебѣ рѣчь полковника Богдановича.

Затѣмъ всталъ опять В. К. Делла-Вось и сказалъ рѣчь въ честь П. І. Губонина, «приобрѣвшаго себѣ почетную извѣстность цѣлой Россіи своими громадными сооруже-ніями, снискавшаго себѣ всеобщую извѣстность своею русскою, честною натурою». Къ сожалѣнію, эта рѣчь пропала для потомства, ибо не была записана.

Поднялся одинъ изъ учредителей, В. П. Мошнинъ, и сказалъ рѣчь, дѣйствительно, замѣчательную. Заявивъ о своемъ согласіи съ предыдущими ораторами на счетъ П. І. Губонина, В. П. Мошнинъ замѣтилъ, однако, что «нельзя не отвести значительной доли вниманія дѣятелю, наиболѣе способствовавшему выполнению предпріятія. Нельзя забывать, что есть такой всемогущій двигатель, безъ котораго никакое самое ничтожное дѣло немислимо *Это деньги!* (голоса: вѣрно!). Мало задумать общепользное дѣло, недостаточно сродовать его и согласовать съ требованіями науки современной техники,—необходимо привести его въ исполненіе, а для этого нуженъ всемогущій двигатель, про котораго не даромъ говорятъ французы: *l'argent c'est le nerf de la guerre*. Безъ этого презрѣннаго металла не бывать бы также и конно-желѣзной дорогѣ въ Москвѣ».

Итакъ: да здравствуютъ деньги! Господа деньги, ваше здоровье! Музыка,—тушь! О, какъ сильно должны при этомъ тостъ забыть сердца у всѣхъ многочисленныхъ жителей царства забытыя и забвенія! Какое тысячекратное эхо должно прогремѣть: господа деньги, ваше здоровье! господинъ цѣлковый, ваше здоровье! урра! Въ самомъ дѣлѣ, что такое наука, что такое современная техника, что такое, наконецъ, самъ П. І. Губонинъ съ своей честной, русской натурой безъ господъ денегъ? Слѣдовательно, въ честь кого собственно провозглашалъ тостъ В. К. Делла-Вось, когда приглашалъ конвивовъ выпить за здоровье Петра Іоновича, приобрѣвшаго почетную и проч.? Для чего я задавилъ на алтарѣ Меркурія и Плутона совѣсть, для чего я забылъ отца и мать, родину и человѣчество, для чего сжегъ пламенемъ своихъ рѣчей обѣдъ сына Сирахова? Для Петра Іоновича, что-ли?

В. П. Мошнинъ попалъ въ самую точку. Но, къ сожалѣнію, онъ не провозгласилъ

тоста въ честь господъ денегъ, а удовольствовался ораторскимъ эффектомъ, напоминающимъ по вѣншей конструкціи мой эффектъ съ «горой свѣта», спустился съ отвѣченной высоты господъ денегъ до конкретного волжско-камскаго банка: онъ провозгласилъ тостъ въ честь наличныхъ представителей этого банка В. А. Кокорева и И. А. Кононова. Я не могу одобрить этого поворота. Волжско-камскій банкъ могъ дожидаться своей очереди, но быть такъ близко отъ истинно гениальнаго и глубоко правдиваго тоста и не провозгласить его, отказаться отъ овацій современниковъ (которые уже ревѣли: вѣрно!) и безсмертной славы въ потомствѣ,—это ни на что не похоже. Роскошнѣйшій цвѣтокъ современнаго ораторскаго искусства не расцвѣлъ и отцвѣлъ...

Подъ вліяніемъ не раскрывшейся откровенности г. Мошнина, В. А. Кокоревъ началъ свою отвѣтную рѣчь также весьма откровенно. Онъ заявилъ, что волжско-камскій банкъ принялъ участіе въ дѣлѣ единственно потому, что ему выгодно было быть банкиромъ предпріятія. Этого я, однако, опять одобрить не могу. Эта откровенность, вполнѣ умѣстная въ конторѣ волжско-камскаго банка, вовсе неумѣстна въ застольной рѣчи. Въ особенности теряетъ она рядомъ съ вдохновеннымъ порывомъ сердца В. П. Мошнина. Своєю плоскостностью, если можно такъ выразиться, откровенность В. А. Кокорева нарушаетъ поэзію обѣда. Шли все рѣчи объ общепользныхъ дѣлахъ, о величіи Россіи, о собираніи земли русской, о честныхъ русскихъ натурахъ, о нуждахъ и пользахъ мѣстнаго населенія, потомъ это прелестное: господа деньги, ваше здоровье!—и вдругъ: я далъ денегъ, потому что выгодно было дать! Такъ это мизерно, плоско... Будь я на обѣдѣ, я переребилъ бы почтеннаго оратора и сказалъ бы: милостивый государь, намъ всѣмъ очень хорошо извѣстно, что и П. І. Губонинъ, и В. К. Делла-Вось, и волжско-камскій банкъ и даже полковникъ Катонъ Богдановичъ ни малѣйше не думаютъ объ общепользныхъ дѣлахъ, о величіи Россіи и пр., и даютъ деньги, и говорятъ рѣчи единственно тогда и потому, когда и потому что это имъ выгодно. Но какая же надобность трубить объ этомъ на весь міръ?

Однако, В. А. Кокоревъ слишкомъ опытный ораторъ вообще и застольный въ особенности, чтобы остановиться на такомъ совершенно не риторическомъ заявленіи. Онъ такъ поправилъ нѣсколько дѣло дальнѣйшимъ теченіемъ своей рѣчи. Онъ сказалъ: «День 1-го сентября 1874 года слѣдуетъ считать днемъ освобожденія москвичей отъ грязи, нечистотъ и всей неблагоприятной

«обстановки существовавшего передвижения». И далее: «Быть может недалеко то время когда, по примѣру Москвы, не только наши главные промышленные центры, но и уѣздныя пространства познаютъ благодѣянія конно-рельсовыхъ путей и избавятъ русскихъ крестьянъ отъ необходимости вязнуть въ грязи при подвозѣ грузовъ къ главнымъ линиямъ паровыхъ желѣзныхъ дорогъ».

Вотъ слова, вполне достойныя знаменитаго затрапезнаго оратора. Все предыдущее должно было тебя достаточно освоить съ тѣмъ элементарнымъ положеніемъ, что день трапезы есть всегда новая эра, отъ которой слѣдуетъ вести лѣтосчисленіе не только въ извѣстной мѣстности, а по возможности во всей Россіи, во всѣхъ «уѣздныхъ пространствахъ» Казалось бы, трудно было осуществить это элементарное правило затрапезнаго (я нахожу, что это прилагательное выразительнѣе, чѣмъ-застольный») краснорѣчія по поводу открытія конно-желѣзной дороги въ Москвѣ. И, однако, ораторъ преодолѣлъ-таки всѣ трудности и предложилъ-таки вести лѣтосчисленіе съ 1-го сентября 1874 г. Презиравшая словесныя папильотки à la Делла-Вось, онъ въ нѣсколькихъ строкахъ перешелъ отъ облагодѣтельствованія извѣстной части жителей Москвы къ облагодѣльствованію жителей всѣхъ уѣздныхъ пространствъ, со включеніемъ крестьянъ, занимающихся перевозкой грузовъ. Послѣднее особенно замѣчательно и достойно нарочитаго съ твоей стороны изученія. Это не простая экскурсія въ область забытѣя и забвенія, это бравада, свидѣтельствующая о рѣдкой смѣлости оратора. Ораторъ не смѣлый, начинающій, сказалъ бы, пожалуй, что, конечно, дескать, конно-желѣзная дорога, построенная П. І. Губонинымъ или кѣмъ-нибудь инымъ и эксплуатируемая обществомъ капиталистовъ, отниметъ хлѣбъ у людей, занимающихся извозомъ, но это компенсируется тѣмъ-то и тѣмъ-то. Послѣдній въ бояхъ В. А. Кокоревъ гнушается такимъ, слишкомъ простымъ и обыкновеннымъ приѣмомъ. Ты, конечно, бывалъ въ циркахъ и кафе-шантанахъ и видалъ клоуновъ. Разодѣтые въ пестрые костюмы, съ малиновыми париками на головахъ, они угощаютъ публику упражненіями, крайне, собственно говоря, нелѣпыми, лишеными всякаго смысла, но свидѣтельствующими о ихъ ловкости, силѣ и смѣлости. Они взбираются другъ на друга верхомъ и потомъ падаютъ, норовя, разумѣется, упасть на коверъ, вообще стараясь не ушибиться; они даютъ сами себѣ пощечины, конечно, примѣрныя, подражая звуку пощечины искуснымъ ударомъ ладоней одна о другую; они отчаянно теребятъ себя за волосы, ухватывая, однако, преимущественно

но ключья своего малиноваго парика, они поскальзываются и шлепаются ничкомъ на землю, желая показать, что разбиваютъ носъ, но въ дѣйствительности его не разбивая. Но вотъ является клоунъ отчаянный, всѣмъ клоунамъ клоунъ, клоунъ «высшей школы». Парикъ на немъ безобразнѣе, чѣмъ на комъ-нибудь изъ его товарищей, куртка и штаны представляютъ самое невѣроятное соединеніе цвѣтовъ. Онъ потѣшаетъ публику съ полнымъ самозабвеніемъ; онъ презираетъ маленюкія хитрости и предосторожности своихъ собратьевъ по ремеслу и, дѣйствительно, расквашиваетъ себѣ носъ, дѣйствительно отшибаетъ сидѣнье, даетъ себѣ настоящую пощечину и теребитъ себя за настоящіе волосы.— Осмѣлюсь сравнить съ этимъ самоотверженнымъ артистомъ почтеннѣйшаго В. А. Кокорева съ его удивительнымъ *salto mortale* къ крестьянамъ, занимающимся извозомъ. Отодравъ себя самого за настоящіе волосы и сказать, что конно-желѣзная дорога избавитъ извозчиковъ отъ «необходимости вязнуть въ грязи»,—эти два дѣйствія различаются только тѣмъ, что одно совершается въ сферѣ матеріальной, а другое въ сферѣ духовной, но смѣлость и самоотверженіе требуются для того и другого въ одинаковой мѣрѣ. Молодой человекъ, заручись примѣромъ В. А. Кокорева и дерзай... Въ случаѣ надобности можешь даже провозгласить здоровье людей, избавляющихъ другихъ отъ необходимости брэннаго существованія въ сей юдоли плача.

Было 1-го сентября сказано еще нѣсколько затрапезныхъ рѣчей и провозглашено еще нѣсколько тостовъ, но они остались публикѣ неизвѣстными.

Такъ въ счастливые дни
Собирались они
Часто...

Кстати о конно-желѣзныхъ дорогахъ. Тебѣ, конечно, извѣстна пикантная исторія засѣданія петербургской думы 9-го октября. Быть можетъ, ты былъ даже однимъ изъ гласныхъ, принявшихъ взятку, или однимъ изъ соискателей на концессию, дававшихъ ее. Но я не ручаюсь, чтобы ты, по молодости лѣтъ, не велъ себя при этомъ, какъ подобаетъ человѣку, вполне забывшему. Поэтому скажу тебѣ свое мнѣніе объ этомъ предметѣ, дабы ты не промахнулся въ другихъ подобныхъ случаяхъ, которыхъ представляется будетъ съ теченіемъ времени все больше и больше. Безъ сомнѣнія, договоръ о взяткахъ и выдача обязательствъ, прочтенныхъ 9-го октября гласнымъ г. Лихачевымъ, происходили во время трапезы или, по крайней мѣрѣ, сопровождалась трапезой. При этомъ говорились затрапезныя рѣчи и провозглашались тосты. Чтѣ слѣдуетъ говорить въ подобныхъ случаяхъ? Имена соиска-

телей (всѣхъ ихъ было семь или восемь: русская честная натура Губонинъ, которая, какъ и слѣдовало ожидать, въ концѣ-концовъ побѣдила, баронъ Корфъ, инженеръ Эвальдъ и проч.), выдавшихъ обязательства, остались, къ сожалѣнію, неизвѣстными. Но назовемъ одного изъ нихъ Х. Если ты будешь когда-нибудь въ положеніи этого Х, ты долженъ предложить, по крайней мѣрѣ, половинѣ гласныхъ трапезу и во время ея сказать двѣ затрапезныя рѣчи. Въ первой, когда желудокъ твой еще не переполнился и винныя пары не отуманили головы твоей, ты долженъ стать на точку зрѣнія В. А. Корева, только умастивъ ее елею павоса. Ты долженъ просить, умолять даже господъ гласныхъ, чтобы они приняли отъ тебя 300, 400 или 600 господъ рублей (больше не давай, живешь и такъ) и допустили тебя изъ пѣтербургскихъ извозчиковъ отъ необходимости сидѣть цѣлый день на козлахъ. Если ты самъ не можешь сочинить такой рѣчи, поручи мнѣ. Я уже многія такія коммисіи исполнялъ и даже произносилъ за другихъ рѣчи якобы отъ себя. Вторую рѣчь ты смѣло можешь сказать самъ, потому что сказать ее надо въ концѣ обѣда. Начни, напримѣръ, такъ: «Господа гласные! Чего моя нога хочетъ?! Ахъ вы такіе, сѣкіе (самыя крѣпкія слова можешь пустить въ ходъ, чѣмъ крѣпче, тѣмъ лучше)... Всѣхъ васъ куплю и продамъ, и опять куплю! Хочу съ кашей ѣмъ, хочу во щи лью! На, ребята, получай еще по одному господину цѣлковому! Аль у насъ денегъ мало? Кто я?!» И т. д. въ этомъ классическомъ тонѣ. Необходимо именно этотъ тонъ загулявшаго кулака, ломающагося въ публичномъ домѣ надъ погибшими, но милыми созданіями. Забудь всякія приличія, забудь, что передъ тобой сидятъ представители городского самоуправления (по-англійски self-government) и помни только, что ты заплатилъ, купилъ. Гарантирую тебѣ громадный успѣхъ этой рѣчи. Если же ты будешь въ положеніи не Х, а одного изъ затрапезныхъ гласныхъ, то ты долженъ быть кратокъ. Рѣчей тебѣ произносить не нужно, только тосты. Прижимая обязательство въ 300, 400 или 600 господъ рублей къ сердцу, ты долженъ провозглашать здоровье извѣстителя отъ необходимости, здоровье городского самоуправления, здоровье господина цѣлковаго, даже господина двугривеннаго и т. п. Рѣчь ты можешь сказать только одну, и то весьма краткую. Когда Х во второй своей рѣчи дойдетъ до вопроса: «кто я?»—отвѣчай: «Благодѣтель!» Ни больше, ни меньше. Не вдумай распространяться, не говори даже благодѣтель города или благодѣтель гласныхъ, или благодѣтель извозчиковъ. Х будетъ въ это время въ та-

комъ настроеніи, что еще, чего добраго, за излишнюю словоохотливость какую-нибудь пакость тебѣ сдѣлаетъ. Бывали эти примѣры. Однажды со мной одинъ благодѣтель такъ поступилъ, такъ поступилъ...

Но на сей разъ довольно. Мнѣ сегодня надо еще дневникъ писать.

IV.

Дневникъ.

Нынче, я замѣчаю, все какъ-то больше «этюды» пишутъ. Не помню, что писали вмѣсто нихъ прежде, но нынче все «этюды». Это мнѣ нравится: славное такое слово,—этюдь. Вотъ тоже И. С. Тургеневъ хорошо придумалъ: «студія». Этюдъ, впрочемъ, лучше. Написать мнѣ развѣ какой-нибудь этюдъ? Право. Только о чемъ бы? Востокъ и югъ давно описаны, воспѣты, западъ стигли, сѣверъ... но всѣ этюды, какіе только возможны о сѣверѣ, написаны уже г. Немировичемъ-Данченко въ «Вѣстникѣ Европы», въ «Дѣлѣ», въ «Отечественныхъ Запискахъ», въ «Нивѣ», въ «Гражданинѣ», во «Всемирной Иллюстраціи», въ докладахъ обществу содѣйствія промышленности и торговлѣ, въ докладахъ географическому обществу, словомъ въ природѣ и въ другихъ мѣстахъ. Развѣ вотъ что... Напишу-ка я этюдъ о положительныхъ типахъ въ современной беллетристикѣ. Заглавіе превосходное, даже нѣсколько академическое. Только трудно, чортъ возьми! Какъ его отличишь, положительный-то типъ отъ отрицательнаго? Кабы я что-нибудь помнилъ, ну, тогда такъ, а то не отличить. Ужъ и на то надо много памяти, чтобы отличить дурака отъ умнаго, негодяя отъ честнаго человѣка, тряпичу отъ энергичнаго, а разницу между положительнымъ и отрицательнымъ типомъ уловить еще труднѣе, потому что тутъ дѣло гораздо сложнѣе, тутъ какой-то этакій особый элементъ привходитъ, а чортъ его знаетъ какой... И писатель пошелъ нынче все хитрый, да скрытный. Я ужъ не говорю объ И. С. Тургеневѣ. Надъ его Базаровымъ люди бились, бились, самъ авторъ даже снисходилъ до нѣкоторыхъ объясненій и все-таки ничего не объяснилъ. А другіе писатели еще мудренѣе пишутъ. Или ужъ это можетъ быть отъ безпамятства моего, только со мной сплошь и рядомъ случаются такіе казусы. Читаешь, читаешь изображеніе различныхъ дѣяній героя, наконецъ, думаешь: понятъ! Это отрицательный типъ, это чистокровный негодяй, который, собственно говоря, вполне достоинъ пожизненной каторжной работы въ рудникахъ съ урѣзаніемъ языка и вырваніемъ ноздрей; только развѣ вотъ его необъятная глупость можетъ послужить смягчающимъ

обстоятельством. Глядишь, а это выходит типъ-то положительный, самъ авторъ такимъ его рекомендуетъ, а автору, конечно, и книги въ руки. Случается и наоборотъ. Видишь, хорошій человѣкъ, душа-человѣкъ, можетъ быть, не хватаетъ съ неба звѣздъ, можетъ быть, манеры имѣетъ немножко грубоватыя, но въ общемъ совсѣмъ, совсѣмъ положительный типъ. Анъ вдругъ авторъ возьметъ да и уличить его во всѣхъ семи смертныхъ грѣхахъ заразъ! Просто мученье! Хотъ бы они ярлычки какіе навѣшивали, этикетки, какъ на бутылкахъ. Знаю ли я толкъ въ винѣ или не знаю, помню ли вкусъ хереса или нѣтъ, но если я вижу надпись: *heges blanc, très vieux*, такъ ужъ для меня нѣтъ сомнѣній. Такъ бы и въ литературѣ надо. Тогда и я бы могъ написать хорошенькій этюдъ. А теперь я нахожусь въ положеніи одного знакомаго мнѣ маленькаго философа, который утверждаетъ, что онъ безошибочно можетъ отличить мальчика отъ дѣвочки, но только когда они «въ платьѣ»...

Вчера безпомощность моя меня особенно поразила. Прочиталъ я въ «Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» отчетъ о присужденіи уваровской преміи за драматическое сочиненіе. Премія присуждена извѣстному нашему поэту г. Минаеву за комедію «Спѣтая пѣсня», напечатанную въ № 5 «Вѣстника Европы». Отчетъ представляетъ «этюдъ» академика А. В. Никитенко, давно уже подвизающагося на поприщѣ критики. Я очень обрадовался этому этуду, потому что это критика настоящая. Академикъ Никитенко уже лѣтъ тридцать критикуетъ, и притомъ онъ академикъ. Тутъ высшими сферами российской словесности пахнетъ. Этюдъ не обманулъ моихъ ожиданій.

«Авторъ смѣлою рукой вскрываетъ покровы съ самыхъ разнообразныхъ симптомовъ нравственной несостоятельности и безпорядка, разлада нравовъ, понятій и положеній съ тѣмъ, что должно служить опорой общества и обезпеченіемъ его прогресса—разлада, созданнаго ходомъ не установившейся искусственной образованности».

Превосходно, подумалъ я, прочитавъ этотъ періодъ, особенно насчетъ искусственной образованности. Не совсѣмъ понятно, но мѣтко и сильно. Дальше идетъ еще лучше, и мнѣ какъ разъ на руку.

«Автору нечего было много заботиться о выборѣ матеріаловъ для задуманнаго имъ содержанія: они были на лицо передъ его глазами. Тутъ есть и безнравственность модныхъ женщинъ, извиняющихъ свое дурное поведеніе неудачнымъ бракомъ, тутъ есть матеріализмъ, превращающій чувственные наслажденія въ основной догматъ жизни, тутъ добываніе разныхъ преимуществъ и

выгодъ по службѣ безъ всякихъ заслугъ и уваженія къ общественнымъ интересамъ, тутъ хилый индифферентизмъ и безучастіе ко всѣмъ общепольнымъ дѣламъ, ко всѣмъ высшимъ задачамъ жизни вслѣдствіе не осуществившихся идеаловъ юности и утопическихъ теорій, тутъ пошлая и мелкая игра самолюбія у людей, считающихъ себя передовыми умами, одержимыхъ духомъ нетерпимости и неуваженія къ умственному достоинству, мнѣніямъ и трудамъ другихъ, у людей, замѣняющихъ правдивую и честную опѣнку ихъ (?) школьнымъ глумленіемъ, которое выдается за остроуміе; но тутъ также есть благородная и просвѣщенная готовность жить и дѣйствовать для общества въ духѣ его новыхъ потребностей, стремленій и интересовъ, готовность, преграждаемая сторонниками противоположныхъ мнѣній и клеветой,—словомъ, тутъ есть все, чего бы не должно быть и чего, казалось бы, можно избѣжать, но что не избѣгается въ текущемъ ходѣ дѣлъ человѣческихъ».

Сейчасъ видно академика, и именно по отдѣлу российской словесности. Простому смертному ни въ жизнь такъ не написать, особенно теперь, когда секретъ хорошаго стиля совершенно затерянъ. Но академикъ академикомъ, а больше всего меня порадовало увѣреніе академика, что въ комедіи г. Минаева есть *все*, чего бы не должно быть, но что существуетъ, а также все, что должно быть. Последнее академикомъ Никитенкой нѣсколько упущено изъ виду въ окончательной формулѣ *всею*. Но что же такое благородная и просвѣщенная готовность жить и дѣйствовать для общества въ духѣ и т. д.? Какъ бы то ни было, но, очевидно, въ комедіи есть и положительные, и отрицательные типы. Значитъ, я могу попробовать на ней свои силы въ дѣлѣ отличенія первыхъ отъ послѣднихъ. Такъ рассуждалъ я, читая этюдъ г. Никитенко, и уже потиралъ руки въ ожиданіи своего собственнаго этюда. Увы! я только приближался къ сознанію своей безпомощности!

«Въ нелогичности всего, что происходитъ между людьми изображаемаго авторомъ момента, чувствуешь присутствіе какой-то неотразимой исторической логики вещей и утѣшаешься мыслью, что все это наносное, несущественное, временное, что оно пройдетъ и настанетъ лучшая пора жизни, обновленной и вызрѣвшей въ тревогахъ и броженіи перерождающейся общественности. Авторъ ясно выражаетъ эту мысль въ словахъ Балкапина на вопросъ его жены: гдѣ же люди?

Быть можетъ (отвѣчаетъ онъ), въ колыбели.

У нихъ еще нѣтъ силъ, но племя ихъ растетъ;

Другое поколѣніе придетъ
 Къ завѣтной и желанной нашей цѣли.
 Вотъ будущее чье! И тамъ, гдѣ видимъ мы
 Глубокій иракъ, которымъ жизнь гнетется,
 Тамъ солнце лучезарное зажжется
 Для поколѣній новыхъ въ царствѣ тьмы
 И ихъ зальетъ потокомъ свѣта.
 Да, будущее ихъ, а наша пѣсня спѣта.

Утописты могутъ осуждать послѣднія слова; но Балкашинъ, какъ и нѣкоторые другіе изъ дѣятелей, не достигшихъ еще предсмертнаго возраста, могутъ повторять эти слова искренно, не опасаясь за лучшее будущее и не сѣтуя о томъ, что имъ не дано устроить. Довольно, если они честно и разумно пролагали къ нему путь».

Опять слогъ превосходный, хороши и мысли. Но я не понимаю, отчего, именно, «недостигшіе предсмертнаго возраста» могутъ повторить приведенныя слова Балкашина. Мнѣ кажется, напротивъ, что «достигшіе» имѣютъ на это даже нѣсколько большее право, чѣмъ Балкашинъ, которому только «за 30 лѣтъ», какъ говоритъ самъ авторъ комедіи. Почему, въ самомъ дѣлѣ, семидесятилѣтній, восьмидесятилѣтній старикъ не можетъ сказать: наша пѣсня спѣта? Тутъ, очевидно, какое-то недоразумѣніе, вполнѣдствіи, между прочимъ, помѣшавшее мнѣ написать задуманный этюдъ. Но это обнаружилось только вполнѣдствіи, а пока этюдъ г. Никитенко только подзадоривалъ меня, придавалъ мнѣ храбрости. Да и какъ не расхрабриться?

«Разсматривая пьесу со стороны ея построения, нельзя не замѣтить, что ей недостаетъ фактическаго единства или того, что называется узломъ, завязкою драмы, нѣтъ опредѣленнаго видимаго центра, около котораго группировались бы и къ которому бы тяготѣли дѣйствующие лица... Вообще, дѣйствующие лица обозначены не стремленіемъ достигать какой-либо опредѣленной цѣли, относящейся къ общему ходу драмы, а выраженіемъ ихъ страстей, ихъ внутренняго настроенія. Это скорѣе галерея портретовъ, замѣчательныхъ не только по сходству ихъ съ оригиналами, но и по искусной технической отдѣлкѣ, чѣмъ созданіе, имѣющее свое начало, середину и конецъ. Но, тѣмъ не менѣе, въ драмѣ есть другое, внутреннее единство идеи, въ чемъ, кажется, нельзя сомнѣваться, послѣ сказаннаго нами выше».

О, конечно, послѣ сказаннаго нами выше сомнѣваться не въ чемъ, ни даже въ возможности созданія безъ начала, середины и конца. Я очень радъ, что созданіе г. Минаева, именно, таково. Начало, середина и конецъ, пожалуй, еще сбили бы меня съ толку. Мнѣ нужны, именно, портреты, которые были бы сходны съ оригиналами и замѣчательны по технической отдѣлкѣ. А портреты г. Минаева, кромѣ того, какъ объясняетъ далѣе академикъ

Никитенко, поражаютъ своей живостью и индивидуальностью. Уже въ такихъ-то портретахъ я сумѣю различить типы положительные и отрицательные! Притомъ же г. Минаевъ составляетъ пріятное исключеніе изъ сонма нынѣшнихъ хитрыхъ и скрытныхъ сочинителей. Онъ простъ и откровененъ. До такой степени простъ и откровененъ, что, перечисляя дѣйствующихъ лицъ комедіи, присоединяетъ краткое описаніе ихъ хорошихъ и дурныхъ качествъ. Напримѣръ, Федя Перовъ и Петя Федоровъ — «темныя личности изъ купеческихъ сынковъ, съ двусмысленной репутаціей сплетниковъ и нѣчто среднее между шулерами и исполнителями шансонетокъ»; или Барскій — «добродушный, размякшій либеральный болтунъ», или Сарматовъ — «одно изъ славныхъ русскихъ лицъ, у котораго наивность близко граничитъ съ цинизмомъ и острое слово замѣняетъ дѣло; поверхностный зубоскалъ изъ самыхъ безопасныхъ; демократъ и въ то же время лежебокъ и бѣлоручка». Такая простота и откровенность положительно необходимы въ наше время всеобщаго забытья и забвенія Гоголя, Грибоѣдова, Островскій нашему брату совсѣмъ не годятся, именно, по недостатку простоты и откровенности. Какъ у нихъ угадываешь, какой человѣкъ Держиморда, или Сквозникъ-Дмухановскій, или Фамусовъ, или Торповъ, или Коршуновъ? Положительные это типы или отрицательные? Богъ ихъ знаетъ! Подробныхъ объясненій эти писатели не даютъ, а если и даютъ, такъ лучше бы не давали, потому что объясненія ихъ даже за насмѣшку можно принять. Гоголя, напримѣръ, спрашивали, отчего у него въ «Ревизорѣ» ни одного честнаго лица нѣтъ, а онъ отвѣчалъ, что честное лицо есть, именно — «смѣхъ». Развѣ это отвѣтъ, а не насмѣшка надъ человѣкомъ, имѣвшимъ несчастье или счастье забыть? Нѣтъ, чтобы написать: Хлестаковъ — легкомысленный и пустой молодой человѣкъ, большой хвастунъ, ревизоромъ его никто не посылалъ, съ министрами онъ въ карты не игралъ никогда; онъ все вретъ, увлекается своимъ враньемъ и проч. Словомъ, нововведеніе г. Минаева должно быть усвоено всѣми современными писателями. Самому же ему слѣдуетъ вести начатое дѣло до конца и въ будущихъ своихъ произведеніяхъ характеризовать дѣйствующихъ лицъ еще пространнѣе. Это необходимо. По крайней мѣрѣ для такихъ непомянувшихъ, какъ я, а такихъ, какъ я, легіонъ. Въ самомъ дѣлѣ, кажется бы ужъ не трудно было ориентироваться въ поражающихъ живостью и, главное, индивидуальностью портретахъ «Спѣтой пѣсни». А я и тутъ ничего не могъ, по безпамятству, конечно, сообразить. Сначала я дѣлалъ слѣдующіе опыты. Попросилъ одного

приятеля читать мнѣ на удачу по нѣсколькимъ строкъ изъ разныхъ мѣстъ комедіи, а я долженъ былъ отгадывать, кому изъ дѣйствующихъ лицъ принадлежать прочитанныя слова. Я былъ увѣренъ, что не сдѣлаю ни одного промаха. А вышло вотъ что.

Приятель читаетъ:

Надежды прежде подавалъ,
Теперь же подаю платки своей супругѣ.

Я говорю: Сарматовъ, потому что онъ острякъ и зубоскаль. Оказывается, угадалъ. Хорошо.

Хоть разорвись на нѣсколько частей
И нѣсколько участковы!

Опять-таки Сарматовъ. Тотъ же пошибъ остроумія. — Оказывается, вздоръ. Это острить не Сарматовъ, а докторъ. Ну, дѣлать нечего. Дальше.

Тѣ, у которыхъ шея коротка,
И жить должны на свѣтѣ покороче.

Гм! Кажется, опять Сарматовъ, а, можетъ быть, впрочемъ, и докторъ, онъ тоже остроумецъ, да и какъ будто около медицины разговоръ вертится. — Вздоръ: пьяница Пояровъ.

Да, пожинать плоды своихъ заботъ,
Работать съ пользой, съ толкомъ, намъ приятно,
Но проливать, безъ всякой пользы потъ,
Ей-Богу, только неопратно.

Ну ужъ это навѣрное Сарматовъ, у котораго острое слово замѣняетъ дѣло, а наивность близко граничитъ съ цинизмомъ. А если не Сарматовъ, такъ либо докторъ, либо пьяница Пояровъ. — Увы! опять вздоръ. Это говорить Любочка...

Этотъ рядъ ошибокъ меня сильно обезкуражилъ. «Этюдъ», казалося, былъ такъ близокъ, такъ возможенъ, — и вдругъ не могу отличить Любочки отъ пьяницы Поярова, хотя оба они въ платѣ! — на одной юбка, на другомъ панталонны. Однако, я не съ разу сдался. Я рѣшилъ, что по нѣсколькимъ строкамъ далеко не всегда можно отличить стараго пьяницу отъ молодой хорошей дѣвушки. И тотъ, и другая могутъ острить, даже въ одномъ и томъ же стилѣ острить, и все-таки быть вполне живыми и индивидуальными фигурами. Надобно иначе взяться за дѣло. Надо выбрать, руководствуясь простыми и откровенными рекомендаціями автора, завѣдомо положительный типъ и изучить его, а тамъ и выяснится, въ чемъ состоитъ современный положительный типъ вообще. Но и тутъ бѣда. Вполнѣ положительный типъ въ «Спѣтой пѣснѣ», кажется, одинъ Балкашинъ (рифмуется съ «гражданинъ»), и какъ нарочно по

отношенію къ нему авторъ необычайно кратокъ. О немъ только и значится, что «Балкашинъ, Петръ Николаевичъ, общественный дѣятель; за 30 лѣтъ». Характеристика не только краткая, но даже нѣсколько предательская. Признаюсь, такой двусмысленности я не ожидалъ отъ простого и откровеннаго г. Минаева. Общественный дѣятель! Самая напыщенность этой клички свидѣтельствуетъ о нѣкоторомъ вложенномъ въ нее ехидствѣ. Слово, конечно, очень хорошее, въ своемъ родѣ не хуже «этюда», но какое-то оно непонятное, сбивчивое. Передъ «Спѣтой пѣсней» г. Минаевъ написалъ комедію «Либераль». Тоже, вѣдь, очень хорошее слово; а либераль-то вышелъ чуть-что не мазурикъ. Нѣтъ ли и въ «общественномъ дѣятелѣ» какого-нибудь подвоха? Какъ досадно, что я ничего не помню. Пожалуй, кое-что и помню, но ужъ очень смутно. Общественный дѣятель... дѣйствуетъ въ обществѣ... дѣйствуетъ на общество... дѣйствуетъ для общества... Да, есть такое что-то... Ба! да это г. Колупановъ! Такъ, такъ, вспомнилъ! Онъ и ссудо-сберегательныя товарищества устраиваетъ, и безпристрастно изслѣдуетъ направленіе сибирской желѣзной дороги, и книжки о народномъ кредитѣ пишетъ. Такъ, такъ. Вотъ тоже г. Деллавось, г. Губонинъ тоже. Ну, вотъ.

Въ «Спѣтой пѣснѣ» адвокатъ Иваницкій говоритъ:

Меня къ себѣ влечетъ задача высшей доли:

Общественнаго дѣятеля поле,
Общественнаго блага торжество,
То славное, гуманное призванье,
Гдѣ человѣкъ не для себя живетъ,

Но самъ въ себѣ таитъ народное сознанье,
И чувствуетъ, что въ немъ нуждается народъ,
Народъ забытый, слабый, безответный...

Но Иваницкій это говоритъ съ плутовскими намѣреніями, онъ рисуется, тогда какъ Балкашинъ совершенно искренно и серьезно объясняетъ:

Я слишкомъ много жилъ, живу до этихъ поръ
Не для себя и отдаю всѣ силы:
И умъ, и знанья всѣ, и молодой задоръ
Общественному дѣлу. До могилы,
Чѣмъ жизнь бы ни пугала, мнѣ грозя,
Я такъ пойду впередъ путемъ своимъ обычнымъ

Ну, конечно, Балкашинъ типъ положительный. Буду его изучать.

Балкашинъ, какъ его рекомендуетъ Сарматовъ, уменъ, красивъ, начитанъ, честенъ и пользуется «громадною извѣстностью», такъ что его портретъ печатается даже въ «Иллюстраціи». Послѣднее есть уже вполнѣ несомнѣнный признакъ героя положительнаго типа. На страницы «Иллюстраціи» попадаютъ, конечно, исключительно тѣ, кто «въ самомъ себѣ таитъ народное сознанье», кто живетъ не для себя и отдаетъ всѣ силы

общественному дѣлу. Это я, впрочемъ, больше по соображенію заключаю, а хорошенько не помню, чьи портреты въ «Иллюстраціи» печатаются. Надо будетъ посмотрѣть. Помню только шаха персидскаго, да ташкентскаго романиста г. Каразина, но есть тамъ, конечно, и другіе общественные дѣятели.

Общественный дѣятель является на сцену съ нѣкоторой помпой. Онъ пріѣзжаетъ изъ Петербурга въ провинцію къ старому приятелю князю Сарматову. О себѣ онъ докладываетъ:

Отъ всѣхъ заботъ, отъ всѣхъ условныхъ формъ
Поденнаго труда я сорвался, какъ съ цѣпи
И полетѣлъ, на отдыхъ въ глушь и степи,
Сюда, въ провинцію, къ вамъ, на подножный кормъ.

Жена Сарматова Вѣра оказывается старою любовною общественнаго дѣятеля. Она не прочь возобновить старыя отношенія, но общественный дѣятель не согласенъ. Между прочимъ, онъ случайно подслушиваетъ разговоръ Ѳеоді Петрова и Пети Ѳеодорова, которые сплетничаютъ про княгиню Сарматову и перечисляютъ ея любовниковъ. Общественный дѣятель раздражается по этому случаю такимъ монологомъ:

Вотъ какъ распространенъ ея позоръ!
И еслибъ самъ я въ немъ не убѣдился,
То стелъ бы язвкой, черной клеветой
Столь дружный приговоръ общественнаго мнѣнія.

И проч. Общественный дѣятель влюбляется въ сестру Вѣры Любочку, женится на ней. Любочка открываетъ пансіонъ. Общественный дѣятель занимается общественной дѣятельностью. Но, хотя портретъ общественнаго дѣятеля и напечатанъ въ «Иллюстраціи» съ дозволенія цензуры, самъ онъ оказывается человѣкомъ нецензурнымъ. Онъ читалъ какія-то лекціи, но, какъ говорить онъ самъ, эти лекціи

Скончались. На уступки
Я не пошелъ, чтобъ воду не толочъ
Мнѣ въ аудиторіи, какъ въ ступкѣ.

Сарматовъ предлагаетъ: «ну, такъ перомъ вооружись опять». Общественный дѣятель отвѣчаетъ:

Пиши и тутъ пропало,
И отъ меня открещиваться стала,
Какъ отъ чумы, вся жалкая печать,
Гдѣ слово смѣлое встрѣчается все рѣже,
Гдѣ мнѣнью общества пустились заправлять
Исправники и становые тѣ же.

Вмѣстѣ съ тѣмъ родители одинъ за другимъ берутъ своихъ дѣтей изъ пансіона Лю-
Соч. н. к. михайловскаго, т. II.

бочки, единственно потому, что она жена общественнаго дѣятеля. Въ довершеніе всего, на общественнаго дѣятеля поступаетъ какой-то доносъ и онъ куда-то уѣзжаетъ, проговоривъ, однако, предварительно нѣсколько трескучихъ монологовъ, которые выписывать скучно и маленькій образчикъ которыхъ приведенъ въ отчетѣ академика Никитенко (...«да, будущее—ихъ, а наша пѣсня спѣта»)...

Въ пьесѣ есть очень много другихъ хорошихъ вещей, но онѣ мнѣ не нужны, потому что мало касаются общественнаго дѣятеля, Балкашина, положительнаго типа... Гм! Положительный типъ... Все-таки меня беретъ раздумье: ну, какъ да это вовсе не положительный типъ, а просто тряпича и фразеръ? Вѣдь, можетъ быть, и г. Никитенко не безъ умысла сказалъ въ своемъ отчетѣ, что въ «Спѣтой пѣснѣ» есть *все*, чего бы *не должно* быть на бѣломъ свѣтѣ? Можетъ быть и Балкашинъ не долженъ бы былъ существовать, можетъ быть это типъ отрицательный, и въ лицѣ его авторъ громить, на примѣръ, надутое легкомысліе? Кажется, можно допустить и такое толкованіе. Въ самомъ дѣлѣ, подслушавъ разговоръ Пети Ѳеодорова и Ѳеоді Петрова, которыхъ самъ авторъ пространно рекомендуетъ: «темныя личности изъ купеческихъ сынковъ, съ двусмысленной репутаціей сплетниковъ и нѣчто среднее между шуллерами и исполнителями шансонетокъ»; подслушавъ разговоръ такихъ дрянныхъ людишекъ (при пространной рекомендаціи автора и я могу понимать, что это негодяи), Балкашинъ восклицаетъ: «вотъ какъ распространенъ ея (Вѣры) позоръ!» я долженъ вѣрить «столь дружному приговору общественнаго мнѣнія!» Въ моемъ положеніи непомнящаго трудно, конечно, разсуждать о томъ, что такое общественное мнѣніе. Но все-таки болтовня двухъ сплетниковъ и шуллеровъ, кажется, не составляетъ дружнаго приговора общественнаго мнѣнія. Я забылъ, какое именно число негодяевъ для составленія такого приговора нужно, но два негодяя... нѣтъ, этого мало. Положительно мало, такъ что весьма вѣроятно, что авторъ здѣсь зло осмѣялъ неосновательность общественнаго дѣятеля. Но если Балкашинъ имѣетъ такое неосновательное понятіе объ общественномъ мнѣніи, то какой же онъ общественный дѣятель? Положимъ, эпизодъ съ Вѣрой Сарматовой не важенъ, да и вышло, кромѣ того, случайно, что дрянные людишки Ѳеоді Петровъ и Пети Ѳеодоровъ говорили правду. Но тѣ же критическіе приемы, которые обнаружены въ этомъ случаѣ Балкашинымъ, будучи приложены къ фактамъ, болѣе важнымъ и сложнымъ, могутъ ввести его въ весьма странныя и вредныя

для его общественной дѣятельности заблужденія. Балкашинъ, между прочимъ, и писатель. Предположимъ, что онъ произвелъ на свѣтъ сатирическую комедію, за которую его полтора плохихъ критика произвели чуть не въ Грибоѣдова. Онъ скажетъ, что не можетъ противиться «столь дружному приговору общественнаго мнѣнія» и начнетъ плодить плохія комедіи, тогда какъ могъ бы съ гораздо большею пользою для своихъ литературныхъ профессіонъ «подальше выбрать закоулокъ». Очевидно, это фактъ печальный, а онъ непремѣнно долженъ случиться при тѣхъ неосновательныхъ понятіяхъ объ общественномъ мнѣніи, которыя имѣетъ общественный дѣятель. Нѣтъ, Балкашинъ рѣшительно отрицательный типъ. Это видно и изъ того его монолога, который, по словамъ академика Никитенко, имѣетъ право сказать общественный дѣятель, не достигшій предсмертнаго возраста. Съ какой стати можетъ быть слѣта пѣсня тридцатилѣтняго человѣка? Послѣ этого и младенецъ въ утробѣ матери начнетъ пищать: наша пѣсня слѣта! Можно, конечно, возразить, что общественный дѣятель не добровольно прекращаетъ свою дѣятельность, а уѣзжаетъ въ мѣста отдаленныя или не столь отдаленныя, въ которыхъ нѣтъ мѣста никакой общественной дѣятельности. Если такъ, то его пѣсня, по всей вѣроятности, слѣта. Но зачѣмъ же ему вести въ такомъ случаѣ столь неподходящія, хотя и звонкія рѣчи:

Мы труженики только—и не намъ
Широкою программой задаваться;
Не намъ, черноработнымъ, суждено
Окончить лишь заложенное зданье.

Общественный нашъ бытъ построенъ начерно
И не одно еще увидитъ колебанье.
Врасплохъ къ намъ ворвался наплывъ чужихъ
идей,

Блистательныхъ, высокихъ, плодотворныхъ,
Гораздо ранѣе готовыхъ къ нимъ людей.
Въ хаосѣ темныхъ силъ, зловѣщихъ и упорныхъ,
Ждутъ всюду насъ помѣхи и вражда
Невѣждъ обиженныхъ, вралей и ренегатовъ,
Измѣнниковъ, враговъ свободного труда,
Предателей, лжецовъ и либеральныхъ фатовъ.

И силою табунной ихъ орда
Еще страшна. Живою небылицей
Они считаютъ насъ и, съ холодомъ въ крови,
Уставшіе равно отъ злобы и любви,
Мы бродимъ, какъ чужіе, за границей.
А дома—будто сами не свои.

Ахъ, какой неосновательный человѣкъ! Уѣзжаетъ въ мѣста не столь отдаленныя и по *этому случаю* трактуетъ о томъ, что къ намъ ворвался наплывъ блистательныхъ, высокихъ, плодотворныхъ идей гораздо ранѣе готовыхъ къ нимъ людей! Я бы понялъ, если бы онъ по этому случаю просто молчалъ, понялъ бы даже, если бы на этомъ мѣстѣ въ комедіи была бѣлая страница. Но такъ болтать можетъ только тряпича и фразеръ...

Оборвавшись на «Слѣтой пѣснѣ», я, однако, не могъ отказаться отъ задуманнаго этюда. Прочитавъ «Двѣ силы» г. Всеволода Крестовскаго, но и оттуда удалился со срамомъ. Въ романѣ дѣйствуютъ коварные, подлые, наглые поляки. Это, конечно, не положительные типы. Дѣйствуетъ еще прямодушный, благородный, скромный русскій офицеръ Хвалынцевъ. На него я возлагалъ большія надежды. Но когда я увидѣлъ, что весь романъ пока въ томъ только и состоитъ, что коварные, подлые и наглые поляки постоянно увлекаютъ и надуваютъ прямодушнаго, благороднаго и скромнаго Хвалынцева, то убѣдился, что послѣдній, при всѣхъ своихъ высокихъ душевныхъ качествахъ, необыкновенно глупъ, а глупый человѣкъ, конечно, въ положительные типы не годится. Что же касается г. Всеволода Крестовскаго, то не могу не отмѣтить въ своемъ дневникѣ, что это человѣкъ необыкновенно памятливый, — большая рѣдкость въ наше время. Онъ помнитъ рѣшительно все, что писалъ тотчасъ вслѣдъ за польскимъ возстаніемъ, и аккуратно переписываетъ все, имъ въ то время написанное. Ничего другого онъ и знать не хочетъ. Это не мѣшаетъ, однако, мнѣ соглашаться съ мнѣніемъ критика «Русскаго Мира», что г. Всеволодъ Крестовскій есть писатель гениальный.

Существуетъ, однако, писатель, еще болѣе гениальный. Это г. Болеславъ Маркевичъ. Онъ издалъ въ нынѣшнемъ году два своихъ романа «Забытый вопросъ и «Марина изъ Алаго Рога» подъ общимъ заглавіемъ «На поворотѣ». Уже одно это заглавіе «На поворотѣ» подало мнѣ нѣкоторыя надежды, что здѣсь-то я и найду матеріалъ для этюда о положительныхъ типахъ: на поворотѣ назадъ, вправо, влево, конечно, всего удобнѣе могутъ помѣститься положительные типы. Предчувствіе не обмануло меня. И если я этюда все-таки не написалъ, то по совѣсти не могу въ томъ винить г. Маркевича. Это ужъ просто такая моя несчастная звѣзда. Когда я читалъ «Марину изъ Алаго Рога», все шло прекрасно, черточки положительнаго типа подбирались одна къ другой, онъ уже выяснился мнѣ во весь свой могучій ростъ, какъ вдругъ мнѣ пришелъ въ голову мотивъ изъ «Дочери рынка»:

Elle est tellement innocente,
Qu'elle ne comprend presque rien...

Обстоятельство само по себѣ совершенно пустое. Однако, какъ въ баснѣ ничтожный, но неотвязный комаръ побѣдилъ могучаго льва, такъ и этотъ ничтожный мотивъ совершенно обезобразилъ тотъ грандіозный положительный типъ, который складывался передъ моими глазами, благодаря г. Маркевичу. Я отгонялъ отъ себя этотъ проклятый

мотивъ, старался сосредоточиться... Ничто не помогало. Такъ и бросить. Однако, нѣкоторые намеки на одинъ изъ положительныхъ типовъ я все-таки успѣлъ извлечь изъ «Марини изъ Алаго Рога». Повидимому, это человѣкъ, ровно ничего не понимающій, ровно ничего не дѣлающій, не умѣющій и не могущій ничего дѣлать, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, необычайно изящный, производящій своимъ изяществомъ неотразимое впечатлѣніе на дамъ и въ задумчивости мотающій головой «справа налѣво». Таковъ герой романа, графъ Владимиръ Алексѣевичъ Завалевскій... Ахъ, если бы не этотъ несносный мотивъ изъ «Дочери рынка»:

*Elle est tellement innocente,
Qu'elle ne comprend presque rien...*

Странное, однако, дѣло: этотъ самый мотивъ не помѣшалъ мнѣ извлечь, по части положительныхъ типовъ, гораздо больше изъ второго романа г. Маркевича, изъ «Забытаго вопроса». А между тѣмъ, при чтеніи его, меня не оставлялъ въ покоѣ не только этотъ мотивъ, а и «Морозко», т. е. сказка о Морозѣ-красномъ носѣ, записанная у меня въ дневникъ въ прошлый разъ. Холодно, что-ли, у меня въ комнатѣ было, только когда я читалъ «Забытый вопросъ», передо мной ежеминутно вставалъ самодуръ Морозко, шелкающій, леденящій своимъ дыханіемъ безвинную дѣвушку и съ издѣвкой пристающій къ ней: тепло ли те, дѣвица, тепло ли те, красная, тепло ли те, лапушка? И еще холоднѣе становилось въ моей комнатѣ при появленіи этого чудовища, я насила перо въ рукахъ держалъ и радъ былъ радехонекъ, когда въ головѣ моей шевелился ненавистный мнѣ до тѣхъ поръ мотивъ:

*Elle est tellement innocente,
Qu'elle ne comprend presque rien...*

Жилъ былъ на свѣтѣ Герасимъ Ивановичъ Лубянский, человѣкъ умный, красивый, богатый, словомъ, женихъ хоть куда, только нѣсколько черезчуръ страстный. Увидалъ онъ однажды въ церкви шестнадцатилѣтнюю дѣвочку Любочку, красавицу писаную. Увидалъ и влюбился, да такъ влюбился, что въ первый же свой визитъ къ ея матери (отецъ Любочки ужъ умеръ) посватался. Мать дала слово за дочь, тѣмъ Лубянский и удовольствовался. Но Любочка, узнавъ, что ее хотятъ выдать за человѣка, котораго она никогда не видала и который видѣлъ ее разъ въ церкви, упала въ обморокъ и вообще нѣсколько уперлась; однако, мать настояла на своемъ: Любочка стала Любовью Петровной Лубянской. Надо замѣтить, что какъ разъ противъ окна Любочки, когда она еще была Любочкой, жилъ какой-то студентъ, который все смотрѣлъ на нее въ зрительную трубу.

Между молодыми людьми не только не было чего-нибудь мало-мальски серьезнаго, но даже ни одного разговора не было. Но Любочкина мать почему-то сочла нужнымъ разсказать Лубянскому, что вотъ, молъ, смотрѣлъ студентъ въ зрительную трубу. Лубянский вскипятился и чуть-чуть не зарѣзалъ студента. Житѣе пошло у супруговъ неладное. Лубянский былъ страшно ревнивъ и ревновалъ безъ малѣйшаго повода. Онъ Любовь Петровну, «какъ еще женихомъ былъ, запугалъ до смерти своей ревностью и ласками своими запугалъ потомъ», своей «африканскою страстью». Войдетъ онъ къ ней въ спальню, сядетъ около постели: «Говори мнѣ, Любочка, не томи мою душу, кого ты любишь?» Она молчитъ. «Я знаю, говоритъ онъ опять, а самъ блѣдный, въ лицѣ измѣнится,—знаю, меня ты не любишь и не любила никогда, но не для всѣхъ же сердце твое плита могильная! Я все вижу, знаю, въ тебя влюбленъ тотъ-то, вотъ этотъ, говори, кого ты любишь, кого?» Глаза у него загорятся, дрожитъ самъ...

Тепло ли те, дѣвица, тепло ли те, красная?..

Попытается иногда Любочка оправдываться. Лубянский изъ себя выходитъ: «Ты обманываешь меня, ты змѣя, кричишь, изъ рукъ моихъ выскользнуть хочешь!» Другой разъ не выдержитъ она, заплачетъ. Онъ въ ноги ей повалится: «Скажи, говоритъ, что мнѣ дѣлать! стѣны развѣ головой ломать, чтобы ты меня полюбила!» Любовь Петровна все это переносила, и чуть-чуть не отвѣчала своему мучителю: тепло, батюшка, тепло, Морозушко! Она предлагала ему перестать бывать въ обществѣ, сказаться больной, никого не принимать и, слѣдовательно, весь вѣкъ сидѣть съ нимъ, нелюбимымъ Герасимомъ Ивановичемъ Лубянскимъ. Онъ не хотѣлъ этого: «Я, говоритъ, жертвъ отъ тебя не приму; что тебѣ за радость жить съ глазу на глазъ со мной. Я, говоритъ, и такъ уже загубилъ твою молодость». Пробовала Любовь Петровна объясняться на чистоту: «Послушайте, чего вы хотите отъ меня? я никого не люблю и вамъ покорна; другого и требовать отъ меня нельзя, потому той любви, какой вы хотите, я не пойму никогда; видно, ужъ уродилась я на свѣтѣ такая непонятная. Гдѣ же мнѣ взять для васъ того, въ чемъ мнѣ Богомъ отказано? Вы говорите, что мучитесь черезъ меня. Можетъ, это и правда; не знаю, изъ-за чего, а вижу только, что изъ-за этого и я покою не имѣю. Позвольте мнѣ уѣхать къ сестрѣ; безъ меня вамъ, Богъ дастъ, полегчитъ. Вы, можетъ, еще найдете себѣ счастье; вы забудете меня, а, можетъ, еще найдете женщину, которая полюбитъ васъ такъ, какъ вы себѣ желаете

и какъ я не умѣю любить ни васъ, никого на свѣтѣ». Такъ нѣтъ, не соглашался онъ. Упадеть въ кресло, закроетъ лицо руками: «нѣтъ, говорить, разстаться съ тобой я не могу! видно, доля ужъ моя такая несчастливая, пропадать безнадежно у твоихъ ногъ!»

Прожили такъ, супруги лѣтъ шестнадцать, семнадцать то въ Петербургѣ, то въ деревнѣ, то за границей. За это время произошли въ ихъ жизни три важныя событія. Во-первыхъ, у нихъ родился сынъ Вася. Во-вторыхъ, Герасима Ивановича хватилъ ударъ, лишившій его употребленія языка и ногъ. Въ третьихъ... но третье событіе и составляетъ романъ, а потому къ нему надо подойти съ нѣкоторою пространностью.

Вотъ какъ описываетъ свою встрѣчу съ Лубянскимъ лицо, отъ имени котораго ведется рассказъ: «Въ креслѣ о двухъ колесахъ, уложенномъ подушками, сидѣлъ, въ большой соломенной шляпѣ, довольно тучный человѣкъ, лѣтъ сорока пяти, съ почти прозрачнымъ, отекившимъ лицомъ и ногами, закутанными до пояса въ большое шерстяное одѣяло. Блѣдныя, опухшія руки лежали безъ движенія на его колѣняхъ. То былъ отецъ Васи. Старый слуга, какъ лунъ сѣдой, нагнувшись къ травѣ, набиралъ резеды и маргаритокъ и очень искусно подвязывалъ ихъ къ пышному букету изъ розъ и душистаго горошка. Глаза больного прилежно слѣдили за его работой. То были большіе, темные, странные глаза. До сихъ поръ не могу забыть ихъ необычайнаго выраженія. Какъ въ надписи, случайно сохранившейся всецѣло на обрушенномъ памятникѣ, въ нихъ сосредоточивалась, казалось, вся жизнь, весь смыслъ жизни, покинувшей это омертвѣлое тѣло. Въ глубокой впадинѣ ихъ горѣли зоркіе, подвижные зрачки и въ нихъ говорила скорбная, но не изсякнущая и дѣятельная мысль».

Вася отрекомендовалъ автора своему отцу. «Блѣдныя губы больного зашевелились, послышался какой-то смутный лепетъ, прошипѣли надорванные, безсмысленные звуки и тотчасъ смолкли. Безобразная складка, что-то похожее на отчаянную, безнадежную улыбку искривило эти безсильныя уста. Но чудесные глаза сказали свое. Они обнимали однимъ нѣжнымъ взглядомъ и меня, и Васю; они такъ явственно говорили мнѣ: «да, я вижу, ты добрый; полюби же моего Васю!» Я отвернулся, боясь заплакать.—Дай ему руку; онъ хочетъ, чтобы ты ему руку далъ! шепнулъ мнѣ Вася. Больной не покидалъ меня глазами. Дрожащіе пальцы его правой руки слабо певелились, какъ бы ища чего-то. Я взялъ эту бѣдную, немощную руку и, повинаясь неудержимому влеченію, прильнулъ къ ней губами».

Букетъ изъ розъ и душистаго горошка,

за которымъ слѣдили чудные глаза Герасима Ивановича, предназначался для Любови Петровны. Этотъ жалкій, изувѣченный человѣкъ, лишенный способности говорить и ходить, этотъ даже не человѣкъ, какъ выражаются о немъ нѣкоторыя дѣйствующія лица романа, все еще любилъ свою жену и даже не безъ прежней «африканской страсти». Во всякомъ случаѣ онъ ее ревнуетъ попрежнему и считаетъ, что она есть его, мучителя и калѣки, собственность. Африканская страсть въ такомъ изможденномъ тѣлѣ... Это очень, очень хорошо придумалъ г. Маркевичъ. Эта черта очень освѣщаетъ всю драму. Любови Петровнѣ уже тридцать три года, но она очень моложава и попрежнему красавица. Она это очень хорошо знаетъ...

Тепло ли те, красная? тепло ли те, лапушка?

Съ этимъ именно вопросомъ обращается судьба ежеминутно къ Любови Петровнѣ. И вдругъ... вдругъ она осмѣливается отвѣчать на этотъ вопросъ не: тепло, батюшка, тепло Морозушко!—а на манеръ грубой старухиной дочки! Она, жена безумнаго ревнивца, который взялъ ее, не спросивъ ея, который терзалъ ее всю жизнь, она осмѣливается говорить такія рѣчи: «Я знаю, говорить, мнѣ слово сказать, улыбнуться ему стоитъ, и онъ себя счастливымъ царя почитать будетъ... но я не могу, всѣмъ святымъ клянусь, не могу! Только услышу, идетъ онъ изъ другой комнаты, и всѣ обѣты мои сгинули, пропали; языкъ мой сохнетъ, вся кровь отливаетъ къ сердцу. Когда онъ беретъ меня за руку, когда поцѣловать меня хочетъ, я чувствую, какъ вся я какъ ледъ становлюсь, и онъ точно тогда прижимается къ груди своей мраморную плиту, какую кладутъ на могилы». Какова дерзость! Но этого мало: она, жена калѣки, одолимаемаго африканскою страстью (какой букетъ!), осмѣливается восклицать: «нѣтъ еще, слава Богу, такой власти, которая могла бы помѣшать мнѣ думать,—думать и страдать и проклинать мою жизнь!» И еще: «мужъ... онъ даже не человѣкъ теперь... а когда былъ имъ, онъ свое взялъ! Дайте же и мнѣ мою долю счастья, вѣдь и я тоже божіе созданіе, и я имѣю право желать не умереть безъ того, чтобы и мнѣ посвѣтило солнце хоть на одно мгновеніе»...

И вотъ совершилось третье событіе въ жизни супруговъ Лубянскихъ. Любовь Петровна встрѣтила «умнаго, замѣчательно умнаго и благороднаго» гусарскаго офицера, барона фонъ-Фельзенъ. Не въ томъ дѣло, дѣйствительно ли умный и благороденъ баронъ Фельзенъ,—г. Маркевичъ родилъ что могъ,—важно, что такимъ его считаетъ Любовь Петровна. А рядомъ—мучитель и калѣка... И Любовь Петровна, забывъ свой долгъ

осмѣлилась, послѣ долгой, правда, борьбы, полюбить «умнаго, замѣчательно умнаго и благороднаго» красавца! О, такого забвенія долга и приличій даже мы, забывшіе смыслъ слова долгъ, забывшіе все на свѣтѣ и неспособные понимать даже собственные слова, — простить не можемъ. Забвеніе — наша специальность, мы ея никому не уступимъ: либо записывайся въ нашъ цехъ на чистоту, либо помни, помни всю азбуку отъ А до Z и всѣ краткіе начатки морали. Иначе, горе тебѣ! Мы не простимъ. Меньше всѣхъ способенъ простить гениальный г. Маркевичъ. Онъ высылаетъ противъ Любви Петровны сначала добрую и милую тетюшку Анну Васильевну. Та, почтенная старушка, объясняетъ измученной и такъ близко отъ счастья стоящей женщинѣ, что «не счастья намъ надо искать здѣсь, а чтобы только жизнь нашу прожить безъ грѣха»; что «покориться надо»; что на вопросъ Морозки надо отвѣчать: тепло, батюшка, тепло, Морозушко. Но безуміе уже овладѣло Любовью Петровной. Она неспособна понять этой высокой морали. Она грубо отказывается «цѣловать орудіе, которымъ насъ пытаются». Ея понятія о грѣхѣ до такой степени извращены, что она рѣшается сказать: «Грѣхъ ни въ какомъ случаѣ не ляжетъ на мою совѣсть, за него отвѣтять тѣ, кто исковеркали мою жизнь и поставили ее вверхъ дномъ. Вѣдь со мною поступили безжалостно, тетюшка! Коса травы не рѣжетъ, пока она не созрѣетъ, не приметъ своей доли дождя и солнца; меня оторвали отъ куколъ и кинули на жертву какой-то африканской страсти, отъ которой я задыхалась, какъ птица подъ стекляннымъ колпакомъ. И меня же еще упрекали, съ горечью, со злостью упрекали за мою черную неблагодарность къ тому, отъ чего я задыхалась!» И далѣе: «Я думаю, что не грѣхъ это, тетюшка, когда женщина горячо, свято, безкорыстно любить человѣка, умѣвшаго завладѣть ея душой... А вотъ гдѣ грѣхъ и позоръ, и невыносимое мученіе, — а въ этомъ позорѣ и мученіи прошла вся моя молодость, — когда женщина должна отдаваться человѣку, который внушаетъ ей не любовь, а ужасъ и отвращеніе, когда она таится и скрываетъ, и лицемеритъ, — какъ я тамъ сейчасъ у него принуждена была таиться и лицемерила»...

На это почтенная старушка Анна Васильевна весьма резонно отвѣчаетъ: «Не лицемерила ты, Любочка, долгъ ты свой исполняла».

Тепло ли те, красная? тепло ли те, лапушка, отъ этихъ тетюшкиныхъ словъ? А слова чудесныя. Любочка съ отвращеніемъ ласкаетъ своего нелюбимаго мужа и называетъ это лицемеріемъ, тетюшка называетъ это исполненіемъ долга... Кто изъ нихъ правъ? Я не могу судить, я забыть. Но не я одинъ

забылъ. Самая возможность такой проблемы: суть ли ласки, съ отвращеніемъ совершаемыя, лицемеріе или исполненіе долга? — самая возможность постановки такого вопроса показываетъ, что забыть и забвеніе достигли высокой степени и что, быть можетъ, даже самъ гениальный Маркевичъ кое-что забылъ. Но какъ бы я хотѣлъ припомнить! Если бы я припомнилъ, я юпитеровскими громами разгромилъ бы эту жену мучителя-калѣки сначала за лицемеріе, а потомъ за неисполненіе своего долга. Ея долгъ не ласкать только мужа, а любить, цѣловать орудіе пытки не съ отвращеніемъ, а съ благоговѣніемъ: хоть тресни, а полѣзай!

Но мои юпитеровскіе громаы и не нужны. Любовь Петровну и безъ того достаточно громить. За кроткой Анной Васильевной слѣдуетъ цѣлый рядъ мелкихъ оскорбителей и мстителей за идею долга. О нихъ не стоитъ упоминать, потому что они малы, а есть на сценѣ мститель и оскорбитель крупный, характерный, — сынъ супруговъ Лубянскихъ, шестнадцатилѣтній Вася. Гениальность Болеслава Маркевича выразилась едва ли не всего рѣзче въ образѣ этого маленькаго палача своей матери, маленькаго рыцаря идеи долга супружеской вѣрности, маленькаго, но исполнѣ безнравственнаго блюстителя чистоты нравовъ.

Вася развитъ не по годамъ. Онъ ужъ давно, съ десяти лѣтъ, понимаетъ, какая драма разыгрывается въ его семьѣ, понимаетъ до тонкостей. Онъ знаетъ, что даже въ тѣ періоды, когда его мать, до послѣдней степени напрягая свои душевныя силы, живетъ, по видимому, исключительно для своего калѣки мучителя мужа, что даже въ эти періоды она по малой мѣрѣ «ужасно скучаетъ». Вася знаетъ и говоритъ, что «ей самой... она сама желала бы... но она не можетъ». Но, исполнѣ понимая все это, мальчишка не можетъ допустить, чтобы его мать (моя мать! восклицаетъ онъ) завела себѣ любезнаго, какъ онъ выражается прямо въ лицо матери. «Долгъ каждой матери, — читаетъ онъ лекцію Любви Петровнѣ, — чтобы сыну ея никто не могъ въ глаза бросить, что у него безчестная мать». Этого мало. Вася не добродушная тетюшка Анна Васильевна, которая полагаетъ что притворяться, лицемерить значитъ исполнять свой долгъ. Вася именно требуетъ: хоть тресни, да полѣзай! Онъ не того хочетъ, чтобы его мать, корчась отъ холода и не попадая зубомъ на зубъ, говорила: тепло, батюшка, тепло, Морозушко! Нѣтъ, ему нужно, чтобы мать не корчилась отъ холода, чтобы не тряслась ея челюсть, чтобы ей было дѣйствительно тепло въ 40-градусный морозъ. Съ проникательностью судебного слѣдователя онъ подмѣ-

часть въ матери всякое лицемеріе, всякую фальшь и съ жестокостью инквизитора требуетъ, чтобы лицемеріе и фальшь были замѣнены искреннею любовью. Вася, по собственнымъ его словамъ, «не умѣетъ прощать», но требуетъ, чтобы мать его простила своему мужу всю свою загубленную жизнь и все его варварство съ самаго того времени, какъ онъ изнасиловалъ ее—иначе нельзя назвать сватовства Лубянскаго. «Безгрѣшныя уста Васи» произносятъ тирады изъ Шиллера и твердятъ *die Worte des Glaubens: Богъ, человечество, свобода*. Но какъ онъ, не говоря о прочемъ, понимаетъ свободу! Этотъ щенокъ резонеръ, задолбившій къ шестнадцати годамъ ходячую мораль столь твердо, что самъ г. Болеславъ Маркевичъ торжественно ставитъ ему 5 балловъ, предается такого рода узкимъ, жесткимъ и нелѣпымъ софизмамъ: «Какъ бы ты поступилъ въ такомъ случаѣ, на примѣръ? спрашиваетъ онъ своего, столь же юнаго, друга,—мы вотъ такъ съ тобой, положимъ, подружись, что любимъ другъ друга какъ братья. И вотъ ты встрѣчаешь другого мальчика, который тебѣ вдругъ понравится. Я, твой другъ, это вижу. И не я, а положимъ отецъ твой и мать, которые гораздо для тебя дороже, видятъ это и говорятъ тебѣ: Боря, тотъ, кто тебѣ нравится, не стоитъ, чтобы ты его любилъ, но если бы онъ и стоялъ, знай, что если ты его полюбишь, мы будемъ несчастливы, очень, на вѣки несчастливы! Говори, что бы ты сдѣлалъ тогда?.. Ты бы не захотѣлъ видѣть несчастными близкихъ тебѣ и постарался бы заглушить въ себѣ то чувство, отъ котораго могло бы прійти это несчастье? Такъ вѣдь, такъ?.. И успѣлъ бы, если бы захотѣлъ, лишь была бы твердая воля. А главное то, что ты бы поступилъ такъ, какъ тебѣ слѣдовало, какъ тебѣ Богъ велѣлъ. Не правда-ли?.. Ты былъ бы самъ, можетъ быть, немножко несчастливъ, зато спасъ бы отъ большого несчастья тѣхъ, кто тебѣ долженъ быть всего дороже на свѣтѣ!»

Это говоритъ не человѣкъ, «достигшій предсмертнаго возраста» и начитавшійся произведеній Ивана Камердинерова, а шестнадцатилѣтній мальчикъ, захлебывающійся пламеннею врагомъ ходячей морали и всякой формалистики,—Шиллеромъ... Нѣтъ, кажется, Шиллеръ и Иванъ Камердинеровъ не одно и то же. Шиллеръ началъ «Разбойниками» (съ эпиграфомъ «In Tyrannos!») и кончилъ «Вильгельмомъ Теллемъ». Иванъ Камердинеровъ началъ за здравіе Мороза краснаго носа и кончилъ за упокой замороженной старухиной дочки... Я не помню хорошенько Шиллера, но, кажется, онъ не сказалъ бы, что Богъ велѣлъ женщинѣ любить человѣка, изнасиловавшаго ее. Вообще,

я бы не повѣрилъ, что Вася захлебывается Шиллеромъ, если бы не увѣрялъ въ томъ такой почтенный и умный писатель, какъ г. Маркевичъ...

Elle est tellement innocente,
Qu'elle ne comprend presque rien...

Последняя сцена драмы. Катѣ Лубянской, одолѣваемый африканскою страстью, проводить цѣлыя ночи у окна, выходящаго въ садъ, въ которомъ есть жилой павильонъ: въ этомъ павильонѣ живетъ Любовь Петровна. Однажды ночью Лубянской требуетъ внезапно, —прежде этого никогда не бывало, —чтобы его везли въ его креслѣ на колесахъ въ садъ. Онъ очень взволнованъ и мычитъ что-то неопредѣленное, но привычный слуга понимаетъ, въ чемъ дѣло, и везетъ его. Большой знаками и мычаньемъ объясняетъ, что его надо везти къ павильону: его ревнивый, африканскій глазъ замѣтилъ тамъ подозрительный свѣтъ. Тутъ подвергается одинъ мерзавецъ учитель музыки и вдругъ откидываетъ запертую снаружи ставню павильона. Глазѣмъ Лубянскаго и всей публики открывается освѣщенная внутренность павильона, а въ немъ двѣ фигуры: Любу Петровны и барона Фельзена. Это ихъ первое свиданіе наединѣ, и Лубянской накрылъ ихъ. Съ нимъ дѣлается второй ударъ, сводящій его въ могилу. Затѣмъ происходитъ безобразная, отвратительная сцена между Васей и Любовью Петровной, выдержки изъ которой приведены выше. Потомъ умираетъ и Вася. Любовь Петровна выходитъ за Фельзена, но черезъ годъ умираетъ въ родахъ.

Прошу покорно тутъ отдѣлять козлиныя отъ овецъ, положительные типы отъ отрицательныхъ. Хотя г. Маркевичъ и ставитъ Васѣ 5 балловъ за поведеніе и успѣхи въ наукахъ, но, по моему, это бездушный, глупый, хотя и породистый щенокъ, изъ котораго, если бы онъ не умеръ, выросла бы злая, глупая, хотя и породистая собака. Фельзень... Но Фельзень уменъ и благороденъ ровно на столько, на сколько могъ ему придать эти качества авторъ. Любовь Петровна... Но ее осудили всѣ, да она и помимо того, сама по себѣ очевидно не годится въ положительные типы. Остальные дѣйствующія лица даже едва стоятъ упоминанія: это большею частью очень добродушные, но вмѣстѣ тупые или просто обжорливые люди. Кажется, здѣсь нѣтъ ни положительныхъ, ни отрицательныхъ типовъ, нѣтъ даже, собственно говоря, дѣйствующихъ лицъ. Какъ въ «Ревизорѣ» единственное честное лицо есть «смѣхъ», такъ въ «Забытомъ вопросѣ» единственное дѣйствующее лицо есть innocence, невинность автора...

Elle est tellement innocente,
Qu'elle ne comprend presque rien.

Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго, что, разсказавъ всѣхъ по могиламъ, разсказавъ, какъ погибли всѣ Лубянскіе и Галагаи (Анна Васильевна съ мужемъ), авторъ самолично появляется на сцену и съ торжественностью г. Трахтенберга говорить:

«Минувшее кануло въ вѣчность и не вернется никогда,—но далекій уже призракъ его вызываетъ и по-сейчасъ горькія слова упрека и глумленія въ злобныхъ устахъ. А между тѣмъ все ли въ немъ, по-истинѣ, заслуживало порицанія и ненависти? Не было ли и тамъ, и можетъ быть болѣе, чѣмъ нынѣ, простыхъ и чистыхъ сердецъ, умѣвшихъ горячо откликаться на чужое горе, и жажды блага и (?) добра, и безпредѣльнаго самоотверженія и любви,—той любви «къ человѣку», о которой такъ много хлопочутъ строители «новаго зданія» и которой, увы, такъ мало въ нихъ самихъ? Не изъ этого-ли, наконецъ, черною грязью закидываемаго теперь минувшаго вышли люди, умиравшіе на севастопольскихъ бастіонахъ и тѣ, что сослужили своему народу великую службу его освобожденія?!...»

Вотъ удивительная реплика, совершенно Трахтенберговская! Когда г. Трахтенбергу, въ качествѣ обвиняемаго въ процессѣ игумена Митрофанія, было представлено послѣднее слово, онъ, неожиданно для всѣхъ, обратился въ обвинителя и, указывая на игумена, произнесъ кабалистическія слова: «гдѣ нѣтъ сознанія, тамъ нѣтъ святаго!» Въ «Забытомъ вопросѣ» обвиняемымъ можетъ быть только единственное дѣйствующее лицо романа—иппосенсе автора. И вдругъ она, эта иппосенсе, обращается въ обвинителя. Разсказавъ отвратительную драму изъ минувшаго, она произноситъ кабалистическія слова насчетъ добра и блага, самоотверженія и любви къ человѣку! Гдѣ же эта любовь и самоотверженіе, добро и благо? Въ Лубянскомъ что-ли, который женится силкомъ и тиранить жену вплоть до могилы? Въ Васѣ, въ которомъ нѣтъ ничего человѣческаго? Въ Оомѣ Богдановичѣ Галагаѣ, этой жалкой пародіи на гоголевскаго Петра Петровича Пѣтуха? Въ Аннѣ Васильевнѣ, которая не умѣетъ отличить лицемѣрія отъ исполненія долга? Въ разсказчикѣ, который въ продолженіе цѣлаго романа только подслушиваньемъ занимается, да самыми развратными мечтами о матери своего друга Васи?

Elle est tellement innocente...

Каждый день мы читаемъ въ газетахъ и узнаемъ по слухамъ, что тамъ человѣкъ застрѣлился, тамъ повѣсился, тутъ убили изъ ревности, тамъ убили сначала женщину, по-

томъ себя. Горько и стыдно за этихъ людей, конечно, мнѣ всего любящихъ, самоотверженныхъ и преданныхъ добру, ничего не понимающихъ и неспособныхъ понять, кромѣ своего личнаго счастья. Берите этихъ людей въ герои своихъ романовъ, громите ихъ пожалуй хоть во имя минувшаго, если не умѣете или не можете осудить ихъ во имя будущаго. Но умѣйте же по крайней мѣрѣ выбирать въ этомъ минувшемъ подходящія черты. Пока возможны такія безобразія, какъ «Забытый вопросъ» (а надо помнить, что chaque Маркевичъ trouve toujours un plus Маркевичъ qui l'admire): пока возможна подобная идеализація дрянного мальчишки, казнящаго свою мать за недостатокъ любви къ нравственному и физическому уроду, который ей всю жизнь испортилъ, до тѣхъ поръ не будетъ и не можетъ быть конца противоположнымъ крайностямъ. Да и будто эти крайности противоположны? Развѣ этотъ сгорающій африканскою страстью калѣка Лубянской, требующій, чтобы изнасилованная имъ женщина отдалась ему не только тѣломъ, а и душой, развѣ это не тоже, что современный убійца и самоубійца, только прикрытый знаменемъ «минувшаго»? А его маленькій драбантъ, сыщикъ, инквизиторъ и exécuter des hautes oeuvres Вася,—развѣ онъ имѣетъ хоть малѣйшее понятіе о чужомъ счастьи? Онъ, правда, выдольжилъ ту самую ходячую мораль, которую отрицаютъ современные убійцы и самоубійцы, но вѣдь и они, пожалуй, выдольжили кое-какую мораль: они нерѣдко толкуютъ о своей преданности тѣмъ или другимъ идеямъ...

Что это? Я, кажется, начинаю вспоминать? Нѣтъ, нѣтъ, не надо: омы! омы! омы! омы!..

А «этудь»-то все-таки не вышелъ...

V.

Дневникъ *).

Съ нѣкотораго времени мнѣ ужасно хочется припомнить, кто я такой. Теперь-то—я знаю—я Иванъ Непомнящій, человѣкъ безъ роду и безъ племени, безъ отца и безъ матери, безъ кола и безъ двора, безъ предварительной цензуры и безъ зазрѣнія совѣсти. Но чѣмъ я былъ передъ тѣмъ знаменательнымъ моментомъ, когда я рѣшилъ объявить себя Иваномъ Непомнящимъ? Все-таки это любопытно. Пройдутъ года, мною будетъ заниматься «Русская Старина», напечатаетъ вотъ этотъ самый дневникъ,—и потомство не будетъ знать моего происхожденія и исторіи моей жизни. Историки литературы запишутъ только: былъ человѣкъ

*) 1874 г., декабрь.

безъ роду и безъ племени, безъ предварительной цензуры и безъ зазрѣнія совѣсти... Нѣтъ, я не могу, не долженъ, не смѣю оставлять потомство вообще и историковъ литературы въ особенности въ такомъ странномъ положеніи. Во что бы то ни стало, я долженъ припомнить хоть что-нибудь. Тѣмъ болѣе, что—кто знаетъ—можетъ быть въ эту минуту исполняется десяти-семнадцатидвадцати-пяти или сорокавосемилѣтіе какой-нибудь моей дѣятельности. Тутъ надо бы сейчасъ юбилей, а я ничего не помню, а обо мнѣ никто ничего не знаетъ.

До такой степени меня эта дума одолѣла, что я, не будучи въ состояніи припомнить что-либо самъ, рѣшилъ обратиться въ Общество любителей россійской словесности. Оно съ 1811 года существуетъ, передъ самымъ французомъ народилось, есть же у него документы, архивы. Можетъ тамъ что-нибудь и обо мнѣ подходящее есть? Вздумано—сдѣлано. Приѣхалъ въ Москву, сходилъ въ баню, сходилъ къ Гурину, сходилъ къ другу моему Ивану Камердинеру, сходилъ и въ другія мѣста, въ которыя ходятъ пріѣзжающіе въ Москву, потомъ прямо въ Общество любителей россійской словесности. Тамъ у меня все старыя, старыя пріятеля. Всѣ оказались на-лицо: Михайлъ Петровичъ, Павелъ Ивановичъ, Иванъ Сергѣевичъ, Ѳеодоръ Богдановичъ, Борисъ Николаевичъ, всѣ тутъ. Обрадовались. Пошли тары-бары: россійской словесности нѣтъ, русская литература есть... Поплакали. Потомъ отсылаю я въ сторону секретаря, стараго моего пріятеля П. А. Безсонова, и говорю: а вѣдь я вотъ за чѣмъ пріѣхалъ, все забылъ, нельзя ли какія-нибудь справки въ архивахъ навести. Можетъ, говорю, ужъ и юбилей пора справлять. Задумался П. А. Какъ истинный любитель россійской словесности и какъ секретарь Общества любителей россійской словесности, онъ не могъ не принять къ сердцу положенія исторіи россійской словесности въ виду моего радикальнаго самозабвенія. Подумавши, вздохнулъ; вздохнувши, меланхолически сказалъ: да, говорить, всѣ мы съ самозабвеніемъ предаемся воздѣлыванію россійской словесности; вотъ и я ничего не помню. Однако, говорить, вотъ что: въ архивахъ, говорить, справку навести можно, но «наше общество до сихъ поръ дѣлало публичную оцѣнку заслугъ своихъ членовъ, уже выслушавъ панихиду о нихъ; общество выжидало смерти дѣятеля, чтобы на его свѣжей могилѣ воздать должное труду и таланту». Ты, говорить, сначала умри. Умереть я, однако, отказался, а предложилъ секретарю порыться вмѣстѣ въ архивахъ. Пошли. Рылись, рылись, но обо мнѣ рѣшительно ничего не на-

шлось; крысы, что ли, съѣли подходящіе документы, ужъ не знаю. Зато попались свѣдѣнія, что въ нынѣшнемъ году исполнилось какъ разъ тридцать пять лѣтъ со времени вступленія на литературное поприще двухъ дѣйствительныхъ членовъ Общества: Павла Ивановича Мельникова и Ѳеодора Богдановича Миллера. И рѣшили мы тутъ же на мѣстѣ, что, если я и погибъ для исторіи россійской словесности, то надо, по крайней мѣрѣ, отпраздновать юбилей Павла Ивановича и Ѳеодора Богдановича. Я, было, напомнилъ секретарю, что, по принятому Обществомъ любителей россійской словесности порядку занятій, надо сначала отслужить панихиду по любителямъ россійской словесности, а затѣмъ уже приступить къ основательной оцѣнкѣ его дѣятельности, т. е. къ юбилею; но Павелъ Ивановичъ и Ѳеодоръ Богдановичъ, благодаря Бога, живы, такъ не обнаружимъ ли мы проектированными юбилеемъ нѣкотораго легкомыслія? На это П. А. Безсоновъ возразилъ: «Къ сожалѣнію, современное общество чутко лишь къ чему-нибудь рѣзкому, необычайному. Требуютъ современности направленія, небывалыхъ идей (онъ именно такъ и выразился), гениальности формъ (тутъ я перебилъ: кто же, говорю, требуетъ?) и рукоплещутъ герою дня и минуты, если онъ поразилъ массы своимъ произведеніемъ (тутъ я опять перебилъ: кто же, говорю, поразилъ?)... рукоплещутъ, забывъ героевъ неуклоннаго и настойчиваго труда, посвятившихъ силы своего таланта служенію вѣчнымъ истинамъ искусства, чуждыхъ мимолетнымъ повѣтріямъ обыденной жизни, съ ея безконечными метаморфозами и вопросами минуты». Поэтому, закончилъ онъ, мы смѣло можемъ и даже должны измѣнить обычный порядокъ своихъ занятій и отпраздновать юбилей Павла Ивановича и Ѳеодора Богдановича.

Эта блистательная рѣчь, конечно, разсѣяла всѣ мои сомнѣнія, а будучи повторена въ засѣданіи Общества, увлекла сердца всѣхъ членовъ, всѣхъ, кромѣ двухъ. Этими двумя отщепенцами были, рассказываютъ, гг. И. Аксаковъ и Чаевъ. Кто ихъ знаетъ—усомнились ли они въ томъ, что Павелъ Ивановичъ и Ѳеодоръ Богдановичъ не служили ничему, кромѣ вѣчныхъ истинъ искусства и были чужды мимолетныхъ повѣтрій обыденной жизни, или что другое, но празднество состоялось безъ этихъ двухъ отщепенцевъ. Празднеству я былъ очень радъ. Во-первыхъ, я глубоко уважаю Павла Ивановича и горячо люблю Ѳеодора Богдановича. Павла Ивановича я именно уважаю за его энергическую дѣятельность, но Ѳеодоръ Богдановичъ ближе моему сердцу. Я постоянно выпиываю его ничего не напо-

минающую газету «Развлечение» и въ безсмыслии и безвкуси ея нахожу большую отраду своей измученной душѣ. Но и помимо этихъ чувствъ къ юбилеямъ у меня были причины радоваться юбилею. Я зналъ, что на юбилей дѣйствительнаго члена Общества любителей россійской словесности будутъ говорить рѣчи и что въ рѣчахъ этихъ любители будутъ поминать литературныя заслуги своихъ собратьевъ. А такъ какъ, разсуждалъ я, всѣ любители россійской словесности должны имѣть что-либо общее другъ съ другомъ, то не удастся ли мнѣ почерпнуть изъ юбилейныхъ рѣчей нѣсколько чертъ моего забытаго прошлаго? Надежды мои отчасти сбылись, отчасти же разсѣялись, какъ дымъ.

Открылъ празднество П. А. Безсоновъ. Онъ сказалъ, собственно говоря, буква въ букву ту же рѣчь, которую говорилъ мнѣ наединѣ въ архивѣ Общества и выдержки изъ которой приведены выше. Послѣдняя, хитрая оцѣнка литературной дѣятельности, небывалыя идеи, служеніе вѣчнымъ истинамъ искусства и проч., все тутъ было. А я тѣмъ временемъ припоминалъ: auch ich war in Arkadien geboren, и я служилъ вѣчнымъ истинамъ искусства (въ «Развлеченіи» напечатано много моихъ стихотвореній и прозаическихъ шутокъ).

Затѣмъ Федоръ Богдановичъ прочиталъ стихотвореніе, изъ котораго я, впрочемъ, ничего не извлекъ ни для себя, ни для современниковъ, ни для потомства.

Другое дѣло слѣдующая рѣчь, рѣчь председателя Общества Д. И. Иловайскаго. Изъ нея я извлекъ нѣчто довольно странное, но извлекъ. Г. Иловайскій поминалъ литературныя заслуги Павла Ивановича. Въ его рѣчи я былъ больше всего пораженъ тѣмъ, что Павелъ Ивановичъ служилъ чиновникомъ особыхъ порученій при нижегородскомъ губернаторѣ князѣ Урусовѣ; что четыре другіе чиновника особыхъ порученій князя Урусова были тоже весьма даровитые молодые люди; что, отслуживъ чиновникомъ особыхъ порученій при князѣ Урусовѣ, Павелъ Ивановичъ поступилъ чиновникомъ особыхъ порученій къ графу Перовскому; что затѣмъ онъ былъ чиновникомъ особыхъ порученій при пяти министрахъ. Когда же, по окончаніи рѣчи председателя Общества любителя россійской словесности о чиновникахъ особыхъ порученій, къ юбиляру (любителю россійской словесности и чиновнику особыхъ порученій) обратился со словомъ дѣйствительный членъ Общества любителей россійской словесности и чиновникъ особыхъ порученій при московскомъ генералъ-губернаторѣ В. И. Родиславскій, тогда... Тогда въ моей бѣдной, слабой го-

ловѣ образовался удивительный кавардакъ. Какъ птицы въ клѣткѣ, бились въ ней различныя сочетанія понятій, то рассыпаясь, то вновь складываясь на разныя манеры: россійская словесность служить по особымъ порученіямъ... общество любителей россійскихъ особыхъ порученій... вѣчныя истины искусства по особымъ порученіямъ... искусные чиновники особыхъ порученій чужды мимолетнымъ повѣтріямъ обыденной жизни... россійскіе любители особыхъ порученій... Въ концѣ концовъ, для меня стало яснымъ одно: всѣ присутствующіе любители россійской словесности суть бывшіе или настоящіе чиновники особыхъ порученій. По всей вѣроятности, и я, родившись въ Аркадіи, поступилъ затѣмъ въ чиновники особыхъ порученій. Пока я приходилъ къ этому, дѣйствительно, очень вѣроятному предположенію, юбилей шелъ своимъ порядкомъ, но я, занятый разсѣяніемъ мрака забвенія, въ который погружено мое прошлое, ничего не слыхалъ. Я очнулся только тогда, когда Павелъ Ивановичъ держалъ отвѣтную рѣчь своимъ братьямъ по вѣчнымъ порученіямъ особаго искусства или, какъ это тамъ... совсѣмъ я запутался. Павелъ Ивановичъ началъ такъ: «Сегодня я получилъ столько заявленій сочувствій къ посильнымъ трудамъ моимъ, столько почета, что право можетъ голова закружиться; чего добраго, пожалуй, я могу возмечтать, что я дѣйствительно знаменитый русскій писатель. Нѣтъ, господа, я только любитель россійской словесности. Сегодня обо мнѣ наговорили столь много лишняго, приписали мнѣ столько хорошихъ свойствъ, что, видитъ Богъ, я того не заслуживаю. А о главномъ-то свойствѣ моемъ, выраженіемъ котораго было все, что ни сдѣлалъ я въ эти 35 лѣтъ, никто даже не заикнулся. Видно, ужъ мнѣ самому приходится сказать о немъ. Это не будетъ хвастовствомъ, потому что нельзя хвалиться тѣмъ, что досталось безъ труда, что зависѣло отъ природы человѣка. Богъ далъ мнѣ память, хорошую память, до сихъ поръ еще она не слабѣетъ. Что ни видишь, что ни слышишь, что ни прочтешь, все помнишь. Какъ помнишь—самъ не знаю. И радъ бы радешенекъ иное забыть, такъ нѣтъ, что хочешь тутъ дѣлай да и только.

Это начало рѣчи меня чрезвычайно заинтересовало, потому что человѣкъ съ хорошей памятью представляетъ въ наше время явленіе, не менѣе рѣдкое, чѣмъ двухголовый соловей и сіамскіе близнецы. А Павелъ Ивановичъ публично заявляетъ, что память у него отличная, что онъ рѣшительно все помнитъ и даже не можетъ забыть кое-какихъ эпизодовъ изъ своей жизни, которые желалъ бы предать забвенію.

Когда Павелъ Ивановичъ заговорилъ о

своей памяти, я наострил уши. Вотъ, думаю, сейчасъ онъ мнѣ всѣ мои сомнѣнія разрѣшитъ, все расскажетъ. Онъ будетъ рассказывать, а я за нимъ пѣтушкомъ, пѣтушкомъ свое припоминать. Но Павелъ Ивановичъ обманулъ мои надежды. Онъ сдѣлалъ довольно странное употребленіе изъ своего вступленія о хорошей памяти. Именно онъ объяснилъ, что много ѣздилъ по Россіи, вращался въ разныхъ обществахъ и, благодаря своей богатой памяти, могъ излагать все имъ видѣнное и слышанное въ литературныхъ произведеніяхъ. Какъ будто для этого нужна память, а не записная книжка! Такъ и не рассказалъ ничего Павелъ Ивановичъ...

Однако, кто же я такой? Кѣмъ я былъ въ мірѣ, пока не сталъ человѣкомъ не отъ міра сего? Экскурсія въ Общество любителей Россійской словесности, доставившая мнѣ, конечно, много самаго чистаго наслажденія, уяснила, собственно говоря, только одинъ пунктъ: *ich bin in Arkadien geboren*, я родился въ Аркадіи и затѣмъ, по всей вѣроятности, былъ чиновникомъ вѣчныхъ порученій особаго искусства. Но этотъ второй пунктъ уже гораздо болѣе проблематиченъ. Историки могутъ о немъ спорить. Такимъ образомъ, я получилъ въ свое распоряженіе только, такъ сказать, горчичное зерно, изъ котораго, правда, по извѣстному мнѣнію В. Д. Спасовича, можетъ вырасти не только горчица, а даже могучій дубъ; но вѣдь это еще улитка ѣдетъ, когда-то будетъ. Однако, я принялся за горчичное зерно. Я надъ нимъ столько сидѣлъ, что — *à force de forger on devient forgeron* — наконецъ, кое-что припомнилъ. Немного, но на первый разъ и то недурно.

Да, я родился въ Аркадіи. Я былъ даже аркадскимъ принцемъ. Я любилъ лошадей, скакалъ по Невскому проспекту, какъ угорѣлый дуралей, и проч., и проч., какъ совершенно правдиво изображено въ русской передѣлкѣ «Орфея въ аду». Я скакалъ, впрочемъ, въ видѣ угорѣлаго дураля не только по Невскому проспекту, а и по Россіи, причемъ, для большей скорости и угорѣлости, разъ до полусмерти запоролъ кучера, и по Европѣ, причемъ только сжималъ кулаки и скрежеталъ зубами. Хорошее это было, счастливое время! Какъ живо представляется мнѣ тотъ домъ, въ которомъ я получилъ свое аркадское воспитаніе. Это былъ домъ огромный и приплюснутый; площадь онъ занималъ очень большую, но въ вышину поднимался только на полтора этажа. Въ цѣльномъ этажѣ помѣщались мы, семья аркадскихъ принцевъ, а въ верхнемъ полу-этажѣ, съ низенькими потолками и крошечными окнами, жили представители породы, средней между аркад-

скими принцами и *gemeinen Arkadiern*, гувернеръ, письмоводитель, экономка, разныя приживалки. Фасадъ дома украшался дорическими колоннами, въ промежутки между которыми выглядывали узкія и высокія стрѣльчатые, готическія окна («совершенно какъ въ кѣльнскомъ соборѣ»), восторгался одинъ изъ обитателей верхняго полу-этажа, побывавшій въ молодости за границей; крыльцо было украшено двумя каменными сфинксами на египетскій манеръ; въ «англійскомъ саду» была бесѣдка, представлявшая швейцарскій домикъ въ миниатюрѣ; по дорожкамъ были кое-гдѣ разставлены статуи греческихъ богинь, между которыми, впрочемъ, затесался какой-то ливонскій рыцарь; посреди сада былъ прудъ и мы катались по немъ въ венеціанской гондолѣ; во «фруктовомъ саду» стояла бесѣдка въ мавританскомъ вкусѣ, хотя и деревянная: тяжелый куполь на легкихъ колонкахъ (я особенно любилъ эту бесѣдку, потому что въ ней варилось варенье); на дворѣ стояла баня, построенная въ русскомъ стилѣ, съ рѣзбой, коньками и полотенцами. Весело жилось въ этомъ обширномъ, дорическо-готическо-мавританско-русскомъ помѣщеніи. Помнить тогда было нечего, ни даже дня субботняго, потому что на недѣлѣ было семь субботнихъ дней, потому что прошедшее, можно сказать, не существовало, оно поглощалось настоящимъ... Но что вспоминать это доброе, старое, счастливое и невозвратимое время! Голубятня, дѣвчья, оранжерея, конюшня... Кромѣ горечи, отъ этихъ воспоминаній ничего не получишь...

Я, впрочемъ, и впоследствии проводилъ время довольно весело. Изъ аркадскихъ принцевъ я перешелъ въ флотъ и сталъ мичманомъ Пѣтуховымъ, тѣмъ самымъ мичманомъ Пѣтуховымъ, которому стоило только показать палецъ, чтобы онъ расхохотался. Мнѣ сначала были показаны два пальца за-разъ. Одинъ былъ умѣренной плотности, съ перстнемъ, очень чисто вымытый, съ длиннымъ бѣлорозовымъ, крѣпкимъ и аккуратно обточеннымъ на англійскій манеръ ногтемъ. То былъ палецъ М. Н. Каткова. Другой былъ далеко не такъ благообразенъ и перепачканъ чернилами. То былъ палецъ обличительной литературы. О, какъ я смѣялся, когда мнѣ показали эти два пальца! Съ хохотомъ, напоминавшимъ радостное ржаніе жеребца, чуящаго весну, передлистывалъ я творенія Маколее и Каткова съ одной стороны, обличенія Льва Камбека и Проѣзжаго, Розенгейма и Заѣзжаго съ другой. Не мало и самъ я тиснулъ за это время въ нашихъ журналахъ поэтическихъ и прозаическихъ произведеній по Гнейсту и Минаеву. Потомъ изящный палецъ М. Н. Каткова сложился въ весьма вульгарный кукишъ, вмѣстѣ съ чѣмъ обры-

вается нить моихъ воспоминаній. Можетъ быть именно въ этотъ періодъ служилъ я чиновникомъ вѣчныхъ порученій особаго искусства, а можетъ быть и совсѣмъ не въ этотъ. Вообще это время покрыто мракомъ неизвѣстности. Дальнѣйшія мои воспоминанія относятся уже къ тому времени, когда мнѣ показалъ палецъ Базаровъ. Никакой хохотометръ не можетъ указать градуса веселости, которой я предавался, глядя на этотъ жилистый, сильный палецъ. Изъ-за широкой мужицкой спины Базарова я смѣялся надъ «духомъ» и «идеаломъ», надъ метафизикой и поэзіей, надъ «миндальностями» и «сантиментальностями». Съ весельемъ въ душѣ и во взорахъ бѣгалъ я по роднымъ болотамъ, ловя для Базарова лягушекъ и глядя, какъ онъ ихъ рѣзалъ (впрочемъ, я и самъ распласталъ разъ, въ присутствіи пяти барышень, двухъ лягушекъ). Съ хохотомъ трещалъ я про рефлексъ головного мозга, про то, что нѣтъ мысли безъ фосфора, про то, что Шекспиръ совершенно не реальный поэтъ, потому что выводитъ на сцену тѣнь отца Гамлета, значитъ, вѣрить въ привидѣнія, и проч., и проч., и проч. Я подсовывалъ отцу своему, вмѣсто Пушкина, Kraft und Stoff Бюхнера, вообще многія изъ характеристическихъ чертъ Аркадія Кирсанова списаны Тургеневымъ съ меня, аркадскаго принца по происхожденію и гоголевскаго мичмана по призванію.

Но вотъ Базаровъ порѣзалъ себѣ тотъ самый палецъ, который приводилъ меня въ неистовый восторгъ, порѣзалъ, заразился и умеръ... Миръ праху этого односторонняго, но сильнаго человѣка, умершаго такъ же величаво, какъ онъ жилъ. Съ его смертію опять начинается пробѣлъ въ моихъ воспоминаніяхъ. Не тогда ли я былъ чиновникомъ вѣчныхъ порученій особаго искусства? Можетъ быть. Ясно мнѣ только то, что недавно мнѣ показалъ палецъ г. Владиміръ Соловьевъ, сынъ нашего маститаго историка. Это уже недавняхъ было, 24 ноября. Я пришелъ слушать защиту диссертации подъ заглавіемъ: «Кризисъ западной философіи противъ позитивистовъ». Придя въ университетскій залъ, я съ удовольствіемъ увидѣлъ вокругъ себя своихъ многочисленныхъ родственниковъ, если не по крови, то по духу, своихъ однофамильцевъ и товарищей,—все больше мичманы Пѣтуховы были. Послѣ обычныхъ формальностей, на кафедрѣ взошелъ г. Соловьевъ и показалъ намъ, присутствующимъ мичманамъ Пѣтуховымъ, палецъ. Это былъ палецъ, ни малѣйше не похожій на приводившій меня недавно въ телачій восторгъ палецъ Базарова. Я даже представлялъ совершенную ему противоположность. У Базарова палецъ былъ красный, крѣпкій, жилистый и нѣсколько кривой, что не мѣшало, однако, ему

обладать нѣкоторой своеобразной красотой. Палецъ г. Соловьева прямой, тонокъ, прозраченъ почти до невещественности, цвѣтомъ напоминаетъ краски византійской живописи и очень длиненъ; такъ длиненъ, что напоминалъ мнѣ тепличныя растенія, которыя, какъ извѣстно, неестественно вытягиваются вверхъ. Это былъ, такъ сказать, палецъ-метафизикъ, даже палецъ-спиритъ. Впрочемъ, намъ, присутствующимъ мичманамъ, это было все равно. Намъ показали палецъ и мы должны были хохотать, что и исполнили съ свойственнымъ нама усердіемъ. Манеры г. Соловьева тоже мало похожи на манеры Базарова. Тотъ былъ грубъ и насмѣшливъ со всѣми: съ аристократомъ-джентльменомъ Павломъ Кирсановымъ и съ мужикомъ, съ роднымъ отцомъ и съ любимой женщиной. Г. Соловьевъ тоже грубъ, но только съ партикулярными людьми; съ официальными оппопентами, съ профессорами онъ утонченно вѣжливъ. Еще больше разницы въ мнѣніяхъ Базарова и г. Соловьева и, слѣдовательно, въ томъ, чему я, мичманъ Пѣтуховъ, купно съ другими мичманами, смѣялся въ разное время. Взирая на палецъ г. Соловьева, я смѣялся не надъ духомъ и идеаломъ, а надъ матеріей и дѣйствительностью; не надъ метафизикой, а надъ опытомъ и наблюденіемъ; не надъ Шекспиромъ за тѣнь отца Гамлета, а надъ авторомъ Kraft und Stoff съ братіей за то, что они не вѣрятъ во «всеединный духъ». Да и дѣйствительно, оно смѣшно: «всеединный духъ» есть изобрѣтеніе магистранта (нынѣ магистра), оставленнаго при московскомъ университетѣ, Владимира Соловьева; онъ изобрѣлъ его отчасти по Гартману, отчасти по Алланъ-Кардеку, отчасти самостоятельно,—и вдругъ въ него не вѣрятъ! Ха, ха, ха, ха! Тутъ мефистофельскій смѣхъ нуженъ, тутъ надо Эверарди или, по малой мѣрѣ, Палочка пригласть...

Я вышелъ изъ университета вполне довольный собой. Во-первыхъ, я добросовѣстно исполнилъ свою функцію: мнѣ былъ показанъ палецъ и я смѣялся. Во-вторыхъ, я весело провелъ время: мнѣ былъ показанъ палецъ и я смѣялся. Въ-третьихъ, я былъ нѣкоторымъ образомъ общественнымъ дѣятелемъ: мнѣ былъ показанъ палецъ и я смѣялся. Со мной шло еще нѣсколько мичмановъ тоже вполне довольныхъ собой. Мы весело разговаривали о томъ, какъ мы добросовѣстно исполнили свою функцію, какъ хорошо провели время, какъ занимались общественной дѣятельностью. Впереди насъ шелъ какой-то незнакомецъ, который долго прислушивался къ нашимъ веселымъ рѣчамъ и потомъ прогдѣлъ сквозь зубы, но съ очевиднымъ озлобленіемъ: бараны! Мы вѣжливо спросили, — о комъ, дескать, изво-

лите говорить?—Объ васъ, былъ отвѣтъ незнакомца. Мы не обидѣлись, а даже нѣсколько обрадовались. Мы знаемъ по опыту, что экзотрическое вступленіе ведетъ за собой иногда показываніе пальца. Поэтому мы пригласили незнакомца изложить свое мнѣніе нѣсколько пространнѣе. Онъ охотно согласился и сказалъ слѣдующее:

— Да, вы бараны. Я не знаю, почему г. Соловьеву, москвичу, учившемуся и издавшему свою диссертацию въ Москвѣ, пришло въ голову добиваться степени магистра въ Петербургѣ. Но очень можетъ быть, что онъ сдѣлалъ это изъ чисто рыцарской отваги. Москва, справедливо ли, нѣтъ ли, слыветъ доброй старушкой, свято хранящей преданія древне-русскаго смиренія и нѣмецкой спиритуалистической метафизики. Петербургъ, напротивъ, опять-таки справедливо или нѣтъ, пользуется репутацией либерала и матеріалиста. Вотъ г. Соловьевъ и подумалъ: не штука, если я буду любезничать съ официальными оппонентами и говорить грубости приватнымъ въ Москвѣ, — это будетъ вполне соответствовать преданіямъ древне-русскаго смиренія, никто не замѣтитъ этой капли въ морѣ капель, тутъ не будетъ никакого подвига. Не штука, если я явлюсь рыцаремъ духа въ Москвѣ: добрая старушка издревле духъ любила; не говоря уже о сороковыхъ годахъ, она еще недавно Юркевичемъ упивалась, къ Ивану Яковлевичу ходила, да вотъ и теперь стоитъ на Тверской передъ домомъ Алексѣева и раздумываетъ: какіе такіе духи кирпичами швыряются? Конечно, и Петербургъ со вслчичной. Если я въ петербургскомъ чиновничьемъ кругу буду почитателемъ со старшими и грубъ съ младшими, я никого не удивлю и ни малѣйшаго подвига не совершу. Если я заговорю о «всеобщемъ духѣ» и о «царствѣ духовъ» въ нѣкоторыхъ кружкахъ высшего петербургскаго общества, то изъ этого ничего тоже особеннаго не произойдетъ, ибо тамъ столоверченіемъ и стучащими духами давно занимаются. Нѣтъ, я пойду въ самое логовище Минотавра, я заманю къ себѣ въ слушатели всѣхъ этихъ ярыхъ либераловъ, радикаловъ и неистовыхъ нигилистовъ и въ ихъ присутствіи обнаружу свое чинопочитаніе! Я открыто, прямо скажу всѣмъ этимъ упорнымъ позитивистамъ, что ихъ философія не философія, а «волчье царство въ философіи», «хозяйничаніе волковъ въ запустѣнной деревнѣ!»—И, вы, бараны, даже не дали Владимиру Сергѣевичу возможности совершить подвигъ, не доставили ему повода для борьбы! Вы, только что онъ показалъ вамъ палецъ, заготовили и зааплодировали, поклонились всему, что сжигали и, сожгли все, чему поклонились!..

— Позвольте, перебилъ я незнакомца, — вы вѣроятно позитивистъ, и вамъ просто обидно, что вашъ противникъ удостоился такихъ овацій?

— Нѣтъ, барашекъ, нѣтъ, отвѣчалъ незнакомецъ. — Я не позитивистъ, хотъ и съ г. Соловьевымъ не въ одномъ лагерѣ обрѣтаюсь. Да не въ этомъ совсѣмъ и дѣло. Не «противникъ мой», не г. Соловьевъ меня занимаетъ, много у насъ было такихъ мыслителей и много ихъ еще будетъ. Меня ~~он~~ занимаете, вы, публика, для которой работаютъ и г. Соловьевъ и люди совершенно противоположнаго образа мыслей и дѣйствій. Если бы г. Соловьевъ былъ мой alter ego и я съ чистою совѣстью могъ бы подписаться подъ каждой его строчкой, такъ и то я не порадовался бы сегодняшнему диспуту. Штурмъ крѣпости, выносящей ключи побѣдителю, когда онъ еще не успѣлъ зарядить своихъ пушекъ! Побѣда въ пустомъ странствѣ! Куда какъ лестно! Нѣтъ, не завижду я г. Соловьеву. Мнѣ не то обидно, что онъ удостоился вашихъ овацій. Мнѣ обидно вспоминать о тѣхъ людяхъ, которые старались—и, казалось, не безъ успѣха—вложить въ ваши головы понятія, вами сегодня оплеванные. Мало-ли людей погибло изъ-за васъ... Теперь много говорятъ о дряблости литературы, и вы, барашки, чего добраго, участвуете въ этихъ разговорахъ. Да у кого же не опустятся руки, глядя на васъ, глядя на то, какъ вы забываете сегодня все, чему аплодировали вчера?..

— Позвольте, однако, перебилъ я вторично незнакомца, мы рѣшили васъ выслушать только потому, что ожидали, что вы намъ покажете палецъ. Это доставило бы намъ случай повеселиться и исполнить свою обязанность по званію мичмана Пѣтухова. А вы намъ пальца не показываете и только ругаетесь. Позвольте же вамъ напомнить, что мы не какіе нибудь-разночинцы, что, несмотря на всеобщую воинскую повинность, мы все-таки аркадскіе принцы и оскорбленій переносить не желаемъ.

— Какіе аркадскіе принцы? какой мичманъ Пѣтуховъ?

Въ отвѣтъ я рассказалъ незнакомцу все, что помнилъ изъ своего прошлаго. Рассказъ мой его очень заинтересовалъ. Онъ, видимо, повеселѣлъ, расправилъ брови и даже съ улыбкой пожалъ намъ всѣмъ руки.

— Извините, ради Бога, сказалъ онъ, я не знаю... т. е. я упустилъ изъ виду... Конечно, если вы родились въ Аркадіи, катались въ венеціанской гондолѣ по пруду англійскаго сада и кушали варенье въ мавританской бесѣдкѣ, тогда, конечно, совсѣмъ другой разговоръ у насъ пойдетъ, лучше ска-

затъ никакого разговора не будетъ. Пожалуйста, простите... Особенно какъ вы теперь въ званіи мичмана Пѣтухова...

Онъ очень любезно простился съ нами и повернулъ налѣво. Мы пошли прямо, еще болѣе довольные собой, такъ какъ намъ удалось сшибить спесь съ незнакомца.

Сегодня я имѣлъ случай возблагодарить судьбу за избавленіе отъ очень, очень большой несправедливости. Недаромъ я лѣзь изъ кожи, стараясь припомнить, кто я такой. Это было, очевидно, предчувствіе, что свѣдѣнія о моей личности скоро понадобятся. Они дѣйствительно скоро понадобились, да такъ понадобились, что я висѣлъ уже на волосѣхъ и спасло меня только мое усердіе въ припоминаніи моего прошлаго. Дѣло такъ было. Недавно «Гражданинъ», спасибо ему, меня похвалилъ. Всею, что онъ по поводу моей персоны выразилъ, я не знаю, потому что самъ не читалъ (чертовски трудно увидѣть гдѣ-нибудь эту почтенную газету, а жалъ, потому что газета въ самомъ дѣлѣ очень почтенная). Мнѣ передавали только слѣдующую лестную фразу: «по таланту, силѣ мысли и самозабвенію Иванъ Непомнящій мало чѣмъ уступаетъ нашему знаменитому публицисту, поэту и бытописателю большого свѣта, князю Ивану Точкѣ, хотя, конечно, ему не достаётъ благородства и чистоты стили знаменитаго князя». Я былъ, разумѣется, чрезвычайно польщенъ такимъ отзывомъ, далеко превосходящимъ мои дѣйствительныя, скромныя заслуги и уже заготовилъ благодарственное письмо въ редакцію «Гражданина». Но въ то самое время, какъ я съ радостью и гордостью оповѣщалъ своихъ знакомыхъ, что по таланту, силѣ мысли и самозабвенію я мало чѣмъ уступаю самому князю Точкѣ, въ это самое время статью «Гражданина» читалъ одинъ прокуроръ. Прокуроръ этотъ, будучи усерденъ къ службѣ и узнавъ, что въ Петербургѣ проживаетъ на свободѣ Иванъ Непомнящій, т. е. бродяга, принялъ свои мѣры... Бываютъ очень усердные къ службѣ прокуроры. Я одного такого зналъ, который самымъ усерднымъ образомъ читалъ «слухи и вѣсти» мелкой прессы, почерпая изъ нихъ матеріалы для построения уголовныхъ дѣлъ. Нельзя этого не одобритъ. Какъ бы то ни было, но ковы моего прокурора разсыпались прахомъ. Я былъ готовъ. Я объяснилъ, что я не просто бродяга Иванъ Непомнящій, а аркадскій принцъ по происхожденію и мичманъ Пѣтуховъ по званію и призванію. Это, разумѣется, прекратило дальнѣйшее теченіе дѣла, грозившаго очень несправедливой перспективой. Но случай этотъ все-таки не прошелъ для меня без-

слѣдно. По свойственной мнѣ склонности къ размышленіямъ, я задумался надъ грозившей, но счастливо избѣгнутой несправедливой перспективой. Что было бы, если бы я не могъ доказать, что я аркадскій принцъ и мичманъ Пѣтуховъ? Дѣлъ я этихъ, признаться, не знаю вовсе. Поэтому обратился къ знакомымъ. Мнѣ дали прочесть статью В. Д. Спасовича «Посѣщеніе строящейся слѣдственной тюрьмы въ Петербургѣ» («С.-Петербургскія Вѣдомости», № 229). Очень, очень поучительная статья, а главное, утѣшительная. Перспектива-то, грозившая мнѣ, въ случаѣ, если бы я не припомнилъ, что я аркадскій принцъ и мичманъ Пѣтуховъ, совсѣмъ не такъ мрачна, какъ можно бы было думать. По крайней мѣрѣ съ будущаго года она сильно прояснится. Г. Спасовичъ говоритъ: «Съ открытіемъ, предполагаемымъ въ будущемъ году, новой слѣдственной тюрьмы, прекратится ежедневное слѣдованіе арестантовъ, подѣ конвоемъ въ желѣзныхъ зеленыхъ клѣткахъ съ отверстіями, изъ мѣстъ заключенія въ зданіе суда, гдѣ уже теперь сосредоточены всѣ камеры судебныхъ слѣдователей столицы. Какъ къ слѣдователямъ, такъ и въ зданіе суда, арестанты будутъ проводимы по короткому, теплomu, крытому корридору, настоящему *ponte dei sospiri*, соединяющему нижній этажъ тюрьмы съ подвальнымъ этажемъ уголовныхъ отдѣленій окружнаго суда». —Какая прелесть! Въ будущемъ году ужъ меня не повезутъ въ безобразномъ зеленомъ фургонѣ, напимѣръ, изъ Литовскаго замка, что на Офицерской, въ зданіе окружнаго суда, что на Литейной. Мнѣ не дадутъ прислушаться на этомъ довольно длинномъ пути къ привычному уличному шуму; не дадутъ прижать лицо къ рѣшеткѣ отверстія безобразнаго зеленого фургона и украдкой посмотреть на свѣтъ божій; не дадутъ вглядываться въ мимоходящихъ и мимоидущихъ, ища въ нихъ чертъ знакомаго лица... Всѣ эти маленькія удовольствія замѣняются однимъ огромнымъ удобствомъ: меня проведутъ къ слѣдователю по теплomu, крытому, а главное короткому (такъ приятно!) корридору, «по настоящему *ponte dei sospiri*!» Что можетъ быть лучше?! Долой, долой безобразные зеленые фургоны и да здравствуетъ теплый, крытый и короткий корридоръ! И въ другихъ отношеніяхъ излишнія передвиженія слѣдственныхъ арестантовъ будутъ съ будущаго года значительно сокращены. Напимѣръ, въ одиночныхъ кельяхъ будутъ устроены ватерклозеты, чѣмъ блистательно устраняется надобность даже въ короткомъ *ponte dei sospiri*; сиди себѣ въ своей кельѣ, куда и ни за чѣмъ выходить не надо. Удивительный комфортъ. Впрочемъ, разныя стороны безвыход-

наго положенія обитателей одиночныхъ келій такъ аппетитно, съ такимъ вкусомъ обрисовываются г. Спасовичемъ, что я долженъ записать его слова подробно.

«Два посвященные одиночнымъ келіямъ крыла большого четырехугольника пересекаются въ углу зданія по Захарьевской улицѣ, ближайшему къ залѣ засѣданій судебной палаты. Каждое крыло состоитъ изъ большого корридора, съ одной стороны ограниченного наружною стѣною зданія, замѣняющею тюремную ограду и прорѣзанною тремя кругами окошекъ безъ рѣшетокъ, а съ другой стороны—6 ярусами келій съ ведущими къ нимъ висячими галлереями. Эти висячія галлерей соединены съ лѣстницами; отъ нихъ идутъ еще особые проходы на соответствующія имъ площадки, устроенныя въ описанномъ выше углу двухъ пересекающихся капитальныхъ стѣнъ зданія, замѣняющихъ ограду. Эти площадки—наблюдательные посты; онѣ замѣняютъ собою центральныя обсерваторіи, которыми щеголяютъ синоптическія тюрьмы. Одинъ человѣкъ на такой площадкѣ можетъ обозрѣвать за-разъ сотни келій, прислушиваться къ звонкамъ телеграфовъ, которыми снабжены всѣ келіи, и узнавать по нумерамъ, высказывающимъ изъ-за стѣнки по звонку телеграфа, въ какихъ кельяхъ требуется его личное присутствіе. Поднимаемся на галлерею. Она изъ чугуна, мошеная аспидомъ. Тяжелая, окованная желѣзомъ дверь запирается замкомъ особаго устройства, выписаннымъ изъ Англіи, и снабжена откидною четырехугольною форточкою для подачи пищи, и круглымъ, небольшимъ отверстіемъ, приложивъ къ которому глазъ, надзиратель можетъ удостовѣриться въ томъ, что дѣлаетъ въ кельѣ арестантъ. Два разнаго рода ключа отпираютъ дверь, но запирается она быстро однимъ поворотомъ ручки у замка. Одного рода ключъ находится у каждаго младшаго надзирателя, присматривающаго за извѣстнымъ числомъ келій въ ярусѣ; другой, единственный въ своемъ родѣ—у начальника тюрьмы. Младшій надзиратель можетъ своимъ ключемъ отпереть всякую келью, но ключъ его не дѣйствуетъ, когда дверь заперта ключемъ начальника тюрьмы, открывающимъ всѣ двери келій; кого этотъ ключъ заперъ, тотъ только посредствомъ этого же ключа можетъ быть выпущенъ изъ заключенія; а такъ какъ и каждая фортка можетъ быть заперта ключемъ начальника, то заключеніе можетъ быть такъ устроено, что и пища будетъ получаемая арестантомъ только изъ рукъ начальника тюрьмы. Арестантъ за-живо погребенъ, отрѣзанъ отъ внѣшняго міра, подвергнутъ содержанію въ настоящемъ *секретѣ*, въ полномъ значеніи этого слова. Каждая

келья устроена по одному неизмѣнному плану и имѣетъ отъ 5 до 6 аршинъ длины (смотря по этажамъ) и 3 аршина ширины, при высотѣ въ 4 аршина. Окошко въ капитальной стѣнѣ, насупротивъ входа, обращено на тюремный дворъ; подъ нимъ умывальникъ съ краномъ; у той же стѣны въ правомъ углу стулъ съ ватерклозетомъ, въ видѣ опрокинутаго конуса, и возлѣ него отверстіе въ стѣнѣ, чрезъ которое испорченный воздухъ вытягивается трубою изъ помѣщенія. По серединѣ длинной, правой отъ входа, стѣны, вдѣланъ въ эту стѣну столъ, образуемый откидывающеюся, по произволу, квадратною желѣзною доскою. Передъ этимъ столомъ желѣзное неподвижное сидѣніе, а подъ нимъ—подвижная газопроводная ручка, рожокъ которой даетъ свѣтъ, равняющійся тому, который доставляютъ двѣ стеариновые свѣчи. Насупротивъ стола, у лѣвой стѣны, устроена желѣзная кровать, либо поднимаемая къ стѣнѣ по волѣ арестанта, на шарнирахъ, когда онъ прохаживается, либо опускаемая, когда ему вздумается лечь. Прибавимъ къ тому тюфякъ на кровати, деревянную полку для книгъ и мелкихъ вещей возлѣ двери, справа отъ входа, и пуговку телеграфа слѣва отъ входа—и мы будемъ имѣть полный перечень необходимыхъ принадлежностей каждой кѣлочкѣ, въ которой живое человѣческое существо обречено мучиться и метаться, или, дошедши до тупой безчувственности, прозябать безсмысленно недѣли, мѣсяцы—не дай Богъ—и цѣлыя годы. Если бы не та тяжелая дверь, и не то матовое стекло, изъ-за котораго не видать лазури небесной, то кѣлочку эту, при всей ея тѣснотѣ, можно бы предпочесть для житія послѣднимъ нумерамъ нашихъ гостинницъ—настолько въ ней условій, чтобы хранить свое тѣло въ чистотѣ и опрятности и дышать, не страдая физически».

Сдѣлавъ это соблазнительное описаніе, г. Спасовичъ естественно долженъ былъ задать себѣ вопросъ: да ужъ не слишкомъ ли это хорошо? не будутъ ли бѣдняки и бездомные нарочно совершать преступленія, чтобы только попасть въ эти комфортабельныя *chambres garnies*? Г. Спасовичъ и задаетъ себѣ этотъ вопросъ отъ лица «ревнителей старины» и отвѣчаетъ, что это вздоръ, потому что для человѣка не можетъ быть ничего мучительнѣе одиночнаго заключенія, а въ новой слѣдственной тюрьмѣ «ни одному заключенному не миновать содержанія въ кельѣ». «Притомъ, утѣшаетъ г. Спасовичъ глухихъ ревнителей старины, это одиночное заключеніе можетъ быть, по произволу, сдѣлано болѣе или менѣе сноснымъ или томительнымъ, смотря по его продолжительности

и по способамъ обращенія тюремщиковъ съ арестантами». Въ концѣ концовъ, значить такъ: хотя новая тюрьма и можетъ показаться хуже старыхъ остроговъ собственно потому, что она слишкомъ хороша для арестантовъ, но, если смотрѣть въ корень вещей, то новая тюрьма окажется не въ примѣръ лучше старыхъ, потому что арестантамъ въ ней гораздо хуже. Тутъ я, кажется, немного сбился... Дѣйствительно, сбился. Какая же ожидала меня перспектива, когда прокуроръ прочиталъ статью «Гражданина?»—мрачная или веселая? Ей-богу, не понимаю...

Во всякомъ случаѣ, я очень радъ, что прочиталъ статью г. Спасовича. Особенно цѣненъ въ ней самъ авторъ. Г. Спасовичъ не писатель, по крайней мѣрѣ, не журналистъ, обязанный писать ежедневно, ежедневно или ежемѣсячно. Онъ пишетъ только тогда и только о томъ, когда и что его болѣе или менѣе сильно задѣнетъ за живое. Газетный репортеръ долженъ войти въ новую слѣдственную тюрьму, и описать всѣ эти необыкновенно удобные ватерклозеты, короткіе корридоры, замки, выписанные изъ Англіи, и т. п. Г. Спасовичъ совсѣмъ не долженъ этого дѣлать; онъ описываетъ и смакуетъ по доброй волѣ, тѣмъ болѣе, что онъ даже не специалистъ по тюремному вопросу въ родѣ, напримѣръ, графа Соллогуба. Потому-то и драгоцѣнна статья г. Спасовича. Въ старину я зналъ одного учителя гимназій, который почему-то необыкновенно интересовался палачами. Чуть къ намъ въ городъ новаго палача назначать, или самъ Петръ Андреевичъ съѣздитъ въ сосѣдній губернский городъ къ старухѣ матери или въ Москву, — идетъ длиннѣйшій и оживленнѣйшій разговоръ о томъ или другомъ палачѣ: рубаха на немъ кумачная, красная, шаровары плисовые; рожа—взглянуть страшно! росту одиннадцать вершковъ съ четвертью, —рука—вотъ! при мнѣ плетью двухъ вершковую доску съ разу перешибъ; ужъ этотъ маху не дастъ! н-н-нѣтъ!—Такъ рассказываетъ, бывало, Петръ Андреевичъ, а у самого глаза такъ и горятъ, такъ и бѣгаютъ... Я всегда удивлялся этому человѣку и даже боялся его, хотя онъ былъ на рѣдкость добрый и кроткій человѣкъ. Ему, впрочемъ, всѣ удивлялись. Я слышалъ, какъ однажды его товарищъ, тоже учитель гимназій, говорилъ ему: удивляюсь вамъ, Петръ Андреевичъ! Конечно, палачъ во всякомъ благоустроенномъ городѣ необходимъ и начальство должно заботиться, чтобы онъ былъ достаточно силенъ физически и не слишкомъ мягокъ духомъ. Но вѣдь вы приватный человѣкъ... вѣдь все-таки скверно это, палачъ-то, необходимо, разумѣется, но скверно. Что же вамъ за

охота въ скверности купаться? Вы вонъ когда рассказываете, такъ даже захлебываетесь, даже слюни у васъ текутъ, словно передъ вами и ни вѣсть какой лакомый кусокъ лежитъ...

Сегодня я размышлялъ о графѣ Львѣ Толстомъ. Т.-е. сначала о немъ, а потомъ о разныхъ разностяхъ. Вотъ человѣкъ, который долженъ чувствовать себя недурно послѣ заваренной имъ статей о народномъ образованіи каши. Даже зависть беретъ. Это не то, что защита диссертациі г. Соловьева, который припелъ, показалъ палець и побѣдилъ. Оно, впрочемъ, и немудрено. Что будетъ съ бѣлымъ свѣтомъ, когда бѣлаго свѣта не будетъ,—это вопросъ, конечно, любопытный, но довольно-таки отъ насъ отдаленный. Разрѣшеніе его на манеръ г. Соловьева или на какой иной манеръ не отниметъ у меня моего куска пирога, но и порціи моей не увеличитъ. Отчего же мнѣ, отъ нечего дѣлать, не сдѣлать оваціи г. Соловьеву? Совсѣмъ другое дѣло заваренная гр. Толстымъ педагогическая каша. Развертываю на удачу первые попавшіеся нумера «Указателя по дѣламъ печати» за нынѣшній годъ и нахожу слѣдующія цифры. Барона Корфа «Руководство къ обученію грамотѣ» издано въ количествѣ 10,000 экземпляровъ (*шестое* изданіе); г. Бунакова «Уроки чтенія»—20,000 экземпляровъ (*третье* изданіе); г. Евтушевскаго «Сборникъ ариметическихъ задачъ»—50,000 экземпляровъ (*шестое* изданіе). Весьма внушительныя числа! Я не роюсь въ «Указателѣ по дѣламъ печати», а перелистываю его просто на удачу; можетъ быть тамъ и гораздо даже болѣе грандіозныя цифры найдутся. Но и эти превосходятъ все доселѣ въ этомъ родѣ выданное въ нашемъ отечествѣ. Наиболѣе распространенныя въ Россіи книги,—это дрянныя сказки для народа. Однако, напримѣръ, сказка «Котъ въ лаптяхъ, котофевна въ чеботахъ» выпущена всего въ 7,200 экземплярахъ, «Женихъ пятидесяти старухъ или вотъ такъ клюква»—въ 12,000; знаменитый «Гуакъ или непреоборимая вѣрность»—въ 14,400 экз. (впрочемъ, десятое изданіе). И вдругъ 50,000 экземпляровъ въ шестомъ изданіи! Это, безъ сомнѣнія, единственный примѣръ у насъ на Руси. Но онъ-то и показываетъ, что тутъ дѣло не въ бытій бѣлаго свѣта въ моментъ его небытія, а въ чемъ-то, имѣющемъ осязательную, непосредственную и большую цѣну. Въ педагогическомъ собраніи теперь идетъ самая жаркая и самая прямая, безпощадная борьба за существованіе. Я былъ два раза въ педагогическомъ собраніи и присутствовалъ на

препирательствах гг. Страннолюбского и Евтушевского. Я охотно пошелъ бы еще и еще разъ, если бы г. Евтушевскій не затянулъ совершенно не идущей къ дѣлу, но удобной для затягиванія дѣла канители о Локкѣ и Юмѣ, о Песталоцци и Руссо. Такъ какъ эта канитель была много и много разъ изложена въ почтенныхъ трудахъ нашихъ почтенныхъ педагоговъ, то выслушивать еще ея словесное изложеніе устами хотя бы и самого г. Евтушевскаго—до-нельзя скучно. Скуки же въ жизни вдоволь; по крайней мѣрѣ, вполне достаточно, чтобы не ѣздить за ней специально въ засѣданія педагогическаго общества. Но и двухъ посѣщеній педагогическаго общества совершенно довольно, чтобы убѣдиться, что педагогическая крѣпость вынесетъ ключи побѣдителю далеко не такъ скоро и охотно, какъ вынесла ихъ крѣпость отечественнаго позитивизма г. Соловьеву. 50.000 экземпляровъ въ шестомъ изданіи даютъ, конечно, порядочный доходъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, обязываютъ высоко держать голову. Поэтому-то, если литература въ общемъ и стала на сторону гр. Толстого, то изъ педагоговъ до сихъ поръ только одинъ г. Страннолюбскій замолвилъ словечко за толстовскую ересь. Распространится ли эта ересь или будетъ подѣвлена господами педагогами при самомъ началѣ, я не знаю. Знаю только, что гдѣ-то сказано, что ереси нужны и полезны. Такъ и тутъ. Можетъ быть, г. Евтушевскому удастся изжарить графа Толстого на огнѣ своего негодованія и совершенно залить его прянымъ соусомъ своего остроумія, въ чемъ я, впрочемъ, откровенно говоря, сомнѣваюсь. Но вотъ фактъ, несомнѣнно существующій: многіе родители начинаютъ задумываться, хорошо ли они дѣлали, что такъ ужъ довѣрились господамъ педагогамъ; многіе люди, никогда не занимавшіеся педагогіей, получили къ ней нѣкоторый интересъ и читаютъ вещи, на которыя они прежде не обращали никакого вниманія. Подробности этого маленькаго переворота, совершеннаго графомъ Толстымъ, безъ сомнѣнія нравятся господамъ педагогамъ не могутъ. Стоялъ величавый храмъ, обильно снабженный идолами, чудодѣйственная слава которыхъ гремѣла далеко, и жрецами, священнодѣйствовавшими спокойно, солидно, съ чувствомъ собственнаго достоинства. Къ храму была приписана деревня «Педагогія», доходы съ которой, натурой и деньгами, получались жрецами весьма исправно. И вдругъ въ этотъ храмъ врываются профаны и не только допрашиваютъ жрецовъ на счетъ разныхъ ихъ догматовъ и культа, но производятъ безчинства... Я съ прискорбіемъ записываю тотъ фактъ, что безчинства, дѣйствительно, совершаются. Мнѣ извѣстны такіе примѣры.

Собирается общество, идетъ болтовня, играютъ въ фанты и т. п. Наконецъ, запасъ разговоровъ и игръ истощается и тогда кто-нибудь вытаскиваетъ русское педагогическое сочиненіе, а изъ него выуживаются разные курьезы, производящіе большое веселье. Но съ еще большимъ прискорбіемъ записываю я тотъ фактъ, что и самъ я не могъ удержаться отъ такого выуживанія курьезовъ. Я предаюсь, конечно, этому постыдному занятію втайнѣ, но все-таки предаюсь. Охота иногда бываетъ очень удачна. Недавно какъ-то я наткнулся, на примѣръ, на описаніе свиньи, сдѣланное барономъ Корфомъ. Дѣло, впрочемъ, не въ описаніи, а въ тѣхъ вопросахъ дѣтямъ, которые за описаніемъ слѣдуютъ. Вотъ они:

«Почему свинья лѣтомъ лѣзетъ въ лужу? Что служить причиной того, что свинья лѣзетъ въ лужу? Что дѣлается со свиньей оттого, что она вается въ лужѣ? Какія имѣетъ послѣдствія для свиньи то, что она ложится въ лужу», и т. д.

Я ни малѣйше не сомнѣваюсь, что этотъ назойливый допросъ вполне удовлетворяетъ требованіямъ педагогики. Но, какъ профана, меня очень занимаетъ рядъ вопросовъ: почему педагогъ такъ пристаётъ къ ребенку? что служить причиной того, что педагогъ такъ пристаётъ къ ребенку? что дѣлается съ ребенкомъ, когда педагогъ къ нему такъ пристаётъ? какія имѣетъ послѣдствія для ребенка то, что педагогъ къ нему такъ пристаётъ? Я думаю, что если бы баронъ Корфъ или какой другой педагогъ могъ отвѣтить на эти вопросы, то педагогическая распря значительно приблизилась бы къ концу. Но, къ сожалѣнію, я нигдѣ не могъ найти подходящихъ отвѣтовъ и склоненъ думать, что, повинуваясь духу вѣка забытья и забвенія, педагоги забыли, что служить причиной того, что они такъ пристають къ ребенку. Они знали когда-то, навѣрное знали, но теперь немножко попризабыли...

Я не знаю, въ какомъ изъ многочисленныхъ педагогическихъ произведеній барона Корфа находится упомянутое описаніе свиньи. Я его случайно нашелъ въ книгѣ г. Бѣлова «Сборникъ статей и матеріаловъ для бесѣдъ и занятій дома и въ дѣтскомъ саду, для чтенія въ гимназіяхъ, учительскихъ семинаріяхъ и городскихъ училищахъ». На эту же книгу я, какъ и слѣдуетъ профану, наткнулся тоже совершенно случайно. Перелистывая нумера «Народной школы», я увидѣлъ тамъ статью г. Поликарпова «Всеобъемлющая христоматія», а прочитавъ эту статью, схватился за книгу г. Бѣлова, какъ за рогу изобилія вещей курьезныхъ и увеселительныхъ.

Г. Бѣловъ есть одинъ изъ видныхъ жре-

повъ храма современной русской педагогii. И трудно, я думаю, найти жреца, болѣе типичнаго, священнодѣйствующаго съ болѣе шимъ чувствомъ собственного достоинства и болѣе презирающаго профановъ. Понятно, что такой важный жрецъ, какъ г. Бѣловъ, не можетъ довольствоваться языкомъ простыхъ смертныхъ. Для своихъ священнодѣйствій онъ усвоилъ себѣ языкъ особый, сакраментальный. Такъ, онъ никогда не бываетъ просто увѣренъ въ чемъ-нибудь, на примѣръ, въ поголовномъ невѣжествѣ своихъ читателей; нѣтъ, онъ всегда «сохраняетъ увѣренность», что они «не въ состоянii показать дѣтямъ корень растенiя, стволъ и лепестки». Не менѣе твердо онъ «сохраняетъ убѣжденiе, что многое изъ нашего сборника неизгладимо нарѣжется въ дѣтской душѣ». Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, г. Бѣловъ жрецъ старый, выдавшiй виды и потому исполняющiй свои жреческiя обязанности спустя рукава. Онъ сохраняетъ увѣренность, что все, глаголемое имъ, должно быть воспринимлемо съ благоговѣнiемъ, съ нѣкоторымъ священнымъ трепетомъ, и потому глаголетъ безъ всякой церемонiи. Съ перваго раза не совсѣмъ понятно, какимъ образомъ можетъ одна книга въ двадцать печатныхъ листовъ доставить материалъ «для бесѣдъ и занятiй дома и въ дѣтскомъ саду, для чтенiя въ гимназiяхъ, учительскихъ семинарiяхъ и городскихъ училищахъ». Двадцатью листами, кажется бы, дай Богъ удовлетворить хоть одной изъ перечисленныхъ въ этомъ заглавii потребностей. Одно дѣло—дѣтскiй садъ и другое дѣло—учительская семинарiя и третье опять дѣло—гимназiя. Г. Бѣловъ негодуетъ на существующiя хрестоматiи потому, что онѣ, «заключая въ себѣ самые разнообразныя материалы по самымъ разнообразнымъ отдѣламъ литературы и исторiи, не даютъ возможности ученику усвоить надлежащiя понятiя о томъ или другомъ предметѣ, ибо о каждомъ предметѣ говорится очень немногое». Тѣмъ не менѣе самъ г. Бѣловъ ухитряется составить хрестоматiю, очень небольшую по размѣру, но удовлетворяющую потребностямъ и дѣтскихъ садовъ, въ которыхъ играютъ дѣти, положимъ, лѣтъ 5—8, и 12—15-лѣтнихъ гимназистовъ, и учительскихъ семинарiй, въ которыхъ люди сознательно готовятся къ специально педагогической дѣятельности. Тутъ есть на первый взглядъ какое-то противорѣчiе, которое, однако, блистательно разрѣшается слѣдующими словами г. Бѣлова: «нашъ сборникъ, отличаясь разнообразiемъ, т. е. касаясь самыхъ разнородныхъ сторонъ жизни крестьянина, все-таки говоритъ только о крестьянинѣ, вслѣдствiе чего необходимо долженъ нарѣзать на душѣ ученика отчетливое, цѣлое представление о русскомъ человѣкѣ, нашей

Соч. Н. Я. Михайловскаго, т. II.

родной природѣ и ея разнообразныхъ явленiяхъ».

Это идея! Правда, она является нѣскольکو неожиданно, потому что заглавiе о ней не говорить ни слова, а въ предисловii сказано только, что «педагогiя давно рѣшила, что закладкой всѣхъ будущихъ знанiй должно быть свое родное, среди чего ребенокъ растетъ, что составляетъ неотъемлемую собственность его духа», и т. д. Но это не бѣда. Сборникъ во всякомъ случаѣ имѣетъ строго опредѣленную программу, о значенii которой можно, пожалуй, спорить, но у которой никто не можетъ отнять титула программы. Остается только посмотреть, какъ осуществилъ ее составитель сборника. Безъ сомнѣнiя, задачею предстояла очень трудная. «Самыя разнородныя стороны жизни крестьянина»—вѣдь это цѣлый мiръ. А тутъ еще надо развернуть этотъ мiръ такъ, чтобы онъ былъ доступенъ и ребенку, играющему въ дѣтскомъ саду, и воспитаннику учительской семинарiи, который не сегодня-завтра вступить въ непосредственныя и притомъ педагогическiя отношенiя къ этому мiру. Чуть-чуть вѣдь не младенцу въ колыбели и старцу въ кельѣ предлагаетъ свой сборникъ г. Бѣловъ. Въ виду непреодолимыхъ трудностей этой грандиозной задачи, надо быть снисходительнымъ къ составителю и не ставить всякое лыко въ строку. Что же онъ о крестьянской жизни говорить? Какъ профану, мнѣ прости-тельно перепархивать со страницы на страницу безъ опредѣленнаго порядка.

Впрочемъ, на счетъ порядка г. Бѣловъ очень строгъ. На страницѣ 15 онъ говорить: «Порядокъ есть душа всякаго педагогическаго учрежденiя. Не можетъ держаться безъ него и дѣтскiй садъ. Необходимо составить расписанiе занятiямъ на каждый день и каждый часъ, отъ котораго никакъ не слѣдуетъ отступать безъ крайней нужды. Иначе въ саду будетъ царствовать страшная безтолочь: сегодня начнется одно и не кончится; завтра другое равнымъ образомъ останется недодѣланнымъ». Такъ глаголетъ жрецъ на страницѣ 15. Оно такъ и подобаетъ жрецу, но меня нѣсколько утѣшаетъ страница 310, на которой говорится: «Не дѣлайте изъ порядка мученiя для дѣтей; не дѣлайте порядокъ вопросомъ жизни и смерти; не думайте, что никогда никакiя обстоятельства не могутъ заставить васъ, въ извѣстный день или часъ, отступить отъ порядка занятiй, означенныхъ въ расписанii». Здѣсь нѣтъ, конечно, противорѣчiя, потому что оба ряда афоризмовъ изложены въ слишкомъ общей формѣ. Во всякомъ случаѣ, значить, требованiя порядка колеблются въ извѣстныхъ предѣлахъ и чортъ не такъ страшенъ, какъ его намалевалъ сначала г. Бѣловъ; зна-

читъ, нѣкоторый безпорядокъ простиленъ и мнѣ.

Страница 36. Г. Бѣловъ недоволенъ фребелевскими пѣснями. Онъ «сохраняетъ увѣренность, что многія изъ нихъ должны быть очень скучны для дѣтей». Однако, есть между ними и недурныя. «Къ числу прямо полезныхъ для дѣтей пѣсенъ, говоритъ онъ, — мы относимъ слѣдующую»:

Супцу больше нѣтъ нисколько,
Все ужъ скушалъ мой сыночекъ.
Куда жъ дѣлся онъ? скажи мнѣ...
Въ ротикъ съ ложечки попалъ,
Языкъ въ горлышко толкнулъ
И въ желудочекъ пропалъ.
На здоровье!

Прелестно. Въ прозаическомъ изложеніи выходить: «супецъ, попавъ съ ложечки въ ротикъ, толкаетъ языкъ въ горлышко». Но и вообще хорошо, особенно, я думаю, когда эту «прямо полезную для дѣтей пѣсню» ребята поютъ хоромъ. Однако, гдѣ же здѣсь самыя разнородныя стороны или даже кака-нибудь одна сторона жизни крестьянина?

Страница 37. Есть и еще хорошенькая и очень полезная фребелевская пѣсенка:

Положу я палочку горизонтально,
Другую палочку перпендикулярно,
Дырочку по срединѣ проверчу
И вмѣстѣ гвоздикомъ ихъ сколочу.
Смотри, лежи, дощечка!
Вотъ крестьянъ нашъ уже готовъ.
Что стоитъ онъ? скажи мнѣ.
Онъ стоитъ шесть копѣекъ.
Зачѣмъ такъ дорожится?
Двѣ копѣйки за дощечку,
Двѣ копѣйки за другую,
Двѣ копѣйки за работу.

Ну, какъ не сказать спасибо гр. Толстому? Вѣдь только благодаря его статьѣ, сталъ я (да и не одинъ я) рыться въ педагогическихъ сочиненіяхъ и узнавать, что дѣлается въ величавомъ храмѣ, чудодѣйственная слава идоловъ котораго гремитъ такъ далеко и жрецы котораго священнодѣйствуютъ такъ важно и солидно, получая разнообразныя дани съ приписанной къ храму деревни Педагогіи. Вонъ г. Бѣловъ разъясняетъ, что къ нему присылаютъ цѣлыя массы писемъ съ просьбой рекомендовать садовницу для дѣтскаго сада или разрѣшить то или другое недоумѣніе. Вслѣдствіе этого г. Бѣловъ, разумѣется, «сохраняетъ увѣренность». Однако, это все пустяки. Важно вотъ что: положу я палочку горизонтально, положу я палочку перпендикулярно, — это прекрасно, но при чемъ тутъ «самыя разнородныя стороны жизни русскаго крестьянина»?

Страница 37. «Зная, до какой степени познанія нашихъ матерей не велики, особенно въ наукахъ математическихъ, мы на послѣдующихъ страницахъ сообщимъ нѣкоторые

свѣдѣнія по геометріи, чтобы мать могла эти свѣдѣнія передать дѣтямъ». Лучше бы, я думаю, матери прямо порядочный учебникъ геометріи купить, а г. Бѣлову обещаннымъ крестьяниномъ заняться. А впрочемъ, ничего. Г. Бѣловъ такой строгій логикъ, что выслушать отъ него урокъ математики будетъ всякой матери полезно.

Страница 45. Разговоръ съ дѣтьми: «Какъ называется этотъ плодъ? — Яблоко. — А этотъ? — Груша. — Попробуй тотъ и другой. Обрати вниманіе на вкусъ обоихъ. Закрой глаза. Отъ котораго плода ты откусилъ: отъ яблока или груши? Какой вкусъ яблока, груши, огурца? Ребенокъ говоритъ: кислый, пріятный, нѣжный, сладкій. Садовница строго слѣдитъ за тѣмъ, чтобы ребенокъ составлялъ ясныя, правильныя, отвѣчающія дѣйствительности фразы». Въ современной педагогикѣ мнѣ особенно нравится то, что она беретъ ребенка за шиворотъ и съ небольшою тратою силъ влечетъ его по кратчайшему логическому пути къ ясному, отвѣчающему дѣйствительности, заключенію. Если баронъ Корфъ примется допрашивать ребенка: что служить причиною тѣхъ послѣдствій, съ которыми свинья вылѣзаетъ изъ лужи? Какія суть послѣдствія тѣхъ причинъ, которыя побуждаютъ свинью лѣзть въ лужу? — то съ теченіемъ времени ребенокъ, если, конечно, не убѣжитъ или не наложитъ на себя руку, вполне ознакомится съ причинами и слѣдствіями страннаго поведенія свиньи. Равнымъ образомъ, если г. Бѣловъ, давъ нѣсколько разъ ребенку попеременно откусить отъ яблока и отъ груши, пристанетъ къ нему на этотъ счетъ съ допросомъ, то ребенокъ съ теченіемъ времени будетъ составлять ясныя, правильныя, отвѣчающія, дѣйствительности, фразы. Напримѣръ, когда его спросятъ: отъ какого плода ты откусилъ? — онъ ужъ не скажетъ: отъ плода древа жизни или отъ плода древа познанія добра и зла, а ясно, правильно и соотвѣтственно дѣйствительности отвѣтитъ: отъ яблока. Потому-то я и говорю, что очень любопытно отъ г. Бѣлова урокъ математики выслушать. Относительно вкуса яблока или огурца, я думаю, трудно составить ясную, правильную, отвѣчающую дѣйствительности фразу. Съ ребенка, конечно, можно все потребовать, а попробовалъ бы г. Бѣловъ самъ. Но зато въ математикѣ есть гдѣ разгуляться его логической способности.

Страница 61. Математическая бесѣда съ дѣтьми: «Не найдете ли вы въ комнатѣ какихъ-нибудь совершенно круглыхъ предметовъ? — Дѣти называютъ часы, картину, которая виситъ на стѣнѣ, графинъ и другіе предметы. — Не весь графинъ, а только нижняя часть его. Бываютъ графины и не круг-

лые. Нашъ графинъ дѣйствительно круглый. *Совершенно круглая фигура называется круглымъ*.

Страница 64. Продолженіе математической бесѣды: «Ты сказалъ, эта монета круглая и шаръ тоже круглъ, но одинаково ли они круглы?—Нѣтъ, монета кругла, но плоска, или иначе сказать: *она имѣетъ кругообразную форму. Шаръ совершенно круглъ*».

Конечно, эти опредѣленія поражаютъ ясностью, правильностью и соответствіемъ съ дѣйствительностью, но я сохраняю увѣренность, что глаголы великолѣпнаго жреца о слабости познаній нашихъ матерей совершенно неумѣстны. Наши матери, я продолжаю сохранять увѣренность, могутъ безъ жреческихъ подсказываній объяснить (если это слово здѣсь уместно), что совершенно круглая фигура есть кругъ и что шаръ совершенно круглъ.

Но гдѣ же, гдѣ, наконецъ, разнородныя стороны жизни нашего крестьянина? Шаръ совершенно круглъ, супцу больше нѣтъ нисколько, положу я палочку горизонтально, откусю отъ яблока и груши,—все это чудесно, педагогично, но вѣдь г. Бѣловъ совѣмъ не такую христоматию затѣялъ, въ которой говорится обо всемъ понемножку. Онъ христомать съ идей. Гдѣ же осуществленіе этой идеи? Перевертываю сразу нѣсколько страницъ.

Страница 252. «Природа въ своихъ произведеніяхъ». «Всѣ произведенія природы раздѣляются на три царства: 1) ископаемое, 2) растительное и 3) животное». Превосходно. Потомъ идутъ «Земли», «Камни», «Металлы и руды» (255), «Соли» (257). Всѣ эти статьи «входятъ въ составъ 2-го выпуска нашего руководства для сельскихъ учителей, гдѣ онѣ напечатаны въ урокъ естествознанія, который, смѣемъ думать, можетъ принести не малую пользу и матерямъ въ ихъ бесѣдахъ съ дѣтьми». Затѣмъ слѣдуютъ статьи: «Дерево и травка» (259; Водовозова «Книга для первоначальнаго чтенія»), «Часті растенія и его оплодотвореніе» (260; отсюда же). Затѣмъ идетъ отрывокъ изъ Некрасовскаго «Мороза», озаглавленный «Гришуха» (263). Какимъ образомъ этотъ Гришуха попалъ въ рубрику «природа въ своихъ произведеніяхъ»? Строго говоря, и Гришуха, конечно, произведеніе природы, какъ и всѣ мы грѣшныя, но я сохраняю убѣжденіе, что мы принадлежимъ по крайней мѣрѣ къ животному царству, а г. Бѣловъ помѣстилъ Гришуху между «частями растенія» и «льномъ пенькой и хлопчатой бумагой». Я протестую, рѣшительно протестую. Первый крестьянинъ мнѣ попался въ книгѣ, специально посвященной крестьян-

ской жизни, да и тотъ отнесенъ къ растительному царству! За Гришухой идутъ: «Ленъ» по Водовозову, «Хлѣбъ» по барону Корфу, «Обработка поля» по барону Корфу, «Овсяный кисель» Жуковского, «Корова» Водовозова, «Лошадь» барона Корфа, «Свинья» его же, «Свинья подъ дубомъ» Крылова, «Какъ мыши кота хоронили» Жуковского и проч., и проч. Многія изъ этихъ статей превосходны, особенно принадлежащія перу барона Корфа. Напримѣръ, описаніе лошади: «Лошадь—животное домашнее, четвероногое, травоядное; есть и одичалыя лошади. У лошади длинная голова и на ней два уха, торчащія вверхъ; шея у лошади длинная, а у ней грива; туловище длинное, а на концѣ его хвостъ изъ длинныхъ волосъ» и проч. Но гдѣ же опять-таки мужикъ? Гришуху я не считаю, по двусмысленности занимаемаго имъ въ числѣ произведеній природы мѣста. Переворачиваю опять нѣсколько страницъ назадъ.

Страница 128. Приведа одну бурлацкую пѣсню, жрецъ отъ себя изъясняетъ: «Объяснивъ ребенку, почему бурлаки приносятъ домой только хлѣбъ да крошки, да худыя ложки, мать можетъ прибавить для характеристики бурлаковъ, что вятскіе ребята хватскіе (въ бурлаки идетъ множество народу изъ Вятской губерніи)—семеро одного не боятся, а одинъ на одинъ и котому отдадимъ, что разъ они какъ-то легли спать въ лѣсу вокругъ огня, ногами къ огню. Утромъ поднялась страшная ссора. Отъ ссоры дѣло дошло до тычковыхъ: лежать да колотать другъ друга по головамъ. Проходитъ мимо ярославецъ и спрашиваетъ: о чемъ, ребята, ссоритесь?—Да вотъ, отецъ родной, рассуди насъ, говоритъ самый бойкій изъ вятскихъ. Петруха: Ванька кричитъ, что это его нога, а нога моя, Всѣ мы, братецъ, перепутались ногами и въ толкъ не возьмемъ, чьи ноги. Ярославецъ, на что былъ веселый парень, но не выдержалъ: плюнулъ, назвалъ ихъ дураками, какихъ свѣтъ не производитъ, и пошелъ своей дорогой».

Вотъ, наконецъ, одна изъ самыхъ разнородныхъ сторонъ жизни нашего крестьянина! Вотъ, наконецъ, одна изъ тѣхъ картинъ, которыя должны нарѣзаться на душѣ ребенка отчетливое представленіе о русскомъ человѣкѣ! Но, странное дѣло, когда я прочиталъ совѣтъ великолѣпнаго жреца, рассказывать дѣтямъ анекдотъ о бурлакахъ, я потерялъ всякое желаніе производить дальнѣйшую разработку книги г. Бѣлова. Мало того. На меня напало какое-то недоброе чувство. Я отбросилъ книгу и произнесъ слѣдующее заклятіе: да пошлетъ судьба удачу гр. Толстому; да отнимется у великолѣпныхъ жрецовъ приписанная къ ихъ храму деревня

Педагогія; да посрамятся люди самодовольные, все и всѣхъ кромѣ себя презиравшіе, хотя и больше всѣхъ о любви толкующіе!..

Впрочемъ, это я сгоряча такое заклятіе произнесъ. Когда кончатся пренія въ педагогическомъ обществѣ, я добросовѣстно занесу ихъ исторію и результаты въ свой дневникъ и вновь предамся размышленіямъ.

Мой дневникъ лежитъ у меня всегда на письменномъ столѣ открытымъ на послѣдней страницѣ. Каждому моему знакомому я предоставляю право перелистывать его и сообщать мнѣ свои впечатлѣнія. Вчера одинъ пріятель, прочитавъ страницы дневника, относящіяся къ сборнику г. Бѣлова, сдѣлалъ мнѣ слѣдующія замѣчанія: во-первыхъ, книга г. Бѣлова вышла еще въ прошломъ году, и заносить ее въ дневникъ надо было тогда же, а не черезъ годъ; во-вторыхъ, г. Бѣловъ ничѣмъ особенно не выдвигается изъ рядовъ педагоговъ, и потому я получилъ бы объ его книгѣ гораздо болѣе правильное понятіе, если бы рассматривалъ ее между прочимъ, т. е. въ числѣ прочихъ педагогическихъ сочиненій. Первое замѣчаніе пріятеля довольно неосновательно. До статьи гр. Толстого и общество, и литература очень мало интересовались педагогіей и педагогами. Извѣстно было, что два раза въ мѣсяцъ въ педагогическомъ обществѣ совершаются какія-то таинства, краткіе отчеты о которыхъ въ газетахъ сквозъ пальцы пробѣгались равнодушными читателями. Извѣстно было, что педагоги выпускаютъ цѣлыя массы сочиненій, которыя, однако, какъ-то тихо и незамѣтно проскальзываютъ мимо критики. Составился особенный педагогическій мірокъ, гдѣ все цвѣло безпредѣльною любовью. Это былъ грѣхъ всего общества, а въ частности, разумѣется, и мой, какъ члена общества. Я не прячусь: грѣшенъ, я отдавалъ своихъ дѣтей на педагогическое сѣдленіе, не справляясь, какъ слѣдуетъ, объ ожидающей ихъ участи. Но такъ какъ этотъ мой грѣхъ есть грѣхъ всего общества, то я, не стыдясь, заносу въ свой дневникъ 1874 г. размышленія о книгѣ, вышедшей въ 1873 году. Да вѣдь и не очень это большой промежутокъ времени, особенно, если принять въ соображеніе, что мы жить вообще не торопимся. Вотъ и спеціально-педагогическій журналъ, «Народная школа», занялся хрестоматіей г. Бѣлова только въ нынѣшнемъ году, такъ уже мнѣ и Богъ велѣлъ. Основательнѣе второе замѣчаніе пріятеля. Дѣйствительно, если бы я проштудировалъ трудъ г. Бѣлова въ числѣ прочихъ, подобныхъ же трудовъ, то его достоинства не выступили бы такъ рельефно и не получили бы такого непропорціонально яркаго освѣщенія. Но дѣло здѣсь все-таки только

въ пропорціи, въ отношеніяхъ количественныхъ, а не качественныхъ. Однако, и этотъ недостатокъ моего самообразования я не замедлю восполнить и уже началъ штудировать собратовъ г. Бѣлова.

Пришелъ другой пріятель и, прочитавъ тѣ же страницы дневника, сдѣлалъ другое замѣчаніе. Съ поднявшимися дыбомъ волосами и поблѣднѣвшимъ отъ ужаса лицомъ, онъ воскликнулъ: несчастный! твои слова о г. Бѣловѣ исполнены лжи и недостойнаго глумленія; вѣдь г. Бѣловъ педагогъ, онъ гдѣ-нибудь учительствуетъ и начальствуетъ... ты хочешь взбѣсить противъ него учащуюся молодежь! Ты придаешься нахальнымъ нареканіямъ и клеветамъ!

— Постой, любезный другъ, перебилъ я, это ужъ ты заврался. Я не претендую на званіе критика, о книгѣ г. Бѣлова сдѣлалъ всего нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній, но все-таки гдѣ же ты нашелъ «ложь и недостойное глумленіе» и «нахальные нареканія и клеветы?»

— Гдѣ? гдѣ? Я и искать не хочу!.. Ложь, клевета,—и basta!

— Ну, ладно. А съ чего же ты взялъ, что я имѣю въ виду «взбѣсить учащуюся молодежь» противъ г. Бѣлова? Вѣдь послѣ этого ни о какой книгѣ, предназначенной для употребленія учащейся молодежи или даже просто написанной кѣмъ-нибудь изъ учащагося люда, и говорить нельзя. Я лично противъ этого ничего не имѣю: пусть нельзя, пусть помолчатъ! И я, пожалуй, готовъ выдрать изъ своего дневника страницы, трактующія о книгѣ г. Бѣлова. Но замѣть, что, насколько я могу припомнить, русской литературѣ никогда, ни даже въ самыя мрачныя для нея времена, не возбранялось трактовать о книгахъ, написанныхъ учащимъ людомъ. Само правительство никогда не вмѣшивалось въ этого рода полемику и, предоставляя учащему люду самому парировать нападенія собственными средствами научнаго авторитета, не называло этихъ нападеній подзадориваніемъ учащейся молодежи. Ты-то съ чегъ лѣзешь? А еще писатель! Вѣдь послѣ этого и статья гр. Л. Н. Толстого о народномъ образованіи смущаетъ молодые умы и бѣситъ учащуюся молодежь противъ гг. Евтушевскаго, Бунакова и пр.

— Толстой!.. хм... Толстой? Что такое Толстой? Толстой совсѣмъ другое дѣло... (Пріятель видимо затруднился, но довольно быстро оправился). У Толстого нѣтъ лжи и нахальныхъ нареканій, клеветы и недостойнаго глумленія, заключилъ онъ.

— Ну, какъ тебѣ сказать... Была бы охота, а найти все это нетрудно. Если, напримеръ, попросить хорошенько г. Евтушевскаго, такъ онъ откроетъ. Да и ты откроешь.

Тебѣ даже очень легко открыть, если ты, не указывая, въ чемъ именно состоитъ мое недостойное глумленіе надъ г. Бѣловымъ, что именно я солгалъ на него и какъ оклеветалъ его, говоришь: ложь, клевета—и basta! А по моему, такъ если бы гимназисты или другіе какіе ученики гг. Евтушевскаго, Бунакова и проч., прочитають статью гр. Толстого, не захотѣли у нихъ учиться, такъ и то гр. Толстой тутъ не при чемъ. Вѣдь онъ свою статью не специально для учениковъ гг. Евтушевскаго и Бунакова писалъ. За что же обвинять его въ «смущеніи» и «бѣшеніи»?...

— Толстого я вовсе не обвиняю, горячо перебилъ меня пріятель. — Не понимаю, съ чего ты о немъ заговорилъ. За послѣднее время Толстой обидѣлъ меня, сильно обидѣлъ: ни романа своего, ни статьи о народномъ образованіи въ «Русскій Вѣстникъ» не отдалъ... Ну, Богъ ему простить, а я еще пока потерплю, посмотрю; не понравится, такъ уговорю М. Н. Каткова объяснить въ передовой статьѣ или въ корреспонденціи изъ Петербурга, что графъ де Левъ Толстой де смущаетъ де и проч. Ужъ Михаилъ Никифоровичъ знаетъ, подъ какимъ соусомъ подать кого слѣдуетъ...

— Ну, хорошо,—началъ я опять.—Толстого не хочешь, возьмемъ самого Михаила Никифоровича. Въ пятидесятихъ годахъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» ратоборствовалъ нѣкій Байборода, и ужъ какъ онъ глумился, какъ крошилъ, костилъ профессора римскаго права Никиту Крылова, доказывалъ, что Никита Крыловъ склоненій латинскихъ не знаетъ, родовъ даже не умѣетъ различить, что такой профессоръ просто срамъ для университета. Что-жъ, по твоему, и «Русскій Вѣстникъ» тогда имѣлъ намѣреніе смутить молодые умы и взбѣсить учащуюся молодежь противъ профессора Крылова?

— Экъ хватилъ! Въ пятидесятихъ годахъ! Такъ неужто-жъ я обязанъ руководствоваться тѣмъ, что дѣлалъ самъ безъ малаго двадцать лѣтъ тому назадъ? Называешься ты Иваномъ Непомящимъ, а этого понять не можешь!

— Да, это резонъ. Извини. Но вотъ тебѣ современный примѣръ. Г. Кавелинъ ведетъ полемику съ г. Сѣченовымъ, а г. Сѣченовъ есть профессоръ новороссійскаго университета. Такъ, какъ тебѣ кажется, — не смущаетъ ли г. Кавелинъ молодые умы новороссійскихъ студентовъ и не старается ли онъ взбѣсить учащуюся молодежь противъ профессора Сѣченова?

— Вздоръ, вздоръ! Г. Кавелинъ ведетъ полемику аккуратно, чистоплотно, безъ насмѣшекъ, отличныхъ слогомъ. Его даже «Русскій Вѣстникъ» одобрилъ. Прочти-ка тамъ статью г. Стадлина...

— Вотъ спасибо, что напомнилъ. Допустимъ, что г. Кавелинъ ведетъ свое дѣло аккуратно. Ну, а г. Стадинъ? Нѣтъ у него лжи и клеветы, недостойнаго глумленія и нахальныхъ нареканій?

— Есть-то, есть...

— Ну, вотъ. А вѣдь никто не говоритъ, что онъ волнуетъ умы студентовъ новороссійскаго университета. Никто и вниманія не обращаетъ: пиши себѣ на здоровье... Да ты вотъ что мнѣ откровенно скажи: откуда ты взялъ эти слова о недостойномъ глумленіи, о смущеніи молодыхъ умовъ и проч.? Говори по совѣсти, вѣдь не твои это слова, откуда?

— Изъ «Московскихъ Вѣдомостей».

— Которые №№?

— 309 и 310.

— Ну, прощай.

Я тотчасъ же одѣлся и отправился въ библиотеку, потому что, грѣшный человѣкъ, очень люблю пикантныя статейки «Московскихъ Вѣдомостей». Я всегда въ нихъ что-то близкое, родственное нахожу. Въ № 309 я нашелъ передовую статью о безпорядкахъ въ медико-хирургической академіи. По обыкновенію, статья превосходная: съ громомъ, молніей, пушечной пальбой, барабаннымъ боемъ и бенгальскимъ освѣщеніемъ финала, оглушеніе и ослѣпленіе полное. Особенно интересовали меня тѣ мѣста статьи, которые вдохновили моего легкомысленнаго пріятеля. «Изъ стѣнъ академіи, пишутъ «Московскія Вѣдомости», походъ противъ г. Ціона перешелъ на болѣе широкую арену петербургской журналистики. Брань на г. Ціона сдѣлалась одною изъ ея любимѣйшихъ темъ, и имя его волочили изъ фельетона «Петербургскихъ Вѣдомостей» черезъ фельетонъ «Биржевыхъ Вѣдомостей» и критику «Знанія» въ «Отечественныя Записки», гдѣ самымъ нахальнымъ нареканіямъ и клеветамъ на него посвящено нѣсколько листовъ печати. Все ставилось въ вину г. Ціону. Въ краткій срокъ своего преподаванія онъ успѣлъ издать самостоятельный курсъ физиологіи. Курсъ былъ разруганъ. Онъ произноситъ интересную рѣчь. Она возбуждаетъ цѣлую бурю». Финалъ освѣщенъ слѣдующимъ бенгальскимъ огнемъ. «Вотъ за что позорили и волочили его имя по грязнымъ фельетонамъ петербургскихъ газетъ! Вотъ за что хотѣли взбѣсить противъ него учащуюся молодежь!.. и проч.

Трактовать объ этомъ бенгальскомъ освѣщеніи я не намѣренъ. Да оно и не опасно: попадись мой дневникъ въ благородныя руки Михаила Никифоровича... Нѣтъ, лучше и не думать объ этомъ. Я лучше просто воскликну: вотъ гражданинъ! вотъ сынъ отечества! вотъ мужественный человѣкъ, ни-

кого не бьющій, кромѣ лежащихъ, всегда готовый обличать даже «высшія административныя сферы», когда этотъ подвигъ не представляетъ никакой опасности! вотъ благороднѣйшій баши-бузукъ, имѣющій смѣлость называть грязнымъ все, кромѣ самого себя и тѣхъ, на которыхъ падаетъ отраженный отъ него свѣтъ! вотъ истинный рыцарь чести, новый Баяръ, *chevalier sans peur et sans reproche*!..

Въ № 310 я нашелъ только коротенькую замѣтку. Но малъ золотникъ, да дорогъ. Сдѣлавъ выписку изъ газеты «Голосъ», въ которой порицаются волненія студентовъ medico-хирургической академіи, «Московскія Вѣдомости» замѣчаютъ: «Вотъ какъ торжественно! Вотъ какъ заботливо, *post factum*, заботятся (заботливо заботятся?) эти господа о сохраненіи порядка въ школахъ! А между тѣмъ, какое безстыдство!—Всѣмъ извѣстно, что тотъ же самый г. Краевскій, издающій «Голосъ», есть редакторъ и «Отечественныхъ Записокъ», въ которыхъ ни одна статья не помѣщается безъ его разрѣшенія, а именно въ этомъ журналѣ нашла себѣ пріютъ недобросовѣстная полемика противъ профессора Ціона, начатая въ докладѣ академической конференціи—именно, статья «Отечественныхъ Записокъ», исполненная лжи и недостойнаго глумленія, была всего болѣе рассчитана на то, чтобы смутить молодые умы и, дѣйствительно, по собственнымъ показаніямъ студентовъ академіи, всего болѣе смутила ихъ».

Какое дѣйствительно безстыдство! Каждая строка этой жалкой инсинуаціи безстыдна, какъ улыбка нарумяненнаго погибшаго созданія. «Московскимъ Вѣдомостямъ», какъ и всей читающей публикѣ, извѣстно, что «Отечественныя Записки» и «Голосъ» два отдѣльные изданія, отвѣчающія каждое только за себя. И однако «Московскія Вѣдомости» считаютъ себя въ правѣ безстыдно забавляться на эту тему. Но допустимъ, что «Отечественныя Записки» и «Голосъ» едино суть. Это предполагаемое единое порицаетъ какъ ученые труды профессора Ціона, такъ и волненія студентовъ. Есть ли тутъ какое-нибудь противорѣчіе? «Московскія Вѣдомости» утверждаютъ, что, по показаніямъ самихъ студентовъ, ихъ всего болѣе смутила статья «Отечественныхъ Записокъ». Это ложь и нахальное нареканіе какъ на студентовъ, такъ и на «Отечественныя Записки». Пусть «Московскія Вѣдомости» приведутъ эти показанія студентовъ или, по крайней мѣрѣ, укажутъ, гдѣ и когда они обнародованы. Но если бы и такъ, если бы студенты были дѣйствительно смущены статьёй «Отечественныхъ Записокъ», что же изъ этого слѣдуетъ? Если бы нападки «Русскаго Вѣстника» пятидесятихъ

годовъ на профессора Крылова или теперешнія нападки того же «Русскаго Вѣстника» на профессора Сѣченова произвели волненія въ московскомъ и новороссійскомъ университетахъ,—посыпалъ ли бы пепломъ свою благородную голову Михаилъ Никифоровичъ? Положимъ, студенты новороссійскаго университета показываютъ: «будучи отъ самого Михаила Никифоровича Каткова наслышаны, что онъ честный человѣкъ и благородный гражданинъ, мы повѣрили отзывамъ его органовъ о профессорѣ Сѣченовѣ; а такъ какъ въ означенныхъ отзывахъ блистательно доказывалось, что профессоръ Сѣченовъ человѣкъ недобросовѣстный, поверхностный, невѣжественный и пр., то мы выломали дверь» и т. д. Случись такой невѣроятный въ дѣйствительности, но совершенно возможный въ идеѣ казусъ, М. Н. Катковъ, мнѣ кажется, былъ бы вовсе не виноватъ. Въ противномъ случаѣ, т. е., признавъ г. Каткова виновнымъ въ смущеніи молодыхъ умовъ, литература должна бы была перестать существовать, ибо ни одинъ писатель не можетъ поручиться за тѣ многоразличныя побочныя вліянія, которыя можетъ оказать его произведеніе. Вонъ нѣмцы послѣ «Вертера» стали топиться,—Гёте, что ли, въ этомъ виноватъ? Наименьшее, что можно бы было извлечь изъ обвиненія г. Каткова, это—полная литературная неприкосновенность всѣхъ преподавателей высшихъ, среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній...

Любопытно бы было добиться—кто такой г. Катковъ, какая его профессія? Кто этотъ человѣкъ, такъ глубоко презирающій и чуть не ежедневно мальтретирующій фельетонистовъ, журналистовъ, публицистовъ? Кто этотъ человѣкъ, норовящій при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ сдѣлать изъ литературы козла отпущенія и сузить и безъ того неширокое поле ея дѣятельности? Быть можетъ, онъ храбрый воинъ, стяжавшій свои лавры на полѣ брани, проливавшій кровь за отечество и потому съ неосновательнымъ, но все-таки объяснимымъ презрѣніемъ смотрящій на «фрачниковъ», проливающихъ чернила?—Нѣтъ, г. Катковъ на полѣ брани не бывалъ и за отечество проливалъ только чернила. Быть можетъ, онъ знаменитый ученый, взирающій на литературу съ высоты своихъ научныхъ открытій, пролившій новый свѣтъ, свѣтъ науки на дѣла міра сего?—Нѣтъ, г. Катковъ знаменитымъ ученымъ не бывалъ, научныхъ открытій не дѣлалъ и новаго свѣта не проливалъ. Быть можетъ, онъ государственный дѣятель, неосновательно, но опять-таки, естественно, гордый своимъ громаднымъ практическимъ опытомъ и потому возмущающійся непрощеннымъ вмѣшательствомъ людей теоріи?—

Нѣтъ, г. Катковъ самъ человѣкъ теоріи. Кто же онъ? Этотъ человѣкъ, такъ стремительно хватающій при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ литературу за горло, есть издатель и редакторъ двухъ періодическихъ изданій. Этотъ человѣкъ, такъ глубоко презирающій журналистовъ, публицистовъ и фельетонистовъ, есть журналистъ, фельетонистъ и публицистъ, ни больше, ни меньше; въ качествѣ издателя-редактора двухъ періодическихъ изданій, онъ окруженъ такими-же, какъ и самъ онъ, фельетонистами, публицистами, журналистами. Но что же скажетъ о немъ исторія литературы, неумный судъ потомства? Журналистъ, не могущій произнести слова «журналистика» безъ эпитетовъ «грязная», «трусобная», «наглая» и т. п.; писатель, изъ всѣхъ силъ хлопотущій о прекращеніи писательства вообще, — какъ свяжетъ судъ потомства эти противорѣчія? Не знаю. Я же выражусь такъ: г. Катковъ есть человѣкъ безъ опредѣленныхъ занятій, безъ роду и безъ племени, безъ отца и безъ матери, безъ предварительной цензуры и безъ зазрѣнія совѣсти, словомъ такой-же Иванъ Непомнящій, какъ и я.

VI.

Дневникъ *).

Ухъ, усталъ! Что за ужасная обязанность сочинять «С.-Петербургскія Вѣдомости!» Газета большая, съ добрую Оедору, хлопотъ много, а тутъ еще разныя ругательныя письма получаешь. И кто ихъ разберетъ — за что ругаются. Ну, въ печати тамъ бранятся, это я понимаю: зависть одолеваетъ. Но публика! подписчики?! Кажется все какъ слѣдуетъ: и графъ Сальясъ-Турнемиръ, и Цезарь Кюи, и К. Скальковский, и О. П. Баймаковъ... Просто изъ силъ выбился. Вотъ ужъ скоро три мѣсяца, какъ не могъ урвать свободной минутки, чтобы написать нѣсколько строкъ дневника. Друзей тоже совсѣмъ забросилъ, не переписываюсь. Чего добраго разсердятся.

Иванъ Проворовавшійся ужъ писалъ: «если говорить, ты мнѣ въ моемъ несчастіи не можешь, не прольешь бальзама дружбы на раны моего сердца, то я тебя въ ближайшемъ своемъ романѣ изобличу, докажу, что ты ни къ истинной дружбѣ, ни къ чему идеальному вообще, ни къ какому высокому паренію надъ брэнною землей неспособенъ». Надо будетъ сегодня же написать, а то изобличить и въ самомъ дѣлѣ. Я его знаю: ни передъ чѣмъ не остановится, когда ближній его окажется недостаточно высоко па-

рящимъ, какъ-нибудь согрѣшить противъ высокихъ идеаловъ à la Шиллеръ. Его хлѣбомъ не корми, 5,000 въ годъ не возьметъ, только чтобы было ему что-нибудь этакое высокое, на манеръ маркиза Позы. Оттого онъ и нигилистовъ такъ не любитъ. По человѣческому онъ имъ, пожалуй, готовъ простить, но нѣтъ въ нихъ того изящнаго благородства, которыми блистаютъ графы Завалевскіе, князья Пужбольскіе и другіе благородные, благовоспитанные, благомыслящіе и благоглупые герои романовъ г. Болеслава Маркевича. И онъ скорбигъ. Скорбигъ и меланхолически поматываетъ головой справа налево, опять-таки, какъ одинъ изъ героевъ «Марины изъ Алаго Рога» г. Болеслава Маркевича. Станный у него этотъ жестъ выходить. Я очень хорошо знаю, что онъ отъ тоски по «голубому цвѣтку», отъ тоски по идеалу головой поматываетъ, а постороннимъ, не знающимъ людямъ все кажется, что это онъ, какъ въ старину вятчаники подъячіе, просителей въ другую комнату вызываетъ для секретныхъ переговоровъ. Надо, надо ему написать. Кстати же онъ въ горестномъ теперь положеніи. Кромѣ меня и М. Н. Каткова его утѣшить некому, потому что, какъ справедливо выразился Михаилъ Никифоровичъ, «мошеники пера и разбойники печати» (кажется, впрочемъ, первый эти сильныя слова сказалъ г. Болеславъ Маркевичъ) ничего разбитаго сердца починить не могутъ. А что сердце друга моего разбито — въ этомъ сомнѣваться нельзя. Это даже по внѣшнему виду его письма ко мнѣ замѣтно. Написано оно на клочкѣ бумаги, очевидно, случайно повернувшимся подъ руку, потому что на немъ съ боку написано чьей-то дѣтской рукой каллиграфическое упражненіе: 5,000. 60,000. *Сплатъ извѣстнымъ свое имя посредствомъ успховъ въ литературу, значитъ прославиться; но отличатся добродѣтельно не въ тысячу ли разъ лучше и почтеннѣе? 5,000 60,000.* Это, вѣроятно — страница изъ прописей сына или дочери моего бѣднаго друга. Онъ всегда выбираетъ для своихъ дѣтей самыя назидательныя прописи. На томъ же клочкѣ бумаги есть избранныя мѣста и достопамятныя изреченія изъ романовъ г. Болеслава Маркевича. Напримѣръ: «Вѣдь это перлы нашей молдаво-валахской цивилизаціи! Въ области печатнаго слова, давно сказано, на одного честнаго писателя приходится вообще по десяти Фальстафовъ. Весь вопросъ въ объемѣ того, что можетъ позволить себѣ Фальстафъ». — «Но Завалевскій не могъ отрѣшить себя отъ *прежняго* чело-вѣка. Въ Америкѣ онъ все отыскивалъ суровыя республиканскія добродѣтели, пуританъ временъ Пенна, героевъ пустынь и

*) 1875 г., мартъ.

дѣвственныхъ лѣсовъ Купера,—и натѣкался лишь на эксплуататоровъ humbug'овъ всякаго рода. Онъ задыхался въ этомъ мѣрѣ машинъ, царственнаго мѣшанства, колоссальнаго расчета и циническаго корыстолюбія». — «Въ Россіи—города и села представляли собою зрѣлище одного сплошнаго кабака; жаловались на тѣсноту, на опеку, толковали о расширеніи правъ, а самоуправленіе не умѣло моста устроить и земскія дороги утопали въ грязи, какъ во времена Михаила Ѳеодоровича, а излюбленные люди страны, представители высшихъ и низшихъ сословій, позорили себя то и дѣло безстыдно недобросовѣстностью... Благодушно выносила изъ камеръ присяжныхъ общественная совѣсть поразительныя оправданія. И ни одного дня безъ новаго скандала». — «Кто велитъ молодому поколѣнію не признавать, не знать ничего добраго, благороднаго, честнаго въ своемъ отечествѣ, а воспитывать себя на «трезвой правдѣ господина Рѣшетникова» и ему подобныхъ? Кто велитъ питать себя злостью съ самыхъ пеленъ *изъ-за того, что какіе-нибудь Афроська и Сысойка отъ дикости своей принуждены древесную кору ѣсть!*»

Когда такой высокой, благородной души человѣкъ требуетъ, чтобы на раны его сердца былъ пролитъ бальзамъ дружбы, ему отказать нельзя. Надо быть «мошенникомъ пера и разбойникомъ печати», чтобы отказать.

А «С.-Петербургскія Вѣдомости» я устроилъ вотъ какъ... Не знаю, впрочемъ, какъ бы лучше изложить, съ чего начать и чѣмъ кончить. Начну съ середины: она теперь въ модѣ.

Въ фельетонѣ № 40 моей газеты я писалъ о провинціальныхъ дамахъ, пріѣзжающихъ въ Петербургъ: «Ну, разумѣется, въ ней нѣтъ шику, elle n'a pas de chien, какъ говорятъ теперь французы. Нѣтъ salado или соленаго, какъ говорятъ испанцы про своихъ женщинъ». Иному можетъ показаться, что я это такъ, спроста писалъ, а между тѣмъ въ этихъ словахъ я развертываю одинъ уголокъ своей программы. Мое мнѣніе такое, что газета должна быть похожа на испанскую женщину, какъ она изображена золотыми перьями моихъ многоуважаемыхъ сотрудниковъ г. Скальковскаго и гр. Сальясъ-Турнемира. Вѣдѣно, что эти два писателя подѣлили между собой сердца испанокъ, такъ что испанки по сю сторону Тахо изнываютъ по г. Скальковскому, а передъ испанками по ту сторону Тахо во снѣ и на яву носится плѣнительный образъ гр. Сальясъ-Турнемира. Вмѣстѣ съ своими сердцами испанки дали имъ обширныя свѣдѣнія и поэтическій языкъ. Никто лучше ихъ не знаетъ и не умѣетъ описывать испанокъ. Чтѣ же они го-

ворять о прелестныхъ обитательницахъ Пиринейскаго полуострова? Они говорятъ вотъ что: испанская женщина испепелила бы своимъ пламеннымъ взглядомъ всякаго прохожаго, если бы блескъ глазъ ея не смягчался длинными шелковыми рѣсницами; она свела бы весь мѣръ съ ума изяществомъ своей талии, если бы не прикрывала ее обворожительными складками классической мантіи и т. д. Само собою разумѣется, что это относится только къ такимъ женщинамъ, въ которыхъ есть salado. О другихъ мы не говоримъ. Такъ вотъ этотъ-то самый идеалъ испанской женщины есть вмѣстѣ съ тѣмъ мой идеалъ газеты. Газета должна поражать умственными, нравственными и стилистическими красотою, но поражать не до окончательнаго испепеленія читателей—ибо кто же тогда будетъ читать газету? — а смягчать эти красоты другими. Это не легкая, конечно, задача, но вѣдь испанка разрѣшила же ее при помощи рѣсницъ, мантіи, вѣера и другихъ приспособленій. Попробуемъ и мы.

Я не сразу напалъ на мысль создать газету, подобную испанской женщинѣ. Испанія меня, правда, съ самаго начала привлекала, но это было больше предчувствіе, чѣмъ опредѣленная идея. Мнѣ и бой быковъ мерещился, и Алгамбра, и Сидъ Кампеадоръ, и хересь, и Кастеларъ. Мало-по-малу этотъ хаосъ разсѣялся, и мнѣ показалось, что хорошо было бы издавать газету, похожую на газеты, издаваемые въ Испаніи. Я обратился съ этой мыслью къ г. Скальковскому. Вмѣсто отвѣта, онъ развернулъ свои «Путевыя впечатлѣнія» на 212 страницъ и далъ мнѣ прочесть слѣдующія строки объ испанской журналистикѣ: «Политическая печать, кромѣ таланта, требуетъ еще характера и стойкости убѣжденій, недоступныхъ массѣ; особое сословіе газетчиковъ обыкновенно дѣлаетъ изъ печати ремесло самое постыдное и, подобно парижскимъ бульвардѣ, продаетъ свое перо и убѣжденія всякому встрѣчному». И я, и г. Скальковский одинаково неспособны продавать свое перо и убѣжденія всякому встрѣчному. Мы — не какіе-нибудь бульвардѣ, а честные русскіе писатели, высоко держащіе знамя литературы. Поэтому мысль о подражаніи испанскимъ газетамъ была нами отвергнута съ глубочайшимъ негодованіемъ. А вслѣдъ за тѣмъ въ сознаніи моемъ ярко блеснула очаровательная испанка съ длинными шелковыми рѣсницами, вся облитая изящными складками классической мантіи. Идея была найдена. Идея, смѣю сказать, блистательная, потому что, если газета моя будетъ похожа на испанку, то читатели уподобятся испанцамъ, а имѣть дѣло съ испанцами чрезвычайно пріятно. Взять ужъ одно то, что, по

показанію котораго-то изъ двухъ знаменитыхъ путешественниковъ, испанецъ заворачиваетъ ложкой шоколада, обѣдаетъ головкой чеснока и стаканомъ воды, а ужинаетъ папирской и аккордомъ на мандолинѣ. Что можетъ быть пріятнѣе такой умѣренности! И какая великая задача: уподобляясь испанкѣ, довести читателей до того, чтобы они, уподобляясь испанцамъ, довольствовались литературной головкой чеснока, стаканомъ литературной воды и аккордомъ на литературной мандолинѣ. Я поставилъ себѣ эту великую цѣль и бодро иду къ ней. По понедельникамъ я уже и теперь совсѣмъ не выпускаю газеты, во воскресенья часто обхожусь безъ привычнаго читателямъ, такъ называемаго, воскреснаго фельетона, а затѣмъ во всѣ дни недѣли приучаю публику къ скудости мысли. Правда, кое-кто изъ подписчиковъ требуетъ назадъ деньги, правда, я получаю много бранныхъ посланій, но стерпится—слюбится.

Въ виду моей испанской задачи, первымъ моимъ дѣломъ было, конечно, пригласить въ газету обоихъ обладателей сердецъ красавицъ Андалузіи, Аррагоніи, Мурсіи, Валенсіи, Старой и Новой Кастиліи, вообще всей Испаніи по сю и по ту сторону Тахо. Не говоря уже о ихъ знаніи испанскихъ нравовъ и обычаевъ, гр. Сальясъ-Турнемиръ обладаетъ звучнымъ именемъ и написалъ «Пугачевцевъ». Г. же Скальковский есть молодой человекъ, во всѣхъ отношеніяхъ пріятный и полезный: написать ли некрологъ Гизо или Наполеона III, качучу ли протанцовывать, изслѣдовать ли нефтяные источники—все это онъ можетъ.

Затѣмъ я обратился къ Цезарю Кюи. Я передъ тѣмъ только что прочиталъ у Шерра въ «Исторіи цивилизаціи въ Германіи» такіе слова: «Излишнее развитіе музыкальности притупляетъ умственную дѣятельность; разнѣживая чувства, оно убаюкиваетъ людей и постепенно увлекаетъ ихъ въ рабство. Это искусство, менѣе всѣхъ другихъ зависящее въ своемъ развитіи отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, наиболѣе соответствовало характеру нѣмецкаго народа». Хотя русскій народъ не есть нѣмецкій народъ, но, имѣя свою собственную испанскую задачу, я, разумѣется, не желаю зависѣть въ своемъ развитіи отъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Поэтому я долженъ культивировать музыкальность, и крѣпкій, прочный музыкальный хроникеръ мнѣ необходимъ. Пригласилъ я еще г. S., съ такимъ блестящимъ фигурировавшимъ въ старыхъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», въ качествѣ хроникера балетнаго. «Пуанты» г-жи Гранцевой и Вергиной, пластическія тѣлодвиженія г-жъ Кошевой и Мадаевой, наконецъ, хореографическое искусство вообще,

какъ мнѣ кажется, тоже весьма мало зависятъ въ своемъ развитіи отъ внѣшнихъ обстоятельствъ.

Не перечисляя второстепенныхъ персонажей, упомяну еще только о Ѳеодорѣ Петровичѣ Баймаковѣ. Этотъ знаменитый писатель вполне оцѣнилъ все *salado* моей испанской задачи и выразилъ готовность писать биржевую хронику, съ тѣмъ, однако, непрѣмнымъ условіемъ, чтобы онъ, по праву знаменитости, могъ подписываться подъ своими статьями именемъ, отчествомъ и фамиліей: Ѳеодоръ Петровичъ Баймаковъ. Другіе писатели пусть тамъ какъ хотятъ подписываются: кто А. Пушкинъ, кто Н. Гоголь, а онъ—Ѳеодоръ Петровичъ Баймаковъ. Я собственно противъ этого ничего не имѣлъ, но метранпажъ сказалъ, что такъ не уйдетъ въ строку; развѣ, говорить, петитомъ набирать. Петитомъ, однако, не пожелаешь самъ Ѳеодоръ Петровичъ. Оно и естественно: такой знаменитый писатель—и вдругъ петитомъ! Порѣшили на томъ, что подписываться ему такъ: Ѳ. П. В.

Собравъ всѣхъ своихъ сотрудниковъ, я имъ сказалъ краткую, но выразительную рѣчь, которую можно резюмировать такимъ образомъ: господа, пожалуйста, поиспанистѣй!

Началось...

И превосходно даже съ самаго начала пошло. Теперь, ежели взять стиль... Въ первомъ же воскресномъ фельетонѣ я выпустилъ «Государя Пантелѣя» съ суковатой палкой, которой онъ обѣщалъ всѣхъ колотить по маковкѣ, съ извѣстной градаціей, разумѣется: старшаго брата «легонько, дѣло не въ силѣ, а въ примѣрѣ», ну, а меньшаго брата покрѣпче, потому что тутъ дѣло не въ примѣрѣ, а въ силѣ. Въ стилѣ Пантелѣя было очень много *salado*. Просто на стѣну лѣзеть: драться, говорить, хочу. Однако, публикѣ не понравился. Въ слѣдующее воскресенье я «Весеньева» выпустилъ съ легонькимъ такимъ рассказомъ о томъ, какъ одинъ актеръ другому «по зубамъ съѣздили». Опять почему-то не понравилось. Я «Кета» выпустилъ. Кетъ написалъ фельетонъ. по-истинѣ, блистательный. Словечки и картинки у него были вотъ какія: «Передніе сотрудники и фельетонистъ засучиваютъ рукава. Одинъ изъ нихъ восклицаетъ: а нут-ко, старый, сунься!» «Безъ бранныхъ словъ бесѣды нельзя вести. Чтò же это за фельетонистъ, коли ругаться не дадутъ». А фельетониста одной газеты Кетъ прямо обѣщалъ «за хвостъ, да объ стѣну!» Ей-богу, такъ прямо и пропечаталъ. Юморъ ужъ у него такой богатый,—смѣсь аттической соли съ испанскимъ *salado*. Выпускалъ я потомъ и «Пахома», и разныхъ. Всѣ, какъ на подборъ—

молодцы. Каждый на свой образец и всё одинъ къ одному, въ томъ смыслѣ, что всё засучивъ рукава ходятъ, и кто съ дубиной, кто съ другимъ дреколіемъ, а кто прямо съ голымъ кулакомъ на мимоходящихъ лѣзетъ. Въ стилѣ газеты это единство въ разнообразіи отзывается превосходно. Такъ что эту часть я устроилъ какъ нельзя лучше.

Но это—только половина задачи. Это, такъ сказать—испанка безъ рѣсницъ, безъ вѣера и мантильи. Было бы съ моей стороны очень неиспанисто, если бы я не придумалъ чего-нибудь, способнаго отгнѣнить дубинно-кулачный стиль Пантелѣя, Пахома, Кета и иныхъ. Испанская женщина, какъ говорить г. Скальковскій или гр. Сальясъ-Турнемиръ, испепелила бы пламенемъ своихъ очей всякаго прохожаго, если бы не ея длинныя шелковыя рѣсницы; испанская женщина... Впрочемъ, я уже, кажется, записалъ эти мѣткія и глубокомысленныя слова. Дубинно-кулачный стиль, именно своею красотою, могъ бы разогнать всѣхъ читателей, если бы я не запасаю Ѳ. П. Б.

Ѳ. П. Б., это вѣдь просто золотое перо, музыка биржевая, а не хроника. Одна бѣда: стихами не можеть. Пробовалъ — не выходитъ, «напрягся — изнемогъ, потѣкъ и ослабѣлъ». Мы уже хотимъ такъ устроить, чтобы г. Всеволодъ Соловьевъ перекладывалъ прозу Ѳ. П. Б. въ стихи, съ сохраненіемъ, по возможности, пикантнаго тона (salado) подлинника, а чтобы г. Кюи писалъ къ нимъ музыку, поиспанистѣй, въ родѣ той, которая сопровождаетъ въ «Разбойникахъ» появленіе испанскаго посольства. Г. Скальковскій можеть въ это время кастангетами побрякивать и «цуанты» выдѣлывать. Выйдетъ, я увѣренъ, чудесно. Я ужъ и теперь не всегда могу узнать, гдѣ кончается г. Кюи съ своими «вкусными аккордами» и «сочными гармонизаціями», и гдѣ начинается Ѳ. П. Б. съ своими «бойкими дѣлами» и «крѣпкими цѣнами». Конечно, когда Ѳ. П. Б. въ ударѣ, его ни съ кѣмъ не смѣшаешь. Эта вполне великосвѣтская развязность, способная пристыдить даже изящнѣйшихъ кавалеровъ приказчичьяго клуба, эта поэтическая рѣчь, пересыпанная французскими фразами, даются только избраннымъ. Никогда Ѳ. П. Б. не ходитъ, засучивъ рукава, никогда не грозитъ ни кулакомъ, ни дреколіемъ, никогда не снимаетъ съ рукъ перчатокъ. Какъ, напримѣръ, свѣтски развязно и отчасти даже философично начало биржевой бесѣды въ № 1 «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей»: «Странныя бываютъ на свѣтѣ случайности. Ровно шесть лѣтъ тому назадъ мы начали свое литературное поприще на столбцахъ «Петербургскихъ Вѣдомостей», взявъ на себя вести биржевую

хронику... Волею судебъ намъ приходится теперь возобновить наши бесѣды съ читателями «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». — Какая прелесть! Всякій съ разу чувствуетъ, что имѣетъ дѣло не съ какимъ-нибудь, говоря дубинно-кулачнымъ стилемъ, «неумытымъ рыломъ», а съ истиннымъ джентльменомъ, шесть лѣтъ тому назадъ выступившимъ на литературное поприще и оказавшимъ большія услуги литературѣ. Джентльменъ этотъ подходитъ къ зеркалу, любуется на свою фizioномію, поправляетъ галстухъ, прическу, лацканы фрака и рассуждаетъ не столько съ публикой, сколько съ самимъ собой: какъ я, однако, милъ! и какъ чудесно складываются разныя «странныя случайности» и «воля судебъ», чтобы все сильнѣе разносилась въ обществѣ моя извѣстность и чтобы весь свѣтъ зналъ, что я былъ милъ уже шесть лѣтъ тому назадъ, а теперь сталъ еще милѣе! Просто, я—душка!—Или взять, напримѣръ, начало биржевой бесѣды въ № 52: «Весело смотрѣла сегодня биржа; весело смотрѣла сегодня биржа потому, что и солнышко ярко свѣтило сквозь стеклянную крышу зала, и дѣла были бойкія!» Ты, соловей, и вы, гг. Тургеневъ, Майковъ, Фетъ,—вы посрамлены! Никогда вамъ не написать и не спѣтъ такихъ истинно вдохновенныхъ строкъ. Какъ «вкусно» это повтореніе словъ: весело смотрѣла сегодня биржа! Какъ «сочно» это гениальное сопоставленіе яркаго солнышка съ бойкими дѣлами! Какой теплый и свѣтлый колоритъ всей картины!.. Художникъ, великій художникъ! Одна бѣда—стихами не можеть. Но вѣдь и проза имѣетъ свои достоинства, особливо такая поэтическая проза. Если московское общество любителей россійской словесности не устроитъ юбилея Ѳ. П. Б. по случаю истеченія шести лѣтъ со времени выступленія его на литературное поприще, то, право, я ужъ и не знаю, какихъ еще литераторовъ нужно. Но лучше всего выходить у Ѳ. П. Б. описанія толкотни и суетни на биржѣ. Какъ истинный поэтъ, онъ весь проникнутъ своимъ сюжетомъ, всю душу свою кладетъ въ него; онъ трепещетъ съ трепещущими, суетится съ суетящимися, веселится съ веселыми, груститъ съ грустными и только потому не краснѣетъ съ краснымъ солнышкомъ, обливающимъ своимъ свѣтомъ биржевой залъ, что это—свѣтъ слишкомъ безстрастный.

Es leuchtet die Sonne
Ueber Böen und Gute.

Многихъ негодаевъ обливаетъ красное солнышко своими лучами сквозь стеклянный потолокъ биржевого зала и обливаетъ такъ же спокойно и безстрастно, какъ если бы то были честнѣйшіе и благороднѣйшіе изъ смертныхъ. Ѳ. П. Б. не таковъ. И вотъ почему

онъ, веселый съ веселыми и грустный съ грустными, не краснѣетъ съ краснымъ солнышкомъ... Но какой стиль! Начать онъ у меня описывать, какъ маклера и зайцы бѣгаютъ по биржѣ «à toute vapeur»; какъ руки биржевиковъ «невольно касаются того кармана, въ которомъ хранится обыкновенно бумажникъ съ деньгами»; какъ «биржевой путникъ» предлагаетъ учредить компанію на акціяхъ для застрахованія спекулянтовъ отъ шансовъ потерь на биржевой игрѣ; и какъ онъ, О. П. В., шесть лѣтъ тому назадъ начавшій свое литературное поприще, находитъ (нааипревосходѣйшемъ парижскомъ жаргонѣ), что «l'idée n'est pas mauvaise». Начать онъ все это разсказывать.

Зашелкалъ, засвисталъ
На тысячу ладовъ, тянулъ, переливался;
То нѣжно онъ ослабѣвалъ
И томной вдалекѣ свирѣлью отдавался.
То мелкой дробью вдругъ по рощѣ разсыпался.

Внимало все тогда
Любимцу и пѣвцу Авроры;
Затихли вѣтерки, замолкли птичекъ хоры
И прилегли стада.
Чуть чуть дыша, пастухъ имъ любовался
И только иногда,
Внимая соловью, пастушкѣ улыбался...

Этотъ розово-биржевой, соловьино-банкирскій, великосвѣтски-приказчиій стиль и есть та мантилья, обворожительныя складки которой не дадутъ читателю окончательно погибнуть подъ огнемъ стиля дубинно-кулачнаго.

Перехожу отъ формы къ содержанію, отъ стиля къ идеямъ. Моя газета и въ этой области изображаетъ собою очаровательную испанку съ длинными шелковыми рѣсницами и въ мантильѣ.

Я очень высоко цѣню семейный очагъ, родину, поэзію, великіе идеалы, голубые цвѣты, словомъ все, что такъ мало цѣнится въ нашъ прозаическій, нигилистическій вѣкъ. Въ этомъ отношеніи я стою на одной почвѣ съ моимъ бѣднымъ другомъ, Иваномъ Проворовавшимся. Мы съ нимъ составили было уже проектъ тайнаго общества, подъ названіемъ «Рыцари духа», даже занесли въ списки его нѣсколько членовъ, и, не будь несчастнаго случая, отдалившаго отъ меня моего благороднаго, но злополучнаго друга, мы совершили бы теперь уже много великихъ дѣлъ. Безъ него мнѣ, конечно, будетъ трудно осуществить великій планъ. Рыцари духа клялись, надъ букетомъ изъ незабудокъ, въ вѣрности семейному очагу, родинѣ, поэзіи, великимъ идеаламъ и голубымъ цвѣтамъ. Они должны были всемірно и при всякихъ обстоятельствахъ преслѣдовать корыстолюбіе, суемудріе, матеріализмъ, всякаго рода прозу. Члены общества должны были

носить въ петлицѣ незабудку. Вступая въ общество, они принимали условныя имена. Въ списки были уже занесены: Rara avis, Plenus venter, Asinus gloriosus, Sine ira, Credo quia absurdum, Auri sacra fames. Мы приняли эти имена изъ уваженія къ классицизму. Боюсь, чтобы мой дневникъ не попался въ руки кому-нибудь изъ современниковъ—потому что все-таки тайное общество—но не могу удержаться и не отмѣтить, что имя Rara avis принялъ самъ Михайль Никифоровичъ, Asinus gloriosus—одинъ глубокомысленный философъ, Plenus venter—Иванъ Проворовавшійся, Sine ira—одинъ кроткій, но остроумный критикъ и поэтъ. Съ такими силами мы могли дерзать на многое; «надежда, кроткая посланница небесъ», улыбалась намъ до ушей. Я особенно хорошо помню одно засѣданіе. Всѣ были въ сборѣ. Поставивъ у дверей для предосторожности Пантелѣя, Пахома и Кета (это были только кандидаты въ рыцари духа) съ засученными рукавами и съ разнообразнымъ дреколіемъ въ рукахъ (дреколіе было взято на прокатъ въ одномъ московскомъ музее), мы... что бишь мы стали дѣлать?.. Да, сначала мы стали припоминать, потому что мы немножко забыли, забыли не то или другое, а вообще забыли. Когда мы убѣдились, что припомнить нѣтъ никакой возможности, мы начали мечтать. Прошедшее не давалось, надо было устремить умственный взоръ въ будущее. Мы размечтались. Мы рисовали себѣ то блаженное время, когда въ благородныя сѣти нашего тайнаго общества запутается вся Россія, и на всемъ пространствѣ отъ Перми до Тавриды, отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды будутъ обитать только рыцари духа. Смерть прозѣ!—восторженно восклицалъ Иванъ Проворовавшійся, потрясая букетомъ незабудокъ. Смерть прозѣ и да здравствуетъ поэзія, это великое хранилище, въ которое въ продолженіе вѣковъ всѣ историческіе народы и страны вносили свои жемчужины! Отречемся отъ всей земной скверны во имя любви и высшихъ задачъ духа! Намъ нужны бойцы на смерть противъ всеобщей мертвечины, крестоносцы идеи, фанатики свѣта и любви!—Такъ говорилъ мой пламенный другъ. Теперь онъ умоляетъ, и букетъ незабудокъ не спасъ его... А безъ него я, право, не знаю, какъ населить рыцарями духа такое обширное государство, какъ наше отечество.

Во всякомъ случаѣ нѣсколько экземпляровъ рыцарей духа сохранилось и почти всѣ они пишутъ у меня въ газетѣ. Особенно замѣчательнъ, по вѣрности программъ рыцарей духа и усердію, кроткій, но остроумный критикъ и поэтъ Sine ira. Онъ пожелалъ сохранить за собой это прозвище и въ печати

и подписывает имъ свои еженедѣльные обзорѣния нашихъ журналовъ. Могу смѣло сказать, что болѣе высоко парящихъ рецензентовъ въ русской литературѣ нѣтъ, никогда не бывало и не будетъ. Судьба этого писателя сложилась необыкновенно удачно. Онъ попалъ въ рыцари духа еще юнымъ и неиспорченнымъ, прямо изъ-подъ родительскаго крова. Соблазны его не соблазняютъ, ему не предстоитъ никакой внутренней борьбы. Онъ простъ, очень простъ и наивенъ. Лучше всего обрисовался онъ въ фельетонѣ № 18. Молодой рыцарь духа рассказываетъ свой сонъ. Онъ «въ какомъ-то огромномъ красивомъ городѣ, который, по нѣкоторымъ, хотя слабымъ признакамъ, онъ долженъ былъ признать за русскій городъ». Затѣмъ слѣдуетъ чрезвычайно тонкая и мѣткая сатира на Петербургъ (Sine ira—выходецъ изъ Москвы). Ювеналовскими штрихами обрисовываетъ рыцарь духа то растлѣніе, тотъ развратъ, который охватилъ новый Вавилонъ, нашу болотнистую столицу. Въ театрѣ рыцарь духа видѣлъ «комедію, прославлявшую дѣянія самыхъ отпѣтыхъ мошенниковъ и осмѣивавшую даже самый ничтожный намекъ на искреннее, человеческое чувство». Въ другомъ театрѣ «на открытой сценѣ происходила неслыханная оргія, которую и Неронъ бы нашелъ новой и любопытной» (Nun, was sagst du denn dazu, Herr S?). Еще въ одномъ театрѣ Sine ira видѣлъ оперу, вся суть прелести которой заключалась въ томъ, что, когда пѣвецъ говорилъ: «дайте мнѣ рюмку водки», то и звуки оркестра очень явственно произносили: «дайте мнѣ рюмку водки» (Nun, was sagst du denn dazu, Herr Кюи?). Улицей Sine ira тоже неприятно пораженъ: «въ туманѣ, разбиваемомъ газовыми рожками и электрическимъ свѣтомъ, сверкали зеркальные окна магазиновъ съ выставкою невѣроятнѣйшихъ, блестящихъ вещей, производимыхъ изъ всевозможной дряни; бросались въ глаза огромныя вывѣски, и я читалъ: конторы, конторы, конторы, банки, товарищества, кассы ссудъ, общества разнообразныхъ кредитовъ, общества страхованія вещей, людей и животныхъ» (Nun, was sagst du denn dazu, Herr Оедоръ Петровичъ Баймаков?). Много другихъ ужасовъ видѣлъ Sine ira въ новомъ Вавилонѣ. Но ужаснѣе всего былъ «Домъ поэтовъ». Это былъ мрачный домъ съ желѣзными рѣшетками на окнахъ, куда заключали «уличныхъ поэтовъ», видя въ нихъ отчасти преступниковъ, отчасти умалишенныхъ. Sine ira видѣлъ какъ въ этотъ домъ влекли молодого человѣка, который «перевелъ что-то изъ Джелаледина-Руми и принялся за Калидазу». Это былъ, конечно, г. Всеволодъ Соловьевъ, такъ какъ кромѣ

него никто въ новомъ Вавилонѣ не касался Джелаледина-Руми. Кто-то и гдѣ-то неодобрительно отозвался о поэтическомъ талантѣ г. Всеволода Соловьева, и вотъ Sine ira сочиняетъ ядовитѣйшую сатиру на новый Вавилонъ, конечная цѣль которой есть отмщеніе критикамъ г. Всеволода Соловьева. Переходя отъ сатиры къ диэирамбу, Sine ira восклицаетъ: «ломанье, кривлянье и гаерство литературныхъ клоуновъ совершенно безсильны надъ поэзіей, ибо поэзія и ея истинные выразители безсмертны и непреходящи точно также, какъ смертны и преходящи эти клоуны». Ergo, г. Всеволодъ Соловьевъ, въ качествѣ истиннаго выразителя поэзіи, безсмертенъ и непреходящъ, а «клоуны»—они даже безсмертной души не имѣютъ; у нихъ паръ, вмѣсто души. Sine ira строгъ, но справедливъ. Такъ ужъ мы, члены учредители тайнаго общества рыцарей духа, воспитали его. Есть люди, утверждающіе, что бранить плохую поэзію можно только во имя уваженія къ поэзіи хорошей, а потому—дескать утвержденіе, что такой-то поэтъ плохъ вовсе не равняется отрицанію поэзіи вообще и не ведетъ за собой постройки «дома поэтовъ» съ желѣзными рѣшетками на окнахъ. Рыцари духа не раздѣляютъ этого опаснаго заблужденія. Они разсуждаютъ такъ: какъ солнечный лучъ отражается и въ океанѣ, и въ каплѣ росы, такъ лучъ поэзіи отражается и въ хорошихъ, и въ плохихъ стихахъ. Но стихи плохіе требуютъ, въ наше прозаическое время, преимущественнаго заступничества рыцарей духа, ибо взойдетъ солнце—росу высушитъ, пройдетъ недѣля—стихи канутъ въ Лету. Надо защищать не сильныхъ, не великихъ поэтовъ, а слабыхъ, плохихъ поэтовъ. Вотъ почему Sine ira отожествляетъ неодобрительный отзывъ объ одномъ изъ ничтожнѣйшихъ представителей русской поэзіи, котораго отъ земли не видать, съ отрицаніемъ поэзіи вообще. Такъ мы его воспитали. Оно, можетъ быть, не совсемъ скромно превращать плохого поэта въ поэзію, но зато Sine ira необычайно скроменъ въ другихъ отношеніяхъ. Прочитавъ статью г. Костомарова о царевичѣ Алексѣѣ Петровичѣ (въ «Древней и новой Россіи»), Sine ira пришелъ въ цѣломудренный ужасъ отъ нѣкоторыхъ выраженій нашего маститаго историка. Его коробитъ отъ того, что Анна Монсъ имѣла «опытность въ амурныхъ дѣлахъ», что Петръ «не былъ записнымъ любителемъ женскаго естества» и что «ловкій попъ былъ добрымъ собесѣдникомъ при испитіи». Sine ira до такой степени оскорбленъ въ своемъ достоинствѣ рыцаря духа выраженіями и мнѣніями г. Костомарова, что, несмотря на свою скромность, рѣшается прочитать ему лекцію о любви къ

отечеству, о народной гордости и о благопристойномъ стилѣ. Онъ крайне негодуеъ на то, что г. Костомаровъ «рѣшается на болѣе чѣмъ рѣзкія сужденія объ историческихъ дѣятеляхъ» и «позволяетъ себѣ циничныя и совершенно непристойныя выраженія». И какъ, въ самомъ дѣлѣ, Костомарову далеко до Баймакова...

Все это, конечно, превосходно—идеалы, историческіе дѣятели, цѣломудріе, патриотизмъ, поэзія; но au fond вѣдь это—все голубые цвѣтки, цвѣтки, а не ягоды, ягоды впереди. Наединѣ съ самимъ собою я могу, кажется, признаться, что рыцари духа мнѣ хуже горькой рѣдки надобли. Мнѣ кажется, въ нихъ мало *salado*. Хорошо, очень хорошо, благородно, но какъ-то прѣсно. Тянешь тоже, конечно, и эту канитель; но собственно больше для декораціи, въ качествѣ обворожительныхъ складокъ мантили, скрывающей отъ публики очаровательную талию испанки. Безъ мантили нельзя—испечелишь. Но въ дневникѣ-то я и подъ мантилью могу заглянуть. Тамъ у меня *Ө. П. Б.* сидитъ. По отношенію къ стилю моей газеты онъ играетъ роль мантили, по отношенію же къ идеямъ онъ самъ, вслѣдствіе своей ослѣпительной красоты, нуждается въ нѣкоторомъ прикрытіи, въ нѣкоторой мантилѣ и въ нѣкоторыхъ шелковыхъ рѣсницахъ, каковую роль *Sine ira* и другіе рыцари духа съ охотой исполняютъ.

Скинь мантилью, ангелъ милый,
И явись какъ майскій день...

Что-жъ? я скину.

Недавно въ окружномъ судѣ разбиралось дѣло Галленслебена. Онъ обвинялся въ подлогѣ. На судѣ выяснилось, что обвиняемый есть жертва биржевой игры. Онъ началъ по-маленьку, потомъ развертывался все шире и шире, проигрался, задолжалъ, опять проигрался, составилъ подложный документъ, попался, былъ судимъ и оправданъ. По этому случаю *Ө. П. Б.* писалъ: «Да послужить это уголовное дѣло урокомъ для легкомысленной публики, такъ легко увлекающейся игрой, и укоромъ для тѣхъ, которые своими зажигательными совѣтами, и на словахъ, и въ печати, влекутъ неопытныхъ и честныхъ, но слабыхъ характеромъ людей сперва къ потерѣ своего и чужого состоянія, а затѣмъ и на скамью подсудимыхъ». *C'est le diable qui grêche la morale*. «Зажигательныхъ совѣтовъ», по крайней мѣрѣ въ печати, *Ө. П. Б.*, надо правду сказать, не даетъ. Онъ только вообще поддерживаетъ священный огонь, пылающій на жертвенникѣ Меркурія, который хотя въ древности и считался только покровителемъ воровъ, но нынѣ покровительствуетъ и биржѣ. Поддерживаетъ онъ этотъ огонь тѣмъ необычайно свѣтлымъ,

такъ сказать, подпрыгивающимъ отъ полноты чувствъ тономъ, которымъ проникнуты его «биржевыя бесѣды».

Мы съ нимъ, по правдѣ сказать, тоже одно маленькое тайное общество составили, этакое «товарищество на вѣрѣ». Не страдая нравственнымъ флюсомъ, будучи Непомнящимъ совершенно всестороннимъ, я готовъ вступить во всякое общество. Я состою членомъ по крайней мѣрѣ десятка тайныхъ обществъ, не говоря уже о явныхъ: тайнаго общества Рыцарей духа, явнаго общества Микроцефаловъ, явнаго общества Извращенія понятій, тайнаго общества Валетовъ всѣхъ мастей, и проч. и проч., всѣхъ и не упомнишь. Было время, когда я, придерживаясь предубѣжденія противъ «совѣта нечестивыхъ», былъ очень разборчивъ въ своихъ сношеніяхъ съ людьми. Но съ тѣхъ поръ, какъ я забылъ, этотъ недостатокъ общительности самымъ естественнымъ образомъ исчезъ. Забывъ все, я забылъ и признаки, по которымъ можно отличить «совѣтъ нечестивыхъ». Я вижу блондиновъ и брюнетовъ, людей высокаго и малаго роста, худощавыхъ и толстыхъ, и не вижу, почему бы не вступить въ затѣваемое ими тайное или явное общество. Худощавыхъ, впрочемъ, не долюблю. Какъ Юлій Цезарь

Я бъ хотѣлъ имѣть
Вокругъ себя людей безпечныхъ, тучныхъ,
Которые бы спали ночью; Кассій
Такъ худощавъ и голоденъ на видъ!
Онъ слишкомъ много думаетъ... Опасны
Такіе люди
Когда бъ онъ былъ
Потолще

Изъ существующихъ обществъ меня наиболѣе удовлетворяетъ программа Микроцефаловъ или Малоголовыхъ. Но и она не доведена до логическаго конца. Затѣмъ Микроцефалы, Малоголовые, когда можно составить общество Ацефаловъ, Безголовыхъ? Прежде всего надо устранить эти нелѣпыя, помѣщенные на плечахъ у людей котлы, въ которыхъ бурлятъ и кипятъ мысли, изъ которыхъ летятъ горячія брызги, обжигающія мимоходящихъ. Мнѣ что! Меня не обожжешь; но со стороны обидно смотрѣть на это нелѣпое учрежденіе. Конечно, общество Ацефаловъ не можетъ быть явнымъ, потому что Маратъ и тотъ требовалъ всего, кажется, 100,000 головъ, а конечная цѣль общества Ацефаловъ должна состоять въ обезглавленіи всѣхъ 1,400 милліоновъ людей, населяющихъ земной шаръ. Этого вслухъ не скажешь. Къ такому перевороту надо исподволь подготовить человѣческій родъ, надо дѣйствовать постепенно. Снисходя къ слабости человѣческой природы, довольно естественной въ экземплярахъ, не успѣвшихъ

забыть, приходится пока довольствоваться, вмѣсто радикальнаго обезглавленія, нѣкоторыми частными реформами. И, въ числѣ другихъ, лепта тайнаго общества Извращенія понятій, основаннаго мною и **Θ. П. Б.**, принесетъ извѣстную пользу.

Θ. П. Б. прежде сочинялъ «биржевую бесѣду» въ «Финансовомъ Обзорѣніи». Тамъ онъ не то, чтобы извращалъ понятія, но и не разъяснялъ ихъ, а больше блистаетъ необыкновенно благообразнымъ стилемъ, какимъ нынче, увы! мало уже кто пишетъ. Но я съ разу понялъ, что этотъ человекъ годится въ основатели тайнаго общества Извращенія понятій. Надо было только пробудить въ немъ соотвѣтственные инстинкты и заставить его убѣдиться, что онъ былъ милъ еще шесть лѣтъ тому назадъ, когда только что выступилъ на литературное поприще, а теперъ сталъ еще милѣе. Поэтому, задумавъ свою испанскую красавицу, я въ одинъ прекрасный день подвелъ **Θ. П. Б.** къ зеркалу и продержалъ его передъ нимъ нѣсколько дольше, чѣмъ онъ имѣлъ обыкновеніе стоять дотолѣ. Я молчалъ, но глаза мои, лишенные, къ моему прискорбію, испанскихъ рѣсницъ, говорили. Они говорили, что **Θ. П. Б.** прелесть какъ милъ. Этого было достаточно **Θ. П. Б.** получилъ какъ бы «проеініе своего ума» и вполне оцѣнилъ свои многочисленные и полновѣсныя достоинства. Онъ понялъ, что онъ—душка, и немедленно отправилъ въ типографію «Финансоваго Обзорѣнія» слѣдующія строки: «Съ 1-го января будущаго года мы предполагаемъ бесѣдовать съ публикою двояко, ежедневно въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» и разъ въ недѣлю въ «Финансовомъ Обзорѣніи». Въ первой газетѣ мы будемъ давать небольшія картинки съ натуры, изображать то, что ежедневно происходитъ на биржѣ, съ тою же обстоятельностью и безпристрастностью, съ какими мы бесѣдовали и будемъ впредь бесѣдовать въ «Финансовомъ Обзорѣніи» по воскресеньямъ, давая читателю полный resume о всѣхъ совершившихся фактахъ, оцѣнивая таковые по достоинству. Участіе въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» не должно помѣшать намъ редактировать и издавать въ то же самое время и «Финансовое Обзорѣніе»; точно также оно не должно мѣшать намъ продолжать представительство наше въ товариществѣ «**Θ. П. Баймаковъ и комп.**», въ конторѣ котораго мы будемъ постоянно находиться въ распоряженіи публики, отъ 11 часовъ утра до 3¼ часовъ пополудни».

Появившись въ послѣднемъ № «Финансоваго Обзорѣнія» за прошлый годъ, строки эти произвели всеобщую сенсацію. Всѣ удивлялись великодушію и скромности этого че-

ловѣка, который отдаетъ себя «въ распоряженіе публики» въ трехъ видахъ. Всѣ поняли, что онъ собственно благодѣтельству-етъ публику, издавая одновременно литературно-политическую и финансовую газеты и, кромѣ того, «продолжая представительство» въ банкирской конторѣ. Онъ, очевидно, только изъ деликатности «находится въ распоряженіи публики», а, въ сущности-то говоря, онъ, при помощи двухъ газетъ и банкирской конторы, можетъ всю публику имѣть въ своемъ распоряженіи. Этого, правда, не случилось и, можетъ быть, не случится, но единственно потому, что самъ **Θ. П. Б.** больше всѣхъ убѣдился въ своемъ великодушіи и въ своей неотразимой очаровательности. Убѣжденіе это парализируетъ ту выдержку, которая необходима для того, чтобы имѣть публику въ своемъ распоряженіи. Если человекъ и въ банкирской конторѣ, и въ литературно-политической газетѣ, и въ финансовой газетѣ только охорашивается, поправляетъ галстухъ и любитъ на свою восхитительную персону, то весьма лакомые куски совершенно минуютъ его ротъ. Въ Австріи, во Франціи, вообще вездѣ, гдѣ банкиры захватываютъ въ свои руки литературу, они, банкиры, не стараются имѣть видъ граціозноскользящихъ по паркету петиметровъ. Они прямо дѣлаютъ свое дѣло. Съ теченіемъ времени мы съ **Θ. П. Б.**, можетъ быть, тоже начнемъ вплотную обдѣлывать свои дѣла, но пока... пока мы только теряемъ подписчиковъ. Тѣмъ не менѣе великое дѣло общества Извращенія понятій получило уже нѣкоторый ходъ. Замѣчательно, что я зачислилъ **Θ. П. Б.** въ члены общества Извращенія понятій, не говоря ему объ этомъ ни полслова. Да и зачѣмъ мнѣ было говорить? Я очень хорошо зналъ, что человекъ, не имѣющій передъ своимъ умственнымъ окомъ ничего, кромѣ биржевого зала и банкирской конторы, будучи поставленъ на нѣкоторый пьедесталъ и убѣжденъ въ своей неотразимой очаровательности, тѣмъ самымъ обращается уже въ члены общества Извращенія понятій. Извращеніе понятій начинается съ того самаго момента, когда человекъ съ столь малымъ умственнымъ кругозоромъ помѣщается на пьедесталѣ. Но онъ идетъ и далѣе, потому что человекъ этотъ становится все игривѣе, развязнѣе, шумливѣе, очаровательнѣе. Въ немъ все сильнѣе разыгрывается желаніе блистать и затмевать, чему соотвѣтствуютъ все высшія ступени извращенія понятій. Все это я предвидѣлъ и все исполнилось какъ по писаному.

Той «обстоятельности», которую **Θ. П. Б.** обѣщалъ своимъ читателямъ, въ его биржевыхъ бесѣдахъ нѣтъ и слѣда. Онъ занятъ своимъ величіемъ, а не скромною обя-

занностью биржевого хроникера. Напримѣръ, съ выигрышными билетами перваго займа произошло нынче необычайное явленіе: послѣ тиража они не только не упали въ цѣнѣ, какъ то было во всѣ десять лѣтъ ихъ существованія, а даже поднялись и чуть ли до сихъ поръ не растутъ. Ясно, что тутъ «была игра». вмѣсто разъясненія Ѳ. П. Б. только засвидѣтельствовалъ фактъ, который и безъ того можетъ быть усмотрѣнъ изъ печатающихся во всѣхъ газетахъ биржевыхъ бюллетеней. Если же Ѳ. П. Б. примется разъяснять что-нибудь «обстоятельно», то дѣлаетъ это въ такомъ родѣ: «Если принять во вниманіе, что биржа, по своему характеру, всѣми цѣнностями одновременно не занимается, и вспомнить, что все ея вниманіе продолжаетъ сосредоточиваться исключительно на закладныхъ листахъ земельныхъ банковъ, то станетъ понятно, почему другія цѣнности не пользуются тѣмъ вниманіемъ, какъ закладные листы» («С.-Петербургскія Вѣдомости», № 63). Это «обстоятельное» разъясненіе равнозначительно слѣдующему: если вспомнить, что все вниманіе Ѳ. П. Б. продолжаетъ сосредоточиваться на собственной его очаровательной персонѣ и на биржѣ, то станетъ понятно, почему остальные подробности вселенной не пользуются тѣмъ вниманіемъ, какъ биржа и Ѳ. П. Б. Изъ этого видно, что разъясненіе фактовъ у насъ идетъ туго. Не то съ извращеніемъ понятій. Я не помню хорошенько, что такое литераторъ, и очень желалъ бы, чтобы точное опредѣленіе этого слова обняло дѣятельность Ѳ. П. Б. и чтобы съдолжнымъ великолѣпіемъ былъ отпразднованъ его юбилей. Но я сильно сомнѣваюсь, чтобы онъ попалъ въ исторію литературы иначе, какъ къ видѣ чловека, не имѣвшаго передъ своимъ умственнымъ окомъ ничего, кромѣ биржевого зала и банковской конторы, но посаженнаго на пьедесталъ. Не въ томъ дѣло, что онъ—биржевой хроникеръ. Биржа, какъ и все на свѣтѣ, подлежитъ вѣдѣнію литературы, и Прудона *Manuel de spéculateur à la bourse* есть литературное произведение, но «биржевыя хроники» Ѳ. П. Б... желалъ бы, очень бы желалъ, но боюсь... А если мои опасенія справедливы, то Ѳ. П. Б. извращаетъ понятія, считая годы и мѣсяцы своей литературной дѣятельности. Но центръ всего предпринимаго нами извращенія понятій составляетъ тотъ веселый биржевой огонекъ, который мы съ Ѳ. П. Б. загляли на обширныхъ, но пустынныхъ страницахъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». Глазъ читателя, усталый отъ путешествія по скудной равнинѣ и тѣсно искавшій чего-нибудь, кромѣ стакана литературной воды и аккорда на литературной мандолинѣ, съ удовольствіемъ останавливается

на веселомъ, зазывающемъ огонькѣ. Чего только здѣсь нѣтъ! И «картинки съ натуры», и нѣкоторыя философскія соображенія о пагубномъ вліяніи дурной погоды на спекуляцію, и зайцы, бѣгающіе à toute vapeur, — и надъ всѣмъ этимъ самъ Ѳ. П. Б., цвѣтущій, веселый, довольный, празднующій именины сердца.

«Баймакова читать,—что въ морѣ купаться!» Кто это сказалъ? Дантъ? Шевыревъ? Мераляковъ? Всеволодъ Соловьевъ? Гёте? Не помню. Впрочемъ, это было кажется сказано о Дантѣ и чуть ли не Баймаковымъ. Во всякомъ случаѣ Ѳ. П. Б. читать очень пріятно. Мнѣ хочется возобновить впечатлѣніе веселаго огонька, пріятливо манящаго читателей «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» на биржу. Вотъ для памяти маленькая хрестоматія:

«Всякая дѣятельность на фондовомъ рынкѣ сразу прекратилась; наступилъ опять сезонъ скучныхъ и томительныхъ биржевыхъ собраний, казавшихся безконечными, вслѣдствіе своей бездѣятельности и безсодержательности. Въ сентябрѣ деньги стали вновь приливать къ Петербургу, дисконтъ подешевѣлъ, игровой людъ закопошился, какъ бы готовясь къ новой игровой кампаніи. Главныя спекулятивныя силы, удалившіяся было на лѣтнее время за границу и въ Россію отдохнуть на лаврахъ, добытыхъ весенними подписками, стали возвращаться къ своимъ пенатамъ; за спекулянтами начали съѣзжаться и серьезные капиталисты, никогда не брезгающіе игрой. Въ октябрѣ спекулятивное движеніе пошло уже бойкимъ ходомъ, увеличивающимся и по сей день. Накинулись сперва на нѣкоторые желѣзнодорожныя акціи, зацѣпили затѣмъ по дорогѣ банковыя акціи, стали затѣмъ хватать направо и налево все, что попадало подъ руку. Увлеченіе начинается теперь принимать серьезныя размѣры, и игровому ходу конца уже болѣе не видно. Биржа переступаетъ въ 1875 годъ бойко и весело, съ улыбкой на устахъ, съ деньгами въ карманѣ, съ нескончаемыми и безграничными надеждами въ сердцѣ. Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастіемъ! Исполненіе желаній, господа». («Спб. Вѣд.», № 1).

«Въ началѣ биржевого собранія все спекулятивное шло на продажу ужасающимъ образомъ; къ концу собранія одумались и стали усердно покупать все, что только передъ тѣмъ продавали съ не меньшимъ усердіемъ. Собраніе было вообще шумное, суетливое, полное жизни и движенія. Одни, подлѣ страхомъ наступающей реакціи, сбывали торопливо съ рукъ принадлежащія имъ акціи; другіе скупали предлагаемое и старались всѣми силами удержать паденіе цѣнъ. По-

слѣдніе восторжествовали, взяли верхъ и увлекли даже за собою недавнихъ продавцовъ. Борьба вышла ожесточенною, но безъ кровопролитія. Били преимущественно по карманамъ» (№ 11).

«Пустое биржевое залo, рѣдкія группы представителей банковъ, банкирскихъ домовъ, банкирскихъ конторъ и мѣняльныхъ лавокъ, нѣсколько, весьма немного, лицъ биржевого сословія, слоняющихся по биржѣ безъ дѣла, маклера и зайцы—вотъ вѣрная и грустная картина сегодняшняго биржевого собранія» (№ 16).

«Пожаловаться на отсутствіе дѣла нельзя. Работали всѣ много и работали хорошо» (№ 22).

«Полный биржевой залъ; невообразимая толкотня; суетливая хлопотня маклеровъ и зайцевъ, съ трудомъ протискивающихся чрезъ сплошныя группы биржевого купечества; дѣла въ полномъ разгарѣ, игра въ полномъ ходу. Красиво и занимательно. Выраженіе каждаго лица веселое и довольное. И все это прилично, довольно умѣренно, безъ крайнихъ увлеченій» (№ 25).

«Одинъ изъ извѣстнѣйшихъ спекулянтовъ сдѣлалъ сегодня, можетъ быть, не безосновательное замѣчаніе: какъ сѣрая, холодная и непріятная погода, такъ на биржѣ и *ходу* быть не можетъ! Расположеніе духа не то! Зябнетъ тѣло, душа къ дѣлу не лежитъ!» (№ 49).

Безъ хвастовства могу сказать, что такого развязнаго, откровеннаго, циническаго зазыванія на биржевую игру, какое О. П. Б. у меня въ газетѣ устроилъ, русская литература еще никогда не видала. Она еще не то увидитъ! На этомъ пунктѣ моя испанская красавица даже нѣсколько откидываетъ мантилью; т. е., собственно говоря, не откидываетъ, а мантилья какая-то дырявая или ужъ очень жиденькая, что ли; однимъ словомъ, обворожительная талія просвѣчиваетъ сквозь мантилью. Дѣйствительно, что значать протестики цѣломудреннаго *Sine ira* и другихъ овечекъ изъ рыцарей духа противъ покрытія домовъ Невскаго проспекта вывѣсками банкирскихъ конторъ и акціонерныхъ обществъ; что значать эти пискливые и тоненькіе голоса въ сравненіи съ упорными и искусными зазываніями О. П. Б.! Эти маленькіе рыцари духа пицать иногда о своей поэзіи; но развѣ можетъ идти ихъ поэзія въ какое-нибудь сравненіе съ поэзіей биржевыхъ хроникъ О. П. Б.? Они пописываютъ отъ времени до времени что-то о русскомъ народѣ, но развѣ народъ этотъ не можетъ сказать О. П. Б.: мнѣ грустно потому, что весело тебѣ? Они щебечутъ что-то о необходимости умозрѣнія, но «спекуляція» въ переводѣ на русскій языкъ и

значитъ умозрѣніе и, собственно говоря, одинъ О. П. Б. какъ стѣдуетъ пропагандируетъ въ моей газетѣ веселую, завлекательную сторону умозрѣнія; умозрѣнія *Sine ira* едва ли кого-нибудь завлекутъ. О трудѣ они тоже что-то размазываютъ, но «работаютъ много и работаютъ хорошо» на биржѣ. Что ни говори, а рыцари духа плохи, можетъ быть потому, впрочемъ, что съ нами нѣтъ моего незабвеннаго друга Ивана Проворовавшагося. Во всякомъ случаѣ истинное *salado* моей испанской красавицы составляютъ: во-первыхъ, кулаки и дреколія Пантелѣя, Кета и другихъ, а во-вторыхъ О. П. Б.—весь и какъ стилистъ, и какъ мыслитель. Онъ даже меня вдохновилъ, такъ что я тряхнулъ стариной и написалъ для № 47 передовую статью о дѣлѣ Офенгейма. Какъ О. П. Б. долженъ былъ осудить поведеніе Галленслебена, такъ и я долженъ былъ осудить поведеніе Офенгейма—нѣкоторыя уступки этимъ маленькимъ рыцарямъ духа необходимы. Я выразилъ, что «все дѣло сводится на ловкое мошенничество въ испанскихъ размѣрахъ изъ міра желѣзно-дорожныхъ строителей». Но передо мной, какъ высочайшій образецъ искусства и умозрѣнія, носились стиль и идеи О. П. Б. И я написалъ: «Дѣло Офенгейма интересно не какими-либо юридическими тонкостями, не своей драматической завязкой въ незаконныхъ дѣйствіяхъ обвиняемаго, не ужасомъ преступленія. *Напротивъ, тутъ все прилично, ровно, гладко, даже бойко и весело*».

L'idée n'est pas mauvaise!

VII.

Дневникъ *).

Давно ли наша великая и обильная земля была совершенно *terra incognita* для иностранцевъ? Давно ли ходили въ Европѣ самыя несообразныя рассказы, напримѣръ, о водящемся въ Россіи неизвѣстной породы домашнемъ животномъ «malchik»? или о сальныхъ свѣчахъ, подаваемыхъ у насъ въ домахъ средней руки вмѣсто десерта? Давно ли актеръ Михайловскаго театра, Ренаръ, долженъ былъ опровергать напечатанное въ какой-то заграничной газетѣ извѣстіе, будто за нимъ гналась по петербургскимъ улицамъ стая волковъ? Теперь это тупое невѣжество иностранцевъ начинаетъ весьма замѣтно уступать мѣсто просвѣщенной любознательности, приносящей, сравнительно говоря, очень удовлетворительные плоды. Знаютъ только «грудь да подоплека», каково было моему патристическому сердцу слышать и

*) 1875 г., апрѣль.

читать разныя баснословія иностранцевъ. Мы ѣдимъ за десертотъ салыныя свѣчи!.. Но не зачѣмъ растравлять себя непріятными воспоминаніями, когда иностранцы по возможности исправились и тщательно изучаютъ наше любезное отечество. Нельзя, конечно, требовать отъ француза, нѣмца, англичанина или итальянца исполнѣ точныхъ свѣдѣній о нашемъ обширномъ отечествѣ, тѣмъ болѣе, что оно становится съ каждымъ годомъ все обширнѣе. Не будь у насъ гг. Немировича-Данченко и Каразина, мы бы и сами имѣли только крайне скудныя и ложныя понятія о нашемъ сѣверѣ и югѣ. Надо, напротивъ, удивляться той долѣ знакомства съ Россіей, которую обнаруживаютъ нѣкоторые иностранные писатели. Они рѣшаются даже писать повѣсти и рассказы изъ русскаго быта, и не безъ успѣха; до такой степени не безъ успѣха, что кое-что изъ этихъ произведеній переводится на русскій языкъ и читается кореными руссаками съ большимъ удовольствіемъ, не говоря о пользѣ. Я, по крайней мѣрѣ, съ большою пользою и удовольствіемъ прочиталъ надняхъ рассказъ одного иностраннаго писателя Jean'a Tourguéniew'a (должно быть это—псевдонимъ въ родѣ Грегора Самарова), переведенный изъ французской газеты «Temps» и изданный отдѣльной брошюрой въ Москвѣ, подъ заглавіемъ «Стучить». Самъ по себѣ рассказъ—не богъ знаетъ что, но перевести его все-таки стоило, какъ образчикъ иностранныхъ рассказовъ изъ русскаго быта.

Рассказъ и весь-то въ тридцать маленькихъ страничекъ разгонистой печати, да еще, вдобавокъ, каждая маленькая главка, по французской манерѣ, начинается съ новой маленькой странички. Содержаніе тоже маленькое, однако не безынтересное. Jean Tourguéniew ведетъ рассказъ отъ своего имени. Ему встрѣтилась надобность ѣхать изъ деревни въ Тулу. Собственные его лошади захворали, а деревня такъ бѣдна, что Жанъ сомнѣвается въ возможности нанять лошадей. Но его успокоиваетъ лакей Ермолай.

«Найдемъ, отвѣчалъ Ермолай съ обычнымъ своимъ хладнокровіемъ. Деревушка плохая, это вы вѣрно изволите говорить: но здѣсь жилъ богатый и умный мужикъ. Девять лошадей у него было. Теперь онъ померъ и всѣмъ хозяйствомъ заправляетъ старшій сынъ. Дурень такой, что и не приведи Господи, ну, а растрянжирить отцовское добро еще не успѣлъ. У него-то мы и найдемъ лошадей. Прикажете, я приведу его сюда. Есть у него братья, бѣдовыя ребята, ну, а все-таки онъ—имѣ голова.

— Отчего же такъ?

— Оттого, что онъ старшій. Младшій, значить, долженъ подѣ начало итти...

Соч. п. к. Михайловскаго, т. II.

При этомъ Ермолай прибавилъ еще одно выраженіе, очень сильное, но неудобное для печати.

— Такъ я приведу его. Телятина такая, что съ нимъ что хочешь, то и дѣлай».

Является «телятина», по имени Филоея. Жанъ съ нимъ уговаривается насчетъ лошадей, а затѣмъ являются и младшіе братья, которые дѣйствительно гораздо умнѣе Филоею, но исполнѣ повинуются ему.

Жанъ, очевидно, кое-что слышалъ о Россіи. Онъ слышалъ, вѣроятно, что c'est un pays patriarchal, гдѣ старшимъ говорятъ «batiouchka» и «matouchka» или «diadia» и «tiotka». На этомъ основаніи Жанъ предположилъ, что у русскихъ пейзажъ младшіе члены семейства всегда повинуются старшему, хотя бы онъ былъ глупъ, какъ сивый меринъ. Впрочемъ, ошибка эта исполнѣ простительна хотя и любознательному, но все-таки иностранцу.

Ѣхали Жанъ съ Филоею сначала сухимъ путемъ, потомъ въ бродъ черезъ рѣку, потомъ лугами. Луга чудесные были. Жанъ утверждаетъ, что это «благодатные» (ковычки Жана) луга, какъ ихъ зоветъ русскій народъ; о нихъ-то говорится въ нашихъ былинахъ, про богатырей кievскихъ, товарищей Владимира, этого Кловиса славянъ; богатырей, что охотились «по лебедямъ бѣлымъ, да по сѣрымъ гусямъ». Для любознательнаго иностранца это, право—не дурная тирада. Хотя «благодатные» (blagodatny?) луга и созданы собственной фантазіей Жана, но все-таки видно, что онъ кое-что читалъ, знаетъ про Владимира Красное Солнышко, про былины, про богатырей, про бѣлыхъ лебедей и сѣрыхъ гусей. Вотъ только «Кловиса славянъ» я бы на мѣстѣ переводчика вычеркнулъ. Какой же Владимиръ — «Кловисъ славянъ»? Между Владимиромъ и Кловисомъ или, какъ мы привыкли по русски говорить, Клодвигомъ, только и сходства, что одинъ крестился и другой крестился. Кстати о крещеніи Клодвига. Есть повѣсть русскаго писателя: «Дворянское гнѣздо» (le nom de l'auteur ne me revient plus, какъ говорятъ иностранцы и мой другъ О. П. Б.), а въ повѣсти этой мимоходомъ появляется очень симпатичная личность энтузіаста Михалевица. Этотъ Михалевицъ читаетъ другу своему Лаврецкому стихи собственнаго сочиненія, изъ которыхъ въ повѣсти приведены только послѣднія строки:

И я сжегъ все, чему поклонялся,
Поклонялся всему, что сжигать.

Въ моей ранней молодости, когда я еще помнилъ, эти двѣ строки мнѣ очень нравились. Меня поражали оборотъ мысли и сила выраженія; мнѣ казалось, что если таковы послѣднія строки стихотворенія, то въ немъ самомъ должны заключаться перлы и адманты величайшаго достоинства. Я пробо-

валъ проникнуть въ мысль Михалевича, возстановить скрытое авторомъ повѣсти стихотвореніе, но все, что я придумывалъ, казалось мнѣ необычайно плоскимъ: нѣтъ, думалъ я, не то долженъ сказать человѣкъ, написавшій такіа двѣ заключительныя строки! И, Боже мой, какъ я досадовалъ на автора «Дворянскаго гнѣзда», который только раздражилъ меня и ревниво спряталъ отъ взглядовъ читателя безцѣнное сокровище... Уже гораздо позже я узналъ, что заключительныя строки стиховъ Михалевича украдены этимъ энтузіастомъ у священника, крестившаго Клодвигу. Св. Ремигій (такъ, кажется, звали священника) сказалъ ихъ Клодвигу въ повелительномъ наклоненіи: сожги все, чему ты поклонялся, и поклонись всему, что ты сжигалъ. Это открытіе имѣло для меня большое значеніе. Прежде всего я увидѣлъ восхитившія меня строки построенными къ мѣсту и ничего не оставляющими отгадывать: въ словахъ крестителя Клодвигу заключенъ и исполнѣ законченъ глубокий и совершенно опредѣленный смыслъ. Тутъ нѣтъ никакой таинственной занавѣси, тутъ все какъ на ладони. Это меня очень утѣшило, ибо я могъ перестать ломать голову въ поискахъ за скрытыми перлами и адамантами. Затѣмъ я убѣдился, что Михалевичъ, несмотря на свой энтузіазмъ, есть шарлатанъ; не потому, что онъ позаимствовалъ у Ремигія удачный оборотъ мысли и сильное выраженіе. Нѣтъ, это позаимствованіе только навело меня на мысль, что, можетъ быть, въ стихотвореніи Михалевича собственныхъ перловъ и адамантовъ вовсе и не было, и что, можетъ быть, это было извѣстно самому автору «Дворянскаго гнѣзда», который удачно скрывалъ отъ взоровъ читателя нѣкоторое пустое престранство, выдавая оное за безцѣнное сокровище. Впослѣдствіи я убѣдился, что такъ поступаютъ многіе русскіе и иностранные писатели.

Впрочемъ, это мимоходомъ. Возвращаясь къ любознательному иностранцу Жану и русской телятинѣ Филоею. Ъхали они, ѣхали, вдругъ телятина Филоей «таинственно шепчетъ: стучить». А дѣло, надо замѣтить, ночное. Оказывается, что гдѣ-то сзади путешественниковъ раздается людской свистъ, слышится конскій топотъ и стукъ телѣги. Телѣгато и «стучить». Телѣга не простая, а нагруженная разбойниками. Дальше, больше, и наконецъ большая телѣга, запряженная тремя худыми лошадьми, пронеслась мимо какъ вихрь, обогнала тарантасъ и затѣмъ поѣхала шагомъ.—Какъ есть разбойники! пробормоталъ Филоей. Филоей попробовалъ обогнать телѣгу и взять вправо, но и телѣга взяла вправо, онъ влѣво,—и телѣга влѣво.—«Настоящіе разбойники!» прошепталъ Филоей.

Этими заявленіями Филоея любознательный иностранецъ Жанъ, очевидно, выдаетъ себѣ нѣкоторый патентъ на знаніе русскихъ нравовъ и обычаевъ вообще и нравовъ и обычаевъ русскихъ бандитовъ въ особенности. И должно сознаться, что свѣдѣнія Жана по этой части весьма удовлетворительны для иностранца. Онъ знакомъ какъ съ ухватками, такъ и съ наружностью русскихъ разбойниковъ. Довольно сказать, что въ его описаніи разбойники огромнаго роста, одѣты въ красныя рубахи и армяки, «наброшенные на плечи», на ногахъ у нихъ большіе сапоги, они поютъ во все горло, «рѣзко и пронзительно свищутъ» и «ругаются до остервененія». Все это заставляетъ думать, что любознательный Жанъ не только прочиталъ романъ «Атаманъ Буря или тайна муромскихъ лѣсовъ», но, быть можетъ, побывалъ даже въ Петербургѣ и видѣлъ нѣкоторые масляничныя представленія въ балаганахъ Царицына Луга. Одинъ изъ разбойниковъ, самый огромный, соскочилъ съ телѣги и прямо къ тарантасу любознательнаго Жана! У того, разумѣется, душа сейчасъ въ пятки, потому что для человѣка, знакомаго съ «Атаманомъ Бурей», сомнѣній быть не можетъ: ростъ огромный, рубаха красная. Разбойникъ ведетъ такую, чисто русскую народную рѣчь, такъ что хоть бы и знаменитому Пантелѣю, этому Кловису славянъ... Фу, чортъ, сбился... Ну, все равно. Разбойникъ и говоритъ: «Почтенный господинъ! Были мы сейчасъ во честномъ пиру, на веселой свадьбѣ; окружили мы своего пріятеля и такъ-то угостили его, что онъ и до сихъ поръ валяется на сырой землѣ. Всѣ мы ребята молодые, головы горячія, выпили какъ слѣдуетъ, а похмѣлиться нечѣмъ. Будьте милостивы, одолжите намъ мелочишки самую малость... Лишь бы по косушечкѣ на брата вышло... И выпьемъ мы ихъ за здоровье вашей чести... Ну, а коли вы намъ этой милости да не окажете, тогда... не извольте обижаться, въ случаѣ...» Проговоривъ эту истинно русскую разбойничью рѣчь, разбойникъ ждетъ. Любознательный Жанъ отпускаетъ ему «два серебряныхъ рубля», разбойники кричатъ Жану «ура» и уѣзжаютъ. Затѣмъ Жанъ узнаетъ, что въ ту же самую ночь, на той же дорогѣ былъ ограбленъ и убитъ купецъ,—тотъ самый, значить, «пріятель», котораго бандиты во честномъ пиру на сыру землю уложили. Его уложили, а любознательнаго Жана Богъ спасъ. Что значитъ судьба-то! Естественно, что послѣ этого Жану только и оставалось, что спрашивать при встрѣчѣ съ ямщикомъ: «А что, братъ, стучить?»—«Стучить, отвѣчалъ веселый паренъ Филоей, каждый разъ покатываясь со смѣху». Откуда и весь рассказъ имѣетъ названіе «Стучить».

Оставляя въ сторонѣ степень знакомства любознательнаго Жана съ нашимъ отечествомъ, какъ слѣдуетъ понимать его разсказъ въ эстетическомъ смыслѣ? Хорошо онъ или нѣтъ? По нынѣшнему времени очень трудно рѣшить. Я думаю, что даже такіе знатоки, какъ г. Стасовъ и Sine ira, и тѣ затруднятся. Г. Стасовъ знаетъ, что ежели статуя сдѣлана г. Антокольскимъ, такъ она хороша; г. Sine ira знаетъ, что если стихи написаны г. Всеволодомъ Соловьевымъ или г. Баймаковымъ, такъ они хороши, но насчетъ произведенія любознательнаго Жана они ничего рѣшительнаго сказать не могутъ. Я не говорю, что ихъ импотенція ограничивается этимъ случаемъ—нѣтъ: границы ея столь же отдаленны и мало изслѣдованы, какъ обширныя пустыни Средней Африки. Я только останавливаюсь на одномъ примѣрѣ Жана съ его постукиваніемъ. Но ежели ужъ такіе знатоки не могутъ по этому поводу сказать что-нибудь рѣшительное, то я и недавно не сумѣю. Я впрочемъ объ этомъ не печалюсь, потому что, благодаря г. Sine ira, Стасову, Кюи, Александрову и другимъ художественнымъ критикамъ, нынѣ возобновлены превосходные критическіе приемы добраго стараго времени, значительно облегчающіе если не различіе красоты и безобразія, то по крайней мѣрѣ словесныя упражненія на эту тему. Есть такіа хорошія словечки: сочно, вкусно, примѣчательно, красиво, колоритно, тепло и проч., съ помощью которыхъ можно цѣлые годы выражать сужденія о художественныхъ произведеніяхъ, нисколько не обременяя своихъ умственныхъ способностей. Я могу сказать: разсказъ любознательнаго Жана колоритенъ, какъ стихи Всеволода Соловьева, соченъ, какъ стѣлая груша, теплъ, какъ преданность Стасова Антокольскому, пріятенъ, «какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ», красивъ, какъ Ѳеодоръ Петровичъ Баймаковъ, и примѣчателенъ, какъ критическія упражненія г. Александрова. Кто мнѣ можетъ возразить?

Труднѣе гораздо различать добро и зло нравственное. Напримѣръ, г. Владиміръ Соловьевъ, въ своемъ отвѣтѣ г. Лесевичу, отпирается отъ словъ, сказанныхъ имъ на знаменитомъ диспутѣ въ присутствіи сотенъ двухъ свидѣтелей. Именно, когда г. Срезневскій спрашивалъ г. Соловьева, какъ слѣдуетъ понимать странное заглавіе его диссертаци: «Кризисъ западной философіи противъ позитивистовъ», то г. Соловьевъ громогласно отвѣчалъ, что западная философія переживаетъ реакцію противъ позитивизма, и что это именно онъ хотѣлъ выразить своимъ заглавіемъ. На ту же тему происходили у нихъ съ г. Лесевичемъ громогласные разговоры. Нынѣ г. Соловьевъ

печатно утверждаетъ, что никакого «кризиса противъ позитивизма» онъ не имѣлъ въ виду и что онъ просто «не считъ нужнымъ поставить знакъ препинанія» между словами «кризисъ западной философіи» и «противъ позитивистовъ». Заглавіе, говоритъ онъ, «означаетъ, что эта книга, озаглавленная *Кризисъ западной философіи*, направлена *противъ позитивистовъ*». Спрашивается, нравственно ли поступаетъ г. Соловьевъ, отрекаясь отъ объясненія, публично даннаго имъ г. Срезневскому? Я не знаю, да и никто не знаетъ. Тутъ даже неудобно сказать, что г. Соловьевъ отрекается сочно, тепло или вкусно. Я могу только сказать, что этотъ молодой человѣкъ пойдетъ далеко. Но отвѣтъ ли это на вопросъ о степени нравственности его поступка? Отчасти, да.

У одного бушмена спросили, какъ онъ понимаетъ разницу между добромъ и зломъ. Бушменъ подумалъ, подумалъ и отвѣчалъ: хорошо украсть чужую жену; дурно, когда у меня украдутъ мою. Вотъ sancta simplicitas—святая простота сына природы, которой еще недостаетъ намъ, сынамъ цивилизаціи. Я говорю: еще недостаетъ, потому что святая простота придетъ въ свое время. Она уже приходитъ, она стучится въ двери общественнаго сознанія, и много швейцаровъ и другихъ лакеевъ торопятся распахнуть двери настежь. Тысячу разъ былъ правъ прусскій дѣйствительный статскій философъ Гегель, доказывая, что исторія человѣчества имѣетъ три ступени: вторая ступень отрицаетъ первую, но третья есть лишь возвращеніе къ первой, съ сохраненіемъ, однако, всѣхъ хорошихъ вещей, добытыхъ на второй. До крымской войны мы стояли на бушменской ступени развитія и различали добро и зло такъ: хорошо украсть, дурно быть обокраденнымъ. Тогда же мы весьма точно переводили французское *bien être général* русскимъ «хорошо быть генераломъ». Затѣмъ послѣдовалъ періодъ разложенія этихъ наивныхъ и великихъ въ своей наивности формулъ. Возникло странное заблужденіе, будто *bien-être général* значить не «хорошо быть генераломъ», а «всеобщее благосостояніе». Изъ простого и яснаго «хорошо и дурно» выросли сложныя и туманныя «возвышенно и низко», «честно и подло», «добродѣтельно и преступно» и т. д., и т. д., и т. д. Много ихъ было, этихъ незаконныхъ дѣтищъ великой бушменской формулы. Многіе приходили даже къ противоестественному заключенію, что лучше быть обокраденнымъ, чѣмъ воровать. Выходъ съ тѣмъ мы настроили желѣзныхъ дорогъ, наплодили кредитныхъ учреждений, народили книгъ, газетъ и журналовъ, настроили учебныхъ заведеній, завели прокуроровъ и адвокатовъ и проч.

Послѣдняя и высшая ступень развитія должна состоять въ томъ, чтобы, сохранивъ всѣ хорошія вещи, добытыя второю ступеню,—железныя дороги, банки, книги, журналы, газеты, учебныя заведенія, прокуратуру, адвокатуру,—забыть всѣ хитромудрыя усложненія первобытной формулы: хорошо украсть, дурно быть обокраденнымъ. Конечъ развитія совпадаетъ съ началомъ. Я нахожусь уже на вершинѣ цивилизаци, а все забытъ и потому, когда я говорю, что такой-то молодой человѣкъ пойдетъ далеко, то я отчасти выражаю сужденіе о его нравственности, сводя, разумѣется, вопросъ къ его высшему разрѣшенію; я говорю, что этому молодому человѣку будетъ вообще хорошо, и въ частности онъ будетъ вкусно ѣсть, спокойно спать, колоритные обои у него въ квартирѣ будутъ, теплое мѣсто. Больше я ничего не имѣю сказать, да и что же можно больше сказать? Не я одинъ такъ смотрю на вещи. Имя наше—легіонъ, хотя, разумѣется, существуетъ извѣстная градація забвенія и цивилизаци. Иванъ Проворовавшійся ужъ и теперь знаетъ, что хорошо украсть и дурно попасться въ кражѣ. Г. Овсянниковъ, арестованный по подозрѣнію въ поджогѣ мельницы, знаетъ, что «подобно тому, какъ честь полководца заключается въ томъ, чтобы имѣть больше выгодъ надъ непріателемъ, такъ и честь купца состоитъ въ томъ, чтобы имѣть больше барышей». Это—собственные слова г. Овсянникова, и они ясно свидѣлствуютъ, что человѣкъ этотъ находится на высшей ступени цивилизаци. Въ анархическій періодъ разложенія бушменской формулы познанія добра и зла, многіе купцы полагали свою честь въ томъ, чтобы не только не обмѣривать и не обвѣшивать своихъ согражданъ, но даже, подобно г. Кокореву, угощать ихъ въ торжественныхъ случаяхъ пирогами и водкой. Но нынѣ, когда все уже смѣрено и взвѣшено, честный купецъ долженъ взирать на своихъ согражданъ на тотъ же манеръ, какъ полководецъ взираетъ на непріятельскую армію, и драть съ живого и мертвого, ибо честь и барышъ—синонимы. Въ бумагахъ покойнаго Сѣдкова, по словамъ прокурора Кони, сохранилась тетрадь съ нарисованнымъ на ней крестомъ и съ надписью: «путь къ истинной жизни: смиреніе, правда, чистота». Въ этой тетради, говорить г. Кони, «на оборотѣ заголовка описана съ большими подробностями одна изъ тѣхъ болѣзней, отъ которыхъ лечатся меркуріемъ». Вотъ!.. И кто же можетъ сказать, что познаніе болѣзни, отъ которой лѣчатся меркуріемъ, не есть познаніе пути къ «истинной жизни»? Никто не можетъ сказать. Я увѣренъ, что въ записныхъ книжкахъ и тетрадкахъ, въ дневникахъ и ночникахъ большинства

моихъ современниковъ-соотечественниковъ найдутся сближенія въ родѣ приведеннаго г. Кони. Такъ, въ приходо-расходныхъ книжкахъ можно бы было найти свѣдѣнія о слезахъ, пролитыхъ въ защиту вора. Притомъ свѣдѣнія эти, вѣроятно, записываются поперекъ черты, отдѣляющей рубрики «приходъ» и «расходъ», ибо, если слезы, пролитыя въ защиту вора, суть съ одной стороны фیزیологическій расходъ, то съ другой стороны онѣ вносятъ нѣчто и въ приходъ плакальщика.

Сохранились еще недоразвитые экземпляры вида *Номо саріенс*, которые видятъ въ сопоставленіи чести и барыша, секретной болѣзни и «истинной жизни» и т. п. смѣшеніе понятій. Но—ссылаюсь на любого патентованнаго философа, хоть на того же г. Соловьева, поставившаго себѣ задачу слить религіозное содержаніе востока съ философской формой запада,—это не простое смѣшеніе, а синтезъ понятій, сведеніе ихъ къ высшему единству, доступному только высокому уровню цивилизаци. Разсыпанную хранину понятій о добрѣ и злѣ надлежитъ собрать воедино, такъ чтобы ужъ никакого сомнѣнія не могло быть въ томъ, что хорошо украсть и дурно быть обокраденнымъ. Это съ разу, разумѣется, не дается. Не скоро еще выведутся люди, которые, при видѣ вора, глубокомысленно приставляютъ указательный палецъ къ переносицѣ и усиленно трутъ себѣ лобъ въ надеждѣ что-нибудь припомнить, и затѣмъ уже произносятъ болѣе или менѣе превратное сужденіе о томъ, хорошо ли украсть и дурно ли быть обокраденнымъ. Надо имѣть нѣкоторое снисхожденіе къ этимъ послѣднимъ могиканамъ, къ этимъ плезиозаврамъ и лабиринтодонтамъ, случайно спасшимся отъ потопа цивилизаци и неуклюже, тяжело, пыхтя и отдуваясь воруочающимся въ непривычныхъ для нихъ стихіяхъ. Надо имѣть къ нимъ снисхожденіе, потому что они все равно скоро либо вымрутъ, либо разовьются и приспособятся къ требованіямъ высшаго уровня цивилизаци. Они забудутъ, это вѣрно, это—вопросъ времени. Надо имъ помочь забыть. Вотъ мой рецептъ.

Въ газетѣ «Кавказъ» разсказанъ «интересный случай объ игрѣ въ преферансъ, который поразилъ профессоровъ по части картежнаго искусства и, слѣдовательно, необходимъ для свѣдѣнія любителей и знатоковъ». Да вѣдь какъ разсказанъ, съ такою аккуратностью и неумѣренностью, что просто слюнки текутъ. «У г. А. были слѣдующія карты: тузъ, валетъ, десятка самъ шесть пикъ, тузъ, король трефъ и десятка, девятка червей. Ис—ага имѣлъ на рукахъ: короля и даму пикъ, короля, валета, восьмерку и

семерку бубенъ, десятку трефъ и туза, короля, даму червей, купилъ на семь бубенъ. Третій, К—ли спасоваль» Наконецъ Ис—ага, къ «общему радостному смѣху, перешедшему тутъ же въ восклицательные и вопросительные звуки, остается безъ семи». Публикованіе въ литературно-политическихъ газетахъ столь интересныхъ и назидательныхъ случайностей игры въ преферансъ есть нововведеніе и нововведеніе превосходное. Рекомендую его русской журналистикѣ, я предложилъ бы, однако, не ограничиваться имъ, но бодро идти впередъ по пути реформъ. Нельзя всѣмъ газетамъ и журналамъ довольствоваться «интересными случаями объ игрѣ въ преферансъ». Для этого слишкомъ мало интересныхъ случаевъ и слишкомъ много газетъ и журналовъ. Но можно и должно обсуждать различныя событія текущей жизни такъ, какъ будто событія эти суть, продолжая говорить слогомъ «Кавказа», интересные или неинтересные случаи объ игрѣ въ преферансъ. Въ этомъ и состоитъ мой рецептъ для мастодонтовъ, ихтиозавровъ и другихъ представителей отжившей культуры. При теперешнемъ высокомъ уровнѣ русской цивилизаціи не представляется никакой надобности ломать себѣ голову припоминаніемъ разныхъ тонкостей въ различіи добра и зла. Хорошо украсть, дурно быть обокраденнымъ,—вотъ весь современный нравственный кодексъ. Но не всѣ могутъ обнять его съ разу, для многихъ нужны переходные моменты, и этимъ-то людямъ я и говорю: если вы хотите узнать, нравствененъ ли извѣстный поступокъ и мошенникъ ли такой-то человекъ, не трите себѣ лба, не прикладывайте указательнаго пальца къ переносицѣ, ибо едва ли вы что-нибудь припомните, а если и припомните, то скажете что-нибудь совершенно неумѣстное и несовременное. Разсуждайте такъ: жизнь есть игра въ преферансъ; игра эта представляетъ случаи интересные и неинтересные, но во всякомъ случаѣ выиграть хорошо, проиграть дурно. Давайте мнѣ какое угодно запутанное дѣло, давайте Овсянникову, давайте мать Митрофанію, давайте Мясниковыхъ, — я сейчасъ все приведу въ ясность, даже не заглядывая въ полное собраніе законовъ. Я только загляну въ карты къ одному, къ другому—и дѣло въ шляпѣ.

Этотъ блестящій методъ рѣшенія нравственныхъ вопросовъ отнюдь не мною выдуманъ. Онъ въ воздухѣ виситъ и уже многократно прилагался къ дѣлу. Такова, напримеръ, любопытѣйшая статья «Биржевыхъ Вѣдомостей» по дѣлу Оффенгейма, по тому самому дѣлу, о которомъ я въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» писалъ: «тутъ все прилично, ровно, гладко, даже бойко и ве-

село». «Биржевыя Вѣдомости» выразили по этому бойкому, приличному и веселому предмету приблизительно слѣдующее: въ дѣлѣ Оффенгейма нѣтъ рѣшительно ничего такого, что оправдывало бы недоумѣніе нѣкоторыхъ невѣжественныхъ и легкомысленныхъ людей; Оффенгеймъ, при данныхъ условіяхъ, долженъ былъ совершить нѣкоторыя дѣянія, почему-то называемыя мошенническими; публика, по своему невѣжеству и легкомыслію, необходимо должна была желать его осужденія; но затѣмъ оправданіе его представляется вполне естественнымъ результатомъ наличныхъ фактовъ. Многихъ смутилъ тонъ этой статьи, автору которой, очевидно, мало того, что Оффенгеймъ оправданъ по суду, ему хочется дать ему еще нравственное оправданіе. Смущаться, однако, тутъ нечѣмъ. Авторъ всталъ на самую вѣрную точку зрѣнія. Онъ, собственно говоря, не пытается нравственно оправдать Оффенгейма, онъ забылъ, какъ это и дѣлается-то, онъ просто устраняетъ нравственный судъ, подставляя вмѣсто него первобытное противоположеніе «хорошо и дурно». Онъ только доказываетъ, что дѣло Оффенгейма есть случай игры, отнюдь не особенно интересный; что онъ не можетъ поразить, выражаясь языкомъ «Кавказа», профессоровъ по части картежнаго искусства. Дѣло очень просто. У Оффенгейма были на рукахъ король и дама пикъ, король, валетъ, восьмерка, семерка бубенъ и проч. Съ такими картами онъ долженъ былъ покупать на семь бубенъ, онъ такъ и сдѣлалъ; онъ долженъ былъ козырять, онъ и это исполнилъ. Его король пикъ долженъ былъ побить чужого валета, и побилъ. Что же удивительнаго въ томъ, что другіе проиграли, а Оффенгеймъ выигралъ. Вотъ если бы онъ, какъ Ис—ага, остался безъ семи, тогда это былъ бы дѣйствительно интересный случай, «необходимый для свѣдѣнія любителей и знатоковъ». Тогда присутствующіе имѣли бы право испускать «восклицательные и вопросительные звуки», а теперь-то съ чего?

Эта точка зрѣнія, въ ожиданіи торжества окончательной формулы «хорошо украсть дурно быть обокраденнымъ», весьма для нашего времени пригодна по своей необычайной простотѣ, цѣльности и ясности. Мошенничество и честность суть мнѣ, созданные въ младенческой періодъ исторіи и въ нашъ просвѣщенный вѣкъ подлежащія ликвидаціи. Мошенничества и честности нѣтъ, а есть тузы, валеты и двойки, козыри и простые карты, искусные и неискусные игроки, коммерческія и азартныя игры. Когда тузъ бьетъ двойку, нравственный судъ немислимъ, потому что на то онъ и тузъ. Такимъ образомъ, все уясняется и упрощается. Уясняется и упрощается не только настоящее,

а и будущее. Наша политическая программа ясна, как безоблачное небо, что и доказано послѣднимъ петербургскимъ очереднымъ дворянскимъ собраніемъ. Дворяне занимались проектами преобразованія крестьянскаго самоуправления въ дворянское самоуправство. *L'idée n'est pas mauvaise*, какъ говорятъ французы и мой другъ О. П. Б. Идея даже блистательная, ибо многое, вся русская, да и вся европейская исторія должны быть забыты для осуществленія этой идеи. А забвеніемъ, какъ уже доказано, и достигается высшая ступень цивилизаціи. Если бы въ средѣ петербургскихъ дворянъ не было барона Фридерикса, князя Оболенскаго, гг. Ольхиныхъ, Маркова, къ сожалѣнію, кое-что помнящихъ, прусскій дѣйствительный статскій философъ Гегель даже изъ гроба восторгнулся бы послѣднимъ петербургскимъ дворянскимъ собраніемъ. Вотъ тебѣ, великая тѣнь, книга Скребицкаго «Крестьянское дѣло въ царствованіе Императора Александра II» и вотъ тебѣ газетные отчеты о петербургскомъ дворянскомъ собраніи. Сличи и убѣдись лишній разъ въ своей мудрости. Матеріалы Скребицкаго относятся къ тому времени, когда великій бушменскій періодъ развитія началъ уже разлагаться. Съ другой стороны послѣднія пренія петербургскихъ дворянъ еще не соответствуютъ вожделѣнному концу развитія. А потому, для нагляднаго убѣжденія въ томъ, что исторія вполне сводитъ конецъ съ началомъ развитія, матеріаловъ въ наличности нѣтъ. Однако, нѣчто поучительное изъ сопоставленія конца пятидесятыхъ и середины семидесятыхъ годовъ извлечь можно. Выжимать весь ароматный сокъ изъ преній петербургскихъ дворянъ я отнюдь не имѣю намѣренія, потому что тороплюсь на защиту отечества. Пусть этотъ предметъ трактуется тѣми, кто меньше моего преданъ отечеству. Я запишу всего двѣ-три частности, единственно для выраженія своего сочувствія князю Лобанову - Ростовскому, графу Орлову - Давыдову, гг. Саломірскому, Палибину, Кошкарору и другимъ главнымъ ораторамъ петербургскаго дворянскаго собранія. Бушмены пятидесятыхъ годовъ стояли на томъ, что помѣщикъ это вообще нѣчто «хорошее», а крестьянинъ столь же вообще — нѣчто «дурное». Это были представленія чрезвычайно широкія, ибо въ нихъ заключались и опредѣленія нравственныхъ качествъ (помѣщикъ человекъ хорошій, крестьянинъ человекъ дурной), и сужденіе о матеріальномъ положеніи (хорошо быть помѣщикомъ, дурно быть крестьяниномъ), и нѣкоторая политическая программа (въ благоустроенномъ государствѣ помѣщикамъ должно быть хорошо, а крестьянамъ не слишкомъ хорошо, потому балуются). Сообразно этому

напримѣръ, нѣкоторые дворянскіе комитеты (вологодскій, таврическій, тульскій) требовали сохраненія права помѣщика разрѣшать крестьянскіе браки. Вологодскій комитетъ выражалъ именно опасеніе, что, если не оставить за помѣщикомъ этого права, то крестьянскія дѣвки и вдовы, по крайнему своему малоумію и безнравственности, «удалются съ мѣста родины и тѣмъ поставятъ крестьянъ, относительно пріисканія невѣстъ, въ весьма затруднительное положеніе». Костромской комитетъ предложилъ совсѣмъ другія мѣры, и боялся онъ не неразумныхъ браковъ, а безбрачія. «При крѣпостномъ состояніи, излагалъ комитетъ, помѣщики противодействовали вреднымъ послѣдствіямъ безбрачія всѣми мѣрами своего полноправія». А, дескать, съ уничтоженіемъ этого полноправія родители перестанутъ выдавать дочерей замужъ, дабы какъ можно дольше пользоваться ихъ трудами, отчего произойдетъ неминуемый ущербъ нравственности въ семейномъ быту вдовыхъ и холостыхъ крестьянъ. Но такъ какъ помѣщикъ полноправіе, къ сожалѣнію, предположено упразднить, то надлежитъ уклоняющихся отъ брака обложить особою платой въ мірской капиталъ, въ размѣрѣ 3—10 рублей въ годъ. Несмотря, однако, на горячую заботливость бушменовъ о народной нравственности, святая простота потерпѣла поражение. Первобытныя ассоціаціи идей: помѣщикъ и благо, крестьянинъ и зло — утратила свой широкій, всеобъемлющій характеръ подъ вліяніемъ разныхъ утонченныхъ дробленій мѣрила добра и зла. Но дальнѣйшій прогрессъ цивилизаціи извлекъ изъ людской памяти эти дробленія, оставивъ ихъ однако на нѣкоторое время въ словесномъ обращеніи. И вотъ одинъ изъ ораторовъ петербургскаго дворянскаго собранія, г. Кошкароръ, восклицаетъ: «Факты, на которыхъ я основываю свое мнѣніе о безнравственности народной, заключаются во внутренней ихъ (?) семейной жизни. Одинъ уже этотъ вопросъ заслуживаетъ вашего серьезнаго вниманія и обсужденія. Здѣсь-то, кажется, мы и должны доказать, что нравственная сила въ насъ жива и мы дѣлаемъ въ предоставленныхъ намъ предѣлахъ все возможное, чтобы спасти народъ отъ безнравственности, могущей довести его до самыхъ гибельныхъ послѣдствій». Неизвѣстно, какими мѣрами вліяли бы вновь проектированные (и, увы! вновь провалившіеся) волостные головы на народную нравственность, но весьма было бы желательно, чтобы въ число ихъ прерогативъ входило право разрѣшать крестьянскіе браки. Тогда обладающій, какъ нравственною, такъ и матеріальною силою, вообще хорошій помѣщикъ не разрѣшилъ бы во всѣхъ отношеніяхъ безсильному, т. е. вообще дурному, Ѳеодотѣ жениться на

Палашкѣ, въ которой тоже нѣтъ ничего хорошаго, кромѣ румяныхъ щекъ, карихъ глазъ съ поволокой и высокой груди. А этимъ народная безнравственность пресѣклась бы въ самомъ корнѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ возродилась бы святая простота бушменскихъ отношеній. Конечно, это отчасти — утопія, мы еще не дошли до конечнаго пункта прогресса, мы стоимъ пока на промежуточной, но уже весьма прогрессивной формулѣ: хорошо выиграть, дурно проиграть. — Бушмены пятидесятихъ годовъ съ паѳосомъ пророчали: «Настанетъ холодная дѣйствительность, и роковой стукъ аукціоннаго молотка возвѣститъ, что не стало родового, завѣтнаго имѣнія у одного, другого, третьяго дворянина» (мнѣнія членовъ харьковскаго комитета). Бушмены шли дальше и описывали, какъ помѣщичьи дѣти будутъ лишены средствъ воспитанія и какъ ихъ матери будутъ гибнуть съ горя. Хотя современный петербургскій дворянинъ г. Палибинъ и заявилъ «для гласности, для газетъ», что «при такомъ порядкѣ, который существуетъ нынѣ въ уѣздѣ, мы не проживемъ и десяти лѣтъ»; хотя эти слова и были покрыты аплодисментами, но современные петербургскіе дворяне съ особенною настойчивостью напирали на то, что, несмотря на всѣ принесенныя ими на алтарь отечества жертвы, они богаты и просвѣщенны. Повидимому, эта похвальба составляетъ отрицаніе пророчества бушменовъ, и однако здѣсь-то очевидно не всего возвращеніе къ святой бушменской простотѣ. Просвѣщеніе обнаружено петербургскими дворянами, надо правду сказать, не въ чрезмѣрномъ объемѣ. Хотя нѣсколько цитатъ изъ Гнейста, Телькампа и Парье признаны г. Палибинымъ за «анализъ съ точки зрѣнія науки, наблюденія и исторіи», но это единственно по малому знакомству г. Палибина съ наукой. Зато сравнительное богатство составляетъ неотъемлемый атрибутъ дворянъ. Но что такое богатый человекъ? — Это человекъ, имѣющій на рукахъ хорошія карты, это — хорошій человекъ, а кому же, какъ не хорошему человеку, поручить управленіе крестьянскими дѣлами? Не самими же крестьянамъ, которые суть зло, т. е. малоумны, бѣдны, невѣжественны и безнравственны. — Однако, послѣдняя ступень прогресса есть не простое возвращеніе къ первобытному состоянію, а исправленное и дополненное всѣмъ опытомъ промежуточной ступени. Бушмены пятидесятихъ годовъ уже проектировали всесословную волость съ предоставленіемъ вотчинной полиціи помѣщику. Члены костромскаго комитета видѣли въ предположеніяхъ редакціонныхъ комиссій «оскорбительное недоверіе къ дворянству и столь же оскорбительное предпочтеніе ему сельскихъ начальниковъ». Они

выражали при этомъ мнѣніе, что помѣщики только требуютъ, чтобы ихъ «уважали», а потому они и сами передадутъ бразды правленія старшинамъ и старостамъ. Одинъ изъ современныхъ петербургскихъ дворянъ подвергъ остроумному анализу эту склонность дворянъ передавать бразды правленія и такъ мотивировалъ мѣры къ ея устраненію. У насъ, говорилъ онъ, мало замѣтно желаніе быть общественнымъ дѣтелемъ безвозмездно, мы предпочитаемъ передавать управленіе наемнымъ лицамъ. А потому «намъ предстоитъ, вводя въ Россію обязательныя, безвозмездныя должности, сообразоваться съ нашимъ характеромъ. Для этого предстоитъ ограничить кругъ дѣйствій должностныхъ лицъ небольшимъ пространствомъ около ихъ усадьбы, не заваливать ихъ значительною перепискою, не требовать ихъ постоянного присутствія въ уѣздѣ, не требовать частыхъ разъѣздовъ и сдѣлать ихъ должность уважаемою». Помѣщикъ, будучи благомъ совершенно всестороннимъ, долженъ имѣть въ своихъ рукахъ власть судебную, административную, слѣдственную и полицейскую. Но такъ какъ въ число его достоинствъ входитъ нѣкоторая лѣнь, то надлежитъ предоставить ему власть лишь на томъ клочкѣ земли, который населенъ или былъ населенъ его бывшими крѣпостными. Такимъ образомъ, исполнѣ достигается возвращеніе къ первобытному бушменскому состоянію. — Нѣкоторые бушмены пятидесятихъ годовъ, повидимому, рассчитывали на то, что крестьяне по прошествіи нѣкотораго времени сами вернутся подъ ихъ отеческое крыло. Это можно думать потому, что нѣкоторые дворянскіе комитеты требовали запрещенія укрѣплять освобожденныхъ крестьянъ, «хотя бы они и сами того пожелали». Тогда надъ этой предусмотрительностью смѣялись: дескать, держи карманъ! Но если вѣрить современному петербургскому дворянину г. Платонову, — а какъ же ему не вѣрить? — то къ нему приходили крестьяне и заявляли, что они желаютъ «возвращенія власти помѣщиковъ». Прогрессъ, слѣдовательно, захватилъ и невѣжественную массу. И, конечно, это желаніе людей бѣдныхъ, малоумныхъ, невѣжественныхъ и безнравственныхъ есть единственное ихъ желаніе, подлежащее удовлетворенію.

Я выразилъ свое сочувствіе петербургскимъ дворянамъ и теперь могу съ чистою совѣстью сдѣлать два критическія замѣчанія. Мнѣ грустно, что дворяне напрягаютъ свою память, вытаскивая изъ тьмы забвенія Телькампа и Гнейста, «авторитетъ и либерализмъ котораго не подлежитъ сомнѣнію». Зачѣмъ эти миндальности? Почему не сказать прямо: мы забыли и потому требуемъ

преобразования крестьянского самоуправления въ дворянское самоуправство? Надо имѣть le courage de son opinion, какъ говорятъ французы и мой другъ О. П. Б. Однако, я одобрилъ бы планы петербургскихъ дворянъ даже съ ненужною примѣсю Гнейста и Телькампа, если бы... если бы нашему любезному отечеству не грозило бѣдствіе, далеко превосходящее ужасы крестьянскаго самоуправления. Въ концѣ концовъ, чего же опасаться, если крестьяне сами придутъ къ помѣщикамъ и будутъ умолять ихъ о восстановленіи бушменскихъ порядковъ! Отечество въ опасности сегодня, сейчасъ, сію минуту, а г. Палибинъ толкуетъ объ опасности, грозящей еще черезъ десять лѣтъ!.. О времена, о нравы! О сыны отечества, имѣющіе очи, но не видящіе, имѣющіе вполнѣ удовлетворительныхъ размѣровъ уши, но не слышащіе...

Отечество въ опасности, а они, злосчастные сыны отечества, и въ усъ не дуютъ! Они ложатся спать, спятъ и просыпаются; они завтракаютъ, обѣдаютъ и ужинаютъ, пьютъ водку и пиво, бордоское и бургонское; они толкуютъ о дѣлѣ Овсянникова и о кавардакѣ въ обществѣ взаимнаго кредита; они смотрятъ на фокусы Беккера и Беллахины и слушаютъ Жюдикъ и Карлоту Патти... А отечество въ опасности! Я самъ люблю ложиться спать и просыпаться, завтракать, обѣдать и ужинать, пить бордоское и бургонское. Но бываютъ тревожныя минуты, когда я теряю сонъ и аппетитъ, когда голосъ Жюдикъ и, не то что Карлоты, а самой Аделины Патти не въ состояніи заглушить торжественное гудѣніе патріотической струны, натянутой въ моемъ сердцѣ Михайломъ Никифоровичемъ, симъ новымъ Геркулесомъ, который и льва Немейскаго убилъ, и Авгіевы конюшни очистилъ, и Гидру поразилъ, и фонъ-Дервиза возвеличилъ. Такая тревожная минута наступила. Сограждане, проснитесь! Врагъ у воротъ, галлы выжили Римъ и уже пробираются въ Капитолій...

Впрочемъ, что же? Когда галлы лѣзутъ въ Капитолій, на сцену являются гуси и спасаютъ Римъ. Мой учитель исторіи съ такимъ пафосомъ рассказывалъ этотъ анекдотъ, что, при всѣхъ моихъ, скажу безъ лишней скромности, гениальныхъ способностяхъ къ забытью и забвенью, я его и до сихъ поръ помню. Дѣло такъ было. Галлы подступили къ Риму. Это были люди звѣровидные какъ наружностью, такъ и нравами. Они ходили почти голые, едва прикрытые волчьими шкурами, и въ битвѣ не давали никому пощады. Младенцы въ колыбели, убѣленные сѣдинами старцы, прелестныя дѣвы, благородные публицисты, еще болѣе благородные романисты, мужественные воины, воспитанники ли-

цеевъ, воспитанники военныхъ гимназій,— все это падало подъ галльскими мечами и дубинами, какъ падаетъ трава подъ острой косой. Римляне дрогнули и разбѣжались. Варвары вступили въ беззащитный городъ, разграбили и сожгли его. Римляне заперлись въ Капитоліи. Однажды ночью, дикіе галлы вздумали забраться и туда по Карментской скалѣ. Тихо вползали они на нее одинъ за другимъ, передавая оружіе достигшимъ высоты... Воины спали, сторожевыя собаки спали... (Картина!) Но не спали гуси! Они подняли крикъ, отъ котораго проснулся Манлій. А этого только и нужно было: Манлій сбросилъ ударомъ щита передоваго галла, который увлекъ своимъ паденіемъ другихъ. Тѣмъ временемъ сбѣжались воины, и Римъ былъ спасенъ, прежде чѣмъ безпечные сыны Рима узнали объ угрожающей отечеству опасности.

Великъ Богъ земли русской! И у насъ не безъ гусей.

Извѣстно, что всякіе неблагонадежные элементы давно вторглись въ предѣлы Россіи и хозяйничаютъ въ ней съ такою же свободою и необузданностью, какъ хозяйничали въ Римѣ звѣровидные галлы. Какъ древле римляне заперлись въ Капитоліи, такъ нынѣ все душевное благородство, вся любовь къ отечеству, все уваженіе къ наукѣ, къ искусству, словомъ все истинно русское удалилось въ сердце Россіи, въ Москву, и преимущественно на Страстной бульваръ. Недаромъ Иванъ Проворовавшійся преимущественно тамъ печаталъ свои высоко художественныя и высоко благородныя произведенія. Однако, новыя галлы постоянно злоумышляли овладѣть и Капитоліемъ. Они искали чего-нибудь похожаго на Карментскую скалу и, наконецъ, нашли искомое на Никольской улицѣ, въ Славянскомъ Базарѣ. Они открыли тамъ книжный магазинъ подъ фирмою «Центральнаго». Этого мало. Звѣровидные галлы выпускаютъ объявленія самаго преступнаго содержанія. Словомъ, звѣровидные галлы стали уже подниматься одинъ за другимъ, ползкомъ, на Карментскую скалу, передавая другъ другу оружіе и сохраняя при этомъ коварнѣйшую тишину. Воины спали... сторожевыя собаки спали (Картина!). Но не спали гуси! Они сидѣли въ это время на Страстномъ бульварѣ и тѣмъ не менѣе захлопали крыльями, загготали,—и Капитолій узнать объ опасности. Гуси закричали слѣдующее:

«Въ Москвѣ на Никольской улицѣ, открылся новый книжный магазинъ подъ наименованіемъ «Центральнаго». Магазины основаны, повидимому, не для проститыхъ коммерческихъ цѣлей, но для цѣлей въ нѣкоторомъ родѣ высшаго порядка. Такъ, по крайней, мѣрѣ, должно заключить изъ объ-

явленій, распространяемыхъ магазиномъ въ огромномъ количествѣ, рассылаемыхъ въ качествѣ частныхъ объявленій при разныхъ періодическихъ изданіяхъ и имѣющихъ совершенно оригинальный характеръ. Казалось бы каждый книгопродавецъ желаетъ продать какъ можно болѣе книгъ, находящихся на полкахъ его магазина. Для этой цѣли весьма обычно прибѣгать къ рекламѣ, и въ книгопродавческихъ объявленіяхъ, особенно заграничныхъ, часто можно встрѣтить вмѣстѣ съ публикаціей о книгѣ помѣщеніе отзывовъ о ней въ періодическихъ изданіяхъ, причемъ конечно приводятся отзывы, похвально рекомендующіе книгу и тѣмъ могущіе способствовать ея сбыту. Незвѣстные намъ владѣльцы «Центральнаго» магазина прибѣгли къ иной, еще не бывалой, системѣ. Свои книгопродавческія объявленія они обратили въ періодическое изданіе особаго рода, предназначая его, повидимому, на служеніе «прогрессу» въ смыслѣ известной части нашей журналистики. Объявляя о книгѣ, они тутъ же приводятъ тенденціозно-ругательные о ней отзывы и вообще сортируютъ книги «по направленію», *согласно мнѣніямъ части петербургской печати, рвущейся прослыть за передовую*. Образовался новый журналъ, *пропагандирующий въ количествѣ тридцати, пятидесяти тысячъ экземпляровъ мнѣнія «Голоса», «Знанія», «Биржевыхъ Вѣдомостей», «Дѣла» и т. п.* Не подлежа условіямъ и риску обыкновеннаго журнала, незвѣстные издатели новаго органа печати втихомолку собираютъ капли меда съ листовъ петербургскихъ изданій и, рассылая свое критическое обозрѣніе подъ видомъ книгопродавческихъ объявленій, при самыхъ разнообразныхъ изданіяхъ, *дѣлаютъ ихъ орудіями распространенія мнѣній извѣстнаго отъѣздки*. Редакція «Московскихъ Вѣдомостей», лишь послѣ двухъ-трехъ публикацій Центрального магазина, замѣтила ихъ особенность, и отнынѣ эта новая газетка, именуемая «Центральный Книжный Магазинъ», уже никакъ не будетъ рассылаться при «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Замѣтимъ въ заключеніе, что *неизвѣстные издатели имѣютъ, повидимому, расчетъ на значительное расширеніе своего дѣла, такъ какъ оно покуда, полагаютъ надо, соединено съ пожертвованіями, ибо очевидно не окупается полагаемыхъ на него издержекъ»* («Московскія Вѣдомости» № 65).

Когда я услышалъ гусиный крикъ... то бѣшь, когда я прочиталъ эту статью «Московскихъ Вѣдомостей», я немедленно поспѣшилъ взглянуть на звѣровидныхъ галловъ, дерзновенно взобравшихся на Карментскую скалу, что на Никольской улицѣ, въ Сла-

вянскомъ Базарѣ. Мнѣ удалось достать три листика объявленій Центрального книжнаго магазина, только три, но они привели меня въ ужасъ. Волосы встали дыбомъ на моей головѣ, когда я увидѣлъ, какая опасность грозила отечеству, если бы не бдительность гусей. «Московскія Вѣдомости», надо полагать изъ скромности, еще скрасила положеніе вещей. Звѣровидные галлы сообщаютъ въ своихъ преступныхъ объявленіяхъ отзывы не только «Голоса», «Знанія», «Биржевыхъ Вѣдомостей» и «Дѣла», но также «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», «Вѣстника Европы», «Древней и Новой Россіи»! Какое варварство, какая зачерствѣлость души, но вмѣстѣ съ тѣмъ какое коварство! Положимъ, что «Древняя и Новая Россія» и «Голосъ», «Вѣстникъ Европы» и «Дѣло», «Биржевыя Вѣдомости» и «С.-Петербургскія Вѣдомости» издаются съ разрѣшенія правительства и вообще на тѣхъ же законныхъ основаніяхъ, какъ и «Московскія Вѣдомости» и «Русскій Вѣстникъ». Положимъ, что пропаганда мнѣній «Древней и Новой Россіи», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» и проч. сама по себѣ не можетъ быть признана преступною. Но это только потому, что римляне спятъ, спятъ и не видятъ всползающихъ на Карментскую скалу галловъ. Но за нихъ бодрствуютъ гуси. Своимъ пронизательнымъ гусинымъ разумомъ они убѣждаются, что нѣтъ никакой разницы между поименованными, разрѣшенными къ изданію и обращенію журналами и какими-нибудь завѣдомо неблагонадежными заграничными или подпольными изданіями. Усмотрѣвъ это, они уже безъ труда проникаютъ въ коварный планъ вторженія въ Капитолій. Ясно, что на Никольской улицѣ дѣлается что-то очень недладное. Ясно, что книжный магазинъ тамъ устроенъ не съ коммерческими, а съ революціонными цѣлями, — ибо, если пропаганда мнѣній «Старой и Новой Россіи» или «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» не есть революціонное дѣйствіе, то чтó же такое революція? Ясно также, что на эту преступную пропаганду собираются пожертвованія какими-нибудь новыми жандармами вѣшателами, — ибо кто же, кромѣ жандармовъ-вѣшателей, станетъ собирать пожертвованія на пропаганду идей г. Граціанскаго, или г. Стасюлевича, или г. Полетики? Все это мнѣ стало ясно, какъ только раздался спасительный крикъ бдительныхъ гусей, и уяснилось еще больше при личномъ разсмотрѣніи преступныхъ объявленій. Я нашелъ тамъ объявленіе о приѣмѣ подписки на журналы и газеты, въ числѣ коихъ показаны «Московскія Вѣдомости» и «Русскій Міръ»... Ну, это еще не очень преступно. Нашелъ я такій отзывъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» о книгѣ г. Анненкова

«Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ»: «Обращаемъ вниманіе читателя на книгу г. Анненкова, какъ на одно изъ выдающихся интересныхъ явленій текущей литературы. Относительно вѣдѣнности изданія книга не оставляетъ желать ничего лучшаго». Гм! гм! Анненковъ... Анненковъ... Что-то я о господинѣ Анненковѣ подозрительное слышалъ; что-то въ родѣ того, будто онъ желалъ провозгласить республиканскій образъ правленія въ одномъ изъ уѣздовъ Московской губерніи... Впрочемъ, въ прежнее время господинъ Анненковъ, кажется, въ «Русскомъ Вѣстникѣ» писалъ и—*non sine gloria*. Надо будетъ у Миханла Никифоровича справиться. Вотъ тоже насчетъ академика В. П. Безобразова сомнѣваюсь. Помню, что онъ писалъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» много и дѣльно, а въ послѣднее время помѣстилъ тамъ рядъ очерковъ подъ заглавіемъ «Война и революція». Но одобрялъ ли академикъ Безобразовъ революцію или же, напротивъ, одобрялъ войну, а революцію порицалъ,—того въ точности припомнить не могу. Должно быть, одобрялъ революцію, потому что въ преступныхъ объявленіяхъ приведенъ слѣдующій отрывокъ преступныхъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» объ издаваемомъ академикомъ Безобразовымъ «Сборникѣ государственныхъ знаній»: «По вѣдѣнному виду это изданіе отвѣчаетъ всѣмъ требованіямъ... Что касается содержанія сборника, то всѣ вопросы, затронутые имъ, показались намъ въ высшей степени современными и интересными». Ну, конечно, дѣло ясно: коли изданіе г. Безобразова удостоилось похвалы «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», да коли еще этотъ хвалебный отзывъ помѣщается въ объявленіяхъ Центрального книжнаго магазина, то не можетъ быть никакого сомнѣнія въ крайней политической неблагонадежности г. Безобразова. Очень за нимъ надо присматривать, а то какъ бы чего не вышло... Или вотъ, на примѣръ, отзывъ тѣхъ же злонамѣренныхъ, кующихъ ковы революціи «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» о книгѣ доктора философіи Теодора фонъ-Горена. «Естественные законы кормленія сельско-хозяйственныхъ животныхъ»: «Настоящее произведеніе возвысило имя его автора до авторитета въ столь важномъ вопросѣ, какъ ученіе о кормленіи домашнихъ животныхъ. Тотчасъ по своемъ появленіи оно вызвало многочисленные лестные отзывы специалистовъ. Для нашей литературы, не имѣющей по настоящему вопросу ни одного дѣльнаго сочиненія, которое стояло бы на современномъ уровнѣ знанія, переводъ его былъ необходимъ». И столь зажигательную прокламацію Центральный книжный магазинъ рѣшается распространять въ тридцати—пятидесяти тысячахъ экземплярахъ. Древнихъ

гусей, спасшихъ Римъ, потомство оцѣнило. Оцѣнить ли потомство патріотизмъ Михайла Никифоровича, отказавшагося разсылать при «Московскихъ Вѣдомостяхъ» прокламацію о томъ, какъ кормить сельско-хозяйственныхъ животныхъ по закону природы и правды? Оцѣнить ли потомство рвеніе «Московскихъ Вѣдомостей» въ раскрытіи интриги, далеко превосходящей по своему значенію всѣ прежде ими раскрытыя интриги? Оцѣнить ли оно ихъ провѣстительность въ дѣлѣ разоблаченія тайнаго фонда, основаннаго для пропаганды идей доктора Горена о кормленіи домашнихъ животныхъ? Одно меня удивляетъ: какъ «Московскія Вѣдомости» не съ разу проникли въ интригу и разослали своимъ подписчикамъ два-три листка объявленій столь недвусмысленно преступнаго содержанія. Хитры звѣровидные галлы...

Это были отзывы тенденціозно-похвальные. Но «Московскія Вѣдомости» упоминаютъ объ отзывахъ тенденціозно-ругательныхъ. И таковые въ преступныхъ объявленіяхъ, рассылаемыхъ изъ Славянскаго Базара, дѣйствительно существуютъ. Вотъ, на примѣръ, отзывъ «Голоса» о «Норвежскихъ сказкахъ»: «Это—просто какой-то сѣверный сумбуръ, переведенный безграмотно. Въ одномъ мѣстѣ, на примѣръ, такой курьезъ: Тогда орелъ велѣлъ старику выдернуть изъ своего (?) хвоста три пера и на мѣсто ихъ вложить (куда?) зайца, камень, три кусочка дерева и себя!!!» Или: «Да, теперь онъ *спасъ* отъ васъ, отвѣтилъ старику». По части содержанія могу указать на послѣднюю сказку «Три козла». Въ ней всего полторы страницы, но смыслу ни на грошъ, да сверхъ того такіе стихи:

Снапъ, снапъ, снутъ...

И вся сказка тутъ».

Какова рецензія! Что она тенденціозная и что Центральный книжный магазинъ взялъ ее единственно для сортированія книгъ «по направленію», вообще съ цѣлью преступной пропаганды—въ этомъ сомнѣваться нельзя. Я бы желалъ знать, что хочетъ сказать авторъ рецензіи своими вопросительными и восклицательными знаками? Почему, на примѣръ, онъ удивляется, что «орелъ велѣлъ старику выдернуть изъ *своего* хвоста три пера»? Впрочемъ, и спрашивать нечего. Ясно, что это преступная пропаганда якобы либеральныхъ убѣжденій извѣстной части петербургской печати, которая дерзко отрицаетъ существованіе хвостатыхъ стариковъ и старухъ, каковы: лѣшіе, вѣдьмы, водяные и проч. И этотъ-то пагубный «духъ отрицанья, духъ сомнѣнья» центральный книжный магазинъ осмѣливается распространять по всему лицу земли русской! Манзіи! что ты спишь? Сшиби шитомъ этого звѣровиднаго галла, который даже въ вѣдѣмъ не вѣритъ,

а лѣзетъ въ Капитолій... А почему автору рецензіи не нравятся прекрасные стихи:

Снать, снить, снутъ
И вся сказка тутъ?

Опять-таки совершенно понятное дѣло. Эти стихи напоминаютъ своею силою и изяществомъ произведенія гг. Всеволода Соловьева, Аверкіева, Прахова и другихъ истинныхъ римлянъ. Дикіе галлы, конечно, неспособны оцѣнить истинно великихъ поэтовъ; а если и способны, то поэтическіе столпы Капитолія, что на Страстномъ бульварѣ, имъ поперекъ горла своимъ недосигаемымъ величіемъ стали. И вотъ они ихъ тенденціозно ругаютъ.

Есть и еще тенденціозно-ругательные отзывы о знаменитой диссертаци г. Владимира Соловьева, о переводѣ Овидія г. Клеванова, о «Женщинахъ» кн. Мещерскаго. Это все—или прямо *pos amis* или *les amis de pos amis*, которые, по пословицѣ, суть тоже *pos amis*. Поэтому и говорить нечего, какому поруганію преданы великіе труды гг. Клеванова, Мещерскаго и Владимира Соловьева. Но интереснѣе слѣдующая хитрость, къ которой, несмотря на всю свою дикость, галлы сумѣли таки прибѣгнуть. Въ объявленіяхъ помѣщенъ между прочимъ весьма и весьма нелестный отзывъ «Дѣла» о книгѣ Бальфура Стюарта «Сохраненіе энергіи». А книга эта издана редакціей «Знанія». Но въ «Знаніи» и «Дѣло» суть одинаково преступныя ягоды одного и того же преступнаго поля. И то и другое участвуютъ въ тайномъ фондѣ, основанномъ для пропаганды зловерныхъ идей путемъ объявленій центрального книжнаго магазина. Какъ же объяснить ихъ пререканія? Очень просто: военная хитрость, ловкій маневръ, отклоняющій вниманіе враговъ.

Окончательно убѣдившись въ преступныхъ цѣляхъ центрального книжнаго магазина, я рѣшилъ отправиться туда, къ нимъ, въ самый вертепъ, соглядатаемъ. Соглядатай и доносчикъ,—это мои идеалы. Я уже вспоминалъ однажды, какъ я служилъ мушаромъ у Наполеона III и какъ доблестно исполнялъ эту должность, презирая въ своемъ рвеніи даже побой, не говоря о другихъ коловращеніяхъ судьбы. Въ непродолжительномъ времени я намѣренъ издать свои записки. Одна глава у меня ужъ написана; она трактуетъ о томъ, какъ я написалъ три доноса въ одинъ день. Такъ встѣ, прихожу я въ центральный книжный магазинъ и вмѣстѣ съ тѣмъ прихожу въ трепетъ, потому что вижу людей, дѣйствительно, крайне звѣровидныхъ, отчасти даже напоминающихъ тѣхъ разбойниковъ, которые взяли у любознательнаго Жана два серебряныхъ рубля: тоже огромнаго роста, въ красныхъ рубахахъ, а у одного изъ-за пазухи даже ножъ торчитъ. Однако, я кое-какъ

справился, заговорилъ о томъ, о семъ, купилъ книжку, нарочно самую революціонную — «Естественные законы кормленія сельско-хозяйственныхъ животныхъ» доктора философіи Теодора фонъ-Горена. Это—чтобы въ довѣріе вкратѣ. Потомъ и говорю: позвольте, говорю, узнать,—вотъ вы выпускаете при газетахъ отдѣльными листками объявленія съ присовокупленіемъ отзывовъ разныхъ прекрасныхъ журналовъ и газетъ о книгахъ. Идея, конечно, прекрасная, вы выбираете рецензіи безпристрастно (это я будто всѣмъ ихъ военнымъ хитростямъ повѣрилъ), но въдь вамъ это должно быть невыгодно? Вотъ, напримѣръ, вы помѣстили ругательный отзывъ «Дѣла» о книгѣ Бальфура Стюарта, изданной редакціей «Знанія». Не распространяя вы этого отзыва, книга можетъ быть пошла бы хорошо, значить доставила бы порядочный барышъ и редакціи «Знанія», и вамъ, а теперь въдь вы сами у себя комиссіонныя деньги отнимаете, а въдь тоже ребятишкамъ на молочишко пригодились бы... хе, хе, хе... Извините меня, старика...

Самый огромный изъ разбойниковъ, поигрывая одной рукой кистенемъ, а другой косаремъ, подозрительно присматриваясь къ моей часовой цѣпочкѣ, но видимо сдерживая свои разбойничьи инстинкты, вмѣсто отвѣта, спросилъ густымъ басомъ:

— Вы—москвичъ должно быть?

— Да, я ужъ давно въ первопрестольной... На Вшивой Горкѣ я. Домишко у меня тамъ небольшой, на трудовыя скопилъ... Самъ живу, ну, и жильцовъ тоже пускаю. Москвичъ, москвичъ, какъ же!

— Оно и видно.

— Однако, почему же? Вы, конечно, это остроумно, хе-хе-хе... либеральные молодые люди... Но почему же вы собственно меня признали?

— Да у васъ на Вшивой Горкѣ и все такъ. Вамъ бы только что подъ носомъ лежить сорвать; оттого-то вы и гнилой товаръ сбыть рады, оттого-то вы и проворовываетесь часто...

— А вы дальше свои виды простираете? Мы, конечно, по старопечатному больше: не обманешь, не продашь, а вы, значить, дальше проникаете?

— Да, мы дальше проникаемъ. По нашему, интересъ книжнаго магазина не въ томъ, чтобы ту или другую книгу распродать—книга-то это въдь не у насъ только продается, а во всѣхъ магазинахъ—а въ томъ, чтобы публикѣ собой глаза намозолить, чтобы читатели всѣхъ газетъ только и видѣли: центральный книжный магазинъ, центральный книжный магазинъ, центральный книжный магазинъ. Надо, чтобы мага-

звѣтъ выдѣлялся, а этого безъ расходовъ сдѣлать нельзя. Квартиру мы вонъ какую нанимаемъ, а по вашему, по вшиво-горски, выгодно въ дешевой квартирѣ, въ конурѣ какой-нибудь покупателя принимать. Купцы мы такіе же, какъ и вы, только расчетъ у насъ другой.

— Значить, мы по-московски, по древнему благочестію, а вы по-американски?

— Значить.

— А не будетъ ли, позвольте васъ спросить, какого нибудь ущерба государственному строю Россійской имперіи отъ перенесенія на ея почву республиканскихъ учрежденій?

Разбойники кровожадно усмѣхнулись, а я не сказалъ больше ни слова. Я отрясъ прахъ отъ ногъ своихъ и, придя домой, немедленно отправилъ въ участокъ возмутительную книгу доктора философіи Теодора фонъ-Горена о кормленіи домашнихъ животныхъ по закону природы и правды. Что изъ этого произойдетъ—еще не знаю. Уповаю, что преступленіе не останется безъ наказанія. Во всякомъ случаѣ: гуси прокричали, интрига раскрыта. Римъ спасенъ. Теперь ужъ все дѣло за Манліемъ встало, а предварительная работа съ Божьей помощью окончена. Россія должна успокоиться, и всѣ дѣла должны принять естественное теченіе. Пусть мертвый мирно спитъ во гробѣ, пусть живущій пользуется жизнью. Литературно-политическія газеты могутъ съ чистою совѣстью трактовать объ интересныхъ и неинтересныхъ случаяхъ игры въ преферансъ, а петербургскіе дворяне заниматься проектами преобразованія крестьянскаго самоуправленія въ дворянское самоуправство. Любопытный Жанъ можетъ, по минованіи опасности, шутливо спрашивать своихъ читателей и собесѣдниковъ: дребезжитъ? а тѣ могутъ отвѣчать: о, да, Жанъ, дребезжитъ, такъ дребезжитъ, что мочи нѣтъ. Вообще опасность такъ радикально устранена, что, кажется, даже центральный книжный магазинъ можетъ продолжать изданіе своихъ объявленій. Мои скромныя заслуги въ этомъ великомъ дѣлѣ я не смѣю цѣнить высоко. Не откажусь, конечно, отъ небольшой пенсіи и медали за спасеніе погибавшей Россіи. Но я искренно желалъ бы, чтобы геройское самоотверженіе Михаила Никифоровича не осталось безъ всенародной благодарности. Благодарные римляне долго чествовали память своихъ спасителей, обнося въ достопамятную годовщину нѣсколькихъ гусей торжественной процессіей по стогнамъ вѣчнаго города. Нельзя ли установить законодательнымъ порядкомъ подобную же церемонію для Михаила Никифоровича и его потомства до седьмого,

примѣрно, колѣна. Строго говоря, подвигъ Михаила Никифоровича даже гораздо выше подвига тѣхъ гусей, которые спасли Римъ. Гусь, какъ ни какъ, все таки—только птица. Ему самой природой назначено гоготать и хлопать крыльями по ночамъ. При такой натурѣ спасти Римъ—неумудренная штука. А Михаилу-то Никифоровичу пришлось для спасенія Россіи надѣть шутовской колпакъ съ бубенчиками и мочальную бороду. Каково это въ его лѣтахъ и положеніи?! Но каково съ другой стороны положеніе звѣровидныхъ галловъ и революціонеровъ «Древней и Новой Россіи», «Вѣстника Европы» и проч., когда, при первой ихъ похвалѣ академику Безобразову или доктору философіи Теодору фонъ-Горену, почтенный гражданинъ надѣваетъ колпакъ съ бубенчиками и звонить, звонить, звонить...

VIII.

*Письма къ Иванушкѣ-Дурачку *).*

I.

Дорогой Иванушка, привѣтъ мой тебѣ! Привѣтъ и братство, salut et fraternité!

Вотъ уже болѣе года, какъ я не появлялся на аренѣ русской литературы, и если являюсь теперь съ открытыми письмами къ тебѣ, такъ на это есть причины уважительныя. Надо тебѣ сказать, что я вовсе не покидалъ арены русской литературы, а принималъ въ ней самое горячее и разностороннее участіе, но подъ разными псевдонимами. Ты, издревле знаменитый своей глупостью, ты, излюбленный герой русской сказки, который единственно за свою безпримѣрную глупость получилъ и красивую жену, и богатое наслѣдство,—ты не узнавалъ меня. Я такъ и разсчитывалъ, что ты ничего не поймешь! Но пора положить конецъ моему маскараду. Я ничего не помню, ты ничего не понимаешь,—изъ-за чего же намъ прятаться другъ отъ друга? Не составляемъ ли мы двойного орѣшка подъ одной скорлупой?

Я всегда съ глубокимъ интересомъ слѣдилъ за подвигами твоей глупости и еще недавно проливалъ слезы умиленія, вспоминая одинъ эпизодъ изъ твоей плодотворной дѣятельности. Не знаю, какъ было на самомъ дѣлѣ, а у насъ разсказываютъ такъ. Твоя маменька, дама, нѣсколько строгая насчетъ манеръ, послала тебя въ церковь для присутствованія на свадьбѣ ея знакомыхъ и поднесенія жениху, невѣстѣ и ихъ родственникамъ поздравленій. Ты пошелъ. Ты былъ, говорятъ, великолѣпенъ въ новомъ фракѣ.

*) 1877 г., мартъ.

съ букетомъ цвѣтовъ въ рукахъ и съ любезною улыбкой въ оловянныхъ глазахъ. На этотъ разъ ты, въ противность мудрой поговорки о счастьи дураковъ, не былъ счастливъ: ты попалъ не въ ту церковь и очутился не на свадьбѣ, а на похоронахъ. Посреди церкви стоялъ гробъ, кругомъ траурныя лица, траурныя платья, сдержанныя рыданія. Но ты ничего не понялъ. Изыщѣйшею походкой подскочилъ ты къ женѣ покойника, поднесъ ей, двусмысленно улыбаясь, букетъ, проговорилъ что-то насчетъ поры новой жизни и счастія, въ которую она сегодня вступаетъ, и, наконецъ, ангажировалъ ее на первую кадрили и мазурку. Вдова, кажется, не слыхала твоего вздора. Красными, напухшими отъ слезъ глазами она смотрѣла на гробъ и только на минуту перевела ихъ на твою празднично-глупую физиономію, когда приняла изъ твоихъ рукъ букетъ цвѣтовъ: она положила его на гробъ. Ты понималъ такъ, что произвелъ впечатлѣніе своимъ изыществомъ, и, мысленно перебирая фигуры мазурки, торжественно глядѣлъ по сторонамъ. Но вотъ поднялось къ сводамъ церкви мрачное «со святыми упокой». «Надгробное рыданіе» уже не сдерживалось, а ты, желая быть вдвойнѣ любезнымъ, подтянулъ пріятнымъ баритономъ: «Исаія ликуй». Ну, тутъ, разумеется, уже тебя выгнали, съ нѣкоторымъ даже помятѣмъ боковъ. Маменька была очень огорчена. Сдѣлавъ тебѣ сильное внушеніе, она собственноручно повязала тебѣ шляпу и лѣвый рукавъ чернымъ ремнемъ и отправила поправлять дѣло. Ты долженъ былъ на другой-же день идти къ семейству покойника и выразить ему глубокую печаль твою и твоей маменьки о столь тяжелой утратѣ. Ты пошелъ. Но несчастье все еще преслѣдовало тебя, и ты попалъ въ квартиру новобрачныхъ. Все тамъ было свѣтло и любовно, все — смѣхъ, радость, блескъ, все даже немного непріятно рѣзало глазъ посторонняго человѣка, непрічастнаго радости. Новобрачные завтракали и въ ту минуту, когда ты входилъ, отскочили другъ отъ друга, внезапно зарумянившись. Хрусталь, серебро, фарфоръ, лица новобрачныхъ, мебель — сіяли. Одинъ ты, мрачно насуливъ брови, сочувственно гробовымъ голосомъ излагалъ свою скорбь. Но нашлись у тебя и слова утѣшенія. Какъ ни тяжела настоящая минута, говорилъ ты, обращаясь къ новобрачной и принимая ее за вдову, какъ ни велика посѣтившая васъ господня кара, но таковъ ужъ удѣлъ всего земного. Ты рекомендовалъ молодой женщинѣ думать о дѣтяхъ (при этомъ молодая вспыхнула), не предаваться отчаянію и съ терпѣніемъ нести крестъ свой. Новобрачные едва слушали тебя. Они, и особенно она, думали о томъ,

какъ-бы ты поскорѣе убрался, однако — дѣлать нечего — предложили тебѣ завтракать. Ты мрачно, но съ аппетитомъ сказалъ, что отвѣдаешь въ память покойнаго и этихъ поминальныхъ блиновъ (указывая на роскошный свадебный пирогъ), и этой кутьи (указывая на румяный ростбифъ). Въ концѣ концовъ тебя выгнали и отсюда и тоже помяли бока.

Я потому вспоминаю этотъ эпизодъ, что на немъ очень ужъ ясно видно, какъ мы съ тобой близки, несмотря на существенныя различія. Ты превосходно помнишь, какъ слѣдуетъ вести себя при различныхъ обстоятельствахъ, а все это забылъ. Но ты до такой степени глупъ, что являешься съ флеръ д'оранжемъ на похороны и въ плерезахъ на свадьбу. Ты до такой степени ничего не понимаешь, что какъ бы все забылъ; я до такой степени все забылъ, что какъ бы ничего не понимаю. Исходныя точки наши различны, но приходимъ мы въ одно и то-же царство вещей безъ названія. Повторяю: зачѣмъ же намъ другъ отъ друга прятаться? Ваня, торжественно каюсь: я обманывалъ тебя, я прикидывался помнящимъ, надѣвалъ разныя личины, горѣлъ самоотверженіемъ, пламенѣлъ патріотизмомъ, взвивался къ небесамъ идеала, спускался въ глубину премудрости. И все это былъ вздоръ, даже довольно безсовѣстный вздоръ, если принять въ соображеніе твою безпомощность. Сознаюсь, я не безъ удовольствія видѣлъ, что ты вѣришь всѣмъ моимъ фокусамъ и принимаешь за настоящую монету мой, иногда довольно грубый, поддѣлки. Какъ ни какъ, а ты — сила, ибо ты не одинъ. Тысяча подобныхъ тебѣ раздвигаютъ ротъ до ушей, когда нужно плакать, и проливаютъ ручьи слезъ, когда можно умереть со смѣху, принимаютъ свадебный пирогъ за поминальные блины и являются съ букетомъ флеръ д'оранжа на похороны. И вамъ-же, бѣднымъ Иванушкамъ-Дурачкамъ, мнутъ бока за это. А вы, какъ ни въ чемъ не бывало, опять и опять идете на удочки, которые я и мои соотечественники по странѣ забытья и забвенія наживляемъ для васъ разными псевдонимами. Если бы васъ, дурачковъ, не было, намъ, непомнящимъ, пришлось бы плохо: міръ совсѣмъ не на трехъ китахъ стоитъ, какъ утверждаютъ непросвѣщенные простолюдины, а на милліонахъ дураковъ. Я и не отказываюсь на будущее время водить тебя за носъ и пускать пыль въ твои оловянные глаза, ибо хочу ѣсть и пить, и не какую-нибудь спартанскую черную похлебку ѣсть, и не какой-нибудь кислый квасъ пить. Но приливъ добрыхъ чувствъ побуждаетъ меня раскрыть тебѣ хоть отчасти глаза на то, что уже сдѣлано.

Начну съ Евгенія Маркова.

Я очень вѣрю (и не только потому, что мнѣ лестно вѣрить), очень вѣрю, что книгопродавецъ Бѣлаго, издатель сочиненій Евгенія Маркова, не вреть, говоря: «Многіе изъ почитателей автора не разъ выражали намъ обязательное (?) желаніе имѣть собраніе его сочиненій, разсѣянныхъ по различнымъ повременнымъ изданіямъ». Очень вѣрю, что «вслѣдствіе того-же желанія почитателей и друзей автора, мы (Бѣлаго) рѣшились приложить къ изданію портретъ автора, несмотря на то, что скромность его возстала противъ нашего намѣренія». Я повѣрилъ-бы даже этой скромности, ибо были уже примѣры знаменитыхъ писателей (Лѣсковъ-Стебницкій, Ливановъ), скромность которыхъ изнемогла въ борьбѣ съ желаніемъ почитателей имѣть ихъ портреты. Скромности Евгенія Маркова я только потому не могу повѣрить, что, какъ сейчасъ будетъ доказано, онъ самъ-то вовсе не существуетъ. Но затѣмъ желанію твоему имѣть его сочиненія и портретъ я вполне вѣрю. Вѣрю даже тому, что книгопродавецъ Бѣлаго говоритъ какъ-бы отъ твоего имени—о «высказанныхъ мастерскимъ перомъ художника честныхъ и разумныхъ мысляхъ» Евгенія Маркова.

Знай же, Ваня, что Евгеній Марковъ есть не болѣе, какъ мой псевдонимъ, и самостоятельнаго реальнаго бытія не имѣетъ. Тому есть доказательства частныя и общія, въ развитіи коихъ я буду опираться на слѣдующіе документы: во-первыхъ, два томика только-что вышедшаго «Собранія сочиненій Евгенія Маркова съ портретомъ автора», во-вторыхъ—собраніе разсказовъ, изданное въ 1875 г., подъ заглавіемъ «Барчуки». Слѣдовало бы еще прихватить романъ «Черноземныя поля», который вотъ уже, кажется, болѣе года печатается въ «Дѣлѣ». Но—надѣюсь, что о собственномъ своемъ сочиненіи могу говорить вполне откровенно—романъ этотъ ничѣмъ не напоминаетъ своего заглавія. Въ противность ему, онъ пустыненъ, какъ средне-азіатскія степи, и вдобавокъ столь обширенъ, что я, авторъ, благополучно подхожу къ концу романа, совершенно забывъ его начало. Не взыщи, значить, за нѣкоторую неполноту доказательствъ, хотя, впрочемъ, при случаѣ, я, можетъ быть, припомню кое-что изъ злаковъ, произрастающихъ и на «Черноземныхъ поляхъ».

Ты можешь сдѣлать вотъ какое возраженіе: къ собранію сочиненій приложенъ портретъ Евгенія Маркова—слѣдовательно, такой человѣкъ существуетъ. Но ты слыхалъ, конечно, что спириты снимаютъ портреты съ духовъ, то-есть съ лицъ, не имѣющихъ уже матеріальнаго бытія. Портреты эти бываютъ только немножко туманны, неопредѣленные, что вполне натурально. Ну, такъ вотъ если

ты вѣришь—а ты, конечно, вѣришь—въ спиритическую фотографію—то долженъ допустить возможность и портрета псевдонима, который, однако, матеріально, какъ нѣчто особое, самостоятельное, не существуетъ. Вглядишься въ портретъ Евгенія Маркова, задумаешься въ его фізіономію. Я даю тебѣ на это полнѣйшее право уже тѣмъ, что согласился на опубликованіе портрета. А кромѣ того, вотъ что я самъ, скрываясь подъ псевдонимомъ Евгенія Маркова, говорилъ о Фребелѣ: «Желалъ бы я очень, чтобы читатель имѣлъ на глазахъ портретъ этого Прометея, замыслившаго поправить Творца; я увѣренъ, что ни Лафатеръ, ни Галль не вычитали бы изъ этихъ огромныхъ ушей и этого низкаго приплюснутаго лба особаго довѣрія къ его педагогическому гению. По крайней мѣрѣ, я не могу отрѣшиться отъ впечатлѣнія лица человѣческаго при сужденіи о его внутреннихъ силахъ, а впечатлѣніе лица Фр. Фребеля до такой степени характеристично и внятно, что мы смѣло отсылаемъ къ нему читателя». Слѣдовательно, смотри на портретъ моего псевдонима и дерзай дѣлать умозаключенія. Ты видишь благообразнаго мужчину, глядя на котораго, можешь сказать одно: этотъ мужчина благообразенъ. Обладаетъ ли онъ какимъ-нибудь гениемъ, этого не разберутъ люди даже много поумнѣе тебя. Нельзя даже разобратъ, отчего у него бороды нѣтъ: оттого ли, что еще не обсохло на губахъ его материнское молоко, или оттого, что онъ искусно бреется. Правда, изъ предисловія къ «Барчукамъ» ты можешь узнать, что авторъ былъ молодъ еще въ тридцатыхъ годахъ, значить—бреется давно, но изъ портрета ты этого не увидишь. Ибо то—портретъ псевдонима, а не дѣйствительно существующаго человѣка, имѣющаго собственное имя; портретъ, по необходимости, столь же туманный, неопредѣленный, какъ произведенія спиритической фотографіи, и однако похожій. Тайна сія велика есть, и я ея не знаю: Вагнеръ, Бутлеровъ, Аксаковъ, «богомолки, бабы умныя, могутъ лучше разсказать». Фактъ во всякомъ случаѣ тотъ, что портретъ похожъ, ибо первое впечатлѣніе, получаемое отъ сочиненій Евгенія Маркова, совершенно то же: этотъ писатель благообразенъ. Не то, чтобы уменъ, или неуменъ, ученъ или неученъ, а просто и единственно благообразенъ. Періоды, гладкіе, округленные, катятся одинъ за другимъ, сочетаясь почти ритмически, съ нѣкоторою даже музыкальностью, и ничего, кромѣ благообразія, въ этихъ волнахъ краснорѣчія не видно.

Такое, однако, только первое впечатлѣніе. Вникая подъ мои руководствомъ въ сочиненія Евгенія Маркова, ты откроешь

нѣчто, кромѣ благообразія вообще. Прежде всего, ты увидишь, что это—благообразіе классическое карамзинское. Секретъ его состоитъ въ томъ, чтобы вмѣсто «Александръ Македонскій» говорить «великій ученикъ Аристотеля», а вмѣсто «Аристотель» — «великій учитель Александра Македонскаго» и вообще доходить до выраженія своей мысли по возможности окольными путями. Полезно, на примѣръ, писать «очи» вмѣсто «глаза», и «вервие» вмѣсто «веревка», полезно пустить въ ходъ фигуру усугубленія, метафору, библейское выраженіе. Все это должно произвести нѣкоторое пареніе ума читателя, проволочить его нѣкоторое время въ сферахъ, болѣе возвышенныхъ, чѣмъ та, къ которой относится обсуждаемый предметъ. Я сдѣлалъ, впрочемъ, одно важное улучшеніе въ карамзинской манерѣ. Именно, среди всякаго рода возвышенностей я ввѣдряю иногда такое, на примѣръ, совсѣмъ не карамзинское слово, какъ «скоть». Но это ничего, это даже очень хорошо, потому что противоположность между «очами» и «скотомъ» придаетъ особенную пикантность рѣчи.

Я недаромъ выбралъ столь мало употребительный нынѣ карамзинскій стиль. Онъ какъ нельзя болѣе удобенъ для того, чтобы отуманить твою, Иванушка-Дурачекъ, скорбную главу и вложить въ тебя увѣренность, что я, Иванъ Непомнящій, превосходно помню. Благодаря карамзинскому стилю, я могу, какъ утлая ладья, носиться туда и сюда по бурнымъ волнамъ собственнаго краснорѣчія, но совершенно незамѣтно для тебя. Признаться, ты вѣдь не замѣчалъ, что я противорѣчу себѣ на каждомъ шагѣ и пламенно опровергаю на второй страницѣ то самое, что не менѣе пламенно утверждаю на первой. Но, такъ какъ я рѣшилъ быть съ тобой вполне откровеннымъ, то приведу тебѣ нѣсколько образчиковъ моего забытья и забвенья.

«Люди кабинета, люди Петербурга не видятъ такъ близко Русь, ту обширную бѣдную, всѣмъ стѣсненную Русь, которая, такъ мало похожа на Невскій проспектъ, которая мерзнетъ въ снѣгахъ, тонетъ въ грязяхъ, мокнетъ подъ дождями, Русь, не гранитную, не газовую, а нашу соломенную, лыкомъ шитую, настоящую Русь. Но мы, люди земли, живущіе ея жизнью, страдающіе ея язвами, мы знаемъ ее всѣмъ существомъ своимъ. Мы не можемъ отвертываться отъ жизни въ учебники права и живое вынуждены судить по живому. Нашъ искренній голосъ въ этомъ дѣлѣ гораздо важнѣе профессиональнаго голоса доктринеровъ, и они обязаны во всякомъ случаѣ прислушиваться къ нему и думать о немъ». (Сочиненія Евгенія Маркова, I, 111). Такъ го-

ворилъ я, и ты повѣрилъ. Ты повѣрилъ, что я нѣчто знаю всѣмъ существомъ своимъ, когда у меня даже существа никакого нѣтъ, какъ у псевдонима Ивана Непомнящаго. Когда я напечаталъ знаменитую статью объ адвокатахъ, гдѣ, слѣдуя своей системѣ, водрузилъ среди всякаго рода возвышенностей «прелюбодѣя мысли», ты тоже повѣрилъ. Ты повѣрилъ, что я мечущій юпитеровскіе громы въ безнравственность адвокатовъ, нѣчто помню по части правилъ нравственности и добропорядочнаго поведенія. Иванушка, я ничего не знаю, ничего не помню. Ну, чѣд-бы, на примѣръ, хотѣлъ ты узнать отъ меня объ этой бѣдной, лыкомъ шитой, настоящей Руси, знаніемъ которой я хвастнулъ, основательно рассчитывая на твою безпримѣрную глупость? Интересуютъ тебя теперешнія отношенія крестьянъ къ помѣщикамъ? Ну, такъ внимай глаголамъ чело-вѣка земли, болѣющаго ея язвами, и проч. Вотъ что говорить онъ: «Для меня нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что даже наканунѣ смерти крѣпостнаго права народъ вообще относился къ нему безъ скептицизма и протеста... Народъ сознавалъ права господъ на большее и лучшее, признавалъ ихъ право бездѣлья и власти. Барская кость, барская кровь была для него предметомъ вполне реальнымъ, необходимымъ звеномъ въ общественномъ строѣ. «Вы—слуги царскіе, мы слуги — барскіе», говорили крѣпостные философы; болѣе сантиментальные увѣряли даже, что «вы—наши отцы, мы—ваши дѣти». Сословная ненависть крестьянъ къ господамъ рѣшительно не существовала, какъ явленіе общее. Кажется, это сдѣлалось вѣдъ всякаго сомнѣнія теперь, черезъ 10 лѣтъ послѣ реформы. Ненависти не было именно потому, что барство было такой же признанный народнымъ убѣжденіемъ институтъ, какъ и крестьянство. До сихъ поръ крестьяне и дворовые вспоминаютъ своихъ бывшихъ господъ съ чувствомъ какой-то родственности, хотя они ничуть не забыли тягостей и неправдъ прошлаго» (I, 7). Итакъ, довѣріе, любовь, уваженіе, «родственность» — вотъ тѣ чувства, которыми, вообще говоря, былъ и остается до сихъ поръ проникнутъ мужикъ въ отношеніи помѣщика. Показаніе это я дѣлаю въ качествѣ «чело-вѣка земли», но, въ то же время, обливаю его философскимъ соусомъ, имѣющимъ доказать, что не только такъ есть, но иначе и быть не можетъ. Однако, развернувъ тотъ же первый томъ на страницѣ 440, ты прочтешь слѣдующее: «Мужикомъ руководить валовой приговоръ старины и толпы, его темному инстинкту недостаётъ той тонкой наблюдательности, которая оцѣниваетъ малѣйшіе полутоны предмета и которая умѣетъ проникать нѣсколько

глубже наружной оболочки. Баринъ нагналъ когда-то страху—вотъ и щетинится теперь мужикъ противъ всего, что на барина похоже, и ни за что не повѣритъ, чтобы кто-нибудь, одѣтый по господски, желалъ ему добра, какихъ очевидныхъ доказательствъ ни давайте ему. Изстари такъ велось, что господа нашего брата обижали, да и люди всѣ то же говорятъ, думаетъ мужикъ». Итакъ, недовѣріе, нелюбовь, отчужденность—вотъ тѣ чувства, которыми, вообще говоря, былъ и остается проникнутъ мужикъ въ отношеніи помѣщика. Это заключеніе я опять-таки подаю подѣ философскимъ соусомъ, дабы внушить тебѣ, что такъ, а не иначе, идутъ дѣла, и только такъ, а не иначе, они и могутъ идти.

Ты видишь, Иванушка, что я, человѣкъ земли, болѣющий ея язвами и знающій ее всѣмъ существомъ своимъ, на первый же заинтересовавшій тебя вопросъ сначала рѣшительно отвѣтилъ: да! а потомъ столь же рѣшительно: нѣтъ! Погадай на картахъ или на кофейной гущѣ...

Или ты хочешь, можетъ быть, чего-нибудь по части идей? Изволь, можно и это. Вотъ, напримѣръ, теперь часто можно услышать мнѣніе, что люди просвѣщенные и обезпеченные состоятъ какъ бы въ долгу у народа, насчетъ котораго просвѣтились и обезпечились. Въ качествѣ просвѣщеннаго и обезпеченнаго человѣка, я не раздѣляю, разумѣется, этого страннаго мнѣнія. И, однако, ты можешь найти въ сочиненіяхъ Евгенія Маркова описаніе скудной крестьянской свадебной пирушки, которое оканчивается такъ: «У меня вдругъ сердце защемило такимъ инстинктивнымъ стыдомъ и жалостью, что я тихонько выбрался изъ сѣней и побѣжалъ въ тѣ хоромы, гдѣ каждый день подавался завтракъ, стоящій двухъ такихъ свадебныхъ пировъ, и гдѣ, конечно, никто не думалъ о томъ, что дышится cadaго нашего жаркого и масло всѣхъ нашихъ пирожныхъ были отняты отъ свадебныхъ пирушекъ мужика» (I, 291). Такъ говоритъ Евгеній Марковъ. Но, такъ какъ онъ существуетъ лишь идеально, лишь въ качествѣ благообразнаго псевдонима Ивана Непомнящаго, то, воспрянувъ духомъ, восклицаетъ въ другомъ мѣстѣ: «Мы должны съ полною откровенностью объявить фанатикамъ чернаго народа, что почитаемъ достоинствомъ все, что они считаютъ поводомъ къ осужденію: мы считаемъ достоинствомъ свое матеріальное обезпеченіе, свое образованіе, свою власть, свой приличный образъ жизни, свой досугъ, свою любовь къ искусству и наукѣ, свою сохраненную связь съ прошлымъ... Мы ничего не украли у остальнаго человѣчества, и намъ нечего краснѣть передъ нимъ» (I,

167). А ты, Иванушка-Дурачекъ, опять-таки иди къ гадалкѣ: отъ нея, можетъ быть, навѣрное узнаешь, чего именно я стыжусь и краснѣю и чего не стыжусь и не краснѣю.

Или вотъ еще: гдѣ-то о невѣжествѣ и косности русскаго мужика, я съ грустью замѣчаю: «Оглянитесь назадъ, въ исторію. Андрей Первозванный, говорятъ, засталъ на Руси квасъ и паренье въ баняхъ; прошло 1.800 лѣтъ—и все-таки у русскаго мужика только и есть добраго, что квасъ, да субботняя баня въ печи, да изба «попрежнему жильемъ пахнетъ» (I, 446). Съ такою грустью говорю я, въ такую траурную, черную рамку вставляю эту историческую непреклонность кваса и березовыхъ вѣниковъ, что и тебѣ должно взгрустнуться. Въ твою душу должно забратъ какое-то безразличное сожалѣніе къ мужику, и мнѣ кажется даже, что я отсюда вижу, какъ слезы льются изъ твоихъ оловянныхъ глазъ. Но не плачь, не горюй, у меня найдется и веселенькая рамка для того же самаго сюжета: «Я съ радостью нашелъ въ преданіяхъ объ Андрѣ Первозванномъ рассказъ о старомъ славянскомъ обычаѣ париться въ банѣ вѣниками и пить скверный квасъ. Лапти и тулупы, дукошки и корыта, какъ показываетъ исторія, были на зарѣ нашего отечества столь же культивируемы, какъ и теперь... Это сознаніе должно, мнѣ кажется, смирять человѣка и дѣлать его болѣе снисходительнымъ къ слабостямъ протекшихъ лѣтъ» («Барчуки», стр. 160). О чемъ же ты плакалъ, Иванушка?

Но болѣе всего я тебя прельстилъ, кажется, своими гимнами просвѣщенію. Помнишь, какъ я отдѣлалъ Льва Толстого за недостатокъ уваженія къ просвѣщенію? Небу жарко было отъ пламени рѣчей моихъ, и слезы благодарности просвѣщенныхъ педагоговъ грозили затопить землю. Просвѣщеніе—мой конекъ. Это понятно: «исторія убѣждаетъ насъ, что образованіе, несмотря на постоянное обвиненіе его въ непрактичности, почти исключительно одно работало съ пользою для счастья человѣчества. Пусть люди, не вдумавшіеся въ свойства и исторію образованія, въ дѣтской досадѣ своей на медленность прогресса и на неизбѣжныя язвы жизни, оскорбляютъ его клеветами и подозрѣніями. Эти ревнители деспотическаго и искусственнаго равенства оттого уже не опасны для народа, что не въ силахъ заставить жизнь идти ихъ фальшивою колеєю, за которою могила человѣческаго развитія» (I, 449). Да здравствуетъ же знаніе! Въ немъ счастье. Но вмѣстѣ съ симъ помни, Иванушка, что «только въ невѣдѣніи счастье. Эта философія старѣе всякой науки и тверже всякой науки. Съ нея начинается легенда міра, и каждый изъ насъ, рефлектирую-

щихъ и анализирующихъ сыновъ XIX вѣка, кончается ею... Сначала *древо жизни* — рай непосредственного дѣтскаго бытія; потомъ *древо познанія*, плодами котораго соблазняютъ человѣка злой духъ: будете мудры, аки боги. Вкусили, и рай потерявъ: познаніе убило жизнь. Какая поразительная легенда, какая мудрая философія жизни! («Барчуки», стр. 196). И какой ты дурачекъ, Иванушка!

Я не стану тебя утомлять дальнѣйшими примѣрами того, какъ я забываю на второй страницѣ сказанное мною на первой. Скажу кратко: нѣтъ ни одного положенія въ сочиненіяхъ Евгенія Маркова, которое не имѣло бы въ нихъ же своего противоположенія. Суди самъ, до какой степени нуженъ мнѣ карамзинскій стиль, въ которомъ тонуть всѣ эти противорѣчія, производя въ твоёмъ ухѣ лишь впечатлѣніе музыкальнаго шума. Но до сихъ поръ ты видѣлъ только частныя доказательства тождественности Евгенія Маркова и Ивана Непомнящаго. Если бы дѣло ограничивалось ими, я не считалъ бы нужнымъ писать настоящее письмо. Противорѣчія, забвеніе сказаннаго на предыдущей страницѣ — черта чисто вѣщная и второстепенная. Важно то, что по существу Евгеній Марковъ есть лишь мой псевдонимъ. До такой степени, что если ты забылъ мое «существо», мою суть, то мнѣ нѣтъ даже надобности рекомендоваться отъ собственнаго лица: достаточно сгруппировать нѣсколько душевныхъ мыслей Евгенія Маркова.

Въ первомъ томѣ, на страницѣ 137, ты найдешь, между прочимъ, слѣдующій специальный трактатъ: «Забвеніе прошлаго и отрицаніе своей солидарности съ нимъ крайне суживаетъ умственный горизонтъ человѣка и вообще искажаетъ духовную сторону его жизни... Горе человѣчеству, если такая точка зрѣнія станетъ господствующимъ ученіемъ цѣлаго поколѣнія, цѣлаго общества или словія. Эта точка зрѣнія есть паденіе человѣка до предѣловъ зоологической разновидности. Говоря совершенно серьезно, безъ малѣйшей брани, это — *точка зрѣнія скотовъ*. Скоту свойственно не знать своего прошлаго и не интересоваться своими связями съ соплеменными ему во времени и пространствѣ. Собака, черезъ годъ, черезъ два, не признаетъ уже своей матери и за кусокъ мяса грызетъ ее точно такъ же, какъ и чужую, добивается ея любви такъ же, какъ чужая и у чужой. Кто мѣшаетъ ей лечь на покойное мѣсто, съ кѣмъ она вынуждена дѣлать свою добычу, тотъ — ей врагъ. Другихъ соображеній не существуетъ въ мірѣ Полкана и Барбоса. Старое, дряхлѣющее вселиваетъ желаніе отдѣлаться отъ него. Старой

барбоскѣ, едва двигающей ноги, въ собачьемъ обществѣ не готово ничего, кромѣ дружнаго рычанія и дружной трепки. Такой-же собачій взглядъ на прошлое проповѣдуютъ мнимые друзья угнетеннаго люда». — Прежде всего, Иванушка, не смущайся «скотами». Это просто для красоты слога. Я часто къ этому скотству прибѣгаю и вовсе не ради брани, повѣрь. Не въ томъ, впрочемъ, и дѣло. Ты пораженъ, конечно, тѣмъ, что я, Иванъ Непомнящій, такъ энергически вступаюсь за память и такъ набрасываюсь на забывающихъ. Оно и въ самомъ дѣлѣ занято. Но, другъ Ваня, есть забвеніе и забвеніе. Вникая въ характеръ того, что я столь настоятельно рекомендую помнить, ты, даже ты, безъ большого труда увидишь, что именно въ этой рекомендаціи заключаются мои главнѣйшія права на титулъ Ивана Непомнящаго. «Точка зрѣнія скотовъ» — это, конечно, хорошо сказано, сильно, могу похвастаться. Но возможны различныя толкованія этого прекраснаго выраженія. Можно, напримѣръ, не безъ успѣха доказывать, что точка зрѣнія скотовъ отличается, напротивъ, чрезвычайно привязанностью къ прошлому. Дѣйствительно, скоту очень трудно разорвать съ своимъ прошлымъ. И не только скоту. Спускаясь по естественно-исторической лѣстницѣ къ растенію или, говоря все тѣмъ же изящнымъ стилемъ, къ «дубинѣ», наконецъ, къ камню, ты увидишь, что способность разрыва съ прошлымъ все убываетъ. Есть цвѣтокъ, называемый «ночная красавица» и вывезенный, говорятъ, изъ такихъ мѣстъ, гдѣ бываетъ день, когда у насъ ночь, и ночь, когда у насъ день. И вотъ почему ночная красавица распускается у насъ ночью: поколѣніе смѣняется поколѣніемъ, а она все не можетъ забыть своего прошлаго, она не видитъ, не признаетъ, не чувствуетъ солнечнаго свѣта, потому что упорно ведетъ счетъ по старому. Ночная красавица — примѣръ, можетъ быть, слишкомъ изящный для иллюстраціи того вида памяти, о которомъ идетъ рѣчь. Но все равно, ты меня понимаешь. Понимаешь, что ярко выраженная способность разрыва съ прошлымъ, способность сжигать все, чему поклонялся, составляетъ едва-ли не самое рѣзкое отличіе человѣка отъ скотовъ и дубинъ. Гонитель Савль вдругъ превратился въ ученика Павла, рѣзко разорвалъ съ своимъ прошлымъ, проклялъ его и благословилъ свой новый путь. Онъ былъ человѣкъ, Ваня, а я...

Итакъ приглашеніе памятовать еще ничего не значить. Надо знать, что именно рекомендуется помнить. Въ различныхъ мѣстахъ сочиненія Евгенія Маркова ты найдешь различныя на этотъ счетъ указанія, столь же различныя, какъ и тѣ образцы коихъ приведены выше. И, однако, всѣ эти

противорѣчія очень удобно сводятся къ единству, а это единство есть самая суть Ивана Непомнящаго. Будь внимателенъ, Ваня, напряги все силы своего скуднаго ума и слѣди за мной.

Когда я говорю о дѣлахъ европейскихъ, я все какъ бы сотканъ изъ революціоннаго пламени. Я восклицаю о французскихъ легитимистахъ: «Эти жалкіе политиканы, забытые исторіей, не хотятъ признавать неумолимаго хода исторіи и отвергаютъ 30-й, 48-й и 52-й годы съ такимъ же безвредною наивностью, какъ страусъ, прячущій голову въ перья, отвергаетъ существованіе дня. Они забыли народную пословицу: что въ воду упало, то пропало! Политикующіе люди особенно не любятъ логики. Они убѣждены, что послѣдовательности дѣйствій, цѣльности идеи и смѣлаго развитія ея выводовъ не допускаетъ кабалистическая наука государственной жизни. Они улыбаются съ досаднымъ сожалѣніемъ на политическихъ философовъ, на этихъ наивныхъ идеологовъ, вѣрующихъ въ господство безплотной идеи среди хаотическаго столкновенія грубѣйшихъ матеріальныхъ силъ. Жалкое понятіе о человѣчествѣ, къ которому будто бы не можетъ привиться ничто здравое, простое и цѣльное. Какъ будто все эти искусственныя уродованія, это половиничанье и аптекарское дробленіе, это, такъ сказать, *добровольное оскотанье истины*, имѣетъ въ себѣ болѣе залоговъ, живучести? Все искусство нашихъ политикановъ состоитъ въ этомъ даваніи, но какъ бы даваніи, въ этомъ стояніи, но какъ бы движеніи. И—странное дѣло—они берутъ свой рецептъ въ исторіи, они смѣло указываютъ вамъ на безобразную архитектуру англійскихъ законовъ, англійской конституціи... Истинно-практическіе силы не сочиняли мистургъ, а ломались въ своей логикѣ на проломъ... Толчокъ изъ Виттенберга въ XVI столѣтіи, толчокъ изъ Версаля въ XVIII были цѣлыми землетрясеніями. И только такіе толчки удались. И когда они удались, все вдругъ удивились, что можно жить безъ папы, безъ *oeil de boeuf*. Все это—исторія колумбова яйца. Поѣхалъ вдругъ мечтатель, идеологъ въ пустыни океана, осмѣянный дураками, какъ дуракъ, и возвратился съ Америкой. Поплылъ Гарибальди въ Марсалу: ждутъ все, когда повѣсятъ безумца; а безумецъ вдругъ взялъ, да отнялъ Сицилію, такъ таки просто взялъ себѣ, да отнялъ... Все вещи происходятъ очень просто; логика, правда, окончательно торжествуетъ надъ всѣмъ. Идеи равенства, свободы, братства народовъ, всеобщаго мира и благосостоянія—не пустыя утопіи, а такія-же незбылемыя истины разума, какъ законы физической природы. Человѣчество нуждается въ нихъ

такъ-же необходимо, какъ и въ свѣтѣ, и въ воздухѣ. Стремиться къ осуществленію этихъ основныхъ условій жизни, безъ малѣйшаго опасенія, остановки и оговорки—долгъ всякаго человѣка, вѣрующаго въ человѣчество. Вопросъ о преждевременности и недозрѣлости не можетъ имѣть мѣста» (II, 145 и слѣд.).

Таково, Иванушка, пареніе моей мысли, когда я трактую о вещахъ, находящихся по ту сторону границы нашего отечества. Везувій, совершенный Везувій съ его грознымъ гуломъ и потоками всеожигающей лавы! Признайся, ты даже немножко струсилъ или, по крайней мѣрѣ, по своему обыкновенію, задумчиво почесалъ у себя въ затылкѣ. Э, Ваня! дѣло не такъ плохо, какъ можетъ тебѣ показаться съ перваго взгляда. Разсуди самъ. Всему свѣту извѣстно, что ты—либераль. «Чтобъ тебѣ угодить, веселѣй надо быть», надо опарашить тебя струей либерализма, послѣ чего изъ тебя хоть веревки вей. Быть можетъ, я немножко пересолил, ашпюдируя безразлично Колумбу и Гарибальди, толчку изъ Виттенберга и толчку изъ Версаля и всѣмъ «наивнымъ идеологамъ, вѣрующимъ въ господство безплотной идеи среди хаотическаго столкновенія грубѣйшихъ матеріальныхъ силъ». Быть можетъ, я пересолил, провозглашая идеи равенства и всеобщаго благосостоянія «незыблемыми истинами разума». Но значить-же, я изъ тебя хорошую, прочную, долготерпѣливую веревку свилъ, если послѣ всего вышепредложеннаго, могъ безнаказанно обозвать «скотами» и Колумба, и Гарибальди, и всѣхъ идеологовъ, ибо кто, какъ не они, проповѣдуютъ «собачій взглядъ на прошлое»? Кто, какъ не они, сметають это прошлое, разрываютъ съ нимъ всякую связь? Дѣло въ томъ, Ваня, что Европа и всемірная исторія—сами по себѣ, а наши домашнія дѣлишки—тоже сами по себѣ. Ты, безъ сомнѣнія, самъ замѣтилъ, а не замѣтилъ, такъ постарайся замѣтить, что любая изъ читаемыхъ тобой газетъ чрезвычайно либеральна насчетъ Европы и всемірной исторіи. Я ужъ не говорю о Турціи, но и Германія, и Франція, и Англія, можно сказать, ежедневно подаютъ газетчикамъ поводъ гремѣть, негодовать, проричать, «глаголомъ жечь сердца людей». И, однако, это ни къ чему не обязываетъ газетчиковъ по дѣламъ своей родины. Совершенно такъ и я. Собственно говоря, я все не думалъ обзывать скотами Колумба, Гарибальди, наивныхъ идеологовъ, людей, стремящихся водворить равенство и всеобщее благосостояніе «безъ малѣйшаго опасенія, остановки и оговорки». Нѣтъ, это—благороднѣйшіе и умнѣйшіе люди. Я—тоже благороднѣйшій и умнѣйшій человѣкъ и вотъ

почему, переходя къ своимъ домашнимъ, роднымъ дѣламъ, пишу знаменитый критическій этюдъ «Упразднители современнаго общества», въ коемъ выворачиваю наизнанку все, сказанное мною о различныхъ упразднителяхъ, отъ насъ болѣе или менѣе удаленныхъ во времени и пространствѣ. Тамъ я говорилъ: ну! здѣсь я говорю: тпру! тамъ я говорилъ: цвѣтъ человѣчества! здѣсь я говорю: скоты! Тамъ я говорилъ: равенство и всеобщее благосостояніе—не утопія, а «незыблемая истина разума», здѣсь я говорю, что—это утопія, безумная и вредная. Тамъ я говорилъ: долой прошлое! долой во имя разума и «безплотной идеи». Здѣсь я говорю: долой безплотную идею во имя прошлаго! Если ты забылъ мой «критическій этюдъ» объ упразднителяхъ, то я приведу тебѣ изъ него нѣсколько строкъ, всего нѣсколько, ибо моя способность къ самополемиизированію, къ забвенію сказаннаго на предыдущей страницѣ достаточно уже выяснилась: «Каждое рѣшительное ученіе о пересозданіи общества заново, какъ бы ни было оно кротко въ своихъ первоначальныхъ мотивахъ, на практикѣ становилось постоянно враждебнымъ къ единственному пути спасенія—къ свободному просвѣщенію человѣческаго разума. И во имя любви, свободы и братства приносились такія же безпощадныя жертвы, какъ и во имя порядка и авторитета. Человѣкъ нигдѣ не спрячется отъ своей натуры: прирожденныя ему черты со всею наличною красотою и безобразіемъ выглянутъ изъ-подъ каждой маски, какову бы ни надѣлъ онъ (а выше: «жалкое понятіе о человѣчествѣ, къ которому будто бы не можетъ привиться ничто здоровое, простое и цѣльное»). Въ виду безчисленныхъ фактовъ, наполняющихъ нашу историческую и частную жизнь, въ виду непоколебимаго убѣжденія нашего въ практическомъ безсиліи всякаго нетерпѣливаго мечтанія (а выше: «истинно практическія силы не сочиняли мистическія, а ломились въ своей логикѣ на проломъ»), есть ли возможность людямъ спокойнаго разума допустить горячечныя головы къ производству надъ обществомъ своихъ страшныхъ экспериментовъ, жертвовать несомнѣннымъ благомъ въ пользу несомнѣнной неудачи и разочарованія?» (а выше: «когда толчки удались, всѣ вдругъ оцѣпились, что можно жить безъ папы, безъ oeil de boeuf»).

Но будетъ. Ты видѣлъ достаточно противорѣчій, увидишь ихъ и ниже, да, наконецъ, можетъ быть, и самъ теперь кое-что найдешь. Пойдемъ дальше. Ты усматриваешь, надѣюсь, что всѣ эти противорѣчія сходятся, какъ радіусы къ центру, къ нѣкоторому единству. Ты усматриваешь даже, быть можетъ, что единство это состоитъ въ твердомъ

намѣреніи убѣдить тебя въ чемъ-то, тебя и тебѣ подобныхъ. Дѣйствительно. Въ сочиненіяхъ Евгенія Маркова ты можешь часто встрѣтить термины: люди просвѣщеннаго и либеральнаго образа мыслей, люди просвѣщенныхъ и добрыхъ намѣреній, просвѣщенные и добросовѣстные люди и т. п. Кто эти таинственные незнакомцы? «Наши идеалы, говорю я, должны быть всегда тамъ, гдѣ свѣтъ. Въ средніе вѣка лучшіе люди были въ монастыряхъ, въ духовенствѣ, потому что тогда свѣтъ правды и науки находилъ себѣ пріютъ только тамъ. Въ наше время свѣтъ правды и науки сосредоточенъ въ цивилизованныхъ классахъ цивилизованныхъ народовъ Запада, и этотъ ковчегъ нашей цивилизаціи долженъ быть спасаемъ всѣми усилиями человѣчества отъ угрожающаго ему всемірнаго потопа» (I, 169). Въ другомъ мѣстѣ выражаюсь болѣе опредѣленно: «Мы всегда должны быть за образованіе. Гдѣ образованіе называется дворянствомъ—будемъ, какъ въ Англіи, за дворянство; гдѣ имя образованію tiers état, какъ во Франціи—будемъ за tiers état» (I, 349). Ну, а въ Россіи какъ? Прямо я на этотъ вопросъ не отвѣчаю, но если потрудишься слѣдить за ходомъ моихъ мыслей, при чемъ я тебя поведу длинными корридорами цѣлаго лабиринта, тебѣ отъвѣтъ получишь. Въ Россіи есть, «во-первыхъ, элементы чиновничества, не только казеннаго, но и общественнаго и даже частнаго; во-вторыхъ, элементъ журналистики, науки и искусства» (I, 129). Повидимому, здѣсь слѣдовало бы искать гнѣзда русскихъ людей просвѣщенныхъ намѣреній, либеральнаго и просвѣщеннаго образа мыслей. Оно бы и такъ, пожалуй, но бѣда въ томъ, что все это—«мыслящій пролетаріатъ». Въ качествѣ такового, весь этотъ людъ склоненъ къ собачьему взгляду на прошлое. «Журналистъ, адвокатъ, художникъ всю свою силу носятъ въ себѣ: она у нихъ не въ землѣ, не въ фабрикѣ. Для нихъ завтрашній день мыслимъ безъ нынѣшняго; для нихъ, какъ для птицы, вездѣ и при всякихъ обстоятельствахъ можетъ найтись кормъ и дѣло. Оттого консерватизмъ не составляетъ естественной и необходимой функціи ихъ организма. Ихъ теоретичность не можетъ получать отъ жизни такихъ щелчковъ, которые дѣлаютъ невозможнымъ существованіе ошибочныхъ взглядовъ въ практикѣ». Понялъ, Иванушка? Только тѣ, у кого сила въ землѣ или въ фабрикѣ, способны къ ошибочнымъ взглядамъ въ практикѣ. А, слѣдовательно, только среди нихъ и можно искать людей просвѣщенныхъ и добрыхъ намѣреній; «фабрика», «земля» — вотъ что у насъ въ Россіи «называется образованіемъ», фабрикантъ, землевладѣлецъ—вотъ гдѣ свѣтъ

и вотъ за кого мы должны стоять. Фабриканты меня, признаться, мало интересуютъ: ихъ апоеозъ я предоставляю моему просвѣщенному и либеральному другу Ивану Плутонократову-Плутосократову, извѣстному богѣ подъ псевдонимомъ В. А. Полетика. Мое вниманіе, естественно, сосредоточено на людяхъ земли. Но, къ сожалѣнію, у насъ большинство людей земли — крестьяне, народъ заведомо непросвѣщенный, а слѣдственно подлежащій исключенію изъ списковъ людей просвѣщеннаго образа мыслей. Это ясно, какъ день. Остается помѣщикъ. Онъ-то и составляетъ центръ всѣхъ моихъ помышлений и измышлений, опубликованныхъ въ видѣ сочиненій Евгенія Маркова. Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ, вхожу ли въ многолюдный храмъ, сижу-ль средь юношей безумныхъ, пишу ли о владѣнной записи, о народномъ образованіи, о почтовыхъ лошадахъ, объ упразднителяхъ современнаго общества, взвиваюсь-ли къ небесамъ небесъ идеала, или спускаюсь въ глубину глубинъ премудрости — я держу на умѣ все одно и то же.

Теперь смотри же, Ваня, какой выходитъ, съ помощью твоей глупости и моего забвенія, оборотъ. Отъ другихъ людей земли, т. е. отъ крестьянъ, помѣщикъ отличается тѣмъ, что онъ — сосудъ просвѣщенія, а отъ другихъ сосудовъ просвѣщенія тѣмъ, что онъ — человѣкъ земли. Въ качествѣ просвѣщеннаго человѣка земли, онъ имѣетъ, во-первыхъ, вообще безошибочный взглядъ на вещи, и, во-вторыхъ, въ частности, по человѣчески, а не по-скотски, смотреть на прошлое. Но вѣдь прошлое велико и многообразно. Чѣмъ же именно должны мы въ немъ дорожить? Наиболѣе полно отвѣтилъ я на этотъ вопросъ «Барчуками». Ты найдешь тамъ такую, на примѣръ, картину: «Топла дѣвокъ съ разбитыми въ кровь губами, съ синяками подъ глазами, опростоволощенные, въ изорванныхъ платьяхъ и фартукахъ, стояли, причитывая, рассказывая, жалуясь, плача, упрашивая» (30). Это мы — «барчуки» позабавились надъ «своими дѣвками», и я съ величайшимъ наслажденіемъ вспоминаю этотъ эпизодъ, потому что чуждъ собачьяго, скотскаго взгляда на прошлое. По-истинѣ, безстыдныя слезы радостнаго умиленія проливаю я надъ этими образами избитыхъ моими дѣтскими руками дѣвокъ. Безстыдство мое простирается столь далеко, что, въ предисловіи, я рекомендую своихъ «Барчуковъ» для дѣтскаго чтенія, ибо, дескать, въ книгѣ этой «звучать для дѣтей одни простыя и сердечныя ноты, она, быть можетъ, подниметъ въ сердцѣ ребенка ту радугу дѣтской поэзіи и любви, безъ которыхъ такъ жестка и себялюбива бываетъ жизнь». И если ты до

сихъ поръ еще сомнѣваешься въ томъ, что я — Иванъ Непомнящій, то ты даже гораздо глупѣе, чѣмъ показываетъ твоя наружность. Найдешь ты еще въ «Барчукахъ» трогательное воспоминаніе о дядькѣ Аполлонѣ, который поминутно говоритъ барчукамъ: «Что вскочили ни свѣтъ, ни заря? Непшто вы рабочіе люди?» «Что-жъ я теперь, по вашему, въ нечищенныхъ сапогахъ васъ пусти... Не холопскія, кажется, дѣти»; «статочное ли дѣло благородному человѣку да на землѣ въ солому лежать? чего бы такі приказали мнѣ лавку принести»; «ваше дѣло — приказанье отдать, а наше лакейское дѣло — служить вамъ». Дядька Аполлонъ столь проникнутъ своею холопскою ролью, что не смѣетъ даже самовольно прогнать съ глазъ барчуковъ пьянаго человѣка: «а вы, господа, будто и маленькіе, прогнать его, пьяницу, не прикажете», говоритъ онъ, приводя меня въ совершенный восторгъ. Найдешь ты еще умиленный рассказъ о томъ, какъ мой папенька драгъ на конюшнѣ ткача Романку, и какъ этотъ гигантъ Романка покорливо шелъ на мѣсто казни. И много другого еще найдешь поучительнаго, въ смыслѣ «радуги дѣтской любви и поэзіи, безъ которыхъ такъ жестка и себялюбива бываетъ жизнь».

Но не только образами шаловливо избитыхъ дѣвокъ, высѣченныхъ покорныхъ гигантовъ и преданныхъ холоповъ стремлюсь я привить дѣтямъ свое забвеніе. Я прямо говорю и дѣтямъ, и взрослымъ, кои, подобно тебѣ, способны являться съ флѣръ д'оранжемъ на похороны и въ плерезахъ на свадьбу: «Какая-то гранитная прочность и неизбежность представлялись тогда во всемъ... Баринъ былъ бариномъ, хамъ — хамомъ, и всѣхъ удовлетворяла эта ясность отношеній, и ни въ средѣ бариновъ, ни въ средѣ хамовъ не являлось такихъ лжеименныхъ мудрствованій, которымъ бы казались не по плечу и не по вкусу такія стойкія опредѣленія. «Вы — наши отцы, мы — ваши дѣти», говоритъ мнѣ тономъ глубочайшаго убѣжденія милая старушка Наталья, сморщенная, какъ винная ягода, въ то время, какъ ея костлявыя восьмидесятилѣтнія руки заботливо застегиваютъ мои куцья штанишки. И я вѣрилъ ей, и она была довольна своей вѣрой. И я не видѣлъ поэтому ничего страннаго въ томъ, что встрѣчавшіеся на возахъ лысые старики, черноволосые бородачи торопливо снимали шапки и низко кланялись съ своихъ высокихъ возовъ мнѣ, ихнему барчуку, хотя мнѣ было тогда всего восемь лѣтъ... Я зналъ, что эти старики, бородачи и бабы придутъ къ намъ въ хоромы въ Свѣтло-Христово Воскресенье христосоваться, что всѣ мы высыпемъ тогда къ нимъ въ дѣвичью и будемъ принимать отъ нихъ красныя, совѣтъ

еще холодных аяца, подставляя подъ ихъ мокрыя бороды сначала ручки свои, потомъ и свои губы. Отъ нихъ несетъ овинномъ, полушубками и водкой, но мы все-таки храбро цѣлуемся со всѣми съ ними, и тотъ изъ нихъ будетъ жестоко оскорбленъ, кого случайно минетъ хотя одинъ изъ насъ. И вы думаете, что они цѣловали наши руки съ сардоническими улыбками и скептическими размышлениями про себя? Я не раздѣляю вашихъ подозрѣній, читатель, и, право, имѣю на то основаніе. Я самъ слышалъ, какъ ларей Андрюшка хвастался въ передней своею часторопностью и проворствомъ по тому случаю, что ему пришлось пробѣжать съ полдерсты подъ страшнѣйшимъ дождемъ и градомъ, безъ шапки и шинели, съ охапкою зонтиковъ, калошъ и плащей для барчуковъ, вастигнутыхъ грозю въ купальнѣ. И, по-вѣрьте, ни одинъ изъ слушавшихъ его лапеевъ не задалъ себѣ тогда неумѣстнаго вопроса — почему опасность простуды болѣе грозила купавшимся барчукамъ, чѣмъ лакею, посланному на ихъ выручку?» (158).

Вотъ, Иванушка, та мирная, благодатная долина, куда съ божіей помощью свелъ я тебя съ вершины Везувія, извергающаго равенство, свободу, братство и всеобщее благосостояніе. Вотъ то заупокойное слово, которымъ я оканчиваю слово заздравное. Вотъ тотъ человѣческій взглядъ на прошлое, которое я, въ расчетъ на твою глупость, смѣло противопоставляю собачьему взгляду идеологовъ, мечтающихъ водворить «незыблемыя истины разума безъ опасеній, оговорокъ и остановокъ». Вотъ, наконецъ, за что требовалъ ты у книгопродавца Бѣлаго моего портрета столь настоятельно, что моя скромность изнемогла и мой ликъ причислился къ лику Ливанова и Лѣскова-Стебницкаго. Ты пораженъ совершенно такъ же, какъ когда узналъ отъ своей маменьки, что приглашалъ на мурку вдову покойника. Но это еще не все, Ваня. По собачьи ли, или по человѣчески будешь ты относиться къ прошлому, оно, во всякомъ случаѣ—прошлое. Приятно, полезно, даже возвышенно воспитывать дѣтей на картинахъ избытокъ дѣвокъ и сѣченыхъ гигантовъ. Это—лучшее средство засвѣтить въ ихъ душахъ радугу любви и поэзіи. Но вѣдь радуга появилась, говорятъ, на небѣ въ знакъ того, что пришелъ конецъ потопу: тебѣ не придется ужъ бить дѣвокъ, пороть на конюшнѣ покорныхъ гигантовъ и даже дѣтямъ твоимъ не придется подставлять ручки подъ мокрыя бороды, и не выслушать имъ отъ восьмидесятилѣтней старухи трогательное: «вы—наши отцы, мы—ваши дѣти». Какъ знать, однако, Иванушка, какъ знать! *«Тихія и простая прелести стараго крѣпостного быта* воскреснуть, можетъ быть,

даже *навѣрное воскресутъ* въ лучшей, благороднѣйшей формѣ, когда сынъ моего бѣлокурого малютки дождется своего перваго внука... Вы, сѣдые слуги, вѣрные, какъ псы; вы, морщинистыя няньки, благоговѣнно привязанныя къ цѣлымъ барскимъ поколѣніямъ, смѣняющимъ одно другое, до самаго дня своей поздней кончины берегущія своихъ барчуковъ, какъ весталки священный огонь, изъ рода въ родъ, по заповѣдямъ старины—гдѣ вы? Когда вы *опять* народитесь?»

Это напечатано, Ваня. Напечатано на 156 страницъ «Барчуковъ», въ лѣто отъ Р. Х. 1875, когда моя репутація яростнѣйшаго либерала стояла уже такъ высоко, что князь Иванъ Точка время отъ времени рычалъ на меня въ «Гражданинѣ». Подобно тебѣ, онъ не узналъ меня, а ужъ на что, кажется, уменъ? Впрочемъ, между мною и княземъ Ивановымъ Точкою есть одно, не лишнее значенія разногласіе. Онъ вѣрить въ домового, я—нѣтъ, и даже чрезвычайно этимъ щеголяю. Но—это чисто научный споръ, не мѣшающій намъ обоимъ, какъ людямъ земли, имѣть безошибочные взгляды въ практикѣ. Онъ, мечтая о воскрешеніи простыхъ и тихихъ прелестей, закинаетъ домового кабалистическими формулами, я сопровождаю тѣ же самыя мечты гимнами наукъ, образованію, просвѣщенію. Ибо я—человѣкъ не только либеральнаго, а и просвѣщеннаго образа мыслей, не только добрыхъ, а и просвѣщенныхъ намѣреній.

Мы дошли, наконецъ, Иванушка, до корня вещей, до Pudel's Kern'a, до фокуса, въ коемъ сходятся и лучи моей славы, и лучи карамзинскаго солнца моего пламеннаго стиля. Мой идеалъ—воскрешеніе простыхъ и тихихъ прелестей стараго крѣпостного быта. Если ты станешь на эту точку зрѣнія, то передъ твоимъ умственнымъ окомъ выяснится смыслъ всѣхъ подробностей сочиненій Евгенія Маркова. Припомни, напримѣръ, Ваня, что ты зачислялъ Евгенія Маркова, по поводу «Черноземныхъ полей» въ число людей, призывающихъ «въ народъ» или по иной, менѣе опредѣленной версіи, «въ деревню». Ты даже объ этомъ печаталъ въ фельетонахъ одной газеты и, хотя фельетоны эти были подписаны какими-то инициалами, но сквозь сіи послѣдніе я ясно читалъ: «Иванушка-Дурачекъ». Да, Ваня, это было глупо, очень глупо, ибо въ «Черноземныхъ поляхъ» воспѣвается не «народъ» и не «деревня», а простые и тихія прелести стараго крѣпостного быта «въ лучшей, благороднѣйшей формѣ». Тебя смутило противопоставленіе «лона природы» городскому шуму. Но это противопоставленіе (которое ты можешь найти и въ другихъ

моихъ произведенійхъ, напримѣръ, въ статьѣ о «Казакахъ» Л. Толстого) есть лишь одинъ изъ эпизодовъ войны на жизнь и смерть, которую я, какъ человекъ земли, объявилъ всѣмъ другимъ общественнымъ элементамъ. Мнѣ нужно показать, что вамъ, мыслящему пролетариату, чиновникамъ, адвокатамъ, профессорамъ, журналистамъ, какъ ушей своихъ, не видать тѣхъ простыхъ и тихихъ прелестей, кои испытываемъ на лонѣ природы мы, просвѣщенные люди земли. Совершенно также долженъ ты посмотреть на мою статью объ адвокатахъ, которою ты тоже восторгался, какъ взрывомъ негодующей души. Согласись, Ваня, что мнѣ, Ивану Непомнящему, который свелъ тебя съ Везувія свободы, равенства и братства въ долину простыхъ и тихихъ прелестей крѣпостного быта—согласись, что мнѣ не пристало называть кого бы то было «софистами XIX вѣка» и «прелюбодѣями мысли»: большаго прелюбодѣйства ничья мысль не совершала. Статья объ адвокатахъ тоже—не болѣе, какъ эпизодъ изъ войны со всѣмъ, что не человекъ земли. Сегодня городской шумъ вообще, завтра—мыслящій пролетариатъ вообще, послѣ завтра—адвокаты въ частности, потомъ—чиновники въ частности. Подожди немного, и я, своею прочною ослиною челюстью, изобью, подобно Самсону, десять тысячъ филистимлянъ, чтобы расчистить позицію «роду избранному, народу божію — *просвѣщеннымъ* людямъ земли. Я подчеркиваю *просвѣщеннымъ*, потому что съ не просвѣщеннымъ человекомъ земли, съ мужикомъ, я тоже веду борьбу безпощадную. Борьба эта составляетъ даже любопытнѣйшую сторону моихъ сочиненій, опубликованныхъ подъ псевдонимомъ Евгенія Маркова, ибо въ ней я развертываю бездну стратегическаго таланта, множество тонкихъ военныхъ хитростей, не говоря о храбрости, вообще свойственной мнѣ, рыцарю безъ страха и упрека. На почвѣ этой борьбы безъ остатка растворяются почти всѣ мои противорѣчія, получая характеръ не случайныхъ описокъ или оговорокъ, а строго обдуманной системы, которую я и рекомендую твоему, Иванушка, вниманію.

Общій планъ кампаніи—такой. Я, главнокомандующій, занимаю позицію въ долинѣ простыхъ и тихихъ прелестей, защищенной Везувіемъ свободы, братства, равенства и желководной рѣчкой стыда и совѣсти. Лѣвый флангъ моей арміи громить непріятеля въ томъ смыслѣ, что онъ—мужикъ, неучъ, не-просвѣщенный человекъ. Правый флангъ дѣлаетъ въ то же время ложную диверсію съ цѣлью заманить непріятеля въ долину простыхъ и тихихъ прелестей и, такимъ образомъ, поставить его между двумя рядами моей испытанной въ бояхъ артилле-

ріи. Непріятель, напримѣръ, подается влѣво, а я его встрѣчаю залпомъ: трахъ-трахъ! куда ты, сиволапый, лѣзешь? ты, какъ при Андреѣ Первозванномъ парился березовыми вѣниками и пилъ скверный квасъ—такъ и теперь: столь ты невѣжественъ, дикъ и сиволапъ. Непріятель вправо, а тамъ ему опять залпъ: трахъ-трахъ! о, сиволапый, ты вѣдь—сынъ или внукъ дядьки Аполлона, бабки Натальи, гиганта Романки, въ тебѣ еще живы нравы и мысли добраго стараго времени, ты, какъ при Андреѣ Первозванномъ, парился березовыми вѣниками и пилъ скверный квасъ,—такъ и теперь: столь любишь ты прошлое, столь ты милъ, благороденъ и здравомыслящъ!—Каково, я тебя спрашиваю, положеніе непріятеля? Особенно, если Везувій продолжаетъ періодически извергать свободу, равенство и братство, а самъ я, *tel que tu me vois*, съ лицомъ, по которому нельзя узнать, молоко ли материнское на моихъ губахъ не обсохло, или я просто искусно бреюсь—самъ я, говорю, въ рѣшительную минуту смѣлю, на глазахъ непріятеля, переходить черезъ рѣчку стыда и совѣсти. Побѣжденный—весь въ синякахъ и шрамахъ, у ногъ и цѣлуетъ мнѣ ручку, какъ бабка Наталья, благодарное отечество тоже у ногъ—и лавры, лавры безъ конца. А я этакъ, въ позѣ фельдмаршала Кутузова-Смоленскаго, съ жезломъ въ рукахъ, съ молніей во взорахъ, и наступилъ ногой на гидру. Нѣтъ, какъ хочешь, Ваня, а планъ недурень, и, если бы на моемъ мѣстѣ былъ молчаливый Мольтке, такъ давно бы ужъ кампанія кончилась, и намъ, просвѣщеннымъ людямъ земли, оставалось бы только почивать на лаврахъ, то есть—проводить время даже много лучше, чѣмъ изображено въ «Барчукахъ» и «Черноземныхъ поляхъ». Но я слишкомъ болтливъ, слишкомъ во мнѣ караимскія преданія засѣли, а потому и покорилъ я пока лишь тебя, Иванушку-Дурачка. Но и то недурно, ибо, какъ сказано, на весь міръ стоять.

Повторяю, Ваня, съ точки зрѣнія войны съ непросвѣщеннымъ человекомъ земли, мое положеніе и противоположеніе, оставаясь, конечно, разнорѣчивыми, тѣмъ не менѣе, укладываются въ строгую систему и получаютъ, слѣдовательно, нѣкоторое единство. Возьмемъ хотя первый заданный тобою вопросъ: какъ относится мужикъ къ помѣщику, непросвѣщенный человекъ земли къ просвѣщенному человеку земли? Сначала я тебѣ сказалъ: относится любовно, довѣрчиво, родственно; потомъ я тебѣ сказалъ: относится враждебно, недовѣрчиво, отчужденно. Ослѣпленный блескомъ лакированного стиля, поддерживающаго тебя въ сферахъ, болѣе возвышенныхъ, чѣмъ та, о которой идетъ рѣчь,

а также по прирожденной глупости, ты ничего не замѣтилъ. Теперь, когда я тебѣ открылъ свою душу, ты станешь, можетъ быть, отливываться: дескать, у этого чело-вѣка просто царя въ головѣ нѣтъ и ме-летъ онъ, какъ мельница, какое попадетъ зерно. Но подожди. И положеніе, и проти-воположеніе, и тезисъ, и антитезисъ равно необходимы въ моей системѣ, сливаясь въ син-тезисъ. Когда я говорилъ, что непросвѣщен-ный чело-вѣкъ земли относится къ просвѣ-щенному любовно и даже родственно, я имѣлъ въ виду проектъ всесловной воло-сти, въ смыслѣ воскрешенія простыхъ и ти-хихъ прелестей стараго крѣпостного быта въ лучшей, благороднѣйшей формѣ. Не безъ усилій и не безъ помощи Везувія расчищаю я эту позицію. Я доказываю вредъ прави-тельственной опеки надъ крестьяниномъ, вредъ опеки общинной. Но вѣдь понимаешь, Ваня, нельзя же непросвѣщеннаго такъ со-всѣмъ ужъ, какъ савраса безъ уды, пустить: для него самого вредно, вредно и опасно. И естественно, что прямой опекунъ его есть чело-вѣкъ земли же, но просвѣщенный. От-сюда,—проектъ всесловной волости, тѣмъ болѣе, что сами непросвѣщенные жаждутъ опеки просвѣщенныхъ, ибо относятся къ нимъ любовно, довѣрчиво, родственно, то-чъ въ то-чъ какъ дядька Аполлонъ и бабка На-талья. Вотъ какъ просто и естественно по-лучается мой первый отвѣтъ на твой во-просъ. Это — маленькій эпизодъ изъ дивер-сіи праваго фланга, обязанность котораго за-манить непріятеля въ долину простыхъ и тихихъ прелестей. Въ это время лѣвый флангъ продолжаетъ исполнять свое назна-ченіе, то-есть громить мужика, неуча, не-просвѣщеннаго, его косность, стадность. Ну, а какое же доказательство его невѣжества, косности, стадности можетъ быть осязатель-нѣе, чѣмъ недовѣріе, враждебность къ чело-вѣку земли же, но просвѣщеннаго и доб-рыхъ намѣреній? Я не отрицаю противорѣ-чій, но, ты видишь, они нисколько не про-тиворѣчатъ общему плану кампаніи. Ты знаешь вывѣски на нѣмецкихъ булочныхъ: два льва, съ разинутыми пастьми и бія себя по бедрамъ хвостами, стоять другъ противъ друга на заднихъ лапахъ, какъ бы готоваясь вступить въ кровопролитную драку, послѣ которой отъ обоихъ только хвосты и останутся. Но съ божіею помощью они только съ двухъ противоположныхъ сторонъ поддерживаютъ крендель.

Прилагая тотъ же методъ, я могъ выяснитъ тебѣ смыслъ и всѣхъ остальныхъ противорѣчій. Но ихъ слишкомъ много, а потому это было бы слишкомъ долго. Да и, нако-нецъ, методъ, то-есть путь разясненія, тебѣ указанъ: слѣдуй только ему, и отъ какой бы

точки земного шара, то бишь—сочиненій Евгенія Маркова, ты ни отправлялся, не-прежбно придешь въ долину простыхъ и тихихъ прелестей. Мнѣ хотѣлось бы, однако остановиться еще на одномъ моментѣ битвы по ту сторону рѣчки стыда и совѣсти. Я говорю: «Нельзя не сознаться, что робокъ и узокъ умъ русскаго мужика, и не только узокъ—онъ крайне грубъ, матеріаленъ; въ народныхъ пословицахъ хорошо выразилась вся его эгоистическая практическая филосо-фія. Жестка она для бѣдняка, и нѣтъ въ ней слова состраданія слабому; богатый лучше бѣднаго, здоровый лучше больного, ситый лучше голоднаго, мужикъ лучше бабы — *любже вниканій никакихъ нѣтъ*» (I, 441). Таковы, Ваня, печальные заблу-жденія людей непросвѣщенныхъ. Люди про-свѣщенные, къ коимъ принадлежу я, смот-рять на вещи совсѣмъ иначе. вспомо-ществуемые «глубокими вниканіями», они го-ворятъ: «Нельзя сказать, чтобъ виною жи-тейской неудачи были сами жертвы ея. *Хотя во множествѣ случаевъ это могло бы быть справедливымъ, все-таки общая при-чина лежитъ въ роковыхъ условіяхъ всей мировой жизни. Теорія борьбы за существо-ваніе и естественнаго подбора, при всей необходимости правды своей, требуетъ не-премѣнно, чтобы попибающіе индивидуумы были всегда слабѣйшіе*. Бѣднымъ нехорошо, угнетеннымъ нехорошо, невѣжественнымъ нехорошо — совершенно справедливо. Но отчего же они не стали богатыми, власт-ными, просвѣщенными? Они не могли, имъ мѣшали. Но помѣшать можно только тому, что не можетъ. Значитъ, *они не могли* (кур-сивъ подлинника)» — и больше ничего»... (I, 125 и 143). Какъ ни колоссальна твоя глу-пость, Иванушка, но, увидѣвъ эти двѣ цита-ты рядомъ, не раздѣленные безбрежнымъ и бурнымъ океаномъ карамзинскаго краснорѣ-чія, ты замѣтишь, можетъ быть, что прак-тическая философія просвѣщеннаго чело-вѣка, имъ отъ собственного своего имени излагае-мая, ничѣмъ не отличается отъ той, которую онъ съ укоромъ влагаетъ въ уста людей не-просвѣщенныхъ и которой послѣдніе, можетъ быть, вовсе не исповѣдуютъ. Ты скажешь: это — наглость! Нѣтъ, Иванушка: это—про-свѣщеніе; просвѣщеніе и добрыя намѣренія. Не стану, впрочемъ, оправдываться. Я хо-чу только объяснить, какъ это такъ вышло.

Первая цитата взята изъ статьи «Народ-ные типы въ нашей литературѣ», написан-ной по поводу сочиненій гр. Л. Толстого, писателя, который мнѣ поперекъ горла сталъ, хотя я его съ остервенѣніемъ жую вотъ уже лѣтъ, кажется, пятнадцать. Вся статья пред-ставляетъ отчаянную канонаду на лѣвомъ флангѣ моей арміи:—трахъ таррарахъ! му-

жикъ—неучъ, непросвѣщенъ, грубъ, кривоногъ и сиволапъ, а я сію всяческую красоту, такъ что даже глазамъ больно. Естественно, что въ числѣ выстрѣловъ, направленныхъ въ кривоногого и сиволапаго не-пріятеля, фигурируетъ упрекъ въ эгоистической практической философіи, которая, въ переводѣ на языкъ просвѣщенныхъ людей, именно и гласитъ, что «въ борьбѣ за существованіе погибаютъ непремѣнно слабѣйшіе индивидуумы», тѣ кто *«не можетъ»*—и больше ничего». Итакъ, я упрекаю сиволапаго въ эгоизмъ и слѣдовательно приглашаю къ самопожертвованію, къ растворенію своей личности въ нѣкоторомъ комплексѣ интересовъ. Это очень естественно: осыпавъ не-пріятеля артиллерійскими снарядами, я предлагаю ему сдаться на капитуляцію. Теперь возьмемъ вторую цитату. Она заимствована изъ статьи «Упразднители современного общества». Надо тебѣ сказать, что подъ упразднителями я разумѣю нѣчто въ Россіи не существующее, ибо я доказываю, что упразднители, дѣйствуя во имя и отъ лица городского пролетаріата, крайне враждебно относятся къ мужику, на землѣ сядящему: такихъ упразднителей у насъ, конечно, нѣтъ и быть не можетъ. Но это все равно, не въ нихъ дѣло; это я больше въ видахъ краснорѣчія такъ поставилъ вопросъ. Упразднители, говорю я, хотятъ уничтожить *твое* и *мое* и водворить *наше*, то-есть растворить, между прочимъ, и мою личность въ нѣкоторомъ комплексѣ интересовъ. На это я, какъ человекъ земли, имѣющій безошибочные взгляды въ практикѣ, никоимъ образомъ согласиться не могу. Я говорю: нѣтъ, каждому свое: нищему—сума, мнѣ—черноземныя поля, барчукамъ—хамы, хамамъ—барчуки. (А Везувій въ это время гремитъ и пылаетъ). Для вящаго утвержденія этого тезиса, я обливаю его соусомъ практической философіи, которая, въ переводѣ на грубый языкъ непросвѣщенныхъ людей, именно и значитъ, что «богатый лучше бѣднаго, здоровый лучше больного, сытый лучше голоднаго, мужикъ лучше бабы». Ты видишь, какъ все выходитъ просто и натурально. Я опять-таки не отрицаю противорѣчія въ смыслѣ логическомъ, но въ высшемъ, стратегическомъ смыслѣ все расположено блистательно. Остается только произвести смѣлый переходъ черезъ мелководную, рѣчку стыда и совѣсти (какъ жалко, что она—не Рубиконъ, а бы былъ похожъ на Цезаря), и я совершаю этотъ переходъ. Просвѣщеннымъ людямъ я говорю: вы сильнѣйшіе и, по теоріи борьбы за существованіе и естественнаго подбора, лучше—значитъ по праву занимаете свое положеніе, а самоотверженіе, раствореніе въ какомъ-нибудь комплексѣ инте-

ресовъ вамъ не нужно». Ну, а непросвѣщенные—это другое дѣло. Тутъ важенъ комплексъ. «Полнѣйшая солидарность всѣхъ элементовъ народа въ ошибкахъ его исторіи, во всѣхъ его слабостяхъ и силахъ—вотъ нашъ господствующій тезисъ». Понимаешь? отвѣтственность общая, ну, а барыши—кому тамъ по законамъ природы придется: табачекъ вмѣстѣ, а хлѣбъ-соль—врозь (непросвѣщенные люди, по недостатку просвѣщенія и грубости своей, выговариваютъ эту словицу наоборотъ: хлѣбъ-соль вмѣстѣ, а табачекъ врозь; они думаютъ, что курить не всякій, а ѣдятъ всѣ). Относительно барышей дѣло, впрочемъ, выполнимо ясно: «Въ развитіи человѣческаго духа совершается процессъ, общій всѣмъ организмамъ природы, одареннымъ будущностью: усовершенствованіе типа посредствомъ постепеннаго естественнаго подбора болѣе совершенныхъ индивидуумовъ. Отсюда прямо вытекаютъ естественные законы нашихъ отношеній къ этому историческому явленію. Медленность развитія является условіемъ незыблемымъ, какъ сама природа. *Сосредоточеніе всѣхъ заботъ нашихъ на томъ элементѣ, который одинъ только способствуетъ развитію лучшихъ психическихъ организмовъ—на просвѣщеніи—дѣлается необходимымъ и не допускаетъ, мнѣ кажется никакого сомнѣнія*» (I, 146). Конечно, сомнѣнія неумѣстны. Надо только имѣть въ виду, что, какъ было объяснено выше, просвѣщеніе въ разныхъ странахъ носитъ разные имена: въ Англіи оно называется дворянствомъ, во Франціи буржуазіей, въ Россіи... въ Россіи, кажется, барчуками. И, слѣдовательно Россія обязана окружать барчуковъ заботами и надеждами, не отнимать у нихъ дядьку Аполлона и бабу Наталью, а также не лишать ихъ невинныхъ развлеченій въ родѣ шаловливаго избіенія дѣвокъ, конечно, въ лучшей, благороднѣйшей формѣ.

Я скромнень, Иванушка. Мои походы и подходы скромны, какъ ты теперь ясно видишь, на живую нитку. А потому, если ты потребовалъ у книгопродавца Бѣлаго моихъ сочиненій и портрета, я приписываю это твоей глупости, а не искусству твоего друга
Ивана Непомнящаго.

II.

Теперь, Иванушка, поговоримъ о «Новомъ Времени». Это тоже мой псевдонимъ, ежедневный, политическій и литературный псевдонимъ Ивана Непомнящаго.

Началъ я съ откровеннаго заявленія, что буду держаться откровеннаго направленія. Я предоставлялъ твоей глупости догадываться, ограничусь ли я откровеннымъ изображе-

ніемъ тайнъ будуаровъ кокотокъ, или же вообще буду писать, какъ Богъ на душу положить, по откровенію. Не знаю, какъ ты понялъ дѣло, но, во всякомъ случаѣ, я пришелся тебѣ по плечу, ты возлюбилъ меня. Спасибо, другъ. Удивимъ Европу откровеннымъ союзомъ. Но да будетъ онъ дѣйствительно откровеннымъ. На этотъ разъ, впрочемъ, мнѣ нѣкогда долго откровенничать, потому что первое мое письмо вышло гораздо длиннѣе, чѣмъ я думалъ. На этотъ разъ я только одинъ уголокъ приподниму. Любопытный, впрочемъ, уголокъ: въ своемъ родѣ Евгенія Маркова стбѣть.

Когда герцоговинское возстаніе уже разрослось, я все еще откровенничалъ на счетъ будуаровъ кокотокъ, заглядывалъ по временамъ на биржу и острилъ надъ генераломъ Черныаевымъ. Но вдругъ я получилъ просіаніе моего ума и воскликнулъ:

Громъ побѣды раздавался,
Веселися, храбрый россъ!

Подхватили и другіе, а хоръ музыкантовъ лейбъ-гвардіи шампанскаго полка только того и ждалъ. Музыка грянула, и подъ ея торжественные звуки, торжественно и вмѣстѣ весело, пара за парой, двинулся полонезъ. Впереди, разумѣется, были генералы, потомъ полковники. Но и мы съ тобой были не изъ послѣднихъ. Какъ два мѣднолобые, то бишь мѣднотатные Аякса,—

Мы шли
Величаво, шли...

Откровенно, впрочемъ говоря, не очень величаво; разнообразно больше. Ты-то, конечно, былъ величавъ. Выпятивъ грудь, выпучивъ глаза, напаявъ на голову заплатанную шапку-мурмолку, ты серьезно мнилъ себя россомъ, имѣющимъ право веселиться, хотя ты и не веселился. Веселился я. По врожденной гибкости членовъ и соотвѣстной легкости тѣлодвиженій, а также по непривычкѣ къ величавости, я по временамъ то утрировалъ свою новую роль, то выкидывалъ какое-нибудь колѣнце: высунешь, на примѣръ, тебѣ, какъ клоунъ, языкъ и треснешь себя по затылку, а то перекувырнешься въ стихахъ или въ прозѣ черезъ голову. Но ты ничего не понималъ, ты любовался мной, ты думалъ, что по дорогѣ въ Константинополь такъ и слѣдуетъ вести себя, и даже сожалѣлъ, что самъ не обладаешь гибкостью членовъ. Ты считалъ за честь итти въ одной парѣ со мной, съ ежедневнымъ литературно-политическимъ псевдонимомъ Ивана Непомнящаго. Сзади въ самомъ концѣ блестящей вереницы полонеза шла пара кривоногихъ, сиволапыхъ. Они, кажется, нечаянно попали въ блестящій полонезъ. Но мы оба ихъ замѣтили и оцѣнили ихъ присутствіе: оно придавало демократи-

ческій характеръ торжественно-веселому танцу, а въ наше время безъ малой толики демократизма нельзя издавать ежедневнаго литературно-политическаго псевдонима: это я очень подробно и обстоятельно доказалъ въ одномъ изъ сочиненій Евгенія Маркова. Конечно, эта малая толпка ни къ чему меня не обязываетъ, какъ ты видѣлъ на примѣрѣ Евгенія Маркова и какъ сейчасъ увидишь на примѣрѣ «Новаго Времени». Демократизмомъ отдавала, впрочемъ, не только пара сиволапыхъ, неуклюже трусившихъ въ концѣ полонеза и нѣсколько портившихъ, въ художественномъ смыслѣ, ансамбль. Демократизмомъ отдавала самая цѣль шествія:

Мы шли
Величаво, шли

спасать народы. Понимаешь? Мы съ тобой, Иванушка-Дурачекъ и Иванъ Непомнящій, шли спасать народы! Пикантно или нѣтъ? Мы и до сихъ поръ идемъ, но, такъ какъ полонезъ очень ужъ затянулся, то идемъ довольно лѣнливо, устали, особенно я, потому что много колѣнцевъ, сверху положенія, выкидывалъ: до цота лица старался, такъ что заплатанная шапка-мурмолка не разъ слѣзала у меня съ головы, и ты не безъ изумленія смотрѣлъ на мою странную фигуру. Повѣсть о томъ, что, какъ и почему забылъ я во время этого шествія, была бы, можетъ быть, поучительна, но слишкомъ ужъ длинна. Да и ты за послѣднее время что-то отставать сталъ, должно быть, понимать началъ. Я только о томъ, чего ты во всякомъ случаѣ не доглядѣлъ.

Музыка лейбъ-гвардіи шампанскаго полка гремитъ «Громъ побѣды раздавался», пара идетъ за парой, сначала генералы, потомъ полковники, потомъ мы съ тобой, Иванушка-Дурачекъ и Иванъ Непомнящій, потомъ другіе разные, а сзади двое сиволапыхъ. Я занимаю тебя разговорами. Англичане, говорю—торгаши, спекулируютъ на благо народовъ; вотъ мы, русскіе, и особенно я—другое дѣло; мы все какъ бы на пользу народу, и не только своему, а всякому, то есть не то, чтобы рѣшительно всякому, это ужъ жирно будетъ, а всякому славянскому народу; Европа совершенно не понимаетъ того глубоко демократическаго духа, которымъ я проникнутъ, не понимаетъ, какъ близки моему сердцу вотъ эти самые сиволапы; вѣдь я только изъ-за нихъ и въ полонезѣ участвую; мнѣ лично Константинополь и проливовъ тамъ этихъ вовсе не нужно; они нужны Россіи, а такъ какъ Россія отличается своимъ демократическимъ строемъ, то главнымъ образомъ вотъ этимъ самымъ сиволапымъ.—Эти умныя рѣчи я сопровождаю то хорошенькими шуточками, то яростными выкриками, то торжественными гим-

нами. Ты все слушаешь и всему вѣришь. Ну, нельзя же, однако, тебя все громомъ побѣды занимать: «ахъ, не все намъ слезы горькія лить о бѣдствіяхъ существенныхъ; на минуту позабудемся въ чарованьи красныхъ вымысловъ». Время отъ времени я и о постороннихъ предметахъ рѣчь завожу. Между прочимъ, разъясняю тебѣ вотъ что (разъясненія эти я тогда же напечаталъ въ №№ 308, 316 и 324 «Новаго Времени» подъ заглавіемъ: «Экономическія замѣтки. 3% гарантія желѣзно-дорожныхъ акцій»).

Въ октябрѣ прошлаго года нѣкоторые изъ частныхъ банковъ и банкировъ, принадлежащихъ къ извѣстной на биржѣ учредительской группѣ, образовавшейся въ 1869 году, обратили на себя всеобщее вниманіе на биржѣ усиленными покупками акцій одесской желѣзной дороги. Покупки эти производились такъ опрометчиво и торопливо, что для каждаго, понимающаго свое дѣло спекулянта становилось очевиднымъ, что за этими покупками скрывается какая-то тайна, какой-то серьезный мотивъ для будущаго еще большаго повышенія цѣны одесскихъ акцій.

И, дѣйствительно, онѣ поднялись въ какой-нибудь мѣсяцъ почти на десять рублей. Въмѣстѣ съ тѣмъ, покупались, хоть и не такъ сильно, акціи другихъ не гарантированныхъ правительствомъ желѣзныхъ дорогъ: брестогравеской, грязе-царицынской. Штука эта разъяснилась слухами о томъ, что еще до 1877 года долженъ быть внесенъ въ государственный совѣтъ проектъ дарованія правительственной трехъ-процентной гарантіи, въ кредитныхъ рубляхъ, акціямъ одесской желѣзной дороги, а равно и акціямъ нѣкоторыхъ другихъ желѣзныхъ дорогъ.

Значить, «учредительская группа 1869 года» во-время пронохала предстоящую гарантію. Но разберемъ однако, Иванушка, эту гарантію. Впрочемъ, здѣсь разбирать не будемъ. Въ указанныхъ №№ «Новаго Времени» ты найдешь подробныя доказательства, что 3%-я, даже металлическая гарантія по акціямъ балтійской и московско-брестской дорогъ «ни къ какимъ хорошимъ и практическимъ результатамъ для государства не повела, а сослужила лишь небольшую службу учредителямъ и реализаторамъ акцій означенныхъ обществъ». Тѣмъ паче, значить, не дасть хорошихъ результатовъ 3%-я гарантія *кредитная*. А надо вотъ какъ. Надо испросить «правительственную *пятипроцентную металлическую* гарантію чистаго ежегоднаго дохода и $\frac{1}{2}\%$ *металлическаго* погашенія, съ *непременнымъ, однако, условіемъ уменьшенія всѣхъ акціонерныхъ капиталовъ гарантируемыхъ обществъ на половину*». И слѣдуетъ это сдѣлать не только для одесской дороги, но и для всѣхъ, признан-

ныхъ «на многіе годы бездоходными». Понимаешь? Нѣтъ, ты не понимаешь. Ты смущенъ предложеніемъ сократить акціонерные капиталы на половину. 5% *металлическая* гарантія, думаешь ты—штука хорошая, но отдать половину своихъ акцій ты не согласишься. Ты глупъ, Иванушка. Возьмемъ для примѣра акціи одесской дороги. Они «безъ всякой гарантіи и при перспективѣ неполученія дохода въ теченіе многихъ лѣтъ, слѣдовательно, и безъ ежегоднаго погашенія, имѣли нормальную биржевую цѣну въ 30—35 р. за акцію, со всевозможными шансами уменьшенія цѣны, но никакъ не увеличенія. При 3%-й кредитной гарантіи, при капитализаціи изъ 6% кред. годовыхъ, наивысшая нормальная цѣна одесскихъ акцій можетъ быть только 50 руб. (Спекуляція уже воспользовалась 8 до 10 рублями и, если подниметъ цѣну еще выше, то лишь съ исключительною цѣлью сбытъ съ рукъ всѣ свои акціи). При 5%-й безусловной металлической гарантіи и $\frac{1}{2}\%$ *металлическаго* же погашенія, цѣна акцій должна достигнуть, по крайней мѣрѣ, нынѣшней цѣны *правительственныхъ металлическихъ и гарантированныхъ правительствомъ въ металлической валютѣ* бумагъ, т. е. 103 до 104%. Лицо, имѣющее теперь 100 вовсе негарантированныхъ одесскихъ акцій, владѣетъ фиктивнымъ капиталомъ въ 3,000 до 3,500 р., никакого дохода не приносящимъ. При дарованіи 3%-й кредитной гарантіи, то же лицо будетъ имѣть тѣ же 100 акцій или *дѣйствительный* капиталъ въ 4,000 или 5,000 рублей съ *дѣйствительнымъ* же доходомъ въ 300 руб. кредитныхъ въ годъ и соотвѣтственнымъ погашеніемъ. При дарованіи 5%-й *металлической безусловной* гарантіи, съ условіемъ уменьшенія капитала на половину, то же лицо, владѣя только 50-ю акціями, будетъ имѣть *дѣйствительнаго* капитала теперь: отъ 5,175 р. до 5,250 р., а при полномъ отсутствіи политическихъ замѣшательствъ до 5,700 р., съ тѣмъ же *дѣйствительнымъ* доходомъ въ 300 до 325 р., смотря по состоянію вексельныхъ курсовъ. Кроме того, при 3% кред. гар. вся масса акцій, находящихся въ рукахъ учредителей-реализаторовъ, перейдетъ въ руки русскихъ же капиталистовъ, публики, нисколько не облегчивъ денежнаго рынка, тогда какъ, при 5% металл. гар., тѣ же учредители-реализаторы не только что не станутъ сбывать своихъ акцій, но еще будутъ запасаться ими для болѣе удобнаго и болѣе выгоднаго сбыта ихъ за границу, въ свое время, при благоприятныхъ политическихъ обстоятельствахъ, приготовивъ тѣмъ временемъ за границей почву надлежащимъ образомъ».

Подобный же расчетъ можетъ быть сдѣ-

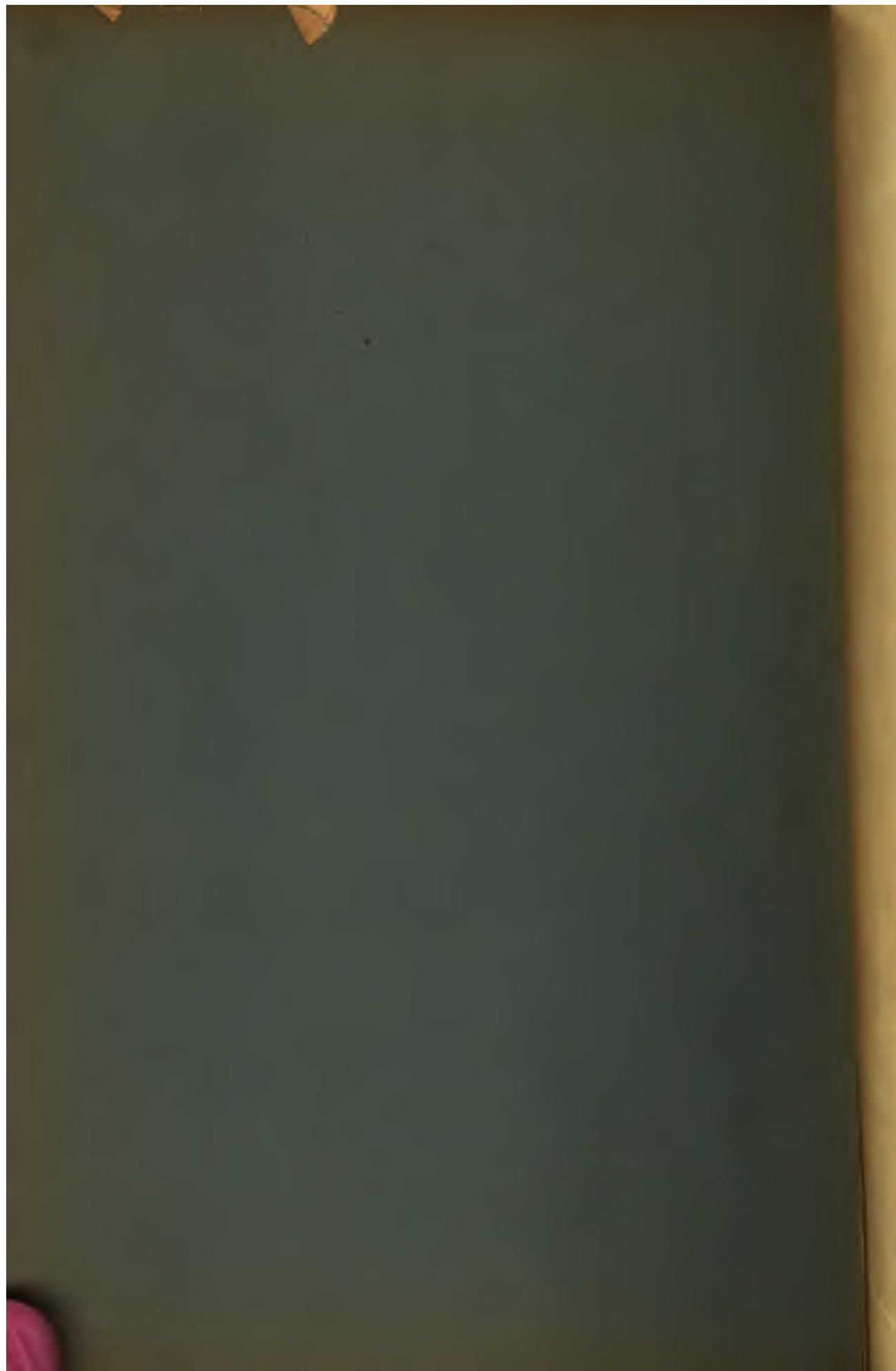
ланъ для многихъ другихъ на многіе годы бездоходныхъ дорогъ. Не стану теперь напоминать тебѣ подробности операціи, какъ, напримѣръ, наслѣдники Мекка выкупятъ заложенные ими у правительства акціи ландварово-роменской дороги на два съ половиной милліона; какъ Губонинъ выкупитъ грязе-царицынскихъ акцій на 700,000; какъ правительство выручитъ на принадлежащихъ ему акціяхъ 40 милліоновъ; какъ и что выиграютъ банки и общества взаимнаго кредита и проч. Ты только о себѣ лично подумай. У тебя 100 акцій одесской дороги. Это составляетъ *фиктивный* капиталъ 3—3¹/₂ тысячи и ни копейки дохода. А если испросить 5%-ю металлическую гарантію, такъ у тебя будетъ *дѣйствительно* капитала до 5,700 рублей и 300—325 р. дохода. Недурная премія для подписчика ежедневной газеты! Согласись, что я—твой благодѣтель и, притомъ, настоящій магъ и волшебникъ. Немудрено, что ты возлюбилъ меня: голову твою я набиваю ежедневно великими истинами, сердце — возвышенными чувствами, карманъ — немалыми капиталами и доходами, конечно, пока еще только въ видѣ «чарованья краснаго вымысла». Но зато каковъ вымыселъ: разъ, два, три — и въ твоемъ пустомъ карманѣ мелодически звенить золото или, по крайней мѣрѣ, шуршать бумажки. Но вѣдь глупъ-глупъ, а понимаешь же ты все-таки, что никакой фокусникъ не можетъ создать свои внезапно появляющіеся шарики, палочки и проч. изъ ничего. Правда, что ты присутствовалъ при матеріализаціи руки духа дѣвницы Жеке, но ты помнишь также, что за подобные опыты медиумъ бралъ съ тебя деньги: у него въ карманѣ прибывало и потому прибывало, что у тебя убывало. И съ деньгами,

съ капиталами и доходами такъ всегда бываетъ. Откуда же взялись твой новый капиталъ и твой доходъ? Ты не понимаешь, потому что ты — Иванушка Дурачекъ, я забылъ, потому что я — Иванъ Непомнящій. А между тѣмъ дѣло очень просто: и превращеніе твоего фиктивного капитала въ дѣйствительный, и удвоеніе его, и замѣна бездоходности доходомъ, и оживленіе банковъ, и выигрышъ правительства — все это я основываю на опи-нахъ тѣхъ сиволапыхъ, кои неуклюже трусы въ хвостъ полонеза и коихъ я такъ пламенно люблю, на зло торгашамъ англичанамъ, спекулирующимъ на благо народовъ. Таковъ одинъ изъ постороннихъ разговоровъ, которыми я тебя занималъ во время полонеза — только одинъ; остальные всѣ въ томъ же родѣ. Я всегда стоялъ на томъ, что сиволапый долженъ быть излѣченъ отъ своей эгоистической практической философіи, что онъ долженъ оцѣнить честь, которую мы ему дѣлаемъ, предлагая возлечь на алтарь отечества. А отечество, Ваня, это мы съ тобой, Иванушка-Дурачекъ и Иванъ Непомнящій. И если бы предѣлы отечества нашего когда-нибудь раздвинулись и мы съ тобой приняли бы въ свои объятія славянскіе народы — этотъ всеславянский союзъ народовъ долженъ быть привлеченъ къ уплатѣ по акціямъ желѣзныхъ дорогъ, признанныхъ на многіе годы бездоходными.

Громъ побѣды раздаваясь,
Веселися, храбрый россия!

До радостнаго утра, Иванушка! Утро будетъ. Взойдетъ солнце, отразится и въ моихъ безстыжихъ, и въ твоихъ оловянныхъ глазахъ, и всякій, имѣющій очи видѣти, увидитъ, что ты — Иванушка-Дурачекъ, а я —
Иванъ Непомнящій.





THE BORROWER WILL BE CHARGED
AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS
NOT RETURNED TO THE LIBRARY
ON OR BEFORE THE LAST DATE
STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF
OVERDUE NOTICES DOES NOT
EXEMPT THE BORROWER FROM
OVERDUE FEES.

WIDEN
BOOKS
JUL - 6 1968
2580682
CANCELLED